

В. В. Розанов



Религия и культура





В. В. Розанов

Религия и культура

Религия и культура

Статьи и очерки 1902–1903 гг.



В. В. Розанов

**Собрание
сочинений**

В. В. Розанов

Религия и культура

Религия и культура
Статьи и очерки 1902–1903 гг.

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»
Санкт-Петербург
Издательство «Росток»
2008

УДК 1
ББК 87.3
Р64

Российская академия наук

Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста

А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко, О. В. Быстровой

Комментарии *О. В. Быстровой*

Проверка библиографии *В. Г. Сукача*

Указатель имен *В. П. Гарнина*

Розанов В. В.

Р64

Собрание сочинений. Религия и культура. – Статьи и очерки 1902–1903 гг. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. Сост. А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко, О. В. Быстровой; коммент. О. В. Быстровой. – М.: Республика; «Росток» 2008. – 894 с.

ISBN 978-5-94668-064-6

Настоящий 26-й том Собрания сочинений В. В. Розанова составляют его работа «Религия и культура» (1899), одна из наиболее известных книг писателя, а также статьи и очерки 1902–1903 гг., впервые собранные здесь из газет и журналов. В произведениях мыслителя, написанных на рубеже веков, предлагается оригинальная («розановская») трактовка проблем русской культуры, христианства и церкви, положения дел в сфере литературы и образования, семейного и национального вопросов.

Для всех, кто интересуется русской литературой, философией и культурой.

ISBN 978-5-94668-064-6

ББК 87.3



© Издательство «Республика», 2008

© Издательство «Росток», 2008

© А. Н. Николюкин. Составление, 2008



Религия и култура



По мере того как год за годом и пятилетие за пятилетием ложатся на усталые веки человека, глаза его опускаются долу и начинают видеть иное и иначе, чем некогда, чем ранее. Укорачиваются горизонтальные созерцания, удлиняются вертикальные. «Политика», шумные «партии» – всё становится глуше для слуха, скрывается «за гору Аменти», как сказали бы египтяне. Вокруг видится семья – «земля, на которой я стою», священное «аз есмь» каждого из нас: то, что смиренно и безвидно несет около нас труд, заботу, любовь, несет на плечах своих безустанных «ковчег» бытия нашего, суеты нашей, часто – «пустого» нашего. Для каждого, в известную пору, становится близок и как-то вдруг понятен стих Лермонтова:

...последние мгновенья

Мелькают – близок час... Вот луч воображенья
Сверкнул в душе... пред ним шумит Дунай...
И родина цветет – свободной жизни край;
Он видит круг семьи, оставленной для брани,
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущего к себе опору дряхлых дней...
Детей играющих – возлюбленных детей!
Все – ждут его...

В пору «горизонтальных созерцаний» мы склонны считать «отечеством» то и иное, широкое или далекое, и вообще, в сущности, нечто вовсе чуждое: пока, суживаясь во взоре, не открываем истинное свое отечество и, так сказать, «обитаемую империю», все «45 томов Codex'a» в невинных глазах детей, в супружеской верности жены и вообще не далее порога своего «дома». Отечество обширное и совершенно для каждого достаточное: остальные – всё больше призраки «отечества», фантомы несуществующих «Америку», которыми горизонтально играет глаз, частью их представляя себе, частью их создавая из себя. Святое «аз есмь»; «отечество» – вертикально уходящее «в землю», всходящее до неба; истинно неисповедимая «Вавилонская башня», которую, в сущности, каждый из нас строит, обычно – не достраивает, но в ее постройке выражает мысль свою и вечную человеческую: от земли и «я» восходить к Богу и вечности.

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена –
А он... безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена.
.....
Надменный временщик и льстец его, сенатор,
Венчают похвалой победу и позор...

Как это далеко только от Рима: поэт хотел выразить общую человеческую судьбу – в пору ошибок раба «горизонтальных» фикций. Так было в Риме, так будет всегда; и, убегая этой ошибочной судьбы, человек и ищет инстинктом нового «отечества», начинает «вавилонски» построяться и устрояться.

...Детей играющих – возлюбленных детей...
Все ждут его назад с добычею и славой;
Напрасно: жалкий раб, он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой...
«Прости – развратный Рим! – прости, о край родной!»

Тысячи людей как поздно об этом догадываются: лишь единицы удерживаются «на родине», и миллионы манятся «Римом».

Прости – развратный Рим...

– это нужно уметь сказать вовремя.

Итак, сборник этих интимных (по происхождению) статей я посвящаю малому храму бытия своего, тесной своей часовенке: памяти усопших своих родителей – рабов Божьих Василия и Надежды, две могилки, и одна даже безвестная, даже без креста; памяти дочери, 9-месячной Надюши, – этой поставлен мраморный крест на Смоленском; праведной труженице, жене своей Варваре, урожденной Рудневой; и детям-младенцам, которые всеумо, всему меня научили именно в «религии», именно в «культуре», – Татьяна, Вере, Варваре, Василию.

...прости, о край родной!

В. Р.

МЕСТО ХРИСТИАНСТВА В ИСТОРИИ

Между всеми науками, предметом изучения которых служит человек, история имеет преимущество общности и цельности. Религия, право, искусство, нравственность – все это в освещении других наук является разрозненным, обособленным; история же изучает эти сферы человеческой деятельности в их живой связи. И причина этого различия понятна. Другие науки, как, например, право или мораль, изучают свой предмет без постоянной мысли о человеке; история же, стремясь уяснить для себя происхождение всего, рассматривая все лишь в процессе образования, невольно должна восходить к тому, что служит общим источником и морали, и права, и всего другого подобного – к творческому духу самого человека. Здесь открывается для нее глубокое единство того, что в других науках, изучающих все уже в готовом, законченном виде, представляется столь обособленным, замкнутым в себе.

Вследствие этого особенного отношения к своему предмету, история способна давать нам разрешение таких вопросов, ответа на которые мы тщетно искали бы в других науках. Указывая генетическую связь между всеми сферами человеческого творчества, она определяет *взаимное положение всех их*, и, следя за этим положением в прошедшем, мы иногда можем определить довольно точно и их взаимное отношение в будущем. Как геометр, найдя в старинной рукописи недоконченный чертеж какой-нибудь фигуры, может, внимательно углубившись в направления и свойства начатых линий, мысленно продолжить их и замкнуть всю фигуру, так и историк, следя за направлением творческих сил человека в прошедшем, иногда может предугадать это направление в будущем и открыть то, что называется *планом истории*.

Это знание есть самое важное из всех, потому что оно одно дает нам возможность сознательной жизни. Жить сознательно – это значит руководиться в своей деятельности целями, и притом не ближайшими; жить бессознательно – это значит управляться в своей жизни причинами, которые остаются для нас внешними и чуждыми. Но, конечно, мы твердо можем быть уверены в достоинстве своих целей лишь тогда, когда знаем, что они совпадают с тем направлением, которое уже невидимо, неощутимо дано всемирной истории, уже существует в ней.

С этой именно точки зрения мы и будем рассматривать тот факт, определить значение которого нам предстоит теперь. Посмотрим, нет ли в истории каких-нибудь указаний на то, какое положение занимает христианство в ряду всех других явлений прошедшей жизни человечества, и постараемся извлечь из этих указаний то главное знание, в котором мы все нуждаемся, — знание целей нашей собственной деятельности.

I

Два великих племени почти исключительно занимают поприще всемирной истории — арийское и семитическое. Если мы проследим за характером этих двух племен на всём протяжении их существования, мы будем поражены глубоким различием, которое повсюду и во всём обнаруживается между ними. На самой заре своего исторического существования те племена, дальнюю отрасль которых составляем и мы, назвали себя «*светлыми*», *агіоі*, и этим именем бессознательно отметили тот особый характер, который запечатлелся на всей их истории. Повсюду, где мы их ни наблюдаем, от Ганга и до Миссисипи, от старых «Вед» и до нашего времени, они являются исполненными жизнерадостного чувства, любят природу и поклоняются красоте и, не заглядывая в отдаленное будущее, всецело отдают настоящему свои душевные силы. Невозможно исчислить всех родов деятельности, какие занимали их, и если история так безгранично богата событиями, если то, о чем повествует она, так нескончаемо разнообразно, то это благодаря исключительно особенностям арийского духа. В чем же заключаются эти особенности? Как выразить, как определить тот особенный душевный склад, из которого объясняется всё своеобразие арийской истории и жизни?

Объективность — вот то название, которое всего правильнее определяет этот особый склад души. Ум, чувство, воля — все силы душевные — у арийца направлены к *внешнему, навстречу впечатлениям, идущим снаружи*. С необходимостью одно это свойство повело к созданию всего того, что мы находим в их истории и жизни. Разум, направленный на внешнее, и не мог ничем иначе выразить свою деятельность, как наблюдением над природою и размышлением о ней, т. е. именно тем самым, что образует науку и философию, которую мы одинаково находим у всех арийских народов. Опытный и наблюдательный характер, который по преимуществу носит эта наука и философия, мы склонны принимать за необходимую и вечную черту в ней, обусловленную самим предметом познания; в действительности же черта эта обусловлена только субъективными особенностями арийского духа, и если нам так трудно понять это, если мы так упорно отвергаем местный и временный характер нашей науки, то это свидетельствует только о том, как бессильны мы стать выше своей природы, как не можем подняться над тем, что есть в ней особенного и частного. Обращенное на то же внешнее, чувство создало искусство, как стремление воспроизвести это внешнее. Уже Аристотель, который первый определил

своим рефлектирующим умом то, что без определений, бессознательно и невольно сознавал человек раньше, назвал *искусство – подражанием*; и в этом определении – уже бессознательно для себя самого – он отметил ту коренную черту арийской души, о которой мы говорим теперь. Подражать можно лишь тому, что любишь, чем заинтересован, воспроизводить же неприятное или чуждое – никто не станет, потому что самый процесс такого воспроизведения не может доставить никакого удовольствия. И то, что искусства у арийцев достигли такого высокого совершенства, что одно и то же они стремились воспроизвести и в линиях картины, и в контурах статуи, и в словах поэмы, – это свидетельствует о том жизнерадостном чувстве, о том любовном внимании к физической природе и вообще ко всему окружающему, которое всегда было им присуще. Наконец, воля, направленная на внешнее, должна была выразиться в стремлении подчинить себе это внешнее, или, по крайней мере, регулировать его отношение к себе, и здесь лежит объяснение третьей особенности в истории арийцев – именно той, что повсюду, где они ни появлялись, они создавали государство и устанавливали права. Государство есть то, в чем выражается отношение одного народа к другим, для него внешним народам, в чем он определяет себя и отделяет от других: право есть то, что определяет отношение одного лица к другим, для него чуждым людям. И то и другое обращено к внешнему, одинаково носит объективный характер. Отсюда же, из этого направления воли к внешнему, вытекает и стремление, путем науки, подчинить себе окружающую природу, и великий антагонист Аристотеля Бэкон Веруламский, указав на это подчинение как на цель натуральной философии, выразил в этом указании ту же черту арийского характера, которую в своем определении искусства выразил греческий философ. Мы не можем здесь останавливаться на более тонких чертах истории и отмечаем только эти грубые, общепризнанные факты ее. Наука, искусство и государство – это три главных продукта арийского творчества, в них именно достигли арийцы величия, и в последовательном, медленном созидании их проходила история этих народов. И, как следствие к своей причине, они должны быть отнесены к объективному складу трех главных способностей души арийцев.

Обратимся теперь к рассмотрению душевного склада семитических народов в связи с их историей. То, что составляет отрицание арийского характера, что совершенно противоположно ему по направлению, есть субъективность, и она именно составляет отличительную черту психического склада семитических народов. Они никогда не смотрели с интересом на окружающий мир, и у них никогда не возникала наука. То высокое понятие, которое сложилось о науке арабов в Средние века и долгое время держалось в новые, при ближайшем ознакомлении с делом оказалось ложным. Они повсюду являются или продолжателями, или комментаторами, но никогда и ни в чем – начинателями, творцами. Изучение медицины началось у них лишь с того времени, как халиф Альмансун призвал к своему двору, в Багдад, сирийских врачей; под влиянием этих врачей и, конечно, руководимые

практической потребностью, они стали сами изучать медицину, но и тогда не пошли далее переводов и комментариев Гиппократов и Галена. То, что они сделали в астрономии, ограничивалось изобретением некоторых инструментов и более точными и обильными, сравнительно с греками, наблюдениями; но и здесь они трудились на почве, уже возделанной ранее, и не оплодотворили ее никакой новой мыслью. Им долгое время приписывалось изобретение алгебры, но теперь известно, что начатки этой науки существовали уже ранее, у арийских индусов; решение уравнений, прогрессии, даже суммирование рядов – все то, что мы называем элементарной алгеброй, – было известно на берегах Ганга ранее, чем арабы начали прилагать свои силы к этой науке и дали название, которое мы употребляем теперь. Наконец, в философии, в которой они также славились долгое время, они не пошли далее усвоения и истолкования Аристотеля и отчасти Платона. Альф-Арабы, «второй метафизик», как называли его современники, говорил о себе с гордостью, что он 40 раз прочитал «Физику» Аристотеля и 200 раз его «Реторику». Аверроэс, о котором с таким уважением вспоминает Данте в «Божественной комедии», носил в Средние века прозвание «великого комментатора». «Аристотель объяснил природу, а Аверроэс объяснил Аристотеля», – говорили о нем с гордостью арабы. И во всем этом, чем гордились арабские ученые и за что прославляли их другие народы, видно одно – это отсутствие инициативы, недостаток творческого начинания во всем. Если от арабов мы перейдем к евреям, то в древности не найдем у них никакой мысли о научном знании, а в Новое время хотя иногда они и обнаруживали высокие способности к науке, но замечательно, что и здесь, никогда не являясь инициаторами, творцами новых идей, они только придавали европейской науке характер крайней абстрактности, отвлеченности. Таково было влияние в XVII в. Спинозы на философию и Давида Рикардо в текущем столетии – на политическую экономию. В этом абстрактном мышлении, в этом отвращении от наблюдения и опыта сказалась та черта субъективности, то направление душевного созерцания внутрь, а не к внешнему, которое обнаруживается у них и во всем другом. Они никогда не знали светлого мира искусства, и им незнакомо было то чувство, с которым художник-грек воспроизводил природу в статуе или в картине и любовался своим созданием. Из всех искусств только два – музыка и лирика – уже с самого раннего времени процветали у них. Но это есть именно те виды искусства, в которых ничего не воспроизводится: они исключительно субъективны, и к ним совершенно не идут слова Аристотеля, что «искусство есть подражание». Если бы какой-нибудь семит, а не грек определял искусство, он, верно, сказал бы: «Искусство есть выражение внутреннего мира человеческой души» – до такой степени чуждо семитам то, что так знакомо и близко арийцам, и арийцам незнакомо то, что так родственно семитам. У семитов даже не зарождалось никогда живописи и скульптуры – этих искусств, грубые начатки которых в Европе находят уже в памятниках доисторического быта: открывая кости животных, теперь уже вымерших, на них находили нацарапанные фигуры

зверей и изображения охоты. В области архитектуры даже храм Соломонов был сооружен у евреев не ими самими, но пришлыми, чужими художниками*. Это совершенное бессилие семитов к образным искусствам можно проследить у них и в том, что есть образного, воспроизводящего и в сфере поэтического слова. Эпоса, в котором, как в море небеса, отражается весь сложный мир человеческой жизни, который мы находим в Магабарате и Рамаане индусов, в рапсодиях Гомера, в Эдде скандинавов, в наших былинах, — этого эпоса никогда не знали семиты. У них нет никаких преданий, нет мифологии, нет других воспоминаний, кроме священных и исторических, — черта, поражающая нас своей странностью: как будто народы эти никогда не знали ни детства, ни героической юности, но всегда были такими, какими мы их знаем теперь, — вечно возмужалыми, нерастущими и нестареющими. Наконец, если от науки и искусства мы обратимся к политической жизни, мы и здесь найдем у семитов обнаружение той же субъективности. Как вследствие субъективного склада своей души они оставались холодными к красоте природы, не любовались ею и не любили ее, так и по той же причине они всегда были безучастны и к окружающим людям. Они селились среди других народов и охотно отдавали им требуемое, лишь бы не принимать на себя обязанностей управления и организации. То, что принято в истории называть их государствами — Тир и Сидон, Карфаген и Иудея, — все это было, скорее, или группой торговых факторий, или рядом селений какого-нибудь племени. Вот характерные слова, которыми описывается в Библии то, что мы так неправильно, перенося свои арийские понятия на чуждые племена, называем государством: «И пришли те 5 мужей в город Лаис, и увидали народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть» (Книга Судей, XVIII). Это — странный народ, без организации и без власти, т. е. такой, какого нам трудно представить себе, какого мы не встречаем нигде в арийской истории. Всё участие семитических народов в политических движениях истории можно отнести, как к своим причинам, к политическим движениям окружавших их арийских государств.

II

Мы очертили характер арийцев и семитов, каковыми их знает история, в отношении умственном, художественном и политическом, и не коснулись одной только стороны из жизни — религиозной. Теперь на ней именно мы должны сосредоточить свое внимание.

* Принадлежность финикиян к семитам утверждается одними учеными, отрицается другими. Но если даже и согласиться, что они были семиты, то всё же характерно, что из двух семитических народов один, желая построить храм, обращается за помощью к другому, у которого, вследствие близости моря, развития торговли и опытности в судостроении, является и некоторая уместность в сооружении больших зданий.

Первый вопрос, который, естественно, возникает здесь, состоит в том, почему из всех народов земных одним только семитам, и именно евреям, дано было Откровение? Почему другие народы были лишены его?

Если мы вдумаемся глубже в ту особенность, которую мы отметили выше в душевном складе семитов, мы, быть может, приблизимся к разрешению этого важного и интересного вопроса. Не желая выходить из пределов истории, мы не будем здесь вдаваться в доказательства, но скажем только, что есть самые серьезные и самые точные основания думать и утверждать, что дух человеческий не есть ни произведение органической природы, ни что-либо одиночно стоящее во всём мироздании. Не только с религиозной, но и с научной точки зрения самым правильным будет признать, что в нас живет «дыхание» Творца нашей природы, и этим дыханием живем мы, что оно есть источник всего лучшего, что чувствуем мы в себе, и что его затемнение есть причина всего темного, что мы знаем в истории и находим в жизни. Теперь, если с этой точки зрения мы посмотрим на арийцев и семитов, мы поймем, почему не первые, а вторые были предызбраны для Откровения. По самому складу своей души арийцы были вечно обращены к внешнему, к физической природе, и то всё, что мы называем красотой их жизни и истории – наука, искусство, государство, – всё это – красота только для нас: в действительности же, с высшей точки зрения на природу человеческой души, – это есть ее искажение и обезображение. Окружающий мир, как в зеркале своем, отражался в этой обращенной к нему душе, сверкал в нем мириадами чудных созданий, но, если мы припомним, что то, в чем отражался он, есть дыхание и образ самого Божества, мы без труда поймем, что эти отражения были недостойны его, что они затемняли его и оскверняли собой. И здесь лежит разгадка всего. Дух семитов, который всегда был обращен внутрь себя, который не чувствовал природы и отвращался от жизни, один в истории сохранил чистоту свою, никогда не переставал быть дыханием Божества. Никакие мысли и никакие желания не развлекали его – одно Божество было предметом его вечной и неутолимой жажды. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» – говорит Давид в одном из своих псалмов (XLI). Эта потребность Божества, вечная в семитах, и особенно в евреях, была прекрасно выражена блаженным Августином, когда, не найдя успокоения в человеческой мудрости, он обратился к христианству: «Боже, Ты создал нас для Себя, и наше сердце не найдет покоя, пока оно не успокоится в Тебе». Как бы в ответ на эти постоянные искания, как бы удовлетворяя этой неумолкающей жажде, еврейскому народу и дано было Откровение. Он один в истории и искал его, и был достоин воспринять – именно потому, что душа его не затемнена была земными помыслами и заботами, в которые так безраздельно погрузилась душа арийца.

Различное отношение двух племен к Откровению, которое мы старались объяснить выше, очень рельефно было высказано немецким ученым Грау. Применяясь к словам и образам Библии, где еврейский народ часто

называется избранной невестой Бога, он говорит: «Если мы представим семитическую и арийскую группы народов в виде двух дев, из которых Бог должен избрать одну для союза с собой в святой любви, то, конечно, арийская дева может хвалиться многими преимуществами, которых не имеет семитическая дева. Она может сослаться на украшения и сокровища, которые она приобрела через свое господство над миром, на богатство фантазии, проявившееся во всех искусствах, на мудрость и глубокие познания во всех вещах мира. Как мужественная дева, она может даже, в сознании своей силы, найти довольство и цель жизни в самой себе. Ничего этого нет у другой девы. Она стоит перед той, как нищая, бедная и неукрашенная, перед королевой. Но она имеет одно, чего недостает той, — это сердце, полное неизгладимого стремления к Богу и Спасителю ее души, к Создателю ее жизни, — сердце, полное неисчерпаемой любви, которая не спрашивает ни о небе, ни о земле, если только она обладает Богом, и которая допускает погубить тело и душу, лишь бы дух имел часть с Ним. Одно имеет некрасивая дева — это смиренную веру, в силу которой она сама по себе желает быть ничто, но всё имеет в другом, — при которой она не находит никакого удовлетворения в мире и потому прикрепляется единственно к Богу, нимало не сомневается в Боге, но совершенно на Него полагается. Живо предидется нам образ такой девы в Божией Матери, которая ничего не имеет, кроме смиренной веры, чистой и целомудренной души, когда она говорит Ангелу-благовестнику: *Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему*» (Луки I, 38).

Еврейский народ ревниво оберегал данное ему сокровище. Можно сказать, что чем более любил он Бога, тем менее любил он людей. Что в Боге все народы земные имеют своего Отца, который в милосердии своем печется о заблудших столько же, сколько о верных, скорбит о них и ищет их спасения, — эта мысль была совершенно чужда евреям. Мы могли бы привести из Библии много примеров этой поразительной замкнутости избранного народа, его нежелания приобщить другие народы к Откровению, которое дано было ему. Так мы могли бы указать на избивение всего мужского населения в городе Сихеме после того, как оно уже приняло обрезание. Но мы приведем здесь другой факт, мы укажем на цельный взгляд евреев на отношение к себе и к Богу других земных народов. Этот взгляд тем более привлекает наше внимание, что был высказан в позднее время унижения и страдания еврейского народа, которое должно бы смягчить его сердце, и принадлежит великому деятелю его истории. «В тридцатом году по разорении города, — рассказывает Ездра в 3-й книге своего пророчества, — я был в Вавилоне и смущался, лежа в постели моей, и помышления всходили на сердце мое». Ему припомнились все странные судьбы его народа, его избрание Богом, его слава при Давиде и Соломоне и его теперешнее унижение. Он роптал, он говорил к Богу: «Ты предал народ Твой в руки врагов Твоих. Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это владеют Сионом?» В Вавилоне также грешат и, кроме того, не признают даже по имени истинного Бога, еврейский же народ и в величайшем нравственном паде-

нии никогда не отрекался от этого имени, и между тем один поднят на высоту, а другой низвергнут в бездну несчастья и унижения. Это возмущает сердце пророка, и он говорит: «Я видел, как Ты поддерживаешь сих грешников и щадишь нечестивцев; народ Твой погубил, врагов же Твоих сохранил и не явил о том никакого знамения». В его ропщущем сердце поднимается глубокий, никогда не разрешенный вопрос о происхождении зла, поднимается сомнение в Божественном Промысле и его праведности: «Не понимаю,— говорит он,— как этот путь мог измениться. Неужели Вавилон поступает лучше, чем Сион? Или иной народ познал Тебя, кроме Израиля? Или какие племена веровали заветам Твоим, как Иаков? *Ни воздаяние им не равномерно, ни труд их не принес плода; ибо я прошел среди народов и видел, что они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о заповедях Твоих*» (3-я книга Ездры, гл. III). К нему послан был Ангел Уриил, и словами, сходными с теми, что слышал и Иов, он пытался смирить его ропщущий дух; он говорил ему, что «сердце его слишком далеко зашло в этом веке, что пытливость ума его об Израиле дерзка, что он напрасно пытается постигнуть пути Всевышнего» (гл. IV). Но эти увещания остались бесплодны. Через несколько дней после беседы с Ангелом прежние мысли снова зародились в нем, и в словах, которые он сказал на этот раз, выразился тот поражающий взгляд, о котором мы говорили выше. Эти слова касаются уже не Вавилона, не утеснителей только израильского народа. Вспомнив о днях творения мира и человека, он говорит: «*Для нас, Господи, создал Ты век сей, о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и всё множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами. Мы же, народ Твой, которого Ты назвал Твоим первенцем, единокровным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? и доколь это!*» (гл. VI).

Каким ужасающим холодом веет от этих слов, какая странная отчужденность от всех людей слышится здесь! Кроме своего народа, все остальные племена земные не только пренебрежены, но почти забыты. Во всемирной истории и во всемирной литературе, где было так много унижения и гордости, возвеличения и падения, вероятно, никогда не были сказаны слова такой презрительности, как эти. И сказаны в уединении ночной молитвы, сказаны к Богу, т. е. вытекают из самой глубины души, выражают постоянную мысль, в которой нет никакого сомнения. Здесь гордость и унижение так велики, что они не обращены даже к тем, кого унижают; унижаемые, очевидно, не существуют для того, кто унижает.

Ездра в своем ропщущем сердце мог забыть о людях, но о них не мог забыть Бог. И здесь, нам думается, лежит объяснение непостижимых на первый взгляд судеб израильского народа, который так долго был избранным и в конце был отвергнут. Ездра не понимал, почему израильский народ в плену и страдает, и действительно, если принять во внимание грехи тех и

других, он не окажется более виновным перед Богом; но Ездра забыл, что страдания Израиля не внутренние – не голод и мор, но что он в целом предан в руки врагов. Здесь было наказание не за частные грехи отдельных людей, но за грех общий всему Израилю – за грех его перед другими народами, о которых он забыл, которых он не хотел приобщить к своему избранию. В Библии народ Божий нередко сравнивается с виноградной лозой: эта лоза всё более и более засыхала в своем отчуждении и эгоизме. Напрасно восставали среди евреев пророки, напрасно величайший из них, Исайя, с неизъяснимой силой говорил, что все народы земные должны собраться к Сиону. Их преследовали и убивали. Израиль не хотел заботиться о приведении народов к Сиону; как и для Ездры, эти народы – бесчисленные миллионы человеческих душ – были для него лишь ненужными каплями, каплющими из сосуда, и что они бесплодно терялись и засыхали в земле – об этом нечего было заботиться.

Эта безжалостность к Божию творению, это невнимание к человеческой душе и было наказано, когда «исполнились времена и сроки», – отвержением еврейского народа. Новое и высшее Откровение, которое дано было людям, совершилось через Израиля, но уже не для него. Как будто все силы засыхающей лозы, оставляя омертвелыми другие части ее, собрались в одном месте и произвели последнее и чудное явление израильской истории и жизни – Св. Деву Марию. Через нее совершилось вочеловечение Сына Божия; Он не был признан Израилем, но Откровение, им принесенное на землю, было принято другими народами, и именно арийскими.

Так, две тысячи лет назад, на дальнем берегу Средиземного моря, в глухой и уединенной стране, совершилось это событие, – самое потрясающее во всемирной истории. Как и всё истинно великое на земле, оно совершилось без шума и незаметно. В то время как на Западе ненужно передвигались легионы, произносились пустые речи и писались бессильные законы – в Вифлееме и Иерусалиме решались судьбы Востока и Запада. Там перемещалось всемирно-историческое значение семитических и арийских народов, упраздняясь Рим и заложена была новая история и новая цивилизация – та, в которой живем, думаем и стремимся мы.

Среди народа, гордого своим избранничеством, ни с кем не общающегося, ходил и учил Спаситель. Бедной самарянке, с которой за осквернение почел бы говорить книжник-раввин, Он говорил слова неизъяснимой мудрости; Он простил грешницу, боящуюся поднять глаза от земли; Он проник в бедное, стыдящееся самого себя, сердце мытаря; рассказал притчу о милостивом самарянине. Всё это было так не похоже на то, что уже много лет привык слышать еврейский народ от своих учителей. Кроме немногих избранных, он оставался глух к Его словам. Но всё-таки этот народ был семенем Авраама; это был страдалец в Египте, хранитель заповедей; он слушал пророков; в течение долгих веков он один на земле хранил закон и имя истинного Бога и только теперь, повинувшись неизменному ходу истории, он пал так низко. Однако падение это было связано со всей его пред-

шествующей судьбой, было внутренне необходимо, и он не мог уже подняться из него. За несколько дней до своих страданий и смерти, в словах, полных неизъяснимой грусти и неизгладимого величия, Спаситель высказал судьбу израильского народа: «О, Иерусалим, Иерусалим,— сказал Он, смотря на град Давидов,— сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели,— и, думая о наступающих страшных днях и о последних судьбах мира и человека, продолжал: — Вот дом ваш оставляется нам пуст; отныне не увидите Меня, доколь не воскликнете: “Благословен Грядый во имя Господне!”» (Матфея, XXII). Историческое и религиозное значение еврейского народа кончилось.

Здесь мы не можем удержаться, чтобы не высказать несколько общих замечаний исторического характера. Всё, что совершается в истории, совершается с внутренней необходимостью, и она видна как в том, что в ветхозаветные времена еврейский народ был избран, так и в том, что в новозаветные времена он был отвергнут. Скажем более: между той и другой судьбой была неразрывная связь, и некоторая из них не могла бы совершиться, если бы не совершилась другая. Здесь проявило свою силу то темное и неясное для человеческого ума, что непреодолимо управляет жизнью природы и ходом истории, что всегда чувствовали люди, но чего они никогда не умели ни понять, ни выразить; то самое, что чуткие греки отметили словом «Мойра» и что они не осмелились олицетворить ни в каком образе; что гораздо ранее формулировалось на одном соборе буддийского духовенства под именем закона сцепления причин и действий и на что слабо и лишь в частностях указывает наша наука под именем законов природы. Добро и зло, как в природе, так и в истории, связаны неразрывной связью, неотделимы друг от друга, и эта неотделимость сказалась в признании и отвержении еврейского народа. Припомним то, что было сказано ранее о душевном складе его,— именно о том, что его созерцание всегда направлено внутрь самого себя, что оно субъективно: будучи один из всех народов таковым, мог ли он в чем-нибудь нарушить свою духовную чистоту, исказить природу своей души впечатлениями внешнего мира? И если нет — если из всех народов земных он один оставался чистым, мог ли он не стать единым избранным, мог ли не воспринять первый все Откровения? Но именно потому, что он был так субъективен, мог ли он быть общителен с другими народами? И если ясно, что нет, то каким образом обетование искупления, долженствовавшее исполниться над всем семенем Адама, пролиться на все народы земные, каким образом это искупление могло совершиться иначе, как не через отвержение этого народа тотчас же, как только совершилось это искупление? Одна и та же причина породила оба эти явления, призвание и отвержение, и если мы поймем, если мы почувствуем, с какой страшной необходимостью совершилось это, мы проникнемся глубокой жалостью к еврейскому племени, некогда столь великому и святому и теперь так низко павшему. Этот закон воздаяния, это сцепление причин и действий — оно висит и над всеми народами, и также над нашим, и если мы могуще-

ственны, свободны и счастливы теперь, мы должны помнить, что это одна половина явления, и, думая о другой, должны быть сострадательны ко всему, что уже пало и унижено в истории.

Будем продолжать начатое исследование. История не может и не должна входить в рассмотрение самого акта Искупления – эта мистическая сторона религиозной жизни человека принадлежит исключительно богословию. Ее задача состоит в том, чтобы изучить условия, при которых это Искупление совершилось, и, не касаясь самого существа Откровения, определить по его *общим и внешним* чертам то отношение, в котором оно находится к различным эпохам и к различным народам. Здесь, оставаясь одновременно и строгою и скромною, она может открыть такие точки соприкосновения, которые прольют самый ясный свет на некоторые темные стороны в судьбах человечества.

С этой именно точки зрения мы и рассмотрим отношение Евангелия к характеру двух главных исторических племен – семитов и арийцев.

Тот характер чистоты духа, который присущ семитам и которым запечатлена Библия, этот характер мы находим и в Евангелии. Книга «Руфь» напоминает нам самые светлые события из истории Святого Семейства; книга Иисуса, сына Сирахова, исполнена той же простотой и мудростью, как и многие страницы евангелистов. В этом отношении Евангелие составляет продолжение Библии: это – также завет Бога к людям. Но это завет – *новый*, и здесь, в этом названии, отмечается уже какое-то отличие. В чем заключается оно?

Вместо духа исключительности и строгости, который лежит на Библии, веет с каждой страницы ее величием и ужасом, мы находим в Евангелии дух светлой радости, дух прощения и примирения, любви к людям. Что-то глубоко родственное каждому сердцу, что-то влекущее к себе, заставляющее не замыкаться, не уходить в себя, но, напротив, раскрывать свою душу, – слышится в каждом слове Спасителя и в каждом действии Его. Это уже не Иегова, грозный и гневный к своему народу, к своему «первенцу и избранному», это – Богочеловек, сошедший к людям, живущий среди них, любящий и понимающий всё, что в них есть слабого и незначительного. Вспомним брак в Кане Галилейской – это заботливое внимание к маленьким радостям маленьких людей; вспомним также притчу о блудном сыне.

Дух светлый и радостный, дух открытости и общения с людьми – не звучит ли всё это чем-то уже знакомым нам? Да, это дух народов, которые, едва восприняв первые впечатления жизни, назвали себя сами «светлыми», «агаіо». Совершенно чуждый ему по происхождению, он одинаков с ним по характеру, тяготеет сам к нему и взаимно притягивает его к себе. Небесная радость, которая слышится в Евангелии, склоняется к земной радости, которою проникнута арийская жизнь; она просветляет ее собой, но не отрицает уже. Та черта объективности, *то обращение не внутрь себя, но к внешнему*, что было всегда так чуждо семитам, вдруг появляется на склоне их истории, в момент завершения их исторического и религиозного значения.

Тотчас же, как появилось, это стремление к внешнему разрывает замкнутость семитического духа и идет, как благая весть, как «евангелие», навстречу всем народам земным. Но не все народы поняли это; это поняли те только, которые в этом движении к внешнему, в этом светлом и радостном духе почувствовали что-то родственное, близкое; не туранцы и не египтяне, но именно арийцы первые восприняли христианство и теперь несут его уже и другим народам.

Мы сравнили ранее труд историка с трудом геометра, который стремится завершить недоконченный чертеж, найденный им в старинном манускрипте. Как геометр напрягает свой ум, чтобы отгадать мысль неизвестного автора чертежа, так и усилия историка направлены к тому, чтобы понять мысль и план, управляющие ходом человеческого развития. Найдя и определив направление какого-нибудь одного течения, он окидывает взглядом всё остальное поле истории и ищет, нет ли на нем где-нибудь других течений, которые бы соответствовали, гармонировали с найденным уже, шли бы ему навстречу. Тогда завершение недоконченного узора истории, мысленное окончание еще только осуществляющегося плана ее уже не может представить большого затруднения.

III

Задолго до начала христианства, в светлой и жизнерадостной Греции появился странный человек: двадцати пяти лет изгнанный из родного города, он долго странствовал по Элладе, и куда он ни приходил, он повсюду встречал отчуждение и неприязнь: «Вот уже будет теперь 67 лет, как я мыкаю горе по Элладе»,— говорил он в последний год своей жизни. Он не принимал участия в политической жизни своего времени, и причиной его изгнания и его странствований не была вражда партий. Переходя из страны в страну, он слагал рапсодии, и в их характере исключительно мы должны искать объяснения его странной судьбы. Чем-то непохожим на все, что до тех пор видела и знала Греция, веяло от этих рапсодий; в них слышалось новое и незнакомое настроение души, слышался разлад со всей окружающей действительностью, с историей, поэзией и религией: «Куда ни посмотрю, куда ни обращу разум,— говорит он в одном из сохранившихся отрывков его песен,— *всё разрешается в одно, всё стягивается в одинаковую однообразную сущность*. Я стар, а всё блуждаю обманчивым путем. Нужен твердый ум, чтобы смотреть в обе стороны... Никто не может поручиться за свое знание. Надо всем тяготеет одно неверное мнение». Сомнение, выраженное в последних словах, касается, однако, не тех особенных мыслей, которые занимали его, но того обычного склада чувства и ума, который он встречал повсюду. Ему чуждо все греческое мирозозерцание, он враждебно смотрит на светлый мир Гомера, желчно смеется над Олимпом: «Люди воображают,— говорит он,— что боги родились, что они сходны с ними, имеют их одежду, голос и образ. Оттого фракийцы изображают своих богов голубоглазыми и белокуроыми, а

эфиопы – черными и курносыми, мидяне, персы, египтяне и другие народы также представляют своих богов по своему образу, а Гомер и Гезиод, воспевая нечестные дела богов, приписали им всё, что и у людей считается позорным и бесчестным: воровство, прелюбодеяние и взаимный обман». Он борется против антропоморфических представлений родной религии и противопоставляет им свое убеждение: «Один есть Бог, – говорит он, – ни видом, ни мыслью не похожий на смертных; Он весь – зрение, весь – слух, весь – мысль, и без труда Он господствует над миром своим умом»; он учит, что это единое Божество вечно и неизменяемо, что оно неподвижно и нераздельно.

Рапсод этот был Ксенофан Колофонский. На 90-м году жизни он пришел в Великую Грецию и здесь умер в городе Элее. Только один человек из всех, кто знал и слышал его, воспринял его мысли и дал им дальнейшее развитие. Но и этот единственный ученик относился к нему неприязненно, холодно: мысль, оставленную Ксенофаном, он воспринял как тягостное, как постылое бремя, до того противоречила она всему складу греческой души.

То, что было у Ксенофана на степени смутного сознания, у Парменида обставилось стройными доказательствами, против которых даже и в наше время трудно было бы привести основательные возражения. Живой, многообразной и изменчивой действительности, о которой говорят нам органы чувств, в которую так глубоко был погружен грек, вследствие объективного склада своей души, – этой действительности он противопоставил понятие о чистом бытии, чуждом изменчивости и множественности, и первый показал, что оно одно может стать предметом истинного и вечного знания. Недоступное ни зрению, ни осязанию, оно открывается единственно мышлению, и, следовательно, в нем одном должен состоять процесс познания; всё же, о чем свидетельствуют нам чувства, есть лишь призрак, фантом, о котором мы не можем думать, не впадая в противоречия.

Уже в этом указании способа познания нам слышится коренное изменение арийского отношения к природе, которое всегда чувственно, всегда обращено навстречу идущим извне впечатлениям. Но у Парменида субъективен только способ познания: самый же познаваемый предмет – чистое бытие – носит еще космический характер; правда, и он – уже неживая природа, но он стоит рядом с природой, как абстрактный снимок с нее, как ее неподвижное и вечное отвлечение. Во всяком случае, этот предмет познания имеет внешнее по отношению к человеку положение. С появлением Сократа и эта черта объективности исчезает. Он первый оставил исследования внешней природы: «свел, как говорили о нем, философию с неба на землю»; было бы правильнее сказать, что он ввел ее в человеческую душу, оставив равнодушно внешний мир, как небесный, так равно и земной. Как и Парменид, он настаивал на том, что предметом познания может быть только вечно существующее, но путем своего неподражаемого метода он заставлял своих собеседников находить это вечное в их собственной душе.

«Мать моя была повивальная бабка, и я продолжаю ее ремесло,— говорил он о себе.— Я ничему не учу, я только другим помогаю родить мысли». Он первый посмотрел на душу как на неисчерпаемый источник знания, всех богатств которого мы не сознаем потому только, что мало прислушиваемся к ее движениям, вечно обращены к природе, живем лишь впечатлениями органов чувств. Он *повернул это внимание от внешней природы внутрь себя*, и в этом именно заключается всемирно-историческое значение его деятельности, учения и жизни. «Γνωθι σεαυτόν» — «познай себя самого». Эта мысль кажется простой и неважной, но, если мы проследим направление развития арийских и семитических племен и приведем ее в связь с этим развитием, мы поймем, что только демоном Сократа могла быть внушена ему эта мысль: до такой степени ее значительность в истории превышает силы единичной личности. И не только в учении Сократа, но и во всей его личности, в каждой черте его характера мы чувствуем, что он был в истории центральной личностью, в которой совершался перелом не только греческой жизни, но и жизни всего обширного арийского племени. Что-то странное видели в нем греки, он не был похож ни на кого из них. «'Ατλία», «неуместность» — вот слово, которым характеризует его Платон в своем «Симпозионе». И действительно, он является чем-то неуместным и странным, если рассматривать его в ходе развития лишь одного греческого народа или даже одних арийских племен; и, напротив, всё в его личности, каждый поступок в его жизни становится понятным и необходимым, если рассматривать его как соединительное звено между двумя самостоятельными процессами развития, через которые проходила жизнь арийцев и семитов. Сын арийского племени, он не только обратил созерцание своего народа туда, куда оно обращено лишь у семитов,— в глубину собственного духа, но он и заставлял искать в этом духе лишь тех знаний, которые одни только ценились теми же семитами: знания нравственных истин вечного характера. Он не учил о природе, он был только моралистом. Наконец, учение свое он запечатлел добровольною смертью — черта, поражающая нас своей странностью в арийской истории, в истории племен, всегда так терпимых ко всякому мнению, с одной стороны, всегда так уступчивых, мягких — с другой. В Сократе греки казнили человека, который разрушал их психический строй, который бессознательно для себя самого выводил свой народ и с ним все арийские племена навстречу какому-то другому течению, о котором он сам не знал, что оно есть, которого он не видел, как не видел Моисей обетованной земли. И как же было ему не говорить о своем гении, об этом добром божестве, к внушениям которого он так часто прислушивался? Поистине, если бы он не сказал нам о нем, мы подумали бы, что он только скрыл его от нас, но мы знали бы, что около него стояло это доброе «δαίμονιον»: до такой степени все его поступки гармонировали не с окружающей действительностью, но с иными и далекими течениями в жизни всего человечества, частью уже совершившимися, частью еще имевшими произойти. В то самое время, как он, приготавливаясь выпить чашу с ядом, в последний раз беседовал со своими учениками и говорил им о бес-

смерти души, в это самое время среди другого и чуждого племени также происходило раздвоение прежде цельной жизни: там восставали и избивались пророки. Даже частные, мелочные черты в его характере поражают нас разладом с духом его собственного народа и родственной близостью с духом другого, ему неизвестного племени. Платон рассказывает в «Федре», как однажды, на приглашение идти гулять, Сократ желчно отвечал, что он не хочет, потому что он ничему не может научиться у деревьев и окрестностей. Это равнодушие к красоте природы, это нежелание на нее смотреть есть черта чисто семитическая и вместе совершенно незнакомая, чуждая грекам: в Библии едва ли есть хоть одно описание природы, и между греками едва ли бы нашелся еще второй человек, который дал бы ответ, подобный тому, какой услышали от Сократа его друзья.

Мы сказали, что в появлении Сократа выразился перелом греческой истории: и действительно, все другие течения греческой жизни начинают с этого времени умягчаться, и разрастается только то одно, которое впервые возникло много лет назад в личности Колофонского рапсода. Не только политическая жизнь, свобода внутреннего развития, но также религия, искусства, поэзия – всё увядает в Греции, всё засыхает, как в то же самое время засыхала и увядала жизнь другого народа. И как там все силы духовно умирающего народа сосредоточивались в одной ветви его, чтобы принести последний и чудный плод, – так и здесь, в Греции, все творческие способности богато одаренного племени сосредоточились в одном узком, но глубоком течении и произвели высочайший расцвет спиритуалистической философии. Этот высший и последний плод греческого развития запечатлен двояким характером: по существу своему, как некоторое знание, он есть произведение арийского духа; но глубокая субъективность, отчуждение от всей природы, которое сказалось в этой философии, заставляют нас видеть в ней склонение арийского духа в сторону семитического.

Чем далее развивалась эта философия, тем ближе и ближе подвигалась она к тому, что уже было у главного из семитических племен, именно еврейского. Истины, знакомые нам из Библии, не появляются, но уже мерцают в ней: вспомним учение Платона о знании и о прекрасном.

Здесь, земная жизнь нашей души, учил этот философ, есть лишь временный переход для нее: она томится в ней, и если так ищет истины, если так наслаждается созерцанием красоты, то только потому, что это пробуждает в ней воспоминание об ином мире, в котором она жила некогда и куда ей предстоит возвратиться. Всё, что создает человек в своей жизни относительно прекрасного и относительно истинного, он создает лишь по воспоминанию о той безусловной красоте и безусловной истине, которую созерцала его душа в своем премирном существовании. Когда он учится, когда он познает, он лишь припоминает то, что знал ранее своего появления на земле. Припомним также прекрасное учение этого философа о Демиурге: этот вещественный мир, в котором мы живем и который мы созерцаем, обязан происхождением своим Предвечному Зодчему, который созидал его,

устремив взор на мир идей, этих бесплотных и от века существовавших первообразов всего действительного. Духовный мир, таким образом, безусловно, предшествовал материальной природе. Еще ближе к библейскому откровению подходит учение о Боге Аристотеля; но весь интерес этого учения становится понятен только тогда, когда оно рассматривается в связи с остальными частями его философии, и в особенности в связи с его понятиями о процессе, генезисе. Как известно, в Аристотеле греческая философия закончилась: она не пошла дальше, не могла подняться выше идей этого мыслителя. Чем же для него, в ком завершился греческий дух, была его философия, как смотрел он на ее сущность и на ее цель? Повсюду изыскание первых причин бытия и знания он называет безразлично то «первой философией», то «теологией»: учение об основах мироздания у него сливается с учением о Божестве. Не разбирая этого учения, укажем в нем, в видах его отношения к Библии, только на одну частную черту: как известно, Божество, по Аристотелю, есть *первый двигатель* мирового развития, и с тем вместе само оно *чуждо* всякой изменяемости, и, следовательно, также *пространственного движения*. Рассматривая вопрос о том, как неподвижное может стать причиной движения, он объясняет это примером. Божество, говорит он, есть источник мирового развития не в том смысле, в каком толчок есть причина движения: оно действует на мироздание тем особенным способом, каким действует на человека прекрасная статуя, им созерцаемая. Она сама остается неподвижна, и, однако, мы, которые смотрим на нее, приводимся в движение, волнуемся и влечемся к ней. Так и Божество, продолжает он, одним существованием своим движет и направляет к себе всё мировое развитие. Оно есть источник вечной жизни, которую мы созерцаем вокруг себя и чувствуем в себе, и вся эта жизнь есть только вечное напряжение природы слиться с Творцом своим, вечная жажда ее приблизиться к Нему, к своему источнику и к своему завершению. Невольно вспоминаются при этом слова царя Давида, уже приведенные нами ранее: «Как желает лань к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» То, что почувствовал в себе псалмопевец, то понял и объяснил Аристотель; во всяком случае, оба они остановились на одном.

Прошло еще несколько веков; на берегах Нила, в недавно возникшей Александрии, куда направлялись суда всех стран и всех народов, встретились впервые люди, ранее никогда не знавшие друг друга. Тут были христианские пресвитеры, ученые раввины, философы неоплатонической школы. Каждая из этих групп людей являлась последним звеном длинного процесса исторического развития. Эти процессы происходили совершенно независимо один от другого; но, странное дело, все эти люди узнали друг в друге знакомые, близкие черты. Прочитав Евангелие от Иоанна, один неоплатоник сказал, что первые строки его до выражения: «И Слово плоть бысть» – есть то самое, что думают он и его друзья. Напротив, евреи и христиане, знакомясь с Платоном, находили в его Демииурге черты сходства с творящим Иеговой, а в мире бесплотных идей, при помощи которых был

создан мир, они видели отдаленный намек на Предвечное Слово. Начался великий синтез двух различных течений, дотоле отделенных друг от друга и местом, и племенной средой. То, чего не находили греческие философы в великих, завещанных им учениях, но к чему уже давно и страстно порывалась их душа, то они нашли и восприняли в Откровении; то, что затрудняло христиан в понимании Откровения, что вызывало в среде их споры и недоумения, то они объясняли и разрешали с помощью понятий, выработанных в греческой философии. Так, учение западной церкви о пресуществлении святых даров покоится на различии между субстанцией и акциденциями, которое было установлено Аристотелем в его «Метафизике». Через несколько столетий, когда греко-римская цивилизация была уже холодным трупом, а в Западной Европе затеплилась новая жизнь и расцвело другое просвещение, — в Парижском и Оксфордском университетах со всякого желавшего получить в них кафедру бралось предварительное клятвенное обещание, что, преподавая, он ни в чем не будет отступать ни от Библии, ни от Аристотеля. Так к этому времени срослись между собой Откровение, воспринятое семитами, с высшим плодом арийского духовного развития.

Здесь мы можем считать нашу задачу оконченной. Две идеи — невольно остаются в нашем уме, когда, отрываясь от всех подробностей исследования, мы останавливаемся на общем его смысле, ищем главного из него вывода: это — идея *о целесообразности*, которая господствует в ходе исторического развития, и идея *христианской цивилизации*, как завершения истории, как ее окончания. Первая возвышает наш дух, укрепляет наши силы для деятельности, вторая указывает для этой деятельности цель. Со времени открытия Коперника, с тех пор как стало известно истинное положение Земли в мироздании, одна тяжелая, сумрачная мысль повисла над сознанием людей: это — мысль о ничтожестве человека, о незначительности всего, что он делает, о случайности слепых законов природы, которые вчера вызвали его к существованию в одном далеком уголке мира и завтра могут погубить снова. Есть что-то сиротливое в этой мысли, внушающей одновременно и отчаяние, и чувство страшной свободы. Человек одинок, никто не видит его на этой кружащейся планетке, и он может делать на ней, что ему угодно. Нет никакого верховного закона над человеком, нет другой ответственности для него, кроме той, которую придумывают сами люди, сегодня условливаясь считать добром и злом одно, завтра — другое. Вся жизнь человечества, вся история его — это только игра случайностей, к которой невозможно относиться серьезно, в которой нечему радоваться и не о чем сожалеть.

Этот взгляд на человека и на его положение в мироздании, который высказывался многими великими умами в два последних столетия, устраняется признанием целесообразности в истории. Там, где есть гармоническое соответствие частей, где процессы, зародившиеся вдали друг от друга, в своем движении и развитии таинственно согласуются между собой, — там мы не можем отрицать, что кроме того психического начала, которое обна-

руживается в каждой из частей порознь, есть иное и высшее, которое стоит вне их и управляет их движением. Есть мысль в истории, которая проявляется в тысячелетиях и согласует развитие народов, не знающих взаимно о своем существовании. Источник этой мысли далек от нас, далек от земли, на которой мы живем и движемся, управляемые этой мыслью. Мы не можем видеть этого источника, и нам не нужно этого, чтобы знать, что он есть: мы видим действие,— мы сами, с нашими идеями, с нашими чувствами и желаниями, только результат этого действия. И здесь, с этим представлением о мысли, которая живет в нас и в нашей истории, к нам снова возвращается та великая, радостная и успокаивающая идея, которую утратил человек с открытием Коперника. То, что он потерял в мироздании, он находит в своей истории. Нет более основания ни чувству своего одиночества, заброшенности в мироздании, ни сознанию своего ничтожества. Мы можем спокойно смотреть на звездное небо, пусть оно ничего более не говорит нашему сердцу: мы уже свободны от того грустного чувства, с которым смотрели на это небо люди в течение двух столетий. Не там, не среди холодных и ясных звезд, но в нас самих, в нашем сердце и в нашей истории мы открываем предвечную мысль, заботливо руководящую нашей жизнью.

Далекая и последняя цель, к которой направляет нас эта мысль, есть, мы сказали, *христианская цивилизация*. Под этим выражением мы разумеем полное слияние в нас самих и во всём, что мы делаем и что создаем, элементов семитического духа с элементами духа арийского. Что именно в этом состоит цель истории — это никем не сознается, что можно видеть из того, как постоянно, с каким безумным упорством люди стремятся разделить в себе и в своей жизни эти элементы, как нередко они смотрят на такое разделение как на успех в истории, как на ее прогресс. Печальным примером подобного разделения могут служить взаимные отношения между религией и наукой, о которых одни с сожалением, другие злорадно, но все с одинаковой уверенностью говорят, что они не могут быть не чем иным, как только борьбой; заблуждение глубокое, основанное на непонимании всего хода истории. Как можем мы отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собой мироздание, проникнуть все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве? Стремиться подовать в себе эту мысль, думать, что ее пылливость может быть негодна Богу,— это значит отворачиваться от Божества, в своей бессмертной душе убивать Его дыхание. Воля Творца нашей души, несомненно, выражена для нас в самом строе этой души, и, если в нее вложено этой волей стремление к познанию, мы можем только осуществлять ее: познавая, мы повинемся Богу. Таким образом, печать религиозного освящения лежит на науке. И с другой стороны, как можем мы думать, что наука в каком бы то ни было смысле может поколебать наши религиозные убеждения. Что общего между знанием астрономии и заветом Спасителя: «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и всё остальное приложится вам»? Тут нет ни согласия, ни противоречия — это истины разных категорий, из которых одна не имеет никакого

отношения к другой. Когда мы говорим о противоречии между наукой и религией, мы всё еще думаем о тех жалких и павших религиях, которые возникли из ранних попыток арийского ума объяснить себе природу, таковы были греческий политеизм и индусский пантеизм. С появлением науки, как истинного знания, они все пали, как ложное, несовершенное знание. Они не имеют ничего общего с откровенной религией, которая дана была семитам и от них воспринята нами. Эта религия есть нравственный закон, данный нам, чтобы руководить нас в жизни. Его нельзя ни связывать с наукою, ни противопоставлять ей: они не имеют ничего общего. Каковы бы ни были наши знания, Нагорная проповедь Спасителя остается вечной правдой, к которой мы не перестанем прибегать, пока не перестанем чувствовать горе и унижение, пока останемся людьми. Здесь есть несоизмеримость, и, следовательно, не может быть противоречия. Только пустые души, одинаково бессильные и к религиозному чувству, и к научной деятельности, могут находить между ними какую-то несовместимость. Люди же истинно высокие духом одинаково совмещали в себе и это чувство, и эту деятельность. Как на примере этой гармонии между религией и наукой, мы можем указать на жизнь самого Коперника, о труде которого так ложно судили посторонние люди. Они думали, что этот труд подрывает религию, и римский престол осудил его буллой, а Вольтер писал о нем восторженные страницы. И то и другое мнение было одинаково заблуждением: оно вытекало из стремления к разделению семитических элементов от арийских, оно основывалось на непонимании, что история идет к их синтезу, к их гармоническому сочетанию. Мы же, помня это, думаем, что его умственный подвиг был вместе и религиозным. На всей жизни великого преобразователя астрономии лежит печать той глубокой серьезности, которую может дать нашей душе только вера в Бога. Он писал свое сочинение, не думая издавать его. Друзья почти насильно взяли у него рукопись и издали ее против его воли. За несколько часов до смерти к нему принесли первый напечатанный экземпляр книги. Он взглянул на него и умер. В течение всей долгой жизни он оставался простым каноником соборной церкви в одном незначительном городке. Так жил этот великий человек, и так окончил он свои дни. Что бы ни думали о нем другие, я убежден, что его глубокое мышление было так же чисто перед престолом Всевышнего, как и псалмы Давида, и так же свято, как и они. То и другое неразделимо: размышляя или молясь, мы одинаково возвращаемся душой к источнику нашей жизни – к Богу.

ПСИХОЛОГИЯ РУССКОГО РАСКОЛА

Есть две России: одна – Россия *видимостей*, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз; с событиями, определенно начавшимися, определенно оканчивающимися, – «Империя», историю которой «изображал» Карамзин, «разрабатывал» Соловьёв, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – «Святая Русь», «матушка-Русь»,

которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых непредвидим, начало безвестно: Россия *сущест-венностей*, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первой, Русь – взглянули Буслав-ев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой «знаме-нитости», но которые все обладали даром внутреннего глубокого зрения. К ее явлениям принадлежит раскол.

В нем ясны два течения, точнес – есть две школы: «буквенники», охранители «древлего» благочестия, восстановители целостной «старин-ны» – школа *консервативная*, и искатели новой *святости*, «духобор-цы» – школа *существенным образом творческая*, движущаяся. К первой принадлежат два обширных толка, «поповщинский» и «беспоповщин-ский», с Рогожским и Преображенским кладбищами во главе; их центр – в Москве; требования и протесты их выражены в обширной литературе; они почти не таятся в среде народной, в составе государственном. Чис-ленностью, в 50-х годах этого века, они достигали, по официальным сведениям Министерства внутренних дел (Липранди. Краткое обзор-ние существующих в России ересей и расколов. 1853) – девяти милли-онов. Вторую школу образуют бесчисленные мелкие секты – молоканы, бегуны, хлысты, монтаны и другие. Они не имеют столь сосредоточен-ных центров; численность их гораздо менее значительна, литература менее обильна, и тем отличается от «староверческой», что менее крити-кует чужое, более утверждает свое; все они таятся, и некоторые, как хлы-сты, запрещают вовсе излагать письменно учение свое, между прочим по соображению, что закрепленное буквой становится менее живо («бук-ва мертвит»). Все эти секты образовались из беспоповщины, и, кажется, именно потому, что, лишенные «попов», имея только «наставников», они вообще лишены были твердого, определенного, *канонического* руковод-ства и уже естественно оторвались от Православия в безбрежную даль отрицаний и нового созидания.

Нам хотелось бы сделать на этих страницах попытку выяснения психо-логии обеих школ – их «логики спасения», так сказать.

I. Старообрядчество

I

Раскол, и именно раскол старообрядчества, есть не только не менее, но и гораздо более значительное явление, чем поднятая Лютером Реформация. «*Cuius regio – ejus religio*», «какого государя ты подданный, того государя и веру ты исповедуешь» – это решение Аугсбургского сейма 1555 года, на ко-

тором протестантская половина Германии помирилась с католическою, не только удивительно, но и ужасающе в своей поверхности, жестокости: человек совершенно пренебрежен, если он не король, не богослов; он принуждаем самими протестантами быть «подданным» не в делах только политических, но и в религиозной вере. С каким страхом, с каким основательным пренебрежением посмотрели бы наши староверы на западные исповедания, если бы они поняли их и знали их историю. Насколько народное глубже общественного, созидание выше разрушения, вера прочнее скепсиса, настолько движение нашего раскола глубже, во всяком случае, серьезнее Реформации.

Всё в этом движении замечательно, и даже то, что оно началось «с мелочей»: раскол старообрядчества обнимает собой людей, не имеющих никакого сомнения в истинности всей полноты христианства и всего переданного церковью; для них бессмертие души, бытие Божие – не «отвлеченные вопросы», как для множества из нас: для них это вечные решения, в трепете выслушанные, с трепетом принятые. Можно сказать, раскольники – это последние верующие на земле, это – самые непоколебимые, самые полные из верующих. Для них вопрос может быть о том только, писать ли имя Христа: «Исус» или «Иисус», ходить ли около престола вправо или влево, слагая крест – знаменовать ли Троицу или две ипостаси в Спасителе. «Мы еще не решили вопрос о Боге, а вы хотите есть», – говорил Тургеневу Белинский, и Тургенев удивленно комментировал: «Какой это был идеалист!» «Грановский любил, оставаясь наедине со мной, затрагивать в разговоре религиозные вопросы: моя твердость в вере, видимо, нравилась ему и даже его трогала», – рассказывает С. М. Соловьёв в своих «Записках». И они все умерли по метрике «православными» и по-православному были погребены; они, конечно, «служили», как православные. Не таков раскол: вы прибавляете йоту к святому имени Иисуса, когда Он сказал: *«Истинно, истинно говорю вам, небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут!»* Им говорят: «Это – все равно». Но чтобы показать, что это «не все равно», они идут... не в великолепные аутодафе, для любования народного, для памяти истории, – нет, в архангельских сугробах они уходят в лес, в болото, и горят в срубах, с верой: «Небо и земля прейдут, но слово Его не прейдет».

И проходят земля и небо, а они не поддаются в «йоте»...

Нет, это – явление страшное, это – явление грозное, удивительное явление нашей истории. Если на всемирном суде русские будут когда-нибудь спрошены: «Во что же вы верили, от чего вы никогда не отреклись, чему всем пожертвовали?» – быть может, очень смутясь, попробовав указать на реформу Петра, на «просвещение», то и другое еще, они найдутся в конце концов вынужденными указать на раскол: «Вот некоторая часть нас верила, не предала, пожертвовала...»

II

Чему? По составу церковного учения, которое мы исповедуем и от которого отречься не можем, да и не хотим, — заблуждению. Вот где тайна, где узел вопроса. Люди неизмеримо лучше вас, в деле неизмеримой ценности, через рвение сохранить в нем йоту — отпали от нас, эту йоту нарушивших в их глазах. Они отвергли вовсе нас и с нами всё наше вероучение, а оно для нас истинно. Если мы, признав всё это, все эти споры — «несущественными», уступим им, как отчасти сделали, непоследовательно и неискренно, в так называемом «единоверии», мы только еще больше, еще глубже упадем в их глазах, станем совершенно в их глазах презренными. Соединения никакого не произойдет: они останутся тем, чем были, — с «йотой» и негодуя на нас именно за уступчивость еще гораздо страстнее, чем негодуют теперь.

Признать их равнозначными с протестантами и католиками значит признать их для себя внешними, чего еще нет, значит собственных детей своих оторвать от своей груди и понять вдруг как чужих, как посторонних, как пришельцев. Это слишком ужасно, это — чрезмерное горе, которое мы отодвигаем.

Поверим ли мы, что несколько миллионов людей гонятся за веру без основания, гонятся за веру землей, которая за веру никого не гонит? Но страшный факт совершился: дети наши, лучшие наши дети, восстали и отпали от нас, и мы не верим, чтобы это было окончательно. Замечательно: втайне преследуя раскол, официальная власть по внешности игнорирует его; она затаивает факт значительнейший, чем Реформация, — в кучу дел одного из департаментов. Она себя обманывает, она говорит всем наружу: «Нет дела, так — маленькое, в пучке бумаг такого-то Департамента», хотя все ясно напоминают, что это «дело» объемистее 12-го года. Но там наша слава, там — наша мощь; здесь — бедствие, домашняя рана, которую мы залечить не умеем; что-то вроде вопроса о законнорожденности, о венчании без свидетелей, которого, быть может, и вовсе не было: семейная тайна, которую признать формально мы не можем и пугливо прячем от публики позорную метрику.

Мы всё еще ожидаем, что рана как-нибудь залечится; чудом, целящими силами организма, смирением *их*, благоразумием *нас* — кто знает, кто может предвидеть исторические судьбы? Но ее вскрыть перед позорищем света, ее признать незалечимой и окончательно установившеюся — мы не можем, — пусть будет оказано этой немощи некоторое милосердие.

III

Замечено, что всюду, где дети раскольников посещают общую школу, они сливаются с православной средой, перестают быть «раскольниками». Не нужно обманываться этим, — нужно этот факт понимать точно: нельзя предположить, чтобы, пройдя двухклассное министерское училище, дети полу-

чали развитие более высокое и гибкое, чтобы они становились «просвещеннее», нежели, напр., братья Денисовы, авторы знаменитых «Поморских ответов». С тем вместе они оставляют раскол без всяких, собственно, церковных споров, без обсуждения особенностей, разделяющих церковь дониконовскую от послениконовской. Повторяем, этот факт нужно понимать точно: они теряют вкус к «йоте», теряют ее понимание, для них тускла становится страница, на которой мелькают эти «йоты», и глух смысл всей книги. Они входят в ту психическую атмосферу, в которой живем мы – мы, для которых всё это – «несколько отвлеченно».

Между тем как школа без споров «преодолеывает» раскол, споры самые упорные против него и со стороны самых компетентных людей никогда и ни к чему до сих пор не приводили, кроме единичных обращений. Причина этого кроется в различии, так сказать, самих *методов умствования* раскола, с одной стороны, господствующей церкви – с другой. Как и всякая церковь, даже всякое учение христианское, православие и раскол имеют равно задачей своей спасение души, угождение Богу. Но в то время как церковь ищет *правил* спасения, раскол ищет *типа* спасения. Первая анализирует; она размышляет, учит; она выводит, умозаключает; она говорит: вот *это* спасает, вот *чем* оправдались перед Богом св. Сергий, св. Алексей, Петр, Иона, остальное в их деятельности несущественно и к спасению не имеет отношения. Она, таким образом, отделяет частное, личное; отбрасывает подробности, к своему времени относившиеся, и оставляет в составе своего учения и своих требований от христианина одно общее; как средства спасения она предлагает посты, молитвы, канонически правильные книги, и притом лучшей редакции, критически проверенные. Раскол, этот «грубый» раскол, который нередко нам представляется последней степенью «невежества», действует по закону художественного суждения: к чудному, святому акту спасения, к этому акту, в котором мы так мало понимаем, которое устраивает Бог, – а уж, несомненно, акт этот был дан святым, об этом свидетельствуют их мощи, и чудеса, и видения, – как подойти с умственным анализом? как его расчленить и сказать: вот *это* было существенно, необходимо для спасения, а *то*, другое, – побочно и достойно забвения. Раскольники не отделяют святости от святого человека; они как бы снимают маску с драгоценных его мощей, точнее, со всей его живой личности, во всей полноте его деятельности и мышления, в его молитвах вот по этим книгам, в его пощении вот в эти дни, в его хождении вот так, в манере говорить, думать, поучать, – и усиливаются себя, свою душу, свою деятельность влить в полученную таким образом форму. *Типикон* спасения – вот тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная жажда, в отличие от *summa regulorum**, которою руководится наша, да и всякая, впрочем, церковь. Раскол полон живого, личного, художественного; он полон образа Алексея Божия человека, а не размышлений о поведении и способе, какими спаса

* сумма правил (лат.).

Алексей Божий человек; его основное чувство – восхищение, любование, так сказать, мотив зрительный и нисколько не теоретически выведенный. Отсюда кажущаяся столь «тупой» забота раскола о «подробностях»; вечное его усилие – повторить, воспроизвести; требование удержать ранее бывшее; его поиски букв, способов движения, символов, знаков; обобщая, скажем: забота спасти неразрушенным образ святого жития, уже человеком испытанный и Богом благословенный. Известно, что мало-помалу раскол дошел до величайших отрицаний, до отвержения священства, таинств, полной нетовщины, и это в вечных усилиях найти древнее, правильное, целостное христианство. Это мы должны понимать как чисто художественные в основе и в то же время полные святого чувства гневные порывы истребить всякую найденную форму спасения, если в ней сомнительна хоть одна черта, неверна, недостаточно древня, неточно удостоверена, – нечто подобное тому, как мы рвем целую страницу, видя в ней неправильно написанное слово, или как скульптор разбивает статую, видя дурно сделанную в ней подробность. Во всяком случае, чувство цельности, образности в высшей степени присутствовало при этих бурных взрывах, которые лежали в основе раскольничьих трансформаций. Раскол полон глухого отчаяния: без «йоты» так же нельзя спастись, как и без целой книги; без цельной формы жития древних подвижников, с этими осколками утраченных форм их житий, с рознятыми на части и полурастерянными элементами их несомненного спасения, – как прийти к Богу, как уберечь себя в мире?

Отсюда не только безуспешны, но и так раздражительно действуют даже на постороннего споры и «собеседования» с ними, как в дни текущие, так и в древние, начиная со знаменитого спора в Грановитой палате, перед царевной Софьей. Ясно для всякого наблюдающего, что здесь в споре что-то не условлено, не оговорено, что тяжущиеся стороны лишены общей почвы и, как я сказал, не имеют одного «умоначертания». Раскольники начинают спор уже с априорным чувством вражды и насмешки над хотящими их увещевать; они приходят вовсе не затем, чтобы убедиться, узнать; они не хотят рассуждать – они хотят сами не столько убедить, сколько оскорбить этого «щепотника», который так хорошо *развивает* свои «доводы», и между тем сам так *непохож*: ни на св. Алексея, ни на св. Петра, Иону, других... который оскорбляет их самым *видом* своим и раздражает их воображение, все им понятные способы мышления самым методом суждений своего греховного и слабого ума, с которым он думает вознести над праведными ликами и в них победить любовь к этим ликам.

IV

Но если бесплодны эти споры, эти умствования, почва которых неощутима для раскольников, сила которых для них недействительна, то есть иной и более верный путь залечить разверзшуюся рану в народном и церковном теле нашем. Вспомним слова Моисея, сказанные Богу, готовому проклясть народ, плясавший перед тельцом сейчас после того, как ему даны были скрижали

Завета: *«Господи, если их проклянешь, и меня прокляни, ибо не хочу разделяться с народом моим»*. Если, с нашей точки зрения, раскольники канонически и заблуждаются, *мотив* их блужданий даже и канонически правилен: желание ни в чем, ни ради чего не отделяться от благочестивых предков и в будущей жизни имеет часть общую с ними, а в здешней – перенести всё, что перенесли они. Любовь, завитая в этом движении, это чувство восхищения, этот порыв воспроизвести, повторить – правильны и почтенны. Их недоверие к умственным выводам имеет также за себя многие основания: мы начали сопоставлением нашего раскола с протестантизмом: весь проникнутый «интеллигентностью», протестантизм через три века дошел до совершенного почти отрицания христианства; самые высокие, самые благородные умы в нем, как Неандер, не находя точки, где мог бы остановиться их умственный анализ, впадают в безбрежный скептицизм, в неясно выраженный, но глубоко и мучительно чувствуемый атеизм. Всё христианство становится для них предметом археологической любознательности; это – древность, которую они рассматривают с любопытством Дионисия Галикарнасского или с авторитетом Нибура. Раскол всю эту древность, всё множество ее подробностей, «мелочей», ощущает как совершенно живую, как продолжающую существовать еще и в наши дни, даже как единственную истинную реальность, к которой, не ошибаясь, мы можем привязать свое сердце, приковать свое внимание. «Новый год начинается с 1 сентября; 1 сентября мир был создан, *когда уже яблоки были поспели*», отчего и Ева соблазнила Адама поспелым яблоком» (Кельсиев, 1, 75), – этот вывод, конечно, не имеет никакой силы для нашего ума; но и многоученный Неандер позавидовал бы свежести чувства, которое бьется под этим выводом ума. И если бы его спросили: что же ближе к христианству – необъятная ли ученость, какой он обладает, но подернутая смертью скепсиса, или это младенческое неведение, исполненное жизни? – конечно, он ответил бы: *она*, эта незнающая *вера*, этот ошибающийся *порыв*.

Именно силой анализа, которым обладает наше богословие, оно может различить в расколе неверное содержание от верного метода, неправильность выводов от правильного мотива. Можно залечить нашу историческую рану не победой, не «искоренением» раскола, на что напрасно надеяться – это показали два века борьбы, – но вдумчивым отношением к нему, признанием той *почвы*, на которой он стоит, того *метода*, которым он руководится. Мы сами должны податься в сторону древнего *титикона*, из форм которого не можем ни выманить, ни выгнать раскола. Сохраняя *всё* учение своей церкви – *истинное учение, превосходящее* то, которое содержится в расколе, – мы можем, наряду с анализом, дать больше места любованию, созерцанию, восхищению, жажде воспроизвести без поправок, без умствований, что всё составляет метод раскола. Во всем церковном быте, в укладе жизни общественной, в порядках жизни государственной не невозможно приблизиться к тому, что очевидно, составляет мучительную жажду раскола: к *целостному бытию*, первый прообраз которого заключается в священных книгах Ветхого завета, указующие правила – в Евангелии, некоторые

осуществление – в древнерусской жизни или, по крайней мере, в том идеале, который предносится перед ее духовными очами и с которым не имеет ничего общего тот, который предносится теперь пред нашими. Как только священна станет для нас древность, священно подражание, раскол ощутит у себя общую почву с нами, он сам подастся в своих мнениях, уступит то, что мы основательно считаем в нем нелепостью. Завяжется взаимное понимание; не раздражая, мы получим средство проникнуть в глубь его ума; он почувствует наши «доводы», когда перестанет негодовать на наш *вид*.

Но пока мы немощны, доколе мы – пугливые овцы, боящиеся всякого отвыклого шага, пусть наши братья не сетуют на то, что мы их «гоним», не даем им «равноправности», одинаковой с католиками, протестантами, даже с муллами и ламами. Повторяем: дать им это – значит отсечь их окончательно от своего тела, а мы хотим быть *с ними*. Наконец, это значило бы и для себя потерять великие чаяния в будущем, ибо *церковный собор* есть только отодвигаемое, но сохраняемое средство исцеления для них и нас, а «расколовшись» окончательно, мы потеряли бы главный мотив для него, мы, вероятно, уже никогда бы не «собрались». Итак, хоть отрицательно, хоть в мучительных «гонениях» и «преследованиях», мы еще продолжаем хранить с раскольниками целительную связь; мы их сберегаем для «святой» Древней Руси, мы себя прикрепляем к этой Древней Руси.

II. Духоборчество

I

Уже в начале XVIII века св. Димитрий Ростовский в «Розыске о Брынской вере» записал такое странное толкование Евангелия некоторой частью им наблюдавшихся раскольников: они говорили, например, что в известном рассказе о беседе Спасителя с самарянкой «дела не было, а притча есть. Самаряныня – это душа человеческая, кладезь – крещение, вода жива – дух святой, пять мужей – пятеры книги Моисеевы». «Лазарево воскресение не было-де «в деле» (*т. е. как факта его не было*), но притча есть. «Лазарь-бо боляй, толкуется: ум наш, немощию человеческою побеждаемый. Смерть Лазарева – грехи. Сестры Лазарева – плоть и душа; плоть – Марфа, душа – Мария. Гроб – житейские попечения. Камень на гробе – окаменение сердечное. Обязан Лазарь укроями – пленниками духовными ум связанный. Воскресение Лазарево – покаяние от грехов».

Вдумаемся в этот отрывок, и мы заметим в нем поворот духовный, диаметрально противоположный направлению, в котором шли «буквенники». Факты, в Евангелии переданные, – история спасения рода человеческого, там записанная, – как бы бледнеют здесь, затуманиваются перед духовным взором читающих; искупление, как совершившийся факт, как твердая опора *позади* нас, из которой мы *исходим*, на *основании* которой индивидуально каждый из

нас спасается,— не ярко ощущается; пройдет немного времени, еще поколение сменится, и станет возможно понимать это искупление как *задачу*, как *работу* духа, как факт, *продолжающийся* теперь, *снискиваемый* собственными нашими усилиями. Что такое Евангелие, как не посох, на который мы опираемся, бродя и *ища* этого спасения? Это — собрание небесных глаголов, святые строки, под которыми мы должны *разгадывать* подлинную мысль Саваофа. Главное — *объект* спасения, я сам, моя грешная *душа*: об этой овце погибающей писано Евангелие. Внимание отходит от писаной книги Божией, оно скользит по ней каким-то боковым рассеянным взглядом, и всей силой падает внутрь другой, не писаной, а созданной, *вещной* книги Божией — самого человека. Вот — загадка; вот — книга, которая испорчена первородным грехом, в которой истинное сплетено с ложным, святое с лукавым, свет с тьмой и правильный текст которой нужно и предстоит восстановить при помощи писаной Божией книги, где нет лукавства. Таким образом, задача послениконийских времен, понятая «староверчеством» как задача спасения древних книг и обряда, древнего типа святости,— преобразившись и одухотворившись, выразилась здесь как задача огромной внутренней работы. В следующем духоборческом стихе ясно высказался этот разрыв с преданием, это отпадение от буквы, неопределенность новых наступивших блужданий:

Стечемся, братие,
Во храм *нерукотворный*.
Поклонимся *духом*
Истинному Богу.
Он един услышит нас,
Явит нам спасение,
Проявит милость многу
На свое творение.
Возопием, братие,
Мы устами духа:
Услыши нас, Господи,
Не затвори слуха!
Сотворивый разумам
Весь мир, всю природу,
Даруй нам, рабам твоим,
Вечную свободу.
Да внемлем словам Твоим,
Разумным слухом,
И летим к Тебе, Боже,
Свободным духом.
Да ищем в премудрости
Мы Твоей *познанья*;
Не лиши рабов Твоих,
Боже, *упованья*.

В этом стихе мы ясно чувствуем потерянной почву Православия, почву церковного строительства, уже имевшего место восемнадцать веков. Прекрасные, благородные усилия, которые, мы ожидаем, оборвутся...

II

В усилиях, которые человек делает к спасению, он *помогает* действию над собой благодатных сил Божьих. Он должен *возбуждать* в себе эти душевные течения и искать для этого возбуждения *средств*, не пренебрегая даже физическими, если б они нашлись; и, раз возбужденные, эти течения движутся, как и благодатные, *смешиваясь* с ними, им *родственные*, к ним *близкие*. Вот точка отправления «*Божьих людей*», «*пророчествующих*», генетически связанных с покойными, созерцательными ветвями духоборчества, как *молоканство**, которое удержалось на первоначальной, неопределенно-общей ступени духоборческого искания. Самая узкая, но и вместе страстно-глубокая ветвь духоборчества, порвав почти всякую связь с христианством и только обнимая имя Иисусово, бросилась в головокружительную бездну нового религиозного созидания. Она потеряла границу между человеческим и Божеским; Бог перестал быть для этих людей «премирным» (термин отцов церкви Александрийской школы); Он приблизился. Он обнял дух человеческий, встревоженный, взволнованный, и вот – «*пророчествующие*». Слова Иоила: «И будет дни, глаголет Господь, излию от духа Моего на *всякую* плоть, и *прорекут сынове ваши и дочери*», они чувствуют – эти слова сбылись, сбываются. Понятно слишком, что наша завещанная древностью литургия, эта *фактическая* литургия, где всё есть *установленное* действие и каждое действие есть воспоминание *бывшего* факта, не могла бы ничего выразить у них, перестала быть им нужною; так же как перестали быть нужными и что-нибудь выражающими и формы нашей молитвы. Для нас молитва есть *обращение* к премирному Богу, это – моление, которое будет услышано или не услышано: мы остаемся при нем пассивными или, по крайней мере, в страдательном положении; для них – это *общение* с Богом, это слияние сил своих с Божескими, некоторое состояние экстаза, исполнение движения. Отсюда возникновение, естественное развитие так называемых «*радений*» – явления, столь невыразимо странного, на наш взгляд, – у *христовщины* (в просторечии называемой «хлыстовщиною»). Радение – то же, что работа, труд, движение, в религиозных целях совершаемое; «*работа Израилева*», как называют эти радения сами «хлысты». Общины, или «*братства*», хлыстовские, очевидно, чувствуя странность своего положения среди Православия, как бы смещенность свою с его почвы, которую, однако, они продолжают любить и чтить, называют себя «*кораблями*» – характерное название, выражающее чувство разобщения с морем осталь-

* В исследованиях, по поручению правительства сделанных, не раз указывается, что «есть какая-то связь между хлыстовщиной и молоканством». Но это связь психологическая, а не фактическая.

ных людей, среди которого они одиноки не столько в вере, сколько в способах верить, думать, уповать, молиться, в самом *методе* спасения. На так называемых «корабельных радениях», т. е. *общих*, куда собирается *всё* братство, всегда в ночь перед большим праздником, нашим *православным* праздником, они после торжественного пения опять *нашего* православного канона: «*Боготец убо Давид пред санным ковчегам скакаше играя; людии же Божий святии образов сбытие зряще, веселимся божественне*» (поется на Св. Пасхе) – уносятся в вихре головокружительной пляски. Удивительно наблюдать сочетание этих оборванных кусков Православия с потоком религиозного конвульсионерства, не имеющего ничего общего ни с одной христианской церковью, – эту память, которая лепится к *своему прошлому, историческому*, и, очевидно, не в силах была противостоять новым порывам. В длинных и широких белых рубашках – символ «убеленных» одежд, о которых говорится в XIV главе «Апокалипсиса», – они прыгают, трясутся, кружатся (неизменно «посолонь», как в дониконовской церкви), кружатся то в одиночку, то «всем кораблем», то образуя фигуру круга, то – креста, до изнеможения, до полного упадка сил, после которого «шатаются, как мухи». Без сомнения, как всякое чувство в нас вызывает движение, так и обратно – движения, по крайней мере некоторые, особенные, могут если не зародить, то усилить уже имеющееся чувство, ускорить его темп и, следовательно, напряженность. Кружение, как средство довести до величайшего напряжения религиозно-вакхический экстаз, было, вероятно, постепенно найдено, «открыто» хлыстами и несколько не было заимствовано ими от малоизвестных древних сект. Таковы были «галлы» и «корибанты», буквально – «головотрясы», в позднюю греко-римскую эпоху; у римлян – коллегия жрецов-«салиев», то есть «скакунов»; и еще ранее подобные же религиозные пляски исполнялись в Древней Финикии и Сирии. Мы назвали это религиозно-вакхическим экстазом; действительно, роль опьянения испытывается ими при этом, как это просто душно выражается крестьянами-хлыстами: «То-то *пивушко-то*, – говорят они после радения и поясняют посторонним: – Человек плотскими устами не пьет, а *пьян живет*». Если мы вспомним, что сущность учения «христовщины» есть аскетическое воздержание от мяса, вина и брачных отношений, мы слишком поймем необходимость и как бы невольность этих психических опьянений. Связь их, собственно, с «пророчеством» ясна из того, что всякий, кому указывает наставник или кто сам хочет *стать на святой круг*, т. е. начать пророчествование перед «кругом»* братьев и сестер, предварительно непременно кружится, очевидно, возбуждая себя. Приведем для характеристики их религиозных представлений следующую песню хлыстов-скопцов:

* То же, что «круг», «рада» у казаков; происхождение слова, очевидно, южнорусское. Можно высказать предположение, что как Кондратий Селиванов, избрета скопический акт, стал «богом» у некоторой части хлыстов, так Данила Филиппович был обожествлен всю сектой хлыстов, собственно, за изобретение опьяняющего кружения, положившего начало их секте.

Царство, ты Царство, духовное Царство!
Во тебе, во Царстве – благодать великая:
Праведные люди в тебе пребывают.
Они в тебе живут и не унывают,
На Святого Духа крепко уповают...

.....
В том ли во Царстве сады превеликие;
В тех ли во садах древа плодovitые.

.....
Растите ж вы, деревушки, и не засыхайте,
Белыми цветочками всегда расцветайте;
Вы, цветы, цветите до Царства Небесного.
Будьте вы, деревушки, первые во саде;
Будьте во главе во Царстве Небесном,
Будьте вы любимы Отцу и Сыну,
Отцу и Сыну и Святому Духу!

Круг, в котором вертятся *Божьи люди*, они называют *вертоградом*, а составляющих его братьев и сестер – «вертоградными и садовыми *древцами*». В песне образно представляют они себя и свое отношение к Небесному царству.

III

Духоборчество закончилось в скопчестве – секте, которая возникла в 60-х годах прошлого века среди «хлыстов». Слишком много сошлось течений в нем, которые все подводили к заключающейся в этой секте мысли, чтобы она могла не появиться позднее или ранее. И прежде всего – *возвеличение человека*: средоточение постоянных восходящих и нисходящих религиозных токов, вечно ожидающий на себя «излияния св. Духа», предсказанного пророком Иоилем и подтвержденного ап. Петром «всякой плоти в последние дни», он мог не только принять свои экстазы за подлинно боговдохновенные, но и почувствовать, что эта боговдохновенность течет из него самого, что он сам есть источник Божеского или близкого к Божескому. Отсюда странные, невероятные представления, бродившие уже у Божьих людей еще в середине прошлого века. Сходясь, они испытывали силу духа друг друга – не забудем, что это совершалось в среде простого крестьянства, – вот среди людного собрания, «корабля», раздается удар по лицу: окровавленный «брат» не только удерживается от ответа, но и подставляет «другую ланиту», исполняя точно слова Евангелия. Чем большее может перенести *Божий человек* – тем более полон он божественных сил. Сшибленный с ног, слыша нестерпимую обиду в слове, он молчит, чтобы завтра иметь возможность гордо сказать обидчику: «*Мой Бог больше*», т. е. *во мне больше, чем в тебе, Бога*. Иногда это выражалось даже в словах:

«Я – больше *Бог*» – «О, и куда же *твой* Бог велик!» – говорила Селиванову, еще неизвестному бродяге, одна «пророчица» хлыстовского «корабля», которая вступила с ним в род духовного состояния и была побеждена. Отсюда – необыкновенные знаки внешнего почитания, какие оказывали при встрече друг с другом эти люди. «Брат», встречая где-нибудь «брата» или «сестру», – если не было никого посторонних – крестился и клал земной поклон «перед образом и подобием Божиим». Представление о богоподобности человека было, таким образом, уже вполне развито в среде «*Божьих людей*», откуда вышло скопчество; оно было вполне там привычно: они все были маленькие «божки» и не были вовсе поражены, когда, затмевая их, отменяя их «пророков», среди них поднялся «большой бог», сам «Спаситель Иисус Христос»*.

Далее – идея аскетическая, собственно скопческий акт. Та «вечная свобода», о «даровании» которой просят духоборцы в приведенном выше стихе, не имеет ничего общего с именем свободы, которое употребляем мы. Их «свобода» – это свобода духа от телесных уз. Ради нее они «вертятся», и тогда душа воспаряет на крыльях – они «пророчествуют»; но это – экстаз, момент: он прошел, и душа снова в узах тела. Естественно, могла и должна была возникнуть мысль о *длительном средстве* освободиться от этой тягостной оболочки, от вечно язвящего, кусающего, *живого* греха, который мы носим в своем теле. И «радение» – тоже физическое средство, уже найденное, могущественное, но только минутное. Внешнее искажение себя – оно близко, оно ходит около всякого конвульсионерства, если последнее есть средство, *усилие* к экстазу. Наконец, последняя идея – вторично нужного и возможного «искупления». Мы уже сказали, как бледно, слабо духоборцы ощущали всякий *факт* и ярко чувствовали *надежду*. Вследствие этого вся Библия и Евангелие осветились для них как одно великое пророчество, как зов или как прообраз внутренних духовных отношений в человеке: *не было* беседы Иисуса с самарянкою «в деле», *не было* вшествия Иисуса в Иерусалим, воскресения Лазаря – были только «*притчи*». Итак, весь акт искупления, уже совершившийся, который они не смели отвергать, поблек для них в себе самом и от этого именно осыпался в своих подробностях. Имя Иисуса было постоянно на их устах; все собрания хлыстов открывались и до сих пор открываются этой песней:

*Дай нам, Господи, к нам
Иисуса Христа.*

* В «Страдах» Селиванова (род автобиографии) можно видеть, до чего скопческая мысль стала *тотчас понятна* хлыстам и вместе *испугала* их, до чего почувствовали они беззащитность свою против этого вывода из собственных психологических посылок: они хотели его убить, его — искалеченного «молчанку», донести на него властям, и в то же время провозгласили его «богом над богами, пророком над пророками».

От имени постоянно призываемого Христа и, до известной степени, от этой песни, которой они придают необыкновенный мистический смысл*, они получили самое имя «христовщины». Но это – именно Иисус, о котором они говорят к Богу: «Дай! Дай!» – неисследимо перенесшийся из прошлого в будущее; из факта в ожидание; и это напряженное ожидание разрешилось.

IV

Брак есть не только таинство, но и величайшее из таинств: рождаясь, умирая и наконец вступая в брачную, т. е. глубочайшую связь с человеком и человечеством, каждый из нас подходит к краю индивидуального бытия своего, он стоит на берегу неисследимых оснований личного своего существования, понять которые никогда не может и только инстинктивно, содрогаясь и благоговей, ищет освятить их в религии. Вот почему не святая и не истинная всякая церковь, которая не понимает этого акта именно как религиозного таинства, – и, наоборот, религия, церковь, секта настолько открывает свою содержательность, насколько глубоко и проникновенно смотрит на этот акт. Скопчество поэтому есть отрицание всего священного: это есть другой полюс не только христианства, но и всех религий. Нельзя достаточно отвергнуть, достаточно выразить отрицательных чувств к нему: всё человечество, вся тварь Божия должны бы восстать на него и выбросить, как величайшее свое отрицание, как некоторое nefas**, одна мысль о котором приводит в содрогание. Оно должно быть сброшено именно как мысль, как предствление, как возможность, и не только с человека, но и со всякого животного. Скопить – это ругаться над природой, и человек, как господин ее и покровитель, должен бы не только не допускать его в себя, в свой род, но и не допускать его ни до чего живого. Если вносимы были некогда войны в целях уничтожения невольничества, по простому чувству отвращения к нему, насколько более оснований внести оружие для освобождения стран от этого беззакония (восточные евнухи), перед которым рабство есть сама святость и человеколюбие.

Тем ужаснее, что между 60-ми годами прошлого века и 1832 годом оно разыгралось у нас. Мы уже сказали, что оно представляет собой апогей духоборчества, что все течения в «христовщине» сошлись к тому, чтобы произвести его. Приведем несколько мест из «Послания» основателя секты, из которых ясно станет, что собственноскопческий акт только заканчи-

* Хлысты, равно как и скопцы, уверены, что эта песня (довольно бессвязный набор слов) есть та самая неповторимая или для кого песня, которую, по «Апокалипсису», поют старцы перед престолом Божиим; они уверяют, что, кроме самих льгот (и скопцов), этой песни пропеть, как нужно, никто не может, и даже не может всякий, уже вышедший из их секты.

** беззаконие (лат.).

вает *общие* духоборческие настроения. Заметим, что *леностью* он называет плотское вождление, ясно разумея здесь не один физиологический процесс, но всякое влечение к красоте, всё «прилепляющее» к себе человека, а самое оскпление он называет *чистотой*.

...«Берите все истинного Отца нашего крепость, чтобы ни малейшая не одолела вас сладость греха. Многие от пагубного вождления Учители учительства и Пророки пророчества, Угодники и Подвижники своих подвигов лишились, не доходили до Царства Небесного. Все они лишились вечного блаженства, которое истинный ваш Бог Искупитель обещал любящим его и соблюдающим чистоту и девство. Ибо единые девственники предстоят у Престола Господня*, а чистые сердцем зрят на Бога Отца лицом к лицу**... Чистота же есть от всяких слабостей удаление, как-то: в начале от женской лениности, а потом от клеветы и зависти, от чести и тщеславия, от гордости и самолюбия, от лжи и празднословия; словом, чтоб от всех пороков и слабостей сердца ваши были чисты и совесть ни в чем не была бы замарана. Имейте всегда перед собой целомудрие; и оное состоит также не в одном слове, но заключается в нем многое, а именно: дабы и ум ваш был от всего свободен и на всем непоколебим, во всяком случае был бы цел и здоров,— и ниже сердце свое занимать какою-либо видимою суетой, или умом и сердцем прилепляться к тленному богатству, а равно и к лепости... Преклоните головы и обратите сердечные ваши очи внутрь себя, и уразумейте: *какая польза именоваться Христианином, а жить крайне нехристиански, отвернуться от мира и потом паки миру подражать, и в таких же слабостях и неразумении пребывать?* О, страшно о таких изрещи, и утробушка моя болит о всех грешных, что через нерадение и слабость лишаются вечного блага и вечного царствия... Предохраняя вас от всех слабостей и лепости: от ней и в прежние времена многие тысячи праведных душ погибли, и великих Угодников и Столпников женская лепость свела в муку вечную. Еще прежде говорил вам и ныне напоминаю: не судите друг друга, а един судья у вас Отец Искупитель; вы же между собой имейте любовь, совет и согласие; плевел и клеветы друг на

* Намек на начало 14-й главы «Апокалипсиса», вообще образующей, конечно, при ложном понимании, закваску скопчества; мы приведем здесь эти важные слова: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним 144 тысячи; у которых имя Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гусях своих: они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники суть; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред Престолом Божиим».

** Намек на заповедь блаженства в Нагорной проповеди Спасителя: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят».

друга не чините, а каждого покрывайте своею добродетелью. Ибо любовь многие пороки покрывает и на оной основана церковь Христова, а без любви пост и молитва и прочие подвиги ничто же есть. А по сему призирайте сирот и питайте видимым хлебом; а паче призрите самого Господа внутренним болением, слезами и воздержанием...»

Так писал эту, в своем роде «Крейцерову сонату» также апостол чистоты и любви; он считал себя реформатором, но только не общеморальным, а религиозным. Он ясно понимал, что нечто завершает, что достиг того, что ранее его не было никем достигнуто: «благодать (т. е. учение) у них чистая, да плоти коварные», говорит он о всех прежних, до него бывших учителях, и еще в другом месте – определение: «У старых учителей и пророков благодать была по пояс, а я принес полную». Так этот тульский мужик, села Столбова, Писание читавший, но писать не разумевший*, понимал себя. В конце «Послания» своего, во многих отношениях замечательного, он объективирует себя и чрезвычайно ясно характеризует свою историческую роль, как сам ее понимал:

«По сырой земле странствуя, ходил и чистоту (оскопление) всем явил. На колокольню входил и одной рукой во все колокола звонил, а другой избранных своих детушек манил и им говорил: «Подите, мои верные, избранные, со всех четырех сторонушек: идите на звон и на жалостный глас мой; выходите из темного леса, от лютых зверей и от ядовитых змей; бегите от своих отцов и матерей, от жен и от детей. Возьмите только одни души, плачущие в теле вашем! А почто ты, человек, нейдешь на глас Сына Божия и не плачешься о грехах своих? Который толико лет зовет тебя от утробы матери твоей телесной? И почто не ищешь Душе своей Матери Небесной, которая воспитала бы душу твою благодатью и довела бы до Жениха Небесного? Он возводит с земли на небо, где ликуют души верные и праведные, Преподобные и Мученики, Пророки и Пророчицы, Апостолы и Учители, наслаждаясь вечной радостью и зрением Его красоты». На сей мой жалостный глас и колокольный звон некоторые стали от вечного сна пробуждаться и головы из гробов поднимать и из дна моря наверх всплывать и из лесу ко мне выходить».

V

Он понял себя «Искупителем»; он понял, что «глава Змия» вовсе еще не стерта «семенем Жены», как обещано было павшему человеку от Бога, что и теперь, как всегда, жало греха язвит человека «в пятую», и бессильно он «поражает его в голову». Благодать учения есть, а благодати факта нет. Он принес самый факт; он совершил вторую и труднейшую половину искупления и также запечатлел это своею кровью. Слова Спасителя, иносказательно

* «Послания», равно как и «Страды», род автобиографин, записаны учениками его со слов, но буквально.

понимаемые Церковью, ему представилось, никогда ею *не были замечены*: «Суть скопцы, иже из чрева материя родишася тако; и суть скопцы, иже скопишася от человека; и суть скопцы, *иже исказиша сами себе Царствия ради Небесного* (Матф. XIX, 12). Но можно отгадывать, что если эти слова послужили для него опорой, если на них он утвердился, то *паманили* его не они. В секте «пророчествующих» заветы и требования как Библии, так и Евангелия вовсе не исполнялись твердо, и поэтому основателем скопческой ереси не было принято во внимание прямое повеление Моисея: «Да не входит каженник и скопец в сонм Господень» (*Второз.*, XXIII, 1). Всё манящее, всё значащее для «Божьих людей» заключалось в пророчествах, и вот, без сомнения, чудный заключительный образ «Апокалипсиса», где после Суда над миром показываются 144 тысячи праведников, «искупленных от греха, первенцев Богу и Агнцу», и поясняется о них, что это – те, которые «с женами не осквернились, но сохранили чистоту девства», – этот зовущий образ пал глубоко и рано в душу основателя новой секты. Слова этого видения постоянно путаются в речи его, главным образом в большом «Послании», где он изложил свое учение, и, вне сомнения, истинное основание, *мотив* скопчества – в нем. Селиванов в точности был девственником, не физически, но по самой структуре души; из всех идеалов христианства: любви, милосердия, незлобивости – идеал чистоты физической и неоскверненности воображения всего глубже поразил его. «Когда меня везли в Иркутск, было у меня товару (*т. е. благодатного дара, особенной его «чистоты»*) за одной печатью; из Иркутска пришел в Россию – вынес товару за тремя печатями». Он трижды произвел над собой страшную операцию, всякий раз чувствуя, что еще след мысли и вожделения остается в нем. Что-то духовное, почти *личное*, есть в его гневе против *этой* формы греха. Он хочет «трех весь изодрать», «разорю на земле всю *лепость*», восклицает он в другом месте «Страд». По-видимому, мысль свою он считал неотразимо обоснованной; он не сомневался в присутствии своего идеала у всех людей (он присущ *всем* ветвям духоборчества), но видел, что всем им недостает универсального средства, которое вот наконец он «открыл». На это, т. е. на сознание могущества своей мысли, есть намеки в автобиографических «Страдах»: он передает не без радости чаяния, как после первого ареста солдаты, примкнув его штыками, говорили: «*Его убить бы надо, да указу нет; не подходите близко – это великий престлник, он и Царя обольстит, недовольно что нас*». – «Называли меня *волхвою*, как и Христа иудеи», – добавляет он. Ему, тульскому темному мужику, собственная мысль – без сомнения, плод многолетних размышлений и чтения с «отметинами» всего Писания – представлялась волшебной-непобедимой, как некоторая новая математическая формула. Привезенный из Иркутска в Петербург по повелению императора Павла, он, как только был представлен ему, открылся и предложил принять «свое дело», за что немедленно был посажен в сумасшедший дом. Но «прелесть» открытия его уже действовала: «искупленные от земли» апокалипсические человеки употребили все усилия и добились для своего «Бога», для «Батюшки-иску-

пителя»,— свободы. То, что мы читаем по документам, хранящимся в архиве Петербургской градской полиции, в «делах» от 1801 по 1820 год, превосходит всякое вероятие. В эпоху конгрессов, Сперанского и потом Аракчеева, когда не смела дрогнуть не так, «не по закону», ни одна былинка,— в Петербурге на глазах высшего правительства образуется общество и деятельно распространяет учение о «Сыне Божии», «Иисусе Христе», «вторично сшедшем на землю Искупителе», который есть вот этот седенький столетний старичок, с ласковым лицом и «необыкновенно нежным взглядом», перед коим поются гимны, молитвы тысячными собраниями в доме Солодовникова. Высшие сановники — Кочубей, Голицын, Толстой, Милорадович — ведут секретную переписку об «этом Старике», который нигде в документах не назван по имени; к нему посылаются, «для некоторого переговора», директор департамента Министерства народного просвещения, сам позднее принявший учение секты; еще посылаются чиновники для осмотра дома, где он жил; и едва, через 20 лет, с величайшими предосторожностями, ввиду все возрастающей численности общества, его виновник высылается в Спасо-Евфимиевский Суздальский монастырь, с секретным наставлением от митрополита Петербургского Михаила настоятелю монастыря обходиться бережно и внимательно «с сим начальником секты, именующим себя и от единомышленников своих называемым Искупителем и Спасителем» (препровождено к архимандриту Досифею при отношении министра Вн. Д. гр. Кочубея от 7 июля 1820 г. за № 140).

Одна из величайших фантазмагорий нашей истории, может быть — даже истории всемирной. Мы попытались дать ее психологию. Тут не было обмана*; был чудовищный самообман, самообман всего духоворчества. Несколько слов мы скажем и считаем *нужным* сказать о логике этой иллюзии**.

* Ни в «Страдах», ни в «Посланиях» Селиванова нет даже намеков о его царственном происхождении, и, очевидно, эта легенда возникла вокруг него, но шла не от него. Она и обнаружилась впервые в *Херсонской губернии*, когда Селиванов жил в Петербурге.

** При чтении «Исследования о скопческой ереси» Надеждина, а потом и самых документов, главное «Страд» и «Послания» Селиванова, впечатление получается настолько сильное, что некоторое время вам кажется, что вы читаете историю какого-то нравственного «свято-преставления», что-то апокалипсическое, чудовищное, не вписуемое вовсе в «гражданскую» и «политическую» историю человечества, выбрасывающееся из рамок всего этого. Нет сомнения, бездна мощи и логики, но главное — бездна *заблудившейся* совести положены в основание секты. Чтобы судить о силе всего брожения, из коего вышла секта, достаточно упомянуть о «друге-наперснике» Селиванова Ал. Ив. Шилове, который «произошел все веры и был перекрещен, и во всех верах был учителем, а сам говорил всем: *Не истинна наша вера и постоять не за что. О, если бы нашел я истинную веру Христову, то бы не пощадил своей плоти! Рад бы головушку свою сложить и отдать бы плоть свою на мелкие части раздробить!* В «математическом секрете» спасения, какой «открыл» Селиванов, он наконец нашел то, за что бы «раздробить плоть свою». Характерно его восклицание, когда его озарила новая «благая весть»: *«Вот кого надо и кого я ждал сорок лет — тот и идет. Ты-то (то есть Селиванов) — наш истинный свет и просветил всю тьму, осветил всю вселенную, и тобой все грешные души просве-*

Темная деревня, Селиванов поднялся на грех, как на медведя с рогатиной, со всей ее силой, но и со всей неосмотрительностью. Он забыл о грехах *воспоминания*, о грехе *представлений* — этом истинном грехе, против которого не дал средств, обрезав только *исполнение*. И далее — допустим это соображение неправильным, допустим, что «чистота» его освобождает и дух, — какая польза победить мертвый грех? Где заслуга перед Богом? Нужно восходить, усиливаться, побеждать *живой* грех, вот *этот*, который кусает, жжет, манит, а не тот, который *был* и его нет более. Его «искупление» есть какое-то деревянное искупление, мертвое, безблагодатное. Бог не напрасно, дав благодать на учения, оставил в теле ниспадение долу: усиливайся, восходи, снискивай Царство Небесное — это тернистый путь, это узкая дверь, на которую Он указал человеку. Но оскропленные — каким путем они идут? где эта суженность *существующих* у них желаний? где тернии отречения? Их ничто не соблазняет — и они так же мало имеют чистоты отречения, как я отрекаюсь от богатств Сиамского короля, которые мне не принадлежат. Они поклоняются, с крестным знаменем, «образу Божию» друг в друге: но зачем они *исказили* Его? Их преступление против Бога страшнее, чем против человечества: ибо Бог *дал*, и Он же может Единый отнять даже самонаименшую черту из своего (подобия). Своим произволением они сняли искусы с себя; они выкинули испытание прижизненное — для чего живут они?

Но, ясно, видя логику фантома, мы должны проникать в его *особую* психику. Совершенно ложно всё, что пишет Надеждин («Исследование о скопческой ереси», печатано в 1845 г. по распоряжению министра Вн. Д., у Кельсиева, т. III) и что обычно предполагается о «скорбном» чувстве членов этой секты, о мучительных сожалениях, о духе пропаганды*, вытекающем из «чувства их преступности»; грубо ошибочны также все аналогии их с *подневольными* евнухами Востока. Они принимают оскропление своею волей. После торжественного пения «всем собором» тропаря Пятидесят-

тятся, и от греховных узлов развяжутся — и тебе я с крестом поклоняюсь! Кто как хочет, а я тебя почитаю за Сына Божьего». Все мысли об обмане Селиванова должны быть, безусловно, оставлены; за исключением того, что он был еретик и невежда, он был, безусловно, праведный, т. е., *если бы не заблудился*, — святой человек. И то, что безграмотный мужицкий мальчишка, с изумительным и *истинным* идеалом в душе, не был взят своевременно в семинарию и потом в академию, — это несчастье породило самую чудовищную на земле секту и лишило Православие не только великого подвижника святости, но, может быть, и могущественнейшего из словесных учителей. Ибо его «Послание», за исключением одного пункта помешательства его чудовищного «изобретения», есть в точности послание святого человека, его религиозный феномен.

* Пропаганда имеет достаточное объяснение в числе 144 тысяч «искупленных от земли» по «Апокалипсису», восполнить которое усиливаются скопцы, и тогда ожидают обещанного конца мира. Поэтому, по их верованию, оскропивший 12 человек, каков бы ни был в других грехах, уже заслужил Царство Небесное. См. у *Кельсиева*.

ницы, нашего тропаря: *Благословен еси Христе Боже наш, иже премудрые ловцы являй, и тел уловляй вселенную*, – поступающий вновь «брат» приносит, держа в руках икону старого письма, следующие слова: «Пришел я к Тебе, Господи, на истинный путь спасения не по неволе, но по своему желанию и обращаюсь про дело сие святое никому не сказывать, ни царю, ни князю, ни отцу, ни матери, и готов принять гонение и мучение, только не поведать врагам тайны». Многочисленные, чисто *народные*, следовательно без всякой придуманности, скопческие стихи – все в грубо-мажорном тоне: восторг, победа – *легкая победа*, скажем мы, – слышится во всех них. Они теперь, после забытых мучений минутной операции, –

Чистые, непорочные.

Грехом тяжким не доточные (*недоступные*), –

вознесенные над нашим уязвляемым миром, над грехом и проклятием, в своем роде – *потусторонние* люди. «Твой конь бел и смирен» (т. е. плоть очищена и укрощена), – не без зависти сказала Селиванову, в темную пору его скитаний, хлыстовская «пророчица», первая объявившая его, в опьянении удивления, «богом над богами, царем над царями, пророком над пророками» (*Кельсиев*. Т. III. Приложения). Так все они чувствуют. Струя восторга слышится во всех их писаниях: «Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес» – так начинаются все «Послания», «Страды», даже частные их письма. Любимые песнопения – Пасхальные; ничего – заунывного; полное господство идеи победы над грехом. Страшен только порог переступания в эту *потустороннюю* жизнь, только акт решения. Вполне трогательны и проникновенны слова «прощающегося» с миром, «новика», перед тем как переступить этот порог: «Прости небо, прости земля, прости солнце, прости луна, простите звезды, простите озера, реки и горы, простите все стихии небесные и земные» (*Кельсиев*. III, 139). Он знает, что еще таким же, *прежним* взглядом он уже не взглянет на эти стихии, что переменится *он* и переменятся для него *они*. Но вот акт совершен: *тот* мир остался позади, и в новом мире, на «радении», раздаются такие истинно вакхические песни:

Уж как царь Давид по садику (*то есть братству их*) гулял,
Я люблю, я люблю!

Он по садику гулял, во свои гусли играл,
Я люблю, я люблю!

Звонко в гусли играл, царски песни распевал,
Я люблю, я люблю!

Полно други спать, есть время восстать,
Я люблю, я люблю!

Еще есть время восстать, ключевой воды достать,
Я люблю, я люблю!

Я еще люблю Саваофа в Небеси,
Я люблю, я люблю!

Я за то Его люблю: небо, землю сотворил,
Я люблю, я люблю!
Небо, землю сотворил, солнце, месяц утвердил,
Я люблю, я люблю!
Солнце, месяц утвердил, небо звездами украсил,
Я люблю, я люблю!
Небо звездами украсил, своим гласом прогласил.
Я люблю, я люблю!

(Кельсиев. Т. III. Прилож., с. 74).

Или еще следующая, несомненно поющая в момент самого верчения, судя по ее смыслу и тону:

Ай, кто пиво варил,
Ай, кто затирал?
Варил пивушко Сам Бог,
Затирал Святой Дух.
Сама Матушка сливала,
Вкупе с Богом пребывала;
Святые Ангелы носили,
Херувимы разносили,
Херувимы разносили,
Серафимы подносили.
– Скажи ж, Батюшка родной,
Скажи, Гость дорогой!
Отчего пиво не пьяно?
Али гостям не рада?
Рада, Батюшка родной,
Рада, Гость дорогой,
На святом кругу гулять,
В золоту трубу трубить,
В золоту трубу трубить,
В живогласну возносить!
Богу слава и держава
Во веки, аминь (Там же).

VII

«За всем тем, при внезапном посещении домов, которые вовсе не считаются раскольничьими, замечены были очевидные признаки раскола, как то: *лестовки* с треугольниками, то есть особого рода четки; *подручники*, род подушечек, подкладываемых при земных поклонах под руки; *кадильницы*, медные и глиняные, употребляемые при домашнем молитвословии; прибитые над воротами и расставленные в избах на полках *кресты осьмиконечные*, от

3 вершков до $\frac{1}{2}$ аршина и более длиной, почти все без титла. I. Н. Ц. I., с заменяющей ее подписью ИС ХС СНЪ БЖИЙ, с нерукотворным вверху образом Спасителя вместо изображения Господа Саваофа, с солнцем и луной на краях большого поперечника; старинные иконы; разные апокалипсические изображения, в том числе поражение Антихриста на коне, в воинской одежде и каске; надписи над дверьми с изречениями св. Отцов; непрерывное повторение хозяевами при входе чиновника молитвы: *Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас*, – частое повторение которой раскольники считают достаточным для спасения и защиты себя от нечистой силы; чтение молитв по скитскому уставу, с лестовкой в руке, и прочее т. п.» (*Кельсиев*, IV, 3–4).

Так писал в докладной «Записке» своей министру внутренних дел в 1852 г. некоторый «ст. сов. Синицын». И вот нам почему-то думается, что, сопоставив ту буйную религиозно-вакхическую песнь с отрывком из этой официальной записки, мы поймем многое. Там – оскпление телесное ради духа, здесь – скопчество духа ради покоя телесного; забыв уже Церковь – там уносятся в буйное кружение, здесь не рожденные в Церковь – прикидывая аршин, вымеряют кресты и «официально» записывают изображения на его «поперечнике». Два полюса, две несоизмеримые величины, две не ощущающие друг друга категории – вот наш раскол и мы, ему противостоящие.

Еще две-три выписки из официальных документов, и всё станет в этом расколе до чрезвычайности ясно:

«С полученной от настоятеля запиской беглый перекрещенец, где бы ни проходил по беспоповщинским селениям, всюду снабжается приютом и продовольствием» (*Кельсиев*, II, с. 113; из «Краткого обозрения расколов, ересей и сект» *Липранди*).

«Итак, вот – христианское братство, взаимопомощь; у нас – homo hominī lupus est*. Взглянем на быт, как продукт этого нравственного строя:

«Природные буковинские староверы (*липованы*)» вообще отличаются трудолюбием, трезвостью и тихими, миролюбивыми нравами. Их почти не слышно в крае, хотя они всюду попадают на глаза, резко отличаясь от туземцев своей русской физиономией и русским нарядом. Мне довелось видеть огромное сборище их в Сучаве по случаю праздника Иоанна Сучавского, совершаемого 24 июня. Тут было их до нескольких сот обоего пола, и между тем я не заметил между ними ни пьянства, ни буйства, не слышал даже шумных, разгульных песней, обыкновенно сопровождающих праздничные собрания русского простонародья. Туземные хозяева чрезвычайно дорожат ими как работниками; а правительство не может нахвалиться их смиренным, спокойным поведением. Со времени утверждения владычества австрийского не было примера уголовных преступлений и даже видимых полицейских беспорядков, в которых бы замешаны были липованы» (*Кельсиев*, I, стр. 94; записка Надеждина «О заграничных раскольниках»).

* человек человеку волк (*лат.*).

Раскол есть восхождение к идеалу, усилие к лучшему в том самом типе бытия и развития, в котором находимся мы на очень низкой ступени:

«Не в шепоти состоит дело, — учат последователи Ефимия, основателя секты бегунов; печать Антихриста, сияющая на слугах антихристовых, не значит шепоть или крыж — но *жизне*, согласное с мыслью Антихриста, но *подчинение* ему, как Христу, но *исполнение* во имя Христа — законов в духе Антихриста, презрение к вере при всем наружном к ней уважении, порабощение Церкви, измена древним обычаям» (*Кельсиев, IV, с. 327; записка гр. Стенбока «Краткий взгляд на причины быстрого распространения раскола»*).

И, как общее этого следствия, — вот взгляд на раскол православной народной среды:

«Распространено и утверждено в простом народе повсеместно сильное предубеждение, что раскольничья вера — святая, настоящая христианская, что в одной только этой вере и можно спастись и что вера Православная, или, по народному названию, *“вера по церкви”*, есть вера мирская, в которой невозможно спастись среди трудов и сует житейских. При входе в крестьянские избы я часто был встречаем словами: *“Мы не христиане”*. На вопрос: *“Что же вы, нехристи?”* — отвечали: *“Как же, мы во Христа веруем, но мы по Церкви, люди мирские, суетные”*. — *“Так отчего же вы не христиане, если веруете во Христа?”* — *“Христиане те, что по старой вере; они молятся не по-нашему, а нам некогда”*» (*Кельсиев, IV, с. 45–46; из «Записки» ст. сов. Синицына**).

Итак, вот поддающаяся перед расколом среда: она поддается с сознанием, что она — не идеал; уступает как низшая ступень того же развития перед высшей; склоняет перед расколом голову, как обычный церковный приход перед строгоуставным монастырем.

Есть затруднения исторические, неразрешимые ни для каких усилий искусства и ума, но разрешающиеся простым *честным* взглядом на дело. Таковы были в начале XVI века затруднения с зарождающейся Реформацией; в конце XVIII века — с готовящейся революцией; вообще все явления совести или где *завита* совесть.

* В общем, при недостатках внешнего отношения к религии, официальные записки, перепечатанные в Лондоне Кельсиевым, составили бы, если бы были опубликованы во всеобщее сведение, великую честь для Министерства внутренних дел. Никогда нельзя было предполагать, чтобы наш чиновный мир был так деловит, серьезен и даже граждански мужествен: факты, им собранные, — громадны; он действительно изучил дело и не скрыл от себя его трудности и даже неразрешимости; вовсе не скрывает даже продажности всех почти агентов своих. Всё, в чем мы готовы бы обвинить его, — он знает лучше нас и также болеет об этом, раздражается на это. Но *творчества* — нет; великого порыва духа — не ищите. *Всё знает*, но ничего не может сделать.

Акт *уверования*, субъективный акт, доступен только субъективному же внутреннему акту и, так сказать, не реагирует, не соотносится по несоизмеримости ни с каким внешним актом, наружным воздействием, на которое *не умеет* ответить иначе, как отрицательно, замыкаясь в себя, противодействуя, внутренне обособляясь, усиливаясь. Вот, пока, история наших отношений к расколу, история наших воздействий на раскол. Она вся вытекла из внешнего понимания его как некоторого чуждого заблуждения, не только бесспорного, ненужного, основанного на упрямстве, но и как заблуждения чуждых людей, некоторых политических и религиозных «гоев», «варваров», «еретиков».

Нужно подойти к нему внутренне, субъективно, — это я назвал честным отношением к делу. Нужно понять в нем честное уверование, к которому иначе, как с честной же верой, и подойти нельзя. Нужно признать его не внешним для себя фактом, который предстоит победить, а *своим* собственным состоянием, состоянием *своей* Церкви, *своего* быта, *своего* государства, которые выбросили из себя такие две ветви, как староверчество, с одной стороны, духоборство — с другой. Не излечить *их* нужно (меры правительства); тем менее — отсечь (требование раскола о религиозной свободе на правах *иноверцев*); но исцелить в собственном организме своем. И тогда эти ветви вберутся назад сами; их силы возвратятся в материнское лоно.

Мы указали раньше, что знаменует собой староверие: необходимость нам самим податься в сторону древнего *типикона** праведного жития, в сторону *уставности, предания, благоговение* понять букву. Пересмотр клятв собора 1667 г., которые собором же не сняты и потому лежат и на нашем единоверии, открывшем сверх сего какую-то странную *двуцерковность* вопреки Символу веры, повелевающему веровать в «*Единую Соборную и Апостольскую Церковь*», — этот соборный пересмотр и вероятное снятие клятв, вне всякого сомнения, воссоединит с нами девять миллионов (в 1853 г.) поповщины и беспоповщины.

Теперь относительно духоборчества как явления более психического, нежели собственно церковного. И здесь есть исцеление. Духоборчество есть симптом, показывающий и отрицающий великую *пассивность* всех наших духовных состояний — пассивность, достигшую высокой степени уже к концу московского периода нашей истории, но с тех пор всё увеличивающуюся. Не выносит этого душа человеческая. Мы начали очерк развития этой ветви раскола с противоположения *видимостей* нашего исторического и государственного бытия потаенным его явлениям и закончили извлечением из официальной бумаги, где некоторый внешний человек внешним взглядом

* От коего, без всякой нужды, мы всё далее и далее отступаем. Например, такие явления непонимания, как освещение православных храмов *мертвым* электрическим светом, конечно, могут только усилить раскол. Свеча, которую я ставлю перед образом и молюсь о *моем* грехе; храм, который освещается *ярче* или *тусклее* в меру усердия к нему прихожан, т. е. как бы светится их *любовью* к Богу — разве это *возмещается* электричеством? Но оно им *вымещается*.

рассматривает, считает, меряет «признаки» внутреннего акта веры, как бы не замечая и не понимая этого акта, во всяком случае отвергая его. Невыносимо это для души человеческой, и тогда она начинает «вертеться» – «посолонь» или даже против солнца; невыносимо, говорим мы, потому что природа души человеческой есть *жизнь, акция, инициатива*, потому что душа есть Божия тайна, и именно тайна – *творческая*. Между тем у нас всё творчество, всякая инициатива, акция взята формами – увы, оскопившимися духа формами! Что оставлено бедному русскому человеку, что оставилось ему эти последние два века? – шесть дней потрудись и на седьмой сходи к обедне, вечером напешься чаю. Этого мало, поистине этого мало. Мы, композиторы, художники, писатели, нас 1500–2000 человек, – не должны забывать о миллионах: мы можем фантазировать, буйствовать, «вертеться» с пером или кистью в руке – но остальные? Им также нужно в чем-нибудь, как-нибудь «вывертеть» свой дух. Мы говорим с иронией, мы употребляем смешные слова, мы не избегаем этого, чтобы быть неотразимо понятными в серьезной мысли: дайте *сотворить* человеку, иначе он умрет или «завертится». Но чтобы он не вертелся, чтобы он не уродствовал, – откройте ему для творчества благородные формы. Мы знаем, государство руководится исключительно утилитарными понятиями, никто не замечает необходимости великих этических и эстетических идей; но если без этих этических и эстетических идей в целом, жизнь умирает или уродуется, не есть ли они вместе с тем и утилитарные идеи? Итак, господствующая идея *удобства* в труде – это господствующее и даже единственное понятие артели плотников, кладущих «аккуратно» исторический сруб, – должна поддаться перед идеей художественной и нравственной. Мы говорим о художественной и нравственной идее в приложении к государству, быту, вере. Боже, кто же усомнится, что «ст. сов. Синицын», вымеряющий, в силу инструкции за № 262, в раскольничьей моленной кресты, не есть в государственной храмине продукт художественной идеи? Мы взяли подробность, и из биллионов таких подробностей состоит наша жизнь, наша история. Итак, если к истории применимы биологические термины, мы скажем, что в самое существо той «красной глины» – той физической массы, которую образует тело народное, – у нас не был вдунут дух никаким истинным художником; что, так сказать, новая Россия зачата и рождена без всякого истинно творческого, художественного или этического порыва.

Мы заговорили о такой глубокой и общей стороне нашей истории, потому что лишь в *ее свите* становятся понятны и «мелочи». Нельзя не заметить, что из всего Петром Великим созданного живуча и прекрасна, деятельна и народна вышла, собственно, только армия: в нее им вдохнутый дух не умер в двух веках. На *главный* мотив реформы России – мотив *самосохранения* – эта реформа и ответила твердым, умелым *да*. Все остальное в его реформе уже не творилось с тем же сознанием нужды, с той же живостью, надеждами, страхом, *поззией* личных усилий и ожиданий народных, – не ковалось в трудах и несчастьях Великой северной войны. И все осталь-

ное – большей частью плод подражательности – вяло, не имеет цены, не имеет завитого в себе *живого акта*. Петр не настаивал даже на остальном: остальное – не главное в его деле, и оно подвергалось, тотчас по его смерти, бесчисленным переделкам, в которых народ не принимал никакого участия. История едва знает имена «переделывателей»; однако одно имя даже в народе, кажется, небезызвестно. Остановимся на нем: это – Сперанский. Вот не инициатор, но скорее довершитель, а также и образец для бесчисленных позднейших «творцов», которые все равно трудились над организацией внешних форм нашего бытия, тех *видимостей*, которые невольно вырисовываются в уме, когда задумываешься над духоборчеством. Не он один, но он во главе мириад аналогичных лиц, почти вовсе неизвестных или полуизвестных и которые по самому существу своему никогда не могли стать *славными, любимыми, народными*, которые никогда не были людьми воинственного *поля*, *народной-народной*, но только всегда мужами «чернильницы» и «отношения», – он и все эти люди как бы произвели некоторый скопческий акт над Россией. С тех пор, или, точнее, под влиянием нового *их метода*, жизнь скрылась из России. Где она? Как именно Россия существует? Что ей грозит? Чему она радуется? Мы узнаем это только из бюллетеней, – и о религиозном, например, бытии России не только мы ничего не знаем из фактов, в которых бы *соучаствовали*, но и самые документы об этом бытии можно выписать только из Лондона. Формы замкнулись от России, затаились в своей деятельности от ее глаза: они ей не доверяют, ее не любят, – и они иссякли в духе. Россия изуродовалась, «завертелась», не имея достойных форм для своего духа.

Мы снова возвращаемся к духоборчеству, от которого, по-видимому, так далеко отошли. То «опьянение», то «духовное пиво», которое «человек плотскими устами не пьет, а пьян живет» (см. выше), – это и есть иррациональная этическая и эстетическая идея. Нужно некоторое сладкое опьянение человеку. Ной был праотец, но раз и он был пьян, и четыре тысячелетия людских поколений не видят в этом греха. Только Хам осудил его, но он был Хам. Благословенно духовное «пиво»; благословенен труд, забота, бережливость – но более благословенен тот неясный, безотчетный восторг, ради которого человек говорит: «Живу и хочу еще жить». Здесь, именно в эстетической и этической идее – семена жизни; и как всю жизнь мы считаем Божией – идеи, указанные нами, как наиболее жизнетворящие, мы вправе назвать любимыми Божьими идеями. Тут – *sacrum sanctum** истории, – то, чего касаться человеку не следует и только беречь, лелеять; прислушиваться к сердцу своему – есть ли в нем эти идеи? И пока есть они – обильно напоять ими жизнь.

Вот мысли, которые, если бы они были изложены перед Сперанским, остались бы в высшей степени непонятны ему. Мы снова возвращаемся к этому человеку удивительных талантов, удивительной судьбы, но совер-

* святая святых (*лат.*).

шенно не определенного нашими историками значения. Характерно самое происхождение его – из духовенства и семинарии, т. е. из сословия и школы, которые, дав длинную вереницу методистов-тружеников, не дали России ни одного поэта, ни одного музыканта, ни одного живописца. Не столько в составе своих убеждений, сколько в свойствах своего темперамента, Сперанский лишен был совершенно этической и эстетической идеи, и, вместе, в самом характере, он лишен был той глубины и непоколебимости, какой мы удивляемся, например, в митрополите Филарете. Все существо его было в высшей степени риторическое – недаром единственный его литературный труд есть книжка «О правилах высшего красноречия» (изд. в Спб. в 1846 г.); склад ума трезво-логический, исключительно формальный; тусклое воображение; погасшие или, вернее, не заложенные в натуре страсти; характерно, что он был женат не на русской, а на немке – сочетание брачующихся, редкое в России. При всех этих личных данных, он всего менее мог стать Цезарем или Периклом нашего государственного строя. Совершенно напротив, осыпьте всеми внешними дарами, всем внешним величием, блеском и знаменитостью, наконец, дружбой монарха, но оставьте в тайне души, где-то глубоко запрятанным, бедное, робкое сердце Акакия Акакиевича и узкую, скудную мысль Молчалина – и вы будете иметь исторического Сперанского. Все это – отразилось на его труде. Он создал для внутреннего употребления России какую-то политическую «хрию», по-видимому неопровержимую, но в высшей степени бесполезную, а главное – погашающую всякий порыв и творчество, погашающую тем вернее, что это творчество, видя перед собой эту удобную форму, невольно входит в нее и неизменно в ней погибает. С его времени, по преимуществу, Россия обставилась департаментами и канцеляриями – не как необходимой записной книжкой, куда живой деятель вносит свои предположения, решения, расчеты, но именно как самим деятелем, решителем, творцом. С тех пор фабрики не успевают готовить чернила и бумагу; мы улучшаем пером земледелие, пером создаем промыслы, вводим в отечество «расцвет образованности», на деле не имея ничего этого и всему, что в этой сфере готово бы само начаться, чрезвычайно мешая; мы теоретизируем, планируем так же легко и, по-видимому, правильно, как 16-летний семинарист, когда он сидит над темой о свойствах бытия Божия. Россия закрылась канцелярскими формами и стала в них непроницаема для истины, неуязвима для суждения, беспомощна в работе, изыщна и сокрушена, как Парис, вздумавший однажды надеть доспехи Гектора. Яснее станет значение Сперанского, если мы рядом с ним поставим людей, к которым невольно как-то привязывается любовь *народная* и историческая *слава*. Около его рассудительной фигуры и, слыша его убедительную речь, Суворов был бы смешон. Орлов стыдливо спрятал бы свои кулаки. Потемкин – свой «греческий проект», на который он *любовался*, и, может быть, сама Екатерина растерянно потупилась бы. Но вот они *сделали* историю, а он только говорил и писал и научил нас только говорить и писать. Они неправильные, иррациональные; они то смеш-

ные, то буйные, всегда страстные,— знали тайну духовного «пива». Они были немножко поэтически опьянены и от богатств духа своего напояли окружающую жизнь. Все было поэтично около них, трудно и героично; люди умирали за них и благословляли их, отдавая «пива». И им самим, опьяняющим сердца человеческие той струйкой восторга, которая вилась из них,— все было легко, исполнимо. «Удача, опять удача, тысяча удач — да дайте же сколько-нибудь и уму»,— говорил Суворов обиженно, но люди справедливо не давали ничего уму и все — удаче: удача — бог истории, бог совершенных, исполненных дел, в противоположность бездарному уроду — неудаче, этому бесу, преследующему всех ограниченных «умников». Мы снова возвращаемся к расколу, и да протест читатель нам эти перипетии мысли, вызываемые самим предметом. Есть едва заметное, только упомянутое, но любопытнейшее известие (официальное) у *Кельсиева* (1, 183-я стр.), что раскольники начали было тысячами* переходить в единоверие, когда мысль его была провозглашена *Потемкиным*, и этот переход остановился тотчас, как только, с начала XIX века, для него даны были «правила». Дело имело успех, пока было процессом, и умерло, как только стало формой. Не было более жизни в нем, надежды, чаяния: за ним не стоял человек, который мог бы *понять, снизойти, простить, уверовать*, но — «правило», которое ничего более не понимало. Живой акт веры (у раскольников) встретило живое сердце (у нас) — и великое слияние началось, принцип единства был найден. Но пришел «ум» и схитрил: он дал раскольникам попов и не дал архиерея — дело было для ума не в вере, а в подчинении, он сказал: это церковь, совершенно церковь, как и наша, и шепнул *своими*, чтобы они не ходили туда и там не причащались св. тайн. Трусюшка «ум» испугался, что все православные тотчас перейдут в единоверие,— или нет, он испугался не этого, а того, что произойдет какая-то путаница в «ведомостях» православных, единоверцев и раскольников. И вдруг раскольникам стало ясно, что все дело именно в этих «ведомостях» — не в сердце и его вере, до которых дела нет, а именно в порядке документов, в красоте отчета, в порядке видимости, до

* Это так замечательно, что мы приведем буквально: «По ходатайству *Потемкина-Таврического* в 1782 г. дозволено было, в Новороссийском крае, раскольникам свободное богослужение и разрешено им иметь своих попов. Это было *началом единоверия*, правила которого были утверждены в 1800 году. Успехи единоверия не были значительны, и замечательно, что до 1800 года *присоединение* к единоверию, *еще не организованному*, было несравненно сильнее, чем впоследствии. Так, в самом гнезде и рассаднике *поповщины* в Нижегородской губ. тысячи человек приступали к единоверию; в Черниговской губ., другом центре раскола, — тоже; но после утверждения в 1800 году правил митрополита Платона, положивших *твердое основание этой церкви*, оно таких успехов не имело» (Из *Записки о русском расколе, составленной для В. К. Константина Николаевича — Мельниковым*). Между прочим: «Строго воспрещалось записываться в единоверие тем, которые, будучи раскольниками, пишутся православными в книгах, ведущихся священниками, а также и тем, которые по бумагам значатся православными: таких теперь около $\frac{1}{10}$ всей массы раскольников» (*Там же*).

которой, в свою очередь, им не было дела, – и они отхлынули назад, а мальчишка-«ум», этот глупый урод, кричит с тех пор, кричит вот уже 96 лет: неудача, неудача, решительная неудача! – «не вижу никаких мер, которые могли бы принести существенную пользу» (гр. Стенбок: «Взгляд на причины быстрого распространения раскола», у Кельсиева, т. IV, ср. 342).

Нет, осталась еще мера: *исполнить* слова Псалма: «Сердце, чисто созижди во мне, Боже!»...

Мы говорим, однако, не об *единоверии*, этом неоригинальном подражании изобретению Антония Поссевина, а об «Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви» символа; мы говорим не о компромиссе, а о слиянии на основе «чистого сердца». Не следует, однако, уже теперь забывать, что, воссоединив с собой раскол, нужно его удержать, нужно предупредить расколы и отпадения обратные. Нужно помнить об оригинальном и огромном движении, которое испытала русская душа в расколе, об этой бездне инициативы, акции, суровой борьбы и поэзии. Нельзя ожидать, чтобы после двух веков подобной жизни она возвратилась к той пассивности всех отношений, которую и мы, после двух веков привыкания, едва имеем силы переносить. Всё то деятельное и живое, что есть в расколе, то «духовное пиво», которым он бесформенно напоял до сих пор христианскую душу, – это должно быть бережно сохранено, должно быть взято нами, как сторона истинная в нем, и *разлито по всем формам нашего бытия*. Если вспомним сказанное ранее о приближении к древнему *типикону* жития, как средстве умиротворить «буквеников», – мы пойдем в целом реформу, нам предстоящую: *ожить древним духам* – тем прекрасным духом, прототип которого дала нам еще Киевская Русь. Возможно сделать это при сохранении всей той крепости сил, какую сумела создать Москва, и не отказываясь нисколько от правильных сторон просвещения, которое любить завещал Великий Петр. Всё это можно соединить; всё – слить в новую гармонию, через живой акт души. К такому живому акту мы нудимся задачей раскола.

Вот почему мы верим – язва его «не в смерть, но во исцеление»; мы верим – Бог не оставит Россию, и великий художник ей будет дан.

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Добрые люди Древней Руси»

В. Ключевского. Сергиев Посад, 1892 г.

Всякая историческая культура налагает на индивидуум определенные, постоянные черты, и, зная ее общий характер, мы можем угадывать под ней единичные, живые лица, хотя бы их и не видели вовсе; как и наоборот, видя подобные лица, можем понять общий смысл культуры, который для нас почему-либо стал неясен или мы забыли его. В этом соотношении между общим и единичным кроется многозначительность частных исторических изыс-

каний: одна подробность из давно пережитого восстанавливает для мыслящего наблюдателя это пережитое в его целом, и притом с убедительностью, равной той, какую мы находим в рассуждениях натуралиста, который по одной сохранившейся части давно исчезнувшего организма восстанавливает перед нами весь его образ.

Подобную услугу для русского общества оказал недавно известный профессор Московского университета В. О. Ключевский. В очень краткой публичной лекции, прочитанной в Историческом музее, он показал современному обществу искусно извлеченный обрывок из древней русской жизни, взглянув на который многие с изумлением почувствовали, как мало они знали истинного о смысле этой давно умершей жизни. И между тем эта жизнь нам родная, близкая. Не одно любопытство, но и опасение ошибиться в суждениях об этом близком, родном заставило многих так пристально вдуматься в слова известного профессора, и его краткое чтение возбудило в нашей печати самое оживленное внимание.

I

В чтении, посвященном доброду делу помощи голодающим, почтенный профессор вздумал напомнить современному ему обществу, как совершалось подобное же дело в Древней Руси и по каким мотивам:

«Древнерусское общество под руководством церкви, — говорит он, — в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять вторую из двух основных заповедей, в которых заключаются весь закон и пророки, — заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для ближнего* практика этой заповеди направлялась преимущественно в одну сторону: любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основание практического нравоучения, потребность в этом подвиге поддерживалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего — это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило *нищелюбие*. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько *необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбию,*

* В этих и непосредственно следующих словах указывается факт, слишком общий и постоянный, чтобы в нем не видеть некоторый род исторической антиномии: вспомним обычай гостеприимства у кавказских горцев, у арабов и возможность умереть от голодной смерти среди многолюдных улиц европейских столиц — и мы увидим, как всякий прогресс общественности есть в то же время регресс личности: что (как благотворительность) берет на себя государство, то, естественно, слагает с себя индивидуум, как ненужное более, нетребуемое, — и когда случайно требование предъявляется к индивидууму, оно уже не находит в нем нужных сторон души.

чем нищему. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием. Древнерусский благотворитель, «христоролюбец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественно-благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. *Когда встречались две древнерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаванием во имя Христова, трудно было сказать, которая из них больше подавала милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих.* Вот почему Древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом «отай», тайком, не только от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы».

Нищий был для благотворителя лучшей богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входят святой милостыней, – говорили в старину. – Нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». Благотворителю нужно было воочию видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу; нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари накануне больших праздников, рано по утрам, делали тайные выходы в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и призываемым, также посещали и отдельно живших убогих людей. Как трудно изучить и лечить болезнь по рисунку или манекену больного организма, так казалась малодействительной заочная милостыня. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела *нищенство считалось в Древней Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа, состоящим при церкви практическим институтом общественного благонравия.* Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить болезни, так в древнерусском обществе необходим был сырой и убогий, чтобы воспитать умение и навык любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дел мертва. Как живое орудие душевного спасения нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который он любил носить в мысли как олицетворение своих лучших чувств и помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчезли в Древней Руси все нищие и убогие, кто знает – может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться: у него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства.

Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливалось в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого»*.

Вот слова, поистине драгоценные, заслуживающие войти во всякую учебную хрестоматию, прозвучат в каждом уме и сердце современного общества, так безмерно удалившегося от смысла и буквы этих слов. Собственно, обо всем этом приблизительное понятие мы имели и раньше; и раньше знали мы, что Древняя Русь была «богомольна и милостива»; но недоставало формулы, сжатых и точных образов, которые собрали бы и отвердили эти смутные представления.

II

Но кроме этой ценности формулы важно и разъяснение смысла древней жизни, которое содержится в приведенных словах: в них показан узел взаимно переплетенных понятий и чувств, взглянув на которые мы тотчас понимаем, что изолированно одно от другого они не могли бы существовать, что они суть части живого исторического организма и должны были умереть тотчас, как только переменялась его структура – то целое, в чем они составляли часть.

И в самом деле, некоторая созерцательность, углубление в свой внутренний мир, в свою совесть суть необходимые условия для того, чтобы эта совесть была столь чувствительна, чтобы ее «внутреннее домостроительство» было такой неременной потребностью и удовлетворялось средствами столь деликатными. Внешний покой, обращение внимания куда-то внутрь – к своей душе, к кругу своей семьи и к тем, кто к ней приближается со стороны, отсутствие какой-либо смятенности в жизни и в совести – было той почвой, на которой выросли все эти близкие, человеколюбивые отношения в Древней Руси. И можно представить себе, до какой степени все это стало невозможно тотчас, как только этот покой был нарушен: как не нужен стал «посох», который представлял собой для древнего «христолюбца» нищий, как только этот «христолюбец» вошел в коллегium, стал на палубу корабля, поехал учиться за море. Иные мысли, целый вихрь этих мыслей, нужда, ответственность, совместность работы – всё это смяло прежний уклад души, смутило, взволновав, кристальную поверхность жизни. Явились иные потребности, и между ними на первом месте – потребность силы, внешнего одоления, и в сторону этих потребностей стали расти силы души, и в то же время умаяясь в других направлениях. Переменялись задачи истории, и с ними преобразился сам человек.

* Добрые люди Древней Руси. С. 2–4.

Если мы обратим внимание только на то, что *нового приобрел* в этом превращении человек, мы, без сомнения, поймем его как успех, как шаг вперед, как улучшение; но наше отношение к этому превращению станет по крайней мере сомнительным, если, смотря на приобретенное, мы не забудем и о потерянном. Это потерянное, и в самом деле, имеет гораздо более абсолютную цену, нежели то, что заместило его; внешняя сила, успех всякого предприятия, конечно, ценны; ценно, что, вечно побеждаемые, мы стали наконец побеждать; что стали умелы уже во многих делах, и усиливаемся, и надеемся стать когда-нибудь умелыми во всех. В этом именно направлении движется наш прогресс: нам всё еще кажется, что наши ружья недостаточно скоро стреляют, поезда железных дорог недостаточно быстро движутся, что есть народы, которые не менее нас сильны. Но *наши ли* это идеалы? вечны ли они? могут ли они насытить сколько-нибудь наше сердце? Вот мы победили всех и на покоренной земле движемся во всех направлениях с головокружительной быстротой: неужели достаточно этого, чтобы лицо наше никогда более не выразило скорби? чтобы жизнь почувствовалась нами легко? Не почувствуется ли она скорее как могила? и древний, *ничего не умеющий* «христолюбец» не покажется ли нам гораздо лучше понявшим смысл жизни, нежели мы со своей техникой, со своим богатством, с тысячей вычурных навыков и ни к чему существенному не ведущих «умений»?

III

В. О. Ключевский приводит и факты, одевающие живой плотью его общий взгляд. В 1601–1603 годах, во время посетившего Россию голода, «жила в своем имени вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина. Это была простая, обыкновенная добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому – чувство, с которым русская женщина на свет родится, – в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других, и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила всё ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушли ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и прядла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам. Не считая себя вправе брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у

свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с благотворительной целью. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки. Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в Муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей: «Что это подеялось с тобой, дочь моя? Когда хлеба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя такая охота к еде припала?» – «Пока не было у меня детей, – отвечала невестка, – мне еда и на ум не шла, а как пошли ребята родиться, я отошала и никак не могу наесться, не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде, только мне стыдно, матушка, просить у тебя». Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгуни и позволила ей брать себе пищи, сколько захочется, и днем и ночью.

Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему, обделенному жизнью, помогла Ульяне легко переступить через самые закоренелые общественные предрассудки Древней Руси. Глубокая юридическая и нравственная пропасть лежала между древнерусским барином и его холопом; последний был для первого по закону не лицом а простой вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть, и греко-римскому праву, не менявшему в преступление смерти раба от побоев господина, русское законодательство еще в XIV в. провозглашало, что, если господин *огрешится*, неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя дворы зажиточных землевладельцев, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет их сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах, прежде чем протягивать руку с благотворительной копеейкой нищему, стоящему на церковной паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам и не требовала от нее личных услуг: что могла – всё делала для себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, но каждого и каждую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманые отношения к низшей подвластной братии?»

Тут едва ли уместны слова об «обдуманности»: нет, не «обдуманность», но живое ощущение, что передо мной стоит другой подобный же человек и, быть может, по внутренним своим дарам даже лучший и высший, чем я,

хотя мне и подчиненный, может сблизить меня с ним внутренно, и, сблизя, уже вызвать к нему и соответствующие отношения. И это же может сделать *завет*, строгое и тесное обращение к темным сторонам моей души, которые должны прятаться, которые отсекаются без уступчивости, как уродливый нарост на духовном моем существе, а не поощряются, не прощаются, не допускаются, как слабость. Было достаточно «обдуманности» в римском праве, позволявшем употреблять рабов на откармливание рыбы в прудах; и не менее было обдуманности в образованных кругах Франции XVIII века, когда, однако, перед уроком алгебры или философии, судя по мемуарам, женщины спокойно брали ванны в присутствии мужской прислуги, так же мало испытывая при этом стыдливости, как в присутствии собаки или кошки, которая случилась бы тут. «Обдуманность» испытана в истории и в этом испытании оказалась недостаточной: она не верна, колеблется, не простирает безусловного влияния на целую природу человека; и страсти, руководя действиями и отношениями людей, всегда и при всякой обдуманности могут сделать эти действия преступными, эти отношения – невыносимыми.

«Осорына была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое благотворительное испытание. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, она уже помышляла о вечном устроении собственной души, но всё еще тлела перед Богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволяло ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасыщаемым скопидомством все прятала да прятала все свои сбережения и излишки. Порой у нее в доме не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы. Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платье, посуду, всё ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчетливые господа просто прогоняли с дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы, среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядинцев и удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец она дошла до последней степени нищеты, обобрала себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может, и то

желает – пусть берет свои крепости или отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, “потому что в то время нищих было без числа”, лаконически замечает ее биограф. Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: “Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голода”. – “А мы вот что скажем, – говорили нищие – много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы – как, бишь, ее?” Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом; отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлеба печь! С какой любовью надо было подавать нищему ломоть хлеба, небезукоризненного, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедает! Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, не дала безумия Богу, не изнемогла от нищеты – напротив, была весела, как никогда прежде, – так заканчивает биограф свой рассказ об ее последнем подвиге! Она умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам более возвышенного и более трогательного образца благотворительной любви к ближнему».

«Никто не сосчитал, – говорит в заключение почтенный профессор, – ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в Русской земле и какое количество голодных слез утерли оне своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что Русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов»*.

IV

Здесь невольно припоминаются нам слова другого уважаемого профессора, которого лет 10 назад пишущему строки эти привелось слушать, как и В. О. Ключевского. Говоря о смене нравственных идеалов в эпоху Возрождения, профессор Н. И. Стороженко привел как пример упадающих идеалов Елизавету, ландграфиню Тюрингенскую: «Счастливая жена и мать, – говорил он, – она мучилась, однако, сознанием, что провела жизнь не в девстве. Овдовев и потеряв состояние, она радовалась, когда приходилось ей унижаться из-за куска хлеба для себя и детей. Получив снова свое состояние, она раздала его по монастырям, основала больницы, ухаживала за больными и прокаженными и умерла преждевременно от непосильных трудов и истощения».

* «Добрые люди Древней Руси», стр. 8—9.

Этот образ для каждого и русского, конечно, так же благороден и дорог, как и образ нашей родной Ульяны. Мы хотим только остановиться на разнице, которая есть в этих двух образах.

Известно громадное значение труда «*De civitate Dei*»* блаженного Августина для всего последующего развития римско-католической церкви. Начатый в тот самый год, когда стены вечного города, покинутого своим императором, дрожали под ударами Алариха и его вестготов, труд этот как бы носит на страницах своих отблеск того исторического зарева, при свете которого он писался. Не забудем, что блаженный Августин был типичный представитель своего времени, и даже для всех времен он есть высокий выразитель античной цивилизации, ее духа, ее красоты. И вот эта красота невозвратно рушилась на его глазах под гуннами, под готами, под вандалами и другими. *Civitas Dei* – это тесный град, это – неразрушимая, вечная весь, под которой спасаются немногие, когда остальные гибнут, когда мир подвергается катаклизмам. Это – церковь. С страстностью, какая могла возникнуть только в такой миг и в таком сердце, эта идея церкви-града противоположилась миру как его отрицание, как ею осуждение, как радость о гибели его – в тайниках души, однако же, дорогого. В «*De civitate Dei*», в самом деле, содержится объяснение падения древнего мира, оправдание этого падения, радость о нем. Невозможно достаточно оценить силу душевного поворота, какой совершился в творце этого замечательного труда, – но нельзя не заметить и некоторой его болезненности и узкости, обусловленных отношением этого душевного состояния всё же к частному и временному факту истории, хотя и единственному по своим размерам и трагизму.

Эта сила, эта болезненность и исключительность и залегли во все последующее развитие западной церкви: идея тесной веси Божьей, как чего-то далекого от мира и ему противоположного, с ним не связанного и только борющегося, – эта идея (вернее, чувство) стала основной для великих организаторов нового исторического здания, которое мы называем католицизмом: безбрачие всего клира; ему одному доступность «ни крови Христовой», непонятный живым народам богослужебный язык; наконец, учение о государствах, как преходящих ступенях истории, и о государях, как свергаемых гневом Божиим простых избранниках толпы, – всё это заключалось уже, как вывод, в том основном чувстве, с которым блаженный Августин, на развалинах древнего мира, писал как бы заветы для нового.

«Антимир» – так можно было бы определить церковь, выросшую на этих особых заветах, могучих в силе своей, но и односторонних; и вот почему западный мир, насколько он не вошел в нее, насколько он вырос из каких бы то ни было других начал – политических, культурных, рациональных, – всюду и постоянно становился «Антицерковь». Без взаимного просветления, без желания понять друг друга, без сожаления, с каким-то отм-

* «О граде Божьем (лат.).»

щающим чувством они борются в истории, без другого удовлетворения, без другой надежды, как только не видеть друг друга, не знать друг о друге, как день ничего не знает о ночи, им сменяемой, но с ним не смешивающейся.

Позже язычество в эпоху гуманизма, походы королей на Рим и посылка ими же туда простых убийц, наконец, открытый атеизм XVIII–XIX веков, решение окончательно устроиться на земле без Бога и против Бога есть только антитеза желанию «устроиться без мира и вопреки миру», какая гораздо ранее совершилась уже в римской церкви.

«Я не мир принес на землю, но вражду и разделение» – это таинственное пророчество Спасителя во всей полноте своей осуществилось в западной ветви Им основанной церкви.

И, однако, если только «вражду и разделение» Он принес, где же место для завета: «Возлюби ближнего своего, возлюби врага своего»?

Место это там, где нет борьбы как сущности, где она есть лишь случайность и заблуждение. Замечательна разница в типе, который наблюдается во всех средствах спасения, употребляемых по отношению к заблуждающимся в западной и в восточной ветвях церкви: на Западе они всегда носят характер причинный, *отгоняющий от заблуждения*, на Востоке – характер целесообразный, *привлекающий* к истине. Среди осужденного к гибели мира, в одинокую и вечную весь можно ли ожидать грешников? разве, когда гибнет корабль среди бури, есть место убеждению для гибнущих? не заключается ли дело в том, чтобы как можно поспешнее, как можно больше полухлебнувшихся, полуживых набросать в лодки, где уже сидят сильные гребцы с приподнятыми веслами, чтобы грести к близкому и твердому берегу, недоступному для волн (*Civitas Dei*)?

Этого понятия о грехе, как о чем-то всеобъемлющем, окончательно и безвозвратно погубляющем вот эти предстоящие толпы людей, вовсе нет в восточной церкви. Проникающее ее чувство спокойнее и вечнее: оно не относится, в своем происхождении, ни к какому единичному факту, ни к какому историческому катаклизму; поэтому и нет в нем ни того напряжения, страстности, какие наблюдаются в господствующем на Западе религиозном чувстве, и нет его узкости, односторонности, болезненности. Ощущение *уже совершившегося искупления* рода человеческого от греха здесь гораздо жизненнее, ярче – и, сообразно ощущению этому, всё здесь светлее, радостнее: нет абсолютности в гибели людей и в пороках их – есть только легкомыслие, забвение главного. Не толпа *слепорожденных* проходит перед церковью – толпа, которая не видит ее и сама не может увидеть, которую нужно поэтому «ввести» туда (*compelle, intrare*), – вокруг нее, в опьянении минуты, безумствует, *закрыв глаза*, слишком пока довольная, слишком счастливая толпа. Пройдут эти минуты безумного веселья, почувствуется низменность этого счастья, и тогда люди сами увидят, где им должно быть. В храм, горящий свечами, теплящийся молитвами, *о них молитвами*, они войдут и возьмут предготовленные для них свечи – и поклонятся все Единому Богу.

Существеннейшая черта православия заключается в этом: оно ожидает, оно долготерпит*; не проклинает, не ненавидит, не гонит. И, сообразно этому внутреннему покою, чужда какая-либо экзальтация всем его внешним выражениям: наши храмы никуда не устремляются своими формами, они светлы внутри, порывистость и страстность чужды нашим церковным напевам, и, в противоположность всему этому, как сумрачны, затенены католические кафедралы, какая устремленность в готике и тоскующее желание, трудно сдержанный порыв в церковной западной музыке.

V

Этот дух церкви, еще библейский на Западе, уже евангельский на Востоке, наложил печать свою и на народные характеры. Мы возвратимся теперь снова к двум идеальным типам христианской нравственности, о которых говорили выше.

В характере идеальной христианки Древней Руси мы наблюдаем прежде всего полную *слиянность* с окружающей жизнью – слиянность в интересах, в привязанностях, в способах радоваться и в причинах печали. Ульяна – мать, и, очевидно, счастливая: выполнив весь свой долг перед Богом, она чужда какого-либо осуждения к тем, кто забыл свой долг; на путь, ею пройденный, она никого не нудит и детей своих выводит на другой, для всех обычный путь. Высокие способности своей души она, очевидно, считает особым даром Божиим, за который она должна Его благодарить, но за отсутствие которого осудить других – значило бы роптать на Бога и Его Промысл. В годину особенно бедственную, нищенствуя с нищими, она и особенно весела и деятельна. Таким образом, слиянность ее с окружающими людьми и с окружающей жизнью есть полное подчинение, наравне с ними, вечным законам природы, которые священны: «Благословен Бог мой и благословен мир Его» – как бы слышится в каждом поступке этой женщины, ничего не отрицающей, всему покоряющейся, во всем долготерпеливой.

* Это отражается и на частностях, напр., на понятии о милостыне: много лет назад, подав нищему монету и следя за ним в окно, я увидел, как он прямо пошел в кабак. Повинуясь невольному движению сердца, воспитанного в идеях, ничего общего с православием не имеющих, я тотчас раздражился и громко выразил сожаление о подаянни; милостыней я делал только утилитарный поступок, и, раз в нем не было нужной стороны, он был в моих глазах дурен, вреден. Бывшая тут же четырнадцатилетняя крестьянская девушка (из староверческой семьи), услышав ропот мой, с волнением заметила: «Что вам за дело, куда он пошел и что сделал с вашими деньгами? — за это он ответит Богу; а вы только подайте — Бог у нас только за это спросит». Иными словами: не размышляя и не анализируя, поступай хорошо, делай добро; увидеть это добро и последовать ему или нет — это принадлежит чужой свободной воле, которая наравне с вашей имеет свое самостоятельное отношение к Богу. Абсолютность добра, его безусловленность обстоятельством, его всегдашнее требование — и, одновременно, свобода индивидуальной воли, ее самоопределяемость, отчетливо и твердо здесь выражены.

Очень сходны, по содержанию своему, с ее добрыми делами и добрые дела ее западной сестры, Елизаветы Тюрингенской. Но при этом сходстве и какое внутреннее различие: духом осуждения веет от всего ее нравственного склада, осуждения – миру, его радостям, его естественным законам и путям развития, скорбь и сожаление чувствует она к себе, насколько вступила, насколько она не могла не вступить на эти пути; и участие к миру этому лишь тогда, когда, свернувшись на этих путях, он разбит, страдает, гноится в ранах.

«Потусторонняя церковь», – невольно думается при этом; церковь, не просветляющая действительность, но отрицающая ее. И не от этого ли жизнь – насколько она уже есть, еще не истреблена – вздымает свои мутные волны, без какого-либо играющего в них луча, чтобы залить эту церковь, всякую святыню на земле, чтобы всё погрузить в первобытную тьму?

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА РУССКОГО ОБЩЕСТВА И ЛИТЕРАТУРЫ ЗА XIX ВЕК

Ник. Барсуков. Жизнь и труды М. Погодина.
Книга первая – девятая. С.-Петербург, 1888–1895.

I

История культурного нашего развития за самые знаменательные годы, приблизительно от 1818* и до 1875 г. (если Бог даст г. Барсукову окончить его труд), которую мы имеем под скромным именем «Жизни и трудов Погодина», возникла почти случайно. Желанием вдовы покойного нашего историка издать биографию его чтимого мужа совпало с тем обстоятельством, что уже с 1820 года он начал вести «Дневник», куда заносил свои наблюдения, замечания, разговоры, отзывы о лицах и событиях, предположения и пр., и вел его на протяжении 55 лет; а главное – всё это совпало с тем, что приблизительно около 1875 г. уже жил замечательный человек, который был как бы *насыщен* высоким культом к духовному развитию нашего общества, и притом в среде учеников незабвенного московского профессора. Предложение г-жи Погодиной было обращено к нему; в его руки попал неоценимый «Погодинский Архив» – все эти тетради дневников, кипы писем, где под пылью, под выцветшими чернилами таилась жизнь полувека. Он ее дополнил еще всем обильным историческим матерьялом, ранее уже опубликованным в наших как специальных, так и общелитературных журналах; всё это привел день ко дню,

* Год, с которого начинают довольно подробно описываться жизнь и столкновения житейские Погодина.

разговор прерванный – к его окончанию, письмо написанное – к ответу на него, и развернул панораму.

Одну из привлекательных сторон труда г. Барсукова составляет как бы бессознательность его, непреднамеренность, как в выборе содержания, так и в выполнении, и, наконец, даже в самом заглавии. Он предполагал написать жизнь одного человека, но незаметно для самого автора около фигуры этого человека выросло целое общество, исторически развивающееся по мере того, как центральное лицо рассказа переходило из возраста в возраст, училось, преподавало, странствовало, покупало и продавало редкости своего *Древлехранилища*, в мужестве произносило одни речи и в старости – другие. Таким образом, вместо надуманной и скучной «Истории русской словесности» мы имеем в его книге зрелище самой жизни, от которой, как ее естественный цвет и плод, отделяется литература. Толпа девушек и женщин замешивается среди холодных ученых и расчетливых администраторов; рядом с изданиями «Московского общества истории и древностей российских» раскрываются семейные хлопоты Аксаковых, домашний быт Киреевских или Тютчевых, частности характера и приключений вечно странствовавшего Гоголя. И благодаря этой *смешанности* литературы с жизнью мы получаем бесподобную, на фактах основанную, *критическую* историю первой. И в самом деле, лишь видя, в каком отношении к реальному факту жизни стоял тот или иной писатель, мы можем вскрыть для себя невысказанный смысл его произведений, который дотоле нам представлялся отвлеченно-неясным; драмы, хроники, труды, стихотворения – всё это в бескровные очертания свои принимает конкретное содержание, всё *наливается жизнью* и становится для нас прозрачно в малейшей своей складке. Мы видим героя *Дневника* и вместе книги не только в заботах служебных и ученых трудах, но и в полулюбовных волнениях в имении Знаменском, среди привлекательной семьи Трубецких, где он был учителем в юношеские годы; видим его то в «новом фраке» отличного сукна, подаренном ему старым князем; то открывающим в себе «черты удивительного сходства» с Шиллером; то смущенно отмечающим, что, стоя за всею ночью, он не был внимателен к службе, «потому что ему всё мечталась (задуманная) трагедия». Вот, почти без выбора, несколько мест из книги г. Барсукова, рисующих живую и прихотливо сложившуюся натуру всем памятного московского старца в его молодые годы.

Он мечтал о выигрыше в лотерею маленькой деревеньки и однажды, гуляя по Мещанской (в Москве, близ Сухаревой башни) с Кубаревым (товарищ по университету, позднее по кафедре в нем), думал о своих предприятиях по выигрыше предполагаемого имени. Человек десять отличных студентов он послал бы путешествовать, для усовершенствования по всем частям учености; собрал бы отличнейшую библиотеку, открытую для всех любителей учености; завел бы училище для образования учителей на всю Россию; открыл бы публичные лекции. Мерзляков (это все – его учителя) читал бы русскую словесность; Калойдович – русскую историю; Кубарев,

возвратившись из путешествия, читал бы греческую и римскую словесность; Оболенский – эстетику, Веселовский – физиологию, Гульковский – химию, Павлов – физику. Мерзлякову он назначил бы 10 тысяч жалованья и поручил бы ему издание, с примечаниями, Ломоносова, Державина. Одновременно с этим Погодин думал «о составлении капиталца», и это не мешало ему в то же время читать с увлечением сочинение Руссо о неравенстве, причем он «с большим удовольствием смотрел на месяц, в полном сиянии катившийся по голубому небу, и думал о Боге» (1, 146).

«Что знаю я основательно? Ничего! Боже мой, Боже мой! Какую пользу приношу моему отечеству? Не тунеядец ли я? не даром ли ем хлеб? Эти мысли еще более тревожили меня, когда я жил у Трубецких (репетитором). Так ли должно учить, как учу я? Слепец слепца водит. Между тем я думаю, что едва ли кто лучше меня учит. Боже мой, Боже мой...» (1, 144). «Читал о сердце Лодер (профессор анатомии): Боже мой, с какой мудростью устроено сердце человеческое!.. О, атеисты!» (iv).

«Какие великие свойства русского народа! Какая преданность вере, престолу! Вот главное основание всех великих деяний. Русский крестится, говорит: *Господи, помилуй!* – и идет на смерть. Каких переворотов не было в России! Иноплеменное двухсотлетнее владычество, тирания, самозванцы – и всё устояло, как было, опираясь на религию. Покажите вы, подлые, низкие души, вы, глупые обезьяны, французы в русской коже! Покажите мне историю другого народа, которая бы сравнялась с историей нашего народа, языком которого вы стыдитесь говорить, подлецы! Петр! Петр! ты всё унес с собой!» (1, 138).

«Велик, беспримерен народ русский. Возьмем в пример время Петра. Невежество; появился Петр, и какие явились люди из среды этих невежд. Всё одушевилось. О, Петр, Петр – человеческий Бог!.. Что почувствовала бы душа Петра, прочтя первую оду Ломоносова?.. Быстрота смысла у русского – чудо... «Недоросль» Фон-Визина должен быть помещен оригиналом в нашу «Историю». Восхищались, говоря с Кубаревым, им и Державиным. Ругали наших бестий, которые не понимают их» (1, 212). Еще в другом месте – какая-то недоконченная мысль: «Златоуст – из дворян, Феодосий Печерский, помещик курский» (курс. Пог.) (1, 212).

«Если бы вдруг осенило меня небесное вдохновение и я бухнул эпическую поэму «Моисей»*, в 24 песнях, которая стала бы рядом с «Мессиадою», «Иерусалимом» (Тасса). Вдруг заговорили журналы. Дмитриев, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин ищут знакомства. «А, дождались мы», – сказали бы они. В чужих краях зашумела бы молва о новой эпической поэме. Академия, руками Карамзина, вручает мне золотую медаль. Я, тридцати лет, благодарю, называю Карамзина моим

* В этой поэме, с планом которой долго носился Погодин, он думал выразить натурфилософские идеи Шеллинга, чрезвычайно занимавшие и увлекавшие его в молодости.

учителем. Между зрителями – княгиня Голицына» (в которую Пог. был полулюблен) (1, 190).

«То мечтал он, что его узнает Карамзин, берет жить к себе, определяет его занятия, чувствует к нему привязанность, любит его, назначает своим преемником, препоручает ему написать свою жизнь и умирает. При погребении Погодин говорит ему надгробное слово, красноречивейшим образом описывает его добродетели, свою горесть, не может выговорить слов от рыданий. Все предстоящие трогаются и плачут с ним. Обнимает его в последний раз, целует его руки. После издает сочинения Карамзина и перед оными помещает жизнь его». Эти мечты сменяются другими: «Он делается вице-губернатором, губернатором и наконец министром просвещения. Делает полезнейшие узаконения, заводит училища, академии, университеты, учреждает особенный орден для ученых, издает все лучшие сочинения наших писателей, награждает таланты, дает благодетельные советы по всем частям государственного управления, споспешествует счастью отечества и... *и сам ничего не имеет*» (1, 70).

«Восхищался, – пишет он, – стоя в Успенском соборе. Первый храм России; сюда, в течение восьми веков, приходили государи русские молиться Богу за народ свой. Здесь молился Донской, Иоанны; здесь служили Алексии, Филиппы; отсюда выпускали на битву Холмских, Воротынских. Какое благоговение возбуждает сия простота, его куполы, его узкие окошки. Ходили в Архангельский собор; поклонились гробам Калнты, Донского, Иоанна III; помолился за Иоанна IV. Были в Чудове; приложились к мощам св. Алексия, рассматривали одежды его, хранящиеся пятьсот лет. Древность возбуждает сильное чувство. Ходили на Красное крыльцо. Здесь, по этим ступеням ходил царь Алексей; за ним, в трескучий мороз, на руках несли Петра; Наталия шла возле; перед крыльцом толпился народ и кричал: *«Жив буди многие лета, надежда Государь!»* – и шел вместе с ним в церковь Божию. Какие воспомина-ния...» (1, 166).

Мы привели места, исключительно обнажающие душу Погодина, и не коснулись гораздо более занимательной, но легче представимой для читателя внешней стороны жизни как его самого, так и тех людей, с которыми он сталкивался. Заметим только, что вкус г. Барсукова, его чуткость к слову как *памятнику* момента, пережитого душою, не покидает его на протяжении всех девяти томов, и к лицам какого бы разного душевного склада он ни переходил (Погодин и Белинский, Гоголь и Герцен, княжны Трубецкие и митр. Филарет и пр.).

II

Читатель уже мог заметить из приведенных выдержек, что совершенное отсутствие *классичности*, чем так обильно богат был Карамзин, составляло отличительную особенность Погодина. Он весь был в факте, в жизни; обоб-

шение не закрывало от него предметов, минут, людей, их действий; и так же точно его собственный характер, порывы, поступки, интересы, занятия не поддаются вовсе подобному обобщению. От этого – отсутствие постоянства и единства в трудах его. Как ребенок, готовый бы заняться годы приводящего его в восторг игрушкой, однако вырывает ее через минуту из рук, потому что видит уже другую, лучшую, – так Погодин, несмотря на специфическое призвание свое «к Истории» («историю» он всегда писал с большого «И»), не мог не бросать ее всякий раз, когда шум событий, новое явление в литературе или затруднение в политике звало его внимание. Можно сказать, он слишком любил жизнь и слишком мало ценил себя, точнее – слишком мало был на себе сосредоточен, чтобы посвятить себя одному монументальному труду, хотя бы это был «Моисей», имевший поднять нашу литературу на уровень Тасса и Клопштока. Чтобы предпринять «Историю государства Российского», «Историю России с древнейших времен» – необходим известный эгоизм, некоторая сухость души и высокомерие ума, чего и тени не было у этого дитяти народа*, хотя именно замыслы великих творений бродили у него постоянно в голове. При этом замечательно – следя на протяжении девяти томов за этим человеком, видя его во всевозможные минуты, во всяких положениях, и даже в невозможно распушенных, мы ни разу не замечаем, чтобы он был в отношении какого-нибудь предмета туп, что можем подметить в человеке даже таких великих заслуг, как его знаменитый ученик С. М. Соловьёв**, и, наконец, в неуловимо легких штрихах – в Карамзине, и всегда почти – в «кумире» Погодина И. И. Дмитриеве. И хотя он исполнен самых высоких мыслей о себе (именно от бессознательной даровитости) и только не знает, куда приложить силы – к «Моисею», переводу «Славянской грамматики» Добровского или «Истории России до монгольского ига», – он никогда не тщеславен и даже почти не видит себя, а только тысячи предметов, вопросов, на которые разбегаются его глаза. От этого он – истинно благороден, несмотря на помыслы «о капитальце»; ибо сущность неблагородства в человеке есть именно отравленность мысли его собой. Около него, в разные поры жизни, стояли истинные гении – Пушкин, Гоголь; в ранние годы, как некоторых гениев, он издали созерцал Карамзина и Дмитриева – и никогда мучительное чувство Сальери не шевельнулось в душе его. Нужно читать отметки его *Дневника* за время пребывания в Знаменском, среди высокоаристократической семьи, где этот сын народа, еще продолжавшего оставаться в закрепощении, имел единственный предмет смущения и раздражения в том, что здесь употребляют «подлый французский язык», и он с живостью записывает у себя в книжке:

«Я замечаю, что французский язык хотя здесь и употребляется, но не потому, чтобы он нравился, а оттого, что все его употребляют»,

* Погодин происходил из крепостного крестьянства.

** См. его разбор Лорана в «Критическом Обозрении» и мн. друг.

и младших членов семьи он перетягивает на свою сторону, к употреблению «природного русского» наречия. Он полувлюблен во всю женскую половину семейства; его сокрушает, что мать «любит больше Николиньку, нежели Сашеньку», и он вступает с ней, по поводу этой несправедливости, в тайные полунаставительные объяснения. И, однако, его полувлюбленность так мало заключает в себе эгоизма, что, познакомившись с известным поэтом-воином Д. В. Давыдовым и придя в восхищение от него, он записывает в «Дневнике»: «Как было бы хорошо, если бы княжна Аграфена Ивановна (ему нравившаяся) вышла за него замуж». Ни разу темная мысль: «Почему это не мне?», «Чем я хуже других? — если только это не касалось старой рукописи или других сокровищ его великолепного *Древлехранилища*, не омрачила его душу. И это есть истинный аристократизм — ничему не завидовать, в основе чего лежит сознание своего равенства со всеми. Он отвез огурец своей матери от Трубецких и «хорошего сукна» в подарок своему отцу — от них же; и как не отказался от огурца, не отказался и от сукна, потому что был истинно горд и ему в голову не могла прийти мысль, чтобы он оценивался на деньги, на состояние. В нем, таким образом, в тесном соединении мы наблюдаем истинного демократа, который есть в то же время истинный аристократ, видящий границы, проводимые между людьми социальным строем, и размышляющий о них, но как будто вовсе не чувствующий, что они также и *через него* проведены... Какая разница с позднейшей демократической завистью у нас, в которой сказалось новое *начинающееся* сословие, мучительно алчущее *себе* всего и ничего не желающее оставить другим*.

Мы отвлеклись в сторону — к чувствам новым, которых не знал несравненный историк московский. И между тем, будучи студентом, он всякую Пасху ходил к профессорам своим с праздничным поздравлением, и по «Дневнику» мы видим, что он делал это с тем же чувством любви и почитательности, с каким бояре допетровского времени приходили на поклон к своим государям**. Именно незатемненность души, незатемненность на протяжении десятков лет, между тем как мы видим все самые интимные ее движения, есть самое привлекательное зрелище, развертывающееся перед

* Это — сословие так называемых «разночинцев», которое единственное свое достоинство — книжную наученность (не ум, не талант) — усиленно пыталось и сумело выставить как единственно заключающую в себе смысл привилегию — привилегию, которая должна быть сохранена и укреплена законодательным путем, когда все другие этим же законодательным путем должны быть ослаблены или всего лучше совсем уничтожены. При реформах императора Александра II только эта привилегия уже принималась в расчет и к уважению (напр., при всеобщей воинской повинности).

** Однажды знатный иностранец, участвовавший в посольстве к московскому государю, был удивлен, увидя знакомого ему сановитого боярина, к которому приступил не было, когда он в чужой земле представлял своего государя, — теперь бегающим и суевающимся около него как мальчик, и он выразил ему свое удивление. «Эх, батюшка, — отвечал тот ему впопыхах, — ведь мы своим государям не по-вашему служим». Тут сказались вся Москва.

нами в «Жизни и трудах Погодина». И это зрелище гораздо более утешительно для нас и более поднимает в нас человеческую гордость, чем как это мог бы сделать рассказ о каком угодно подвиге на поле брани. Ибо ни разу в жизни своей не позавидовать, не подумать: «Почему это не я?» – видя счастье, талант, успех другого, – это труднее для человеческой слабости, нежели для сил человека подняться на снежные высоты и перебросить через них армию при удивлении, страхе, волнении народов, для памяти истории.

Если невозмущенная ясность составляла основную черту в нравственном облике Погодина, то *удивленность* и *неугомонная занятость* были отличительной особенностью его ума, как это с живостью сказалось, например, в следующих словах, занесенных в *Дневник* по прочтении Шлецевой критики текста Несторовой летописи:

«Прочел Шлецера – и очутился в новом мире и уразумел, что такое критика...» (1, 54).

Его всё занимало, но не исключительно с умственной стороны, но скорее – с волевой. Он не только интересовывался, но всему непременно хотел бы «споспешествовать»; *видеть* уже значило для него *привязаться*, и *привязаться* значило – улучшать, помогать, способствовать. В отметках *Дневника* мы встречаем не только ясные мысли, как, напр., эту:

«Горе воспитателю, который бы захотел слишком рано научить рассуждать своего питомца; горе и тому, которого воспитание нравственных сил остается позади от физических; но как определить эту ответственность, как устроить воспитание, чтобы и нравственные, и физические силы шли наравне? Воспитатели! Вот задача, от нее зависит счастье рода человеческого!» (1, 127).

И он, в волнении, уже

«...молится Богу, чтобы помог ему дать хорошо урок географии», – но местами попадают и мысли положительно глубокие, удивительной силы проницания, и которые в те ранние годы нашего столетия решительно не останавливали еще ничьего внимания (напр., о некоторых общих, органических особенностях великих людей в истории). Но по какому-то невниманию к себе, которое так привлекательно, он их не разрабатывал вовсе, но бросал тотчас, как они ему приходили на ум, чтобы бежать и любоваться и любить еще и еще множество предметов вне себя. У него именно не было оглядки на свой след; не было эгоистического анализа себя; мир ему представлялся огромной и неоценимой жемчужиной, в удивлении и восторге перед которой протекала его жизнь, и он никогда не спросил себя, не представляет ли и он сам в этом мире некоторой жемчужины и нельзя ли сделать из него какого-нибудь лучшего употребления, нежели только удивление, умирающее вслед за минутой, как оно произошло. Его труды литературные и ученые – ничтожны или малозначительны; из предприятий, «дел» – нет ни

одного памятного; он сгорел, как свеча перед миром, не оставив по себе ничего, кроме некоторой копоти и куска пахнущей свечильни; но это его горение было истинно прекрасно; что он жил, а не писал только сочинения – это и прекрасно, и благотельно, и поучительно, а благодаря труду г. Барсукова становится поучительно и на все времена.

III

В силу указанных особенностей души Погодин без усилия, без старания вошел в общение со всем выдающимся, что появлялось на горизонте нашей действительности за полувековую пору его зрелости. Нужно читать, по отметкам в «Дневнике», с каким благоговением он выслушивал самые незначительные слова, если они принадлежали кому-нибудь из чтимых им профессоров университета или тому или иному маститому писателю. Когда в семейство Трубецких один раз приехал кн. П. Вяземский – он весь вечер к нему «приглядывался»; в 1825 г. написав магистерское рассуждение «О происхождении Руси», он представил его, через И. И. Дмитриева, знаменитому историографу при письме, где писал:

«У Вас начал я учиться добру, языку и Истории; позвольте же посвятить Вам, в знак искренней благодарности, первый труд мой...»

На что Карамзин, через Дмитриева же, отвечал более классически, чем живо:

«Милостивый Государь, Михаил Петрович. Примите изъявление искреннейшей моей признательности. С живейшим любопытством читаю Ваше рассуждение, писанное основательно и приятно. Усердно желаю, чтобы Вы и впредь занимались такими важными для Российской Истории предметами, к чести Вашего имени и нашей исторической литературы. Прося о продолжении Вашей ко мне благосклонности, с истинным почтением имею честь быть и пр.»

Погодин с этим письмом обегал всю Москву, показывая строки более начертанные, чем написанные историографом, и обращенные к нему, еще совершенному ничто в этом мире громад, светил и всяческого духовного величия. И также кто бы ни восходил над горизонтом действительности талантом, знаниями или простой оригинальностью характера или жизни*, Погодин, наивный любитель мира, уже спешил его разглядывать, и так как никто не замечал, чтобы к этому разглядыванию примешивалось какое-ни-

* Таков был, например, таинственный своим затворничеством граф М. А. Дмитриев-Мамонов, к которому Погодин, никогда его не выдавший, обратился с письмом в 1821 г., а по его смерти, в 50-х годах, разразился негодованием на прессу, что она прошла молчанием кончину такого достопамятного, хотя бы только странностью, человека.

будь дурное чувство или постороннее искание, то все отвечали ему приветом и дружбой на его порыв. Отсюда множество его связей. Он был часто груб с людьми, даже почти всегда был груб, потому что, чрезвычайно ценя их внутренние дары, как бы не видел вовсе внешней оболочки этих даров и нисколько не регулировал свое отношение к ней (так он очень иногда раздражал Гоголя). С тем вместе у него не было постоянных, избранных любимцев, предметов исключительного поклонения; таким предметом поклонения для него если и было что-нибудь, то – вся Русь, все море им ощущаемой вокруг себя жизни; и Пушкина, Гоголя, Карамзина он любил почти так же, как мы любим красоту Кавказа и климат Южного берега Крыма, которые нам нравятся, когда мы даже не видим их, мысль об утилизации которых для себя чужда нам, и они для нас дороги просто как красота, как дар Божий любимому нами отечеству. Между множеством изданий Погодина есть одно – собрание факсимиле, почерков знаменитых людей русских: полководцев, царей, вельмож, писателей. Он просто любил их всех, издали или вблизи – это не было для него на первом плане; в его оценку людей не входила какая-нибудь исключительная черта – эстетическая, моральная, умственная: он любил все *достопримечательное*, что давало пищу его господствующей потребности – быть удивленным, заинтересованным. Отсюда – чрезвычайное несходство лиц, с которыми он входил в общение: он был на «ты» с Шевыревым и Гоголем; мы видели уже отношение его к Карамзину; и вот что записывает он после первого знакомства с Денисом Давыдовым:

«Огонь! С каким жаром говорил о поэзии, о Пушкине, о Жуковском. “В молодости только, – говорил он, – можно писать стихи: надобна гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку... Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов”. Как восхищался Байроном, рассказывал места из него. Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. Он переводить ничего не может. Прекрасно дразнит обезьяну (?) Пишет стихи за присест, однако марает много. Александрийские стихи – императорские. Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь!»

Он любил пеструю толпу людей, любил этот шумный базар истории, на который приходили люди и уходили с него, и он тогда плакал над ними, как плакал о Пушкине в аудитории Московского университета, но слезами светлыми, без дряхлеющего уныния, без шемящей боли, без всего саднящего в душе или едкого в воспоминаниях. Тип совершенного душевного здоровья представляет собой этот человек из народа, переводивший, однако, «Рене» Шатобриана и плакавший над смертью Юлии в «Новой Элоизе» и нисколько этим всем не заразившийся. Он поднялся прямо с почвы народной, с которой не разорвал никогда связи; и мимо его или над ним пронеслись дуновения ветров самой разнообразной силы и неодинакового качества, не пошатнув его нисколько, не погубив, даже не изменив сколько-нибудь заметно.

Между писателями нашими, как это ни странно, он по качествам ближе всего примыкает к Ломоносову. То же смешение научных занятий с художественными порывами; тот же реализм; та же неугомонность; то же желание всему «споспешествовать»; тот же неистощимый энтузиазм к земле Российской; та же совершенная простота, и не подозревающая даже, что все прекрасное, что у них выходило само собой, можно также и «делать». Только у одного предметом господствующего интереса были естественные науки, он дивился более громадам и чудесам мира физического; у другого предметом поклонения и «воздвизания» была история – он удивлялся более людям. Пожалуй, Погодин был попроще, поуже, пассивнее Ломоносова; но, во всяком случае, он был человек его духовного *типа*; он был, прибавим, несколько теплее, нежнее его. В обоих мы наблюдаем черты нашего крестьянства в их общих, несуженных и еще не углубленных линиях.

IV

В симпатиях своих как один, так и другой сливались с целостным бытием своего народа, а не с каким-либо одним его течением. Только Ломоносов, более близкий к личности Петра, тяготел с чрезвычайной силой к этому коллосу нашей истории; Погодин, сообразно своей удаленности и изменившимся историческим отношениям, уже не испытывал этого тяготения, но он также чрезвычайно любил личность удивительного царя. Как было бы ошибочно, однако, назвать «западником» Ломоносова, так ошибочно будет назвать Погодина «славянофилом», хотя симпатии одного к европейскому просвещению и другого ко всему славянскому были чрезвычайно сильны. Они были слишком даровиты и *жизненны*, чтобы принять эти, в конце концов, несколько книжные теории; они жили слишком натурой, инстинктом, здравым смыслом, чтобы подчинить себя сухой и замкнутой логике этих учений. Погодин подверг впоследствии «Историю» Карамзина резкой критике и всегда отдавал перед ним предпочтение Шлецеру; он плакал, когда умер старый московский профессор Гейм; он строил планы посетить Шеллинга и мысленно вел с ним беседы о натурфилософии. И в самом деле, не выражением ли скудости нашего духа было бы, встретив благородное, умное, «достопримечательное», прежде чем удивиться, восхититься, взволноваться – спросить, откуда оно и не контрабанда ли это? Самый этот вопрос уже предполагает в себе отсутствие способности энтузиазма; и тот энтузиазм, который мы потом допускаем в себе, убедившись в доброкачественности «марки», не может не быть несколько делан и холоден. Хотя, с другой стороны, убеждение, что «все французы – собаки» и «российское наречие – лучше всех», конечно, не может подлежать какому-либо осуждению. Любовь к почве, к земле своей и некоторое априорное отрицание всех иных земель и языков *до* знакомства с ними также коренится в живых, милых, прекрасных, необходимо нужных инстинктах человека, как удивление и культ при *позднейшей* встрече с тем и иным конкретным фактом чужой

жизни коренится в его разумности и в добрых свойствах его сердца. Шлецер всю свою жизнь положил на критическое изучение Несторовой летописи; за шесть дней до безболезненной кончины Гейм еще читал лекции и должен был прервать последнюю, потому что его задушил кашель. Оба возделывали *нашу* почву, не ища в ней для себя никакого клада. Как же перед этим высоким подвигом – и уже без всякой мысли, что они копали именно *нашу* почву, – не преклониться всякому русскому, и уже преклониться не как русскому с благодарностью за содеянный труд, но с удивлением как человеку? Западничество и славянофильство, так не соединимое в книгах, соединяются без всякого противоречия в живой натуре человека, которая богаче, могущественнее и правдивее всякой логики.

Во всяком случае, этот «всероссийский» склад натуры Погодина, отсутствие в нем провинциализма и филиальности убеждений, при их живости, горячести, – еще более расширило круг его сближенности с людьми; и, можно сказать, переходя из десятилетия в десятилетие он, как кряжистый дуб, если и не достигал непосредственно, то видел перед собой весь шумящий около него лес действительности; и что видел, что слышал, о чем вспоминал или на что надеялся в этом людском лесу – он заносил в необозримые томики своей «Записной книжки» изо дня в день. Мы указали на горизонтальную широкость этих записей, их всё захватывающее содержание в каждую текущую минуту; и если мы припомним, что эти минуты длились до 1875 года нашего века, а начались в самом начале 20-х годов, – мы поймем, как велик их не столько фактический, сколько *духовный* интерес.

Вот 2–3 мимолетные черточки, показывающие психическую структуру общества тех лет, когда Погодин *начал* свой «Дневник».

В Московском университете курс анатомии читал Лодер, друг и товарищ творца «Фауста» и «Германа и Доротеи». По его мысли и желанию на одной из стен анатомической залы была сделана надпись, и мы ее можем понимать как выражение взгляда маститого ученого на свою науку и на задачу своего служения ей. Что же, были ли это слова Гиппократовы, Гарвея, Мальпиги? Нет, это была строка из псалма: *«Руце Твои сотвориште мя и создаете мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим»*. Погодин, приведя этот текст, замечает у себя в «Дневнике»: «Эта священная надпись слилась в нераздельное целое с самыми первыми начатками моих научных занятий в Москве» (1, 51).

Это – небесная сторона тех ушедших в могилу дней, а вот и земная:

Когда Лодер получил анненскую звезду, главенствовавший в профессорской корпорации медицинскому факультету профессор Мудров повел слушателей своей аудитории (в числе их был и знаменитый впоследствии Пирогов) поздравить их наставника и своего товарища с государевой милостью. Когда студенты почтительно выстроились перед новым кавалером ордена, Мудров, выступив вперед, вынул из кармана заготовленный лист и прочел приветствие, «гласом проповедника», по воспоминанию Пирогова:

«Красуйся светлостью звезды твоея, но подожди еще быть звездою на небесах» (т. е. не умирай, живи между нами) и т. д.

Мы видим, как в сфере внутренних ощущений, так и внешних форм, как бы другую породу людей, с другой планеты и уже ни в каком случае не из нашего отечества, не из нашего века. Между тем это были наши предки. Вот еще черта, дорисовывающая их нравственный облик:

Погодин был, как уже выше замечено, из рода крепостного крестьянства; стесненный одно время в средствах, он обратился к старичку Сандуну, исполнявшему обязанности инспектора студентов, за позволением переехать в казенные номера. «Хорошо, – сказал старик, – приходи ко мне тогда-то, и мы посмотрим вместе, где можно тебе поместиться». Назначенный день наступил, и они отправились в № 14, предназначенный для недостаточных студентов. Комната была почти пуста, большинство ее обитателей разбрелось куда-то. «Сандунов подошел к одной кровати: шерстяное, дырявое, грязное одеяло покрывало постель. Палкой приподнял он одеяло, открылись голые доски. Старик обратился к Погодину и сказал:

«Нам вот каких надо. Ты такой ли?» (т. е. так ли ты беден, чтобы в этом нуждался? Иначе не занимай место беднейшего тебя).

Погодин замечает по этому поводу:

«Нам вот каких надо. Святые слова! Вот был какой дух в университетском начальстве того времени. Не знаю, какие гуманные теории и учтивые фразы могут быть сравнены с этими простыми словами».

Иногда более, нежели в самых фактах, строй души и формы ее состояния выражаются в структуре речи. И вот еще один, последний штрих.

Кончившие курс студенты, по тогдашнему благочестивому и благородному обычаю, ходили благодарить ректора и профессоров не только за жалование, но и с любовью посвящавших им свой труд и знания. Погодин, сдав последний выпускной экзамен, также отправился к доброму, ласковому ректору Антонскому, который его очень любил за прилежность к наукам. На беду, впопыхах и, вероятно, приготавливая благодарственные слова, он позабыл оставить палку в передней и с ней вошел к нему:

«Ах-та, что ты это? – вскричал, увидя его, ректор. – Бить-та пришел ты меня-та. Ай-ай-ай! Что ты это делаешь! Поди-та, поди-та от меня! Бить-та меня он-та хочет!»

Сгорая от стыда, Погодин бросился к Мерзлякову, рассказал ему всё и просил разъяснить Антону Антоновичу, как и почему это вышло. Все, конечно, уладилось, и назавтра же ректор обласкал пылкого ученика, расспросил его о занятиях, семейном положении и обещал хлопотать о казенном «коште» для заграничного (научного) путешествия, и пр. (Т. I, С. 105).

Вот с каких людей, каких времен, какой психической структуры начинается труд г. Барсукова, где жизненные сцены, размышления, письма, воспоминания, предположения, чередуясь, восходят из года в год, без какого-либо перерыва, до времени, когда писались уже следующие строки:

«Вам, милый юноша, понравилось то, что Самарин говорит о народе: перечтите-ка да переведите эти фразы на простые понятия, так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо

понятые понятия о народе, абстрактно примененные к нашему народу. Если б об этом можно было писать, не рискуя впасть в тон доноса, я бы потешился над ним за эту страницу... Самарин не лучше Булгарина по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надобно быть осторожному... Конечно, статья ваша против него жива и дельна, – но я крайне недоволен ею с одной стороны. Этот барин третировал нас с вами *du haut de sa grandeur**, как мальчишек; вы возражали ему, стоим перед ним на коленях. Ваше заключительное слово было то, что он даровитый человек. Что Самарин человек умный – против этого ни слова, хотя его ум парадоксальный и бесплодный; что Самарина нельзя никак назвать бездарным человеком, и с этим я совершенно согласен. Но не быть бездарным и быть даровитым – это вовсе не одно и то же. Это, впрочем, общий всех нас недостаток – легкость в производстве в гении и таланты. В чем увидели вы даровитость Самарина? В том, что он пишет не так, как Студинский? Но ведь это дурак, а он умен. Вспомните, что он человек с познаниями, с многосторонним образованием, говорит на нескольких иностранных языках, читал в них всё лучшее, да не забудьте при этом, что он светский человек. Что же удивительного, что он умеет написать статью так же порядочно (*comme il faut*), как умеет порядочно держать себя в обществе? Оставляя в стороне его убеждения, в статье его нет ничего пошлого, глупого, дикого, в отношении к форме всё как следует; но где же в ней проблеск особенного таланта, вспышки ума? смысла? Надо быть слишком предубежденным в пользу такого, чтобы видеть в нем что-нибудь другое, кроме человека сухого, черствого, с умом парадоксальным, больше возбужденным и развитым, нежели природным, человека холодного, самолюбивого, завистливого, иногда блестящего по причине злости, но всегда мелкого и посредственного... Вы имели случай раздавить его; вам это было легче сделать, чем мне. Дело в том, что в своих фантазиях он опирается на источники русской истории, тут я – пас. Он мне сказал об «Ипатьевской летописи», а я не знаю и об существовании ее; вы – другое дело, вы читали и изучали, и ею же его и могли бить. Вы это и сделали, но с таким уважением к нему. А вместо этого вам следовало бы подавить его вежливой иронией, презрительной насмешкой... Церемониться с славянофилами нечего. Я не знаю Киреевских, Ивана и Петра, но, судя по рассказам Грановского и Герцена, это фанатики полупомешанные, особенно Иван, но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова: это человек, в котором благородство – инстинкт природы; я мало знаю брата его Ивана Сергеевича и не знаю, до какой степени он славянофил, но не сомневаюсь в его личном благородстве. За исключением этих людей, все остальные славянофилы, знакомые мне лично или только по сочинениям, страшные и на все готовые... или, по крайней мере, пошлецы. Самарин не лучше других; от его статьи несет мерзостью. Эти господа чувствуют свое бессилие, свою слабость и хотят заменить их дерзос-

* с высоты своего величия (*фр.*).

тью, наглостью и ругательным тоном. В их рядах нет ни одного человека с талантом. Их журнал, «Москвитянин», читаемый только собственными сотрудниками, и «Московский сборник» – издание для охотников. А журналы их противников, «Отечественные Записки» и «Современнику», расходятся тысячами, их читают, о них говорят, их мнения в ходу. Да что об этом толковать много! Катать их!.. И Бог вам судья, что отпустили живым одного из них, имея его под пятой своей!..» (IX. С. 35–37).

Так писал Белинский в 1847 г. своему молодому другу, начинающему ученому, Кон. Кавелину, по поводу его «*Ответа*» Ю. Ф. Самарину на статью последнего: «О мнениях «Современника» исторических и литературных» (этот журнал только что перешел тогда от Плетнева к Краевскому и Некрасову). От тона, от новых приемов, которые слышатся в этом письме и которые через немного лет (60-е годы) мы увидим на страницах всех почти журналов, перейдем на минуту к воззрениям более практическим, высказанным тем же человеком:

«Некто Кулиш, – писал Белинский Анненкову, – в «Звездочке», журнале, который издает Ишимова для детей, напечатал «Историю Малороссии», где сказал, что Малороссия должна или отторгнуться от России, или погибнуть. Прошел год – и ничего, как вдруг Государь получает от какого-то эту книжку с отметкой фразы... Можете представить, в каком ужасе было Министерство просвещения (тогда заведовавшее цензурой). Мусии-Пушкин накинута на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого патриотизма. Вот что делают эти скоты-либералишки! Ох, эти мне хохлы! Либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя: всё марают. А с другой стороны, как и жаловаться на Правительство? Какое же Правительство позволит печатно проповедовать отторжение от него области... Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда не годная вещь. Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит, что Шевченко – человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса, творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченко сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля. Читая один пасквиль, Государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда Государь прочел другой пасквиль, то пришел в великий гнев. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал. Шевченко послали на Кавказ за эту литературу солдатом. Мне не жаль его: будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это – враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают Правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ровно ничего, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения» (IX. С. 230–231).

Еще несколько строк об отношении к *внутренней собственной жизни* (малорусская все-таки отделена от нас некоторой чертой), и нам станет ясно в своей тенденции обрисовывающееся здесь мирозерцание.

В 1847 г. на кафедру Московского университета вступил любимый ученик Грановского П. Н. Кудрявцев – происхождением из духовного звания и прошедший через семинарию. Только что вернувшись из-за границы, он поселился, чтобы быть ближе к отцу своему (священнику), в Замоскворечье и взял к себе сестру: вдову тоже священника, с маленькими детьми.

«Кудрявцев, – писал Анненкову В. Боткин, член кружка Белинского и Герцена, – начинает свои лекции в сентябре. Я не знаю еще, где он будет жить; но то, что он будет *жить вместе с своей сестрой, вдовой священника, и у которой четверо маленьких детей,* – и Кудрявцев не имеет достаточно силы воли, чтобы отделиться от этого родственного деспотизма, – это представляет мало утешительного. Поймите, что это за мир, что за сфера! Да досадно еще то, что Кудрявцев чувствует себя хорошо в этой сфере... В его уме нет ни малейшей смелости, он набит авторитетами... Мне сдается, что Белинский разделяет мои предчувствия» (IX, стр. 223).

И еще, после свидания с Кудрявцевым, он писал: «Только сегодня увиделся я с Кудрявцевым, между тем как он уже более двух недель в Москве. Он пришел ко мне, *словно убитый*. (Кудрявцев вскоре умер от чахотки, первые признаки которой у него появились во время двухгодичного заграничного путешествия, но Боткин не догадывался об этом.) Эти *семейные обстоятельства его ужасно отделили*: глаза впали, лицо – цвета пергамента. Кудрявцев несообщителен, я от него не мог ничего узнать, но всячески старался развеять его и часа через два немного успел. Из Европы попасть в сферу духовную! А силы воли нет, чтоб решительно отделиться от нее. И за это он дорого заплатит. Поселился он с сестрой, у которой четверо детей, за Москвой-рекой, чтобы быть поближе к отцу. В таких положениях *juste milieu** никуда не годится. Addio!** (IX, 223). Белинский же об умственной стороне Кудрявцева писал несколько ранее, до его возвращения из-за границы: «Этот человек никогда не выйдет из своей коры. Он и в Париж привез с собою свою Москву. Что за узкое созерцание, что за бедные интересы, что за ребяческие идеалы. Кудрявцев – духовно малолетний, нравственный и умственный недоросль... и вся беда в том, что он москвич» (там же. С. 222).

V

Уже умирающей почти рукой, Белинский писал приведенные выше письма, всего за несколько месяцев до смерти; и осуждением дышат его строки. Любовь Кулиша и Шевченко к своей Украине, к ее быту, к ее людям, к этим

* золотая середина (фр.).

** Прощайте (ит.).

тысячам покачнувшихся набок деревень, с звучащими там песнями, с передаваемыми рассказами,— все это кажется ему малозначительным сравнительно с «французскими повестями», которые вдруг стала марать цензура, вовремя не догадавшаяся замарать эти строки. Эту их любовь — прекрасного поэта и горячего историка — он топчет — топчет их привязанность к родной земле, которая мешает его любви к понятиям французской словесности. И сущность этих понятий, как видно из писем его же и Боткина о Кудрявцеве, отражалась, хотя и косвенно, как некоторая темная неприязнь и глухое непонимание своей *собственной* земли, того материнского чрева, которое их всех выкормило и выносило.

От Белинского, от его предсмертных литературных трудов, которые писались под влиянием чувства, для нас теперь вскрытого, пошла целая группа писателей, надолго получившая преобладание над всеми остальными течениями нашей литературы. Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, из художников — Некрасов и Салтыков, и, наконец, г. Н. Михайловский и г. Скабичевский — все эти люди, как бы преемственно развивая в себе последний порыв Белинского, только приложили его ко всей многообразной действительности — в стихах, в прозе, сатире, романе и главным образом всё-таки в критике. Очень развитый, очень многословно выраженный — это есть всё один и тот же порыв отвергнуть, растоптать, унижить чужую любовь, чужое уважение, и наконец, самую действительность,— не по основаниям каким-нибудь и даже вообще не после какой-нибудь поверки, но потому только, что всё это растет не из тех «французских повестей», которые им были и остаются дороги более, нежели людские поколения, их живая кровь, всякая реальная действительность. В разное время этими «французскими повестями» становилось различное: то, как для Белинского,— французские социальные теоретики; то, как было позднее,— теоретики того же склада Англии и Германии; но что объединяет всех этих людей — это невнимание к чему-нибудь еще, кроме их занимающих «сюжетов», и неразборчивость в средствах, какими можно привлечь к ним внимание остальных частей человечества (см. слова Белинского: «Да что долго толковать — катать их всех», сказанные о людях, которые и «знали» то, чего он «не знал», и у которых «благородство» было «инстинкт природы»). Знаменитый критик негодовал, каким образом судьба Малороссии может быть поставлена наряду с зачеркнутыми цензурой французскими повестями; очень скоро настало время, когда вообще перестали понимать, каким образом серая, хмурая, некрасивая Россия в своих ежедневных нуждах, в своем историческом труде, в своей молитве, для нее дорогих преданиях и, наконец, во всем ею исповедуемом вот уже тысячу лет может стоять препятствием на пути не к чтению только, но и к живому осуществлению в действительность сюжетов тех «повестей».

Что это было за странное движение? Откуда эта потеря чувства действительности? Что это за странный культ, горевший десятилетия три в нашем обществе и не угаснувший окончательно еще и теперь? И кто, нако-

нец, были они – эти своеобразные посланцы, которых ни уместить, как следует, в историю литературы мы не умеем и не можем, очевидно, из нее выбросить, – с юношей во главе мужей и седоволосых старцев?*

В той части приведенных писем, которые относятся к Кудрявцеву, мы видим как бы просвет, падающий на этот факт, видим зачаточный след, идя которым находим некоторое для него объяснение. Самая поразительная и общая черта, соединяющая как авторов тех писем, Боткина и Белинского, так и всех писателей, которые образуют это течение литературы, состоит в том, что никогда, ни на одну минуту, ни в какое время им не приходила на ум мысль, что их сочинения могут быть нужны кому-нибудь еще, *краме юношей*, которым они нужны в высшей степени; что их может взять в руки и серьезный историк (напр., тот же Кулиш), и поэт, государственный муж, отец семьи или вообще кто-нибудь, имеющий на земле серьезные, *взрослые* интересы. Точка зрения этих взрослых людей, имеющих насущные нужды и трудные обязанности, – вот что равно и безусловно отсутствует у юноши Писарева и старика Некрасова, у вдохновенного Белинского и циника Щедрина, у много учившегося Боткина и ничего почти не знавшего Шелгунова.

Мы говорим именно про структуру духа, которая остается та же при всяких степенях образования и во всех возрастах. Катков, напр., не интересовался никогда, читают ли его мальчики, и вообще даже не интересовался, читает ли его и общество: он говорил всегда немногим *лицам*, которые его могли понимать; напротив, когда писал Добролюбов и также всякий другой писатель из *этого* течения литературы, он вовсе не предполагал, что его слова будут серьезно обсуждаться и взвешиваться людьми такого закала души, как хотя бы Катков.

Салтыков (Щедрин) уже на склоне лет, заканчивая свою литературную деятельность и пользуясь несравненным авторитетом в обществе, забеспокоился мучительно тем взглядом, какой был много лет назад брошен на него юношей Писаревым (в статье «Цветы невинного юмора»), очевидно, неправильно его понявшим; и тем, что вслед за Писаревым еще толпы юношей также неправильно будут его перетолковывать. Очевидно, суд взрослых для него не существовал: *этот* суд его не тревожил, – хотя бы между судящими был человек такой умственной силы, безупречной искренности, могучего таланта, как Достоевский. И если, далее, мы возьмем исторические труды Шелгунова или Шашкова и в них посмотрим, мы увидим, что мысль о составе этих трудов, их компетентности, возможном отношении к ним ученых никогда даже не приходила им в голову и, *главное*, нисколько их не занимала. «Отечественные записки», «Современник», теперь «Рус-

* Мы разумеем Писарева. Характерно и многозначительно, что ни Добролюбов или Чернышевский, ни даже Белинский не пользовались таким ореолом, не возбуждали такого горячего, страстного энтузиазма, как этот писатель. И что бы ни говорили, какие бы поправки и возражения к этому факту ни привносили, он остается историческим фактом, который предстоит не отвергнуть, а объяснить.

ское богатство» и «Русская мысль» – эти органы, говоря серьезно и о серьезных предметах, о чем бы, однако, ни говорили, говорят именно юношеству, с точек зрения для юношества занимательных, ему понятных или им усвоимых.

Что же это за странное явление, что за необъяснимое отношение к возрасту, помимо истины, пользы, красоты созданий единственно принимаемое во внимание? Кто, наконец, они – эти странные люди, и в чем была их истинная миссия, помимо той кажущейся, которой они были так усердно заняты? Вне всякого ведения для себя – они были бессознательные *педагоги* и с замечательным совершенством выполняли функцию, которой в них никто не предполагал и они сами не предполагали ее в себе. Вне школы, скучной, бессвязной, бескультурной, неспособной сколько-нибудь вовлечь расцветающие души в мир серьезных интересов, за ее стенами и с явным антагонизмом к ней, развернулась школа без стен, без парт, без застегнутых в мундир чиновников, в которую радостно ринулось* всё свежее, ищущее, любознательное, – и они, эти педагоги-писатели, радостно и дружно пошли навстречу этому движению. Что в том, что матерьял воспитания, т. е. самые писания, были часто недоброкачественны, как бестолковы бывают и переводимые «для упражнения» примеры: важно, что метод усвоения этих предварительных упражнений был абсолютен, что в том общении, какое начиналось между учителем и учениками, соблюдены были все вечные принципы образования: индивидуализм отношений, неторопливость восприятий, их однородность, культ уважения к предметам научения и любви к лицу научающего**.

И если, по всем линиям своего воздействия, эта школа стремилась отделиться от литературы взрослых – в этом сказалось целомудрие истории, не смешивающей своих процессов. Здесь возникла своя поэзия, для которой не существовали критерии поэзии «той»; свои рассказы, повести, романы, где уморительно было бы искать какой-то «психологии», «анализа», и даже смешно, немножко неприлично было говорить о браке в его глубоком, таинственном значении***. Все женщины, в этих повестях действо-

* Уже Ив. С. Аксаков, изучая на юге России ярмарки, писал о поразившем его явлении: что «все молодые люди, честные по своим стремлениям и всему складу души, — зачитываются Белинским». Он не писал «все размышляющие, умные, образованные местные жители».

** Отсюда замечательный спор, поднятый над могилой Некрасова и не умолкший до сих пор: был ли он *искренен* и правдив в своем научении, а не о том, был ли он правдив в этих научениях? Для взрослого нужно знать *истину*, для несовершеннолетнего нужно *обожать* изучающего, без чего пропадет в него вера и самое научение рассыпается.

*** См. романы «Что делать?», «Шаг за шагом, или Светлов» и многие другие. Отсюда вытекло и все глумление, которому были подвергнуты в свое время «Война и мир», «Обрыв» и, первое время, «Анна Каренина», — пока именно (среди других причин) под воздействием этого романа изумительной художественной силы не произошел перелом в духовной жизни нашего общества.

вавшие, остались до конца милыми девушками, у которых вопрос «о четырех детях» (см. выше письмо о Кудрявцеве) вызвал бы гомерический смех и чувство некоторой естественной стыдливости. Единственно, что занимательно было здесь, — это самое «действие», а вовсе не характеристики, не «тонкое развитие» страсти (которой и не было), не «художественная цельность» произведения и т. п. «глупости» взрослых. И когда эти взрослые, обращаясь сюда, пытались говорить о нуждах государства, задачах семьи, догматах церкви, целях культуры — горсти каменьев сыпались им в ответ, потому что они, действительно, говорили нечто нелепое, неуместное и так же мало нужное здесь, как «Курс акушерства» мало нужен в библиотеках Смольного монастыря.

Отсюда, чем юношественнее был писатель, чем он далее уходил от действительности, чем более «сюжетов» необычайных изобретал сам или приносил с Сены, Шпрее, Темзы — о чем, впрочем, никто не спрашивал, — тем неудержимее, свежее приветствовался. Добролюбов был еще несколько серьезен, хотя и хорош в «Свистке», в «Когда же придет настоящий день?» и более всего в бесподобной «Что такое обломовщина?» и в «Темном царстве» — сатире на «тех». Чернышевский был слишком учен; совсем непонятен Герцен*; но Белинский в своих восторгах, а еще лучше Писарев, столь же восторженный и совершенно понятный, простой, — был истинным кумиром. Это был Гомер, которого множество маленьких Александров Македонских, засыпая, клали под подушку, чтобы назавтра, проснувшись, еще и еще читать, и мысленно благодарить его, и позднее плакать над его могилой, а при достаточных средствах, даже и приносить ему гекатомбы**.

* В высшей степени замечательно, что Герцен, несмотря на свой радикализм и бездну талантливости, никогда особенным культом не пользовался в нашем юном обществе. Он был не только слишком сложен, умственно развит, но и недостаточно внутренне чист для этого. Острота, хорошо написавшаяся, если бы даже, написав, он и почувствовал ее неправость, — уже не зачеркнулась бы им, и этого никогда не сделал бы Писарев.

** В Нижегородской гимназии (где и учился) и особенно в Нижегородском дворянском институте, в середине 70-х годов, степень зачитанности Писаревым была так велика, что ученики даже в характере разговоров и манере взаимного грубовато-циничного обращения пытались подражать его писаниям. Я в Нижнем уже не читал Писарева, прочтя его всего в Симбирске, во 2-м и 3-м классах гимназии, где также прочел всего Бокля и Карла Фохта и составил конспекты этих книг, у меня до сих пор хранящиеся. Но и в Нижнем, в 4-м классе, из-за насмешек старшего брата (который заменял мне отца) над Боклем и Писаревым, я поссорился с ним в столь резких формах, что он принужден был отделить меня от общего обеда, и я ел один, сожалея о роде человеческом, не усваивающем таких честных писателей. Классе в VI-м, однако, придя к товарищу и увидя у него том Писарева, я раскрыл старого любимца — и вдруг самая манера его изложения и также все мысли мне показались до того неинтересными и скучными, точно это был «Les aventures de Telemaque» Фенелона, и это был день, с которого я как бы забыл, что и читал его когда-нибудь.

И когда весь этот цикл литературы, к сожалению уже истощающийся* замкнется,— мы, обернувшись назад, будем поражены свежестью, богатством форм и, главное, необычайной оригинальностью этого совершенно нового во всемирной литературе явления; а углубившись в его смысл, поймем и великую мысль, на нем почившую. Наконец (и это уже наше пожелание), мы навсегда сохраним эту школу для нашего юношества, без какого-либо опасения перед ее прямыми утверждениями, подробностями, всем в ней несущественным (кстати, ее и разрушить нельзя,— не человеческими руками она создана). К Богу, к пониманию истории, к смирению перед землей своей и привязанности к ней люди не книгами приводятся, и не нужно, чтобы приводились книгами. *Это* — слишком жизненно для книг, слишком серьезно: и, наконец, это так существенно, так важно, что вверить судьбу этого обретения родины случайной встрече с книгой не было бы мудро. Итак, пока без родины, без Бога, в стороне от нас и наших путей, в садах чудесных Гесперид пусть растут наши дети, отдыхают до времени, когда придет их час и позовет их к *труду*.

О СТУДЕНЧЕСКИХ БЕСПОРЯДКАХ

Так называемые «студенческие беспорядки» хронически повторяются у нас от времени до времени. Теперь уже в «Русской Старине» и в «Русском Архиве» мы можем читать воспоминания о подобных беспорядках, написанные людьми или престарелыми, или умершими. Итак, это явление давнее, периодически повторяющееся. Никогда ни к чему серьезному они не приводили, и университетская жизнь, поволновавшись несколько, опять улеглась в свое старое русло, как бы ничего не случилось. Из биографий некоторых наших замечательных людей, например, Н. Я. Данилевского, мы знаем, что угар политического и так называемого «социального» брожения мутил и их умы во время молодости; автор «России и Европы» и «Критического исследования о дарвинизме», был в молодости фурьеристом и отвергая бытие Божие, в зрелых годах стал не только превосходным практическим работником на государственной службе, сохранившим России ее громадные рыбные богатства, но и теоретической мыслью — одним из столпов славянофильства.

* Он иссякает не столько внешним образом, в билини, сколько внутренно, как бы перерождаясь. Напр., у г. Н. Михайловского, который первое время кажется очень искренним, нельзя не заметить, что он часто тоньше и умнее своих статей, и, напр., полемизируя с вами, видит в том и ином неправоту свою и не сознается в этом, замечает следы. Он старается быть наивнее, чем есть; так сказать — приседает в уровень со своими читателями, и это вносит в его писания, в общем еще очень свежие, фальшь и отнимает у них то безусловно воспитательное значение, какое именно искренностью своею имели сочинения Белинского, Чернышевского, Писарева. Теперь отчасти — Протопопова и Скабичевского. Сюжеты «французских повестей» (см. выше письмо Белинского) ему уже не одни снятся, одним глазом он уже видит и действительность, и между тем силится внушить читателю, что только их один и видит.

На беспорядки эти можно иметь несколько точек зрения; точнее, они открывают в себе разные стороны, как только мы решаемся их всесторонне исследовать.

Прежде всего, это есть болезнь возраста, неприятная, хлопотливая, но не упорная и не опасная. Наше брожение политическое и так называемое «социальное» комплектуется исключительно адептами 16–27 лет; и, с другой стороны, в возрасте этих критических 16–27 лет почти каждый образованный русский «отрицает» и волнуется. Было бы напрасно думать, что какие-то проблематические выгоды заставляют позднее успокаиваться этих людей. Нет, простой опыт жизни, расширение сферы наблюдений и самой наблюдательности, завязавшиеся живые связи с обществом и жизнью исторической через семью, детей, наконец, через труд – кладут каждого в свою ячейку и заставляют признавать необходимость и целесообразность, а наконец, и священность, и поэзию этого громадного улья, где вот уже тысяча лет ронится громадный народный рой. В 16–27 лет каждый, т. е. почти каждый, русский бывает не только парламентаристом или республиканцем – этого еще мало, – он непременно бывает дарвинистом, позитивистом, социалистом; он вообще бывает политиком и философом в политике, к которой вплотную не подошел, и в философии, которую только что начал читать.

Россия в истории своей пережила казачество: некоторый род духовного казачества переживает и каждый из нас в соответствующую фазу возраста, переживает пору увлечений, воевания, погружения исключительно в свое «я» и противопоставления этого «я» всему миру. Ничего опасного. Рождается у этого «нигилиста»-казака первый ребенок, и с криком его приходит болезнь: таинства жизни вскрываются тому, кто отвергал их потому, что не понимал, и даже просто потому, что не видел.

Теперь – собственно предмет отрицаний.

Отрицается Бог, семья, отечество «в том нелепом виде, как оно существует», мир невидимый и видимый, но как один, так и другой – пока не увиденный и насколько он не увиден. Отрицается все неиспытанное, не перешедшее в живое ощущение; отрицается с той твердостью, как перед одним путешественником индусский раджа отрицал возможность снега и льда – «сухой и твердой воды». Раджа за глубокий и наглый обман его путешественником, сообщавшим такие невероятные вещи, распорядился даже казнить его, но почему-то не успел, иначе мы не узнали бы этого характерного рассказа. Ну точь-в-точь наше юношество негодует, сжимает кулаки, и, к несчастью, иногда больше, чем только кулаки, при всякой попытке его оспорить и не разделить его веру в особенные «сюжеты», его занимающие, или предложить поверить в другие сюжеты, которые его не занимают. «Честная юность» от всего подобного отвращается и посылает в ответ горсти камней. Она замыкается в себя и изолируется; студенчество – и правда, как старое казачество – представляется в общем укладе нашей действительности каким-то островом Хортицей, где новые запорожцы совершают свои умственные оргии, где «дорогие бархатные шаровары тщательно вымазы-

ваются в дегте» и откуда время от времени показываются «удалые чайки», чтобы напасть на дремлющих «врагов», кой-что у них «поцарапать», окружить большие линейные корабли и, наделав тревоги, кой-что захватив, но никакого существенного вреда не причинив, вернуться назад с добычей, которая им доставляет большое удовольствие и почти никакого неудовольствия тем, у кого похищена. Вот почему Россия и общество русское, несмотря на то что учащееся юношество ярко их отрицает и отвергает в таких верованиях, за которые они готовы бы пролить, да уже и проливали, кровь, — как-то и почему-то, однако, безотчетно любят его; как и Москва в свое время любила это казачество, столь противоположное ей во всем. Два возраста, две поры времени, но одного и того же живого существа.

Для этого духовного казачества, для этих потребностей возраста у нас существует целая обширная литература. Никто не замечает, что все наши так называемые «радикальные» журналы ничего, в сущности, радикального в себе не заключают: если бы было иначе, можно было бы подумать (по процентному отношению их к органам остальной печати), что Россия краснеет радикализмом и что ей завтра же грозит что-то ужасное. По колориту, по точкам зрения на предметы, приемам нападения и защиты это просто «журналы для юношества», «юношеские сборники», в своем роде «детские сады», но только в печатной форме и для возраста более зрелого, чем Фребелевские. Что это так, что это не журналы для купечества, чиновничества, помещиков — нашего читающего люда, что всем этим людям взрослых интересов, обязанностей, забот не для чего раскрывать этих журналов, а эти журналы нисколько в таком раскрытии не нуждаются, — это так интимно известно в нашей литературе, что было бы смешно усиливаться доказывать это. Не только здесь есть своя детская история, т. е. с детских точек объясняемая; детская критика, совершенно отгоняющая мысль об эстетике, — продукт исключительно зрелых умов; но есть целый обширный эпос, романы и повести исключительно из юношеской жизни, где взрослые вовсе не участвуют, исключены, где нет героев и даже зрителей старше 35 лет, и все, которые подходят к этому возрасту, а особенно если переступают за него, окрашены так дурно, как дети представляют себе «чужих злых людей» и как в былую пору казаки рисовали себе турок. Все знают, сколько свежести и чистоты в этой литературе, оригинальнейшем продукте нашей истории и духовной жизни, которому аналогий напрасно искали бы мы в стареющей жизни Западной Европы. Соответственно юному возрасту нашего народа, просто юность шире у нас раскинулась, она более широкой полосой проходит в жизни каждого русского, большее число лет себе подчиняет и вообще ярче, деятельнее, значительнее, чем где-либо. Где же, в самом деле, она развивала из себя и для себя, как у нас, почти все формы творчества, почти целую маленькую культуру со своими праведниками и грешниками, мучениками и «ренегатами», с ей исключительно принадлежащей песней, суждением и даже начатками всех почти наук? Сюда же, т. е. к начаткам вот этих наук, а отчасти и вытекающей из них практики, при-

надлежит и «своя» политика, в коей студенческие «беспорядки» составляют только отдел.

Можно бы ожидать, что университет силой своего научения разобьет этот странный мирок, как его разбивает позднее непосредственное соприкосновение с жизнью, непосредственное ощущение ее тайн. Но этого нет.

В жизни наших университетов есть незамеченная сторона, которая вообще лишает их культурного воздействия на учащихся, по крайней мере – очень сильного и продолжительного: именно – университет не дает и тени хотя бы сколько-нибудь закругленного образования, хотя бы намек на какой-нибудь целостный умственный организм. Факультет – это у нас ряд кафедр, между собой не связанных и не связуемых. Почему столько их, а не несколько менее – нельзя сказать; почему не гораздо больше – тоже нельзя сказать; почему при процветании классической системы образования нет кафедры истории специально классических народов (это после Нибура) – непонятно; нет кафедры классического искусства (после Винкельмана) – тоже непонятно; почему доисторическая археология, археология «каменных баб», – есть, а греко-римской археологии, т. е. археологии Парфенона и Пропилей, – нет; конечно, никто на это ничего не ответит.

В самой структуре нашего университета лежит элементарный эмпиризм, эмпиризм полный и глубокий – плод подражательной пересадки к нам науки и нисколько не плод потребности, особенно не духовной потребности. Если бы университет давал нечто цельное и закругленное, если бы он не ограничивался разрозненными и, Бог знает, почему и зачем существующими дисциплинами, он имел бы свойство и силу втягивать в себя ум и, втягивая, покорять его, захватывать, овладевать им; и соответственно своему содержанию (каково бы оно ни было) – формировать и дисциплинировать его. Так действует всякая система, вступив во вход которой вы уже неудержимо проходите ее всю, и если в ней не удерживаетесь, не остаетесь и свергаете ее с себя – вы ее свергаете человеком гораздо более сильным, чем каким вошли в нее, и вообще выходите из нее новым человеком. Но русский юноша, каким вошел в университет, таким, в сущности, и выходит. Он только чрезвычайно в памяти своей обременен знаниями, но он вовсе не более развит, чем был, или развитость его относится, как к причине своей, к столкновениям житейским, к той или иной прочитанной книге или кругу книг; но никогда или почти никогда она не относится к тому, что он услышал с кафедры. Пересмотрите в нашей литературе все университетские воспоминания; перечтите воспоминания о лучшей поре Московского университета: это есть только воспоминания об увлекательности чтений, о «светлом образе» профессора, но это не припоминание любопытной мысли, им высказанной, не борьба с этой мыслью или, напротив, не ее пропаганда. Наоборот, припоминание любопытных мыслей, высказывавшихся в студенческих кружках, – есть. Есть оно в «Записках» Пирогова, относящихся в студенческой своей части к первым десятилетиям нашего века; и, много позднее, в кружках Станкевича и Белинского (т. е. опять в студенческих

или полустуденческих) высказывались, мы знаем, мысли оригинальные или новые для своего времени. От этого странного обстоятельства университета наши имеют традиции и дисциплину нравов, но они не имеют традиции и дисциплины собственного научения, т. е. самой науки, кафедры, которая определенно сложилась бы и последовательно развилась. Был Грановский – «светлый характер и высокий художник слова»; умер он – и опять ничего особенного, как ничего особенного не было до него. Мы часто готовы жестоко обвинять профессоров, но откуда им взять то, чего нет вообще в университете, на кафедре, в сфере, куда они вступают и откуда ждут от них каких-то необыкновенных слов? «Лучший профессор...» – но вдумаемся же, что это «лучшее» есть только личный дар его, то излишнее и особенное, что он приносит с собой и за что мы бесконечно обязаны его благодарить; но не можем этого ни ожидать от всякого, ни негодовать, если этого даже ни у кого нет.

От 60-х до 80-х годов в Московском университете читал лекции Буслав, автор «Очерков русской литературы и искусства», «Лицевого Апокалипсиса» и множества еще работ; в противоположность Грановскому, который нес в себе только «колорит науки», этот уже действительно нес науку. Но что такое была эта наука, как не самое целого профессора – это удивительнейшее лицо, которое стояло в центре целого мира знаний, интересов, почти растерянное в них; растерянно не замечающее* ни студентов, ни университета; со взором чисто младенческим и одновременно с тем – если у Мафусаила была мудрость, соответственная летам, – мы сказали бы: со взором Мафусаила. Рядом с ним стоял и читал о тех же предметах и иногда то же Тихонравов, профессор также исключительной значительности, но ничего подобного не было: не было в его чтениях глубокого свечения и благоухания гения; была ветвь науки, тщательно обрабатываемой, и вовсе не наука в ее мысли, в ее нерве. Поэтому образовательное значение Буслава было огромно, и оно было огромно даже и тогда, когда, шамкая и проглатывая слова (от старости), он давал скорее обрывки курса, нежели курс в сколько-нибудь законченном и целом виде; обрывки, но – как обломки классической статуи – полные красоты и выразительности; страницы, почти между собой не связанные, но каждая полна именно мысли. Степень благоговения к нему студентов была поэтому изумительна. Трудно поверить, но это факт, что в бурную нигилистическую пору конца 70-х годов студенты передавали и почти гордились, что, идя по такому-то бульвару, «встретил и поклонился Федору Ивановичу», никогда – «Буслаеву», всегда – «Федору Ивановичу», который, впрочем, редко и отвечал на поклон, погруженный в какие-нибудь свои мысли и уже, конечно, не замечая торопливо бегущего на урок студента (тогда еще они ходили без формы). Но, как мы сказали, эта

* О нем между студентами передавали анекдот (или факт), что, когда однажды он был выбран Советом в ректоры, он, благодаря за честь и отказываясь от должности, мотивировал отказ: «Господа, я не могу никогда правильно рассчитаться с возчиком, то недодавая, то передавая, как вы хотите, чтобы я был ректором».

наука сосредоточена была в самом лице его. Тихонравов читал лекции только на своей кафедре (русская литература), но Буслаев – скорее Бог знает о чем читал, где русская литература только мелькала, как подробность, как частность. Можно сказать, он и о кафедре своей, т. е. об ее тесных и узких границах, забыл, как и о студентах, и об университете. В нем, если вдуматься, бродили вечно эмбрионы новых, совершенно оригинальных дисциплин, но их кафедры вовсе не было, не было даже для них имени. Они бродили в его уме, то вспыхивая с кафедры – и тогда заражая мысль аудитории, то погасая в необразимой мысли настоящего ученого, который уже бежал вниманием к другим предметам и в них вглядывался любопытствующим глазом своим, вновь и вновь рождая эмбрионы еще и еще ветвей на старом дереве знания. Он сошел с кафедры – и ничего не осталось. Гениальный номад, случайно забредший в сарай и его собой осветивший, он умер, – и сарай остается так же груб и неинтересен, как ранее его и вокруг него; неинтересен и груб в самом своем устройстве. И всякий талантливый русский профессор есть подобный же номад – создание не культуры, не обстановки, не мысли, выраженной в университете (ее вовсе нет), но индивидуальных своих усилий и искры Божией, его чела коснувшейся. Но этой искры требовать для каждого лица мы не можем у Бога; не можем требовать ее у всякого человека; без нее же – ночь.

Теперь, если мы вдумаемся в дикое казачество наших студентов, в нелепые разговоры, которые угрюмо они ведут между собой, но, однако, преемственно, но, однако, из десятилетия в десятилетие; если вдумаемся в ту крошечную детскую культушку, которую со страниц своих развивают некоторые журналы, – мы увидим, что это всё-таки культура, все-таки некоторая цивилизация, ибо это есть, несомненно, некоторая любовь и мысль, которая выдерживает себя от первой строки и до последней, которая в стихотворении продолжает то, что было начато в якобы ученом трактате, в романе начинает и кончает в критике.

Здесь – мы говорим о старой «Сечи» нашего студенчества и копошащейся около нее литературки – всё связано и цельно: всё здесь проникнуто верой в себя; всё представляет определенный строй мысли, и каждый юноша, вступая в университет, знает, что он самой атмосферой, которой будет здесь дышать четыре года, принуждается к определенным мыслям, определявшимся чувствам, тесно ограниченными действиям. Именно этого-то и нет на кафедре: сюда каждый приносит – сверх обязательных сведений – свое лицо, свое миросозерцание, и, вообще говоря, он даже может не приносить сюда никакого лица, никакого миросозерцания. Вот причина, почему студенчество вечно одолевает кафедру, одолевает в самой культуре своей; и профессора, эти бедные и бесприютные профессора, ни к чему не принадлежащие, ни к чему не относящиеся, если они не развивают из себя, как Буслаев, свою культуру, – они льнут к этому же студенчеству, как взрослые, голые дикари льнут к детским кострам, однако несомненным, однако действительно горящим. Есть целый ряд профессоров – я не хочу из дели-

катности называть их имена,— у коих отнимите обыкновенные студенческие мысли, те мысли, которые, по воспоминаниям Пирогова, еще в 20-х годах развивались «во II номере», в интернате,— и у них вовсе не останется никакой мысли, т. е. в их одно- и двухтомных трудах не останется совершенно ни одного понятия, кроме обыкновенной связи между предложениями и груды цитат и фактов, решительно ничем не связанных и никак, даже нелепо, не освещенных. Как же им не льнуть сюда — к бедным, дымящимся и тусклым, студенческим кострам: да студенчество-то и есть для них «университет», где они научаются, и тут есть бездна боли, но ничего нет смешного, а что главное — нет никакой вины профессоров, ибо, повторяем, ни талант, ни гений для человека не обязательны.

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 60-х годов

Имя г. В. Стасова будет вспоминаться долго после того, как будут забыты имена его литературных противников; не будет припоминаться какая-нибудь его мысль, его взгляд на этот или иной вопрос, вообще — его «умственное наследие»; всё это будет забыто, пренебрежено, как уже забыто почти даже и теперь. Но его фигура, его зычный голос, его постоянная воспаленность тем или иным вопросом — всё это гораздо замечательнее его «мыслей», всё это стало уже теперь как-то монументально, памятно, незабываемо, даже национально. Что именно сказал г. Стасов о живописи? о музыке и музыкантах? о Даргомыжском и Репине? — на что нам знать это: наверное, он сказал что-нибудь несообразное с действительностью. Но вот, если когда-нибудь кто-нибудь о каком-либо вопросе, предмете, кружке людей, вновь нарождающемся явлении, но непременно — явлении добром, хорошем, вдруг закричит нелепо и бурно, требуя всеобщего внимания и не будучи в состоянии объяснить, почему «внимания», — невольно припомнят все фигуру нашего маститого современника и скажут: «Э, да это опять, как Стасов!» И в припоминании не будет ничего желчного; скорее, напротив — нечто светлое, доброе. Стасов — это первобытная, некультивированная Русь; Русь еще былин, еще до Владимира, до всякого просвещения: обильная, обширная, но «неустроенная»; «порядка нет», но ширь во все стороны необъятная. Мы говорим о внутреннем логическом порядке, о художественном устройстве в вкусе, которого так явно недостает нашему писателю и без которого его обширные знания, ученость, начитанность, даже любовь и старательность, только —

Обширный храм без божества.

Г-н Стасов с «былинной» первобытностью не понял все неудобности для него писать биографию родной сестры; писать в том тоне, как это мы читаем на страницах «Книжек Недели» (за лето 1896 г.); наконец, говоря о

движении, в котором его сестра участвовала и даже отчасти им руководила,— он явно не может и даже не догадывается, что нужно сказать о нем сколько-нибудь определенное, ценное или новое слово. Это как летописец-монах: «Было — и, стало быть, достопамятно»; было женское движение, в нем принимала участие его сестра, и вот еще не успело остыть ее тело, как хлопотливый брат уже обмакивает перо в чернильницу и излагает в хронологическом порядке события, в которых или около которых плыла «замечательная женщина». Но и здесь он совершает бестактность, точнее, обнаруживает ясное непонимание нужного для истории: сестра его, очевидно, оставила автобиографические записки о себе, об этом можно судить по обильным выдержкам, приводимым в кавычках «братом». Записки эти представляют неоценимый материал для изучения 60-х годов нашей жизни, по своему колориту, множеству упоминаемых лиц, по характерности описываемых событий; их буквально воспроизвести было бы важно, но «брат» прячет записки в стол, воспользовавшись лишь фактическим материалом, в них заключенным. Он пишет панегирик сестре и всему движению; он наполняет его восклицаниями, характеристиками, «своими мнениями» и вообще тем, что не нужно, давая очень мало из того, что истинно нужно. Он, например, пишет:

«Итак, русские женщины не уныли (в декабре 1868 г.). Невзирая на все самые тяжкие, удручающие обстоятельства, среди которых не оставалось уже, казалось бы, ни одной голубой полоски голубого неба с солнцем и не было уже ни единого самого маленького луча света надежды для их дорогого дела, они всё-таки не утратили веру в него и с непобедимым фанатизмом продолжали идти напролом. Но откуда бралась у них эта сила, это убеждение, эта непоколебимая уверенность в победе когда-то, впоследствии? Ведь, в самом деле, те, которые им тогда противились, разве они не были тысячу раз правы во многом, в самом существенном? Разве их предприятие могло двинуться с места со всего 6000 р. в кармане (предполагаемая плата за слушание лекций с курсисток), да еще и те 6000 словно еще журавль в небе? Разве сопротивлявшиеся их делу не истинную правду говорили, что всё у них, тут, у петербургских женщин, шатко, вилами на воде писано, не содержит ни малейшей прочности, что так дела нельзя вести и солидному человеку, или управлению нельзя пускаться на такие химеры (Министерство народного просвещения отказывалось утвердить положение о курсах, ссылаясь на необеспеченность их материальной стороны и само отказываясь дать таковое обеспечение). Они были правы; но кроме правоты математической, той, которая сию минуту существует, есть еще другая правота, та, которую не видать, но которая всё-таки есть, которую иные глаза еще не нащупывают, но чувствуют впереди и на которую все лучшие люди уповают как на гранитные и порфиновые стены. И эта правота несокрушима. Так было и на нынешний раз, в деле русских женщин...» («Кн. Недели», июль, с. 194—195).

Все это, может быть, мило, но совершенно никому не нужно.

Очевидно, в сестре его, которую «брат» сделал невольно предметом литературного обсуждения, было много «стасовского»: это имя решительно напрашивается стать нарицательным. Невозможно без самого живого сочувствия, без истинной теплоты читать извлечений из ее «Записок»; очевидно – это была душа кристальной чистоты; и совершенно очевидно, что как «брат» вовсе не дает ясного отчета себе в смысле и назначении им написанного, так и она никогда не задавалась вопросом о смысле и назначении движения, в котором участвовала и напрягала все силы, чтобы его подтолкнуть вперед. Еще замечательнее и даже поразительнее, что об этом не спрашивает и сам г. Стасов. Все время, пока пробегаешь «Записки» и переплетающий их панегирик, спрашиваешь себя: да что именно хотели узнать эти женщины на курсах? каким вопросом, какой областью знаний была заинтересована которая-нибудь из них? Почему для курсов необходимы 4 факультета, а не один с выбором интереснейших общеобразовательных наук? Вообще наука есть непременно наука о чем-нибудь, и какой-нибудь вопрос, интерес, заботу, недоумение нужно держать в уме, подходя к науке и требуя, чтобы она начала говорить перед тобой. Этого-то именно: вопроса, интереса, умственной возбужденности – не только ни у кого не было, но даже и позднему биографу «движения» необходимость его, как предваряющего условия, вовсе не приходит на ум.

«Закипела работа, тотчас был сделан проект и смета всего хозяйства. По делу квартиры нам очень помогал Соболевский. Надо было устраивать освещение – в верхнем этаже был газ, внизу его не было, а он был необходим для занятий, да и для освещения аудиторий... Потом надобна была мебель: все заказывается, и тут нам много помогал мой брат Николай, он рекомендовал нам дешевого столяра. Делаем объявления во всех газетах (да о чем?), печатаем билеты, и в одну неделю они все расхватаны. Поступает 767 женщин, и это нам дает разом изрядную сумму. Мы оживаем. В три недели все готово» (ib., с. 206–207).

Несколько ранее, в более минорном тоне: «М. В. Трубникова ходила иной раз как в воду опущенная, но Н. В. Стасова, душа всего дела и всем сердцем ему отдававшаяся, не унывала. Она работала больше всех, и всё сосредоточивалось на ней. К ней все обращались, к ней всё стекалось, и всё сглаживая, никого не оскорбляя, она шла неуклонно к цели, глубоко веруя, что цель будет достигнута. Не раз говорила она: «Как вспомню, что всё это делается на наших глазах, что совершается такой важный шаг и что, может быть, тысячи будут потом пользоваться тем, над чем мы теперь трудимся, – тогда мне никаких трудов не жаль! А я, – прибавляла она тихим голосом, – знаю, что положила на это дело немало своего труда. И так мне приятно об этом думать!» (ibid., с. 202). «Солодовникова, услышав это, сочла себя обиженной и тотчас же сложила с себя звание депутатки, и оказалась, таким

образом, вне движения» (с. 203). «Внутренние смуты шли своим чередом, и две партии стояли друг против друга: “Нигилистки нам все испортят”, – говорили аристократки; “Не нужно нам филантропок и покровительниц”, – кричали нигилистки» (ibid.). Но вот страдания кончились, распри утихли, хлопоты увенчались успехом, и 20 января 1870 года курсы торжественно открылись первой лекцией. Н. В. Стасова была дежурной. «Никогда я не видела ее в таком беспокойстве, – пишет одна очевидица, – она беспрестанно менялась в лице и выражала опасение, что публики не будет, и тогда всё затеянное дело, а с ним и вопрос о высшем женском образовании будет проигран, и надолго. Но это опасение оказалось напрасным: к назначенному часу нахлынула толпа, и аудитория была переполнена, к великой радости Н. В., лицо которой сияло от удовольствия».

И далее потом, как и ранее, идут аудиенции у министров: Толстого, Милютина, Тимашева, хлопоты у президента Академии наук Литке; «великая княгиня Елена Павловна присылает фрейлину свою, баронессу Раден, ко мне, чтобы сказать, что «tous les rayons de sa bibiotheque sont á notre disposition»* (с. 200). «Ан. П. Философова, при встречах в свете с гр. Д. А. Толстым, постоянно напоминала ему о нашем деле, и даже раз, на балу во дворце, любезно и мило пристала к министру со словами: когда же ответ? (на поданную докладную записку). Ответ и правда прямо пришел на ее имя» (с. 192). И вот, среди долгих страниц, хлопотами наполненных, где мы видим множество лиц, в самых различных положениях, на извозчиках, у директоров гимназий, во время поездки «со всем нашим шарбом скелетов, кое-каких инструментов, физического и химического кабинетов» (с. 213), мы не наблюдаем лишь одного: уединенной комнаты, тускло догорающей свечи и беззаветно забывшейся над книгой женщины. Именно этого *sacrum sanctum*, ума взволнованного и устремленного, ума спрашивающегося, допытывающегося, не хотящего отстать, пока не дан ответ, – мы и не находим во всех курсах, о нем нет ни одного свидетельства; и между тем внимательный учитель находит это в каждой захолустной гимназии, хотя бы у 2–3 мальчиков, возраста 15–18 лет.

III

Высшие женские курсы поэтому были и остаются вовсе не проявлением умственного, теоретического интереса женщин. Его не было в то время, и его нет теперь. Удивительно, как никем не было замечено, что в эти столь, по-видимому, грубые анти-«женственные» 60–70-е гг. в действительности идеал женщины не только был сохранен, но выразился с редко достигаемой полнотой, в чертах ярких и, по условиям времени, поразительных. Быть любимой, осуществлять с глубокой преданностью чужой идеал, с самоотвержением становиться тем, чего от нее ожидают, – это всегда и в шестиде-

* все полки ее библиотеки в нашем распоряжении (фр.).

святые, и семидесятые годы было природой женщины. Из мимолетных выдержек, приведенных выше, уже видно, до чего всё общество принимало участие в «Движении» женщин к образованию; в «Записках Н. В. Стасовой» это еще гораздо виднее. Вот, между прочим, часть письма Д. С. Милля от 18 декабря 1868 года, с которым этот философ обратился к петербургским женщинам:

«С чувством удовольствия, смешанного с удивлением, узнал я, что в России нашлись просвещенные и мужественные женщины, возбудившие вопрос об участии своего пола в разнообразных отраслях высшего образования – исторического, филологического и научного, считая в том числе и занятия практической медициной, – для того, чтобы расположить в пользу высшего женского образования выдающиеся силы ученого мира. То, чего с постоянно возрастающей настойчивостью безуспешно требовали для себя образованнейшие нации других стран Европы, благодаря вам, милостивые государыни, Россия может получить раньше других. Это еще раз докажет, что нации сравнительно поздней цивилизации воспринимают иногда великие идеи прогресса прежде наций ранней цивилизации» (ibid., с. 195–196).

Профессора Бекетов (ботаник), Кесслер, Наранович ездили с «депутатками», призывали их к себе, хлопотали о помещении для «курсов»; графы Михаил и Николай Ростовцевы, князь Голицын, братья Ольхины насильно забирают из всех трех театров – Михайловского, Мариинского и Александринского – артистов с репетиций и отвозят в устроенный Стасовой, Философовой и Трубниковой концерт; граф Литке выхлопывает, что переводы «учащихся» женщин рекомендуются во все заведения в качестве наградных книг; профессор химии Н. П. Федоров – полковник артиллерии при Михайловской академии – «проводил с ученицами по целым дням и сердился, если они рано уходили» (с. 200); на смешанных лекциях, для слушателей и слушательниц, которые были открыты с разрешения министра народного просвещения, «профессора игнорировали навязанных им мужчин, они всецело относились только к женской аудитории и, терпя тех как необходимое зло, на демонстративных лекциях обращались исключительно к женщинам» (с. 212). С тем отсутствием грубого, упорного, что всегда ее отличало, женщина 60–70-х годов вступала в эту влекущую, обаятельную атмосферу, в атмосферу всеобщего к себе внимания и нового восхищения. В мужчине возник новый идеал женщины, идеал жены-«друга», матери-«ментора»; и покорно, податливо, безвольно она подчинилась этому идеалу; даже более – она ринулась радостно ему навстречу, сбрасывая с себя запястья, кольца, обстригая красоту свою – волосы, марая руки, лицо в трупной вони анатомических театров, отрицаясь даже от того, что вековечно более всего любила в себе. Всё оставила она ради «господина своего» и в этом именно оставлении безмолвно повторила слова Руфи, обращенные к Ноемини, этот как бы завет, оставленный женщиной всем женщинам: «Твой народ будет моим народом, и твоя вера – моей верой, и твой закон – моим

законом». Только в том случае, если бы женщина 60–70-х годов сберегла внешнюю «женственность», сберегла ее упорно против всякого требования, как свою постоянную природу, как свое не поддающееся ничему «я», – она впала бы в мужеобразность, нарушила бы интимнейший и, собственно, даже единственный закон существа своего, стала бы груба и несимпатична. Порог, индивидуально мы встречаем эту мужеобразность у женщин: такова была становящаяся все более известной в нашей литературе, упоминаемая и у Стасовой, Эдита Раден. Она вела многолетнюю переписку, кроме многих других замечательных «друзей», с Юр. Ф. Самариним, оспаривала его политические и церковные мнения, оспаривала с таким умом, что он находил в ней... едва не сказал «мужчину» равной силы. Ее письма и учено-административные записки (одна – о женском образовании, вызвавшая, года 4 назад, возникновение комиссии из высших государственных сановников) – образцы самой превосходной прозы. Но до чего превосходнее их мемуары Н. В. Стасовой – этой женщины от ног до головы, этой навечно милой девушки, состарившейся в девушках. Когда мы видим ее то бледнеющей, то краснеющей перед первой лекцией «курсов», не понимающей вовсе, зачем эти курсы, не догадывающейся спросить себя об этом; когда мы слышим ее испуганный шопот, что «женское образование заглохнет, и надолго, если сейчас, в это утро толпа не повалит в аудиторию», – мы восклицаем неудержимо: «Это – Ева». Это та Ева, которую мы никогда не устанем любить, которая ввела нас в бесчисленные хлопоты в истории, и мы все *ей* и *таким* простим, потому что она согрела нас поэзией, искренностью, какой-то особенной правдой бытия своего, столь непохожей на правду нашего бытия.

IV

Один эпизод в истории возникновения курсов ярко показывает, до чего, собственно, учение, любознательность не только были побочны среди мотивов их основания, но и вовсе не играли в нем никакой роли. Дело в том, что все высшие курсы вдруг были открыты, но «не нами»; однако пусть рассказывает хлопотунья:

«В начале 1869 года М. В. Трубникова (одна из ревностнейших участниц) заболела и уехала за границу. Собрания продолжались у меня, и Солодовникова (ранее арестованная по подозрению полицией и принужденная сложить с себя звание «депутатки») присутствовала тоже на них. Программа лекций была готова, даже профессора были готовы, оставалось только нанять помещение и открыть курсы, но не было главного – не было средств. Депутатка А. П. Философова предложила для этого дела свой дом. «Не нужно нам филантропок!» – было ответом на ее сердечное предложение. Но она этого ответа не слышала; она продолжала ездить на собрания, блистая своими нарядами, звеня своим милым, молодым голоском».

«Наступил великий пост. Со всех сторон России и даже из-за границы, от Д. С. Милля, француженки Андре Лео и англичанки Бутлер,

получались сочувственные письма, а дело ни жило, ни умирало, и денег все не было.

Вдруг, как гром среди ясного дня, поразила нас весть: Солодовникова устроила вышешие курсы и для этого наперед устроила концерт в их пользу, с участием Лавровской. Зала Дворянского собрания была полна, сбор был великолепный, курсы полны, желающих попасть на них так много, что приходится многим отказывать, мест нет. Надежда Васильевна и все мы (рассказывает Е. А. Штакеншнейдер) – были поражены. Н. В., не жалея своих сил, боролась с океаном препятствий, а другая прошла по расчищенной дорожке и раньше пришла к цели. Колумб открыл новую часть света, но она будет называться Америкой, а не Колумбией! Всем нам это было невыносимо.

«Не надо нам филантропок и покровительниц», – повторяла противоположная партия и шла только на свои, Солодовниковские курсы. Они были открыты, с Высочайшего разрешения, в здании 5-й гимназии, у Аларчина моста. «Вот и вышло то, чего мы боялись, вот нигилистки и испортили все дело», – заговорили у нас иные. «Чем же испортили? – утешали нас друзья. – Вы добивались курсов, ну вот они и готовы; не все ли равно, кто их устроил?» Но в том-то и дело, что не все равно. Эти курсы другой программы, низшей, – какие-то вроде приготовительных, с учителями вместо профессоров. И мы остались с нашей программой и профессорами, но без слушательниц, потому что все побежали туда, и без денег, потому что на успех второго концерта, вскоре вслед за первым, рассчитывать было нельзя. Удивительно ловко, под шумок и втихомолку, действовала Солодовникова, присутствуя на наших собраниях и никогда, ни одним словом не обмолвись о своем предприятии» (с. 203–204).

Да это страница из истории о Трое; это – греческие богини, передраившиеся из-за золотого яблока «первенства»; Елены, сбежавшие от своих Менелая. И ничего более мы здесь не имеем, ничего, кроме этой *alte Geschichte**.

V

Известен суровый суд, высказанный над курсами гр. Л. Н. Толстым; не будем отрицать его пронизательности, но откуда суровость? Мы уже сказали, что, как никогда, в 60–70-е годы женщина осталась женщиной, ничего не утратив в своих вековых чертах, не выйдя из-под своего закона. Итак, не отвергая, что за многолетнюю пору существования «курсов» были здесь «падения»; что курсы всегда ютились около мужского университета и вне университетского города их невозможно было бы собрать, мы спросим: что же имеем мы здесь осудить? Это есть вечная природа женщины не только быть покорной «господину» своему, но и покорно становиться, во благовремении, матерью. Что она скрывала это влечение свое? закрывала его придуманным интересом к науке? Но она только не была в этом бесстыдна и хоро-

* старой истории (нем.).

нила глубоко важнейший свой инстинкт, таилась в правде своей природы, как это делала все тысячелетия бытия своего. Мы указали на ее преданность, отрешение от своего «я»; отметили несравненную поэзию, какой она нас согревает. Собственно, именно женщина есть символ единства рода человеческого, его связности. Не имея своего «я», она входит цементирующей связью между всеми человеческими «я», и вот почему «любовь» есть признанная сила, красота и право женщины. И всякой женщине доступная форма этой связи есть обыкновенная, не героическая, но самая важная для человечества плотская любовь. От Навзикаи и Ревекки до героинь наших дней мы наблюдаем, как, подходя к возрасту, девушка ослабевает в связях своих с родной семьей, ослабевает именно на эти 14–18–26 лет, чтобы, если не удалось замужество, стать снова прочной в прежнем роде; но в эти годы она становится нервна, нетерпелива, холодна и безучастна к дому. Нужда, хлопоты, даже болезнь матери, отца ее как-то поверхностно трогают; она топорливо отдает требуемую от нее заботу старому гнезду, вынося главную свою заботу за порог дома. Мимолетная встреча, самый незначительный разговор оставляют в ней впечатление, какого не в силах произвести самые неистовые крики матери и суровые замечания отца; она глуха здесь, дома, и вся настораживается наружу. Но вот закон природы совершен; о, как тепло становится ей матернее гнездо! как теперь, сама готовящаяся стать матерью, она внимательна к своей матери, к усталости и болезни отца! Но она не одна в семье своей: как цементирующая глина, она слила в себе два рода, сливает залого будущего с хладающими останками прошлого. Замечательно очень, что в нормальном укладе жизни не столько жена переходит в род мужа, сколько муж вступает в род жены. У древних евреев, которые возвели брак в апофеозу, по обычаю и закону, именно муж проводил первый год в доме тестя, избавленный от всякого труда, от неволи идти на войну, если таковая случалась. Слабая тень этого сохраняется и доныне: жена теряет родовое имя свое, но именно муж после брака ослабевает в связях к прежнему своему роду и прилепляется к новому («женится – переменится», не только в характере своем, но и в связях ко всем прежним родственникам). Но мы не будем следить за этими тонкими трансформациями чувств. Мы не имели в виду иных целей, говоря о них, как чтобы выяснить, до какой степени естественно, справедливо и вечно то, что всюду, где появляется женщина, она появляется как «любящая»; не как «учащаяся», исправно пишущая «рефераты»; не как «гражданка» и прочее – но, под всем этим затаиваясь, всегда и только как любящая.

VI

«Однако», – скажут, – она любила без благословения... Но здесь есть жертва, и мы спрашиваем – где виновные? Пусть укажет кто-нибудь за все годы существования «курсов» хотя бы одну только девушку, которая отвергла бы честным образом ей предложенный брак. Такой нет. Девушка не бежала бла-

гословений; но когда она любила неуждливо, в силу природы своей, никто ей не дал благословения. Мы подходим к существу «женского вопроса»; этот вопрос есть – напрасно закрывать на это глаза, но он есть вовсе не в том смысле, как это предполагает г. Стасов и его бедная, исколотавшаяся сестра. Учение, наука – это есть потребность мужского инстинкта. Я уже сказал, что всякий зоркий учитель в самой захолустной гимназии подсмострит 2–3 мальчиков, неуждливо жадных к научению, сосущих жадно книгу, как воду сосет губка: это – природа; и не было этой природы на всех «курсах», ее не видно во всех воспоминаниях г-жи Стасовой. В 60–70-х годах мужчина отдал женщине свое право; и она была так робка, так застенчива, так, может быть, запугана уже «вековым рабством», что не осмелилась выговорить простое: «Это – не мое право», – т. е. поправить, указать, внушить слепому и холодному распорядителю своей судьбы, спросив у него о своем праве. Это право – в дар за любовь свою получить мужественного и сильного покровителя, опереться на его честное и великодушное сердце, иметь, как возмездие своей потерянной чистоты, его хоть относительную чистоту – об этом праве женщины не было вопроса в 60–70-е годы. Она не смела его спросить; мужчина не умел о нем догадаться. Мы заметили, что в эти годы женщина глубочайшим и страстным, в условиях времени, образом сохранила коренные черты своей природы; но замечательно, что коренных черт своей природы не сохранил мужчина. Он разучился быть покровителем и вождем; он, до известной степени, потерял инстинкт правильной к женщине любви. Ни в какое время нашей общестственности мы не наблюдаем такого множества женственных характеров среди мужчин, такого обилия среди них женоподобного сложения. В этом отношении нет ничего любопытнее подробных данных из биографий корифеев движения той эпохи: Добролюбова, Писарева, Шелгунова и, вероятно, еще многих других. Кумиры своего времени, они не были кумирами близстоявших женщин. Писарев беспомощно томился около своей двоюродной сестры; Добролюбов завидовал вниманию, которое на его глазах отдавала перед ним любимая, прекрасная, молодая девушка ничтожному армейскому офицеру, едва знавшему, что есть писатель Тургенев; и, увы, не более счастлив, едва ли не менее счастлив был Шелгунов. Решительно, женщины ничего не чувствовали к ним, т. е. они не чувствовали того неуждливого влечения, которое покоряет женщину инстинктами и чертами сильно выраженной мужской природы. В то же время этих именно людей мы наблюдаем величайшими хлопотунами около «женского вопроса». Добролюбов, в забываемых до сих пор разборах, освещает и возводит к апофеозу образы Катерины («Гроза») и Елены («Накануне»); Писарев пишет «О женских типах в романах Гончарова, Тургенева и Писемского»; еще гораздо более хлопочет Шелгунов. Женственное неуждливо влечет их; гораздо более, чем «бестия Кавур» (какое характерно женское выражение!). Но это женственное они понимают под углом той аномалии, которой были носителями. Они всегда дальше были от того, чтобы почувствовать себя в отношении к женщине покровителем, властелином, вообще

мужем: скорее всего они сами становились в отношении к ним «товарками», в положение подчиненности и с восхищением смотрели на мужественные дела подруг. Вот история возникновения нового и странного идеала женщины.

С присущим ей недостатком рефлексии, женщина не поняла аномалии, лежавшей в основе всего этого, — она покорно, без рассуждений, приняла новое требование. Она взялась за книгу, потянулась к скальпелю, и вот — движение, внешнюю историю которого рассказала Н. В. Стасова.

Ее и всех милых девушек того времени, так часто не понятых, мы называли чистыми Евами; но вот ее брат — разве это не евангельская Марфа? Он так хлопочет, он вечно хлопочет около не своего: удивительно — нет мысли, идеи, замечательного произведения собственно стасовских, но стасовские крики мы слышим около всего. Такая непродуктивность, слабость своего «я», такая бескорыстная преданность чужому предприятию, заботе, интересу, разве это не синтез характерно женственных черт, выродившихся в мужчине? И вот эти Марфы наполнили и наполняют еще атмосферу нашей общественной жизни столькими криками и столькими беспредметными хлопотами.

ФРАНКО-РУССКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Французы доставили нам коротенький, но отличный праздник. Что-то веселое и беззаботное прошло в эти дни по нашей жизни. Все на минуту забыли о делах, заботах, обязанностях. Спрашивали: «Где французы?» — и ехали туда, где они есть. При входе в загородные сады нам не раз случалось видеть, как, выйдя из экипажа, приезжие спрашивали: «Есть французские матросики?» — и при отрицательном ответе уезжали обратно — отыскивать место, где они вероятно или наверно есть.

Наблюдения над французами-простолюдинами, какие можно было сделать за эти дни, конечно, кратки и ничтожны; очень даже возможно, что они ошибочны. Но всегда что-нибудь да значит человеческое лицо, человеческая фигура, человеческие манеры. И вот, приглядываясь к «матросикам» за эти дни, во всех них, без резких исключений, я заметил одну удивившую меня черту, которую мне очень хочется отметить, хочется даже, чтобы она запомнилась: это — наивность. Наивность, т. е. прежде всего неиспорченность, нерастленность крови, расы, на что так упорно указывали и указывают немцы с семидесятих годов и «худой слух» о чем прошел всю Европу. Что-то веселое и открытое, а главное — совершенно детское, совершенно безыскусственное и доверчивое было в лицах и движениях многих. Не говоря о русских, я видал и подвыпивших немцев-простолюдинов: именно в сторону душевной неиспорченности мне не приходилось ни у одних, ни у других делать таких ясных, бесспорных наблюдений.

Можно было, наблюдая француза среди русской тоже полуобразованной или необразованной толпы, заметить превосходство русского в сторо-

ну глубины и превосходство француза – в сторону естественной, природной грации. Русский, кроме того, что он прямо говорит или делает, вечно что-то еще около этого думает. Это – народ, вечно оглядывающийся на себя, смотрящий «вслед себя», как употреблено это замечательное выражение об одном замечательном случае в Библии. От этого он так неуклюж, связан в движениях; пьяный – вечно «ломается». Народ, с бесчисленными «задоринками» в душе, может быть хорошим, но часто также и скверным; что-то неясное, темное есть в нем, затаивающееся; «народ-мистик» – так и хочется сказать; со всякими душевными сквернами, но также и со способностью к большой высоте. Промежуточное, связующее звено между ясно расчлененной и ясно всё расчленяющей Европой и темной, запутанной, заматерелой Азией сказывается во всяком нашем ремесленнике и мелком торгаше. «Пуд соли надо съесть с человеком», как и пословица определяет, прежде чем окончательно убедишься, что это точно не мошенник или что это действительно святой. Этой, может быть, глубокой, но неприятной неясности нет во французах. Говоря или делая что-нибудь, француз, очевидно, около этого ничего еще не думает; это не легкомыслие – это просто ясность природы; нужно совершить поступок, например, выпить стакан вина или поцеловать рядом сидящего в партере (случалось видеть): он и целует или выпивает, ничего больше, и, кончив это, он с прежним и, очевидно, не деланным вниманием смотрит на сцену или продолжает разговор. Что-то чистое в мускулах, не растревожненное в нервах сказывается в этом. Их манера выражать удовольствие, вставая и раскидывая в сторону руки и так держа их пять – десять секунд, восхитительна. «Vive la Russie!» Но, конечно, – и «Vive la France!».

И даже: «Vive la Republique française!»*. Невозможно было без волнения смотреть на фигуру эмблематической Франции, во фригийском красном колпачке, державшейся за руку с эмблематической Россией – в боярском наряде и кокошнике. Все невольно спрашивалось: что это – притворство, деловая сделка, временная нужда самозащиты от когтистых врагов? Но, право же, не это или не только это. Если бы с Германией у нас был «союз-раз-союз» – этой удивительной любящей ласки, с которой возились русские с французами, не было бы у нас. Тут сказалась какая-то симпатия крови и темпераментов; не спорю, если скажут – симпатии противоположностей: «Les extremités etc.»**. Никогда политическая нужда и дружба правительств не может вызвать этого румянца щек, этой искрящейся улыбки, с какой эти дни по загородным садам союзились французы и русские, уже подгулявшие и, очевидно, о политике забывшие. Вы знаете сыр: он бывает без «слезы» и со «слезой». С немцами союз был бы деловой, без «слезы»; с французами он именно со «слезой», т. е. с этой жгуче-сладкой каплей, которую не может создать никакая нужда и вызвать никакой расчет.

* «Да здравствует Россия!»... «Да здравствует Франция!»... «Да здравствует Французская республика!» (фр.).

** «Крайности и т. д.» (фр.).

Но я заговорил о фригийском колпачке. Удивительно, как, в самом деле, эта остроконечная, с загнутой верхушкой шапочка характерна и верно указана в качестве эмблемы Франции. Тончайшая музыка ее истории схвачена в этой фигуре. Что-то шаловливое и лукавое, и вместе какая-то правда; шаловливое в манере и умное, серьезное в существе. «Идеальное» – но не на «тысячу же лет»; пакостное – но не до последних пределов, вечно обновляющееся, ни в каком случае не монотонное. Например, смотря на эту фигуру, в первый раз мной виденную, я в первый раз догадался, сколько есть умного и прекрасного в известной исторической неоригинальности французов; в том, например, что в XVIII веке они только – заимствовали и разработали идеи, выработанные в XVII веке в Англии. Здесь именно сказалась высокая их простота и доверие к людям – величайший ум. О, тупица тысячу лет просидел бы в навозе и твердил: «Je suis et j'y reste»*; его обстригли бы, его хорошили бы, и он, уже только кончиком носа выглядывая из-под земли, твердил бы: «Je suis et j'y reste». Но эта фригийская шапочка – это эмблема исторической ревности, вечного внимания к минуте; внимания и к окружающему; и под ней, как под чеченской папахой или старомосковской пудовой шапкой, нельзя прийти в состояние, описанное поэтом в стихе:

Спит, покой цена.

И вот отчего эту вечно одушевленную резвушка так любили всегда европейские народы; таким связующим, объединяющим и, следовательно, высопчеловечным звеном она вошла в семью их.

Играли «Марсельезу». «Встаньте», — сказал мне кто-то в саду Аркадии, хотя я сидел, обнажив под крапающим дождем голову, и этого мне казалось достаточно. Я встал. Удивительно. Как гимназистами мы боялись и хотели этих звуков; запирались в комнате и пели первые стихи, которые, кстати, одни и знали. Конечно, если бы мы были подслушаны, мы были бы исключены. С неудержимым внутренним смехом, с какой-то неудержимой веселостью я слышал, как кричали музыкантам: «Марсельезу!» – и они играли, а головы обнажались. И вот здесь опять чудо любви и ласки: никакого, даже самого малого оттенка дурного чувства, дурной мысли не было. Казалось, огромный быт огромной страны вдруг включил в себя и эту подробность, ничего не почувствовав, любезно, ласково и нисколько, даже в «задоринке», не изменившись. «Так хочет наш Царь» – это слышалось в криках: «Марсельезу!» Совершенно точно знали, что она значит; знали смысл каждой строки, по крайней мере многие; и ни одного двусмысленного взгляда, ни одной усмешки, решительно ничего. «Как будто рюмку коньяку пропустил». Но чудо любви и ласки, по крайней мере у некоторых, лично у пишущего, например, – простиралось далее. Нисколько, ни в «задоринке», не поддаваясь в своем родном, храня в душе всю «музыку» боярства и кокошника, начинал – среди всей этой удивительной обстановки – не

* «Я здесь и здесь останусь» (фр.).

понимать только, но и сочувствовать тончайшей музыке... «фригийского колпачка». Император Николай I сказал, что он понимает только две формы правления, равно нелицемерные и последовательные,— чистую монархию и чистую республику. И та психология, которая заставила его это сказать, возможна и даже естественна у всякого строгого русского. Звуки «Марсельзы» — «так себе» на всем протяжении, в одном месте, в середине, — мистически прекрасны. Руже де Лиль, сочинивший слова ее и музыку, ни ранее, ни потом не написал ни одной строчки, т. е. это было чистое вдохновение, «дыхание» истории. В той части звуков, которую я назвал мистической, проходит какая-то невыразимая загадка, что-то запутанное и неразрешимое,— как в гениальных созданиях, будет ли то слово, звук, краска. Кажется, тут более всего выражено разочарование, т. е. историей своей, которая рушилась в то время, и разочарование окончательное, но оплакиваемое; и какое-то великое, страшное решение, ужасающее самого решающегося: «Знаю, что гибну». По крайней мере, каждый раз, как только эти звуки, эта часть звуков касалась уха моего, я вспоминал один миг в истории Людовика XIV, в самом конце ее, когда, доведя до убийственного состояния Францию и доведенный сам до убийственного положения союзниками, потребовавшими, чтобы он своим оружием выгнал своего же внука из Испании, он обратился с полувоззванием, полужалобой к народу; и народ напряг последние усилия, собрал все средства, всё молодое, что еще оставалось, поставил под ружье... и был все-таки побежден. Нет, французы истинно и глубоко любили своих королей, и упорно и долго любили: этого никак не следует забывать при оценках революции. Но вот, тотчас после «минутки» или, по крайней мере, очень скоро после нее «après moi le déluge»* Людовика XV.

Dies irae, dies illa...** и «lci on danse» — «здесь танцуют» — как было написано на дощечке, отмечавшей место разрушенной и сравненной с землей Бастилии, где, в самом деле, тотчас после разрушения разрушители устроили танцы. Самарин определил революцию как «рационализм в действии». Это ужасно бедно, совершенно неверно; это — определение, сделанное не перед лицом фактов, но при чтении французских «философов». Напротив, совершенно напротив: в революции есть бездна иррационального; скорей в ней затаена какая-то вакхическая струйка, но сумрачная, печальная; и это она сделала ее загадочной для историков, непреоборимой для политиков, не разрешающейся в серию «причин» и «последствий». Поэзия гнева и мести, имевшая слишком достаточные основания; но, как и всякая поэзия, т. е. вид духовного опьянения, пошедшая гораздо дальше этих оснований и вообще дальше всяких предвидений. «Лир» или «Отелло» Шекспира могли бы лучше ее уяснить, чем Тэн или Токвиль.

* «после меня хоть потоп» (фр.).

** День гнева, этот день (лат.).

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЖИВОПИСИ

Одна из самых всеобщих и самых непобедимых тенденций нашей эпохи есть тенденция к демократизации. Демократично становится всё: наука, искусство, не говоря о законодательстве и управлении. Подобно тому как до XIX века всё замыкалось в корпорации, всё затаивалось во внутреннем своем содержании, в планах, открытиях, мышлении, стремлениях, так с начала XIX века все раскрывается, спешит в толпу, ищет внимания и одобрения. Ньютон, открыв в свое время дифференциальное исчисление, скрыл его под темными знаками и выражениями, окружил его умолчаниями, и вся честь великого открытия досталась Лейбницу, который самостоятельно и вторично нашел то же несколько лет спустя. Какая противоположность с открытиями нашего времени, которые, частица за частицей, раньше чем окончательно созрели в уме ученого, публикуются в рефератах, отрывочных заметках и уже *in statu nascendi** становятся предметом всемирного обсуждения. Кох или Шенк и Ньютон – какая противоположность, какая противоположность – Парацельз и Эдиссон! Площадь становится кабинетом размышлений и открытий: человечество в необозримом его составе – аудиторией, вечно внимающей.

Даже самые аристократические умы, аристократические профессии, аристократические учреждения становятся демократичны. Римско-католическая церковь, несмотря на свою замкнутость и высокомерие, заводит газеты и журналы, т. е. обставляется демократическими орудиями влияния, чтобы поддержать свои средневековые принципы; дипломатика, устами Гладстона и Бисмарка, высказывает свои планы на митингах или перед шумливой парламентской толпой. Ницше ищет читателей; Шопенгауэр изнывает от зависти, что Гегель имеет слушателей, когда у него их нет; Леопарди, Байрон – всё это глубоко демократические умы по своим затаенным стремлениям, несмотря на внешний аристократизм свой. Уменья презирать успех нет более ни у кого: не читаться, не слышать аплодисментов – всякому кажется все равно что не жить. Никто не хочет заживо умирать; всякий рвется на солнце бытия, на солнце какого-то всемирного волнения, которое овладело человечеством после того, как оно столько веков прожило уединенной, разорванной на отдельные миры жизнью:

Дурно ли это? хорошо ли? Как аристократия имела свои специфические и неуничтожимые пороки, так их имеет и демократия, и, по-видимому, с тем же неуничтожимым характером. Вопли против демократизации всего уже раздались; многим кажется, что она залет всё эфирно тонкое в цивилизации человечества, что она никогда не поймет, а следовательно, не сумеет и сберечь тот аромат, который вносится в цивилизацию всего индивидуальными усилиями исключительных людей и без которого жизнь была бы тягостна или, по крайней мере, безуютна, жестка. Не будем возражать против этого; не будем на этом настаивать. Заметим только, что глубочай-

* в состоянии зарождения (*лат.*).

шее и, пожалуй, единственное основание демократии написано во второй главе книги Бытия, в удивительных словах, предшествовавших созданию подруги Адама: «Не хорошо быть человеку одному». Вот закон, вот истина, написанная в ребрах наших, вырезанная в нашем мозгу, и которая констатирует и освящает вечное стремление человека к человеку, вечное слияние их, вечную и священную демократию.

И в самом деле, демократия новых времен, демократия христианского мира существенным образом отличается от языческой. Там народ требовал всего, и высшие классы отдавали, уступали с отвращением, негодованием; не отдавали всегда, когда могли не отдать. Но посмотрите на наше время: ученые сами спешат в толпу; посмотрите на удивительный процесс возникновения наших школ: народ почти их не желает, во всяком случае не рвется к ним; но образованные девушки и юноши, молодые священники, так же как иногда и неопытные студенты, церковь, земство, города, — наперерыв друг перед другом спешат со своими школами к народу; показывают ему страны, народы, исторические события в туманных картинах; объясняют физические опыты и, словом, всяческими способами усиливаются слить его с собой, с миром своих знаний, с колоритом своего понимания.

Это — новое явление; это — явление христианское. Оно, быть может, потому и неудержимо, что, в сущности, нечего возразить против него; что возражения, которые мы готовы бы против него сделать, направлены против его извращений и никогда — против его существа. «Цивилизация огрубевает»... но ведь сущность демократизации в том именно и состоит, чтобы всякий вкус, всякую тонкость внести в народ, а не «смаковать» ее в уединении. «Опошлится наука»... но ведь сущность демократизации состоит в том, чтобы ответить всемирной радостью уединенной мысли философа, и неужели это не окрылит его? Демократизация — это всемирность, и ничего еще более. Это и волнение истории, достигшее краев мира, последних глубин народных масс, и ничего, кроме этого, в ее понятии не содержится. Плуг забирает наконец последнюю новь; всякое сердце забирается и общается всемирной тревоге. Каков ее смысл, будет ли он низок или благороден, благотворен или губителен — это отнюдь не предрешается целиной, по которой идет плуг, но уже теми, кто его направляет, т. е., в конце концов, индивидуумом, гением, культурой, которые ищут новых сердец.

Читатель да простит нам эти чрезмерно общие соображения; правда, мириады фактов навевают их, и мы всё-таки их не высказали бы, если бы не частный и характерный новый факт. Мы говорим о тенденции живописи, этого тончайшего из искусств, передвинуться из салонов, картинных галерей, из академий — в серые народные волны. Жажда всемирного сорадования, тронувшая поэтов, писателей, ученых, трогающая сухих политиков, не могла пройти мимо людей, суть творчества которых состоит в некотором тайном сорадовании природе и волнуемой окрест жизни. Нельзя изображать, не любя изображаемого; нельзя захотеть срисовать, уже предварительно не залюбовавшись срисовываемым. Живопись поэтому есть,

вероятно, самое любящее из искусств, и притом любящее не субъективной, нервной, таящейся любовью, как к этому способна музыка, но успокоенной, ясной, созерцательной. Всякий художник есть созерцатель; он не хочет переделать предмет, разбить его форму и дать ему другую. Акт насильственности так присущий композитору, по существу своему всегда реформатору, отсутствует вовсе у живописца, по существу своему консерватора, который уже самым существом своего любящего созерцания утверждает вещь, хочет утвердить ее истину и всегда закрепляет ее образ.

Но вот здесь – маленькая опасность «демократии». Народ никогда не должен быть *vulgus**, и «народное» не должно состоять в опошлении. Сохраняй и закрепляй образ, но позади его станови свет души своей, особенной, уединенной души – души именно художника, который ведь отличен же от других людей, несет на себе печать особенного избрания. Сохраняй образ, извне взятый, но своей бессмертной душой в его чертах просвечивай: особенной любовью своей, углом своего созерцания, точками, на которых остановилось твое внимание. Олеограф – тот всё срисовывает; художник избирает. И хоть он гораздо более натуралист, т. е. точнее воспроизводит природу, чем олеограф, но он вместе и идеалист, ибо в самой природе мимо одного проходит с опущенной кистью и при взгляде на другое играет душой, начинает рисовать. Этим он учит. Учит, не ломая, не переделывая, даже не увлекая к новому, как это делает неволью для себя композитор, но только через простое забвение, простым актом, что он не залюбовался, не остановился, не закрепил. Вот метод учения, нежный до религиозности, который находится в руках живописца, присущ живописи. Его не следует забывать, и особенно не следует забывать, идя с искусством своим в народ.

В Москве, среди местных художников, возникла мысль сделать выставки живописи не только доступными для народа с внешней стороны, по цене, но и понятными по внутреннему содержанию, сюжетам; наконец, двинуться с этими выставками в серые массы, «передвигая» их не из столицы в столицы, от фешенебельного общества к фешенебельному, но идя с ними в большие фабричные центры, в большие торговые села. Не должно забывать, что к числу коренных москвичей принадлежит и В. Васнецов, давший такое богатое и неожиданное движение русской живописи. Москва – это, конечно, сам *δημος*; *δημος*; даже в барстве своем, столь чуждом «снобизма», и, конечно, она есть *δημος*; в лучшем, христианском смысле; от этого и покорил он себе, без внешней борьбы, даже барство. Славянофильство всё *ultra*-демократично, порывисто-демократично, хотя это есть барское учение не только по происхождению всех своих основателей и столпов, но также и по утонченности своей конструкции. В Москве давно стужеваны и примирены противоречия положений и даже противоречия образования. Грановский или Герцен – как они были, в сущности, умственно-демократичны; особенно если рядом с ними поставить Чернышевского, Благовсет-

* толпа, чернь (лат.).

лова, с их высокомерием, «несколькими книжками», которые они прочли сверх тех, которые все читали. Университет московский всегда был демократичен. И мы не удивляемся нисколько, что и искусство тамошнее первое движется в народ, и с тем же здоровым духом, тем же естественным, нерассчитанным порывом, как двинулись гораздо ранее его к народу и в народ местная литература, местное мышление.

Идея народных выставок родилась незадолго до образования «Товарищества московских художников» (1896 г.), и в среде тех самых лиц, которые образовали из себя это товарищество. Было предположено исполнить целый ряд картин, где был бы образно передан ход нашей истории в ее центральных моментах и с сохранением хронологической последовательности. Справедливо был высказан взгляд, что библейские и евангельские сюжеты уже теперь известны в народе более, нежели события родной истории, и приковывают интерес народа еще горячее. Решено было избрать темами картин и жизнь праотцев, судей и царей израилевых, наконец, пророков. Нельзя представить себе, в самом деле, степень не только обогащения фактическим знанием, но и оживления и облагорожения народной фантазии, какое могло бы быть последствием устройства подобных выставок, в зависимости, конечно, от высоты исполнения. Кто представит себе серое однообразие фабричной жизни, ее затхлую удушливость и часто растлевающие условия, тот оценит, каким порывом свежего ветра и даже поэзии пахнули бы сюда эти выставки.

Нам хотелось бы здесь напомнить одну истину, нередко забываемую при попытках сближаться или сближать с собой народ. Никогда на него не следует смотреть, как на ребенка, или даже как на малолетнего. Народная стихия полна серьезности, полна содержательности. Народ пережил и ежеминутно переживает в себе, в частном быту своем, глубочайшие душевные драмы; он чутко наблюдателен; он упорно размышляет. Мы не впадем вовсе в преувеличение, если скажем, что это – «варвар Шекспир», т. е. «варвар» по отсутствию в нем меры, «вкуса» и также грамотности, но с запасом шекспировских страстей и также шекспировских догадок: ведь и великий английский драматург не знал географии и истории, даже в пределах, полагаемых теперь школами самого невысокого типа. Поэтому упрощенный донельзя сюжет, картина только как иллюстрация к тексту краткого учебника священной или отечественной истории не займет или мало займет его. Если в душе художника есть мистическая глубина, пусть он не боится выносить ее в народ. Рисунки г. Васнецова, так часто мистически-сложные, могли бы приковать величайшее внимание народа, стать источником сложных размышлений. Всё это – благо к благу. В прошедшем человеческого рода, с его грехом и искуплением, даже в прошедшем только земли своей, народ чувствует бездны глубины и поэзии; для него это всегда прежде всего – путь Провидения, где много загадочного и почти всё священо. Не вздумайте же освещать для него этот путь олеографиями; тут требуется истинное мастерство, требуется богатство собственного содержания, вовсе не понижение и упрощение таланта требуется, а скорее его крайнее напряжение.

В самом деле, для идеалов своей души, собственно, лишь в народе мистический художник встретит ценителя одного с собой уровня. Всё для народа серьезно: грех для него есть точно грех, грехопадение – точно грехопадение, а не аллегория; это – не поэзия, не «археологическая подробность», давно «разрушенная критикой». И также художник, если он избирает это своим сюжетом, то хоть на минуту начинает всё это чувствовать, не как аллегорию, но как действительность, исполненную глубочайшей правды, если даже и не буквальная. Общество оценит у него технику картины; но полет фантазии, но нежные и сокровенные созерцания души, «угол зрения» и «точки внимания» – быстрее разгадает народ, и он теплее на них отзовется. Вот линия касания, возможная между искусством и народной стихией.

Я не могу не кончить одним маленьким воспоминанием. Несколько лет назад, на Нижегородской ярмарке, в отделе фотографий и гравюр, около так называемого «Главного дома», висела довольно распространенная картина ангела, с поднятыми крылами, и припавшей к груди его полураздетой девушки. Когда я подошел к рисунку – и мне всегда нравившемуся, – около него стояла, и уже, очевидно, давно, девочка-подросток, лет 13, из простых. Очевидно преодолев смущение, она спросила у меня, что это значит, т. е. чтобы я объяснил ей сюжет. Мне всегда это казалось иллюстрацией к «Демону» Лермонтова, и я стал передавать историю Гудала и его дочери. Вдруг, к удивлению, девочка прервала меня: «Нет – это не то». Я замолчал, потому что как я мог доказать ей, что это – «то»? Но, очевидно, что то, свое, глубокое и таинственное, по тону восклицания гораздо содержательнейшее, нежели только сюжет «Демона», связалось в ее душе с рисунком. *Что* именно – я так и не узнал, как-то инстинктивно удерживаясь от расспросов, боясь их неделикатности. Но вот внешний знак внутреннего впечатления, который я подсмотрел когда-то и делюсь им с возможным читателем-художником. Безмолвная душа народная есть то же, что молчащий инструмент, и уже от смычка будет зависеть, какие звуки извлечь из нее.

1897 г., май.

ГДЕ ИСТИННЫЙ ИСТОЧНИК «БОРЬБЫ ВЕКА»?

Л. Тихомиров. Борьба века. Москва, 1895 г.

I

Со времен «Республики» Платона, этого раннего и наиболее философского построения возможной действительности на месте существующей, и до грубых учений Бакунина об «аморфизме» обществ через историю культурного человечества проходит ряд полуидей, полужеланий, в которых некоторое лучшее будущее показывается человеку и манит его из юдоли настоящего.

«Утопия» Том. Мора, «Civitas solis sive de rei publicae idia dialogus poeticus» Кампанеллы – все эти книги самым именем своим уже показывали, что их содержание составляет лишь частную полумысль, полумечту их авторов, ради которой они не направили бы так, а не иначе ни одного практического своего дела. Но вот настал век, когда эти мечты овладели самой действительностью, точнее – когда они стали действительностью самой осязаемой, самой яркой; выйдя из тиши кабинетов, они волнуют улицу, смущают правительства, грозят порвать правильный ход истории, вмешавшись в естественную связь реально ее составляющих дел. Они становятся центром, душой борьбы, около которой блекнет, представляется незначительной борьба собственно политическая – за территорию, границы, экономические преимущества или влияние государственное. Она – всё одна, одна – уже целый век, когда предметы, орудия, деятели всякой другой борьбы меняются. Эта борьба, которая обнимает собой не государство, ведется не армией, есть, в сущности, борьба *общества* в его неопределенных границах; она ведется *людьми*, напрягает силы *человека*, и вот почему она потрясает всё, что над ним или для него устроено на земле: государство, церковь, экономические отношения, как и семью.

Конечно, источники этой борьбы должны быть чрезвычайно многочисленны и разнообразны; однако есть между ними, несомненно, преобладающие. В самих условиях века, в условиях жизни, именно за этот век выросших, несомненно, таится что-то, что сделало возможным это странное, невероятное за два, за три века назад явление, что идеи, которые могли быть занимательны для застольных друзей Том. Мора или для слушателей Платоновой академии, стали усвоимы и привлекательны для каждого поденщика фабрики, для самого неспособного ученика какой-нибудь технической школы. Нам думается, в двух обстоятельствах, действительно возникших за этот последний век, кроется главная причина, обусловившая такую возможность.

Прежде чем указать эти причины, оговоримся, что нами оставляется совершенно в стороне *предметная* сторона социального брожения, что мы рассматриваем его как *явление* и вовсе не как *программу*. И в самом деле, эта программная сторона, имеющая как будто в виду ответить на некоторые реальные нужды, в действительности не есть самая главная, не есть даже очень значительная в этом брожении. Страдания человека, несостоятельность общества – они всегда были, но всегда вызывали сословия, корпорации, семьянина, рыцаря, плебея к борьбе против *этого* определенного страдания, этими определенными способами, без мысли об устройении на новых началах *всех* человеческих отношений. Между тем, что именно связывает все социальные системы, единит их в одну цепь развития – это именно *неудержание* в них чего-либо из строя существующего. Мечта, в которой сохранялся бы католический священник или немецкий пастор, где семья была бы как у Гольдсмита или Толстого, и, наконец, где Моммзен или Липсиус могли бы продолжать свои исторические изыскания, – вот что, по

живому и верному инстинкту всех, никогда не засчитывалось и не будет зачтено в ряде «социальных» систем». Существенная черта социализма состоит именно в неудержании чего-либо из старого, и уже к ней прибавляются – как вторичная и менее существенная черта – манящие яркие образы строя нового. Вот почему не будет ошибкой, если, стараясь определить источники этих порывов, мы будем смотреть на них как на некоторый протекающий в истории *психоз* – без всякого, однако, узкого или порицательного значения этого термина. Их существо, мы настаиваем, не в *цели*; это существо – в некоторой особой психической атмосфере нового человека, из которой возникают самые различные цели, самые несходные построения, от фаланстер Фурье до ожидааний Маркса о новом покапиталистическом строе, – все равно образуемые не столько по указанию нужды, сколько по закону их созидающей души.

II

Потеря чувства действительности есть первое и главное из двух условий, на которые мы готовимся здесь указать. Быть может, мы ближе выразили бы природу этого явления, если бы назвали его утратой *вкуса* к действительному. Взгляд, брошенный назад, к первым социальным построениям, введет нас в понимание этого странного явления. Платон, Томас Мор, Кампанелла – какие изолированные умы, какие уединенные характеры! Мы хотим сказать, как мало связующего осталось между ними и живой действительностью. Они ушли в пустыню своих созерцаний, где, кроме их самих и их «идей», никого не было. И не ближе, как на границе этой пустыни, не иначе, как в положении внимательного слушателя – было человечество. Платон мог, *читая*, восхититься дифирамбом Анакреона; *плясать* в хоре под звуки этого дифирамба – вот чего он никогда бы не мог. Он всё обдумывал устройство Сиракуз, которых раньше не видал; вел мысленно беседы с Дионисием, которого не знал; и даже с Сократом, которого так глубоко понял, так нежно полюбил, он заговорил только после того, как тот выпил чашку цикуты: по крайней мере, ни из его диалогов, ни из воспоминаний Ксенофонта мы не видим, чтобы Сократ сколько-нибудь замечал около себя этого вдумчивого, вечно молчаливого ученика, который, верно, представлялся ему несколько тупым. Афин, Греции, завтрашнего закона, вчера потерянной битвы – вот чего не было, что не шумело, не язвило, не волновало мысль этого человека от лет очень ранних и до глубокой старости. Потеря вкуса к действительности, отъединенность от рода людского – вот имя этого душевного состояния, которое у Платона, Кампанеллы, Мора имеет достаточное себе объяснение в их творческом гении, в обилии растущих изнутри идей, как бы не пропускающих внутрь лучей действительности – по крайней мере, не пропускающих их в достаточном количестве.

Это же явление – чем оно могло быть вызвано в наши дни у каждого почти блузника, у репортера газеты, собирающего для завтра известия, ко-

торые уже сегодня никому настоятельно не нужны? *Смещенностью* всякого почти человека в этот век с живого места на земле, в которое он хотел бы и не может врать прочным интересом, понятным трудом, постоянной привязанностью. Я несу свой труд на фабрику или в департамент, которых история мне не очень известна, судьба не очень занимательна и польза сомнительна; и в то же время дети мои, которых прошлое я знаю, их существо мне понятно, будущность – дорога, формируются людьми, их вовсе не знающими иначе как под углом этого для них обязательного труда. Руки каждого в наши дни, его заботы, внимание, мысль приложены не к объектам, с ним кровно или генетически связанным, а к иным и далеким; и к тому, что кровно или генетически с ним связано, приложено постороннее внимание, чужая мысль, живой нитью не соединенная с ним забота. Чувство действительности, не упроченное здесь – в объектах труда, ослабленное там – в объектах привязанности, слабеет неудержимо. Оно слабеет не только как представление, как живой и вечно во мне стоящий образ, но и как воля, как усилие, как мотив деятельности. Мир, касаясь физически непосредственно меня, духовно становится от меня далек. Он, как и для Платона, Кампанеллы, Мора, отодвигается – у них на границу их созерцаний, у меня – на границу некоторой внутренней пустоты. То чувство, тот интерес, с которым я на него смотрю, напоминает несколько тот слабый интерес и чувство, с которым русский солдат времен Елисаветы Петровны смотрел на картофельные поля Померании, по которым он проходил. Касаясь их подошвами ног, скользя по ним взглядом, он мог ими пользоваться или их истребить с равным спокойствием; и как, подходя к ним, ничего настоятельно нужного не приобретал, так, удаляясь, ничего дорогого в них не утрачивал. И между тем (мы возвращаемся к нашим дням) в своей абстрактной необходимости чувство привязанности продолжает жить во всяком человеке. Мы хотим сказать, что в наши годы, в этих новых обстоятельствах, каждый человек остается, как и всегда, живым ростком, органы которого тяготеют к почве, к атмосфере, свету солнца. Он с ними хочет взаимодействовать – это его натура; он выпускает корни, которые напрасно ищут укрепиться в зыбкой, текущей под ним действительности; выкидывает листки, которым навстречу не бегут никакие живительные, греющие лучи. Так называемое «искание» – неопределенное, мучительное, в котором все инстинкты человеческие извращены, является последствием этого отношения человека к действительности. Мы часто удивляемся, удивляемся впервые в истории, жестокостям, которые совершаются со словами *любви* на языке; мы поражены *деспотизмом*, притеснением, которые налагаются в тех и иных странах (Франция) во имя *свободы*. Мы растерянны, недоумеваем, когда слух наш оглушен тысячью высоких и чистых слов и глаз утомлен кровью, мерзостью, ужасом. И между тем этот непонятный контраст, это непостижимое противоречие дел и слов есть противоречие внутренней природы человека, как она есть, и внешней действительности, как она тоже есть, – контраст залога и исполнения, усилия и осуществления. Лист гнивающий, вместо

того чтобы зазеленеть, вовсе не усиливается стать именно вонючим и темным, его точное усилие направлено именно к свету, к зелени. *Усилия* человека теперь, как и всегда, в первом движении своем, в темном невыраженном своем залоге, направлены к любви и истине, и между тем ненавистью и ложью проникнуты явно выраженные *дела*.

Если мы отойдем за два, за три века в прошлое или если мы переступим теперь за внешние грани европейской цивилизации, мы увидим, что явление, нами указанное, есть новое и местное. Не только на равнинах Азии, но и у нас, в России, — всюду, куда еще не проникли деятельные условия новой цивилизации, равно как в прошлом целой Европы до эры «разделения труда» в промышленности, в государстве, в обществе, — человек не жил этой разорванной жизнью, где его живое внимание и необходимый труд сосредоточены на разнородном. Существование всякого было цельнее, сосредоточеннее; его труд ему понятен и нужен; и действительность перед всяким взором имела ту самую яркость и свежесть, какую имела в себе самой, — достоинство если и не высокое, то вполне осязаемое. Не было никаких условий для того, чтобы человек, как бы полузабыв об этой играющей вокруг него жизни, стал воссоздавать в своем воображении новую целостную жизнь, и не только воссоздавать, но, ради неверной надежды на ее осуществление, и разрушать действительную жизнь с тем спокойствием и равнодушием, как будто бы это был полусон, полупризрак, а не действительность.

III

Если, не придавая программной стороне социализма значения, мы, однако, примем ее во внимание, как симптом, мы откроем вторую общую причину его быстрого и повсеместного развития. Таящиеся в нем желания — не в главной разрушительной своей стороне, но в положительной и созидательной — общее всего выражены в самом имени его адептов: *soci* — алисты, *соппин* — исты. Индивидуализм новых обществ, индивидуализм не в смысле яркости человеческой личности (скорее она тускла теперь), но в смысле ее разобщенности, оторванности от какого-либо целого, которому она прежде принадлежала в церкви, в цехе, в миниатюрном, хорошо сплоченном государстве, — вот что не переносится человеком в силу также неуничтожимых сторон его души. «Не хорошо человеку оставаться одному» — вот слова, Богом о человеке сказанные, сказанные при самом исходе его бытия, на которые обширным и внушительным комментарием являются социальные порывы нашего века. Мы без труда замечаем, что эти порывы отсутствуют вовсе там, где еще сохранилась счлененность человека с человеком, и присутствуют обок всюду, где только эта счлененность распалась. Ни в крепко связанной семье, ни в хорошо сплоченных сословиях, как духовное или военное, ни в крепком быте, как, например, наш крестьянский, — чувство социальности невозможно, не прививается, не встречает себе реагирующей почвы. Социалист — сосредоточим на этом внимание — обычно безроден; это —

скиталец, изгой когда-то прочного быта; остаток разрушившейся общественной клетки, который ищет прилепиться к другой и обычно заражает ее собой, потому что в ней действует, но к ней не принадлежит. Он – человек, который потерял свое место в мире и, собственно, потерял всякое взаимодействие с ним, кроме денежного, которое его не удовлетворяет; он в этом мире не имеет обязанностей, ему в нем не нужны права, в нем он блуждает и, блуждая, разрушает, потому что ни к чему не тяготеет, не может тяготеть.

Его тоска, его порывы, будучи уродливы по выражению, опасны для общества, нелепы по выказываемой отчетливо цели, – в сущности, здоровы по направлению и индивидуально безвинны по происхождению. Нужно только хорошо это понять и не вдаваться в обман слов; миражи большого чувства и изуродованного ума не принимать серьезно в «программном» смысле. Это – великая социальная болезнь, которая направлением своего течения действительно указывает, что более всего нужно, первее всего необходимо. Необходимо воссоздаться обществу как организму; безродные должны получить родство, бескровные духовно – кровь, безотечественные – отечество не в смысле только территориальном, и социализма более не будет. Не дальнейшее поэтому расширение и расширение хаотической свободы, не снятие с индивидуума последних связей его с целым, в предположении еще облегчить его и тем успокоить, умиротворить, может насытить нового человека; но – мы выговорим пугающее всех слово, в котором, однако, заключено все спасение, – новое всемирное закрепощение человека его долгу, его делу, его *обязанности* перед живым, ощутимым, конкретным целым может только возратить покой его сердцу, свежесть и силы его уму. Подумаем, как узко место, на котором стоит священник, как неподатливы грани, в которых замкнута его жизнь, как недоступна ему праздность, блуд и еще множество дел, мыслей, чувств и, главное, наслаждений, из которых нам дан свободный выбор, – и вот, в своем ограничении он счастлив, умиротворен, когда мы все, в своей свободе, алкаем «неба нового и земли новой».

IV

В интересной книжке г. Л. Тихомирова «Борьба века», посвященной социальному брожению наших и прошлых дней, есть одна сцена, которая, будучи реальна, в то же время чрезвычайно выпукло носит на себе все черты, которые мы соединяем мысленно с этим брожением.

«В *Женева*, на сходке *рабочих*, на возвышенном месте стоит оратор, худой и воспаленный. Он жестоко громит зловредный швейцарский строй. «Посмотрите на себя, – восклицает он, – на эти *изможденные* лица *жертв* безжалостной эксплуатации!» А вокруг него сидят *женевские рабочие, красные, полные*, все молодец к молодцу. Уж, кажется, собственные глаза могли бы показать нелепость восклицания. И однако, оратор кричит, а «*изможденные*» рабочие прекрасно слушают, потягивая пиво из своих кружек.

Один рабочий, которому наскучило слушать *des phrases creuses** о будущем, попросил разъяснить ему, как бы устроить, чтобы *теперь* больше зарабатывать. Оратор тотчас *подозрительно и иронически* спросил его:

— Да вы рабочий ли?

— Я-то рабочий. Вот мои руки. Они все в мозолях. А вот вы кто — не знаю.

Оратор был захудалый *русский князь* из всечеловеков, никогда в жизни, конечно, не работавший».

Если восклицание изгоя далекой родины мы переведем словами: «Как несчастен я; как несчастен, что никто не удержал меня на той земле, где я родился, в том быте, в котором я вырос, в условиях общественно-исторических, которым принадлежал я от рождения!» — мы поймем социализм не только в сущности его, в страдании, но и в средствах исцелить его.

«Во время президентства Гриви, при бездейтельном почти правительстве, один социалистский депутат, обращаясь к избирателям, говорил перед ними о недостатке свободы во Франции. Яростных восклицаний нельзя было обобратить. Можно было подумать, что дело идет об Иване Грозном. И что же: единственный факт, который приводил оратор, был тот, что на улицах Парижа не допускают процессий с красными знаменами»** (символ социальной революции).

Г-н Тихомиров понимает это буквально. Но оратор хотел сказать, что он не имеет дела, к которому посылался бы утром, не имеет семьи, о которой должен был бы заботиться, крова, который должен был бы защищать и за который трепетал бы ежедневно; и когда в праздности «неделания», в пустыне своей свободы он захотел создать себе отечество под красным знаменем и поволок его по улицам, у него это новое отечество, эту произвольную семью, это выдуманное и, однако, единственное у него на земле счастье — отняли. Его жесты, его скорбь, его готовность бороться — понятны, как только на место призрачных слов мы поставим настоящие.

Недостатки книги г. Тихомирова, которые нам показались значительными, все вытекают из того именно, что он понимает «борьбу века» в ее прямом смысле, несколько чистосердечно и наивно, не замечая, что истинная ее сущность лежит в боковых условиях, в невысказанных словах, в том, что вовсе не входит ни в какие социальные «программы». От этого, перебирая характерные черты его занимающего явления, он то растерян, то возмущен; он их оспаривает, за них упрекает — однако так, что в словах его не слышно никакой надежды. В замечаниях его, в характеристиках иногда много меткости, почти глубины. Так, он «характеризует всё явление термином «социальный мистицизм». Но когда же мистицизм подда-

* пустые фразы (*фр.*).

** «Борьба века», стр. 16—17.

вался логике? Когда он отступал перед силлогизмом? И наконец, когда он отвечал на будничную, ежедневную нужду? В том, что есть *фактического* в труде г. Тихомирова (напр., с. 10–12, 17–18 и многие другие), он мог бы прочесть опровержение почти всего, чего он боится, чем встревожен, что ищет разрешить как теоретик.

V

Быть *обманываемым* в истории, точнее – надеяться в ней и не получать, есть постоянный удел человека на земле. Можно сказать, надежды *внушаемы* человеку для того, чтобы, *манясь* ими, он совершал некоторые дела, которые необходимы для приведения его в состояние, ничего общего не имеющее с этими надеждами, но очень гармоничное, ясно необходимое в общем строе всемирной истории. Наши «проекты», наши расчеты и «программы», наши мечты суть нужные рычаги и блоки, с помощью которых некоторые тяжести поднимаются от земли, другие опускаются на землю для возведения здания, в плане которого вовсе не содержится чертежа этих рычагов и блоков. Мысль, что человек в самом деле делает историю, – вот самая яркая нелепость; он в ней живет, блуждает без всякого ведения – для чего, к чему? Мы можем только надеяться, что это блуждание не напрасно; что оно нужно; что, оставаясь покорны ведущей нас руке, мы не погибнем, или погибнем не ранее, чем когда станет это необходимо, и мы всё равно от того не уклонились бы.

Вот почему, не закрывая глаз на действительно великие страдания огромных масс людей, в умиротворении которых предполагается задача и сущность социализма, мы ни на минуту не сомневаемся, что его корень и будущий исход лежат далеко в стороне от подобного умиротворения. Оно так же мало входит в раскрывающиеся планы всемирной истории, как мало в Ренессанс входило действительное возвращение к античному миру, в Реформацию – возрождение апостольских времен и сокрушение «Римской блудницы», в революцию – осуществление «естественного братства» людей. Во всех названных нами случаях люди надеялись не менее горячо, верили, по-видимому, также основательно, как теоретики «нового строя» в наши дни, и самые движения тех столетий так же широко раскидывались, так же безбрежны были по содержанию и по массам людей, волнующих ими, как и социальное брожение, нами переживаемое. И между тем Возрождение перешло неуловимо в «споры этих несносных монахов»; Лютер и Меланхтон сменили Эразма и Ульриха фон Гуттена – но и из их веры, порывов, силы вытекли вовсе не апостольские времена, но бюрократизм, ученость, поверхностность и сухость нового протестантизма. Революция, безличная, неясная, массовая до Наполеона, – в нем получила себе сосредоточение и лицо, уста говорящие и руку действующую, которые высказали миру ее смысл, очень далеко разошедшийся с тем, какой предполагали в ней мечтатели от Руссо до Кондорсэ. И так же точно, как-

да социализм тревожит теоретиков экономической науки, пугает правительства, волнует улицу,— историк может спокойно смотреть на эти страхи и завывания, ища далеко, вне точек общего сосредоточения место, куда упадет всеми в страхе ожидаемый факт.

О СИМВОЛИСТАХ И ДЕКАДЕНТАХ

I

Под именем символизма и декадентства разумеется новый род не столько поэзии, сколько стихотворческого искусства, чрезвычайно резко отделяющийся по форме и содержанию от всех когда-либо возникавших видов литературного творчества. Явившись всего 10–12 лет назад, он с чрезвычайной быстротой распространился во всех странах образованного мира, очевидно, всюду находя для себя хорошо подготовленную почву, какие-то общие предрасполагающие условия. Как образчики этого рода искусства приведем два-три стихотворения:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О, мы пойдем целоваться к окну!
Видишь, как бледны лица умерших?
Это – больница, где в трауре дети...
Это – на льду олеандры...
Это – обложка романсов без слов.
Милая, в окна не видно луны.
Наши души – цветок у тебя в бутоньерке.

(В. Даров)

В несколько более оживленном размере:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной глубине,
Вырастают точно блестки
При лазоревой луне;
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно,

Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне.
И трепещет тень лаганий
На эмалевой стене.

(Русские символисты, кн. II)

Два приведенных стихотворения – наши русские; вот стихотворение, принадлежащее Метерлинку:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощаньем,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.
Я вижу призраки охоты;
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья
Во глубь забывчивых лесов.
Лиловых грез несутся своры,
И стрелы желтые – укоры –
Казнят оленей лживых снов.
Увы, увы! везде желанья,
Везде вернувшиеся сны,
И слишком синее дыханье...
На сердце меркнет лик луны.

То, что есть в содержании символизма бесспорного и понятного, – это общее тяготение его к эротизму. Старый как мать-природа бог, казалось изгнанный навсегда из деловой поэзии 50–70-х годов, вторгся в сферу, ему всегда принадлежавшую, им издревле любимую, но в форме изуродованной и странной, в форме бесстыдно обнаженной:

О, чудно нежная и страстная болезнь!
В тебе вся жизнь моя и милый идеал!
Ты звездно обняла меня, как землю плеснь,
Как ржавчина в бою измученный кинжал!
Ты волю мне дала, я грозен и велик
Не желчной грубостью, не силою, не знаньем:
Усеян язвами смятенный мой язык,
И заражать могу одним своим дыханьем
Весталок, стариков, беспомощных детей;
Всех награждать могу болезнью нагою.
Я презираю жнзнь, природу и людей,
Смеюся над тоской, над горем и слезою.

(Емельянов-Коханский)

Также и в следующем, чрезвычайно безобразном даже по форме:

Не входите, присенники!
У меня ль не ноги белые?
У меня ль не руки сплетаются?
Не входите, присенники!
Обезумею, обессилею
За собольчатым пологом...
Заплету я руки змеистые,
Прикоснусь моих плеч обнаженных.
Зацелую очи смутные...
Не входите!...

(А. Добролюбов)

Этот же мотив один отчетливо выделяется и в прозе:

«О чем молишь, Светлый? Не очей ли ты жаждешь неразгаданных, сдержанного ли дыхания страсти? Не улыбки ли, одетой слезами, не росистой ли души молодости?

Я дам тебе тело девственное, бесстыдные, смелые ноги, уста опьяняющие... К ложу утреннему ты приблизишься, Суровый.

Я ли не молода? Сплетутся руки змеистые. Бледная белая ночь побледнеет от моих объятий и уйдет из покоя за окно, на волю.

Светлый! Мне уютно... Мне больно, Светлый! Белая ночь глядит на тебя бездонными глазами. Она не уходит. Словно вдова, грустит ночь... Словно в пленница, плачет она. Плачет она о кладбищенском утре. Мне страшно... Светлый!» *(Добролюбов А.)*

Эрос не одет здесь более поэзией, не затуманен, не скрыт; весь смысл, вся красота, все бесконечные муки и радости, из которых исходит акт любви и которые позднее, с иным характером поэзии и другими заботами, из него следуют,— все это здесь отброшено: отброшено самое лицо любимого существа: на него, как на лицо оперируемого, набрасывается в этой новой «поэзии» покрывало, чтобы своим выражением страдания, ужаса, мольбы оно не мешало чему-то «существенному», что должно быть совершено тут, около него, но без какого-либо к нему внимания. Женщина не только без образа, но и всегда без имени фигурирует обычно в этой «поэзии», где голова в объекте изображаемого играет почти столь же ничтожную роль, как и у субъекта изображающего; как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одной строкой:

О, закрой свои бледные ноги! *(Брюсов)*

Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения, то есть на самую жизнь, здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими.

Родина символизма и декадентства, как известно, есть Франция; и здесь, в этой новой «поэзии», она едва ли не первый раз в своей истории выступила не как истолковательница чужих идей и позывов, но как руководительница и наставница в некотором новом роде «вкусов». Отечество маркиза де-Сада наконец ясно высказало, в чем оно, бесспорно, господствует среди всех цивилизованных народностей и вовсе не располагает у них чему-нибудь научиться. С тем вместе оно вдруг, но с совершенно неожиданной силой выразило, чем истинно интересовалось и интересуется в то время, как на ее поверхности, на глазах волнующегося и часто восхищенного мира, раздавались звуки тревог политических, религиозных, экономических, других. Искусство более чутко, чем что-либо, к будущему; оно яснее высказывает сокровенное нашей души. Года 4 назад, в так называемом «художественном» отделе французской выставки в Москве, простодушные россияне, если бы они были пронизательнее, могли бы уже читать «декадентство», выраженное не в стихотворениях без рифм, без размера, без смысла, но с «ногами»,— а в ряде картин, без аксессуаров, без обстановки, без света дня или ночи, без платья, но с неизменной живописью женского тела, насколько оно открывается со стороны пяток. Странное впечатление производил, едва вы переступали порог галереи, длинный ряд полотен, среди которых совершенно отсутствовали всякие иные сюжеты; не было ни природы, ни моря, ни гор, ни солнца, ни цветов, ни уличных видов, ни домашних сцен, но только — вытянутые на один почти манер женские фигуры, с «лядвемиями» и прочими подробностями, с отвратительно истощенными лицами, как бы вытягивающиеся перед «художественным воображением» живописцев*. Очевидно, для этих последних — умерла история; умер человек; умерла природа; и даже в «сюжетах» любимых умерло лицо, имя, прошлое человека, его будущее; и, как для декадентов наших дней, из этой немоты, молчания, из этой теми небытия торчали только «бледные ноги», которые никак не хотели спрятаться из болезненно настроенного воображения.

Но отсутствие лиц, не только осмысленно-выразительных, но и просто красивых или молодых и свежих, составляло не главную особенность этой галереи голых тел. Поражала здесь вымученность воображения, которое усиливалось и не могло выразить еще и еще что-нибудь из сферы «голового». Так, я помню картину, представлявшую глубину морскую, в которую падал луч солнца; внимательнее всматриваясь, вы замечали, что какая-то рогатая раковина, вытягиваясь кверху и сплетаясь с крутящимися водами, поднималась навстречу этому лучу, обнимала его, принимала его в себя; и, еще внимательнее всматриваясь, вы замечали, с некоторым удивлением и гадливостью, что то не пучина и не изгибающиеся формы раковины тянулись

* Рассказывали на выставке, что Государь Александр III, посетивший выставку, прежде всего направился в художественный отдел, но, едва дойдя до двери и взглянув в зал, — повернулся назад и не захотел смотреть это «французское искусство».

вверх, а в форме их – судорожно изгибающееся, прозрачное женское тело охватывало своими формами луч.

Не нужно было быть философом культуры человеческой, чтобы, видя эту живопись, предугадывать, какова должна быть и словесность этой страны за эти годы. Мне (к сожалению) не случилось что-нибудь прочесть из Мопассана или Золя, но вот выдержка из первого, как она передана была в одной критической о нем статье (г. Н. Л-на: «Гюи де-Мопассан», в *Русск. Вестн.* 1894 г., ноябрь) и где мы уже вступаем в сферу декадентства, хотя страница эта и была написана задолго до появления знаменитой «школы»:

«...Любить, страстно любить можно, только не видя предмета своей любви. Видеть – значит понимать, понимать – значит презирать. Любить женщину нужно опьяняясь, как вином, опьяняясь до того, что не чувствуешь более, что именно пьешь. И пить, пить, пить, не переводя дух, днем и ночью».

Это (пишет рецензент) запись героя одного рассказа (в дневнике своем) до брака; после брака он продолжает дневник:

«Женившись на ней, я подчинился бессознательному влечению, которое толкает нас к женщине.

Она теперь моя жена. Пока я только душой стремился к ней, она казалась мне воплощением моей несбыточной мечты, готовой осуществиться. Но как только я заключил ее в мои объятия, я увидел в ней лишь орудие, которым пользовалась природа для того, чтобы обмануть мои ожидания.

Обманула ли она (то есть жена) их? Нет. Но она опротивела мне, опротивела до того, что я не могу прикоснуться к ней, не чувствуя в душе невыразимого отвращения, быть может, даже не к ней именно, а отвращения высшего порядка, более глубокого, отвращения к любовному слиянию вообще, до того омерзительному, что существа с *высшей организацией* должны бы скрывать этот постыдный акт, говорить о нем только шепотом, краснея...

Я не могу более переносить вида моей жены, когда она подходит ко мне, обнимает меня, зовет улыбкой, взглядом. Еще недавно мне казалось, что поцелуй ее унесет меня в небеса! Однажды она заболела кратковременной лихорадкой, и я почувствовал в ее дыхании легкий, тонкий, почти неуловимый запах разложения; я был охвачен ужасом!

О, брэнное тело, очаровательный живой навоз! О, движущееся, мыслящее, говорящее, смеющееся разложение, такое розовое, соблазнительное, красивое – и такое обманчивое, как сама душа!»

Мы чувствуем за этими словами ту степень физического изнеможения, которая исключает возможность реального сближения; и это изнеможение, как можно видеть из некоторых слов, не есть следствие богатой траты богатых сил, но изнурительной работы воображения над известного рода «сю-

жетами» гораздо ранее, чем они приблизились и стали доступны in ge*. И вот ходячий труп, однако предполагающий о себе, что он принадлежит к породе «высшим образом организованных» существ (см. выше), пишет далее в том же «Дневнике»:

«...Я люблю цветы, как живые существа. Я провожу дни и ночи в оранжерее, где скрываю их, как скрывают женщин в гареме. У меня есть оранжереи, куда никто, кроме меня и садовника, не проникает.

Я вступаю туда, как в место тайных наслаждений. В высокой стеклянной галерее сначала пробираюсь среди двух рядов венчиковобразных цветов, которые поднимаются ступенями от земли до крыши. Они посылают мне первый поцелуй.

Эти цветы, украшающие переднюю моего таинственного гарема, — мои скромные служанки. Миловидные, кокетливые, они приветствуют меня усилием своего блеска и благоухания. Занимая восемь ступеней по одну сторону и восемь по другую, они так стиснуты, что кажутся садами, с обеих сторон спускающимися к моим ногам. Сердце мое усиленно бьется, глаза зажигаются страстью при виде их, кровь приливает и руки трепещут от желания схватить их. Но я прохожу мимо. В конце этой высокой галереи виднеются три запретные двери. Я могу выбирать. У меня три гарема».

Чаще всего (продолжает критик) он заходит к орхидеям:

«Они трепещут на своих стебельках, точно собираются улететь. Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними — душа мистического самца, истерзанного любовью.

...Цветы, цветы — одни цветы в природе так чудно благоухают — эти яркие или бледные цветы, нежные оттенки которых заставляют так сильно биться мое сердце и отуманивают мои глаза! Они так прекрасны, нежны, так чувствительны, полураскрытые, более соблазнительные, нежели уста женщины, — полые, с вывернутыми, зубчатыми, мясистыми губами, осыпанными зародышами жизни, возбуждающими в каждом из них специфический аромат. Они, одни они во всей природе размножаются без позора для своего неприкосновенного (?) рода, распространяя вокруг себя дивный аромат своей любви, своих ласк, благоухание несравненной плоти, полной невыразимой прелести, одаренной необыкновенным богатством форм и цветов и опьяняющим соблазном самых разнообразных благоуханий» (Рус. Вестн. 94, ноябрь, с. 269–271).

Этот в своем роде «свадебный полет» к цветам, уединенным в гарем-оранжерее, напоминает аналогичный случай, имевший действительное место в древнем мире, где один грек воспылал подобной же страстью к мраморной статуе и дошел в экстазе до того, что однажды тайно осквернил

* в действительности (лат.).

ее. История запомнила этот случай, и рассказ о нем дошел до нас; очевидно, язычники-греки были удивлены им в такой мере, что не могли пройти его молчанием, и не только в разговоре, на площади, но и в книгах; теперь христианский писатель падает воображением до низин подобной же животности, и даже глубже – до низин неодолимой природы, но он не только падает сюда, но и обобщает, узаконяет свое падение, облачая его в красоту литературных форм; он, наконец, ему поет гимн при внимательно-внимательном прислушивании «критиков» всех стран, к удовольствию необозримой толпы слушателей-читателей – и только, к сожалению, не без ущерба для своего здоровья. Главное, однако, не в этом.

Приведенные отрывки из «Дневника», в двух отделах своих – человекообразном и животном, представляют ярко выраженный каданс человека и его воображения. Прежде чем его автор дошел до цветов с мясистыми, вывернутыми губами, «осыпанными зародышами жизни», пока он сохранял еще некоторый облик человека и не убежал из людского общества, его воображение так же действовало, тому же закону повиновалось, какому повиновалось воображение и тех «художников» кисти, которые привезли показать свои произведения московским Кит Китычам; то же отсутствие подробностей, аксессуаров, отсутствие в рисуемом человеке – лица; молчание – истории, неведение – природы; нет ни городского шума, ни домашней сцены; ни прошлого *ее*, ни *ее* – *нужд, надежд*, например, на детей. Умерло строгое римское: «Matrimonium liberorum quaerendum causa»*; библейское: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею»; евангельское: «Что Бог сочетал – человек да не разлучает». Умер человек, и остались только панталоны. Степень падения еще ниже тотчас следует за этим: в живописи мы видели этот каданс в изображении раковины-женщины, поглощающей в себя солнечный луч, в беллетристике – «мистического самца», порхающего над женоподобными цветами. Там и здесь уродливое впало в бессмысленное, и мы не чувствуем никакого удивления, не видим ничего нового, читая после *той* прозы эти стихи:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно,
Звуки ластаня ко мне...

или еще:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О, мы пойдем целоваться к окну!

* «Брак с целью воспроизведения потомства» (лат.).

и, наконец:

Моя душа больна весь день,
Моя душа больна прощанием,
Моя душа в борьбе с молчаньем,
Глаза мои встречают тень.

Это все лишь – «орхидеи», трепещущие на стебельках своих, точно собираются улететь. «Прилетят ли они ко мне? Нет, душа моя полетит к ним, будет витать над ними, душа мистического самца, истерзанного любовью».

Таким образом, символизм и декадентство не есть *особая новая* школа, появившаяся во Франции и распространившаяся на всю Европу: это есть окончание, вершина, голова некоторой другой школы, звенья которой были очень длинны и корни уходят за начальную грань нашего века. Выводимый без труда из Мопассана, он выводится, далее, из Золя, Флобера, Бальзака, из *ультрареализма*, как антитезы ранее развившемуся *ультраидеализму* (романтизм и «возрожденный» классицизм). Именно этот элемент *ultra*, раз замешавшийся в литературу и никогда потом из нее не вытесненный, как результат *ultra* в самой жизни, в ее нравах, в ее идеях, ее влечениях, ее поэмах, и сказался в конце концов таким уродливым явлением, как декадентство и символизм. Декадентство – это *ultra* без того, к чему оно относилось бы; это – утрировка без утрируемого; вычурность в форме при исчезнувшем содержании; без рифм, без размера, однако же, и без смысла «поэзия» – вот *decadence*.

III

Великое самоограничение человека, тянувшееся десять веков, дало между XIV и XVI веком нашей эры весь цвет так называемого «Возрождения»; корень и обычно не бывает по виду похож на плод, но между силой и сочностью корня и красотой и вкусом плода есть несомненная связь. Средние века, кажется, ничего общего не имеют с Возрождением, во всем ему противоположны: между тем вся пышность, все трепетание сил человеческих в эпоху Возрождения имеет основание свое вовсе не в мнимо «возрождавшемся» классическом мире, не в подражаемых Вергилию и Платоне, не в отрываемых из подвалов старых монастырей манускриптах, но именно в этих монастырях, в этих суровых францисканцах, жестоких доминиканцах, в св. Бонавентуре, Ансельме Кентерберийском, Бернарде Клервосском. Средние века были великим кладохранилищем сил человеческих; в их аскетизме, в их отречении человека от себя; в презрении его к красоте своей, к силам своим, к уму своему – эти силы, это сердце, этот ум были сбережены до времени. Эпоха Возрождения была эпохой открытия этого клада: тонкий слой прикрывавшей почвы был отброшен, и, к изумлению ряда последующих веков, из-под него засверкали ослепительные, несметные сокровища; вчерашний бедняк, убогий нищий, который умел только на перекрестках орать несклад-

ным голосом псалмы, — зацвятился вокруг поэзией, силой, красотой, умом. Откуда всё это? Из истощившегося ли в себе самом античного мира? Из заплесневелых ли пергаментов? Но разве Платон писал свои диалоги с тем живым восхищением, с каким Марсилио Фичино их комментировал? или римляне, читая греков, разве переживали то же, что переживал Петрарка, когда, за незнанием греческого языка, только перекладывал с места на место драгоценные рукописи, по временам целовал их и с тоской смотрел на непонятный текст? Все эти манускрипты, в удобных и точных изданиях, лежат и перед нами: отчего же нас они не «возрождают?» отчего греки не «возродили» Рима? или греко-римская литература не произвела в Галлии и Африке II–IV века ничего подобного итальянскому Ренессансу? Тайна Возрождения XIV–XV веков лежит не в древней литературе: эта литература была только заступом, сбросившим землю с зарытых в нее сокровищ; тайна лежит в самих сокровищах; в том, что между IV и XIV веками, под влиянием сурового аскетического идеала умерщвления плоти в себе и ограничения порывов своего духа, человек только сберегал и ничего не умел тратить. В этом великом тысячелетнем молчании его душа созрела для *Divina Comedia**; в этом насильственном закрытии глаз на мир, всё-таки интересный, хотя и греховный, вырели Галилей, Коперник и школа обдуманного опыта, которую создал Бэкон, борьбой с маврами — выковались Веласкес, Мурильо; и в тысячелетних молитвах, ранее XVI века, вырисовались образы Мадонн этого века, которым мы умеем молиться и которым никто не умеет подражать.

С XIV и до XIX века мы только тратим несметные сокровища, тогда открывшиеся, расходует великий запас сил, к этому времени собранный. Отсюда — новая история есть антитеза Средним векам; человек не хочет более о себе молчать: всякое малейшее чувство, всякую новую шевельвшуюся мысль он торопится высказать другим, разрисовать ее в красках, расцветить в звуках, непременно — закрепить печатным станком. Можно сказать, как сильно он таился до XIV века, так становится болтлив, переступив за грань этого века и во все последующие. Не только мудрое, не только благородное, но и смешное, глупое, наконец, уродливое в себе он облекает в стихи и прозу, кладет на музыку и очень хотел бы, но только не умеет, выразить в мраморе или запечатлеть в архитектурных линиях. Замечательно, что архитектура — это вид безличного искусства, это форма создания, где создающий слит с эпохой и народом, где он не возвышается над ними, не выделяет на их фоне своего «я», — падает, как только мы переступаем в новую историю, и ни разу в ней не поднимается к великому или прекрасному.

Это — слишком бескорыстный вид искусства, и между тем новый человек решительно не находится, как, каким способом, через посредство чего он мог бы почувствовать себя бескорыстным. Он все более и более разучается молиться: молитва есть обращение души к Богу, и между тем его душа

* Божественная комедия (*лат.*).

обращается только к себе. Всё, что сжимает его, теснит, что мешает независимому обнаружению своего «я» – будет ли это «я» низко или благородно, содержательно или пусто, – для него становится невыносимо; в XVI веке он сбрасывает с себя церковь, говоря: я – церковь; в XVIII веке сбрасывает государство, говоря: я – государство; он декларирует права этого я (революция); он поэтизирует глубины этого я («Фауст» и «Вертер», Байрон); он говорит, что и весь мир есть только отражение этого я (философия германского идеализма), – до тех пор, пока это я, превознесенное, изукрашенное, огражденное законодательствами, на развалинах всех великих связующих институтов: церкви, отечества, семьи, – не определяет себя, к исходу XIX века, в этом неожиданно кратком, но и вместе выразительном пожелании:

О, закрой свои бледные ноги!

– причем по точке, замыкающей строку, и по пустому полю листа, ее окружающему, мы заключаем, что в нем некоторый «субъект» без остатка выразил все внутреннее свое содержание.

IV

Религия своего я, поэзия этого я, философия того же я, произведя от Поджио и Филельфо до Байрона и Гёте ряд изумительных по глубине и яркости созданий, исчерпали наконец его содержание; и в «поэзии» *decadenc'* а мы видим стремительное низвержение пустой оболочки этого я. Мы выше заметили об утрировке без утрируемого, о вычурном без субъекта вычурности в этой «поэзии»; это так – со стороны формы; со стороны же внутреннего содержания, хотя и отрицательно выражаемого, декадентство есть прежде всего беспросветный эгоизм. Мир, как предмет любви или интереса, даже как предмет негодования или презрения, – исчез из этой «поэзии»; он исчез не только как объект, возбуждающий к себе что-нибудь у бессодержательного я, но и как зритель и возможный судья этого я, как просто *присутствующий*:

Это – на льду олеандры,
Это – обложка романсов без слов

– вот что осталось от него в зыбком, нелюбящем, нелюбопытствующем воспоминании опустошенного и павшего я. Едва ли во всей этой словесности можно найти собственное имя – имя города, название местности и часа: перед пустым я проносятся чисто абстрактные видения, не цепляющиеся ни за какую реальную действительность, ничего из реального мира не несущие в себе, кроме отдельных слов, названий предметов, обрывков сцен, которые чередуются в произвольном порядке; среди этих сцен, предметов, слов, захваченных зыбким воспоминанием из мира действительности и несущихся вперед без намерения и смысла, попадают как бы брошенные, как бы потерянные мысли, без развития, даже без сколько-нибудь необходимой связи:

Я вижу призраки охот;
Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья
Во глубь забывчивых лесов.
Лиловых грез несутся своры,
И стрелы желтые – укоры –
Казнят оленей лживых снов.

Отмеченные курсивом строки суть мысли, как бы вкрапленные в сцены действительности, к которым они не имеют никакого отношения; но и самые эти сцены – не действительность, а как бы обрывки о ней воспомина-ния, не очень твердого, малонеобходимого в себе самом и, кажется, мало нужного самому вспоминающему. Мы наблюдаем в этом потоке бессвязности отсутствие какой-либо закономерности в самом субъекте: я – распалось в себе самом, после того как в истории, в трехвековой борьбе с великими объективными институтами оно разложило их своим субъективизмом, от-вергло в них какой-нибудь для себя обязательный, священный закон.

Нет причин думать, чтобы декадентство – очевидно, историческое явление великой необходимости и смысла – ограничилось поэзией; мы должны ожидать, в более или менее отдаленном будущем, декадентства филосо-фии и, наконец, декадентства морали, политики, бытовых форм. До извест-ной степени Ницше уже можно считать декадентом человеческой мысли; по крайней мере, в той степени, как Мопассан можно, в некоторых *заклю-чительных* чертах его «художества», считать декадентом человеческого чувства. Как и Мопассан, Ницше кончил помешательством; как и у Мопас-сана, у Ницше культ своего я теряет всякие сдерживающие границы: мир, история, лицо человеческое, его труды, его законные требования – исчезли равно из представления обоих; оба были в достаточной степени «мисти-ческие самцы» – только одному больше хотелось «порхать» над «трепещу-щими орхидеями», а другому нравилось в какой-то пещере или с какой-то горы объявлять человечеству новую религию, в качестве возродившегося «Заратустры». Религию «сверхчеловека», объяснял он. Но они все, и Мо-пассан тоже, уже были «сверхчеловеками» по совершенному отсутствию для них нужды в «человеческом» и по отсутствию какой-либо в них самих необходимости для человека. На этом новом в своем роде *nisus formativus*^{e*} человеческой культуры мы должны ожидать увидеть великие странности, великое уродство, быть может, великие бедствия и опасности.

Еще два слова о нем: мы можем очень тонкими нитями генетически свя-зать бессмысленный и уродливый символизм наших дней с таким богатым по мысли и ярким по красоте созданием, как «Фауст». В обоих выразилась и еще выражается «свободная человечность»: только в одном она является при исто-ке и богатая силами, в другом – при заключении и лишенная сил; но существо

* подъем (*лат.*).

именно «свободы» и именно «человечности» равно есть главное, равно есть характерное в обоих. Скажем более: вторая часть «Фауста», вышедшая из того же субъективного духа, как и первая, но только в пору истощенности его сил, представляет все черты символизма и декадентства, но только в построении целого, части которого столь же бессвязны и вычурно соединены, как и строки символических стихотворений. Там уже есть немножко «эмалевых латаний...». Мы хотим сказать, что символизм и декадентство – отрицательное отношение к которому бесспорно для всякого, кроме «соучаствующих», – генетически связуются со всем гениальным и высоким, что создано было «несвященной личностью», и «свободной человечностью» западной культуры за этот период времени, от Возрождения и до электротехники; напротив, грань, для него не переступаемая, кладется там, где человек понимал себя всегда «связанным». Великий материк истории, материк реальных дел, практических потребностей и, более чем этого всего, религии *переданной*, церкви *сложившейся* – вот на берег чего никогда не может выползти это смрадное чудовище и куда, убегая его, мы хотим указать, – может всегда спастись человек. Там, где поднимается монастырская стена, *это* движение неверных волн истории, какую бы оно силу и распространение вокруг ни получило, – окончится и отхлынет назад.

ТЕПЕРЬ И ПРЕЖДЕ

I

Два факта, разделенные более нежели двумя тысячелетиями, служат равно характерным выражением двух эпох, двух культур, и их сопоставление не лишено самого серьезного интереса и величайшей многозначительности. Первый относится к нашим дням и принесен «Письмом из Парижа» г. Яковлева («Русское Обозрение», 1898 г., январь); второй – второй всегда был известен внимательным, полузабыт толпой, но получает необыкновенную силу и яркость из сопоставления с тем первым фактом. Мы приведем их оба, не прибавляя ни одной черты от себя.

«...В 1881 году в Париже разбирался процесс, очень обыденный и который обратил на себя внимание только благодаря имени одного из его участников. Доктор Каброль, бывший лейб-медик фельдмаршала С. Арно, обвинялся в том, что за деньги произвел выкидыш у молодой девушки Габриэль Берто, результатом чего была смерть последней. Габриэль была дочь певицы из кафешантана... Мать сделала невероятные и поистине трагические усилия, чтобы избавить Габриэль от того омута, в котором сама провела жизнь. Она ревниво оберегала ее от своих знакомых, скрывала от нее свою профессию и поместила в дорогой пансион, чтобы ее приготовили к учительской должности. Оказалось, однако, что такая деятельность была для Габриэль слишком серьезной. Тогда мать отдала ее в науку к одной почтенной модистке, поставив непременно-

ным условием, чтобы Габриэль спала в одной комнате с матроной. И она действительно спала. Но это не помешало бедной девочке – ей было 16 лет – в скором времени забеременеть. Через одну свою подругу Габриэль познакомилась с молодым и богатым коммерсантом Дюкроком, у которого имелся рояль. Габриэль стала ходить к нему играть, и роман быстро разыгрался. Когда девушка узнала, что должна сделаться матерью, она стала волноваться, искать способов отделаться от нежеланного плода. Дюрок со своей стороны сам того желал и предложил свезти девушку к доктору, который считался большим виртуозом по этой части*.

В назначенный день карета Дюкрока остановилась перед квартирой доктора. Молодой человек без обиняков объяснил ему цель визита. Сторговались за сто франков, и доктор тотчас же приступил к операции. «В этот вечер молодые праздновали, – как выразился прокурор, – свою победу над природой»**, но на другой день Габриэль слегла и уже больше не вставала.

При первом известии о болезни дочери мать приехала немедленно в Париж и тут только узнала подробности всей истории. Прежде всего она поместила Габриэль в больницу, затем отправилась к Дюкроку.

Молодой коммерсант принял ее дерзко и насмешливо. Сначала он даже не мог припомнить, о какой девушке шла речь, но потом вспомнил, что «такую девушку встречал на тротуарах».

– Вы пойдете на скамью подсудимых, господин соблазнитель, – вскричала бедная певича, – если будете отмалчиваться и не женитесь на моей дочери.

– Жениться? – отвечал Дюрок. – Что скажет коммерческая палата?

– Ничего, вы не герцог Омальский.

Тепез!*** Возьмите деньги, я устрою Габриэль. Так лучше будет.

– Нет, мне не надо денег, я хочу спасти жизнь и честь моей дочери.

Женитесь, или вы пойдете под суд ассизов.

Дюрок предпочел сесть на скамью подсудимых. Он знал, говорил он, что все честные люди будут за него...

И он не ошибся.

* На медицинских факультетах, как за границей, так и у нас, открыто преподается преступное искусство вытравливать плод женский, — и столь же открыто это «высокое искусство» излагается в курсах акушерства. Мотивируется, т. е. прикрывается, это изложение тем соображением, что «бывают случаи (неправильность в устройстве женского таза), когда нормальное разрешение от бремени невозможно для рожениц и удобнее произвести всё равно неизбежный выкидыш преждевременно (обычно на третьем месяце беременности) и искусственно». Конечно, искусство, которое нужно Красовскому и Славянскому и ими в редчайших случаях применяется, — не нужно и применяется в преступных целях сотнями «Ивановых» и «Петровых». Следовало бы по крайней мере с кафедры и печатно не учить преступному.

** Характерно чрезвычайно это красноречие прокурора. Ясно, что в понятиях, в чувствах, в целой психике, между судимым Дюкроком и его судьями не было, в сущности, разграничивающей черты.

*** Возьмите! (*фр.*).

Во всё время суда доктор и его соучастник продолжали быть предметом дифирамбов множества газет всех оттенков. Их имена произносились в печати не иначе, как с прибавлением «почтенный, симпатичный, заслуженный». Что подсудимые были оправданы – нечего и говорить. Но вот что было после суда «Третьего дня», – писали в «Expresse», – «толпа человек во сто ожидала его, Дюкрока, на улице: его обнимали, ему бросали букеты, незнакомые люди подавали ему свои визитные карточки, почтенные женщины (des dames respectables) плясали от радости или плакали. Он же, при первой возможности, ускользнул от этой оvationи, желая отдохнуть. Сегодня он проводит день в приеме посетителей, в чтении газет. Завтра он возвратится к делам».

Та же радикальная газета познакомила нас со внутренним состоянием своего героя. На другой день после процесса она отправила к нему своего сотрудника Поля Алексиса, известного романиста натуралистической школы, друга и ученика Зола. Вот как он передавал в этой газете свой разговор с Дюкроком:

«Это – интересный молодой человек, в кресле перед камином, с сигарой в зубах». – Поль Алексис смотрел через его плечо на рояль, на котором еще так недавно играла Габриэль.

Дюкрок: «Мои пять месяцев тюрьмы прошли и очень медленно, и очень скоро; странно, что я никогда не скучал. Камера моя была очень удобна. Мне очень долго не давали даже носового платка – из страха, чтобы я не повесился. Мой арест мне показался сном до той самой минуты, пока меня заперли в камере. И эта минута была самой тяжелой во всей моей Одиссее. Мое выражение: «Чту скажет коммерческая палата» – показалось публике неудобным. Но она была не права: то был крик, идущий из сердца коммерсанта, потому что я верую в коммерцию, как вы верите в литературу... Что касается ответа матери Габриэли: “Вы – не герцог Омальский”, сознаюсь, он оригинален и красив. Но эта дама всё-таки скверная женщина, она была причиной моего несчастья и особенно своей дочери. Не будь ее – если б Габриэль, оставшись в живых, была сиротой и оказалась хорошей матерью – кто знает! – может быть, я когда-нибудь и женился бы на ней».

– Так, – прибавляет от себя Поль Алексис, – говорит этот человек, еще молодой, но уже перенесший тяжелое испытание; он ни на минуту не перестает быть благоразумным, умеренным и покорным своей судьбе и не обвиняет ни Бога, ни судьбу, ни общество («Русск. обозр.», 1896, январь, 440–441 стр.).

Ну уж конечно, «ni Dieu, ni la société»...*

И ни одного даже простого воспоминания о зарытом в землю трупе, почти о девочке еще, над которой доктор хлопотал с иглой; ни даже тени сознания о себе...

* «ни Бога, ни общества» (фр.).

Спящий в гробе – мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

Чтобы понять что-нибудь в *des dames respectables*, без сомнения, взрослых и, быть может, даже стареющих матерях семейств и взрослых сыновей, приведем из того же «Парижского письма» отрывок, предшествующий этому рассказу:

«Французское общество отлично понимает экономическую выгодность для себя женской проституции и поэтому без всяких стеснений часто философствует устами своих публицистов на тему о морализующем влиянии последней на семью, – что если б-де не было проституции, то инстинкты, «находящие себе исход в ней, направились бы на развращение семьи». Поэтому же дирижирующая буржуазия смотрит сквозь пальцы на увеличение проституции как на явление будто бы неизбежное, и все силы ее, в этом отношении, направлены на то, чтобы сделать ее безвредной в медицинском смысле (как, впрочем, и у нас). На разврат сына буржуа смотрит всегда благосклонно, лишь бы это делалось без увлечения и с расчетом, – и так, чтобы сынок не вступал ни в какие обязательства относительно будущего».

Невольнo вспомнишь и исторически применишь слова Давида о «нужном и верном рабе» своем Иоаве, сказанные после предательского умерщвления им Авенира: «О, да никогда дом Иоава не останется без семеноточивого, или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе» (Вт. Кн. Царств, III, 29). Примишь и скажешь об этом обществе растленных: «Да никогда не останутся они без семеноточивых или падающих на меч...» Да это уже и есть – Бог это и делает им.

Во всяком случае, не только факт приведенный, но и вся житейская обстановка, на фоне которой он возник, характеризуется отсутствием какой-либо веры, веры во что-либо определенное, если за нее не принимать «веру в коммерцию», не менее твердую, но и не более содержательную, чем вера шантажирующего* Поля Алексиса «в литературу». Мы говорим о вере идеальной, не непременно религиозной, но хотя бы политической. Собственно, кафешантанная певица есть единственная светлая точка на этом салном пятне, которое почему-то считает себя цивилизацией: среди всего и всех здесь фигурирующего и фигурирующих – прессы, суда, *des dames respectables* – эта бедная кафешантанная певица одна «в своем праве». Но у ней нет меча, чтобы защитить это право, он – у государства и направлен против нее; она не может сослаться на какой-нибудь определенный, всеми одинаково признанный, для всех идеально обязательный закон. Даже к Богу... но она, вероятно, не верит в Него. Она –

* Насколько помнится, Поль Алексис бежал в 1895 году в Америку, когда вместе со множеством других «писателей» ему грозили тюрьма и суд по обвинению в обыкновенном, при помощи печати, мошенничестве (вымогание денег у коммерсантов).

самка, такая же в духовном смысле бездомная, как и те respectables: несколько лучше одетая, несколько хуже других; она воеет, ей больно; она скулит над закопанным в землю щенком своим, и ничто ей не отвечает среди этого «естественного» стада, которым стало человеческое общество на исходе двух почти тысячелетий своей цивилизации.

II

«Другой факт совершился более чем две тысячи лет назад, и мы приведем его также дословно, ничего не изменяя в историческом памятнике.

В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким. И взял он жену, по имени Сусанну, дочь Хелкия, – прекрасную собой и богобоязненную. Родители ее были праведные и научили дочь свою закону...

Иоаким был очень богат; близ дома был у него сад; и собирались к нему иудеи, потому что он был между всеми почтеннейший.

И были в этом году поставлены из народа два старца судьями – из тех, что сказал о них Господь: беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-судей, которые казались управляющими народом. Старейшины эти бывали постоянно в доме Иоакима; и приходили к ним все, имевшие спорные дела.

Когда, около полудня, народ расходился – Сусанна уходила в сад свой для прогулки. И видали ее оба старейшины всякий день прогуливающейся; и в них родилось к ней желание. И извратили они ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах.

Были они оба уязвлены желанием к ней, но друг другу боли своей не открывали, потому что стыдились высказать тайное желание свое – иметь с ней соединение. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда», и, вышедши, расходились друг от друга. И, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того – признались наконец в похоти своей; и тогда назначили вместе время, когда могли бы застать ее одну.

И было – когда они выжидали удобного дня. Сусанна вышла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. Не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масла и мыла и закройте двери сада, чтобы мне помыться».

Они так и сделали, как она сказала: заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что было приказано им, и не видали старейшин, так как те спрятались.

И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и, подбежав к ней, сказали: «Двери заперты, никто нас не видит; у нас есть похоть к тебе – не отказывай нам, побудь с нами. Если же не так, то мы засвидетельствуем против тебя, что с тобой был юноша – и ты поэтому отосла-ла от себя служанок твоих».

Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду; ибо если я сделаю это – смерть мне; а если не сделаю – то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом». И закричала Сусанна громким голосом, закричали также и оба старейшины против нее: а один, побежав, отворил двери сада.

Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, – выскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось. И когда старейшины сказали слова свои, то слуги чрезвычайно были пристыжены: никогда ничего такого о Сусанне говорено не было.

И было на другой день – когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они народу: «Пошлите за Сусанной, дочерью Хелкия, женой Иоакима», – и послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее.

Сусанна была очень нежна и красива лицом; и эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насъгиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали.

А оба старейшины, вставши посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее упало на Господа.

И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками, и затворила двери сада, и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с ней. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их соединенными, но не могли удержать его, так как он был сильнее нас, и, отворив дверь – выскочил. Но ее мы схватили и стали допрашивать: кто был этот юноша? Но она отказалась объявить нам. Об этом мы свидетельствуем».

И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, – и осудили ее на смерть.

Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий всё прежде бытия его! Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня».

И услышал Господь голос ее.

И когда она ведена была на смерть, возбудил Бог Святый Дух молодого юношу, по имени Даниила. И он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!»

Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?»

Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали».

И тотчас весь народ возвратился. Старейшины сказали ему: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство».

И сказал Даниил к народу: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они были отделены один от другого, призвал он одного из них и сказал ему: «Состаревшийся в злых днях! Ныне обнаружилась грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедны, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: “Невинного и правого не умерщвляй”. Итак, если ты ее видел – скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым».

Даниил сказал: «Точно солгал ты на свою голову; ибо вот Ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». И удалив его, он приказал привести другого старейшину и сказал ему: «Племя Ханана, а не Иуды! Красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами, но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне: под каким деревом ты застал их разговаривающими между собой?» Он ответил: «Под зеленым дубом».

Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на свою голову; ибо Ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас».

Тогда все собрание закричало громким голосом и благословило Бога, спасающего надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего, – по закону Моисееву*, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная.

Хелкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было на ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом – с того дня и потом» (Книга пророка Даниила, XIII).

И была радость в тот день; и радуемся мы, читая о том дне, – вот уже спустя 2½ тысячелетия. И чувство гнусности от наших дней сильнее объемлет душу при чтении святых строк.

Даже если бы прекрасная Сусанна умерла, даже если бы Бог не услышал «надеющуюся на Него» (однако мы веруем, что Он и всегда таковых слышит) – можно ли ее святую кончину, можно ли ужас ее родителей и мужа, гнев разъяренной против проступка толпы народной, весь этот всплеск бурно текущих и святых чувств сравнить с гнусной слизью, которую растирая между пальцами – мы ничего не слышим на ощупь, и поднеся к носу – замечаем, что она пахнет; и что, однако, при ближайшем поднесении к глазу, к удивлению нашему, кричит: «Я – человек, подайте мне человеческие права!» И наконец, когда Дюкрок отвечает матери погубленной им девушки: «Да... встречал на тротуарах», почему его не побить камнями? Когда он

* «Если свидетель ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умыслил сделать брату своему» (Второзаконие, XIX, 18—19).

же говорил: «Соглашаюсь, что это остроумно», почему его вторично не побить? Ведь он же, или акушер с ним вместе – «побили», и совершенно «невинную»? побили даже двух, потому что нельзя забывать о кафешантанной певице? Ведь «побиения» же совершаются на наших глазах, мы их уже допускаем, и допускаем не для охраны божеского или высокочеловеческого, а всего только для насыщения панталонной стороны своей природы?

Я не говорю о невинной, в сущности, девушке-ребенке; нет вины смертной на ней и по закону Ветхому*, как не осудил бы ее и Спаситель. Я говорю о Дюкроке, о всех подробностях, среди которых он действовал, о целом комплексе явлений и условий жизненных. Я говорю о цивилизации – чем она стала без веры и без законов иных над собой, чем отвечающие ее комфорту.

ХРИСТИАНСТВО ПАССИВНО ИЛИ АКТИВНО?

Мы не готовимся решать этого вопроса. Наша мысль скромнее и законнее; мы только обводим красной чертой этот вопрос, останавливаем на нем человеческое внимание и хотели бы, чтобы он въязвился в душу каждого и начал в ней мучительно саднить – но именно как вопрос. В грядущей дали веков, мы предвидим, он так же заволнует и соберет около себя христианское человечество, как в первые века его эры оно мучительно волновалось и собиралось около вопроса об «единосущии» или только «одинаковости» (т. е. по одним качествам) «Отца» и «Сына». Нерв, в нас живущий и нас питающий, – «двигательный ли»? или только «чувствующий»? Или, наконец, он даже и не «чувствующий», а лишь светящийся в нас и нас святящий? Что за мелодия, льющаяся в двутысячелетнем почти здании нашей цивилизации: зовет ли она нас? или только успокаивает? Странные вопросы; мы их не поднимали бы, если бы уже не видели окрест совершенно твердых, хотя и не обдумчивых их решений в одну сторону.

Вот одно из них. Пушкин умер; умер в окружении таких обстоятельств, измучивших душу поэта и огрязнивших его жизнь, что чувство скорби и гнева невольно волнуется около его памяти; мы думали – этот гнев в нас, эта скорбь естественны. Но вот проводится перед нами успокаивающая мысль, что, подобным же гневом и скорбью волнуясь, поэт, собственно, и «убил себя», «законно заслужил» свою смерть:

* «А отроковице (соблазненной) ничего не делать, на отроковице нет преступления смертного» (Второзаконие, XXII, 26). «Она пусть будет женой соблазнившего, потому что он опорочил ее: во всю жизнь свою он не может развестись с ней» (там же, стих 29). Замечательно, что мать Габриэли, без сомнения не зная ничего о Второзаконии, требовала, в сущности, его применения.

Жизнь его не враг отъял,
Он своею силой пал,
Жертва гибельного гнева...

– так над могилой поэта скандирует г. Вл. Соловьёв («Судьба Пушкина», «Вестн. Европы», сентябрь 1897 г.) и, успокоенный, предлагает и нам успокоиться. Но почему? и разве нет *святого* негодования? «Нет», – отвечает он; и развивает, как фундамент своего воззрения, идею пассивного христианства:

«В отеческих писаниях – кажется, в Лимонарии св. Софрония, патриарха Иерусалимского, – я читал такой рассказ. К знаменитому подвижнику пришел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. “Этой ночью, – сказал ему старец, – ступай на кладбище и до утра восхваляя погребенных там покойников, а потом приходи и скажи мне, как они примут твои хвалы”. На другой день монах возвращается с кладбища. “Исполнил я твое приказание, отче! Всю ночь громким голосом восхваляя я этих покойников, величал их святыми, преблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли; приписал им все добродетели, о коих только читал в священном писании и в эллинских книгах”. – “Ну, что же? Как выразили они тебе свое удовольствие?” – “Никак, отче: все время хранили молчание, ни единого слова я от них не услышал”. – “Это весьма удивительно, – сказал старец, – но вот что ты сделай: этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее; тут уж они, наверно, заговорят”. На следующий день монах опять возвратился с отчетом: “Всячески поносил я их и позорил, называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками; приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового заветов, от Каина-братоубийцы до Иуды-предателя, от Гивсонитов неистовых и до Анании и Сапфиры богообманщиков, укорял их во всех ересях, от Симоновой и Валентиновой до новоявленной монофелитской”. – “Ну, что же? Как же ты спасся от их гнева?” – “Никак, отче! Они всё время безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевелился”. – “Вот видишь, – сказал старец, – ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которая есть послушание; вершины же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы”» (там же, с. 142–143).

Мы поражены; но во всяком случае – мы остановлены. Подавляя под святоотеческой страницей гнев в себе, загоняя его внутрь, мы пробегаем раз, мы пробегаем два статью богослова и философа наших дней и видим, что, предложив нам «успокоиться» и «спокойный» сам, он не вовсе беззаботен. «Довлея днесь» и, кажется, «не печась на утре», в осторожной и обдуманной статье он, отвлекаясь от Лимонария, поновляет венки на могиле Писарева («ясный, последовательный и замечательный писатель», с. 145), пускает стрелу в г. Мережковского (с. 146), соглашается и с г. Спасовичем,

что Пушкин был, в сущности, пустой человек, и даже прибавляет, что он был лживый человек (с. 136–137 и 150); но не противоречит и гг. Энгельгардту, Буренину и Розанову, что как поэт, собственно, он, правда, был велик. «Довлеет дневи злоба его...» Наши дела хорошо закончены, «округленно» закончены; а поэт? Ну, что поэт:

Спящий в гробе – мирно спи;
Жизнью пользуйся – живущий.

Я хочу сказать, что идея пассивного христианства имеет одну мучительную в себе сторону: «успокаивая» нас, она наконец оледеняет нас; мы станем несколько похожи если не на «почивших» Лимонария св. Софрония, то на обыкновенную ледяную сосульку, и в таком виде не только говорим, думаем и чувствуем –

Спящий в гробе – мирно спи,

но и живых принимая как бы за «спящих в гробе», «не печемся» о них и даже как-то их не совестимся. Чудовищный эгоизм, неслыханный холод отношений... да оглянемся же: всё это – вокруг нас, это и есть зрелище обледенелой, в сущности, христианской цивилизации, где есть все в добродетели, но все – номинально; и если мы подумаем: да почему? – то источник этого и откроем именно в этом безнравном понимании христианства.

Безнравное христианство... Да, но тайна, глубокая и великая, состоит в том, что основания для него имеются. Мы перебежим от статьи о Пушкине, принадлежавшей перу зыбкому и колеблющемуся, к писателю твердому и глубокомысленному, хотя он не был ни «философом», ни «богословом». Это – Лесков; вот взгляд его, уже очевидно высказанный не под дуновением религиозно-поэтической «минутки», но сложившийся годами и, может быть, десятилетиями. Он высказан в прекрасном его рассказе «На краю света», в виде беседы одного старого архиерея о сравнительных достоинствах живописного изображения Спасителя на Западе и у нас. Высокоопытный епископ, в ряде тонких сопоставлений, имеет в виду приблизиться к идеалу понимания Лика; но мы чувствуем, что тут есть и больше: усилие уловить незамутившуюся истину самого христианства. Идет не «спор» – этот термин отверг епископ, а «беседа»; и мы приведем весь диалог, с подаваемыми старцу репликами.

«Епископ взял со стола большой, богато украшенный резьбой из слоновой кости альбом и, раскрыв его, сказал:

– Вот наш Господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений Его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской, – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо, и момент.

– Да, мне тоже кажется, владыко, что это сделано с пониманием, – отвечал собеседник.

– Однако, нет ли здесь в Божественном лице излишней мягкости? Не кажется вам, что Ему уж слишком всё равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж ей не муж?

Все присутствующие молчали; архиерей это заметил и продолжал:
– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнейю.

– Вы правы, может быть, владыко.

– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, преимущественно у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует Иуда. Как кажется вам здесь Господен лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение.

– Прекрасный лик!

– Однако, не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

– Конечно, это есть, владыко.

– О, да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб, и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого... только, впрочем, не у Христа, Который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; Он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос и тоже кисть великая писала – Тициан. Перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка: какой лукавый старец, но Христос... Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на Его лице?

– Оно и быть могло, владыко!

– Могло, не спору: старец – гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю Господа и думаю, что это неудобно. Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к Нему молитвы.

– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же? ...момент дипломатический. Но пойдёмте далее: вот тут уже, с этих мест, у меня начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот Он, еще... какой страдалец... какой ужасный вид придал Ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он Его так избил, иссек и искровянил?.. Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки... весь дух, кажется, из Него выбит, и на одно страдающее тело уже смотреть даже страшно. Перевернем скорей, Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон, может быть, и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе Его себе и нам представил: фигура стройная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на руке Его пылает сердце, обвитое тернового лозою. Это «Sacré coeur»*, что отцы-иезуиты пропове-

* «Святое сердце» (фр.).

дуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами-иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте – в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: «ишет Христа». Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится из этой тьмы; за ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, – ничего этого нет: а только тьма... тьма фантазии. Эта дама – пошли ей Бог здоровья – первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном (оппонент архиерея), что иностранные проповедники у нас не одним жидам Его покажут, а всем, кому хочется, чтобы Он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только Он ли туда придет? Не пришел бы под Его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому, канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном равнине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать... И вот вам, сколько пониманий и представлений о Том, Кто один всем нам на потребу! Закроем теперь всё это и обернитесь к углу, к которому стоите спиной: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо – а лик. Типическое русской изображение Господа: взгляд прям и прост; темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? – это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат Он, правда, но при всём том Ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех *понял* – Кого ему надо было написать. Мужиковат Он, повторяю вам, и в зимний сад Его не позовут послушать канареек, да что беда! – где Он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашел Он в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать, Ему это нравится – принимать с нами поношения от тех, кто пьет кровь Его и ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, – и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты Его характера» («На краю света», гл. I; «Сочинения» Лескова, т. I, изд. 1889 г., с. 682–686).

Вот мысль, в сущности, та же, которая содержится и в приведенной у г. Вл. Соловьёва выдержке, но только глубже и утонченнее развитая, и главное – идущая к самому источнику. Некоторый вид богомыслия положен в основу там и здесь. «Есть выражение, но нет страстей» – вот центр всего рассуждения; «мастер понял, Кого ему надо написать»; «Ему подобает поклонение», т. е. тогда как там, в европейском искусстве, мы имеем картины – здесь, под кистью русского мастера, возник образ поклоняемый. Это – цельный взгляд, цельная философия; и она так мало еще канонизирована, что, сохраняя всю скромность, мы можем подойти к ней с критикой.

«Нет страстей», и из очень внимательно построенной диалектики видно, что нет – по выраженному и защищаемому представлению – самых корней этих страстей, нет их, как подавленного, побежденного, как предмета борьбы и, наконец, преодоления. Но тогда в чем же и как было выражено в Спасителе «человеческое», о коем вселенские соборы уже отвергли предположение, что оно было «поглощено Божеством», – мнение, которое мы находим, в сущности, у Лескова и к которому склонявшиеся в древности были признаны «еретиками»? «Черты суть слегка означены» – вот многозначительное выражение, т. е. они дают как бы рамку человека – сосуд, за внешним краем коего сейчас же начинается и до глубины идет божество. Но что же тогда есть от человека? цвет щек и кожи, и она сама тонкой пленкой. «Человеческое» не только поглощено, но оно, при таком взгляде, и искоренено – а на такую мысль мы не смеем решиться. Очевидно, – и на это прямо указывает вселенское понимание – в Спасителе были в слиянии как Божество, так и человечество, не в предикатах только своих, но и в самом существе. Спаситель был не только «всемогуш» и «всеведуш», но он был Бог; так точно и человек присутствовал в нем не как портретный очерк, но и глубже, т. е. именно как сплетение страстей или, по крайней мере, их корни. Изгнание торгующих из храма не вовсе исключало гнев; и у Матфея, против книжников и фарисеев, мы читаем и отвращение, и негодование: «Горе вам, украшающие гробницы пророков...» Вообще, у четырех евангелистов мы усматриваем в образе Спасителя полный очерк всего круга человеческих страстей, но их слияние с Божеством сказалось в их мере: они везде взяты в такой гармонии, что ни на одно сердце человеческое не произвели бы того отталкивающего впечатления, как его произвели все человеческие попытки выразить в искусстве Его лицо, так справедливо отторгнутые архиереем и Лесковым. Не правы художники те; не прав, однако, и Лесков, Христос неизобразим, неподсильен человеку; это – тайна, и, вероятно, это – сущность Его божества. Но попытки передать Его «с выражением, но без страстей» глубочайшим образом неправильны, и «штрихи едва намечены» – это показывает бегство от задачи, а не ее выполнение. «Бога никто же нигде же видел»; Его видели те, между коими он ходил 33 года, но нам никакой силы и никакого дара Его представления и уразумения во внешних чертах не дано. Это замечательно, но и бесспорно: на картинах, где есть фигура Христа, – собственно, есть под картинами Его подпись, т. е.

подпись об Его имени, но на картинах нет Христа, и потому без сомнения, что Он непредставим, неизобразим. Темные старинные лики Христа нам более нравятся потому, что они неясны, что мы не можем тут ничего определенного разглядеть; есть место, к которому мы относим мысль свою, и нет определенных линий, которые обозначали бы Того, Кто необозначим. Почерневшее от времени художество, как и «едва намеченные штрихи», лучше потому, что они приближаются к отсутствию штрихов, к отказу художества от несоответственной ему задачи: «как бы нет вовсе картины» – и вот уже начало «образа», куда мы можем отнести молитву. Но здесь мы оставляем художество и обратимся к художнику, т. е. мы обратимся к самому человеку, который глубоко подчиняется наполняющим его образам и в зависимости от того, как представляет себе Бога, – формируется сам.

Пробегая очерк Лескова и – еще лучше – переписывая его, мы ясно видим, до чего страсть волнуется под ним. Представление Христа, и притом «без страстей», наполняет мысль архиерея и, конечно, за ним стоящего Лескова, но удивительно – очерк, приведенный нами, груб и до известной степени изуродован этими царапающими строчками, в которых отмечены и задеты все почти общественные положения: и «дипломат», и «важный саванник», «князь» и «княгиня», и чуть ли даже не «канарейки» и «бананы». Отсутствие того, что мы выражаем несколько расплывающимся и в этой именно расплывчатости верным термином «благодать», – поражает нас здесь:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Это – удивительно: игра чувств, аналогичная «заботам» г. Вл. Соловьёва. И здесь, как там, она вытекла около представления, по существу, казалось бы, исключаяющего всякие земные заботы и «мятежность духа». Таинственным, каким-то внутренним преломлением принцип «не печитесь» отразился в обоих случаях, и отражается всегда, бездной земного «попечения», но в искаженной и загрязненной форме. Откуда это? как возможно? где угол преломляющий?

Да именно – в этом пассивном идеале и в представлении Христа («с выражением»), но без зачатков «страстей». Горячими желаниями, «молитвою», страстным вожделением мы закопались в могилу и лежим около «покойников» Лимонария; «бесстрастно» лежим, по другой версии «богомыслия». С этим можно было бы помириться; но полная действительность состоит в том, что мы остаемся в то же время и на земле, под светом дня, но уже здесь остаемся вовсе без «молитвы» – для величайших глубин греха, в самых смрадных его формах. «Небо» для нас – там, на кладбище; здесь – только «земля», и уже не освещаемая нисколько «небом», без «молитвы» пронизывающей нас в ежедневном дыхании, сопутствующей каждому мигу труда и ежесекундных наших вожделений. Здесь – «nefas», «нечисть», – и именно в полноту того, как всякое «fas», всякая «святость» нами отнесены туда – в небо «бесстрастного» лежания около «упокойников». Таким обра-

зом, крайний спиритуализм в понимании христианства, поглощение в Христе «человека» «Божеством» – от которого предостерегали нас вселенские соборы – отразились полной материализацией христианства, ежесекундных и повсеместных всплесков христианского моря.

Отсюда текут его антиномии; «антиномиями» Кант назвал коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума, и есть такие же «противоречия» в нашей цивилизации. Остановимся на некоторых. Евангелие есть книга бесплотных отношений – целомудрия, возведенного к абсолюту; и между тем цивилизация, казалось бы, на нем основанная, есть первая в истории, где проституция регистрируется, регламентируется и имеет свое законодательство, как есть законодательство фабричное. «Истинно говорю вам – верблюду легче войти в игольные уши, чем богатому в царство небесное», – и вот мы видим, что именно «стяжелолюбивый юноша» есть господствующий в нашей жизни тип. «Богатый и Лазарь» – такая вековечная притча; но где еще была более роскошная, более блистательная, «блистающая в одеждах» и всяческой «неге» цивилизация, как наша? Поразительно, что всё течет обратно: не то чтобы по разным путям расходится – «слово» правее и «дело» немножечко влево; нет – они диаметрально кидаются навстречу друг другу. «Царство не от мира сего» ...но было ли «царство» когда-нибудь более от «сего мира», столь поразительно светское, щеголеватое, до последности своих недр суетное и объективное, без всякой в себе тайны, без трогательности и нежного? «Не печитесь на утро, утренний бо собою печется» – и нет, не было еще мира, который тревогу свою простирал бы так далеко, как наш: мы боимся и кометы, которая как бы не разбила землю, и пересыхания вод на нашем шаре, и исчезновения на нем воздуха, и охлаждения солнца, и падения земли на солнце – космического «пожара». Трусость и «попечение», которые решительно не имеют себе примеров в истории. «Религия любви и милосердия...» Странник в Аравии или в Тибете, подходя к шалашу бедуина или к войлочной кибитке татарина, находит не только кров себе; ему не только «омоют ноги» холодной водой, которая облегчит прилив к ним крови (какая предусмотрительная и утонченная заботливость!), но за его жизнь и безопасность, если даже он вошел в палатку кровного врага, этим врагом будет положена жизнь. Главное – это обычай, т. е. везде, для всякого, не обегая ни одной палатки. Пусть «кровный враг» зарежет нас сейчас, как только вы выйдете из-под его крова. Да, потом зарежет – Восток не претендует, как Запад, на «прощение» всяческих «обид»: он мстит, волнуется, негодует и не знает ни нашего «неделания», ни нашего «несопротивления злу». Но пока вы в палатке врага – вы не в дремучем лесу, не в берлоге зверя, вы где-то в священном убежище, над вами ясно простерт религиозный закон, не переступаемый ни для какой ярости, ни для какого омрачения рассудка. Теперь возьмите наш западный мир: куда вы пойдете, в какой дом осмелитесь войти, где на вас не посмотрели бы с величайшим удивлением и с некоторым безмолвным «мы не от мира сего» не затворили бы перед вами дверь? «Взгляните на лилии полевые: и Соло-

мон в красоте одежд не был украшен лучше их»; «птицы не сеют, не жнут – и Отец Небесный питает их», – это вы слышите в утешение, когда в величайшей нужде, в безысходном горе, полный растерянности обращаете речь к «брату»; и как часто – о, почти всегда! – этот словесный «хлеб» есть единственный, который вы получаете в питание. Погибнуть на площади, т. е. перед людными домами, замерзнуть на улице, быть растленной ради рубля, который даст ужин, – о, ведь это наша история, это хроника наших газет, отдел «мелких» и самых любопытных в них «известий». «Мелких известий» – как характерно это название! жизнь человека для нас «мелка», она привычно мелка, она «мелка» для всех, и газеты только выражают мнение всех, последуют суждению всех, когда набирают эти известия мельчайшим шрифтом, позади телеграмм о том, что корабль, везущий Фора, уже доехал до Антверпена. Филантропия подбирает замерзающих и растлеваемых: да, это характерно – выделился общественный институт, почти государственное министерство, чтобы исполнить то, чего около себя, вокруг себя никто исполнить не хочет. Зажегся очаг милосердия, как в морозы зажигаются костры на улицах... ну, да потому и зажегся, что атмосфера пронизана холодом, и, в сущности, каждый по-разному есть полузамерзающий.

Вот эти «антиномии». Не забывая, прервем их и возвратимся к частному факту, который пробудил в нас эти общие мысли.

Г. Вл. Соловьёв существенно неправильно понял христианство, оценив «Судьбу Пушкина». Он осудил поэта за активность, и так строго, что даже присудил к смерти. Он задаётся вопросом, что стал бы делать поэт, если бы тяжело ранил и даже убил так измучившего его, так оскорбившего и, наконец, так неотвязчивого Геккерна. Он серьезно думает, что «с горя» Пушкин пошел бы на Афон, постригся бы в монахи (с. 155). Человека гонят, травят в обществе, и когда, загнанный домой, он оборачивается у порога – он видит, что преследователи не шадят и его крова и следуют за ним по пятам. «Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup!»* – тут весь Пушкин в простоте и правде своего гнева. «Что стал бы делать он, убивши?» – то, что и солдат, в сражении честно защищавший свое отечество, или что делал гр. Л. Толстой, бывший на севастопольских бастионах, и, верно, не праздно там бывший. И Пушкин защищал ближайшее отечество свое – свой кров, свою семью, жену свою; всё это защищал в «чести», как и воин отстаивает не всегда существование, но часто только «честь», доброе имя, правую гордость своего отечества. Нисколько и ни в чем всё это не противоречит активному христианству и тем «корням» страстей, которых бытие в Богочеловеке утверждали соборы, и так напрасно в них усомнился Лесков, сомневается г. Вл. Соловьёв.

Еще два слова о занимающей нас статье: г. Вл. Соловьёв собирает документы лживости Пушкина и везде ошибается в психологическом их ана-

* «Подождите, у меня достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел!» (фр.).

лизе. Как Пушкин мог, спрашивает он, почти в одно время написать о том же лице и известное стихотворение: «Я помню чудное мгновенье» – и назвать это лицо в частном письме – «наша вавилонская блудница, Анна Петровна» (с. 137). Друг или «приятель» Достоевского и, вероятно, знаток его сочинений, г. Вл. Соловьёв мог бы быть пронизательнее в отношении именно этих тем. Красота телесная есть страшная и могущественная, и не только физическая, но и духовная вещь; и каково бы ни было содержимое «сосуда» – он значащ и в себе, *в себе* духовен и может пробудить духовное же – напр., данное стихотворение, которое вовсе не будет «предъявлением заведомо ложных сведений», как это показалось не очень пронизательному «философу». Второе обвинение: приняв вызов Геккерна, поэт нарушил слово императору, которому обещал довести до его сведения, если вызов последует. Но это понятно, и психологически это опять невольно: ведь император именно не допустил бы дуэли и измученный поэт, жену коего позорили, и глубину, боль, язву этого позора только он один в настоящей силе чувствовал, был бы лишен единственного оставшегося у него средства прекратить эту боль. «Attendez, je veux tirer mon coup!»** – и только, и опять никакой лжи. И как было не войти в мир той взволнованности, того смятения чувств, которое пережил поэт; того необыкновенно сложного круга воспоминаний, взгляда на себя и свою историческую миссию, оторвав от которой его вдруг и неудержимо погнала до порога дома, до спальни жены стая ужасных гончих; лев обернулся... и всё-таки был затравлен. Но уже раненный насмерть, однако же еще дыша, творец «Моцарта и Сальери» и этих слов:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет; тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни –
Все предались бы вольному искусству!
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду, засну...

– приподнялся и, с гневными словами секундантам отойти в сторону, «недрожащей рукой выстрелил в противника и слегка его ранил». Да, так вот вопрос: зачем он выстрелил, а не читал молитву? «Это крайнее душевное напряжение и сломило окончательно силы Пушкина и решило его земную участь» («судьбу» его), им «он и убит, а не пулей Геккерна» («Судьба Пушкина», с. 151).

* «Подождите, я хочу сделать свой выстрел!» (фр.).

Ты заснешь
Надолго, Моцарт!.. Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство –
Две вещи несовместные...

Так в «райской песне» этого таинственного своего «реквиема», поэт пророчески предугадал и объяснил, во всех ее подробностях, истинную, а не выдуманную «судьбу Пушкина»:

Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же!..

Страшны эти слова о «бескрылом желанье», и они страшны не для одной той минуты, когда были сказаны, как и весь этот Requiem в психологической части своей есть вековечное создание.

«Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешней случайностью, от него не зависевшей, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывал его христианскую кончину, обращаясь назад к истории дуэли, замечает: «Ему нужен был кровавый исход». Мы не можем говорить о тайных состояниях его души, но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника!» (с. 153).

– «Так улетай же!..»

КРОТКИЙ ДЕМОНИЗМ

Нежным, бледно-розовым задачам «Книжеч Недели» удивительно отвечает г. Меньшиков, писатель юной мысли и юного языка, а главное – который никогда не обещает состариться. Это – писатель-мелодист; не богата и проста его мелодия:

Чижик, чижики, где ты был? –

но она льется, не утомляя и убаюкивая слух читателя, из страницы в страницу, из книжки в книжку журнала, переливается с одной темы на другую, и,

кажется, сгинь все сотрудники «Книжек Недели», г. Меньшиков без всякого напряжения ума и утомления слова мог бы заместить их всех. Если вы не подвержены чувству умственной скуки, вы никогда не устанете его читать; равно как, если в вас есть этот скверный червяк, вы никогда его читать не начнете. Он мелодист, я сказал, и действительно, раз он наклонился над пустым листом писчей бумаги, уже какая-то волшебная музыка, наигрывающая в голове, готова принять и нанизать какие угодно слова на мотивы этой музыки. Я уверен, что труд писания ему ничего не стоит, и, как для настоящих поэтов, он есть для него наслаждение. Скверный червяк умственной скуки открывает только один недостаток в его писаниях: именно – в них нет мысли, т. е. мысли растущей, развивающейся, движущейся; как и нет, собственно, мысли доказанной, и мы убеждены – очень дорогой, «возлюбленной». Счастливая авторская способность, и в наши практические времена – дар неба, совершенно равняющийся чудесной Аладиновой лампе, которая всё добывала своему маленькому и, казалось бы, немудрому обладателю. Г. Меньшиков идет к «Книжкам Недели», как флердоранж к улыбающемуся лицу 16-летней девушки, спешащей в церковь, спешащей об руку с возлюбленным...

Се, жених грядет в полунощи...

Но словом «жених» мы, вероятно, ужасно раздражаем г. Меньшикова: он против «брака», против «любви» и всех этих «плотских» ужасов – совершенно 16-летняя девушка, но на степени опытности 11-летней. В сентябрьской, октябрьской и ноябрьской «Книжках Недели» за 1897 год он разбирает факт так называемой плотской любви, и как мы внимательно ни читали эти статьи, заглушая всякого в себе «червяка», мы не открыли ни одного мотива в них, кроме этого: «Любовь есть грех». Конечно, г. Меньшиков не пишет «грех», ибо это напоминало бы семинарию, но он пишет «пошлость», склоняет во всех падежах «пошлость», – и вся статья его есть музыкальный речитатив на известные и первично в «Крейцеровой сонате» сказанные слова Позднышева. Совершенно непостижимо, зачем изобретен он г. Меньшиковым после «Крейцеровой сонаты», решительно ни одним изгибом мысли ее не дополняя и даже не излагая ее явных и особенно скрытых мотивов, но беря из нее одну строчку и на мотив этой строчки, вот уже три месяца –

Чижик, чижик, где ты был...

«Крейцера соната» есть мучительное и мрачное, хотя, как мы убеждены, совершенно ложное явление; это – кроткий демонизм, демонизм «братчиков» и «сестричек», из-за которого так и слышится ария г. Яковлева в опере Рубинштейна, на известные слова Лермонтова, открывающая эту оперу:

Проклятый мир...

Презренный мир...

Поэзия поблекших цветов, померкшей весны, заслоненного солнца; слепое вырывание из цветов их благоуханных «пестиков» и «тычинок», и, в последнем анализе, – слепое вырывание из мира его всеоживляющего, всерасцветивающего нерва. Конечно – это ария демона, хотя бы и прикрывшегося самыми кроткими словами; ибо сущность демонизма есть сущность отрицания; «дух небытия и отрицания, страшный и умный дух пустыни говорил мне», как проникновенно определил его Достоевский в «Братьях Карамазовых» (Легенда об инквизиторе). В чем же это «отрицание», это «небытие» столь полно и столь коренным образом выражается, как не в идее бескровных «братчиков» и «сестричек», этой особенной «святости» поблекших щек и увядших мускулов, – идее мира, но с вырванным из него хребтом, потухшим взором, необозримой словесной любовью и без любви реальной, радостной и свободной? В легендах о многих святых передается один и тот же рассказ, как к разным

Отцам пустынникам и женам непорочным

демон являлся, но не в привычном и отталкивающем или грозном своем виде, но в «ангельском» или «божеском», так что слабейших из них и соблазнял себе поклониться. Бог же есть Бог благословляющий, и мы опять спрашиваем: в чем еще сущность благословения могла бы быть выражена так полно и коренным образом, как не в благословении этому тонкому и нежному аромату, которым благоухает мир «Божий», «сад» Божий, этому нектару цветов его, «тычинок» и «пестиков», откуда, если рассмотреть внимательно, течет всякая поэзия, растет гений, теллится молитва, и, наконец, из вечности и в вечность льется бытие мира? Но мы заговорили серьезно, как соответствовало бы «умному духу пустыни», духу «небытия», заговорившему в «Крейцеровой сонате», и вовсе не соответствует «элементам романа», которые пишет г. Меньшиков в «Книжках Недели». Итак, оставляя серьезность, мы предпочитаем шутить о любви; кстати, она льется и обычно среди веселья и шуток:

Нежны стопы у нее; не касается ими

Праха земного; она по главам человеческим ходит –

так определил ее Гомер, а Платон заметил у него этот стих и привел в своем «Пире», этом глубокомысленном и до известной степени страшном рассуждении о чувственной любви. Но г. Меньшиков – музыкант; он, например, заметил у «Платона разделение любви на «земную» и «небесную» – «Афродиту земную» и «Афродиту небесную» и, закрыв глаза на то, что написал об этом Платон, – под заглавием «О любви святой», написал о любви монастырских «старцев» и старых филантропических барынь, утверждая (см. конец октябрьской статьи), что так именно и учил Платон. Между тем, как совершенно ясно можно читать на соответствующих страницах «Пира», Платон называл любовью «земной» любовь к другому полу, а «небесной» любовью называет вовсе не филантропическую, но чувственную любовь и

только к одинаковому с собою полу. Он называет при этом и цитирует поэтессу Сафо, и вообще это так бесспорно, что в этом невозможно сомневаться. Это составляет ту сторону знаменитого диалога, которую мы назвали страшной, и о ней можно десятилетия размышлять, ничего не понимая. Но, раз пишешь статью, избрал тему, к которой никто не нудил, — нужно писать о том, что есть действительно, и, цитируя авторов, нужно брать, видеть и понимать то, что они говорят, а не приписывать им свои, хотя бы и очень «музыкальные» мысли. Не менее своевольно автор обращается с Библией: она, от первой главы «Бытия», и далее в «Исходе», «Второзаконии», наконец, у пророков и в многострадальной «Книге Иова», льется благословениями святой, но опять именно чувственной, рождающей «в роды и роды» любви. Никакой тени в Библии нет бесплотной, филантропической и, в последнем анализе, притворной словесной любви. Да, Библия есть книга факта и тех твердынь, на коих тысячелетия держится факт всемирного бытия. Но что до этого за дело г. Меньшикову: он Библии не читал, в частности не читал чувственных образов и сравнений у Иезекиля, и пишет:

Чижик, чижик...—

т. е. не это, а следующую прямую и беззастенчивую ложь: «Древние пророки и вероучители едва достаивали половую любовь своего презрения; они не останавливались даже на анализе этой страсти, не отличая ее от порока» (с. 191). «Выяснениями», правда, Библия не занимается, но она ими не занимается и относительно всяких других тем: это не философская, не размышляющая, но именно благословляющая и проклинающая книга, «отделяющая свет от тьмы», почему для всех народов она и сделалась «священной». Ну, вот там есть книга «Руфь» — одно из благоуханнейших созданий семитического гения. Свекровь говорит невестке после смерти своего сына, а ее мужа, т. е. настоящего мужа, а не братчика: «Он умер, а я бедна — вернись же в свою землю и к своему племени. Я стара и уже не могу родить тебе еще мужа», — наивно поясняет она. Но та отвечает: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я с тобой; твой народ будет моим народом, и земля твоя будет моей землей». Вот степень привязанности, которой не знают филантропы; но, однако, к кому же привязанности — к свекрови-старухе? Конечно, нет, но к памяти мужа, и по ней — к этой ненужной старухе, его матери. Любовь, именно чувственная любовь, несмотря на ее грозные и разрушительные иногда явления, драгоценна, велика и загадочна тем, что она пронизывает все человечество какими-то жгучими лучами, но одновременно и нитями такой прочности, которые «в огне не горят, в воде не тонут». Без этой «любви» человечество рассыпалось бы ненужным и холодным мусором, да и рассыпается по грозному обетованию Спасителя: «И в конце времен охладет любовь». Г. Меньшиков не наблюдал, по-видимому, или, точнее, занимаясь своей словесной музыкой и освещая тесный уголок своей редакции драгоценной «Аладиновой лампой», не заметил, что мутные и грязные явления любви, каких, например, множество мы читаем в

«Bel ami» Мопассана,— все развиваются именно на почве «хладеющей» любви, не жгущей более и потому именно манящей к грязному и «холодному», как инстинктивно верно определило его человечество, «разврату». Кто же не знает, что старик всегда развратен более, чем юноша. И уже г. Меньшиков не спорит, что он и «холоднее», чувственно холоднее юноши. Вот наблюдение, которое могло бы дать начало множеству размышлений: «Bel ami», например, решительно не в силах любить долее двух недель; он идет из-под венца с молоденькой шестнадцатилетней девушкой и уже думает о другой женщине — истинное проклятие, которым некогда Давид проклял потомство Иоава. Но как горячо любит этого отвратительного юношу-старика его невеста, которая ради него в шестнадцать лет оставила отца и мать свою. О, эта не будет думать о другом возлюбленном и не изменит всю жизнь, по крайней мере так скоро не изменит. В нашу пору и в условиях нашей жизни, слава Богу, девушки хранят еще целомудрие; и вопреки тысячи клевет на них, всё-таки очевидно, что из них выходят более верные жены, чем из наших преждевременно погасающих, «холодеющих» юношей — верные мужья. Таким образом, целомудрие, т. е. сосредоточенная, нерастерянная чувственность, есть условие великой прочности семьи, долгого горения в ней очага Весты, семейной верности, теплоты. И именно в этих великих зидительных целях она хранится, а не для нелепого «сидения в старцах» и не для занятий филантропией. Да, этот жгучий и таинственный огонек неистощимых, и задача сохранить его, т. е. сохранить как драгоценность, а вовсе не как «пошлость», которую непонятно для чего было бы и хранить в себе,— есть великая задача религиозного и социального строительства. Рассуждения г. Меньшикова о «пошлости» и «ненужности» любви разбивают последние крохи, которыми еще питается и согревается человечество,— конечно, если бы эти рассуждения имели какую-нибудь силу. Но как ходячий взгляд, и особенно в помощь могущественной «Крейцеровой сонате», как ее иногда понимают,— они могут принести свою долю вреда, отводя внимание, уважение и религиозное отношение к тому, что именно требует такого отношения к себе. Но мы заговорили о Библии и отвлеклись от нее. Там, кроме книги «Руфь», есть «Книга Товии, сына Товита». Это — истинный апофеоз плотской, но понятной целомудренно и религиозно любви. Едва спутник этого благородного юноши сказал, что вот «мы подходим к дому, где есть девушка — и она предназначена тебе в жены, и будут у тебя от нее дети», как уже по одному имени и известно «Товия полюбил ее, и душа его крепко привязалась к ней». Здесь мы имеем то же, что и у Руфи: там любовь, не угасающая по воспоминанию, здесь любовь, вспыхивающая по ожиданию. Утренняя и вечерняя заря, но именно плотского чувства. Заметим, что Товия еще не видел лица невесты, и он «полюбил и привязался» к чисто женственному ее началу и, очевидно, чисто мужским началом в себе, без примеси эстетических и этических элементов. Но будем следить дальше. Придя в дом Рагуила, он так нетерпелив, что отказывается есть и пить, пока не будет сделан брачный договор. И вот ночь, и они одни. «Товия встал с постели и сказал:

«Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал Тovia говорить: «Благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое. Ты сотворил Адама и дал ему помощницей Еву, подпорой – жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: не хорошо быть человеку одному: сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но по истине: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с ней». И она сказала с ним: «Аминь».

Конечно, слово «сестра» сейчас же увлечет г. Меньшикова, как и «небесная Афродита» Платона. Но Една, мать Сарры, говорит на брачном пире сыну и зятю: «Возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сарры, дочери моей. И вот я отдаю тебе дочь на сохранение: не огорчай ее».

Вы живо чувствуете, что все пошлости «братчиков» и «сестричек» есть истинно «хладный разврат» мысли перед этой любовью, чувственной и плотской. «В роды и роды» любовью, но под углом святого созерцания, на нее брошенного. В этом созерцании всё и дело. Оно в том, чтобы не почувствовать миг и миги «любви» как наконец-то «разрешенный грех», до которого «дорвался»; не взглянуть на эти таинственные «миги» как на бессодержательное и почему-то приятное удовольствие (наша «хладная» точка зрения); напротив, их нужно понять как радостный долг и вместе невыразимое счастье бытия, исполненное таинственного содержания и религиозной высоты. Вот совершенно новая точка зрения, но именно на то, на те самые подробности, на которые «грозно» ополчается г. Меньшиков. Тут в нерве бытия человеческого, в сладком «нектаре» бытия, в сущности, колеблется ось мира, и то, что мы сегодня называем враждебным «севером», – можем завтра назвать благодатным «югом». «Грех» – в грешном нашем созерцании; «грязь» – в той «грязи» мысли, с которой мы сюда подходим («Элементы романа» г. Меньшикова): факт один, и как только мы вольем положительное содержание в него вместо отрицательного, мало-помалу изменится наша мысль, а наконец, изменится и самочувствие наше в «факте». Неудержимая радость, благословение «в роды и роды» польется из нас, вместо –

Презренный мир...

Проклятый мир...

Вот где истинное «узаконение» брака, коему церковь только последовала, но не создала его и которое субъективно каждый из нас носит в себе. И как часто – о, почти всегда! – глубоким непониманием «таинства сего великого» мы самый брак преобразуем в «узаконенный» разврат. Брак – и «законный» – есть в нас, в нашем созерцании: или «по молитве», или «разрешенный грех». Библия, Евангелие взяли естественный, в природе и от Бога существующий процесс – «того ради оставить отца и мать», – ту сильную, непреодолимую и уже, конечно, не риторическую и не филантропи-

ческую, но именно чувственную, однако со всем окружением поэзии, любовь – «огонек» любви. И взяв, – в словах: «тайна сия велика есть», объяснили ее смысл. Наша же ошибка состояла в том, что мы взяли словесную формулу и, не догадываясь, что вовсе не в ней «таинство», – стали вносить внутрь этой формулы все виды «хладного разврата», предполагая, что она их «узаконяет». Но «не жертвенник святит, а жертва». Понятно, однако, что, смешав слово с делом, объяснение с объясняемым, мы перестали «домаливаться» до брака, возрастая и развиваться в «сию великую тайну» – к ее религиозной высоте мы не теплимся более, как Товия. И факт любви нас покидает, а ее мысль ускользает от наших умов.

СЕМЯ И ЖИЗНЬ

Наружно погружаясь в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту...

Лермонтов

Существует в географической литературе легенда о том, как произошли кофейные плантации в Новом Свете: вскоре после его открытия один матрос нашел в кармане своей куртки завалившееся зерно и, вместо того чтобы его бросить как ненужное, посадил в землю. От дерева, выросшего из зерна, и произошли все прочие в Америке. Можно представить в положении этого матроса рассеянного ученого, как Паганель в «Детях капитана Гранта», который ежедневно пил кофе, но мог не заметить, как и из каких зернышек оно смальвается; можно предположить, наконец, менее известное и даже вовсе неизвестное зерно. Во всяком случае, чтобы познать его природу – блага она или зла *ab origine et in se*, «в себе и искони», – нужно повторить поступок благоразумного матроса. То, что от семени поднимается, особенно в начальную пору своего существования, пока еще ветер и стихии не наложили на поднявшееся своей затемняющей печати, – выяснить истинную природу семени. Все предикаты «деревца» суть предикаты неизвестного «зернышка».

Способ познания, на который нет апелляции. Он невольно представляется уму как самый простой и естественный при прислушивании к странному спору, который, здесь и там завязываясь, как-то не хочет замолкнуть в нашей литературе. Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины – да извинят нам термины, уже всюду начавшие повторяться. Это – «низменный инстинкт», определяет его г. Вл. Соловьёв в статье «Судьба Пушкина» («Вестн. Евр.», сентябрь 1897 г.); «животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами», определяет г. Меньшиков («Элементы романа», в «Книжках Недели» за сентябрь – октябрь, 1897 г.); «преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной», как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в «Крейцеровой

сонате». В защиту его робкие голоса поднимают г. Евг. Марков в «Нов. вр.» («В защиту молодости») и наш известный ученый Б. Н. Чичерин в статье «О началах этики», напечатанной в «Вопросах философии и психологии».

Последний возражает на учение о стыде как источнике нравственного в человеке чувства, которое развил г. Вл. Соловьёв в его «Оправдании добра». «Постыдна отдача себя половому влечению»,— говорит знаменитый наш философ («Оправд. добра», стр. 54); возражая на возражение г. Чичерина, он говорит еще, что этот «безнравственный инстинкт» («Вопр. филос. и психол.», с. 675) в своих могучих порывах если и содержит какое-нибудь положительное, благое начало, то лишь как косвенное средство для человека выявить «воздержание, нравственную победу: при отсутствии таких порывов целомудрие было бы пустым словом» (с. 676). Итак, это — черная тень, нужная, чтобы сиял свет воздержания. Возражение г. Чичерина, правда, не очень глубокомысленное, состоит в следующем: «Мужчины, можно сказать, почти без исключения, кроме разве некоторых изуверов, не стыдятся избытка материальной силы, а стыдятся ее недостатка. Не победы, а неудачи составляют предмет стыда. Лишение способности считается для мужчины позором. Хорошо или дурно такое воззрение — это другой вопрос; мы имеем здесь дело с фактом, и факты показывают, что человек вовсе не стыдится быть животным, а, напротив, этим гордится. Аскеты, с точки зрения отвлеченных нравственных начал, могут говорить, что им угодно, психологический факт остается непоколебим» («Вопр. философии и психологии», кн. 39, с. 596).

И вот, читая всё это — и эти защиты в фривольных и грубых словах, и потоки грязнящих порицаний,— хочется плакать. Г-н Е. Марков правильно потянулся обнаружить то «милое и благое, скромное и прекрасное», что есть в этой любви; он же отметил тонко, что именно телесное, чувственное влечение лежит в основе этого благого. Но он не доканчивает, и одушевленная аргументация его не достигает дна вопроса, не затрагивает скрытого зерна спора. Есть загадочный стих в «Фаусте» Гёте:

Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt,
Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt. —

т. е. «кто дерзнет назвать дитя его настоящим именем? Немногие, знавшие об этом что-нибудь, которые не остереглись безумно раскрыть перед чернью свое переполненное сердце, обнаружить свой взгляд,— тех распинали и сжигали».

И вот нам хочется дать комментарий на эти таинственные слова веймарского многодумного старца. Метод кофейного дерева поможет в этом.

Передо мной младенец. Совершенно очевидно, что его предикаты суть предикаты... «кофейного зернышка». Проходит час, идут часы, и, не отвываясь, я пронизываю его взглядом: это – не только сияние жизни, в той свежести и чистоте, которую мы утратили «под затемняющими ветром и стихиями», но и совершенно ясно, что это – безгрешность, и, собственно, – это единственная и бесспорная безгрешность, какую на земле знает и испытывает человек. Граф Толстой, в «Смерти Ивана Ильича», еще не предвидя написания «Крейцеровой сонаты» и не догадываясь, какой аргумент он против нее построит, говорит, что лишь детство, лишь одно детство в своей незапятнанности вырисовывалось, как чистая и бесприемная радость в воспоминании смертельно заболевшего чиновника. Да что мы будем говорить о его героях: начиная литературную деятельность, он сам прежде всего, ранее всего торопливо заговорил в чудных рассказах о «детстве и отрочестве». «Невинность» – мы говорим о младенце; но только ли это одно? Не виновен ни в чем и камень, и есть разница в содержании этих предикатов у него и у младенца: младенец имеет положительное в себе, т. е. в нем есть не только отсутствие греха, но и присутствие святости. И в самом деле, не замечали ли вы, что дом, в который вы входите, – когда он не имеет детей, – мрачен и темен, именно духовно темен; а с играющими в нем детьми как будто чем-то светится, именно духовно светится. Да, аскеты фиваиды, эти 90-летние старцы, наполовину закопавшиеся в землю или ночующие в гробах, как пишут историки, всё-таки не досягнули до детей по бесспорному слову Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если не станете такими – не войдете в Царство Небесное». Итак, дом потому светится детьми, что, в сущности, он ими освящается, санкционируется в бытии своем, в труде своем, в своих заботах. Этот возящийся около ящика с игрушками мир, двух- и трехгодовалый мир, есть уже осуществленное «царство небесное». Около него, как земля и подножие, раскидывается вся остальная жизнь.

Но «деревцо» было не всегда так велико, и, отступая назад, мы следим за его умалениями:

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
Хаос в солнце развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила...
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет...

Так говорит Шиллер, и, занятые нашим вопросом, мы входим в глубины «тайной силы брожения», в «кубок жизни», «пламенеющий», по определению поэта. Да – это пламя; но г. Меньшиков и все с ним аргументирующие не заметили в Библии одного многозначительного определения: «Аз есмь огонь поедающий» (Второзаконие, гл. 4, ст. 24). Да, чтобы «клубить миры» и рассеивать звезды, для исчисления которых недостаточна наша нумерация, конечно, нужна не мутная водица, или даже не водица кристально чистая, но именно, как и сказал о Себе Господь: «огнь поедающий»; «Бог ревнующий» – прибавил Он почему-то тут же. Но мы входим в «кубок жизни»; деревцо ушло в темную могилку; перед нами – мать, завтрашняя мать, сегодня «имущая во чреве», и снова мы припоминаем замечательное определение Апостола: «чадорождением женщина спасается». Да – «спасается»; то есть «чадорождение» не есть черная тень, оттеняющая свет и светлы «воздержания», но оно есть некоторое положительное, определенное благо; и, как указывают предикаты младенца, – оно не только «благо», но, при святом на него воззрении, и свято. Удивительно, как много зависит от воззрения человека, от точек, на которые он становится, чтобы созерцать вещи: под каламбуром, ужимками, подмигиваниями и молитва становится каламбуром: но читайте ее серьезно, и она станет во всю величину свою. Все люди, весь мир – какой заботой, уважением окружают «имущую во чреве»: ей – все места, и всякий покой, но прежде всего уважение. О, как бедна перед нею девушка; как она мало постигает! И наконец, взгляните же пристальнее, вы увидите, что в чертах матери, в сложении материнства действительно просвечивают, излучаются предикаты младенца. Мать сама полна таких тревог, таких особенных забот и мыслей, и, наконец, полна такой серьезности в воззрении на мир, людей, людские отношения, что совершенно ясно, что после девства она вступила на высшую ступень, и именно в категории тех предикатов, какие мы определили для младенца. «Царство Божие» теперь не около ящика с игрушками; оно схоронено под землею, «клубится», и «клубит» его искра «поедающая», в него опущенная. Да, мы не имеем третьего выбора, стоя перед этим явлением, должны или вдаваться в плоскую пустынность Геккелева – Дарвинова созерцания, о коем читается в неделю Православия: «Мир мниша быти без Бога – анафема»; или сейчас и здесь, стоя лицом перед кардинальной тайной мира, перед труднейшей его задачей и вместе – задачей самой высокой по предмету, сюда замешанному (человек), мы будем «мнить мир с Богом», но с «Богом» именно отсюда начиная, здесь и впервые Его непосредственно, субъективно, в таинственном материнстве ощущая. Мы видим, что источник излучивания матери, как и странных предикатов младенца, которого только еще «носило чрево» и «питали сосцы», имеет некоторые таинственные и действительные для себя основания. Но мы идем дальше, руководимые методом кофейного деревца; месяцы тают, тают недели, скрываются дни, и перед нами... миг, когда благоразумный матрос опустил в землю кофейное зернышко.

Еще не мать, но уже жена; и незадолго перед этим девушка, в окружении странных волнений, которые возбудили о себе столько споров. Перед нами – пол... Что такое? Предмет стыда, т. е., поправляем мы, застенчивости, и этого странного инстинкта, в силу которого всё в природе понижает голос, начиная говорить о важном:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья...
Свет ночной, ночные тени...
И заря, заря...

Так пел Фет, и совершенно очевидно, что влюбленные, «робко дыша», не стыдятся же друг друга. Нельзя себе представить, чтобы Сократ, уча учеников, «кричал на всю площадь». Кто не замечал, что ораторы, т. е. крикуны, никогда решительно не бывают ни глубокими мыслителями, ни тонко организованными поэтами. Ньютон, сидя в парламенте от Оксфорда, однажды только встал, чтобы сказать несколько слов о монетном деле, о коем велись дебаты, но, страшно сконфузившись и никем не услышанный, сел тотчас опять на скамью; и между тем известно, как много говорил и мало конфузился Гамбетта. «Любовь» и «миг посадки зерна» ищут ночи и тишины; да, ночи:

...Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха; пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Ночь темна, т. е. она таинственна, но не грязна; в ее тишине поэты задумывают свои создания; и замечательно – ночь действительно есть великая сеятельница, какая-то таинственная сеятельница для целой земли; нельзя представить себе гениальную мысль или чудный стих, которые бы вызрели в человеке в 12 часов дня. Вот причина, почему, как только развивается, т. е. утончается и углубляется цивилизация, – люди начинают время бодрствования, время обмена мыслями, веселого общения, как и время серьезных занятий в уединенном кабинете, передвигать незаметно на ночь. Сомневаюсь, чтобы не ночью, но только днем, именно от начала и до конца днем, написал свои произведения граф Толстой, сторонник простоты и норм деревенской, крестьянской жизни. Итак, ночь – время духовного и также живого посева. И мы застенчивы, укрываемся, «шепчемся» – именно когда становимся чрезмерно серьезны, или когда растроганы, или когда интимны. Замечательно: после долгой разлуки встретившиеся хотят почему-то всегда быть одни; посторонние им помешали бы... Но что такое пол?

Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения – и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека «Евою», что значит одновременно и «женщина» и «жизнь»: т. е.

указывает, что «женщина» – это и есть «жизнь», что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее – что же это такое?

Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех – о, нет! – но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих проявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем – не просчитаешься; но придумывать рифмы – ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно – в храм идем или ко «всенощной», или к «утрене», т. е. или перед полночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол – это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, «огнем поедающим», но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это – второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное* в нем лицо: от этого – творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, «клубящее» из себя «жизнь»; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть. В нормальном случае, сейчас после невинности и даже еще невинные, юноша и девушка, тяготея друг к другу, бесспорно, полом, тяготеют им не функционально, но лично: ясный знак, что пол – не функция, не орган, – ибо какой же есть человек, который предпочел бы лучше умереть с голоду, чем непременно есть эту кашу и этой ложкой? не дышать вовсе, чем дышать в этой комнате?

Жги меня, режь меня,
Ненавижу тебя...

(Пушк. «Цыгане»)

Это вполне трансцендентное восклицание. И не было бы любви, целомудрия, брака, «материнство» и «дитя» не были бы самоизлучивающимися явлениями – если бы пол был функцией или органом, всегда и непременно в таком случае безразличным к сфере своей деятельности, всегда «хладным», «невывирающим». От этого насильственное нарушение целомудрия, т. е. именно отношение к полу, как к органу, – так потрясает, внушает ужас и невыразимую жалость к потерпевшей, а сама она часто мучительно ищет смерти, как будто перервалось, разрушено трансцендентное основание бытия ее. Тут вовсе не «обида» только – о, нет! Но «разрушение» человека. И не без причины «функция» с «органом», по закону «потребности» и «голо-

* «Ноуменон» — основное в философии Канта понятие: «Вещь тою стороною, своею, которою от нас скрыта и вместе которою существенна». Лучше, однако же, потому что ярче и сложнее, это важное понятие выразил Достоевский в словах, которые мы сейчас приведем.

да», что всё и входит в акт насилования, наказывается как «убийство». Второе, мы говорим, едва просвечивающее в темноте лицо – потустороннее, не от сего мира; и этому глубоко отвечает, что ведь и источники жизни никто же не признает «от сего мира», посюсторонними. «Бог взял семена из миров иных, и посадил их в землю, и взрастил сад свой; но всё живет на земле касанием таинственным мирам иным» – так сказал еще Достоевский устами умиравшего старца Зосимы («Братья Карамазовы»). И до известной степени – да тут же помогает нам и физиология и анатомия – это касание вообще происходит через пол и, теснее, в половом общении*. Вот источник странных бурь, его иногда сопровождающих, и того, что – как заметил Достоевский же – «тут берега сходятся». А что всё это ищет тайны – ну, да просто потому и ищет тайны, что природа всего этого, выражаясь шутивно, сократическая: т. е. более похожа на силенообразного афинского мудреца, чем на болтливого и современного нам оратора французов. Великая волшебница, наполняющая мир своими созданиями, не хочет, чтобы подсматривал за ней пустой и неуважающий человеческий глаз. Мир не хочет быть плоским и ясным, как доска, как день, как утро, как биржа, но чем-нибудь и как-нибудь он хочет оправдать слова поэта:

Друг Горацио – есть многое на свете,
Что и не снилось нашим мудрецам.

И кто же не поймет инстинктивно, что этому «не снившемуся мудрецам», в самом деле, гораздо более подобает быть скрытым, укутанным, хоронящимся, нежели кичливо выявленным на поверхность: и, можно сказать, Венера Медицейская, «стыдливо» поднимая одну руку против персей и другую опуская к чреслам, говорит автору «Стыда, как основы нравственного чувства» и другому, автору «Элементов романа»:

Есть, друг Горацио...

И вот, я вспоминаю младенца: эту выявленную мысль Божию, мысль – в плане создания своего, в улыбке, невинности и чудной безгрешности. Как уже заметил тонко Достоевский, для понимающего человеческую природу нельзя без слез смотреть на младенца; или, как ту же мысль высказал и старик Гёте, нельзя смотреть на него «без переполненного сердца». Откуда

* Этим объясняется, что эту одну «функцию» церковь обволокла обрядом, признала таинством, не сделав последнего даже для такого торжественно-мистического момента, как смерть, как погребение. В церкви нет пассивно-допускающего отношения к тайне: «два в плоть едину», но активное и сорадующееся: «Венчаю вас славою и честью», — говорит священник брачующимся. Т. е. на «спадающее» дело «чадорождения» не смотрите с поверхностной людской точки зрения («каламбур»), но я вам открываю на него воззрение, как на «славу» и «честь». Замечательно, что наше духовенство, именно начиная с «Крейцеровой сонаты», стало усиленно и яростно нападать на Толстого, который предположил, что церковь лишь «допускает» «преступление сообща двух». Зародыш этого ошибочного и коренного его воззрения есть уже в «Анне Карениной».

это, тоже, пожалуй, трансцендентное волнение в нас? Ибо что нам ребенок? Чужой? беспомощный? Но как-то, глядя на него, мы и в себе пробуждаем как будто видение «миров иных», только-что-только оставленных этим малюткой; ведь поэту же пришло в голову стихотворение:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез.

И еще далее:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Младенец и в нас пробуждает чувство этих только что им оставленных миров, коих свежесть, яркость, а также и святость он несет на губках своих, на безлукавых глазах; и, бросая всякое дело, мы к нему бросаемся. Как мрачный впоследствии создатель «Крейцеровой сонаты», в свое время бросив Севастополь и взявшись за перо, не стал изображать тех, о ком поэт же сказал:

Отцы пустынники и жены непорочны,—

но, чутко поняв, что не пустыня есть колыбель и прототип «непорочности», нарисовал нам детскую спальню, в ней Колю и Володю — одного еще спящего и другого проснувшегося, и старого младенца, которого «тоже» есть Царство Небесное — Карла Ивановича. Вот правда, вот истина. И мы никогда не забудем, что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, или, как Он же сказал: «Оставьте мертвым погребать мертвых».

СМЫСЛ АСКЕТИЗМА

Аскетизм существует; он появился гораздо раньше христианства; христианство возвело его в институт — это монашество. Существование его противоречит ли взгляду на чувственное влечение как на нечто положительное, как не только на внешнюю красоту, но и внутреннее достоинство в человеке, наконец, как на достоинство специфически-религиозной высоты и значительности? Трудно это сразу охватить мыслью, но истина состоит в том, что монашество, аскетизм именно и возникли на положительном, а не отрицательном значении и содержании пола.

Мысль эта, не охватываемая сразу, ускользнула и от внимания г. Меньшикова, который в заключительной главе своего блуждания по «элементам романа» («Кн. Недели», 1897, декабрь) пишет:

«Современный язычник не в состоянии понять иного счастья, как злого, чувственного, страстного. Фауст отвертывается от бесплотных откровений разума и бросается в омут плотских, самых бурных, самых жгучих впечатлений. В идеале язычника Гретхен — только первая верстовая

века: с девственной любви только начинают – подавляющее большинство неизбежно проходит Вальпургиеву ночь. Как бы ни лицемерили поклонники полой любви, вакханалия – их последний идеал, который все они и осуществляют, когда для этого нет препятствий. Вспомните Мессалину: чего ей недоставало, ей – супруге цезаря? “Сама, с распущенными волосами, потрясает тирсом, а подле Силлий, опоясанный плющом, в котурнах, кривляется гитарой, а вокруг раздается своевольный хор”, – пишет Тацит. Чего недоставало самим цезарям? Но почти все древние тираны, столь мудрые, как Соломон и Семирамида, кончали необузданным развратом; ту же картину повторили могущественные папы, султаны и даже столь недавно – французские короли. В наши же дни та же вакханалия захватывает богатую буржуазию и аристократию тех стран, где эти классы удалились от христианского быта» и т. д. («Кн. Недели», декабрь, с. 164).

«Вальпургиева ночь» чувственности. Конечно, и она не понята г. Меншиковым, ибо и для нее есть какие-то скрытые от нас основания. Достаточно припомнить, что Платон, этот идеал физического здоровья (умер 81 года) и духовной красоты, в «Федре» настойчиво говорит, что лишь «безумствующие» в любви, а не остающиеся в ней рассудительными поступают правильно. Кстати, и очень характерно, что о теоретических созерцаниях Платона св. Юстин-Философ в «Увещании к эллинам» говорит: «Платон один из греков как бы был на небе и видел то, что там совершается» (гл. 5). Оставим в стороне «Семирамиду», которая есть миф, а не историческое лицо; но вот опять Соломон: с ним говорил, и дважды, Саваоф – и он поклонился Астарте; но – что немногими замечено – также и в молодости, сейчас после смерти Давида, он тоже «приносил жертвы и курения на высотах» (III книга Царств, гл. 3), т. е. по сиро-финикийскому ритуалу. Совершенно ясно, что даже для «мудрости» писателя «Экклесиаста» и «Притч» тут была какая-то в чем-то запутанность, хотя, твердо помня «начатки», усвоенные нами в гимназии, мы и разрушаем теперь легко эти узлы. Ключ религиозных мелодий, раздававшихся 3000 лет назад, потерян; и неразрешимое для Соломона напрасно пытались бы мы разрешить по существу. Оставим эти таинства. Вот Фауст – он ближе нам, – и на него почти с таким же презрением, как на Соломона, кивает г. Меншиков, но мы ему, не без улыбки, припомним Вагнера. Вот, в самом деле, человек, проживший очень «хороший роман» (так озаглавливает г. Меншиков последнюю главу своих «Элементов»), и в то же время нельзя себе представить Вагнера ни в роли Фауста около Гретхен, ни в положении Соломона перед Астартой. Маленькая подробность, которая открывает нам большие горизонты.

Вспомним целомудрие и воздержанность Робеспьера и около него чувственного, неукротимого, гениального Дантона. Первый всё говорил о «добродетели», «la belle vertue»*, и посылал, именно друзей своих посылал, отрывая от своей груди, на гильотину – прототип исторической lacheté**, пе-

* «прекрасная добродетель» (фр.).

** подлость (фр.).

ред которым бледнеют Мессалины. Дантон, по соображениям политики, готовясь произвести сентябрьские убийства, предупредил личных своих врагов и дал им средства бежать. Вот истинная «Семирамида» политики, т. е. почти «миф» по странному добродушию, в таком сплетении с ужасом и кровью. Обыкновенно принято думать, что чувственность – жестока; но посмотрите подробнее, зорче, внимательнее, и вы увидите странное явление, что самые бессердечные люди в жизни, совершенно хладные ко всяческому страданию, неумолимые перед слезами, не трогаемые криками, – именно люди бедные чувственностью и ужасно богатые «*belle vertue*». Эти последние, при всём их спокойствии и тихости, есть истинный ужас жизни, начинающаяся ее минерализация; ибо, хоть расточитесь вы в слезах перед ними, источитесь кровью, они так и не изменят застывшей улыбки, «ко всему миру» улыбки, на губах своих. Это нужно испытать, и испытывается это в жгучие и роковые минуты жизни. В Древней Греции была странная, по нашему – мучительная, поговорка: «Если у тебя есть скопец – убей его, если нет – купи и убей». Древний мир знал хорошо эту породу людей; хорошо испытал ее на своей шкуре; и вся желчь и негодование на этот тип людей вылились у него в приведенной поговорке.

Но мы хотели говорить об аскетизме. Приведенные примеры проливают сюда свет. Богатство темперамента есть условие внутренней теплоты и живости. И вот почему во всех случаях, где положением или задачами жизни требуется особенная теплота и живость, «лучистость» человека – он забирается как бы в плотинах воздержания, т. е. он доводит до высшего достижимого уровня темперамент в себе: и тогда начинает «лучиться». Вот объяснение монашества и аскетизма. Кстати, и исторически он возник именно в тех странах и городах, на чувственные вакханалии которых жалуется г. Меньшиков. Земля почти полуденного солнца, «почерневшая» от зноя – она первая открыла и мелодию молитвы и познала сладость отречения. Но обратимся к современному нам, которое поможет понять те древние явления.

Гр. Л. Толстой в «Крейцеровой сонате» записал, но не объяснил и даже почему-то не вдумался в следующее явление, верно и точно им наблюденное: «Большая пауза так называемой любви – более ожесточенный приступ злобы после нее»; «покороче пауза – поменьше и потише злоба». Но ведь это именно после паузы «любви» наступала злоба, а не перед ней была она: перед ней была нежность и любовь, настоящая любовь, деятельная, помогающая, сочувствующая. Где же, в которой точке, есть половое спокойствие, невозбужденность, «*belle vertue*»? – да, конечно, после паузы любви, когда пол как бы умирает в человеке, во всяком случае – крепко засыпает в нем. И вот замечательный психолог, который почему-то в этом случае не захотел быть аналитиком, замечает: «О, какая же это была злоба». Даже дошло до убийства, и совершенно хладные люди, «скопцы из чрева матери», как Робеспьер, – и в самом деле как-то жаждут крови, будто надеются скольконибудь в ней согреться. Но вот представим, что за паузой ожидания так и не наступает пауза «любви»: пол задержан, поставлена плотина, доброволь-

ным ли отречением или внешними препятствиями. Та нежность, ласковость, готовность на помощь, которую тонко перед паузой отмечает у Позднышева Толстой, подымается в берегах всё выше, выше: чем же она остановится? Да останавливается именно нежностью, готовностью к услуге, даже к страданию за ближнего, наконец, она излучивается в молитву «за весь мир», за «страждущих, путешествующих, недугующих». И вот вам объяснение аскетических феноменов, как Амвросий Оптинский, – этой высшей, деятельной, героической любви, неуставшего подвига. Вот вам объяснение Иоанны д'Арк, с ее великим порывом: «Я должна короновать дофина»; с ее ужасом, когда она почувствовала земную страсть: «От меня отошло небо, и я теперь бессильна».

Да, небо – т. е. в чем же? Природа человеческая, и именно не в минеральных, а жизненных своих частях, и частнее – в темпераменте, в поле, имеет не только что-то положительное, но именно отсюда она становится мистической, и притом с благим, положительным, а вовсе не с черным, не с демоническим (как думают) содержанием. Это бесспорно еще и из того, что мысль, гений, всякие прозрения философские лучатся отсюда же. Вся природа благоухает весной – ну ведь это же от Бога, никто этого не оспорит; но мало замечено, что и человек также начинает благоухать гением в весну своего возраста. Нам очень важно установить недемоничность пола, и потому мы здесь же обратим внимание, что самые обыкновенные, простые, но лучшие качества, как великодушные, незлобивые, доверчивые, т. е. любовь в тех самых живых чертах, как ее определил Апостол, особенно присущи отрочеству и юности; и кто отвергнет, что юность и в темпераменте горяча, в противоположность «хладной и рассудительной» старости, всегда и во всё, ранее подвига, разыскивающей «соломки» на случай падения. Но мы заговорили о гении. Мало кто следил за этим, или, по крайней мере, никто не собрал в этом направлении фактов, хотя они бросаются в глаза: именно, что самые гениальные прозрения в науке и философии возникли в тот странный возраст кончающегося отрочества и начинающегося мужества, о котором Достоевский, в одном месте, с недоумением заметил: «Не знаешь о человеке в ту пору, уйдет ли он в монастырь или пойдет и спалит деревню». Возраст самых обильных преступлений – 17–23 года; и в эти именно годы Ньютон догадался о всемирном тяготении и открыл, своеобразно и первый, дифференциальное исчисление; Декарт задумал свой новый метод в философии и догадался приложить алгебру к геометрии; Бэкон создал план «великого восстановления наук». Читая биографию их, поражаешься необыкновенным удивлением: открытия эти так серьезны, почти старчески по глубине и ценности, истинно «ветхи деньми», что, казалось бы, исключают всякое предположение об «уме незрелом», «плоде недолгой науки». Но вот подите же, верно, в натуре человека заложены глубины какой-то неведомой психологам и логикам «науки», силой которой открытия выявляются на свет без предварительной веревки силлогизмов, о которой думают обыкновенно, что только по ней одной взбираются к «ис-

тине». Замечательны подробности биографические около этих великих открытий: Декарт видит сон и в неясных строках записывает, что он должен сходить к Лоретской Божьей Матери на богомолье, ибо она дала ему чудное прозрение, чуть ли не во сне дала, но именно как неподготовленную и неожиданную догадку, что можно линии геометрических фигур выражать в алгебраических уравнениях, и тогда самые трудные и, казалось, даже неразрешимые вопросы по геометрии могут быть разрешены легко. Еще рассказан, и тут же, какой-то анекдот с ним на улице, в связи с восторгом его, что теперь в геометрии нет для него неразрешаемых задач. Истинно пора, когда не знаешь – «пойдет ли в монастырь или сожжет деревню!»! Бэкон записывает в черновых тетрадах, что он задумал план такого сочинения, которое принесет неизъяснимое счастье роду человеческому и совершенно преобразует вид наук. Настоящая Жанна д'Арк, собирающаяся «короновать дофина», и в те же именно годы, только соответственно мужскому полу несколько большие. Наконец, вспомним Рафаэля, его раннюю смерть, и что, без сомнения, видения Мадонн прошли у него впервые почти в отроческом еще возрасте. Моцарт почувствовал впервые и уже гениальные порывы к композиции в те приблизительно лета, о которых Лермонтов и Байрон с удивлением припоминали, что они в них почувствовали первую – и настоящую – сильную чувственную любовь.

Вот факты, их никто не оспорит. Платон ушел юношей к Сократу. Аристотель также почти юношей пришел к Платону в Академию: странное волнение знания, любопытства, теоретизма заставило обоих их в этот именно критический возраст отвернуться от утех и приятностей шумной и суетливой жизни. Они ушли оба в монастырь философии. Но все эти явления концентрируются в одну точку: начало мужества и конец юности. Если мы возьмем религиозный аскетизм, мы заметим любопытное явление: мало есть великих подвижников, которые, медленно созревая к серьезности, в старости дошли бы «наконец» до «столпничества». Аскетизм налетает как буря, как вихрь*. Но, опять, он налетает именно в этот возраст. Великие подвижники суть отроки-подвижники, которые затем и до могилы лучатся в молитве. Но о чем же всё это свидетельствует, и не раскрывает ли это глубже всяких рассуждений значение пола? – как веревка силлогизмов есть не единственная лестница к открытию истины, так и к созерцанию небесного мы переносимся таинственными дуновениями, откуда-то в нас поднимающимися, а не идем постепенно, сперва «удаляясь питий», «отметая табак», позднее – «упрощая» пишу и, наконец, – «на столб». О, нет, как наука, так и

* У нас, в живописи, есть прекрасная по сюжету картина г. Богданова-Бельского – «Будущий инок», кажется, очень многими замеченная; отрок лет 14 слушает «странника» и, полуотвернувшись в сторону, о чем-то «созерцательно» («не знаешь – пойдет ли и спалит деревню или в монастырь уйдет») задумался. «Рассказ» выслушанный и порыв, за ним следующий, не имеют ничего общего в количестве движущейся в них силы; и ясно, что «рассказ» есть лишь повод, «случай», «возбуждение» около зарытой где-то в человеке таинственной «науки».

религия – серьезнее, глубже; они гораздо таинственнее: но странная точка, нами отмеченная и которую трудно «отмести», именно показывает, что узел всех таинств и собран в том, что так необдуманно вздумали грязнить теперь в человеке, «отметать» в нем, порицать как «животное», как некоторую «грязь», «нечистоту» его природы. О, нет, совсем обратно: из «грязи» ничего, кроме «грязи» же, и не выходит. Напротив, нам совершенно понятно, что гений и молитва, наравне с благоуханием цветов, лучатся оттуда же, откуда нисходит на землю, быть может, лучшее, чем самая молитва, самый гений, – живое человеческое дитя, эта непосредственная и реально выраженная мысль Божия, так ясно несущая в невинной своей улыбке, в безгрешных глазах след только что им оставленных «миров».

Но однако, бесспорным остается, что гений бескровного спиритуализма, будет ли то Декарт, «отрок Варфоломей», Иоанна д'Арк, как-то органически отвращается от пола и полового. Было бы, однако, ошибочно доверяться этим субъективным иллюзиям, «самокритике» аскетов, как и безумно поступил бы аптекарь, отпуская пациенту лекарства по рецептам, прописанным его «собственной рукой», на основании «самоощущения». Пол имеет игру в себе. На ряде феноменов его мы должны озреться как бы с удаления Сириуса и охватить взглядом многообразнейшие его выражения, не у одного человека, но и во всей природе, и тогда только мы уловим –

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица...

Итак, не презирая никакую плоть, мы обратим внимание читателя на тот странный факт, что те птицы, которые в весеннюю пору – и именно только в нее – получают чудный дар голоса, уже не получают никаких цветных придатков; напротив, богато украшающиеся, и опять только весной, не получают ничего в голосе. Соловей, в красоте почти человеческого голоса, вульгарен оперением, как воробей; а павлин раздрает нам уши несносным криком. Но возьмем цветы – здесь явление поразительнее: махровые из них теряют силу оплодотворения, как бы становятся бесполоыми, «бесплотными». И между тем очевидно, что махровость есть благоухание именно плоти их; нельзя же образовать «махровость» на листьях, коре, корнях и т. д. Но перейдем к человеку: Моцарт, может быть, скучал, проходя по картинным галереям, и Рафаэль едва ли особенно «чувствовал» музыку. Дарвин пишет о себе в автобиографии: «Никогда иначе, как с чувством невыносимой скуки, я не мог читать Шекспира», и между тем он охотно читал бездарные современные повестушки, «где любовь оканчивалась бы браком». Именно «без скуки» не мог читать. Что «махровость» есть половое явление – мы это открываем не только потому, что она появляется на цветке, но также и потому, что этот цветок становится при ней как бы бесполом: тут есть очевидная могущественная связь. Мы переходим теперь к бесплотно-

му аскету, как Гааз, московский доктор 20–40-х годов, прекрасную биографию которого, вслед за г. Кони, передает как особенно поучительный «роман» г. Меньшиков. Остановимся на секунду: есть аскеты по принуждению (внутреннему), «закусив зубы», и, в конце концов, по подражанию великим естественным аскетам: тип Анджело у Пушкина – вот лучший этого пример; средневековые инквизиторы – это другой пример. Но есть естественные аскеты, соловьи «поблекшие в перьях», излучившиеся «в голосе», как отрок Варфоломей, св. Франциск Ассизский; и к их порядку принадлежал Гааз. Их отличительные черты... Но тут мы будем рисовать Гааза.

Такой аскет не только не станет жечь людей: он излучится величайшей нежностью – и не только к людям, но к целой природе, к звездам, цветочкам, животным; и по этой-то именно эфирнейшей любви, какой-то неге таинственной ко «всяческому и во всё», и именно в плоти, в грязи, в грехе и смраде, мы откроем безошибочно, что это и лучится, собственно, плоть же. «Многоочитая», «исполненная внутренних очей», плоть – если уже так враждебно настроены против ее имени. Это в «Апокалипсисе» говорится о «тельце, деве, орле и льве» – мистических животных, «исполненных внутри себя очей», которые «предстояли Престолу» Бога (гл. 4). В противоположность аскетам «с зажатыми зубами», по подражанию, эти, совлекши с себя плоть, любят, однако, плоть и плотское; не убегают в пустыню, а бегут к людям; а если и удаляются в пустыню – ласкают львов, вынимают занозы из медведя, не могут оторвать взгляда от звезды, т. е. во всех видах и формах любят мир именно в плоти его. Но обратимся же к Гаазу – мы всё отвлекаемся.

Практический врач по профессии, он – шеллингианец, и не то чтобы он по книгам занимался этой «системой» философии: он переписывается с великим учителем, т. е. он ищет не логики системы, но именно плоти ее, ее «дыхания жизни» – в непосредственном общении, в частности, подробностях приватной переписки. О, ему нужна не логика, но, если позволительно так выразиться, темперамент системы. Я знаю, что тысячи людей восстанут против этой мысли, закричат: «Абсурд», но почему же, почему он, в самом деле, не выписывал наилучшие из Берлина комментарии к системе, и даже никаких вовсе комментариев, а, выражаясь языком Фета, слушал ее

Шопот, робкое дыханье...

– потому что ведь ничем иначе и нельзя назвать, вероятно, совершенно малозначительные письма, какие Шеллинг писал московскому врачу: но какая-нибудь подробность, восклицание, наконец, именно строки не для типографии и света, и, в последнем анализе –

Шопот, робкое дыханье...

– вот что важнее для него было всяких книг, волновало и одушевляло его более, чем огромные логические контуры учения. Как он любил арестантов: это именно плотская любовь – любовь к плоти человека. Дома, кругом стен своей квартиры, измерив их для этого, он проходит с железным прутом, на

какие в ту пору нанизывали арестантов, столько верст, сколько арестантам полагается на переход по «Владимирке», чтобы испытать и непосредственно, «плотски», знать степень труда их. Прут жег холодом зимой – и он подымает огромный шум, историю, и, несмотря на всяческие противодействия, добивается, чтобы прут зимой обертывали кожей, как теперь обертывают войлоком ручки конножелезных вагонов, за которые приходится браться пассажирам. Он придумывал, т. е. изобретал, искал, удивляя всех и раздражая, потому что он был во плоти арестантов. Вот где тайна Гааза. Почему он не устал? Нам современный и очень похожий на Гааза сельский учитель, бывший профессор Московского университета г. Рачинский, говорит в «Сельской школе»: «Я никогда, нервный и большой человек, не уставал с крестьянскими детьми». Тут нужно разобраться: Рачинский не только «не уставал», но перебрался сам в школу, завел в ней общежитие и ел ту постную и бедную пищу, какую едят крестьяне, – «вытаскивал занозу из медведя». И оба не устали: но почему? почему? Да именно потому, что самая близость арестантского или ребяческого существа производила в них не «одурение», как непременно бы в Анджело или г. Меншикове, но именно радостное и волнующее чувство, как бы они обоняли не смрад и бедность человеческую, но почти весенний, лесной ландыш. И за 40 лет у одного, за 20 лет у другого – ни одной скрываемой от человечества гримасы, ни одного скучающего зевка «в сторону»; да и, конечно, не было их вовсе; но потому и не было, что это не «по долгу», но из «стоицизма», не ради «belle vertu», но по гораздо высшему и жизненнойшему закону «многоочитой» плоти. Дайте составление бумаг «одному», какие-нибудь финансовые счета другому, пусть от одного и другого зависело бы благосостояние целого уезда, и оба упадут тотчас. Тут мы имеем тайный, не признаваемый никем и никогда, но из фактов, явно определяющийся порыв плоти в ее эфирнейшем излучении; «преображение», но именно плоти, из греха и смрада, под каковым углом она всем представляется, всеми обоняется, в чистоту и светоносность, которая, собственно, и вздымает крылья, «надувает паруса» у трудолюбцев. Ничего «натасченного» на себя, никакого «подвига», ни тени филантропии – это есть альфа понимания этих своеобразных практических молитв. Кстати, маленькое отступление: разве кто не заметит, что три великих мистика нашей литературы – Гоголь, Толстой и Достоевский, запыхавшие столь новою любовью к человеку, «незримыми» и ясно «зримыми» о нем слезами, – запыхали именно к нему «во плоти», и первые и единственные изобразили и поняли его, «обоняя как бы ландыш», среди всяческих смрадов и запахов, в окружении мяса, в земной их тяжести. И это суть единственные оригинально и до глубины религиозные у нас писатели. Будучи беден, Гааз покупает телескоп, и не один, а несколько: опять как в шеллингианстве своем он не выписывал комментариев из Берлина, так и здесь ему нужна была не математическая сторона «кругов небесных», но ощущение физического света, т. е. опять что-то вроде «приватной и необдуманной переписки», какой-то небреж-

ный «шопот», крохи любви, но именно и бесспорно плотской: он нисколько не учился астрономии, просто даже не интересовался ею в математической, «неоощуаемой» ее стороне. «Владыко, вы забыли о Христе!» – воскликнул он, среди замершего в страхе собрания, Филарету и даже привскочил с места. О, именно «привскочил»: и они все, от Иоанны д'Арк до отрока Варфоломея, и даже до «сапогов» Толстого, над которыми столько издевались, не уловляя здесь важнейшей стороны дела, «привскакивают». Секрет и неопценимая важность, что с «сапогами» или чем другим – предмет уже безразличен – они не могут усидеть на месте; что тайный оргазм, надув «крылышки», перенес их от слова к делу, будут ли то «сапоги» или освобождение Франции. Это любопытно: Гааз 40 лет борется – да с кем? Были ли преступны, злы, холодны, как предполагает г. Меньшиков, окружающие его люди, между которыми был митрополит Филарет? Это он остановил Гааза в тюремном комитете: «Вы, Федор Петрович, все говорите о невинно осужденных; таких нет; они осуждены и, следовательно, виновны». Тут Гааз и «вскочил», а Филарет поправился: «Нет, не я о Христе забыл, а Христос в эту минуту обо мне забыл». Тоже побывал когда-то «отроком Варфоломеем» и только потом на 60 лет установился в тогу и на «столп». Но кончим же о Гаазе: антагонизм между средой и им, как позднее – между Гоголем и ему современной критикой, еще позднее – между Толстым и обществом, вытек и вытекает из того, что среда идейно, логически, «по долгу» (Филарет и другие) блага, но еще не плотски, не начав излучиваться в плоти. В этот небесный хоровод «безумствующих в любви» (по Платону) нам хочется ввести и еще один новый тип: «Видел ли ты раба моего Иова: нет еще такого, муж благочестив и праведен», – говорит Бог сатане об отце семерых сынов и семерых дочерей, погрузившемся в «стада» свои и всяческий «достаток», без тени гаазовской заботы о мире, о «нищих». «Дыхание мое испортилось, и я должен умолять жену приходиться ко мне ради плода чрева моего» (Иов, гл. 19), жалуется он на гноище друзьям; а сойдя с него – еще породил «семь сынов и семь дочерей», опять осутился «верблюдами» и «ослами»: и пребыл, однако, во все дни бытия своего пребыл «праведен и благочестив». «Он гораздо лучше вас», – проговорил укоряющим его друзьям голос «из бури». Природа, история, религия исполнены потрясающих таинств. Нельзя без некоторого волнения смотреть, в так называемых парусах (части свода) наших церквей, на фигуры евангелистов, которые светлым, разглядываемым очерком выделяются на темном и неразглядываемом фоне «льва», «тельца», «орла», «девы». Смущение исходит от того, что мы без труда догадываемся, что тут взяты те самые категории «плоти», которые под именем «аписа», «копчика», «сфинкса» (льва и девы) были в каком-то предчувствии поклоняемы еще у древних египтян. И может быть, тут есть ключ к странной запутанности Соломона между «скинией» и «высотами». Если справедлива эта догадка, явление аскетизма, нами разобранный, особенно стало бы понятно: небесные излучивания нашей, «по образу, по подобию», плоти есть только род-

ственное, почти кровное, «во плоти открывающееся» стремление к своему «домашнему загону», откуда на землю она ниспала каким-то «урванным клоком сена» и, завитая здесь в минеральную оболочку стихий, искрой поедающего огня клубит в «клубок жизни» – у кого на 40, у Гааза на 71, у Платона на 81 год; и нам смертным даст столько бытия и лет, насколько мы сумеем сохранить в себе огонь и разнообразную радугу цветов любви.

ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ВЕЛИКОЮ ЗАДАЧЕЮ

Н. А. Лухманова. Черты общественной жизни. Спб., 1898.

Ничего нет необыкновенного в этой небольшой книжке; но то «обыкновенное», что в ней есть, так многозначительно по темам, по охватываемым группам людей и выражено так жизненно и умно, что невольно захотелось остановить на этой книжке общественное внимание.

Книжка состоит из 28 полурассуждений, полухудожественных очерков – каждое в 5–6, редко более, страниц. Написана прекрасным, легким языком. Кой-где, едва заметно, мелькнули перед нами грустные строки, показывающие в авторе какое-то недоверие к самому существу человека (особенно страницы 41–42), недоверие к возможности, чтобы отношения между людьми складывались тепло и радостно, и при этом безусловно; мы не стали бы и разбирать книжки, если бы тон этих строк был доминирующим в ней: в других местах, и опять мелькая, есть наблюдения и мысли, напротив, свидетельствующие о бесконечной вере в человека. «Сокровенная мечта каждой женщины быть, хотя бы из благодарности, любимой до конца жизни без обмана и без измены... Честные, порядочные, а главное, чистые женщины нашего времени так пострадали, что, наконец, готовы стать женами людей, нуждающихся в их уходе и ласке, лишь бы создать себе настоящий семейный очаг, где царит сердце, ум, пусть в соединении даже с болезнью или физической немощью, но – не произвол все подчиняющих себе страстей» (стр. 81). Это сказано по поводу удивительного «Общества христианского брака», возникшего в Америке и состоящего из женщин, которые соединились клятвой выходить замуж «только за калек, уродов и больных, дабы усладить их страдальческую жизнь» (с. 80). Г-жа Лухманова тонко отмечает, что тут – не одно самоотвержение, но и жажда для себя именно нравственного и уже непоколебимого приюта. Но в самой этой жажде, пожалуй, эгоистичной, – сколько чистейшего идеализма! Многие говорят, и уже давно порешили, что «так называемый» женский вопрос есть только пена, взбившаяся из общественного недомыслия. В смысле специфических хлопот 60-х годов, это – да, конечно. Но есть женский вопрос, идущий из тенденции не «сравниваться» с мужчиной, но из тенденции твердо и выпукло поставить именно свое женственное и особенное «я», и потребовать, чтобы цивилизация,

грубая и слишком «обще»-человеческая, несколько остановилась и задумалась, прежде чем сломить и окончательно загрязнить это хрупкое и нежное «я». Есть и не умер женский вопрос в смысле именно «домашнего очага», сохранения «женственности», соблюдения вечных в природе, но в искусственной цивилизации могущих быть разрушенными черт «материнства», «семьянинки», «хозяйки» дома.

Книжка г-жи Лухмановой глубоко практична – в этом ее драгоценность; на ее точке зрения, в общем несколько консервативной, стоят многие, хотя и не большинство, – отсюда ее «обыкновенность», отсутствие чего-либо совершенно нового в ней. Но решительно все, разделяющие ее взгляды, разделяют их по «доктринерству», из «принципа», из «политики» и, так сказать, общего «исторического» и «религиозного» консерватизма. Как и всегда, под этим доктринерством много холодности сердца и невнимательности ума. Г-жа Лухманова входит во все мелочи поднявшихся около женщин тревог; она несколько не менее радикальна, чем приснопамятная г-жа Цебрикова, напр., в этих словах: «Отчего же не открыть женщинам доступа на всякую службу? Ведь все равно непригодную или бесильную держать не станут, но разве не могут между ними попасться и гораздо более способные, чем их собратья-мужчины? Есть милые защитники женщин, которые боятся, что при таких занятиях женщина потеряет свою женственность, но сохранит ли она ее среди нужды, апатии, ненависти ко всему этому свету, в котором она не находит положения и ей не дают занятия? Что станут делать мужчины, малоспособные, лентяи или пьяницы – этого я не знаю. Если же говорят о неспособности женщины к труду, то, вероятно, забывают или не хотят упоминать о том, какая масса женщин, за кулисами публичной арены, является не только помощницами своих отцов, мужей, братьев и любовников, но сплошь и рядом общественные деятели являются только орудиями женщин, подстрекающих их на дело, участвующих в их подвигах и с большим самолюбием, чем сами мужчины, борющихся за их главенство» (с. 18). Это, в сущности, всё, что говорил когда-то Д. С. Милль. Итак, наш автор совершенно свободен в движении своих суждений, не пугаясь обвинений в радикализме; и поэтому, где мы встречаем у него «религиозность», «историчность» и «консерватизм» во взгляде на дело, мы уже не опасаемся, что это – «тенденция», «доктрина», но ожидаем и действительно находим, что тут говорит или этого требует сама жизнь.

Рассмотрим же несколько жизненных и житейских черт нашего времени, подмеченных внимательным глазом автора.

«Осматривая старинные портреты, везде встречаешь *тип*, и, несмотря на то что конец нашего века, пресловутый *fin de siecle*, считает себя интеллигентным и культурным, отодвигая всё прошлое в невежество и мрак, – в лицах наших бабок и прабабушек, в портретах этих так мало ученых, так крепостнически преданных семейному очагу женщин, мы видим высокий лоб, под которым кроется дума, широкие, лучистые глаза, где много затаен-

ной мысли, мечтаний и души, уста, умеющие по одному своему складу и молчать, и дарить той улыбкой, от которой кругом становится светлее, а главное, в общем выражении лица есть что-то свое, самобытное, спокойное, какое-то самоуважение и право на уважение других» (с. 31–32).

С этим наблюдением нельзя не согласиться и нельзя отвергнуть следующего объяснения, относящегося к текущему типу женщины: «Гоняясь за всем, теперь женщина разменялась на мелочи и утратила свою первую красоту – *спокойствие* (наш курсив), подражая всему, она потеряла *свой* взгляд, *свою* походку, *свой* вкус, *свою* врожденную грацию. Желая знать *всё*, следить за *всем*, она утратила свой внутренний мирок, неширокий, но присущий именно ей... Вот почему, глядя на портреты прабабушек, говоришь: “Какие красивые лица”. Любуясь витриной модного фотографа наших дней, восклицаешь: “Какие хорошенькие мордочки”» (стр. 33–34).

Это – зло, и слишком; но в самом деле, упадок женской красоты и даже какой-нибудь определенной *выразительности* женских лиц так глубок и всеобщ, что, бывая ежедневно на улице, т. е. ежедневно видя (в Петербурге) около сотни лиц – в течение зимы два или три раза, не более, подумаешь при встрече: «Какое прекрасное лицо» – или даже: «Какое милое лицо». Т. е. перед вами продефилирует около 30 000 женщин, и из них у двух-трех такие лица, что с обладательницами их вы захотели бы заговорить, что за «лицом» здесь вы угадываете внутренний и небезынтересный «духовный» мир. Женщина (и девушка) – стерлась; от нее осталось платье, под которым менее интересный, чем платье, человек. Это так глубоко, до того странно; мы далеки, чтобы выразить отношение свое к этому факту словом «мордочки» (однако – правильным), и находим, что это предмет не насмешки, но скорее рыдания; и оплакиваемое здесь – не женщина только, но вся наша цивилизация. Ибо какова женщина, такова есть или очень скоро станет вся культура. Но послушаем еще автора, прежде чем предаться нашим печальным размышлениям:

«Душа, мысль и спокойствие исчезли с лица современной женщины, а с ними исчезла и духовная прелесть, составляющая настоящую красоту женщин. Тревога, жадность, неуверенность в себе, тщеславие, погоня за модой и наслаждением исказили, стерли красоту женщин. Прибавьте к этому чуть не поголовное малокровие, нервность, доходящую до истеричности, фантазию, граничащую с психопатией, и новый бюрократический труд, к которому так стремится современная женщина» (с. 34).

Это – психология и физиологический очерк существа, у которого из-под ног выскальзывает почва. Снова – никакого предмета для иронии; ибо это – «нет почвы» под ногами половины человечества и лучшего друга мужчины. Поднявшаяся, еще с шестидесятых годов, тревога женщин и около женщины имеет то объяснение для себя, что женщина почувствовала, как незаметно и деликатно пока, но для нее исчезает тот фундамент, на котором она тысячелетия стояла; притворяется дверь того светлого и теплого уголка, где она вила себе гнездо, переходя почти из «детской» – к «своему

хозяйству»*, выходя из «сестры» в «жену», из «дочери» в «мать». Эти рамки ее существования отодвинулись одна от другой на большое расстояние, и даже без верной между собой связи, без крытого теплого хода. Между ними – холод, улица, через которые нужно теперь перебежать девушке; добежит ли она до чего – это из сотен «их сестры» никто не знает, и она бегут неуверенно, торопливо, нервно – в профессии, на курсы, в канцелярию, но без специальной к ним привязанности, без окончательных сюда положенных надежд. Древняя надежда всякой девушки, женщины – всё та же в *fin de siècle*, как и когда-либо; но уже нет для этой надежды незыблемо древнего фундамента.

Присмотритесь к обществу мужчин, чтобы что-нибудь понять в женщинах: оно никогда более не ищет женщин. Женщина начинает «мешать» мужчине; ее появление возбуждает скорее досаду, прерывая специально мужские темы; серьезного, тяжелодумного отношения к женщине почти нельзя более встретить. Браки, если они заключаются (если!), – почти удивляют: это слишком серьезно, чтобы давать женщине. В судьбе, в жизни, в размышлениях мужчины женщина не занимает никакого почти места; романы пишутся, но «романов» в жизни почти нет. В идеях, в созерцании мужском женщина спустилась до малозначительности прислуги – необхо-

* См. «Семейную хронику» С. Т. Аксакова, рассказ о женитьбе Куролесова, невеста коего «только тогда перестала плакать, когда рядом с ней посадили ее большую куклу, почти с нее величиной, и от которой она не могла оторвать глаз». Мысль брака, его религиозная чистота не может быть восстановлена никакими иными средствами, как отдвижением его заключения к самому раннему (невиновному) возрасту, когда в его реальное существо человек и вступает с безгрешной еще психикой и он охватывает, включает в себя так называемую первую (всегда чистую и идеальную) любовь; или, точнее, когда эта любовь и возникает, начинается в браке. Время это у девушки точно обозначено первым выявлением пола, и для юноши это годы, равные годам девушки, с прибавлением трех или четырех годов. Просматривая канонические книги, мы с удивлением и не без радости нашли, что в классическую пору церкви брак и допускался, у нас и в католических странах, в этот ранний возраст — для девушки в 14 и 13 лет; и лишь с конца прошлого и начала нынешнего века, очевидно в исключительно гигиенических целях и без всякого канонического основания, он был передвинут к 16 годам — времени «второй» и иногда «третьей» любви, всегда при загрязненном уже воображении и иногда начавшихся уже так называемых «отроческих пороках». Этих-то последних «гигиена» и не приняла во внимание, как она не приняла во внимание и «спокойных лиц» и железного здоровья наших «бабок» и «матерей» (см. наблюдение г-жи Лухмановой). Восстановление раннего «чистого» брака есть альфа восстановления глубоко потрясенной теперь семьи, как универсальность (всеобщность) брачного состояния есть альфа поправления всего потрясенного *status quo* (существующее положение) общества. Мы слишком понимаем, однако, что теперь, когда разрушение брака зашло так далеко, это не может быть сделано иначе, как через глубокое потрясение всей цивилизации, и мы думаем, надвигающийся новый век будет эрой глубоких коллизий между существом, религиозным и таинственным, брака и между цивилизацией нашей, типично и характерно атенстичной и бесполой. Говоря ниже о возможной «культуре пола», целой «половой цивилизации», мы имели в виду именно эту коллизию.

димой, но низшей и чуть-чуть нечистоплотной вещи. Глубокому перерождению типа женщин предшествовало в самом мужчине перерождение и упадок чувства женского начала, ощущения этого начала. В зоологии есть так называемые «рудиментарные» органы – подвергнувшиеся «обратному развитию», умяляющиеся, ненужно висащие. Что-то аналогичное этому наблюдается в мужчине, т. е. в его особливом половом сложении: оно тоже подверглось «обратному развитию», и мужчина почти стесняется или испытывает «надоедливое» чувство, когда из-под «гражданина», «дельца» всё еще высовывается в нем возможный «муж» или «отец». Маленькая подробность в быте: прежде «свадьба» – это было что-то пышное, сложное, к чему сложно готовились и что оставляло за собой длительный след, долгое впечатление даже в окружающих, участниках, зрителях; это – перелом в положении, судьбе, характере жизни, который переживал всякий и в который всякий входил как во что-то торжественное и, в общем, светлое. «Тяжелодумность» повисла на обряде; теперь свадьбы – почти прячутся; это что-то торопливое, почти робкое, с поспешной усадкой в вагон и «свадебным путешествием». Никто не замечает, как много, в сущности, неприличия в этих «свадебных путешествиях»: прежде, бывало, это клали «дом», устанавливали «семью», теперь это урванное «удовольствие», сворованный «кусочек мяса», который, зажимая хвост, собака относит в сторону и им лакомится. В смене обычаев отразилась, в сущности, огромная смена мирозерцаний.

Нужно ли удивляться, что не только девушка не несет более на себе «красивого» и «уверенного», «спокойного» лица, а какую-то тоскливо ищущую «мордочку», но и позднее, уже «проглоченная», она начинает оглядываться кругом, как «живая же тварь», и в свою очередь ищет «проглотить». Сменилось мировоззрение, и оно, собственно, сменилось у мужчины. Всё остальное уже естественно за этим последовало. Прежде целомудрие – это было покров «дома», святыня «семьи». Но сейчас – что значит целомудрие? Сбережение себя почему-то «для одного», причем этот «один» решительно не постигает сам и никому не смог бы объяснить, почему он хочет быть «один» около жены и что, собственно, нарушает или разрушает ее неверность, особенно если она остается не открыта? Здесь, т. е. в теперешнем требовании и ожидании обоюдного или одностороннего целомудрия, есть что-то вкусовое, физиологическое, но что же далее физиологии мы теперь постигаем в браке? Может быть, его «мысли», «постижения» и раньше не было, у «бабушек»; но у них был, бесспорно, его инстинкт, он выражался в обычае, в словах: «перелом», «новая жизнь», «озаряет», «таинство». Всё было, может статься, и для них неясно, но что это – что-то великое, какая-то надвигающаяся на человека громада, какая-то нераскутанная темнота – это-то уже бесспорно ощущалось. В обычае же новом, в этом венчанье «втихомолку», и сейчас – «вагон», завтра – «гостиница», совершенно ясно выражается, что все эти ощущения рассеялись, и на их месте не выросло никакой мысли. Брак есть теперь, в сущности, продолжение холос-

тых удовольствий и некоторое углубление, доведение до «неприличия» девичьих шалостей. Его строгая и действительная, в самом сердце зжидущаяся, «моногамия» или «вечность» вовсе теперь непостижимы; и они реально не осуществляются, ибо факт везде последует за мыслью, а «вечности» и «моногамии» нет, неоткуда взяться в мысли. Брак тяготит, т. е. он всех начинает тяготить. Исключения необъяснимы, и они редки: они принадлежат индивидууму, являются делом случая – но они не дело культуры, цивилизации, мирозерцания. Войдем в какую угодно семью и станем наблюдать ее; после некоторого промежутка времени всякая семья неужержимо начинает собираться «в гости»: ей нужно «отдохнуть», т. е. отдохнуть «друг от друга», от самого начала «семейности». Явно, что оно утомляет; или напротив – «дом» ждет к себе «в гости». Если вы скажете, что это – естественное общение, вы ошибетесь. Смотрите зорче: перед «гостями» или «в гости» в семье сгущается какая-то атмосфера раздражительности; прошли «гости» – атмосфера освежела, и становится возможно еще «терпеть» семейность недели две, месяц. Собственно, это начало распада, которое есть решительно почти во всякой семье; «друг дома», с которым проводит досуги жена, или «вторая семья» у мужа есть только дальнейшее развитие этого «сами в гости», к себе гостей, «скуки» семейной. Присмотримся зорче, чего ищет муж во «второй семье» и отчего, раз она есть, он, торопливо и пользуясь всяким случаем, спешит в нее? Всё это – страшно, но и всё это любопытно. Ищет ли он здесь красоты, молодости? Не всегда. Но *всегда* он ищет здесь *оживления*, большей *одушевленности* себя, собственно. Вот тайна «вторых», «третьих» семей, как и пошлостей «волокичества». Всё это – «сало» нашей цивилизации, которое, однако, любя человека, мы должны разгрести руками, изведать, пытаться умом. Мы не имеем активной семьи – вот где узел всего; мы не имеем и никогда не было у нас религиозно-активного ощущения самого ритма семьи – таинственных, совершающихся в ней счленений в «мужа» и «жену», расчленений в «отца» и «ребенка», в «дитя» и «мать». Но «в доброе старое время» был, по крайней мере, инстинкт догадки, что это – что-то «религиозное», и он вносил поправку в характерно-пассивное отношение к реальному существу брака подчеркнуто-«бесплотных» религиозных учений, какие мы исповедуем ныне. Инстинкт заглох во времени, устал действовать; а среди веруемых нами учений стоит загадочным сфинксом ритм пола, начало «кровности», идея и ощущение «родства». Это – «естественный закон»: вот краткая и бессодержательная мысль, далее которой мы не углубляемся и не имеем фундамента, чтобы углубиться в эти отношения. «Естественный закон», из которого «естественно же» выпадаем мы во «вторую» и «третью» семью. Есть ли это «таинство», «религия» – никто этого не решается сказать; есть ли это «грех» – мы также боимся сказать, опасаясь вступить на первую ступень скопческой доктрины, за коей ранее или позже придется пройти и всю «лестницу» печальной и ужасной философии. Эта неясность обняла и церковный канон. Он остановился в нерешительности и дал брак человеку, но отнес смысл «религиоз-

ного таинства» к номинальной его стороне, к «слову» о браке, к внутрихрамову «брако-глаголанию», оставив вовсе без объяснения, без определенного «да» или «нет», «благословения» или «проклятия», выполнение брако-глаголания, т. е. самое брако-делание, брако-исполнение.

Хотя совершенно очевидно, что слова: «Да прилепится муж к жене, и будут два в плоть едину» – обнимают именно реальную липкость полов и не имеют вовсе в виду номинализм, «слово-глаголания», – однако всё каноническое законодательство, все нами содержимые ралигиозные учения облепили именно «слово-глаголание», не пророняя никакого луча в самую вещь брака, реальный *ритм* пола. И это умолчание, которое так легко было принято за отрицание (вульгарно и ложно постигаемый аскетизм), при замолкших инстинктах, и породило факт сперва физиологического воззрения на пол и потом тотчас вслед за этим пассивного «несения» непонятно почему «вечной» и «неразрушимой» семьи как некоего жизненного «креста». «Ношу» всё и снимают во «второй» и «третьей» семье. Мы боимся, что мысль наша всё-таки темна: мы усиливаемся сказать, что нет среди веруемых нами учений такого, которое обвевало бы мыслью и радостью и существо пола; дало бы понимание его, благословение ему, благословение именно его реальным секундам и точкам. Без этого же как эмпирический факт он, естественно, засорился в веках, пошел в «терний», произрастил из себя «волчек» и всякую «ненужную траву» – именно тот каждому из нас постылый брак, типично пассивную семью, без игры солнечных лучей в ней, без солнечных молитв, здесь льющихся. Все наши религиозные представления со времени работ александрийских неоплатоников (знаменитейший из них, Плотин, «стыдился», «отрицал» свое тело, даже до запрещения срисовывать с себя портреты) стали усиленно и подчеркнуто бесполоыми; «скорби» падения западного римского мира, так естественно исключают «брачное торжество», еще усилили это направление. И вся последующая катехизация христианства ушла в разработку «предвечного слова» – только «логоса», но не того «бара» – «сотворил», которое стоит первой строкой в Библии, и не во-«площения», которое составляет первый глагол Евангелия. Ни Вифлеем, ни «бара» не получили для себя соответствующего катехизиса. Удивляться ли, что «пол», усиленно и подчеркнуто исключенный из «дыхания» религии, и не «пронизывается» этим дыханием, т. е. он не высвечивается религиозно, и мы имеем как «пассивную» семью, с одной стороны, так, с другой, и брак лишь номинально-религиозный (в секунду венчания, а не в течении своем).

Но будем еще наблюдать и собирать факты, где отражается печальный дефект самих доктрин. Во «второй», в «третьей» семье муж нежен; он не лукавит; он заботлив – по крайней мере, относительно, насколько способен. Вот на что следует обратить внимание. То есть через посредство «второй» и «третьей» семьи он восстанавливает настоящие черты брака, потерянные дома; и ясно, что ни второй, ни третьей семьи не было бы у него, если бы первая семья сохраняла в себе черты брака, т. е. на тридцатом году со-

вместной жизни она была активна, как и на тридцатой неделе. Вот что потеряно, вот что лежит в основе всего. Муж ли, жена ли от тускнеющего в годах номинализма и фикций брака – иначе как номинально и фиктивно и не существующего у нас – вечно уходят в реальное его существо, «в тайну», «в любовь», «в нежность», «в заботу», «в правду» – где-нибудь на стороне. Тут «сторона» –

За рекой, на горе,

– вовсе не значаща в себе: она в себе не несет никакой силы, прибавим – никакой лжи; первая ложь и всякая сила почилла в первой семье, оставленной, – именно в отрицательных ее чертах, быстром в ней исчезновении реального существа брака, при сохранении его скорлупы и имени.

Счастливых семей, т. е. верных подлинно, в сердце, – еще гораздо менее, чем думают. Буквально это есть редчайшие исключения; но они есть, и, присматриваясь там и здесь, сейчас можно узнать такую семью. Это – оазис, заброшенное живое зерно среди мертвой (в сущности) ткани брака; она никуда не спешит, ни к кому не «собирается» и к себе никого не «ждет». В ней есть какой-то свой собственный свет, тепло, поэзия. Часто это бывают молчаливые семьи, т. е. всё шумливое или, по крайней мере, всё суетливое исключено из них: их члены «копаются» друг около друга, т. е. заняты каждый своим делом, но «около» друг друга, непременно в физическом почти касании.

Сбиты в «кучку»; и свет, и теплота здесь, бесспорно, «животного», т. е. «живого», характера: это даже заметно по небурности всегдашнему отсутствию «парадности» в таких «животно-теплых» семьях. Долго и внимательно изучая их психический склад, всегда можно заметить, что – опять в инстинктах ли, догадках или в какой-то теплой атмосфере дыхания – но у них «религиозность» и «святость» брака продвинута несколько дальше, чем обыкновенно, и несколько вглубь, т. е. хотя чуть-чуть, но у них значение брака отошло от исключительно и строго номиналистического его понимания, продвинулось в глубь самого предмета. Например, у них заметно религиозное чувство детей – религиозное чувство самого рождения. Это сказывается в записочке, извещающей о «прибавлении семейства», в способе приглашения на «крестины», неуловимо – но скажется какой-то торжественностью во всём этом, вовсе отсутствующей в пассивных семьях, где рождение почти также скрывается, оно составляет такую же «неловкость», как и венчание. Мы нашли узел разграничения: пассивные семьи как-то стыдятся реально-«животного» в браке, активные как-то сорадуются ему и почти выпячивают его наружу. За этим всё остальное в тех и других – общее.

Если мы обратим на это «выпячивание» в себе животной стороны внимание, мы наблюдаем, что в активных семьях, «животных», есть чувство серьезности, если не религиозности, разлившееся на самый ритм брака, его реальное и длительное существо. Момент венчания – забыт; подробно-

сти ухаживания – тоже; ясно, что брак держится самым ритмом своим, тем странным и, бесспорно, даже для наблюдения заметным «поднятием духа» семьи при всяком, напр<имер>, новом рождении – пусть это связано с набегающими на лоб морщинами от забот, труда, от страха, что семья уже становится «обременительна», «непосильна» для единственного часто работника. Не забуду окрика на кондуктора одной «чуйки», ввапшей в «вагон» конки (в Петербурге). Кондуктор рано дернул конку, когда «чуйка» не успел еще вскочить, и больно зашиб ему почему-то палец: осматривая и пожимая палец, он закричал ему как-то жестоко-несносно: «Вы мою семью не будете кормить, когда меня изувечите!» Ясно, что боль и даже возможное увечье в самую секунду боли почувствовались как только задержка или помеха ритму семьи, здоровью жены, новым и новым рождениям. Вот «отец»-кормилец, – прототип и идеал вообще отца.

Великий дефект решительно всего нашего мирозерцания лежит в расторжении и отнесении на противоположные полюсы кажущегося «идеального» и кажущегося же «животного». Оно стало «общим местом» наших суждений; начавшись религией, овладев философией (особенно с Декарта, по коему животное есть «автомат механический»), оно подчинило себе и практику будней нашего бытия. Это расторжение не только губит животное в нас, т. е. «живое» и самую «жизнь», изъыв из нее «идеал», «свет», «просвещение», но и обратно: оно внесло безжизненность в наши предполагаемые «идеи», бессочность, бескровность. И даже больше: это ввело подлог в наш «идеальный мир», заменив в нем кровные мысли фикциями, («в которых не было бы ничего земного и грязного»), – и нет в них ничего, кроме лукавого обмана и нас, поддающихся на этот обман, обольщаемых его «чистотой». Мы поклоняемся пустоте; в то же время не поклоняемая более жизнь, естественно, сперва мутнеет, потом дегенерирует, «обратно развивается», становясь «рудиментарным привеском» высоких фикций нашего бытия. Но тайный нерв этого расторжения, для коего нет никаких оснований в Библии, которое отвергается великим и потрясающим словом евангелиста: «Слово – плоть бысть и вселися в ны», – этот нерв всё-таки лежит в катехизических частях христианства, через внесение в них *νοῦς ποιητικὸς* Аристотеля – «творческого разума», с которым они и отождествили существо Божие, изъыв и противопоставив этому существу «плоть», вопреки глаголу «яслей», «Вифлеема», «стад животных», окруживших рождение Спасителя, и поклонившихся Ему «волхвов» «с Востока». Бесспорно, что в существо христианства («воплощается») входит именно просветление пола и полового; что тайна – почему Слово предвечное не сошло на землю «по радуге» или не «слилось» с логическим сознанием какого-нибудь раввина, но избрало «материнские» до этого пути, в их подробностях и частностях, – очевидно, это содержит в себе такое освящение начал «материнства» и «семьи», о коем лишь смутно гадали многодумные «волхвы», не смея надеяться, – и в Вифлеем они притекли «поклониться» исполнению своих дум (см. у Геродота о Хаддее и Египте). Вот евангельская часть освящения «брака», в его реальном существе, не только не противоречащая положительному ветхозаветному уче-

нию о поле, но и раздвигающая его до небесных черт. Но, мы говорим, «Разум» Аристотеля всё это рано выгеснил; и именно вифлеемская часть Евангелия не получила себе катехизиса. Вопреки объявлению: «Слово – плоть бысть», мы разорвали «плоть» и «слово» в себе и у себя и отнесли их на противоположные полюсы. Тотчас, как это совершилось, брак свелся к номинализму и семья – к фикции; без света религии в таинственных «завязях» бытия своего человек неудержимо стал загнывать в них, и «европейская» цивилизация, именно и только «европейская», неудержимо расплывается из «пассивного» брака просто в проституцию. Нет огня, нет таинственного и жгучего огня, стягивающего человека в «брак», – это так очевидно, и это очевидно только в Европе, с ее начинающимся «вырождением»! Мы изнутри похолодели, залив внутри себя святой очаг Весты и на месте священных ему жертвоприношений устроив своз нечистот. Вот узел европейской цивилизации, наших философских дефектов, и скорбей нашего дня – включительно до «съезда сифилидологов», недавно бывшего и связь коего с самыми фундаментами нашей цивилизации почему-то никому не пришла на ум. Но где же исцеление от этих скорбей?

В восстановлении «ветхой деньми» мысли брака. Мы отметили, что у девушек есть целомудрие, потому что есть уважение к полу и «тяжелодумность» в его ритме. Это уважение, существующее только как инстинкт, т. е. непрочно и эмпирически, возведем к абсолюту – и мы получим целомудрие и вместе живость брака, которые мечтались лишь в немногих случаях и редкими идеалистами человечества. Прольем религию в самый пол; ощущение высокого и чистого, что уже сейчас мы соединяем с религиозными отношениями, внесем это ощущение, в его незагрязненности и святости, в самый пульс своего бытия, кажущуюся «животную» его часть – и мы выветимся изнутри себя, религия брызнет из крови нашей, в сочных и кровных ее чертах, взамен теперешнего религиозного номинализма и индифферентизма. Мысль брака именно в этом: нигде не сказано – «венчание есть таинство», да и само собой разумеется, что никакое «слово-глаголение» не есть таинство, потому что оно «не» таинственно, «не» мистично, потому что оно до глубины постижимо и до дна рационально. «Таинством» назван «брак», т. е. самое прохождение жизни брачной, что открывается назавтра после венчания и оканчивается с могилой; «таинственные», нерациональные, «мистичные» расчленения человека в семью, вчерашнего юноши – в завтрашнего «отца» и «дитя», вчерашней девушки, – в «дитя» и «мать». Вот – тайна, вот – непостижимое, и вот – религия. Но, в общем, это ускользает от нас и, стоя очень серьезно и торжественно в церкви в секунду венчания, мы назавтра после него начинаем

...игры Вакха и Киприды.

и продолжаем их 40–50 лет будто бы «в семье» и «брачно». Совершенная иллюзия: «венчание» есть таинство в лунном, зависимом, обусловленном смысле от падающих обратно на него лучей из «брака», как жизненного «счленения», которое уже имеет природу таинства в его оригинальном, нео-

бусловленном, солнечном значении. И вся торжественность и серьезность настроения принадлежит 40–50 годам жизни, а не минуте венчания. Как только мы об этом догадаемся, горячность и чистота минуты венчания разольется в пульс жизни, и так же невозможно станет «бегство» из семьи, нежелательно – как редко случается или никогда не бывает бегство «из-под венца». «Венец» – у нас дома; это «ветхий деньми» венец, данный человеку при его созидании. Что такое «жизнь»? «Творение» (шестидневное) окончилось, когда сотворенная последняя вещь понесла в себе «дыхание жизни» и стала «творческой», т. е. «суббота» мироздания перешла в «субботу» брака, продолжающую мироздание и по сей час –

По вечным, великим,
Железным законам,

в коих от Адама и поднесь мы –

Круг жизни свершаем.

Вот брак в его всемирном и религиозном значении. Инстинкт не обманывает девушек, и нам нужно вернуться к их инстинктам. Быть оскорбленным «в лице» – менее, чем уничтожиться в точках, для коих, как «скверны», мы ищем «скверного помещения». Вот родник проституции, которая залила наш христианский «бесплотно-возвышенный» и, в сущности, «возвышенно-фиктивный» мир. Вернемся же к браку: «венец» – у нас в дому; и «венчание» в его торжественно-религиозном значении настает в каждую «субботу» семейного ритма. Мы понимаем, мы догадываемся, что при этом воззрении, раз оно перелилось на ощущение, семья не может похолодеть, «утомить» в потоке лет, как она не похолодеет через шесть дней в седьмой после венчания. «Муж» – «жена» религиозно ощущают себя в ритме счленения своего: бегущие года и наступающая старость уже так мало значительны при этом становятся, что не могут пошатнуть чувства, как они пошатывают всегда действительно «животные»

Игры Ваха и Киприды

и «физиологию», под углом которой нами единственно усвоен «брак». В самом деле, мы всё в нем перепутали и смешали: слово-глаголение, «венчание» есть «таинство» и «религия», но почему-то сейчас после него начинающееся есть «животное», «грязь», «нечистота», «физиология». Нам даже не придет на ум, для чего позвана церковь и почему, позванная, она пошла и предстоит «физиологии». Все перепуталось у нас, потому что всё забыто. Напротив, что венчание есть таинство в лунных лучах, а «жизнь», «40 лет» есть таинство же в солнечных лучах – из этого объясняется, почему церковь и позвана, и почему она «пошла», «предстоит». Религиозность счленений рождает религиозность и расчленений. Почему дети должны «почитать» родителей? Как-то особенно почитать, религиозно, а не «благодарить» только

за квартиру и стол? Все это непонятно с физиологической точки зрения, как и с точки зрения «поэзии»,

Игр Вакха и Киприды,

и начинает быть понятно, как только «венец брака» из церкви вносится в дом и высвечивает его, каждую хижину всяких убогих, но любящих людей церковным светом. Дети суть религиозные существа и находятся в религиозной связи с родителями по религиозности их рождения. Разбежавшиеся слова одной молитвы, связи которых мы не понимаем. Но лишь в этой связи они постигаются, т. е. постигается существо «ребенка»; связь «неразрываемая» мужа и жены; любовь, которая обещается и должна течь «до гроба», не пошатываемая «болезнью», «старостью». Всё это в чертах своей требуемой вечности и требуемой чистоты суть религия; но, значит, есть уже религия, ритм пола, о чем, однако, мы имеем лишь сбивающиеся представления – и вина этой сбивчивости лежит в номинализме брака.

Книжка г-жи Лухмановой, исполненная глубокой и прекрасной тревогой о женщинах, о детях (см. некоторые главы о бесприютных детях, приютах), дала нам повод напомнить, где узел этих тревог. С великими надеждами на будущее мы смотрим на женщину, мужчина так погрузился в свои «гражданские скорби», что ему «некогда» и подумать, что такое его «я» и «где» оно. Женщина – сосредоточеннее; правда, сейчас и она мятется, «перебегает холодный двор», кутаясь в «платочек» или в «плед». Но, по особенностям ли организации своей или своей судьбы, она – существо «об одной думке». «Отечество» для мужчины – это секунда, и он мог принять ее за «удовольствие»; для женщины ее «материнство» есть *процесс*, и такой сложности и труда, что его невозможно было смешать с «удовольствием». Культура наша, цивилизация, подчинясь мужским инстинктам, пошла по уклону специфически мужских путей – высокого развития «гражданства», воспитания «ума», с забвением и пренебрежением, как незначашего или низкого «удовольствия», всего полового, т. е. самых родников, источников семьи, нового и нового рождения. Всё это умалилось, сморщилось; всё это, прежде всего, не обдуманно. Мы можем представить себе, наоборот, целую культуру пола. Те глубины проникания и внимания, которые мы сейчас отдаем

...петличкам, выпускам...

которые весело разбежались по всем швам нашей цивилизации, чувствуя, что под ними – фундамент, за них – время, «о них существует и движется эпоха», – эту силу внимания и забот мы можем положить на пол и половое. Мы культивируем ум; мы также можем культивировать пол; возьмем ли мы школу, возьмем ли мы устройство воинской повинности, да и весь строй нашей цивилизации, односторонне мужской, т. е. неуравновешенной, – мы увидим, что жизнь пола везде пренебрежена, что она нигде не была принята во внимание, просто – о ней не было вопроса, она не была замечена, как именно «незначашее удовольствие», естественно сторонящееся перед «серьез-

ной задачей» «вздусть соседа» и «отнять у него Эльзас-Лотарингию». Как мы уже заметили, все европейские народы или вырождаются, или начинают вырождаться, и в то время как внутри их совершается этот процесс под односторонностью «мужских» интересов, они захватывают или усиливаются захватить кусок земли у соседа. Кусок «земли»... Скоро европейским народам надо будет так мало земли, как мало ее нужно для гроба; и, кажется, именно в этот момент они особенно будут пылать желанием «овладеть всей землей», провести до края ее свои «легионы» и «знамена». С «землей» вообще потеряна их связь, и она потеряна в «материнстве». С высоких культурных точек зрения «земля» и чувство «земли» есть именно материнское чрево и чувство этого чрева: так глубоко они связаны, почти сливаются. Земля – «кормилица», как «кормилица» и мать. Но мать – это «Ева», «ожизнь»; «высокая жена», «Сарра», в противоположность «Саре», «госпоже», каковое переименование было отмечено Богом в миг заключения завета с человеком.

Вот где открывается перед женщиной великая задача. Это – задача переработать нашу цивилизацию, приблизить ее к своему типу; овлажнить сухие ее черты влажностью материнства и краткую «деловитость» – негой и позней дитяти, так и хочется добавить – его безгрешностью и святостью. В самом деле, эта задача не только культурная, но и религиозная: через «материнское чрево», эту таинственную «землю» бытия нашего, может пролиться религия «ощущений», взамен религии «сознания», которую одну мы имеем в своем богословском номинализме, в поклоняемом *νοῦς ποιητικός* Аристотеля. Кто же не наблюдал, что, поднимаясь из «девушки», в «жену», всякая женщина почему-то и как-то, но становится религиознее; что «рженица» после великого труда и страдания высвечивает какой-то явно новой, святой влагой теперь лучащихся глаз; но вот – она поднялась и, еще слабая, шатаясь, зажигает лампаду около колыбели младенца, иногда зажигает ее впервые в жизни. Всё это – инстинкты, и тем они драгоценны, что тут нет обдуманного и намеренного; это – религия, и скорее хоронящаяся, стыдливо затаивающаяся. Изнутри поднимающаяся вера; внутреннее, из «чрева» идущее, разогревание человека; возжигание вновь в нем очага Весты. Задача женщины, объединив эти инстинкты, догадавшись об общем их смысле, и состоит в том, чтобы стать жрицей (священной, госпожой, Саррой) любви взамен ее «проходимки». Тут всё принадлежит тайному и молчаливому ощущению: тенденция к серьезности, которая уже есть у целомудренных девушек, и может стуситься до высоты и порыва молитвы. Мы постигаем без труда, что «свято» зачинаемое, без загнивания в узелке бытия, и примет в природу свою начало святости, совершенно противоположную той, какую получает младенец, зачатый среди

...игр Ваха и Киприды.

Ибо если мудро-проницательное словцо наших простолюдинов о человеке, что он «каков в колыбельку – таков и в могилку», то, собственно, настоящая мудрость этого выражения читается так: «Как зачинается человек – так в этом направлении до могилы и продолжается». Ибо секунда его зачатия –

естественное построение ноуменального плана его души или по закону «греха», и тогда «в смерть» (моральную, но частью и физическую), или «в молитве» – и тогда, конечно, «в жизнь». Тут – и никогда еще, еще нигде – хоть на секунду, но соединяются «пуповиной» земля и таинственное, не астрономическое, небо: ибо огонек новой, тут зажигаемой жизни – «не от сего мира», он «в стихии» ниспадает, но сам вовсе не из «стихии», а откуда-то и тоже не от астрономических «звездочек», от каких-то лилейных частей мира. «Бог взял семена из миров иных и насадил сад свой, оттого и начала жизни постигнуть нельзя; но всё, что живет, живет ощущением касания своего таинственным миром иным». Удивительно, что, сказав устами старца Зосимы эти многодумные слова. Достоевский не догадался продвинуться немного вперед и указать топографию и хронологию этих «касаний», как и другой поэт, написавший совершенно тождественные слова:

Он душу младую в объятиях нес...

– и не догадался, как близок и прост факт, ноуменальное значение коего он инстинктивно выразил. Великие инстинкты, тем более драгоценные, что они непреднамеренны и даже вовсе без догадки, к чему относятся. Но мы, видя лучащуюся мать, и как она зажигает около колыбели лампаду, легко догадываемся, где, в чем и как человек касается «мирам иным» и слушает

Звук песни святой.

Без слов – но живой.

Читатель видит, что мы вовсе не «наобум» заговорили, и не «воспользовавшись случаем», но сообразив дальние и вековечные инстинкты человечества, мириады подробностей, которые все падают в одну точку. Теперь мы лишь довершаем эти думы, объединяем инстинкты, удаляя «брашна и пития» из таинственной секунды ноуменальных касаний и требуя, как окружения, для нее молитвы, религии. Собственно, это уже и есть религия, но пока – инстинктов, и для этих инстинктов нужна бы целая культура. Мы указали на одну подробность – отнесение начала брака к состоянию невинности; вообще направление культуры, или пока индивидуальных усилий, всё должно быть направлено к удалению отрицательных ингредиентов из положительнейшего акта – «волчица», «терний», «смрада», «гари» и, в последнем анализе, «греха» и «смерти». Он должен быть центром особенно светлого и безгрешного настроения; замечательно, что и сюда есть уже тенденция инстинктов: смятение, страх, отвращение и вообще всё, что «в смерть», как-то гонит от себя, отодвигает, как не совмещающийся с собой таинственный акт. Но и этот тайный инстинкт нужно возвести к апофеозу, т. е. нужен некоторый лучащийся нимб настроения, выход из гнева, зависти, уныния, вход в кротость и «примиренность со всем миром», чтобы в это светлое пятно и ниспал «огонь» новой жизни, которая или будет мучить людей 40–70 лет, или их ласкать и им пособлять, войдет в бытие общечеловеческое отравой или лекарством. Замечательно, что опрос брачующихся в секунду венчания о «люб-

ви» и «непринужденности» уже включает, отдаленно и косвенно, эту мысль; т. е. так как брак, по нашему определению, течет 40–50 лет со всей тяжестью и чистотой в каждом его ритме секунды венчания, то «любовь» и «непринужденность», возведенные к апофеозу, и образуют светлый нимб, о коем мы говорим. «Потому и рождаемое свято»... будет «в свете». Мы только договариваем всеобщие инстинкты – возвращаем номинализм к реализму; кстати, ведь «вещь», «дело», вызвала все непонятные теперь *potina*, коими окружено «таинство» брака, т. е. в «вещи», «деле», лежит уже существо и мысль всех этих *potina**. Но всё это сейчас забыто, похоронено под мусором веков, под шебнем разрушенных цивилизаций – и так глубоко, что именно в нимб положительнейшей секунды человеческого бытия какой-то демон увлек нас внести мысленно «жало смерти», «дух отрицания», и, естественно, «жалимые» им – мы умираем, «вымираем» («проституция», «съезд сифилидологов», «пассивная», разваливающаяся семья). Назад, и как можно скорей назад из этого искусно прикинувшегося демонизма!

«Жрица любви», «владычица жизни», носительница «посево» истории, конечно, – всегда «*casta*», «*diva*»**, т. е. черты особой непорочности и религиозной торжественности ей особенно присущи. Вот секрет тоже инстинкта, с коим г-жа Лухманова потянулась от «мордочек» к «лицам». Мы говорим, что доверяем всемирные инстинкты, ибо то, над чем злбно смеется автор указываемой нами книжки, – все, кому дорого существо человеческое, втайне орошают слезами («Плоды просвещения», «Крейцерова соната»): кто же из нас не плачет о потере «религиозно чувствующей себя» матери, «религиозно себя сознающей» жены, «религиозно воспитываемой в материнство» дочери-подростке, и вообще что в нас и около нас «мордочки», а не «лица»? Но «корень вещей» глубже зарыт, чем догадываются: хоть чуть-чуть, мы его даем прозреть; хоть в кой-ком западет наша мысль! И кой-кто поправит «листок» на засыхающем «дреve жизни». Здесь «дело культуры» возможно, ибо оно не требует «громов» и «пушек»; это – тайнотворение жизни, и оно может быть безмолвной и затаенной религией, остаться внутренней «молитвой» и теплотой, без наблюдаемых знаков.

НЕЧТО ИЗ СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ

...И вселит Бог Иафета в шатры Симовы.

Бытия

Существует предвечное «отечество»; есть вечное «материнство». Что такое Библия? Книга «отчеств». «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова» – вот формула Израиля, пронесенная без перемен в блужданиях между Мемфисом, Ханааном, Сионом, Вавилоном, Парижем, Вильною: т. е. Бог Ав-

* имена (лат.).

** «чистая», «богиня» (лат.).

раама, «родившего» Исаака, Исаака, «рожденного» от Авраама и «родившего» Иакова; Иакова, «родившегося» от них. Но и помимо этого: с самых же первых глав и до очень поздних Библия местами переходит прямо в исчисление рождений, в необозримую генеалогию, ветвление и ветвление человека. Это какой-то словесный «дуб Мамврийский», так и хочется поправить – «дуброва» Мамврийская, и шумящий в ней священный ветер. Индивидуум всегда в ней взят в точке счленения с «суком», на котором сидит; и вся полнота внимания остановлена на точке тех новых, возможных «счленений», где от него выбежал или мог бы выбежать свежий лист. Мы говорим о том, как Библия высвечивает не в том или ином речении, но в колорите и мелодии необозримых святых страниц. Но вот и из среды «речений» одно-два ярких:

Иеффай возвращается победителем; в радости он дает обет посвятить Богу «во всеожожение» то, что выйдет первое ему из дома. Он предполагал корову, барана; но выходит дочь – единственная. Какой ужас; но обещание перед Богом есть уже дело, и вот дочь утешает отца: «Отец мой, ты отверз уста перед Господом и делай то, что произнесли уста твои. Но только сперва отпусти меня на два месяца: я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Всё далее происходит соответственно обету. Казалось бы, какая тема для размышлений, скорби, недоумения летописца, но он вписывает только одну строку: «Так она и не познала мужа» (Книга Судей, глава 11, с. 39).

Это – вечная забота Израиля, и Библию также можно назвать книгой «познаний» в этом особенном смысле, как и книгой «отчеств». Вот еще одна запись: война с филистимлянами; войска еврейские разбиты; взят в плен и увезен ковчег завета; убиты Офни и Финеес, дурные сыновья первосвященника Илии; и, наконец, сам первосвященник, получив известие, упал навзничь и умер. Казалось, весь Израиль разорен, как племя, как государство, как «святылище», что же записывает летописец? «Невестка же первосвященника была беременна и уже перед родами. И когда дошло до нее известие, то упала она на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: не бойся, ты родила сына. Но она не отвечала и не обращала внимания» (т. е. была мертва) («Первая книга царств», глава 4, ст. 20).

Вот окружение «ковчеза завета». Его нет давно; от храма Иерусалимского осталась одна «стена плача»; но «плоть» израильская не только живет, но и решительно не угасает, не тускнеет, и именно в плотском своем свете. 4000 лет – и никакой жизненной усталости; ни тени пессимизма: и до сих пор какой-нибудь «Хаим из Вильны», бредя домой с удачной или неудачной покупки и увидев свет в окне хотя бы «язычника», останавливается и произносит: «Благословен Бог, сотворивший свет». Этого обычая нельзя навязать: он так подробен, за исполнением его так трудно проследить, что, без сомнения, давно бы исчез, если бы не был каким-то внутренним порывом этой неугасающей в истории плоти.

Для историков, европейских, Израиль и до сих пор составляет загадку; до чего далека эта загадка от разрешения, можно судить по одному замечанию, содержащемуся в «Объяснениях на книгу Бытия» покойного митрополита Филарета Московского. Дело идет об обрезании, этой странной детской операции, которая и до сих пор сохранена непоколебленной у евреев. Присматриваясь к «высвечиванию» Библии, без труда можно заметить, что забота и страх обрезания господствует в ней над вниманием к пророкам и послушанием Моисею, над Сионом и самой целостью «12 колен» (из них одно, Вениаминово, однажды едва не было истреблено); что всё это, вся 4000-летняя «река Израиля» и вытекла из маленького родничка этой странной операции. Но замечательно, что митрополиту Филарету уже она представлялась с чисто анатомической только стороны, как гигиеническая профилактика: «К учреждению обрезания следует полагать две причины: одна образовательная и другая преобразовательная, или пророческая. Первой причиной можно считать: предупреждение некоторых болезней, чистота тела, приличная священному народу, приготовление к обильному чадорождению; в сем последнем смысле изъяснял обрезание Филон (еврей из Александрии и вместе философ платонических тенденций, один из великих, если не самый великий авторитет юдаизма). Пророческое же, или прообразовательное, значение его выступает лишь по воплощении Бога-Слова». Это больше чем непонимание; это – отрицание. «Ветхого завета не было», или «он не содержал в себе ничего» – вот смысл приведенных слов; судя по ссылке на Филона, впрочем, уже к началу нашей эры смысл обрезания был совершенно темен самим евреям, и оно держалось и удерживается лишь косным упорством раввината. Между тем в Библии есть одно указание на смысл операции: это восклицание Сепфоры, жены Моисея. Важно здесь всё окружение обстоятельств, и мы приведем 5–6 строк. Моисей, только что выслушав Божие наставление около Хорива, возвращается в Египет, откуда бежал было для изведения из рабства своего народа. Значит, совершилось великое решение, не в нем, но о нем и об Израиле; в хлопотах пути Сепфора на время отложила совершение «профилактической операции», и вот прислушаемся к тону как бы далекого и зловещего переката грома: «И случилось дорогою на ночлеге, что встретил его (Моисея) Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросивши к ногам его, сказала: *ты жених крови у меня*. И отошел от него Господь. Тогда сказала она: *женых крови по обрезанию*» (Исход, глава 4, с. 24–26). Итак, один необрезанный малютка едва не произвел поворота в решенной уже судьбе целого племени. «Если же кто не обрежет крайнюю плоть свою – истребится душа того из народа», – сказал Бог Аврааму при заключении самого завета. Итак, «завет» – был: его мысль именно в «обрезании». Собственно, все «обетования» о «наследии земли Ханаанской», о «размножении, как песок морской», лишь прилагаются к иному и главному, сокровенному содержанию обрезания: это – земная сторона, нужная и понятная Аврааму, склоняющая его к заключению

«завета» и, собственно, лишь повторяющая его же тягучие мечты. Это – награда. И есть то, за что награда, – самая «вещь» обрезания, скользящий по крайней плоти нож; но это есть не земная его сторона, о которой никогда и ничего Израиллю не было сказано, как, очевидно, и не нуждающемуся в этом знании. «Ханаан», «песок морской» – «бе» к человеку; «крайняя плоть» – «бе» к Богу.

Скользкий по ней нож есть жест, обряд, процесс полового обручения, после коего «жених крови» обязан в верности – «не уклоняться к богам иным» и в точке и не через точку обрезания. «Обрезанный» есть «обещанный», «священный в завете»; и по точке наложения печати мы не можем сомневаться, что раскрытие завета, исполнение обещания наступает в браке: от этого в Египте*, где также было обрезание, оно совершалось сейчас перед браком, на 17-м году. Замечательны подробности обрезания: в нем, собственно, продольно разрезается кольцо (т. е. перерубается), раздваивается, распаивается одно – в два более тонкие кольца, из коих одно, «край обрезания», носится человеком, носится почти от рождения до могилы, как «память» и «залог верности»; а старое кольцо отбрасывается куда-то в сторону, «испуганно кому-то выбрасывается». «И отошел Господь» – как бы насыщенный, удовлетворенный. «Завет» – конечно, с Богом; но «заветоисполнение», судя по точке печати, – конечно, только в браке, т. е. в браке из «обещания» завет переходит в исполнение, «слово» обручения – в дело мужа, без перемены собственно связанных полукольцами. Отсюда – подробности: кто не может быть мужем, вовсе не может быть израильянином: «Скопец или полускопец в сонм Господен да не входит» (закон Моисея). Таким образом, все «12 колен» суть «сонм Господен», но – слитый кольцом обрезания, и, следовательно, «сонм брачный», «брачующийся»; и именно в точке обрезания, в месте приложения таинственной печати, он становится, если позволительно так выразиться, «сонмствующим Господу». Сейчас тогда объяснятся странные переименования, и именно в миг завета или при его подтверждении: «Отныне ты будешь называться не Аврам (= Господин), но Авраам (= отец множества), и жена твоя не Сара (= «госпожа»), но Сарра (= «высокая жена»); «ты не Иаков, но Израиль» (= «боровшийся с Богом»). Мысль этих переименований в необозримых повторениях разъясняется в символике обрезанцев-египтян. Не «Аврам» ты более; и ты не Сара; для Меня – ты только Авраам, и она Сарра; мое видение лежит на этом втором, но, собственно, главном в вас лице. Отрицание и утверждение, здесь сли-

* Его следы найдены на мумиях. Есть в науке попытка провести мысль, что «еврейское» и «египетское» обрезание не имели ничего общего; варианты взглядов, вероятно, были, но в общей фундаментальной мысли нельзя сомневаться, судя по словам, с которыми евреи, не обрезанные еще во время странствования по пустыне, обратились к Иисусу Навину, прося их обрезать: «Сними с нас поношение египетское», т. е. возможность «укора», «насмешки» над нами, — очевидно, на почве одинакового понимания. Об обрезании у египтян и его времени см. у разных греческих писателей.

тые, выражены в вечном отрицании в египетских изображениях собственно «лица» в человеке, его «головы», на место которой приставляется что-нибудь, какая-нибудь чужая голова, взятая с которого-нибудь животного; «животная» голова – при сохранении и даже богатой разработке собственно человеческого тела, при удержании и даже богатом выявлении Авраама, Сар-ры. Все читаемые в Библии переименования, раздвоения человека с отвержением в нем одного лица и укреплением второго – лица плодоношения, безмолвно всё это сказано до сих пор неразгаданной особенностью художеств в дельте Нила, «священных» художеств. Там и здесь раскрыто лицо завета: то, которое поглотило обетования и ответно за них поклялось в верности, приняв кровавую печать, связав свободу.

Что такое ритм брака? Каждое биение его пульса так кратко, стеснено во времени, что мы можем что-нибудь рассмотреть здесь лишь через фотосферу окружающих явлений. Это – семья; и там – ее родник; секунда, где она возникает из небытия. Семья – ближайшее и самое дорогое для нас отечество; пространственно – это место самых горячих связей; духовно – это место совершенного идеализма, живого, лучащегося. Но в узле этих лучей – неразглядываемое, темное пятно таинственных «прилеплений». В них еще вчера «Авраам», «гражданин», «философ» – разлагается в «отца» и «дитя», вырастает в «отца множества» (Авраам); вчера девушка – сегодня разлагается в «дитя» и «мать». Построение земного человека, начнется оно после этого или нет, уже составит другую, более внешнюю и, очевидно, менее важную, зависящую и обусловленную сторону; замечательно, что тяжесть секунды лежит в чисто внутренней, субъективной стороне саморазложения, и вовсе не в осязательной его стороне. Но обратим внимание на фотосферу. Семья есть, конечно, «животный» союз, точка «животных» счленений мужа и жены и расчленений двух в «животное» же множество (дети). Поразительно, что, при бесспорно «животном» существе, семья имеет бесспорно же мистическое, религиозное существо. Именно, счленяясь и расчленяясь, она померкает в лице, «Аврааме», но в это же время мистическое «дыхание» пронизывает ее и она является каким-то многоглавым Авраамом, «многоочитым», «исполненным внутренним очей» животным. Сплетение «животного» и «религиозного» в ней поразительно, очевидно. Какая скорбь матери о болящем ребенке! ревнивое охранение мужем незагрязненности дома; невольное требование от детей особой, религиозной почительности. Это – начинающаяся религия, это, очевидно, религиозный союз, т. е. уже религиозная связь, – и всё из неразглядываемого, темного пятнышка «счленений». Малейшее загрязнение этого пятнышка раскалывает до глубины семью; дети более не нужны и брошены; кинута жена, или оставлен муж. Здесь полегла такая сила утверждений, которая не выносит внесения в себя никакого отрицания, ни соринки. Как часто жена, узнав об измене мужа, ищет могилы; как часто, с кровавыми слезами, муж губит даже предполагаемо изменившую (Дездемона). В «чем» изменившую? – какой, казалось бы, «вздор». Вспомним глубокую тоску Пушкина при попытках загрязнить его домашнюю жизнь; обратим еще внима-

ние, что у нашего духовенства, которое очень мало занято романтической стороной брака и имеет серьезный и положительный взгляд на плотское соединение, семейный и вообще родственный уклад отличается часто поразительной, трогательной нежностью и теплотой. В любопытном возражении архиеп. Никанора на «Крейцерову сонату» приведено наблюдение, бесспорно несочиненное: что в очень счастливых случаях супруги и внешним обликом сближаются друг с другом, начинают походить лицом один на другого. Тяжесть брака вся лежит в его «животном» ритме: тут он таинствен, мистичен; отсюда его теплота, свет; но если мы сравним добрачные пушкинские

Игры Вахха и Киприды.

с его же послебрачной серьезностью, когда он запел:

Отцы пустынники и жены непорочны...

– мы будем поражены разностью психического воздействия одних и тех же физиологических пульсаций. Мы здесь не должны ничего преувеличивать и ничего уменьшать; должны быть безмерно внимательны, ибо кружимся около глубочайшей тайны бытия человеческого. Пушкин еще легкомысленно становится мужем, не предугадывая духовных последствий; он совершенно нерелигиозен; вся перемена, какую мы вправе против прежнего предполагать у него, заключается в иной точке зрения, в ином и более сосредоточенном ощущении в «прилеплениях» – и невольно, еще легкомысленный вчера, он сегодня становится задумчивее, завтра начинает искать новых книг и совершенно противоположных прежним впечатлений: Пушкин «возрождается» – как и отметил это в чудном стихотворении – и возрождающая сила лежит в сосредоточенно-тяжелом, внимательно заботливом отношении, однако, к совершенно и бесспорно плотской пульсации. Угол зрения у него меняется; и гораздо раньше, чем рождается у него ребенок и начинается полная семья, мы видим его уже другим. Лермонтов, который постоянно сосредоточен на этих таинственных «мгновениях» и вся его поэзия есть только преобразование их почти до размеров целой вселенной, – постоянно и неразрушаемо, неотвлекаемо серьезен:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой,
Да кидаясь в бой опасный,
Помни мать свою...

Это – открытие в нем «отечества»; конечно – это «отец» поет, «отец множества» по Божьему переименованию Авраама, распустившийся до неги матери, до «слияния с ее лицом», по определению архиепископа Никанора. Мы хотим сказать, что в «секундах» брачных, которые всегда дают или имеют силу дать дитя, есть, кроме этого, мистически-духовный свет, кото-

рый при сосредоточенности на них ума или воображения подчиняет себе эти способности и преобразует их глубоко до неузнаваемости, до противоположности с прежним: именно они разливают какое-то «ветхое деньми» отчество, «древнее» материнство на теоретическую часть духа. Это как с матерями физиологически случается, что у них «молоко бросается в голову»: так свет «отчества» в миги таинственных разложений «ударяет в голову», и человек, вчера певший об

Играх Вакха и Киприды,

завтра начинает петь –

Отцы пустынники...

Девушка, вчера исполненная романтизма, завтра, став «высокой женой», – серьезнеет; это так для наблюдателя заметно, что лишь от самого поверхностного ума скроется; в «Крейцеровой сонате» есть прекрасное замечание, что через неделю после венчания Позднышев увидел жену задумавшейся и, подойдя, хотел опять начать «играть» с ней, но, отведя его руку, она горько зарыдала. Смысл «Крейцеровой сонаты» всё-таки и до сих пор не раскутан; вполне удивительно и ошибочно, что его не захотел раскрыть сам автор, по видимому, «skonфузившись дела». Тайна в том, что половые «миги» при целомудренном и религиозном их ощущении, открывая и в нас, «подобии и образе», предвечное отчество и предвечное материнство, вполне ставят нас на высоту человека; и нет книг, бесед, нет вообще способов познания и чувства, которые так реально и могущественно, обливая этими предвечными чертами второе, «логическое» в нас лицо, просветляли бы его и углубляли. Позднышева зарыдала, ибо она обманулась в целомудренных девичьих предчувствиях; в ней зарыдала «высокая жена» (Сар-ра), которая вдруг почувствовала, что ее мужу ничего не понятно в браке; что для него в нем всё –

Игры Вакха и Киприды...

и никогда, никогда он ее не сделает праведной израильтянкой. Но нам пора перейти от этой минутной иллюстрации к Израилю.

Грустная и святая мгла его, это «облако днем и как бы огонь ночью», есть свет и мгла вечных сочленений под религиозным углом зрения, пролитом на них в «обрезании». «Таинство брака» – которое для нас есть раз в жизни, и память его всё хладеет, – для израильтян есть таинство ритмических биений в браке; из коих каждое имеет всю силу первого и ту специфически религиозную высоту, которую мы перенесли на слово о браке; т. е. для них таинство есть ткань жизни, самое снование ткущего челнока, через который –

По вечным, великим
Железным законам
Круг нашей жизни
Все мы свершаем.

(Гёте).

Позднышева, и всякая целомудренная девушка, всякий в целомудрии блюдуший себя муж (у Толстого – Левин; см. его волнения и чувство покаяния перед браком) смутно это предчувствуют; у наших «купцов», где всё-таки есть много серьезного, на свадебном вечере невеста не танцует: она приурочена к таинству и не должна рассеяться. Вообще инстинкты целомудрия все тянут сюда, на «высоту», и здесь... Здесь мы вдруг начинаем постигать весь семито-хамитический Восток.

«Географическая территория передней Азии есть родина всех трех монотеистических религий» – заучиваем мы в детстве, по учебникам географии; и это так любопытно, что и в зрелом возрасте мы не устаем размышлять об этом, а наука пытается проникнуть в это историческое в своем роде таинство. Сейчас еще один пример – это Рафаэль: он жил в атеистическом Renaissance'e, когда религиозный скептицизм заплескивал даже папский престол. Когда умер папа Николай V, в его комнатах не нашли даже Евангелия: он собирал и умер, окруженный античными рукописями. Едва ли есть причины думать, и по крайней мере никаких биографических данных, чтобы Рафаэль имел иные точки зрения; что же он рисовал?

Дам тебе я на дорогу
Образок святой...

– вечные дитя и мать; почти отсутствие взрослых мужских фигур, или, по крайней мере, не замечательные: дитя и около него иногда еще другое, товарищески-играющее; иногда «завеса» ликов, целый «воздух» ликов, но непременно детских, т. е. с материнской влагой на глазах, едва проснувшихся к зрению мира. Истинно «многоочитая» плоть. Если всмотреться в тайну его живописи, без труда можно заметить, что она и сводится к этой влаге чрева, еще не высохшей на веках, на щеках, на губках детских ликов: она им сообщила ту святость, которую ясно и бесспорно мы читаем у своего 11–13-месячного или двухгодовалого дитяти, если внимательно, часы не отвываясь, станем смотреть на него; и материнские лица снова имеют у него то, невыразимое перед иной живописью преимущество, что, устремленные на дитя, еще как будто продолжают чувствовать его биение под сердцем. Вот его тема; причем он брал сюжеты и пользовался ими со свободой, как Шекспир средневековыми хрониками; во всяком случае бесспорно, что одинаковые сюжеты, и перед всеми художниками посейчас остающиеся, не вызвали ни у одного из них рисунка и колорита, одинакового с Рафаэлем, который почти не хотел и не умел рисовать еще чего-нибудь, кроме матери и дитяти. Итак, то специфическое, что есть в его созданиях, течет, очевидно, не из сюжетов, не из тем вычитанных; но из существа художника, струившегося единственной темой материнства – «небесного» материнства, теперь-то уже мы можем сказать, ссылаясь на колорит его картин. Нам всё хочется сказать, что «отчество» – «материнство» в точности – не стихийной природы: родник этого – не в «красной» глине, образующей состав наших костей и мускулов. Что здесь, а следовательно, и в субъективных разложениях в «отца» – «дитя»,

или «дитя» – «мать», т. е. в самом ритме брака, человек выходит из уз «красной глины», из подневольности «стихиям» и возвращается к древним основаниям бытия своего, небесной своей родины; и что-то «отчужденное» и вместе «ветхое деньми», касаясь «состава бедра его», – производит в нем и содрогание, и сладкое ощущение, и пук духовных и мистических преобразований, который мы отметили выше. Вот даже для нас, для размышляющего созерцания – внутреннее и лишь приблизительное содержание мига, но вернемся же к Востоку.

И для начала войдем в Скинию ковчега, в святилище, и рассмотрим устройство в нем светильника. Вот как «раб Божий», Моисей, передает в 25-й главе «Исхода» повеление устроить его: «И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть он; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него; шесть ветвей должны выходить из него, три чашечки наподобие миндального цветка, с яблоком и цветами, должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви, с яблоком и цветами: так на всех шести ветвях, выходящих из светильника; а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка, с яблоками и цветами: у шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его; яблоки и ветви их из него должны выходить... Смотри – сделай всё, как я показал тебе (т. е. Моисею) на горе» (Синае).

Это – что-то напоминающее Рахиль и Лию, соперницающих в чадородии и берущих в помощь себе служанок Баллу и Зелфу («Бытие», гл. 30). Мы говорим о множестве символов в его устройении, которые все суть символы плодоношения; но взглянем же еще раз на него: «И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампы его – чтобы светили на переднюю его сторону» (стих 37). Вот в миниатюре весь Израиль: несущий как светильник перед собой свое чадородие; «дуб Мамврийский», вечно сочленяющийся, весь состоящий из «стеблей», «ветвей», «миндальных цветов» и «яблоков» (в древности – это возбудитель плодородия у женщин); но, в противоположность нам, с «лампадой» в точке каждого сочленения. Аарон входит в святилище; на нем ефод, священная одежда: «И сделай по подолу ее яблоки из нитей голубого, яхонтового и пурпурового цвета; такого вида яблоки и позвонки золотые между ними кругом: золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом» (Исход, глава 28, ст. 33–34). Мы догадываемся, что если яблоко есть возбудитель чадородия, то «позвонок» – возбуждаемые к чадородию «чресла»; и, по крайней мере, в Египте древнейшим изображением «небесного Нила» служила связка позвонков, с идущими от них зачатками ребер (так называемая статуэтка Didou). В святилище входят только потомки Аарона, не все, но достойные: «У кого на теле есть недостаток, не должен приступать к святилищу: ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена рука или переломлена нога, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу; недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы прино-

сить хлеба Богу своему» (Левий, гл. 21). Это так поразительно: священнослужитель должен представлять целое и чистое тело, и это сливается или, точнее, замещает наше требование «чистоты» веры и «неповрежденности» в ее исповедании. Но требование целостности и чистоты тела стоит на втором месте; «Первое условие, которому должен был удовлетворять священник, есть чистая кровь – священник не мог быть женат на вдове, на бывшей в плену, на прозелитке или отпущенной. Еще строже были правила для первосвященника. Он мог жениться только на девице, предварительно исследовавши ее родословную» (Н. Переферкович. «Талмуд, его история и содержание». Спб., 1897 г., с. 111). Вот странное богословие, в котором они испытываются; и мы ожидаем встретить великие странности в религии.

Она не имеет храмов; «стена плача» есть остаток от единственного, после которого евреи не воздвигают других; синагоги суть училищные дома и дома общественного собрания, без богослужебного в себе значения. Но и в единственном храме в чем же состояло «богослужение»? – вечные «очистительные» жертвы, поутру или ввечеру, по требованию частных проходящих лиц или, в некоторые сроки, за целый народ. Храм есть точка всеобщего для «12 колен» очищения*. При мысли о религии у нас возникает непременно мысль об исповедании: религия есть круг ведения, словесно выраженного; у евреев религия есть необозримый ритуал: это образ жизни – «субботы», «новомесячия», «очищения» и в центре их – «обрезание». Религия у них есть пульс жизни – это очевидно; у нас это есть образ мышления – это также очевидно. Мы видим великое расхождение арийских и семито-хамитических племен; арий есть племя логического выражения; скажем полнее: он выражает в истории второе лицо в человеке, отраженной, лунной природы – родник «наук» и «искусств», «государств» и «гражданства», – везде порядок слова или если и вещей, то через слово выражаемых,

* Замечательно — и, собственно, вскрывает всё провиденциальное значение Израиля, — что источником и первообразом «нечистоты» у евреев, еще от Моисея и посейчас, считается «труп», «мертвое тело». По Талмуду, это — «отец отцов нечистоты» («источник источников»). Вспомним на секунду устройство светильника в скинии, и снова перебросимся мыслью к ритуалу: что же лежит на противоположной точке, в обратном полюсе с «трупом», «мертвым телом»? Да его созидание, т. е. зачатие, миг величайшего одушевления человека. Хотя нигде в Библии не сказано, но из «отблеска», «высвечивания» ее, из вечной радости о зачатии и молитвословии при этом, можно безошибочно заключить, что это-то и есть «отец отцов чистоты» для Израиля; и в ритуале, до сих пор хранимом, есть следы такого понимания. Напр., еврейка, не погрузившись в воду «святой миквы» (нечто вроде общей ванны), т. е. именно в теле не освятившись, не может брачно приблизиться к мужу; равно невеста, т. е., казалось бы, совершенно чистая девушка (см. об этом любопытнейшем требовании прекрасный этнографический очерк г. Литвина «Замужество Ревекки»). Еще любопытнее, что перед браком у еврейки обстригаются все роговые части на теле, напр., ногти до тела, часто с поражением: «в них не течет крови», они «не живы», похожи на «труп». На этом основании шерстяная одежда, т. е. из мертвых частиц, была запрещена при входе в скинию священникам. «Бог» не может обонять трупа, ибо Он есть отец «жизни».

в слове связываемых, через слово преобразуемых и «о слове и в слове живущих». Если позволительна шутка при обсуждении важной темы, мы выразились бы, что арийцы несут свою идею и миссию на кончике носа, горделиво его подымая и всегда на протяжении целой истории всего более страшась, чтобы, проходя мимо, кто-нибудь не задел другого «по носу». Революция и Реформация, эти типичнейшие феномены европейской истории, были битвой «символов» и великим кровоизлиянием из высоко несомых носов. Мы шутим, но тут есть чуть-чуть вековечной правды, и читатель легко переведет краткие строки в обширные размышления и на совершенно серьезные гаммы. Хамито-семиты понесли идею свою и миссию в точке обрезания (финикийцы, см. у Геродота во 2-й книге, также обрезывались), т. е. в точке реального выявления человека, и, если позволительно сравнение, в «лик» же человеческом, но уже «отческом» и «материнском», т. е. в первом и главном, но сокровенном в нас, «не от сего мира», лице. Они не имеют наших «наук», не захотели «искусств», явно отвращаются от «государственности»: они суть ткачи самой жизни, суть таинственные жизнетворцы. Но это ими постигнуто в глубинах, которые совершенно скрыты от ария; и мы можем довериться – постигнуто ими истинно. Эти глубины «обрезания» не суть открывшаяся арию глубь; нам открыты глубины философии, наук, права, широкой общественной деятельности; но мы без труда догадываемся, что все наши глубины лишь плавают на поверхности тех семито-хамитических глубин; и если, конечно, велик и удивителен «Discours sur le mйthode» Декарта, то удивительнее и больше его сам Декарт, «рожденный» и «рождавший».

Религия ритуала и «очищений» есть именно религия жизненной ткани, снований станка –

По вечным, великим.
Железным законам...

Мы одеваемся в эту ткань; мы ею пользуемся; кой-как и сами ткем, но, поверхностно здесь всё видя, вовсе не понимаем «высоты» ткани, ее «доброты», и вообще всё здесь путаем, сажаем узлы, рвем. И тут...

Тут вдруг освещаются для нас все сиро-финикийские «высоты», и становится понятен Соломон, совершающий «курения на высотах»; и оплакивание «девства своего» дочерью Иеффая, для чего она пошла в горы, т. е. на те же сиро-финикийские «высоты». «И не познала мужа», – замечает летописец, как бы она проронила и розлила какое-то священное таинство:

Когда волнуется желтеющая нива...
И ландыш мне кивает...

... тогда я вижу Бога –

это сейчас, в наши дни, – реакция к Израилю; как и Рафаэль есть реакция в сторону «высот»; и ожидания Позднышевой, зарывдавшей, что она никогда, никогда не взойдет на «высоту» брака. Вся Передняя Азия (и с ней сомкну-

тая дельта Нила), эта неразгаданная историками территория, есть территория «высокого» понимания ритмических биений пола, — и одновременно это есть родник, где вспыхнул еще в ветхой древности «лампадами» и от этих лампад зажегся религиозный свет и для всех остальных стран. Но первоначально: почему именно в географическом смысле «высоты» избирались «для курений»? — кто когда-нибудь смотрел в долину с возвышенного места, испытывал, без сомнения, чувство странной, но именно психической, легкости, как бы воздушности себя; почти «крылатости» своего существа*. В Библии мы почти не встречаем идей о загробной жизни, ни о воздаянии там, ни о наказании; и смерть — как она легка, «разрешены ее узы»: «приложился к отцам», «пошел в путь всей земли» (об Аврааме). Не менее странно почти отсутствие идеи греха, по крайней мере как чего-то томительно тянущего долу, «смертного»: самые проступки, порой ужасные, имеют что-то воздушное и легко рассеивающееся в себе. И около этого, как-то странно облегченного, существования — лампы, необозримые, мириады их: точно небо опустилось к земле и это его звездочки повисли над скинией, в скинии, вокруг скинии. Но поразительно: они зажглись вовсе не в одном Израиле, но на всем широком пространстве «обрезания», и, например, мы с великим удивлением читаем у Геродота: «На празднике в Саисе (город в дельте Нила), в одну из ночей, во время жертвоприношения — все собравшиеся сюда зажигают множество лампад, под открытым небом, вокруг дома; причем вместилищем для масла служит чашка, куда положено несколько соли, и сверху плавают светильня. Лампады горят целую ночь, и самый праздник называется Возжением лампад. Те из далеко живущих египтян, которые не попадают на празднество, всё-таки соблюдают эту праздничную ночь и сами возжигают лампы; благодаря этому огни горят не в одном только Саисе, но по целому Египту. Ради чего эта ночь освещается и почитается, объясняется в одном священном сказании» (книга 2, глава 62). В чем бы «сказание» ни заключалось, религия распускающегося лотоса была религией «распускающегося миндального цветка**»; и «благословен Бог, сотворивший свет» — звучит в Вильне, как могло звучать и в Саисе. Но вот Товия, с родиной в Ниневии: его научает, в пути, ангел «истине» брака, и, собственно, мы опять читаем об этих же лампадах: «И возьми часть печени рыбы, и положи ее на огонь курильницы, и покури. И демон ошутит запах и удалится. Когда же тебе надобно будет приблизиться (к невесте) — встаньте оба, воззовите к милосердому Богу, и он спасет и помилует вас» (книга Товита, гл. VI, ст. 17—18). Это — молитва и почти начало ритуала; его заключение мы снова нахо-

* Отсюда, т. е. опять в связи с «высотами» и «высоким» пониманием брака, — идея «крылатых» существ, «окрыленных» изображений, ранее всего появившаяся в Египте и Вавилоне.

** У Диодора Сицилийского — III, 58—59; у Павзания — VII, 17; у Страбона — X, 3, — при передаче характерных восточных легенд, оговорено, что плод миндального дерева и гранатового яблока суть символы плодородия и его органов, мужского и женского.

дим в странной записи Геродота (книга первая, глава 198): «Погребальные песни их похожи на египетские. Всякий раз после сообщения с женщиной вавилонянин воскуряет фимиам; в другом месте то же самое делает и женщина, с которой он «сообщился». Понятие и чувство диаметрально противоположное «низинам» наших ощущений*»; но на что мы хотим здесь обратить внимание читателя – это, что обрывок страницы из Геродота и страницы из Библии сливаются оторванными краями в один цельный лист; один ритуал, один дух, одна «высота» ощущения около одного и того, же мига. Сейчас мы поймем идею устройства Вавилонского храма: светлое, «окрыленное», уже в частной жизни у Товии и вавилонян окружившееся «куренями» и «фимиамом» ощущение, поднимаясь еще «выше», «выше», наконец и создало... Но пусть говорит Геродот: «Это – четырехугольник, и уцелел он до моего времени. Посредине храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии в длину и ширину; над этой башней поставлена другая, над второй третья, и так дальше до восьмой. Подъем на них сделан снаружи; он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема – находишь место для отдыха со скамейками. На самой последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое, прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Никакого кумира в храме, однако, нет. Провести ночь в храме никому не дозволяется, за исключением одной только туземки... Так рассказывали мне халдеи, и они же прибавляли, чему я не верю, что божество само посещает храм и почивает на ложе» (книга 1, главы 181–182). Мы ничего здесь не поймем, пока не обратимся к Товии, не припомним в «Пире» Платона бессильные и торопливые, взволнованные слова об «Афродите Небесной», т. е. о сопричастии чему-то небесному в акте

По вечным, великим
Железным...–

и, наконец, не примем во всё его объеме сделанное нами здесь разделение порядка логического выражения и порядка жизненной ткани: т. е. это есть, в сущности, те же «*idées innées*», «врожденная идея Бога» у Декарта, но в переложении на семито-хамитическую гамму – не идея, но... ткань бытия, в основе самих идей лежащая. Вот «храм Бела», «древнего» Бела: он – то же, что «*De substantia*» Декарта, не большее, не меньшее, не менее истинное, ни более оскорбительное – *то же* без всякого разграничения. Мы «умственно»

* См. «Разбойники» Шиллера, рассуждение Франца Моора: «Что такое отец? что такое я? Для него это был скотский момент, после пьянства...» Не буквально, но мысль — именно эта, и, слышав пьесу, слушая именно эти слова, я был чрезвычайно поражен, как-то дико поражен еще юношей-гимназистом; и признаюсь тогда же ужаснулся и отверг такое представление. Замечательно, что Франц Моор и запирает отца в башню голода: т. е. великое сыновнее неуважение к родителям неотделимо от «низин» представления пола, как израильское «чти отца и мать» есть только приложение и дальнейшее развитие «курений», «фимиамов» и «ламп» около половых выявлений.

развились до великих теологических систем, до «видения всего в Боге» Беркли, Малекбранша; Восток развился «усиленно», до *ощущения* святости, и, наконец, – до ощущения прямой небесности, теистичности в акте созидания самого «лика человеческого», который позднее, через тысячелетия, заговорил – и действительно заговорил – теологиями. Нам хочется ввести эти явления в грубую, обыденную действительность, в свете фактов, непосредственно нами ощущаемых, через призму которых станет яснее тот древний свет. Итак, вот Левин – «не чистый» – как он волнуется, испуган, и несет непорочной своей невесте тетрадку исповеданий: т. е. он тянется к какой-то «чистоте» в ритме жизни. Но что он делал раньше? в чем исповедуется? от чего бежит с ужасом «в брак», как «тайнство»? Дом терпимости – вот обратный полюс храма: он туда относил половой ритм, как в Вавилоне он относился в последний. Два полюса – Восток и Запад, в их соответственном расположении. Что же делает Левин, каюсь, смятенный, робкий? – вступает на первую – третью – десятую ступень «ветхого деньми» храма. Пол может быть выявляем только в браке, т. е. сравнительно с домом терпимости – на «высоте» же, именно на сиро-финикийской высоте; он может быть выявляем только с невинной, любимой и любящей, глубоко нравственно связанной женщиной: т. е. он ищет чистого, незагрязненного себе помещения; он жаждет и действительно образует семью: это уже что-то святое, т. е. опять сравнительно с толпой грязных и «на день» женщин в доме терпимости. Мы видим, что «семья» и «брак» именно и образуют собой «куступы», «скамеечки для отдыха», но по тому самому плану и мысли, как был устроен Вавилонский храм. Небесный брак, т. е. чувство небесного в ощущении брачного ритма, непорочность его, и, наконец, святость – вот куда всплескивается и сейчас, у всех, по крайней мере у всех неразвращенных, половое влечение: как оно серьезно еще для девушек, т. е. для блюдущей еще свою чистоту половины человеческого рода. Половое выявление вне семьи, без любви и уважения – это пугает и потрясает ее, т. е. в меру невинности человек стоит на высшей сравнительно ступени древнейшего плана храма, и, следовательно, план этот абсолютно непостижим только для развращенного.

Вот «дыхание» Востока, повторяющееся в биографии каждого из нас; войдем в дом, «семейный», – и в его отделениях мы откроем кой-что финикийское. Вот приемные комнаты, парадная часть квартиры, куда мы выходим, внимательно одетые, и где ведем речи, внимательно обдуманнные: здесь есть люстры, канделябры – но мы не чувствуем необходимости образа; это жилище как помещение, но еще не жилище как семья. Но мы ищем именно семьи, ее теплоты, ее прекрасной и истинно мистической животной теплоты. Только если мы интимны с хозяевами дома, т. е. если к нам они питают совершенное уважение и особенно доверие к нравственной чистоте, к незагрязненности воображения и сердца – они перепускают нас в глубь жилища, где комнаты меньше, темнее, все неубраннее; и лишь истинного непоколебимого друга вводят в предпальню, в хаос копающихся детей, одетой «по-домашнему» жены. Мы – в «душе» дома; и уже здесь – образ и

лампада; в спальне, куда и друг не переступает,— непременно «благословенный» образ, т. е. коим мужа или особенно жену «благословили» отец и мать в брак. Перед ним, в лучших случаях — неугасающая лампада; т. е. опять — это храм, начало храма, его первообраз, и он инстинктивно загорелся, засветился именно как окружение здесь совершающегося полового ритма. Вот расположение истории, повторяющееся в расположении квартиры. Семито-хамитическая Азия и была «внутренней» частью, «задней половиной» всемирно-исторического поприща, интимной, глубокой. Там жило великое «чрево», которое истинно свято постигло задачу «плодоношения»; оно подняло его «на высоту», окружило его «лампадами»; впервые в истории создало образ фимианного курения и открыло мелодию молитвы. «Материнство», «отчество» всему этому научило их; как оно же научает этому каждого из нас, научило Пушкина, Рафаэля. «Благословен Бог, сотворивший свет» — в Сионе, Тире; в Мемфисе, Вавилоне. Мы понимаем «распускающиеся миндальные цветки» в Скинии Завета; распускающийся лотос — в Саисе, Гелиополисе. Мы — которые, забыв это, теперь уже закрытое, застаревшее, не несущее более «чрево», вынесли из него именно мелодию молитвы, «воздевание рук» к небу; и «всё это преобразовали в логический способ выражения, в «имя», «слова», «лугпт». Но остановимся же еще раз на древностях.

Как только мы примем указанную точку зрения на них — решительно мельчайшие подробности «святого чрева» Азии высветятся для нашего постижения, сблизятся отдаленнейшие точки, сольются в нерасчленяемую картину разделенные тысячелетиями обычаи, и поражающие дикостью «нравы», «узаконения» получат простой и ясный смысл — совершенно обратный тому, какой придавался им. Вот несколько иллюстраций. Евреи и по сей час не остаются хотя бы в редких единицах холосты, и среди этого племени неугасающего плотского света мы вовсе не находим ни «старых дев», ни «обманутых» и «покинутых» «любовниц». Закон «ужества», или «левирата», — столь непостижимый в укладе нашего обычая закон, — по коему юная вдова становится принудительно женой ближайшего покойному мужу своему родственника, обеспечивает израильтянке материнство, пока она к нему способна. Еврей и семья, еврейка и дети — понятия неразделимые; но как уже разделенные у нас! У нас неразъединимы понятия «гражданин» и «просвещенный»; и не обеспечивая каждой девушке замужество, мы ей обеспечиваем грамотность; мы требуем как естественного, как нормального и, следовательно, возможного, даже с принуждением, — «всеобщего обучения грамотности». Переложим это требование из порядка логического выражения в порядок жизненной ткани — и мы получим «левират», постигнем плач летописца о дочери Иеффая — «она не познала мужа», и пойдем эту страницу из Геродота: «Между странными обычаями Вавилона более всего мне нравится следующий. В каждой деревне раз в год созывают всех девушек, достигших половой зрелости, и выводят толпой в одно место; кругом их располагается толпа мужчин. Глашатай вызывает каждую поодиночке и

продает одну за другой – прежде всех самую красивую; когда первая бывает продана за большую сумму, глашатай вызывает другую, следующую по красоте за первой; девушки продавались под условием супружеской жизни с ними» – т. е. мы догадываемся, они выдавались в замужество; и, без сомнения, странному обычаю уже предшествовали переговоры, соглашения, любовь, которая в этот миг получала реальное осуществление. «Все богатые вавилоняне, достигшие половой зрелости, одни перед другими покупали себе красивейших девушек, а такого же возраста люди простые вовсе не искали красивой наружности и с деньгами готовы были брать и очень некрасивых. Покончивши с продажей красивейших девушек, глашатай вызывает потом самую безобразную или калеку и спрашивает, кто желает жениться на ней с наименьшим вознаграждением; девушка вручалась тому, кто соглашался жениться на ней с наименьшей додачей денег; употреблявшиеся на это деньги собирались за красивых девушек, т. е. красивые выдавали замуж безобразных и калек» (книга 1, глава 196). «Всеобщая принудительная грамотность», переведенная на закон «святого чрева»: «искалеченность», «безобразие», что для нас как бы снимает с девушки образ человеческий, – для вавилонян не значило ничего особенного, и всеобщей заботой они давали ее в «жену», возводили на высоту материнства; красивейшие, счастливые с чисто сестринским чувством отдавали свои средства, дабы и некрасивые не остались «без доли». Вот – животная теплота; «любовь» внутренних частей покоя, где дети, неубранность, лампада и полог. Во всяком случае, это есть та же забота, как и «левират» у евреев; ведь и деверь может быть некрасив, невестка – безобразна или уже стара; но она должна взойти «в мать» – в Сионе, Вавилоне, сейчас – в Вильне. Один закон, одно явление: в сущности, одно «умоначертание». «Следующий по степени мудрости обычай у них таков: больных выносят они на площадь, потому что врачей не имеют. К больному подходят и говорят с ним о болезни; подошедший сам, быть может, страдал когда-либо такой же болезнью, как больной, или в такой болезни видел другого. Люди эти, подошедши, беседуют с больным и советуют ему те самые средства, которыми они излечились сами от подобной болезни или видели, что излечились этими средствами другие больные. У них не дозволялось пройти мимо больного молча, не спросивши о болезни» (*Геродот*, книга 1, глава 197). Это – братство; теплота коровьего хлева, где никому не холодно, истинная любовь, потому что она реальна, потому что она плотска. «О, если бы можно было представить город, все граждане коего связаны были бы плотским чувством: такой город был бы непобедим, ибо в нем каждый был бы готов умереть за каждого», – воскликнул в каком-то предвидении и волнении Платон в «Пире». Но вот этот «город» есть: это – Израиль; и в самом деле он – «непобедим», ибо «нельзя» в нем «пройти мимо больного и не спросить о болезни», нельзя израильтянке выйти за «чужого», – но зато каждой израильтянке обеспечен «свой»: т. е. ясно, что это есть плотский союз, и, собственно, закон «ужества» – он тайно действует на протяжении всего Израиля; в разреженной, прозрачной,

едва уловимой, но, однако, реальной форме – он ведет над всей массой «12 колен». Но сейчас нам станет понятен и закон «дубрав».

Кто была Ревекка, жена Исааку? – халдеянка. «И пойдти в землю мою, на родину мою, и возьми оттуда девицу в жену сыну моему», – говорит халдеянин же Авраам, колонист из города Ур (географическая точка в Месопотамии, теперь определенная) верному рабу своему. «Пей, господин мой; я начерпаю воды и для верблюдов твоих, пока не напьются все» (Бытие, 24), – говорит Ревекка недоумевающему и осматривающемуся рабу. Она подлежала закону дубрав, о котором читаем у Геродота: «У вавилонян есть, однако, следующий отвратительный обычай: каждая туземная женщина (N. В. не девушка) обязана раз в жизни иметь сообщение с иноземцем в храме Милитты. Многие женщины, гордые своим богатством, не желая замешиваться в толпу других, отправляются в храм и там останавливаются в закрытых колесницах; за ними следует многолюдная свита. Большинство женщин поступают следующим образом: в святилище садятся они с веревочными венками на головах; одни приходят, другие уходят. Во всевозможных направлениях здесь идут дорожки, и иноземцы, выходя, выбирают себе нравящуюся. Севшая здесь женщина не вправе вернуться домой ранее, как иноземец бросит ей монету на колени и пригласит ее следовать за собой: «Зову тебя во имя богини Милитты». Как бы мала ни была монета – женщина не вправе ее отвергнуть, и, не пренебрегая никем, она следует за первым, кто бы он ни был. После сообщения женщина возвращается домой, и с этого времени, записывает наблюдательный историк, верно много спрашивавший у туземцев, «нельзя иметь ее ни за какие деньги». Вот обычай, выполненный матерями Авраама и Ревекки. «И отпустили Ревекку (отец, мать, брат ее Лаван), сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его; и благословили ее, и сказали: сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих» (Бытие, 24). Вот психология, вот быт; «тысяча тысяч» в потомстве – это и есть «чадородие», возведенное в культ, на «высоту» постижения, и вызвавшее странный обычай, так ужаснувший Геродота. «Напейся ты, а потом верблюды», – говорит она чужеродцу, какого увидела в пришедшем из Ханаана Авраамовом рабе, и по первому его слову. Покорность и ласка. «И побегал Лаван, и сказал тому человеку: войди благословенный Господом: зачем ты стоишь вне? я приготовил дом и место для верблюдов». Еще Израиль только зачинается, но психика – типично израильская. «Благословен Бог, сотворивший свет» – это будут говорить в Сионе, но сейчас это говорят в Уре Халдейском. Но есть ли здесь принужденность в браке, тень которой не исчезла по сей час в России, Франции? «Когда раб Авраамов кончил речь свою, они (родители и брат) сказали: позовем девицу и спросим ее, что она скажет. И призвали Ревекку, и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала – пойду» (там же). Мы упомянули о ласке и тепле, о всём этом – в приложении к чужеродцу. Но что же такое «дубравы» и имя «Милитты» ли, «Мадонны» ли, – общее:

Дам тебе я на дорогу
Образок?..

– универсальное материнство, космическая животная теплота, – самая бесспорная, непоколебимая. Как весело бежит Лаван к чужеродцу, не нашедшему постоялого двора: «Дом тебе готов – для верблюдов». Но распространим же эту ласку дальше, глубже; возведем это веселье бегущих ног – до неба, до «высоты» храма Бела; и возьмем безмолвие, неумелость выражаться логически, – так до конца и не создавшее арифметики, когда уже создан был Экклезиаст: и вот родник «дубрав». У племен «обрезания», где всё пошло в культуру пола, которая истончилась и углубилась до непостижимых для нас оттенков в понимании целомудрия, чистоты, святости, и идея всемирной общности людей, их братской и сестринской* связанности – «несть иудей, ни эллин», – вылилась в единственном способе говора, каким они владели, – в говоре «дубравы». «Дубрава» – исключительно для иноземцев, за «самую мелкую монету», с калекой или уродом, «именем Милитты»... Ну что имя –

оно прошло, оно пройдет.

Рафаэль его вспомнил под одним именем, Лермонтов – под другим. Эти «дубравы», как и записал точно Геродот, не носят вовсе никакого чувственного характера: их чувственно принимали иноземцы, но субъективно, внутренне – это самоотвержение самое глубокое, «милостыня» – самая поразительная, слиянность с «варваром», «иудеем», «эллином», какой не выработали Афины, Рим, Париж. «Потом нельзя приобрести такую женщину ни за какие деньги», – записывает Геродот; он же прибавляет: «Выдающиеся красотой и сложением женщины уходят из храма скоро; все некрасивые остаются там долго, потому что долго им не удастся исполнить свою обязанность». Вот полнота факта: если мы вспомним, что эдикт Каракаллы, даровавший «право римского гражданства» всем «провинциалам», есть юридическое завершение тысячелетнего развития Рима, мы догадаемся, что «умоначертание» дубрав и есть «ветхое деньми» расторжение национальных, городских, территориальных уз. Но – как это показалось Геродоту – это не есть «хладное» впускание к себе чужеродцев: чужестранец, калека, старик – лишь символ далеких, невиденных земель; «благословем Бог, сотворивший свет» – в Иберии, Галлии; где-то какие-то есть люди:

Что в имене тебе моем?..

– они не забыты вавилонянкой, – и она не только «поит верблюдов», снимает сапоги и омывает ноги», но – «знатная и богатая», «гордая» (см. запись Геродота), имея вокруг «свиту» и «укутавшись в колеснице» – совершает самоотвержение, на которое для Инсарова лишь выздоравливающего, ушедшего от смерти – в радости и счастье о бытии, о жизни его именно, решается

* Замечательно, что «родное» и «чистое» имя «сестра» есть общее для жены, дочери (книга Товита) и всякой вообще женщины у иудеев, в Ханаане и Халдее.

Елена («Накануне»). Тут всё поразительно, всякие частности. «Иные некрасивые должны ждать по три и по четыре года», – записывает Геродот. Как женщина, она не могла не чувствовать укола в самую больную точку (самолюбие, и самолюбие красотой) при каждом прошедшем мимо и не оставившемся чужеродце – «зеркало», показывающее ее «дурнушкой» целых три года: всякая, даже терпеливая, разбила бы его, – но вавилонянка безмолвна и ждет. Тут есть такая глубина безропотности, смирения, самоотвержения, до каких не может поднять нас ни наука, ни философия. Итак, к исходу третьего года – тысяча прошла мимо, и, по общечеловеческой психологии, мы не можем не догадываться, что, уже начиная приблизительно с двухсотого, халдеянка чувствует в этих грубых и невинно ее обижаящих людях несколько «врагов» себе. Но вот 1001-й, небрежно уронив ей в колена монету, урод или старик, вовсе не понимающий (как и Геродот) смысла того, что тут совершается, зовет ее «именем Милитты». «Как бы ни была мала плата, она не может отказаться» – это бросил сирота на пире мирском, «матрос», «четвертое сословие». На секунду мы оглядываемся на устройство храма Бела и видим, что вавилонянка точно понимает в брачном ритме небесное таинство; и она как «миру» проливает его на «меньшего брата» и «немножечко врага» – в течение трех лет показывавшее ее некрасивой «зеркальце». «О, как я их ненавижу», – инстинктивно говорит каждая девушка, мысленно припоминая на вечер сотни не танцевавших с ней; природа человеческая – вечна; одна вавилонянка не умеет ненавидеть; она оказывает 1001-му оскорбителю такой акт милости, склоняется около него такой «самарянкой», жертвует такой ценностью, лучшей жемчужиной бытия своего, что – растерянные – мы можем только безмолвствовать. Это – Ревекка, т. е. страна Ревек; и, изученная Авраамом, она и вызвала у него мольбу слуге: «Вот я стар – положи руку под стегно мне (между бедрами – замечательно место утверждения клятвы) и клянись мне Господом, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу; но пойдешь в землю мою, на родину мою и там возьмешь жену сыну моему Исааку» (какую-нибудь, имя, лицо, условия – не указаны: страна «добрых дочерей», «высокого подбора жен»). Библия и Геродот опять сливаются, но «отвратительное» для Геродота, для нас высвечивается необыкновенным, ясно небесным светом. Соня Мармеладова, но в невинности и бодрой улыбке, крепкой походке ее сестры Полечки.

«– Вы любите, Полечка, вашу сестру Соню?

– О, да, я ее больше всех люблю, она такая добрая...

– А вы молитесь Богу?

– О, как же: сперва «Богородицу», а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу (N. В. – Мармеладова, см. сейчас ниже), потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об нем тоже молимся».

«Раскольников вдруг наклонился.

– Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне; “и раба Родиона – больше ничего”.

– Всю мою будущую жизнь буду о вас молиться, – горячо проговорила она и охватила его шею» («Преступление и наказание» – изд. 84 г., с. 173).

Вот – Халдея. Сейчас объяснится и последняя ее тайна, т. е. по крайней мере тайна ее северной двоуродности – Финикии. Но сперва – черта из психологии и быта: Илье Весфитянину, «души которого искали» «иконодулы»-финикияне, пришлось зайти в сидонский, т. е. финикийский же, городок Сарепту, и, чувствуя голод, он попросил есть у встретившейся женщины. «Жив Господь Бог твой, – ответила поклонница Астарты, – у меня ничего нет, а есть только горсть муки и ложка масла; вот наберу полена два дров и приготовлю это сыну своему и себе – и съедем, и умрем» (был голод, засуха). Какая покорность; но израильтянин горд и властителен, и требует сперва себе: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». «И пошла она, и сделала так, как сказал Илья; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась». Музыка «брака в Кане Галилейской». Но вот у нее умирает «сын» – сын, «миндалинка» в «светильнике», ягодка на «расцветшем Аароновом жезле», и она приписывает, она убеждена, что это – от гостя. Мы припоминаем халдеянку и ее поступок с три года говорившим «дурнушка» зеркальцем. «Что мне и тебе, человек Божий? – говорит вдова. – Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить у меня сына». Вот – тембр души, и он,

пройдя веков завистливую даль,

пережил Парфенон и Капитолий, и еще тревожит, смущает наше сердце. Но чей это голос? – углубившейся в материнство женщины, провалившейся в ее бездонные глубины, в невероятную сложность и утончение этого же материнства:

Дам тебе я на дорогу
Образок –

«Мадонны» ли, «Астарты» ли –

Что в имени тебе моем?..

Но, может быть, вдовица сарептская была исключением? – Вот снова черта быта: «И пришли соглядатаи (от Иисуса Навина) в Лаис, и увидали народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть; от сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела» (книга Судей, глава 18). Это – быт евреев и посейчас: их разбросанность, кроткие занятия Спинозы или наших шапочников. Соглядатаи думают, однако, что

это – язычники, и вот входят в один дом: «знаете ли», передают они потом своим, «что в доме этом мы нашли ефод, терафим (типичные священнические одежды у евреев), истукан и литой кумир; итак, братья, подумайте – что нам с ними делать?» (там же, стих 14). Они решили переманить домохозяина к себе. «Они – придя уже с 600 человек вооруженных – вошли в дом, и взяли истукан, ефод, терафим и литой кумир. Он же сказал им: что вы делаете? Они сказали ему: молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником; лучше ли тебе быть священником в доме одного человека (N. V.: они «вошли в его дом»), т. е. он «был священником», «священствовал» в дому своем, «далеком ото всех», в «семье» своей), нежели быть священником в колене или в племени израильском?» (там же, стих 19). Значит, безусловно, это не был израильтянин, но подлинный израильтяне, безусловно, открыли как бы «отца», «священника», «молодого левита» (стих 15) из своих недр. Мы вдруг открываем, почему Авраам, т. е. еще до зачала евреев, встречает в Ханаане Мелхиседека – «священника Бога Вышнего» (Бытие, гл. 14). «Израиль» начался гораздо ранее Израиля: и Авраам, оседая около «дуба Мамврийского», был каплей, капнувшей в свое море, как и из «своего» же моря, около Ура Халдейского, он вышел. Сейчас нам объясняется вся запутанность израильской истории: Соломон поклонился Астарте, но вот единственная в истории по колориту и настойчивости просьба Авраама: «Вот, я решился говорить Владыке, я – прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти – ты истребишь весь город» (Бытие, 18). Он – не недруг князю спаленных городов: «Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, что даже нитки и ремня из обуви не возьму из того, что принадлежит тебе», – говорит он ему, возвращая скот и имущество, отнятое обратно у кочевых хищников (Бытие, глава 14). Это, собственно, самое загадочное место в Библии*; но уже совершенно понятно, что Хи-

* По-видимому, тут есть прообраз и предостережение: много будет людей, которые, стремясь к истине обрезания (признание многозначительности и многоценности пола и полового), впадут в грех этих городов. И в самом деле — тут есть родство и близость: факты, диаметрально противоположные (вечно чадородие и уничтожение его в корне), скользят один около другого, касаются, «союзят», «молят» один о другом — один устремляясь в небо (обрезание) и другой нисходя в ад (Содом). Поразительно, что города такого смысла только однажды выникли в истории — и именно в самый миг зачатия Израиля, в соседстве и очевидном союзе с первым. Великое предостережение: второе подобное есть в самом начале Евангелия — это Вифлеемские избиения младенцев. Опять прообраз и предостережение. Многие будут искать Христа и Христова (бесплотность и полное умолчание о поле Предвечного Слова), но, чуть-чуть ошибаясь, в мете движения, впадут в Иродов грех. Это все формы отчуждения из полового стыда родителей от чад своих, как то: вытравление плода, убийство девушками и вдовами детищ своих, институт так называемой «незаконнорожденности», практика «воспитательства» и детоубийцы Скублинской (в Варшаве). Содом и Иродова кровь суть обод, внутри коего движется, но в противоположную сторону, идея вечного чадородия («обрезания»), в Ветхом, и уже без-чадной молитвы, но не молитвы «противо»-чадной, в Новом завете.

рам тирский, встречая посланцев от Соломона, пришедших за зодчими, говорит: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом» (третья книга Царств, глава 5), т. е. он говорит израильскую молитву, как и зодчие, специально храмовые, не спрашивают у Соломона планов постройки – но воздвигают все, что и как нужно. «Мы там нашли терафим и ефод – что нам делать?» Но может быть, неразличимое для соглядатаев, неразличимое для Соломона, неразличимое и для нас (восклицание сидонянки – вдовицы) – было различно, однако, всегда для пророков. Но нет, именем Бога говорит Иезекииль о Тире: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости: ты находился в Едеме, в саду Божием; ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней; ты совершен был в путях со дня сотворения твоего» (Иезекииль, глава 28). Вот родник неудержимых отпадений Израильского и потом, наконец, Иудейского царства в финикийский культ – отпадений в самую творческую и оригинальную собственную пору, сейчас после Давида и Соломона, в стадию пророчества. «Чтили Господа, но поклонялись и Астарте» – вот строка, в которую укладывается классический период Израиля; мы ничего в ней не поймем, если не обратим внимания, что многие самые типичные, самые возвышенные и до сих пор повторяемые у нас в церквах слова, речения, строки суть именно «дыхание» Астарты. Кто была Руфь? – моавитянка, т. е. поклонница Хамоса (четвертая кн. Царств, глава 23, стих 13). Но кто был Иов? – Из земли Уц, в Северной Аравии, куда 12 колен не простирались. То есть перед «долготерпеливостью» Иова, кротостью сидонской вдовицы, преданностью и чистотой Руфи – потомки халдеев Исаака и Ревекки преклонялись, как и мы доселе преклоняемся. Но откуда же мучительный гнев на это пророков? Мы ничего в этом не поймем, пока не обратим внимания на состав гнева и на одну маленькую современную нам подробность. Гнев льется на самое имя, на лицо «иных богов», не затрагивая, так сказать, «дыхание» поклонения, его внутренний нерв, существо; он не против «материнства» Астарты, но против того, чтобы молитва «материнства» относилась к Астарте, когда должна быть (у евреев) отнесена к Иегове. Вот тембр, вот линия уклона и содержание всех пророчеств. «И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской, – их осквернил Хелкия; и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил костями человеческими это место» (четвертая книга Царств, гл. 23). Вот гнев и ярость, яростные уничтожительные и непременно личные выражения – отторжение Израиля от «лица» иных богов. Мы так и слышим из-под этих строк определение Богом Себя Моисею: «Аз есмь огонь поедающий – Бог ревнующий» (Второзаконие, глава 4, с. 24). Огонь ревности чисто половой есть в то же время огонь религиозной ревности у Израиля – «к иным богам». Место Астарты – в Тире; там ее – «10 или 15 колен»; и с высоты Универса, для поклоняемого

«Ока» – «Тир совершен в путях своих со дня сотворения своего» (Иезекииль): но с земли, откуда идет молитва, из «12» израильских колен, уклониться к этой тирской Астарте – не по существу ее, а потому, что она есть «тирская», – значит уже уклониться в «блуд с иными богами». Да это так прямо и выражено, напр., у Иезекииля: «Я (Бог) проходил мимо тебя (Израиля) – и вот это было время твое, время любви. Ты достигла превосходной красоты – поднялись груди и волоса у тебя выросли. И простер Я воскресил Я Мои на тебя, и покрыл наготу твою; и поклонялся тебе, и вступил в союз с тобой, – говорит Господь Бог – и ты стала Моею» (Иезекииль, гл. 16)... «но ты понадеялась на красоту свою и, пользуясь славой твоей, – стала блудить... с сынами Египта... с сынами Ассира... в земле Ханаанской, до Халдеи» (та же глава у Иезекииля). Или, почти ярче еще, у пророка Осии: «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя и я не муж ее; пусть она удалит блуд от себя и прелюбодеяние – от груди своих» (Осия, глава 2). Если мы примем во внимание, что решительно духу всего Израиля и духу всей Библии противен способ изобразительности, манера «образов» поклоняемых или украшающих, мы догадаемся, что здесь дело идет о действительности, т. е. о действительном ощущении, о способе «познавать» Бога, который снова обращает наши глаза к вершине Вавилонского храма, к «бреду», показавшемуся «неправдоподобным вымыслом» Геродоту, и который, однако, и составляет глубочайшую и, собственно, всю тайну семито-хамитического Востока. Маленькая подробность, сейчас сохраняющаяся, вдруг объяснит и подтвердит эти древние тайны: у евреев выйти из религии, отречься от «Бога отцов своих» и значит плотски разорваться* в узак с племенем своим, напр., через брак, с чужеродцем; т. е. верность Богу, твердость религиозная проходит нитью именно в брачном ритме со «своим». Это именно прозрачный «левират», истончившееся в утренний туман «ужество», связавшее всё племя –

По вечным, великим...–

и плотская ткань его не была бы святой, неугасающей в истории, непродырявливающейся в тысячелетиях, если бы в самое снование челнока не вошло «дыхание» Божие и, так сказать, существо Божие не составляло бы

* Однако первая жена Соломона была египтянка; моавитянка Руфь стала женой Вооза; халдеянка Ревекка — женой Исаака; хананянки бывали женами царей израильских. В пределах «обрезания», т. е. «высокого» представления, — брак возможен, хотя чуть-чуть затруднен («иные божи»). Но он совершенно невозможен с племенами «низкого» представления о брачном ритме, напр. с нами. Мы, «упиваясь вином», впадая в «скотоподобие», «допускаем» себя до ритма: это — «животная» сторона нашей природы, коей мы делаем невольную «куступку»; еврей, не входя в наши рассуждения, но принимая во внимание наши чувства, естественно, испытывают чувство гиусности от полового с нами общения; они не хотят нисходить из «храма» в «хлев»; и как по Второзаконию — «всякая, которая становится перед скотом, да будет душа той истреблена из народа своего», — убивают или почти убивают, хотя «истребить» еврейку, решившуюся «стать перед» не евреем.

суть вечной ткани. По крайней мере, это так в представлениях пророков и бесспорно в ощущении Израиля – по крайней мере, в классическую пору его существования, от которого след сохраняется в теперешних обычаях, «предрассудках», инстинктах. Но это самое ощущение и составляет «дыхание» всех стран обрезания – оно есть в плане и мысли Вавилонского храма, в «милостыне» Милитты, «околохрамных» дубавах, в курении Товии, «миндалинках скинии»; и, наконец, в дико-странном представлении египтян, что «Апис зачинается от нисходящего с неба на корову луча света, от коего она и рождает его, после чего уже никогда не может быть стельной» (Геродот, третья книга, глава 27). Здесь общее и, собственно, единственно важное – субъективное ощущение «высоты» брачного ритма, его «чистоты» и, наконец, «святости», – которое зажгло лампы, «подняло» храм Бела, насадило «дубавы» и создало, как у Израиля, весь необходимый ритуал «очищений», «курений», «новомесячий», «суббот». Но мы всё это оговариваем, чтобы объяснить грозную и ужасавшую всех историков манифестацию религиозного чувства в «правом от дней рождения своего» Тире – это курящаяся кровь детей.

Ведь сидонянка, у которой попросил Илья Весфитянин хлеба, ответила: «Съедем – сын и я, и потом умрем». Сын –впереди матери, и нужно слишком не понимать существо материнское, чтобы не догадаться, что дитя и всегда везде предносится матерью. Но вот оно возносится в «огнь поедающий». «Сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарвимским, между тем чтили и Господа» – читаем мы в главе семнадцатой 4-й книги Царств. Вот поразительная тайна, отчасти Израиля, но главное «жестокой» Финикии. «Отец, где же жертва?» – «Узнаешь, сын мой», – вот диалог из Бытия, единственный полный очерк таинственного акта, где нам вскрыта и его психология. В диалоге этом –столько кротости и преданности воле Божней, что он закрался кой-где и в церковные наши песнопения (как образ, сравнение), т. е. в эти песнопения мы завили, как драгоценную нить, единственную донесущую до нас черту из внутренней стороны непонятных жертв. «Как Исаак, несущий дрова для собственного заклания...»

Что такое жертва? это всегда трудное, это всегда любовь. Мы «стоим» в храме и сочли бы уничтожительным для себя сесть; есть «долгие» и трудные «стояния», на которые особенно торопится народ; паломники предпочитают «идти» в Киев, а не едут туда по железной дороге. Величина, тягость жертвы – всегда в меру веры; и даже когда нищенка затепливает

...свечу
Воску яраго

– она урывает копейку из пищи и прибавляет ее к стоимости свечи. Это всегда, это везде; в этом смысл религии, что мы хотим и даже спешим в ней жертвовать. Дитя предносится матерью, и в нем она более чем себя жжет. Вот свеча, досягающая неба, – единственная в истории свеча, и мы предпо-

лагаем, что было и в основании ее единственное в истории по яркости, по силе, т. е. соответственно предмету – по глубине и нежности, религиозное чувство. Где мы не в силах прямо постигнуть дела, мы должны искать ему аналогий, подобий. Это – костры в Испании. Как ужаснулись бы мы, если бы кто-нибудь подумал, что они были «потребованы свыше». И это – жертва, вид человеческого усердия:

В великолепных auto-da-fe
Сжигали злых еретиков...

– не своих детей, не «другое», но «недругов», т. е. тут мы можем различить ясно злое – умерщвление «врага».

Теперь мы догадываемся, что как это «*in majorem gloriam*»* есть высшая степень логической гордыни, так есть некоторое ниспадение «долу», духа в принесении в жертву «миндалинок», выношенных «собственным» чревом, и при взгляде, что это чрево – свято, и, уж конечно, непорочно, свято, «чистый ярый воск» есть это дитя. Мы не умеем это выразить, но ярко чувствуем, что тут именно второй полюс инквизиции – те глубины прощения и смирения, которые выразились в слове сидонянки: «Что мне и тебе, человек Божий, – ты пришел напомнить грехи мои и умертвить моего сына». Во всяком случае, это-то уже понятно и читателю, что «сожжение» себя есть нечто обратное, вывернутое по отношению к сжиганию «чужака»; что сжечь свое дитя – обратно, чем сжечь «недруга»; и, наконец, сжечь грешного «злого» еретика и невинное дитя – тут всё обратно, всё противоположно, с центром в обоих разошедшихся фактах пламени «огня поедающего». Там и здесь – около Бога, религиозное, но расходящееся в противоположные стороны; и мы чувствуем – тут есть расхождение в самых представлениях Бога. Но в кострах auto-da-fe не ложно мы видим ужасное зло, бездны черного и демонического, бури гневливости, дьявольскую жестокость и неправду; и только под углом этого сравнения мы вдруг откроем в «огнях», через которые «проводили своих детей» израильтяне с таким неудержимым рвением, – снова какой-то, нам вовсе непонятный, но, бесспорно, небесный и чистый свет кротости. Да вот ответ Ахава, сейчас после поражения сирийского царя Венадава; испуганный, этот царь, думая, что пришло время смерти его, «бегал из одной внутренней комнаты в другую», и о нем доложили Ахаву. «Разве он жив? – переспросил этот. – Он – брат мой». Снова это тембр души, какой сказался в ответе сидонянки Илье. Мы заметили уже, что «дыхание» всего Востока полно «материнством» – «отчеством»; что этими чертами в себе человек обращен к небу, т. е., естественно, он обращен в брачном ритме, в секунды действительно таинственных разложений индивидуального существа в «отца» и «сына», «мать» и «сына»; и именно в небе он видит, к небу относит разлагающее так себя начало, т. е. он молится небесному «материнству» и «отчеству». Евреи осо-

* «для пользы чего-либо» (лат.)

бенно почувствовали «отчество»* в небе – противоположное и дополнительное ярко выраженной женственности**, себя как нации; более мужественные финикийцы, отважные моряки и изобретатели, – ярче почувствовали в небе дополнительное к себе материнство. Существо, однако, здесь и там одно; это – то существо, та тайна мира и истина его, которую инстинктивно ощущает даже современная нам наука, очень мало думающая о религии, решительно отказываясь признать начало жизни «обыкновенным» – ростом из «стихий» земли, из «красной глины», без замешавшегося сюда высшего «дыхания»; и, например, устами, кажется, Цёльнера высказала гипотезу, что «первая органическая клеточка, вероятно, упала на землю с метеоритом». С «метеоритом» или нет – но с «неба», «не» с земли, «не» из «красной глины» поднялась, – вот что важно в утверждениях XIX века и что глубоко, верно и точно почувствовалось еще строителями Вавилонского храма. Но вернемся к евреям и Финикии: если характер финикийца был более суров, то специфически религиозное у них представление, так сказать небесное дополнение земного человека, будучи одной природы с еврейским, было нежнее, глубже, любящее. Тут и лежит разгадка столь поразительного явления, которое мы наблюдаем в Библии за всю классическую пору существования Израиля: что неподвижные, упорные, косные в религиозной сфере евреи неудержимо влекутся к слиянию с Финикией; влекутся в пору Бого-видения (Соломон), сейчас после псалмов Давида, в пору создания Екклесиаста и Песни Песней, при Иезекиилю, при Илии, Исаяи, Амосе. Теперь, когда всё стало непонятно нам на Востоке, – непонятен и этот факт; но это была внутренняя борьба в одном, по существу, явлении – «отчество» ли? но почему и не «материнство»? почему не «материнство и отчество»? и главное – усиленное, страстнее, глубже? Это был порыв Израиля к чему-то универсальному, но в тех самых линиях, в том плане той мысли, в которой и вечно, еще с Авраама, он двигался; к «огнистым камням», «украшенным одеждам», к «полноте мудрости и венцу красоты» – как это выразилось с безмерной любовью у Иезекииля (глава 28). Но, однако, с местной и племенной, «12-коленной», точки зрения это было отклонением от старого и несколько жесткого «отчества», коему Израиль был обречен, – и он был остановлен пророками. Мы можем, в точках соприкосновения, везде отметить в Израиле реакцию в сторону грубости: ведь это Илья «порубил пророков» на Кедроне; и в сношениях с сидонянской – вся нежность, покорность судьбе, готовность к помощи – на ее стороне; в случае с Ахавом – едва он отпустил Венадава, как к нему является пророк и говорит: «душу за душу... Вот, ты отпустил его живым и за это заплатишь жиз-

* Однако первая строка Бытия: «в начале сотворил Бог...». «Сотворил» = «бара» форма глагола в единственном числе указывает на единство или нерасчленимую слиянность творческого акта; но «Бог» = «Елогим» — форма *не единственного* числа, т. е. в первую строку и основное понятие Израиля завито было и материнство к миру.

** Еврей — замечательно женственны, крикливы, нервны, и, например, у них вовсе не встречается голосов «с октавой».

нюю». Вообще черты грубости и жестокости, порой решительно непереносимые, какие есть в книгах Царств, везде суть реакция специфически израильского духа против более кротких «дыханий» «материнского» соседства. Книга Руфь, Книга Товита, Книга Иова и, наконец, Песнь Песней – вот отпечаток Моава, Ниневии, Аравии, Сидона на древе Авраамовом, законе Моисеевом; и с тем вместе это суть самые нежные и высокие страницы в самой Бнблии; они гораздо выше и чище Второзакония. Есть даже удивительная высота в том, что «соседство» не оставило после себя никаких книг: оно прожило «Песнь Песней», вместо того чтобы оставить памятник этой жизни в слове. Кстати, об этом великом произведении. Мы догадываемся, что оно и есть памятник «дубравных» молитв; и, до известной степени, это есть в слове выраженная мысль, план Вавилонского храма. Образы Иезекииля об отношении Бога к Израилю, – в сущности, повторены здесь; и в то же время в неясности говорящих здесь лиц, в том, что мы постоянно слышим голос которого-нибудь одного лица, что это есть вздохи, ожидания, но не встреча и не самое касание, мы как бы читаем тут ночь ощущений «туземной женщины» на «высоте» таинственного храма, описанного Геродотом:

«Я сплю – а сердце мое бодрствует; вот голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночной влагой.

Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? я вымыла ноги мои – как же мне мараить их?

Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и чрево мое взволновалось от него.

Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с пальцев моих мирра капала на ручки замка.

Отперла я возлюбленному моему – а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.

Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены.

Заклинаю вас, дочери Иерусалимские! если вы встретите возлюбленного моего – что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

“Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем он лучше, что ты так заклинаешь нас?”

Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры; уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери Иерусалимские» (Песнь Песней, глава 5).

Конечно, мы можем тут улыбнуться, вспоминая

...игры Ваха и Киприды,

но нас остановит, бесспорно, религиознейший на земле народ – евреи, ибо именно эту «Песнь Песней», а не «Исход» и не «Второзаконие», что

отвечало бы историческому воспоминанию, они читают в «субботу из суббот», в «святую» Пасху. И наша церковь, которая также не знает

...игр Ваха и Киприды

и не может не видеть, что содержание Песни Песней есть чисто брачное, – признала, что содержание это обнимает не лицо, не индивидуумы, не землю, но землю в отношении ее к небу, «поднятые» над землей, «небесные воскрилия» (Иезекииль). Гипотеза Цёльнера, храм «древнего Бела», мечта Саиса, вздохи Сидона, мысль «обрезанного» под дубом Мамврийским Авраама – вторая, необъясненная Аврааму, темная сторона обрезания, сказавшаяся в загадочном восклицании Сепфоры: «Ты теперь – жених крови у меня». «И отошел Господь; она же прибавила – жених крови по обрезанию».

«Обрезание» и есть «обручение» – «обещание», исполнение которого начинается по достижении половой зрелости. «С первыми признаками зрелости, в 13 лет, еврей уже становится полноправным в народе и обязан исполнять все мицвы, или религиозные законы» (Н. Переферкович – «Талмуд, его история и содержание». Спб., 1897 г., с. 91). Вот «полное гражданство», начало «*togae virilis*», наступающее в точке обрезания, и, собственно, самое «гражданство» лежит в ритме этой точки. Мы закончим это несколько археологическое исследование, в сущности поразительным, как и храм Бела, изображением еврейской субботы, как оно сделано в интересной книге г. Переферковича, только что нами цитированной. Но сперва заметим, что «суббота» – начинается с вечера, кончается в полдень, и нетрудно догадаться, что ее центр есть ночь. Суббота есть ритм, одно биение в 4000-летнем пульсе:

«Переносить предмет из одной так называемой области в другую – запрещено; при этом понятие несения разлагается на два момента: *поднятие* вещи в одном помещении и *опущение* ее в другом. Таким образом, возможно нарушение этого запрета, даже стоя на одном месте: достаточно предмет *поднять* в одной области и *опустить* в другой. Ученые раввины различают четыре области: 1) *область неограниченную*, беспредельную – *решуд харабим*; сюда относится всякое пространство, не ограниченное со всех сторон; 2) *область ограниченную* – *решуд хаяхид* – собственно, *область частного лица*; сюда относится всякое, со всех сторон огороженное пространство, напр., двор, такая крепость, ворота которой на ночь запираются, и др.; 3) *кармелит* – среднее между областью ограниченной и неограниченной, напр. море, тупик, т. е. глухой переулоч, огороженный с трех сторон и 4) *свободное место* – *маком-патур*; сюда относятся возвышения или углубления, которые можно рассматривать как ограниченные со всех сторон. Не только несение из одной области в другую составляет нарушение, но даже несение в пределах *неограниченной области* и *кармелита*, на пространстве четырех локтей. Носить можно только внутри ограниченной области, какой бы величины она ни была. Однако делается различие между ограниченной областью, принадлежащей частному лицу, и такой, которая

принадлежит многим лицам. Переносить предметы из одной ограниченной области в другую – запрещено. Вследствие этого нельзя, например, выносить из своего дома на двор, хотя бы он также представлял область ограниченную, так как на него имеют права все соседи...»

Отсюда начинается понятная и интересная сторона «субботы»: итак, географическая только смежность, «соседство», есть отрицательное для «субботы» понятие или точнее – индифферентное.

«Для того чтобы вынос предмета на двор не составлял нарушения, должно, чтобы все соседи представляли одну семью...»

Вот положительная черта в субботе, требуемое –

«...одну семью с фиктивным главой, со стола которого они, “члены семьи”, получают пропитание, хотя живут в различных квартирах. Символом такого “родственного” отношения между совершенно чужими людьми является принесение всеми соседями хлеба к одному лицу во двор. Этим актом все квартиры одного двора соединяются, «смешиваются», так что все они вместе со двором представляют одну и ту же частную область. Этот акт называется *зрув* – «смешение»: благодаря ему становится дозволенным вынос предметов из частной квартиры на двор и обратно».

«В субботу запрещается удаляться от города более чем на 2000 локтей. Для этого устанавливается, при помощи измерения, городской *иббур*, т. е. описывающий весь город прямоугольник, стороны которого соответствуют четырем сторонам горизонта – *мировому квадрату*. На сторонах этого квадрата и строятся субботние *черты* – *техумы*. Они изображают из себя прямоугольники, которых одна сторона равняется данной стороне, иб-бура, а другая – 2000 локтей.

Для того чтобы можно было в субботу исполнить какое-нибудь предписание – *мицву* – по ту сторону *техума*, дозволяется до наступления субботы фиктивно перенести свое жилище на такое место, откуда не запрещалось бы ходить как до обычного места жительства, так и до требуемого места. Символом нового жительства опять становится пища».

Таким образом, «суббота» как бы территориально построится, вычерчивается на земле – вот ее поразительная особенность смещения двух, казалось бы, несовместимых категорий – «праздника» и «места». Но есть «праздничное место» – это «храм». Евреи не имеют «храмов», но они имеют «субботы», и мы без труда догадываемся, что раввины потому и «построют» субботы, что «суббота» в умоначертании их есть «храм». И в самом деле, «иббур» – это двор «храма», за черту коего нельзя выйти, не прервав «празднования» или не разрушив «храма»; «ограниченная область», «двор» с фиктивным главой и «хлебами предложения», которые хотя бы фиктивно, но соединяют жильцов отдельных квартир непременно «в одну семью», есть в этом храме «святилище»: за его черту нельзя ничего «вынести», в нее нельзя ничего «внести», ибо тут – всё Богово, как вне ее, в «мире» – всё «не» Богово. Но была еще в храме Соломоновом и в Моисеевой скинии «субботная», радостная, высокая и святейшая часть: это «свя-

тое святых». Что ей соответствует в «построяемом» донныне храме, в еженедельной субботе евреев? Отворим дверь, переступим через порог; сузимся в «субботе» от «иббура», от «двора», к теснейшему и внутреннейшему сосредоточению: мы – в «семье». Вот перед нами Авра-ам, еще вчера Аврам; около него Сар-ра, выросшая из пятничной Сары; и около них «светильник»: это дети, живые «миндалинки», отвечающие огнистым миндалинкам древнего храма.

«По мысли раввинов, заканчивает г. Переферкович, суббота представляет совершенно особый, идеальный мир, имеющий очень мало общего с миром будничной суеты. В субботнем мире для еврея существуют лишь самые необходимые предметы, как, напр., пища, одежда, без которых жизнь в этот день немислима и которые были *заготовлены* специально для этого дня. Эти предметы составляют *мухан* – *заготовленное*. Все остальное, что не может пригодиться в субботу, лежит вне субботнего мира и составляет *муқз* – *выделенное*. Предметы, которых не было при наступлении субботы (напр., яйцо, снесенное в самую субботу), лежат также вне субботнего мира: они – *нолад, родившееся после*. Все субботние предметы запрещено брать в руки или употреблять в пищу в субботний день» (с. 122–124).

Вот поразительный праздник, так непохожий на наши. Мысль его – разобщение с миром, отделенность от земли, некоторая «духовная» сливающаяся с «плотской» «высота»: «нельзя брать в руки» не «субботного» с земли, из долу – за границу этих последних «техумов», во внутреннюю, интимнейшую часть «мирового квадрата». – «Там, наверху, есть комната – однако никакого кумира нет; проводишь ночь там никому постороннему не дозволяется, за исключением...» (Геродот, 1 кн., гл. 181) – «за исключением чистых, как жертвы, детей» (г. Переферкович, стр. 90), рассмеявшейся под дубом Мамврийским Сар-ры и «отца» множества». – «Не смейся, сказал ей Господь: через год в этот день Я буду у тебя – и будет у тебя сын» (Бытие, 15).

Так, от субботы к субботе, ритмирует этот народ, высвечивающийся изнутри, когда мы ищем освещения с боков, сверху, снизу. Неугасимый народ. Он догадался о святом в брызге бытия – там именно, куда мы в понятиях своих отнесли грех. Мы из «греха» замешиваемся – и ищем потом, позднее, вокруг помощи, опор, костылей для тягостного в природе своей и роднике существования. Ему «ветерок», «высота» сообщает воздушность созерцаний: «благословен Бог, сотворивший свет». Он не имеет центров сплочения иначе как принужденно, защищаясь. Центр его сплоченности – суббота, «некоторое идеальное место». Таинственная ночь, перед наступлением которой зажигается светильник. «И сделай светильник из золота чистого... Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Три чашечки – наподобие миндального цветка; а на стебле – четыре чашечки наподобие миндального цветка, с яблоками и цветами: все сделай, как Я показал тебе на горе» (Исход, гл. 25).

Почти странствующий, кочевой народ доселе и всегда; какая-то толпа гогочущих «пророков» или «тихих и беспечных ремесленников», каких еще

в Финикии увидели и описали пять соглядатаев; но после какой борьбы, какого сопротивления, в потоках самой горячей и свежеебегущей крови они срывались с места своего, казалось бы, «странствования»? Рим разлагался изнутри; Греция изнутри же умерла. «Стены города дрожат от таранов, а вы, граждане, сидите в цирке и забавляетесь ристаниями»,— обращался в эпоху падения к «своим» Сальвиан (кажется). Какое расслабление: это — труп, который бессилён поднять руку, чтобы отогнать обнюхивающую его собаку. Но как трудно было Александру Македонскому сорвать «блистающий в цветных огнях» Тир с его «высоты». Какая кошачья цепкость существования! Так с «высоты же» был сорван Сион Титом. Узенькая полоска по «илистому», «влажному», «небесному» (Гомер) Нилу была после 4000 лет неутомленного существования едва покорена Камбизом, обладателем всей Передней Азии. Везде, во всех случаях — внешнее разрушение, «зарезанность» на «дороге».

Но и после Камбиза «Мицраим» живет еще роскошной культурной жизнью. «Благословен Бог, сотворивший свет». Как этот особенный и специальный свет «суббот» и «миндалинок» цепок в бытии, упорен в сопротивлении, жгуч и как бы переполнен кровью в секунды гибели, под разрезающим его ножом! Как глубоко «корни» этих племен ушли в «мать-землю». И какие памятники — в слове (Библия) или камне (пирамиды). Пуныне (Карфаген) едва сами не погубили Рим: *Hannibal ante portam**. Но и в самый последний миг, извне «срываемые», эти племена обрезания не несут типичного в арийской смерти разложения и трупного запаха: никаких морщин старости, утомленных мускулов; ни *Weltschmerz*'а, «мировой скорби», ни «социальной анархии». Жизнетворцы

по вечным, великим...

— они в самом нерве бытия исключили идею смерти, «не принимают идеи небытия», как выразился в «Федоне» Платон о бессмертии души. Напротив, у арийцев внесено «жалю» отрицания в самый родник бытия, и это «жалющее отрицание» пульсирует в их жилах. Арий живет в смерти и поклонился гробу.

Мы до сих пор вращались в подробностях ритуала, остановимся же еще на одной яркой черте его. Евреи, еще от времен Товита, т. е. живой Ниневии, прикоснувшись даже по необходимости или нечаянно к трупу, — не смели до «завтра» войти в «святой» дом, место «бытия», «утверждения», снований жизненного челнока. И сейчас они кидают тела умершей жены, матери, брата в какую-то почти яму, без обряда, слез, без уважения, с отвращением и религиозной брезгливостью. Труд для них — «отец отцов нечистоты». Какой ужас в этом отношении — для нас; но под отвратительным обычаем — какая глубина мысли, яркость ощущения жизни, и демаркационной линии, проходящей между ней и смертью. Мы лобызаем покойни-

* Ганнибал у ворот! (лат.).

ков с большим благоговением, чем живых; мы немножко им поклоняемся – и какая красота у нас погребального обряда. Но какое же чувство под этим? не утрата ли в самом ощущении нашем разграничительной между смертью и жизнью линии; не нахождение ли наше в области смерти как бы еще при жизни; и, как выразился бы Платон, – не то ли это значит, не то ли символизирует, что мы «приняли идею небытия в самое бытие свое»?

И это «жало смерти», «идея небытия» пульсирует в нашей крови.

ЭМБРИОНЫ

1

– «Что делать?» – спросил нетерпеливый петербургский юноша.

– Как что делать: если это *лето* – чистить ягоды и варить варенье; если *зима* – пить с этим вареньем чай.

2

Западная жизнь движется по законам лирики, наша до сих пор – в формах эпоса; но некогда и мы войдем в формы лирики.

Вопрос Чернышевского, поставленный в заглавии его романа, есть вопрос существенно лирический, несвоевременный; ему может быть дан только бытовой ответ: делать нужно то, что было делаемо вчера.

3

В декадентах и символистах 60-е годы только не узнают себя: это – реабилитация плоти, ставшей изможденной после 30 лет «свободы»; это торжество «личности» над средой, это – «дети», вдруг оказавшиеся импотентными породить внуков.

Наказание слишком скоро последовало за преступлением.

4

Совершенство формы есть преимущество падающих эпох.

5

Когда народ умирает – он оставляет одни формы: это – скелет его духа, его творчества, его движений внутренних и внешних. Республика, монархия – разве это не формы? Трагедия, эпос, «шестистопный ямб» – разве не формы? Не формы – Парфенон, как и Девятая симфония? И, наконец, метафизика Платона или Гегеля?

И вот почему, еще раз: когда народ оканчивает свое существование – формальная сторона всех им создаваемых вещей приближается к своему завершению.

6

XIX век есть век, *любующийся* падением своим; чувство Сарданапала, сгорающего на сокровищах своих и со своими женами, в высшей степени ему присуще.

7

Гений обычно *бездетен* – и в этом его глубокая и, может быть, самая *объясняющая* черта. Он не может рождать, и кто знает – нужно ли это для него? Он есть некоторая *Ding an sich**.

Как орудие, как низменное средство, как земная сторона небесной тайны – половые аномалии, так часто встречающиеся у гениев; влечение к разврату; раннее половое развитие; «пороки детства».

Лермонтов и Байрон 11–14 лет испытывают любовь; как *это* уродливо, как гениальны *они*. Рафаэль и Александр Македонский равно бездетны; бездетны Цезарь и Ньютон.

Потомство гения, если даже оно есть, – чахло и быстро гибнет; большей частью это – *женское* потомство. Вспомним Наполеона I и нашего Петра. Здесь лежит объяснение, почему после *гениальных* государей династии, большей частью, пресекаются и наступают «смуты».

8

В «Дневнике» Амиеля, столь благоухающем, тонком, глубоком, столь благородном, есть страшный недостаток, который остался незамеченным: его ужасная *пассивность* – отсутствие страстных, деятельных и, следовательно, жидущих в авторе эмоций. Гр. Толстой чутко сравнил его с книгой Марка Аврелия – но это не похвала, как он думает. Тот и другой труд суть равно произведения сумеречные, осенние – произведения того времени исторического года, когда соки в людях-растениях бегут не вверх, не поднимают их, но стремятся вниз, к земле и в землю.

Бездна ума, критики у Амиеля, и – никакого творчества. Это – благоухание смерти. Оканчивая каждую страницу, хочется спросить: сколько еще дней осталось ему жить?

Жена Марка Аврелия не была ему верна; Амиель, кажется, не дерзнул жениться. Это – люди, которые умели оставить только прекрасный *посмертный* «Дневник». Один был вялым, унылым императором; другой – еще худшим ученым и профессором, очень боязливым и несообщительным.

* Вещь в себе (нем.).

Какая противоположность – Буслаев, до дряхлости бодрый и живой, с толпой горячих учеников, которые разнесли слова учителя по России и положили его мысли к бесчисленным предметам; какая противоположность Петр – «капитан бомбардирской роты», разыскивавший в Липецке железные ключи, на севере строивший корабли, встречавший лоцманом первый голландский корабль в Неве. Каждый его шаг был делом, всякое движение есть исторический факт... Это – люди рождающейся эпохи; в «водах», крови, при криках матери и судорожных ее подергиваниях – выходит чудный мальчик. Там мы видим благоухающий, умщенный труп...

Мир им; мы их не хотим перечитывать – иначе как перед смертью.

9

Весь мир есть игра потенциалов; я хочу сказать – игра некоторых эмбрионов, духовных или физических, мертвых или живых. Треугольник есть половина квадрата, известным образом рассеченного, и на этом основаны его свойства, измеримость, отношения к разным фигурам; Земля есть «Сатурново кольцо», оторвавшееся от Солнца, разорвавшееся, склывшееся, – и поэтому она тяготеет к Солнцу; и всякая вещь есть часть бесчисленных других вещей, их эмбрион, потенция их образования, – и поэтому только она входит в соотношение с этими другими вещами, связывается с ними, а от других, наоборот, отталкивается. Поэтому, говорю я, жизнь природы есть жизнь эмбрионов; ее законы суть законы эмбриональности; и вся наука, т. е. все и всякие науки, суть только ветви некоторой космической эмбриологии.

10

Что мы называем мистическим? – Мы называем им прежде всего *неясное*; но такое – в чем мы чувствуем глубину, хотя и не можем ее ни доказать, ни исследовать; далее, мистическим мы называем то, в чем подозреваем отблеск – косою, преломившийся луч Божеского; и, наконец, то, в чем отгадываем первостихийное, первоизданное по отношению ко всем вещам.

Напр., ушиб камнем – не мистичен, конечно; но смерть, от него следовавшая, – вполне мистична. Она мистична как *акт*, и даже мистична как момент в судьбе человека, как его возможное наказание за грех.

Можно сказать, мистическое не столько есть в природе, сколько заключается в человеке: можно мистически смотреть на все вещи, все явления, но можно – и натурально. Камень упал на человека, и он умер: доселе – натурализм; но почему он упал на *этого* человека – это уже мистика.

В натурализме человек и собака сходятся: собака тоже ушиблена – и завизжала; сильнее ушиблена – и умерла; далее нет вопросов. Но человек никогда этим почему-то *не хотел* ограничиться; он спрашивал далее: и вот где начинается человек.

Молния сверкнула в ночи: доска *осветилась*, собака – *вздрыгнула*, человек – *задумался*. Три грани бытия, которые мы напрасно усиливались бы смешивать.

Все гении тяготеют к премирному. Не есть ли предварение этой черты – то, что и все люди тяготеют к необыкновенному, странному; к ужасному даже. Собака не тяготеет к страшному, а только бежит от него; человек тоже бежит, но и заглядывает в него, интересуется. Вот *главная* у него черта.

Ищу рукавицы – а обе за поясом. «Страшно то, что нет ничего страшного», – сказал грустный Тургенев: он просмотрел в себе то, о чем тосковал. Почему бесстрашность была ему страшна, – разве это не ужасная тайна души человеческой, его души? Я вижу день, но хочу ночи, тоскую по ночи; я вижу целую жизнь только день – и спрашиваю, *не видя нигде и никогда* «почему не ночь? Где ночь? Мне страшно и тягостно без ночи?» Не есть ли это *темное видение* – ужасная тайна, гораздо более ужасная, чем все пугающие фокусы «Песни торжествующей любви», коими, в предвидении незримой ночи, он играл под старость?»

Это есть именно – пугающая ночь; все наши страхи основательны – ибо ночь не выдумана, не фикция, она *есть*. Оттуда летят на нас сны; есть некоторая относительная истина в этих снах, хотя, конечно, есть и доля искажения от нашего воображения. И, обращаясь туда, к этой ночи, – мы молимся, испуганные, потрясенные; сердце наше сжимается робко, мы прижимаемся друг к другу... Это – церковь.

Все таинства религии – оттуда. Некогда прозвучало оттуда: «Не бойтесь...», пронеслась «благая весть».

И вчера испуганные – сегодня умилились. Вот Евангелие и Библия.

Чувство Бога есть самое трансцендентное в человеке, наиболее от него далекое, труднее всего достигаемое: только самые богатые, *мощные* души, и лишь через испытания, горести, страдания, и более всего через грех, часто под старость только лет, достигают этих высот, – чуточку и лишь краем своего развития, *одной веточкой*, касаются «мирам иным»; прочие лишь посредственно – при условии чистоты душевной – достигают второй зоны: это – церковь. Коснувшиеся «мирам иным», отцы мира христианского, – оставили слова об этом касании; они сложились в обряд, ритуал, требования; выросли как обычай, как учреждения; окреп канон, создалась литургия;

построен храм. Создалась масса материальной святости, уловимой формами времени и пространства. И здесь почил Свет Божий, как праведник почивает в своих мощах. Касание сюда уже для всякого доступно; это – средство спасения, всем предложенное.

Да не касаются же руки человеческие этой высочайшей святости всего человечества. Что-нибудь поколебать здесь, сместить, усилиться поправить, даже улучшить (без знания «миров иных») – более преступно, более ужасно, чем вызвать кровопролитнейшую войну, заключить позорнейший мир, предательством отдать провинции врагу. Вести неудачную программу в семинариях, удалить чин дьяконский из богослужения – хуже, чем неудачно воевать под Севастополем, чем заключить парижский трактат и даже чем «восстановить Польшу».

Ох уж эти *починщики* таинственной и живой истории!

15

Часто стоиков сравнивают с христианами и проводят параллели между последней языческой философией и новым «благовествованием». Между тем нет ничего их противоположнее: даже эпикурейцы стоят ближе к христианам.

Стоицизм есть благоухание смерти; христианство – пот, муки и радость рождающей матери, крик новорожденного младенца. «Всегда радуйтесь», – сказал Апостол: разве это *сумел* бы сказать какой-нибудь стоик? «Чада мои, храните предание» – разве это язык умирающего Рима? Христианство – без буйства, без вина и опьянения – есть полная *веселость*; удивительная *легкость* духа; *никакого* уныния, *ничего* тяжелого. Аскеты и мученики были веселы, одни в пустынях, другие идя на муки. Какой-то поток внутреннего веселья даже у таких, даже в такие минуты гнал с лица всякую тень потемнелости...

Отец Амвросий Оптинский и Иоанн Кронштадтский – лучшие и *типичнейшие* из христиан, каких мы наблюдали, – оба замечательно светлы, радостны, жизненны. У отца Амвросия почти только шутки, прибаутки – в письмах и разговорах; лицо о. Иоанна всем известно – это сама радость.

Стоик – мы говорим это, потому что христианин не может искренно не смеяться над ним – *fait bonne mine à mauvais jeu**; он сдерживается, усиливается, напрягается, вовсе не понимая, в сущности, для чего.

Положив руку ему на плечо, светлый христианин мог бы посмеяться над ним: «Стоик – вот фалернское! о чем ты думаешь?» Может быть, он вышиб бы у него бокал, но он ничего не сумел бы ответить.

Есть неуловимо тонкая черта, соединяющая стоиков с фарисеями: оба *брезгливы* по отношению к миру; один уходит от него в ванну и вскрывает себе жилы, читая «Федона»; другой отходит от него в сторону и становится на молитву.

* делать хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

Нельзя достаточно настаивать на том, что христианство есть радость, и только радость, и всегда радость.

«Мы опять с Богом»: разве не это – самоощущение христиан? Где же тут уныние?

Сравнивали христианство с буддизмом: «У них – одни добродетели»; да, но вот пороки не одни:

«Дух же... уныния отжени от меня»

– это молится христианин. Буддист молится – или не столько молится, сколько молчит, в вечном унынии.

Есть иная черта сближения и противоположения между буддизмом и христианством: буддизм есть мировой пессимизм, и он же есть атеизм. Вот глубина души человека, открывающаяся отсюда: Бог есть радость, без Бога – отчаянье.

Вся тайна православия – в молитве, и тайна быть православным заключается в умении молиться.

Признаемся, мы чувствуем отвращение всякий раз, когда заводится речь о цезаро-папизме или папо-цезаризме. Когда стоишь в храме и видишь молящихся – как применить сюда эти понятия: что они – цезаропаписты или папоцезаристы? Все это – темы для нас интересные, и именно интересные настолько – насколько мы разучились молиться.

Усилия сделать обычным и даже обязательным проповедование в храмах не нравятся нам; это едва ли православно и вовсе не народно. Это – протестантские усилия около православного храма.

Православное богослужение есть уже проповедь: ведь проповедь есть научение, но литургия есть полный круг научения, сверх коего не нужно еще ничего человеку. О чем – в прекрасных згтениях – не молится дьякон и с ним народ? – ничего не забыто: ни гроб, ни плавающие, ни победы Государю, ни мир всего мира, ни благорастворение воздушных. «Иже херувимы» – разве не научение? «всякое ныне житейское отложим попечение» – какое поучение, какой призыв сравнится с этим? Каждение перед иконами, возгласы священника – до того проникнуто всё это смыслом и красотой.

Постоянство и обязательность проповеди понятны в протестантских опустошенных храмах. Здесь всё оголено смыслом, поэзией научения; если

они не будут петь псалмов, пастор не будет им говорить, музыка не будет играть – они заснут: что же им делать? Тут ничего нет; нет собственно богослужения. Лекция и концерт образуют существо протестантских религиозно-общественных собраний, и поэтому понятно, что они так упорно держатся за эти остатки разрушенной церкви. У нас, по крайней мере, продолжительная и неумелая проповедь только закрывает красоту и сущность остального богослужения.

Народ не очень любит проповедь: церковь, при первых словах проповедника, разделяется надвое – передняя половина придвигается к алтарю, задняя идет к выходу; во множестве из передних рядов стараются незаметно пробраться к выходу.

Но вот что всю церковь сбивает в кучу: это – акафист. Акафист – только молитва, и никакая часть литургии не вызывает такого умиления, жара, у многих – слез, как акафист Иисусу или Божией Матери. Вот это – народно и православно. «Щеки же ее пылали и первосвященник, видя это, подумал: “Не пьяна ли она?” – вот это зоркий взгляд всегда заметит у одного, двух, трех молящихся во время акафиста. Тут все становятся на колени – о, это православно! Многие *наизусть* знают акафисты и *вперед* священника шепчут слова – слова, всегда к себе прилагаемые... Тут столько личных, семейных тайн вы видите в горящих глазах, в духе то сокрушенном, то веселящемся.

Можно сказать – акафисты воспитали Русь.

20

Самая опасная сторона в христианстве XIX века – это то, что оно начинает быть риторическим. Это заметно даже в стиле, даже у третьестепенных писателей. Нет апостолов – есть «галилейские рыбаки»; нет Иисуса Христа – есть «Божественный Учитель», «*Génie du christianisme*»* Шатобриана есть менее христианское произведение, чем «*Pucelle*»** Вольтера – произведение менее христианской эпохи. Ибо что против христианства были насмешки, издевательства, наглость – это было от первых дней; но что сами христиане начинают понимать свою веру риторически – это явление последних дней.

Вот почему так хороши раскольники с «Иисусом». Может быть, еще они спасут мир, с сокровищем веры, в них затаенной; и тем лучше, что они «неотесанны»: остальные так усердно тесали себя в истории, что уже ничего не осталось, тесали самую сердцевину себя.

21

Нет более *обманывающей* фигуры, чем «Моисей» Микель-Анжело: *этого Моисея не было* – фантазия художника, его априорная мысль ошиблись.

* «Гений христианства» (фр.).

** «Орлеанская девственница» (фр.).

Моисей был косноязычен; *написатель* книг, равных которым не знает мир, *вовсе не мог* говорить. Не поразительно ли? Вся мощь *слова* сосредоточилась в духе, и для телесного языка, для этого болтающегося куска мяса, — ничего не осталось.

Но он еще вывел израильский народ из Египта; он провел его через пустыни; довел до «земли обетованной». Удивительный человек; как верны, *проникновенны* слова Гейне: «Как мал Синай — когда на нем стоит Моисей». Это величайшее слово удивления к Моисею, какое мы знаем, вырвавшееся у язычника-писателя, в языческую эпоху.

Я думаю — он был мал и тщедушен; быть может — без бороды или с немногими редкими волосами на подбородке. Я думаю, он так же был в теле своем нем по отношению к делам, им совершенным, как был нем в языке по отношению к написанным им книгам.

Он весь был внутри, сосредоточен. Без сомнения, он был прекрасен, как никто из людей — никто до Христа: но это красота неуловимая, непередаваемая, и во всяком случае не переданная.

Микель-Анжело обманулся и обманул.

НОВЫЕ ЭМБРИОНЫ

1

Прометей *«похитил»* огонь с неба и *принес* его на землю; об апокалипсическом звере сказано: «И будут дивиться ему народы и скажут: «Кто подобен зверю сему? он дал нам огонь с небеси». Любопытное совпадение, кажется, неотмеченное.

2

Необыкновенно любопытны опыты *смешения, смешивания* грешного и святого. Что *кого* победит? которое *выживет?* что *сильнее?* Чрезвычайно любопытно. Само христианство есть до известной степени опыт такого смешения: *Бог* сошел на *Землю* — святейшее среди грешного. Нельзя отрицать, что это — так.

3

Есть люди с великими *темами*, но без слов; и есть люди с богатыми словами, но которые *родились без темы*.

4

Поразительно *движение* в молитве, у *всех* народов. К *чему* бы и почему бы оно, если бы человек относился к Богу только *умственно?* Я заметил (в Эрмитаже), что египетские статуэтки все (самые миниатюрные) *идут*, и это есть самая поразительная в них черта: отрицание *покоя*. Планеты и даже

звезды все – движутся, «вертятся», немного напоминая наших хлыстов. Вообще это не так нелюбопытно, чтобы пройти мимо и только улыбнуться. Кровь – «кровообращается».

5

Спартанцы были несколько тупоголовы. Не оттого ли, что умерщвляли хилорожденных детей? Ньютон, когда родился, так был слаб, что окружающие думали, что он через несколько часов умрет, потом – что через несколько дней. Он жил 87 лет и совершил великое.

6

Церковь не есть жилище памяти, а есть жилище совести.

7

Отношение к Богу может быть или вербальное – через исповедание (Запад, Европа), или реальное (Восток, мир «обрезания»).

8

В Дуббельне, проходя от вокзала на почту, с бесконечным интересом я смотрел на толпы евреев и евреек. В их черных длинных пальто (никогда – цветные), «при цилиндре», есть что-то страшное; конечно, эстетически невыносимое. Но я много думал и лишних $\frac{1}{4}$ часа протолкался на рынке перед вокзалом.

9

Жидовку даже и представить нельзя без колец и запястий; она блестит, «блистающая». Никаких этаких наших «бедных селений»:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Ничего из этой религии скопчества.

10

Есть нации артериального давления, есть нации венозного опадания.

11

Об Аврааме. Бог «обрезал» заветного себе человека и в его «заветной» точке. Обручаясь, супружась – муж и жена «заветно» соединяются, т. е. в самом сокровенном, интимном, заветном своего «я». Поэтому не «договором», не «союзом», не «условием», но заветом наименовано ветхое соединение человека с Богом через Авраама.

Чрезвычайно много разъясняющий термин у Иезекииля (44, 9): «Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить в святилище Мое, даже и тот сын чужой, который среди сынов Израиля».

У Моисея и у других пророков, кроме данного места, мелькает этот же термин: «необрезанное сердце». Заметим, что у евреев были «обрезанные плоды», т. е. «ставшие Господинами», «посвященные Господу». «Обрежьте сердца ваши», у укоряющих пророков, конечно, – «обратите сердца Ваши к Богу», «вспомните в сердце Вашем Бога», «опамятуйтесь в беззакониях». Отсюда совершенно непререкаемо объясняется смысл плотского обрезания: обращенность, но уже *sexus*'а к Богу. «Обратите сердца ваши к Богу, как обращены (через обрезание) к Богу ваши genitalia».

Упадок чувства Библии – самое замечательное у нас. Мы ее читаем – да; наши богословы к ней пишут «изъяснения». Явился Ляйэль с книгой: «Мир до сотворения человека по геологическим изысканиям», где говорится, что Земле более 80 000 лет старости, – и богословы всей Европы обрушились на него за нарушение библейской хронологии. Но Библия не компендиум хронологии. Где же, однако, в самих богословах не знание Библии, а дух ее? Кто из них назвал, с безмерной негой воспоминания, сына своего Исааком? Где между сестрами нашими Лия или Рахиль? А имя любимое мы берем первое от любимого человека. Мы не любим человека библейского, а только жуем библейскую букву.

«Вербальное исповедание»... Что же мы спорим против рационализма? Да мы поклоняемся рационализму, и уже «назвался груздем, так полезай в кузов». – «Неуютно!» – Да об уютности не было и уговора.

Европа ссыхается, высыхает; в ней не внешнее разрушение, а внутреннее, из центра идущее, – превращение в «св. мощи». Но из облитой золотом и камнями раки усопший хватает куски мяса с живых: вот сорвали с Китая кожу, вот вырвали внутренности из Африки. И не можем насытиться.

Отчего в *некрасивом* есть своя *красивость*? И что это за новая красивость и где ее родник? Некоторые некрасивые лица, «так себе», – неотразимо *влекут*. Кажется, тут – красота *прожитого*, красота истории, смысл биографии. От

этого множество «без биографии» прекрасных лиц так, в сущности, отталки-
ваящи: «ледяная» красота, «поверхностная» красота; красота кожи и часто
только *пудры*. Первая – Божья красота; вторая – красота человеческая; ибо
Бог есть жизнь, «биография»; «пот» и «труды»; Адамов пот, Евины труды –
благословенные. Отсюда «благословенная красота», например, Ревекки; «от-
вергнутая красота», например Фрины: не здесь ли узел расхождения вообще
семитической красоты и арийской красоты, столь мало сливающихся.

17

Возьмите странные порывы Свидригайлова; смешайте с ними философию
Ивана Карамазова (любовь к «клейким листочкам», которая «всё выживет и
всё переживет»), да и всю карамазовщину, с беспутно-добрым Митей и «свя-
тым» Алешей, который, однако, всё это (карамазовское) в высшей степени
понимает («и я – такой же», говорит он); не обегайте даже Федора Павлови-
ча, помня комментарий из «Записной книжки» Достоевского «мы все – Фе-
доры Павловичи», т. е. немножко «по образу его, по подобию его». Подло-
жите в букет, с ее неслышной походкой, Грушеньку. Получится большой воз
– сена. Это еще «погудка», «так себе», не «буря» и не «мгла». Теперь поло-
жите всё это под пресс огромного давления и сплющите в тонину почтового
листа: то ужасное напряжение страстей, какое получится, – вдруг заструится
тихим светом всего Востока. Тут – и Дамаск, и «дщери Сиона», и «тельцы в
Вефиле», которых поставил Иероваам, и весь высокий полет Библии. – Но и
обратно: вот почему «ворох» Достоевского попадает библейским, и он
сам – «во пророцех» Запада.

18

Не понимая еврейского «обрезания», не понимая еврейской «субботы» – что,
собственно, мы понимаем в Ветхом завете? Ничего. – Мы поняли и приняли
его только риторически, «красноречиво». Я говорю не об одних гебраистах
и ориенталистах, но и о догматиках-комментаторах Бытия и Пророков. Бо-
лее даже: в Евангелии недвусмысленно происходит борьба *против* субботы
и *за*, в *отстаивании* субботы; неужели это можно понять так, что борьба
была за «праздничный отдых» наших дней, чем тревожатся газеты и приказ-
чики? за «не-работу» или «работу» в воскресенье; «деланье» или «недела-
нье»? Очевидно – нет. Очевидно, что «суббота» имеет совершенно иной
смысл, чем наши праздники и вообще чем наше *празднование*, – и шло дело
о *замутнении* этого смысла или *незамутненности*, *ничем* и *никакой* его не-
замутненности. «Исцели – но в понедельник», «исцели – в четверг», но только
не в субботу. И ввиду этой страшной коллизии ни разу даже не было спро-
шено, т. е. ни любопытство, ни воображение новых ученых не спросило:
«Да что же такое – *суббота*?» Т. е. мы не понимаем сокровенного нерва этой
борьбы. Что же мы понимаем в самом Новом завете?

Какой хозяин не осматривает землю, не охорашивает ее, не утучняет и не делает бархатисто-влажной. То же и девство: это – нива небесного хозяина. Так и в стране должно быть тщательно разрабатываемо девство; вымыто, выхолено; унежнено, сдобрено. Плевелы и сор в нем должны быть выкинуты. И вот в угодный Богу час, выпуклыми грядами, оно должно принять святые семена и породить пшеницу Господню – человека.

20

Говорят и превозносят «девство», – и нам рисуется прекрасная девственница, которую *именно инстинкты пола* запрещают нам оспаривать: что же для пола милее и избраннее девственности? Таким образом, борьба против пола странным образом основана на поле же и пользуется сбивчивостью слов. Нужно поправиться в словах: превозносится «бесплодие» над «плодом», указывается «старое девство», «холостячество». Вот вы это защитите. Здесь *пол* уже будет не за вас, и логика ваша напрасно будет искать аргументов.

21

Аскет никогда не носил младенца на руках; он не держал потной руки роженицы в руке своей и, дрожа сам в страхе, не удерживал ее от боязни: в утешение, в успокоение он не читал около ее подушки: «Живый в помощи Вышнего...» Не слышал утреннего пробуждения своих малюток, когда они путаются со своими чулочками и башмачками. Не томился над умирающим ребенком. О чем же он судит? И даже говорит об этой сфере: «Дайте мне жезл управления над блудом, которого не вем».

22

Евангелие есть чудо. Боже, до чего глупы немецкие его «совопросники». Он шел по морю – *ἐπὶ τῆς θαλάσσης*; но в греческом языке существительное иногда пропускается при определении, и нужно читать: «*ἐπὶ ῥιπῆτης θαλάσσης*» – по берегу моря. Тогда чуда не было. Глупцы: да посмотрите на Лицо Его: *оно* – чудо. И все Его глаголы – чудны и необыкновенны.

Нет, если бы полную евангельскую историю мне рассказала моя тетушка, и ни одного письменного о ней памятника, не то что V, но XV века не сохранилось, – я бы воскликнул: «Это – история Господня!» Другое дело – *полнота* этой истории, и вековая боязнь: «Будете яко божи».

Всё необыкновенно. Но необыкновенна и любовь матери к детям, а вот они как часто оторваны от матери со ссылкой на слова: «Кто не оставит отца и мать ради Меня – несть Меня достоин». И добро бы мать не шла за Ним, не шел ее младенец; но они только и лобызают имя Его.

Знал такую семью в г. Е–е. «Почему же ты – Ш., а твоя мама П.?» – спросил я, ставя балл в ученический «журнальчик». Какой чудесный был мальчик; изумленье выразилось на его лице – ему этот разрыв и в голову не приходил. «Я не знаю», – и он улыбнулся. «Да она, верно, за вторым мужем?» – «Нет». Я вдруг догадался, вспомнив трогательнейшую историю, мной слышанную, как прекрасную девушку обманул профессор и как отец ее выгнал от себя, и она мучилась, взять ли мальчика и при себе держать – «такой стыд», «девке», – или отдать на сторону. И поехала к отцу Амвросию (Оптина пустынь). «А где же твой мальчик? – спросил он, как ясновидящий. Бедная затрепетала. – «Возьми его от знакомой и воспитывай сама». Я спросил мальчика: «Бывает твоя мать в Оптиной пустыни?» – «Каждый год два раза ездит, и меня берет». – «Видишь отца Амвросия?» – «Он меня любит: всякий раз, как мы у него с мамой, – он мне орехов много дает, и веселый такой, добрый». – «Что же твоя мама делает?» – «Образа рисует». – «Вот хорошо; а я давно хотел заказать образ своего святого; где вы живете?» – «Она вам не нарисует». – «Почему?» – «Она только в Оптину пустынь рисует; кончит – и отвезет батюшке». Подвиг этого чудного дедушки не записан, да сохранится же о нем память. Ну, хорошо: не пройдут годы, и, может быть, уже теперь настали, и бедный славный мальчик несет на себе клеймо. Да что же Universitas fidei?* и неужели, когда святой человек простил, нет милости и «дара святого Духа» простить и изгладить и стереть грех?.. Человек утешил человека; да – но человек... и будем же ему, седенькому старичку, сплетать венки.

23

У животных есть душа – ребенка; но только она никогда не вырастет. Дети – я наблюдал – до дрожи (от нетерпения приблизиться) любят животных; трехлеток неумоимо ловит, и хоть безнадежно, курицу. Дети *чувствуют* животных. Обратное животные что-то свято чувствуют в детях (никогда их не кусают). Интересно бы дитя (но осторожно) внести в клетку хищников: его не растерзали бы. «Вавилонские отроки» в «пещи огненной» – среди пламени, но не сгорают. Ужасное воспоминание: в Лесном, при пожаре дачи, сторел мальчик лет 3-х. Что чувствовали родители?.. какая жизнь их потом? Поразительна (для нашей эры) причина: родители потащили других детей, а этого поручили няньке; но она уцепилась и потащила свой узел (имущество). В конке я еду, слышу разговор об этом, и другую прислугу, защищающую «свою сестру»: «Каждому, батюшка, свое дорого...» Тут не сердце; тут какая-то притупленность воображения (наша не оргиастическая, притупленная, венозная цивилизация).

* Совокупность веры (лат.).

Читал «Федра» и «Пир» Платона. В тайне sexual'ной аномалии, которую по главным ее выразителям можно назвать Платоно-Сафической, находится разгадка греческой цивилизации. Это и была существенно *λοιδιον*'ическая цивилизация, пронизанная вертикальными лучами не обрезания, не под «дубом Мамврийским», но в ужасающей к нему близости. Только тоненький почтовый листок проложен между «домом отцов наших Иакова, Исаака, Авраама» и рассыпавшимися Парфеноном, Периклами, этой сверкающей, изумрудной красотой. И точка их связи и близости, сближения – в *λοιδιον*'е; так близка, что «войди на холм и посмотри – вот грешные города» (Бог Аврааму). Нас не должна обманывать казнь городов: так сын Иудин пал мертв, пораженный Богом, лишь чуть-чуть *рикошетом* совершив требуемое Богом. К никогда не разгаданной, потусторонней, Божией тайне «обрезания» в необыкновенной близости проходит страшная, до сих пор не умирающая аномалия. Почти как Авраам, близко к Аврааму, греки тоже вступили в «несовершенный» и, главное, произвольный союз с Богом; достали «огня» («он даст вам *огнь* с небеси» о звере в Апокалипсисе; Прометей – принести людям «огонь» с неба) и, зажегшись им именно в неисследимой этой аномалии, зажгли особливую и сверкающую свою цивилизацию. Они дали человечеству мраморную Библию; выскульпторили Бога, но истинного и истинно; и умерли. По Платону, в законодательствах Элиды, Бэогии, на Ионических островах были законы, регулирующие отношения, «права и обязанности», как у нас в браке – в странной аномальной связи («Пир»); по Фукидиду – ею были связаны Гармодий и Аристокитон, сплетшие такой красивый узел в златотканом ковре удивительной культуры; тоже – Ахилл и Патрокл, Александр и Парменион, Платон и Федр; т. е. древность и новые времена, детство и старость, и полный мужества средний возраст страны; вся география, вся история. Необъяснимое волнение, которое так ярко описывает Платон в «Пире», и что-то лепечет о Небесной Афродите, отличающейся от земной и вульгарной, познаваемой с женами, – разливалось по всей Элладе, в краткие 600–700 лет ее жизни; в то же время, ничего не объясняя, он отчетливо говорит, что это вовсе не то, что «по нужде бывает на море, у грубых матросов»: что, кроме «зрения», «осозания», «всех чувств», тут ничего нет, и – необъяснимого волнения, однако, к странной точке, взятой Богом «для обрезания». *Почти «обрезание»*, и каждый *λοιδιον*'ист был «обрезатель» или «обрезаемый», в потустороннем значении, с потусторонним содержанием, тоже ведь непонятной нам, как и эта аномалия, операции. Замечательно, до сих пор, что вступившие в эту аномалию «отворачиваются от жен», «не оскверняются с женами». Но как Ромео и Юлия, дети, разыграли бурную сцену, смутившую город, – греки бурно, мощно вырвались из мифов, закружились ураганом в вихре нам вовсе непонятных ощущений и создали краткотечный миф своей истории. Но какой миф? Который пережил всякую историю – гнилых римлян, остготов, и *живет*, т. е. жив сейчас, не умер в

мысли и значении своем. Всё, только близясь к «обрезанию», становится ноуменальным: ведь и брак – таинство «обрезания», его категории; всё вне *circulus'a** «обрезания» – феноменально, земно, светско, лаично. Пусто, поверхностно и преходяще. В мраморах Греция оголилась, и именно рбидипн'ически: это «младенцы» Мурильо, застывшие в гипсе. Что-то недосказанное, в последнем анализе, бессильное было в Греции: оттого она умерла, когда Иуда живет. Не настоящее «обрезание», только с ним «соседство»; самовольное обрезание, и не по священному ритуалу. Но – оно же. И от этого если не самое племя, то его памятники уже *вечны*, как и *слово* Иуды. Без постижения этой аномалии вовсе нельзя ничего постигнуть в греках; и, кажется, Винкельман, судя по способу его смерти, по отрывку одного очень запутанного письма, где он говорит и недоговаривает об «особенной дружбе», которой «прекрасный обычай знали древние греки», – он был также *ταιδιον'истом*: и первый, простой школьный учитель, заволновался эллинским чувством, «Прометеевым огнем» и разгадал законы древних скульптур. Ученость тут почти не может помочь, с ученостью только будешь читать или составлять «каталоги» смертных останков.

Но, *годы думая*, можно кое-что понять в *логике*, *смысле*, в *мотиве* странного явления. Инстинкт молчания во всем этом поразителен, и даже вызывает к себе благоговейное удивление. Точно мы в самом деле спускаемся по воронкообразной лестнице к «первой площадке» мира, подземному (или небесному?) его фундаменту. И тайный голос кричит: «не смотри»; «не говори, что видишь». Узел мира, бесспорно, скрыт в 4–5 *sexual'ных* аномалиях и по ним только может быть прочитан.

25

Пол есть странное физиолого-мистическое явление, где так необыкновенно запутаны нити романа и церкви, «мяса» и духа; где столько земного и так очевидно есть небесное. Нет еще явления, куда сходилось бы столько и из самых разнообразных областей тропинок: наука и поэзия равно спешат сюда, сюда подходит искусство и сюда торопится священник. Каждый находит здесь *свое*, *себе* пищу, *свою* тему. И между тем нет области, менее освещенной и даже едва ли осветимой в глубине: эпитет *тайны* – особенно приложим сюда. Неисследимое, «непознаваемое» или, по крайней мере, с великими усилиями и очень малыми дозами познаваемое. Эмбриологи замечают, что в важнейшие секунды процесса развития живого существа и в важнейших точках, где сосредоточено это развитие, происходит *мутнение*: процесс двигался расчлененно, прозрачно; он будет далее двигаться столь же прозрачно и расчлененно, но на критической точке, в критическом переломе вдруг появляется *мутность*, и все силы микроскопа и острота скальпеля или иголки оказываются неприменимы. Мутность длится минуты, полчаса: в ней со-

* круг (*лат.*).

вершается что-то очень деятельное. Но об этом можно только догадываться, ибо, когда поле наблюдений вновь становится прозрачно-видимым, все части прежнего эмбрионального существа являются существенно преобразованными: *как, какими силами* – это-то, очевидно, природа и вырвала из-под любопытствующего взгляда человека. «Брак» – тема физиологии и канонического права, Данте и Григория Гильдебрандта, Соломона и Оффенбаха – есть, в темной глубине своей, такое же неясное пятнышко всемирного «помутнения». Сюда входят миры; отсюда выходят миры. Здесь утро нашего «я», с бессмертной душой, в красоте форм. И так хочется, и так трудно заглянуть сюда; трудно – и все-таки *опять и еще* хочется нагнуться над колодецем, сруб коего прост и беден, а глубь воронки уходит до центра Земли, и, кажется, выходит другим «срубом» в исподние страны, в преисподние области, – где, как гадали при Колумбе об Америке, – «те же люди», как и в Европе, но «ходят ногами вверх и головой вниз».

БИБЛИОГРАФИЯ

«Учение двенадцати апостолов». Недавно открытое сочинение времен апостолов. Перевод К. Д. Попова. Издание «Посредника» для интеллигентных читателей. Москва. 1898.

Текст этот открыт Вриеннием, митрополитом Серронским, в библиотеке иерусалимского подворья в Константинополе. Он был и известен и ранее по ссылкам на него писателей первых веков христианства и, судя по одной из этих ссылок (Климента Александрийского, который умер в 217 г.), составлен, действительно, в первом или в начале второго века нашей эры. Текст разделен на 16 глав, которые составляют как бы компендиум, или экстракт, Евангелия. Едва ли можно сомневаться, что текст этот содержит изложение слышанного от апостолов или читанного в Евангелии учения, но что рука ни одного из апостолов не приложила своего старания и не вложила своего духа в это изложение. Этим можно объяснить и то, что оно затерлось так рано и вообще не получило канонического авторитета. При чтении его особенно укрепляется одно общее наблюдение над разностью ветхозаветных и новозаветных книг. Ветхозаветные книги, без исключения все, даже исторические, наконец даже законодательные и почти юридические («Второзаконие»), заключают в себе чрезвычайно много порыва, устремления, движения; вообще много – применяя фразеологию нашей науки – динамического элемента; напротив, новозаветные все построены, если позволительно так выразиться, в эпических гаммах: в них разлито спокойствие – и устремление, когда оно есть, имеет определенный предмет, тесную задачу, не переходя никогда в общую устремленность духа. Эта разница настолько коренная и всеобъемлющая, что простирается даже на самый центр ветхозаветного и новозаветного учения – именно на содержащуюся там и здесь молитву: Псалтирь – это неустанно и разнообразно льющаяся *молитва*, перебегающая с частности на частности, ищущая поводов, чтобы персты пошли по струнам; «Отче наш» есть небесно-земная *формула* наших отношений и нужд. Поразительно, что центр литургии, музыкальный и художественный, составляет неизъяснимо мистическая, неясная песнь – «Иже херувимы». Она сложена была одним из византийских императоров. Сколько музыкальных разработок было придано ей! – т. е. она вызвала, позвала на слова свои музыку. Объем содержания «Отче наш» несравненно обильнее, и он даже универсален, всеобъемлющ: но поразительно, что музыка не пошла на слова главной и, собственно, даже единственной христианской молитвы. Она поется просто, составляет почти речитатив и не допустила вовсе никакой музыкальной разработки себя. На Востоке она даже читается, а не поется, и у нас почти читается. На литургии, центральная по содержанию среди всех песнопений, она проходит гораздо менее торжественною минутою, чем пение «Херувимской песни». А существо молитвы есть существо религии, и

в указываемой подробности мы отмечаем разницу между «ветхим» религиозным духом и «новым». С точки зрения этой разницы понятно и столь раннее появление «Учения двенадцати апостолов». Дух «нового» завета есть дух небесного училища, есть дух учащий, разъясняющий, припоминающий; дух «ветхого» завета есть дух неопределенного и почти беспредметного пения. Тысячу лет Ветхий Завет прожил, имея, правда (неопределенно упоминаемые), «школы пророков», но не имея собственно ни училища, ни — в строгом смысле — догмата; напротив, Новый Завет почти сейчас после появления стал расти в догмат, и, соответственно этому, уже во времена Карла Великого всюду в Европе стали заводиться иконы. Так что «учение двенадцати апостолов» можно считать «горчичным зерном», из которого выросло все необозримое дерево наше училищного, ученого, академического и книжного образования.

Архиепископ Никанор. «Из истории ученого монашества». «Русское Обозрение». 1896 г. 1–3 кн.

Сильное впечатление производят только что закончившиеся печатанием записки покойного арх. Никанора; хотелось бы верить, что на них остановится вниманием вся Россия — все размышляющее, заботливое в так называемой «образованной» России. Записки эти одинаково важны для духовенства, выражающего здесь себя, и для мира светских людей, внимающих выражению. Собственно, до сих пор мы знали целый обширный круг людей, многозначительный в народной жизни, только с внешней, *общей* стороны: в пышных мантиях, в черных клобуках, всегда на видном месте, всегда на служении. Никто не предполагал глубокой, человеческой драмы, скрытой под этими одеждами; и вдруг она разверзлась перед нами, перед нашими изумленными глазами, до сих пор тускло смотревшими на этот предмет.

Впечатление записок, несмотря на их более чем грустный колорит, все-таки отрадное, мы видим, что сохранен высокий и чистый идеал целым сословием. Исторически знаменательно то, что сказано в самом начале записок о *побуждениях*, заставляющих идти в монашество, и что сказано в самом их конце о значении монашества в истории христианской религии, о его вечности, непреходимости. Действительно (мы продолжаем мысль архиепископа Никанора), монашество не принесено на землю Евангелием как учреждение, но оно уже есть в Евангелии как дух, и учреждение явилось правильным плодом этого духа. Достаточно, чтобы признать это, сравнить с Евангелием библейские книги, их еще полные порыва страницы, где благословляется, повторяется, развивается первоначальное: *«плодитесь, множитесь»*. Как мало этих порывов у евангелистов! — почти только изображение брака в Кане Галилейской: новый строй духа вьет там; брак еще благословляется, никто к нему не зовется; дети зовутся, но как самые чистые сыны Божий, как самые восприимчивые слушатели слова Божия, без упоминания об их рождении, о необходимости для них рождать, как это всегда мы находим у Моисея. Дух плотского разъединения, чистое внимание небесному учению, школа Царствия Небесного, где есть учащие и внимающие, где нет племени, отечества, семьи, где все это не ясно и

бледно, – веет на нас из Евангелия; и мы уже без труда прозреваем здесь будущие кинонии Фиваиды, Сирии, Афона. Но мы уклоняемся в сторону.

Между указанным началом записок и их концом, между поднятием знамени и его исповеданием, идет потрясающий рассказ о страданиях. Что же, есть светлая точка зрения и на это даже: это – несение в истории Креста, несение его теми, кто и воистину на земле взял образ Предвечного Страдальца в пример, принял его как истину, как путь. История возложила на плечи бремеча тяжкие, как бы механически помогая выполнению внутренней миссии, внутреннего обета.

Спаситель был оплеван, биен; мы читаем об архiereе «на покое», который стирает у корыта белье свое, а приходя в церковь, становится где-нибудь в углу, под лестницею, в притворе, ибо он «всем мешает». О, праведные наши архiereи, сердца которых мы не знали, судьбы не подозревали, – да будет благословенно имя ваше вовек и да отрет Бог слезу вашу, отрет когда-нибудь в истории...

Общее впечатление записок так высоко, что как-то умеряет, рассеивает негодование, которое все время, при чтении всякой почти страницы, неудержимо закипает в душе... Верно – так Богу нужно было; верно, Ему угодно, чтобы некоторые люди низостью своего падения, мелкостью душ своих, ничтожеством помыслов были, как некоторою религиозною карою, наказаны за грех какой-нибудь особенный и гадкий. Истинно наказанные в записках архиеп. Никанора – это они, мучители; им выпала самая на земле постыдная роль – быть орудиями исполнения постыдного. Их счастье кажущееся есть счастье Басмановых, Малюты – предмет тревоги, ужаса для человека религиозного. О, как лучше стирать у корыта грязное белье свое, сложив в сторону архiereйскую мантию, нежели так жить, властвовать, наслаждаться...

И все-таки эти образы угнетаемых долгие годы людей, «с которыми потому и легко и удобно иметь дело, что по самому чину своему они не могут жаловаться, роптать», – незабываемы; забываем Иоанн Смоленский – этот дошедший до озлобления гениальный ум, который так много знал, такую острою мысли обладал, что решительно его нужно было удалять и удалять, гнать и гнать, дабы глупость и зло человеческое «не ходило в свете». Медленно, молчаливо он угасал в своем удалении; у него, совершенно здорового человека, открылось кровохаркание, и он умер как-то странно, без свидетелей, несколько темно, как видно из намеков архиеп. Никанора...

Мы верим – конец этого страдания близится. Нужно только страстотерпцам перенести и не запоминать; нужно понять то, что нужно... Это временное удаление церкви от самостоятельного делания, которое мы переживаем от Петра 1-го, было не без предвидения. Есть положения исторические, есть времена, есть эпохи, оглянувшись на которые в поздние века – можно благословить темницу, которая сберегла чистоту жизни, оковы, которые оберегли от действий. То учреждение, на которое, не упоминая названия, сгует архиеп. Никанор, без сомнения, по отношению к церкви, и в частности к «ученому монашеству», сыграло роль этих благодетельных временно оков.

Но, мы сказали, близится конец всего этого; и тот же самый, страж, который, во благовремении замкнул за церковью двери, во благовремении отомкнет их. Есть некоторая родственность между властью царской и духовной: власть

Царей есть также священная; эта власть, простирающаяся даже на жизнь человека, – вполне мистична. Она вовсе не из разряда властей гражданских, политических. Царь – как бы епископ для совершения земных дел, снявший богатые ризы свои, отложивший в сторону посох, митру, чтобы склониться над страждущим Лазарем, народом своим, отереть гной с его ран, перевязать их, и вообще земными способами о земном позаботиться, но с небесных точек зрения. Неуловимо, незаметно, но необходимо совершится нужное в истории передвижение; и этот церковный смысл, который уже теперь соединен даже в умах простого народа с священным именем Царя, который утверждает за этим именем самую церковь, ощущается в себе нашими Царями, – выделится ярко среди остальных и сложных черт этой власти, станет из затененной второстепенной черты главной и затеняющею.

В записках архиеп. Никанора есть еще одна черта, особенно привлекающая к себе внимание читателя-писателя. «Есть совесть в русском языке», – заметил глубокомысленно и тонко покойный Н. П. Гиляров-Платонов; записки архиеп. Никанора есть лучший образец этого совестливого языка – необъяснимо почему, но с первых минут чтения и как первое впечатление от читаемого ложится на душу уверенность, что пишущий не скажет ни одного слова неправды, не поставит косо ни одного слова. Есть в западной литературе произведения столь же знаменитые, как и дурные: «Les martyrs» и «Le genie du christianianisme»* Шатобриана: вот пример ложного языка, вот пример стиля, который обволакивает изящною оболочкою скрытый в произведении обман. Печальный, нездоровый литературный плод, выросший на печальном дереве. Пока в русской литературе будут появляться произведения, подобные по языку запискам архиеп. Никанора, – можно быть уверенным, что эта литература здорова, что крепкие, свежие, чистые соки еще продолжают бежать по дереву нашей духовной жизни.

Кстати, что же у нас делает учебная литература? Почему не издаются записки Пирогова и вот теперь арх. Никанора как классики для юношества, для библиотек старшего возраста средних учебных заведений? По крайней мере, эти книги заставили бы задуматься кое над чем серьезным завтрашних докторов, адвокатов, чиновников, писателей – так мало обнаруживающих до сих пор мысли? Или, может быть, в том и задача теперь воспитания, чтобы учащиеся ни над чем не задумывались, да уже кстати ничего и не знали?

А. Киреев. «По поводу старокатолического вопроса».
Сергиев Посад. 1898.

Все, что выходит из-под пера А. Киреева, производит светлое впечатление нравственной чистоты, лежащей под его строками. Согласны мы или не согласны с ним, даже уважительно или нет относимся к его мыслям, мы не можем никогда отвергнуть, что эти мысли суть плод чистого теоретического интереса, что под ними не шевелится никакой задней мысли, никакой подозрительной тенденции.

* «Мученики», «Гений христианства» (фр.)

“как и нет никакого личного, т. е. своекорыстного интереса. В нашу пору, когда книга так осквернилась, уже это отрицательное качество немаловажно. Разбираемое сочинение г. Киреева представляет ответ профессору и доктору богословия А. Ф. Гусеву и отстаивает требование так называемых «старокатоликов», чтобы в предполагаемой к восстановлению Вселенской церкви было удержано древнее «семисоборное» учение об евхаристии; без некоторых тонких оттенков, усвоенных римскою и греческою церквами. Содержание вращается в тонкостях определений и диалектики, которым не может быть места в общей печати. Но есть кое-что, навеваемое ее чтением, что может и должно войти в общую печать.

Есть «религиозность», есть «церковность». Весь вопрос о так называемом «старокатолическом вопросе» относится к порядку «церковности» без примеси к ней «религиозности» или с примесью случайною, не необходимою. Что такое «религиозность»? Мы ее не можем лучше определить, как словами Библии о патриархе Енохе: «он ходил перед Богом». Религиозность есть «хождение перед Богом» или живое, непременно личное и непременно жизненное чувство, почти ощущение Бога. От этого «религиозные» люди до могилы религиозны, ибо раз испытанное становится у них незабвенным. Очень часто среди общества и «церквей» они проходят блуждающими кометами, то много совершая для них положительной работы, то смущая их покой и мутя «чистоту» догмата. Бесспорно, однако, что, чувство религиозности лежит исторически в основе самого «догмата», и оно его древнее, исконнее. Едва ли бы «догмат» сохранился, не будь в свое время этих «религиозных» людей. Для примера возьмем Гоголя и сильно на него влиявшего Ржевского строгого священника, отца Матвея. Как-то отец Матвей во время «трапезы» заговорил о будущей жизни. – «Не говорите, замолчите – это очень страшно!» – воскликнул Гоголь. Однако отцу Матвею это не было страшно «до перепуга», т. е. он говорил хоть строго и истово, но по памяти, без «смятения» перед видящим Богом; а у Гоголя было это смятение, и оно было у него как постоянное чувство. От этого люди «религиозные» суть люди подвига. «Церковные» люди, действуя по памяти, присоединяют к ней умственную любознательность и, в удачных случаях, так сказать, «умственное художество». Они создали богословские системы, но едва ли они поставили много свеч и, так сказать, не курятся перед Богом молитвою. Эти, по памяти действующие, богословы предаются религиозной деятельности не иначе, как математики, увлекающиеся решением трудных задач. Так как у них действует «память» и «сообразительность», то они непременно становятся на почву «исконности» и недоверчиво, а иногда и враждебно относятся к совести, и именно – к религиозной совести. Они – археологи-реставраторы, концепции храма у них нет; но у них есть исторические сведения о храмовой архитектуре, и как всякий талант ищет себе применения – ищет применения и материала и их талант. Между религиозными людьми и ими тогда бывают мучительные коллизии, и много костров зажглось в этих столкновениях. Кстати – о «столкновениях». «Религиозные» люди, вовсе не сливаясь в безлично общую толпу, никогда между собою не враждуют, не сталкиваются; столкновение начинается там, где начинается умственное любопытство или мастерство художнической реставрации. Тут действует вкус, а вкус имеет остроту и страстность, как име-

ет в себе точность и крепость логический вывод. Острые и жесткие отношения, ирония и самопревознесение получают тогда место около религии. Ими полна история европейских церквей. Замечательно, что Восток – Сирия, Фиваида, – где руки человека впервые сложились в молитву, – не знал тех огромных и вековых диалектических «контроверз», на которых разошлись церкви позднее. Там люди просто молились; здесь они хотят спорить. Там пылали к Лицу Предвечного; здесь вывели Его свойства – немножко, как геометры выводят свойства линий из их определений. Между прочим, удивительно много в эти построения вошло из платонизма, и напр., «свойства Божий» наших теперешних религиозных систем мы можем читать в «Тимее» греческого философа, а «свойства души» и «духовного» – в его «Федоне» и «Федре». Напр., Бог, уступая просьбе Авраама, несколько раз на минуте переменяет свое решение; но в «Тимее» твердо сказано, что «Демииург» пребывает неизменен, – и именно это определение, а не библейский факт, вошло в катехизическое учение. Ибо из «идеи», по Платону, можно сделать и дальнейший вывод, но что можно вывести из факта Библии, кроме того, что он «был» и в нем выразившееся «Лицо» – свято? Тут нет работы для мысли, но только предмет для веры.

Обратимся к старокатолическому вопросу. Он весь состоит в тончайших контроверзах, и его существо для «религиозности» неуловимо. По религиозному бы порыву: «друг друга обьемем» – сперва лобзание и уже завтра размежевание. Но, конечно, это невозможно с реставраторских точек зрения: сперва размежуемся, и если в точности будет «suum cuique», «каждому свое», – можно будет и облобызаться. Мы ожидаем, что поцелуй будет холоден и что, если «восстановление» «Вселенской церкви» и последует, это будет фактом скорее политического характера, так сказать – политических и публицистических последствий, нежели собственно религиозных.

К тому же не следует забывать реформ Григория VII Гильдебрандта, на которых собственно глубже, чем на «filioque», разошлись Запад и Восток: ибо тут – концепция человека и жизни, а не диалектическая тонкость. Замечательно, что это расхождение началось уже по время первого Вселенского собора, когда брезгливо-аскетическую точку зрения римлян горячо оспаривал и отвергал св. Спиридон Тримифунский. Замечательная живучесть идей и преемственность ощущений: ибо это есть собственно «ветхое днями» ощущение Востока, который и до христианства населил Олимп «плодящимися» богами, в противоположность «не-плодящимся» Капитолийский. Рим никогда, собственно, не понимал плоти и отвергал ее возможную святость; он брал человека в тоге и не дальше тоги: остальное – он жег. Вот, может быть, наиболее глубокий родник характерных в истории католических черт; и если правильно понимание Евангелия как специфически «бесплотного» и «противуплотского» слова, тогда «старокатолики» останутся ни при чем, ибо полнота Евангельской «бесплотности» и предполагаемой «противо-плотскости» нашла, конечно, осуществление в реформах Гильдебрандта. Слова Спасителя: «Ты еси Петр и на сем камне» и т. д. – получают тогда свое объяснение, и только слово «камень» в Его речи получило бы не значение «твердости», какое обыкновенно с ним связывают, а «пустынности», «бесплодности», «бесчреветности». И вместе с тем это в истории объяснило бы, быть может, и крайне местную роль православия около универсально раскинувшегося католицизма.

Для всякого, кто много размышлял на религиозные и культурные темы, эти три рассказа представляют волнующее чтение. Но прежде – о таланте автора. Едва ли мы ошибемся, если предскажем его сборнику печальный участь – быть обойденным вниманием и, может быть, остаться не замеченным вовсе. Он не для многих. Тонкий и изящный рисунок пера может ли сыграть роль олеографии, которая издали видна и со всех сторон сзывает к себе огромную толпу? Ничего кричащего: опять, как это заметить в литературе и в жизни, которая, хорошо это или дурно, но уже наполнена криками? 203 странички этого сборника все полны тонкою рисовкою теней и переливов, какие проходят через душу девушки, борющейся между почти равными в ней по силе инстинктами аскетического отречения от мира и влечения в мир. Инстинкт отшельничества – инстинкт семьи; поэзия молитвы – поэзия «своего гнезда»; красота монастырского быта, с великим мастерством нарисованного, – и красота детей играющих, мужа как жизненной опоры в мечтах, в воображении отшельницы: вот колебание, наполняющее книжку. И так как рисунок автора везде тверд, сила его алканий в одну и в другую сторону – решительно одинакова, воображение – везде чисто, то, перевертывая листы книжки, философ и моралист как бы рассматривает огромную иллюстрацию к своим давнишним и любимым темам, к своим недоумениям. Трудно иногда отделаться от подозрения, что фамилия автора – псевдоним и под ним скрывается женщина: так много есть штрихов в рассказе из мира волнений, вовсе и безусловно недоступных наблюдению мужчины, даже просто – его пониманию.

Прежде чем принципиально говорить о книге – какой-нибудь отрывок как пример языка ее и духа (форма рассказа – дневник): «Матушки-игуменьи нет дома; она уехала с казначеей к преосвященному владыке. И я бы, не прочь поехать (автор дневника родственница и любимица игуменьи), да подальше от начальства – лучше... В первый раз я подошла к фисгармонии, коснулась клавиш; с тех пор как я ушла из мира, я не играла, я думала, что и пальцы одеревенели. Я была совсем одна в огромной нашей зале, и я поддалась искушению... Я сыграла «Ave!»* Шумана. Я сыграла эту музыкальную фразу два раза; звуки точно говорили! Потом – то, другое, и наконец мою любимую сонату Бетховена. Крылошанки (монахини, поющие на клиросе), привлеченные несслышанными звуками, робко оглянувшись во все стороны, на цыпочках вошли в залу. Лиза сказала: «Что это вы играли?.. Скучно! Не люблю! Сердце так вон и просится...» Я отвечала: «Канты», и когда проговорила это слово, едва сдержала рыдания, и потом, оставшись одна, долго плакала. Не хорошо, я вижу! Не так бы надо было жить в монастыре, и не так я полагала начало. Не хочу никуда ехать, хочу обновиться душою, возвыситься и смиряться в одно и то же время. Я взяла мою отраду: «Падение Адамово» Иннокентия и долго читала, пока праздничный колокол не заставил идти к вечерне. Мы уже перешли в зимнюю церковь – пройти только коридор, и мы в

* «Признание» (фр.).

храме. Мирских сегодня не было никого» и т. д. (стр. 91). «Мир» и «храм»; влечение к обоим, к обоим интерес – взаимно пронизаны, и это-то и составляет нежную красоту всех страниц, силу и достоинство книги. Кончается она потрясающим объяснением монахини, чуть-чуть было не вырвавшейся в мир, – с умным, ласковым и грозным одновременно архиереем. Еще несколько всплесков загоревшей страсти – и все утихло. Монастырь победил. Невольно приходил на ум: будь монастырь без этих «мирских» лучей, без «побеждаемого» в нем «мира», будь он совершенно один и изолирован и сведись к «стояниям», «сухоедениям», глаголениям, но совершенно пассивно и спокойно, «сыто» выполняемым, – где и в чем была бы его красота? Красота монастыря вся и лежит в существующем и огромном притяжении «мира», в борьбе с ним, над ним победе: и нет вовсе, нет никакой красоты, нет красоты религиозной в нем *an und für sich**. Но и с другой стороны: будь «мир», и в частности «семья», инстинктом которой волнуется молодая монахиня, совершенно без аскетических порывов, т. е. без огромного же притяжения в свою очередь монастыря, – чем была бы она, как не грубою и отвратительною физиологиею? Таким образом, «монастырь» так же нужен для «жизни», как «жизнь» необходима для монастыря – в обоих случаях как поправка, как ограничивающий и сдерживающий идеал; как до известной степени «душа». Да, мы нашли нужное слово: монастырь есть «душа» семьи в той же самой мере, как «семья» и именно ее алканье – есть «душа» и смысл монастыря. Это до того вечно, до того коренится в существе дела, что страна «матрон», языческий Рим, имела у себя вечно девственных «весталок», еще строже соблюдавших себя, чем наши аскетички. Что же это значит? Что за тайна в этом взаимном пронизании? Да та простая тайна, что «семья» тянет к себе человека и нужна ему как религиозный институт, как непременно «святая семья», т. е. в ограничениях и сдержанности почти аскетической. Тут-то к ней и мучительный порыв, и он тем страстнее, т. е. инстинкт материнства и супружества тем неодолимее, чем человек религиознее. Обратное, аскетизм весь льется в молитвах по существу материнских же, в сущности – супружеских, и отсюда, и только отсюда – его жизненность, яркость, красота. Мы имеем две души, до известной степени – «две души мира»: *молитву, жизнь*. Т. е. в тайне и в основе всего мира и целого Космоса лежит теплящаяся к Богу жизнь, лежит живая молитва – и в каждом нашем «я» не умирала и не иссякаема вечно эта древняя «ева» (= жизнь) с поднятыми к небу руками. В сущности – это в высокой степени утешительно; хотя и очень показалось бы недоуменно Владыке, укрощавшему «строптивую» (см. «Тихая пристань», конец): что истинная его самого основа и, так сказать, древнее его собственное «ребро», для коего даже как аскет он создан, – и лежит в этой порывистой девушке; что убери ее, убери вон из мира, убери и даже «не создавай» вовсе – и он сам рухнет, рухнет совершенно, как прежде всего религиозно ненужная вещь. Если мы спршим себя, любопытствуя далее: что же, однако, есть первая и фундаментальная вещь из этих двух взаимно ограничивающих и взаимно нужных вещей или, пожалуй (чтобы быть поконкретнее): кто есть первый и *древнейший*, «перве-

* сама по себе (нем.).

нец» Богу и «первенец» сотворения, девушка ли в привычках ее: «Не могу! Не могу!» или его строгое: «Не можете не грешить?» (стр. 150) – мы будем в высокой степени затруднены в ответе. По-видимому, однако, «extemporale» должно, быть сперва «написано», чтобы потом «исправиться», и без ученика, ставящего «кляксы», нет и в высокой степени ни для чего не нужен учитель. Т. е. «ученик» первее учителя и девушка древнее архиерея если не в смысле лет (возраста), то в порядке метафизическом, и это должно бы смягчить его речь (талант автора так удивителен, что он и сделал это – заставив архиерея, хотя на минуту, совершенно проникнуться и слиться с женственным стремлением послушницы), это именно и сообщило резкую остроту и упругость ее ответам. Выходя из подробностей рассказа, которые дают безусловную правоту архиерею (неправость и действительная незаконность привязанности послушницы к *семейному* человеку), и перенеся диалог и спор в сферу отвлечения, мы должны ответить, что права именно она, а не он, – как порыв к свету, перед коим он сам стоит как служебный отражающий экран, и притом как порыв во всяком случае столь же трансцендентный, как и тот, который привел его к панагии и митре. Да: велик и не ошибочен очень древний инстинкт церкви, все-таки именно семью возведший в «религиозное таинство», чего не сделано для аскетического пострига и о чем запечаткованием полна речь архиерея. «Я хочу венчальной фаты так же и по тем же самым основаниям, не меньшим – как ты, аскет, алкаешь молитвы» – это в сущности вечный и правый, за строжайше немногими исключениями, мотив девушки. «Семья» и есть «монастырь» для нее, также исполненный трудов, лишений (хороших, разумеется, как, впрочем, для хороших лишь монахов полон «лишений» и монастырь), своеобразных слез и восторгов, умиления и молитв. Тип семьи (в целой Европе) ужасно пошатнулся, и собственно теперь мы имеем только ее разбитые стеклышки: но в истинном смысле она есть тот же «затвор», то же «отшельничество от мира», «отречение» от его соблазнов не для «сухоедения», однако, а для детей и покоя супруга, для собственной своей чистоты. В сущности религиозный центр семьи – трансцендентнее даже, чем монастырь; от этого притяжение к ней – несравненно властительнее, она сама – вечнее. Это, правда, – вечный «ученик» («вечное стремление»), но который не только метафизически предшествует учителю, но и во времени переживает его. Нельзя не обратить внимания, что собственно «церковь», как «богоустроенное человечество», имела древнейшим зерном себя первую же человеческую чету и именно в сочетании ее; и нет никаких причин думать, что «первая церковь» и «внутреннейшая церковь» не есть и до сих пор именно семья, около которой огромный институт церкви есть более внешний «притвор», «двор», «святнище», но не «святое святых». Так представляется этот вопрос, принимая во внимание древность; и что было время, когда «церковь» уже существовала, а еще не было ничего, кроме только одной «семьи»; напротив, не было моментов существования церкви, когда бы не было семьи. Таким образом, термин: «аутокефальная церковь», собственно юридический, в высокой степени присущ семье. Да простит нас читатель, что мы заняли слишком его внимание, отдаваясь любимой мечте как-нибудь собрать «стеклышки» когда-то прекрасного целого.

Иллюстрированная история религий, составленная в сотрудничестве д-ра Э. Буклей в Чикаго, библиотекаря Г. О. Ланге в Копенгагене, д-ра Ф. Иеремиас в Лейпциге, проф. д-ра И. И. Валетон в Утрехте, проф. д-ра М. Т. Гутеми в Утрехте и д-ра Э. Леманн в Копенгагене, Д. П. Шантепи де ла-Соссей, д-ром и ординарным профессором теологии в Амстердаме. Перевод с последнего немецкого издания под ред. В. Н. Линд. Москва. 1898–1899 (выпуски 1–5).

Увы, какое пышное заглавие и как бедно содержание! На обложке собрана все-светная ученость, но все это оказывается «иностранием Иваном Федоровым, из Лондона и Парижа». Приходится убедиться, что и за границей водятся такие «иностраницы...». Можно было, по сложному заглавию, ожидать прекрасной книги о истории религиозного сознания человечества; ну, по крайней мере – связанной книги, непременно, сколько-нибудь интересной: теперь судите же – все авторы роются в религиозной номенклатуре, в географической религиозности, в лингвистической религиозности, а что такое «религия», и даже есть ли она, – просто им не приходит на ум и, так сказать, «выходит из серьезных задач науки». Таким образом, первый недостаток, книги состоит в отсутствии самого предмета ее – религии. Это – чулан Плюшкина, в который превращен величественный и святой храм. От главного недостатка – отсутствия религиозности вытекает второй и подчиненный недостаток книги – отсутствие связности в религиях, которые, дробясь «по выпускам» издания, «объединяясь» именем сочинения, внутренне между собою ни связываются, ни дробятся: книга, в конце концов, есть собственно иллюстрированный и пояснительный каталог какого-то музея религиозных древностей. Она читается, но с какой тоской и безнадежностью! Рядом с этим недостатком идет еще один: непонятно, как возникла религия, т. е. известная настроенность души, встречающую которую у грека, русского мужика, еврея, – мы говорим: «Это – человек Божий», или о другом, противоположном, замечаем: «Этот человек живет без Бога». Можно быть уверенным, что «душа» религии древнее имени ее; она вечна и, так сказать, несгораема в коловращениях истории. Вот определить ее существо и наблюдать, в каких точках и при каком складе души появляется этот протей религиозного сознания, – значит построить альфу «истории религий». Тогда мы догадаемся, как «возникли» религии, и будем знать, что предлежит нашему вниманию в последующем их развитии. «История религии» есть не каталог имен, но нить самого интимного, самого внутреннего развития человечества: она вся состоит из трогательного, глубокого, из каких-то тайных просветлений совести, сердца, позднее всего – ума. Теперь представьте, что ко всему этому отнеслись, как к трупу: какую ужасную боль почувствует от подобного прикосновения всякий религиозный человек! Такую боль причиняет чтение «Иллюстрированной истории религий» – этой плохой олеографии на великую тему. Научный интерес сочинения слаб в силу указанной недостаточности, так сказать, теоретической его стороны: множество сближений, разъяснений, которые вы держите в уме относительно исторических фактов, руководимые религиозной чуткостью, – не приходит на ум этим каталогизаторам, как бы они

просто не умели читать священные тексты. Прибавьте к этому удивительную пышность языка, чванство эрудицией, которое не допускает критики и никакого сомнения о себе, – и вы получите понятие об истинно неприятной книге истинно ограниченных людей.

С. Литвин. Замужество Ревекки. Спб. 98.

Книга представляет сборник из семи рассказов, из которых первый и самый большой дал название всей книге. Не так давно, в 97-м году, тем же автором выпущен был сборник «Среди евреев» (тоже семь рассказов). Высокой и прекрасной художественности автор достигает редко: таков рассказ «Искушение», ни сюжета, ни подробностей которого нельзя забыть; также очень хороши, хотя несколько ниже по достоинству, рассказы «Мой дядя реб Шебсель-Эйзер» и «Жертвоприношение». «Сюрприз в Балканах» (название гостиницы) – легкая шутка-гримаса, ничтожная по теме, хотя забавная по выполнению, и портит общее впечатление сборника.

Каково же это впечатление и каковы размеры художественных сил автора? Для г. Литвина, судя по некоторым рассказам, автобиографический смысл которых несомненен, еврейство есть воспоминание прошлого, а «русский дух», русская культура, русские умственные и исторические задачи – есть новое, с любопытством осматриваемое, осматриваемое с любовью, духовное отечество. Г. Литвин весьма серьезен в отношении как к еврейству, так и к России, «русскому», и это составляет высокую цену его рассказов. В нем серьезный еврей стал серьезным русским. Судя по одному месту, полунамеку, полупризнанию, он остановился некогда на гневной, мстящей стороне «Бога-Цаваота», и ему показалось это до такой степени несовместимым с самою идеею Божества, т. е. кротости и милосердия прежде и выше всего, что переход в христианство был решен этим полусомнением, полунедоумением. Но затем у него навсегда осталось теплое чувство к самому племени еврейскому: и вот рассказы его суть плод этого двойного отношения – идейной отчужденности и кровной привязанности. Как у серьезного человека, дар автора – серьезен и, на наш взгляд, прекрасен. Рассказы кратки и представляют случаи, эпизоды «среди евреев»: тем живее в них движение, ярче лица, непосредственное интерес. Автор нигде не развертывает эпопеи, полотна целой жизни; герои его не умяются, не растут, не преобразуются перед зрителем. Душа еврея, по отсутствию в ней момента развития, движения, едва ли, впрочем, и требует или допускает такую большую художественную рисовку: еврей – всегда картина и никогда процесс; он может быть схвачен на фотографию, и это как в величественных древних своих чертах, так и в измельчавших новых, но как в одном случае, так и в другом он не представляет «истории человеческой души», т. е. не допускает «романа» своей судьбы. Он суетлив (духовно и в быте), а в сущности неподвижен, если угодно – вечен. Отсюда – страшная мощь еврейства и неприятное в этой мощи для европейца, коего лицо и душа вечно переливается в тонах и полутонах. Симпатия нашего автора везде на стороне старого, нетронутого еврейства и везде против напыщенного, тщеславного, зараженного всеми пороками цивилизации и не приобретшего ни одного из

ее достоинств нового, «интеллигентного» еврейства, которое он презирует в его «межеумности» сильно и ярко. Но старое еврейство духовного «гетто», замкнутого в себе, отрешивающегося от целого мира и от коего целый мир отрешивается, дает ему среду, где он останавливается на некоторых – всегда почти женских – типах с истинной любовью и высоким уважением. Такова величественная бабушка в «Смерти деда Симхи» – настоящий библейский тип; ребенок Ревекка, замужество которой со старым и безобразным евреем устраивают благоразумные родители («Замужество Ревекки»), или благородная Эсфирь, которая кончает самоубийством, избегая неприятного замужества («Жертвоприношение»). Почти в каждом рассказе есть старуха, упрямая выразительница патриархального еврейства (старуха Годе в «Жертвоприношении»), блюдущая традиции и не уступающая их деньгам, знатности, образованию. Живой ум автора, уже отчужденного от еврейства, рисует эту еврейскую сторону всегда в теплых и смеющихся чертах, и здесь лежит культурная сторона его книги: смех – великий примиритель, когда он не зол. Читатель с удивлением видит, что в этих стариках и старухах или в этих девочках живут, в сущности, вечные человеческие черты, которые он наблюдает и любит в своей сестре-подростке, в каком-нибудь старом, смешном и милом деде: под чрезвычайным своеобразием оболочки, под совершенно от всего мира замкнутостью – он открывает с удивлением свое «я» или что-то очень близкое и родное своему «я». Он начинает симпатизировать художественным чувством наблюдателя, а затем и нравственным сочувствием человека: Ревекка так смешно барахтается в непонятной и грязной «святой микве» (священная ванна, куда невеста погружается перед самым венчанием); она так любит наряды, так смущается перед старостью и безобразием плотоядного жениха и, по еврейскому обычаю, все-таки остается ему так герончески верна до его смерти, что русский, француз, грек, – все равно почувствовали бы в ней привлекательное лицо. Заслуга книги в том, что компактное еврейство, представляющееся всякому не-еврею единым и слитным, она разлагает на множество типов, то алчных и ужасных (сыновья «деда Симхи»), то величественно-прекрасных (мать этих же сыновей и один из них, ненавидимый братьями и отстаиваемый матерью), то грациозных, – и компактно-враждебное чувство, с которым мы относились к еврейству до чтения книги, уступает место разнообразию чувств: у нас есть выбор и есть предметы как антипатии, так и определенной, мотивированной любви. Судя по книге, еврейство находится в фазе очень быстрого разложения. Нельзя сказать, чтобы образование их не тронуло: хоть и отрицательно действуя, но оно вывело их из тысячелетней неподвижности, произвело в них антипатичное брожение, но все-таки брожение. Не приняв нашей веры, они приняли большинство наших пороков – наше тщеславие, нашу поверхностность, нашу «литературность» и «научность» в несерьезных ее формах. Редкие, очень редкие случаи представляют более глубокий синтез: таков «дядя Шая», тайно прислушивающийся к христианским легендам («Искупление»), или Ревекка, выходящая по смерти первого мужа вторично – за русского доктора.

Фридрих Кирхнер, проф. Путь к счастью. Как надо жить (Der Weg zum Glück). – Перевод с 4-го немецкого издания Алексея Маркова, под редакцией А. А. Быкова. Спб. 1897.

Чувство пессимизма – удивительное чувство: его возникновение психически почти необъяснимо или очень трудно объяснимо. Горе от определенного несчастья, затрудненность жизни, нищета, болезни – это, собственно, вовсе не пессимизм. «Пессимизм» характеризуется отсутствием определенных черт в себе и определенности своих оснований. «Я едва мог бы насчитать несколько месяцев чистого довольства за прожитые 75 лет», – сказал Гете. В «Исповеди» Л. Толстой признается, что на вершине славы, богатый, счастливый любовью и семьей, он часто задумывался о смерти, т. е. тянулся к ней. Вот пессимизм в двух выражениях его, германском и русском, – почти равно здесь и там неопределенно-зыбкий, неотвязчивый, ужасный в своей неосновательности. Пессимизм – это какая-то отсырелость души; завеса тумана, который обволакивает нас, и мы не умеем из него выбежать. Среди всяческих мечтаний жизнь все-таки *есть* и нормально *должна быть* радостью, которая кончается только со смертью.

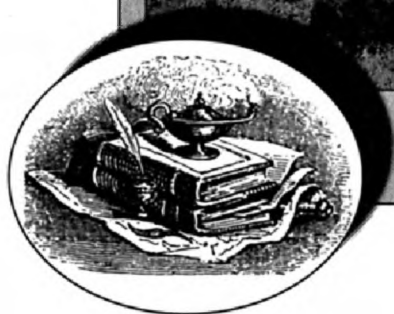
Книжка Кирхнера начинается рассуждениями о пессимизме и ищет от него лекарства. Ее общая окраска – идеалистическо-религиозная, в том добром и несколько ограниченном тоне, который присущ всем «еще не развратившимся» немцам. Он перебирает внутренние условия индивидуального бытия – напр., характер, образованность, ум и среду индивидуального существования – напр., общество, брак; и везде, указывая существующие в жизни недостатки, указывает «путь к счастью» и «как надо жить». Слог, манера, тон – все напоминает Смайльса, но только менее ярко, менее планомерно. Это – род душевной гигиены, по которой стало теперь появляться много «руководств». Конечно, это не дурное чтение, хотя едва ли особенно «спасительное». Все этого рода книги не достигают глубины предмета и, так сказать, составляют «момент» в «эволюции» пессимизма, несколько не выходя за его черту. Как ни печально это сравнение, но как будто на столике хронического больного мы находим пузырьки с сигнатурами все новых и новых цветов, и их перемена мало обещает ему и не проливает радости в сердце окружающих людей.

Перевод сделан очень внимательно. В конце книги (358 стр.) приложено 54 страницы примечаний исторического, литературного, биографического характера, а также поясняющих имена, попадающиеся в книге Кирхнера. Едва ли она требовала этого внимания к себе, но, конечно, всякий труд заслуживает уважения.

Шарль Рише. Любовь (Психологический этюд). Перевод с французского В. В. – Спб. 1898.

Книжка знаменитого французского психиатра и физиолога написана как легкий очерк, без претензий проникнуть в глубину предмета, но с положительным, а следовательно, и серьезным вниманием к нему. Автор и впрямь не объясняет факта половой любви в природе, но, как и всегда почти делают натуралисты, – описывает обильно ее явления. Он извиняется в предисловии за несколько щекотли-

вую тему; но, наконец, следует же сознать, что так называемый «стыд» половых явлений есть только «стыдливость», своеобразное затаивание природы в самом жизненном и глубоко, т. е. в наименее поверхностном явлении. Тайна здесь есть свидетельствование глубины и содержательности, но не «грязи», «дурного», «зла». Вторая причина «щекотливости», заключающаяся в том, что это будто бы есть специфически *животное* чувство,— еще менее основательна. Это есть специфически *жизненное, живое* явление, объемлющее решительно всю живую природу, тогда как все другие явления в ней частичны и местные: кровообращения нет у насекомых; головного и спинного мозга — у моллюсков; нет костей, кожи, мяса — у растений. Но везде есть «пол» и «половое» — которое, таким образом, равнозначительно понятию «жизни». Универсальность явления еще менее, чем его глубина и тайна, дает повод видеть здесь что-либо «щекотливое». В «поле» природа, даже дикая и животная,—целомудренна, затаивается, т. е., отсюда начиная, она получает тенденцию к чему-то человеческому. «Пол» есть не «животное» в человеке, как обыкновенно думают; наоборот— это есть «человеческое», по крайней мере начало чего-то человеческого в животном. Прислушаемся к речи натуралиста, присмотримся к его наблюдениям. «В начале весны у птиц самец и самка принимают решение жить вместе. Тогда образуется настоящая семья. Это не только любовники, но и супруги: союз расторгнется лишь после того, как птенцы достаточно подрастут для того, чтобы летать и самим искать себе пищу. Значит, у птиц — больше, чем любовь, это настоящий брак, с общностью интересов. Гнездо строится сообща, и в то время как самка высиживает яйца, самец приносит пищу, или еще, согласно трогательному обычаю некоторых певчих птиц, старается рассеять скуку бедной самки, терпеливо высиживающей яйца, надежду будущего потомства. Так, в весенние ночи можно слышать соловья, заливающегося звонкими трелями, между тем как возле него самка молча высиживает свои драгоценные яйца и слушает его с восхищением» (стр. 33—34). Конечно, никто не отвергнет, что мы имеем тут начало человека, бледную утреннюю зарю духовно-человеческого. И Рише не употребил бы термин «трогательное» — столь редкий у натуралистов и чуждый, почти враждебный им, если бы инстинктивно не почувствовал, что входит тут в совершенно другую категорию явлений, чем дыхание, кровообращение или чем разыскивание корма и драка из-за него. «Курица со своими цыплятами способна устоять против свирепого дога. Опасности для нее не существует» (стр. 35). Рише не добавляет, что это трогательно, но за него добавим мы. Что же такое «материнство», как не последствие, т. е. часть и подробность, половой любви? Замечательно, что с появлением потомства мать становится или равнодушнее, или даже совсем холодна к самцу: соотношение, которое заставляет нас прозревать в материнстве модификацию, преобразование — но все того же коренного инстинкта природы, полового влечения. Это как бы «теплота» и «свет», взаимно переходящие друг в друга, о чем мы знаем по угасанию одной в зависимости от появления другой. Книжка Рише написана живым и увлекательным языком, хотя она и вращается в общеизвестной стороне явлений.



Статьи и очерки 1902—1903 годов

1902 год

ПОПРАВКА

В статье «Где было хорошо на Новый год» я допустил некоторые неточности, важные для деятелей прихода, столь высоко настроенного и деятельного. Эти неточности вызвали следующее письмо ко мне, содержащее подробности, которые будут небезынтересны для всякого, кто интересуется петербургскою церковно-приходскою жизнью:

«М.г. Позвольте мне исправить некоторые неточности, вкравшиеся в описание нашей церкви и ее деятельности. 1) Постройка барака назначалась для собраний трезвенников, а не для больных. В конце 1899 г. лучшая и деятельнейшая часть трезвенников, мужчин и женщин решили во главе со своим священником построить на свои средства дом для своих собраний и для слушания слова Божия вне церкви. Было собрано три тысячи рублей и приступили к постройке. Барак строился на тысячу человек. Часть отводилась под собрание трезвенников, часть под воскресную школу для взрослых, часть под библиотеку с читальней. Церковь сгорела. Барак, только что начатый в постройке, взяло Общество религиозно-нравственного просвещения, которому и принадлежала сгоревшая церковь и на земле которого строился барак для временной церкви. Вот происхождение барака-церкви.

Теперь второе. Приема больных в церкви не существует.

Трезвенники радовались, как дети, что дому их суждено сделаться хоть временно Домом Божьим, но тосковали, что им собираться негде. Наконец, они решили в конце 1900 года нанять квартиру вблизи церкви. В ней-то теперь и помещаются зал собраний, воскресная школа и амбулатория для приема больных в воскресные дни, благодаря студенту-медику, который взялся ею заведывать. Лечат в ней женщина врач и доктор. Пользуются советами преимущественно женщины, которые заняты в будни и обращаться в клинику не могут. 3) Библиотека помещается также в квартире трезвенников. Книги выдаются по строгой записи и с нынешнего года с залогом ввиду неаккуратного возвращения. Книги собраны действительно даровые, но ставились в библиотеку со строгим подбором: духовно-нравственный

же отдел был подарен трезвенникам советом Общества религиозно-нравственного просвещения, выбирався же заведующим священником. Шкаф же в церкви, виденный вами, представляет собою маленький склад книжек исключительно религиозного содержания, которые продаются по дешевой цене. 4) При бараче церкви Общества религиозно-нравственного просвещения и братства трезвости работает не только священник с женой, а человек 20 интеллигенции и из них 3 лица духовных.

Один из деятелей».

Таким образом, дело поставлено еще шире и, так сказать, систематичнее и тверже, чем мне показалось и чем я мог заметить при кратком осмотре и, естественно, афористических расспросах. Оно в ведении маститого и богатого Общества религиозно-нравственного просвещения в духе православия, этого достойного учреждения, созданного петербургским духовенством. На меня произвела впечатление картина, зрелище; дошли восторженные отзывы со стороны. И я передал просто то, что видел, не входя в подспудно лежащую там организацию. Во всяком случае, дай Бог труженикам около народа сил к труду и бодрости в деятельности.

СЛАВЯНЕ-МЕДИКИ И ИХ ПРОСЬБА

Нет лучшего единения, как на почве науки и литературы. Это единение в последнее десятилетие пошло такими крупными шагами, что хотя и слабо, но уже получает свои отражения в национальной и даже политической жизни, всегда старавшейся сохранить свою независимость от всяческих влияний. Научное и литературное объединение не есть строго национальное и ни в коем случае узко национальное, так как деятельность умственная и художественная движется по общечеловеческим нормам и питается идеями и знаниями, родину которых не всегда можно проследить. Ученый и литератор – национальны: но наука всемирна и очень общечеловечна литература. Во всяком случае, объединение и взаимодействие происходит здесь именно не на национальных, а на общечеловеческих частях науки и литературы.

С этой точки зрения нам представляется необдуманым испуг некоторых представителей медицины на Пироговском съезде касательно допущения на будущие съезды западнославянских, чешских и польских докторов в качестве не гостей, а членов. Славяне-врачи на одном из последних международных съездов просили и уполномочили проф. Отта ходатайствовать о таком допущении перед представителями съезда. К удивлению, это предложение, на которое ожидался бы ответ любезного и общечеловеческого «да» или несколько грубого и трудно мотивируемого «нет», поднял совершенно не идущий к делу вопрос о славянофильстве и западничестве, и испуг, как бы шаг человеколюбия, дружества и приветия не окрасил Пироговские съезды славянофильским оттенком. Какое может быть славянофиль-

ство в медицине? Поистине, членам съезда надо было вновь родиться или совершенно переучиться, чтобы, действительно, попасть или быть зачисленным в адепты учения Хомякова, Самарина и Аксаковых. Представители новой науки, притом самой международной, вполне всемирной, которая не имеет на себе ни национальных, ни даже христианских отливов, явно призывались не к партийно-литературному вотуму, а именно к дружбе и братству с коллегами такого же общечеловеческого, как они, образования, по родной нам крови и весьма забитого положения. Просьба весьма подходит на то, как если бы уездные врачи просились с правом голоса и мнения на губернский съезд. Появление славян-врачей с правом члена на Пироговском съезде нисколько не будет успехом богословских учений Хомякова, вообще тут не будет содержаться ничего доктринерского: это только единение работников науки, но уже, естественно, желающих стать на работе плечом к плечу, повинувшись родству духовному, которое не может не проистекать от близости кровной и исторической. И сейчас во всяком городе врач-поляк теснее стоит к кружку русских врачей, нежели врач-англичанин, врач-немец (не обруселый), врач-француз. Кровь все-таки сближает его без всякой тенденциозности и примеси увлечений. Поляки и чехи приехали бы на Пироговский съезд учиться, слушать, сообщать свои наблюдения и соображения, но не проповедывать «московские колокола», которые почему-то испугали заседающих в Москве членов съезда. Проф. В.Ф. Снегирёв основательно напоминал во время бурных прений по этому вопросу, как много учится на наших медицинских факультетах западных славян, и далее отметил очень грустную черту, что, получая у нас по окончании курса знание «врача», в сущности, равное знанию «доктора» в Австрии (там нет термина «врач»), они там получают обрезанные права практики и общественного уважения, аналогичные почти нашим фельдшерам. Появление в большом числе на Пироговском съезде славян-врачей могло бы побудить съезд ходатайствовать перед правительством о выдаче таковым медикам, имеющим практиковать за границею, не диплома «врача», а диплома, выдаваемого за границею оканчивающим курс университета медикам – «доктора». Вот уже практический результат, который России и русской медицине ничего бы не стоил, а между тем был бы хорошим даром западным и единокровным коллегам наших медиков. На все доброе русское сердце готово, и, конечно, этот добрый и нетрудный шаг оно бы сделало. Вполне симпатичны указания проф. П.И. Дьяконова, что западнославянская и югославянская медицина «давно и резко выразила тяготение к русской медицинской науке», конечно, не в силу кровной связи, или не ее одной, но оттого, что русская медицина, имея во главе такие светила, как Пирогов и Боткин, зрела, опытна и поучительна. Поэтому прямо неуместен, очень неделикатен и в некоторой степени комичен был протест д-ра Зайцева, что «на Пироговском съезде не к чему поднимать вопросов панславизма и высказывать сочувствие славянофильским идеям». Что за ребячество. У человека просят хлеба, а он отвечает, что не хочет давать вяземского пряника, потому что

говорит по-французски. Он и некоторые другие, впрочем, не самые видные члены съезда, к сожалению, оказавшиеся в большинстве, свели вопрос самым неуклюжим образом на международную почву. Тщетно им говорили, что требуется определенный ответ на вопрос не вообще иностранцев, которые и не просятся в члены съезда, а только определенной группы их, выразивших через проф. Отта такое желание и ожидающих себе ответа, ответ был дан косвенный и уклончивый: «Согласно предложению проф. Отта о допущении славян членами Пироговского съезда исполнительное собрание, выражая желание видеть иностранцев участниками Пироговских съездов, поручает правлению выработать способы и условия их участия». Здесь отразилось оба течения: все-таки чехи и поляки войдут членами на съезд, хотя под ярлыком «иностранцев». Но зачем съезду, не обгающему имени: «немецкие врачи», «английские врачи» и пр., не ответить было прямо: «Желаем видеть на своих съездах славянских врачей, выразивших об этом желание, равно как и врачей других наций». Нам кажется, тут сделана невежливость и безрезультатная, и бесцельная: не назвать по имени тех, кого все-таки пускают и кому принадлежит честь повести за собою первыми иностранцев настоящих славянских медиков.

БОЛЕЗНИ И ЧАЯНИЯ СЛАВЯНСКОГО МИРА

Статья, печатаемая у нас сегодня: «С кем сближение», напоминает об исконнейшем и более всего обещающем «сближении», о котором мы как-то вовсе забыли. Это – славянский мир, его вечная, исполненная недоумений рознь и великие обещания, которые содержатся в его единении. Тут будущее казалось бы ясно и твердо, если бы в него не замешивались раны и раздражения прошлого. Мы разумеем славянство западное, наиболее угрожаемое. Южные славяне, благодаря России, на твердом пути: здесь, собственно, остаются подробности, меньше жить после того, как дана возможность жить. Россия написала первую главу их новой истории, которую им предстоит только не прерывать и обогащать новыми, в меру умения своего и таланта, отделами и главами. Напротив, на западе все темно, судьба славян здесь глубоко подкопана; и она подкопана самым опасным образом – этнографически и духовно. В то время как русские провинции Польши родили в себе за XIX век ряд блестящих польских поэтов и прозаиков, составивших золотой век польской словесности за все даже и историческое ее существование, ни Галиция, ни Познань не дали ничего приблизительного: а теперь, в особенности в Пруссии, поставлено на карту самое существование физиономии польской народности. Германская настойчивость, трудолюбие, наконец, германская высококультурная школа и, где все это недостаточно, германская бесцеремонность, в которой хорошо координированы правительственные меры и частный «патриотический» порыв, стирают нервное и неустойчивое польское население так легко, аккуратно и всецело, как мокрая губка стирает с классной доски мел. На всем

протяжении, где существует польский язык и польская народность, это вызывает боль; но это все вызывает боль также и в русских сердцах, для которых, во всяком случае, поляки не чужаки, а хоть и много ссорившиеся, хотя и досадные иногда, взявшие у нас на себя много крови и нервов, однако все же братья. Видеть их стертymi с лица земли Россия вовсе не хотела бы, и никогда не хотела бы. Будущее, и особенно далекое будущее, никому не известно, и даровитая нация, имевшая Мицкевича, Бог весть, не засветится ли новыми золотыми днями и не даст ли еще важнейших напевов славянских струн и вообще выражений славянского искусства и мысли. Автор упомянутой статьи говорит, что это «кирпич, выпавший из славянского архитектурного здания». Можно приискать для Польши для сравнения и выше, уподобить ее более ценному материалу. Но поляки должны отчетливо сознать, что их роль именно славянская и в славянстве, а вовсе не европейская и не в Европе, где они только «спасали Вену», но ничего за это не получали. В огромном материке европейско-азиатских стран, именуемых Россиею, Польша если и потеряла политический очерк и центр, то все же сохраняется и может сохраняться без утраты духовного своего и этнографического лица, без потери национального и бытового характера. Россия, очевидно, мировая держава; Польша и всегда была королевством-нацией, без возможности всемирности в себе. Острая формула польско-русских отношений: «Или мы, или они» не выдерживает картинки, как только мы сосредоточимся на несонизмерности их, которая открыт нам, что никакого здесь совместительства нет, для которого требуется «эквивалентность» ролей и исторических служб, и что на совершенно различных исторических путях, мировом и национально-бытовом, могут существовать, радуясь друг на друга, «и мы, и они». Полякам следует только хорошо опознаться в истории, – и при сообразительности они легко усвоят эту точку зрения, что им требуется и для них вполне может быть обеспечено существование этнографическое, духовное, бытовое, не говоря о религиозном и литературном, и хороший материально-экономический расцвет. Можно сказать, что всякая нездоровая мечта отнимает у них нечто из непосредственных и осязаемых благ. И чем меньше у них будет этих мечтаний, тем здоровее начнется для них фактическое существование. Сводить на «нет» это последнее, к чему по понятным мотивам усиливается германское племя и германская государственность, России нет интереса, и никогда этого интереса не будет. Поляки могут припомнить, что даже в самые острые и щекотливые минуты истории они все же находили в русском обществе и литературе некоторую интимность, понимание и сочувствие, каких решительно никогда не имели в обществе германском, глухом ко всему славянству как стена. А когда так, Польша может довериться своей судьбе с восточной стороны, и знать, что если трепки отсюда бывали, то никогда отсюда не придет смерть... Это все, что нужно. На этом незыблемом камне они могут утвердиться. Но нужно и им вспомнить, что Россия кой-что ожидает от них.

Мы говорим о поляках, а все время разумеем и чехов, и галичан, вообще весь круг западного несчастного, забитого и смутного, ссорящегося меж-

ду собою славянства. Вместо того, чтобы разъединяться, пора им соединиться. Главное, чего хотела бы Россия в отношении к себе славян, это – чтобы была брошена двуличность, всяческие умолчания и кривые, извилистые пути. Россия до такой степени занята своею мировою ролью и ступенями мирового своего пути, что в отношении славянства хранит самую короткую и ясную «памятку»: чтобы они все были живы, не ссорились, преуспевали. Собственно для себя ей от славян ничего не нужно, а в особенности никакого славянского умаления и обезличения.

Германский мир действительно переживает кульминационный пункт своего развития и, будет ли он долог или короток, он и в короткие дни может довести до рокового положения самое бытие славянских народностей или их ценных частей. Вот почему самосознание славянское должно начать концентрироваться, искать точек опоры, искать обнадеживаний для будущего. На этих путях они имеют только Россию. Но России германский мир ничем пока не угрожает. И было бы прямо неудобно, невозможно и глубоко неполитично ей самой делать какие-либо шаги к сближению, которое и нам может быть полезно, но жгуче необходимо и сейчас необходимо вовсе не нам. Большой кусок магнита не может двигаться, повертываться и прилипать к опилкам, каковых напоминают, увы, совершенно ведь разрозненные наши западные братья, превращенные пока в этнографическую пыль, в людей, в обывателей, а не в племя и нацию. Говорим о первом шаге не по лени к сближению и не по политическому чванству, но потому, что всякая вещь и всякий шаг должны вытекать из существа своего и задач своих. Со стороны России такой первый шаг был бы ложный, смешной: он был бы «заигрыванием». А всякое серьезное дело исключает игру, да и не в нашей она натуре, не в заветах и истории нашей.

К СПОРУ О ПАМЯТНИКЕ СУВОРОВУ

Маленький спор о памятнике Суворову в Боровичах привлекает внимание своею укромностью, теплотой и смыслом. Печатаемое сегодня письмо боровичского головы г. Шульгина основательно отвергает ту мысль, что город и городское управление ничего не может и даже не в праве задумывать и предпринимать, кроме разве постройки каких-нибудь скотобоев. Скотобойни – скотобойнями. И их забывать не следует. Но вполне прекрасно, когда родина великого человека не ушла по макушку головы в хлопоты о текущем дне, которые, право, в своем изолированном виде могут перейти в каверзы о текущем дне, а имеет память о принадлежности своей к великой стране с великими делами. Патриотизм отечества en grand* создается из патриотизма его мест и местечек en petit**: это самый здоровый, цветущий, нери-

* в крупном плане (фр.).

** в малом виде (фр.).

торический вид патриотизма. Нужно же и местному маленькому человеку вздохнуть; и вздохнет он тем лучше и шире, чем выше, хоть на минуту, подыметься над чертою своих убогих улиц, кварталов, небольших и немногих церквей; но подыметься над этим, не отрицая, не пренебрегая, а укрепляя свою привязанность именно к своему городку. Такова эта история с памятником герою «полуношных стран».

Город и городское управление у нас оттеснены куда-то назад и погружены в исключительную материальность жизни и соображений, а все идеальное присвоено так называемым «обществам», в лице ли отдельных своих выразителей или классов, сословий и корпораций. Земство и особенно дворянство очень нередко выдвигались на передний фас общенациональной жизни с предложением большого смысла и значения, но города и городское самоуправление никогда и нигде с такими проектами не выдвигались, и кажется, заробели и уже боятся выступить. Тем приятнее хоть в маленьком виде увидеть нарушение этой традиции, решительно не имеющей для себя основания.

Боровичи отлично почтили память великого своего уроженца и набережную р. Мсты, и библиотекою в 3000 томов и даже трепетно новеньким праздником древонасаждения для школяров. От души желаем почтенному городку одержать победу и в вопросе о памятнике: генералиссимус сам был и великий и вместе простой человек, он великих по сану и положению людей не предпочитал малым, не давал великим затирать малых; и верно сердце его, — если об этом можно гадать и говорить, очень и очень порадуетса за боровичан и их думу, что они, не смущаясь малостью и скромностью своего положения, выдвинулись вперед с вопросом о памятнике герою. Это и значит несколько «по-суворовски» действовать, и так и нужно. Губернское дворянство, Новгородская губерния или наконец целая Россия может воздвигнуть тому же герою памятник в Новгороде, — и это нисколько не помешает стоять в Боровичах укромному памятнику, сооруженному самим городом. Г. Шульгин пишет, что никому не отказано войти сюда пожертвованием и добрым советом; но он хочет отстоять, — и это его право, — инициативу города, сохранение за ним чести доброго почина. Он не хочет, чтобы маленький город был оттеснен и затенен большим земством или дворянством, которые взяли бы себе не только дело, но и честь дела. И эту тенденцию мы считаем правильною и здоровою. А Бог даст, какой-нибудь художник с великою душою даст им задаром и модель изящного и недорогого памятника.

МАЛОРОССЫ И ВЕЛИКОРОССЫ

Я знаю в Петербурге одну великорусскую и притом характерную великорусскую семью, чинную, служилую, бородатую, дисциплинированную, но в которой, правда, бабка по матери малороссиянка. Ей есть даровитый мальчик лет семнадцати, гимназист, страстный любитель всякого рода книжнос-

ти и литературщины. «Вот зачитывается всем о Малороссии, – рекомендовал мне отец, – только и бредит Толстым и Украйной; выучился читать по-малороссийски, подписался на издание памятников южнорусской старины, и все-то ему казаки, и все-то ему сечь, а географические разыскания Старицкого читает так, как мы в свою пору читали Поля-Феваля и Дюма». Я посмотрел на глубоко застенчивого юношу, рослого и неуклюжего, с глубокими умными глазами. Сам я никогда и ничего по-малороссийски не читал и понятия о Малороссии другого не имею, кроме того, что там рубашку засовывают в штаны, да, и говорят, что малороссиянки хороши собою. Так и не сумел сказать я ничего юноше: «Ну что же, только бы читал, а что читает – все равно». Ответ, не остроумный, но в пустом относительно Малороссии сердце я ничего другого не нашел.

Лет семь назад получаю пространное «сочувственное» письмо о моем разборе «Легенды об инквизиторе» Достоевского. Пишет чиновник, уже старый; душа у него горит разными мыслями; но вот что поразило меня где-то на второй или третьей странице длинного письма: «Служу я в лесном ведомстве – вот уже тридцать лет, то по губерниям, то в Петербурге, и нахожу полное удовлетворение и счастье в своей службе и той ощутимой пользе, какую приношу моему дорогому отчеству». Пишет о разных книгах: «Московский сборник» К. П. Победоносцева – лежит у меня на столе около Евангелия, и я вместе с вашей книгой «О понимании» читаю его постоянно». И проч. Потом я с ним познакомился: такого, так сказать, на корню стоящего патриотизма, подобного чувства своей земли и родины, губерний, уездов, православных храмов, включительно до поклонения Толстому и Достоевскому, коих большие портреты повешены были у него на стене среди карточек семьи и видных деятелей лесного ведомства, я не встречал. Кое в чем он сомневался, например в личном бессмертии души, но об этом не распространялся. Сейчас он уже дедушка; детей имеет десять человек – благовоспитанных, умных, прекрасно идущих в гимназии и университете, без «шалостей». Вот «кем и какими людьми крепка русская земля», думывал я не раз, сидя в его тесной и чистенькой, переполненной домочадцами, квартирке. «Что там литература и великие знаменитости! Пока по земле вот не стелются такие люди, такое население, которого от земли и почвы и отчества своего не отдерешь, все будет нетвердо и эфемерно в истории». Фамилия его, однако, не была ни на «ов», ни на «ский». – «Да я – малороссийского рода. Старые дворяне. Мои сородичи-однородцы теперь, пашут землю, а я служу», – сказал он мне как-то. Так вот как! Положивший душу свою в петербургскую службу – коренной из коренных хохол. Он хорошо играл на скрипке, но уже ничего малороссийского не выписывал, а выписывал из Москвы «Вопросы философии и психологии». Вообще обрусел, чистосердечно и окончательно.

Третье мое воспоминание о русско-хохлацких отношениях относится к гимназии. Учился со мной товарищ знаменитого великорусского рода, столь же знаменитого, как и Пожарские, и прославившегося в ту же именно

пору. Это была семья уже обедневшая (дворянская), но замечательно благородная. Отец их был профессор астрономии, а из сыновей один вышел замечательным музыкантом-композитором, другой – профессором математики, а третий – великим любителем филологии и почему то преимущественно малороссийской филологии (теперь он профессор славянских наречий). И вот, помню я, забьется он (младший из трех братьев) в далекую комнатку и читает своей няньке (старая их крепостная, великороссиянка) то «Думы» Шевченки, то былины русские, то в изданиях Сахарова и Снегирева разные русские поверья, пословицы и проч. Читает и все бывало обращается к анализу языка и грамматических форм, что из чего и как фонетически образовалось. Такого тоже врожденного филолога я потом и среди ученых не встречал. Я тогда сам пылал социальными вопросами и философией: но как я любовался, изредка заходя в его комнатку, а еще чаще в комнатку старушки-няни, всего в два аршина величины, этим союзом науки и остатка старого крепостного права (няня не захотела свободы и осталась при «господах»).

Имея в уме и памяти эти ясные и спокойные картины, просто я постигнуть не могу, когда мне попадают страницы и строки из русско-хохлацкой будто бы распри, вроде последнего письма г. Д. Мордовцева. «Костомаров говорил, что малороссы даровитее великороссов, и говорил это печатано, а не устно, как высказался Л. Ф. Пантелеев в обратном смысле по поводу саратовских молокан». Но Костомаров, прежде всего, писал на русском, общерусском языке и обогатил русскую науку: вот основной факт; а что к этому же он был и любителем Малороссии, то эта подробность только украшает его ум, увеличивает образование, обогащает сердце. И дай Господи им всем, малороссам, любить свою прекрасную Украину, не забывать свое отечество – гнездо, но зачем же это противопоставлять Великороссии, которая есть уже не провинция, а мир, и имеет не историю уголка земного шара, а историю части земного шара. Великоросс универсален. Это вовсе не Москва выросла в России, а именно великоросс, освободившись от губернских особенностей, вырос во всемирную фигуру просто «русского человека», дав серию типов от Губонина до Тургенева, от Петра Великого до прасола – Кольцова, серию всеохватывающую, бесконечно разнообразную, худую во множестве точек, но в других точках – и гениальную, вещую, с огромным захватом вширь землю и даль веков. Русские странники... Какое это любимое для русских людей занятие просто «пошляться», от Трифона Коробейникова и до сих пор. Идет-идет человек; зайдет в монастырь; но это – не цель, а только перепутье; он идет далее, бродит годы, побывал в Соловках, будет в Киеве, а пока собирается в Сибирь. Да зачем ему! Да это – римлянин, который осматривает свои владения, будущее логово колоссальной державы, о которой он мечтает, воспаленно мечтает (я спрашивал, знаю, выводывал), хотя у него котомка за плечами, а осталось жить неполный десяток лет. Вот где родник русского политического чувства и истинный источник русской державы и державности. Это – не честолюбие. И не сла-

волюбие. Это – мечта какая-то, туманная, охватить весь мир. Для чего? «Так – хорошо». Я помню впечатление одного великоросса от Швейцарии: «Отвратительно, настрижено и перекрошено», – сказал он. Русский не переносит оборванности, прерванности, короткости, миниатюры. На Кавказе, на Военно-Грузинской дороге, среди чудес природы, мне говорил тамбовец-ямщик: «Какая это к лешему страна; Азия (ужасный жест презрения); того и гляди тебя или лошадь зашибет (обвалившимся камнем); то ли у нас в Тамбовской губернии: как на ладоньке вся, идешь-идешь – и все ровно, и по всей России – ровно; а здесь»... и он, не договоря, плюнул. – «Зачем же ты здесь?» – «А заработки. Двадцатый год живу. Другие братья в Тамбове».

В Москве и у Троицы-Сергия я не видел малороссов-странников. Это умный, тихий и глубоко поэтический народ, но провинциальный. Ему страшно выехать из своей губернии; даже из своего города выехать жутко или не охота, и это не он на ярмарку едет, а ярмарка к нему идет (тип всех малороссийских ярмарок – что они передвижные, странствующие). Евреи оттого и привились к малороссам, как не привились и никогда не смогут привиться к великороссам, что неподвижный и рослый хохол требует хлопот около себя в области купли-продажи, спроса-предложения; ему нужно было чтобы «галушки в рот валились», а не то, чтобы еще нужно было их откуда-то достать, готовить и уже в заключении кушать. «Запорожская сечь», я думаю, отчасти и образовалась от лени, а не одного «лыцарства» и усилил защитить «христианство от туретчины». Съел человек все под собою и около себя: теперь бы надо хлопотать, чтобы достать новый корм, торговать, учиться, промышлять; тогда хохол-буйвол с неодолимой энергией отправляясь «поцарапать Анатолийские берега» (Гоголь в «Тарасе Бульбе») – ломает, хватает, и, загребя полные руки съедобного и одевательного, ложиться опять на острове Кострице (Сечь) и гнусит песню под нос, как он защитил православие и Русь. Говорят, у носорога есть какая-то птичка, очищающая ему чуть ли не рот от насекомых и от остатков пищи. Вот такую роль теперь и прежде выполняли около малороссов всякие Янкели и Соломоны: сожительство менее вредное и опасное, чем может показаться из Петербурга, где есть соперничество, тогда как на Украине принципиально нет соперничества. «Марксисты» там ничего не поделают...

Из-за чего малороссу и великороссу ссориться? Малоросс глубоко личен; он свободолобив, субъективен; по всему вероятно именно малороссы дадут нам философию. Их свободному чувству мы можем завидовать доброй завистью, и, как отличительное наше качество – переимчивость (универсальность), то можем многому научиться у хохлов в сфере свободы личности и красоты быта в частной жизни. Малороссы дали и великих нам государственных людей, Безбородко, Трошинского, но спокойного уклада ума и характера. Ведь чтобы у руля стоять, надобен ум, а колесо рулевое не всякую же минуту надо вертеть. Но всюду, где входит в обязанности и права свои живость, оглядчивость, ежеминутная инициатива и приноровляемость, там малоросса невозможно поставить. Никогда Строгановы, Деми-

довы, Ермак, Разин или Сперанский, Новиков, Суворов, никогда реформаторы России 60-х годов не могли бы выйти из Малороссии: это – явления великорусские и люди великороссы. Но великоросс уже принял в свою кровь большие притоки чудской крови (чудь, финны) и монгольской (татары), принял много и немецкой крови (последние два века), вообще он нисколько не помышляет и не заботится о чистоте своей породы, об однородности и монотонности своей крови, а думает только о делах своих в истории. В зависимости от крови, он наименее фанатичен и нетерпим из всех решительно славянских племен. Уж если в Сибири мы переимчивы даже относительно якутов, а кубанские и терские казаки переимчивы относительно лезгин и проч., вообще если мы имеем прекрасный дар пластической влюбленности и пластического отражения в себе окружающих людей и стран, то не для чего зеркало души своей закрывать только перед хохлом, фанатичным провинциалом, одиночкой, умницей, который обогатил нас на целого Гоголя. А ведь Гоголи не рождаются как грибы, и, отдав нам такой гений, может быть, Малороссия тем самым и уже добровольно снизошла навсегда на степень провинциализма слова и литературы. За этот великий дар, да и за много, что уже дала нам Украина, и еще что она даст нам в будущем, мы, конечно, должны положить этот «край» свой ближе всего к сердцу; мы должны сами лелеять и малорусскую песню, и всякий малорусский обычай, и каждую ниточку их своеобразия и своеобразия. Право, на месте правительства я заказал бы Петербургской академии наук «Словарь хохлацких говоров», параллельно «Словарю великорусского языка» Даля и «Русскому словарю» академического издания. Конечно, я не проектирую, а только намекаю, каким путем здесь следовало бы идти. И едва малороссы увидели бы, что мы русские, их слышим и поем, что мы уже давно не великороссы, а общеруссы и всеруссы, все их раздражение против нас, и выражающееся в разных «сепаратизмах», разумеется, бы умерло. Центр украинофильства в великороссофильстве. Как только мы сами теряем универсальность, мы получаем вокруг себя сепаратизмы. Мы от идей великого Рима, возвращаемся к Лациуму первых консулов, а где Лациум – там и враждебный ему Самниум. Все это пройденные детские, археологические ступени нашей истории. После Петра Великого бороться с «Кобзарем» Тараса Шевченко все равно, что после Брюллова и Репина возвращаться к лубочным картинам в издании Равинского. Петр Великий выучил бы сам и для себя какую-нибудь «думу» ввел бы бандуру и казачка в какое-нибудь роскошное петербургское уличное представление, и этой любовью, этой переимчивостью прихлопнул бы навсегда малороссийский культурный вопрос, как лезгины в «конвое Его Величества» в Петербурге прикончили историю лезгинского племени и языка на Кавказе. Август римский всех чужеродных богов сносил в Пантеон; и все боги умерли, кроме Юпитера. Рассказав несколько случаев в начале из русского чувства к малороссам, я указал, что и в русском сердце есть такой же психический пантеон, куда чем более мы внесем чужеродного, и хохлацкого, и даже польского, чешского и проч., тем выше подымится «бог Русской земли»...

Вещи мы называем хорошими или по их результату, или по их замыслу, инициативе, так сказать, вдохновению. Бывает иногда, что вещь, и не очень хорошими людьми начатая и не по высоким мотивам, однако удается в истории. Таково большинство политических и особенно дипломатических дел, которые поэтому и требуют в услужение себе не столько избранных сердца, сколько умов холодных, расчетливых, не обегая даже людей цинических. Напротив, другие дела, и с отличными намерениями начатые и с отличными людьми, не удаются. Многие удавалось Талейрану, Меттерниху, все удалось Филиппу Македонскому. Но нельзя и представить себе, какое дело могло бы удаться Гамлету или Фаусту. Но зато человечество, по крайней мере, благородное человечество, запомнило все мысли, все вздохи этих неудачных дельцов, а память названных великих политиков оно тоже сохраняет, но как-то почти враждебно.

Неудачи с нашей школой – скорее гамлетовские, чем политические. Решительно никто не понимает, что тут нужно сделать. Критиков каждого сделанного шага бездна, а подать умный совет никто не умеет. Одно можно указать и очень трудно это оспорить, что попытки реформировать школу вытекли из величайшего идеализма русского сердца и очень быстро собрали вокруг себя, в помощь себе весь общественный наш идеализм. Можно допустить, что кой-что и кой-кто тут примазался потом и с пустословием, с жаждой шума, суеты и безделья. Нужно отметить эту печальную сторону истории, что всякий в ней начинающийся успех привлекает, так сказать, аплодисменты низов человечества: они равно хлопают Сократу и Нерону, увиваются около Христа и Цезаря, все, смотря по минуте, смотря по тому, кто побеждает на сегодняшний день. Эти «хлопальщики» испортили христианство и философию; они развратили величайшие монархии. Несколько героев накренивают корабль, положим, направо. Тогда вся палубная грязь тоже начинает течь направо, и часто затопляет, всегда грязнит героев. Освободиться от этого нет никаких сил. Повторяется это явление во всем большом и во всем малом. Повторилось оно в миниатюре и у нас, повторились эти два года относительно школы, как только в воздух понеслась идея и прозвучали слова учебной реформы. Они пали как манна в пустыне, и все бросились подбирать ее. Все бросились в помощь реформе; сперва – добрые, а позднее пришли и легкомысленные, но это уже общий залог истории, нисколько не вытекающий из прекраснейшего существа дела.

Как улучшить школу? Катков и граф Д. А. Толстой были умные люди, а построили дурную систему школ. По этому опыту прошлого не будем судить беспощадно и настоящее. Выиграть сражение, сделать удачно целую кампанию, унижить соседа и возвыситься самому – все это содержит в себе

* С.А. Рачинский. «Absit omen» <Да не послужит дурным знаком>. Москва. Университетская типография. Страстной бульвар. 1901 г.

ясную цель и указывает определенные средства. Войска много, войска хорошо обучены, обоз исправлен, артиллерия новейшая и вот вам эта сумма технических условий определила победу американцев над испанцами, европейских союзников над китайцами. Тут механика и арифметика и очень немного психологии. Но образование человека, образование народа? Сколько тут входит психологии, истории и даже метафизики! Что тут мы понимаем? Наилучше организованная школа (как и превосходная в строе семья) может дать лентяев, тупиц, даже развратников, тогда как из препрославленной бурсы Помяловского, преспокойно себе выходили Филареты, Иннокентии, Сперанские, Платоны и бездна деловитейших и способнейших людей на всех поприщах нашей жизни; людей односторонних, тяжелых, не поэтичных, но невозможно же сказать, чтобы пустых. Женские институты дали хороший подбор женщин; кадетские корпуса – отличных офицеров, полководцев, членов общества и слуг государства. Вот вы тут и соображайте, высчитывайте, угадывайте. Педагогика есть не открытая наука. Тут мы все идем ощупью. А когда мы все ничего не видим, то права критики очень суживаются.

Маленькая брошюрка известного педагога С. А. Рачинского «Absit omen», написанная как разбор предполагаемых учебных перемен, написана именно без внимания к мотивам и «вдохновению» реформы и только издевается над ее будущими результатами, более предсказывая их, нежели доказывая. Оговоримся сейчас же. Имея заслуги в построении сельской школы, к которому более чем внимательна была Россия, Рачинский, нам думается, самую деликатностью понуждался бы отнестись в высшей степени деликатно, когда Россия подъяла невероятно великий труд поправить среднюю свою школу. И здесь он мог дать совет, однако в пределах компетенции вообще образованного человека, без всяких преимуществ собственно педагогических. Ибо средняя школа могла быть известна ему, как ученику еще уваровской гимназии, но не известна или поверхностно известна, как толстовская гимназия, в которой он не был ни учеником, ни учителем. Тем неприятнее его тон в его брошюре, как какого-то единственного ведуна в педагогике. Сам он имел великое счастье свои личные вкусы и убеждения сообщить устройству и духу множества народных школ, и мог бы допустить, что сонмам русских родителей, целому русскому обществу тоже хочется видеть свои вкусы и убеждения, привитыми к воспитанию их детей. Но Рачинский всем тоном брошюры говорит: «quod licet Jovi, non licet bovi»*...

«Absit omen» не составила бы блестящей главы среди предыдущих педагогических трудов автора и вообще очень плохо венчает их все. Он не скрывает и не намерен скрывать, что взялся за перо из досады к начатым преобразованиям, и даже, кажется, едва ли не еще из большей досады к делающим их людям. Рачинский не имел ни мудрости, ни великодушия

* «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку» (лат.).

войти как равный и любящий человек в общую работу: подпереть плечом падающий воз нашей школы, в который уперлись плечами десятки, сотни, и, может быть, тысячи людей, во всяком случае, не худого образа мыслей и не с худыми целями. Он избрал утилитарный путь критики, а не этический; а между тем преобразования не дали еще никакого плода, и странна сама мысль оценивать, с точки зрения результата то, что пока не имеет никаких результатов. Отметим раньше, чем разбирать ее, одну в ней ценную сторону. Это – страницы 25 – 33, где говорится о том, что занятия естествознанием в детском и юношеском возрасте могут принять единственно форму ознакомления и, наконец, изучения местных (уездных, губернских или данной климатической и почвенной полосы России) флор и фаун, и что это ознакомление детей с местною природою лучше всего верить не штатному учителю, но местному какому-нибудь любителю естествознания, каковым может оказаться врач, чиновник, местный ученый. Все это тонко и очень верно подмечено, и указанные страницы положительно должны быть прочитаны, обдуманы и взяты в руководство начертателями плана учебных естественно-исторических занятий в преобразуемой школе.

Но с чего взял Рачинский, что не так именно и думалось повести занятия его? «Экскурсии и экскурсии», соби́рание и определение растений, раковин, насекомых, животных, конечно – местных, и заведение при школе маленьких террариумов и оранжереек – это, кажется, есть общий лозунг преобразователей школы. Между тем Рачинский обрушивается на реформаторов как на невежд и почти как на злонамеренных людей: «Можно ли было ожидать, – восклицает он в заключение главы, трактующей об естествознании, – что громадная естественно-историческая работа XIX века приведет Россию на заре XX века к попытке насадить естественно-историческое невежество» (стр.33). Это похоже на крик: «Пожар», без всякого признака огня. Что такое случилось? Россия сама именно в XIX веке выдвинула ряд светил почти на всех ступенях естествознания, от математики до медицины, уже, во всяком случае, не сравнимый с чахлым рядом своих филологов-классиков; и этот наш национальный и исторический подъем и успех в круге наук о природе, естественно, привел к пожеланию ввести элементы этих наук и в школу. В чем преуспели родители, тому они хотят обучать детей. Так поступают не одни «невежды публицисты», именем которых пестрит брошюра, но военные, моряки, духовные лица: всякий хочет видеть сына на поле своего труда. Какие особенные права здесь Рачинского судить и осуждать, почти регламентировать? Особенных – никаких сравнительно с множеством русских ученых, специалистов и популяризаторов. Он сделал некоторые самостоятельные работы, перевел когда-то Шлейдана, перевел Дарвина. Но у нас были и есть творцы естествознания. Рачинский не хочет, Менделеев хочет. Россия выскажется за Менделеева и вправе поставить свой *voitum*. «Всем гимназиям Российской империи, – пишет он, – уже получено распоряжение о введении преподавания естественных наук с наступающей осени и о прискании преподавателей этих предметов. Злей-

ший враг естествознания не мог бы подумать лучшего средства для заблаговременного погашения в умах школьников естественного в их возрасте интереса к явлениям природы. Так как нигде, кроме как разве городов университетских, людей, мало-мальски знакомых с естественными науками, для занятия новых преподавательских должностей отыскать невозможно, то преподавание это неизбежно и обязательно будет почти повсюду поручено неучам и сведется из переливания из пустого сосуда учительской мудрости в пустые сосуды ученических умишек. Такое переливание из пустого в порожнее, к коему, благодаря стараниям нашей печати, притерпелась наша взрослая публика, для детского разума процесс крайне мучительный, тем более что запоминание этого пустословия обязательно ради неизбежного экзамена» (стр.24).

Таким христианско-кротким и христианско-скромным языком написана брошюра автора «Сельской школы» и «Писем к духовному юношеству». Несколькими строками ниже он говорит, что детям придется обучаться «у людей, не умеющих отличить березу от осины и синицу от воробья, каковы сплошь да рядом у нас умники, толкующие о происхождении видов, о борьбе за существование» (стр.25). Не чрезмерно ли? Без латыни, по автору, не может выйти и ботаника: «Латынь всякому натуралисту необходима. Натуралистов, лишенных этого древнего языка, только еще предполагается в нашем отечестве разводить. Нет сомнения, что упразднение в нашей средней школе греческого и латинского языков, — к чему ведет весь намеченный министерством план, — и введение в ней преждевременного бессмысленного преподавания естественных наук — принесло бы распространению этих наук в России величайший вред и заблаговременно погасило бы естественный интерес к живой природе в целом поколении детей» (стр. 33). Так тревожно он предсказывает, совершенно забывая в азарте полемики, что латинский язык нисколько не изгоняется из гимназий, и оставляется в степени, более чем достаточной, чтобы разбирать и самому ставить родовые и видовые названия растений. Да и не только это. Латинский язык вообще сохраняется и даже сохраняется греческий: но в той маленькой пропорции, как к этому обнаружилась тенденция наших образованных классов; и вырастит эта тенденция — ничто не помешает увеличить и эту пропорцию.

И что за аргументы?! Вводить естествознание в школу, значит «погасить дух его в обществе и детях». Ну, если таково положение вещей, тогда ничему не надо учить в школе. Ни защитить старого катковского классицизма, ни опровергнуть новых идей С.А. Рачинский, очевидно, не может. Может быть, оне и имеют слабость, но он ее решительно не видит. Его брошюра похожа на кастрюлю, куда положили овощи и забыли налить воды, и вот она на огне: горит, трещит, пахнет паленым, а супа не выходит. В брошюре нет ни хода мысли, ни даже сколько-нибудь определенного содержания. Это сухой гнев, стучащий язвительными сравнениями, унижительными определениями, но тщетно ищущий какой-нибудь мысли в помощь.

СТАРЫЙ НЕРЕШЕННЫЙ СПОР

Движения в общественном сознании не всегда бывают параллельны течениям народной жизни. В 70-х и 80-х годах, когда ученые Герье, Чичерин, Постников, М. Ковалевский, Цитович и друг. приобретали и теряли репутацию из-за одного отношения к поземельной сельской общине, едва ли эта община цвела достоинствами исключительной значимости. Аналогично мы можем думать, что и в наше время, когда община почти не находит защитников в литературе, едва ли что-нибудь особенно злое или несчастное происходит в ней. Волнения мысли общественной движутся в сторону «да» и «нет» явно без соответственных событий в народной жизни. Барон Тизенгаузен, прочтя в Русском собрании доклад об общине, вызвавший оживленные толки (см. отчет в сегодняшнем нашем номере), выбрал очень уместную тему перерешения, в сущности, нерешенного и во всяком случае «не подписанного» и не получившего приговора вопроса. Совершенно основательно и вполне уместно, что в собрании говорили и резко говорили против сохранения общины, называя ее бессильным анахронизмом. Пусть выскажутся все стороны и выскажутся, не задерживая никаких слов. Но не менее важно, что среди резкой критики нашлись защитники общины, выставившие, например, такой ценный факт, как то, что министерство земледелия и государственных имуществ, отпуская уже много лет именно общинам лес в кредит, не имело случая раскаться в доверии и еще в прошлом году на этой испытанной почве решило отпустить общинникам в кредит на 12 миллионов рублей леса. Кто исправно платит – хорошо хозяйничает; кто имеет кредит – не представляет собою разоренного хозяина. Насчет общинного механизма владения и управления землею, без сомнения, в последние годы усиленной критики общины были отнесены и такие явления, которые нимало с общиной не связаны. Тут и недороды, и пересыхание почвы, и мировой кризис при установлении монометаллизма, и, наконец, вступление на рынок таких производителей хлеба, как Америка, Индия и Австралия, – все положило свой «черный шар» в урну общине. Между тем она кричит, а все-таки везет, и чего-нибудь стоит то, что она везет русское хозяйство уже не один век. Указание на то, что если около 30 миллионов русских поданных живут по X тому, то для чего остальным ста миллионам быть в некультурных (?) формах обычного права и каких-то «народных понятий», – не выдерживает критики. Известно, что Аракчееву не нравилась деревенская жизнь, и он хотел, путем военных поселений, реформировать ее «в более культурную и производительную жизнь» полуполков, полусельчан. Но эта попытка униформности имела самый печальный конец. И вообще планы униформности губительны в такой необъятной державе, как Россия. Малороссия у нас не имеет общины, все дворянство и купечество имеет личное земельное хозяйство и этого достаточно, чтобы рядом с ним удержать и общинное. Навсегда останется важнейший против общины аргумент, тоже повторенный во время дебатов на Собрании, что талант затирается самим принципом общинности, что личная хозяйственность и энер-

гия, не получая достаточно вознаграждения при общинном владении землей, гибнут, стираются. Но вдуваемся в аргумент. Не есть ли аргумент этот в глубине вещи «теория кулака» и программа кулачества? Ибо лицо, именуемое в беллетристике и сатире «кулаком» и «мироедом», в экономической литературе зовется «талантом-предпринимателем», а в зоологической литературе называется «сильнейшею особью, которая поедает существование слабейших особей». Увы, страна, история и государство имеют миссию защитить и слабое. Все наблюдатели пишут, что раскольники живут зажиточнее и даже веруют пламеннее коренных православных. Но это не аргумент, чтобы перестать защищать и поддерживать «господствующую церковь». То же применимо отчасти и к «господствующей великороссийской общине», явлению слабому, ленивому, но ни в каком случае не худому и, наконец, ни в каком случае даже не хилому, ибо хилое и больное не живет века, не держит на спине своей народ огромнейшей державы. Община, действительно, мало культурна, ленива отчасти и, во всяком случае, не так интенсивна и энергична, как личное хозяйство, не только хорошего хозяина. Увы, «личный хозяин», если им случится быть пропойце и моту, спустит все гораздо скорее общинника. При «личном былом хозяйстве» сколько потомственных дворян проживаются и ликвидируют вековую свою связь с землей! Об этом забывают критики общины и, беря какого-нибудь преуспевающего купца-хозяина и ставя рядом с ним общинника, кричат: «Вот плоды общины – бедность! Ибо она покровительствует лености». Увы, ленивый во всяких условиях труда отыщет некое «покровительство» его склонности полегать на боку, а энергичный, действительно энергичный подымет голову и среди общины. В великорусских помещичьих имениях при крепостном праве везде была община, а самые деятельные купцы-предприниматели, сперва тысячники, а потом и «миллионщики», вышли именно из крепостных великороссов, которых господа «отпускали на выкуп» за некоторую, обыкновенно большую сумму. Так произошли многие наши знаменитые торговые и мануфактурные фирмы. Значит, почва общины не мешала подняться таланту. Не преувеличиваем значение этого факта, но пусть наши оппоненты и не уменьшают этого факта. Талант – и то не слабый, а средний, едва заметный талант община, может быть, насколько и принижает, во всяком случае не поощряет; но она во всяком случае кое-что делает, кое-как поощряет, даже приневоливает кой к чему окончательно худого, нерадивого, который без общины завтра бы очутился голяком, пролетарием, быть может, преступником. Кстати, очень бы интересно знать криминальную статистику в районах с общинным и с личным хозяйством. Мы больше критиковали общину, или писали ей гимны, или пишем о ней сатиру, чем помогаем ей.

В том же Собрании очень ценны приведенные слова министра финансов, что вследствие отсутствия государственного «кредита для крестьян они переплачивают ростовщикам процентов более, чем уплачивают государству» (т.е. податей). Вот ужасное открытие, залечив которое мы получим совершенно новую почву для рассуждений о крестьянском хозяйстве и в том числе, очень может быть, и общине.

КУЛЬТУРНЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

По поводу немногих строк, не дышащих враждою к полякам, мы получили несколько польских писем, выражающих не только полное согласие с мыслью о необходимости для славян впереди всех союзов искать сближения между собою, но и содержащих кое-что новое. Один корреспондент пишет: «Позвольте мне преклониться с уважением перед идеями, высказываемыми в статьях ваших касательно сближения славян между собою и призыва к участию в этом сближении и поляков. В одном только возражу вам и всем, с вами одинаково мыслящим, словами знаменитого писателя: «Вы – сильны, мы – слабы и угнетены, и вы должны первые протянуть руку...». Люди благородные, как вы, меня поймут, а в момент, когда поймет это весь русский народ, осуществляются ваши и наши идеалы. Да, историческая роль русских государей – сделаться из «собирателей русской земли» «собирателями славянских земель», и мы все, славяне, должны ожидать своего «славянского Бисмарка-Объединителя», которого, естественно, должна произвести Россия. *Поляк*».

Автор письма не полно понял нашу мысль. Россия имеет слишком много внутренних этнографических вопросов, чтобы перебрасывать мысль вождения свои за границы собственной территории, и говоря «о сближении между собою всех славян, а в том числе и поляков», мы разумели, кроме нашего внутреннего польского вопроса, нравственную солидарность славян между собою и с Россиею, не прибегая к металллическим бряцаниям, которые так склонно переходят в металллическое пустозвонство. Бисмарк, создавший эпоху «крови и железа», последние годы провел «не у дел», и его насильственно-объединительные идеи заменились мирнообъединительными. Если мы и можем иметь в виду зарубежное славянство, предлагая им кой о чем подумать в линии «сближения», то не в ином смысле, чем, напр., как австрийские немцы, ищущие культурного сближения с немцами Германии. Вот аналогичное движение к культурному, нравственному, научному и литературному сближению с Россиею могли бы выразить и чехи, и русины, и поляки зарубежные, ища такого же идейного центра в свободной, самостоятельной и великой России. В этом смысле пожелания, выраженные в приведенном письме, найди они широкое и стойкое распространение в польском обществе и печати, были бы тем «первым шагом с польской стороны», который и психологически и всячески облегчил бы России ее шаги и мероприятия в линии охранения и поддержки славянства.

Во всяком случае и без «славянского Бисмарка из России» может быть много сделано на путях внутреннего, умственного и сердечного сближения славян между собою. Упомянем пока об одной мере, которая, как нам кажется, наиболее сбивает поляков в замкнутую группу нервно и самолюбиво приподнятых людей, отгораживающихся от нас. Это – закон о детях от смешанных браков, чтобы непременно они были «господствующего вероисповедания». И мы, конечно, желаем, чтобы они были притом

все нашего русского вероисповедания. Но еще более хотелось бы, чтобы этих смешанных браков происходило численно больше, нежели теперь; чтобы не в одном проценте, как сейчас, а в десяти процентах, как до сих пор не бывало, русские женились на польках, а поляки на русских. У нас русского населения море неисчерпанное. Теперь возьмем польскую семью, строгую и католическую, но в роде которой, положим, была бабка православная. Вы думаете, эта православная, дети которой остались по отцу католиками, умерла для православия?! О, нет! Она уже ввела, и притом в самый католицизм, в его чистую, так сказать, культуру, православную струю, неуничтожимую и неумирающую. Разве же внуки не будут помнить свою бабушку? Ее милую ласку, ее доброту, ее ухаживание во время болезни, и около всего этого и темную неизвестного письма икону, с горящей перед нею лампадою?! И вот эти католики по памяти к своей бабушке, которую не могут же, органически не могут ненавидеть, перестанут ненавидеть и православие. В душе их, в темном уголке души забьется понимание и сочувствие к простой вере седой доброй бабушки. А нет у них отчуждения и вражды к доброй вере великой русской родины, – посмотрите, правнук католик этой, по-видимому, потонувшей в католичестве русской души, без предубеждения женится на русской, женятся два-три ее правнука, и выйдет же замуж за русского внука. И душа русская, там похороненная, вернется к нам удесятеренною. Как только падет опасение за веру, и притом столь щекотливое для самолюбия – иметь детей обязательно крещеными не в свою, а, положим, в женину веру – так слияние пойдет быстрее, и оно в общем пойдет склоняясь в русскую сторону. И можно поверить, что в местах смешанного населения и теперь особенно много и особенно горячо вспыхивают романы именно на линии разнородной крови, т. е. на линии русско-польской. Но теперь, по понятному чувству гордости, поляки все усилия употребляют, чтобы не жениться на русских, а русские, видя их столь замкнутыми, сами избегают жениться на «злых польках». Суеверие это стеной стоит между племенами и отделяет их самым худшим отделением, семейным, бытовым. Смешанные браки научили бы разные племена понимать друг друга, понимать не отвлеченно, а в высшей степени конкретно, а на почве такого понимания выросли бы и всякие другие формы сближения, – сближения и слияния... А что русские через эти смешанные с поляками браки вдруг начнут исчезать, таять, православная русская вера рушиться, то на это, только вспомнив русскую карму и вспомнив же, до чего русский при всей доброте и простоте своей упорен именно в чертах этой доброты и никак и никогда не сумеет заразиться ни немецкою сухостью, ни польскою кичливостью, – вспомнив все это, говорим мы, на приведенное опасение можно только рассмеяться. Они будут у нас черпать стаканами, а мы у них ведрами. И это просто потому, что нас больше, да и общий-то мировой уклон мысли, конечно, будет работать в русскую сторону, в сторону «собираения» около России славянской семьи.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

Пушкин рассказывает про свои ученические годы, что сколько он ни пытался успеть в алгебре и геометрии – ничего не выходило. Серьезные и величавые эти науки представлялись ему каким-то логическим фокусничеством. И он скорее запоминал теоремы, чем понимал их. Пример этот – пример органической, врожденной неспособности.

Пропорционально ей – у Пушкина был гениальный дар к поэзии.

Подобное рассказывается в биографиях едва ли не всех великих людей. В детстве, отрочестве, возмужалости и до самой смерти они глубоко к чему-нибудь неспособны и это пропорционально их исключительному дару в другом. Так, наблюдательный Дарвин был поразительно неспособен к восприятию поэзии и не мог понять никакой красоты в Шекспире.

А средние люди, ни к чему не талантливые, зато умеренно способны ко всему.

Не то же мы наблюдаем и у народов? Неужели мы не скажем, что римляне были исключительно талантливые государственники, юристы и пропорционально этому, станем ли отрицать бедность и подражательность их поэзии? А такие народы, как финны, армяне, татары, народы старые, народы ничуть не малоспособные, не обнаружили и, может быть, не имеют вовсе никакой преимущественной склонности, ни к чему преимущественного таланта.

Если с таким мерилом мы подойдем к вопросу о «самобытности» и «национализме», то мы, может быть, кое-что примем окончательно и окончательно отвергнем. Мы совершенно ясно поймем, что есть таланты-народы, которым, конечно, было бы грустно потерять этот талант, да едва ли это и возможно, и есть народы средние, народы серые, которые совершенно тщетно усиливались бы вывести в истории какую-то «свою линию»: у них нет таланта, а следовательно, они могут все заимствовать без вреда себе, тогда как талантливый народ в некоторых категориях заимствований будет так же бессилён, как Пушкин в геометрии, или римляне в поэзии; а, усиливаясь, даже и вопреки неспособности, перенимать – будет истощать себя.

Попади римляне еще при царях в руки какого-нибудь тирана Дионисия, любителя философии и поэзии, и кто знает, не изуродовал ли бы он своеобразный и тогда дикий народец Лациума; попади Пушкин в руки беспощадно сурового педагога, который, принимая его талант за каприз, всяческой мукой внедрил бы, «вбил» бы в него геометрию и алгебру до конца курса – и, может быть, роскошный Пушкин не расцвел бы. Или он вырос бы искаженным, изуродованным и озлобленным.

Итак, талант требует культуры, среды, обстановки существования. И это так же верно относительно личности, как и относительно нации. С этой точки зрения «национальный вопрос» и «национальная политика» имеют *raison d'être**.

* Смысл (фр.).

Вот ряд мыслей, на которых напрасно не остановился г. Инфолио, под-вергнув наше славянофильство излишне строгой и едва ли справедливой критике. Можно ли забыть то доброе, что славянофилы дали русской земле и русскому сознанию: надел крестьян с землей – их требование и предмет горячих практических усилий; возобновление церковного прихода, как основной единицы народной жизни, не осуществилось, но было предметом их постоянной агитации; свобода совести, свобода вероисповедания, расширение независимости печати – все это рубрики их программы. Она во многом была неудачна, но везде была благородна.

Г. Инфолио говорит, что «идеи» подобны семенам, падающим с неба на землю-нацию. Но справедливо ли принять, что сама нация есть семя, распускающееся в цивилизацию. То, что мы называли «преимущественным талантом» нации, есть, так сказать, первосортность ее зерна, своекачественность его, особая и характерная его порода. Есть нации, как трава, безличные, не оригинальные. И есть нации-цветки, есть, наконец, нации-орхидеи, редкие, исключительные. Ими любуются, ими удивляются. Г. Инфолио «небесное происхождение» идей доказывает их общностью у всех почти народов или у многих даровитых. Но ведь и качества и признаки, напр., орхидейности присущи всем многочисленным видам и разновидностям этой даровитой породы. Такая идея, как христианство, не привилась же к неграм, к паусам? Между тем, почему бы «с неба» не сойти ей в Африку или в Австралию. Право, для «неба» все равно. Но очевидно, что настоящее «клоно» идей и великих исторических движений и направлений есть, так сказать, физиологическая и кровная натура человека. Я согласен, что это мозг их, не одна логическая лаборатория; я беру понятие шире и называю просто: «натура».

Ошибки у славянофилов были: это по преимуществу их конструктивные построения. Они хотели предвидеть и даже предначертывать России ее «исторические пути». Такова была особенно неудачная попытка К.Н. Леонтьева указать в «Востоке, России и Славянстве», что Россия призвана дать повторение Византии, что все ее права на оригинальное и свое творчество и истории – ничтожны и смешны. Вообще все схематические построения приложения к России гегелевских «триад» и т.п. весьма похожи на неудачу того друга Лермонтова, который при отправлении на Кавказ подарил ему роскошно переплетенную тетрадь с золотым тиснением: «Стихи М.Лермонтова». Но шалун Лермонтов написал в нее какую-то ерунду. А гениальные свои творения он писал на клочках бумаги и чуть ли их не терял. Так совершается и в истории именно с талантливыми народами: они редко оправдывают предсказания своих исторических теоретиков, и все роскошное создают в стороне от «заготовленной тетради».

Таланту нужно только лишь отсутствие излишней муштровки. Славянофилы стояли за свободы но, предначертывая «русские пути, они впадали в глубочайшее противоречие с лучшую собственною идеею.

В золотые переплеты ставятся труды уже написанные. Обдумывать теорию какого-нибудь народа можно тогда, когда она свершилась и почти уже

кончилась. Таким образом, славянофильство, насколько оно пыталось быть теорией русского исторического труда, могло бы и вправду бы явиться после нашей исторической смерти. Но теперь, около живого народа, это a-priori'ное построение его исторических путей вышло естественно неудачно и неостроумно, а в случае силы и успеха – оно было бы вредно.

Но отдельными указаниями славянофилов, по преимуществу в сфере текущей практической жизни, особенно жизни общественной, Россия и прежде пользовалась, и в будущем может еще воспользоваться. Как руководители, они были бы опасны именно излишеством своего теоретизма. России приходилось заимствовать у Европы многое и в таких сферах, где они ждали и хотели самобытности. В образовании, в суде, в устройении армии, увы, не приходилось откладывать реформ. Вообще отношение славянофилов к Европе представляет слабый пункт: практика не ждет и торопит к заимствованиям. Вся их оценка Петра в конце концов мелочна и не достигает величия критикуемого лица, хотя в подробностях она и основательна. И если как руководители они слабы, то как пособники они могут быть друзьями живущего и грядущих поколений.

СТО ЛЕТ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

Николай Энгельгардт. История русской литературы XIX столетия. Том первый. 1800–1850 (Критика, роман, поэзия и драма). С приложением синхронистической таблицы, хронологического указателя писателей и полной библиографии. С.-Петербург. 1902. Стр. 608.

«Деятнадцатое столетие кончилось и чувствуется осязательная необходимость подвести общий литературный его итог. Ведь истекший век собственно и создал русскую литературу. В нем явились у нас во всех родах словесности произведения, которые представляют вклад в мировую сокровищницу человеческой мысли, как запечатленные своеобразным народным гением, явились писатели, имена которых ныне повторяются всеми народами». В самом деле, XIX век и есть собственно единственный зрелый период русского словесного и даже мыслительного зидельства. XVIII век должен быть рассматриваем как приуготовительный: он только ковал форму и, доведя ее до прозы Карамзина и Жуковского, сам умер, не создав ни одного легко читаемого, удобно читаемого произведения, которое бы мы сейчас взяли для наслаждения, а не для ученого и исторического изучения. Ряд веков до XVIII представляет совсем другую эпоху, другой мир, который мы изучаем как окаменелости в пластах земли, без всякого следа в них интереса для современной текущей жизни. Шекспир в Англии, т.е. XVI век, есть живой друг всех сейчас живущих образованных людей. Но XVI век в России, эпоха Грозного и Курбского, есть только друг Забелина, Буслаева и Тихоноврова.

Таким образом, книга г. Энгельгардта обнимает всю живую, читаемую русскую литературу. Она разделена на десятилетия, и в первом томе обнимает первых полвека. На каждое десятилетие отведено около 125 стр.; и если мы подумаем, возможно ли на 125 страницах изложить, охарактеризовать и оценить все события литературной нашей жизни за девяностые, положим, годы, которые, мы видели, они находятся у нас в живой памяти, то, конечно, согласимся, что это вполне возможно и притом без пропуска всего сколько-нибудь значительного. Таким образом, объем книги автора, два тома и около 1200 страниц, вполне достаточен, чтобы дать сосредоточенное, выпуклое и вместе обстоятельное зрелище действительно привлекательной картины: что совершилось в России от Карамзина до Чехова и Горького. Г. Энгельгардт написал вполне привлекательную книгу, употребив на нее бездну трудолюбия и сделав все усилия, чтобы из 608 страниц каждая имела цель, содержание, двигала зрелище и критику вперед, нигде даже на минуту не переходя в празднословие, повторения или красноречие.

Вот что говорит автор об обзоре литературы по десятилетиям: «Сами поколения русские называли себя и характеризовали по десятилетиям. «Тридцатые» годы, «сороковые» годы, «шестидесятые» годы – все эти термины с определенным, всем понятным характерным содержанием. Этими терминами сразу определяется известное литературное десятилетие и в нашем воображении оно рисуется со своеобразным складом умов, покроем мысли и уровнем творчества. «Человек сороковых годов», «шестидесятник» – опять-таки образы совершенно яркие и всем понятные. Конечно, одни десятилетия ярче стоят перед нами, каковы 30-е, 40-е, 60-е, 70-е годы. Другие, как первое десятилетие века, 10-е, 20-е, 50-е, 80-е годы, конец века – более тусклы, кажутся нам переходными, мало оригинальными. Отчасти это на самом деле так, однако подробное изучение этих десятилетий вычертит перед нами особенную складку каждого». Автор указывает и в германской науке тенденцию к изложению хода литературы по десятилетиям; а нашей критике указывает VIII том (солдатенковского издания) Белинского, посвященный Пушкину, где к творчеству поэта применен великим критиком этот же самый простой и вместе самый научный метод обзора и рассмотрения – хронологический.

Действительно, время растет, и в нем растем мы. Пушкин тридцатых годов вовсе не то, что Пушкин – годов двадцатых. Таким образом, рубрика «десятилетие» подчиняет себе даже самые мощные дарования. Десятилетие есть, действительно, яркое «я» века и, характеризуя его, мы разом характеризуем множество лиц, мы группируем множество однородных явлений. Сверх этого, полагая движение литературы по десяткам лет, мы перестаем видеть в литературе сотню замечательных биографий и вводим в нее самое общество, человеческую массу, как подлинный родник идей, которые у литераторов не столько возникали, сколько получали последний чекан совершенства.

В каждом десятилетии г. Энгельгардт рассматривает: 1) состояние критики, 2) роман и повесть, 3) стихотворческую форму, 4) драму и вообще

театр, 5) литературные кружки. Введение обзора литературных кружков особенно значительно: ибо чуть ли не половина русской литературы выросла из «кружков», как известный кружок Станкевича, кружок воспитателей и воспитанников при московском благородном пансионе в конце XVIII века (откуда вышел Карамзин), кружок «Современника», петрашевцев (из которого вышел Достоевский) и пр. Для истории кружков автор должен был перечислить множество мемуаров, записок и сборников корреспонденции.

В конце тома приложена оригинально задуманная «Синхронистическая таблица литературы с 1800 по 1850 гг.». Приведем ее примеры: «1805г. †Шиллера. «Коринна». Первые басни Крылова, «Новый Стерн», «Дон-Кихот» в переводе Жуковского, «Фингал», «Поэт» Хераскова, «Элегия из Парни» Батюшкова». – «1820: «Meditations» Ламартина, «Философия права» Гегеля. Последний год литературной деятельности Батюшкова, «Руслан и Людмила». – «1849. † Шатобриана, «La vie de Boheme» Murger, «Dombeu»*, «История Англии» Маколея, «Principles of political economy» J. Mill. – † Белинского, Гребенки, Губера. «Нахлебник», «Белые ночи». Салтыков сослан в Вятку». Просмотр этой таблицы чрезвычайно интересен яркостью даваемого впечатления и множеством соображений и сопоставлений, на какие он наталкивает. Напр., совпадают смерть Шишкова и Лермонтова с «Сущностью христианства» Фейербаха и с чтениями «О героях и героическом» Карлейля (1841 г.); окончательное разделение славянофилов и западников произошло в год появления «Химических писем» Либиха (1844 г.). В один и тот же год (1847 г.) произошли: на Западе – коммунистический манифест в Париже, а у нас – «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, «Хорь и Калиныч», «Обыкновенная история», «Ответ Москвитянину» Белинского, отъезд Герцена за границу и «Современник» Некрасова и т. п. Таким образом, тут можно разом видеть: в какой обстановке психологической и общественной появилось каждое замечательное произведение русской литературы, какие, так сказать, мировые впечатления жили, положим, у Тургенева в пору первого рассказа «Записок охотника».

Трудолюбие автора и его осведомленность составляют лучшие черты книги. Напр., Чаадаеву посвящено 12 стр., что слишком достаточно, и здесь его личность и писания выведены в освещении цитат из Жозефа де-Местера, иезуита Гагарина, частью Бональда и Балланша, и личных от «Философического письма» впечатлений Пушкина, Ф. Ф. Вигеля (извлечение из письма его к митрополиту Серафиму), Буслаева, Герцена, Бенкендорфа, Шеллинга. Обстановка достаточная. Критика и поправки автора «Истории» выражаются в трех строках посмертно напечатанного письма самого Чаадаева к Александру Тургеневу: «Вы знаете, что, по-моему, Россия призвана создать грандиозное умственное движение, что наступит день, и она разрешит все вопросы, которыми болеет Европа» (стр. 450).

* «Раздумья»... «Жизнь богемы» Мюрже, «Домби»... «Принципы политической экономии» Дж. Милля (фр.).

По множеству в ней старого литературного материала, чрезвычайно искусно подобранного и освещенного, книга эта, вероятно, станет настольным пособием для всякого, изучающего русское умственное и словесное движение за XIX век. Она привлекательна и не утомительна в чтении и в то же время это есть превосходный справочный *compendium* имен, фактов, библиографии и критики. А обширные вводные рассуждения о параллельных западноевропейских движениях (напр., классицизм и романтизм, стр. 232 – 246) подводят прекрасный фундамент под русский материал и делают еще более занимательным и поучительным ознакомление с ним. Однако к следующим изданиям, а еще лучше к концу второго тома, следует приложить: 1) оглавление, 2) алфавитный указатель имен с точным и подробным указанием страниц, на которых о каждом имени говорится. Это придаст книге ценное справочное удобство.

О МНОЖЕСТВЕ САМОБИТНЫХ ИДЕЙ

Спор о том, есть ли у русского народа «свои» идеи, не так пуст, чтобы им не занять еще минуту общественного внимания. Г. Инфолио очень щепетилен и обвиняет меня в перевирании его идей. Правда, я не цитировал, а излагал их. Я думал, что «идеи божественны» (которые, по его словам, есть) и идеи «небесного (конечно, не в смысле г. Демчинского) происхождения», все равно; я думал, что критика и нападение на «самобытность» есть в то же время критика и нападение на славянофилов, развивших теорию «самобытности». Но г. Инфолио все это различает; его воля. Я это отождествляю. Столь щепетильный к себе, г. Инфолио беспощаден к русскому народу и (чтобы опять не перевернуть) печатает: «Инфолио предлагает г. Розанову указать хотя бы одну только идею самобытно русскую, которая удовлетворяла бы следующим условиям: а) не была бы заимствована у другого народа, и б) принадлежала бы единственно русскому народу, а не была бы распространена по всему земному шару у всех народов. Инфолио утверждает, что такой идеи г. Розанов, сколько бы ни искал, не отыщет».

Но я даже затрудняюсь, которую назвать, до того их много. Прежде всего, условимся, о чем говорим. Есть идеи-понятия, есть идеи-мечты, есть идеи-туманы, есть идеи-образы. Ведь не одни же логические идеи надо и можно брать, и сам г. Инфолио в числе «божественных идей» называет христианство, которое уже, конечно, не есть понятие, а факт, образ и мечта (идеал). Итак, неужели Пушкин в «Капитанской дочке» не дал нам образа-идеи, факта-идеи в защитниках Белогорской крепости, их дочери, ее жениха и дядьке этого жениха? Я думаю, Захар Обломова есть тоже «идея-факт», пусть маленькая: такого характера я не читал во всей западной литературе. Единственный раз в жизни я видел в здешнем манеже «Конька-Горбунка» и поразился в нем ролью дурака-удачника среди неудачных умных: я думаю, это народная идея. Неужели русская деревня вывезла «дурака» от немцев,

как покупает из Баку керосин? Я думаю, эти самостоятельные идеи, родные, русские. Есть аналогичные где-нибудь, какое дело до этого русскому, который все же сам выдумал свою шутку. В «самости» и лежит «самобытность». Г. Инфолио говорит о каких-то идеях-униках, «единосущных» какому-нибудь народу, исключительных. Он говорит об идеях-странностях. Но я в первый раз слышу, чтобы в этом состояла самобытность; между тем г. Инфолио критиковал, а не творил, и ему никак нельзя в критике изобретать своей терминологии, а нужно держаться чужой.

И община русская, столь длительная в веках, и артель русская, не умирающая среди современного торга и промышленности, и своеобразная мирская сходка суть русские и самобытные идеи-факты (всякий осмысленный факт есть в то же время материализованная идея), просто по способу сотворения своего и по зерну, из которого выросли: русским умом они сделаны или из русского сердца вышли. Это есть все, что нужно для «самобытности» по всемирной терминологии. Неужели г. Инфолио будет отрицать «самобытность» кольцовской песни? Несамобытным называется заимствованное; итак «самобытно» все незаимствованное. Мне очень совестно, что я должен прибегнуть к собственному примеру для опровержения болезненно упорной мысли г. Инфолио. По окончании курса в университете, без знания и без способности к языкам, я был послан на службу в уездный городок Брянск, и здесь пять лет сидел, писал и написал книгу о «Понимании», ей-же-ей самобытную, не внушенную мне никем, план которой откуда не заимствован и содержание которой мне не было никем указано. Профессором моим был М.М. Троицкий, приверженец английской опытной психологии и индуктивной логики, вещей, нисколько мною не принятых во внимание и мимоходом отвергаемых в книге. Да и, словом, я могу в чем угодно сомневаться, но не в вопросе внутренней работы. Так как г. Инфолио внутренне и чистосердечно, с фанатизмом, говорит «что самобытных идей» нет и даже быть не может, то основываясь на внутреннем опыте, я ему говорю, что она есть, легки и приятны; легче и приятнее заимствованных, которые всегда как-то трудно обрабатывать («чужой товар», к которому и рук не приложишь). Что касается до содержания и темы книги: определить конечную форму науки через рассмотрение строения разума человеческого, как предельной и динамической потенции науки, — то эта тема, и сколько известно, и сколько я слышал от людей, совершенно компетентных в истории философии, не предлагалась себе никем прежде и не составляет содержания никакой книги.

Г. Инфолио говорит, что я получил «схоластическое образование, широко ширяю сизым орлом по поднебесью, сею в облаках умозрительную репу и вышиваю по нетовой земле пустыми цветами». Слишком много сравнений для одного человека. Не отрицаю их остроумия. Но факт остается фактом, что «самобытных» идей множество, что так это всегда и все понимали и что г. Инфолио остается в горестном одиночестве, «единосущий». И как терминология его, так и тема едва ли завоюют себе «партию» и в

этом отношении он, пожалуй, сам подает пример, опасный для его спора «самобытности».

А пушкинская Татьяна? А неевклидовская геометрия Лобачевского (вот пусть подумает об этой идее: ведь решительно же не было у Лобачевского предшественников, это – азбука), а речь на открытии памятника Пушкину в Москве Достоевского с ее экстазом, – неужели все это «идеи международные, переходящие и кочующие по земле»? Да наше старообрядчество с его удивительной «старопечатностью», каким-то колдовским отношением к букве, с его поэзией, точностью требований и дикостью общего направления, есть решительно «свой феномен». Решительно, не только на Руси много самобытного, но я склонен думать, что вся Русь – самобытна. Я не придумываю, я беру, что попало, и что ни возьмешь – «все Русью пахнет». И говорю это без всякого славянофильства, к которому я давно перестал принадлежать.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА СОЛОВЬЁВА

Том II (1878 – 1880). С-Петербург. 1901.

Ценное издание сочинений покойного Соловьёва подвигается довольно быстро, так что любитель его трудов, желающий оживить их у себя в памяти, едва кончает чтение одного тома, как уже получает в руки другой. Почти весь второй том занят «Критикою отвлеченных начал», этим едва ли не центральным сочинением в ореоле отпиа*, представляющим собою, в каждой почти из сорока трех глав, блестящее изложение самой сущности, самого ядра которой-нибудь из знаменитых философий или какого-нибудь отдельного высоко значительного философского взгляда, и затем остроумный и блестящий, едва ли, однако, всегда глубокомысленный, разбор и опровержение или ограничение изложенной теории. Так, здесь разбирается идолизм, эвдомонизм, утилитаризм, этика Шопенгауэра, категорический императив Канта, экономизм и социализм, право и государство, церковь – как сферы нравственно-волевой деятельности человека; далее проходит критика философствующего реализма, философствующего натурализма, атомизма статического и динамического, сенсуализма, эмпиризма и позитивизма; наконец, автор переходит к рассмотрению рационализма и завершает полет своей мысли, а отчасти и воображения – в мистику поэтическую и религиозную. На этом обширном поле своего полета автор более «ширяет крыльями», чем осторожно пробирается, и само собою, разумеется, все исчисленные рубрики после его «Критики» стоят так же в целости, как и до 1880 года, когда вышла из печати эта «Критика». Но любителю остроумия и вся-

* Полное собрание сочинений (лат.).

ческого умственного блеска есть здесь богатая ниша для наслаждения, а кое-что из «критики» и западает ему глубоко и прочно в душу, в сомневающийся ум. В самом конце приложена статья: «Исторические дела философии», вступительная лекция в С.-Петербургском университете, прочитанная 20 ноября 1880 года. В ней автор задает следующий интересный вопрос: физика, механика, химия, физиология, наконец, юриспруденция – будучи науками и существуя для обрабатывающих эти науки физиков, механиков, химиков, физиологов, юристов, дают нечто и для жизни, для человечества, для толпы и улицы, а философия – существует ли она для одних философов, почти как забава и наслаждение личное, или также она живет и для «тела человеческого», организма человека? И если да, то что именно очевидного она для этого человечества сделала? Вопрос поражает своей правдой, необходимостью и, между тем, он далеко не затаскан, вовсе не для всех очевиден в правоте своей. Дав очерк «дел философских» от «купанишад» Индии до нового гегельянства, автор так резюмирует ответ на свой вопрос:

«Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровений истинного Божества. В мире древнем, азиатском и греческом, где человеческая личность по преимуществу была подавлена началом стихийно-природным, философия освободила человеческое сознание от исключительного подчинения этой внешности и дала ему внутреннюю опору, открывши для его созерцания идеальное духовное царство; в мире новом, христианском, где само это духовное царство, само это идеальное начало, приняв формы внешней силы, завладело сознанием и хотело подчинить и подавить его, философия восстала против этой изменившей своему внутреннему характеру духовной силы, сокрушила ее владычество, освободила, выяснила и развила собственное существо человека, сначала в его рациональном, потом в его материальном элементе. И если теперь в заключение мы спросим: на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и богатства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самую добыты, не составляют ее собственного внутреннего достоинства».

Как это хорошо и верно: сущность философии – в ее неудержимой автономии, и отсюда-то вытекает ее освободительная в человечестве миссия. Соловьёв продолжает:

«И эта неспособность удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление к все большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила-разрушительница всех чуждых богов, эта сила уже содержит в возможности то, к чему стремится – абсолютную

полноту и совершенство жизни. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный, и каждый раз, как дух человеческий, разбивая какого-нибудь старого кумира, говорит: это не то, чего я хочу, он уже этим самым дает некоторое определение того, чего хочет, своего истинного содержания».

Последние строки нетверды, казуистичны, более представляют красивый оборот фразы, чем определенную мысль.

«Эта двойственная сила и этот двойной процесс, разрушительный и творческий, составлял сущность философии, и вместе с тем составляет и собственную сущность самого человека. Таким образом, на вопрос: что делает философия? – мы имеем право ответить: она делает человека вполне человеком».

<О ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ>

Недавно еще сторонники классицизма выставляли, как особенно важный довод, необходимость знания латинского языка для изучения медицины, а ныне вопрос этот решен чисто в практическом смысле, и лица, окончившие реальные училища, могут быть принимаемы в Военно-медицинскую академию наравне с лицами, окончившими курс в гимназиях, с дополнительными лишь испытанием реалистов из латинского языка в объеме курса четырех классов гимназии, причем это испытание допускается даже не при поступлении в академию, а в течение первого года пребывания в ней.

Положим, прием реалистов допущен только на пять лет, в виде опыта, но не трудно предвидеть, какие будут результаты подобного опыта, тем более, что давно уже замечено было академией, насколько основательнее подготовлены к изучению медицины лица, знакомые с естественными науками. Именно на этом основании возбуждался и ранее вопрос о допущении реалистов в академию, но при прежних взглядах министерства народного просвещения ходатайства Академии оставались без удовлетворения. Но времена переменялись и то, что казалось еще два года назад невозможным, теперь осуществимо и притом в самой простой форме.

ЛАТЫНЬ В РЕАЛЬНЫХ НАУКАХ

Параллельно тому, как бывшие классические гимназии со своею исключительно грамматическою программю подаются в сторону сближения со школою наук реальных и прикладных, естественно было ожидать, что возникнет параллельное движение навстречу расширению прав учеников реальных училищ в сторону уравнивания и приближения к правам питомцев классической школы. Это два конца одной мысли. И допущение, хотя на пять лет и в виде опыта, учеников реальных училищ в Военно-медицинс-

кую академию, с обязательством выдержать экзамен из латинского языка в первый год по программе четырех классов гимназии, не представляет чего-либо неожиданного. Это – вывод, для которого сделаны были предпосылки.

Что четыре класса гимназии заключают в себе латынь в совершенно достаточной мере, чтобы составлять всяческие рецепты и разбирать медицинскую терминологию на латинском языке, об этом и нечего спрашивать: в третьем и четвертом классе проходится вся этимология, основная часть синтаксиса, и читаются и переводятся нетрудные римские авторы, до Цезаря включительно. В Уваровской гимназии изучение латинского языка началось только с третьего класса, и такие ученики были признаны способными слушать лекции всех университетских факультетов. Вообще доля латинизма в размере именно программ Д.А. Толстого не представляет ничего непременно и ничего доказанного. Но это только техническая сторона вопроса, не возбуждающая о себе сомнений, за которую остается более темная идеальная сторона.

Ученики реальных училищ не допускались к слушанию всякого вида университетских чтений, к которым, конечно, относятся и лекции Военно-медицинской академии, не по одному незнанию латинского языка, но оттого, что весь курс реальных училищ, так сказать, в целом организме своем, считался недостаточно развивающим учеников для восприятия высших наук. В латинском и греческом языках находили специально развивающий элемент. Не будем этого оспаривать. Надо доказать сторонникам этих взглядов присутствие достаточного развивающего элемента, напр., в математике, проходимой в реальных училищах полнее, чем в классической гимназии. Ведь в реальных училищах ученики не практически только намечаются в разрешении математических задач, но изучают и действительно старательно изучают полный организм столь стройных наук, как алгебра, геометрия, тригонометрия и механика: здесь мотивированность мышления, связанность доказательств и строгость выводов получают себе достаточную гимнастику. Обращаясь специально к медицине, мы, конечно, сообразим, умение написать латинский рецепт есть последнее и самое скудное богатство доктора, а первое его богатство – это наблюдательность и сообразительность. Доктор имеет дело с пациентом, которого надо повернуть так и этак, рассмотреть в таком и ином отношении и не упустить из вида такого или иного важного признака. Нужно не только найти признак, надо о нем догадаться, спросить себя, а спросив – надо уметь искать и иметь настойчивость доискаться. Пациент есть факт, пациент есть предмет. И нельзя сказать, чтобы в классических гимназиях было слишком много приучения и приохочивания учеников обращаться с предметом, с фактом. В этом отношении курс реальных училищ и весь дух их гораздо более дает. Возьмем графические занятия реалистов как на уроках механики, в частности машиностроения, так и собственно рисования: здесь глаз должен быть внимателен ко всякой точке, к каждой линии. Привычки в высшей степени ценные и требующиеся в медике. Здесь точность знания расположения органов аналогична, в

сущности, знанию рисунка. Реальные предметы и их изучение не дают, так сказать, словесной развитости, почти ораторской развитости, развитости в постройке фразы. Это – науки молчаливые. Но и медицина есть молчаливая наука. Доктор-оратор будет мало утешителен для больного. Нам думается, старое требование классического языкознания для понимания и реальных наук, какова медицина, основывалось именно на неразличении талантов и призваний, весьма специальных в области разных наук. К сожалению, учебными заведениями нашими, устройством в них программ и задачей в них прав учебных никогда не заведывали люди реальной учености, а только филологической. Филологический дар они и приняли за общечеловеческий, не рассмотрев и даже не спросив себя, нет ли специально требуемых даров в других науках, даров до противоположности несходных с филологическим, даров совсем другого корня. Иные говорят, что доктору нужно человеколюбие, а человеколюбие есть гуманность, человечность, которая в нас воспитывается классическими языками. Что ответить на этот красноречивый аргумент? Он состоит в подстановке, если не в подтасовке, понятия: гуманитарность как всесторонность и гармоничность развития человеческих способностей отождествляется и подставляется здесь на место жалости, сострадания, сердечности. Кто не знает, что последние качества, ценные в медицине, растут не только там, где сеял Гораций и Цицерон?

Повторяем, дары филологические и дары к реальным наукам скорее расходятся, нежели создают, и допущение учеников реальных училищ, лишь бы свои-то реальные науки они проходили рачительно, размышляя, методично, а не ремесленно, к слушанию медицинских лекций, конечно, вполне возможно, своевременно и давно желательно. Мы уверены, однако, что новые права питомцев старого реального училища сделают преподавателей в них и вообще учебную администрацию более, чем прежде, внимательными к методическим, развивающим приемам преподавания.

50-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ ГОГОЛЯ

Сегодня на всей России пройдет возбудительным током воспоминание о Гоголе. И невозможно исчислить статей, стихов, отзывов, мнений, какие публично и частно будут соединены с дорогим и великим именем! Из всенародных апофеозов, какие мы два раза видели относительно Пушкина и сегодня в первый раз увидим относительно Гоголя, можно заключить, до чего выросло значение в России литературы, какая это огромная и любимая, всех свободно покоряющая себе, сила. Общество может венчать только вершины какой-нибудь области. Но если у нас есть и увенчан Суворов, значит, любимая и нужна армия; если так увенчиваются Пушкин и Гоголь, то частичка венка их славы лежит и на голове каждого писателя! Будем это помнить и стараться это оправдать, заслужить...

Пушкин читаем, любим и понимаем. Гоголь читаем, любим, но понимаем гораздо менее, нежели Пушкин. Пятьдесят лет со дня его кончины мы все еще разрабатываем собственно одну половину Гоголя и далеки от того, чтобы подняться головою до головы великого писателя и охватить сердцем и умом всего его, всю его могучую и загадочную личность, все его творения, и оконченные и неоконченные. И критика, и биография Гоголя стоят гораздо ниже его личности, кончаются около его ног. И одна и другая увлечены впечатлением читателей и представляют литературную обработку этих впечатлений. Полного слова о Гоголе мы не имеем.

Гоголь – сатирик, Гоголь – отрицатель закрыл собою все. Не станем отрицать и не хотим ограничивать этого приговора. Пятьдесят лет одинакового впечатления что-нибудь значит. Но полно ли оно? Аристофан был сатирик. Свифт имел бич, белее беспощадный, чем гоголевский; Теккерей Европа признала сатириком. Достаточно назвать эти имена, чтобы чуткий читатель почувствовал, до чего Гоголь не уместается в ряд их не только как им равный, но и как на них похожий. Гоголь ничего почти родного не имеет себе в мизантропе Свифте, шутнике Аристофане, рассказчике Теккерее. Угрюмо оглянувшись на них, наш Гоголь отошел в сторону. А все мы, отнюдь не по национальному чувству, тоже отделились бы от ряда их, и пошли бы за нашим Гоголем. Но в чем же его секрет и особенность, при столь бесспорном характере сатиричности его творений? В его безмерной положительности, плоде безмерной любви к родной стране и вере в родную страну! Никто столь смешно не изобразил Россию. Соглашаемся с этим. Но отвергнет ли кто, что ни один писатель, включая Пушкина, Тургенева и Толстого, не сказал о России и, напр., о русском языке, о русском нраве, о душе русской и вере русской таких любящих слов, проникновенных, дальнорких, надеющихся, как Гоголь? Известные слова Тургенева о русском языке: «Берегите его» и т. д. не проникнуты такой любовью, как слова Гоголя о меткости русского слова и характерности его, и именно в связи с душою русскою, из которой исходит это слово. В отзыве Гоголя больше понимания русского слова, а главное – больше любви и уважения к могуществу души и ума русского человека.

Он весь поглощен был народною и государственною заботою. Он похож на рабочего в угольных копях, который садится в бадью и спускается в шахту, чтобы копать там «черные алмазы». Так и у Гоголя мы нигде в его жизни и до самого конца не наблюдаем ни одной черты сибарита-писателя, наслаждающегося своею славою, уже признанною. Это – работник, перевозящий тяжелое дыхание и зарывающийся глубже и глубже в шахту русской души, в угольную пыль русского быта. Нет презрения и пренебрежения у него ни к чему. Без перчаток он шупает самые гнойные язвы отечества. Качество язвы вызывает лечение смехом: но разве в боли лекарства заключаются существо и намерения медика? В душе его предносится идеал цветущего здоровьем человека. Идеал России, обильной духовным светом, как и материальным благосостоянием, до боли мучил и Гоголя: следы

этого везде есть у него, и чем ближе к концу, тем все увеличиваются, переходя в начальных главах второй части «Мертвых душ» и в «Переписке с друзьями» почти в административные указания и соображения.

Из великих сатириков мы называли Аристофана, который осмеивал Эврипида и Сократа, имел идеал свой в благочестивом прошлом Афин. Так как мы уже приводим параллели, то отметим эту черту и, пожалуй, дополним ее Ювеналом, который тоже звал Рим к патрицианскому прошлому. Вообще могущественнейшие сатирики были косвенно певцами минувшего, безвозвратного и чаще всего проблематического «золотого века». Даже пророки Ветхого Завета, как Иеремия, плакали только о прошлом. Но не таков христианский сатирик Гоголь. Из всех картин, видений или иносказаний евангельских его как бы особенно поразило Преображение. Все творения Гоголя суть зов родной земли, родного народа, окружающего общества, до личных друзей поэта включительно, к некоему и жизненному, и небесному «преображению». Это определение охватывает всего его, от «Мертвых душ» до «Авторской исповеди», до «Записок сумасшедшего» и «Переписки с друзьями». Формула широка, и ее не нужно ни менять, ни приноровливать, чтобы в нее вошел весь Гоголь, без пропусков. Он был пророком и вождем русского «преображения» и сатира была для него только бичом, которым он понукал ленивого исторического вола. Сознание ведущего своего значения, «преображающего», местами восходит у Гоголя до яркости, которой нет аналогии во всемирной литературе. Какая-то личная исключительная связь с отечеством, на какую ни у кого другого нет прав, сказывается в словах, почти пугающих нас многозначительностью, смелостью и очевидною правдою. Так смела бы сказать только мать о дитяти, вынашиваемом ею в себе, как Гоголь решается говорить о будущем Руси, как бы тоже выношенном и созревшим в недрах его духа. «Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного далека, тебя вижу. Бедна природа в тебе... Открыто-пустынно и ровно все в тебе... Ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?.. Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силой отразясь в глубине моей; неестественною властью осветились мои очи... У! Какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль, Русь!...».

Какие особенные слова; какое нужно особенное самоощущение, чтобы произнести их, и произнеся, дать печатному станку, а не спрятать как стыдливое ожидание, робкую надежду, как неудачный штрих пера! Такое право приобретается не только трудом для родины, но страданием за родину, глубоким, душевным, до известной степени мистическим. Это более, чем отношение писателя к отечеству, это – незримые и крепкие нити, связующие в один организм страну и ее пророка. Пушкин и Лермонтов написали оба

по «Пророку»: странное предчувствие! Но сделаться пророком для родной земли, без вывесок, без афиширования, однако в самом строгом и точном смысле, удалось одному только комическому писателю Гоголю. Какое удивительное явление! «Скорбю ангела загорится наша поэзия, и ударивши по всем струнам, какие есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, что никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке». («В чем же, наконец, существо русской поэзии», конец). Сколько здесь предсказано о тоне всей последующей русской литературы, от «Бедных людей» Достоевского до «Записок охотника» и «Живых мощей» Тургенева, «Чем люди живы» и «Смерти Ивана Ильича» Толстого, включая и «пронзительно-унылый» стих Некрасова. Народное движение русской литературы необъяснимо без Гоголя, оно выводится из него. До Гоголя русская литература порхала по поверхности всемирных сюжетов то «Братьев разбойников», «Шильонского узника», то «Кассандры» и «Торжества победителей». Гоголь спустился на землю и указал русской литературе ее единственную тему — Россию. С тех пор вся русская литература зажглась идеалом будущности России. Мысль о нем обнимает ее всю, от самых крупных до незаметных явлений. По чувству любви к народу, по жару отечественной работы русская литература, и именно после Гоголя, представляет единственное во всемирной литературе явление, которого мы не оцениваем или не замечаем потому только, что сами в нем трудимся. Каждый решительно у нас писатель, даже достигший европейской известности, для своего признания в России должен еще представить «оправдательные документы», что он сделал для мужика, для деревни, для рабочего, для бедного физически или бедного духовно. И вот мы видим и даже не особенно поражаемся, как герой литературы, герой литературного момента, во время однодневной переписки в Москве ходит по ночлежным домам, и результаты виденного и думы свои о нем обсуждает печатно. «Так должно», — без всякого удивления говорим мы. Так поступает медик, чиновник, земец, всякий работник своей земли. А писатель — тоже работник и должен трудиться плечом к плечу со всеми. Но это стало возможно только после Гоголя; в пору Пушкина, Карамзина это еще не было возможно, было непредставимо. В поразительной статье «Светлое Воскресенье» («Переписка с друзьями») Гоголь как бы концентрирует и отрицательные и положительные свои идеалы. Он говорит о братстве, проходящем в этот день по народу, и выражающемся в поцелуе «христосованья». Но что это? Не одно ли пока лицемерие? Сколько в нас презрения друг к другу, презрения ко всякому, кто оскорбляет нас неблагообразным своим ликом? «Христианин, мы носим это имя. Но мы выгнали Христа на улицу, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в дома, под родную крышу свою, и думаем, что мы христиане!..». «Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире». Все должно возродить чувство братства; это чувство братства — оно поднимается и по всей Европе. «Мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; обнять все человечество, как

братьев, сделалось любимой мечтою всякого почти молодого человека; многие теперь только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутренне достоинство человека; даже стали поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома, и земли; но одно только христианство в силах это произвести; следует ближе ввести Христов закон как в семейный, так и в государственный быт». Реализация этого пасхального поцелуя и слов пасхальной молитвы: «Да все друг друга обьемем» — последнее завещательное слово Гоголя, которое стало темой последующей литературы. Сам он умер в великой попытке выделить, выработать в себе христианина; но попытка не умерла, перейдя в биографии Достоевского и Толстого. Найти в себе христианина, явить в жизни своей христианскую идею — такова стала задача русского писателя. Сравнительно со всеми народами, евангелизм, чувство Евангелия, и только его одного, проникает русского человека больше, чем всякого другого. Наш народ почти не знает Библии и, можно сказать, при отсутствии других сильных и постоянных влияний, весь духовный свой образ соделал или пытался сделать по духу евангельскому. Но еще безмерный предстоит путь от личного образа до образа жизни народной и от пожелания — к осуществлению. На путь этот вывел литературу нашу Гоголь; на нем она трудится. С престола алтарного, где она только раскрывалась и читалась, книга жизни и обновления должна пойти по улицам, войти в дома, замешаться в дела: вот задача нашего «Преображения». Поблагодарим же сегодня все того, кто нам указал ее.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ. ИТАЛЬЯНСКАЯ НОВЕЛЛА XV ВЕКА

Книгоиздательство «Скорпион». Москва, 1902.

Книжка содержит больше, чем обещает заглавие. Сверх заглавной новеллы, в нее входит другая такая же: «Наука любви», далее — хроника XVI века «Микель-Анджело» и «Святой Сатир», флорентийская легенда Анатоля Франса, с мастерством переданная на русский язык автором классического перевода «Дафниса и Хлои». Уже с давнего времени г. Мережковский насаждает в России маленькие сады Адониса, или, что то же, пытается пробудить какой возможно «Renaissance» эллино-римского мира среди степей Московии и Скифии. Одно можно отметить, что чем старше становится автор, тем спокойнее, увереннее, а главное — сложнее он работает, перестав, например, относиться к христианству с той поверхностною отрицательностью и глумлением, какие неприятно поражали читателя в его «Юлиане Отступнике». Нельзя и сравнивать стиль или слог его теперешних писаний, ровный и твердый, с тем нервно-приподнятым, бессильно надтреснутым стилем, каким написаны многие из его страниц начала девяностых годов.

Мальчик вырастает в мужа, из «Амура» вылупился «Адонис», и это совершилось так удачно и быстро, что друзьям автора можно пометчать даже о будущем Геркулесе из него. Да поможет ему древняя Люцина, помощница в родах. Возраст – великий умудритель. Ни из какой книги не научишься тому, чему можно учиться из горба за спиной, т. е. из усталости, опыта, богатства наблюдений. Все это расколаживает и вместе укрепляет, дает правильную поступь, верный глаз: ценнейшие качества в наше немолодое время, которое бесконечно скучает всем юным в смысле неопытности и лжеприподнятости страстей и языка. Серьезная правда все более и более выделяется из многочисленных «лже» г. Мережковского, из «лже»-эллинизма, «лже»-ницшеанства, «лже»-антихристианства: и все начинают серьезнее и серьезнее слушать речь просто Мережковского, самого Мережковского. Просто Мережковский несравненно любопытнее Ницше – Мережковского, который довольно долго утомлял русскую публику. Теперь он находит в себе мудрые слова о христианстве; он находит подлинно уязвимые слабости в Ницше, например, указывая в первом «сверхчеловеке» потомка слабохарактерных и крикливых «ляхов», который пуще всего рвется к тому именно, чего ему усиленно недостает... Увы, все чахоточные любят весну и розы. Но ошибется тот смертный, который доверит повести себя к розам и соловьям чахоточному...

Мережковский – мыслитель, наблюдатель и ученый. Он вечно учится, постоянно и много читает. Это не часто встречается в наш ленивый век, и уже одним усердием к делу г. Мережковский скоро перерастет множество самодовольных «talentov» из своих современников, которые думают, что подлинному таланту остается только начинать chefs d'oeuvres'ы. Ценнейшая и самая обещающая сторона в сложном даровании г. Мережковского, мне кажется, лежит в умении увидеть и точно оценить значение такого-то слова или факта в литературе и истории: оценить их со стороны психологической и метафизической. Нет еще такого чуткого манометра в нашей литературе, определяющего удельный вес мнений и событий; такого подвижно чуткого компаса, определяющего направления скрытых в земле магнитных токов. От излишества внутреннего напряжения он способен здесь к ошибкам, на которых не будет настаивать; но затем может раньше всякого другого дать формулу незаметному, предречь поражение сейчас еще сильного явления или победу еще слабого явления. Роль Кассандры ему в высшей степени присуща...

В рассматриваемой книжке самым лучшим произведением нам показалась историческая повесть «Микель-Анджело», предшествуемая стихотворением того же имени. Италию и Renaissance автор изучил, как Забелин московские закоулки; и студент, и студентка, размышляющий гимназист, как и самый образованный человек, неспециалист, равно приобретут много, если изберут г. Мережковского «гидом» по интереснейшей стране и интереснейшей эпохе. К тому же это не гид-археолог, а гид-мыслитель, и в самой Италии и Renaissance он берет не все, что на глаза попадетсЯ, а ищет то, что нужно, справедливо чуж, что нет великого без великих под ним тайн,

и что секрет распознавания истории и человека и заключается в разыскивании этих тайн... Древние верили, что где-то, в Сицилии или другом месте, есть «спуск в тартар»; вот около таких исторических и биографических «спусков» любит бродить и Мережковский, и догадливый читатель найдет в его произведениях гораздо более, чем недогадливый (например, стр. 116 – 117). Леонардо да Винчи и Микель-Анджело, творцы-философы, творцы-исполины, более всего привлекают его внимание. Рассказ г. Мережковского (стр. 59 – 148) о Микель-Анджело в сжатой и изящной форме полуистории, полубеллетристики, вводят в жизнь, творчество, замыслы и судьбу знаменитого флорентинца, любимца итальянцев, как я наблюдал в Италии в церквах, в монастырях, в любовных воздвижениях ему статуй и набожном охранении (я видел в одном монастыре) какой-нибудь простой (но действительно изящной) перекладки двух-трех железных прутьев над колодцем. «Это сделано Микель-Анджело». И в самом деле – что-то красивое, воздушное. Так обрывки стихотворений Лермонтова, неконченные, ценнее целых «задуманных, выполненных и благополучно оконченных» поэм других стихотворцев. В таланте содержится некоторое чудо, и этим чудом богат флорентинец, действительно, точно украсивший Италию всюду разбросанными им скульптурами, зданиями и картинами. «Моисей», Сикстинская капелла (вся в целом) и купол св. Петра – просто невероятно, чтобы это вышло из рук одного человека. Кто может представить соединенными в одной фигуре, в одной душе – Толстого, Чайковского и Менделеева? А таковыми-то и были кентавры Возрождения, «боги» Возрождения, к которым применимо удивительное изречение греков о Пифагоре: «вот пришел к нам «οὐτε Θεος, οὐτε ἀνθρώπος ἀλλά Ποδαγόρας». «Οὐτε ἀνθρώποι ἀλλά Θεοί»* были и люди «Возрождения», – точно выкованные из сплава христианства и язычества, металла нового и превосходного крепостью и красотой своих ингредиентов....

Мало у нас писателей, столь умственно возбужденных, как г. Мережковский, вечно ищущий, надеющийся, идущий вперед. И мы бы особенно хотели, чтобы в наше вообще умственно-возбужденное время он стал другом-мыслителем нашей мыслящей молодежи обоих полов. Приведем, в заключение, несколько строф автора, характеризующих Микель-Анджело:

За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,
Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог
Осуществить чудовищных мечтаний,
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.

* «Ни Бог, ни человек, но Пифагор». «И не человеки, но Боги» (греч.).

Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек, – и были у тебя
Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья
Страданий человеческих предел.

Не правда ли: это полно, точно и психологично. Книжка издана новой московской книгоиздательской фирмой «Скорпион» очень изящно, с прелестною виньеткою.

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ДЕЛА И ПРИНЦИП ОДУШЕВЛЕНИЯ

Я думаю, всякому приятно видеть одушевленное лицо, слышать одушевленную речь. Такое удовольствие я испытал, встретившись вчера с одним из южнорусских земцев. Шла речь о темах далеко не местных, даже не специально русских, и почти только из вежливости я спросил местного дельца об их губернских делах. Сейчас же он заговорил о постановке народных училищ, снабжении их крошечными дешевенькими коллекциями, о введении преподавания будущим сельским учителям естествознания и элементарной физики, дабы они могли хоть кое-что из сведений о природе передать крестьянским ребятишкам, и, наконец, об учреждении при губернской управе музея наглядных пособий для преподавания, изготовляемых на месте местными мастеровыми, не прибегая к выписке из столиц.

И слушая эту одушевленную речь, я вспоминал упреки, особенно частые в одной здешней газете, по адресу земств: «Зачем они берутся не за свое дело, за образование, и не исполняют своего главного дела – чинить мосты и исправлять дороги». Никогда я не умел на это ясно ответить, хотя мне и хотелось как-нибудь заступиться за земство. «В самом деле мосты и дороги очень важны. И что же ребят учить грамоте, когда батькам этих ребят невозможно, не сломав колеса, проехать по дороге?», – думал я.

Но вчера, слушая земца, я окончательно и сам одушевился и захотел его упорно, во что бы то ни стало защитить. Земец этот был не из художавых, лихорадящих энтузиастов, которого хватит на год работы, а человек плотный, молчаливый, деловитый, которого хватит скорее на век работы. И вот, однако, его речь и лицо, как у тургеневского Рудина! Постойте, постойте с вашими дорогами! – мысленно стал я бороться с критиками земства. – Прежде всего, если бы колесо ломалось у мужицкой телеги, то убыток тут и неудобство так явны, а сам мужик до того не предубежден в пользу образования, что он очевиднейшим образом потребовал бы прежде дороги и потом школы и не только потребовал бы, а и добился бы, подняв историю

из-за дорог в земстве, у губернатора и, наконец, в Петербурге, куда он весьма умеет посылать ходоков... С дорогами дело что-то не так и, может быть, дороги у нас той умеренной степени совершенства, при которых от них колеса телеги не ломаются, а, напр., ломаются рессоры собственного экипажа. Но в таком случае очень трудно доказать, чтобы шоссе и вообще бархатистость дорог лежали на обязанностях деревни, уезда или губернии, а не на обязанности специальных ездовых в собственных экипажах. Совершенно очевидно, что мужики имеют достаточные для них дороги, неудобные, тряские, но, однако же не ломкие, дороги, так сказать, по шаблону третьего и даже четвертого класса, а не по шаблону первого класса. Но это – соображение, которое, может быть, подтвердят местные наблюдатели.

Переходя от него к очевидности, я спрошу всех публицистов, ратующих против излишнего, на их взгляд, усердия земств к народной медицине и народному образованию.

А во что оценить, однако, что этот энтузиазм есть, и что открываются у нас школы и учреждаются приемные покои и амбулатории не по тому одному, что они вошли в рубрику параграфов Земского положения, а потому, что есть к ним самобытное, свое и местное расположение земской души? Ибо если уж есть душа в литературе и у литератора, конечно, она есть у земства и земца. Пожалуй, вы погасите эту любовь или не дадите ей развиться, придумав такое-то предельное земское обложение и еще понизив его до желаемой вами, в сущности, совершенно произвольной нормы. Но зажжете ли вы на месте угасшего энтузиазма другой, нам желательный, напр., дорожный или скорее рессорный?

Сомнительно. Душа угаснет в одном уголке и не загорится в другом, а останется мертва. Энтузиазм души – редкое явление, и возгорающееся гораздо труднее, чем всяческое составление параграфов в каком угодно Положении. Энтузиазм души общественной, а не личной, горит долго: вот в отношении к школе и больнице она горит у земства уже более тридцати лет сплошным огнем. Сколько за это время министров переменялось и министерских программ, а земство стоит все на одном, не меняя флага, не перевертываясь то направо, то налево, как флюгер. Поверьте, эта постоянная и настойчивая энергия – не литературная и не петербургская струя в земстве; скорее, в Петербург и в литературу эта струя внесена с полей и из деревень наших губерний. Это – туземная, внутренняя русская работа. Но я вновь возвращаюсь к энтузиазму, которым на меня повеяло от южного земца. Он дойдет и до дорог и тогда сделает отличные дороги, настоящие, европейские. Но дайте ему самому дойти до этого путем медленного самовозгорания, путем усиления его пламени, а не посылайте его как мальчика в магазине то туда, то сюда. Россия – не пожар, земство – не пожарные, а консервативные публицисты – не брандмейстеры. Всякое солидное дело медленно делается, и не один человек в мире не скажет, чтобы русское земство делало медицинское и учебное дело не солидно. А мотив этого дела – почти физиологический. Видеть больного, которому не к кому обратиться

за помощью, прямо страшно! Местные русские люди, видевшие и до 1864 года таких беспомощных больных по деревням, как только превратились в «земцев», первым делом и подумали о докторе. И эта дума их была добрая, исходившая не из «новых веяний», а из старого слова о помощи «болящему» впереди всяческих других дел. Уж что об этом и говорит, когда сам Спаситель в такие самонужнейшие дни для проповеди, как краткие дни его служения на земле, превратился в целителя физиологических язв и немощей! Врачебная помощь есть первая евангельская деятельность, и зависит это от меня, я знаменитых врачей наделил бы специальными религиозными наградами совершенно наряду с знаменитыми проповедниками-теологами. Теперь возьмем второго конька земства – школу. Если в деле больницы земство является сострадальцем, то оживление школьного дела и преданность ему земцев явно вытекают из присущего вообще всякому человеку нежного дружелюбия к детскому возрасту, из симпатии к первому расцвету ума и сердца отроческих, к психологии вместе и живой и чистой. Я и прежде, живя внутри России, наблюдал, с какою особенною любовью и чиновные и земские люди, и дворяне рассказывают о своих посещениях сельских школ, о присутствовании на экзаменах и проч. Явно, что эта область есть менее труд и более поэзия земского дела. А иногда на поэзию мы тратим более, чем даже на нужное. А что тут тоже бьется высоко человеческая струя в земстве без всякого решительно либерального навевания со стороны, то это видно из только что появившегося в газетах рассказа об одном добром русском исправнике, а затем – полицеймейстере. Уж кажется это должность не либеральная, и если исправник и полицеймейстер делает то же, что и земство, то явно – земство делает свое дело не по либерализму, а по живому движению сердца. Недавно умерший г. Я. Яковлев, – рассказывает «Нижегородский Листок», – будучи уездным исправником и затем нижегородским полицеймейстером, все время до 1901 г. состоял почетным блюстителем Борисовского мужского министерского училища. Состоя исправником, он часто посещал школу, каждый раз расспрашивал учителей о нуждах училища, беседовал с детьми и наделял их книжками или лакомствами. Кроме обязательного попечительского взноса, он много жертвовал на нужды училища: на его средства была устроена приличная библиотека и ежегодно устраивалась елка. Будучи полицеймейстером (т. е. в губернском городе), он школы (уездной) не посещал, но жертвовал еще больше, и никогда учитель, по приезде в Нижний, не уходил от попечителя с пустыми руками. Беседуя с учителем, он часто говаривал: «Вот возьмите это детям: я просто неравнодушен к ним». К учителям он относился с любовью и не раз оказывал им нравственную и материальную поддержку. В 1899 году на его средства был устроен Пушкинский праздник. Когда при школе была устроена народная библиотека, он пожертвовал в нее свои книги и журналы. За свое заботливое отношение к опекаемой школе он неоднократно получал награды от министерства народного просвещения и попечителя округа. А после Пушкинского праздника дети-ученики послали ему свою благодарность за его заботливое к ним отношение.

«Я к детям не равнодушен», – вот и все. Вот и все мотивы и обстановка дела. Самое общение с учениками и простое доставление им удовольствия дают столько удовольствия самому дающему, что дело не задерживается, а бежит вперед из развивающихся внутри его побуждений. Тут не надо ни голоса, ни поощрения, ни наград, ни наказаний со стороны. Это вполне органическое дело, так сказать, готовящееся из собственных соков. К великому несчастью, наша крупная школа не сумела пойти по этому органическому пути и застряла между наградою и наказанием, из которых последнего не боятся, а над первым смеются. Но народная наша школа поставлена отлично: стоит она на любви. И это такая у нас редкость, что ради Бога не помещайте ей жить и двигаться по собственным законам жизни, склоняя к себе любовь и дворянина, и земца, и исправника, и чиновника, и мужиков и журналистов. Кого так много любят, тот вырастет высоко.

Кстати, я знаю сельских учителей и учительниц, давно порвавших с учительством (например, через замужество или через переход на другие службы) и которые продолжают состоять членами какой-нибудь крошечной местной кассы учителей и учительниц. Годы учительства ими хранятся в памяти, как некоторый палладиум. Все это недаром. Все это чего-нибудь стоит. Всего этого никак нельзя зачесть со стороны.

ОКОНЧАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

Сколько требовалось времени, врачебных заявлений, и, наконец, учено-педагогического анализа, чтобы, наконец, создать решимость убрать из нашей педагогической системы такую нездоровую подпорку, как переходные экзамены. Они противоречили духу системы, как он официально формулировался хотя бы и в учебной организации гр. Толстого. Официально на флаге системы значилось: «нравственная и умственная зрелость», «гимнастика мышления», «патриотизм и вера». Но вот наступал экзамен: и маленький трусливый зверек, именуемый «учеником», в бессонные ночи, с повышенной от нервности температурой, оторопело подзубривал глагольные исключения, американские города, формулы синусов и тангенсов. Он вмещал из этого, что вместится, в память, а вторую не вмещающуюся в усталую голову половину надписывал с нервной дрожью, с презрением к себе и фатальной необходимостью на ладонь левой руки, на обшлаг сорочки, на узынькую полоску бумажки, которую будет во время экзамена держать под обшлагом сюртука и тайно справляться с нею. Решительно все знали, и лучше кого-нибудь знало учебное начальство, что без обмана экзамена не бывает, и что достаточно убрать хитрости контроля из экзамена, наблюдателей, особую расстановку парт, присылку тем в запечатанных пакетах, и обманет своих экзаменаторов решительно весь состав учеников, решительно в каждом классе, решительно всех гимназий. А так как «флаг учебной системы» только

развевается в воздухе, а никем на уроках не проходится и к сдаче на экзамен не подлежит, напротив — экзамены совершаются ежегодно и приноравливают к себе весь годовой труд каждого ученика, то и выходило, что неодолимою силою своею экзамены уничтожали «дух системы», — конечно, благородный дух, — и оставляли ее или совсем без «духа» или с крайне скверным духом, о котором было бы нехорошо где-нибудь прописать официально. Какой же министр сказал бы и напечатал, что «среднеобразовательные учебные заведения, в виде прогимназий и гимназий, главнейше имеют в виду соделать юношество трусливым, нервным и лживым, первоначально внедряя это невольню, а затем развивая и добровольную склонность к оному». Отсюда возникли так называемые «ученические пороки», с которыми всячески призваны были бороться нижние ярусы учебной организации, напр., бороться с обманом на экзаменах, требуя от учеников «ясной и открытой смелости». Но как невозможно «внушить» человеку не зажмуриваться перед дулом ружья, так невозможно было и ученику внушить предпочтительность остаться на 2-й год в том же классе, нежели поймать ухом несущееся в воздухе подсказыванье. Увы, не только юноши 15 – 17 лет, но и престарелые государственные люди в опасных коллизиях службы «сказываются больными», «подают рапорты о болезни», говорят «знаю», когда не знают, и «видел» и «слышал», когда и не видел и не слышал. История полна рассказами об интригах министров, более «придумчивых» и искусных на более тонкие вещи, нежели преждевременное узнавание гимназистами имеющих быть присланными из округа тем. Маленькое мальчишеское «перлюстрирование» официальных пакетов только вызывает в памяти перлюстрирование неофициальных пакетов, творимое миром с легким сердцем. «Что делать, нужда» — там и здесь. Во всяком случае формулировать и официально одобрить, чем стала школа, гонимая страхом экзаменов, значило бы написать весьма печальную педагогическую страницу. А она была фактом, в своем роде «под облагом проносимую», действующей учебной системы.

Крепкое желание осуществить, наконец, надпись на флаге системы, т. е. сделать образование «зрелым, воспитательным, патриотическим, религиозным», и понудило, наконец, покончить с главным источником зарождения в учениках всяческих имморальных качеств, начиная с дряблости характера и кончая положительным явным обманом. Экзамены держались, потому что предметы курса и самый метод прохождения их, казалось, никак не могут быть внедрены «в души учеников» иначе, как через посредство баллов, и особенно экзаменационных, определяющих судьбу ученика баллов. Как только лозунгом всей образовательной системы сделалось улучшение методов преподавания, улучшение личного учительского состава, замена схоластических предметов преподавания реальными, — так ослабел мотив экзаменов, как исключительного «убежища» и «прибежища» системы. Мы думаем, что отмена экзаменов делается самым могучим рычагом вообще улучшения преподавания: теперь надеяться не на что, кроме как на занятия учителя с учениками в классе, на талант рассказа и объясне-

ния, на способность приохотить учеников быть внимательными на уроках. У самих учителей, мы говорим, нет иных опор деятельности, как в их собственных педагогических талантах, и можно быть уверенным, что отныне всякий учитель не даст заснуть и атрофироваться своему возможному дару или частице дара, но виртуозно разовьет его до возможных пределов. Иные сетуют, зачем началась реформа гимназий. Но только близкие к делу люди знают, каких глубин дезорганизации достигла наша гимназия, казалось бы, в благополучные министерства 80 и 90-х годов.

Отмена экзаменов будет одним из самых важных элементов этой реформы. На самое первое время, на год или два, она, может быть, и разовьет в гимназиях, в силу реакции, некоторый нежелательный дух, проистекающий из неосновательных надежд учеников. Вообще, старые пороки системы отзываются самым неблагоприятным образом и на новых и необходимых преобразованиях. Легко гулять со здоровым; но подите-ка прогуляться с подагриком, расслабленным. А всякая реформа есть движение, стремление, усилие: и она глубоко затруднена с обессиленным болезнью учреждением или существом. Но повторяем, после краткого срока колебаний курс гимназий с почти отмененными экзаменами, без сомнения, пойдет успешнее, чем до сих пор. Станет невыносимым преподаватель, — ибо что же теперь он будет делать, чем заниматься? — который в былую пору умел только задавать уроки и строго экзаменовать. Классные занятия, классные объяснения возрастут, удешевятся у учеников честь и благородное соперничество в приготовлении уроков. Ибо где же, где есть состязание и устранено наказание, это соперничество не развивается? Целый ворох пороков гимназии падет. Наприм., учителя перестанут задавать непосильные уроки, против чего до сих пор не было мер просто потому, что стоило, задав такие уроки, припугнуть учеников, чтобы они «напряглись» и выучили; теперь же никакого смысла в таком задании не будет, ибо ученики выучат именно столько, сколько могут выучить без лихорадки и без бессонной ночи. Ход занятий будет в сентябре не менее прилежен, чем в марте; он будет ровный везде в течение года; и в марте, в апреле не будет того «педагогического пробуждения» гимназической весны, которое до сих пор сказывалось в том, что годовые лентяи протирали глаза, испуганно хватались за учебники ввиду экзамена, зубрили, недозубривали, страдали, болели — и все-таки в заключение «прорваливались» на непосильном испытании из плутовато пройденного в году курса. Но самое главное — исчезнет обман и водворится спокойствие, то спокойствие и та честность занятий, какая присуща домашним занятиям детей, хотя бы приготовляющихся в гимназию, и которая фатально гибла и заменялась ложью на каждом шагу, каждую минуту, как только мальчик переступал порог гимназии.

С другой стороны, родители, зная, что ловля баллов ничему более не помогает и что судьба детей их единственно определяется добровольно серьезностью домашних занятий, приучатся основательно смотреть и бояться, и предупреждать зарождение у детей своих домашней лени, комнат-

ного ничегонеделания, всяческого молодого *far niente**. Учебная забота дома, но забота ровная, без возбуждения, без испуга, без болезни и трусости, выровняет характер русского отрочества и юношества, до последней степени ныне расшатанный, какой создается именно в системе «случайностей», «удач», «смелости в ответе и обмане», этой довольно разбойнической обстановке, какую была вся обстановка экзаменов. Вся Россия им скажет с удовольствием: «Вечная память».

ИНТЕРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

5 марта в 8 час. вечера в зале «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви», находящейся при церкви того же общества, что на Стремянной улице, произошло интересное чтение ректора здешней семинарии, архимандрита Сергия, «Церковь и интеллигенция и возможные пути их единения». Зал с хорами и лестницей на хоры, которая тоже была усеяна народом, вмещал более тысячи слушателей; но среди них я заметил только двух священников, и хотя не столь полное, но тоже отсутствие интеллигенции. Мне кажется, для простолудинов чтение не было достаточно вразумительно, а во многом показалось, я думаю, необычайно и ново. Что касается литературного, ученого и учащегося люда, то, будь перенесено это чтение в зал Кредитного общества и выслушайся тем «полным составом интеллигенции», какое обычно собирается сюда на всякие литературные чтения, и это чтение получило бы все значение события в нашей общественной и умственной жизни. Слушая молодого пылкого монаха, я подумал, до чего нам не нужно ожидать претворения нашего духовенства в католических патеров или протестантских пасторов, а следует только ожидать и «молить Бога» о пробуждении и возбуждении нашего духовенства, без всякой, так сказать, потери его стиля, народного и исторического. После пения нескольких молитв хором – началось чтение. Лектор признал имеющимся налицо факт расхождения интеллигенции и церкви, а необходимость что-либо предпринять здесь – непременно задачу церкви, к сознанию которой приходят не только у нас, но, наприм., и в недавнем послании патриарха Иокима к восточно-христианским богословам указана им эта же задача: как-нибудь сблизиться с образованным культурным классом, с представителями науки и литературы.

Далее лектор, отказавшись отождествлять церковь с духовенством, признал в интеллигенции и в ее нравственной и практической жизни, несомненно движимой христианскими идеалами любви к человеку и человечеству, все признаки живого и подлинного члена церкви, как «тела Христова», и этот член столь же дорог Христу, как и духовно-иерархические частицы церкви. Церковь, как «Тело Христово», в вечном росте, в вечном движении; в нем происходят вечные новообразования. И одним из таковых является интеллигенция.

* безделье (*ит.*).

Обращаясь к причинам холодности интеллигенции не столько к истинам христианским, как к церковному строю, лектор указывал в числе их следующие: недостаточный уровень образования духовенства, недостаточное, в некоторых случаях, его нравственное развитие, выражающееся только в формальном отношении к своему делу, недостатки в самой организации церкви, далекой от того, чтобы являть собою христианскую общину. Но даже и при устранении этих недостатков, более личных и местных, мир и соглашение между интеллигенцией и церковью едва ли бы произошли, ибо есть более глубокие причины их расхождения: именно расхождение самих мирозерцаний. Интеллигенция исповедует только нравственную половину христианства, отвергая его метафизическую главную половину. Здесь лектор с изумительной и трогательной искренностью сказал, что расхождение это столь тягостно, столь первооснованно и, вместе, что пути соглашения здесь и даже взаимного понимания и внимания до такой степени запутаны, что только Божие чудо, а не человеческие усилия может дать ожидаемый и нужный мир. В немногих горячих словах он заметил, что однако такое «чудесное и святое дело делается, начинается, и именно в нашей северной столице». Это – философско-религиозные собрания (лектор – постоянный участник их): здесь люди ссорятся, бранятся, однако же говорят, слушают, тогда как до сих пор единственное отношение интеллигенции к духовенству заключалось в ожидании, когда священник уйдет, а духовенства к интеллигенции – когда эти еретики выйдут. Автор выразил пожелание, чтобы и в других городах России зародились подобные же религиозно-философские собрания и чтобы инициативу в них взяла на себя более подвижная и способная к организации интеллигенция. Здесь мы можем сообщить почетному лектору, что, по дошедшим до нас сведениям, в Харькове и в Ельце уже приступлено к образованию таких собеседований и что они, идя от представителей литературного и судебного мира, нашли себе самую внимательную поддержку в представителях авторитетного духовенства и что переговоры о подобных собраниях ведутся и в Москве.

Продолжаем изложение чтения арх. Сергия. Не найдя пока никаких путей к примирению в мирозерцании интеллигенции и церкви, лектор в горячих словах сказал, что, по крайней мере, есть практический путь этого примирения. Это – наш вырождающийся, темный, несчастный и бедный народ. Автор привел факты, известные только духовенству, что число умирающих во многих деревнях превышает число рождающихся, и что, таким образом, во множестве случаев, деревня прямо вступила на путь вымирания. Школ – сотая доля того, что нужно. Врачебный пункт от иной деревни в расстоянии пятидесяти верст. Духовенство, задавленное требованиями, статистикою, всякою перепискою, мало что может здесь сделать, за редкими исключениями особенно ревнивых пастырей. А интеллигенция, тоже за редкими исключениями, выезжая на дачи, вместо того чтобы в два месяца оглядеться и опознаться и что-нибудь сделать для сердобольно оплакиваемых ею сельчан, тоже ищет, судя по объявлениям в газетах, мест «с охо-

той и рыбной ловлей и прочими удобствами». В работе для народа, тяжелой, черной, интеллигенция и церковь могут сойтись. Могут начать узнавать друг друга. Выработают язык взаимного понимания. Бросят черную подозрительность друг к другу... Очень трудно в кратком resumé передать все картины народного нищенства и темноты, нарисованные лектором; например, из наблюдений его, личных, над обитателями ночлежных домов. Повторяем, произнесенная в другом месте и перед другими слушателями, речь составила бы событие. Великая честь нашему духовенству, что оно не пребыло в гордом отъединении, а с пылом, откровенностью и, что очень важно, оставаясь собственно недвижно в своем мирозерцании, т.е. ни малейше не подаваясь в тоны и оттенки так называемого «либерализма», крепким христианским словом, крепкою священническою рукою начинает взаимодействовать и почти помогать интеллигенции. Слушая удивлявшую меня речь, я все вспоминал покойного Ф. М. Достоевского и думал про себя, каким бы праздником для него было выслушать это чтение, – в зале почти демократической, перед народом почти серым; чтение, исполненное такого братского чувства к нашей тоскующей и чернорабочей интеллигенции, какого, право, не встретишь и у самих интеллигентов во взаимном друг к другу отношении. Первый раз мне пришлось услышать священствующее лицо, говорящее перед лицом народа горячее слово за интеллигенцию. Упомянув выше о наших «дачниках», я переношу в печать запомнившееся слово лектора. Но само собою разумеется, что эти «дачники» обнимают собою только «праздно ликующих», по выражению Некрасова, и не малейше не задевают собственно интеллигенцию, весьма и весьма «труждающуюся и обремененную». Вот на почве-то труда и обременения, нам думается, интеллигенция и лучшие представители церкви и могут вполне сойтись; а начав уважать и понимать друг друга, могут повести речь и о том, что смутно и неясно в церкви для интеллигенции.

В. И. МОДЕСТОВ. ВВЕДЕНИЕ В РИМСКУЮ ИСТОРИЮ

Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начала Рима.
Часть I. С 35 фототип. таблицами. Спб. 1901.
Стр. XV+256+17.

Автор не только лучшего, но и единственного на русском языке курса римской литературы, проф. В.И. Модестов после четверти века перерыва выступил с «Введением» в римскую историю, которое, может статься, перейдет в изложение хода политической истории этого интереснейшего и величайшего народа.

Еще полвека назад Моммзен заявлял в своей «Римской истории», что Италия беднее памятниками доисторической эпохи, нежели какая-либо стра-

на средней Европы. Но со времени образования итальянского королевства, в последние десятилетия XIX века, как преднамеренно археологические раскопки, так и непреднамеренные находки при разного рода технических сооружениях отрыли новый обильный материал, совершенно изменивший это воззрение на начала Италии. В.И. Модестов, с ранних лет лелеявший мысль об исследовании начал Рима, обратив внимание на огромный археологический и палеознтологический материал, накопившийся в Италии в течение последних двух десятилетий, пришел к заключению, что

«Древнейшую историю Рима надо начинать с первых следов появления в долине Тибра человека, чтобы войти в город Ромула не с пустыми руками и не с мифическими и легендарными сказаниями, переданными или отчасти придуманными древними историками и на все лады толкуемыми новыми историками, а с фактами последовательно развивающейся культурной жизни в руках. Таково, – по мнению В.И. Модестова, – и должно быть *новое направление* в разработке древнейшей римской истории. Оно единственно вполне научное и единственно в настоящее время плодотворное. Лишь одно это направление в состоянии поставить предел тому безграничному произволу, с каким эпигоны критической школы, начатой так славно Нибуром и принесшей исторической науке огромные услуги, потеряв всякую реальную почву под ногами, превратили первые столетия римской истории в арену проявления самого необузданного субъективизма, называя его, как бы в насмешку, научной критикой».

Таким образом, В.И. Модестов является не архитектором чужого материала, и еще менее повествователем или компилятором; он вносит в старую, почти древнюю науку новую точку зрения.

Три первые главы настоящего тома посвящены обзору остатков каменного века в Италии; четвертая – бронзовому веку; пятая – появлению и распространению первых арийских пришельцев в Италии; шестая – появлению латинян в долине р.Тибра; седьмая и последняя – первому железному веку в Италии. Орудия из камня, бронзы и железа, могилы и их меняющаяся форма, погребальные сосуды и начатки орнамента и письма на них, лингвистические данные, географические изображения – вот что наполняет большой и серьезный том, о котором мы говорим. Он пока далек от специального римского интереса, ибо занимается человеком в той фазе его роста, где все народы сливаются, как все дети сливаются, пока сосут грудь матери.

Собственно, проф. Модестов совершает, так сказать, земляную работу, исследование и укрепление слоев почвы, в которую будут положены со временем камни фундамента римской истории. Но еще не только эта история не началась в лежащем перед нами томе, но не началась и кладка самого фундамента. Правда, антропологические, этнографические и географические данные он берет, везде имея ввиду подойти к началам Вечного города; от этого труд его отнюдь не есть картина доисторической Италии, а только избранной и специальной ее части, избранных и специальных этнографи-

ческих в ней течений, медленно подходящих к Палатину. Но и в этих специальных течениях мы пока не умеем отличить праотцов римлян, охотившихся на пещерного медведя, от праотцов кривичей и северян, охотившихся на того же медведя.

Resumé труда своего проф. Модестов изложил по-французски. Из превосходно выполненных рисунков на 35-ти таблицах, некоторые представляют археологические находки, впервые публикуемые теперь; таким образом, труд этот есть не только прекраснейший вклад в нашу русскую литературу, но и в европейскую. Будем с нетерпением ждать следующих томов, интерес которых возрастет по мере приближения к подлинному и настоящему Риму.

НЕВИДИМЫЙ МИРОК

Ну, какая, подумаешь, занимательность в корзинке под столом? Старой, неизломанной, но уже начавшей ломаться, куда я, старый и ворчливый литератор, бросаю, скомкав неудачные статьи, обрезки газет, газеты ненужные, и, — да простят мои почтенные знакомые — наименее интересные их письма. Но дело в том, что вместе с письмами в корзинку попадают и конверты, а конверты бывают синие, зеленые, с гербами, без гербов, лиловые, даже розовые. Да, читатель, и в мои старые годы попадают в руку иногда даже розовые конверты, впрочем при письмах самого скромного содержания. Что же вы думаете, из этого вышло?

Возвращаюсь после кофе к письменному столу, к «литературой ляжке», и вижу самый отвратительный хаос: бумаги, утыканые «вплотную» кулаком в корзинку, заняли весь полкабинета, расправленные, рассортированные, в каком-то чертовском, мне вовсе не нужном порядке, кучками, очевидно предназначенными к возврату в корзинку, тогда как другие кучки поменьше, очевидно, предназначены «к уносу». На мой окрик: «Это что такое?!» на меня обертываются трое моих детишек, все девочки (и народилось же) с повелительным: «Погоди папа садиться. Сейчас уберем». Разумеется, я не только не «гожу», но выразительно показываю, что сейчас туфлей ноги уберу под стол не только весь этот хаос гнусных бумаг, но и всех трех девчонок с ними.

— Убирайте все в корзину. Что вы тут делаете?

— Разбираемся.

— Как разбираетесь?

И что же, вы думаете, их заняло всего более? Золотистые бумажные ленточки с пачек новых покупаемых конвертов. Вот вы и судите мир, что кому нравится. Подняв маленькие отобранные кучки, оне все три кричат мне:

— Посмотри папа, какие мы прелести нашли!

Эти «прелести» и заключались в цветных бумажных ленточках, лиловых и всяческих конвертах, которые теперь оказались расправленными и

разглаженными самым тщательным образом и... в счастливых поллистах совершенно чистой бумаги, которую тоже скомкав, иной раз бросишь туда, после неудачного вечернего «бумагомаранья».

– Ты, папа, чистую бумагу бросаешь. Смотри.

И у каждой по S, по j листа в руке.

– Ну, что же?

– Мы будем рисовать!

Но мне окончательно некогда, и энергичным движением ноги я показал им, что через секунду мое место и покой должны быть обеспечены. Действительно, через секунду корзина опять очутилась под столом, бумажек нет на полу, а похитители с маленькими кучками «избранного товара» побежали в детскую.

Для меня это так отвратительно, а их занимает. А еще политики и философы хотят угодить миру.

С тех пор, как мои дети узнали Новую Колхиду с новым Золотым Руном в ней, т.е. неистощимую «корзину» новостей (ибо туда в разное время разное попадает), я потерял кабинетный покой. Впрочем, это случается не чаще раза в неделю. Очевидно, сокровищ корзины они долго не знали и открыли их случайно, как Колумб Америку. Шныряя везде по дому и везде нюхая, они, очевидно, ненароком заглянули как-нибудь и в корзину и были поражены ее содержанием. Теперь, когда я пишу, углублен, пишу о священных цветах (красках) в древних семитических храмах, вдруг около полы халата самое неуловимое движение. В задумчивости и еще мысленном восхищении от цветочной раскрашенности занавесей в скинии Моисеевой, я перевожу взор с чистой бумаги и вижу худенькую свою Танюшу, как она на четвереньках, стараясь не задеть моих ног, пробирается под стол к заветной корзине.

– Ты, худышка, куда?

– Я, папочка, осторожно. Ты сиди. Я не помешаю.

– Да ты чего?

– Я, папочка, оставила в корзине картинку.

– Какую картинку?

– Из «Нов. Вр.», китайца.

Это карикатуры талантливого «Согé». И начто оне им? И куда им китайцев, японцев, императора Вильгельма и всю «колоду карт» современно политики, попадающую под карандаш «Согé»? Но, значит, нужно. Значит, покоряйся. Я принимаю патетический тон.

– Как я люблю вас, дети, а вы меня не жалеете. Папочка устал, папочке некогда, а вы под стол и шуршите около ног. Вам это забава, а мне лишнее утомление.

Лицо ее сморщилось.

Так как я романтик, то раз принял окончательно патетический тон:

– Вот, Танюша, я проживу еще десять лет, не более, и умру.

Она тверда. Я собирался спать после обеда и укладывал на кушетку подушку и тяжелое байковое одеяло, ибо люблю укутываться, как Тарас Бульба.

– Ты не понимаешь, что значит «умру». Папенька станет окончательно старый и «умрет». Его положат в гроб и вынесут из дома.

Она так же тверда.

– Вынесут на кладбище и похоронят, т.е. заруют в землю и я более никогда не вернусь в дом.

Она стояла все так же. Лицо стало ужасно грустное. Недвижимое.

– И вы останетесь одни с мамой.

Я раздевался и вообще приготавливался к сонному комфорту. Ее движения были теперь связанные, без оживления, без веселости.

– Ну, прощай же, Таня.

И я поднял ее на руки. Ей семь лет. Она крепко обвила худыми, как плеточки, ручками около шеи, и прижалась головой к голове.

– Ну, ничего. Десять лет еще долго.

– Не говори этого никогда, папа. Зачем ты это говоришь. Какой ты дурной.

И слегка она ударила меня по голове.

– Ну, теперь затвори дверь и, пожалуйста, потише в детской. А то я все просыпаюсь от вашего крика и потом не могу заснуть.

И я поставил ее на пол.

– Я сейчас, папочка, уйду, только с тобой полежу немножко.

И она уже перекувыркнулась через меня «к стенке», т.е. к спинке кушетки. Я, однако, обернулся в одеяло, а она лежала снаружи. Было то блаженное состояние, когда «ни сон, ни явь». Она проводила ладонью то по лицу, то по волосам.

– Ну, что?

Она тихо плакала. Держа руку на ней, я чувствовал, что тельце ее ужасно сжималось, как бы не в силах чего-то выдохнуть, и все набирало воздуха. Лица я не видел. Было темно, да и я почти спал.

– Ступай же, малюточка. Бог с тобой. Мне пора спать.

Так же легко, как «туда» она перекувыркнулась и «сюда» и стала около головы. Крошечным крестиком она крестила мне щеку. Пальцы чуть-чуть касались кожи.

– Прощай, прощай!

Это говорю я. Она усыпала крестиками плечо, бок, все какими-то маленькими и торопливыми. С какою-то заботой и попечением.

– Хорошо. Вижу, что любишь. Не плачешь?

– Я еще раз только поцелую.

И привскочив и упершись как-то в кушетку, она загнула головку «туда», опять к стенке и крепко, по-мужски, и больно поцеловала меня в губы.

– Совсем больно. Ты мне мешаешь спать.

Дверь скрипнула и притворилась. Легкие шажки простучали по комнатам. В детской послышалась прибавка оживления. Но физиология брала свое, и Морфей унес меня в свои владения.

И кто же? Детишки же открыли мне, что я стар. Мне это в голову никогда не приходило. У меня почти нет седых волос. Только раз, играя утром в вос-

кресенье с ними, я прилег на ковер и мне села на бок 4-летняя Варвара, самая из всех тяжелая девчонка, как чугунная трамбовка. Все над ее крепостью у нас смеются, а на руки ее поднять положительно неприятно по тяжести. Вот она сидит. Я, чтобы передохнуть в игре, закрыл глаза, притворился, что ли «мертвым». Только слышу осторожный и самый тихий шепот над ухом.

– Сойди, Варя. Папе тяжело. Ведь папенька у нас старенький.

Мне даже обидно стало. Серьезно – обидно. Никто меня таким не считает. И какие признаки?! Мне стало обидно и грустно.

– Ах, какие вы смешные! Да почему же вы знаете, что я старенький? И что такое старенький?! Что вы про это знаете?

Мне было смешно и грустно. Конечно, отцу радостно, что дети такие сообразительные, но человеку все-таки грустно, что он теперь стар. Но этот их шепот до странности запоминался, и я с него считаю начало своей старости.

О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ГИМНАЗИЯХ

Опубликованные результаты занятий подкомиссии под председательством г. Анрепа касательно физического воспитания в гимназиях не имеют пока характера определенных и твердых норм, предлежащих к исполнению, но предположения, в ней высказанные, все же станут руководственными при установлении окончательных норм. Новым является здесь введение ручного труда и фехтовального искусства. Все виды прочих эстетических и физических упражнений, как-то: пение, музыка, танцы, гимнастика существовали и прежде, но существовали или слишком в зачаточной форме, или в форме более или менее случайной. Все зависело от предрасположенности или непредрасположенности директора гимназии, который мог или устроить гимнастический церковный хор, или не устраивать его; мог ввести танцы или не вводить их. Обучение музыке почти вовсе отсутствовало. Комиссия г. Анрепа и взгляды, ею высказанные, без сомнения, дадут толчок всем учебным заведениям в сторону положительного развития как физических, так и эстетических упражнений учеников. Может быть, много личных добрых порывов директоров гимназий и отдельных преподавателей, которые не знали, предпринимают ли они что-то одобрительное или неодобрительное в глазах высшего начальства, завода, например, занятия музыкою, устраивая гимназические оркестры и хоры, – теперь развернуться свободно, когда сверху сделано определенное и решительное указание. Рекомендуемое теперь устройство в гимназиях вокально-музыкальных вечеров, с присутствием на них родителей и родственников учеников, внесет, несомненно, в жизнь школы много оживления и дружеского товарищества. Создав центр удовольствий в самой гимназии, ученические хоры, оркестры и вечера будут способствовать развитию, так сказать, школьного патриотизма, привязанности учеников к своему училищу. Это очень важно. Школьная «учеба» до сих пор отли-

чалась у нас таким меланхолическим, унылым характером, до такой степени действовала только в сторону утомления, а не оживления, что ученики поневоле искали этих оживлений, развлечений и удовольствий на стороне, и нужно ли объяснять, как часто они наталкивались в этих поисках на что-нибудь недоброкачественное, грубое и вредное. Давно пора было сделать школу не только поприщем умственного, учебного труда, но и некоторого, хоть в небольших и скромных размерах, ареною удовольствий. А собираясь на вокально-музыкальные вечера, к которым можно прибавить и выразительное, артистическое чтение прозы и стихотворений учениками, родители и родственники учеников, т.е. образованное общество маленького провинциального города, будут и взаимно знакомится и спланиваться на наилучшей почве интересов, какую можно придумать. Таким образом, эта сторона реформы учебных заведений заденет не одну школу, но и жизнь общества.

Все артистическое, в том числе даже и ручной труд, нам думается, может быть введено не как строгий и сухой урок, а как занятие, к которому свободно причаются ученики под эластическим воздействием начальства и наставников. Всякий вид муштровки едва ли был бы здесь уместен. Работа на верстаке, будь она принудительна, станет противна, как арестантский труд. Напротив, избранная самостоятельно, она сделается для ученика любимым отдыхом от теоретических умственных занятий другими предметами гимназического курса. В этом отношении, пожалуй, можно порадоваться, что повсеместное и регулярное введение ручного труда, пока признано невозможным в гимназиях по недостатку помещений в них и средств для приобретения коллекций инструментов. Но в высшей степени желательно, чтобы это не было понято начальством учебных заведений, как намек на дозволение ничего не предпринимать в данной сфере. Нет, предпринимать нужно, и Петербург должен последить за этой новизною в провинции.

Очень важна в новых предположениях самостоятельная установка гимназического врача в педагогическом совете гимназии, с предоставлением ему инициативы в устройении и в контроле физических упражнений учеников. Жизнь учебного заведения так много часов в сутки вбирает в себя, что вся гигиеническая сторона как времяпровождения в ней, так и специальных упражнений не может быть оставлена без постоянного врачебного надзора. Развилась целая «школьные болезни», неизвестные вне школы или, главным образом, обязанные своим происхождением школе. На зло это давно неслись жалобы, и хорошо, что хоть поздно, но оне, наконец, услышаны.

КРИТИКА УСТАВА О СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ

Интересное чтение г. Лазаревского в юридическом обществе касательно законопроекта о новом уставе о гражданской службе подтвердило учеными устами перед специалистами-слушателями то тусклое и неясное впечатление от него, о каком весною 1901г., когда получилась первая возможность

ознакомления с законопроектом, печати пришлось дать отчет о нем обществу неспециалистов. Действительно, ни в духе законопроекта, ни в строе службы нет, собственно, никаких перемен сравнительно с тем, что было раньше. При всех усилиях воображения и соображения, невозможно было нарисовать себе сколько-нибудь отчетливую картину новых рядов наших служебных ведомств: представлялись те же самые ряды, какие есть и сейчас, с выпавшими наименованиями коллежского советника, коллежского асессора, но с оставленными наименованиями надворного советника, статского советника и проч. Что-то было сделано, но такое незаметное, что при чтении законопроекта, при всех усилиях с чем-нибудь поздравить Россию и общество, не находилось никакой пищи для поздравления. Г. Лазаревский своевременно напомнил, что необходимость преобразовать и освежить порядок гражданской службы уже озабочивала высшее правительство в царствование императора Николая. Но прошла вся эпоха реформ, а порядок гражданской нашей службы остался все тот же. Семьдесят пять лет мы ждали этих новых законов, и вот, наконец, выработан проект,— говорит г. Лазаревский, который, по его же критическому обозрению, «не приносит ничего нового».

К сожалению, перед лицом ученого собрания ученый представитель науки ограничился одною отрицательною критикою, не высказав чего-нибудь положительного. Между тем, эта положительная сторона желаемых перемен в уставе о службе гражданской ясно намечается, если разделить вопрос о ней на два: о чиновнике и об обывателе. Слабая сторона законопроекта заключается в том, что он занят единственно чиновником и нисколько не занимается обывателем. Чиновничество, таким образом, является какою-то самодовлеющею сферою, вполне удовлетворенною механизмом своей работы, но не озабоченною или озабоченною мало вопросом, как же эта работа отзывается на бесчисленных делах России, на бесчисленных частных русских интересах, которые все так или иначе, в большей или меньшей степени зависимы от строя и делопроизводства наших департаментов. Медленность и запутанность наших гражданских делопроизводств составляет застарелую их язву. Ничто их не уторопляет, и обывателю остается совершенно неясным, чем и кто может их уторопить. Остается «просить», но на всякое прошение есть «отказ». В переговорах между «делопроизводстами» по какому-нибудь частному и иногда ничтожному вопросу самое простое «да» или «нет» разрастается в писание отношений. Бумага составляет одним, просматривается другим, скрепляется третьим. Все это родит умопомрачительные кипы исписанной бумаги, в которых почти теряется невидимое зернышко живого дела. Вот что удручает обывателя, представителя живого дела, в то же время вполне удовлетворяя чиновника довольно стройным, хотя и тихим течением «бумаг».

В последние тридцать лет в России необозримо выросли во всех областях, технических, художественных, денежных и проч., огромные частные

предприятия. Можно вообще заметить, что «дела» быстрее текут здесь и скорее удовлетворяют своих «клиентов», кто бы они ни были, люди ли физического или умственного труда, грубых или утонченных профессий. Ни одно частное «делопроизводство» не будет игнорировать обывателя по той простой причине, что в процветании своем зависит от него. Недостаток нашей гражданской службы главнейше состоит в том, что в ней процветание деятелей, т.е. чиновников, всяческие их чины, награды, выслуга, ордена, пенсии и пр., не связаны чуткою связью с процветанием самого ведомства, которое может быть весьма соинным, инертным. Сложились поговорки, весьма мало лестные для русских служащих людей, и сложились они именно в тех местах гражданской службы, будучи неизвестны нигде в другом месте, напр., «дело не медведь, в лес не убежит». Сколько нужно застарелой лени, чисто восточной халатности, чтобы сложить такой афоризм, помириться с ним, а, наконец, и полюбить его.

Нам думается, что, преобразовывая «гражданскую службу» очень и очень многому можно бы научиться, заглянув и всмотревшись в приемы работы и «службы» в частных предприятиях; в мотивы и побуждения, какие употребительны здесь; в приемы ускорения всех дел, в способы удовлетворения обывателя и клиента. Всякий хорошо и главное быстро работающий департамент по своему влиянию на дела страны вполне равен процветанию целого уезда русского, а, пожалуй, даже и губернии русской. Дело это необыкновенной важности, и грустно, что оно сделано так неудовлетворительно.

ПРОБЕЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О СЕМЬЕ

Легенды вырастают там, где нет определенной и твердой почвы. И еще они растут там, где есть ожидания, пожелания, и есть для них отпор. Выдача крестьянкам отдельных видов на жительство местными административными властями помимо согласия их мужей, опирающаяся на известное разъяснение Сената, встретило при самом же своем начале резкую недоброжелательную критику в «Моск. Вед.», которые усмотрели в таком ограничении прав мужа посягание на авторитет и ценность семейного старинного уклада. К резкой критике даниной меры присоединяется довольно естественное удивление, почему крестьянки пользуются привилегиею, недостаток которой отражается слезами и иногда кровью в других сословиях.

Редкий день газетная хроника не регистрирует случаев бесчеловечия в семье. Но в то же время как права родителей, в случаях жестокого их обращения с детьми, ограничиваются или даже вовсе кассируются законом и администрацией, и никто не видит в этом посягательств на «святость семьи», права мужа не ограничиваются ни по каким причинам и никакою мерою жестокости в обращении с женою, грубости, а также беспутства,

лени и праздношатайства, и он не выходит из законодательной нормы семьи. Удивительно, почему лишить родителей права на детей не значит потрясти авторитет родительской власти; а лишить мужа, иногда почти безумного, нравственно больного, прав на разумную и нравственную женщину – значит потрясти авторитет мужниной власти. Казалось бы, авторитет родителей никак не ниже авторитета мужа. Но тут явная беззащитность детей, и, наконец, представление о их невинности пробудило сострадание общества и закона, которое устранило колебания.

Нужно ли однако припоминать знаменитые литературные произведения и, наконец, всем известную будничную практику, что жена в руках мужа, если им случится быть человеку хитрому, жестокому и ненавидящему жену, бывает еще печальнее и беззащитнее положения ребенка. Случаев детоубийства почти нет, а женоубийства – часты. Неужели неизвестны никому случаи, что муж, влюбляясь в другую женщину и желая на ней жениться, отделяется от жены, изводит ее, и что побои и истязания есть только замаскированная форма убийства. И неужели мы будем защищать это хроническое и медленное женоубийство, как охранение авторитета мужа?

Между тем закон, давший привилегию крестьянкам – пожаловаться и получить отдельный вид на жительство, и обошедший другие сословия, и именно городские, наиболее грубые, жестокие, корыстные, нервно-расшатанные, тем самым молчаливо допускает таковые отношения к женщине. Ребенок никогда не может стоять поперек родительского счастья. Убить или извести его никогда не может быть расчета. Между тем жена, стоящая поперек проектированного «счастья» изверга-мужа, есть крайне возможное явление, есть явление действительное. И кто же защитит ее, когда родителей нет, когда они далеко, когда жена запугана до парализованности? Кто не знает случаев, правда, редких, многолетнего одиночного заключения жен мужьями в комнату на замок без права выезда и выхода? Все это на глазах у всех, на памяти у всех. И вполне удивительно, что закон как будто не предвидит этих коллизий и судит все *post hoc*, а не *ante hoc**

Вот почему добрая мера относительно крестьянок-жен должна бы из привилегии превратиться в общий закон, имеющий равно под своим покровительством все сословия. Тогда гипотеза перешла бы в факт и около него не нарастало бы легенд. Взгляд государства ясно бы выразился, что жена дается мужу для любви и уважения, а муж есть покровитель ее, защитник. И что раз это эта норма с которой-нибудь стороны нарушается самими супругами, между ними появляется государство, и судят, собственно, не супругов, ибо какое же тут остается супружество, а сожителей. Можно быть уверенным, что это вмешательство государства заставляло бы очнуться наших распушенных мужей и жен и сознать, что семья есть святая территория, имеющая определенные границы.

* после этого, а не раньше этого (*лат.*).

< ПОХОРОНЫ Д. С. СИПЯГИНА >

Сегодня состоялись похороны Д.С. Сипягина. Вторично после смерти покойного Н.П. Боголепова общество русское потрясено известием о насильственной смерти министра. И как тогда, так и теперь мы не можем не выразить ужаса перед пролившеюся кровью. Общественное чувство всего цивилизованного мира давно добивается в законодательствах Европы уничтожения смертной казни, ответственности кровью. Но то, что общество желает добиться от законов, оно не сумело или не смогло добиться от себя и от своих, — и все еще находятся одиноличные личности, для которых как бы не существует этого запрета на кровь. Жизнь, как дар Провидения, должна быть поставлена выше всяких человеческих соображений, предначертанных мотивов, оценок. Всевозможные коллизии между людьми должны происходить при условии, что они не затрагивают жизнь человека. Вот почему как смерть покойного Н. П. Боголепова, так и смерть министра внутренних дел мы рассматриваем как возвращение к духовному варварству, в котором смешиваются и перепутываются самые достоверные положения ума и самые непререкаемые требования сердца.

Это варварство возвращает нас к средневековым тайным судилищам, к суду Линча, к католической инквизиции. Возвращает к моментам истории, которые внушают ужас и отвращение, и если бы самому обществу пришлось вновь испытать их, оно не потерпело бы их и минуты. Общество тогда только останется на высоте своей, если строжайшим образом разделило деятельность человека и жизнь его и на все случаи, во всех коллизиях жизнь человека возьмет под эгиду своего охранения, давая отпор всяким попыткам покунуться на нее. Общество есть нравственный судья и может быть только им.

О ВИЗИТАХ

С визитами у каждого, вероятно, связывается впечатление чего-то надоедливой, праздного и вместе утомительного, бессмысленного. Новый год и Пасха, два такие выдающиеся праздника, особенно последний, проводятся визитерами в такой толчее, сумбуре, в таком калейдоскопе впечатлений, от которого к вечеру человек и душой и телом деревенеет. Наконец, первый день года и самый торжественный праздник веры проводятся в сплошной лжи, пустомельстве. Говорят маленькие любезности и в них, конечно, не заботятся о правде. Таким образом, ненужность, бессмыслица, и, наконец, развращенность визитерства создала всеобщее почти движение — отменить визиты.

Но тут люди стали ломаться. Визитерство связано с небольшими расходами на извозчика, и дабы кто-нибудь не подумал, что человек отказывается делать визиты из скупости, стали заменять их чем-нибудь благотворительным. Наконец, стали условливаться встречать Новый год или Пасху

где-нибудь вместе. Напр., в телеграмме от 8 апреля сообщалось из Радома, что «по инициативе губернатора устраивается в первый день Пасхи собрание русского общества в местном клубе для принесения друг другу поздравлений взамен визитов». Ясно, что от визитов всем хочется отвязаться, но как-то стесняются это сделать.

В былое время, когда я служил на государственной службе, визиты были положительно несноснейшим делом. Из семьи, которую любишь, выезжаешь с утра, чтобы поехать к людям, которые до тошноты надоели и в обыкновенное время. Вообще визитерам ни малейше не хочется «видеть друг друга». Дела никакого делать во время визитерства нельзя, а сердечной связи или домашнего, запросто отношения с ними никакого нет. Надо открыто и всеобще признаться, что служебные визиты, т.е. все визиты в мире чиновничества, есть застарелая, архаическая и чрезвычайно смешная форма маленького угодничества и лести, маленького раболовения со стороны низших служащих, а со стороны высших есть проявление неумного чванства и щекотания самолюбия властелина. Я помню из лет моей службы, одну смелую неумного начальника умным: в первый же день вступления в должность он отдал приказание о неделании ему визитов. И замечательно, что весь мелкий мир чиновничества сразу почувствовал к нему за это уважение, — уважение и еще некоторый должностной, служебный страх. Все поняли, что он жалеет чиновника, не хочет его унижать и в лести от него не нуждается. «Значит, будет службу требовать», — без труда догадались чиновники. Так и вышло.

Визиты служащих к начальству следовало бы торжественно отменить по всей России одним приказом, без всякой замены благотворительностью, съездами, встречами и т.п. Ибо чиновник часто есть очень мало имущий человек, и ему не для чего ни одного рубля отнимать у своего дома, чтобы выбрасывать на благотворительность или на шампанское «встречи».

Остаются визиты людей, связанных домами, семейно. Следует заметить, что визиты не столько делаются хозяину дома, который сам делает визиты и поэтому никто его дома не застаёт, а хозяйке дома. Здесь включен второй, после угождения служебному чванству, импульс визитов. Он лежит в самолюбивых и шумящих инстинктах женщины, которой нравится увидеть перед собою два раза в году проходящую амфиладу кавалеров, то старых и почтенных, то молодых и привлекательных, которые ее приветствуют, во множестве подходят к ней к ручке, говорят любезности, которые приятны и тогда, когда только правдоподобны. Обе гоголевские барыни, «просто приятная» и «приятная во всех отношениях», ни за что в свете не расстались бы с визитами. Но мне кажется, что русская женщина чрезвычайно посерьезнела за последние десятилетия. Она развилась, многому научилась, везде приурочилась к делу. И подобно тому, как многие умные начальники «отдают приказ» не делать им визитов, умные русские женщины, Бог даст, начнут уговаривать, и мило уговаривать, тоже не делать им на следующий год визитов. И если оне станут это делать не только кокетни-

чая, т.е. как гоголевская же барынька, говорившая: «Я сперва его оттолкну, а потом привлеку», а вполне серьезно, как новая русская женщина, то оне всего скорее и всего сильнее подействуют на устранение нелепого и вредного во всех отношениях обычая.

Праздник, первый день Нового года и первый день Пасхи, должен проводиться, безусловно, каждым у себя дома. Каждый должен «делать визит», но долгий, на целые сутки, своим собственным домочадцам. Это всего приличнее, всего более соответствует солидности человека.

Но неужели же так-таки ничего нет доброго в визитах?

Есть. Это – гуманность.

А что вы скажете о старенькой-старенькой старушке, вашей далекой родственнице, которая уже и не ждет, чтобы все ее вспомнили среди ваших больших дел, пылких предприятий, тщеславных затей; среди молодежи, удовольствий, театров, концертов, но которой чрезвычайно отраднo хотя два раза в году убедиться, что вы ее не окончательно забыли, а только *при*-забыли, и что в вас сердце легкомысленное, а не злое? Вот, я думаю, единственная форма визитов, вполне нравственных, безусловно серьезных, которая безусловно же предложит к сохранению. Что господа, бесконечно друг другу надоевшие, соберутся в первый день Пасхи или в Новый год выпить шампанского или сболтнуть друг другу какую-нибудь глупость, – это едва ли кому-нибудь нужно. Визиты в большом масштабе и к большим людям или к товарищам, вообще визиты ежедневно выдающихся друг с другом господ, надо просто бросить, как изношенную вещь, как старый Петрушкин кафтан, как обычай еще гоголевских героев. И вынести из этого дрянного обычая черту новую и вечную по смыслу: не забывать далекого «ближнего», не забывать хорошего и милого человека, особенно слабого, преимущественно бедного. И вот такого во второй, в третий, в четвертый день Пасхи – посетить. Да и не только посетить, а привезти ему маленький подарочек, но утилитарный, чтобы это легло хорошо и удобно на старые и слабые кости.

Таким образом, два раза в году люди как бы оглядывались друг на друга, но именно на наиболее далеко стоящих, с которыми нет никаких деловых связей или связей удовольствия, а посему и свиданий тоже нет, знакомства мало, оно гаснет, не твердо, а между тем далекому человеку оно или нужно, или просто приятно.

Ничего нет грустнее в праздник, в день торжества и шума всей страны, день какого-то народного ликования, как вспомнить: «И у меня были родные, но близкие – умерли, дальние – забыли; и друзья были – да все рассеялись, а я сижу один, жую свой кулич; многих я помню, но никто меня не помнит, и всем теперь веселее, чем мне». Не дай Бог никакому человеку таких мыслей. И вот разгладить эту морщинку на лбу одного-двух-трех-десяти человек, не больше, никогда не больше, почти всегда меньше – значит сделать нечто лучшее, чем выпить шампанского на «собрании», внести три рубля в Красный Крест, или оказать любезность сорока уводящим чиновникам.

Итак:

- 1) Визиты следует вовсе бросить.
- 2) Первый день праздника – недвижимость и покой страны, маленькие семейные удовольствия у каждого.
- 3) В последующие дни праздника неторопливые и незаметные визиты дальним родственникам и очень старинным друзьям и товарищам, связь с которыми почти потеряна.

<10-е РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ СОБРАНИЕ>

В четверг, 18 апреля в зале Географического общества было 10-е религиозно-философское собрание. Читался доклад Д. С. Мережковского «Гоголь и о.Матвей». В последовавших затем прениях приняли участие: Ф. Н. Белявский, А. В. Карташов, В. А. Тернавцев, Д. В.Философов, свящ. И. Ф. Филевский, В.М. Скворцов, свящ. М.А. Лисицын, епископ Сергей, свящ. И. Ф. Альбов, Вл.В. Успенский, свящ. Ив. Фед. Егоров, архимандрит Антонин и В. П. Протейкинский. Вследствие неразработанности и новизны темы и отсутствия ясного ее решения, участникам предложено подготовиться к более точным и решительным ответам на вопросы, прямо или косвенно поставленные в докладе: об отношении религии к культуре, церкви к светской жизни, Евангелия к миру, духа к плоти и т.д., что все обнимается конкретным случаем идейного столкновения между замечательным священником и великим писателем.

<РЕЧЬ Г.Э. ЗЕНГЕРА>

Печатаемая у нас сегодня речь управляющего министерством народного просвещения чинам вверенного ему ведомства есть в то же время первое слово, которое от него слышит общество по предмету, в котором оно слишком заинтересованно через судьбу своих детей. В общих чертах речь эта устанавливает положение вещей и ближайшие намерения министерства, как их, в сущности, и можно было предвидеть. Преобразовательные движения обоих предшествовавших министров менее всего вытекали из их личных пожеланий, а были совершенны во исполнение Высочайше выраженных предначертаний, в которых удрученные прежней школой родители увидели справедливо зарю педагогического обновления школы. С тем вместе в период деятельности обоих министерств почувствовалось, до чего трудны реформы в педагогической сфере, куда примыкают интересы столь сложные, впечатлительные и разнообразные до противоположности. Нужды родителей, способности учеников, задачи и требования университетской науки, практические и теоретические соображения – все предстояло принять во

внимание. Тридцатилетнее отсутствие всякого движения и улучшения в школе вызвало, пожалуй, слишком поспешное движение, как только оно стало вообще возможно. Таково последствие всякого застоя, сказавшееся теперь в сфере, где всякая нетвердость будущего или решительная ломка настоящего вызывает замешательство, более чем когда-нибудь неудобное. Последние годы нашей учебной жизни прошли тревожно, но вся сумма этой тревоги должна быть положена на счеты предшествующего застоя. Со своей стороны министерство самоотверженно и напряженно работало, призывая к совету и практическим разъяснениям людей не только из состава ближайших к центру учреждений, но и из далекой провинции. Таковы в особенности были комиссии, работавшие под руководством Н. П. Боголепова и К. П. Яновского, из которых в первой заседали представители разных ведомств, заседали непосредственные руководители школ и мнения высказывались и обсуждались вполне свободно. «Опрос сведущих людей» – прием, давно существовавший во всех министерствах, наконец был применен и в министерстве народного просвещения, которое дотоле работало исключительно центральными органами.

В речи своей Г. Э. Зенгер признал «богатым и ценным» тот материал, который был собран в этих комиссиях, равно как и в комиссиях, работавших уже в министерство генерал-адъютанта П. С. Ванновского. Можно сказать, никогда за все время своего существования министерство народного просвещения не работало так энергично и над таким множеством педагогических вопросов, как в эти последние три года. Однако в комиссиях создавался именно только «материал», большую часть критического характера. Организационная работа по самому существу своему, как работа установления планов преподавания, согласования и распределения мелочей, может вестись только привычными и предназначенными к подобной работе собственными органами министерства, каковы ученый комитет министерства и совет министра. Общество может однако надеяться, – и в Высочайших предначертаниях за эти три года имеет почву для такой надежды, – что и ученый комитет, и совет министра примут к достаточному вниманию критическую работу комиссий, и не оставят в недвижимом положении то, что собственно находилось в министерстве Толстого и Делянова в невозможном, трудно переносимом, положении.

В речи управляющего министерством ничего не говорится, что начатая реформа будет остановлена, а если она пойдет ровнее и успокоеннее, чем в предыдущие три года, то через это она только выиграет в твердости и обдуманности.

Г. Э. Зенгер призывает своих сотрудников «к уважению чужих мнений», к обереганию себя от «высокомерия и односторонности». В самом деле, всякий фанатизм личного убеждения, глухо отмахивающийся от чужих нужд, требований, взглядов, был бы до последней степени неуместен в деле, где человек не о себе и не для себя думает, а для миллиона чужих самых чутких интересов.

В заключение скажем то, что вправе сказать от имени общества. Общество заинтересовано, чтобы у нас была гуманная школа, с хорошим составом учителей, с искусным выбором учебников, школа не мертвая, не механическая, и это гораздо для родителей важнее, чем собственно определение «системы» образования.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ

Собрание 2-го мая было XI и последним в текущем семестре и окончилось теплым и дружелюбным прощанием участников и гостей. Учредители и ближайšie его участники обратились к представителю в собраниях со стороны церкви, ректору С.-Петербургской духовной академии епископу Сергию, со следующим словом, прочитанным секретарем и вместе деятельнейшим членом собраний Е. А. Егоровым.

«Прерывая на летние месяцы религиозно-философские собрания, члены-учредители и вообще ближайšie деятели собраний не могут, повинуясь самому живому движению сердца, не обратиться к своему председателю, к вам, владыко, с чувством горячей благодарности. Душевные качества ваши почтили на собраниях и определили счастливый и совершенно неожиданный успех их. На второе и первое, особенно на первое собрание, мы, интеллигенция, собирались с самым неясным настроением души и не знали, возможно ли и нужно ли будет собираться после двух – трех встреч представителей церкви и общества. Ожидалось недоумение, раздражение, непонимание; ожидалась даже злоба. Об этом переговаривалось в интимных кружках писателей и светского общества. Но уже после 2-го же заседания вся литературная часть собраний почувствовала, что дело установилось, что оно крепко, и что самн собою ни представители церкви, ни представители общества не разойдутся. Ваше преосвященство из груди своей извели прекрасную погоду и установили ее над собраниями, в которых все пошло весело, счастливо, радостно, успешно, при всей терпимости обсуждаемых тем. Вы научили всех, не словом, а примером, не искать своего, не убивать чужого, а радеть одной истине. Вы установили деликатность в отношении всех ко всем и терпимость к слову, какую напрасно было бы где-нибудь искать, кроме наших собраний. Как христианин и абсолютно в себе уверенный человек, вы показали, что никто не может так широко простереть крылья любви и свободы, как хранительница абсолютных истин, непоколебимая и вечная Церковь. Поистине, многие в интеллигенции увидели из вашего способа действий впервые блистание внутреннего света церковного. И еще недавние раздраженные чувства многих улеглись. Все расходятся ныне с большим миром в душе, чем с каким сошлись. Миротворная роль собраний бьет в глаза; а мы, спорщики, чувствуем это непосредственно в душах наших. Не иерарха-властелина показали вы нам в себе, а как бы мудреца первых времен хри-

стианства, терпеливо взявшего на себя бремя поздних недоумений и взаимного непонимания. Перед вашим лицом, под давлением вашего обращения должно было замереть самолюбие, и заиграли чистые умственные интересы. Все хотели больше слушать, чем говорить. Установилось внимание, и всякий поворот мысли у спорящих сторон следился всеми присутствовавшими с глубоким душевным напряжением. Благодаря вас за эти заслуги, мы предлагаем и всем присутствовавшим встать и выразить признательность епископу за ту высокую душу его, которую, выражаясь языком церкви, он дал нам в «снедь сладкую» и растворил ею то горькое, а иногда и гневливое, с чем мы первоначально собрались сюда».

Выслушав эту речь, епископ Сергей в ответной речи отклонял ему приписанные заслуги и выразил свое отношение к собраниям. Затем от имени всех гостей-посетителей встал и поблагодарил учредителей собраний Юр. Ник. Милютин. Г. Скворцов предложил присутствовавшим попросить председателя, епископа Сергея, не отказаться передать глубокую признательность от имени всех участников и посетителей высокопреосвященному митрополиту Антонию, без высокого покровительства которого собрания не могли бы ни возникнуть, ни продолжаться. Все живо заволновались и усердно просили епископа Сергея передать владыке-митрополиту горячую от общего имени благодарность, тут же припомнив, что первое и еще малочисленное собрание было в покоех митрополита и там же, при его благоприствании, была установлена основная точка зрения на независимость прений и безопасность высказываемой мысли. Все это действительно и осуществилось, и трудно передать одушевление всех присутствовавших, которые воочию в течении 11 собраний имели случай убедиться в полной действительно нестесненности мысли и теперь издали несли свои благодарности высоким воззрениям первенствующего иерарха России, давшим всему этому осуществиться. Вслед за этим постоянный посетитель собраний В. П. Протейкинский предложил присутствующим попросить В. М. Скворцова передать аналогичную благодарность другому покровителю собраний, обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву, без содействия которого также не могли бы установиться эти собрания. И это было принято присутствовавшими с живым чувством и многие благодарили самого г. Скворцова, между прочим и за то, что на собраниях ему пришлось не только отвлеченно, но и конкретно и лично услышать для себя много большого, тяжелого, упрекающего, и он принял это мужественно и философски, и сам совершенно вошел в дух собраний, став живым и искренним их участником. Можно сказать, что установление истинного воззрения на сектанство и на задачи миссии было одною из крупных заслуг собраний. «Сила сама перевозомогает; а в содействии мер человеческих нуждается только *бессилие*» (т.е. не божие). Таков был итог трех собраний по вопросу о свободе совести.

Переходя к этим итогам, мы должны заметить, что в 11 были преемственно обсуждены доклады: 1) «Церковь и интеллигенция» В. А. Тернав-

цева, с приходившим сюда докладом Д. В. Философова: «Аскетический идеал в отношении к миру»; 2) «Об основном идеале церкви, о благодати и о священстве» В. В. Розанова; 3) «Толстой и русская церковь» и «Гоголь и отец Матвей» Мережковского; 4) «К характеристике общественных мнений по вопросу о свободе совести» кн. С. М. Волконского с приходившим сюда анонимным докладом, прочитанным от имени одной просвещенной женщины священником И. Ф. Альбовым. За исключением доклада кн. Волконского, все остальные, в сущности, имели одну тему: уловление истинного отношения христианства – церкви – духовенства к природе – культуре – человеку и о том, совпадает ли христианство с аскетизмом, и если да, то вечно ли и принципиально ли это, или это есть случай и отклонение. Невозможно в кратком resumé передать бесчисленные разветвления мысли, так сказать, потоки света, которые бегут как от самой постановки этой темы, так и от малейшего поворота в ее решении. Главный недостаток прений, особенно чувствовавшийся интеллигенцией, заключался в неопределенности ответов, и добиться определенности и мотивированности – в этом был метод и воспитательная заслуга собраний. Мало-помалу в них вошла вся молодая половина С.-Петербургской духовной академии: профессор Д. И. Абрамович (история русской литературы), А. И. Бриллиантов (общая церковная история), А. В. Карташов (история русской церкви), П. М. Ласкеев (русская литература), П. И. Лепорский (догматическое богословие), П. П. Лебедев (философия), Н. К. Никольский (история и теория проповеди), Т. А. Налимов (патристика), А. П. Рождественский (Ветхий Завет), П. С. Смирнов (история раскола), И. П. Соколов (западные исповедания), В. В. Успенский (педагогика); затем помощники инспектора и библиотекари – г. Белявский, В. М. Верюжский, В. А. Мартинсон, И. И. Бриллиантов, А. П. Дьяконов. Из маститых представителей профессуры и вообще науки самое деятельное участие в собраниях принимали протопресвитер И. Л. Янышев и С. А. Соллертинский. От Петербургской духовной семинарии – ректор ее архимандрит Сергей и преподаватель догматического богословия И. П. Щербов. Собрания имели посетителями членов университета, Академии художеств и Военно-Медицинской академии: проф. Н. П. Кондакова, Вл. Ив. Ламанского, Ал. Ив. Лебедева, И. Е. Репина, А. И. Соболевского, художника Л. С. Бакста и А. Н. Бенуа, редакторов журналов В. П. Гайдебурова, С. П. Дягилева, В. С. Миролюбова, В. М. Скворцова, К. К. Случевского. Среди посетителей-гостей преобладали чиновники, военные, технических служб, моряки и врачи – обычно с их семьями. Ректор С.-Петерб. духовн. академии епископ Сергей нашел полезным ввести в собрание 10 – 15 лучших студентов вверенной ему академии. Собраниям было очень приятно увидеть у себя хотя и редкими посетителями временно приезжавших в Петербург священников-провинциалов: И. Ф. Егорова из Юрьева (Дерпта), преподавателя гимназии, и И. И. Филевского из Харькова, преподавателя коммерческого училища. Этот состав заставлял думать, что рассуждения, которым отдавали себя собрания, были разнообразны, серьезны и занима-

тельны. В сущности, собрания не могли бы устроиться или существовали бы искусственно, если бы они возникли не из назревших вопросов, и притом таких, на которые интеллигенция привыкла давать одни ответы, а представители церкви – другие. Таким образом, пища для собраний была уже готова. Все главные участники собрались сюда с чрезвычайно разгоряченными и упорными мнениями, с доводами, в сущности, уже готовыми, с мисосозерцанием установившимся; и прения поэтому и потекли пламенно и регулярно, что они вовсе не формировались на собраниях, а, так сказать, обтачивались взаимными столкновениями до совершенной точности, до готовности вылиться в формулу. Собственно, невозможно «вообще о религии» беседовать, «вообще о церкви», «вообще о христианстве»: можно беседовать о совершенно определенных на все это воззрениях. И без предварительного созревания этих мнений собрания бы не удались, но зато, раз созрели очень определенные и очень мучительные воззрения, появление собраний, их обсуждающих, стало исторической задачей и вопросом только времени и места. Вот эта историческая их подготовленность, наряду с замечательной удачей выбора представителей со стороны церкви, – как иерархических, так и ученых, и наконец священства, и обусловила все. Интеллигенция нашла полное понимание себя; а со своей стороны увидела в духовных лицах людей высокого характера, ума, полных терпимости, наконец, любви к человечеству и к своей родной русской земле. Собрания, по содержанию прений, можно сравнить с чрезвычайно одушевленными чтением множества новых книги с суждением по их поводу. Теплое прощание участников их 2-го мая, казалось, полно было нетерпеливого ожидания их осеннего возобновления.

РУССКИЕ И ФРАНЦУЗЫ

После дней необыкновенного оживления, взволнованности и напряжения, Петербург возвращается к спокойствию и отдыху. Эти дни пульс нашей столицы учащенно бился. Для громады города это составляло только удовольствие. И для всех дни торжеств протекли в великом удовольствии, к которому примешивается, однако, много чисто физической усталости. Именинник к концу дня своего ангела бывает «без ног» и «без голоса». Петербург и Россия тоже в своем роде пережили в эти три дня что-то похожее на день национальных именин, со всеми духовными и физическими их последствиями.

Есть союзы правительств. Но отношения России и Франции есть вполне союз стран и даже союз народов. Между кровью русскою и французскою, между духом француза и русского есть какое-то сродство, которое мы указываем как факт и истину вне всяких соображений минуты и политики. По обстоятельствам дипломатическим и военным, мог бы быть союз России с Германией. Да ведь он и был в пору «союза трех императоров». Но тот союз никогда не переходил в союз народный, в союз сердечный. Обще-

ство русское, народная толпа, провинция русская стояли в стороне при союзе «трех императоров», союзе деловом, утилитарном, не поэтическом, во всяком случае не народно-поэтическом. Вспомним, что ни под Севастополем, ни после Севастополя у нас не было неприязни, антипатии к французскому народу. Насмешки и негодования были только относимы к Наполеону III. Вспомним, как в 1871 году вся Россия была объята жалостью и сочувствием к французам, несмотря на «правительственное» соглашение с Германией. И теперь мы не ждали бы так к себе французам, а приезд их не вызывал бы такого движения стихийного, бытового, народного, уличного, если бы союз наш с великою странюю заключал в себе одну пользу, а не поэзию, был построен на соображениях, а не на влечении. Никакие соображения государственные не могли бы понудить русского мещанина, ремесленника, торговца браться на улице или в загородном саду с французским матросом. Нет, французы нам приятны вне всяких соображений политики. Нам кажется их страна прекрасною, великою, поэтическою вне всяких расчетов на выгоду так думать и так говорить.

Наблюдая простонародные братанья французов и русских на улице, можно было заметить, что нет между русским и французом той пропасти, какая есть и остается между немцем и русским на службе, при занятиях одним делом, в случае совместного сожительства. У нас целые провинции с немецким населением. Но между коренною Россиею и этими провинциями, между великороссами и остзейцами заметной симпатии не образовалось. Множество немцев находится в русской службе, и нельзя сказать, чтобы немцы-чиновники были у нас очень любимы или даже просто любимы. Исключения составляют немецкие фамилии чисто русских людей, т.е. немцев, которые давно обрусели в вере, языке и всех нравах через кровные союзы их дедов и прадедов с русскими. Но везде, где является немецкий нрав, немецкий ум, немецкая форма и сухость в чистом и нерастворенном виде, они несимпатичны русскому. Между тем именно в чистом своем виде француз для русского привлекателен. Но чем? Простотою, веселостью и душевностью. Французы – гораздо более живая и человеческая нация, общечеловечная, нежели немцы, и русские – тоже мировой народ с крайне универсальными инстинктами, позывами, надеждами, чаянием, воззрениями.

Немец необыкновенно провинциален даже по психологии своей. Но с давних времен и до сих пор исторический провинциализм, ограничение себя временными и местными интересами, не были присущи французам. Вот отчего, хотя некоторые немецкие провинции были включены во Францию, однако никогда во французской духовной и бытовой жизни не было немецкого влияния и сами немецкие провинции совершенно офранцузились и потеряли немецкие оттенки мышления и чувства, заменив их французскими. Немцы оставались «островом неведомого» во Франции, как приостзейские провинции суть страны духовно неведомые в России. Ни одного беллетристического русского произведения не взято из немецкой жизни. Немец, может, и хороший человек в своем роде, но он и не сроден, и не интересен русскому.

И между тем французского матроса с корабля уличная петербургская толпа захватывает как «своего», возит его, угощает, меняется с ним шапками, не будучи в силах часто обменяться словом. Русский так же общечеловечен, как француз, т.е. помимо эпохи своей, своего времени и города, имеет бездну универсальных тяготений и интересов. Что-то мечтательное в отношении к своей стране есть у одного и у другого. У обоих есть известный «мессианиззм» в отношении к будущему. Представление о «правах человека», об «обязанностях человека», сказавшиеся у французов в блестящих литературных и философских творениях и в важных событиях внутренней жизни, это представление есть и у русского в народной мысли о «правде Божией на земле», в заботах «о душе и душевном». Круг этих интересов вовсе не то, что сочувствие «политиков крови и железа», которое охватило немцев со времен Садовой и Седана. Вот отчего взаимное понимание литератур французской и русской, замечательное уже сейчас, может со временем еще более углубиться и расшириться. Мы с французами вообще взаимодействуем душою. Приветствуя их на улицах своих, мы вовсе не правительственно только дружили с ними. Тут было подспудное интимное понимание далекого народа, очень и очень сливающееся с целостным представлением о великих культурных заслугах Франции, от их средневековых замков, от собора Парижской Богоматери, от Декарта и до Пастера. Ведь и наука французская весьма отлична от немецкой: французская наука – какое-то национальное явление, широкое, историческое, народное, почти уличное, радостное, свежее и могучее. Так трудились их Бюффон и Декарт; так трудились «благодетель человечества» Пастер. Это всегда было что-нибудь всем нужное, всем интересное, для всех понятное. Великая черта общительности есть не только феномен парижских улиц, но и невольная черта французских великих умов. И все это в них нам мило, дорого и понятно. Дороги они, их страна и их судьба.

НЕОБХОДИМОЕ САМООПРАВДАНИЕ

Тотчас по появлении статьи «О классическом и нашем мире» я получил несколько чрезвычайно резких упреков, и с такой стороны, которая не может быть для писателя самой болезною: «Что же вы говорили ранее, в статье «Эллинизм»? Там вы говорили, что классическое образование невозможно, теперь вы говорите, что оно неизбежно». Наконец, я получил письмо от одного ученого, которого лишь несколько знаю лично, но много лет уважаю заочно. Он пишет: «Вы ли это, недавний критики брошюры Рачинского, автор статьи «Мир классический и наш», или это кто-нибудь другой?.. Ума не приложу, кто это «обошел» вас и автора «Писем из деревни» Infolio!.. Нет, видимо, Россия не доросла еще до *русской школы для русской жизни*, если ее лучшие сыны сопротивляются такой школе. Или докажите, что достижение ваших классических идеалов совместимо с такой школой. Я не против этих ваших идеалов,

но думаю, что они достижимы только ценою насилия над русской душой, ценою продолжения отчуждения русских детей от русской жизни».

Мысли эти слишком горячи высказаны, чтобы на них не ответить. Чувство родины,дохнувшее из письма, заговорило и во мне. В самом деле, что нам пальмы, когда у нас есть сосновый борок. Свое малое забыть ради большого чужого – это прежде всего было бы малодушием. Нет, в самом деле чувство родины есть первое, что должно быть поставлено во главе угла образования, все равно – реального, классического, естественно-научного, христианского.

Но когда подумаешь, что же дальше делать, как это осуществить, как педагогически разработать, – право, опускаются руки. Где наша родина? Почвенно – Россия, а духовно – Галилея, Цареград, языческие Афины и Рим, новые – Париж, Лондон и Берлин. Как только вы начнете подымать школу над уровнем сельского училища, над собиранием бабочек и цветков, подымать ее выше – к гражданственности, к литературе, к богосозреанию, к мышлению суровому и заботам государственным, вы сойдете с полей великорусских и начнете восходить на стены Капитолия, Акрополя, Сиона. Это неудержимо, это фатально, хоть вы тут голову разбейте. Сосна есть все же сосна. Дает тепло, дает избу. Прекрасна, полезна. Но никакой гравер не начнет рисунка «на сосне», а потребует пальмового дерева, слоновой кости или стальной пластинки. Культура, – и не в пошлом смысле, а в самом духовном, милом, неизбежном, – до некоторой степени отрицает Россию или указывает ее ограниченность и говорит, что надо обратиться к другим, «поискать за морем».

Это наш старый вопрос, мучительный, неразрешимый. И не я тот Эдип, который разрешит его.

Что же вы станете делать, если «Русская Правда», «Судебники» Иоаннов III и IV и «Уложение» Алексея Михайловича годны для деревянной и деревенской России. А как только при Петре она начала строится из камня, потребовался «Воинский артикул», на левой странице напечатанный по-шведски, а на правой (перевод) по-русски?! Суд и администрация суть римские явления, искусство, поэзия и философия эллинская, вера наша из Сиона и Цареграда? Ничего великого, оригинального из Москвы и Петербурга. Ничего, кроме плоти народной, состава костей и нашего доброго и кроткого национального характера!

Мне кажется, я выполняю до конца долг русского человека, если скажу, что этот простой и кроткий русский характер, ласковый и чистосердечный, есть высшее мировое явление, небывалое ни у одного народа, небывалое в такой именно счастливой гармонии цветов и оттенков. Больше этого не говорили ни Тютчев, ни Пушкин, ни Достоевский. Но за этим начинается ложь. Как только мы скажем: «Мы лучше всех, а посему можем безо всех обойтись», так мы не только впадем в ложь, но и вдруг потеряем всю красоту и достоинство, какую утвердили за собою в основательных словах: «Мы лучше всех». Нет, мы именно лучше всех по характеру, но ни без одного

решительного народа обойтись не можем. Мы ужасно первоначальны, стихийны, первобытны. Мы хорошо родились, а выросли очень мало. Никаких орудий жизни у нас нет. Дышим, кровь обращается в нас, говорим правду. Но не умеем вытереть себе нос. Беспомощность русских без иностранцев, не только новых, но и старых, древних, поразительна. Солнце ли у нас плохо светит, обстоятельства ли исторические худо сложились, но мы одеваемся в иностранщину, строимся по-иностранному, судимся загранично, ездим, учимся, управляемся – все не по-русски! И как только вы задумаете стать «единственно по-русски», вы станете деревней.

Пусть более меня умные Эдипы разрешают загадку.

Итак, вот границы, дальше которых по самим силам своим не пойдет «отечествоведение». Я соглашаюсь, что русская стихийность должна быть разлита в школе, и притом всех типов и степеней. Экскурсии, изучение местной старины, изучение природы местной, этнографической, ботанической, зоологической, а главное поэтической и картинной, пусть проникнет нашу гимназию, между прочим, и полную классическую. Ведь твердили же нам 30 лет, что, не в пример будто бы нам, в Германии даже и в реальных училищах строжайше проходится латинский язык. Ну, мы обратно будем говорить, что русская природа, старица и поэзия должны быть «строжайшею» основою даже и эллино-римских школ. Но все это первооснова, а не программа; дух училища, а не предметы учения. Как только мы зададим вопрос о программе, о предметах учения, мы зададим вопрос о Греции и Риме в России, о Западной Европе в России. Программа обучения, очевидно, только на $\frac{1}{3}$ может состоять из русской истории, языка и географии; $\frac{2}{3}$ ее должны состоять из предметов универсальных, приблизительно одинаковых к школе русской, английской, французской, германской. Это – усвоение общих элементов цивилизации, совершенно одной сейчас в России и в Западной Европе. В части эстетической и в части гражданской (юридической) это есть цивилизация эллино-римская; в части религиозной она от корня семитического в греко-римской переработке (папство и Византия). Везде тут русского немного.

Перехожу к естествознанию, к которому в статье «Мир классический и наш» я отнесся слишком кратко и не мотивировал своих мыслей. Есть естествознание для техники, так сказать, естествознание американское: торопливое и поверхностное, и есть естествознание Гёте и Гумбольдта. Если первое не воспитательно, – а о нем-то одном я и говорил, – то второе образовательно, глубокомысленно, наконец, оно может быть и даже оно стремится стать религиозно. Триумфы Спенсера и Дарвина кончились, и мы вновь стоим, выражаясь языком Шиллера, перед покрывалом Изиды. Загадочность и священство мира надвигаются и влекут лучшие дни для европейских умов и сердец. Но будет ли оно введено? Войдет ли в нашу школу его дух? Или туда вторгнется коротенький и недалекий механизм, будущее, бездумность, какие царили в нашей популярной литературе с 60-х годов?

В прошлой статье, естественно, я говорил обо всем кратко. Но в далеких надеждах своих я нахожу силы сочетать эти три стихии: 1) родную

природу, 2) эллино-римский мир, 3) естествознание. Я давно и очень внимательно слежу за движением богословской, нашей русской богословской мысли и могу порадовать читателя некоторыми цитатами, каких он не ожидает: «Нельзя же все язычество считать сплошным заблуждением» («Богословский Вестник», июнь 1901г., стр. 409 и 410, статья проф. А. Покровского). «В мифологических сказаниях, где моральные и натуралистические элементы перепутаны до неузнаваемости, нельзя не усматривать некоторой пророческой аналогии событию воскресения Христа, благодаря которому все доброе в человечестве безусловно восторжествует над злом. Несомненно, что между евангельскими событиями Смерти и Воскресения Христа и мифологическими сказаниями Востока, сложившимися за две тысячи лет до этих событий, хотя и нет генетической связи, однако существует сходство. В неясной и запутанной форме сказания вавилонские, египетские, финикийские, хетейские давали народам надежду, что *могут совершиться события*, в которых добро восторжествует еще решительнее над злом, чем Адонис над своим противником или Озирис над Сетом. В этих сказаниях наиболее пронизательным из древних, может быть, подсказывалась мысль, что в момент видимого наибольшего торжества зла, который есть момент смерти благого Бога, могущество зла, в сущности, становится совершенно призрачным. Когда зло поражает смертью бога жизни, то оно не только не уничтожает жизни, но достигает того, что бог жизни становится владыкою и смерти; то, что уже умерло и как бы погребено через этот акт божественной смерти, снова приобщается к жизни» («Богословский Вестник», февраль 1902, стр. 258 – 259, статья проф. С. С. Глаголева: «Общие черты в религиях древнего Востока»).

Таким образом, устанавливают наши христианские богословы, в язычестве было сокрыто зерно истины, но лишь облеченное в иносказания, в «мифы». Так как, конечно, Озириса – Адониса – Атиса – Таммуса (разные имена в разных странах одного существа) никогда не было реально, то в первые века нашей эры, так сказать, по паспорту не находя лица, всех этих «богов» сочли ложными, мифы – вымыслами, а религии – пустыми, ничего в себе не содержащими. Это как в алхимии, где искали «искусство делать золото»: и как его не нашли, то всю алхимию сочли позднее ложною. Но в конце-концов стало известно, что в алхимии часть была подлинно химическая, что в ней были сделаны важные открытия. Так и под ложными паспортами древних религий странновало некоторое подлинное существо. Но если так, то изучение древности может стать для нас не археологическим только, но археологическим и вместе живым. А как все религии древности были «обожествлением природы», то естествознание наше, тоже пытающееся «раскрыть в природе Бога», в сущности, тоже движется навстречу им, к их относительному, в скрытом зерне, возобновлению. И если в «родине», в «почве» своей мы прозреваем не гражданское одно только отечество, но «святую Русь», «дорогую Мать», то не ясно ли, что три эти стихии: 1) новое одухотворенное естествознание, открывающее в природе

идеал и дух, 2) изучение древних дохристианских культур, о которых все сведения сохранены у греков и римлян, и 3) чувство стихийное своей родины, – вовсе не находятся в неодолимом антагонизме. Но слить их сможет ли наша школа? Это трудный подвиг и культурная заслуга. А до сих пор школа наша не умела не только совершать подвиги, но и выполнять самых обыкновенных задач.

Что касается прошлогодней статьи моей «Эллинизм», то там я указывал, до чего нам трудно войти в психологию древних религий. Однако если, напр., мы будем смотреть на них не только как на сказки и невозможность, но, согласно профессорам Покровскому и Глаголеву, как на некоторое предчувствие и предвозвестие наших собственных теперешних религиозных идей, то, конечно, их изучение в школе может быть полно самого страстного любопытства.

С. А. РАЧИНСКИЙ И ЕГО ТАТЕВО

Бывает в наших севернорусских широтах, что по календарю и расчетам человеческим давно бы должны лить осенние дожди, дуть холодные ветры и на улице образоваться непролазная грязь. Идет конец сентября и первые недели октября. К удивлению всех, однако, при едва греющем и уже не задерживающемся на горизонте солнце, от какого-то благоразумного распределения ветров и атмосферных осадков на дворе стоит отличная, сухая и теплая погода. Лето кончилось, а осень не приходит. Люди каждый такой денек считают, удивляются ему; ждут – вот назавтра брызнут дожди и ветры. Но их нет. День за днем выкатывает солнце на ясную лазурь неба; в воздухе сухо; летней пыли нет, но земля тверда, а пожелтевшие листья деревьев не опадают. Паучки ткют свои таинственные, зачем-то нужные им паутинки, и эти паутинки тянутся в прозрачном воздухе. И в душе людей – радость. «Вы знаете, паутинки эти к хорошей погоде; пока они летают – дожди еще далеко. И завтра будет такая же погода». Встречный не верит: «Помилуйте, зима бы должна уже настать; а мы имеем лето. Да как оно называется?» – «Бабье лето». И оба дивятся, радостно твердят за Грибоедовым, что «врут все календари», и, как всякому неожиданному, «сверхштатному» удовольствию, радуются этим дням вдвойне, втройне. Помню я, в 1897 или 1898 году стояла в Петербурге такая осень. «За сорок лет, как я себя отчетливо помню, такого октября (чуть ли не ноября) я не видывал», – сказал мне памятно старый чиновник-товарищ. И мы весело, по-летнему, взбирались, бывало, на империял конки, чтобы курить, зевать по сторонам и «хвалить Творца миров», давшего нам август в дни сентября.

Таковы бывают и исторические застоявшиеся эпохи. Среди технической цивилизации заживается где-нибудь долго-долго уголок рыцарской страны, с ее замками, преданиями. Такова была Вандея во Франции, и очень долго – Шотландия. Историки, романисты и поэты спешат сюда, для изучения и вдохновений. Наконец, бывают и люди такой судьбы, положения и

характера. Год за годом, десятилетие за десятилетием идут. Люди меняются. Нужды настали другие, изменились удовольствия. Но где-нибудь в старом дворянском гнезде живет носитель почти исчезнувшей культуры (да, целой культуры!), который в удивительной нетронутости и красоте сохраняет краски и тоны человеческого облика, к каким мы привыкли в живописи Тургенева или Гончарова.

Таков был, как я его знал с 1890 года, умерший 2 мая 1902 г. Сергей Александрович Рачинский. Смерть его отозвалась личною потерю для огромного множества знавших его людей; Россия нечто утратила в нем, может быть, не крупное, во всяком случае, не шумное, но определенное, чего нельзя смешать ни с чем другим и что не заменяется никем другим. Сошла в могилу очень определенная величина, очень определенное лицо. Сошло в могилу, как я был уведомлен, тихо, без страданий, незаметно. Все время, как я его знал, у него была болезнь, неприятная, но не опасная. В последние годы у него были тяжелые душевные потери. Вообще при характере тихом, несколько покорном (извне), хотя чрезвычайно упругом и не поддающемуся внутри, он много, очень много в жизни перенес. Много безмолвной печали было в его душе; очень много разочарований. И тем крепче хватался он за все, что могло его очаровать, что – ему казалось – не обмануло его. Такова была его школа; таковы были некоторые, немногие лица, которых он знал с детства, по преимуществу из учеников его. К ним он привязывался трепетно, отцовскою любовью, почти покорною, почти заискивающею, как именно старый отец к полному сил молодому человеку.

Я его помню, в его родном Татеве (Бельского уезда, Смоленской губернии), которое так хорошо к нему шло и он сам шел к нему. Это было имение с непрерывными традициями царствований императоров Александра I, Николая I и далее, до наших дней. Помню одну гостиную, в которой сохранены обои, вывезенные из Франции предком Рачинского, штурмовавшим с войсками Благословенного Париж: река Сена, гуляющее по берегу ее кавалеры и дамы во фраках, галстуках и платьях первой империи, их походка и манеры – все в живом движении изображено на оригинальных обоях. Я не мог от них оторваться. В большой центральной зале в два света (верхний ряд окон – маленькие) давали когда-то, в крепостную эпоху, балы. В 90-х годах тут все было тихо. Вообще тление смерти, чего-то отжитого и пережитого, чего-то окончившегося веяло в этом большом, красивом историческом доме почти без живых обитателей. Здесь всегда была поразительная тишина, безмолвие. Долго стоишь, бывало, в зале, ожидая, кто выйдет. В доме не слышно было ни движения, ни голосов. И вот отворилась справа дверь – и выходит маленькая, торопливая, сухонькая (в теле) фигурка всегда оживленного Рачинского. Я никогда его ни видел утомленным, жалующимся на усталость; он никогда не смеялся, хотя часто улыбался – однако не общей улыбкой, как выражением настроения души, а в отношении предмета разговора или определенного лица. Рачинский всегда был очень наблюдателен; никакой рассеянности, присущей поэтам или мыслителям, у

него не было. От этой вечно настороженной внимательности, природной и, вероятно, воспитанной, он и мог стать таким воспитателем детей, таким урожденным школьным учителем. Ум его был сух и точен, без капризов и беспорядка; вообще он был замечательно деловой человек, отнюдь – как я заметил – не поэт и не философ, но с большою примесью влечения к тихой, бесшумной созерцательности. Если бывают люди без техники и профессии живописца, но, так сказать, с живописным, художническим устроением ума, вкусов, даже убеждений теоретических, то Рачинский был таким. Напр., ему нравился такой-то образ государственной жизни, положим, первой империи во Франции; было бы напрасно оспаривать его, говоря о деспотизме Наполеона, легкомысленных нравах общества, о тягостях для народа, о неудачи всей эпохи: не возражая вам, он, в сущности, тихо не слушал вас и продолжал любить Францию первого десятилетия просто, как картину, как некоторый рафаэлевский момент истории, любить пластически, а не научно, не морально и не экономически. Наука (в суровом смысле экономика), мещанская проза, вообще все материальные производители жизни в его созерцании не занимали никакого места. Он все брал и знал в готовом виде, и определял к этому готовому свое отношение по делаемому им эстетическому впечатлению. Из сословий наших ему было понятно только дворянство и духовенство; но и относительно дворянства я помню его глубоко презрительные выражения о «мелкопоместных» (чуть ли не от него услышал я впервые этот термин, по крайней мере по сарказму – определил его значение). Далее, он питал почти культ к литературе; но пропорционально этому была велика его неприязнь к печати, т.е. почти ко всей текущей журналистике и особенно газетам. Самый шум, как и шум мещанской или торговой жизни, ему был противен, и он не входил в соображения, что это нужное. Когда я это пишу, у меня начинается что-то жестокое. Но кротость и тишина Рачинского устраняла всю несимпатичность в его антипатиях; он ни с чем не боролся, но от очень многого, почти от всей текущей, ему современной жизни отодвигался в сторону. И тихо и прекрасно, спокойно и недвижно, непоколебимый, уже много десятилетий жил в своем Татеве. Большой дом этот, который я решусь назвать помещичьим дворцом, был обитаем только им и его почти ровесницей сестрой, женщиною почти столь же начитанной и образованной, как он. Практическая жизнь дома вся лежала на сестре, читавшей в подлиннике Гомера и следившей даже за точными науками (за биологиею), не говоря о литературе; а Сергей Александрович имел все условия вполне отдаваться жизни теоретической, созерцательной, педагогической, творческой. В доме хранилась громадная, в несколько тысяч томов, библиотека, как литературная, так и научная. Это собирали его непрерывно образованные предки. Но сверх книг, в превосходных старинных изданиях, в библиотеке этой хранилось множество драгоценных и редких художественных изданий и автографов замечательных людей, поэтов и писателей наших 30, 40 и 50-х годов. Выборки из этих рукописных сокровищ татевской библиотеки вошли в «Татевский сборник»,

изданный в 1899 году Обществом ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III. Здесь помещено 52 письма Е. А. Боратынского к И. В. Кириевскому, пять писем В. А. Жуковского к Голицыну, Елагиной к Кириевскому, нигде не напечатанная статья В. Ф. Одоевского. «Жить – действовать», замечательное воспоминание Ю. Ф. Самарина о Хомякове, письма Н. И. Пирогова, Феликса Мендельсона-Бартольди к А. Ф. Львову, Ал. Гумбольдта к К. К. Павловой и несколько неизвестных ранее стихотворений Е. А. Боратынского, И. П. Мятлева, Н. Ф. Павлова, В. А. Жуковского, В. А. Соллогуба, А. А. Фета и обширный отрывок повести графини Е. В. Салиас (Евгении Тур), не оконченный по соображениям не литературным. Сборник этот драгоценен для историка литературы и никогда не утратит интереса первоисточника. Как на любопытную черту Рачинского, укажу на следующее: за несколько лет до издания он говорил мне о своей озабоченности издать некоторые литературные реликвии, хранящиеся в Татеве. Я назвал несколько журналов, которые, конечно, с удовольствием напечатают их. Вдруг я увидел на лице его тревогу и неприязнь. Рассказав о содержании отрывка воспоминаний о Хомякове, где была передана трогательная его молитва о своей усопшей жене и, кажется, ее загробное явление у нему, он сказал: «Неужели вы думаете, что я могу это поместить рядом с каким-нибудь рассказом или рассуждением»... И он назвал несколько громких современных имен. Таким образом, «мелкопоместность» литературы текущих дней не должна была просто физически приближаться к великим аристократиям истекших десятилетий. Тут в Сергее Александровиче выступало жестокое, непоколебимое. Вандея боролась с Парижем, тем неутомимее, чем бессильнее. Этого не надо было трогать, невозможно было трогать всякому, кто не хотел мучительно и навсегда разойтись с ним.

Он любил свое Татевое и гордился им, любовью и гордостью художественной и исторической. Он хорошо знал, что и сам присоединится как очень крупная величина к ряду почетных предков. Что добрый дворянский род в его лице завершается историческою фигурою, с многоценною и памятною для всей России деятельностью. В сущности, нельзя не поблагодарить судьбу, которая вывела его из московской профессуры и бросила в сельское уединение. Как только это совершилось, как только он отделился от подобных и равных, он стал определенным лицом, в котором независимо и прекрасно стали слагаться оригинальные черты, явилось оригинальное единственное призвание, явилось дело и подвиг на виду всей России, к пользе всей громады России. Он дал тип народной русской школы, во всяком случае в художественном отношении высоко прекрасной, хотя, может быть, в наших жестоких условиях и неприменимой. Покойный Вл. С. Соловьёв раз напал на него в «Вестн. Европы». Говоря о школе в Татеве, он язвительно писал, что татевским мужикам, вероятно, интереснее было бы узнать от Рачинского, как ботаника, о лучших способах огородничества, нежели чтения Псалтыри. Рачинский почти с удовольствием говорил со мною об этой

статье Соловьёва. Ни боли упрека, ни его смысла – он не чувствовал. «К сожалению, я вовсе ничего не понимаю в огородничестве; тут более меня сведуща моя сестра», – весело шутил он. Конечно, в его словах была правда: ученый ботаник не непременно должен знать полеводство. Но боль для слушателя начиналось с очевидности, что огородничество для крестьян даже и в голову не приходило Рачинскому; просто это стояло вне его эстетического созерцания, сомкнувшегося в заколдованный круг. Тут начинался фатум, где можно было с ним разойтись, но ни в чем нельзя было его убедить.

Школа его, как и все немногочисленные, но изящные его книжки, есть продукт главным образом его эстетических вкусов. Первый с верным тактом он отгадал, какие сокровища самого серьезного и высокого искусства содержатся в старинных книгах с кожаными застежками и церковной печатью. Он разобрал все эти книги, изучил весь круг православного богослужения, как со стороны словесной глубины, так и со стороны музыкальной, певческой и, наконец, выразительной, пластической (пластика богослужений, одеяний, жестов, обрядов). Вальтер Скотт написал свою Шотландию. Для детей народа свежего, в сущности, дикого, но одновременно полуголодного и оборванного, он решил, что ничего не может быть выше и воспитательнее этих тяжелых, огромных старых книг. До сих пор помню один вечер в его Татеве. Была вакация, все ученики были распущены, кроме немногих, по разным причинам задержавшихся около Сергея Александровича. Стоял прекрасный летний вечер, и мальчик лет 13 подошел к нему, прося что-нибудь дать выучить на завтра. Можно было дать задачу, можно было велеть поиграть на лугу, можно было дать прочесть Робинзона Крузо. И Рачинский думал, но только одну секунду, вспомнив, какого святого завтра празднуется день, он открыл его житие в «Четь Минеях» Димитрия Ростовского, сейчас же вспомнил наизусть, раньше чтения, два-три штриха этого жития, что-то прекрасное из истории Греции, из IV или III века, какое-то путешествие по Ионическому морю, какую-то напасть, преследование вельможи, твердость молодого христианина, – сюжет, столь же прекрасен в Четь-Менеях, как он бы был прекрасен в какой-нибудь датской хронике, переработанной Шекспиром. Лицо ботаника, эстета и педагога светилось энтузиазмом и восторгом: «Вот-вот, Володя, перечти здесь; прочти раза два-три и потом сделай пересказ своими словами на бумаге. Завтра утром мы вместе прочитаем твою работу».

Таким образом, труд Рачинского не был собственно физической работой, утомлением, педагогическим занятием, которое истощало бы его силы. Он, можно сказать, купался в волнах искусства, всяческого, какое любил, – но не один, а в сообществе с самым художественным возрастом человеческим, отроческим, от 10 до 16 – 17 лет. От этого ни скорби, ни пота, ни жалоб в его труде не было. Все ремесленное было из его дела устранено. В лице диакона-помощника или подручного учителя он имел человека, который обучал детей чтению или письму, диктовал им, повторял с ними, и проч. Сам Рачинский придумывал художественный лоск, художественный

смысл педагогическим деталям; он смотрел на белые вершинки Альп, мало погружаясь в тернистые ходы туда по ледникам. Мне передавали люди, жившие близ Татева, знавшие его труд там десятилетия, что собственно для крестьянских ребятишек были полезнее школы, где стали руководителями или молодые учителя из бывших учеников Рачинского, или некоторые его родственники, ведшие дело упрощенное, практичнее, столь же строго церковно, но с большим вхождением собственно в мир крестьянский и душу крестьянскую. Они схватывали главную мысль Рачинского: «Церковные книги – вот сокровища художества и педагогики», но применяли эту мысль живее, сочнее, не столь педантично и упорно односторонне, как сам инициатор этой мысли. Я уже заметил, что сам Рачинский был безусловно неподатлив в душе своей. Применяться, приспособляться он не мог. Сам полный энтузиазма, он мог только звать к себе, но ни к кому и ни к чему чужому сам не мог двинуться. Напротив, восприявшие его мысль сохраняли обычную всякому человеку подвижность во все стороны, и дело у них шло лучше, счастливее, для крестьян – плодотворнее. Дело и мысли Рачинского не имеют никаких причин заглохнуть или испортиться после его смерти. Выразим пожелание, чтобы небольшая пенсия, получавшаяся им за последние годы и которая целостью шла на учрежденные им школы, была сохранена навсегда как субсидия этих школ. Во всяком случае, было бы глубоко диким явлением, если бы такое культурно-историческое начинание, как район народных школ около Татева, был обществом нашим или государством забыт, заброшен. Около дела сейчас стоят отличнейшие люди, родственники Рачинского и талантливо подобранные им учителя. Но все это очень и очень нуждается в средствах. Нужно заметить, что поддержка Татева, как аристократического имени, поглощает все средства, получаемые с татевской земли, обширной, но малопродуктивной, лесистой, холодной, угрюмой, малопродуктивной. По крайней мере, в последней его ко мне записочке он, между прочим, писал: «Здоровьем моим я весьма мало озабочен, хотя оно ныне для моих школ стало драгоценным (курс Рачинского), вследствие пенсии, пожалованной мне Государем. Несмотря на это обстоятельство, считаю весьма мало интересным точный срок моей кончины, во всяком случае близкой. Уверен, что и после меня найдутся люди, которые лучше моего будут продолжать начатое мною скромное дело, найдут на то и потребные скромные денежные средства... Да хранит вас Бог. Преданный вам С. Рачинский». Выраженная в письме этом забота, я думаю, должна получить полное удовлетворение, – иначе трудно было бы понять, как можно трудиться и зачем было бы трудиться на Руси, где нет ничего преемственного и нет памяти о заслугах человека. Аренды, пенсии, вспомоществования у нас сыплются довольно щедро: но трудно представить себе дело и человека, столь полно выслуживших себе государственную денежную помощь, как район школ около Татева, где 29 лет почти безвыездно жил и трудился замечательный педагог.

Вот еще отрывок из письма его, не безынтересного в биографическом отношении: «Наше Татеево, обыкновенно столь тихое, на прошлой неделе

было шумно илюдно. Собралась родственная молодежь; погода была дивная, настроение – светлое. 13-го мы простились, вероятно навсегда, с Сергеем Сеодзи (японец, принявший христианство). В этот день молодежь наша вздумала пропеть с ним, без участия школьного хора, последнюю литургию. Пение было удачно, служба – умилительна, потому что совершалась литургия с включением *своим о хотящих по водам плыти* (курс. Рачинского; название особого молебна). При этом сочетании служб, заключающемся коленопреклоненною молитвою, благословением и окроплением св. водою путешественника, я присутствовал в первый раз. На будущей неделе провожаем в Крым Николаю (Н. И. Богданов-Бельский, известный художник). Наконец добился от него вашего портрета, который при сем посылаю. Вы мне писали о краткой биографии – вот она. Родился я 2 мая 1833 года, в селе Татеве. Воспитывался дома. От 1849 по 1853 год учился в Московском университете. От 1853 до 1855 г. служил в Московском архиве министерства иностранных дел. От 1859 по 1868 год преподавал в Московском университете физиологию растений. С 1873 г. состою учителем при Татевской сельской школе. Умер в селе Татеве в 189? г.». Он умер в самый день рождения, 2 мая, но в 1902 году.

Н. Богданов-Бельский и Сергей Сеодзи были питомцами, а последний и крестным сыном Рачинского. Восходящая звезда художественных дарований первого несказанно радовала его воспитателя и наставника. В редком письме он про него не упоминал, всегда с глубокою нежностью. Трудно подобрать пример лучшего духовного отчества. Кроме того, Богданов-Бельский служил как бы документом в руках Рачинского, оправдывающим его деятельность, его надежды на даровитость русского народа и проч. В увлечении, может быть, он однажды сравнил его работы по портретной живописи с портретами Ван Дейка (он назвал какой-то определенный портрет, но я не помню чей, бывший на выставке передвижников). Если тут и была иллюзия и преувеличение, то решительно невозможно жить человеку без таких иллюзий, некоторые одушевляют, дают мощь жить и трудиться. Кто знает, может быть, мы все малы, не нужны; но, во всяком случае, было бы плохо, если бы мы повесились, а потому нужна уверенность, что мы кому-то нужны и что даже вообще хороши.

Проезд к Татеву был по глухой лесистой местности, или из Ржева – к югу, или из Белого – к северу. Вся местность кругом была болотиста, дика и холодна. Тем привлекательнее было Татеево. Дед или отец Рачинского, человек богатого вкуса, и именно тоже пластического вкуса развел вокруг дома-дворца громадный парк, сын (или внук) прибавил сюда разные ботанические редкости. Вся красота парка, особенная и удивительная, состояла в размещении куп деревьев и в отношении листвы или хвои их к свету утреннему и вечернему. Утром, часов около семи солнце падало на огромный (искусственно вырытый) пруд-озеро, бывший в полуверсте от дома, и бывало Рачинский настаивает непременно, чтобы вы не проспали эту красоту встречи утра, леса и воды. Глаз зрителя был в Рачинском «богом», которо-

му он не уставал служить. И это переносилось даже на убеждения. Он недолюбливал нашу бюрократию, не уважал ее. Еще менее мог он примириться с новыми демократическими учреждениями. Покойный московский писатель Ю. Н. Говоруха-Отрок раз сказал мне, посмеиваясь: «Рачинский мне пишет, что он понимает управление государством при помощи вельмож, которым не только приходится повиноваться, а эти чиновничьи пролазы только разлагают все своими ухватками и мужичеством. «Но где же, – и этому смеялся Говоруха, – взять вельмож?». Это мнение Рачинского мне повторил не так давно и один его друг, большепоместный дворянин, прибавив: «Как он не видит, что лучшие наши государственные люди – просто из семинаристов, а дьяки не дают средних служащих людей». Но тут начинался тот зачарованный круг, за который Рачинский не мог выйти.

Так стоял он, как поздняя осень. Он измениться не мог, и начиналось неодолимое расхождение с ним каждого, кто неосторожно или нетерпеливо пытался не то, чтобы изменить его, но иметь и высказывать мысли, разнородные с его мыслями. Рачинский тогда уходил в себя, умолкал. Никакого спора не было, и это-то и бывало мучительно. Отношения становились внешними, обманчивыми, как бы оне ни были теплы дотоле. Осень могла замолкнуть, затихнуть, умереть. Но только после дождя, шквалов, снега, зимы – могла начаться весна. Без возможности непосредственного перехода в весну, он, естественно, пугался и отстранялся от надвигавшейся осени, которая так, очевидно, бушевала вокруг милого и ветхого Татева.

В многочисленных у меня хранящихся его письмах рассеяны следы его вкуса, уединенной жизни, маленьких и высокодухотворенных забот и взглядов на разнообразные вещи и отношения государственные, литературные, общественные. И на него, и на его писания я всегда любовался, как на красивые кожистые астры, которые не дают запаха, но на которых любит останавливаться глаз среди пустынной осени. Сад уже увял весь; тропинки мокры и холодны утром; лист желт, деревья голы. А все еще цела и жива клумба с этими астрами. Но вот наступил день – и пали эти астры. Такова смерть Рачинского. «Да хранит его Бог», – хочется повторить о нем постоянную приписку его писем.

ЛЕТНИЕ КУРСЫ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ГРЕНОБЛЕ

Во Франции, в бывшей провинции Дофинэ (теперь Изерский департамент), при слиянии рек Изера и Драка и в предгорьях Альп стоит хорошенький городок Гренобль. С гробницей Баярда, с знаменитым старинным монастырем Шартрезом (где изготавливаются известные ликеры), с ботаническим садом, с музеем и огромною библиотекою (170 000 томов и очень древние рукописи), он помнит в стенах своих римлян времен Грациана, видел переселение народов, был в руках бургундцев, франков и, наконец, вошел в со-

став Франции. Людовик XI дал ему парламент. Природа и история равно украсили его: одна – живыми цветами, другая – умершими. Гренобль имеет университет, состоящий из факультетов: юридического, естественного и словесного и медицинскую школу. «Annales de l'université de Grenoble, publiées par les facultés de droit, des sciences et des lettres et par l'École de médecine»* – орган университета; одна книжка этого ежегодника сейчас лежит передо мною с двумя основательными статьями по литературе местных профессоров: г. Морилло – «Alfred de Vigny» и Эдуарда Бертрана – «Shakespeare et Voltaire. Edute sur l'expression de la jalousie dans Othello et Zaire».** Привожу все эти сведения, чтобы дать понять читателю, что небольшой провинциальный город Франции с 50 000 жителей живет высокою культурною жизнью.

Жажда научиться мимоходом очень развита у русских. Отправляясь во множестве на Западе на летние месяцы отдохнуть, толпы русской молодежи обоего пола ищут увидеть что-нибудь интересное и узнать что-нибудь нужное, но часто колеблются в выборе места. Настоящая заметка имеет своей целью помочь в этом выборе. При Гренобльском университете существуют: 1) полные годовые курсы для иностранцев по предметам историко-филологического факультета (философия, новая история, древняя история, греческий язык и литература, латинский язык и литература, французская литература, история французского языка, немецкий язык и литература, английский язык и литература, итальянский язык и литература, сравнительная грамматика и стихосложение, педагогика) и 2) вакационные летние курсы. Последние особенно могли бы быть полезны и интересны для русских туристов. На этих последних занятия ежедневно состоят из четырех лекций-уроков, посвященных теории или практическим упражнениям. Стоимость их 40 франков за 6 недель и по 10 франков за каждые 15 дней сверх этого; всего 60 франков за полный летний семестр в 2 S месяца. В летний семестр входит изучение языков и литературы французской, немецкой, английской, итальянской, для желающих – психологии, некоторых юридических дисциплин и истории искусства. Для примера вот перечень июльских лекций в семестре 1902 года: г. Буарак, ректор университета: «О международном психологическом институте в Париже» – 1 лекция; г. Крозаль, директор курсов: «Леконт де-Лиль» – 2 лекции в неделю; «Рыцарь Баярд» – 2 лекции; «Эрнест Ренан» – 2 лекции; г. Шаро: «О развивающем влиянии классических писателей на ум; теория и применение» – 2 лекции; г. Морилло: «Виктор Гюго и его «Легенда веков» – 4 лекции; г. Дюмениль: «Флобер и доктрина красоты» – 3 лекции; г. Говетт «Реформа французского синтаксиса» – 3 лекции; г. Го-

* «Летопись университета в Гренобле, публикуемая факультетами права, наук и словесности и медицинской школы» (фр.).

** «Альфред де Виньи»... «Шекспир и Вольтер. Исследование чувства ревности у Отелло и Заиры» (фр.).

лардо: «Фонетика нового французского языка»; г. Гетто: «Организация уголовной системы наказаний во Франции» – 2 лекции; г. Бодан: «Конституционная организация во Франции» – 2 лекции; г. Гитье: «История международного социального движения» – 2 лекции; г. Гюм: «Новейшие доктрины о преступлении и наказании; Осмотр тюрем» – 1 лекция; г. Жоффри де-Лапраделль: «Чем славится доктрина Монроэ?» – 1 лекция; г. Колле: «Об Оранском театре и об античных театрах» – 1 лекция; г. Кириан: «О ледниках» – 1 лекция; г. Годрилье: «Политические стихотворения Беранже» – 3 лекции; г. Марсель Реймонд: «История искусства» – 2 лекции. Все перечисленные лекторы – профессора местного университета. Параллельно этим чтениям будут вестись практические упражнения: г. Бессон – переводы с немецкого, г. Матиас – переводы с английского, гг. Говетт и Гишар – перевод с итальянского; г. Геффе – объяснительное чтение; г. Варенн – словоизучение, г. Гоше – грамматика. В августе и сентябре по тем же наукам будут избраны другие темы.

Общество альпинистов и комитет покровительства учащимся иностранцам устраивают частные экскурсии из Гренобля в Альпы. Пансион со всеми удобствами помещения и стола можно найти в благовоспитанном семействе за 150 франков в месяц, а в более скромном помещении – за 90 франков. Разнообразное общество итальянцев, немцев, французов, англичан дает много для наблюдения, изучения и оживления. В прошедшем году в летний курс предметов здесь слушало 6 русских, но вообще этот пункт возможного образования и удовольствия еще мало известен в России. Мы делаем эту небольшую заметку ввиду того, что она может указать многим русским добрый путь на предстоящее лето.

БОЛЬНИЦЫ И ОБЩЕСТВО В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ

Умело распределить средства – это бывает так же ценно, как приобрести новые средства. Умело расставить людей и поручить каждому человеку соответствующее дело – значит нередко водворить порядок там, где раньше царствовала сумятица. Инцидент смерти доктора Дворянина в больнице Чудотворца Николая и вызванный им ряд частных писем взбудоражил общественное внимание.

Общество подозревает грубость и хуже, чем грубость в отношении служащих в больнице людей к пациентам, администрация больницы ссылается, что она на каждое заготовленное место имеет одного, чуть не двух пациентов и не может справиться при наличных средствах ни с работой, ни с лечением. Ухудшение лечения, которое в отношении душевнобольных сводится почти только к уходу, невольно и незаметно переходит в жестокость и грубость ухода, а, наконец, и в очень тяжелые расправы с буйными больными ночных сторожей. Здесь в сфере медицины происходит то же, что и в

педагогике при переполнении класса учениками. Учение и воспитание сводится на «нет», а в больнице сводится на «нет» и даже к отрицательным результатам лечение. Бедствие это присуще не одной больнице Чудотворца Николая. Все помнят случаи, положим исключительные, как роженицы разрешались от бремени на крыльце родовспомогательных заведений.

Ни общество не может не требовать, чтобы больница работала каждой парой рук за четыре руки, ни больница не вправе отказать в приеме и в уходе и притом в хорошем уходе, трудному больному. Общество и администрация больниц должны сговориться. Представляет собою прямую жестокость, когда родильница разрешается на крыльце того самого заведения, где есть два-три, а иногда и десять-двенадцать пациенток на ногах, выздоравливающих, которым и движение, и свежий воздух, а следовательно, и возвращение домой безвредны; когда не принимается в больницу бурно заболевший тифозный, а лежит там чахоточный, нуждающийся более в санатории, нежели в медикаментах, и лежит уже годы без всякого улучшения в здоровье, занимая «номер» койки, вообще есть больные, для которых больница не безусловна необходима. Сюда относятся все затяжные болезни, или неизлечимые вовсе, или не связанные с требованием таких медикаментов и методов лечения, какие можно найти только в широко организованных больницах. Переходя к душевнобольным, возможно ли сравнить положение семейства, в котором больной член страдает буйным помешательством и может нанести смерть или увечье ближним, с положением такого семейства, в котором есть пациент, страдающий слабоумием и более похожий на странного человека, нежели собственно больного человека. Между тем такой пациент, не опасный и даже не очень беспокойный и дома, раз заняв место в больнице и находясь там годы, заставляет отказать в приеме такому больному, с которым семья не имеет никаких сил справиться.

Вот почему, так сказать, уравнение сострадания должно принудить общество согласиться на то, чтобы нетрудные больные или больные не мучительные и не опасные для дома возвращались администрацией больниц на руки родным своим ранее полного выздоровления, а общество взамен этого получит право требовать места в больнице и надлежащего ухода во всех случаях острого, бурного заболевания, где внимание врача должно быть неустанно и искусно, где от приема в больницу зависит жизнь человека, а отказ в таком приеме угрожает смертью. Когда больниц в городе не хватает на больных, в городе должна быть сделана дифференциация последних. В противном случае всегда будут острые, крикливые жалобы, которым невозможно отказать в основательности, ибо это есть, в сущности, жалоба иногда на насильственную смерть от равнодушия ближних к ближнему. Сколько бы родным такого умершего человека ни говорили о переполнении больниц, о кубическом измерении воздуха для каждого больного, об усталости докторов, недостатке кроватей, утомленности прислуги, он вправе будет кричать: «Мой родственник помер, не будучи принят в больницу, в

которой по коридорам на моих глазах расхаживали в больничных халатах румяные и смеющиеся больные». Здесь неравномерность так ярка и очевидна, а отражается она такую невыносимую болью, что администрация больниц никогда не сумеет зажать рот негодующим, ибо последние будут в своем праве.

АРИФМЕТИКА ВЕЛИКОЙ ЭПОПЕИ

История крепостной войны. Выпуск первый.
Севастополь (1854–1855). Бельфор (1870–1871).
А. Н. Маслова. С приложением планов и чертежей.

Как ни прекрасно звездное небо, истинную занимательность оно имеет только для астронома. По-видимому, этот сухой человек, погруженный в бесконечные ряды математических знаков, но под его сухостью живет истинная поэзия и не одушевляемый ею он не взялся бы за циркуль и не возвел бы алгебраических башен. Так и война. Для всех неучастников она представляет картину. Для народного сознания – это эпопея. Но кто дорожит эпопеею, должен пожертвовать трудом, убить некоторое время и сделать умственные усилия, чтобы вникнуть в бесчисленные подробности, при рассматривании которых волнующее, но слишком слитное впечатление заменяется рядом картин поразительной трогательности, интереса и большой умственной занимательности.

Я взял скорее с целью просмотреть, нежели читать, историю осад двух крепостей, нашей и французской. Но просмотр сам собою перешел в чтение. Автор имеет в виду деловую сторону войны. Кажется – все сухо. Все артиллерийская арифметика. Чувство русского почти не говорит в нем, как для астронома нет «нашего неба» и «ихнего», а есть северные и южные, равно занимательные, созвездия. Тем лучше для читателя. Тут-то для него и возникает настоящий интерес. Он зарывается в подробности и через несколько часов чтения его ум волнуется судьбою какого-нибудь люнета, траншеи, – я не говорю о бастионе, это слишком большая величина, – с чрезвычайной силой, потому что он держит в уме число нерасстрелянных ядер, подбитых орудий и только что прочитал приказ: «Отвечать на два неприятельских выстрела одним» (недостаток пороха). Я не осмеливаюсь выразиться, что он волнуется, как офицер того времени. Читатель не имеет права на это. Но позволительно сказать, что он волнуется очень близким к тогдашнему чувством, ум его ищет защиты, ожидает подкреплений, ругает медленность обозов, которые плетутся, и, увы, не поспевают из внутренней России. Местами, когда знаешь, сколько зарядов на 4-м бастионе стоит у нас и какие силы подготовлены у неприятеля и будут брошены на штурм завтра, – волнение достигает высшей степени.

Года три назад я посетил Севастополь и осматривал места расположения наших войск. Все покрыто дурной травой, но трава идет по гребню

наших брустверов и падает в канавки, рвы, вырытые же нашими руками. Местность глубоко изрыта и зрелище осады и обороны еще сохраняется. Дощечки с надписями показывают расположение батарей: «батарея № 5», «батарея № 8». С благоговением вступаешь на эти куски земли. Пройдешь в место, где пуля пронизала бессмертного Нахимова. В музее, в ящике под стеклом, его фуражка (он убит был в висок). Тут же фотографии смельчаков, например, знаменитого пластуна Кошки, который был мастер «доставать языка», т.е. захватывать живым неприятельского солдата в целях добытия от него сведений о расположении и положении этого неприятеля. Лицо у этого пластуна смиренное, фигура мешковатая и он больше похож на попадью, чем на солдата. Просто нельзя догадаться, что это был такой головорез. Потом пройдешь в комнату фотографий. Я до того был поражен благородным и величественным выражением лиц работавших там начальниц сестер милосердия, что помню вынул записную книжечку и стал записывать фамилии. Но листки мои потеряны, а впечатление осталось. Право же невозможно понять одушевления и смелости шестидесятых годов, хотя бы в сфере законодательной и общественной, не побывав в этом музее, не рассмотрев этих лиц. Эти лица потом вернулись в Россию и великую бодрость своих сил разлили по отечеству. Счастливые время...

И вот взяв книгу г. Маслова, я вдруг вник во все подробности эпопеи, которую знал только как зрелище и воспоминание. С обеих сторон рылись, как кроты. У нас только $\frac{1}{20}$ часть пехоты была вооружена штуцерами (т.е. нарезными ружьями, только что тогда изобретенными). Придумано было выбрасывать вперед завалы, которые потом развились в ложементы. Завал – это совершенно случайная и временная защита из находящегося под рукой каменного и земляного материала, где могла укрыться горсточка солдат, чтобы стрелять и мешать вражьей работе. Ложемент – более правильное укрепление, воздвигаемое в одну ночь и также выброшенное вперед, но уже могущее противостоять артиллерийскому огню. С помощью одних и других мы выдвигались вперед и старались так или иначе замедлять или вредить неприятельским земляным работам, сложный узор которых ближе и ближе подходил к нашим редутам. Атаку невозможно начать издали, ибо атакующего расстреляют из ружей и картечью. Неприятель подползает к крепости под землю и внутри земли. На Малахов, например, курган бросились всего из-за 12 саженей, на 2-ой бастион из-за 18 сажен и, перебежав это коротенькое расстояние, т.е. потеряв возможно мало людей, полными силами бросаются на истомленного артиллерийским боем защитника, и одолевают его простой физической борьбой.

Войдем же в эти чрезвычайно волнующие подробности. Четвертый бастион почувствовал себе угрозу в минных работах противника. Исследовали почву и открылось, что на 16 фут в глубине, под скалистым непрорываемым грунтом находится пласт желтой глины в 5 футов толщиной, лежащий в свою очередь опять на скале Тотлебен окружает бастион подземной поясной галерейкою, дабы перерезать путь ползущему под землю врагу. Подошва ее сто-

ит на глубине трех сажен. Эту галерею подземным ходом соединяют с внутренностью 4-го бастиона, где сосредоточены войска, и от нее навстречу начинают вести (вперед) слуховые рукава, эти «глаза и уши» осажденного, как удачно называет их г. Маслов в другом месте. Чтобы в рукавах не задохнуться, их соединяют с наружным воздухом 19-ю колодцами. Снаружи неприятелю ничего не видно. Мы роемся внутри и колодцы вырываются не сверху вниз, а снизу вверх: земля выносятся корзинами наружу. Рукава в месяц работы подвигнуты были на 25 сажен. Неприятельская траншея была при начале работ в 65 саженях от бастиона, и от нее же таким же подземным рукавом враг шел к бастиону в неизвестных точках (оттого наугад мы и ведем не один, а несколько рукавов). «18 января в слуховом рукаве была услышана в первый раз работа неприятельского минера. После тщательного прислушивания оказалось, что неприятель идет в том же слое, что и мы, но находится еще на дальнем расстоянии. Решено было подпустить его как можно ближе, и 22 января в 9 часов вечера после того, как из неприятельской галереи стал ясно доноситься шум, был произведен первый взрыв. Ожидали, что неприятель, согласно правилам минной войны, поспешит заложить усиленный горн и взорвать его, чтобы разбить контрмины на дальнее расстояние, но, к величайшему удивлению, французы ответили нам весьма слабым горном, в расстоянии более 13 саженей от нашей воронки. Взрыв этот показал, что неприятель был так поражен действиями нашего контрминера, что не только отказался от минной атаки, но, поспешно отступая и бросив значительную часть своей галереи, постарался преградить ее действием малого горна (стр.76).

Это – совсем как карточная игра: партнеры молчат, но по ходам угадывают масти друг друга и предугадывают ходы. Это – конечно, наука.

Когда среди этой науки встречаешь мирную картину, она ярче действует, чем помещенная среди картин же. 27 апреля был первый день Пасхи. Ярко зажглись к заутрене храмы, и тесно наполнились молящимися. «Все приняло праздничный вид, даже бастионы. Солдаты усыпали площадки песком, обчистили платформы и орудийные станки, приоделись сами; многие офицеры надели нарядные мундиры. Женщины и дети, не обращая внимания на явную опасность, бежали под пулями на батареи, к родным своим – матросам, с куличами и пасхою, освещенными в городских церквах, христовались с мужьями и братьями, беседовали между собою. То было затишье перед бурей: в 5 часов утра следующего дня по сигналу ракеты загремели все французские батареи, а через час открыли огонь и англичане» (стр. 91). Пасха вышла короткою.

Главное наше мучение было – недостаточность запасов пороха и артиллерийских снарядов. Например, между 28 марта и 5 апреля было выпущено:

Французами и союзниками – 160 000 орудийных зарядов,
нами – 89 000;

убито у них (в том числе начальник французских инженеров Бизо) – 1850 человек,

у нас – 6 700;
подбито орудий у них – 0,
у нас – 125.

До чего сильно и, так сказать, непереносимо было их бомбардирование, можно видеть из того, что в некоторые сутки (напр. 28 марта) неприятель выпускал до 34 000 зарядов, т. е. (стр.100) едва ли не на каждого жителя Севастополя приходилось по бомбе, и в каждую одну минуту падало в город более 23 снарядов. Можно представить себе непрерывный гул разрывающихся бомб, непрерывную опасность, огненные дуги, бороздящие небо ночью. И неизвестно было осажденным, что ждет их завтра. А порох у нас таял и таял. Нужно представить себе нервную лихорадку войск, которые с каждым выстрелом, так сказать, теряли свое оружие.

Замечательно, что во всех случаях даже рукопашной борьбы (почти без исключений) мы теряли более людьми, чем неприятель. Это можно объяснить только тем, что, так сказать, голой рукопашной борьбы не бывает, она всегда начинается и кончается стрельбою, и здесь противники имели безусловный перевес над нами в качестве и количестве. Далее, заметно из изложения г. Маслова, что французы дерутся необыкновенно яростно; нельзя сказать, чтобы как львы, но как кошки. Они наносят удары нервно и быстро, т. е. как-то торопливо много убивают, хотя потом и отступают. У них силен первый натиск, хотя они быстро, быстрее русских, слабеют. Далее нападающий, вероятно, вообще имеет преимущества перед защищающимся: он выбирает место удара, определяет способ удара; мы принимаем то, что он дает, и там, где дает: а уж он не даст выгодного нам. Наконец, самый дух атаки, дух нападения есть высший активный момент в человеке: он поднимает все его силы, делает – если даже и на минуту – героем. Вот совокупностью-то этих данных и можно объяснить, почему французы, бывшие снизу вверх, все же били смертельнее, чем русские, бывшие сверху вниз.

Отношение борющихся сил было такое: у нас в Севастополе было 35 000 войска, но из них более $\frac{1}{4}$, именно 9000 были артиллеристы; артиллерийских снарядов у нас было на пушку по 150, на мортиру 25 – 50. У союзников стояло непосредственно под Севастополем 100 000 человек и еще в наблюдационном корпусе и под Балаклавою 75 000 человек; а артиллерийских снарядов приходилось на пушку 500 – 800, а на мортиру 300 – 500. Вот технические условия борьбы. Они постоянно, так сказать, задерживали русский размах, заставляли Севастополь дышать неполной грудью. Во время страшной бомбардировки 28 марта мы читаем распоряжение: «Отвечать на два неприятельских одним»; на 30 марта: «Расходовать на орудие не более 30 снарядов». В вечеру этого дня артиллерия IV-го бастиона могла отвечать неприятелю только из двух пушек: все остальные были приведены в негодность ядрами противника. И это в то время, как в двое этих суток осаждающий выпустил на Севастополь 70 000 снарядов. Укрепление превращалось по временам в какую-то кашу камня и земли, но неутомимый и разъяренный защитник немедленно восстанавливал их. Солдаты наши спали по 5 ча-

сов в сутки, менялись сменами днем, а к ночи наготовляясь все к штурму. Неприятель, приведенный в отчаяние сопротивлением, менял главные точки нападения и предполагаемого окончательного штурма. Вся осада разбилась на кусочки. Но в каждом кусочке она была полна смыслом и каждый день каждый залп орудий преследовал определенную цель, имел определенное намерение: ослабить там-то нашу артиллерию (подбить орудия бастиона), сбить брустверы (8-ми футовой вышины валы), пробить ходы, дать возможность продвинуть вперед траншею. Вот одухотворение этих-то кусочков и составляет интерес военно-технической книги г. Маслова.

В силу плохих дорог в империи, пороховые транспорты все еще не приходили. Стали брать заряды с судов и береговых батарей. Наконец, со 2 апреля для добычи пороха начали разделявать даже ружейные патроны. Наконец, 3 апреля пришел первый транспорт с 1 450 пудами пороха. К этому именно дню у нас было расстреляно все, за исключением неприкосновенного запаса.

Перевязочные пункты и лазареты после этого бомбардирования были переполнены ранеными. В них, под руководством Пирогова и профессора Киевского университета Гюббенета, кипела самая усиленная деятельность. Важные услуги оказывала в это время и до самого конца Севастополя учрежденная на средства великой княгини Елены Павловны Крестовоздвиженская община сестер милосердия, прибывшая на место действий в составе около 60 лиц под управлением своей достойной начальницы г-жи Стахович. Главным центром медицинской деятельности было Дворянское собрание.

Читая книгу г. Маслова, на каждых 10 страницах встречаем волнующий эпизод. И он тем более занимает вас, что вам объясняется мельчайшая его техника. Вот проходит что-то похожее на измену генерала Жабокритского (и хороша же фамилия): он ослабляет защиту назавтра атакуемого пункта, о каковой атаке ему и всем было известно через перебежчиков, и в самый день штурма сказывается больным и с южной стороны (осаждаемой) уезжает на северную; к счастью, назначенный вместо его генерал Хрулев моментально меняет опасную диспозицию наших войск и все спасает своей беззаветною храбростью (стр. 118–119). Прекрасно обращение Хрулева к роте Севского полка. Она шла с работ, когда бригада ген. Миоля овладела домиками по покатоности Малахова кургана (общий штурм 6 июня, в довшину сражения при Ватерлоо): «Благодетели мои, за мной, в штывки! Дивизия идет на помощь». За ротой, впереди которой пошел Хрулев, бросились и остатки отступавшего Полтавского батальона, — и французы были выбиты из опасного пункта. $\frac{3}{4}$ севцев легли в этом деле на месте.

28 июня пал Нахимов. Он был сражен пулею в висок, рассматривая в подозрную трубу неприятельские укрепления из амбразуры на Малаховом кургане. Тело его было обернуто в изорванный флаг с корабля «Императрица Мария», бывший в Синопском бою, и спущено в землю близ могил адмиралов Лазарева, Корнилова и Истомина, близ городской библиотеки. Во время печальной процессии неприятель прекратил пальбу.

В августе месяце, после неудачного с нашей стороны дела на Федюхиных высотах, поведенного вопреки советам Тотлебена и Хрулева, канонада неприятеля достигла нестерпимой силы. «Во всем городе не оставалось более ни одного безопасного места, где можно бы было укрыться от неприятельских бомб. Огненный ураган осады захватывал на этот раз все его удаленные, мирные дотолы, уголки. Жителей на улицах не было видно. Городские базары опустели. В Михайловском соборе было прекращено богослужение» (стр. 149). 2-й бастион был почти разрушен и едва держался. В Севастополе называли его «адам, бойнею и толчеею». Самое сообщение его с 1-м бастионом, где стояли резервы, был перевязочный пункт и находилось начальство, было до такой степени опасно, что раненых оставляли лежать до сумерек, и только тогда уже переносили на перевязочный пункт. На нем не было ни одного неуязвимого места, и бомбы, ядра, пули летели по всем направлениям. Французы бросали, с целью разрушения брустверов, бочонки с порохом, около 6 пуд. веса каждый, при помощи фугасов. Можно представить действие каждого подобного выстрела.

Как известно, Севастополь пал потому, что пал Малахов курган. Поражительно, что на всех прочих местах (II бастион и куртина, III бастион, городская сторона), куда поведено было неприятелем также много войск и которые также первоначально попали было в руки французов, атака была остревенелым напором русских выброшена вон. Вся линия укреплений оставалась за нами, кроме одной этой точки. Вот как это случилось.

Сели обедать. На бакалах оставалась редкая цепь стрелков. Ген.-лейт. Буссау готовился раздавать георгиевские кресты; кап.-л. Карпов разговаривал в блиндаже с приехавшими из главной квартиры флиг.-адът. Воейковым, когда вдруг раздались крики: «Французы! Штурм!».

Бригада Декэна бросилась на передовой фас, прежде чем наши успели добежать до banquetов. Шедшие впереди французы быстро прыгивали в ров и лезли на бруствер без лестниц, подсаживая друг друга. В то же время саперы перебрасывали через рвы мостики и стали проделывать в переднем фаше проход. Внутри бастиона завязалась ожесточенная свалка. Солдаты и матросы дрались штыками, прикладами, банниками. Здесь был убит ген. Буссау и командир Модлинского полка Аршеневский. Наконец, на башне взвилось трехцветное знамя французов (1-го полка зуавов). Наши кинулись вперед, чтобы отбить знамя. Но были отнесены назад. Тут был ранен и взят в плен капитан-лейтенант Карпов. Другая часть французов бросилась вправо на батарею №18 Панфилова и, переколов прислугу, очутилась в тылу ретраншемента. Прагский полк сначала вытеснил их из батареи, но при этом командир полка был смертельно ранен. Мак-Магон двинул вперед бригаду Винуа, которая отбросила прагцев. Сам Мак-Магон сперва стоял под жестоким огнем позади Корниловского бастиона и вошел внутрь уже с прибытием 2-й бригады по мешкам, из которых саперы устроили в одном месте переход через ров. Для воодушевления войск, французские музыканты поместились во рву и играли марш. Французы огромной массой хлынули на

площадку между ретраншементами и первой линией траверсов, а несколько батальонов бригады Винуа, пройдя по рву, поднялись на бруствер левого фланга. Защищавший его Замосцьский полк был смят и скоро остатки 15-й дивизии были отброшены на последнюю площадку укрепления перед горжею. Так называлось узенькое, на подобие горла, соединение одной внутренней бастиона с другою, заднею его частью. Наши солдаты впоследствии прозвали эту площадку «чортовой».

Мак-Магон сейчас же ввел в дело (около 2 часов дня) бригаду генерала Вимпфена и 3 гвардейских батальона. Из-за траверсов они открыли жесточайший огонь по русским, столпившимся на площадке. В то же время стали последовательно прибывать к кургану: генерал-майор Лысенко с частью полков 9-й дивизии, Хрулев и вскоре за ним Ладожский полк.

Хрулев стал во главе Лажожского полка и, введя его через горжу на площадку, бросился в проходы между траверсами. Головные ряды были тотчас же перебиты, вместе с ними командир этого полка Галкин и все старшие офицеры, а самому Хрулеву оторвало пулею палец на левой руке. Вследствие мучительной раны он должен был удалиться, а за ним и часть наших войск отступила за горжу. Принявший после Хрулева начальство генерал Лысенко тоже был отбит и смертельно ранен. Место его занял генерал Юферов. Солдаты наши стеною ломались между траверсами, но безуспешно. Сам Юферов при этом пал геройской смертью, отчаянно отбиваясь от французов. В одно время с ним был убит флиг.-адъют. Воейков, пытавшийся атаковать курган со стороны батареи Жерве. Подобная же попытка капит.-лейт. Ильинского также не увенчалась успехом.

После этого еще почти целый час продолжалась перестрелка около горжи. Наши охотники еще удерживали заднюю линию траверсов, перестреливаясь через них почти в упор с французами. Позади охотников теснилась густая толпа офицеров и нижних чинов разных полков. По временам некоторые офицеры, увлекая кучки солдат, бросались вперед в штыки. Наконец, пользуясь полным расстройством наших войск, французы стремительно бросились вперед, оттеснили их от траверсов, заняли горжу и тотчас же приступили к заделке выхода. Таким образом, через 2 1/2 часа после начала штурма, все укрепление Малахова кургана перешло во власть неприятеля.

Рассматривание прекрасных военных карт, приложенных к книге А. Н. Маслова, уясняет все детали.

Всякое напряжение есть обнаружение сил. Сила есть главная красота всякого живого существа, — красота высшая, нежели так называемая прелесть, изящество, может быть, даже — чем добродетель. Сила есть главная добродетель всего, что живет и хочет жить. Вот отчего война навсегда останется самым величественным и привлекательным зрелищем истории. День живет здесь за год и год за век. Мы прожили десять веков исторической жизни и едва ли можем насчитать десять войн, имевших общенациональное, общенациональное широко-историческое значение. Не более этого имел значительных, великих войн Рим: войны с латинским союзом, с самнита-

ми, с Пирром и Карфагеном,— и затем пошли страшные междоусобные войны. Таким образом, в точности война есть великое извержение национальных сил, и каждого народа хватает на немного войн. Народ истощает в них главную свою красоту — красоты крови, породы, как художник истощает на картину краски палитры. Не только красива самая война, но и около войны все расцветает красотой. И наши великие гражданские успехи в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов имеют долю объяснения своего напряжения и успешности в том, что они явились фруктом в чашечке цветка такого пурпурового цвета. Великая война привела в сильнейшее движение все благородные силы страны; привела в движение, в напряжение даже и те силы, которые не переступали черту Таврической губернии. Вся Россия жила военно целый год; и эти-то поднятые войною силы дали нам и гражданские реформы, а частью даже литературные цветы, идейное движение.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О книге В. А. Добролюбова>

Вышла брошюра-книжка г. В. А. Добролюбова: «Ложь гт. Николая Энгельгардта и Розанова о Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевском и духовенстве». Ознакомившись с нею, я вижу, что подал автору причину к гневу действительно неосторожною обмолвкою в статье «Нов. Вр.»: «Сословное ли только безвкусие» в следующих ее строках:

«Иногда вопрос трудный, вопрос тонкий, вопрос нерешенный и, может быть, даже нерешимый, вдруг разрешается (т.е. писателями) почти в серию анекдотов. Не весело эту неделю лежалось косточкам о. Матвея Константиновского в могиле. Сколько раз перевернулись оне там, когда имя его повертывалось так и этак здесь (в статьях И. Л. Щеглова и Н. А. Энгельгардта)! Но в конце-концов что же мы получили? О. Матвей — случай. Около этого случая — случаи Надеждина, Чернышевского, Добролюбова, Благодетельского и общее заключение: вся антиэстетичность в нашей литературе шла от семинарий».

Об этой обмолвке я жалел на другой же день по напечатании моей статьи, сказав себе: «Зачем я назвал Добролюбова». О Добролюбова автор настоящей полемической брошюры может прочесть мотивированное мое мнение в книге «Литературные очерки», в статье ее «Три момента в развитии русской критики», и из нее увидел бы, что настоящий мой взгляд на Добролюбова, сколько-нибудь обстоятельно изложенный, не мог бы вызвать у него никакого раздражения. По правде сказать, из этих мною перечисленных (почти механически, — вслед за Н. А. Энгельгардтом, который упомянул эти имена) писателей только Благодетельский и его «Дело», много лет мною читавшееся в старших классах гимназии, и тогда же вы-

звывавшее во мне негодование, может подойти под определение «безвкусице», «антиэстетизм». Надеждина, как журналиста и литератора, я вовсе не знаю (кроме книги «О скопческой ереси», изданной в Лондоне Кельсиевым, но это, собственно, не литература), монография Чернышевского о Лессинге, читавшаяся мною в университете, показалась мне превосходною, в стиле и, так сказать, в общем блеске взглядов, живых, добросовестных и энергичных. «Что делать» – мне показалось не интересною и самодовлеющею канителью, а другого чего-нибудь из Чернышевского я ничего не читал. Что касается Добролюбова, то я его всего и неоднократно читал с одинаковым увлечением как в его серьезных статьях, начиная с обзора «Собеседника любителей русского слова» и кончая шуточными стихами Конрада Лилиеншвагера («Свисток»). Не могу определить, чему я у него научился, но удовольствие чтения всегда было, как и согласие со взглядами, впрочем отнюдь не открывавшими мне чего-нибудь нового. Упоминаю о стихах и шутках его, потому что всегда несколько не понимал, почему вообще прилежный, обстоятельный и чистосердечный, хотя слишком самообольщенный критик А. Л. Волынский в своем исследовании русской критики находил пародии Добролюбова плоскими и не остроумными. Оставляю в стороне всю идейную сторону и сосредотачиваюсь на литературно-эстетической, о которой, собственно, и говорит В. А. Добролюбов, брат покойного критика, перед которым усердно извиняюсь, если неосторожно (и не намеренно) обмолвкой мог причинить ему скорбь за брата. Только напрасно он так горячо и сложно (170 страниц в брошюре) раздражается: Н. Добролюбов учил всех краткости. Что касается остального, крикливого и бранчливого, содержания брошюры, затрагивающего другие мои взгляды, то могу ответить на них словами со 2-й страницы ее: «Некоторая часть публики враждебна даже ему, потому что не понимает его».

О ПРЕПЯТСТВИЯХ К БРАКУ

Недавно меня посетил приехавший из Соединенных Штатов русский православный священник. Он много рассказывал о тамошней жизни, и все возвращался к пункту, и его и меня интересующему, – физического и нравственного здоровья народа. Он ознакомил меня с результатами уже 50-летней деятельности «Христианского общества молодых людей в Северной Америке», полувековой юбилей которого праздновался в Бостоне летом 1901 года. Затем назвал брошюрку русского исследователя о движении населения в России (заглавия ее я забыл), в которой показывается, что население России далеко не так быстро увеличивается, как мы привыкли думать по старым учебникам, и что состояние Франции, где рост населения остановился, не бесконечно удалено и от нас. Он жалел, что я прекратил писать о разных сторонах брака и, упомянув о «Религиозно-философских собраниях», пос-

леднее заседание которых посетил, указывал, что наибольшую пользу они принесли бы, останавливаясь не на теоретических и догматических вопросах, а на нравственно-жизненных, каков, напр., брак. С последним я не согласился, ибо полное разрешение практических вопросов лежит, так сказать, в обладании узла вопросов догматических. Напр., весь вопрос о браке зависит от вопроса об аскетизме. Пока последний владычествен, он будет обладать браком, как господин рабом. И как бы ни было плачевно это управление, ничего с ним нельзя сделать, не затронув вопроса о сравнительной метафизической и религиозной ценности и опорах самого аскетизма. Пока господин есть господин, он – господин. По римскому праву *patria potestas** не останавливалась в действии своем, даже когда *pater* был сумасшедший. А римское право действительно и в Европе. То же и здесь в применении к идеалам детства и супружества.

Так я говорил.

— Да вовсе нет. Самое право аскетов регулировать брак ни на чем не основано, и византийские императоры только по незнанию канонического права предложили в свое время монахам установить правила брака. По «Апостольским правилам», основной у нас канонической книге, монах не должен мешаться в мирские дела. Таким образом, ни законы, аскетами выработанные, ни текущее теперешнее управление ими же семейных дел не имеет под собою почвы канонической.

Это меня поразило, и я позволяю себе передать мысль почтенного священника, как я ее услышал. И ранее, в приватной переписке, мною сохраняемой, и в устных беседах со священниками мне случалось неоднократно выслушивать одобрение моими мыслями о браке, разводе, незаконнорожденных детях.

Все эти вопросы они считают бесконечно запущенными, пренебреженными, так сказать, съехавшими с канонического фундамента, потому что с него съехала вообще вся цивилизация, живущая в XIX веке далеко не так, как в IX. И что было применимо в маленьких епархиях Исаврийской династии или Комненов, что было в то времена исполнимо, решительно не исполнимо и не применимо в чудовищных социальных и политических организациях новых времен. Епархийки Византии работали для себя, *ad usum temporis*, без мысли о вечности. Не удивительно, что мы только ломаем себя, применяя нормы миниатюрной тамошней жизни к бытию стомиллионных народов. И пришлось нам, напр., завести дома терпимости от полного отсутствия брачных норм, брачных условий, соответственно выработанных в применении к быту постоянных армий и подвижного рабочего населения, в ту древнюю пору вовсе не существовавших, а в нашу пору выросших до огромных размеров. И пришлось нам считать, напр., основание дома терпимости канонически допустимым в стране, а женитьбу двух родных братьев на двух родных сестрах канони-

* отцовская власть (*лат.*).

чески недопустимым событием. Но историческая подавленность у нас духовного сословия заставляет его говорить золотые слова «в уголке», а на стол класть «медь звенящую»...

Продолжая рассказы об Америке, мой гость упомянул, что священник, отказавшийся назавтра же обвенчать вступающую в брак пару, платит 500 долларов штрафа, и что венчания совершаются во все дни года, а не 60 дней в году, как у нас. О последней цифре я переспросил, удивившись, что так мало «венчальных дней». Оказалось, что это не обмолвка. Он высказал удивление, что таинство, т.е. святое, почему-то невозможно в пост. Я более чем согласился с ним, указав на несомненное притворство неведения, будто повенчавшиеся только что только перед семинедельным постом разорвут супружескую жизнь на все эти семь недель. К чему такая наивность клириков? А если они ее не имеют, то зачем же «медовый месяц» именно помещать в посту? Да и затем, ведь невольно образуется у всего народа представление, что супружеская жизнь есть какая-то масляница, объядение, а не нормальная и постоянно ровно текущая жизнь? Вырождение семьи христианской, малочисленность и особенно болезненность и малоспособность детей очень вытекают из этих интервалов то полного воздержания, то неумеренной чувственности, чему народ без сомнения предается, послушно внимая гласу, что «супружество есть мясоед, а пост есть девство», и начиная жить супружескою жизнью среди пьянства, объядения и удаления от молитвы, и вот в такой-то печальнейшей обстановке, истинно языческой, плоды детей не столько, как человеческие души, сколько как кроликов или свинок. Ужасно!

Мой собеседник согласился со мною, что здесь надо искать причины разрушения и вырождения семьи. Когда я переспросил его, неужели в Соединенных Штатах не требуют от венчающихся документов, он мне ответил, что, конечно, нет, это полицейская сторона брака, нимало священника не касающаяся, и за нее венчающийся отвечает сам перед законом и судом. «У нас же, — прибавил он, — требуется целая пачка документов, и, напр., здесь в Петербурге совершенно невозможно венчать пришедших на отхожие промыслы крестьян. Именно — они должны сделать оглашение по месту постоянного жительства. В Петербурге о них оглашения сделать нельзя, потому что здесь они временно, хотя бы и давно живут, и требуют от них свидетельства оклика с родины. Они пишут туда. А оттуда отвечает священник, что он не может совершить оклика, ибо парень уже много лет отлучился с родины и, может быть, теперь женат. Получив такое уведомление, мы отказываем в браке — и это огромному множеству холостых и совершенно к браку правоспособных людей. Между тем самый закон об окликах есть католический и усвоен русским законодательством очень поздно. Судите, какие от этого последствия. Проституция растет, множество людей вступает в нелегальные связи, а рождающихся от них детей выкидывает в воспитательные дома.

Да. Осторожность, которая обходится дороже безрассудства. Ну, пусть по ошибке или злоупотреблению повенчают две-три пары на сотню неканонически, нарушив «1001 препятствие к браку». Соглашаемся, худо. Но не хуже ли во избежание двух неправильных браков не дать зародиться 98 совершенно правильным семьям? Заливая голову, мы пускаем потоп, который подмывает дом.

И вспомнил я еще муки нашего бракоразводного процесса, всю канитель о «приемышах», о «подкидывании» самими родителями себе своих же детей в случаях жизни невенчаных пар, и спросил себя: да что же это за униженная и опозоренная область, – область семьи, детей и рождения?

И мысль о самозащите семейных людей вспыхнула во мне. Вот хоть бы вопрос о католических окликах, к нам зачем-то перенесенных, об «обыске» (что за грубое слово в отношении нежных жениха и невесты? Точно они воры), да, кстати, и о 500 долларах штрафа за отказ повенчать накануне фатальной среды, пятницы и семи недель поста? Позвольте, синдикаты сахара и керосина, торговцы Нижегородской ярмарки добиваются даже новых тарифов, добились охранительной таможенной системы, добиваются отмены неудобных для них одних законов и установления других, нужных и удобных. Почему такой почтенный факт, как семья, как семейные русские люди, сложившись в союз, сперва, пожалуй, интимный, как и сахарозаводчики первоначально слагались интимно же, а потом и в формальный и открытый, не проведут ряд мер в сфере семьи, брака, детей, развода, который доставил бы государству такие выгоды, как:

1) обилие семей.

2) здоровье нравственное и физическое детей и их, во все случаях, юридическую обеспеченность, ибо дитя всегда *inposens** и наказанию никогда и ни за что не подлежит;

3) развод на почве прелюбодеяния, но отнюдь не публичного, при свидетелях, а о котором есть доказательства в письмах, в обстоятельствах жизни (например, разрешения от бремени или постоянной жизни жены в квартире постороннего человека), в свидетельствах знакомых и друзей, или в личном обоих супругов сознании. Также – на почве нравов и обхождения, где исключена всякая тень человеколюбия и нравственности;

4) в случае основательного развода – обеими сторонам право вступления в брак. Ибо допустим, что брак расторгнут «по вине прелюбодеяния» мужа ли, жены ли. То ведь, если они, уже состоя в браке, «уклонились в прелюбодеяние», то, что же, неужели теперь, оставшись «запрещенно на всю жизнь к браку», виновная сторона от прелюбодеяния воздержится? Если, уже состоя в первом браке, при страхе глубоких неприятностей, расстройстве семьи, иногда убийства, виновный все же впал в прелюбодеяние, то теперь, когда брак расторгнут, неужели он будет постничать?!

* невинный (*лат.*).

О НЕКОТОРЫХ ПОДРОБНОСТЯХ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ УРОКОВ

При группировке предметов и уроков в училищах во всяком случае следовало бы иметь в виду две задачи: не тратить хотя бы у некоторого числа учеников силы вовсе непроизводительно и не помещать труднейшее впереди и раньше легчайшего, если это не вызывается какой-нибудь неустранимой нуждой. Просматривая напечатанные у нас вчера таблицы недельных уроков в гимназиях, как их проектировала комиссия директоров и, с некоторыми вариациями, проектировал ученый комитет, — нельзя не обратить внимания на положение греческого языка в четвертом классе и на взаимное отношение новых языков. Известно, что четвертым классом оканчивается прогимназия и что этим классом очень много бедных учеников, или учеников бессильных, завершают свое учение в гимназии. Удовлетворительно сданный экзамен в пятый класс дает целую серию прав и преимуществ как по отбыванию воинской повинности, так и по поступлению в многообразные практические училища различных ведомств. От этого самые бедные ученики и ученики самых слабых способностей употребляют все силы, чтобы перейти в пятый класс и не задержаться в четвертом, — как несколько позднее — перейти в седьмой класс и не остаться в седьмом. Классы четвертый, пятый и восьмой суть критические. И особенные нужды учеников этих классов должны бы быть приняты во внимание, если мы без нужды не желаем плодить довольно тягостную и во всех отношениях неудобную категорию житейских «несчастливцев». Поэтому программа именно этих критических классов должна быть особенно тщательно взвешена и в них без крайней нужды не должны начинаться новые предметы, не завершающие ничего из пройденного в предыдущих классах. Новые науки должны начинаться с пятого и седьмого классов: пусть лучше в седьмом или пятом классах по этим предметам будут прибавлены лишние уроки, лишь бы самые предметы эти не тяготили программы критического класса, являясь для выходящих из них учеников началом без продолжения, балластом памяти без применений и без нужды, предлежащим к забвению сейчас же по выходе из четвертого или шестого класса и при поступлении в ветеринарный институт или коммерческое училище.

Вот почему включение в программу четвертого класса греческого языка мы не считаем удачным: или его надо отнести, как прежде, в третий класс, или перенести в пятый. Время, у него изъятое, могло бы быть отдано математике или новым языкам, принимая во внимание начало прохождения здесь геометрии (наука не новая в составе общематематических) и что с четвертого класса число уроков новых языков печально упадет с 5 (первый и второй классы) до 2-х (четвертый класс).

Второе указание следует сделать по поводу новых языков. Немецкий и французский языки равно важны и желательны в гимназии. Но между ними есть та разница, что немецкий язык гораздо труднее по построению фразы

и по грамматическим формам, а французский язык зато имеет особенности произношения, которые хорошо перенимаются в наиболее раннем возрасте, самом гибком в подражании, гибком в голосе. Вот отчего во всех отношениях выгодно изучение французского языка помещать раньше изучения немецкого, и ни в каком случае не наоборот. Из множества наблюдений также известно, что тот, кто раз начал изучать сперва немецкий язык, никогда не научается хорошему французскому произношению.

Наконец, мы думаем, что недельная таблица, проектированная комиссией директоров, имеет одно преимущество перед другою: она дала по крайней мере один урок во втором классе на чистописание. Если мы вспомним, какое множество учеников, весь низший круг их по средствам и по способностям, выходит из гимназии в этих двух начальных классах и потом определяется в разного рода торговую и конторскую службу, где с них единственно спрашивается «красивый подчерк», — мы поймем, что этот предмет, для ученого комитета самый мало важный, есть существенный. Правписание и красивый подчерк есть *conditio sine qua non**, чтобы мальчика 13–14 лет приняли куда-нибудь в контору или торговую фирму для «письменных занятий».

ГЛАВНОЕ ЛИЦО В ШКОЛЕ

Рескрипт Государя на имя управляющего министерством народного просвещения, выдвигающий вперед воспитательные задачи перед механическим учением, без сомнения, возбудит и в обществе, и в печати новое движение к обсуждению педагогических вопросов.

Едва ли где так расходились система учения и учитель, как у нас. Везде эти два основные элемента образования и воспитания вытекли один из другого и прогресс одного был непременно и прогрессом другого. Весь школьный строй подымался с учителем, и, собственно, учитель творил из себя школу. Говоря так, мы разумеем не первоначального учителя, не учителя только гимназии, а все степени и типы учения, включая сюда и высший академизм. Известен краткий диалог между Наполеоном и Вольтою, изобретателем электромагнетического столба, носящего его имя. Нуждаясь во времени для своих опытов, Вольта решительно отказался от преподавания в университете. Наполеон настаивал. Вольта объявил, что он не может выполнить обязательства лектора и едва ли будет иметь досуг прочесть десять лекций в году. «Пусть только десять, но университет не может остаться без вас». Много или мало узнали ученики от Вольты, но навсегда осталась память о благородном и, конечно, мудром взгляде Наполеона на учителя и его первенствующую важность в системе. Имена великих педагогов, как Песталотци, как Коменский и Эразм, освещают в Германии це-

* Обязательное условие (*лат.*).

лые эпохи школьного просвещения. Дух и направление вытекали из души учителя. И нередко педагог там становился выпуклою личностью и просвещения в более обширном смысле, в общественном и литературном.

У нас педагог всегда был ремесленник, и он не только был таковым, но и был так поставлен; такова была на него основная точка зрения, которую в конце концов усваивал и он сам. У нас не было эпохи Песталоцци, а было время «устава 1802 года», «устава 1849 года». Были системы Уварова, Толстого: имена, которые выражают самые оттенки школы и дух ее. Между тем нельзя отрицать, что попытки русской души вспорхнуть в верхние слои педагогики, перейти от ремесла к творчеству, раскрыть крылья и полететь, были: имена Н. И. Пирогова, Ушинского, недавно скончавшегося С. А. Рачинского говорят о высоких задатках у русских в этой области. Сказать, что мы невнимательны к этому делу нельзя ввиду того множества собственно учебных воспоминаний, какие есть у нас. Нет, русский учитель жив. Но Н. И. Пирогов должен был оставить пост попечителя киевского учебного округа, потому что он был слишком самостоятельный подчиненный для гр. Д. А. Толстого; и С. А. Рачинский, желая в родном имении заниматься в сельской школе, получил позволение (уже будучи несколько лет профессором) сдать при Бельской прогимназии экзамен на сельского учителя, и долгое время местный инспектор народных школ требовал одной мелкой перемены у него в школе или в противном случае грозил закрыть его училище. И Пирогов, и Рачинский были видные люди, и «система», так мало уважающая в них человека и педагога, скорее проигрывала. Но по этим крупным примерам позволительно судить, как ничтожна вообще роль учителя в русском училище: какое это стертное «общее место». А между тем, никто не всмотрелся, не было ли чего-то своеобразного, доброго и умного в этом полинялом человеке, покорном и пассивном чиновнике под старость.

Воскресить русского учителя – вот что требуется. Не столько создать его, вымуштровать, научить методам и пустить «на службу», как заведенный волчок, – есть много проектов этого, – сколько дать ему отдохнуть душою, осмотреться, да, наконец, и сказать об учебных делах свое слово, сказать его в совете попечителя, в печати. Нам кажется, что есть некоторый недостаток в том, что в так называемые «попечительские советы» приглашаются директора только, и то одни столичные, но вовсе не приглашаются учителя. Директор есть более администратор, чем педагог, а взгляды администратора далеко могут не совпадать со взглядами, с пожеланиями педагога.

Возьмем сокращение часового урока до 55 минут, так неудачно сделанное в 90-х годах ввиду прибавления 6-го урока в некоторых классах гимназии. Только наглядно видя сонных учеников на шестом уроке, только торопясь в течение 55 минут и выпросить урок у учеников, и объяснить хоть что-нибудь к следующему уроку, и записать в классный журнал отсутствующих учеников и задаваемый урок, – можно было понять, до чего нововведение было ошибочно в педагогическом отношении. Между тем с чисто

административной стороны, что значило вместо «60 минут» написать «55 мин.» и в некоторых классах поставить «6 уроков» вместо «5 уроков». Не было наглядного в подробностях представления, и преобразование, истощавшее силу учеников и портившее и без того торопливую и постоянно недоделанную работу учителя в классе, было произведено. Мы берем одну подробность. А сколько таких неудачных подробностей во всем режиме гимназий.

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ НАРОДА

Дар изобретательности иногда стоит богатства и можно с ним принести столько же пользы. Сколько у нас изданий по гривеннику, по 15 к., которых невозможно взять в руки человеку со вкусом и рассудительностью, а они десятками тысяч разносятся коробейниками по всей России, покупаются мужиком и любознательным школьником и стрянут в зубах, как громоздкая и не питательная пища. Помню из детства, как собрав все силы, т. е. в разное время подаренные копейки, я купил первые себе книжки: «Ермак Тимофеевич», о каком-то солдате и разбойнике (эти были хороши, хотя о Ермаке чудовишно безвестна) и затем «Гуак» и «Франц Венециан». Последние стоили что-то около 30 к. С какими надеждами я нес их домой. При тусклой свече читаешь: «Вот будет интересно, страшно, таинственно». Я плелся-плелся по страницам. Где происходит, что происходит – ничего нельзя понять. Какая-то жеваная бумага. Совершенно ничего интересного, совершенно нечего я не понимал. Так и задавила книжная торговля мои 60 коп. А чего они стоили! И столько раз я перечитывал маленькую квадратную книжку с 2-3-мя раскрашенными картинками: «Путешествие Вольдемара». Тут тоже было не очень ясно: где, что и для чего происходит. Но один эпизод, когда путешествовавший пешком мальчик Вольдемар попался к разбойникам, испугал темноту остального содержания.

Замечу для всех издателей народных книжек, что фабула, сюжет, – для нас взрослых не очень интересный, – для малолетнего, и, я думаю, для мужика составляет все. Сюжет приводит его в неопишуемый восторг. Он переживает его как полную, с ним самим происходящую действительность.

Передо мною прекраснейшее по изобретательности издание какого-то г. Я. Бермана. Выписываю целиком с обложки, не зная, кто это и что, типограф, торговец, или образованный человек. Как бы давно следовало сделать издание, им придуманное, какому-нибудь филантропическому комитету или земству. Подумайте: копейка – это уже у всякого есть, у дворника, мужика, мальчика, извозчика, даже у золоторотца. И за копейку он получает «Книжку-копейку», на выбор какую-нибудь из 23 номеров. А сюда входят: 1) «Сказка о мертвой царевне» Пушкина, 2) «О золотом Петушке» и «О рыбаке и рыбке» его же, 3) «О купце Остолопе и его работнике Балде», 4) «Гробовщик», 5) «Барышня-крестьянка». Каждая под номером вещь – копейка, да еще в тексте есть рисуночки, неважные, но и не совсем плохие. Три книж-

ки, № 4, 6 и 10 отданы Крылову, в одной книжке 14, в другой 18, в третьей 13 басен, конечно, тщательнейшим образом отобранных. Лермонтову отведен № 3 – «Песня про купца Калашникова»; желательно увидеть здесь «Тамань», «Фаталист», «Бэлу», «Ашиб-Керим» и лучшую лирику. № 8 отдан Кольцову. №№ 22 – 23 включают «Коляску», «Заколдованное место», «Пропавшую грамоту» и «Вечер накануне Ивана Купалы» Гоголя; №№ 11 и 12 – «Где любовь, там и Бог» и «Много ли человеку земли надо» Л. Н. Толстого. Серия «книжка-алтын», стоящая 3 коп., содержат 6 повестей Гоголя: «Майская ночь, или утопленница», «Нос», «Сорочинская ярмарка», «Страшная месть», «Старосветские помещики» и «Вий». Все книжки изданы скромно, но опрятно, а «книжка-алтын» даже в красивой обложке, и выбор содержания превосходен. Но в издании больше всего мне понравились: «Дворник» и «Подпасок», рассказы С. Т. Семенова, «Разбойники в доме» А. Донского и «Забракованный», «Захромала», «Адриан и его собаки» А. И. Свирского. Книжки эти – новое, не привычное, оне не предоставляют той «классической литературы», которой только ленивый или окончательно равнодушный к чтению человек не найдет в грошовой читальне, у букиниста под лавкой или у знакомого человека в его маленькой библиотеке.

Десятки тысяч дачников русских рассеяны теперь по дачам. Многие все же посещают в неделю раз Петербург. Всего полтинник стоит, чтобы захватив вместе с икрой и другими закусками 50 «книжек-копеек», разбросать их между ребят деревенских. Сколько впечатлений, сколько пользы, какой свет на деревню. И «Дворник» и «Забракованный» написаны так хорошо, что несмотря на утомленность чтением, понятную у литератора, мы прочли оба рассказа с сильнейшим волнением.

РАННЯЯ ИНВАЛИДНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Никогда, кажется, так жестоко не порицали учителя, как этот последний год, а между тем дал ли себе кто-нибудь отчет в том известном и поразительном факте, что через 25 лет службы государство само считает учителя инвалидом, неспособным или крайне редко способным к дальнейшему продолжению своей, казалось бы, симпатичной, одухотворенной деятельности. С этого факта должны начинаться все рассуждения об учителе. Государство скуппо и, во всяком случае, бережливо, и назначая учителю отставку и полную пенсию через 25 лет, когда все прочие служащие получают ее через 35 лет, очевидно, не фантазировало, не основывалось на гипотезах и соображениях, а исходило из очевидной невозможности взять от учителя хотя бы еще год, два, три сверх очень коротенькой нормы. Если мы скажем, что это деятельность духовная, то разве не духовно трудится судебный следователь, адвокат, прокурор, врач, которые все дают государству 35 лет труда. Если к понятию «духовная» мы прибавим термин «ученая», — министерство народного просвещения часто называется «ученым ведомством», — то разве деятель-

ность юриста и врача не требует также постоянных ученых справок, внимания к текущей литературе предмета и проч.? Почему же один учитель только падает в изнеможении, в истощении так скоро, в относительно не старый возраст 50 лет. Парируем возможное возражение о том, что притупленное внимание особенно не приличествует учителю, ответом, что врач, от рецепта которого зависит иногда жизнь пациента, должен быть еще внимательнее, настороженнее. Нет, именно труд учителя есть какой-то особенно тяжелый, «избранно» тяжелый. Но в чем? Но каким образом? Пять часов труда в день есть скорее малое его количество, нежели чрезмерное.

Удлиним еще наблюдение: во всех профессиях люди меняют их, «меняют места», службы, роды деятельности, иногда преуспевая в последующей, а в предыдущей являясь неуспешными. Учитель этого никогда не делает, учителей нет иначе как в учебном ведомстве, столь скудно оплачивающем труд. Это отчего? Дело в том, что гораздо ранее 25 лет, на 9-й и 11-й год службы, учитель уже становится полуинвалидом, без энергии, без инициативы. Робость и подавленность есть общий облик учителей, из которого встречаются только очень редкие исключения «жизнерадостных педагогов», большею частью составителей учебников, — людей свободных, прежде всего, служить и не служить. И уже одна эта свобода окрыляет их. Обыкновенный учитель, т.е. все вообще учителя, суть люди, утратившие всякую энергию приспособляемости, перемены в себе, перемены функций умственной своей деятельности; но тут было бы неуместно сказать, что они застолылись, оконечили и притупились в недвижности спокойного и довольного состояния. И полуинвалид, и инвалид-учитель сохраняет и впечатлительное сердце, и живой к состоянию науки ум.

Наконец, третье наблюдение — вечная молчаливость и самоудинение учителей. В театре, на гуляньи, в загородном саду вы не встретите учителя, как и в обществе не увидите его собравшим слушателей анекдотом или веселым рассказом. Вся эта серия наблюдений и твердое признание государства констатируют одно: что труд учителя почему-то невероятно тяжел. И обществу, раньше, чем судить учителя, следовало бы рассмотреть: что же в этом труде, одухотворенном и около светлых детских душ, есть убивающего, доводящего до изнеможения. Ведь всякий профессионал на своей профессии упражняется, растет, развивается. У него крепнут именно способности, к профессии обращенные: у кузнеца — мускулы, у ходока — ноги, у охотника — глаз; из духовных сфер — у врача внимание и наблюдательность, у юриста — находчивость и изобретательность. И только учитель, у которого работает душа и над душами, изнемогает душою.

Громадное отсутствие творчества есть едва ли не главная тому причина. Медик около пациента ищет, находит, борется с болезнью и наукою своею, и сообразительностью. Все в области своей творят наполовину и наполовину пользуются готовыми средствами науки или технических приемов. Учитель, которому дан в руки учебник, рассажены в рядах перед ним ученики, учебный час которого мельчайше распределен на торопливые функ-

ции, и каждое его движение и слово уже предусмотрено и урегулировано, — является, в сущности, тонким духовным инструментом, который не играет, но на котором играют. Так называемое «живое общение учителя и ученика» есть только фраза без применения, и при теперешних условиях — без применимости. Тут не в «сердечности» дело и не в предполагаемой бессердечности, а в том, что всякое «живое общение» с таким-то учеником, как личностью, расстраивает урок, делает недоделанным маленькое механическое духовное дело, какую-нибудь запись урока в классный журнал и непременный спрос урока у всей суммы очередных учеников. А не спросить урока нельзя: это поощряет к лени одного сомнительного ученика и отнимает возможность поправить четвертной балл у другого колеблющегося ученика. Учитель в классе весьма похож на продавщицу в переполненном посетителями магазине: он ни на минуту не принадлежит себе, ни в чем не имеет инициативы, не может остановиться или замедлиться. Но в то время как продавщица весьма элементарна духовно и, вертясь в торопливых функциях своих, катится как гладкий камешек, учитель, очень сложный духовно, зацепляется как растение ветвями за все, за каждую шероховатость в классе, подробность в программе и случайном составе учеников, и не имея ни силы, ни возможности, ни досуга остановиться, ломается и мнется совершенной ремесленностью обстановки и хода своего труда. «Почему вы не вникли в душу такого-то ученика», «не поощряли талантливого», «не поддерживали слабого», «не вошли в домашнюю обстановку третьего». Таковы постоянные сетования, вековой упрек. Но не может же учитель обратит его к спрашивающим: «А почему вы все не вошли в обстановку того единственного человека, который почему-то должен во все входить и во всем сообразоваться, когда он прежде всего не имеет для этого ни одной не занятой у него минуты». Я говорю о классном времени, не касаясь внеклассного, в которое и ученик, и его родители найдут учителя внимательным, заботливым, сердечным и деликатным. Можете ли вы представить продавщицу магазина, входившую в какие-то «душевности» с покупателями или «прощающую им копейку» при взимании платы, если они ссылаются на бедность, болезнь или слабый заработок? Невозможно это там. Но каким образом возможно это на уроке, где учитель обязан расценить успехи учеников с точностью аптекаря, приготавливающего все по дозам рецепта? И как аптекарь не может вариировать этих доз, так учитель прямо нарушит свои обязанности, начав принимать во внимание тысячи тех личных особенностей, семейных обстоятельств и развитости или неразвитости ученика, с требованием чего к нему обращаются родители. Адрес родительских жалоб неверно написан. Их жалобы очень основательны. Но они могли бы быть обращены к учителю-творцу, учителю, очень свободно поставленному в распоряжении средствами своей профессии; но такого до сих пор мы не имели. Нравственная сторона воспитания, на которую теперь обращено столько внимания, требует непременно для себя условием учителя как нравственно независимую личность.

«ГАРМОНИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ»

Гармония семьи и школы составляла много лет любимую тему не только журнальных статей, но и еще так называемых актовых речей в гимназиях. Родители как старых учеников, так и особенно вновь поступивших собирались обычно в начале учебного года, числа 16 или 17 августа, в актовом зале гимназии, где после молебствия перед началом учения и после выслушания годового отчета о состоянии гимназии, с разными цифровыми данными, им предлагалось, в виде литературного чтения или что-нибудь историческое, или историко-литературное, но очень часто и эта педагогическая тема: «О связи семьи и школы», об их «содружестве» и т.п. Нельзя не заметить, что чтения эти, как и статьи подобного содержания, оставляли в родителях впечатление. И содружества семьи и школы не было. Учитель, читающий актовую речь, по причинам, которые не надо объяснять, нагибал речь в ту сторону, что семья должна помогать школе, что без солидарности родителей с учителем воспитательные намерения последних остаются без осуществления. Родители безмолвно могли думать, что и они, наоборот, привели в гимназию детей своих в надежде найти в опытных и ученых педагогах помощь себе; но, не имея кафедры для лекции, родители молчали об этой простой истине. Между тем справедливость требует признать, что из двух сторон, равно приведших школу к очень печальному состоянию, семейной и собственной школьной, — была все же ответственнее и виновнее школьная. Невежественно и невозможно себе представить родителей, которые сына своего не то что поощряли бы к лености, но хотя бы допускали до нее, или чтобы подзадоривали его быть дерзким, грубым или непослушным. Составляет всеобщий и общеизвестный факт, что в настаивании детей приложить все усилия к учению некоторые родители доходили до суровости, боимся сказать — до жестокости; и безусловно все были строги. Отлично учащийся и ведущий себя в гимназии ученик есть такая радость дома, при которой семья цветет, а при худом ученике, неуспевающем или дурно себя ведущем, вся семья в унынии, расстроена. Таким образом, на первой элементарной ступени родители и делали, и оказывали в отношении к школе желаемый «союз», «солидарность», «помощь». Но начиналась «дисгармония», являлась раздраженная критика училища и учителей родителями, и притом в присутствии учеников-детей, — что и составляло тайную мишень актовых речей, — когда при всех усилиях со стороны семьи к «гармонии», все же получались худые успехи и поведение. Тут бы надо переговорить, приноровиться, вообще создать маленькие духовные отступления от нормы, применительно к «случаю», но «случаев» не существовало для гимназии, и годовой ход училища шел полным и формальным шагом вперед. Вся боль родительская вспыхивала при этом, обыкновенно основательная, исходящая из наблюдений день за день над занятиями сына дома.

Родителей, которые негодовали бы на гимназию за неуспехи сына-шаляпая и повесы, за исключение сына-озорника и скандалиста, — едва ли мож-

но найти. Да если где они и начинали злословить училище, то скоро останавливались, встречая улыбку недоверия или неуважения со стороны знакомых и родных, ибо все и воочию видели, каков неуспевающий или исключенный ученик дома и среди товарщиц. Притом же подобные экземпляры худой нравственности вырастают в семьях уже настолько внутренне погибших, ленивых и беззаботных, что печальный педагогический крах детей особого озлобления, печалн и негодования в них не вызывает. Таким образом, вся боль родителей против школы, очень сильная боль на протяжении целой России, развивалась на почве или просто небольших способностей при кротком характере ученика, или на почве резвости мальчишка, которая при известном неблагоприятном освещении выставлялась как «дурное поведение», и дети гибли действительно хорошие и действительно бесосновательно.

Нужно заметить, подобные актовые речи «о союзе семьи и школы» не вызывали энтузиазма и у учителей в их большинстве. Последние только по невозможности не договаривали, что нужен и союз школы с семьею, и он уже потому должен идти со стороны школы, что последняя, так сказать, «командует положением» всех педагогических соотношений, регламентирует, узаконяет, да и, наконец, представляет собою педагогическую и научную подготовку, всемирный опыт и науку. Конечно, взрослый должен приглядеться к маленькому. А «взрослый» в педагогическом отношении — это училище. Родители умеют дать повиновение; могут «постараться», сделать усилие. Но кроме этого ничего не могут, потому что не умеют. Например, бывают случаи кажущейся лени учеников, непреоборимой, — и учеников, бывших прилежными ряд лет. Теперь известно, что это просто медицинский случай временного истощения мозга, совершенно излечиваемого не новыми усилиями ученика, не поощрениями, вовсе не действующими, кстати, а годом полного отдыха. Но это медицинское слово может сказать только школа; она имеет средства различать симптомы нервного недомогания, отроческой неврастении от случая личной и капризной лени. Можно сказать, до $\frac{1}{2}$ всех исключаемых и особенно в прежние годы исключавшихся за «леность» или «неспособность» учеников обнимаются этою категориею духовного недомогания на физиологической почве. Между тем школа, где вообще медицинское дело отвратительно поставлено, «вызывала родителей объяснить», сперва к классному наставнику, затем к директору; предьявляла им укору в поощрении лени; родители настаивали, просили сына, «умоляли», требовали, кричали и грозили, что ему придется «гранить мостовую» и «на собаках шерсть бить». Увы, патологический субъект понуро шел к себе, раскрывал книгу, учил, не понимал и не запомнил, и к удивлению действительно расстроенных родителей выходил на двор, в городской сквер, где просиживал или гулял с ненасытною жадностью с такими же, как сам, субъектами до поздней ночи или утренней зари. Картина полной лени и «закоренелого упрямства» была налицо; случай для «исключения» созрел. Между тем, только отец и мать, помнившие своего маль-

чика таким старательным столько лет и совершенно убитые при виде, что его точно кто-то «испортил», «сглазил»,— могли бы от опытного медика услышать простое указание, спасающее родителям сына и отечеству гражданина. Но медик в гимназии лечил только лихорадки. Никто к нему с специально педагогическим вопросом не обращался. Родители были грубые эмпирики в воспитании: да и понятно, они имели специальностью своею службу, торговлю, промысел, а мать — домашнее хозяйство и приходно-расходную книгу. В конце концов, действительно школа была виновата. Но не учитель в ней, — а режим. «Бессердечные учителя», этот лозунг, столько лет несущийся по России, должен быть переменен на простое и серьезное признание, что просто вся школа была некультурно поставлена, передвигаясь от устава к уставу, но вовсе не пропитываясь новым духом и не вооружаясь теми средствами педагогики, какие давно выработаны и применены в других странах или в лучших школах других стран.

Но во всяком случае родители, — уже довольно долго и сильно терпевшие,— должны вооружиться еще на немного времени терпением, чтобы вытащить — голосом и авторитетом своего несчастья — из духовного и бытового несчастья учителя, который никогда не был жесток к их детям, но и о слишком многом молчал. Ученик и учитель в счастье и несчастье, удаче и неудаче своей так же связаны, как седок и конь: одному худо — сейчас будет худо и другому, одному хорошо — выиграет и другой. Сословие учителей у нас настолько безгласно, что мы знаем, кажется, *ria desideria** адвокатов, врачей, пациентов, даже знаем «нужды и пожелания» алкоголиков и золоторотцев, но, кажется, никогда серьезно не заботились о нуждах и пожеланиях «педагогического в России сословия».

АРХИМАНДРИТ АНТОНИН. КНИГА ПРОРОКА ВАРУХА

Репродукция. Спб. 1902 г.

Рассматриваемая книга напоминает собою трудные работы немецких или английских историков-лингвистов. Краткий очерк дела в следующем: в еврейском кодексе священных книг потеряно пророчество Варуха, ученика Иеремии, и потеряно оно было в начале христианской эры. Теперь не сохранилось ни одного подлинного еврейского экземпляра этой книги. Между тем в славянском языке, в русском и греческом переводе 70-ти толковников, она есть. Были бы все причины считать ее неподлинною еврейскою книгою, если бы в древних переводах ее не просвечивали такие обороты речи, такие неправильности синтаксиса и этимологии, какие отличительны и оригинальны в языке древнееврейском и не могут быть объяснены иначе, как давлени-

* *благие пожелания (лат.).*

ем оригинала на переводчика. Арх. Антонин задался целью дать полное и притом научно доказуемое восстановление («репродукцию») вдохновенного языка книги, как она могла бы выйти из пророческих уст. Для этого надо было каждое слово в каждом предложении поставить так, как оно находится в каком-нибудь священном еврейском тексте времен Варуха и Иеремии, в предложении совершенно аналогичного смысла и конструкции, чтобы при этом оно имело свое оправдание, имело бы для себя намеки в десяти фразировках данного места, в десяти древних переводах. Таким образом, каждая строчка «репродукции» представляет собою труднейшую филологическую работу над всем объемом еврейской библии и сверх этого над разноязычными переводами книги Варуха. Переводы эти, в разборе каждого слова которых и заключается фундаментальная часть книги, суть следующее: греческий, сирийский древний (ранее IV в. по Р.Х.), так называемый «Сирогекзаилитический», сделанный в 616–617 монофизитом епископом Павлом, латинский – *vetus* α*, латинский – *vet. b*, арабский, коптский, эфиопский, армянский и грузинский.

В XIX веке четыре ученые сделали опыты восстановления еврейского подлинника пророка Варуха по этому материалу: Френкель, Плеснер, Гербест и Кнейпер. Труд архимандрита Антонина является пятою репродукцию. Восстановленный еврейский текст занимает страницы 396–404 книги, т. е. 4 1/2 листочка крупной еврейской печати, притом частью помещенной стихами, т. е. с большими полями. Все остальное – подготовительная и доказательная, «оправдывающая» репродукцию критическая работа. Разумеется, разобраться в ней могут только знатоки дела. Но как некогда Петрарка, не умевший читать по-гречески, все же находил высокое наслаждение в том, чтобы брать в руки и поворачивать приобретенный им экземпляр Гомера, так и неравнодушный к трудам русских ученых человек с удовольствием возьмет в руки и перелистает, а местами даже и почитает эту книгу: в критической работе всюду мелькают какие-нибудь любопытные мелочи из библейского быта и закона.

НЕДОГОВОРЕННЫЕ СЛОВА

Посмотрите каталоги библиотек и книжных магазинов; откройте отдел «естественные науки»; вы в нем найдете целую рубрику книг, брошюр, монографий, популярных очерков, относящихся к защите, к опровержению и к выяснению мельчайших деталей теории Дарвина. В немецкой литературе целый отдел естествознания носит название «Das Darwinismus». Чего-чего тут нет! Что тут не рассмотрено! Растения и животные, теперь живущие и ископаемые, в диком состоянии и в домашнем, убудки, скрещивание, влияние привычек, среды, влияние упражнения на органы – все рассмотрено с

* старый (*лат.*).

поразительною полнотою, тщательностью. Вот это наука! Вот это гордость человеческого ума!

— К чему это? — спросит читатель — мы это знаем.

— Для самооправдания, добрый читатель. Теперь возьмите те же каталоги библиотек или книжных магазинов и перелистуйте их с целью найти рубрику: «Развод». Вы засмеетесь: «Такая мелочь!». Хорошо, попробуйте отыскать рубрику «семья». Вы становитесь более серьезны и догадываетесь, что не вы надо мною смеетесь, а я над вами смеюсь. В самом деле, никому и в голову не придет, чтобы семья была менее важная и интересная для человека вещь, нежели дарвинизм, между тем, очевидно, что вовсе не существует рубрики человеческой озабоченности, выраженной в брошюрах, книгах, полемике и очерках, посвященных семье. Вовсе нет таких книг. Вовсе нет такой литературы. О разводе оттого так и спорят, что, собственно, никто и ничего о нем достоверного не знает; не умеет произнести о нем ни одного суждения и опереть его на готовые, заготовленные наукою мотивы или на собранные в науке факты и наблюдения. «Мне так кажется», «у наших знакомых был такой случай»: дальше и углубленнее этого детского эмпиризма самые просвещенные умы не идут.

Мы ничего не знаем о семье.

Мы ничего о ней не начали знать.

Мы только входим в «азы» ее ведения.

Вот ряд положений, в которых я нахожу оправдание, когда ко мне обращаются с упреком за частое возвращение к одной теме. «Частое»... Но я едва говорю один раз в два месяца о семье, итого шесть раз в год. И только оттого, что я так часто *устно* о ней заговариваю, моим друзьям кажется, что я извел всю газетную бумагу на тему о семье. Я молчу, а мне говорят: «Что вы не кричите».

Ну, вот, напр., сторона развода, которую я два года ношу на кончике языка, и еще ни одного слова о ней не вымолвил. Знаете ли вы, читатель, кто в обществе, какая группа людей всего ожесточеннее, суровее, беспощаднее противится разводу? Вы будете растроганы, когда это узнаете, как сам я узнал из множества частных признаний, сделанных мне за последние два года.

Противятся разводу, страстно его оспаривают несчастные семьянины, семья которых с трудом держится. Да, вот кто! Всю сумму семейного идеализма и, так сказать, естественной непотрясаемости семьи и ее невероятной естественной крепости я узнал только, начав деятельно высказываться за развод. «О, не настаивайте на нем, не требуйте его»... следует описание безмерной любви к детям; продолжение: «Мы уже не живем с женою» или «жена изменяла мне, но я ее простил», «муж мой неверен мне, но я закрываю глаза на это». Общий итог: «Не трогайте же наше полусчастье, оно чуть-чуть лепится на ниточке, а вы как тать приходите и хотите перерезать эту нить, почти разорванную». Да, вот смысл писем, столько возродивших во мне уважения к человеку.

«Хочу я сказать два слова о малых сих, ради которых делается все великое и, между прочим, строится семья. Говоря так, я разумею семью не как юридический институт, а как духовный строй. Согласитесь – ведь здесь ключ проблемы о разводе, а, не разыскав его, – проблемы не разрешить. *И будут два в плоть единую* — вот эта *едина плоть*, результат единения двух и есть центр вопроса. Великий фантазер Ж. Ж. Руссо с легким сердцем разрубил этот Гордиев узел, написав: *дети – собственность государства*. Но у нас, родителей, не легкое, а тяжелое родительское сердце, да и маленькое сердчишко *малых сих* (детей) – привередливое создание Божие: любит своего пьяного тятку и свою злую и грязную мамку, а высокогуманных и высокоразвитых воспитателей, как назло, любить не хочет: с молоком в него эта глупость всосалась, и надо с нею считаться или же кормить этих дурачков в общественном сарае с рожков, накачиваемых общественным молоком помощью чуть не паровой машины. Укажите же исход из этого. Гражданский брак, равноправность детей законно-и незаконнорожденных, контракт, обеспечивающий потомство, легкая расторгимость брака, утратившего существо брака – все это только учреждения, узаконения, все это – материальная оболочка сущности духовной; а сама эта сущность? Брак, утративший существо союза брачного, должен быть расторгнут, затхлая атмосфера звериной берлоги должна быть профильтрована, загаженная яма – скрыта и засыпана навечно. Так вы пишете – и это правильно. Но ответьте: куда же девать детей? Возьму примеры: *Он и она* – образцы добродетелей, но...не сошлись характерами и потому расходятся: кому отдать единственного горячо любимого обоими ребенка, который без мамы не уснет? Не посоветовать ли им подождать расходиться, пока ребенок не вырастет и не сделает сознательного выбора?.. или другой пример: *он* – добродетелен и трудолюбив, *она* – ленива, легкомысленна и даже хоть развратна: отнять ли насильно детей от ее материнской груди и ради блага их отдать сухому и нелюбимому ими, хотя и высоконравственному отцу? Этот высоконравственный отец, не лучше ли принесет себя в жертву детям, если откажется расторгнуть брак и употребит все усилия, чтобы, хотя отчасти дезинфицировать свою берлогу, уподобив ее жилью человеческому? Или: *он* – мот, пьяница, и развратник; но *он* добрый, любящий и любимый детьми отец. Во всем ли права перед ним и перед детьми его добродетельная супруга, с сухою лепешкою под корсетом вместо сердца в груди? Таким образом, перед нами стоит общий и очень широкий вопрос: одни ли индивидуальные интимности и стремления должны руководить брачною жизнью семьи, или *и* (курс. автора письма) забота о детях, или же забота о детях по преимуществу? Произведший потомство, – ошибочно или с заранее обдуманном намерением, *все равно* – не совершил ли в пределах земных все земное, или же он имеет право еще на индивидуальную жизнь, и в какой мере».

Неправда ли, это пламенно? Это умно? Это полный очерк философии против развода, бьющий не из закона, не из фарисейства, но из живых фибр

любящего отцовского сердца. Я вступил с автором письма в переписку. Теперь я имею фотографию его 8-летней «дочурки», красавицы ребенка, как и самого усталого отца, прошедшего, по словам одного его письма, «огонь и трубы 60-х годов». Но вот что сообщил он о себе во втором письме, которое меня так заинтересовало, что я выпросил у него позволение со временем опубликовать его:

«Я человек занятой и усталый и не для игры в переписку пишу вам. Поэтому постараюсь быть кратким, лишь бы не в ущерб ясности. Я женат во второй раз, но, Боже, чего это мне стоило! В первый я женился по любви внезапной и страстной, на 23 году жизни. Через 2 года мы разошлись, без детей и без измены. Прошло 5 лет. Я влюбился снова и попросил у жены, жившей в другом городе, развода; она отвечала, что живет 4 года с любимым человеком и имеет 2-х детей; она принимает вину на себя, но я должен признать ее детей моими законными. Два года я был в лечебнице душевнобольных, эти два года она безвыездно жила в другом городе: следовательно, факт прелюбодеяния налицо – рождение детей не от мужа. И этих же детей признать законнорожденными! Я принял это условие по совету пресвященного Никанора (Бровковича). Сперва случайно, а потом умышленно я пропускал годовые сроки, установленные на спор о законности рождения, а после того самыми фактами деторождения в отсутствии мужа, удостоверенными метрическими справками и свидетельствами о безвыездном разноместном жительстве супругов, устанавливал факт упорного прелюбодеяния жены, дающего мужу право на развод независимо от сроков на спор о законности рождения. Эту крючкотворскую бессмыслицу, освященную законом, я положил в основании иска. И бессмыслица победила здравый смысл! Но целых девять лет я толкал лбом в консисторские стены. В N-ской консистории мне отказали; я переехал в другой город и там возбудил тот же иск, опять отказали; опять переехал в третий город — отказали же; в четвертый — и снова отказали! Надо мною издевались. Меня считали маньяком, я изучал консисторские уставы и писанные к нему дополнения и инструкции; писал лично к обер-прокурору Синода и в комиссию прошений на Высочайшее имя отчаянные письма. Наконец, когда Никанор был вызван в присутствие Синода, тогда решение консистории, отказавшей мне в последний раз, было отменено с надлежащим внушением. Произведено было новое расследование; ни одного свидетеля, ни лжесвидетеля я не выставил; голый факт и признание. Результат: брак расторгнут, а дети, уже целых пятеро, рождение которых послужило основанием к расторжению брака, признаны законнорожденными, и я их внес всех пятерых, как моих законных детей, в родословную книгу дворян N-ской губернии. Поверите ли: я до сих пор горжусь победою над нашим крючкотворством при помощи крючкотворства же! Стоило мне это тысяч семь, не более... и лет 18 жизни с плеч долой. Тогда, наконец, я женился, и теперь на 49 году жизни имею 8-летнюю дочку. Достигнутое с таким ослиным упорством счастье длилось... ровно 8 месяцев; но вот уже 9-й год мы тянем се-

мейную ляжку — скучную, тяжелую и мучительную, без просвета и без перспективы. Выхода нет, мы оба души не чаем в дочке, делить ее нельзя и ради ее самим нельзя делиться! Жене нет еще 30 лет; она могла бы еще создать себе семью непорочную, как вы определяете, да и сам-то я ведь тоже к непорочной семье стремился и столь целомудренно, что целых 9 лет не превышал прав жениха... для того, чтобы быть мужем в течение 8 месяцев. Знаю я множество законных семей, которые смердят вонью и мразью, и приведенные вами примеры не дополнили моей коллекции. Знаю я незаконные семьи: иные не лучше законных, а иные чистые и непорочные, в которых я отдыхаю от треволнений жизни, и тихо делается у меня на душе при виде того, что могут же жить люди по-человечески. Расторжимость семьи, утратившей чистоту, я признаю; равноправность всяких детей, раз они дети, как и свободу чувства, не отрицаю; выражение *незаконнорожденные дети* считаю за неграмотное и бессмысленное; власть теологов и как лиц, и как учреждений (т. е. собрание «человеков») над браком, «что соединено Богом», я отрицаю. Но и семью вне *религии*, т. е. вне Бога, не признаю за человеческую, как не знаю и религии *вне* семьи. И вот я опять стою одиноко лицом к лицу с тою трагическою коллизиею, которую я вам слегка наметил в первом письме: наше индивидуальное я с его свободою мысли, чувства и воли, я с его страстями, стремлениями и жаждою жизни — это один объект наблюдения; другой — *семья*, семенной род, порабощающий это я (прототип — жизнь полипов); а третий — *социальный* строй жизни, порабощающий род и разлагающий семью. Тут, очевидно, какая-то страшная ошибка в человеческом домостроительстве. Но где она, в чем именно?

Я вопрошаю жизнь, к ней простирая руки,
Куда бежать от этой адской муки,
Куда бежать и где приют найти?

Не во мне тут дело: все человечество стоит долгие века перед этим треклятым вопросом и вопрошает. И ответы сыплются за ответами, а вопрос все остается вопросом. Бедное, жалкое, мерзкое, подлое и глубоко-несчастное исстрадавшееся человечество, потерявшее чутье Бога! Вашими работами на этом поприще вы уже расчистили некоторые Авгиевы стойла нашей семейственности и общечеловечности и потому-то, мне кажется, так и прислушиваются все к вашему слову... Не кажется вам иногда, что ныне вновь исполнились времена и сроки и что мы живем снова, если не в начале новой эры, то, по крайней мере, в конце старой? Не чувствуете разве вы, что уже носится Великое Слово над миром, что уже свет во тьме светит и тьме его не объять? И как некогда восстал Иоанн Предтеча с призывом к покаянию, так и ныне великое покаянное слово уже гремит в сердцах многих. Что есть истина? — Бог есть истина: единый истинный абсолют, и вне его нет абсолюта, и быть не может; всякие другие истины относительны и субъективны. Бог — познаваемый не человеческим произволением, а откровением Божиим. Как древнее язычество, создавшее культ многобожия, от высот

Зевса пало до обожествления Нерона, Каракаллы и даже коня Каракаллы, так и ныне псевдонаука создавшая безбожие, низошла до обожествления протоплазмы; так ныне и философия, поставившая пупом мира свое праздное, ни на чем не обоснованное измышление «Ich» — пала до шопенгауэрствщины, нищестанства. Но переходящи все эти неистовства, велик же и вечен Господь Вседержитель, и не Substantia Он для мира, а Instantia Suprema»*...

Я сделал такую большую выдержку, можно сказать, не умея сдержатъ пера. Слова так богаты, что невозможно остановиться, выписывая их. Вот как думают «в глубине России», ибо письмо мною получено из далекой провинции, хоть и из университетского города. Но тут — не университета влияние, ибо это выше университета, и наши профессора не умеют кормить учеников такою пищею. Нет — в строках этих отражена мучительная биография и темное и глубокое брожение Руси. Слова о Боге гремят пророческим вдохновением. Но вернемся к нашей узкой, но деловой теме.

За что же 9 лет мучили человека, верующего, благородного? Отняли у него семь тысяч денег только потому, что, имея полное право добиться развода, указав на незаконнорожденных в его отсутствие детей, он не захотел им причинять страдания, а хотел дать им имя, название и честь? И кто его мучил? Консистерии, требовавшие хоть подставных лжесвидетелей, или требования жестокости наказания детей невиновных, а, во всяком случае, растрясшие кошелек истца на семь тысяч (теперь это — человек бедный). Я был глубоко заинтересован, почему же он «8 месяцев только был мужем второй своей жены», — и умолял его сказать мне истину: «Отвечаю вам за искренность искренностью же. Разгадка простая. Любили мы друг друга с невестою не головою, а сердцем, любили пламенно; но за 9 лет пока длился развод и ходила душа по мытарствам, душа истомилась и сердце угасло; *излюбились* (курсив письма) платонически; поддерживала настойчивость добиться цели, одушевляло желание дать семя роду. И вот, когда одно и другое достигнуто — чувство, перегоревшее уже, погасло. Огонь, так долго тлевший, загас в себе. Не гасили, а дотлел сам и погас!. Мне больно писать лично о себе, и не привык я... я уже разрешил вам воспользоваться материалом, но с соблюдением полнейшей анонимности мест и лиц»...

Вот — жертва, вот прямо труп в итоге консисторских форм развода. Сколько стоит на весах христианского милосердия человек? Пусть кто хочет — говорит что хочет; я же отвечаю: «Ничего не стоит». И пока мне не воскресит этого мертвого и задавленного, я буду до второго суда Господня говорить: «Человек в христианском обществе ни во что не ценился, а форма — была все».

Что же предупредило запрещение развода? Жена ушла от мужа и имела 5 человек детей не от мужа. Но может быть все-таки это запрещение что-нибудь сделало? Да; уничтожило две семьи; матери пятерых детей так и не дали законно выйти замуж за отца их, а брак другого человека, серьезного, религиозного, сделан горбатым, с перешибленными ногами. Но каков че-

* «Я»... Субстанция... Высшее настоящее (лат.).

ловек? Может быть худ? Да вот и после такой муки он первый и пламенно бросился возражать мне (на фельетон: «О непорочной семье и главном ее условии», т.е. разводе): «Нет, пусть останется развод запрещенным, ибо мы, отцы и матери, хоть и несчастны, у меня вот 9 лет муки и скуки за плечами, — но ради детей мы разлучаться не хотим».

Какой урок для человечества и аргумент за необходимость развода: если и несчастные не хотят расходиться, кто же разойдется, если дать полную свободу развода, если — как я утверждаю — возвратить, согласно библейскому установлению, право расторжения брака самим мужу и жене, супругам? Да никто и не разойдется, кроме: а) бездетных, б) все равно уже живущих с третьим лицом, с) окончательно несчастных от порочности и злобы одной стороны, которая грозит другой стороне кровью. Все остальные, вся огромная масса счастливых семей или несчастных, но не очень, не мучительно, не до крови — сохранятся ради детей и ради привычки друг к другу, ради воспоминаний о былом — в целости. Противодействие разводу прямо есть социальное и религиозное безумие, нечто вроде юридической истерики. Это есть прямо погубление семьи, убийство семейных людей...

Консistorии на страже детских интересов... Человек семь тысяч тратит и девять лет жизни, чтобы не погубить детей, которых «дельцам» надо зарегистрировать в «незаконнорожденных» и хотелось бы выбросить в Воспитательный дом от любящей их матери, от жалеющего их вотчима. Да оставьте отцам и матерям право распоряжаться детьми своими, и вписывать их собственною рукою в собственные документы без посредства гг. юристов, духовных и светских, и завтра же все население воспитательных домов этого истинного продукта мысли Руссо: «Дети должны принадлежать государству», — разберется обратно родителями, не будет в стране ни одного убитого ребенка, ни одного подкинутого, ни одного брошенного на руки чужих воспитателей. Мой корреспондент хорошо пишет, что «суда человеческого над браком он не признает» и опирает это на слова Спасителя: «И будут два одной плотью: что Бог сочел — человек да не разлучает». Спаситель сказал о плоти, о младенце и родительстве, и запретил строжайше всему человеческому сюда вмешиваться. Непостижимо, как эта мысль могла исказиться, отмениться, подмениться. Посмотрите в рассказанном случае усилие закона оторвать детей от родительницы, усилие оторвать невесту от жениха: «Мы перегорели, истлела любовь и — погасла». Это голос убитого, убитых. Вмешательство кого бы то ни было в «два — в плоть едину» убивает обе плоти, а при детях — три. Такое вмешательство разрушает в самом зерне семью, и она, если и держится, вот такими благородными инстинктами третируемых «мужей и жен», «развращенного рода человеческого».

Пора вернуться к семье как не проницаемому ни для какого внешнего взора, внешнего слова, внешнего воздействия существу. Попробуйте проколоть тонкою иглой кровавой шарик; он погибнет. Все живое и органическое — кругло и замкнуто, завершено в себе. Все органическое субъек-

тивно и имсет душу в себе, и силами единственно души этой — идеально. С тем вместе все органическое не арифметично, не статистично (не есть предмет статистики), до некоторой степени все оно асимметрично, идет, по-видимому, неправильно, но живо; оно не похоже на шеренгу солдат, а на народную толпу. Но толпа, сравнительно с рациональным эскадроном, поэтична и глубока, она мистична и священна, жива и вечна в существе своем, хотя, по-видимому, двигается, рассеивается, разбегается. Такова же и семья. Конечно, многие семьи будут вечно распадаться. Но в какое время этого не было при всяких строгостях развода? Все живое умирает и рождается; коллективное живое в одних особях умирает и в других возникает к жизни. Предупредить смерти семьи никто не может. При всяком законе муж и жена отвернувшись друг от друга могут разойтись и разбегаться. Не имея средств этому помешать, не мешайте же ожить им, на месте умершего возникнуть новому. А то вы валежник бережете, палое дерево храните, а молодые поросли затаптываете. Смотрите, огромные части леса уже повалились; затоптанные всходы все же есть, как эта мать пятерых детей, которой вписали в паспорт: «Навсегда запрещена к браку за прелюбодеяние», и около пяти законных братьев она рождает шестого и седьмого «незаконными» уже: ведь нельзя же предполагать, что, достигнув желаемой свободы, она разорвет связь с столь давно и крепко любимым человеком! Что же случилось? К чему стремится закон? К кладбищу брачному. Не воскресит он ни одного умершего. А не дать родиться живому — неужели в этом мудрость?

Насколько все несчастные в семье стоят против развода, — настолько счастливые семьянины, которым и не нужен он ни для чего, но которые сохраняют спокойствие душевного настроения, высказываются за развод. Они, — и еще окончательно несчастные и уже фактически разошедшиеся, имеющие вместо семьи — нуль. Вот для образца письмо такой несчастной: «Простите, что я, не имея чести быть знакомой с вами, позволяю себе обратиться к вам с просьбою. Случайно мне удалось прочесть в «Нов. Вр.» одну вашу статью о разводе, а потому я и решила, описав свое ужасное положение, в которое я поставлена благодаря своему злополучному браку, просить вас оказать мне помощь своим советом. В декабре 1896 г. я была обвенчана против своей воли с N, которого до венчания совсем не знала. На другой день после венчания он уехал к месту своей службы и только через месяц возвратился и тогда же заставил меня быть женой и передал мне дурную болезнь, о чем я узнала через несколько дней после, почувствовав себя недомогающей, и обратилась сперва к местному врачу, а потом к специалисту здешнего университета (названо известное в России имя). Тогда же муж, для определения правильности течения болезни, заявил, что он заразился этою болезнью после венчания, во время месячного отъезда. Тогда же совместная наша жизнь была воспрещена до полного выздоровления, и я начала лечиться у профессора, муж же лег в госпиталь, но скоро, не вылечившись, его, оставил, уехал в N. (назван город), где вел крайне дурную жизнь, как я узнала. Мне же все время он писал оскорбительные письма, а

в приезды к своим родным, живущим в одном со мною городе, и лично преследовал и оскорблял меня. В один из своих приездов, по моей просьбе, он выдал расписку о том, что принимает на себя вину и согласен на развод, которую и подписали два свидетеля, бывшие при том. Затем он скоро уехал в N. в Сибири, куда перевелся на службу. Обращалась я к присяжным поверенным с просьбой взяться выхлопотать мне развод, но ни один из них не согласился, так как у меня не было достаточных причин. По совету же одного из них я обратилась с просьбою в комиссию прошений, на Высочайшее Имя приносимых, о выдаче мне отдельного вида, какова просьба и удовлетворена, ввиду тех доказанным произведенным дознанием причин, которые я указала в прошении. Но оказалось, что и отдельного вида недостаточно для развода. А так как я по закону должна вести бракоразводный процесс по месту жительства мужа в Сибири, то я обратилась с ходатайством Св. Синоду с просьбой разрешить это дело по месту моего жительства. Св. Синод, во внимание к особым обстоятельствам моего дела, изложенным подробно в прошении, разрешил не только вести дело в моем родном городе, но и отменил требуемое законом судоговорение, предписав консистории ограничиться истребованием только письменного отзвва мужа на мое прошение, какое требование и исполнено консисториею 15 июня. В доказательство виновности мужа, я представила в консисторию скорбные листы профессора, меня лечившего, и так же госпиталя, где лежал мой муж, а также указала на названных N-ской полицией свидетелей, которые знают безнравственную жизнь мужа; кроме того, я намерена представить в консисторию имеющуюся у меня копию постановления N-ского губернского правления по возбужденному полицией преследованию против мужа – одно из столкновений его с полицией в дурном доме, за что он был предан суду. Из-за этого брака я потеряла около пяти лучших годов жизни, пережила и переживаю тяжелые физические и нравственные страдания, истратила на хлопоты и лечение значительную часть средств своих, больше восьми тысяч рублей; из-за него же пошатнулось значительно здоровье старухи-матери, с которой я живу. И единственным нравственным удовлетворением для меня было бы получение развода, который бы дал мне надежду на лучшее будущее и в получении которого была до последнего времени вполне уверена. Но к глубокому моему отчаянию я на днях узнала, что муж дал отзыв не в пользу развода, желая затянуть дело, заставить меня, в конец разориться. И вот поэтому-то я решила обратиться с убедительной просьбой к вам, не посоветуете ли вы мне из человеколюбия, как мне быть теперь или хотя что мне можно ждать от нового закона о разводе и как скоро он будет. В последнее время узнала, что мне можно было бы просить о признании брака недействительным, как заключенного по принуждению, что положительно многие могут подтвердить. Имею ли я на это право? Ради Бога не оставьте меня без ответа. Софья Ж-ва.

P. S. У меня положительно не с кем посоветоваться, а потому не откажите ради Бога в своих советах. Неужели не будет изменен наш ужасный

закон о разводе? Кому нужны мучения и траты денег больших, какие необходимы при разводе, а также кому нужно такое ужасное наказание, как лишение виновного права вступить в новый брак. С. Ж-ва) (Подписана неизвестная в России дворянская фамилия).

«Кому нужно?» — спрашивает именуемая еще себя «виновною в браке». На одних дверях поэт написал: «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate».* Вот эти двери и ведут туда, чему все эти человеческие муки, — и не сей час, а уже десяток веков, и в целой Европе, — были нужны. Иногда мне приходит в голову, что уже сейчас и не нужны «облегчения развода». Ибо когда завтрашние будут столь счастливы, когда вчерашние были столь несчастны, и кто же и кому, и как ответит за вчерашних? Там где стояла такая тень — не нужно никакого света, дабы поздний судья всего целостного дела не сказал легкомысленно или лукаво: «Тут — светло, и, вероятно, было всегда как сегодня же светло».

ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Общество, голос и авторитет которого в вопросах воспитания и обучения еще менее принимался во внимание, чем голос учителей в течение 30-летнего режима нашей школы, последние два года выслушивалось довольно внимательно. В самом деле, вовсе не слушать голоса столь заинтересованных людей, как родители учеников, было бы столь же странно и для целой системы образования вредно, как в вопросах, положим, железнодорожных тарифов не выслушивать просьб купечества, или касательно фабрик — голоса фабрикантов. Из всех решительно наших министерств министерство народного просвещения отличалось очень долгое время наибольшею отвлеченностью и, так сказать, «предначертательностью». Другие министерства уже давно приспособились к русской земле и усвоили русские приемы глядеть, спрашивать, говорить с населением и удовлетворять его потребности и возникающие нужды. Опытные люди-практики постоянно вызываются к совещанию, от св. Синода, вызывающего каждый год новых епископов в Петербург, до министерства финансов, собирающего сюда торговцев и мануфактуристов. Одно только школьное ведомство шло наряду с министерством иностранных дел и, пожалуй, более интересовалось воззрениями Германии, чем России, на вопросы воспитания и обучения, программы и урока. Известно, что когда были составлены программы гимназий в 1871г., то оне были посланы, с просьбою дать отзыв и заключение, к выдающимся представителям германской университетской науки, но ни к одному русскому ученому и педагогу, среди которых числился Пирогов, Буслаев, Тихонравов, Боткин, Бутлеров, Менделеев, С.М. Соловьёв, Кавелин, Вышнеградский, Бредихин и др.; ни к одному из них эти «соображения» и «предположения»

* Оставь надежду, всяк сюда входящий (*ит.*).

министерства не были посланы на просмотр. Известно также, что из иностранных ученых некоторые ответили скептически, почти насмешливо, именно о возможности обучать и воспитывать юное поколение страны, не справляясь вовсе с взглядами и с опытом ученых и компетентных умов собственной страны. Во всяком случае, последствия отвлеченности и «предназначенности» оказались так горьки на вкус, что пришлось спрашивать, уже торопливо и нервно, и ученых людей, и опытных педагогов, и самих родителей двум последним министрам с которых, собственно, начинается реформа мертвой школы.

Обществу, которое включает в своем составе людей огромного авторитета и значительности, — ибо в гимназиях учатся дети всего дворянства, всего высшего служилого сословия, — этому обществу и следует протянуть руку помощи и спасения русскому учителю, безавторитетному, несчастному, забитому, притупленному от безмолвия и пассивности. «Детей наших учит учитель, и мы хотели бы его именно увидеть, а не окружающих инспекторов, бывающих в гимназиях наездом, и не помощников попечителя и самих попечителей, наблюдающих собственно за бумажным делопроизводством министерства и тоже крайне редко видящих детей наших и почти вовсе не показывающихся в гимназиях. Мы хотели бы не только видеть и знать учителя, услышать от него человеческое слово и ему сказать человеческим языком о том, чего желаем для наших детей! Но и сверх этого, так как к детям нашим все министерство единственно и соприкасается через учителя, а окружающие инспектора и прочий служебный состав министерства прямого отношения к детям не имеют, то было бы желательно видеть учителя не только ответственным перед нашим нравственным судом и возможным осуждением, но и, по крайней мере, свободным уменьшить эту ответственность через некоторую свободу инициативы, независимого шага, применения к обстоятельствам и лицам. Нам порицать решительно некого, кроме учителя, ибо никого, кроме его, мы в министерстве и не видим: пусть же он не будет подобен стрелочнику на железной дороге, только механически передвигающему вверенный ему рычаг, а лицом нравственным и свободным в той мере, как судебный следователь, прокурор и инженер-разведчик самостоятельны и свободны каждый в своей сфере». Вот приблизительно круг мысли, — который, нам думается, мелькает у множества людей, уже слагается в убеждение, а мы только даем ему формулу. Обществу и родителям в настоящее время, по существу, не с кем вовсе говорить о судьбе детей своих. «Я ничего не знаю, ибо я ничего не могу, — может ответить только учитель; — сам я умею решать алгебраические задачи, а ваш сын не умеет; поэтому я остаюсь учителем, а ваш сын исключается из гимназии». Сии простые ответы и реплики исчерпывают сущность разговора с педагогическим стрелочником. Совершенно иное дело в медицине, в суде: там доктор лечит и судебный следователь исследует. Тут есть дело, творчество и ответственность. Тут не механизм, а человек; не рукоятка стрелки, которую повертывает несчастный илот, а разумное учреждение, в котором ра-

ботаает размышляющий деятель. Каждый отличит Захарьина от того лекаря, который забыл в оперированной женщине инструмент. Но как вы отличите учителя от учителя? Только и различия, что один добр, а другой сердит, один рассказывает ученикам гладко, а другой шепелявя. Индивидуальности слишком слабые, чтобы в них выразился человек. О подавлении индивидуальности в ученике много писали, много болели, и никто не вспомнил, что в основе этого лежит еще неизмеримо сильнейшее давление на индивидуальность учителя, которая стерта гораздо еще сильнее, чем у ученика. А индивидуальность есть талант. Вот талант-то и срезан у учителя. Ученик все же в играх, шалостях, наконец, в выборе товарищей из состава трехсот человек и в выборе чтения, спасет в себе лицо, душевную особенность, гордость сердца и независимость характера; но учитель, один из стрелочников, где он спасет свое лицо, свое вчера студенческое сердце, куда он пойдет и с кем и о чем заговорить?

Между тем *qualis didascalus — talis discipulus**. И вся боль нашего русского ученичества есть лишь отраженная: это — темный отсвет; бросаемый на ученика болью русского учительства. Для этой боли не было у нас не только Захарьина, но и заурядного лекаря. Просто — прошли мимо и не заметили.

Общество вызовет самую горячую признательность в учителях и создаст детям своим самоотверженных друзей в них, если только, протянуть им руку, извлечет их из парализованного положения, так сказать, согреет их быт и службу. Пусть общество вызовет лицо учителя на передний фас школы, и это лицо сумеет приветливо улыбнуться обществу, озаботиться творчески о всех детях, все понять в родительской заботе и успокоить страхи, беспокойство, смущение педагогов-эмпириков, какими родители являются и не могут не быть.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УЧЕНОЙ И УЧИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ

В Высочайшем рескрипте на имя управляющего министерством народного просвещения указано озаботиться поднятием материального вознаграждения учительского персонала. Вероятно, это будет понято в смысле необходимости поднять вознаграждение не только учителя гимназии, но и учителя сельской школы и профессора университета. О бюджете учителя сельской школы, бюджете хронической нужды и недоедания, говорить уже, кажется, не приходится. В университете находим должность экстраординарного профессора, которая оплачивается в размере помощника младшего ревизора государственного контроля, и ординарного профессора, — каковыми бывают ведь светила европейской науки, оплачиваемая в размере жалованья млад-

* Каков учитель, таков и ученик (*лат.*).

шего ревизора того же контрольного ведомства. Что касается старшего ревизора, который есть начальник отделения в департаменте, то с его вознаграждением разве что сравнится вознаграждение старого заслуженного профессора, который к жалованью имеет и пенсию. Между тем, не только младшие, но и старшие ревизоры контроля – нередко молодые люди, между 30 – 40 годами, с обыкновенным университетским дипломом и обыкновенной способностью пересматривать («ревизовать») оправдательные документы какого-нибудь расхода. Наконец, в университете есть должность приват-доцента и командированных за границу молодых ученых. Эти положения уже вознаграждаются гораздо ниже (900 р.) помощника младшего ревизора контроля (1800 р.), не всегда человека с университетским образованием, и параллелей по жалованью ему нужно искать в составе так называемых «журналистов» (писарей) департаментской службы.

Таким образом, начинающий ученый в России, пройдя отлично гимназию и университет и высказав перед ареопагом последнего выдающиеся к науке способности, наконец, избранный к занятию профессорской кафедры и пишущий магистерское сочинение, вознаграждается в цветущий возраст жизни и сил, между 25 – 30 годами, когда обзаводится семейно, так же как младшие и даже попросту низшие служащие департаментов. Ни при каком таланте, ни при каких сведениях, хотя бы всеобъемлющих, русский ученый, имя коего известно хотя бы на протяжении всей Европы и будет записано в историю, не вознаграждается так, как начальник дистанции (участка) железнодорожного пути, вице-директор департамента, сколько-нибудь талантливый сотрудник газеты, самый заурядный романист, сколько-нибудь «модный» врач или «модный» же адвокат. Так как грошовое вознаграждение в университете постигает молодого ученого именно в труднейшие годы, 25 – 30, когда он выбирает службу, определяет себя в жизнь, то удивляться ли, что все энергичное на студенческой скамье имеет мечтою свою не заместить старого учителя на кафедре, продолжать его чтения и работать в науке для будущих поколений, а как можно скорее распрощаться с университетом и искать места себе в других родах деятельности. Упадок талантливости собственно в профессуре имеет частичное для себя объяснение просто в ничтожности вознаграждения у нас ученой службы, в силу чего талантливые люди, они же и энергичные, не могут решиться ради науки жить лучшую часть жизни в меблированных комнатах и избегать обзаводиться семьею, что значило бы для них прямо впасть в нищенство. В старое время, когда все гражданские службы вознаграждались нищенски же и жалованье пополнялось «негласными доходами», в профессуру шли; но когда штаты всех ведомств были пересмотрены и везде стало возможно служить безбедно, не прибегая к «негласным доходам», возможные профессора ринулись в суд, адвокатскую, медицинскую практику, в инженеры разных наименований. Только бедным филологам, историкам и философам некуда было деться. Но зато и запустели же эти чисто научные факультеты, подготовлявшие к «ученой службе».

Таким образом, пересмотр штатов профессорской и учительской службы в отношении вознаграждения составляет вопиющую нужду министерства народного просвещения. Уж если начинающий ученый университета всего ближе подходит по вознаграждению к писарю департамента, а для сельского учителя писарский оклад – предел желаний, значит, не было оказано уважения ни к учености, ни к учительству.

Если теперь оно будет оказано, это будет делом самой простой и заурядной справедливости.

ЛЕНОСТЬ СЛУЖАЩИХ

Удивительно, как мало у нас развито «любителство» в труде; своеохотная готовность к требуемому прибавить и излишнее, личное, новое. Иногда думается, что вычеркни из закона и разных служебных регламентов формальные требования минимума работы, минимума часов службы, и на другой же день множество служащих не вышло бы вовсе из дома. Указание, что на западноевропейских железных линиях начальник дистанции не менее трех раз в месяц проходит пешком по своему участку, чтобы видеть все подробности железных, деревянных и земляных частей пути, а у нас он проезжается на дрезине, которая, конечно, идет так же гладко, как и поезд, показывает только частность общего служебного недомогания. Так точно и доктор в больнице не войдет лишний раз в палату посмотреть трудного больного или больного, интересного в научном отношении; и персонал учителей не делает лишнего труда, чтобы сохранить для училища талантливую ученика, свихнувшегося по одному предмету. Везде русский человек по службе точно считается, меряется с служебным местом, и, как лавочник покупателя, старается «обмерять» свою службу. Конечно, есть доблестные из этого исключения, но общая тенденция к недоделанию присуща огромному проценту служащих.

Нам кажется, причина этого слабого развития «любителства» к делу зависит оттого, что у нас издавна все виды деятельности получили «казенный» характер и общество просто не воспитано в труде личном, энергичном и связанном непосредственно с собственным и горячим интересом. На Западе личный труд преобладает над государственно-служебным и перешел последнему свой характер; у нас совершился процесс скорее обратный. Тут есть и запоздалые, неубранные последствия крепостного права, которое для множества русского люда было условием ничегонеделания, и отдаленное следствие такого общего факта, как развитие Московского государства, в котором вообще личная инициатива, личные независимые от государства дела и предприятия были или погашены, или не развивались. На Западе государство богато в себя приняло частные усилия, – и приняло с ними в себя все личное одушевление. Вот одна из причин что западный служилый человек далеко не то, что русский.

Вторая причина – богатое развитие у нас в службе протекционизма: берется в нее из множества возможных кандидатов не всегда лучший, но часто такой, кто к формальным правам занять службу, заключающимся в дипломе и в долгих годах предшествующей службы, присоединяет некоторую протекцию. Протекция вообще есть отравя всякой службы, ибо обращает «место» во что-то служебное по отношению к человеку, а не человека заставляет служить месту. Эта «протекция» негласна, неуловима; ее нельзя искоренить, но, кажется, можно пожелать, чтобы в русских людях распространилось и укрепилось на нее воззрение столь же презрительное, как к взяточничеству. Взятничество все же у нас значительно истреблено вследствие просто давления общественной совести. А ведь «получение места» по протекции приносит государству и обществу больше вреда, чем какая бы то ни было взятка, и кроме того, оно вполне презренно, как принципиальное покровительство тунеядству и бездарности.

Есть один способ личного оживления службы: это введение в нее личной материальной заинтересованности. Известно, что жалованье и до сих пор слагается у нас из «содержания», «столовых» и «квартирных» денег: термины устарелые и почти ничего не выражающие. Пользуемся ими для выражения новой мысли: чтобы вознаграждение служилого человека слагалось из постоянной суммы и из суммы, изменяющейся в зависимости от качества службы, от особых заслуг, от личной и новой инициативы, вообще от некоторого маленького «подвига» на службе. Это, так сказать, «заработная» часть и могла бы быть возбуждателем ленивого русского человека. И принцип ее, проникнув все ряды службы, внес бы в общую ее картину в России много оживления. Ведь теперь приходится иногда наблюдать обширное помещение казенного места, где около редких тружеников, не разгибающих спины (уж такой Бог талант дал, что они и не могут не делать), огромное множество других занимаются маленьким кейфом приятных воспоминаний о вчерашнем вечере или предположениями на сегодняшний вечер в то время, как просители ожидают в приемной «милости и решения» по мелкому административному или какому другому делу. Это в демократических рядах службы; а выше мы найдем угрюмых господ, сидящих в кресле, и не столько «выслуживающих», сколько «высидивающих» тысячи 4 – 6 в год жалованья, пенсию и всякие служебные благополучия. Все так обеспечено у нас, и притом во всей полноте прав и привилегий, что решительно невозможно провести границу между «сиденьем» и службой, и запретительно остановить первое и сообщить какое-нибудь вдохновение второй. Старое моральное требование: «Надо служить верой и правдой» не на всех действует; строгость и суровость начальства развивает в подчиненных только уклончивость и лукавство. А нужно, чтобы «сам» человек одушевился, захотел, поторопился: и вот в выгоде личной и материальной такой торопливости мы и указываем подходящее средство, которое обширный государственный ум уже может применительно к местам и людям разработать.

I

Это лето у нас – лето обильных военных воспоминаний. Четверть века, истекшая с Русско-турецкой войны, обратила мысль и воображение людей, которым теперь около 60 лет, к самому яркому моменту их деятельности и биографии. Важный момент общей исторической жизни совпал с цветом возраста множества сейчас живущих людей и вызывает улыбку веселости и радости на старых лицах. Гораздо менее уже теперь живых участников Севастополя. Мне привелось несколько лет быть знакомым с одним из них: и всегда я дивился необыкновенно ясному уму его, постоянной наблюдательности, а, пожалуй, более всего – прямому стану высокой худощавой фигуры и всегда безупречности костюма. Старый-старый, очень большой, с самыми маленькими средствами жизни (пенсия), приходил ли он к вам в гости, встречал ли у себя дома, он был свеж в одежде и мыслях, как англичанин, выходя к обеду, перед чем он, кажется, умывается и переодевается. Никакой распушенности около себя, как и никакой запутанности в мыслях у себя он не имел и не допустил бы. Он был абонентом библиотеки министерства финансов, что на Мойке, и постоянно и много читал. Он знал отлично всю русскую литературу, и помню спокойную его улыбку превосходства: «Нет, я старый человек и держусь вкусов Тургенева. Новые (писатели) меня не удовлетворяют. Может быть, это недостаток лет, но уже я останусь при моих летах и моих вкусах». Мы говорили с ним о нервности и туманности «новой школы» в литературе, в беллетристике, в поэзии и в рассуждениях.

Чего-чего он не знал из старого, а между тем следил и за всем новым. Он любил государство русское какую-то особенную, мне уже чуждою любовью почтения. Но сказать, что он был слеп и не критиковал как наше время, так и свое, нельзя. Но это не была критика раздраженная или туманная, а деловая, твердая, спокойная; и она никогда не покачивала фундамента огромной любви. Но и самая любовь эта была не риторическая и не крикливая. Она выражалась просто в интересе ко всему русскому и государственному. Человек был очень стар, а жив, как растение, и тверд, как минерал.

Узнав, что я был в Севастополе, он замахал руками и не хотел слушать. «Теперь ничего там похожего нет, все засыпано, сровнено, проведены, вероятно, бульвары, гуляют». Я сказал, что очень много видно, хотя рвы и валы линии обороны, конечно, заросли травой и отчасти сравнялись, но все же много можно видеть и много драгоценного и любопытного в Севастопольском военном музее; напр., образцы ружей наших и врагов наших того времени, выставленные при самом входе. «Удивительное дело война, – сказал он мне раз, – моменты паники и героизма роятся мгновенно из себя».

Глаза его затуманились, и он рассмеялся. «Как они прыснули (он назвал какую-то воинскую часть, роту или эскадрон, может быть, казаков) в овраг, поползли кто куда! Сил не было сдержать, а и причины никакой не было», — и он передал о чем-то фальшивом, или атаке крошечного же неприятельского отряда, или о внезапном залпе сбоку в шедшую колонну русских. Я удивился, как герои могли бежать. Он молчал. «Ну, а бывали случаи, рота бросится на неприятеля втрое сильнее того, и половину перебьют. Все решается моментально, и за минуту ничего нельзя сказать о части, которая явится героем или трусом под, Бог весть, какими причинами». Эту мысль его о неприглядности маленьких воинских движений я твердо помню. Из воспоминаний о Нахимове я помню одно: «Когда Павел Степанович переезжал бухту на катере, всегда правя сам рулем, левый борт шел не более вершка над водой». Т.е. катер шел совсем накренья, только что только не зачерпывая воды: особый морской шик, уже механический, привычный, как он мне объяснил.

Удивительно, что с этим севастопольцем я только изредка касался в разговорах Севастополя: он так много знал, видел и размышлял об общекультурных сторонах жизни, напр., об образовании, об этнографии (он, как военный, передвигался и имел случай подола живить в самых различных местностях России), о всем старом и новом, что разговор бежал около тем, интересных сейчас и мне, а не ему, а часто и около тем вечных. Также спокойно, деловито и дальновзорко касался он вопросов религиозных, нравственных, семейных, приводя и суждения, и наблюдения из жизни народов, или из истории, которую он отлично, кстати, знал.

По поводу небольшой моей заметки о взаимном сродстве характеров русского и французского, как-то высказанного в газете, мне прислал вместе с любезным письмом брошюру свою старый севастополец, ныне генерал-майор морской артиллерии, г. В. Колчак: «На Малаховом кургане», изданную им одновременно и на русском, и на французском языках («La Thour Malakhov. Souvenir d'un officier russe» par Basile Koltchak). К французам он сохранил добрую память, потому что при падении Малахова кургана был ранен, попался в плен и на 84-пушечном винтовом пароходе «Charlemagne» был отвезен во Францию. Он был очевидцем, между прочим, смерти Нахимова. Воспоминания его о плене и некоторых эпизодах последних месяцев Севастополя полны захватывающего интереса. Брошюра написана была под впечатлением открытия в Севастополе памятника Нахимову в ноябре 1898 года.

Живость и личность ощущений передаются к читателю, и с небольшой брошюрой г. Колчака мы точно входим в интимный мир знаменитой осады. 17-летним юнкером он вошел 15 апреля 1855 года в Севастополь вместе с транспортом пороха в 1000 пудов. Их нетерпеливо ждали, и тотчас по приемке порох был переправлен через бухту с Северной стороны на Южную.

В канцелярии начальника штаба капитана 1-го ранга Н. В. Воеводского прибывший узнал, что он назначен на Малахов курган, и уже туда отпра-

лены его «отсылки» (документы). С дежурным матросом, данным в провожатые (по незнанию расположения города), молодой артиллерист отправился к месту службы. Вот белые домики корабельной стороны; дорога подымалась к верху холма; улица кончается «известным каждому севастопольцу домом Тулубьевой», когда-то двухэтажным, а теперь с разбитыми снарядами стенами, с обвалившейся крышей. Около дома этого сменялись команды. Начинаясь подъем на курган: для защиты идущих от штуцерных пуль был сделан невысокий каменный забор; выше дорога защищалась насыпями, траверсами и брустверами. Все это было теперь бесформенно, изрыто и пронизано ядрами, а дорога усеяна осколками снарядов и обломками лафетов. Но вот и башня, венчающая Малахов курган. Верхний этаж ее имел первоначально 5 орудий, но они были сбиты 5 октября, при самом же начале осады. Нижний этаж был защищен от снарядов земляною насыпью. Под ним помещались блиндажи начальника Малахова кургана, начальника артиллерии и офицеров с ближайших бастионов. Впереди по закруглению башни шла Гласисная батарея.

Прибывший пошел представиться помощнику начальника Малахова кургана Н. К. Станиславскому, «отлично сложенному брютету, с энергичным лицом и большими бакенбардами, открытым и прямым взглядом, с Георгиевским крестом в петлице». Все же начальство, хоть и перед очами смерти, и 17-летний юноша отмечает: «Симпатичный голос его мне сразу понравился». Но вот обстановку, так поражающая нас неожиданностью: «Кругом – каземат с почерневшими каменными сводами; против входа висит несколько образов; перед ними тихо теплятся лампы, яркими огоньками мерцают свечи. Точно маленькая часовня. У стен несколько кроватей для офицеров, приходивших сюда на отдых. Здесь же в углу помещалась канцелярия армейских полков, бывших на кургане (три, страшно уже уменьшенные в числе людей полка), и канцелярия начальника Малахова кургана.

Станиславский, расспросив юношу, сказал, что раньше поступления на батарею ему надо ознакомиться с снаряжением разрывных снарядов, и пригонкою дистанционных трубок. «Сейчас я иду в бомбовый погреб, здесь и займетесь этою работою». Они пошли мимо траверсов, брустверов и батарей. Бесперывно воздух рассекали пули и, задевая камень, «издавали особый, резкий, похожий на кошачье мяуканье звук». Иногда в земляной вал врезывалось ядро и глухо, с каким-то тяжелым вздохом заседало в земле. По дороге слышались торопливые шаги – это выносили раненых. Станиславский был совершенно спокоен. Поминутно к нему подходили матросы с записками на клочках бумаги, и он отвечал на записки, давал распоряжения. «Но я, -- я ничего не слышал и не понимал. Все кругом казалось мне не то страшным сном, не то мучительным кошмаром. Точно чад заволок сознание, и только хотелось, чтобы время шло как можно скорее».

Механизм начинки снарядов был прост. Юнкер все думал о Станиславском, который шел так равнодушно по тому самому проходу, где уже поло-

жили свой живот Истомин и Корнилов. «От Станиславского мысль моя обратилась к собственному положению. Изредка над потолком погреба раздавались глухие удары, – это, как я догадался, от разрыва снарядов. Удары эти потрясали бревенчатый потолок и стены блиндажа».

II

Немедленно по ознакомлении с делом В.И. Колчак был назначен помощником батарейного командира на Гласисной батарее. Потянулись дни. «Блиндаж тускло освещался двумя свечками, и все предметы в нем принимали причудливую фантастическую форму, а у входной двери на стене было на всякий случай подвешено несколько светящихся ядер» (автор не объясняет, что это такое). Тут была собрана целая коллекция французских и английских штуцеров, револьверов, сабель и шпаг, взятых в траншеях во время ночных вылазок. «Темой разговора обыкновенно служили новые раненые у себя и на других бастионах. Вслушиваясь в эти речи, я никогда не замечал в них ни малейшего оттенка печали и раз навсегда убедился, что ко всему можно привыкнуть, как бы тяжело оно ни было». Батарейные командиры жаловались только на огромную потерю людей во время ночных исправлений поврежденных за день укреплений. Очевидно по всему, что психология здесь образуется у людей, даже как у докторов в операционном зале, только с разницей, что вот-вот которому-нибудь из них самих нужно будет лечь на операционный стол.

Во время усиленного бомбардирования 25 мая Павел Степанович, по обыкновению, находился на кургане. На другой день, 26-го, усиленная жестокая канонада гремела неумолкаемо, обрушиваясь главным образом на Камчатский, Волинский, Селенгинский передовые редуты и Малахов курган. Часов около 5 пополудни прошел Нахимов к тому же самому месту на банкете, где он всегда делал свои наблюдения. На кургане стало сравнительно тише: неприятели по обыкновению готовились к ночной бомбардировке. Изредка где-нибудь разрывалась граната, слышался одиночный выстрел.

Сошла ночь, и началось ночное бомбардирование. Стреляли с какою-то особенною злостью, должно быть, от большой понесенной потери людей и неудавшейся атаки на Малахов. Бомбы лопались и свистели повсюду. Павел Степанович начал обходить следующие батареи кургана. «Ночь была чудная, звездная. Около 11 часов среди привычного грома орудий мы слышали слабые стоны раненных. Начальник кургана сделал распоряжение о вызове охотников для переноски их на батарею. Пять матросов с носилками спустились через амбразуру в ров и здесь подняли французского офицера с раздробленным коленом. Собрана была еще партия охотников, и в течение ночи, несмотря на сильный артиллерийский огонь неприятеля, были подобраны остальные убитые и раненые французы».

Заняв наши передовые редуты, неприятель продолжал усиленное бомбардирование и с рассветом 6 июня пошел на штурм 3-го и 4-го отделений

оборонительной линии, но был повсеместно отбит. Особенно значителен урон потерпели французы перед Малаховым курганом. Трупы их лежали синими рядами. В некоторых местах с правой стороны кургана пестрели и красные мундиры англичан. Множество раненых осталось тут же перед батареями. Дорого обошелся союзникам этот штурм. На другой день, часов около 10 утра, на бывшей нашей Камчатской батарее взвился белый флаг – сигнал перемирия для уборки тел. Стрельба прекратилась, начали переносить раненых. Убитых французов перевозили на фурштатдтских телегах и складывали у Камчатского редута; там бродили живые французы и смотрели на всю эту ужасную картину страданий и смерти серьезно и сдержанно.

Приближался день 29 июня, когда Севастополь потерял Нахимова. Замечательно, что из всех героев обороны он как-то более всех свил около себя память историческую и привязанность народную. Точно народ и общество, не имея сил одинаково всех помнить и не желая разбрасываться в чувстве, собрало все сердце свое и остановило его на Павле Степановиче, как бы говоря разрушенному городу и его героям: «Я не могу так со всеми сделать, но вот о памяти и благодарности к вам судите по памяти к одному». О нем собраны мельчайшие штрихи биографии. Его фигура, лицо, усы, единственный видный на карточке глаз, фуражка знакомы каждому русскому почти как и лицо Суворова. Точно в нем и в лице его Россия получили себе Георгия на шею, и любит и гордится этим Георгием. Действительно, отечество должно «заслужить» такого человека, и без долгой исторической службы всего государства, всех его сил, такие фигуры не появляются. В Нахимове, его твердости, почти формализме, его глубокой преданности Царю и Отечеству, отлился идеально тип русского служилого человека. О нем не рассказывают слов достопримечательных, не вспоминают даже подвигов единичных и драматических, но любят вспоминать всю его службу, его ежедневность; передают его «день за днем», как бы для всей России, ежедневно трудящейся, найдя, наконец, идеал государственной служебной доблести. Россия так много воевала, что не составляет неожиданности, что военная фигура выдвинулась вперед как вообще пример службы «Царю и Отечеству на пользу». Перейдем же к описанию кончины любимого этого человека, как она передана у г. Колчака, на глазах которого он пал 28 июня, накануне дня своего ангела.

Грозные события шли своим порядком. На батареях жизнь текла по-прежнему. Нахимов был везде и всюду, воодушевлял всех своим примером. Он каждый день объезжал линию огня и посещал Малахов курган. Надо было видеть, как матросы, да и офицеры любили Павла Степановича. Только услышат или увидят, что идет Нахимов, и все лица просветлеют, осветятся теплою сердечною радостью. Своим присутствием он производил удивительное обаяние на всех окружающих. При нем каждый чувствовал, что нет никакой опасности, нет никакой смерти, что носилась ежeminутно сверху, сбоку, снизу и повсюду. Медленно, с невозмутимым хладнокровием, проходил он на Гласисную батарею среди

завывания пуль и чиликанья бомб. Он останавливался на совершенно открытых местах и внимательно рассматривал повреждения на батареях. Около него летал целый рой снарядов; он мог сделаться жертвою каждой пули, а между тем он стоял и рассматривал с удивительным спокойствием или подбитое орудие или разрушенный бруствер. Нельзя было не подчиниться обаянию такого примера, и вот почему уважение к Нахимову возрастало с каждою минутой. Он до того не обращал внимания на собственную безопасность в течение девяти месяцев томительной кровавой обороны Севастополя, под самым сильным огнем, что флот и вся армия смотрели на него, как на человека, хранимого Промыслом. И действительно, в нем таилось что-то сверхъестественное. Все были твердо уверены и убеждены, что ни пули, ни снаряды не могут прикоснуться не только к самому Павлу Степановичу, но и к каждому, стоявшему около него в самом жарком огне. Надо сказать, что и я испытывал это чувство. Но тяжелая роковая минута уже приближалась.

Около 12 часов дня 28-го июня, когда Нахимов обедал, началась сильная канонада по 3-му бастиону. Наскоро кончив обед, он выехал из дому веселый, обошел и осмотрел все батареи 3-го бастиона и поехал на Малахов курган. «Было 4 часа пополудни, когда он пришел один на Гласисную батарею, к обычному своему месту, на банкет, у первого 68-фунтового орудия с левой стороны, и стал осматривать в трубу работы. Начальник кургана Ф.С. Керн был на башне, где шло богослужение накануне праздника (Петров день). Его позвали к адмиралу, и Керн вышел навстречу Нахимову. Затем Павел Степанович поднялся на банкет у следующего орудия и снова стал смотреть в трубу через бруствер. Его адмиральские эполеты были заметно мишенью для неприятеля. Пули посыпались буквально, как град. Керн молчал и, затаив страх за жизнь Павла Степановича, начал просить его зайти в башню отслушать всеночную. С нашей батареи был сделан выстрел из орудия по траншее. В это время несколько пуль ударились в земляной мешок на бруствере подле самого Нахимова. Несмотря на прямые уже просьбы Керна отойти от этого места, он продолжал осматривать в трубу работы. Не успел он выговорить: «Ловко стреляют», как упал, смертельно раненный, на правый бок. Все это произошло так неожиданно и так быстро, что Нахимова не успели даже поддержать. Пуля прошла выше виска, над левым глазом, пробила череп и тронула мозг. Адмирал произнес что-то невнятное и не приходил в сознание. Керн, стоявший рядом с ним, бросился к нему первый. Наскоро Павлу Степановичу сделали перевязку, на солдатских окровавленных носилках понесли через Аполлонову балку и на катере перевезли на северную сторону в бараки. Нахимов лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. 29 июня был день ангела Павла Степановича. Ему стало как будто лучше. Он открывал глаза, но, по-видимому, никого не узнавал, ни на минуту до самой смерти не приходя в сознание. 30 июня, в 11 часов 7 минут утра, скончался доблестный адмирал, герой Наварина, Синопа и Севастополя. В 6 часов вечера 1 июля, во время похорон адмира-

ла, неприятель не стрелял. Разнесся даже слух, как оказалось, неверный, что англичане, узнав о смерти Нахимова, скрестили реи и приспустили флаги. Нахимова спустили в могилу в храме св. Владимира, подле Лазарева, Корнилова и Истомина. Матросы, рыдая, бросали горсти земли и, крестясь, расходились.

Так мы и потеряли и приобрели героя в этот день. Славна смерть славных. Как напрасно мы оплакиваем их. Умри Сократ от тифа – и мы не имели бы, пожалуй, лучшей страницы философской истории. Умри чуть-чуть иначе, напр., дома и с пенсией или хоть от гангрены после оторванного на ноге пальца, Нахимов – и сколько слез и воспоминаний о нем потускнели бы. Мы умираем именно так, как нужно. Ровная служебная деятельность, точная ледяная, – герой скованный в форму, безмолвный, регулярный, ослепительно вспыхнул в последнюю секунду и весь вылился для народной памяти именно в освещении этой минуты. Точно снялся в моментальной фотографии, только не при магнии, а при разорвавшемся снаряде. И три страны помнят о нем; ибо хоть несколько, а помнят о нем и наши тогдашние противники. России же честь, что она, – как пишется в патентах на орден, – выслужила себе такого человека долгою и безупречною службою.

ОСОБАЯ ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ

(Из переписки С.А. Рачинского)

Мне пришлось знать трех наших так называемых «консервативных писателей», – хотя, Боже, до чего неточен и похож на клевету этот термин: «консервативный»! Но об этом недоразумении когда-нибудь со временем. Мимолетный разве штрих: у Н.Н. Страхова на небольшом столике, куда клались получаемые письма, журналы и газеты, я постоянно видел и свежие номера «Моск. Вед.». Я был уверен, что он читает, следит, иногда сотрудничает, и спросил его об этом. «Да нет, никогда не читаю. Что же тут читать. Кроме, конечно, статей Говорухи-Отрока». «Зачем же вы выписываете?». «Да вовсе не выписываю». «А как же у вас газета?». «Я академик (он улыбнулся и вообще стоял выше титулов) и, следовательно, почтенное лицо, и они мне даром высылают газету, как почтенному лицу». В нашей консервативной печати надо различать людей, которым никакого дела и ни до каких идей не было. Это совершенно определенная немногочисленная группа практических людей, практических двигателей политики. Их можно назвать греческим именем «οἱ τριάκοντα»*, «тридцать», по примеру Крития, Ферамена и других «сотоварищей», расправившихся с афинскою общиною. Как ни странно, сюда принадлежал и гениальный практически Катков. Катков превосходил всех «οἱ τριάκοντα» страстью или скорее страстями ума и весьма похож

* «тридцать тиранов» (греч.).

был на огромного быка в испанских цирках. Опустив голову, выставив вперед рога, он всей огромной массой кидался по направлению куска цветной материи, которая его раздражала впереди. Вся сила испанского быка сосредоточена в ногах и шее. Мозг у него маленький, и он не понимает, куда и зачем бросается, обыкновенно гибнет. У Каткова была какая-то моментальная воспламеняемость воображения. Друг и сотрудник его Любимов в известной книге, посвященной его памяти, рассказывает, что подчиненные по редакции друзья Каткова вырезывали или отчерчивали карандашом только известный кусочек передовой статьи, положим, «Голоса» или коршевских «С.-Петербургских Ведомостей» и давали прочесть его Каткову. Таким образом, поразительно, что Катков не только не читал всего номера враждебной газеты, но и той статьи приблизительно в 150 – 200 строк, какую ему надо было опровергнуть. Т.е. он не знал ни хода мыслей противника, ни самого дела, о котором противник рассуждал. Мазини в «I pescatori»* не знает ничего, кроме того, что он Мазини и что он единственный. Катков, прочитав кусочек в строк в 12 – 20 – 40, так же как Мазини, расставлял широко ноги, делал секундный массаж горлу пальцами, раскрывал рот, закрывал глаза и уже звуки лились, лились и очаровывали Россию и в ней не одних консерваторов. Ферамен говорил свою обвинительную речь. Кроме самых первых лет, когда Катков переводил Гейне, интересовался германской критикой о Пушкине и писал (довольно бессвязную, хотя поразительно блестящую в стиле) статью-диссертацию: «О древнейшем периоде греческой философии», от всего остального времени его жизни, от самого устройства его газеты и общего колорита статей вовсе не веет сколько-нибудь сложной и углубленной идейностью. Патти пела свои арии, Мазини – номера из «I pescatori». Страсть умственная, пламя воображения, природный огромный талант: все это дергаемое за веревочки безголосыми дельцами внизу. Родись Катков в другую эпоху, стой среди других людей – и он спел бы иные и лучшие песни своим дивным голосом. Так ведь и было в самом деле. У Любимова приведены его объяснительные или оправдательные записки к министру внутренних дел по поводу греко-болгарской распри. Какие это речи, слова, мысли! Но Мазини, взяв осторожно за плечи, повернули в другую сторону или, скорее, под Мазини подвижной пол сцены был повернут в обратную сторону: звуки все той же красоты лились в обратную сторону. Кто помнит в Каткове или может указать видимые и осязаемые следы «гамлетовщины», сомнения и мучения в период огромного перелома, казалось бы, всех убеждений? Кто помнит колеблющиеся его статьи? Ничего подобного. Помните, как увидела Татьяна неожиданный снег на крыше домов:

На третье в ночь проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор...

* «Искатели жемчуга» (ит.).

Так и Россия в один прекрасный вторник услышала вовсе не те речи, какие она слушала в понедельник и воскресенье, – и все было так красиво, что некогда было размышлять, как, что и почему.

Страхов, К.Н. Леонтьев и С.А. Рачинский, – три «консерватора», каких я знал, – не имели решительно никакой связи с этими «οί τρίακοντα», иначе как внешней и кажущейся. Их принято называть «консерваторами» только оттого, что они не разделяли многих иллюзий своего времени, которые и в самом деле потом оказались поспешными. Просто они были неторопливые люди, люди созерцательные, – кроме, впрочем, К.Н. Леонтьева, автора повестей «Из жизни христиан в Турции» и сборника статей политических: «Восток, Россия и славянство». Он был публицист. Но в противовес страстно тупому, рвущемуся и неразмышляющему Каткову, – какой это был разнообразный и неугомонный ум, как бы вечно рождающийся, подобный Фениксу, из пламени! Только одичалость и запустение нашего книжного рынка, доселе жующего Спенсера и Бокля, причиной того, что литература наша до сих пор не имеет даже сносного собрания его сочинения, и что они не стоят на полочке любимых книг всякого образованного русского человека. К. Леонтьев есть постоянный факт нашей литературы, и изящный факт. Публика просто его смешивает с однофамильцем, составителем латинского словаря, директором Московского лицея и другом Каткова!! Печальное смешение, как если бы смешивать в одно лицо историка, романиста и философа, Сергея, Всеволода и Владимира Соловьёвых! Но это смешение не выдумка моя, ибо мне нередко приходилось слышать слияние в одно лицо обоих столь различных Леонтьевых! Как у Каткова направление мыслей составляло все, составляло дело его жизни, реальный и практический его труд, смысл существования; так у перечисленных трех писателей, собственно, не следует вовсе придавать значения направлению их ума: игра мыслей, сложнейший аромат их одушевления, их скорби философские и исторические – вот в чем весь их интерес, чему сами они единственно придавали в себе значение. В Каткове сила лежала в упоре ног и мощи шеи, у Рачинского, Леонтьева, Страхова все это было не крепко. Они похожи на прелестный и огромный цветок, качающийся на самом тоненьком и слабом стебле. Мне известно, что Страхов иногда не имел на что купить и заварить чаю; Леонтьев в нужде своей доходил до отчаяния; С. А. Рачинский никогда не приложил ума и рук, чтобы получить хоть один рубль, и не нуждался только потому, что не выпал из родового гнезда, где было все заготовлено предками. И это не была искусственная бессребренность: просто – они не тем интересовались в жизни. Как Белинский у Надеждина в молодости, – так эти люди до старости и смерти жили вечно в каких-то «антресолях», а не в капитальном каменном доме. Между землей и небом, в мечтах и воображении, и притом не приписывая этому ни заслуги, ни интереса, а просто соответственно своей натуре.

Интересно сравнить их слог, о котором сказано, что это «сам писатель». Часто приходит на ум, что хотя Рачинский гораздо менее писал, чем Стра-

хов и Леонтьев, и гораздо специальное, но что именно как писатель-стилист он их обоих выше. Вечный недостаток Страхова составляла тихость писаний. Тихий человек – в этом весь Страхов! Вот уж никогда не произвел шума! По поводу «Рокового вопроса» Катков поднял нелепый шум, ничего в статье не поняв, может быть, ее не прочитав. Он кричал как зарезанный и погубил журнал Достоевского, в котором «Роковой вопрос» был напечатан: задержал и испортил, в пору торжества так называемого «нигилизма», – журнальную деятельность таких устойчивых и исторических писателей как Ф. Достоевский, Н. Страхов и Н. Данилевский. После этой-то истории, все испортившей, Страхов и остался даже без возможности купить себе чаю. Но я возвращаюсь к его бесшумности. В то время как о нем и вокруг него шумели и скандалили, он остался по-прежнему тих. В этой тишости, если к ней внимательно присмотреться, заключалось самое высокое изящество: вечное, неустанное движение мысли около самых высоких тем человеческого и мирового существования. При первом чтении его книг Страхов представляется даже компилятором. Целыми страницами идут у него выписки из других, старых и современных писателей, философов, ученых. И кажется – в них центр тяжести. Только потом видишь, что центр лежит в бесшумном существе, которое около чужих камней, между чужими камнями тклет таинственную золотую паутину, вовсе в камнях тех не содержащуюся, нисколько из них не вытекающую, а всю вышедшую из его существа и представляющую новое и самобытное явление природы. Как-то он мне писал: «Я боюсь неясных движений мысли и чувствую себя тверже, когда передо мной определенное мнение другого человека, о котором я и говорю, уже совершенно ясно, с ясным началом и концом». Всякую свою работу, с первых же начиная строк, Страхов опирал на чужую работу, на чужие мысли и слова, но то были служебные опоры, от которых только начиналась работа. И далее она велась опять до чужой мысли, до чужой работы, до выписки из другого писателя. Но вы замечали, что он их всех отвергает, критикует или вводит в свои рамки и что, стало быть, его работа не есть конгломерат чужих работ, но всецело и единственно его труд, лишь механически прицепленный к чужим трудам. Паутина в лесу, или настилка художественного чугунного моста на трех-четырёх гранитных быках – вот работа Страхова.

С.А. Рачинский ценил его труды выше, чем Н.Я. Данилевского, т.е. чем «Россию и Европу» и «Дарвинизм». Так он мне говорил. Перехожу к нему. Язык его не имеет той тишины, переходящей в недвижность, как у Страхова. Выдержек из других писателей вовсе нет. Критики – нет. Рачинский говорит только свое и от себя, языком не страстным, даже не волнующимся. Ни кипения, ни брызг нет, но это в высшей степени свежая вода, зачерпнутая из кристального горного источника. Никакой мути, ничего стороннего и особенно никаких следов загрязнения. Язык Леонтьева мне лично более нравится, чем у них обоих, – но я слишком сознаю, что такое мое суждение есть личный предрассудок. Слишком очевидно, что Леонтьев страдал неиз-

меримо больше их обоих и несравненно пламеннее любит свои убеждения, может быть, свои предрассудки, суеверия. Отсюда вытекал его стиль. В марте или феврале, умываясь невскою водою, вы чувствуете, что она с льдистыми иглами. Вот сплесните воду в сторону: и куча исчезающих тончайших льдинок выразят природой, остротой, колючестью своею прелестный (для меня) язык Леонтьева. Его «Национальную политику как орудие всемирной революции», согласны вы или не согласны с ним, можно ненасытно читать и перечитывать, чаруясь просто языком, немзыкальным, неправильным, но колющим и мучающим тоской, недоумением, гневом, нежностью душу вашу. Решительно Леонтьева невозможно не начать любить как человека, как мученика и страдальца своих идей, – никогда его не видал в лицо и только начав читать его, я решишь сказать, творения. И с тем вместе весь цикл его идей, например, с теперешних моих точек зрения, представляется просто вздором, именно предрассудками и суевериями. Но красота души его и писаний остается совершенно независимо от их истины. Я заметил, что красота голоса была и у Каткова. Но у последнего это какая-то дельная, нужная для дела красота. Граммофон гремит полезную сейчас арию. Что за душа была у Каткова, что он любил, чем страдал – неизвестно, да и не интересно. Когда была нормировка сахара, он не любил сахара и писал против сахара (я конкретно помню эти статьи, начинающиеся: «Сахаром живет Россия или хлебом, вот вопрос» и т.п.). Помню и столь же, например, конкретную статью Леонтьева по поводу юбилея Фета, на котором он не мог почему-то быть: «Вы все собрались во фраках... черный фрак и белоснежная грудь рубашки составляют торжественно-парадный костюм европейца. Когда мы торжествуем, праздничны – мы одеваемся в траур»... И пошел, дальше, больше, выше и выше поднимаются круги орла: и как из-за облака орлу видны и одно море, и другое, и все страны... так с Леонтьевым вы вечно видите не сахарную нормировку, а всемирную историю, политику и философию. Этот головокружительный писатель, и пусть даже ни одного более истинного слова не содержится в его *orega omnia*. Никогда его не видел, я состоял с ним в долгой и, так сказать, тревожно-страстной переписке: так действуют его труды. Подобного действия, подобного могущества в действии не было вовсе у Рачинского и Страхова. Они внушали почтение, уважение; признание их заслуг; но все это было тихо, благоразумно! Все было похоже на святые воды Силоамской купели, которых не возмугил ангел. А Леонтьев и давал вот именно такое «возмущение»...

Да будет мне прощен этот личный вкус и личное впристрастие, может быть, исполненное ошибок. Я взялся за перо, чтобы, собственно, поговорить об одном только из этих трех писателей, недавно умершем С.А. Рачинском. И даже чтобы не столько от себя дать его характеристику, сколько дать место отрывкам из его писем, могущим напомнить дорогое лицо слишком многим людям, его лично знавшим. Он однажды подвел меня в библиотеке своей к шкафу с страшно толстыми книгами, на корешках которых были золотом оттиснуты годы: «1869, 1870». «Что это?», – спросил я. Он

сказал, что уже за много лет собирает этот «обоз к потомству» (его выражение): именно, тщательно регистрирует и снабжает необходимыми своими примечаниями получаемые им из всех мест России письма от священников, учителей, частных лиц, «алчущих и жаждущих правды», каких всегда в каждом десятилетии много, и частью от знаменитых лиц, по государственному, научному или литературному положению. «Им место в Публичной библиотеке уже заготовлено,— сказал он мне:— все переговоры сделаны, условия заключены и после моей смерти их придется только перевезти в Петербург». Можно быть уверенным, что эта воля его будет священной исполнена. Грешный я человек: много ходов мысли, которых нельзя было изложить в печати, я изложил в письмах к нему, и как-то осторожно ему написал, что это не столько для него я пишу, сколько предполагая, что он писем не теряет. Он с живостью мне отвечал, как бы располагая писать более, что ни единый листок, адресованный к нему, не минует этих переплетов и шкафов. В последние два года, когда мы с ним почти вовсе разошлись по разным вопросам, он написал мне колко: «Прекрасно вы делаете, складывая в татевский архив тот отдел ваших *орга omnia*, который вы предназначаете потомству. При получении каждого из ваших писем благодарю Бога за то, что оно будет храниться у меня, а не попадет в петербургскую печать». Взаимно слова наши уже только звенели друг для друга, а до сердца не доходили.

«Я погружен в материальные заботы о школах. Тут и ремонт, и всякие запасы, учебные и хозяйственные, на зиму, и т.д.». Нужно заметить, при очень многих школах его ученики жили, а не приходили только по причине далекости родительских домов. «В татевской школе перекладка печей прервала воскресные беседы, с осени возобновившиеся с особым оживлением: летом я был не в силах их вести. Мой адъютант, специалист по рассказам из «Жития святых», отличается. У нас гостит* Софья Николаевна, пользуясь последними днями вакационной свободы. Деятельность ее по двум школам, мужской и женской, изумительна. И она ведет воскресные беседы, посещаемые толпою народа. Лучший ее помощник — диакон из моих учеников. На днях и в Татеве водворится диакон из них же (т.е. учеников Р-го) и первую зиму будут жить и учить в школе. Я на этот счет стал совершенно негодным (т.е. от слабости и лет). Все жалуются, и не без основания, на неудовлетворительность наших сельских причтов. Но ведь никто пальцем не шевельнет для их улучшения. А дело в наших руках. Я это узнал на опыте. Сколько вокруг меня выросло помощников, и сколько еще сил я растратил (т.е. передал выученных учеников учителями в другие губернии). Вот сиротка из крестьян, вскормленный и воспитанный мною

* Позволю себе назвать собственные имена письма, дабы многочисленные люди, заинтересованные школами С.А. Рачинского, в точности видели, что он оставляет после себя людей, могущих продолжить его дело. Названное в письме лицо — двоюродная сестра С.А. Р-го.

(следует имя и фамилия, опускаемые мною), назначен епархиальным наблюдателем над школами (называется губерния). Между делом занимаюсь моими письмами. Их набирается до 100 томов, по 80 – 100 писем в каждом. К каждому письму приложены белые листы для необходимых примечаний. Все вместе будет завещано Публичной библиотеке и составит материал, драгоценный для будущего бытописателя. Глядя на эту библиотеку, с ужасом думаю о том, что столько же писем написано мною, написано необдуманно и спешно, по множеству иного дела, и что за всякое из этих писем я отдам отчет в день судный. Да хранит вас Бог. Преданный вам С. Рачинский». Этот тон удивительно шел, так сказать, к осеннему складу его души. Он и на свое время смотрел, как бы уже на прошедшее, а прошедшее оживало для него, как современное. «С великою радостью, – пишет он в другом письме, – узнал я о выходе в свет X тома барсуковского «Погоди-на». Именно на Страстной дочитывал я томы VIII и IX, в первый раз прочитанные мною с пропуском. Чтение этой книги – прогулка по Елисейским полям: читателя обступает весь сонм дорогих покойников, озаренный ровным и кротким светом, примиренный вдумчивым беспристрастием автора. Говел я на Страстной, как всегда, разговлялся в школе, празднично убранной, с сотнею ребят, и до сих пор утомлен до крайности. Дай Бог дотянуть этот учебный год. Пение и чтение в Великую субботу, на Пасху, в Благовещение были удачнее, чем когда-либо, благодаря умножению *взрослых* (курсив в письме) певцов и тещев. Толпа слушателей на воскресных беседах все увеличивается. Но принялся я за дело слишком поздно. Работая я только (не описка) 21 год, и силы мои истощены. Еще столько же лет работать и остался бы след»...Какой удивительный тон, и неясный смысл последних строк. Что касается до курсива о взрослых певцах, то, будучи раз <в> Татеве, я с изумлением тоже услышал как бы нелюбовь Серг. Алекс. к маленьким, отроческим голосам в хоре, – на мою и, кажется, на всеобщую оценку, составляющим главную красоту хора. Конец письма – опять о Барсукове; выразив уверенность, что деньги на издание последующих томов будут найдены, он прибавляет: «Но надвигается новое затруднение: появление на сцену лиц, еще живых. Надеюсь, впрочем, что царствование Николая может быть доведено до конца в прежней полноте. Моя коллекция писем все разрастается и очень пригодится Барсукову XX века».

Жизнь его за последние годы уже едва теплилась – и все около школы и народа; и он умер, как часовой на часах с ружьем. «Здоровье еще так плохо, – писал он мне, однако, лет за пять до кончины, – что дальше. Белого и Дунина (село с постоянным двором на переезде от Татева до Белого) я добраться минувшей зимою не мог, да и эти небольшие поездки не обходились без последствий весьма неприятных. Не лучше моего и здоровье сестры (родной, владельницы Татева); но мы бодро боремся с нашими недугами и стараемся делать, что можем, в пределах нашей микроскопической деятельности. Вижу из вашего письма, что вы заразились одною из петербургских болезней – суеверным преувеличением размеров правительственной влас-

ти в деле направления умов и общественных настроений. Иллюзия эта естественна вблизи от источников власти, действительно великой. Но есть власти невесомые, еще более действенные; органы этих властей – люди мысли и слова; и эти власти владеют владеющими... Этим летом не был я в силах учить. Дай Бог, чтобы удалось дотянуть будущую зиму, – двадцатую. За лето выстроил две школы. Продолжаю вести воскресные беседы. Слушают с трогательным вниманием. Николай (Н. П. Богданов-Бельский) предпринял написать картину, изображающую одну из этих бесед. Чтецом будет изображен один из моих учеников – диакон, в числе слушателей будет помещена и моя фигура. Ребята мои украшают эти беседы пением, Николай (Н. П. Богданов-Бельский) беглыми рисунками, относящимися к прилучившемуся чтению. Сегодня я застал на школьном крыльце старичка-крестьянина, любующегося цветами, разведенными вокруг школы, и услышал от него следующий комплимент: «Какой вы, С. А., *благодетель* (курсив письма)! Как у вас все цветет, как у вас все зелено и красиво!». Пишу теперь для новых двух школ тропари, воскресные и праздничные, в громадных размерах с роскошными заглавными буквами, и знаю, что и это ребячество будет оценено. Новая больница у нас освящена. Она прекрасна, и всего лучше в ней – моленная. Хожу туда каждый вечер читать молитвы на сон грядущий. Школьная братия приходит петь, к великому утешению больных. Так как больница в нашей разбросанной усадьбе занимает положение центральное, приходит много и постороннего народа. На заводе Нечаева-Мальцева (невдалеке от Татеева) строится церковь, большая, каменная. Это для меня событие, ибо тамошняя школа мне поручена, и многое в ней не могло до сих пор быть приведено в должный порядок за отсутствием церкви и священника. Дровинская (село) школа, в которой подвизается бывший мой помощник Лебедев*, окончательно разрастается в учительскую семинарию. Обе Меженинские (село близ Татеева) школы процветают. Одна из них – помещение для меженинских девочек (т. е. вроде приюта для сироток). Вчера получил для нее от Вани Петерсона прекрасную икону Спасителя».

Этот «Ваня Петерсон» – мальчик из местных инородцев, принявший православие. На стенах татеевской школы я видел рисунки его, необыкновенного изящества, и все, помню, возвращался, чтобы полюбоваться ими. Он не вырос во всероссийскую величину, как Богданов-Бельский, но стал изящным и полезным местным живописцем.

В этом тихом Татееве росли, однако, мысли самых далеких перспектив и обобщений. Мы раз коснулись смерти народов, почти столь же неизбежной, как смерить организмов, и наступающего упрощения у таких народов узора жизни, как предсмертного признака. Говорили об этом в связи с падением в Европе сословий и обезличением наций под давлением технического и международного прогресса, при установлении везде одинаковой ад-

* Один из талантливейших выработанных С.А. Р-м педагогов. Вообще, Р-ский умел находить таланты – и двигать их в соответственном направлении.

министрации, сходных законов. Он мне писал: «Все попытки объяснить явления сложные сравнением с явлениями более простыми поспешны и односторонни. Организмы коллективные – природа, человечество – неизмерно сложнее и живуче организмов индивидуальных. Объединение, обезличение – действительно сопровождают всякий регресс; но не всякий процесс этого рода есть прелюдия смерти. Человечество уже пережило две эпохи, аналогичные с нашей в пределах orbis terrarum antiquus*. Это – культурное объединение, под обаянием греческого гения и римской силы, и средневековое объединение, под влиянием католической церкви, рыцарства, крестовых походов; и оба раза за этими процессами последовало большое расчленение, новая индивидуализация процессов культурных и политических. Переживаемое нами объединяющее, обезличивающее движение несравненно шире. Оно вполне поглотило Японию; оно разъело Турцию, Египет, Персию; оно давно охватило образованные классы Индии; в нем участвует Австралия и обе Америки. И это отнюдь не только распространение культуры европейской. Одновременно с этим последствием в европейское сознание широкою струею влились элементы восточной метафизики и этики. Все эти данные предвещают не смерть, а новое пробуждение исторического творчества, культурной индивидуализации, более широкое, чем то, которое ознаменовало начало христианской эры и эпоху Возрождения. Нет сомнения, что одним из главных театров этого процесса будет Россия, столь чуткая к западным влияниям, столь тесно связанная с Востоком своими историческими судьбами».

Замечательна здесь мысль, что не только мы Востоку даем, но и сами кое-что, притом жизненно и серьезно, у Востока берем; что мы не только покоряем Восток, но частью и смешиваемся с ним. Процесс в других формах, но все же аналогичный тому, какой для Греции наступил после Александра Великого; ведь греки еще более, чем мы, считали персов «варварами». Вспомним наши серьезные книги о Китае, буддизме, реставрирующие экспедиции на место древних Ниневии, Вавилона, Фив. Вспомним даже нашу Блаватскую и смесь в ней простодушия и серьезного. Как будто у нас является любопытство ко всему миру. Точно Европа идет и будит кости мертвецов... Уже не перед Страшным ли Судом? «Восстаньте все и посмотрите суд над блудницею». Но ведь кто же бы явился ею, как не она сама? Впрочем, может быть, все кончится мирною электрическою и научною эпохою, вроде александрийской. Может быть, вообще религиозные и мистические ожидания не по аршину земли скроены, и наша планетка замерзнет самым рациональным образом, так сказать, уснет без ангелов и дьяволов. «Воображение людское, воображение Востока...». Будем думать, что все кончится рационально.

Об усопшем хорошо сказать то, что он сказал о другом усопшем. Вот грустные и вместе светлые строки, в каких он передал впечатление от кон-

* мир античности (лат.).

чины престарелой и добрейшей родственницы своей, жившей в Татеве: «Вчера тихо и радостно, после долгих страданий, скончалась наша двоюродная сестра. Перед самою смертью она любовалась отблеском утренней зари на деревьях, убранных инеем, прощалась с живыми, говорила о свидании с умершими...». «Отблеском инея...», Боже, неужели «там», за гробом, этого не будет? Не будет хорошего нашего? Говорится же о каких-то «деревьях» там, плодах, цветах? Но тогда отчего же и не «утренний иней», эта особая и исключительная красота зимнего дня? Как хочется быть «мистиком» и поверить, что нашими чувствами, уже освоившимися со здешним, мы и там ощутим что-то подобное здешнему? Если *что-нибудь* «там» есть – есть наше! И цветы, и деревья, и даже иней! И, конечно, родные и ближние, но все в «преображении», в новом блеске и славе. Хризотида, наше тело – умрет; туда выпорхнет – бабочкой. «Все уже иное и, однако, все то же я...». Гроб не есть отрицание ни души, ни ее бессмертия. Гроб – только для хризотиды...

Так, будем верить, и татевский отшельник теперь – среди ближайших и родственнейших душ, чем пока был здесь.

ДВА МЕТОДА СЛУЖБЫ

Возможны две системы государственной службы. В одной чиновник есть существо маленькое, глубоко и мелочно зависимое, безответственное, на маленьком жаловани; и самих при этом чиновников много. Это принцип нашей службы, с ее третьим пунктом, т.е. увольнением без объяснения причин, переполнением департаментов служилым людом, но без серьезной для каждого чиновника ответственности за исполняемое дело, ибо за каждым маленьким делом присматривает, формально или по существу, еще глаз, а то и два глаза. На редкой и даже чисто формальной бумаге у нас не стоит три подписи: столоначальника, начальника отделения и вице-директора департамента. Чуть-чуть бумага поважнее, на ней стоит и подпись директора департамента. Собственно директора и вице-директора департаментов у нас несут воловью работу: такое множество дел проходит через их руки, и дел мелочных, формальных, бессодержательных. Совершенно очевидно, что эти три подписи на одной бумаге и тройное присматривание и исправление одной и той же бумаги есть показатель худого принципа службы: один начинает дело, но так плохо, что его нельзя не исправить; другой делает эту исправку, однако с неуверенностью, и показывает третьему: очевидно, что тут нужно не три работника, а два, которые бы работали параллельно и самостоятельно каждый. Внимание наших чиновников страшно рассеяно множеством проходящих через их руки дел; но однако именно «проходящих», а не делаемых кем-нибудь от начала и до конца. Лестница службы у нас слишком сложна и мелочно сложна. Не видно, кто настоящий работник, не видно, кто настоящим образом отвечает.

К тому же этот способ труда, состоящий из «недоделки», «перedelки» и «отделки», отнимает энергию у всех. Каждый не так заинтересован делом, зная, что оно не сохранит вида, какой он придаст ему; каждый старается не столько над делом, сколько над приноровлением ко вкусам своего поправщика; никто решительно не заинтересован скорым его окончанием и бессилён его ускорить. Вся работа, иногда по самому маленькому вопросу, получает вид какой-то вавилонской башни, со множеством отписок и переписок, и иногда строящие ее так же мало начинают понимать друг друга и так же не кончают своей работы, как и строители подлинной Вавилонской башни. Кто не знает у нас «комиссий», собиравшихся по три, по десять лет, стоивших государству десятки тысяч рублей и все делопроизводство которых затем приказывалось отобрать и сдать в архив. Дела «старели» в производстве, и когда были близки к концу, время уходило вперед или совершенно изменялись люди и взгляды. А между тем «работа» была, работа оплачивалась. Эти «комиссии», громоздкие, медлительные, дорогие, безличные, где люди только мешают друг друга, где все думают медленно, а что делают – и совсем того не видно, где никто не испытывает неловкости перед другими, ибо, в сущности, лично и за себя и под своей ответственностью он ничего не делает, – эти комиссии только ярче отражали то, что у нас делается в миниатюре в департаментах.

Мы переходим теперь к совершенно другому принципу службы, ярче всего выраженному в английской администрации. Здесь служащих очень немного, все они получают большие оклады жалованья, сильно трудятся и очень талантливы. Этот принцип службы, можно сказать, совершенно обратный нашему и дающий самые блестящие результаты. Здесь чиновник начинает и оканчивает дело. Лицо его не погашено, ответственно и полно инициативы. Как у нас «недоделочный» способ службы развил необразимое бумажное делопроизводство, так там, утилизируя время и дорожа каждой своей минутой, чиновник сократил до минимума формальности и бумагописание. Делопроизводство и его характер всегда отражают собою постановку чиновника; ибо соответственно «делопроизводство» всегда изводится из себя чиновником, его он приноравливает к себе и своему положению. Там, где все спутано в нераспутываемый моток, как у нас; где никому официально не верит и никто ничего не должен самостоятельно уметь, и должна была получиться необозримая «переписка» ведомств, «комиссии» с представителями от разных ведомств, по всем почти «статьям» закона «примечания», ограничения, исключения, по всякому распоряжению и инструкции к уставу напечатанному – писанные циркуляры и пр., в общем страшная сложность.

Чиновник, самостоятельно поставленный и одиноко ответственный, чиновник не «делопроизводитель», а творец и инициатор, с предоставлением ему упрощения форм: вот желательные перемены, от которых, несомненно, выиграла бы государственная служба.

КАК ПРИНИМАТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Во второй раз министерство народного просвещения проектирует изменить вступительные испытания в специальные высшие учебные заведения, заменив систему конкурсов сравнением баллов, полученных при окончании курса в средних учебных заведениях. Нет сомнения, что проект этот содержит в себе некоторую тенденцию поднять авторитет гимназических испытаний или погасить возможность спора против них. Столь же несомненно, что отстаивание другими министерствами, в которых находятся разные специальные заведения, права перепроверить испытания в гимназиях вытекает, по крайней мере, в некоторой части из желания сохранить за собою высший и последний голос по вопросу, какие знания и какие люди ему нужны. Дело в том, что на конкурсных испытаниях не только выпрашивается сумма знаний, но и определяются, хотя несколько наклонности и таланты поступающих, что представляется действительно важным ввиду специальности, а не общеобразовательности заведений. Затем, весь дух высшего учебного заведения другой, и обнаружить способность к «наукам» далеко не то, что обнаружить ее к «предметам». Достаточно указать, как часто кончившие с медалью ученики гимназии становятся очень плохими слушателями университетских курсов, а едва успевавшие в гимназиях развертывают в университете талант и энергию, чтобы показать, что даже в пределах одного и того же министерства народного просвещения глаз профессора, присматривающий за работою учителя, очень и очень не лишний.

Но затем конкурсные испытания, подробную картину которых набросал в прошедшем году на страницах нашей газеты проф. В. Альбицкий (№ 9142 «Нов. Вр.»), сам экзаменатор в специальных заведениях, слишком неприглядны, чтобы не думать об изменении их. Принимаются по конкурсу почти «в темную», и по совершенной неспособности экзаменаторов быть 10 часов экзамена в одинаковом напряжении внимания и сознания, и по совершенной запуганности и смущенности экзаменуемых, именно в силу того, что это не просто испытание в требуемых сведениях, а «конкурс», соперничество, гонка в блеске ответов. Ответы получаются крайне «не блестящие», хотя, как отмечает г. Альбицкий, есть форма умственного возбуждения, которая именно дает экзаменуемому от испуга и смущения минутную необыкновенную ясность сознания. Плохая проверочная сила «конкурсов», по словам проф. Альбицкого, выражается в том простом факте, что получившие отличные баллы на них оказываются нередко весьма плохими на первый же год занятий в специальном заведении, и наоборот — ниже стоявшие по баллам занимаются лучше. К неудобствам передать оценку в руки гимназий он представляет следующее важное соображение: учителя гимназий или школ будут осаждены просьбами повышать баллы на выпускных экзаменах, опять же в силу именно «конкурсного» элемента с оценкой знаний, и эти просьбы как учеников, так и их родителей дезорга-

низуют экзамен самой гимназии. Ибо и каждая гимназия будет видеть «честь заведения» в том, что из нее многие поступают в специальные технические заведения «по конкурсу» баллов, и притом без всякого в этом риска и ответственности и даже излишнего труда для самой гимназии. «Такое множество отличных» учеников, если и окажется, положим, негодным при переходе на второй курс Технологического или Земледельческого института, то это может столько же зависеть от неталантливости преподавания в самом институте, сколько от излишней щедрости преподавательского персонала в Калуге или Ярославле. Соображение слишком веское, чтобы над ним не задуматься.

Нам представляется чрезвычайно удачным предложение самого проф. Альбицкого, обстоятельно мотивированное: устранить как «конкурс» экзаменов, так и состязание гимназических баллов и взамен этого: 1) допускать на первый курс всех желающих; 2) комплект принятых в специальное заведение определять с переходом слушателей с первого курса на второй, и 3) предоставить министерству народного просвещения, куда бы подавались прошения, распределять желающих поступить по всем заведениям Империи, по соображению близости к месту родины и другим. Здесь невозможно изложить всю мотивировку проф. Альбицкого, но она очень основательна. Ограничимся перечнем: 1) чрезмерный избыток «подавших прошения» перед принятыми – больше кажущийся, так как почти каждый поступающий подает одновременно прошения в два или в три специальных заведения и держат одновременно во всех с расчетом попасть куда удастся; 2) теперешние помещения допускают увеличение слушателей на первом курсе приблизительно в $1\frac{1}{2}$ раза, ибо главная трудность этого лежит в практических, чертежных и других занятиях, каковые почти всецело относятся не к первому, а к следующим курсам. Притом уже на первом курсе после нескольких первых лекций число слушателей поразительно редет; их скорее мало, чем много, и, следовательно, спокойно можно впустить всех; 3) так как комплект еще не определен, а будет определен, то занятия на первом важнейшем курсе будут не нервны и бесплодны, как летом без руководства профессоров, после испытания зрелости перед курсом, а очень интенсивны и притом под руководством профессоров. Автор здесь рекомендует обширное развитие и искусную организацию репетиций, как они были устроены в Технологическом институте в директорство И.А. Вышнеградского; 4) и самое главное: имея под рукою и перед глазами занятия студентов всех вообще и каждого порознь за год, состав профессоров уже действительно может из их состава выбрать сведущих, прилежных и особенно талантливых; это уже не 6 – 7 минут конкурсного испытания. Наконец, гимназии тогда будут готовить к специальным заведениям по существу, а не выставкою баллов. И, последнее – слушатели будут входить в специальное заведение не изможденные и истощенные, как теперь они бывают истощены усиленными за лето подготовлениями к конкурсу, а совершенно свежие, и, следовательно, готовые к могучему усилию на первом

курсе специального заведения: внутри последнего не наступит той лености и пренебрежения к лекциям, какие теперь естественны в студентах после выдержания конкурсных, т. е. самых главных, роковых, на их взгляд, испытаний. Перенесите гимназическое «испытание зрелости» — и вы испортите все семь последующих классов. Конкурсный экзамен приблизительно это совершает со специальными заведениями, подкашивая интенсивность и энергию следующих курсов, а особенно первого и столь важного. Все начертанное проф. Альбицким нам представляется так просто и убедительно, что мы не можем не обратить на его мысли внимание заинтересованных сторон.

СРЕДСТВО СОКРАТИТЬ СЛУЖЕБНУЮ ПЕРЕПИСКУ

Чиновничество русское, оплачиваемое полумиллиардом рублей в год, конечно, в конце концов, очень много делает и представляет, вероятно, самый громадный служилый механизм в мире и от начала цивилизации, так как больше России государств нет и не было, и не было и нет столь централизованных и бюрократических. О таком громадном механизме говорить нелегко; отнестись к нему с иронией невозможно. Нужно смотреть на него очень серьезно, просто как на одну из громадных мировых сил, как на мощный запас электричества мировой деловитости. Но, затем, вооружившись этим уважением en masse, предстоит внимательно его осматривать в деталях и критиковать эти детали. Укажем на одну.

Медлительность делопроизводства есть известный и признанный недостаток нашего бюрократизма. Всякий «вопрос», какого бы он размера ни был, — положим, о назначении второго помощника полицеймейстера в такой-то городок, т. е. о составлении для этого нового штата, или об отправлении лишнего дачного пассажирского поезда по такой-то линии на такие-то летние месяцы, — составляет новое «дело» в министерстве. «Делом» на техническом чиновническом языке называется синего цвета папка, куда вкладываются: бумага, возбуждающая вопрос, вся по вопросу переписка и заключительная бумага, в которой вопрос окончен. В каждом отделении департамента находится в производстве сотни таких «дел». По «делу» обыкновенно производится сношение различных ведомств, и собственно делопроизводство и заключается в писании «запросных» бумаг из одного ведомства в другое, и «ответных» отсюда сюда. Словом, «делопроизводство» есть обыкновенно переговоры. Если вы не станете читать какую-нибудь «бумагу», вы увидите, что «дело» в ней выражено в одном, или много, в двух предложениях, большею частью такого смысла: «находите ли вы возможным», «признаете ли вы удобным», «не встречаете ли вы препятствий», и ответно: «есть препятствие такое-то», «нахожу возможным» и прочее. Все прочее в бумаге — «введение» к делу и формы вежливости или почтительности, смотря по тому, к кому отправляется «отношение». Здесь не столько

важно огромное бумагописание, требующее труда мелких чиновников, сколько чтение бумаг, требующее времени уже у более важных чиновников; а самое главное — с точки зрения «дела» и обывателя, — что собственно почтовая, пересылочная часть требует ужасно много времени. Написали бумагу сегодня, но уже к 4 1/2 час. пополудни, когда чиновники расходятся домой и отослать ее некогда: отсылается она завтра; с почты приносятся на «место» завтра же, но уже вечером и поэтому прочитывается, кому послана, послезавтра, и там пишется ответ, который, идя тем же путем и с теми опозданиями, приходит обратно в пославший запрос департамент или отделение на пятый — четвертый день. Это — в Петербурге. С провинцией переписка уже умопомрачительно затягивается и растягивается. Чиновник, составивший бумагу сегодня и сегодня державший дело в живом представлении у себя, — на пятый или четвертый день забыл о его существовании, ибо в эти пять дней текли совершенно другие дела. Он напрягает через пять дней воображение, память и соображение, — пока дает приказание так-то ответить. Таким образом, колесо делопроизводства слишком велико и медленно обращается. Быть может, было бы хорошим нововведением в нашей службе, если бы «дело» заменить «бумагой», с тем чтобы «нет», «да», «согласен», «не согласен потому-то» выражались простыми на ней же сентенциями — надписаниями одного ведомства, а затем другого и т.д. Сентенция, скрепленная подписью начальника отделения или вице-директора департамента, не включает более десяти строк, а иногда и чаще всего только одну строку сих обыкновенных отписок: «к уплате такой-то суммы со стороны департамента такого-то препятствий не встречается. Вице-директор такой-то». Эти нами написанные три строчки составляют сущность бумаг в две и три страницы огромного процента петербургского «делопроизводства». Таким образом, одна и та же бумага, вращаясь между ведомствами и получая на себя только новые и новые надписания, благополучно на четвертой своей странице оканчивала бы «дело», теперь иногда поглощающее десь бумаги. Повторяем, огромная часть петербургского «делопроизводства» представляет нечто аналогичное с переговорами по телефону: и если бы оно руководилось непременно краткостью и сущностью таких переговоров, то колесо служебной машины повертывалось бы быстрее. Само собою разумеется, что есть стороны делопроизводства гораздо большей сложности: именно возбуждение самого вопроса и основания для такого возбуждения, уже касающиеся реальной почвы страны, реальной нужды обывателей. Тут приходится думать, тут торопиться нельзя: пусть и будет медленен этот первый оборот колеса, так сказать, «проектирующий» дело. Но совершенно очевидно, что все последующее есть более или менее формальная «отписка» или «для очищения совести», или для исполнения параграфа такого-то устава, и чаще всего оно вызывает не более как простую «сентенцию» вице-директора. Вот эти «сентенции» могли бы быть совершенно кратки и быстры, и таковое их сокращение сократило бы наполовину бумагописание.

МОТИВЫ И ХАРАКТЕР ЧИНОВНОЙ СЛУЖБЫ

Более чем понятно, что вопрос о чиновнике взволновал многих. Кто в России из образованных людей не служит? Частная деятельность и предпринимчивость, частный заработок не получил у нас того широкого развития, как на Западе, и государство поглощает главный процент учащегося люда. Поэтому «вопрос о чиновнике» есть почти вопрос о русском образованном человеке по окончании учения, — и, понятно, множество рук, хватающихся за нумер газеты, где говорится о его положении, о его заслугах, о его недостатках, где его порицают и хвалят, обвиняют и защищают.

Несомненно, что в рядах нашего чиновничества живет много ума; несомненно, что в них есть чувство отечества. Если бы на виду всей России и еще лучше — всего мира, русскому чиновнику удалось совершить что-нибудь доблестное, заметное, неоспоримое, вроде тех заслуг, какие числятся за армией, — дух чиновника и чиновничества необыкновенно бы возрос. Одна из бедственных сторон чиновнического труда заключается в его незаметности, в дробности, до известной степени в сокрытости. Нельзя не понять, что это одна из причин слабого напряжения чиновнической энергии. Представим земледельца, идущего за плугом: он тоже никому не виден, но он бодр, потому что ведет свою полосу, на своей земле, и что осенью в свой амбар положит результат весеннего своего труда. Но перенесите плуг и крестьянина на чужое поле, отдайте в другие руки осенний сбор плодов, и вы получите апатичного «наймита», глубоко безразличного к целостности плуга, которым он работает, и к глубине борозды, которую он ведет, и к тому, будет ли дождь или засуха, голод или урожай: такой крестьянин на чужой земле символизирует чиновника.

Нельзя собственно ни порицаниями, ни похвалами, создать мораль в действии. Мораль в действии, т.е. действительная нравственная деятельность вытекает из реальных оснований. Создайте здоровые мотивы деятельности, и человек без всяких наших похвал начнет усердно трудиться. Не нужно мужику читать нравоучительную басенку о благодати земледельческого труда, а нужно посадить его на свою полосу.

Увеличение мотивов энергии труда есть важнейшая сторона в вопросе о чиновнике. Что это за мотивы? Какие из них до сих пор действуют? Желание угодить начальнику есть единственный ясный и неоспоримый мотив, который везде действует. Все прочие мотивы неясны и сомнительны. Между тем «желание угодить» есть скорее мотив ловкой службы, нежели доблестной. Известное выражение: «наша доблестная армия» никак нельзя переложить на чиновничество; сказать «наше доблестное чиновничество» значит заставить всю Россию улыбнуться.

Но отчего это? Среди упреков чиновничеству едва ли не самый горький и основательный — это упрек в «непотизме» или протекционизме. В самом деле, почти половина на половину служба движется настоящими заслу-

гами и «покровительством». Но отчего в «доблестной армии» эта гангрена не распространена, а если где она есть, то глубоко хоронится, тогда как в гражданской чиновной службе она почти и не маскируется? Нам кажется, причина этого лежит в том, что, несмотря на огромную дисциплину в армии, в ней низшие ряды служащих вовсе лично не подавлены. «Корпус офицеров» есть нравственная сила, с которою самым законным и самым формальным образом сообразуется командующий этими офицерами полковник, и дивизионный или корпусный начальник. «Забитый офицер» есть столь же знакомое явление, как всем знакомо явление «забитый чиновник». Сложившиеся формулы, ходячие слова многозначащи и всегда выражают итог необозримого количества частных. «Забитый чиновник» потому стало формулой, что есть очень много и всегда было много действительно забитых чиновников. Это все чиновники без покровительства, без знакомств, часто небесталантные, очень часто крайне трудолюбивые. «Забитого офицера» потому никогда не появлялось, что его нельзя забить; и нельзя этого потому, что он опирается на «корпус господ офицеров». Между последними есть известная солидарность, слитость; «сшитость в одно полотно», дозволим себе употребить сравнение. Тогда как помощник столоначальника стоит перед вице-директором департамента совершенно одиноким лицом, без связей с товарищами, без помощи какого-либо «корпуса господ контролеров», «корпуса господ учителей», «корпуса господ ученых агрономов». Вот, нам кажется, один из недостатков гражданской службы, превращающей ее в «службу лицам, а не делу», в то время как каждый офицер служит ясно и отчетливо: 1) полку, 2) Государю, 3) отечеству.

Грустные факты, когда очень людной состав чиновничества, иногда целого департамента, иногда даже целого округа, находится под управлением человека, которого решительно ни один служащий не уважает за поступки, вслух везде и всеми рассказываемые, не совершенно исчезли и теперь, а в старое время это была не редкость. Объяснить это можно только совершенной подавленностью личности в служилом русском человеке и отсутствием во всех их корпоративной солидарности. Нам представляется, что развитие духа корпоративности в чиновничестве, поднятие личности в низших рядах служащих есть одна из важнейших сторон «вопроса о службе гражданской» в России. Только тогда можно поднять вопрос и о «служебной чести» какого-либо департамента, ведомства; ибо теперь совершенно не известно, кто же стоит на страже этой «чести»: 1) единолично начальник или 2) все служащие? По крайней мере, есть ведомства, где чиновники «как мертвые, сраме не имут», и довольно основательно, ибо каждый чиновник служит за себя и для себя, за себя и отвечает, и на смех или досаду обывателя, указывающего на явные злоупотребления в ведомстве или паразитическую леность, отвечает: «Да, но это не в моем столе и меня не касается». Так слагается худая молва о целых ведомствах, тогда как нет полков с худою о них славой: хула может коснуться офице-

ра, личности, но никогда не подымится до полка, «честь которого вручена корпусу господ офицеров».

И служба офицеров доблестна от этого. Она свободна и слитна, она несколько общественна; она есть «товарищеская» служба, а не разрозненно-личная.

ОБ ОПАСНОСТЯХ НА ВОДЕ

Сообщенный у нас слух о заботах Императорского Российского общества спасения на водах увеличить число спасательных пунктов по берегам Финского залива и на островах в нем побуждает сказать несколько слов об опасностях на воде, и как с этими опасностями бороться. Весна и лето этого года дали несколько трагических случаев гибели или чрезвычайной близости к гибели людей на Волге, на Неве и на Луге. И в случаях этих не только отсутствовала помощь спасательных пунктов, но нельзя представить себе, каким образом эти пункты помогли бы людям, если бы даже они и были на месте катастрофы. Спасать с берега тонущих, напр., на середине Волги, в ее широкой части, очень мудрено. Явно, что помощь подоспеет поздно. И притом, где ставить эти спасательные пункты? Берега морей русских в сложности с берегами русских рек до того необразимы, что, очевидно, спасательные станции придется ставить не столько для того, чтобы помочь гибнущим на водах, сколько потому, что назначены и ассигнованы средства на столько-то станций, которые нужно поставить на берегу и для этого приходится избирать все равно какой-нибудь берег. И сколько времени основанной станции придется ждать «случая погибели»? Не будут ли люди на ней со своими спасательными снарядами походить на рыбака, сидящего с удочкой на совершенно безрыбном месте? Ибо «тонущий на воде» есть вообще чрезвычайно редкий случай, есть результат столкновения нечаянностей, которые потому и носит имя, что они совершенно непредвидимы. Выйдя на берег реки или моря с ожиданием увидеть тонущего, можно простоять всю жизнь и не увидеть такового. Тонущий может оказаться в расстоянии двух верст, откуда его не видно и голоса его не слышно. Таким образом, спасательные пункты если и работают, то не больше, не чаще и едва ли удачнее, чем всякий рыбак или лодочник, какой попадется на месте несчастья. Почти не бывает случаев, чтобы к замеченному тонущему не бросились люди, иногда сами не умеющие плавать, и вопрос спасения большею частью есть вопрос о том, чтобы несчастье произошло на чьих-либо глазах. Но в этом отношении спасательный пункт так редок сравнительно с общим числом копошащегося на берегу люда, что в $\frac{99}{100}$ случаев увидит и спасет тонущего случайный человек на берегу или на воде, а не нарочно поставленный для этого сторож. Между тем есть сторона этого дела, где совершенно бессильны случайные добровольцы спасения. Это – общие распоряжения и общая распорядительность, инициатива которых может происходить только от общества вроде Императорского Российского общества спасения на водах, с авторите-

том, с возможною властью, безусловно – с контролем. Совершенно очевидно, что спасение должно идти не с берега или не с него главным образом, а с того места, предмета, судна, где произошло несчастье. Никто «с берега» не тонет, а тонет во время большого ли, малого ли плавания, и орудия спасения или мастера спасательного искусства и должны находиться на плавающих судах. Помощь должна быть на пароходе, барке, корабле, лодке; она должна браться с собою в путь, а не ожидаться, что если в пути что-нибудь приключится, что там, может быть, встретится спасательный пункт и на нем сторож с пробковым поясом наготове. Гибель парохода «Луга» произошла от таких причин, которые совершенно были предвидимы заранее, а Императорское общество спасения на водах могло бы, если бы сюда была направлена его зоркость, не допустить движений столь плоскодонного судна или потребовать для него более опытного, по крайней мере, совершеннолетнего рулевого. В случаях несчастья с пароходами происходит такая паника, которая более всего и губит пассажиров. Между тем ее не было бы, а с тем вместе и возможность спасения разом удесятерилась бы, если бы каждый пароход перед отправлением осматривался специальным инспектором от Императорского общества спасения на водах и получал пропуск на море не ранее, как после удостоверения инспектора, что столкновение, пожар или пробойна от камня не вызовут общей или значительной гибели людей, достаточно снабженных средствами спасения. Одна уверенность в достаточной вместимости и легком спуске шлюпок (бывали катастрофы, когда их было невозможно спустить) и даже в обилии пробковых поясов, но уверенность заранее, еще до выхода в море и притом общая и наглядная, могла бы предупредить смятение при всякой случайности. Нам думается, что команда каждого, особенно морского парохода должна проделать хоть один маневр спасения полного комплекта имеющихся на нем людей, со спуском во сколько-то минут всех шлюпок, со спуском их во время шторма, с выбросом на поверхность воды спасательных средств и пр. Маневр может заключаться в полном очищении судна в течение десяти минут от живого своего населения, каковыми для опыта могут быть матросы с других судов или добровольцы-чернорабочие. Вообще тем путем, как испытываются вновь построенные мосты ранее открытия по ним общего движения, могут проделываться и эти испытания, в которых команда научилась бы и присмотрелась, что и в каком порядке и с каким расчетом времени следует предпринимать в случае катастрофы. Великая у нас паника не только пассажиров, но и команды, хотя бы даже и военной (как было на пароходе «Владимир»), происходит от новизны положения, в первый раз в жизни испытываемого, к которому никогда не было приготовления, не было никакой о нем мысли и никакого его представления. Наступал полный хаос; гибель пассажиров при парализованности почти хозяев и начальников судна. Вот такие-то обширные распорядительные меры, род филантропического инспектората над плавающими судами и должны бы, думается, войти в программу забот и деятельности названного общества. Тогда оно более, нежели сейчас, оправдывало бы высокое свое наименование.

ЭПИДЕМИИ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Известно, что англичане не устраивают карантин и лечат холерного или зачумленного, а не борются с холерою или чумою как с каким-то сплошным врагом, идущим на страну. Страха к эпидемиям там меньше, чем где-нибудь, и жертв эпидемии там тоже меньше, чем где-нибудь. Жизнь народная, столь быстрая и энергичная, как в этой стране с самым густым населением в мире, не задерживается ни на минуту, не приостанавливается ни в одном пункте, она циркулирует совершенно правильно, как уже наладилась века и как это вызывается безостановочными нуждами и потребностями торговли и промышленности и всех частных людей. И там не случилось ничего подобного холерным ужасам в России. Так называемая «эпидемия» разрешалась в несколько частных случаев, и едва ли существо «эпидемии» и грозный ее ход не следует приписать именно беспокойству населения, которое парализует самые необходимые и совершенно достаточные меры против болезни. Когда несколько лет назад холера была в Петербурге, на нее никто не обращал усиленного внимания; пили воду с лимоном, вовсе не пили сырой воды, но никто особенно не беспокоился, и болезнь исчезла с тем спокойствием, как проходит брюшной тиф или скарлатина. Между тем, в то же время по Волге, в Нижнем Новгороде, в некоторых южных городах была паника и множество людей погибло уже не от паники, а от холеры, но в строжайшей связи с паникой. Эпидемия хватает того, кто ее боится, и обходит того, кто никакого испуга к ней не чувствует. При полном спокойствии населения можно отличить случаи подлинного заболевания от заболеваний с испугу, с мнительности; этих подлинных больных окажется немного. Доктора не растеряются, не свалятся с ног от усталости и спокойно займутся заболевшими и потерпят неуспех только в редких случаях тяжелого заболевания, как приходится уступать и тяжелым формам скарлатины или тифа.

Верное всегда, это особенно верно теперь, когда работы гениального Пастера и его школы дали науке проникнуть в самое существо прежде необъяснимых эпидемических болезней, а найдя их существо – найти им и противоядие в знаменитых «прививках». Эпидемия есть в точности органический яд, попадающий в человека, как яд несвежей рыбы или колбасы и действующий так же быстро, как он. Но от нее осторожностью можно так же уберечься, как и от яда несвежих продуктов. Прививки и гигиена, эта почти новая отрасль медицины, которой 50 лет назад не существовало иначе, как в намеках, можно сказать, навсегда сломили эпидемию, остановив ее на степени простых и частных случаев редкого (по форме болезни) заболевания. Продолжайте брать рыбу из гнилого веза, и отравится ею вся деревня или улица; продолжайте в холеру пить сырую воду и спать на земле, и получите картину петербургской холеры в николаевские времена. Но не для чего это делать, или точнее, мы теперь хорошо знаем, что делать: рыбу гнилую надо закопать в землю или сжечь, и сырой воды или холодной пищи не употреблять.

Распространение кратких, ясных и твердых сведений об эпидемии и о гигиенических предосторожностях во время ее есть важнейшая сторона административных забот, когда эпидемия бывает поблизости. К великому сожалению, как нам приходилось убеждаться во внутренней России, эти наставления и объяснения пишутся – от думы или от врачей и расклеиваются по заборам, будучи составлены со множеством научных терминов вроде «дезинфекция» и таким запутанным, тяжелым слогом, что не только малограмотный, но очень часто и образованный человек ничего в «объяснении» не поймет. Вспомнишь, – и это очень кстати, – язык Пушкина и его сказок и повестей, и вовсе не в шутку мы говорим, а серьезнейшим образом, что составление таких разъяснений или, по крайней мере, перевод их с «ученого» языка на обыкновенный русский следовало бы вверять первым мастерам языка и литературы своего времени. «Разъяснение» должно быть написано так, как «опрошенные» рассказы и рассуждения Л.Н. Толстого. Предложение не должно быть в нем длиннее одной или полутора строк. Мы это повторяем потому, что хорошее сведение вовремя есть лучшее лечение в эпидемию.

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА

<Раздавленные люди>

Хотя случаи с раздавливаемыми людьми бываю очень редки, принимая во внимание частоту поездов и протяжение всей железнодорожной линии в стране, но они оставляют чрезвычайное впечатление своим кровавым характером. Невозможно без содрогания читать о двух молодых людях, горничной и приказчике, раздавленных в ночь на 19 июля около станции Луги. Точно присутствуешь на казни где-нибудь в Пекине или Манчжурии.

Конечно, осторожность пешехода есть почти единственная и совершенно достаточная против этого мера. Риск молодости, что успеешь перебежать через рельсы, погубил двух молодых людей, хотя, наверное, видя красные фонари паровоза, они приняли их дальше от себя, чем следовало. Затем каждый знает, следя внимательно за поездом с полотна линии, что ход его неизмеримо быстрее, чем, так сказать, схватывает воображение. Видя поезд в нескольких десятках сажен от себя, кажется нелепым, чтобы не успеть перешагнуть через рельсы, пройдя всего два шага. Но эти два шага оказываются роковыми: поезд накатывается с невообразимой силой и быстротой. Тут, конечно, у гибнущих происходит смятение, и, может быть, оно-то более всего и губит. Не все люди и не всегда в одинаковой мере отличаются ледяным спокойствием суждения. Такие и не гибнут. Но бывают люди под хмелем, спросонья (если отдыхал и спал близ полотна), заговорившиеся, задумавшиеся и, наконец, в тех степенях душевной неуравновешенности и умственной неясности, которые близки к патологическому. Они ступили между рельсов. И следовало бы еще шагнуть вперед, чтобы

попасть на точку безопасности, но внезапная мысль: «Зачем я поспешил! Опасно!» механически толкает их назад, они запутываются, спешат вперед, делают поворот, и этой секунды достаточно, чтобы погубить их. Словом, есть люди с оттенками темперамента и ума, делающими их недогадываемыми или неподготовленными или рискующими почти как неразумное животное. Но и таких жаль, в высшей степени жаль. Наконец, мы должны вспомнить о глухих, о слепых, о действительно слабоумных, о малолетних, чтобы согласиться, что разговоры о благоразумии около поездов не всегда уместны.

Перед колесами паровоза опущен железный лист, который идет вершка на два выше рельсов и, следовательно, на полную четверть выше шпал. Человек сшибается с ног, падает на рельсы, его рука или нога попадает под этот лист и он скорее захватывается и удерживается им на месте падения, чем сталкивается, сбрасывается с полотна. Почему лист этот не опускать так, чтобы расстояние между ним и рельсами не превышало дюйма, и не делать его с опускающимся вниз вырезом между рельсами, чтобы и над шпалами он подымался на $\frac{1}{2}$ вершка, не более. Линия пути бывает так выглажена, что, конечно, лист этот не будет зацепляться ни за сталь рельса, ни за сучок шпалы, ни за землю около шпал. Если к этому поставить лист так, чтобы он лежал очень отлого и шел вперед утиным носом, то, во всяком случае, можно достигнуть, что он сомнет только очень маленький предмет, встреченных на пути крысу, курицу, комнатную маленькую собачку, а все более крупное подымет на себя и по своим покатосям отбросит в сторону. Наконец, паровоз может быть весь одет подобным «кринолином», как одеваются броненосцы против торпед. Кстати, если найдено средство не пропустить сигарообразную торпеду, движущуюся к телу броненосца, то совершенно очевидно, что могут быть найдены и механические способы не допустить до тела паровоза хотя бы бегущего ему навстречу человека. Мы здесь, несомненно, имеем дело не с невозможностью, а с неохотой внимательно подумать и истратить всего несколько рублей на паровоз. Ибо и ремонта подобных приспособлений не потребует.

МАЛЕНЬКАЯ ХРОНИКА

<Удобства пассажиров>

На заграничных железных дорогах движение несравненно быстрее, нежели на наших, но пассажиры пользуются там меньшими удобствами. Таких мягких сидений, как у нас в вагонах 2-го класса, свободного выхода на площадку вагона, т.е. на свежий воздух, перехода из вагона в вагон на ходу поезда, множества приспособлений для сна и ручного багажа, как в наших поездах, там нет и помину. Пассажира там везут как кладь, заперев в ящик вагона, и сколько бы он ни задыхался и ни протестовал, ему не откроют дверцу

вагона, которая открывается и запирается только во время стоянки поезда у станции, и только на это время. У нас можно свободно и с удовольствием ехать в 3-м классе, тогда как на австрийских, французских и итальянских линиях рискнуть сесть в 3-й класс можно только в том случае, если мириться со всяческими неудобствами.

Так мы привыкли, а ко всякой привычке публики приходится волей или неволей привыкать и администрации дороги. Зато русские мирятся с тихим ходом поездов и с тем, что иногда пассажиру по нужде приходится постоять. На Балтийской дороге даже во 2-м классе множество публики не находят себе места и стоят от Петербурга почти до Нарвы. Вообще, в вагонах устанавливаются свои нравы, свой маленький и временный быт, который трогать незачем иначе, как вводя улучшение, и чувствительное улучшение. Напр., следовало бы сократить частый осмотр билетов у пассажиров, что особенно неудобно ночью, когда они спят. Достаточно осмотреть билет, когда пассажир сел; затем кондуктор может прищипить на стекле сиденья марку с обозначением станции, до которой едет пассажир, форматом марок конных железных дорог, и уже оставить сидящего на этом месте пассажира в покое до той станции, на которую он едет.

Съезд представителей русских железных дорог очень основательно отклонил подробную регламентацию касательно ручного багажа. Она вызвала бы чрезвычайные нарекания и неудовольствия пассажиров, если и неосновательные, то выходящие из стародавних привычек. Русский берет в вагон много. Вещи лежат под лавкой, на полках, в сеточках, и еще, кроме того, держатся на руках. Тут и чемоданчики, и узелки, и провизия, и костюм. Одна необходимость снять в вагоне большую шубу зимою уже заставила с самого же начала администрацию наших дорог позаботиться простором и приспособлениями для клажи и вешанья в вагонах. Летом эти крючочки и полочки пошли для картонок со шляпами, преимущественно дамскими. Но вот на что следовало бы администрации дорог обратить внимание. Багаж может быть очень тяжел и вместе никому не мешать, потому что может быть поставлен, по небольшому объему, под лавку. Он может быть легок – и страшно теснителен для публики, так как около него приходится держаться соседям осторожно. Сюда принадлежат женская, особенно дамская рухлядь, всякие покупки и наряды. Наконец, есть багаж, так сказать, несовместимый: летом в вагон III класса входит партия рабочих крестьян с пилами, топорами, рубанками, около которых дамским картонкам приходится тяжело. Нужно заметить, по деликатности русского мужика, ему с пилою и рубанком аршинной длины еще более неловко около картоночек, которые он боится и не хочет раздавить и вместе видит, что почти фатально не может их не раздавить, ибо все эти вещи «летающие, как пух от уст Зола...». Обеим сторонам неудобно и в совмещении их нет никакой надобности.

Подобно тому как у нас группируются пассажиры по «курению» и «некурению», входя уже в поезд, так их можно распределять по вагонам «с

грубою кладью» и «легкою кладью». И с другой стороны: в вагон может сесть 30 человек сплошь с большим багажом, а в соседний также 30 человек, но вовсе без багажа. В первом произойдет страшная теснота, во втором – почти ненужный лишний простор. Решает почти все дело станция отправления, где определяется основной контингент пассажиров в поезде. На этой станции перед каждым вагоном стоит кондуктор, отбирающий билеты, – и вот здесь и может происходить группировка пассажиров по багажу, дабы на каждый вагон приходилось не более половины пассажиров с багажом в три ручные вещи. Тогда очень значительный багаж, даже больше теперешнего, может разместиться совершенно удобно, ибо он разместится по целому поезду.

ВОЕННЫЕ И ШТАТСКИЕ ВРАЧИ

Подготавливаемые в военном ведомстве реорганизация положения и всего строя службы военных врачей, имеющая ввиду теснее слить их с войсковою организациею и заменить гражданское чиновничество военным, побуждает обратить внимание вообще на бытовую и служебную сторону этих пашынок науки. Пройдя совершенно ту же длинную и трудную школу учения, какую проходит на медицинских факультетах университетов частнопрактикующие врачи, военные врачи чрезвычайно разнятся с ними в положении общественном и в количестве получаемого вознаграждения. Недавняя прибавка к их жалованью, Высочайше дарованная, без сомнения, смягчила их суровое материальное положение, но далеко не выровняла пути военной и штатской медицины. За немногими исключениями врачей-неудачников, частнопрактикующий врач имеет от четырех до шести тысяч годового дохода; если для некоторых этот доход спускается до двух и полутора тысяч, то для некоторых же он повышается до восьми и десяти тысяч. Такой врач сверх всего не прикован безусловно к своему месту, он имеет летний отдых, пользуется дачею, для него возможна заграничная поездка. Вообще, он индивидуально не связан иначе как своими личными решениями и соображениями. Удачный дантист, женщина-врач и даже акушерка, несмотря на незначительность образовательного ценза дантиста и акушерки сравнительно с военным врачом, все-таки поставлены выгоднее и свободнее, чем он. Военный врач чаще всего не имеет вовсе частной у граждан практики, по укорежившемуся, хотя и неосновательному вовсе, недоверию частных людей к опытности и знаниям военных врачей, да и просто по множеству обязательных занятий, а также и по обилию частнопрактикующих врачей, к которым всегда есть возможность обратиться, и к ним обращаются охотнее потому, что это свой брат, не разделенный мундиром. Если прибавить к этому, что, по совершенной разнице школьного образования, круга интересующих наук и былого в университете товарищества, гарнизонному врачу чрезвычайно трудно слиться вплотную с офицерством, то мы пойдем бедное, зависимое, неподвижное и одинокое существование военного врача. Положение, конечно,

изменяется, когда врач несет службу при большом военном госпитале, каких немало на всю Россию. Тусклость и тяжесть существования делает военного врача человеком в конце-концов апатичным, непредприимчивым, заставляет его довольствоваться шаблонами, не следить за наукою: да и где за нею следить без книг, без библиотеки, без специальных журналов, на выписку которых нужны деньги. Понижение качеств врача сказывается и понижением приносимой им пользы. Он подлечивает болезни, тогда как его свободный и авторитетный совет мог бы принести военному ведомству большую пользу в деле повышения или поддержания здоровья полка мерами более общего и коллективного характера. Думается, что военное ведомство, поставив врача несколько выше и свободнее, получило бы от них пользы более, чем получает теперь.

«Офицеры-врачи» и «санитарные офицеры», — как бы их не назвали, — суть люди университетской науки, долго сидевшие за книгой и с не меньшей утонченностью ума и характера, чем воспитанники военных корпусов, составляющее офицерство. Военное ведомство всегда смотрело доблестно на службу себе, и хочется, чтобы оно доблестно посмотрело и на ученую службу себе.

ЧАСТНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

При всех спорах о чиновнике и чиновничестве остаются очевидными следующие истины:

1) что служащий в частном деле, на частной службе, энергичнее работает и предприимчивее в работе, нежели чиновник;

2) что частные предприятия, если они работают параллельно с казенными, если имеют одинаковое с ними содержание и цель и в распоряжении своем одинаковые ресурсы (из казны — «ассигнование»), — то перегоняют казенное ведомство.

Войдите в хорошо поставленное частное хозяйство, частный завод, в ведущийся частным человеком журнал: вы увидите здесь такую стойкость в работе, неусыпную зоркость, высчитывание малейших шансов успеха и неуспеха, работу, далеко затянувшуюся за урочный час, — каких никогда и безусловно не найдете в самом лучшем казенном ведомстве. Какой чиновник выйдет ночью на работу, недоделанную днем? А хозяин, прилежный мужик, прилежный лавочник, всякий журналист и работник просидит ночь, если днем не то что недоделает, а хотя бы ненадежно сделана какая-нибудь часть сложной работы. Пойдите по Невскому, войдите ровно в одиннадцать часов дня во множество находящихся здесь банкирских контор: полный состав служащих, без единого исключения, уже сидят все на своих местах. Войдите в эти же одиннадцать часов, т. е. официальное начало занятий, во все петербургские департаменты и канцелярии: вы едва найдете на месте $\frac{1}{4}$ служащих. Это простое испытание решает вопрос. На частной службе, на частных «местах» действительно работают; на казенной службе тоже

работают, но хуже, ленивее: на $\frac{3}{4}$, на $\frac{1}{2}$ только «делают вид» работы и проявляются «формальностями».

Очевидно, одной из первых задач при серьезном вопросе о чиновнике и чиновничестве должно бы быть самое внимательное, самое зоркое сравнение всех деталей частной службы и казенной службы. Тут есть какая-то разница в методах управления, в приемах службы, в зависимости служащих, в способах их поощрения.

Войдите в частную контору, в банк: чем эти служащие не чиновники? Работа всех тоже в высшей степени формальна, пунктуальна, она тоже включает в себе «бумажное делопроизводство», — да и вообще при скольконибудь сложном деле без «бумаги» не обойтись. Не возвращаться же ко временам до Гуттенберга, не приказывать же все устно, не планировать на словах, и не возвращаться к начальнику со словами: «Исполнено, деньги получили — столько-то — и положили в кассу». Бумажное делопроизводство, конечно, должно быть кратко, сжато, но вовсе без него нельзя обойтись и не обходится ни одно самое интенсивное частное предприятие.

Что же, однако, приводит в такое напряжение частную контору сравнительно с казенной канцелярией?

На казенное место определился чиновник. «Штат занят» — и в этой формуле, конечно, все. Теперь перед этим «штатом» пусть стоит 10 талантливейших человек, и притом наполовину голодных, а главное — талантливейших. На них с совершенным презрением будет поглядывать ровно 35 лет, — да, целую $\frac{1}{3}$ века, — «штатный человек», может быть ленивый, может быть выпивающий, может быть глубоко бездарный и вполне сознающий как сам свою бездарность, так известный с этой стороны всему своему начальству и всем своим товарищам. Ровно 35 лет, — если он только не сделает какой-нибудь совершенно непозволительной вещи, какая и в голову не может войти, разве что человеку, напившемуся до «зеленого змия», — он совершенно неуязвим ни для какой критики, ни для какого окрика, ни для какой власти даже очень большого начальника, если только выговоры и замечания будут принимать безмолвно, покорно, с заключительным: «Буду стараться исправиться», и, конечно, без всякого намерения и иногда возможности (природная неспособность) исправиться. Многие говорят, что чиновники получают мало жалованья. Это вполне основательно; но полная истина состоит в том, что в то время как одни получают страшно мало жалованья, пропорционально труду и талантам, другие получают его чрезмерно много. Пусть их не повышают, не дают орденов и чинов, — это все равно: ведь «штат» все же работает известную работу, без исполнения которой и высшая работа не пойдет вперед. И вот этот «штат» 35 лет замедляет ход десятков других, с ним связанных рычагов и винтов служебного механизма.

В каждой решительно канцелярии, в каждом решительно департаменте вам потихоньку укажут «стулья», занятые такими чиновниками. Товарищеская деликатность, конечно, заставляет о таких молчать; «начальство» морщится, но тоже сделать ничего не может, кроме как словесно «поощ-

ритель», на что неизменно получает: «Слушаю-с». А «дело» стоит. Тут и смех, и слезы. И жалко такого «человечка» уволить; а держать его, или держать многих таких – значит превращать ведомство в пансион инвалидов, в негласное «бюро похоронных процессий».

А случается, что чиновник, и энергичный и талантливый, добирается до высокого поста, иногда очень высокого, дальше которого и по связям, и по заслугам, и по летам не может шагнуть: к 63-м годам он добирается, положим, до директора департамента или «члена совета министра». «Тут мне и умереть», – говорит он, получив вождеденное место. Пенсия семьи выйдет тысяч 3 – 4, сам он получает жалованья и разных «прибавочных» тысяч 8 – 9, и хорошим служебным умом и опытом, безусловно, понимает, что дальше, – хоть тресни, хоть Америку открой, – он ни на вершок по службе не продвинется. Есть такие «предсмертные места». Жить ему осталось 3 – 4 года, и это он и по летам видит, и по состоянию здоровья. Неужели же он эти 3 – 4 года сократит до 2-х усиленной работы?! Нет, он их удлинит и может удлинить совершенным покоем и беззаботностью до 5 – 6 лет. И вот мы получаем картину целого ведомства, где высший начальник уже только «дышит» 5 – 6 лет, и ведомство, конечно, работает, трудится, но далеко не так, как хозяйство частного хозяина.

Еще пример: к начальнику отделения переводится столоначальником чиновник с какой-нибудь службы его же министерства, но другого отдела, или получает «столоначальника» по протекции. Он делается его «подручным», которого он никак сместить не может, а между тем и работать с ним не может, или может только худо. Да так всегда и бывает. Чиновник энергичный и умный получает довольно самостоятельное положение и ответственную работу, при которой приставлено несколько десятков человек совершенно ему неведомого народа, которых он в первый раз видит, впервые с ним «знакомится, вступая в должность» (термин чиновнический) и с которыми проработает весь цветущий возраст свой, всю коренную часть государственной службы. Работа его только в «предначертаниях», т.е. в умственном, идеальном построении, будет зависеть от них! И вот тут он может хоть лоб себе разбить, а работа не пойдет вперед ни на волос быстрее, ни на волос лучше.

Пусть назначили попечителем учебного округа талантливейшего человека; но университет в его округе плох, профессора бездарны, студенты выпускаемые из рук вон плохи. Гимназии пополняются бездарным учительским составом, который во всем учебном округе будут держать на самом низом уровне состоянии гимназии, – и попечитель ровно ничего с этим не в силах будет сделать.

Тоже будет, если самого даровитого директора гимназии пошлют в такое учебное заведение, где уже испорчен состав учителей: он поправит дисциплину учеников, но ничего не в силах будет сделать с преподаванием. Этих примеров достаточно, чтобы объяснить нашу мысль. В казенной службе служащие так неуклюже между собою связаны, что часто даже и талант не дает в результате талантливой работы.

К ПЕРЕСМОТРУ ГИМНАЗИЧЕСКОГО УСТАВА

Ни в каком ведомстве нет такой настойчивой нужды в органическом и методическом ходе преобразований, как в учебном ведомстве. Здесь столько соотношений и все они так чутко отзываются на ученике, что перемену можно задумывать только касательно целого строя, избегая, однако, порывов и быстроты. Пункт пятый Высочайше утвержденных предположений управляющего министерством народного просвещения говорит о «введении и утверждении новых уставов гимназий, прогимназий и реальных училищ», какое-то впоследствии за временными правилами на 1902 – 1903, т.е. наступающий учебный год. В этом обещании содержится главная значительность опубликованных мероприятий министерства. «Перемена устава» не есть перемена распределения уроков или группировки предметов; она знаменует пересмотр всего учебного строя, пересмотр органический, как в служебном, т.е. учительском, персонале, так и в отношении главного предмета школы – ученика. Сюда войдет и пересмотр штатов учебной и ученой службы, т.е. окладов жалованья, и выработка новых «объяснительных записок» к программе предметов, которые направляют их преподавание, определяют важное и не важное, сосредоточивают внимание учителя на одном, а не на другом. Устав определит также учебники или укажет способы их составления, одобрения и введения. Все это давно и чрезвычайно запущено. О недостатках учебников наших составила целая почти литература, отмечающая прямо комизмы в них. Было указываемо, и справедливо, чтобы на учебнике выставлялось имя члена ученого комитета, которому было поручено его рассмотрение, и он его «одобрил». Нет сомнения, что это чрезвычайно подействует на осторожность в «одобрениях».

Гимназии нуждаются в целостном и органическом пересмотре своего строя. Физическая сторона развития учеников, положение на педагогическом совете врача гимназии, рекреации учеников, прогулки за городом, научные ботанические или другие экскурсии, устройство при гимназии сада и гимнастики на воздухе для весенних и осенних месяцев, самые игры учеников – все это может и должно войти в целостную мысль о школе и отразиться в Уставе, которого общество будет ожидать с терпением и надеждами. Грустная наша школа, которая слагалась только из двух частей: 1) зубрячки дома до одури и 2) полупарализованного, апатичного сиденья в классе, – эта школа должна развиваться, расцвести, раздвинуться во все стороны. Многоформенность забот об ученике должна быть главной чертою устава. Чтобы воспитание не заслонялось, не затемнялось программой, выучкою; чтобы физические упражнения стояли на своем месте, однако не погашая эмоций нравственных и эстетических; чтобы семье дано было уважение со стороны администрации училищ, и голос родителя не пренебрегался. Нужно всегда помнить, что в школе ученик не только учится, но и растет, что это часть его жизни, самая впечатлительная и многозначитель-

ная. До сих пор гимназия точно «брала на поддержание» мальчиков; возьмет, что-то с ними сделает, а что было ранее или что будет потом, учебному заведению до этого дела не было. Весь строй учебный у нас был ремесленный. Он никогда не был художественный. А в этом – почти все дело.

ОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВЕДОМСТВА

Предначертания, выраженные в Высочайше утвержденных предположениях управляющего министерством народного просвещения, ни в чем существенно не расходятся с преобразовательной работой, как она начиналась и уже довольно значительно определилась в министерство Н.П. Боголепова и генерал-адъютанта П.С. Ванновского. Очевидно, русских детей признано возможным учить именно только тому, чему хочет и действительно нужно учиться России. В этом отношении в последние годы общественное сознание высказывалось так настойчиво, так убедительно, ссылаясь на нужды страны, на природные предрасположения русского ума, на необходимость будущим гражданам быть практически полезными своей родине, что продолжать упорствовать в выработке из сплошной массы русского образующегося юношества только одних филологов было бы прямо-таки неудобно. Уже Н.П. Боголепов, профессор римского права и, следовательно, человек превосходного классического образования, не нашел ни возможным, ни нужным удерживать прежний классицизм. Ныне управляющий министерством, также человек высокой классической школы, по-видимому, не расходится с этим мнением. Таковое двойное решение, высказанное одновременно классиком-юристом и классиком-филологом, сообщает необыкновенную твердость поступательному передвижению нашего образования с классических основ на реальные. Ни малейше это не будет обозначать загробления школы. Можно ли сказать, что наши женские институты дают грубое воспитание, что это суть грубые школы. Вне одностороннего римско-греческого классицизма есть дисциплины, есть предметы изучения и методы их передачи, при помощи которых можно сообщить воспитанникам самую высокую и умственную и даже эстетическую культуру. Мы сослались на женские институты не ввиду высоты их программы, а чтобы указать на очень важную вещь, что отрицание или ослабление классицизма отнюдь не есть синоним меркантильного или только технического загробления, водворяющегося в школу.

В министерствах покойного Н.П. Боголепова и в теперешнем чрезвычайно важным преимуществом перед всеми смежными и предыдущими министерствами является то, что во главе ведомства в их лице поставлены люди, знающие по личному опыту, по прежней личной службе все шипы и тернии педагогического мира, педагогического быта, педагогического механизма деятельности. Большая разница быть позванным в главнокомандующие, побывав офицером и полковником, или прямо очутиться в команде, не понюхав прежде порохового дыма. Ныне из фанатиков одностороннего

классицизма никакого реального представления не имеют о таких величинах учебного ведомства, как «учитель», «ученик», «учебник», «урок», и похожи на вождя, который не знает ни солдата, ни строя службы, а знает только то, что ему надо «победить». Только этим неведением можно, напр., объяснить до последней степени задавленное положение учителя, который был за все ответственен перед учениками и родителями, перед обществом, а между тем ничего не мог сам предпринять в своем деле, видоизменить что-нибудь в преподавании; стоял как машина, а отвечал как человек и страдалец. На днях у нас было приведено в корреспонденции из Берлина, сколько тратит одна Пруссия (не Германия) на свои городские и сельские училища и какво получаемое там учителями и учительницами содержание. Около почтенных этих цифр жалование наших учителей и весь бюджет министерства народного просвещения представляется чем-то археологическим, точно взятым из XVIII века, а не XIX–XX века. Таким образом, не только в тонко одухотворенной стороне, но в самых грубых частях, как жалование и бюджет, министерство просвещения точно у нас «забыто Богом и людьми». Заботы об учителе, как равно и об ученике, начинаются только с Н. П. Боголепова.

Вот такая-то органическая переработка целого ведомства, похожая на переработку судов деревянного флота на стальной, и предстоит министерству народного просвещения, где все архаично по быту, строю, по психологии и организации, начиная с учителя и кончая учеником. Со всех сторон идет уже много лет сетование: «Мы не имеем вовсе ни просвещения, ни воспитания, у нас нет просвещенного общества, кружков, мало просвещенных отдельных людей». Общество наше сделало шаг назад во вкусах, в избираемом любимом чтении, в темах разговора и бесед сравнительно с сороковыми и пятидесятыми годами. Если припомнить фигуры историка Соловьёва, Кавелина, если припомнить интересы Москвы к чтениям Грановского, всю шумную разнообразную и возбуждательную деятельность Погодина, то мы увидим, какую оживленную и умную физиономию представляло собою тогда русское читающее и учащееся общество и насколько тусклее оно сейчас. Конечно, причины этого очень сложны; но одною из больших причин этого, несомненно, является огромная разница, например, между гимназиями Уварова и Толстого, между двумя этими министерствами.

ВЫУЧКА И ВОСПИТАНИЕ

Торопливость есть мать всяческих ошибок. Торопливо прочтешь – и не поймешь; торопливо напишешь статью и потом схватишься за волосы: «Что я написал такое!». Но уже поздно, злодейский типографский станок и почта разнесли торопливые строки по всей России, и как провинция, так и столица смеются над неосторожным автором. В долгие годы журнальной деятельности кн. Мещерскому особенно часто выпадали случаи то удивлять, то сме-

шить Россию. И наиболее полезным для него «сотрудником», пожалуй, был тот, кто приносил бы вторые корректуры «дневника» и «речей консерваторов» со словами: «Перечтите еще, завтра будет поздно».

Говоря о пересмотре гимназического устава, мы указывали на необходимость всесторонности в этом пересмотре, говорили о «многоформенности» забот школы об ученике, о воспитании характера, о роли семьи, о «непогашении в детях эмоций нравственных и эстетических». Всего более страшились мы, чтобы пересмотр не ограничился только программами и новой группировкой старых элементов зубрячки: говорили, что вовсе не «в выучке» дело. В очередной «Речи консерватора» «Гражданин» берет в длительной выдержке наши строки и... раздражается бранью за то, что мы будто бы забыли о воспитании! «А между тем это одно главное – духовно-нравственное воспитание юношества, о котором «Нов. Вр.» совсем забыло!» – восклицает он категорически. Но «Нов. Вр.» не только не забыло об этом, но гораздо раньше самого начала реформы твердило много лет и непрерывно, что нельзя же роль учебного заведения сводить к прохождению программы, что нужно всесторонне воспитывать ученика и главное – воспитывать его сердце. И в строках, приводимых «Гражданином» в выдержке, мы повторили: «Не нужно подавлять нравственных эмоций в ученике». Неужели автор не понимает слова «эмоций». Тогда незачем быть литератором или нужно вооружиться «Словарем иностранных слов, вошедших в русский язык».

Между тем, автор, прочитав столь торопливо нашу статью и написав еще торопливее свою, говорит, что наш «пропуск нравственного воспитания» объясняется тем, что вся статья... «писалась между двумя рюмками мадерцы, или после приятной побывки в каком-нибудь шансонетном саду до поздней ночи». Между порядочными людьми нет обыкновения отвечать на такие слова, а только справляться о здоровье того, кто их говорит. Странный жаргон «мадерцы» вместо «мадеры» объясняет, отчего Россия избегает читать «Гражданин», и он есть не литературный орган, а только «любительский», с специальным «одером» и для специальной публики. Переходим к изложению его мысли. Он говорит, что главный недостаток школы до сих пор заключается в том, что ученикам в течение восьми лет не говорили: «1) чьей страны он сын, 2) какого Государя он подданный, 3) кто его Бог». Давно пора сказать об этом вечном лейтмотиве кн. Мещерского. Пусть он подумает о следующем. Целомудрен не тот, кто всем рассказывает о своем целомудрии; это – скорей худой признак; целомудрен тот, кто тих, молчалив, о добродетелях своих не кричит, а ведет себя благопристойно. Точно также и с великими чувствами Бога, Государя и отечества. Они не в том живут, кто о них кричит *urbī et orbī**, а кто их молча носит в сердце своем. Обращаясь к школе, заметим, что уже в учебниках Иловайского не говорилось ли, «к какому отечеству мы принадлежим и какого Государя мы под-

* городу и миру (*лат.*).

данные», — а результаты этого холодного и казенного кричанья были так плохи, что кн. Мещерский вовсе их не заметил, счел их отсутствующими. Был много лет назад напечатан чрезвычайно характерный рассказ об императоре Николае Павловиче. Гимн «Боже, Царя храни» был только что положен на музыку, — и вот раз несколько великих княжон, думая, что их никто не слышит, сидели и напевали новый напев. В эту минуту император проходил мимо. Он дослушал до конца, невидимый поющими, но затем войдя, сказал им ласково и строго: «Да, хорошо, что это вы поете, но этого нельзя петь всегда, это не для обыкновенного употребления». Вот слова, оттеняющие, что для великого или дорогого нельзя избирать всякую и всяческую минуту, что оно в сердце должно быть постоянно, но отнюдь не должно переходить в какое-то ежедневное и ежеминутное трепанье. Слабое, действительно слабое, развитие в учениках наших школ трех рубрик, перечисленных «Гражданином», тем и объясняется, что и в гимназиях и всюду из них сделали какой-то треплющийся флаг, которым сторожа машут на перекрестке конок. А говоря в своей статье о «художественном воспитании», — что также цитирует и чего также не понял «Гражданин», мы и разумели переход вот этого плоского отношения к великим вещам и великим понятиям к отношению углубленному, эстетическому и нравственному. Совершенно непостижимо, что дети такого великого отечества, как наше, не проникаются им у нас в гимназиях, как проникаются в английской, германской и французской школе их ученики дети к своему отечеству. И можем объяснить это тем, что англичане учились любить родину из драматических хроник Шекспира, а мы из «Сокращенного учебника русской истории» Иловайского. В этом учебнике патриотического «ура» было много, но не было взято ни одной строчки, как она стоит в «Летописи» Нестора или в «Житии» Феодосия Печерского, ни одного описания из Карамзина или объяснения из Соловьёва. Таким образом, «ура» было голо и плоско. Оно именно не было эстетическим звуком и поэтому в учениках не пробуждало нравственных эмоций. Чтение одной страницы из Нестора, из Печерского Патерика навевало бы на ученика действительно чувство древности, а чтение Карамзина и Соловьёва вводило бы их в серьезность судеб своего отечества. «Ура» не кричалось бы, но оно медленно и само собой, без экзамена в «патриотизме», зарождалось бы и зрело в душе юношества русского, школьного, а потом сказалось бы добрым делом, большим подвигом в жизни взрослой, на службе государственной, общественной, даже на службе литературной. Кн. Мещерский всех понукает к патриотизму: он точно ходит с патриотическим «недоуздом» и все кого-то хочет в него поймать; и о школе он говорит: «Зачем ученикам не говорили» о патриотизме и его составных элементах; зачем не долбили ученикам: «Отечество люби, Бога бойся, Царю повинуйся». Слишком это просто было бы, если бы только надо было «говорить». Разве учителя-чехи не говорили непрерывно везде всем: «Ничего нет полезнее древних языков». Но из «говоренья» ничего не вышло. Надо было привить любовь к древним языкам. И мы, говоря о пере-

смотре всего «Устава» учебного ведомства, о многоформенности и всесторонности новых забот об ученике, и разумели, что училище должно именно прививать русским ученикам великие русские чувства; растить в них Бога, Государя, отечество, а не то, чтобы говорить: «Ну, что же ты не любишь Бога? – старайся! А то получишь два в поведении». Так это было. Кн. Мещерский, очевидно, вовсе не знаком с духом, строем и обстановкой наших гимназий, и не знает, что его патриотическая программа всегда там выполнялась, что и Иловайский, и Леонтьев с Любимовым об этом постарались: но что из этого ничего не вышло. И теперь он старается насадить то же. Так что если он мадеры не пьет, то это ему мало помогает по совершенному незнанию предметов, о которых он говорит.

ДМ. КАЙГОРОДОВ. ИЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ШКОЛЕ И СЕМЬЕ

Издание А.С. Суворина. С-Петербург. 1902. Стр. VI+258.

Книга составлена из стихотворений и из прозы, выбранной из всей русской литературы и относящейся к природе. Тут есть и общие картины («Дерево», «Чернолесье», «Осенняя картиночка», «Весна» и проч.), и частные описания, зоологического и ботанического содержания. Последние гораздо более. Наконец, наука тут чередуется с вымыслом, например, «Лесная сказка» самого составителя хрестоматии. Все статьи кратки и рассчитаны для отрочества и юношества, рассчитаны для матерей, занимающихся с детьми. Можно сказать, книга подводит к дверям ученого кабинета, но не вводит в него; она вся живет и дышит атмосферой классной комнаты детей, маминой гостиной и столовой, где шумит молодая семья около старых родителей. Книга эта – как бы оживленный разговор перед экскурсией или после удачной экскурсии, где песня мешается с рассуждением и наука не убивает резвости.

Поэт, ученый и педагог удачно скомбинировались в г. Кайгородове. Он вдохновлен природой и сам вдохновляет ее мыслью, догадками, воображением, любовью, словом. Его «Цветочный календарь» (стр.57 – 60) – это умный, размышляющий гимн природы; или, скорее, как регент настраивает певца, так автор советами и указаниями в этой статье настраивает душу вашу, душу всякого читателя, к благоговейному чувству природы, к умственной молитве перед ее чистым и благородным оживленным и изменяющимся лицом. Ибо природа поистине имеет лицо, – как имеет лицо, вид и выражение старое... чуть не обмолвился «седое», дерево, с которым можно здороваться, говорить, прощаться.

Семья есть природа в нашей биографии, как сама природа вся проникнута семьей, семейным духом, семейным строем, так сказать, и в научной

своей части, и в поэтической. Все семейно там происходит и семейно выражено, «красуется». *Natura – dea creatrix**, так и хочется повторить древних. Вот отчего призыв наших детей, нашей русской семьи, нашей педагогики к осмысленному и живому общению с природой так своевременен и покоится на могучем фундаменте родства семьи и природы, детства и природы. Фундамента этого ничто не разрушит.

Настоящая книга относится к очень живому моменту нашей школы. В предисловии автор отвергает возможность сухих учебников для вводимого в гимназиях нового предмета, «природоведения», – и говорит следующее о постановке преподавания его:

«Чувство природы должно быть развиваемо в детях с самого раннего возраста; чем позже, тем это делается труднее. В школе этому послужит предмет природоведения, начинающийся с первого года классного обучения; в германских школах дети начинают его с шестилетнего возраста... Естественный и единственный верный путь для успешного культивирования чувства природы – это возможно частое общение с природой и возможно большее ознакомление с предметами и явлениями окружающей природы. Отсюда – необходимость возможно частных экскурсий в природу и очевидная необходимость построения предмета природоведения на *местной* природе. Ясно, что при таком порядке вещей, для учебников, в общепринятом смысле, по предмету природоведения младших классов школы не может быть места. Для каждого города, – и даже школы, – пришлось бы составить свой учебник. Но и совсем без книги обойтись трудно. Наиболее соответствующими цели являются сборники очерков и статей о предметах и явлениях в различных царствах родной природы, – сборники-хрестоматии для чтения, приуроченные к пониманию детей младшего и старшего возрастов. Соответственно своей цели, такие хрестоматии отнюдь не должны отдавать сухостью учебников».

Автор объясняет далее, что он дает первую начальную книгу по природоведению для школы, собирая уже материалы для второй и третьей. Он просит в предисловии критику дать полезные для дела указания. Нам кажется, ему следовало бы внести сюда несколько руководственных указаний собственно для экскурсий: *где* собирать растения и животных, *что* собирать, *как* сохранять собранное (напр., о засушке растений без повреждения колера цветов). Ибо книга его попадет не в гимназию только, но и в семью, где не будет руководителя-наставника. Это – относительно педагогики. Что касается поэтической стороны собственно *содержания* его книги, то позволим себе указать, что во 2-й части «Хрестоматии» желательно бы увидеть больше отрывков из С.Т. Аксакова и из «Записок охотника» Тургенева (в первую часть из них почти ничего не вошло), а также – дивную по красоте, полноте и религиозности драматическую картину встречи

* Природа – богиня-созидательница (*лат.*).

весны – колокольчиками цветов, тучками небесными, летящими журавлями и проч., которая находится в начале «Дон-Жуана» гр. А.К. Толстого. Монологи, здесь написанные, необыкновенно одушевлены, стих их прекрасен, и все целое страшно влечет природу и религию к взаимной встрече, как бы к объятию и лобзанию. Вообще на А. Толстого следует обратить большое внимание при вопросе о соединении чувства поэзии с чувством природы.

Первая часть «Хрестоматии» необыкновенно удачно начата стихотворением «Когда волнуется желтеющая нива» Лермонтова. Это действительно – «введение» вообще к природе в нашей русской поэзии. Тут и «малиновая слива», и родной «ландыш» – все уже пахнет экскурсией, веет русскими детьми, расшалившимися в березовой роще, или русским мыслителем-странником, вдруг остановившимся среди леса, задумавшимся, зачарованным, вдруг пораженным тайным и дивным «лицом» мира, ему открывшимся и в купах деревьев, и в хорах кузнечиков и птиц.

СТРАХОВКА ПАССАЖИРСКОГО БАГАЖА

Нам казалось бы, что для министерства путей сообщения было бы вполне выгодно развить как можно шире и всячески облегчить страхование пассажирского багажа. До сих пор по правилам уплачивалось, в случае пропажи или порчи два рубля за фунт багажа (II класса); по вновь вводимым правилам багаж можно будет страховать в сумму четырех рублей каждый фунт (при том же билете II класса). Но если предположить, что багаж состоит только из белья, то и в таком случае фунт его будет стоить дороже четырех рублей; если везется платье, мужское или дамское, то фунт его будет стоить не менее 25 р. Мы взяли самый обыкновенный багаж, несколько не дорогой, а чаще всего наполняющий корзины и чемоданы едущих пассажиров. Но если пассажир везет ценную рукопись или золотые или серебряные вещи, то фунт его может быть оценен сотнею или сотнями рублей. Спрашивается, какая есть причина министерству путей сообщения не принять такой багаж на страхование в сумме действительной стоимости, положим нескольких даже тысячу, а не каких-то проблематических и ничего не выражающих четырех рублей? Никакой. Пропажа багажа, сданного дороге, есть вещь совершенно невероятная и невозможная при сколько-нибудь внимательной бдительности, ибо беречь его приходится 5 – 10 – 20 часов и редко более суток. Сделать так, чтобы в течении суток принятый на страх чемодан не был вскрыт и ограблен, до такой степени просто, легко и дешево, что для министерства может быть только выгодно, если все пассажиры и притом как можно выше начнут застраховывать свой багаж, конечно, прибавля крошечные страховочные суммы к стоимости провоза багажа. Известно, что пассажирские поезда не приносят дохода, а иногда приносят даже убыток дороге и казне: так дорого сто-

ит снаряжение поезда и служба при нем. Страхование багажа, повысив выручку каждого поезда, хоть несколько удовлетворило бы законное желание дороги получить с едущих, по крайней мере, то, чего стоит их провоз. Теперь многие везут багаж в руках для безопасности, чтобы иметь всегда перед глазами вещи, особенно ценные. Загромождение пассажирских вагонов багажом отчасти имеет в этом свое основание. Если бы страховка была легка, удобна и дешева, — багаж больше бы сдавался и дорога выручала бы больше не только по страховке, но и по весу перевозимого багажа. Все багажные служащие могли бы составить за круговую порукою багажную артель. И как при конторах и банках артельщикам вручаются прямо в руки сотни тысяч, без всякой опасности, так и дорога могла бы совершенно твердо и без риска пропажи работать с помощью такой багажной артели. Достаточно для этого теперешних рабочих и сторожей связать в правильную, в организованную артель.

Страховое общество, принимая на станциях железных дорог страхование жизни едущих пассажиров, не чешет у себя затылка с беспокойством: «Очень вы дорого страхуетесь, как бы мне не обанкрутиться», ибо один случай уплаты премии в случае несчастья с пассажиром покрывается десятками и сотнями тысяч страховых сумм, оставшихся у общества от благополучно проехавших пассажиров. Равным образом, чем выше будет багаж застрахован у дороги, тем она больше получит, а уплачивать ей придется или крайне редко, а при малейшей осторожности — и вовсе никогда, кроме случаев крушения поездов. Повторяем, сохранение здесь до того легко и удобно и оно так кратко, что это есть самая соблазнительная форма принять страховку.

Нам кажется, багажная артель могла бы принять на себя не только это, но и операцию доставки багажа на дом. Достаточно для этого на багаж приклеить билетик с адресом улицы, дома, квартиры и фамилией получателя, куда он должен быть доставлен, или передать свой адрес с пропискою номера багажной квитанции главному кондуктору поезда, при осмотре пассажирских билетов. Если богатые и средней величины магазины принимают на себя бесплатную доставку купленных вещей на дом, то в Петербурге, Москве и вообще на больших станциях багажная артель могла бы перевозить вещи на дом на ломовых извозчиках, получая с пассажиров столько, сколько он заплатил бы за провоз, положив, одного сундука, наняв для него отдельную лошадь, сама уплачивая за это ломовику в три раза менее, ибо он повезет не один, а пять сундуков в один район города. Между тем пассажир был бы избавлен от самой неприятной процедуры своей поездки — выправки багажа и найма ломовой лошади. Сколько есть пассажиров спешащих, сколько бывает причин их действительной и необходимой поспешности, сколько бывает случаев нужды поехать прямо с вокзала куда-нибудь, не путаясь с багажом! И в этом случае дорога могла бы кое-что заработать для себя, доставив пассажирам новое удобство.

<ОБ УЧЕНИКАХ ГИМНАЗИЙ>

Опубликованное сегодня циркулярное распоряжение управляющего министерством народного просвещения от 29 июля будет всеми прочитано с чувством самого живого удовлетворения. Из него мы впервые узнаем о существовании «секретных характеристик» учеников, оканчивающих курс в гимназиях, каковы характеристики отправлялись директорами гимназий непосредственно в руки ректоров университетов, — без какого-либо ведення о них самих учеников или их родителей. Не нужно объяснять, как широко можно было иногда пользоваться правом такой характеристики, никем не проверяемой и даже никому, кроме двух лиц, неизвестной; и сколько сюда могло примешиваться субъективного элемента, личного пристрастия как в отрицательном, так и в положительном смысле; наказания столько же, как и потворства, укрывательства. Между тем, такие субъективные и непроверяемые впечатления-характеристики шли в запечатанных официальных пакетах и должны были приниматься там, куда адресовались, как вполне официальный и притом очень важный документ. Отмена этих «характеристик», наполовину опасных и наполовину наивных, и замена их совершенно правильным и вполне открытым фактическим отчетом о поступках и поведении ученика за последние три года пребывания в гимназии составляет важную и почтенную меру расчищения пути между учащимися и учащими, персоналом как гимназий, так и университетов, каковой путь должен быть чист и благороден и ни одна соринка не должна бы падать на него. Вручение отчета о поведении в руки самому ученику, для представления его вместе с другими документами при поступлении в университет, сразу делает отношение учебных заведений к молодому человеку ясным, законным и не возбуждающим споров. С тем вместе бывший ученик гимназии читает в этом документе наглядное и обобщенное выражение своих поступков и получает в этом огромный мотив к самообладанию и скромности в старших классах гимназии.

Можно быть уверенным, что эта мера в связи с пунктом 2-м циркуляра о предоставлении остающихся вакансий для приема в слушатели высших учебных заведений ученикам тех средних школ, которых питомцы наименее участвовали в беспорядках в последние годы, отзовется самым благотворным образом на подъеме вообще поведения учеников как до высшей школы, так и в ней. В учениках гимназий и реальных училищ должно возникнуть чувство круговой ответственности и круговой поруки, и всякий студент, принимающий в беспорядках участие, будет невольным и непременно чувствовать, что он вредит своим гимназическим товарищам, своим младшим братьям, проходящим курс им оконченной школы. Этой предусмотрительной мерой гимназическая и студенческая фаза жизни молодого человека, быт гимназии и университета органически связываются. До сих пор это были два мира, ничего общего между собою не имевшие.

Увеличение на 10% комплекта могущих быть принятыми в высшие учебные заведения слушателей, а в университет св. Владимира на 200 человек

на всех факультетах 1-го курса, равно как доведение слушательниц высших женских курсов в Москве до числа 300 представляет начало того «раздвижения стен» высших учебных заведений, которое обещано было еще в 1880 году и с тех пор напрасно ожидалось учебною и учащеюся Россией. В самом деле, при бедности у нас книжного света и огромных нуждах в нем России, представляет страшное и тягостное зрелище множество молодых людей, восемь лет подготовлявшихся к высшему учебному заведению, подготовлявшихся действительно и успешно к нему, и перед которыми дверь не открывается по тому единственному мотиву, что комнаты в аудиториях тесны и что сидений там мало. «Я восемь лет трудился, восемь лет не досыпал ночей, сидя за учебниками, с надеждами, в которых никто и не разуверял меня, а на девятый год меня не хотят более учить потому, что не достает для меня места на товарищеской скамье, единственно по этой физической нужде в скамье и комнате», — такая мысль до того грустна, что ее жутко и на бумаге написать, не то что перенести на своей спине и запечатлеть в своей биографии. Управляющий министерством народного просвещения вполне согласно с нуждами России думает, что ученье ей не нужно, что выучившийся человек — не лишний человек в России. Бодрые успехи да завершат этот взгляд на вещи и на родину.

РАЗНЫЕ РОДЫ СЛУЖБЫ

На службе государственной всегда содержатся две части: 1) механизм труда, уже установленный, оформленный, решенный, к переменам не предназначенный: это коренная часть работы, «хроника» службы; и 2) проекты улучшений, всяческие планы, «предначертания»: это как бы праздник службы, «воскресенье» среди будней или попытка «воскреснуть» иногда очень запущенного ведомства.

Вторая часть требует выносливости и пунктуальности, воловьих сил, терпения, спокойствия, вообще пассивных и машинных добродетелей. Вторая вся зависит от таланта в собственном смысле, от догадливости, сообразительности; тут может быть проявлена даже гениальность. Тут нужно многое видеть, наблюдать, со многими говорить, непременно надо двигаться, иногда путешествовать, осмотреть соответствующие точки «заграницы», нужно непременно ездить по России, смотреть постоянно, «как и что в России делается». У первых работников, можно сказать, работает туловище и седалищная часть, у вторых — ноги и голова.

Позволяем себе высказать следующую мысль. Нам всегда казалось, что руководитель известного отдельного управления, «главноуправляющий» частью администрации, не должен быть до излишества тесно связан с своим ведомством, министерством: ему следует стоять около него, но несколько поодаль, чуть-чуть в сторонке; хотя на $\frac{1}{10}$ ему полезно (для самой «службы») сохранить в себе совершенно частного человека и путешествовать,

смотреть, двигаться, думать, беседовать, «возрастать в мудрости» и улучшать. Глава обширного управления есть «улучшатель» его, а не вершина пирамиды, куда сходятся нити ее, нити хронической работы ведомства. Главноуправляющий и его «товарищ» могли бы думать не оба вдвоем об одном, «советуясь», но получить совершенно разные функции: «товарищ» разбирает и решает наиболее запутанные дела, но непременно текущие дела своего ведомства; он – «делопроизводитель» в обширном смысле. «Главноуправляющий» – критик и придумщик, чуть-чуть даже философ и поэт своего ведомства. Мы говорим приблизительными словами, мы отчасти преувеличиваем разницу их роли, чтобы лучше передать читателю свою мысль, в основе верную и важную.

Если бы между 1870 и 1900 гг. министр народного просвещения ездил и ездил по России, если бы не в день блистательной ревизии, а в будни, изо дня в день, он говорил и запросто с десятками, с сотнями учителей и директоров гимназий, и видел бы тысячи учеников, неужели бы он не рассмотрел того, что знала вся Россия, кроме единственного министра: что ученье везде негодно, а воспитания хуже чем «нет»: оно извращено, погублено! Чего стоила России сидячка за эти тридцать лет главноуправляющего просвещением в Петербурге, как вершины бюрократической пирамиды, которая прежде всего и пуще всего охраняет «престиж» своего ведомства и не допускает критических о нем замечаний. Вот пример родников непроизводительности русской бюрократической работы. Возьмите вы нефтяные промыслы: возможны ли, чтобы Манташев, Нобель или Ротшильд заинтересованы были престижем своих контор! Они заняты их работой, выгодой, улучшением; им о всяком «плохо», торопясь каждый служащий докладывает. Между тем сколько было у нас ведомств, только и занятых, что «охранением своего престижа». «У нас все шито и крыто», «сора из избы не выносим», «все обстоит благополучно». Это пословицы чиновных ведомств и «правила чести» бюрократической деятельности, которые привейся в «делах» Ротшильдов, и через десять лет эти богачи пойдут с сумой!

Между тем стой главноуправляющий в сторонке от своего ведомства, на $\frac{1}{10}$ в своей психологии и времяпрепровождении останься он частным человеком, и он явится грозным и всемогущим критиком своего ведомства.

Главноуправляющий как критик своего ведомства, нимало не заинтересованный в его «престиже», есть великое орудие, могущее сразу поднять производительный, служебный дух всей России. Теперь полезные мнения ползут по земле, «светлые истины» стелются вечерним туманом, а тогда оне поднимаются облачком, видимым для всей России. И сейчас мелкочиновная Русь хорошо знает все прорехи чиновной службы. И ведь голоса об улучшении чиновничества идут из чиновничества же. Русский чиновник нимало не глуп, и он чрезвычайно много дельного знает и хорошего хочет; он бездарен не в целом, а в дробях (хотя в дробях – чудовищно бездарен!) и только в очень большой дроби, чуть ли не в целом, апатичен не столько даже по природе, сколько по положению вещей. Он апатичен, потому что безличен, потому что есть «штат»,

«номер», а не человек. Как «номер» поставлен, так и будет «стоять» 35 лет, хоть вы лоб около него разбейте, хоть тут крушение поезда произойди. У нас много писали о «3-м пункте», и, конечно, это есть гадость и неблагородство, что чиновника порядочного, но «ненравящегося» можно уволить, без объяснения, «по неблагонадежности» и с закрытием возможности куда-нибудь поступить на государственную службу. К счастью, по доброте и рассудительности русский «3-й пункт» у нас вовсе почти не применялся, кроме редчайших случаев. Мне в жизни ни разу не приходилось видеть применение «3-го пункта». Но нужно бы создать другое: чтобы «штат» и «штатный чиновник» не был до такой степени, как теперь, чем-то абсолютным и непоколебимым, чем-то стоящим выше всякой критики независимо от усердия и способности занимающего ее человека. Мы не решаемся применить у себя «пожизненности» и «несменяемости» судей; а между тем очень близка к этому принципу решительно всякая у нас казенная служба. Совершенно достаточно чиновнику вести себя тихо – и он несменяем, как французский республиканский судья. Мне приходилось в этом отношении знать поразительные, неправдоподобные почти примеры: напр., учителя одного нового языка, который, просто желая обеспечить себя только превосходными учениками, которые ответят уже на всякой ревизии, и нисколько не желая заниматься со многими и посредственными учениками в классе, «спускал» к своему добродушному товарищу, преподавателю другого нового языка, приблизительно $\frac{8}{10}$ класса, оставляя себе $\frac{2}{10}$. И сидят, бывало, у него 4 – 5 учеников на уроке, когда в классе 20 – 25 учеников. Как он это делал? Очень просто. Весь почти урок он «объяснял» какую-то почти философию языка ученикам (в 3-м, 4-м классе), совершенно никому не понятную. Сколько ему директор ни говорил, чтобы он не «объяснял», а спрашивал уроки, он, делая глуповатый и непонимающий вид, продолжал «объяснять» или «объяснял» всегда, когда директора у него не бывало на уроке. Директор, обо всей «системе» знавший, просто кричал на него – и ничего не мог сделать, а сидеть не мог же он у него на каждом уроке. Но вот минут за десять, за пятнадцать до звонка он прекращал «объяснения» и начинал страшно быстро и страшно строго спрашивать заданный урок и – разражался единицами и двойками. Так проходили две, три учебные «четверти», а перед четвертой, в начале Великого поста, он сам заявлял совету гимназии, что «по желанию родителей» такие-то и такие-то ученики «отказываются от его предмета», желая слушать только один новый язык (не его), и что их просьба заслуживает уважения, потому что действительно ученики эти не успевают и не подают никакой надежды на улучшение. Ученики же говорили, что они даже на математику и древние языки не употребляют столько времени, сколько на этот новый язык, обыкновенно через два года усиленного учения оставляемый, т.е. недоученный. В результате получалось для учителя: 1) всегда блестящие ответы учеников на ревизии; 2) совершенная легкость занятий (с 4-мя – 5-ю учениками); 3) спокойствие духа и беззаботность. «Штат» в неприкосновенности своей действовал. И сам попечитель учебного округа не мог бы его уволить от должности, ибо это было бы нарушением всего регламента «службы гражданской».

АЛЬБОМ ВЫСТАВКИ В ПАМЯТЬ
Н. В. ГОГОЛЯ И В. А. ЖУКОВСКОГО,
устроенной обществом любителей российской
словесности в залах исторического музея
21 февраля – 12 апреля 1902 года

Исполнено художественной фототипией К. А. Фишер.
Москва, 1902 г.

В альбом помещено 180 снимков с портретов двух названных поэтов, какие только можно было достать, с их родных, друзей и знакомых, с картин и рисунков, изображающих местности, где они жили, их собственноручных рисунков и проч. Здесь, между прочим, мы находим портреты известного отца Матвея Константиновского, ржевского протоиерея, и протоиерея Павского, знаменитого не первую попытку дать точный перевод Библии с еврейского языка на русский. Останавливаемся на портретах гр. Виельгорских, Кулиша, Шевченка, И. В. и П. В. Киреевских, К. К. Павловой и ее мужа, А. О. Смирновой, четы Одоевских, Н. и В. Елагиных, Зонтага и проч. Все это необыкновенно интересно, и человек, любящий нашу литературу и ее деятелей, с любопытством смотрит на обстановку, в которой они жили, и на людей, с которыми постоянно они виделись. Все это необходимое пособие к истории литературы и нужно пожелать, чтобы подобные выставки устраивались чаще и собирались полнее. Но насколько трудно собрать подобную выставку, настолько представляется необходимым как можно лучше запечатлеть и сохранить для общего пользования собранное. Вот почему издание подобных альбомов должно быть как можно тщательнее, чего мы далеко не находим в настоящем издании. Формат его слишком мал, имея вид книжки in 8°, и рисунки – притом особенно интересные, бытовые – сливаются. В свое время был гораздо лучше издан in-folio альбом Пушкинской выставки, и г. Фишер хорошо бы сделал, если бы последовал своему тогдашнему образцу. Но нельзя все-таки не поблагодарить его и за то, что он сделал.

М. ВОЛКОВА, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.
БЕСЕДЫ О ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

Издание 2-е. СПб. 1902 г.

Имя женщины-врача М. Волковой пользуется такую известностью по публичным чтениям и по многочисленным книгам, что второе издание ее заботливой книжки на тему: «Берегите то, что потерявши – не найдешь», нуждается более в отметке, нежели в разборе. В ней содержится хроника женских возрастов и метаморфоз и указываются первые признаки заболеваний, следя за которыми можно вовремя поспешить к врачу. Эта такая же настоль-

ная книга для зрелой женщины или матери растущих дочерей, как известная книга «Мать и дитя» для кормящей женщины. Чем шире будут распространяться подобные книжки, тем станет больше мелких и повседневно необходимых сведений в массе общества касательно главного фундамента нашего счастья – здоровья. Жаль, что еще долго ждать времени, когда такие книжки двинутся в село, в крестьянство. Здесь могли бы оказать помощь молодые сельские священники и их образованные жены; как добрый священник есть наставник отцов семейства, так добрая и просвещенная «матушка» могла бы быть доброй советницей и наставницею жен и матерей крестьянских, – и в этом отношении, может быть, не лишнее помечтать о широкой и научной постановке предмета гигиены в епархиальных училищах, да тоже и в семинариях.

К ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. Н. СТРАХОВА

Н.Н.Страхов. Критические статьи (1861–1894).
Том второй. Издание И.П. Матченко, Киев, 1902.

В последние годы имя Страхова до такой степени отсутствовало хотя бы в упоминаниях журналов и газет, что, казалось деятельность почтенного писателя окончательно погребена забвением, что имя его еще существует, кем-нибудь помнится, но деятельность, определенные его мысли и убеждения окончательно забыты, пренебрежены и никому более не нужны. Тем приятнее было узнать из предисловия к вышедшей в июле книжке «Критические статьи», что в то время, как критики и рецензенты забыли Страхова, читатель его не забыл. Оказывается, сборник критических его статей о Тургеневе и Толстом вышел в 1901 году уже четвертым изданием, а два первых тома «Борьбы с Западом в нашей литературе» вышли в 1897 году уже четвертым изданием. Но издательство трудов его перенесено в Киев, по месту жительства наследника его литературных прав, г. Матченко; в газетах почему-то не было объявлений о выходе новым изданием его книг; и единственно по этой причине казалось, что Страхов забыт и погребен. Лежащий перед нами второй том его «Критических статей» заключает в себе труды, не вошедшие ни в один из его предыдущих сборников и представляют новое и интересное чтение для тех, кто хранит память покойного. Важнейшие статьи в нем посвящены Н. А. Добролюбову и воспоминаниям об Ап. Ал. Григорьеве и Достоевском. Но очень интересны и мелкие критические и публицистические статьи, наполнявшие, так сказать, хронику нашей журналистики 1861–1894 годов. Известно, что Гегель имел «правую» и «левую» часть последователей; «левые гегельянцы» и «правые гегельянцы». Также и шестидесятые наши годы имели «левых шестидесятников» и «правых шестидесятников». «Левые» вышли победителями из борьбы. И «правые», куда следует отнести

Ап. Григорьева, Н. Страхова, Н. Данилевского, Б.Н. Чичерина и еще многих других, меньших, испытали всю тяжесть поражения и торжество победы противников в том, что они не привились к жизни, не вошли в реальную действительность реальною частью, до известной степени – умерли. Они очень умны, учены, образованны. В этом отношении «они превосходят противников, и, вероятно, победителям самим было бы конфузно отрицать это. Но они не имеют (многочисленных) читателей. Что такое писатель без читателя? То же, что невоплотившийся ангел; ангел, который пролетел, но его никто не видел. Помимо талантов, гения, есть еще важнейший фактор всемирной литературы: любовь, читаемость. Это воплощение писателя; без него... небо точно подумало о земле, но так и остановилось на этом, ничего не сказав. Одна из самых грустных судеб человека, какие только можно представить себя.

Вот в эту зиму начнется административное и всяческое другое подготовление к основанию сельскохозяйственного женского института в Петербурге; не так давно сообщалось о громадных миллионных постройках женского же медицинского института здесь, и инициатива и устройство которого в значительной части обязано частной инициативе и хлопотам. Спросим, если бы восторжествовала в литературе «правая сторона» шестидесятых годов, и любимейшими писателями публики были Чичерин, Страхов, Григорьев, Данилевский, а Майкова, Полонского и Фета также цитировали бы все гимназистки, как Надсона и Некрасова: положи руку на сердце, можно ли сказать, что Россия, надывшавшаяся этими писателями, так сказать, выдохнула бы из себя в заключение медицинский женский институт? А он нужен. Сам я наблюдал в Бельском уезде Смоленской губернии в 1892–93 гг. самоотверженную деятельность женщины-врача: на пунктах крестьяне собирались к доброй врачующей барыне сотнями, собирались с нуждою, любовью и доверием; а в городе Белом мне опять же пришлось видеть случай, что два врача-мужчины, растерявшиеся при тяжелом случае операции, были поддержаны энергией, умом и распорядительностью этой же женщины-врача, позванной последнею; и случай, хотя все же кончился смертью, но уже от истощения, вследствие потери крови пациентом, которому было сделано все, что нужно, этою женщиной-врачом. Вот когда посмотришь на эту страду жизни, то и подумаешь: а, что, нужен ли медицинский институт России? – Нужен. – Был ли бы он построен при торжестве наших «правых гегельянцев»? – Нет; не то, чтобы они противились этому, они даже сочувствовали бы, чуть-чуть даже просили бы об основании его. Но это было бы все вяло, все отступило бы назад при первом отказе; и они не умерли бы от тоски и даже очень бы не обеспокоились, если бы им сказали твердо: «Призвание женщины есть семья; в России есть восемь медицинских факультетов – и этого достаточно для удовлетворения всех ее потребностей, как об этом говорит статистика, данные которой у нас в руках». Они бы успокоились: «в самом деле – статистика; к чему женщинам трупорассекание; сохраним Татьяны милой идеал, ибо это

вечное. А народы живут вечным». И крестьянские бабы в Бельском уезде остались бы без помощи, и трудная операция протекла бы еще хуже.

А значит, и торжество «левых» было не только провиденциально, но и хорошо, нужно, благодатно. Бог – за полезное. И когда люди мечтают, Он – подает людям хлеб, ибо ведь Он сотворил мир и Ему нужно не то, чтобы в мире развивались хорошие, но нереальные мечты, но чтобы он был, главное, цел и накормлен. Вспомним у Тургенева то «стихотворение в прозе», где Бог обдумывает увеличение мускулов у блохи, ибо без этого органическому виду пришлось бы вымереть.

60-е годы в их восторжествовавшем течении были преддверием громадного раздвижения реальной России. Страхов и вообще все «правые» тех лет, хронологически принадлежат к 60-м годам, всем наклоном своей деятельности, всеми своими идеалами принадлежали к 40-м годам, и вообще к прошлому, а не будущему в отношении к точке современного им перелома. Их идеалы – более образованны и одухотворены. Но они несравненно менее жизненны, сочны. Во всех их нет энергетизма. Напр., читая Страхова, всю его печальную и неудачную «борьбу с Западом» (беру как общее понятие заглавие его литературного сборника), – видишь, что нисколько он не борется с Западом, а любит этот «Запад» бесконечно, как и полемизируя с «Современником», он, в сущности, любит и почитает живую свою эпоху, но... все это без энергии, без сока, без силы удара и устремления. Вся его критика 60-х годов просто критика мелочей 60-х годов и борьба против уродств их, – мимо которых просто следовало пройти молча, веря в здоровье своего времени и что «перемелется – мука будет», т.е. что шелуха пшеницы ответится в сторону, а ценное зерно – останется. Между тем у недалекого и легкомысленного читателя могла возникнуть идея, что вечная полемика с «Современником» выражает нерасположение к самому зерну 60-х годов. Неосторожностью своею Страхов сам накинуд на себя некрасивый и неверный убор, который за ним даже и посмертно остался. Он бежал за торжествующею колесницею преобразовательной эпохи, крича: «Осторожней». А издали казалось, что он хватался за колеса и пытался остановить ее, – что неверно. В конце концов Страхов глубоко неудачен исторически: он неосторожно (и не верно) выбрал себе позицию, избирал для себя темы; и человек необыкновенной тонкости ума и изящества души прошел для жизни нашей бесплодно или принеся самый скудный, незаметный плод.

У него не было, напр., стиля. Что такое стиль? Все говорят, что это есть выражение лица писателя. Какой стиль у Данилевского, Григорьева, Страхова, Чичерина? У Григорьева – запутанный, а у остальных – никакого. Они писали обыкновенным журнальным или обыкновенным газетным языком, ясным, правильным, но всеобщим; и писали умные и образованные вещи. Но напр., у Добролюбова был стиль, не смешивающийся с другими, личный; и начало, зародыш своего стиля был у Писарева и Белинского. Стиль и есть энергизм души, тот таран, которым писатель режет воду, а при столкновении топит неприятельский корабль. Стиль есть прелесть индивиду-

альной души, подчиняющая себе читателя, заражающая его собою часто даже вопреки невысокому содержанию мыслей. На этом основано, что сыграли большую роль в истории писатели даже не очень глубокие, но, безусловно, нет писателей с большой исторической ролью и вместе без всякого личного стиля. Как только вы находите влияние писателя на толпу, обаяние – вы находите за этим стиль; и когда вдумывается, «да откуда это идет» – увидите, что это непременно отвечает нужному в истории, есть некоторое в ней «посланичество» и, пожалуй, мы лишь немного преувеличим, если «стильную» сторону в речи писателя назовем «пророчественною» (бессознательной и вместе могущественной). Гоголь покориł Россию не только содержанием своих мыслей, темами своих произведений, но тем, как он это все выразил, своим «стилем», могучим языком, образом, словооборотами.

Вот этого режущего волны и топящего корабля тарана не было у Страхова, да и у всех «правых» тех лет, т.е. они были все обращены назад в истории, ничего в ней не имели нового выразить. То же можно сказать о трех поэтах, любимцах Страхова, Фете, Полонском и Майкове. Да не побьют меня за это современные поэты камнями. Если сравнить их с Некрасовым, опять мы увидим, что у Некрасова есть стиль, «свой стих»; что с ним и в нем родились новые размеры, короткие, резкие, насмешливые; тогда как несравненные по грации названные поэты были, однако, грациозны общечеловеческой грацией; пели хорошо, как греки, или хорошо, как Пушкин, но ничего особенно и по-новому не спели «как Фет», «как Полонский», «как Майков». А Некрасов «спел как Некрасов» и как больше никто. Где миссия в истории – там новая проза и новый стих. Говоря так, янисколько не сомневаюсь, что и Фет, и Полонский, и Майков выше, *лучше* Некрасова. Я не о качествах говорю, а о роли в истории, о «посланичестве», «пророчестве»: они были обыкновенные люди, хотя хорошие, а Некрасов, может быть, и плохой, но все же немножечко «пророк», в полном смысле слова необыкновенный, выходящий из ряда вон, выхваченный из «дюжины» небом. Без стиля – в дюжине; со стилем – особое, особая категория.

Когда думаешь о таких высочайших качествах души людях, как Страхов, то сперва долго (долгие годы) скорбишь об их участи, но кончаешь стихом:

Спящий в гробе – мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.

Зачем они шли против Бога и, путаясь, мешали своей истории? Все равно, они ничего не удержали своими криками: «осторожней», своей вечной и вечно мелкой критикой. Ударной силы в них не было, и даже в качестве корректоров к «Современнику» они были безуспешны, ибо все их «корректуры» не были приняты. Божие – совершилось. Книга истории перевернула свой лист, именно тот, который был на очереди. В чем выразилось влияние Страхова? Ни в чем. Если люди поумнели (и чрезвычайно) после 60-х годов, то не от чтения сочинений Страхова. Были другие важные причины и обстоятельства. Нисколько не в силу чтения Данилевского, Григорьева,

Страхова Русь стала более русскою, стала осторожнее, задумчивее, оглядчивее назад. Я сказал, что шелуха ответеся – и тут именно не какие-нибудь писатели насторожили русский ум и несколько углубили русское сердце, а исторический ветер, дуновения великих событий отбросили все легкое, оставив лежать на земле доброе зерно. «Стриженные» 60-х годов минули; все остроумие Тургенева оказалось на этот счет так же тщетным, как и критика Страхова; а медицинские знания женщин применяются в народе. Между тем ни Страхов, ни Тургенев не сказали ни слова о серьезном образовании серьезных женщин; они только явили «безобразия». И умерли (в этих шутках) – с ними, а когда серьезная часть выросла – ее невозможно отнести, как к инициаторам, ни к Страхову, ни к Тургеневу, которые могли бы жить живою частью в этом живом плоде своего слова. Так совершается история. Между тем мне известно, что Страхов глубоко сочувствовал высшему образованию девушек; но отчего же он так неудачно выбирал себе темы? Люди без стиля обыкновенно бывают с ошибками. Они путаются в истории, зато история путает их шаги.

Страхов остался вне живого и положительного движения нашей истории, он лежит на проселочной его дороге. Место это – не главное, но может быть привлекательным. Роль его среди критиков и мыслителей русских подобна роли Баратынского среди поэтов, или, пожалуй, подобна роли его любимцев Фета, Полонского и Майкова. Он все-таки навсегда останется избранным собеседником избранных умов, не переходя только в толпу, в народное движение. В александрийский период греческой образованности мало ли было прозаиков и поэтов, без творчества, но прелестных питателей ум и сердца, которые прошли и Средние века и дошли до нашего времени. Если Страхов не жил в свою эпоху, никакой нет причины для него не жить в первом и во втором, даже в четвертом и пятом десятилетии XX века, ни на каплю не меньше, нежели в 70-х и 80-х годах XIX. Решительно нет причин Страхову стариться, как он никогда и при жизни не был молод. Ума у него будет достаточно на весь XX век, и никогда ни одному читателю не только сейчас, но и через сто лет он не покажется наивным, «устарелым», неинтересным. У него не было никакой энергии, но его критика, несчастная и неудачная критика вовсе никому в свое время не нужная, вытекала, однако же, из необыкновенной утонченности ума, воспитанности сердца, изящества всей натуры и необозримой начитанности. Эти качества не делают человека историческим, но сочинения писателя они делают любимой пищей для ума спокойного, не торопящегося, избранного. Всякий, кто будет изучать Пушкина, непременно прочтет и «Заметки о Пушкине и других поэтах» Страхова; кто возьмется за Тургенева и Толстого – перечтет и первый том его «Критических статей»; кто будет изучать естествознание – найдет бездну для ума своего в его книгах: «О методе естественных наук» (2-е издание 1900 года), «Мир как целое» и «Об основных понятиях психологии и физиологии». По всемирному, можно сказать, разнообразию областей, его занимавших, и по великой самостоятельности и крепости сужде-

ния Страхов составляет гордость нашей литературы, нашего русского ума. Если бы какой-нибудь иностранец, заслуживающий серьезного ответа, спросил бы: «Ну, а кто же у русских был настоящий, последовательный и строгий, *надежный* мыслитель» (подчеркиваю «надежный»), только неосторожный в ответе на такой вопрос указал бы на Соловьёва, а опытный назвал бы имя Страхова. Соловьёв вечно пенился и пена эта подымается высоко; Страхов – недвижимое озеро, но воды его глубоки.

Кстати, о его полемистах и критиках. Хорошая и мягкая натура Страхова не могла выжать из себя ни одной остроты. Ну, какой Страхов полемист! Он вечно путался в своей добросовестности, приводил цитаты, сопоставлял и проч. и имел в это время крайне скорбный вид Акакия Акакиевича, пишущего «отношение». Ему не следовало никогда и ни с кем вступать ни в какую полемику, а прямо делать свое положительное дело, всегда созидательное, всегда доброе и умное. Между тем через все его труды проходит полемика, совершенно основательная со стороны содержания, но, во-первых, корректорская по мелочи придирок, тем, цитат (исключение составляет полемика его по вопросам естествознания и истории), а во-вторых, полемика без момента удара в себе, плавучая, неостроумная. Таким образом, от 61-го года и до 94-го он всегда имел вид побежденного. Можно представить себе репутацию, которую он себе через это создал. Кому надо в чужом споре добираться до сути, проверять цитаты, следить за «основными точками», к которым постоянно призывал оппонента Страхов. С 61-г и 94-го года шел то тихий смех, то неудержимый хохот над умицей, который стоял несколькими головами выше и этих смеющихся зрителей-читателей и большинства своих полемистов. И полемисты это знали. Нравственная добропорядочность их не удерживала; а стяжать лавры острой шуткой над медлительным противником – это кого не соблазнит. Можно сказать, приемами спора Страхов манил противников к полемике с собою и уже непременно победе над собой.

Все эти неосторожности и неудачи отделили Страхова от читателей, не допустили его до читателя. Читатель получил взаимодействие только с «левыми» шестидесятниками, писавшими легко, понятно, остроумно, часть – с силою. Страхов, Григорьев и Данилевский суть писатели для библиотек и для уединенных мыслителей. Все это соделывает их вечными (относительно), но в свое и в ближайшее время – бессильными.

Интереснейшая статья Страхова во вновь вышедшем сборник – о Добролюбове. Относясь к цельной деятельности знаменитого критика и будучи написана сейчас после смерти его, она, конечно, не заключает в себе ничего враждебного к нему. «Добролюбов умер рано. Он был человек очень даровитый и, очевидно, способный к далекому развитию. Его последняя статья указывает на какое-то колебание, на какой-то поворот в убеждениях... Если бы он остался жив, мы многое бы от него услышали. И к нему и к его ранней могиле применяется то же печальное замечание: «Непрочно ничто, что растет на русской земле»... (Стр. 307).

Будучи того же духовного образования, как и Добролюбов, и даже закончив его в том же Главном педагогическом институте, Страхов особенно верно мог судить о духовных корнях его убеждений, и вообще о происхождении его нравственного облика. Попутно он делает следующее многотомное замечание о нашем, так сказать, «личном составе» литературы: «Он вступил в литературу, когда еще был очень молод, когда еще сидел на школьной скамейке. Эта молодость, которая, конечно, отразилась и на его статьях, для многих служит соблазном к высокомерному взгляду на Добролюбова. А между тем она должна служить, напротив, хорошим признаком для его деятельности. Белинский тоже выступил на литературное поприще не только до окончания курса, но даже вовсе не кончив курса. Известно, как часто его попрекали этим, как *недоученность* (курс. авт.) ставилась ему в жестокий упрек. Если так, то весьма замечательно, что *недоученные* (курс. С-ва) люди постоянно играют у нас такую важную роль в литературе. Это очень живая черта нашего умственного развития. Как кажется, нужно быть именно недоученным для того, чтобы втянуться в наше литературное движение. Стоит только позаботиться несколько лет о развитии своего ума и сердца, стоит только приобрести ту мудрость, которой недоставало Белинскому и Добролюбову, и дело уже окажется невозможным. Охота к литературе, к беседе с читателями погаснет и не может быть подогрета никакими искусственными средствами. В отношении к литературе является *взгляд свысока* (курс. С-ва). А в самом зрителе является упорное *безлюдье* (курс. С-ва). Происходят люди высокомернейшие и всепонимающие; но в то же время совершенно неспособные что-нибудь сделать. Эти явления у нас очень обыкновенны и представляют часто весьма различные формы. Одни стараются всячески преодолеть свое бездействие и вымучивают из себя разбитые фразы, отрывочные произведения; на каждой сроке которых отзывается величайшее усилие. Другие довольствуются какою-нибудь единственною статейкою и затем всю свою деятельность сосредоточивают в саркастической улыбке, которую носят лет 20 или 30 сряду. Третьи впадают в самое пошлое озлобление на литературу, в которой не могут принять участия, и отводят себе душу непрерывною на нее бранью» (стр. 287–288). Это – удивительно верно; и здесь есть намеки на славянофилов, которые, постоянно твердя, что они одни служат истинными выразителями русского народа, никогда, однако, не сумели стать в центральное движение литературы и от этого объявляли ее всю сплошь «не русским» или «искаженно-русским явлением». Статья о Добролюбове также парирует высокомерный их взгляд на этого критика, как в других местах «Критические очерки» парируют подобный же взгляд их на Островского, как на изобразителя «диких, а не русских форм быта».

Главною чертою в Добролюбове Страхов считает теоретизм, отвлеченность и слабое влечение и внимание к богатству конкретной действительности. И родник черты этой относит к семинарии. «Десятилетним мальчик отправлялся в духовную школу, в которой для него закрывался мир и от-

крывалась наука... «Тут одна награда, одна цель в жизни – быть умнее других; одна мерка для измерения человеческого достоинства – ум; одна главная страсть – самолюбие. Интересы, более исключительно господствующего, как интерес науки, в семинарии и представит себе невозможно» (стр. 300). Но это чрезвычайное возбуждение в сторону науки у семинаристов большею частью скоро гаснет, подавленное формализмом и схоластической преподавания всех предметов. «Большею частью оно гаснет, подчиняясь течению ленивой, неразвитой, невежественной жизни. Чистейшие и способнейшие люди обыкновенно ничего не делают. Гораздо счастливее бывают те, в ком является реакция против всех начал, власть которых они признавали прежде без собственного исследования. Тогда все здание, уродливо построенное на этих началах, рушится до самых оснований и истребляется тем беспощаднее, что прежде давило молодые силы. Все разлетается прахом. Но что же остается? Остаются крепкие силы и такая пустота, которая редко встречается в других случаях, при другом порядке дел».

К числу таких юношей с рушившимся в нем строем семинарского мирозерцания Страхов относит и Добролюбова; но за этим строем стояла крепкая семинарская логика, глубокое неведение затворника-пансионера к практической жизни, к живым людям, ко всему богатству действительности и лукавой, и прекрасной; наконец, суровость возможного священника и возможного аскета (домашнее духовное воспитание) к красивым и бесполезным сторонам жизни; и все это, все эти задатки и дары, таланты и недочеты Добролюбов вдвинул в стародворянскую нашу литературу, производя и разрушение, и соответственное созидание. В самом деле, начиная с 60-х годов литература наша заметно становится суровее, деловитее; песен «гуляки праздного» (слова Моцарта у Пушкина) в ней становится меньше. Но, право же, она не стала от этого менее серьезна, ни даже менее симпатична. Серьезное и деловитое имеют в себе также поэзию, не шаловливую, не капризную, пожалуй, угрюмую, но непременно поэзию. Есть «стих» (красота) и в жниве во время страды, а не в одной клумбе цветков; хорошо небо со звездами, но не дурно оно и в черной мгле грозы.

КОШАЧЬЯ ПЕДАГОГИКА

Министерство народного просвещения всегда и само себя понимало, и всеми в стране понимается как ведомство особенно высоких культурных задач, культурных идеалов, культурных методов. Не всегда это выходит и выходило: между пожеланием и осуществлением всегда лежит некоторый путь. Но всегда это сознавалось и высказывалось, и, конечно, искренно. Отмена телесных наказаний в гимназиях, как и изгнание их из семинарий, составляет всю разницу между действительностью Помяловского и нашею, и кто не назовет этот шаг великим культурным приобретением школы? Необходимость воздействовать только духовно, на душу учеников, есть аксиома, про-

тив которой теперь никто не возражает; и всеобщность и незыблемость этого признания составляет один из успехов новой образованности. Есть вещи, о которых долго спорили, которые выяснились в долгих муках исторического развития; но затем они решились с такой бесповоротностью, что возвращение к ним считается не без основания чем-то просто неприличным. Никто не настаивает более на неподвижности земли; никто не отрицает кровобращение; об инквизиции нет помину; но... может быть, можно спорить о том, культурное ли ведомство министерство народного просвещения, имеет ли оно задачей образовывать, воспитывать, одухотворять, облагораживать, или его миссия в стране ничем существенно не разнится от «правил к руководству дворников», по которым эти последние могут отводить в участок подравшихся мастеровых и пьяных кухарок?

Такой вопрос о самом смысле существования в России министерства народного просвещения подымает какой-то раздраженный ex-педагог в «Моск. Вед.». Есть неудачные чиновники; есть чиновники не только бесплодно «проходившие службу», но и имеющие что-нибудь особенно печальное в воспоминаниях о ней. Тогда ему все ведомство свое, бывшее когда-то родным, представляется чем-то достойным палача, несчастным, ненужным, вредным почти. Известно, как Чичиков осуждал балы, когда на последнем из них Ноздрев вдруг рассказал всем, что он, Чичиков, зачем-то покупает мертвые души. Тогда Чичиков нашел, что балы вообще не национальны в России, развращают нравы и особенно не по времени были в тот год, когда повсюду грозил неурожай. Близко к этому рассуждению Чичикова о балах рассуждение какого-то старого, и, вероятно все же, очень неудачного педагога о министерстве народного просвещения. Его заботы, его работу он признает неудачными и, вспоминая басню Крылова «Кот и повар», советует перейти в отношении учеников гимназий от слов «к действиям» и поступать с ними, как повару надлежало бы поступить «с котом Васькой». Эта новая кошачья педагогика, введение методов кухни в гимназии и способов «проучиванья» животных взамен способов «выучивать» людей, до такой степени поразительно, что, читая два столбца «Моск. Вед.» едва веришь глазам. Статья эта может быть принята прямо-таки за оскорбление всем образованным русским обществом. Педагоги (удачные) между собою иногда спорят, педагоги кой в чем иногда не соглашаются, у них ввиду этого начальством установлены какие-то советы, где разговаривают и думают. Всего это не нужно, по взгляду неудачного педагога. «Исключительно нужна власть» и... «в учебное и каникулярное время учащихся *следует всецело передать в ведение местной полиции*» (курсив автора). Эта отдача под надзор полиции en masse всех учеников учебных заведений, без суда, даже без вины, а только ввиду возможности вины, представляет нечто невероятное и впервые появляется в нашей литературе. Только какой-нибудь особенной причиной, вроде временного отсутствия редактора и заменою его неопытным человеком, мы можем объяснить появление в «Моск. Вед.» такой статьи, и притом, как раз к началу учебных занятий в бесчисленных

московских заведений. «Или, — проектирует автор дальше, — чтобы не затруднять полиции в ее и без того сложных обязанностях по наблюдению за общественным благочинием и тишиной, то следует создать *особую учебную полицию*, с *inspector togum** в каждом учебном центре, в каждом губернском и уездом городе, где имеется несколько средних учебных заведений, и в этом лице сосредоточить все необходимые мероприятия по надзору за учащимися в этом городе и за всеми учащимися, прибывающими сюда на каникулы».

Можно подумать, что у подростков московского купечества и дворянства готовится что-то вроде войны самнитян с римлянами или гвельфов с гибелинами, и для предупреждения или доброго исхода таковой и требуется сместить или ограничить роль московских директоров и инспекторов гимназий, поставив на место их каких-то латинских диктаторов поведения, даже с латинским именем. Но где же ликторы, секиры и розги? Или зачем умалчивает о них автор? Ведь, наверное, не из застенчивости и стыда.

Он далее говорит, опять курсивом, о «*соблазне и неизбежной гибели нашего юношества*»... и только доходя до третьего столбца статьи, мы узнаем, что соблазн этот кроется «в благотворительных спектаклях, концертах и чтениях или лекциях», «этих не вполне нравственных и легкомысленных затеях». Но тут мы остановим Чичикова-автора: ведь благотворительностью занимаются очень солидные люди, иногда очень старые и даже с немалыми чинами, иногда также дамы: так неужели же со всеми ими поступать как с «котом Васьюкой» в басне, или, сохраняя драгоценные слова драгоценной статьи: «Со всею искренностью и опытностью сведущего лица считаю долгом указать на дорогое в данном случае нравоучение Крылова:

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб слов не тратить попустому.
Где надо власть употребить.

Так как же с устроителями-то «не вполне нравственных и легкомысленных концертов»? И им розги? И для них ликторы? И над ними *sensor togum*? Да уж не хотел ли бы скромный ех-педагог получить эту должность, конечно, с солидным окладом? По крайней мере, когда у Чичикова не прошли в таможене овцы с кружевами, он изобрел для себя «новую должность».

ПРОФЕССОРСКИЙ СУД

Организационные работы министерства народного просвещения подвигаются всесторонне и последовательно вперед. Публикуемые сегодня временные правила о дисциплинарном профессорском суде над проступками слушателей и слушательниц высших учебных заведений и над всякого рода за-

* инспектор нравственности (*лат.*).

путанностями и затруднениями в учебной части университетов, вероятно, вызовут у многих чувство облегчения, и прежде всего у ректоров и профессоров. В людном составе слушателей высших учебных заведений не может не происходить хронически разных проступков, взаимных между студентами недоразумений, столкновений, неприятностей, так называемых вопросов «чести», и притом как личной, так и коллективной или товарищеской. Но разбирать и устранять эти неизбежные неловкости и занозы студенческого существования всегда было чрезвычайно трудно и особенно по неясности судящего лица и способов суда. Ничего формального внутри университетов для этого не существовало, а руководиться как «отеческим» решением дела, так и «начальственным» было неудобно уже потому, что подсудимыми являлись такие люди, которые по своему возрасту вне стен учебного заведения и без поступления в университет пользовались бы в это время полными правами гражданства. Ректоры университетов и деканы факультетов не были тверды, решительны и быстры в обсуждении проступков студентов, а когда решение появлялось, оно редко не встречало ропота, неудовольствия, иногда разраставшегося, потому что не было достаточно формально и авторитетно. Должность ректора университета из высоко почетной мало-помалу сделалась только мучительной. Из стойкой и длительной она сделалась очень ненадежной, зависящей от исхода всякого, иногда пустого инцидента в студенческой жизни. Малейшая неосторожность получала значение бестактности и служила причиной к добровольному оставлению должности ректора, а иногда и к покиданию вовсе университета иногда светилом науки и честию университета. Таковы были истории с Менделеевым в 90-х годах и с историком Соловьёвым в 60-х. Назначение профессорского суда прежде всего вносит форму в бесформенное доселе дело разбирательства студенческих проступков, упорядочивают область явно беспорядочную, неурегулированную. Коллективность этого суда устраняет вопрос о придирчивости, впечатлительности и пристрастии судьи, а строгая и ненарушимая его процедура дает возможность студенту оправдаться и устраняет все поводы думать или рассказывать, что он не был выслушан или непонят. Устранение ректоров или даже деканов из этого суда, т.е. лиц служащих в администрации университета, сообщает суду мягкий, несколько семейный и ученый характер, и решение и приговор такого суда ни в каком случае не будет чувствоваться студентом и обсуждаться им, как «наказание начальства». Таким образом, суд этот по всему, вероятно, получит очень высокий нравственный авторитет, и притом не только в глазах учащихся, но и их родителей и родственников. Введение в состав суда по крайней мере одного члена из профессорско-юристов указывает на желание придать ему возможно правильный характер, без оставления поводов ссылаться на произвол или увлечение судящих.

С тем вместе учреждение этого суда сосредоточивает ведение студенческих дел и надзор за поведением слушателей внутри стен учебного заведения, что высоко ценно. Ученые люди, стоящие во главе университетов, все более и более в последние годы выпускали из руки нити студенческой

жизни, понимание этой жизни и направление ее. Призыв их к суду и рассуждению свяжет развязавшийся или чрезвычайно ослабевший узел студенческой и профессорской жизни. Вообще, это скрепит университет. А вместе, возлагая на профессоров реальную и ответственную заботу о студенческих казусах, мера эта пробудит в самих профессорах инстинкт осторожности и самообладания во все время, когда профессор находится лицом к лицу со студентом, в возможности – завтрашним своим подсудимым. Если оно есть или насколько оно есть, так называемое «искание популярности» между студентами отойдет в область преданий, так как теперь оно станет лично неудобным для профессора. До сих пор такая «популярность» обыкновенно была очень удобна для популярного профессора и крайне неудобна для ректора и деканов, которые возились с нравственно-дисциплинарною стороною студенческой жизни. Теперь этот «популярный» профессор, избираемый в судьи, будет сам возиться с плодами своей популярности, и можно быть уверенным, что через немного лет мы будем видеть и знать в университетах только истинную и здоровую популярность, проистекающую из почтения к подлинному уму, учености и доброте профессоров. Таким образом, мера эта сверх других благотворительных своих сторон снимет много фолги с университетской жизни, оставив лежать в ней чистому золоту.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Сегодня опубликованы новые правила министерства народного просвещения о назначении в университетах курсовых кураторов, курсовых старост, курсовых собраний и об усвоении студентами научных кружков и разных педагогических и вспомоществовательных учреждений – спорнейшим образом захватывающих жизнь университетов и могут стать полагающимися начало новому университетскому уставу. В самом деле, вместе с дисциплинарным профессорским судом, о котором говорилось у нас в № 9513, оно мало что оставляют в университете в прежнем виде. Вся жизнь как профессорской коллегии, так и студентов вступают в совершенно новые рамки. Слова Государя Императора, начертанные 10 июня 1902 года в рескрипте на имя управляющего министерством о сердечном и предусмотрительном участии администрации и профессоров университетов к духовному миру вверенной их попечению молодежи и о вхождении званых «руководителей в ее сомнения, борьбу и увлечения», были уже фундаментом нового устава, на котором предстояло только возводить последующие этажи. И они действительно на наших глазах возводятся. Кстати, времена переменчивы. Отмеченные нами слова до такой степени выражают необходимое для университета, что их можно было бы навсегда выгравировать и поставить как бы «зерцалом» и в зал профессорского дисциплинарного суда, и в зал курсовых и кураторских собраний, чтобы в каждом затруднении или в каждом стеснении и студент и профессор мог на них указать и опереться.

Нет сомнения, что кураторство в университете вполне станет в дружеские и тесные отношения со студенчеством, как ближайшая и совершенно необходимая инстанция, выслушивающая и принимающая непосредственно от студентов всякие возможные жалобы и указания. Можно быть уверенным, что кураторство станет душой университетской жизни, а совету университета и ректору останутся высоко административные и ученые заботы, от которых до сих пор они были совершенно отвлечены мелочами студенческой жизни и возникающих здесь порою неурядиц. Семнадцать кураторов (по числу всех курсов университета) будут уже знать не студенческую жизнь вообще, а знать эту жизнь в частности и почти в личных подробностях, во временных и случайных изъянах курса по подготовке к слушанию науки, в его талантах, порывистости или тихости. Словом, взгляд на студенчество «с высоты птичьего полета», откуда прежде всего ничего нельзя разобрать, непременно должен кончиться с выделением из профессорской корпорации людей, уже почти входящих в толпу студентов, но входящих в нее не случайно и от себя лично, не во время разных студенческих нестроений, а постоянно и притом на учебно-воспитательной почве. Будущий талант университета должен пойти именно в линии этого кураторства и сказаться в искуснейшем подборе личности кураторов. Оговорка в правилах, что они избираются советом университета на годичный «или меньший» срок, указывает на крайнюю, так сказать, чуткость, деликатность и нервность этой новой должности, лицо которой, в случае неудачи выбора, может быть ежечасно сменено, однако сменено не ректором, т. е. не в дисциплинарном духе, а советом профессоров, т. е. в духе и в целях педагогических и вообще просветительно-гуманных. Все эти оговорки и вообще осторожная постановка этой важнейшей должности имеет в виду возвысить прежде всего моральный авторитет кураторов среди студентов. Можно сказать, пока он не будет достигнут – ничего в университетах не изменится сравнительно с прежним, а когда он достигнется – все само собою там уладится и успокоится. В семнадцати профессорах, которые непременно должны быть любимыми и авторитетными, двухтысячная и доселе вовсе неорганизованная толпа студенчества получит опорные точки, около которых начнет непременно слагаться в правильную кристаллическую форму.

Курсовые старосты и курсовые собрания, можно сказать, и кладут первый камень оформления студенчества. Как в лице кураторства профессорская корпорация, так сказать, выдвигается в сторону студенчества и входит в него, так в лице курсовых старост, уже выбираемых студентами, со своей стороны и студенчество двигается навстречу профессуре, и эти старосты, еще сами носящие студенческий костюм, вообще товарищи среди товарищей, уже, однако, выдвигаются в профессорские круги, в атмосферу коллегальных университетских совещаний и предрешений. Куратор есть свой человек в университетской администрации и – не чужой студентам: староста есть свой человек в студентах и – не чужой в администрации. Эти семнадцать профессоров и семнадцать студентов составят соединительный слой

между, так сказать, верхним этажом и нижним этажом университета, между которыми до сих пор не было никакой лестницы. Профессора до сих пор никакого представления о студенчестве не имели и не могли иметь, говоря с ними только единственный раз в год, на экзамене, да и то не говоря, а выслушивая ответы. В создании промежуточного, соединительного слоя лежала труднейшая проблема улучшения и успокоения университетской жизни, и, кажется, она разрешена удовлетворительно.

О КУРСОВЫХ СТАРОСТАХ

Все, что бесформенно существует, бесформенно и живет, и движется. Поэтому отсутствие организации всегда есть синоним беспорядка, нестроения. Вот мысль, довольно элементарная, которая положена в основу учреждения курсовых старост в университетах. Пункт пятый, опубликованный в № 9513 правил гласит: «На курсовых собраниях допускается избрание курсовых старост из числа студентов данного курса: старосты избираются на годичный или меньший срок для сношений по делам курса с преподавателями и администрацией данного учебного заведения и для исполнения касающихся студентов подлежащего курса поручений ректора или профессора-куратора». Это не представляет чего-либо совершенно нового у нас, так как курсовые старосты существуют в Военно-медицинской академии.

Это составляет первый шаг к тому, чтобы студенческую молодежь, до сих пор не имевшую никакого решительного внутреннего распорядка, никакого внутреннего строения, превратить в нечто правильное, осмысленное, до некоторой степени – единоличное, с способностью голоса, воззрения и осмысленности. Студенты были до сих пор просто толпою, с возможностью в ней всех явлений, присущей всякой народной толпе. Село крестьян менее, чем в две тысячи человек населения, имеет свой сход, своего старосту; имеют свою организацию и своих выборных ремесленники, мещане. Студенты данного университета, числом колеблющимся около двух тысяч, состоящие из людей, достигших гражданского совершеннолетия, и сплошь состоящие из людей более, чем со средним образованием, конечно, могут иметь организацию и то право выбора, которого не лишены ремесленники, мещане и мужики. Положение «учеников» есть более имя в них; «учениками» по положению являются и молодые ученые, командируемые в иностранные университеты для завершения образования. Слушание лекций в университете есть более наружное положение, нежели точное и строгое состояние ученичества, и решительно невозможно рассматривать две тысячи бородатых молодых людей, как класс гимназистов, и вести их в соответствующей ученической муштровке. Собранные в целях науки, имеющие впереди службу или ученое поприще, в некоторых частях чрезвычайно бедные, в других – богатые, соединенные все чувством тесного товарищества, конечно, на четыре года университетской жизни, эти молодые люди могут

оформиться в самую цветущую, красивую, благоустроенную и довольно свободную жизнь, со множеством своих удовольствий и маленькою, зачаточной наукой и литературой у себя. Дай Бог, чтобы и курсовые собрания, и учреждение курсовых старост пошло в этом направлении – красоты и роста внутренней собственной жизни университета. При бесформенности – жизнь студенчества не могла никак сложиться. Главные связи студента завязывались вне стен университета. Теперь все должно пойти по пути средоточения университетской жизни внутри самого университета.

Инструкция касательно старост и курсовых собраний будет дана не общеминистерская, а, по пункту шестому «Правил», «составляется советом данного учебного заведения или соответствующим совету учреждением». Таким образом, и здесь проведен принцип жизни единичной педагогической «ячейки», бытие которой не подавляется жизнью целого. Совет университета призывается к широким задачам организации и выходит из прежнего безличного и пассивного положения. Педагогический сон или, точнее, расположение к сонливости университетов в верхнем их этаже, где она была и насколько была, должны теперь кончиться. В свое время профессор был только чтец лекций. Пожалуй, самая солидная часть профессоров беззаветно уходила в науку, являясь на два часа на кафедру, почти только чтобы прочесть отчет перед студентами о состоянии науки. Собственно учебная, учащаяся жизнь университетов была крайне неразвита, монотонна, сводясь к пассивному слушанию лекций, а не к занятиям наукою. За выслушиванием лекций у студента оставалось множество времени и простора, которых университет никогда не умел и не пытался утилизировать. В Юрьевском университете, где были старинные корпорации, оне и поглощали в своем «буршестве» этот досуг и простор; в остальных русских университетах, где этих корпораций не было, время и силы юношества уходили на совершенно неподвижные вещи, не только вне руководства, но и вне ведения профессорской коллегии.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ КУРСОВЫХ КУРАТОРОВ

Мы уже говорили о чрезвычайной важности должности курсовых кураторов, вводимой с нынешнего учебного года в университетах. Функции всякой должности тогда хорошо выполняются, когда на нее найден удачный человек. В курсовые кураторы предполагается избрать лиц, несущих преподавательские в университете обязательства. Между тем кураторство потребует от лиц, его исполняющих, непрерывного внимания к себе, большого такта и, наконец, значительного времени. В настоящее время профессор в большинстве случаев посещает университет не более двух, много трех раз в неделю, прочитывая по две, по три лекции на курсе. Обилие свободного времени требуется необходимостью для профессора стоять на высоте современного уровня своей науки, т.е. постоянно и много читать и изучать. Нельзя себе представить курсового куратора, который посещал бы университет не каждый день, так как

всякий час непредвиденно могут понадобиться или студентам или профессорской коллегии его забота, разъяснение или вмешательство. Таким образом, профессор, читающий в университете лекции, как только будет выбран куратором, потеряет половину своего времени и обременится заботами столь настоятельными, которые потребуют самого тщательного с его стороны внимания. Невозможно сомневаться, что кураторство может неблагоприятно отозваться на качестве читаемых лекций и даже вообще на научном уровне профессора. Между тем качество лекций есть первое условие заинтересованности ими слушателей и, следовательно, их занятий и прилежания.

Нам кажется, было бы вполне возможно расширить состав лиц, из которых могут быть избираемы кураторы, наличностью не только состоящих на службе профессоров, но и вышедших за выслугою лет в отставку. Для очень многих университетских профессоров это есть возраст 50–55 лет, когда еще сохранена полная умственная сила. Летам этим присущи те опытность и спокойствие, которые прежде всего потребуются новою должностью. К тому же, как вовсе не читающий в университете лекций, такой куратор будет стоять в стороне от тех маленьких интересов, соперничеств, невольной критики товарищей-профессоров, к какой не может не быть склонен читающий лекции профессор. Он будет более беспристрастно стоять между студенчеством, с одной стороны, и профессурою – с другой. С тем вместе он может посвятить университету и студенчеству неограниченное число своих часов, не отвлекаясь от единственной заботы никаким делом. Ученость и педагогический их опыт могут оказать студентам много помощи в занятиях, и ничто так не свяжет студентов с куратурою, как эта помощь и маленькие педагогические услуги. А укрепить связанность студенчества с куратурою будет несомненно одною из важных задач нового университетского положения.

КУЛЬТУРА И «ГРАЖДАНИН»

Самоуверенность «Гражданина» переходит всякие границы. Статья наша против проекта «Моск. Вед.» отдать всех учеников средних учебных заведений под надзор полиции привела его не содержанием своим, но употреблением слова «культура» – в то духовное состояние, которое медики называют «минутным и беспричинным помешательством». Это именно «аффект», в котором совершаются всякие невменяемости, и орган кн. Мещерского решительно впал в таковое против себя, газеты своей и русской литературы, называя слово культура «скверною и гнусною ложью», а всякую о ней речь в литературе – «подобною кваканью лягушки в болоте». «Вот текст этого кваканья», – говорит он – и приводит большую выдержку из нашей статьи, содержащую ту простую мысль, что министерство народного просвещения никак не может согласиться на воспитание через полицию своих учеников, так как оно есть ведомство «культурных задач и методов и идеалов в воспитании». «Хотелось бы громким хохотом приветствовать эти шутовские сло-

ва», – пишет «Гражданин». Затем, хотя автор статьи в «Гражданине» откровенно заявляет, что он не читал опровергаемой статьи «Моск. Вед.», но с тем вместе, пожалуй, раскрывает ее затаенный смысл. Именно, он распространяется о «телесном наказании в русской школе» и о большой глупости, сделанной в прошлом школою через его отмену. Так как и у нас, и в «Моск. Вед.» речь шла только о гимназиях и гимназистах, то, очевидно, «Гражданин» говорит именно о восстановлении телесных наказаний для гимназистов: и передача воспитания из рук министерства в руки полиции едва ли и не проектируется ввиду того, что чины министерства окажутся слишком слаборевными для производства сильных экзекуций.

Да и какой интерес «Гражданину» в порке, к которой он питает такую патологическую симпатию? Никто решительно не позовет ни издателя «Гражданина», ни его сотрудников держать за ноги наказуемых и все же он не получит никакого личного удовольствия от этой «меры». А отвлеченно, ей-ей, невозможно доказать пользы этого действия. Если же слова о культуре орган кн. Мещерского называет «кваканьем» или еще в другом месте, соединяя, «культурукваканьем», то оттого, что предвидит, что пока есть в России так называемая культура – никого ему сечь не дадут.

Слово «культура» для нас есть не фраза, и мы не только не стыдимся, что его произнесли, но и произносим вновь. Для нас это есть краткий термин для обозначения совокупности множества вещей, как слово «отечество» для нас в девяти буквах совмещает народ, государя, отечество, славу и бедствия России, все. Слово «культура» принадлежит к таким же и в восьми буквах обозначает сумму всего, за что тысячелетия боролось человечество, что оно вытало из лучших своих соков и не даст расхитить этого богатства людям такого пошиба, как публицисты из «Гражданина». Прежде всего: «культура» есть убеждение, есть вера, т. е. душу культуры составляет не техника и материальный прогресс, а некоторый накопленный идеализм человечества. В состав этого идеализма, между прочим, входит и отрицание порки, пощечин, заушений, потасовки и т. п. Пусть «Гражданин» пишет: «От слова *культура* – меня тошнит». Может быть, и культуру тошнит от «Гражданина». Но разница культурной культуры и некультурного «Гражданина» лежит в том, что первая объясняется членораздельно, знает свои мотивы, сознает цели, всех убеждает самой рассудительностью своею, – тогда как орган кн. Мещерского давно презрел доводы рассуждения, и вместо этого кричит и топчется, как кавалерийская лошадь под музыку, будучи в то же время в извозе у водовоза.

БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ ТЕХНИКА

В министерстве финансов и министерстве земледелия и государственных имуществ обсуждался проект нового технологического института – для Закавказья, и намечаются для него города – Тифлис или Кутаиси. Необыкновенные естественные богатства этого края, обширного как целое государ-

ство и географически очень обособленного и замкнутого, конечно, возбуждают мысль о крайней полезности там высшего учебного заведения, именно технического. Не мы станем возражать против осчастливления Кавказа первым высшим учебным заведением. Но нельзя не выяснить по этому поводу, что необозримый бассейн Волги, Оки и Камы имеет для удовлетворения своих образовательных нужд всего одно высшее светское учебное заведение – университет в Казани. Также напомним, что и в Петербурге и в Москве стены учебных заведений все еще слишком тесны для вмещения всех желающих там учиться.

Нельзя не обратить внимания при этих слухах о повторении высших типов технических училищ, о том, что самая высота их у нас вообще еще не доведена до надлежащего уровня. В то время как в теоретической науке Россия сравнилась с Западною Европою, и наши математики, астрономы, физики, а в практической области наши медики стоят на том же уровне, как и западные ученые, – технологические наши институты все еще выпускают подмастерьев, а не настоящих мастеров, не свободных творцов-художников в великой технической области. Как только выдвигается вперед вопрос о громадном сооружении общегосударственного значения или даже о введении городом какой-нибудь новой системы передвижения или освещения, так к нам налетают всевозможные бельгийцы, французы, приезжают даже из-за океана американцы, в том полном убеждении, конечно, не безосновательном, что ничего крупного у себя по части техники русские не успеют сделать. Постройка Николаевского и Литейного мостов могла бы внушить мысль, что третий мост через Неву мы уже построили сами. Но его строит Батиньоль. Петр воздвигнул громадную канализацию около Ладожского озера, орудуя через своих мужиков; мы и со всеми своими технологическими институтами не умеем устроить электрической конки. Не дело общей печати вникать в подробности этого, доказывать частности. Перед гражданином остается общее печальное зрелище: очевидное и доказанное отсутствие большой, так сказать, орудийной техники и выработка очень дорогостоящими учебными заведениями техники только по мелочам, так сказать, оружейной.

Лежит ли источник этого в недостаточно высоком уровне теоретического преподавания, в отсутствии ли достаточно разнообразных мастерских в учебных заведениях, в недостаточном ли разветвлении и специализации преподавания или в отсутствии прямой связи русских учебных заведений с русской промышленностью – на вопрос этот могут ответить только специалисты. Если пяти или четырех лет курса недостаточно, пусть учебное заведение потребует лишний год для науки, но пусть оно даст настоящего мастера, а не «мальчика на посылках» у бельгийца, француза или американца. Мы думаем о технологическом институте для Закавказья. Между тем того и гляди, что немцы, работающие в Малой Азии, через то же Закавказье вышлют с юга своих техников в Великороссию, как они высылают их с Запада и наполнили ими наш Привислинский край и область по Дону. И, конечно, очень сочувствуя тому, чтобы мингрельцы, абхазцы, грузины и армяне через высшее учеб-

ное русское заведение получили, так сказать, высший глянец европейской культуры, выразим пожелание, чтобы сами великороссы поспешнее сбросили с себя остатки ленивого азиатского халата и сравнялись не в мелочах, а в крупном, с деятельными и промышленными странами Запада.

ТЕСНОТА В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Есть вопросы очень трудные, сложные и мудреные, на нерешенность которых от этого и не приходится роптать. Но есть другие вопросы, до такой степени элементарные, что ожидалось бы видеть их разрешенными в тот самый час, когда они возникли, а между тем проходят года, даже десятки лет, а элементарный вопрос все ждет очередного внимания к себе, как пассажир перед кассою, которую забыл открыть кассир.

Сообщения из Липецка о том, что 17 учениц, переведенных уже из подготовительного класса в первый по экзамену в мае месяце, и которые по распоряжению начальства приобрели за лето учебники для предстоящего курса первого класса, явившись в августе в этот первый класс были отправлены обратно домой за неимением в них вакансий, поражает воображение читателя и гражданина. Куда же родителям девать этих 17 дочерей? И неужели судьба вполне приготовленного ребенка может разыгрываться почти как в лотерее, в которой все сомнительно и нет ничего достоверного? Мы так давно слышим о наших финансовых успехах, до того привыкли верить в неистощимость естественных богатств России, наконец, нам столько твердят, что окончившие курс в гимназиях и университете молодые люди не находят приложение труду своему за «перепроизводством интеллигенции», — что отказ в учителе для 17 девятилетних девочек в Липецке является неожиданным и поразительным. Во-первых, начальство прогимназии знает приблизительно годовой прирост у себя учеников; оно должно было с весны обратиться к начальству учебного округа о том, как поступить с горестным (?!) наплывом желающих учиться; и, наконец, учебный округ мог даже по телефону распорядиться, чтобы из специальных средств прогимназии или из сумм, экстренно отпущенной округом, было нанято для 17 учениц, т. е. параллельного отделения первого класса, хотя частное помещение, т. е. всего одна комната в частном доме. Наконец, для этого параллельного отделения могли бы быть назначены временно часы от 2 до 7 вечера, так как в первом классе уроки оканчиваются рано. Все эти экстренные меры, это временное стеснение могло быть сделано на срок одного месяца, в течение которого и устройство помещения, и новое распределение уроков могло бы быть установлено более фундаментально. Но вообще говоря, отказ готовому ученику в помещении в гимназии представляется странным курьезом в век Сибирской железной дороги, беспроволочного телеграфа и «обязательного обучения»...

Кстати, о последнем. Как же это родители «поголовно обяжут» обучать детей», когда для этих детей нет «обязательно готового места», и не только нет, но и не предвидится. И нет самого беспокойства, самой тревоги о том, что в учебных заведениях не могут поместиться все пришедшие учиться. «Обязательное обучение» проектируется для села, для деревни; но чем несчастнее городские дети, что при всем рвении к учению, им не достает просто места в школе, где сесть. Нам кажется, раньше, чем принуждать учиться, нужно подготовиться к тому, чтобы иметь возможность учить хоть тех, кто желает этого. В том же Липецке для больных и частью для приезжающих развлекаться с 8 часов утра гремит музыка, проложены чудесные дорожки и разведены роскошные цветники, а сама большая и небольшая публика щеголяет умопомрачительными нарядами, и в это же время на заднем крыльце того же «культурного уголка» России разыгрывается такая сцена, как рев 17-ти 9-летних девочек, которые уже проучились год в учебном заведении, а через год полных успехов им «показали дверь» по той простой причине, что сидеть в классе тесно.

ГЕНИЙ И ШАБЛОН

Мы, конечно, и не предполагали вовсе решить или даже осветить вопрос, почему гений или талант-техник у нас так редко встречается, и почему большие и трудные у нас сооружения очень часто до сих пор отдаются в заказ за границу. Перед нами стоял очевидный факт, который мы подчеркнули и сделали предметом вопроса, на который должны были ответить стоящие у дела специалисты. Помещенная у нас вчера статья В.Е. Тимонова дает определенный и ясный ответ:

1) Таланты инженерного искусства таятся в русском народе.

2) Высшие технические у нас школы работают по шаблону, и скорее подавляют талант, или выбрасывают его за борт, нежели правильно его воспитывают.

3) Техника предполагает врожденный в себе талант, и этот талант больше всего нуждается в свободе направления и выбора.

Таким образом, достаточно констатированный для всех видов наших учебных заведений недостаток, заключающийся в пренебрежении к таланту, к индивидуальности ученика, оказывается присущ и высшим техническим школам. Он дал не только знаменитых наших «классиков»-зубрил, не умеющих прочитать *a livre ouvert** страницы Демосфена или Горация, но и почти таких же «зубрил»-техников, умеющих класть шпалы, а не перебросить красивый мост через Неву. В ученике технологического института нет, как изъясняет проф. Тимонов, творчества, воображения, «*génie*»; он вовсе не есть «*ingénieur*» в смысле производства этого названия от имени благо-

* по раскрытой книге (без словаря) (*фр.*).

роднейшей человеческой способности. Все эти сведения, данные компетентным ученым, только полнее и обоснованнее разрисовывают печальное положение дела, на которое мы указали кратко и без объяснений.

Прибавка одного учебного года, говорит он, не выработает лучшего инженера, как прибавка года в консерватории не выработает лучшего певца или музыканта. Все же и для певца и для музыканта важна мелочная и внимательная обработка голоса и техники игры, для чего подолгу учатся они у лучших учителей и завершают образование голоса или игры у лучших наставников за границей. Но, действительно, в то время как в училищах музыки и живописи преподавание давно индивидуализировано и занятия ведутся, хотя с целым классом, но в то же самое время и параллельно они идут с каждым порознь лично учеником, ученики-«ingénieurs» идут в обучении шеренгою, слушают лекции как студенты в университете и производят практические занятия как студенты-медики. Отсутствие живой связи технических школ с большими инженерными ведомствами или предприятиями делает преподавание им наук несколько отвлеченным и в то же время преподаванием «втемную»; они готовятся к тому, чего в стране не требуется, на что нет спроса, и не готовятся к тому, что может быть у них потребовано сейчас же по выходе из училища. Молодой питомец растеривается, не знает, с какой стороны взяться за незнакомое дело, и теряет репутацию, прежде чем что-нибудь сделал. Положение столь же бедственное с личной стороны, как и клонящееся к ущербу страны и государства.

К счастью, технические у нас школы находятся в заведывании таких ведомств, которые очень мало заинтересованы в сохранении педагогических шаблонов и нуждаются в практической и выгодной постановке дорогостоящих учебных заведений. Педагогика есть наука очень старая и очень капризная. Сколько времени старым нашим педагогам ни указывали, что никаких ученых языковедов и историков из наших гимназий не выходит, а филологические факультеты пришли в совершенное запустение, — они упорно оставались в своей рутине, ссылаясь «на вековой опыт и пример более просвещенных нас стран», где будто бы все делается так же, и на аргументы, в пользу классицизма, приводившиеся еще в отдаленные от нас времена. Но в деле технического искусства для министерств финансов, земледелия и путей сообщения всякий шаблон нужен, пока он выгоден, и сейчас заменяется другим, как только другой оказывается выгоднее. Постановка у нас высших технических заведений, ведущая к сужению и задержке, а не к развитию талантов, вне всякого сомнения существует только потому, что оставалась никому неизвестной, кроме преподавателей в них, жизненно незаинтересованных в перемене дела. Преподавание по шаблону, преподавание шеренге, вместо работы порознь с каждым питомцем, отвлеченная постановка всего дела, сводящаяся к чтению лекций, — все это создает для преподающего персонала покой и комфорт, совершенно разрушающийся, как только учебное заведение приходит в живую связь, ежеминутно напряженную, с ведомствами больших сооружений.

Система каналов между Невой и Волгою, на которую ссылается проф. Тимонов, была начата гениальным Минихом, про труды которого Петр, осматривавший раз их во время сильного нездоровья, сказал: «Труды моего Миниха сделали меня здоровым». Миних, очевидно, и принадлежал к тем творцам-художникам своего дела, которые заставили дать техникам имя, заимствованное от «гений». Если действительно великие техники «рождаются», как и великие поэты, художники и композиторы, то нельзя не заметить, что Россия решительно беднее этим талантом, чем всяким другим; или, по объяснению проф. Тимонова, она своим техническим талантам вовсе не дает средств развития и формирования, какие находят в ней для себя таланты всех других родов. Ни урегулировать у себя Волги, ни устроить оросительную систему для своих черноземов, ни поставить хлопководство, шелководство и виноделие в уровень с Францией или Германией мы не сумели и не умеем. Даже отравление Волги нефтью ежегодно кричит о себе известные месяцы каждого года, и верно к 1920 году оно будет то же, что в 1880. Порча фарватера Волги «идет на прибыль», как вода в Неве при наводнении, и наши техники ничего не умеют сделать, кроме шипенья землечерпательных машин. «Вычерпали» один пережат, глядишь – образовался неподалеку другой. Начинают «черпать» его. Это дает отличный доход, как лечение неисцелимого хроника доктору. Но это, во всяком случае, не говорит не только многого, но и ничего в пользу «вдохновения» и «творческого воображения», хотя бы в качестве залежавшегося в недрах народа капитала. Нет, в технике мы работаем по мелочам, а крупные дела совершаем тогда, когда они представляются состоящими из бесконечного повторения привычного шаблона.

Вопрос этот мы считаем вопросом колоссальной важности, и, может быть, из близко стоящих к делу людей кто-нибудь примет на себя труд еще и еще пролить сюда свет.

ВЛ. СОЛОВЬЁВ И ДОСТОЕВСКИЙ

Собрание сочинений В. С. Соловьёва. Том третий.
СПб. 1902.

Издание трудов покойного Соловьёва продолжается с энергией, достойной всякой похвалы. Во 2-м томе «Собрания сочинений» была помещена «Критика отвлеченных начал» – труд, наиболее систематичный и обильный ценными философскими взглядами. Лежащий перед нами третий том обнимает философско-религиозные труды покойного от 1877 года по 1884 год, т. е. самый блестящий период его деятельности, когда он сделался фигурой всероссийскою и всеобщелюбимою. Мне помнится, это время, когда молодежь университетская (в Москве) сперва нерешительно уравнива-

ла его с трудолюбивым и монументальным его отцом, а затем пыталась ставить сына и выше отца. В ту пору я был страстным патриотом и мысль, что у нас есть такие знаменитые отец и сын, как у немцев и англичан есть тоже знаменитые в науке и искусстве родственные диады, наполняла мое сердце восторгом и гордостью: «Боже, наконец, Россия имеет философа; разве может быть страна, цивилизация, литература без философов и философии!», – думал я в своих студенческих потемках. И желание, чтобы Соловьёв поднялся выше, как можно выше, гораздо выше отца своего, человека основательного, но все же обыкновенного, было во мне одним из самых знойных. К числу самых страстных юношеских мечтаний (чуть ли не довольно общих) принадлежало и это: что все ученые, даже такой знаменитости, как Либих или Гершель, все же суть обыкновенные люди, «смертные», но только очень умные, даровитые, прилежные и счастливые в своей судьбе или карьере; с именем же «философ» соединялся какой-то неизъяснимый туман и восторг: слово «карьера» несказанно оскорбило бы это понятие, ибо философ, казалось, не идет, а «грядет», и все в нем и около него таинственно, высоко, «божественно». Поэтому, когда я впервые стал читать «Критику отвлеченных начал», как меня ни увлекали наложение и острота взглядов покойного, я все был недоволен, что он занимается чужими философиями. Когда же, когда он начнет сам философствовать! И освещать мир!! И излагать себя!!! Читатель да простит изложение этих юношеских ожиданий от философии, ибо, кто знает, может быть, сейчас ровно такие же мысли бродят в юных студенческих головах. Для последних замечу, что философия сошла к нам незримою и неслышимою гостьей, и уже давно у нас сидела, когда все ее ждали. Это – наша благородная литература. Нисколько не обязательно для философии быть выраженной в томах умозрения, разделенного на отделы, подотделы, главы и параграфы, непременно с «введением» и «заключением». Платон писал драматические диалоги – и философия была там. Но раньше Платона писали только философские стихи, «поэмы», очень коротенькие – и философия тоже в них была уже. Можно составить бессмертное имя в философии сказав всего один или несколько афоризмов: таков был Эмпедокл и Гераклит. Философия есть просто царство мысли, мышления, и она может не только родиться, но и подняться довольно высоко, вовсе даже без книгопечатания. Том, глава, параграф, «введение» и «заключение» суть просто формы немецкой философии, а не вообще философии. И вот с этой точки зрения русская литература в ее целом и в выдающихся ее точках, есть одна из самых великих мировых философий, ибо она носит все черты мышления, идущего необыкновенно глубоко, касающегося всех вещей мира (как и надлежит философии), и притом мыслей, по основательности и критичности своей не уступающих во всяком случае Шеллингу, Гегелю или Шопенгауэру. Когда я это пишу, я имею конкретно в виду «Обрыв» Гончарова, именно 2-й его том, со всеми беседами Райского об искусстве и жизни, стихи Тютчева и недавно случайно мною перечитанный рассказ Тол-

стого: «Много ли человеку земли нужно». Впечатление от чтения последнего до того меня взволновало, что я не мог удержаться, чтобы не сказать в себе, что ничего равного в религиозной сфере русский ум не сотворил. Если взять его в сродстве с другими драгоценными камнями того же творца, и, наконец, рассмотреть самого этого творца в сонме других, вовсе на него не похожих, оригинальных, новых, самобытных – мы, конечно, получим зрелище великой философской толпы, удивительного царства мысли, где земное и небесное, идеальное и реальное, теоретическое и достоверное, освещение прошлого и надежды в грядущем соединены в редко в данную в истории картину. Особенно, однако, трогательно, что блестящие «философии», подлинной и живой, лежат не только на этих великих умах, а они виднеются и на самых скромных, иногда безымянных тружениках. Вот недавно на всемирном съезде здесь криминалистов было сказано, что русские внесли в предмет этих ученых ту новизну, что стали рассматривать не преступление, а преступника. Может быть, в словах этих была только любезность говорившего гостя (иностранца) к хозяевам. Но слова эти напомнили мне целый ряд то книг, то журнальных и, наконец, газетных статей, именно неподписанных, или подписанных вовсе неизвестными именами, т. е. статей, казалось бы, ремесленных, содержащих очерк «преступника» и систему мыслей о нем в такой полноте, какая, право, стоит работы римских древних юристов. В русской литературе человек до того вытащен на свет Божий, распотрошен и рассмотрен, что, право – точно это «страшный суд» совершается. Но, удивительно, – это совершенно без осуждения, без горечи, без всякой гадости мщения. Литература русская есть в этом отношении не только великое, но и святое явление. Если, конечно, «святость» определять как движение сердца, а не что-то восковое и недвижимое.

Таким образом, Вл. Соловьёв вошел как философ средних размеров в толпу огромных уже ранее его бывших и частью ему современных философов. Одна из прекрасных особенностей его характера и биографии заключается в том, что он чрезвычайно льнул к литературе, даже непосредственнее – к журналистике. И вместо того, чтобы писать томы с «введением» и «заключением», писал стихи, статьи, критику, полемизировал, в полемике иногда перевирал и несправедливо язвил и, словом, все сделал, чтобы стать добрым русским литератором, отложив в сторону немецкий колпак и фарук. Это показывает его истинным философом; как у ученых, занимающих кафедры философии в наших университетах и духовных академиях, их «перст указательный» и «все признаки учения» обнаруживают именно как «мальчиков на посылках» – кого у Гегеля, кого – у Шопенгауэра, но большею частью как «рассыльных на перекрестке», которых берет всяк философствующий иностранец и посылает куда нужно. Так, покойного Козлова совершенно замучил какой-то немец Трейхмюллер (не слышали?) и он так и умер, чего-то «недоизложив» на русском языке из этого жиловатого немца, которому и конца не было.

Третий том заключает в себе: «Чтения о Богочеловечестве», «Три речи в память Достоевского», «Заметку в защиту Достоевского от обвинения его в новом христианстве» (против К.Н. Леонтьева), «О духовной власти в России», «О расколе в русском народе и обществе», «На пути к истинной философии», «Духовные основы жизни» и «Содержание речи, произнесенных на Высших женских курсах в Петербурге 13-го марта 1881 года». Содержание так обильно и живо, что рассмотрения его хватило бы на ряд больших критических статей. Мы остановимся здесь только на его речах о Достоевском. Касательно же остального содержания сделаем несколько кратких «нота-бене».

1) Противоречия Соловьёва себе самому. Они и вербальны, и идейны. Мало было людей, у которых была бы такая постоянная потребность говорить и писать. Он был похож на колокол, язык которого было невозможно удержать; поэтичнее и в сторону почитателей это можно выразить так, что он был похож на Эолову арфу. При этой неудержимости речей в слова его влетало и то частное и случайное, что занимало его только в данную минуту, что лишь в текущий момент приковало его внимание своею темою. Напр., он останавливался на слове «идеализм». Воображение его вспыхивало, припоминания из Платона давили на душу, и не столько идейно, сколько вербально он писал страницы чрезвычайного восторга к идеальному и совершенному уничтожения в сторону реального, материального. Например, в данном третьем томе: «...Мы видели, что исходная точка платонизма есть отрицание действительности, как подлинного бытия, как истины. Это противоположение в платонизме, как и вообще в философии, есть по преимуществу теоретическое. Не должный, не нормальный характер действительности заключается, с точки зрения Платона, в ее неразумности, случайности, неистинности. То, что он признает настоящим, должным, разумным, идеальный мир открывается умственному созерцанию – деятельности теоретической, умственной. Но дальше этого теоретического противоположения мира истинного и неистинного не пошла древняя философия. Впервые христианство дало этому античному противоположению истинного и неистинного мира значение нравственное, жизненное, практическое. Подобно платонизму, христианство исходит из отрицания действительности, но оно отрицает ее не как бытие неистинное только, а как бытие противонравственное, как зло. Зло и тягость существующего почувствовались здесь с особенною необычайною силою. Весь мир во зле лежит, сказал апостол, и это правда» (стр.383). И т. д. Приписка: «И это правда» показывает приведенные строки, как мысль самого Соловьёва. Но это потому только, что самою темою данной минуты речи не было: «идеализм». Но вот темою становится: «богочеловечество» (стр.1 – 132). Само собою разумеется, что любовь Бога к миру, выразившаяся в послании на землю «Сына Своего Единородного», и вообще христианская идея богочеловечности, т. е. смешения, соединения божеского и человеческого, совершенно низвергает весь этот пла-

тонизм: и здесь, да и во множестве лучших статей Соловьёва, трактующих о реальном, развивается ряд мыслей, пропитанных уважением к действительности, даже в ее малых и нечистоплотных частях. Да и невозможно иначе, ибо кто брезгает действительностью, то как же он ее любит?! Небрезгливость – есть главный атрибут Божий, нравственный Его атрибут. Но, во всяком случае, целые трактаты Соловьёва или большие полосы в его статьях противоречат друг другу, имея просто разные темы, просто увлекая автора вербально в разные стороны. Язык колокола, всегда звоня и всегда хорошо, движется, так сказать, в разных вертикальных плоскостях.

2) Куски мертвого содержания среди живой речи. Они чрезвычайно затрудняют чтение Соловьёва, делают его утомительным и немного скучным. Эти мертвые куски суть части, вырванные из чужих систем философии, – которые, о чем бы Соловьёв ни говорил, постоянно мешались у него под языком, затрудняли его речь. Например, ему нужно говорить о христианстве. Тема слишком обширная и занимательная, и о ней можно было бы говорить хоть год с такою силою вниманья, как бы мир перестал быть для говорящего. Тогда потекло бы чистое масло речей. У Соловьёва этого никогда не было. У него в маслянистую речь на главную тему примешаны целые пространства совершенно инородного содержания: тут и Платон, тут и «общественная струя», тут и германский идеализм – все вплетено в речь о сущности христианства, и большею частью сущность-то речи является или забытой, или вовсе невязанной, или, во всяком случае, недоказанной! Чтение Соловьёва от этого не только утомительно, но как-то трудно сделать его и сосредоточенным. Пьешь-пьешь живой смысл его речи – вдруг мертвый кусок из Шопенгауэра; поперхнулся, продолжаешь дальше, чувствуешь удовольствие – вдруг опять кусок из Канта, и т.д. И это – не в выдержках, а что гораздо хуже – в ходе собственного соловьёвского мышления. Если бы можно было его представить в виде растянутого полотнища, то оно напоминало бы собою беленье холстов: пятна еще не перебелились и выглядят темными, а части уже перебелились и выглядят белыми. Велик, прекрасен и жизнен был греческий философский идеализм, однако в греческих условиях и у самих греков; то же можно повторить о германском идеализме. Пересаженный в русскую душу, он уже не жив сам, а вместе производит омертвление в соответственной частице русской души. Этим я не хочу сказать, что нам не надо учиться: но что ученье – дело мудреное, мучительное. Жуковский и Крылов пусть послужат иллюстрациями моей мысли. Жуковский был гениален в переводах, это был «выучившийся» человек, выучившийся германскому поэтическому идеализму. Но пусть бы Крылов попробовал вдохновиться «Ивиковыми журавлями» и перевести их или написать им подражание: получился бы мертвый кусок русской литературы. Соловьёв в значительной степени был как бы Крыловым, пишущим «Ивиковы журавли», или Жуковским – с попытками национализации, «опрошения от философии». Ни там, ни здесь он не вышел цельным.

С Достоевским у Соловьёва были тесные отношения, как биографические, так и идейные. Вместе они ездили в 1880 году в Оптину пустынь, чтобы видеть и говорить с знаменитым ее старцем о. Амвросием, который представлял в свое время великое и исключительное явление духа и труда. Здесь же оба они виделись с К.Н. Леонтьевым, медиком-публицистом-монахом-эстетом. Эти четыре лица, собранные на одной точке, в одной беседе, могли представить собою «тяги земли русской», как говорится в былинах. От Амвросий (старец Зосима «Бр. Карамз.»), посаженный старцем, т. е. советником, руководителем, в знаменитом и настоящем монастыре, – без борьбы и протестов, без противоречия и споров совершенно преобразовал смысл монастыря, монашества и вообще, духовного лица. В бедном подряснике, среди соснового леса, в тесной избенке, он принимал у себя удрученных духом, угнетенных жизнью людей; и не заводил их в тупичек единственного совета: «Потерпите, Бог терпение любит», а проницательным оком входил во все разнообразие практических и духовных нужд, и давал советы то духовные, а очень часто и практические, даже хозяйственные, экономические (мне известны случаи именно таких советов). Он был лекарем-знахарем душ и быта, без всяких притязаний на духовную власть, на духовный авторитет; без красноречивых проповедей, без всякого даже официального в себе значения, и не представляя собственно в иерархии духовной ровно ничего, никакой сколько-нибудь значащей единицы. Романист, философ и публицист с равным любопытством и надеждами смотрели на знаменитого «старца», – и, вспомним, в какой критический момент нашего духовного развития произошло это свидание. Вещи, иногда на первый взгляд совершенно простые, открывают пристальному размышлению чрезвычайную в себе сложность. Что такое был старец Амвросий, – по биографии преподаватель семинарии, в молодости оставивший службу и ушедший в знаменитую пустынь? По смерти его в духовных журналах было напечатано множество его частных писем, по краткости – скорее записочек, и собраны были его присловья, любимые выражения, почти как Даль собирал «Пословицы русского народа». В них замечателен шуточный тон, следы или начатки неразвившейся иронии, тон везде веселый, обильный любовью к людям и жизни их. Что-то старенькое-старенькое и мудрое-мудрое есть в нем. И совершенно отсутствует столь знакомый нам и столь постоянный в духовной литературе тон учительства, морализирования; отсутствуют и ссылки на какие-нибудь древние авторитеты. Он весь русский, этот отец Амвросий. Читая его присловья, вспоминаешь Даля и его словари, а, припоминая множество рассказов, о нем ходивших, невольно как-то возводишь их как к прототипу, не к фигурам знаменитых греческих отцов, еще менее – к фигурам ветхозаветных гремящих пророков, а к столь знакомой нам, русским, фигуре вещего и древнего старца, предсказавшего Олегу его смерть. Оба надышались лесами, насмотрелись звезд – и взяли оттуда свою мудрость и свое сердце. Гёте, вырасти он в

другом месте и в другую эпоху, например, до книгопечатания, мог бы все же продумать всего своего Фауста, только не так определенно; он мог бы быть пантеистом без знания этого слова. Классификации и группировки приходят на ум поздно. Люди растут и действуют сперва без группировки и даже без имен. Слово «пантеист» испугало бы от Амвросия; этого имени не подписано и под литературным портретом от Зосимы, т. е. имя не приходило в голову самому Достоевскому. Между тем, если мы спросим, чем Зосима отделяется, отграничивается от обыденной, окружающей его толпы, в таких же черных рясах, все то же знающих, что знает и он, то ответим, что духовный взор Зосимы теснее, роднее слит с природою, с людьми, наконец — прямо со звездами, нежели их духовный взор, более книжный, может быть, более ученый и менее природный. Руссо может явиться ведь и не в экзальтированном виде, не ломанным существом, а эпически спокойным; как и Гёте может написаться с маленькой буквы и не уметь выговорить ни одного стиха. Я хочу этим сказать, что знаменитое философское понятие: «пантеизм», «пантеист» есть рубрика нашего ума, выражающая древний и вместе вечный факт, факт очень распространенный, а имя «Гёте» по величию и яркости его фигуры можно обратить в нарицательное, почти как «Обломов». Понимание мыслью

И дольней лозы прозябанье,
И гад морских подземный ход,

как и призыв Руссо к первоначальному невинному состоянию, к безыскусственности отношений, к братству всемирному может безграмотно и беспаспортно, но прелестно и гармонично вырасти в друга лесов, друга человеков, например, как Амвросий. Подставим на место князя грядущий к нему народ, и мы, почти без перемен, можем почитать о нем стихи Пушкина

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному.
Заветов грядущего вестник
В мольбах и гаданьях проведший весь век...

Здесь только неверны имена, не тот паспорт: а человек — один, а дух — тот же. Замечательно, что когда Достоевский еще расширил эту эмпирическую фигуру своим воображением и начертал образ старца Зосимы, то уже вышел полный и яркий пантеист: «Птичек любите, каждый листочек на дереве любите: всему поклоняйтесь, все лобзайте». Смесь любви, но природной, с поклонением, но природе — очевидно в знаменитом «старце» знаменитого романа. Леонтьев, обращение которого к религии совершилось на Афоне, забил тревогу, и в блестящей и сумрачной брошюре: «Наши новые христиане гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский», объявил, что эти два писателя вводят «новое христианство», «розовое» (оба термина Леонтьева), вместо действительного, исторического, которое представляет если

и сокровенную «розу», то небесную, открывающуюся на том свете, после смерти, тогда как здесь, на земле, лежит для христианина путь терний, путь шипов, колючек, испытания, боли. «Терпите, лучшего, чем сейчас, на земле никогда не будет, да и не нужно», — писал он. Достоевский в «Записной книжке», посмертно напечатанной, назвал учение Леонтьева «богохульством и цинизмом», и мне известны глубокого ума люди, которые называли Леонтьева «чудовищем атеизма». Что он неприятен и колюч — об этом нет спора. Но что опровергнуть его очень трудно, об этом тоже спорить не приходится. В III-м томе соч. Соловьёва помещена «Заметка в защиту Достоевского от обвинения в новом христианстве», направленная против Леонтьева, но, в сущности, почти соглашающаяся с ним. Вообще, обругать Леонтьева очень легко, но преодолеть трудно. Соловьёв знал силу Леонтьева и преодолевал ее более сердцем, порывом, чем мыслью. Так и в настоящей «Заметке» он опирается более на Апокалипсис, на «грядущее», тогда как Леонтьев стоял на пользе факта и трех синоптических евангелий, где сказано и указано, что «будут скорби» после смерти Христа, и что «восстанет народ на народ и брат на брата». Леонтьев, посмеиваясь над «розовым христианством» двух великих романистов, называл его подлогом, и выдвигал темные, почти черные тени прошлого, называя их вечными, да и прямо призывая их. Он очень точно определил и назвал «всемирную гармонию», которую предрекал Достоевский, и звал к ней людей, — просто возобновлением мысли Руссо, несколько не оригинальным и, с его, Леонтьевской, точки зрения, крайне скучным и преступным. «В строгих монастырях, на Афоне и в Оптиной, за такие речи, какие Ф.М. вложил старцу Зосиме, виновного определили бы на послушание (наказание монастырское) и во всяком случае наложили бы на него обет молчания». Не только постриженный в монахи, но и проживавший уже давно в монастыре, Леонтьев, конечно, лучше знал подлинное фактическое христианство, в отличие от мечтательного и «пророчесственного», с каким выступали, от имени которого твердо и нервно говорили Достоевский и Соловьёв.

ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛИ В ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩАХ

Мы говорим о том, чего нет, но что крайне желательно. К мысли о допущении вольнослушателей в высшие технические училища приводит уже характеристика инженерного искусства и технического преподавания, какую дал на страницах нашей газеты проф. В. И. Тимонов. Если, действительно, в технике главную роль играет врожденное к ней предрасположение, врожденный талант, и этого таланта отнюдь не создает преподавание, то совершенно очевидно, что великое множество очень и очень даровитых и «предрасположенных» к технике людей трудится на практических инженерных поприщах, не пройдя высших технических школ по той простой и несчаст-

ной и неустранимой причине, что их талант был замечен слишком поздно, или что в лучшее время отрочества и юности он не внушил к себе достаточного доверия родителям или наставникам. Мальчик с исключительными техническим «*génie*» мог быть отдан бедными родителями в какую-нибудь уездную классическую прогимназию; здесь он худо учился и шалил, по отсутствию какого-либо призвания к филологии; родителями это было принято за неспособность вообще к учению, и из класса четвертого или пятого мальчик взят и устроен куда-нибудь к торговле или письмоводству. Дарование, однако, смутно сказывается, влечет к перемене службы и, наконец, уже молодым человеком или даже средних лет он попадает в техническую область, где быстро развертывает изумляющее всех понимание, восприимчивость, сметку, инициативу, начало творчества. Между тем и годы, и пройденный курс пяти классов классической гимназии не позволяют ему и думать о высшем техническом заведении. И он остается на тех низших ступенях любимой и понимаемой техники, выше которых начинается то сплетение практики и теории, которое недоступно ему по отсутствию хотя бы малого теоретического пособия. Проф. Тимонов прямо говорит об инженерной даровитости русского народа, о том, что талантов технических много таится у нас в простом народе. Что коллизия высокого таланта и отсутствия прав поступить в высшее учебное заведение встречается не у нас одних, это можно видеть из биографии знаменитого Фарадея, который, будучи уже взрослым человеком и занимаясь ремеслом, стал слушать публичные лекции по физике, которые толкнули его изумительный гений и вывели его на поприще, где он принес пользу Европе и науке. Нужно заметить, для слушания и понимания лекций по высшим отраслям технических знаний требуется знание почти одной только математики, а не всех 8 или 9 наук, экзамен по которым требуется на конкурсном испытании. А ум, «предрасположенный» к технике, обыкновенно бывает в высокой степени способен и к легкому усвоению математики, по их связности и однородности. Таким образом, «врожденный технический талант», не попавший с самого начала на надлежащий путь, не будучи в силах приготовиться к нормальному установленному поступлению в высшее техническое заведение, может собственными усилиями преодолеть трудности единственно ему необходимой безусловно науки и стать способным к слушанию теории той техники, практическую, ремесленную сторону которой он знает в совершенстве, недоступном ни для какого студента технологического института. Появление такого лица среди студентов-теоретиков только в высшей степени полезно и для них, так как он им столько же поможет, укажет и подскажет, как и они ему в деле недостающей теории. Затем слушать эту теорию, до такой степени отвечающую на запросы, давно в нем существующие и для которой в его ремесленных сведениях содержатся блестящие и обильные иллюстрации, он будет с такою жадностью, к какой едва ли способны наилучшие сдавшие конкурсный экзамен гимназисты. Гармония теории и практики будет здесь полная, и можно вполне примириться, что 100–150 таких вольнослушателей технологического институ-

та не будут знать ничего о Пелопонезской войне или о войнах Людовика XIV за испанское наследство.

Если в университете вольный слушатель не представляет невозможности или неудобства, то он не представит неудобства и в специальном заведении. Здесь мотивов к допущению вольнослушателей еще больше, и они как-то практичнее. Ничего не отнимая ни у кого, эти скромные посетители лекций высших учебных заведений услышат связанное, систематическое, научно освещающее изложение тех самых предметов и производств, которые практически находятся в их руках. Они выслушают все внимательнейшим образом, и именно через их посредство ни одна крупница теории не пройдет даром для жизни, не рассеется в воздухе, не упадет на каменную и бесплодную почву. Мысль эта заслуживает самого серьезного внимания наших инженерных и технических ведомств.

НАДЗОР ЗА БОЛЬНИЦАМИ

Можно надеяться, что толки, идущие уже не первый год и все усиливающиеся, не останутся пеною слов, а перейдут в дело, вызовут к бытию некоторый факт житейского уклада. На больницы жалуются; врачи или отрицают или объясняют предмет жалоб; в больницах несомненно остается прежний status quo. Дума Москвы собирается назначить ревизию городских больниц для проверки печатных слухов; больницы к ревизии изготоятся; торжественно и властительно ревизоры думские пройдутся по паркету палат, увидят, что пол выметен, над кроватями – черные с надписями дощечки, больные – с теми желтыми лицами, каким и полагается быть у больного, напишут отчет, отчет выслушается гласными. И все дело, худо поставленное, пожалуй, еще закрепнет в худом своем положении, пройдя через очистительный снаряд разных запросов, ответов и отписок.

Грубость, злоупотребление, безжалостность в больнице – всегда эпизод; это – случай ночи, истерический плач в которой-нибудь палате больного, который зовет к себе и не дозвется помощи. Этого случая невозможно уловить в ревизии; а больные никакому ревизору не станут рассказывать о явно небрежном отношении к ним такого-то доктора, или о грубости такой-то сиделки, уже потому просто, что ревизор уйдет, не унеся вовсе охапки обвиненных, а оставив их лицом к лицу и наедине с жалобщиком. Болезнь угнетает душу, парализует волю, и если больные рассказывают много родным, они останутся безмолвными при всяком формальном опросе. Да и больницы в Москве – капля в больничном деле всей России.

Заподозренное состояние больницы, между прочим, парализует приток огромных частных пожертвований на больницы. Известно, как многие, умиряя, завещают часть наследства на богадельни, приюты и больницы. Уверенность в отличном их состоянии подтолкнула бы руку умирающего человека, который испытывает сам всю тягость предсмертного томления,

увеличить в завещании графу: «на больницы». Неуверенность, что эти деньги фактически и непременно облегчат болящего, подтолкнет завещателя сократить или зачеркнуть эту графу. Соображение это, нам думается, должно побудить самих медиков неформально отписаться, но создать действительные условия полной и всеобщей уверенности в отличном состоянии больницы. Для них это равнозначуще увеличению ассигнуемых сумм; для всего медицинского персонала страны реабилитация больниц, но настоящая реабилитация так же насущна и выгодна, как обильная частная практика порознь для практикующего врача.

С другой стороны, если каждый порознь пациент не может заявить претензии: «на больницу испрачено думою столько-то, а частных пожертвованных поступило вдвое – между тем как не имею я кнопки звонка около кровати, а сажают меня в ванну в непротопленной комнате», то такая претензия и возможна, и основательна в целом обществе. Дело в том, что ни про какое ассигнование и особенно ни про какое пожертвование нельзя с такою полнотою сказать, что оно жертвуется – обществу, народу, а отнюдь не лицам, не персоналу, например, медицинскому, как в сфере больничной. Графа в завещании с надписью: «на больницы», буквально и значит: «больным», «моим болящим ближним», а вовсе не значит «городу» или «медицинскому персоналу». Последние буквально суть исполнители завещания, «опекуны» над сиротами-больными, не несущие в себе самих никакого значения, кроме чистого исполнения поручения. Распорядительные их функции, по мысли завещателя, крайне, так сказать, неавтономны, несамостоятельны, чисто служебны. Напротив, хотя права общества посмотреть, и хорошо посмотреть, чтобы каждая копейка дошла до больного, чтобы «копейка» не осиротила сироту – права эти, хотя не значатся в завещании благотворителя, но слишком явно подразумеваются в воле его и во всем смысле благотворения.

Нам кажется, три эти элемента: выгода медиков, права общества, явный смысл всякого и особенно благотворительного ассигнования «на больницы», т. е. «в пользу больных», создают достаточную почву для образования в самом обществе кружка или кружков лиц, не в столице только, но и по городам империи, которые приняли бы на себя заботу постоянного и фактического надзора за больницами с точки зрения охранения прав и преимуществ больных, прав их не только на лечение, но на уход значительный, деликатный, на обращение человеколюбивое. Медики, если в точности они правы в своих отписываниях, должны прямо ухватиться за эту мысль и открыть двери больниц частному надзору, и уже от них, медиков и вообще медицинской администрации независимому: «Ради Бога смотрите, погасите сплетню около дела чистого, а где есть задоринка, от нашего глаза ускользнувшая, помогите ее нам вымести вон». Медики должны посмотреть на такой надзор, направленный, конечно, не на методы лечения, а на способы ухода за больными, по преимуществу на низший и средний персонал служащих, как на даровую и могущественную помощь своему челове-

колюбимому делу, если, оговоримся, они (медики) в точности человеколюбивы, о чем у общества возникло и все растет подозрение. Ни государству, ни городским думам, конечно, это не принесет никакого ущерба. В члены этого общества «покровительства больным» или «защиты больных», – как есть же общества «защиты женщин», «покровительства животным», – само собою должны быть выбираемы и люди высокой гуманности или могут быть люди всякого звания, обоих полов, могут в число их, как особенно желательные, попасть непрaktикующие врачи. Наконец, ими могут быть даже и практикующие врачи: ибо нельзя же предположить во всех сплошь медиках отставания сплошной чистоты и незапятнанности своего сословия. Незабвенный Н.И. Пирогов в своих посмертных записках оставил самые грустные картины больничного хозяйства: писал, как не выдавалось слабым больным назначенное доктором питье виноградного вина, ибо вино дорого, и чуть ли оно не заменялось водкой, или просто ничего не давалось. Вообще, глаз медика, независимого от больничной администрации, может быть драгоценен в качестве представителя от общества, в качестве «члена общества защиты больных» или «общественного надзора за больницами».

Сколько приходится слышать, расспрашивать и иногда непосредственно убеждаться, в больницах все более рассчитано на выставку, на вывеску и гораздо менее рачительности положено на дело. Не забуду я впечатления от одной больницы, где я посещал больного, и которую меня пригласили посмотреть: огромные палаты, из которых некоторые с полной обстановкой кроватей были вовсе пустые, блестели везде безукоризненную чистотой. Мне объяснили, когда и как меняется на больных белье, и через какую машину спускается это белье сперва в дезинфекционную камеру и затем в прачечную. Особенно привлекли мое внимание богатые матовые стекла в дверях, с ажурными вензелями и проч. Все было красиво. Резюме отчетов о постройках больниц: «Все устроено согласно последнему слову науки» – стало мне так понятно, говорило о себе так наглядно. Но я знал от лежащего моего больного, что днем, занимая отдельную палату, имея кнопку электрического звонка над головою, он не мог ни дозвониться, ни докричаться ни сторожа, ни сиделки, и отправления, которые неудобно назвать, совершались в кровати при 40° температуры и угрожающей жизни болезни. Об этом я робко сказал ближайшей начальнице; она скромно объяснила, что этот случай и непредвиденность и, вероятно, не повторится. Но повторялось если не это, то что-нибудь другое, напр., страшный грохот по палатам, будивший всех больных (а у некоторых жизнь ведь чуть-чуть теплится), происходящий часа в 4 утра от чудовищной вязанки дров, которую дворник сбрасывал с плеч на пол вниз, под лестницей. «Последнее слово науки» собственно соблюдается в недвижимой картине здания, в архитектуре, рас- планировке, методах вентиляции и отопления, вообще в гигиене, а priori предустановленной для будущего здания больницы. Но нет не только «последнего слова» науки, но и первого – и не только науки, но обыкновенного

житейского комфорта или человеколюбия – в жизни больницы, в ходе больничных дел, в суточном, недельном, ежечасном кругообороте всех дел. Больница, о которой рассказываю я и к которой я сохраняю благодарность за излечение трудного больного, сделала исключение и дозволила мне, в лице директора, неслыханную милость: оставаться с больным, который мог вот-вот умереть, и ночью. Ночью-то я и услышал грохот, испугавший меня, за которым последовал такой же (вторая вязанка дров), а когда я спустился и не стерпя закричал, что ведь тут больные умирают, то услышал такое себе ругательство в ответ, о котором пригрозил на утро сказать «самому г. директору», но к утру, конечно, сдобрился и не сказал. Но хорошо, что больной выздоровел, а умри – и язва этого грохота, как жестокости к больным, никогда бы во мне не умерла. Ни директор, ни ассистенты его, конечно, об этом «ночном казусе ничего не знали не знают». Между тем, он несомненно, и сейчас продолжается, и всю зиму. Это не злоупотребление, но, во всяком случае, «не последнее слово науки». Повторяю, медики и больничная администрация первые должны поднять лозунг: «Смотрите у нас все, смотрите во всякий час, смотрите внезапно и глазом от нас независимым».

И тогда, когда все уверятся, что дело чисто или, по крайней мере, очищается не через статьи в газетах и не через думские ревизии, – милосердие полетится сюда золотом.

ИНСПЕКТОРА РИСОВАЛЬНЫХ ШКОЛ

Предполагаемая к учреждению от Академии художеств должность четырех инспекторов художественных училищ и преподавание предмета рисования во всех других, не специально-художественных, училищах, должна быть рассматриваема, как очень крупная мера в ряду других, предпринятых у нас в последние годы по предмету усовершенствования художественных форм труда. Мера эта приведет личный состав нашей Академии художеств в непосредственное соприкосновение со всеми рисующими и лепящим молодым людом России, и очень яркий самородок на этом поприще, где-нибудь в провинциальной глуши, все же будет теперь учиться и трудиться с мыслью, что его работа хоть однажды за учебный курс будет рассмотрена и оценена представителем Академии художеств, настоящим специалистом дела. Это поднимет энергию надежд во всех самородках и создаст горячий стимул к совершенствованию себя. С другой стороны, среди наших художников, стоящих наверху положения, сколько поднялось именно из этих, выросших в местной глуши, самородков, что и члены Академии художеств инспектурируя художественные и даже нехудожественные школы в целой России, будут с любопытством и надеждами приглядываться ко всякому возможному таланту, где-нибудь на Волге или в благословенной Малороссии, и могут надлежащим образом направить его на путь, облегчить ему первые шаги указанием и помощью. Таким образом, подрастающие художествен-

ные силы России через эту инспекцию приведутся во взаимодействие со зрелыми, со старыми, и все объединится в одном общем явлении, в общем кругообороте.

Вторая сторона этой инспекции — инструкторство. Инспектора художественных училищ и классов пусть войдут в наши школы не как грозные судьи чужого дела, а как наставники около неумелого дела других.

Но самородки живописи и ваияния редки и исключительны. Главная часть инспекторского труда все же должна будет обратиться на художественное ремесло и здесь входит в свою силу все, что по этому поводу нами говорилось ранее. Инспектора, являясь от лица Петербурга в провинцию, от Академии художеств куда-нибудь в гимназию, в епархиальное училище, в мелкую рисовальную школу, наконец, в школу даже ремесленную, могут принести сюда все те сведения по народному орнаменту, по кустарному художеству на протяжении целой России, какие обретаются только в культурном центре страны, и, кроме того, могут, как сами художники, дать лишние штрихи и мотивы работам учеников собственной рукою, вкусом и фантазией. Словом, если дело инспекции пойдет не официально и сухо, а начнется с охотой и любовью, оно может принести неисчислимые добрые плоды России. А если дело это двинется ходко, если Россия почувствует, что инспекция делает живое и настоящее дело, конечно, воспоследует повсюду открытие новых и новых художественно-технических школ.

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ. РЕЧЬ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ
В ДОЛЖНОСТЬ ЛОРДА РЕКТОРА
ЭДИНБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
2 АПРЕЛЯ 1866 г.

Перевод с англ. Н. Горбова. Москва. 1902 г.

Брошюра заслуживает быть отмеченною, как и все, соединенное с именем Карлейля, ума капризного и гениального, бурного и меланхолического, который не снискал у нас распространения как Шопенгауэр и Ницше, но, несомненно, имеет тесный кружок своих горячих почитателей. При английских университетах есть прекрасное учреждение — «почетное ректорство», обыкновенно даваемое, по избранию студентов, выдающемуся писателю, мыслителю или ученому, иногда политическому или общественному деятелю, на три года. Ректорство это не возлагает никаких обязанностей и есть почетное право с необходимостью сказать студентам руководящую речь, являющуюся отчасти и своим *profession de foi**. В Эдинбургском универси-

* Символ веры, программа (*фр.*).

тет должность почетного ректора была учреждена в 1858 г., и студенты преимущественно избрали Бругама, Гладстона (сплошь два трехлетия) и третьим – Карлейля. Не нужно объяснять, сколько возбудительного и воспитательного может заключаться для молодых людей в слове, обращенном лично к ним первым или одним из первых умов их страны. В лежащей перед нами речи особенно замечательны страницы, посвященные очерку духа и истории римлян, и духу и истории Англии времен пуритан и Кромвеля – любимейшего Карлейлем эпизода его отечественной истории. Заметим, что сам Карлейль представляет в себе какой-то хаос древних и новых понятий; римская *virtus** и решительное почтение к Юпитеру *Optimo Maximo*, «суровому Владыке Вселенной», мешается у него с Библией, пророками и евреями; Оливер Кромвель – с древними консулами. В соломоновом храме был «двор язычников», куда язычники могли приходить и со своей стороны и от своего имени приносить жертвы... конечно, Иегове пророков и Израиля. Вот на этом-то дворе, странной соединительной точке Израиля и язычества, святого и заблуждающегося, можно было бы встретить Карлейля, если допустить фантазию перенесения его за 2000 лет назад. Между римлянами, греками и евреями этот шотландец XIX века был бы, может быть, более «свой», чем среди слабонервных и искусственных сородичей и современников, которых он так явно не уважал и так капризно мучил своими писаниями и идеями.

НАЧАЛО ВАЖНЕЙШЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Собранная 30 сентября в здании министерства народного просвещения комиссия по преобразованию высших учебных заведений и приветственная и руководственная речь, которую встретил ее и открыл ее занятия управляющий министерством, представляют собою важный и сложный шаг в нашей внутренней жизни, о котором напрасно было бы пытаться сказать исчерпывающее слово. Нет образованной русской семьи, которая через сына или ближнего родственника не была бы теснейшим образом связана и заинтересована всеми подробностями университетской жизни. И без преувеличения можно сказать, что некоторые из этих подробностей, ближайшим образом касающиеся студенчества и преподавания, так же хорошо взвешены и обдуманы образованными лицами русских семей, как они обдуманы и взвешены преподавателями университетов. Таким образом, работа комиссии, как бы она ни двинулась и в чем бы ни выразилось, будет окружена самым пристальным и заинтересованным вниманием всех русских людей, заинтересованных судьбой высшего образования в России. За последние годы по вопросам школы и, в частности, вышей школы выросла целая литература, книжная, журнальная и газетная, авторами которой лишь в небольшой части были преподаватели; и как авторы, так и внима-

* Мужество (*лат.*).

тельные читатели этой литературы не могли не прийти по множеству вопросов к определенным и твердым воззрениям.

В речи управляющего министерством заслуживают преимущественного внимания несколько принципиальных пунктов. Прежде всего сюда относится заявление, что «министерство народного просвещения не вносит на рассмотрение комиссии каких-либо определенных проектов новых уставов, а обращается в комиссию с просьбою высказаться по основным вопросам, та или другая постановка которых естественно и должна определить редакцию подлежащих затем проектированию уставов». Слова эти указывают, что комиссия собрана, во-первых, накануне нового университетского устава и, во-вторых, что задача ее не критическая относительно министерских взглядов, а творческая в самом министерстве. Этим объясняется необыкновенно высокий состав комиссии. Можно сказать, не министерство собрало у себя комиссию, а оно само *in pleno*, как со стороны административной, так и ученой, как центральной, так и периферической, собралось в комиссию, чтобы обсудить положение высшей у нас школы, ничего пока не предрешив, имея перед собою только серию вопросов, с одной стороны, и серию наблюдений и фактов – с другой. Невозможно не признать, что первый шаг министерства на данном пути, выразившийся в таком составе созванных лиц, как и чуждое предрешии отношение управляющего министерством к имеющим начаться работам комиссии, представляет собою меру удачную, внушающую надежды.

Второй принципиальный пункт в речи управляющего министерством, на который следует обратить внимание, заключается в сознании огромной трудности задачи и признании ограниченности средств преодолеть эти трудности. Иногда меньше надеяться – значит большего достигать. «Нельзя скрывать от себя, – сказал управляющий министерством, – что и при возможно правильном разрешении организационных вопросов, касающихся высших учебных заведений, останутся незатронутыми серьезные факторы, влияющие на успешность деятельности и на благополучие рассадников научного образования в России. Многие важные причины, осложняющие нормальное течение академической жизни, коренятся в явлениях, не поддающихся воздействию высшей школы. Эта последняя, соприкасаясь с обществом, имеет дело со слушателями, переживающими, в бытность свою студентами, разнообразие внешкольные влияния». В высшей степени важно, чтобы слова эти ярко и повсеместно запомнились, ибо в них содержится справедливое сетование министерства на то, что на него возлагается полнотою ответственность, которую оно может принять на себя только частью. Нельзя не сознаться, что за последние три-четыре года министерство народного просвещения делает напряженнейшие усилия, производит гигантскую работу, чтобы справиться с лежащею на нем задачею нормального и здорового воспитания отрочества и юношества в стране, и что, несмотря на это, оно не только сейчас, но и в будущем не надеется справиться полно и удовлетворительно с этою задачею, разрешение которой зависит вовсе не от него только, а от множества посто-

ронних факторов, лежащих вне всякого влияния министерства. Есть границы и для законов. Закон должен быть мудр и осторожен; но он не всемогущ, и было бы слишком легко управлять историей, направлять исторические явления, если бы для этого не требовалось ничего, кроме издания новых и новых законов. К числу таких «исторических явлений», очень сложных по происхождению и по проявлениям, принадлежат и аномальности в нашей университетской жизни. Невозможно с ними не бороться, не стараться победить их; но управляющий министерством справедливо указал, что нельзя надеяться найти против них панацею с математически точным расчетом и уверенностью действия. Во всяком же случае каждый русский человек и все русские семьи увидят, что министерство народного просвещения выказывает не только несомненную энергию, но и такую предусмотрительность и осторожность в шагах своих, о каких и помина не было при несчастной и надолго все испортившей у нас реформ 1871 и 1884 годов.

ПО ВОПРОСАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Опыт последних 18 лет показывал, что университетский устав 1884 года во многом существенном не согласуется с убеждениями тех самых академических органов, которым поручено практическое проведение этого устава. Последствия такого разлада повели, с одной стороны, к целому ряду фактических отступлений от закона, а с другой стороны, к тому, что, подчиняясь указаниям устава, которым они не могли сочувствовать как по теоретическим соображениям, так и в силу своих ежедневных наблюдений над ходом жизни в университетах, – советы, факультетские собрания и вообще члены профессорских корпораций не сознавали себя ответственными за все те неудовлетворительные результаты или тяжкие явления академической практики, в которых усматривали связь с особенностями устава».

В таких словах управляющий министерством народного просвещения выразил в речи перед комиссией по преобразованию высших учебных заведений положение учебного, воспитательного и административного дела в них, очень устойчивого, ибо оно длится уже 18 лет. В рубрике вопросов, которые подлежат к рассмотрению в комиссии, на первом месте значится следующий: «Как должны быть поставлены должности ректора и деканов? В частности, какие неудобства представляет ректор по назначению правительства, и какие преимущества может иметь ректор, избираемый профессорской коллегиею?». Приведенная часть речи управляющего министерством народного просвещения находится в ближайшей связи с этим вопросным пунктом. Ни для кого, знакомого с университетскою жизнью, не составляет тайны, как много внимания, времени и так называемого служебного такта и настойчивости уходит у ректоров университета на охранение хотя бы слабой тени ученой и учебной автономии университета, на поддержание авторитета выска-

занного профессорскою коллегиею мнения, взгляда, постановления касательно преподавания наук и дисциплинарных правил перед учебной администрацией. Что университет необыкновенно выиграл бы в теплоте и свете своей жизни через большую ее субъективность, большую корпоративность, сосредоточенность в себе – это едва ли надо докладывать. Чем менее ректор и декан будут чиновниками, тем более в них сохранится ученого и педагога. Чем менее у них будет на руках собственно административных хлопот, тем более времени и внимания они станут уделять студентам. Желательность повернуть ректора университета от внешних отношений к внутренним, превратить его из чиновника-администратора в педагога-ученого, устранить всякую искусственность и все сколько-нибудь напоминающее дипломатику и политику из его функций – ясно должно быть для каждого.

Установление непоколебимо твердого принципа, что в университете ректор избирается профессорскою коллегиею, и представление этим избранным ректорам права непосредственно сноситься с министерством, помимо попечителя округа, есть первый шаг на пути серьезного поднятия университета. Университетов у нас так немного, что таковое сношение не затруднило бы министра; между тем в глазах как профессоров, так и студентов это право поставило бы ректора необыкновенно высоко и почетно и создало бы в университете, в самих стенах его и ежедневно, авторитет такой силы, какого вообще университету очень недостает. Через эту непосредственность связи и сам министр будет более наглядно иметь перед собою картину университетской жизни. Так или иначе, но через непосредственные с ректором сношения министр все же будет держать в руке своей пульс университетской жизни, вовремя почувствует его ненормальности и совместно с ректором, непосредственно знающим и личный состав профессоров, и толпу студенческую, обсудит надлежащие меры к возвращению ему покоя и нормальности. Если при этом лично сносящийся с министром ректор будет в то же время лицо, получившее доверие от товарищей-профессоров, то самые переговоры с ним будут носить форму благородной и нужной открытости. С тем вместе профессора будут непосредственно заинтересованы в покое университетов, в достоинстве избранного ими ректора, ибо на них будет все теперь возложено. Указываемая нами перемена повела бы к тому, что регулирование мелочей университетской жизни перешло бы к ректору, к профессорам, но зато попало бы в руки министерства, в руки непосредственно министра, руководство или направление всеми крупными явлениями и течениями университетской жизни.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Кн. Мещерский в «Гражданине» обмолвился со свойственною ему афористичностью, что загромождать правила о студентах множеством параграфов неудобно и следует предоставить подробную выработку всего желаемого студенческого обихода отдельным университетам. Это приводит к мысли об

индивидуализации наших университетов. Желательно было бы развить ее основания и последствия.

И в самом деле, если сельский сход имеет некоторые права самоопределения, если в каждой губернии сословия мещанское, купеческое и дворянское имеют в себе черты некоторой корпоративности, возможность некоторого самоустройства, то представляется в высшей степени естественным посмотреть на группу из ста человек, имеющих высший ученый диплом, и, скорее, старых, чем молодых, как на способную к суждению совершенно самостоятельному и зрелому о своих ближайших делах о внутреннем распорядке университетской жизни, о студенческом поведении и воздействии на него. Нужно полюбить единообразие ради его самого, а не приносимой пользы, чтобы потребовать в правилах для студентов Одесского или Юрьевского университетов ровно столько параграфов и точно такого же содержания, как для студентов петербургских. Петербургский студент имеет значительное отличие от московского и оба непохожи на казанского. И не только нет ничего худого, но скорее есть привлекательная сторона в этом разнообразии, в этой своеобразности, несомненно существующей между юношеством разных русских городов. Тут отражается и история университетов, и людность или малолюдность их, и совокупность физических, географических условий и обстановка и чуть-чуть преобладающий этнографический состав. «Общие правила для студентов», в сущности, непременно будут правилами, составленными применительно к петербургским студентам, которые одни перед глазами составителей правил. Между тем они будут в одном излишни, а в другом недостаточны для маленького провинциального университета, где гораздо больше студентов живет при родных, нравы их тише, а лени у них больше.

Но совершенно незачем предвидеть, предусматривать: одно или другое может понадобиться здесь или там. Нужно отвечать на то, что понадобится, а таковые нужды прежде всего переменчивы в годах. Год на год непохож, состав студентов в два смежные пятилетия может быть совершенно противоположным, и, конечно, правила, совершенно подходящие к одному составу, будут прямо вредны при другом составе. Нужно благодарить Бога, что в лице ста человек с высшим, какое существует, образованием, и вполне знающих все местные обстоятельства и временные перемены в состоянии университетского населения, Россия имеет контингент людей, во всяком случае могущих управиться с педагогической, с воспитательной стороной заведения. Дать всему этому правила из Петербурга, значит до известной степени помешать возникновению настоящих реальных правил на месте, заменив их далекими проектами слабой действительной силы. Между тем до последней степени важно понять везде интенсивность научной студенческой жизни; всякого рода небольшие ученые кружки, занятия в кабинетах и лабораториях, экскурсии, чего нельзя начать, придумать и руководить из Петербурга, могут возникнуть в том случае, когда профессора и администрация университета увидит, что они подготовлены не просто

наблюдать за исполнением априорных правил о студентах, но призваны организовывать жизнь студентов, поставлены самостоятельными и ответственными руководителями их.

Если вредно задерживать в университете возникновение таких форм сложения студенческого быта, какие вытекают из самой многочисленности студентов, из людности и из напряженной жизни университета, то нет никакой потребности и ускорять (в провинции) переход от прежних и удовлетворительных форм быта к новым. На университетский вопрос надо сохранить как можно больше педагогической точки зрения, нежели общегражданской. И как разумный министр и попечитель предоставляются благоразумному директору гимназии установить в ней некоторые свои правила, свои принципы, свой распорядок требований, вообще начать и установить очень многое по своему личному усмотрению и на свою личную ответственность, так следовало давно министерству народного просвещения возложить на ректоров университетов, вспомоществуемых советом, устройство вообще всего студенческого и ученого режима в кратких и твердых рамках университетского устава.

А. Л. БОРОВИКОВСКИЙ О БРАКЕ И РАЗВОДЕ

В октябрьской книжке «Журнала Министерства Юстиции» появилась интересная статья сенатора А.Л. Боровиковского: «Брак и развод по проекту гражданского уложения». Автор и прежде трудился много над семейным вопросом в России; слова его ценны и будут авторитетны. И мы позволим себе сделать как бы заметки на полях его статьи, которые, может быть, не будут совершенно бесполезны или обратят внимание почтенного автора на некоторые стороны дела.

1. «Необходимость взаимного свободного согласия сочетающихся лиц есть основное условие брака по статье 1 проекта». При этом редактор проектируемого «Уложения» делает оговорку: «Проект не дает указания на то, как должно быть выражено согласие вступающими в брак». А.Л. Боровиковский замечает по этому поводу: «Вероятно, имеется в виду проектом собственно формула согласия: да, либо кивок головой или иной условный знак. Либо молчание, как знак согласия. Во всяком случае существенно, чтобы формула не оставляла сомнения в наличии согласия, и если принятая в каком-либо вероисповедании формула не удовлетворяет этому требованию, она негодится» (стр.5).

Вопрос этот необыкновенно важен, и закон от пассивного допущения существующих формул согласия мог бы перейти к активному изысканию лучших, совершенных. Множество браков венчается сквозь слезы, и венчающий лишь потупив глаза делает вид, что верит подавленному «да» в глазах невесты, а то действительно и молчанию как знаку согласия. Я знал одного жениха, который, когда ехал к венцу, то рядом с ним сидел брат

невесты с заряженным револьвером в кармане, если бы он пикнул во время венца: «Не очень согласен», то он не вернулся бы здоровым домой. Жених этот прекрасный и скромный человек, ученый лингвист, имел неосторожность несколько раз остаться в доме, где была девушка на возрасте, по уходе всех гостей и говорить с этой девушкой, впрочем не только без препятствия со стороны родителей, но и при покровительстве их. «Если вы нравитесь друг другу, – сказал однажды войдя *pater familias*, – то в таком случае честные люди делают предложение, а нечестные – не знаю как»... Сконфуженный молодой человек ответил: «Я не отказываюсь». Едва он промолвил слово, как уже лежал в объятиях растроганного отца-тестя; затем – револьвер; затем – венец; «да» перед венцом, и всё было кончено. Лет через 11 маятной жизни он сошел с ума и в припадке перерезал себе бритвой горло в квартире и на глазах матери, к которой иногда уходил отдыхать. Но уходить ему не часто удавалось: жена очень ревнивая, при первых поползновениях мужа уйти из дому, запирала его сапоги в комод, и если он начинал нервничать, преспокойно уходила с ключом из дому и возвращалась тогда, когда ей заблагорассудится или когда по ее предположению гнев мужа должен был истощиться за израсходованием нервного материала. Ругаться он бешено ругался, но не дрался, ибо был человек ученый и тихий.

Есть очень простое средство получить настоящее невынужденное согласие, и совершенно устранить принужденные браки: это чтобы необходимая перед венчанием исповедь происходила у священника венчающего. Священник не имеет права рассказывать *картину* или *событие*, переданное ему на исповеди, или разглашать *грех* кающегося; но принять во внимание истину, указанную на исповеди, он может и на ней может основать *свое* действие; да и миряне, весь народ, моментально поймут значение настоящей гарантии любви и свободы браков, о какой мы говорим, и одобряют наше предложение: оно заключается в том, что принять исповедание жениха и невесты, в случае отсутствия настоящего с их стороны влечения друг к другу, он уведомлял бы родителей брачующихся краткою стереотипной фразой: по особым обстоятельствам, мне одному и обоим венчающимся известным, я такого-то и такую-то обвенчать не могу». Народ, видя здесь гарантию любви, очень скоро в сердце своем благословил бы этот обычай, и стал бы считать закон о ней главною твердынею брака.

У евреев, этого старого и опытного народа, есть следующий прекрасный и вполне гарантирующий прерогативы любви в браке закон: именно родители невесты не имеют права ни выдавать ее за кого-либо замуж, ни принуждать к этому и уговаривать, если удалось какому-нибудь молодому человеку (конечно, ею избранному и любимому, ибо без ее согласия и желания этого сделать нельзя) надеть на палец невесты кольцо, произнеся формулу: «Это я делаю по закону Моисея и беру тебя в жены». Тогда жениха могут прогнать родители, невесту они же – ругать, раввин может раздражаться проклятиями на молодежь, но уже никто решительно, ни вся еврейская община, никакой мудрец и сама синагога не могут даже и при согласии

невесты (каковое можно бы вынудить) отдать ее в замужество за кого-либо, кроме того пархатого бедняка, однако настоящего и любимого, которому она украдкой дала надеть себе кольцо. Через этот прекраснейший закон жених и невеста объявлены законом и призваны общиною настоящими господами брака, – как это и у нас есть «основное условие брака» (ст. 1 проекта), но у нас это лишь с виду, а по существу дела именно это то «основное условие» и сгнило, да и не сгнить ему нельзя было, ибо оно не обставлено никакими оберегающими стенами и представляет тупое и мертвое словообращение: «Скажи *да* или *нет*». Зачем и спрашивать, если уже пришли к венцу, дошли до минуты, хотя бы и давясь браком: конечно, скажут «да», за этим пришли.

«Да» это так фиктивно и, с другой стороны, «нет» до такой степени отсутствует в тысячелетней практике 100-миллионного народа, что своевременно было бы или оставить вовсе спрашивать о согласии жениха и невесты перед венцом по основательному умозаключению, что «если просили повенчать, то значит согласны», «когда сами пришли к венцу – значит согласны», или восстановить и оградить мудрыми узаконениями настоящее свободное и любящее не «согласие», а «желание» жениха и невесты вступить в брак.

Второе замечание следующее: в дали веков чем был вызван этот опрос жениха и невесты об их взаимном согласии вступить в брак? Да тем, конечно, что без такого «согласия» брак был бы не семьей, а логовом, и не браком, а звериным сожитием. Следовательно, опрос собственно относится к жизни последующей и гарантирует ее любовь и свободу; ибо трудно представить себе, какой особенный интерес «гарантировать свободу и счастье» на 1½ часа венчания. Поставь меня насильно на столб на 1½ часа – я от этого не заплачу. Но раз что уже позднее, через закрытие развода по соизволению самих супругов, любовь и счастье *текущего* брака вообще не ограждаются и не защищаются и не предполагаются как его *conditio sine qua pop**, – ясно, что нет более никакой решительно почвы и для удержания опроса собственно во время венца.

Обычай этот надо оставить, как потерявший зерно свое, и «основное условие брака» (ст. 1 проекта) признать переставшим существовать: *фактически* – давно, а *риторически* – хотя с издания нового «Уложения».

* * *

Вопросу о разводе по Проекту нового уложения А. Л. Боровиковский посвящает значительную часть (стр. 26–48) своей брошюры. «Проект, задавшийся целью объединить в себе брачные нормы всех как христианских, так и не христианских даже вероисповеданий, допускает для всех их вообще как общее правило, пять поводов к разводу: 1) безвестное отсутствие супруга; 2) присуждение супруга к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы или на поселение, либо на водворение, если другой супруг не последовал за осужденным на место его ссылки; 3) посягательство одного

* обязательное условие (*лат.*).

из супругов на жизнь другого, или жестокое, опасное для жизни и здоровья, обращение одного супруга с другим; 4) нарушение супружеской верности прелюбодеянием, и 5) неспособность супруга к брачному сожитию. Здесь сравнительно с действующим законом новым является только третий повод и предполагается более широкое применение пятого». Для протестантов, сверх этих общерусских пяти поводов, установлены пять специальных: 1) злонамеренное оставление одним супругом другого, состоящее как в отказе мужа принять к себе жену, так и в отказе жены, оставившей мужа, вернуться к нему; 2) неизлечимая прилипчивая или крайне отвратительная болезнь; 3) душевная болезнь, неизлечимая в течение 3-х лет; 4) развратная или позорная жизнь, постоянное пьянство или безрассудное мотовство; 5) тяжкие оскорбления» (стр. 44). Для евреев и каримов, сверх пяти общих поводов к разводу, введены проектом шесть специальных, из которых отметим два: 1) бездетность брака; 2) принуждение одним из супругов другого к совершению преступных или безнравственных деяний. Для римско-католиков сделано в проекте исключение: для них не существует ни один из пяти общеперских и общеисповедных поводов к разводу.

Спрашивается: откуда такое различие? и что такое в сущности «поводы к разводу»? На это можно смотреть с совершенно разных точек зрения, и тогда образуется требование как можно большего числа таких поводов, или требование устранить вовсе или как можно сократить эти поводы.

Развод есть уничтожение семьи, а семья есть благо для страны и индивидуума, поэтому вовсе должны быть уничтожены «поводы к разводу». Это – одно воззрение, нашедшее кульминационное себе выражение в римско-католическом каноническом праве.

Развод есть право восстановить семью для себя, даваемое тому, кто ее по несчастью или случаю потерял, а «повод к разводу» есть фактическое, в самом законе существующее определение брака и семьи в отличие от фиктивного или словесного, которое обыкновенно в виде общего «сведения» предпосылается учению о браке.

Объясним дело примером.

Как в протестантском законодательстве установлен развод «по поводу» злостного оставления одним супругом другого, то очевидно, что протестантство понимает и определяет брак:

1) как непременно неразлучное единение, фактическое сожитие супруга и супруги.

Этим «поводом к разводу» мощно и фактически сокрушены, сведены на фактическое «нет», как католические, так и наши браки, состоящие в разноместном сожительстве супругов, один в Харькове, другой в Москве; один в Париже, другой в России (брак Лаврецких в «Дворянском гнезде»), один – у себя в квартире, другой – в квартире постороннего холостого человека (Каренин-муж и жена его, живущая у Вронского) и т. п. Таким образом, этот повод к разводу есть определение семьи, есть указание территории, на которой она помещается и ею ограничивается. По этому определе-

нию в целой стране устанавливается и неколебимо существует «брак как чета, единоместно живущая».

В то же время введение в законодательство этого «повода» есть фактическое, а не риторическое, властное, а не платоническое введение в канон поведения.

Супруги, ни под каким предлогом и ни ради какого оправдания *не оставляйте друг друга*.

Но приказание это выражено не через *плеть*, а деликатно, вместе и культурно, и религиозно. И у нас Лаврецкий и Каренин оба могли арапником «вернуть жену к своим обязанностям». В селах, в мещанстве, в купечестве – там этому и следуют, откуда и получились знаменитые «русские семейные нравы». Протестантский закон (и совесть) совершенно не допускают арапника к семье, а потому и поставили другое, чрезвычайно строгое, в сущности, наказание:

Супруг, до которого арапник коснуться не смеет, теряет за нарушение первой и главной своей обязанности, жить вместе со своим супругом, всю сумму гражданских и имущественных выгод, приобретенных им при самом заключении брака. Жена, бросившая своего мужа, не удерживает (как у нас) право на имущество его, наследство от него, на ношение честного и незапятнанного его имени.

Иными словами:

отсутствие в законе «повода к разводу, состоящего в злостном оставлении одним супругом другого»,

заключает в себе:

- 1) Позволение самим законом каждому из супругов оставлять другого.
- 2) Позволение каждому из супругов самоуправства над другим (идея «суда Линча», идея «арапника» – истязания).

Что это так, видно из того, что у нас сам закон весьма не двусмысленно указывает мужу «расправляться по-свойски» с непослушными женами. «Где же?», – спросит читатель. Да в той вышеприведенной статье, где вводится все-таки «облегчение семьи», «новизна», но замечание А.Л. Боровиковского: «Развод допускается в случае посягательства на жизнь супруга, либо жестокого с ним обращения, опасного для его жизни и здоровья». Переводя на язык житейских случайностей, конкретных видимостей, статья эта говорит: «Поленом жену можно, а ножом нельзя, и поленом тоненьким, с обдуманностью». Что это далеко оставляет за собою, как «ягодка» оставляет позади себя «цветочки», знаменитый совет в «Домострое» Сильвестра в случае чего «осторожно постегать жену плеточкой» – об этом бесполезно напоминать. Что проект нового «Уложения» в задачах построить деликатную и тонкую русскую семью идет назад даже от «Домостроя», а составители «Проекта» не превзошли мудрости Сильвестра, жившего в XVI веке, этого также не нужно разъяснять читателям по очевидности дела.

Установление этого воззрения на «поводы к разводу», как на реальные *указатели*, что такое брак, как на фактические *определители* и *ограничители*

ли («ограничить») значит всегда «определить») брака – необыкновенно важно. Например, в римско-католическом праве повода нет ни одного. Это ничего другого не значит, как то, что брак вовсе и ничем не ограничен там, что брак и беспутство ничем там не отделяются; иными словами, что брака у католических народов вовсе нет, иначе как в форме фигового листа (разрешение католического патера) над распутством, которое в индивидуальных случаях может отсутствовать, но по закону может присутствовать, и притом в какой угодно форме и степени в каждой семье.

* * *

Как под воздушным колоколом нет еще воздуха, а его нагнетает туда насос, так в термине и институте «брак», мелькающем в строках закона и в уме законодателя, нет еще вовсе никакого реального или уловимого, неременного и обязательного содержания, а это содержание начинает впервые «нагнетаться» туда, как поршнем воздушного колокола, через вдумчивое и осторожное установление «повод к разводу», из которых каждый выводит фундаментальную «образующую сторону» (геометрический термин) брака. Будет 6 «поводов к разводу», брак станет шестисторонним (шестикачественным); 8 «поводов» – восьмисторонним. Каждый «повод к разводу» вводит в брак одну требуемую добродетель и выводит вон из брака один, в этом «повод» указанный, порок. И все это – реально, могущественно. Супруги оба суть тщательнейшие прокуроры, блюдущие за соблюдением законов о браке; это – неумолимые судьи, которые уже заставят противоположную сторону выполнить все, что в законе предполагается в понятии «брак». Когда нет ни одного «повода к разводу» (римско-католический брак), от супруга ничего не требуется. Но вот лютеранский закон ввел два «повода»: 1) «развратная или позорная жизнь, постоянное пьянство или безрассудное мотовство»; 2) «тяжкие оскорбления», – и семья немецкая получила две новые «образующие линии», притом вековые, и на пространстве всех стран, где господствует лютеранское каноническое право, получилось:

1) Жизнь трезвая и умеренная, не мотовская, бережливая.

2) Жизнь вежливая или во всяком случае не притеснительная, не истязательная (кроме случаев, когда супруг влюблен в свою половину и, очевидно, вынесет от нее все, не требуя развода).

Обычно общественные нравы приписывают «духу народа», этому подобно «архея» алхимиков; между тем зверь и скот вообще глубоко внедрен в человека, как возможность, как поползновение, как сонная мечта в ночи; но на этого зверя есть узда – закон. Законы бывают бессильны, и таково большинство их, но «поводы к разводу», в законе содержащиеся, тем изумительны и ядовиты для зла, что это суть совершенно могущественные законы, выглаживающие, как утюгом, жизнь, ибо каждый из них соединен с правом несчастной или обиженной стороны (*начинающей* становится несчастною или обиженною) защититься, и это-то «право», в «поводе к разводу» содержащееся, и превращает супруга в неумолимого прокурора сво-

его сожителя (или сожительницы), в вечного адвоката (= защитника) добрых семейных нравов. Это всё до такой степени ясно и убедительно, что теперь, какое бы возмущающее душу безобразие ни вылетело из семьи и ни долетело до суда, решительно напрасно кричать о человеке-звере, о развратнике, о моте, об истязателе, о шатуне по чужим странам и городам вдали от плачущей жены с голодными детьми, ибо всё это закон совершенно ясно дал в привилегию мошеннику и злодею, готовящемуся преступнику и негодяю. «Где дал? Где написано?» – закричат юристы, духовные и светские. Да вот и дал все в пустом воздушном колоколе «брака», куда поршнем не введена ни одна частица живого воздуха в виде человеколюбиво и мудро обдуманных «поводов к разводу», утончающих и углубляющих семью, осмысливающих и одухотворяющих ее с могуществом Драконовых законов (страшно строгих) и вместе с тем без плети, без казни и крови (законы Дракона грозили смертью за самые малые проступки). А нравы семьи, заметим это, всегда суть зерно и нравов общества; общество в духе своем только обширно показывает, как бы отбрасывая на экран «солнечного микроскопа» дух семьи.

К «Проекту нового уложения» приложены «замечания», где содержатся весьма интересные прения сторон в комиссии и о таких «поводах», которые не перешли в проект закона, но возбудили к себе внимание и, можно сказать, остаются гипотезой, не вовсе или неокончательно отвергнутой законодателями. Между такими статьями имеется одна, едва не перешедшая в статью нашего русского закона, будучи взята из протестантского брачного права. Это развод «по поводу душевной болезни одного из супругов, неизлечимой в течение трех лет». На стр. 42 г. А.Л. Боровиковский так передает восторжествовавшее в комиссии мнение касательно этого: «Брак, – по рассуждению комиссии, – возлагает на супругов обязанность взаимного попечения и помощи друг другу; эта обязанность имеет наибольшую важность, если супруг, ввиду болезненного своего состояния, в особенности нуждается в поддержке со стороны наиболее близкого лица».

Рассуждение, основательность и гуманность которого никто не заподозрит. Но все ли им принято во внимание? Заключение в больнице для душевнобольных супругов (или супруга), конечно, жалости достойны, и кому же их посылать, как не супругу, однако тоже несчастному по одиночеству, по скуке жизни, тянущейся десятилетия (душевные болезни очень продолжительны) и тем острее ощущаемой, что она не свободно избрана, как холостая жизнь холостяком, а «выпала на долю» и не прекратится до смерти заключенной в сумасшедшем доме другой половины. Мне кажется, закон может тогда предписывать и ожидать гуманности от частных людей, когда сам гуманен к ним, когда заботливо и глубоко вдумался в частности и особенности индивидуальных положений. Этого-то в данном случае и нет. Спорившие в комиссии совершенно выпустили из вида, что любовь здорового супруга к душевнобольному может быть бесконечная в первые годы одиночества, любовь-сострадание, затем фатально и именно по необдуман-

ности закона может перейти сперва в отчуждение, а затем и в страшную вражду, глубокую от отчаяния ненависть вследствие сознания, что этот душевнобольной, который ни в чем не нуждается, кроме ухода, лег бревном поперек: 1) возможных детей, 2) возможной любви; 3) возможного полного хозяйства, и всей экономии и психологии «дома» (понятие сложное и духовное). Словом, «повод к несчастью», «причина несчастья» всегда в конце-концов, при всяком человеческом терпении начинает чувствоваться чем-то враждебным. Что же, если эта вражда уже начала вкрадываться в сердце, сделает закон с одиночкой-супругом? Ничего он не сделает и не может сделать. Обреченный, в сущности, на «безбрачие», на «вечное вдовство», супруг-одиночка просто бросит больного в больницу (ведь господа юристы не потащат его на аркане посещать больного, на основании, что сия обязанность имеет наибольшую важность, как изречено в «Проекте»). Бессильный закон «умоет руки», поговорив платонически «о сей наибольшей обязанности», а больному сделается весьма худо, ибо он в ненужном для себя супруге-одиночке имеет уже «смотрителя», с каждым днем более равнодушного, все наконец возрастающего в ненависти, в руках коего беззащитен как ребенок, как труп и вещь. Если этот больной не в больнице, где он будет только брошен, забыт, а на руках у здорового, – то тут возможны очень печальные картины. И все оттого, что законодатель подумал над делом минутой, а не час. Закон должен к здоровому отнестись человеколюбиво, и затем уже ожидать и подлинно надеяться от него тоже человеколюбия – к другому, к близкому, к больному. А то это какое-то однобокое человеколюбие; «человеколюбие» от тебя, а не от меня». Душевнобольного, который и сам по себе как пациент составляет тяжесть, не нужно класть удвоенною и ничему разумно не отвечающею тяжесть на все-таки хрупкие и устающие плечи здорового супруга в качестве предполагаемого, а в сущности фиктивного, конечно, «супруга-брачника». Иными словами, заболевшего неизлечимую душевную болезнью супруга, после испытанья его болезни врачами в течение трех или пяти лет, конечно, нужно развести со здоровым, но особою условною или уступительною формою развода, дающею здоровому лишь право нового брака, однако с возложением (это может быть даже прописано в брачном договоре, форма коего решительно становится необходимою) на новую чету, которой дается благословение и счастье, однако с указанием и «пропиской в паспорте» вечной заботы и непременного попечения, квартирного и хлебного, экономического и юридического, наконец, более всего ласкового, над больным инвалидом. Поверьте, в этом случае больной правдоподобнее не останется без посещений и заботы о себе, нежели как это бывает сейчас, когда он невольный враг здорового супруга. Он никому не мешает, ни у кого он не лежит бревном на пороге счастья и просто от этого физического положения никто его не пнет ногой. Один такой случай мне реально известен: муж бесконечно нежно любил жену; она сошла с ума, неизлечимую болезнью; он возился с нею, как с дорогой куклою. Его добрый нрав и, в сущности, ужасное положение вызвали к нему

привязанность молодой девушки, с признаками чахотки, и у них завязался роман, во время которого они оба неустанно ухаживали за больным ребенком, в какого превратилась нечастная первая жена. Роман перешел в связь, очень нежную, любящую (без детей), которая подняла силы, бодрость у мужа-одиночки, и в то же время ни на каплю не уменьшила его, так сказать, любовь-воспоминание к бывшей жене, сейчас больной, которую он боготворил и лелеял с прежнею нежностью, но уже мог это делать просто энергичнее, здоровее, здравомысленнее, потому что у него дома образовался полный «дом» (в духовном смысле), покой, довольство, уравновешенность психологии.

Формальных же оснований к даче развода «по причине душевной болезни одного из супругов» можно найти несколько. Ведь закон, конечно, не предполагает и не желает продолжения собственно супружеской связи с душевнобольною половиною. Это было бы слишком странно и чудовишно. Случай этот, таким образом, совершенно уравнивается и сливается с существующим в законе поводом к разводу *«по неспособности одного из супругов к брачному сожитию»* (пятый из общерусских и общеимперских поводов к разводу). Равно этот случай в существе своем сливается и с первым и со вторым проектированным (и существующим) поводом: 1) безвестное отсутствие, 2) ссылка в Сибирь. Ибо в обоих этих случаях, конечно, принимается за основание развода не само путешествие странствующего супруга или не его уголовное преступление, а то, что, уйдя в Сибирь или неизвестно где странствуя, он просто не может быть фактическим супругом, становится неспособным к *брачному сожитию*. Душевнобольной супруг без всякой натяжки, а точно и строго, падает в эту же категорию.

* * *

Вслед за брошюрою «Брак и развод по проекту гражданского уложения», которую мы разбираем, г. Боровиковский выпустил другую: «Конституция семьи по проекту гражданского уложения». Действительно, если говорить о семье, то когда же, как не теперь, когда пересматривается весь ее уклад, и когда самый факт этого пересмотра дает возможность полной свободы критики, а печатное опубликование проектируемых перемен даже зовет эту критику. Мнение г. Боровиковского о проекте так же печально, как и наше. Некоторые стороны его даже пугают автора, и мы считаем своим долгом привести *resumé* второй брошюры:

«Свои отрывочные замечания о конституции семьи по проекту гражданского уложения закончу следующими словами: — в законах всего важнее лежащие в основе их принципы. Ими определяется общий дух законов. Ими дается тон судебной практике. Принципы, на которых проектируется построить новую конституцию семьи, способны не улучшить, а ухудшить ее юридический строй. Наиболее ужасно проектируемое принижение жен и матерей в семье, не оправдываемое ни действующими законами, ни какими-либо практическими указаниями на их неудобства, ни еще менее истин-

ными интересами семьи. Да не поставят мне в вину, может быть, излишнюю резкость некоторых из моих замечаний. Когда человеку больно и страшно (курс. авт.), – ему простительно кричать (курс. авт.), даже и без надежды быть услышанным. *Aufipam levavi**.

Так кончается брошюра. Сыграем роль телефона и передадим обществу этот «крик боли и страха». Г. Боровиковский не просто автор статей и брошюр, это – юрист; наконец – это служилый старый человек, и приведенные слова имеют вес мнения человека с опытом юридическим и служебным. Со своей стороны мы выразили бы так впечатление от работы комиссии по составлению проекта нового уложения:

1) Работы эти излишне претенциозны. В особенности замечание это относится к попыткам сделать сводку и объединение, а в некоторых случаях и поправку норм брачных всех христианских и нехристианских народов, населяющих Империю. Комиссия входит поэтому в справки и местами в препирательство с Шариатом (мусульманское каноническое право) и с Талмудом (для евреев и караимов), – ступая на почву, едва ли со всею полнотою знакомую членам комиссии. Во всяком случае для компетентности здесь суждений им следовало бы пригласить в свой состав опытного муллу и раввина. Но, нам кажется, мусульманская и еврейская семья живут столь мирно, до такой степени редко зовут наш суд в помощь семейным неурядицам и злодействам, что готовность русских юристов «помочь им» является предложением без зова.

2) Работы эти недостаточно внимательны к главной теме – коренной русской семье, к семье православного русского человека, т. е. к семье 90-проц. населения Империи.

Самая невнимательность эта выражается в следующем:

3) Составители проекта трактовали семью с высокомерно-юридической точки зрения, в духе и тоне, слогом и методом, каким позволительно учебному ведомству говорить, например, о нового образца партах (неодушевленные предметы) для учеников, или еще ближе: каким судебное же ведомство привычно говорит о новых образцах и способах тюремного заключения. Этот высокомерно-поверхностный тон сказался в том, что у комиссии как-то выскользнула из внимания, что семья есть великий и святой факт русской истории, требующий благоговейного к себе отношения, и которому комиссия призвана лишь слабо послужить в меру сил своих, но вовсе не приглашается сюда «володети и княжити» подобно Рюрику, Синеусу и Трувору. Между тем, эта-то претензия «володети и княжити», можно сказать, заявляет о себе в каждой проектируемой статье уложения. Возьмем пример, уже приведенный. У мужа жена впала в неизлечимую душевную болезнь. Неужели кто-нибудь из русских людей не знает, что «сия есть пер-

* Крик облегчает (лат.).

вая обязанность мужа – заботиться о больной жене? Знают это по Руси все, знают это болью сердца, а не риторически. И заботятся о больных, и сострадают им, и ходят за больными, а по смерти их ходят на могилу оплакивать возлюбленного покойника. Все это есть, и напрасно составители нового проекта вздумали читать мораль русским людям, которые даже и из тех, что не добрались до больших чинов, имеют в себе человеческое сердце, иногда нежнейшее, нежели в самом чиновном человеке. Но этому тревожному и глубокому русскому сердцу (не говорим об исключениях), попавшему в редкую и исключительную беду (сумасшествие когда-то любимого, когда-то избранного в подруги жизни человека), нужно было придумать исход, помощь. Ведь у здорового может быть двое малюток-детей на руках, а сам он пропитывается службою и работою. Комиссии следовало бы нарисовать картину положения человека: 1) одинокого, 2) с двумя малолетними детьми, 3) с неизлечимо душевнобольною женою; 4) вынужденного ежедневно ходить в должность, чтобы остановиться перед поистине жестоким решением: «Таковой человек навсегда запрещается к браку, понеже должен пешись о душевнобольной жене». Ни картина детей без воспитания, дома без устройства, ни картина начинающегося от *несчастия* раздражения на ни в чем неповинную жену; раздражения и, наконец, вражды, ненависти – ничего этого не пронеслось в воображении юристов. Без основания предположив в русской груди не сердце, а бульжник, они несчастному русскому человеку (попавшему в несчастье) подали на прощанье о хлебе, на слова «Христа ради несчастному» – бульжник, да еще завернутый в такую сентенцию: «Понеже у тебя есть священная обязанность» и т. д.

Комиссии вместо того, чтобы заниматься Шариатом и Талмудом (в некоторых случаях она оспаривает компетентность мнений так называемых «великих раввинов», например, в одном месте Герсона, XIV в.), следовало бы бережно взлелеять, определить и не платонически, а фактически *оградить*:

- 1) Права родителей в отношении к детям;
- 2) Права детей в отношении к родителям;
- 3) Права мужа в отношении к жене;
- 4) Права жены в отношении к мужу.

И только. Эти четыре пункта и обнимают все «семейное право». Но «право» имеет отличие от «морали», и в «Своде законов» не место каким бы то ни было извлечениям из прописей, всяким платоническим пожеланиям, всяким позимствованиям из элементарной нравственной философии. «Право» всегда защищает кого-нибудь, а «Свод законов» не есть лекция с кафедры, а арсенал защитительных орудий на случай всяческих жизненных коллизий. Права родителей в отношении детей ясны. «Свод законов» собственно существует не для нормы (счастливая семья ни в каких для себя законах не нуждается), и именно для бывающих «случаев», предвидя (и в этом-то и состоит мудрость законодателя) их исчерпывающим образом, или исчерпывающим образом охватывая в свои схемы (статьи закона) все случающееся, предвидимое или воображимое. Четыре названные рубрики и

должны бы вытянуться в длинный ряд статей, связывающих определенный и засвидетельствованный факт, негодный на нравственную народную оценку, преступный с точки зрения всемирного гражданского чувства, непозволительный христианину, с 1) касанием прав и преимуществ родительства, 2) прав и преимуществ мужа, 3) прав и преимуществ жены. Тогда закон по видимому сухой и черствый, занимающийся только соотношением прав и обязанностей, и стал бы воспитывающею в стране силою: ибо он говорил бы каждому: «Вот твое *право*, но помни об *обязанностях*: нет исполнения обязанностей – *кассируется* и право». Тогда из сухого, геометрически точно построенного закона, засиял бы над страной идеал семьи; все увидели: «А, вот что такое семья! Вот где законодатель видит ее *границы*; вот где он провел *магический круг* с надписью: внутри его – свято и закон, вне его – мерзость и преступление, влекущее за собою *наказание*» (утрату прав). Геометрия суха и точна. Она не говорит о прямой линии: «Это хорошая линия, чертится чернилами или мелом, линия доблестная и часто употребляемая». Она говорит не поэтически, а прозаически, что это есть «кратчайшее расстояние между двумя точками», но затем уже не смешивает этого «кратчайшего расстояния» ни с кривыми, ни с ломаными линиями. Напротив, закон о семье, начав с определений похвальных, в последующих статьях не только не держится этого определения, но каждую статью что-нибудь отрицает в нем, а всеми статьями вовсе разрушает первоначальное определение. Напр., семья есть «союз мужа и жены». Но в статьях оказывается, что они могут и никогда не жить вместе, несколько этим не кассируя наличность факта законом признаваемой семьи. Или: «Это есть союз взаимной верности». Но оказывается, что они могут рождать детей от кого угодно: если на процессе о разводе обнаружено, что жалующаяся на супруга сторона и сама ему изменяла, то процесс моментально останавливается и брак, ни в каком случае не расторгается ни теперь, ни потом. Закон точно говорит: «А, прелюбодеяние с обеих сторон! Слава Богу, значит никакого повода к разводу». Невозможно не видеть, что эти статьи закона до такой степени побивают идею брака в стране, что от нее остается не скала, на которую можно опереться, но мелкий песок, которым едва можно посыпать чернила законодателя, который написал столь плачевные и разрушительные о ней статьи. Или еще: «Семья есть любящий союз». Но оказывается по закону, что муж жену и она его обратно могут не только ненавидеть, но всячески издеваться над своей половиною, даже до истязательства. Где же находится определение семьи, в этом ли первоначальном положении: «Мужа и жены союз, нераздельный, целомудренный, любящий», или в последующих статьях, как бы в теоремах о семье, доказывающих и признающих, что «семья есть союз озлобленный, лукавый и развратный». Если теоремы верны, не надо было писать определения; если определение написали, не надо было писать теорем. Мысль законодателей во всяком случае не ясна и сбивчива. И как железнодорожный мост непременно бы провалился, если бы он был построен по геометрии, утверждающей о прямой, что это «есть линия похвальная», а

с тем вместе указывающей как на прямую линию и на всяческие кривые и ломаные, – так и семья крутится в стране не от слабости вовсе человеческой, а оттого, что добрые понятия и добрые нравы и добрые инстинкты человека не поддерживаются законом; что норма закона неизмеримо ниже общечеловеческой, общехристианской, всемирногражданской. Ибо кто же из нас грешных и слабых смертных при виде людей, разбегавшихся по разным городам, изменяющих друг другу или истязующих друг друга, сказал бы, назвал бы, определил бы и зарегистрировал: «Это *семейный союз*, как мы его понимаем», («это – брак, как мы его сознаем и чувствуем»). Таким образом, закон тянет книзу человека, понижает идеал семьи в стране, деморализует народные нравы и в этом тот секрет его, не сознав которого напрасно было бы пытаться «обновлять» семейное уложение, писать новый «проект» его.

* * *

Вопросу об *инстанции* разводящей и о *секуляризации* семьи А.Л. Боровиковский посвящает много страниц, находя тенденции к этому и в «Проекте», но как-то странно выраженные. Он говорит:

«Дела о расторжении брака, по статье 160 проекта Нового Уложения, ведаются: 1) в случаях принадлежности обоих супругов или хотя бы одного из них к православной церкви – духовным судом православного исповедания; 2) в случае принадлежности обоих супругов к одному иному верному христианскому исповеданию – духовным судом сего исповедания; 3) в случае принадлежности их к разным иному верным исповеданиям – духовным судом исповедания ответчика; 4) в случае принадлежности ответчика к римско-католическому исповеданию – духовным судом исповедания истца; 5) в случае принадлежности одного из супругов к христианскому исповеданию, а другого к нехристианскому исповеданию – духовным судом исповедания христианина». Так гласит статья. Ясно ли, господа, что тут сказано? Тут пять раз повторено, что бракоразводные дела христианина ведаются духовным судом. Значит с нетерпением ожидаемая секуляризация бракоразводного процесса, несмотря даже на то, что она энергично пропагандируется в последнее время в литературе самими православными канонистами, отвергнута составителями проекта гражданского уложения? И да, и нет. Провозглашается категорически, что развод подведомствен духовным судам. А из остальных постановлений проекта и из объяснений редакторов оказывается, что бракоразводный процесс, по крайней мере в существенных его основаниях, предполагается изъять из компетенции духовных судов и передать в суды светские. Быть может, статья 160 написана по соображениям оппортунизма: выкидывается старый флаг в расчете, что под ним легче провести коитрабандой новшества. Но такой прием, несмотря на всю его благонамеренность, представляется полным опасностей, а в законодательстве и прямо неуместным. Это дипломатам старой школы язык давался для того, чтобы скрывать мысли. Юристам же,

редакторам законопроектов, делать подобное употребление из языка нельзя. Всякая неясность, все, что *недоговорено* или *переговорено* в тексте закона, неизбежно чревато опасными последствиями. Да и оппортунистическая уловка едва ли в данном случае нужна, как сейчас увидим». И т. д. («Брак и развод по проекту гражданского уложения», стр. 26).

Вот, что называется критиковать жестоко. Действительно, если кто-роу-нибудь статью проектированного «Уложения» воспрещается «похищение», то ею воспрещается все касательно развода статьи того же проекта, похищающие и укрывающие истину, или «провозящие контрабанду». И главное, для чего контрабанда, когда не существует вовсе таможи? Духовное ведомство совершенно прямо и совершенно честно оставляет за собою (см. ряд статей в «Церковном Вестнике» за прошлый год) лишь духовную сторону таинства, передавая его физическую сторону суду и администрации светской. Никаких хитростей не требуется, когда дело поставлено столь прямо.

А.Л. Боровиковский посвящает много страниц разграничению духовной стороны в браке от гражданской. Невозможно передать вкратце его рассуждения. Важнейший его довод за полную секуляризацию развода заключается в том, что никакого священного ритуала в процедуре развода и теперь нет, что это дело чисто судебное и только судебное. Затем он энергично становится на защиту *прав государства* регулировать брак и семью. Он говорит: «Никому, конечно, не воспрещается освящать брак религиозным образом, но никто к этому и не приневоливается. В глазах закона важен брачный союз, семья, — основная ячейка гражданского строя, — союз *светский* и долженствующие в нем существовать *юридические* отношения» (стр. 62)... «Что касается развода, то желательна его полная секуляризация даже и для лишь господствующего исповедания» (стр. 64). Подведем под эти пожелания почтенного юриста самый легкий исторический фундамент.

Это необходимо, потому что касательно прав государства секуляризовать брак и семью существуют у множества людей самые сбивчивые понятия.

Не всем известно, а давно всем пора узнать, что лишь византийские императоры Лев VI Философ, заключивший известный договор с киевским князем Олегом, и Алексей Комнен, уже в эпоху начавшихся крестовых походов, уничтожили светский характер семьи. Именно, они сделали предписание, чтобы браки, доколе заключаемые простым заявленным соглашением жениха и невесты, освящались и в порядке духовного начальства. Между тем к этому времени начавшегося разделения церковью все догматическое созидание православия было окончено; и, таким образом, все века строительства церкви, без всякого возражения со стороны вселенских соборов, семья и институт брачный находились от первой его черты и до последней в обладании: 1) супругов; 2) регистрирующего супружество государства. Вот как рассказывает эту историю в недавно напечатанных «Лекциях по церковному праву» знаменитейший из наших канонистов, проф. С.А. Павлов:

«История христианского брачного института представляет нам, с одной стороны, свидетельство о действии у христиан обычая (*а не закона В.Р.*) заключать браки с благословения церкви, с другой – доказательства того, что *действительность брака не обуславливалась этим церковным благословением*. Христианские законодатели, восставая против тайных и бесформенных браков, говорят *только о гражданской форме их заключения*. Так в 428 г. императоры Феодосий и Валентиниан определили, что между полноправными гражданами брак заключается согласием жениха и невесты, удостоверенным друзьями их. Затем император Юстиниан указал, что бесформенные браки, при которых достаточным считается всякое изъявление согласия, не связанное ни с какими формальностями, дозволительны только для низших классов общества, а лицам средних классов предписано являться к церковному нотариусу, окдику и перед ним заявлять свое согласие на вступление в брак, о чем нотариус должен был составлять письменный документ за подписью своей и потом еще по крайней мере трех свидетелей; лицам же высших классов предписано указом обставлять согласие на брак письменным договором о приданом и предбрачном дарении. Даже в эклоге Льва Исаврянина и Константина Копронима 740 г. богатым людям предписано заключать браки составлением письменных документов о приданом, а людям небогатым предоставлено вступать в браки или в присутствии друзей *или же* (курс. проф. Павлова) посредством церковного благословения. Церковь с своей стороны хотя и настаивала на необходимости освящать христианские браки своим благословением, но не отрицала действительности и таких браков, которые заключались без ее участия. Это видно из ее отношения к двум бракам, которым она отказывала в своем благословении, но на которые все-таки смотрела, как на действительные браки и, значит, признавала их таинствами. Только к концу IX века, около 895 года, 89-ю новеллою императора Льва Философа церковное благословение было признано безусловно необходимым для действительности брака и в гражданском отношении. Новелла эта касалась только браков лиц свободного состояния. На рабов ее действие было распространено только в конце XI века императором Алексеем Комненом» («Богословский Вестник», 1901 года, июль, стр. 255–256).

Таковы фазы исторического развития брачного института у христиан, знание которых едва ли не полезнее вникания в подробности талмуда и шариата. Сведения об этих фазах совершенно устраняют нужду в каком-нибудь оппортунизме законодателей о русской семье. Законодатели русские в своем отечестве имеют не меньше компетенции, чем юристы, подготавлившие законопроекты при императорах Юстиниане, Льве VI и Алексее Комнене, имели этой компетенции в отношении к Византии. И оберегая физическое здоровье русского населения, юристы русские имеют положительную обязанность отменить обязательство для русских соблюдать 89-ю новеллу Алексея Комнена, т. е. восстановить право частного и засвидетель-

ствованного брачного договора, как достаточной формы заключения брака, как формы позволительной и узаконенной. Это юридическое распоряжение сразу же введет в рамку нормы целую $\frac{1}{3}$ всех ежегодно рождающихся в Петербурге детей (теперешние «внебрачные») и, напр., спасет от разврата все пришлое рабочее здесь население, которое невозможно повенчать, и оно не венчается, так как о нем невозможно сделать окликов ни здесь в Петербурге, где они временно проживают, ни на родине, так как они из нее давно выбыли. Словом, огромная масса даже в статистику не заносимых русских бесформенных семей должна же получить себе форму и запись, — и просто странно видеть, что на пороге этого упорядочения семейного быта стоит светский указ греческого царя, столь же отмененный и временный, как и всякое русское административное распоряжение. Говоря о «секуляризации семьи», А. Л. Боровиковский, к сожалению, и не упомянул, не приведя исторических данных, что на пути ее стоит только эта новелла (= новый закон) Алексея Комнена, т. е., в сущности, ничего не стоит.

Строй этих фактов важен и для теории развода. Читая проектируемые статьи нового Уложения и вникая в оппортунистические укrywательства «провозимых под старым флагом новшеств», невольно хочется напомнить о флаге еще более древнем, о флаге первоначальном, под которым целые десять веков 1) права мужа, 2) права жены, 3) права детей хранились неприкосновенно, не расхищенными и не поделенными еще между собою юристами светскими и духовными. Если вспомнить, что лишь указом Петра Великого были уничтожены так называемые «распускные письма», параллель и подражанье древнему библейскому разводному письму, каковыми письмами, засвидетельствованными приходским священником, супруги сами разводились, то станет совершенно очевидно, что обе теперешние инстанции, консисторская и судебная, оспаривающие одна у другой права развода, спорят о праве третьего (мужа и жены), праве древнем и почтенном. Дело это все так застарело в своей неправильности, что было бы напрасной попыткой надеяться на скорое восстановление здесь истины. Но подготавливать его распространением у русских семейных людей надлежащих исторических сведений мне кажется должно составить предмет заботы и писателей, и юристов. Древнее определение брака, еще вписанное в Кормчую, что это есть «мужа и жены союз, и жребий на всю жизнь, соединение права человеческого и божественного», к началу XX века читается так: «Брак — это есть смутная область, где препираются юристы светские и духовные, с равным пренебрежением к мужу, жене и детям».

До самого Петра Великого право развода оттого и принадлежало самим супругам, что, по древнему и изначальному положению семьи в христианстве, они же и заключали брак, довольствуясь лишь засвидетельствованием его. От этого древнего положения вещей к нашему времени сохранился один остаток: опрос брачующихся перед венчанием, «по свободному ли согласию они вступают в брак». Мы уже замечали, что это «согласие» тоже стало совершенно фиктивно, ибо самостоятельность семейного нача-

ла асть исчезающая, тающая сторона в браке, от которой, как говорят в зоологии, сохранился в этом опросе только «рудиментарный орган», т. е. что-то видимое, но ненужное и бесцельное. Брак постепенно из явления частного и личного порядка, в котором протекало личное счастье и потому личностью же он и регулировался, начинался, прекращался, – превратился в общий «институт», быстро бюрократировавшийся, быстро централизовавшийся. Теперь до мужа, до жены мало кому дела. «Муж» и «жена» могут быть и несогласны на жизнь вместе, и не жить даже вместе, могут быть неспособны к браку (если не заявили об этом в самый момент брака), могут быть сумасшедшими; словом никакая *инвалидность* брака, так сказать, не препятствует его цветущему здоровью, которое заключается единственно в здоровье секретаря духовной консистории до издания нового Уложения и в состоянии здоровья председателя окружного суда – от издания этого Уложения. Вот печальная истина, которая, может быть, не ясна для господина брака, но очень ясна для самих брачующихся.

СПОРЫ ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ

Мне кажется, об язычестве, как *религии*, как *личных «богах»*, мы напрасно спорим. Она умерла до того радикально и окончательно, что перебирать слова о Меркуриях и Венерах также бесполезно как о Валтасарах и Навуходоносорах. «Что нам» эта «Гекуба»? Случится ли личное несчастье, болезнь своя или близкого – мы побегим *в нашу церковь*, без всякого вопроса о Меркурии. «В нашу церковь» – этим все и решается. Итак, спор может быть не о религии, а о *культуре*; спор не сердечный, не личный, а созерцательно-исторический. Мое отношение, как писателя, к языческим современным религиям выразилось бы (и ограничилось) тем, что я не пустил бы или во всяком случае не вгонял бы туда миссионеров, сказав им: «Оставьте, мы не понимаем, что это такое их вера; она дает им утешение – и этого довольно, чтобы пощадить ее». При настроении, у меня имеющемся, я не допустил бы испанцев до истребления двух царств, Мексико и Перу; я протестовал бы против поползновений германцев в Китае, несших туда не то «крест и меч» (поэтически), не то «бронированный кулак» (прозаически). Известно, что Вл. Соловьёв, находившийся в ультрахристианском настроении в конце жизни, приветствовал германского императора, посылавшего войска на желтых. Вот от такого напряжения христианских чувств я свободен.

Далее, что касается до «этики обыденной жизни» (под таким заглавием теперь выходит и имеют успех маленькие душевно-гигиенические книжки), каковая составляет главный стержень и господствующий напев всех возражений мне М. О. Меньшикова, то, конечно, здесь нет разделения между людьми порядочными, и если я не пишу в газетах, что умываюсь с мылом, к друзьям своим добр, на врагов недолго сержусь, то это едва ли дает кому-нибудь повод заподозривать меня в обратном, а моего оппонента с

таким жаром проповедывать мне эти начала, как будто он никогда не переступал порог моего дома и не видел, что я живу совершенно, как он: рогатым дьяволам не поклоняюсь и Венере не зажигаю свечей. Между тем, прочитав его фельетон, кто-нибудь подумает, что я таков, и я не писал бы этих строк, если бы до меня не доносились весьма определенные слухи, что читатели также заподозривают меня, как благодушные деревенские жители дом девушки, где ворота вымазаны дегтем. М. О. Меншиков выписал из Н. К. Михайловского формулу моих идей: «Теитизация пола и сексуализация религии». Но перец имеет не тот вкус и зравость, как кушанье, к которому прибавлен перец. Великая формула бедна, как таковая.

В состав моих идей, которые весьма бесцеремонно формулирует г. Меншиков, сводя их к требованию грубых, нечистоплотных и смешных обрядов, входят вовсе не они, а, напр., обширный круг забот о детях, – каковых может и не видеть мой оппонент, но я верю, что их видят наши общие читатели. Я ищу лучшего, именно более теплого и светлого, более заботливого отношения и религии и религиозной общины к семье, к ребенку, матери, отцу. Все это находя в страшном забросе у нас, я вглядываюсь в более теплые обычаи здесь евреев, в светлые детские праздники и греков, – напр., их праздник *анатурий*, когда все рожденные за год дети принимались в общину, и при этом взрослые уже отроки читали перед родителями стихотворения великих национальных поэтов. Вообще у них были *семейно-общинные* праздники, чего нет у нас, а у евреев и до сих пор вся община помогает каждой семье, в радости удлинняет ее радость, а в горести укорачивает ее печаль. Не привожу здесь трогательных обычаев, мне известных.

Вот что я люблю у древних и новых людей, а не Меркуриев и Паллад их. Мне кажется, человеку тепло жить в такой заботливой о себе общине, а община тоже живет здоровою и свежелою жизнью, духом светлым и радующимся, любя не вообще человека, а вот какую-нибудь Марью, «днесь родившую», которой трудно, которой томительно. И кто бы по усталому, потному челу ее ни провел любящей рукою в утешение – он брат мне, христианину, хотя бы сам себя он называл евреем или язычником. И я не войду и ничего не разорю в его особом законе. Я полюбуюсь им в стороне и тишине; самое большее, если я вздохну, что у нас нет такого же, что мы не подумали, не изобрели.

Спор на начатые темы я считаю оконченным по крайнему неудобству для себя положения, в которое тоном своих статей, а в последнем фельетоне и разбросанным здесь и там намеками, меня ставит оппонент. Я указывал на факты, он обходит их без внимания; я критиковал, может, не без боли не то чтобы ложность, но неполноту и односторонность наших религиозных представлений. Но моя критика вовсе не простиралась и не касалась этики евангельской, которая влечет даже дикарей, и странно было бы отвергать ее чему-нибудь учившемуся европейцу.

ПОД ЗНАМЕНЕМ НАУКИ

Юбилейный сборник в честь

Николая Ильича Стороженка, изданный его учениками
и почитателями. Москва, 1902. Стр. XXXV+740.

Н. И. Стороженко есть младший представитель той плеяды ученых словесников Московского университета, старшими представителями которой были Буслаев и Тихонравов. Оба эти ученые были и наставниками, и товарищами по преподаванию проф. Стороженко. По понятным причинам ученые, работающие на поприще родной словесности, всегда дают больший плод от трудов своих, нежели работающие на поприще западноевропейской литературы. Они поднимают новь и не имеют соперничества в ученых всего света. Напротив, труды русских ученых по всеобщей литературе или вынуждены повторять собою напевы западной критики, западных историков, или должны углубиться в такие мелочные подробности, которым русский читатель лишь с крайним принуждением души может уделять внимание. Н. И. Стороженко избрал специальностью английский театр до Шекспира. Здесь он сделал новые изыскания, большую частью состоящие в отыскании подлинных авторов таких пьес, принадлежность которых ранее не была известна. Критика и ученая работа его, насколько она выразилась в печатных трудах, поневоле вращалась в кругу более материального состава литературы, нежели ее идейного движения. Между тем сборник в честь маститого ученого едва ли бы и появился, если бы он не был для слушателей своих профессоров самого богатого идейного содержания. В самом деле, кто имел удовольствие и счастье слушать Н. И. Стороженка, тот знает, что, посвящая годовые курсы лекций обзору обширных циклов европейского литературного развития, он не только являлся знатоком подробностей, но и, кроме того, с таким мастерством вводил слушателей в дух каждой эпохи, что как бы делал их современниками то Поджио и Филельфо, итальянских гуманистов, то кружка друзей молодого Гёте, то французских энциклопедистов. Ученики Н. И. Стороженка рассеяны по всей России, и везде, где есть его ученики, самый горячий интерес к западному просвещению горит, можно думать, неугасимо...

К «Сборнику» приложен портрет маститого юбиляра, очерк научной и педагогической его деятельности и дана библиография его трудов, между которыми многие, хоть и не обширные, посвящены русской и малорусской литературе (главным образом Шевченку). Труды, вошедшие в сборник, не представляют исключительно литературного или историко-литературного содержания. Здесь есть и с живейшим интересом прочитывается статья г. Статкевича: «Мармизовская лаборатория» (Полтавской губернии), – живой, конкретный очерк нашей земской медицины. Из историко-литературных статей очень интересен этюд г. Варшера: «История одного литературного сюжета». Автор взялся проследить исторические блуждания основной мыс-

ли и основного образа, выведенного Толстым в рассказе: «Чем люди живы». Он находит первоисточник его в ветхозаветном апокрифе, который перешел через посредство мусульман и Византии в Европу средневековую и новую. Заметим, что блуждания эти вовсе не обязательны для художественного гения. Сюжет рассказа «Чем люди живы» так прост, что, конечно, мог возникнуть и оригинально у Толстого. Из других статей очень интересны г. Каллаша – «Русские отношения Гёте», изыскание об ученических годах Радищева г. В. Якушкина, две статьи об Огареве г-жи Некрасовой и Н. М. Мендельсона («Н. П. Огарев в воспоминаниях его бывшего крестьянина») и личные воспоминания г. Виктора Михайловского (о Живокини) и Н. В. Стороженко (о П. А. Кулише). Нельзя не пожалеть, что все статьи сборника отличаются излишней краткостью, вследствие чего книга имеет по оставляемым впечатлениям более газетный характер, чем книжный. Но и в этом своем виде он является хорошим вкладом в каждую частную библиотеку.

И. Л. ЩЕГЛОВ (ЛЕОНТЬЕВ)

(К 25-летию литературной деятельности)

Во вторник, 12 ноября, исполнится двадцатипятилетие литературной деятельности Ивана Леонтьевича Леонтьева-Щеглова, напечатавшего в ноябре 1877 года одноактную шутку «Влюбленный майор». С того времени стали появляться в печати его повести, рассказы, романы и пьесы, и псевдоним писателя «Ив. Щеглов» приобретал с каждым годом все большую известность. Его беллетристические произведения печатались в «Новом Времени», «Отечественных Записках», «Вестнике Европы», «Русском Вестнике», «Русском Обозрении» и в других изданиях, пьесы исполнялись на столичных сценах и в глухих провинциальных городах.

Юбиляр родился 6 января 1856 года в Петербурге. Трех лет от роду он был взят на воспитание своим дедом бароном В. К. Клодтом фон-Юргенсбургом, родным братом знаменитого скульптора. Материальной и моральной поддержкой барона И. Л. обязан, по его словам, лучшим дням своей жизни. Учился и воспитывался он во 2-ой военной гимназии (ныне второй кадетский корпус), затем кончил курс в Павловском военном училище. Произведенный в офицеры, отправился в Крым, где находилась 13-я артиллерийская бригада. В это время молодой офицер попробовал свои силы на журнальном поприще. Летом 1875 г. случилось в Севастополе землетрясение. Необыкновенное событие дало И. Л. тему для корреспонденции. Он отправил ее в «С.-Петербургские ведомости», и вскоре корреспонденция была напечатана. К скудному офицерскому содержанию явилась некоторая прибавка в виде гонорара. Русско-турецкая война увлекла юбиляра на Кавказ в действующую армию. Ему пришлось участвовать в двух сражениях и видеть близко, как умирают люди от шальных пуль. Вскоре он выбыл из

строю и попал в госпиталь. Русским борцам приходилось нападать на неприятеля и обороняться от тяжких болезней, распространившихся в армии. И. Л. захворал, и настолько серьезно, что последующие поездки на кавказские минеральные воды, хотя и облегчили его немного от страданий, но все-таки не восстановили его здоровье вполне, и в 1883 г. он был вынужден покинуть военную службу с чином капитана.

Во время войны в походной палатке под Кюрюк-Дара он набросал свою первую пьесу «Влюбленный майор», затем в период лечения занялся писанием рассказов. Весной 1881 года появился его рассказ «Первое сражение», встреченный критикой единодушным одобрением. Выйдя в отставку, И. Л. всецело отдался литературной работе. Им написано множество рассказов, романов и пьес. Из них некоторые настолько рельефно оттеняли юмористическое в жизни, талантливо подмеченное автором, что многие заголовки его произведений, напр., «Дачный муж», нашли широкое распространение в разговорном обиходе. Из его крупных романов известны «Гордиев узел» и «Миллион терзаний», из рассказов: «Дачный муж», «Убыль души», «Идиллия», «Корделия» и др. Наибольшее же количество его произведений появилось в драматической форме. Ему принадлежит до тридцати оригинальных пьес («В горах Кавказа», «Затерянный мудрец», «Господа театралы», «Красный цветок», «Мамаево нашествие» и др.). Из них выдающимся успехом пользуется пьеса «В горах Кавказа». Кроме того, И. Л. приходилось выступать неоднократно и в роли публициста, отзываться статьями на разнообразнейшие вопросы текущей жизни и полемизировать с целью добиться правдивого и нелицеприятного отношения к литературным труженикам и к их работе. Ему же принадлежит ряд статей о требованиях, которые могут быть предъявлены к народному театру. Статьи эти изданы отдельной книгой «Народный театр».

Грустная усмешка, сатира без негодования и злобы, но сатира всегда умная, составляют неотделимый колорит повестей, рассказов, романа и драматических произведений И. Л. Щеглова-Леонтьева. Назовем из них «Убыль души», «Около истины», «Миллион терзаний», «Корделия», «Миньона», «Военные очерки», «Проводы», «Мир праху», «Петербургская идиллия», «Дачный муж», «Затерянный мудрец», «Сон холостяка», «Театральный демон». Автор всегда был в литературе несколько одинок, не опирался ни на какую фракцию очень определившихся и твердо сплоченных мнений, которые поддерживали бы и облегчали его личные усилия, давали бы воздух под крылья. Напротив, нечто сырое и мглистое, как холодный петербургский туман, давило крылья нашего писателя и отняло много свежести и игры в его первоначальном таланте, как рожденном для смеха беззаботного. В таких темах как «Убыль души» и «Затерянный мудрец» сказалось обширное мирозерцание, не как résumé сотни прочитанных книг, а как плод

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Эти наблюдения и «сердечные заметы» дали бы натуре более энергичный материал для большего негодования, для обширной сатиры; но у нашего автора все смягчилось и перешло в грустную улыбку слишком усталого человека, который укажет и назовет зло, характеризует позорное или смешное в человеке и в жизни, нарисует его, как фигурку скульптор, и оболет ее тонкою ирониею, но не поборет его, даже не кинется ему навстречу грудь с грудью. Пассивность, доброта и жалоба – слишком великорусские черты за XIX век – составляют нравственную прокладку почти всех трудов И. Л. Щеглова-Леонтьева. Мы не касаемся его изобразительного таланта, который в некоторых произведениях, как например, «Около истины», достигает большой силы и дает образы человека и обрисовку положений, которых невозможно потом забыть. Великие фигуры Гоголя и Пушкина суть его путеводные в литературе звезды, и обоим им он посвящал то пронизательно-восторженные строки, то кропотливо-пристальные изыскания (о Пушкине – в отдельной книге «По следам пушкинских празднеств», Гоголю – в «Затерянном мудреце»).

По-видимому, выразиться так о писателе – значит сказать о нем нечто большее, ибо кто же из русских писателей не считает Гоголя и Пушкина «путеводными звездами» в литературе; но мы этого «общего» не хотим сказать о И. Л. Щеглове, отмечая в нем настойчивый, продолжительный, очень углубленный культ к двум названным именам, чего далеко не встретим не только у многих, но и просто у многих русских писателей. Он принадлежит к плеяде тех спутников, которые не просто тяготеют, а вращаются около двух названных огромных светил нашей словесности, – вращаются любовно и с пониманием, не помышляя ни об уклонениях в сторону, ни об отсталости от них. И не за их славу, даже, не столько за труды их, сколько за великую их личность, и нравственную и умственную, наконец, даже биографическую, он привязан к ним. Точки зрения Гоголя и Пушкина на все обстоятельства русские, на русского человека и характер его, можно, кажется, признать окончательно проверенными и принятыми у всех умных русских людей. Из них не выходит и И. Л. Щеглов, внося в сюжеты своих произведений ясную мерку русского здравомыслия и нравственное русское прощение. Героям его нигде не является «герой», ни очень яркое событие. Везде «герой» и единственное «событие» рисуемое – это серые будни нашей жизни и серенькие люди, мелькающие в поле нашего зрения, зрения естественно утомленного, зрения раздраженного, но в корне и в основе любящего. Нравственное суждение автора, как и всякого здравомыслящего русского человека, одобряет и привязывается, до известной степени даже «благодарит» за самое существование – только простое и естественное, успевшее уклониться от всяких вычурностей, недорасти до них (простые русские люди) или перерастить их (идея «Затерянного мудреца» и до известной степени «затерянной мудрости»). В самом деле, русская действительность во всей ее океаноподобной величине расслаивается на три пласта: самый нижний слой и верхняя тоненькая пленка, последняя демократия и

первая аристократия, мужик и философ – сливаются и в сердце, и в разуме, в чувстве Бога и чувстве природы, даже в способе жить и приемах мысли. Между ними лежит слой невообразимой толщины всяческой изломанности людской и житейской, испорченного сердца и отравленного мышления. Взгляните на русскую литературу, и вы увидите, что она вся проникнута сознанием этого, вся болит об этом. Этою болью и сознанием, проникнуты произведения И. Л. Щеглова-Леонтьева.

Добрый юмор его нигде не желчен, разве в редкие минуты, на редких страницах, встречаясь с неблагодарным, злым, предательским. Но он этого не ищет, не выискивает. Большею частью он следит за смешным, во что ударилась русская простота или выведенная из равновесия (в нижнем слое), или в «поисках за светом» (в верхнем слое). Он не привязывается умом и взором к крупному характеру. Да и есть ли, не исключительны ли они на Руси? Жизнь русская перед нашим автором не расчленена на индивидуумы, не выразилась еще в лицах, а обща, безлична, есть именно бытие фона без начатого на нем выразительного рисунка. Так, в сущности, рисовали все великие эпики, по указанию Гоголя, напр., особенно Островский. Все рисуют не олицетворившуюся еще Русь, любя ее в огромной слежавшейся или неправильно возбужденной массе. К этим рисовальщикам русских будней и русского будничного характера принадлежит и И. Л. Щеглов-Леонтьев. И произведения его хранят в себе множество верно схваченных штрихов русского человека, в конце концов штрихов милых, хотя бы и повседневных, порой спускающихся до вульгарного. «Ну, хорошо, каков ни на есть русский человек, и сколько вы над ним ни улыбаетесь, И. Л., мы все же его любим, и даже именно в том виде, как вы его рисуете, и захватывая в сочувствие свое и эту вашу тоже очень и очень русскую улыбку». Так хочется определить и творчество автора, и наше невольное отношение к этому писателю.

ИДЕАЛЫ СКРОМНЫХ ЛЮДЕЙ

Каждый, вероятно, помнит героический оклик Тараса Бульбы к казацким рядам во время второй и третьей, и особенно третьей вылазки «ляхов» из осажденной крепости Дубно. Ляхов все прибывало. И хлеб, и помощь вошли в город. Казаков все убывало. И в несравненном по красоте эпическом рассказе Гоголь набрасывал смерть героев, всякий раз с особым характером и в особой обстановке. Вот подняли на пики одного. Вот потащили на аркан другого. Нет Мосия Шило. Погиб «краса казачества», молодой Кукубенко. Тогда старый Тарас, принявший бразды правления от вернувшегося с половиною войска в Запорожье кошевого и для ободрения друзей-воинов, и для осведомленности, и чтобы унять тревоги, проезжал по пыльным, усталым, едва державшимся рядам с вопросом:

– А что, братцы? Есть ли еще порох в пороховницах, не притупились ли казацкие сабли и не погнулась ли казацкая сила?

И помнят, верно, все, как каждый раз этот вопрос ободрял бьющихся и зычно кричали в ответ казаки: «Есть еще, батько, порох в казацких пороховницах и не погнулась казацкая сила». И всякий раз после слов этих тающая казацкая сила с новою молодостью ударяла на врага.

Несравненный гений Гоголя, как он умел все изображать схематически! Не только типы его, фигуры человека, но, так сказать, и фигуры человеческих положений взяты в какой-то вечной, неумирающей многозначительности и припоминаются невольно в совершенно других областях, в применении к совершенно иным людям, когда их положение получает точку совпадения с положением, изображенным Гоголем. Нет, сколько бы ни вызывало иронии сравнение Гоголя с Гомером, мы, готовясь к граду насмешек, однако, скажем, что он есть именно Гомер наш, несравненный эпик и определитель и рисовщик великорусской и малорусской Руси; Гомер Скифии XIX и XVI веков.

«А есть ли, братцы, порох в пороховницах, не погнулась ли сила»? Вопрос этот так и мелькает на губах последние годы, когда в воздухе как-то все серее, а на душе все тяжелее, когда выдвигается вопрос за вопросом, растет недоумение, а разрешения – никакого, а света – ниоткуда. Уж не вечерет ли Русь? Не сходит ли к вечеру, к ночи? Но где же день наш? Мы все готовились. Помните ли сравнение, у всех на уме, у каждого на губах, какое мы поминутно прилагали к родным делам: «Э, Илья Муромец тридцать лет сидел сиднем на печи, но...», тут следовало изложение надежды, что, спустив ноги с печи, и мы завтра в три дня наделаем подвигов столько же, сколько киевский богатырь. Это присловье об Илье Муромце было очень ходко лет двадцать назад, и особенно оно повторялось с энтузиазмом молодежью, студентами, гимназистами. Мечта, что через четыре года, выйдя в люди жизни и практики, они начнут шагать верстами, горела в тысячах русских молоденьких глазах.

Пошли засухи. Все мы читали с волнением сердца об этих каких-то проклятых оврагах в южной России, которые с каждой весной все ширеют, и половодье сносит в них, смывает в них чернозем с огромных пространств окружающей земли. «Овраги мы засыплем с верховьев», – писали тогда инженеры, но не успели они «засыпать оврагов с верховьев», как пошла какая-то гессенская муха, а потом какие-то червяки, а потом какие-то мыши – и начали хлеб есть с корня. «Ну, это пустяки, мух мы порошком посыплем», – думалось лет двенадцать назад, как подоспели какие-то проклятые «дифференциальные тарифы» и кто-то закричал, что «ему больно», а кто-то другой кричал, что «ему хорошо» и еще никто ничего не умел разобрать в этих криках, когда туманом стала стлаться по Руси мысль, что «всем тяжело и везде плохо». «Это от Америки и от Австралии, там хлеб, и его повезли сюда, а у нас с сором он». Этот чертов «сор в хлебе» представлял не то фикцию, не то непобедимую действительность, с которую много лет никто не умел справиться. Положат хлеб в вагон чистым, запрут на замок, везут-везут в вагоне, начнут выгружать – он «с сором». Жидам Бог манну

посыпал с неба, а нам черт плевел подсыпал снизу, этого знаменитого «сора». «Это все жида», «это – прасолы», «это англичанин гадит», металась в недоумении Русь, собирала комиссии, спрашивала, плакала, подсматривала, рвала на себе волосы и так-таки решительно и не доискалась, отчего у нее хлеб «с сором». «Порошит с неба», только и можно сказать. Грустна Русь.

Не забуду длинного впечатления на станции Граница, когда после первого в жизни двухмесячного странствования по загранице я возвращался на родину. Поезд стоял. Проверяли паспорта и багаж. Вообще что-то делали, до чего мне не было дела, и я вышел на станцию, и вот меня поразило после щебечущей, веселой, солнечной «заграницы», такой доверчивой к людям и ласковой, – какая-то легшая туманом на сердце печаль кругом. Было очень пусто. Ни движенья, никого. На длинной-длинной лавке сидел «чин», военный ли, полицейский ли (я в формах неразборчив), мужик одетый по форме, не то урядник, не то жандарм. И сколько я помню, не ходил, побродишь-побродишь, вернешься – он все так же сидит. У меня пролетело море воображения, досады, скуки, беспредметного негодования, беспредметного и восхищения то мелькнувшей мысли, то несбыточной гипотезе: глядь, «он» все сидит, и не только не пошевелился, но и не перевел ни на что глаз. «Глядит» – и только. Так и встала статуей его фигура в моей душе, и остается доселе. В фигуре этой было именно недоброжелательство, это я отчетливо помню, от этого-то после ласковой «заграницы» она и поразила меня, и я всю родину свою определил в секунду этого первого «возвращения на родину» как страну недоброжелательства, прежде всего и впереди всего недоброжелательства взаимного и всяческого.

* * *

В конце концов это от несчастья. Мы все в отдельности и, наконец, все общественно несколько несчастливы. Там «сор» в хлебе, там – мыши под корнем пшеницы; там раздвигающиеся на юг овраги, а наконец общее сознание: «захудалость центра». Ну кто при таком сознании (о захудалости центра) может спать спокойно. И вот мы все угрюмы и печальны, потому что у нас всех немножечко «душа не на месте», не личным несчастьем, но некоторым хроническим, затяжным и весьма трудно поправимым неблагоприятием родины. И вот при таких-то обстоятельствах и приходит на ум гоголевское:

– А что, братцы, уж не прогнулась ли казачья сила и есть ли еще порох в порохницах?

Невольный вопрос, который перевода с военных терминов на гражданские можно формулировать так:

– А что, гражданство, есть ли еще в тебе надежды? И охота трудиться? И бодрость души, без которой не поднимаются руки? Не отчаялось ли ты в родине, и есть ли в тебе самом идеализм?

Я бы, пожалуй, и не задал так определенно этого вопроса, если бы кое-что не имел все-таки в утешение соотечественников. Кто не помнит бессмертное «Горе от ума». Выньте из него Чацкого и останется полное «горе»,

а с Чацким все-таки полгоря. Вопрос собственно не об идеализме нашего общества, а о том, есть ли хоть одиночки идеалисты в нем. Вопрос именно о том, «осталось ли пороха в пороховницах», а не о том уж, переполнены ли оне. Увы, энтузиазма общего у нас, конечно, нет, и Русь сера-сера, в Руси серо-серо, как в темный октябрьский день в Петербурге: ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер, а так себе, что-то неприятное. Но среди упадка общественного идеализма и энтузиазма все же есть одиночки, точно ей-ей сейчас родившиеся и никакого-то, никакого октября исторического не несущие в душе у себя. И по родственным, и по дружеским связям, и как бывший педагог, я очень и очень много наблюдал отрочество с первым пушком на подбородке, самое юное, самое что называется глупое в смысле осведомленности, ничего-то ничего не ведающее, что творится на Руси; отрочество лишь мечтающее о труде, о будущей жизни. И вот в этом отрочестве я находил нередко такие ценности душевные, которым только бы воздух под крылья, только бы слово: «Ляхи одолевают» (ляхи – это разные «горя» Руси) и они, мне думается, как казаки под Дубном, закричали бы зычно:

– Еще не сломалась казачья сила, еще есть порох в пороховницах, еще стоит сечь.

И нагрянули бы на «горести» Руси, и побили бы их надеждой, трудом, трудом неистощимым. Мне кажется, Русь, самая-самая юная, способна сейчас к неистощимому труду. Я думаю, отрочество русское нравственно талантливо. И следовательно, на Руси не «горе от ума», а полгоря от недомыслия.

Читатель да не посетует на меня, если, прервав свою речь, я дам ему пробежать несколько по идеалам этого отрочества, как они сказались своим слогом, в своей наивности. Мне это лето попались два письма девушек, 17 лет и 25-ти; и хотя это возраст уже зрелый, но лишь именно по годам, а не по опытности сердца, не по сколько-нибудь сноскому обилию

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

«Я только что вернулась домой, – пишет младшая девушка, – и пробуду здесь до начала августа. Очень рада этой свободе и что увижу всех родных... Папа недавно был в NN (назван большой провинциальный город) и говорил о земской стипендии на медицинские курсы. Ему сказали, что он один из первых имеет право на стипендию за свою длинную службу в земстве. Нынешний год одна из земских стипендиаток кончает, и я могу заступить ее место. Но как еще все выйдет, у самого же папы нет средств дать мне содержание отдельное от семьи, что связано с переездом в Петербург. Если я не поступлю на курсы, то я перейду в сельские учительницы. В гимназии при мне был учитель истории NN, очень умный. Теперь он перешел в инспектора народных училищ. Ведь в селах или в деревне можно много принести пользы. Можно основать школу, которая бы не только обучала грамоте, но и учила разным ремеслам, а главное хозяйству сельскому. Те-

перь у нас школа только отрывает мальчика крестьянского от пашни, и вообще от крестьянского хозяйства. Как только мальчик кончит хорошо, так сейчас его в учительскую семинарию, а там в учителя или в город в приказчики. А в своей школе я буду толковать им, какую они пользу могут принести, если выучившись в школе они останутся в деревне. Буду учить их, как удобрять землю, как ухаживать за огородом или за садом. А девочек научу шитью и кройке и как воспитывать детей. Разведу при школе сначала небольшой огород, буду вместе с учениками ухаживать за ним, удобрять, садить, а потом наглядно покажу им, какая разница между моим огородом и крестьянским, и объясню, что это зависит от знания и умения. В своей школе буду все ученье направлять к известной цели и все буду показывать на деле. По воскресеньям будут чтения книг по сельском хозяйству, кроме того буду читать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя и др. русских писателей. В школе повешу портреты русских писателей и поэтов более известных. А как приятно будет, когда через *несколько лет* (два раза подчеркнуто «несколько лет» – мечта, очевидно, тянется далеко и в этом ее для автора письма сладость) деревня из грязной с покосившимися избушками обратится в чистую, с светлыми, высокими избами, окруженными садами и огородами, крестьяне и их дети будут не бледные, худые, истомленные, а здоровые, сильные и веселые. Я буду стараться, чтобы не было нищих: нищие старики будут жить при школе и что-нибудь работать, например, летом будут нянчить детей, матери которых уходят на работу; нищие сироты будут учиться в школе. А чтобы развить товарищество между учениками, я введу им сложиться по несколько копеек для этих бедных сирот. Для того, чтобы лучше исполнить эту задачу, я начну готовиться и учиться! Конечно, не может все исполниться, как по писанному, будут, конечно, и затруднения и препятствия, но я буду терпеливо бороться с ними. Первое, против чего придется бороться – невежество крестьян, но *время* (курсив в письме) и *труд все перетрут*; в конце концов они поймут, что все это для их пользы и сами еще будут помогать мне»...

Так кончается письмо, которое было мне показано, и я попросил позволение его списать и, может быть, напечатать, так как оно мне показалось чрезвычайно ценным своей документальностью. У нас и о земстве, и о деревенских учительницах, наконец, вообще об учащихсх девушках толкуют вкривь и вкось, порицают и защищают, не опираясь на факты иначе, как в виде статистики, указания на жалованье и пр., но не приводя обстановки и психологии иначе, как в беллетристической, т. е. или выдуманной, или украшенной форме. Мне кажется, не одно, но несколько наших министерств, например, земледелия и государственных имуществ и народного просвещения, да, пожалуй, и министерство финансов могут порадоваться на этот невинный лепет: ибо он показывает, сколько душевной чистоты об руку с самым трезвым и вместе закругленным взглядом на действительность готово пойти на деревню, готово помогать мужику и нужде. Нет, не без результата наша словесность и лучшие слои педагогики, к ней примыкавшие,

трудились все около деревенских тем, все около «мужика», о котором в конце концов стали заявлять в литературе, что «он надоел». Надоел бы мужик, замолчали бы о нем, и барышня, и барыня, написавшая приведенное письмо, наполнила бы его сообщениями о новой кадрили, какую она выучила, или сообщением о поручике, который начал посещать их дом. Все письмо, очевидно, навеяно на юного автора, навеяно обстановкой, частью семьей, земским трудом отца, уроками учителя. Письмо, так сказать, не принадлежит к порядку «врожденных идей», но к порядку «идей внушенных». Но как оно правильно внушено и гармонично расположилось в душе. Честь нашей культуре; пусть маленькой, бессильной пока, но, очевидно, с хорошими залогами культуре.

Другое письмо более грустно. Я знавал эту милую девушку, сестру шести братьев; из них двух младших она вынянчила, т. е. буквально выводила их с собою и за собою. Мать уже старела и слабнула глазами, к тому же на ней лежало огромное хозяйство, а отец до последней минуты был поглощен службой. По разным обстоятельствам девочку нельзя было отдать своевременно в гимназию. Она самоучкой занималась предметами дома, а зато ей было, девочке всего 11 лет, отданы братья 4 и 5-ти лет, которых ей следовало с утра обуть, умыть, в течение дня занять, не допустить до шалостей и ссор, и, наконец, уложить спать. Только с этой минуты она принадлежала себе. Собственное ее образование от этого страшно отстало. Решительно без нее нельзя было или было крайне неудобно обойтись дома. И только когда ее питомцев отдали в гимназию, тогда она сама получила возможность поступить в гимназию же, что-то прямо в пятый класс. Она была редкой красоты собою, и случись же несчастье! Она остановилась раз перед выставкою фотографий. Это было зимою, на Рождестве. Вдруг сюда же подошла и остановилась женщина с ребенком на руках, все лицо которого было покрыто корою оспы. Сердце молодой девушки почувствовало несчастье. Она отошла, однако не сейчас, от женщины, но было уже поздно. Оспа была захвачена, и она вылежала в больнице несколько недель, выйдя из нее худою, истощенною и с лицом не испорченным, но все же несколько подпорченным. С тех пор замечательная красота ее к ней уже не возвращалась. Она стала худою, бессильною, но по-прежнему беззаветно преданною семейным своим заботам и привычным попечениям и об окончателно почти ослепшей матери, и о выросших братьях, которым надо было вечно шить, или подновлять белье. Отец их уже умер, и из провинциального города они переехали в Москву, где учились два старших брата. Гимназия и какие-то курсы, кажется, педагогические, были уже ею кончены. Мест, однако, не находилось, и вот она устраивается в юдоль всяческой бедности – на телеграф. Но я приведу отрывки не только о горькой этой доле, но и маленькие радости ее в кругу своей семьи. «Могу сообщить крупную новость: 14 февраля у N. (старший брат, студент) родилась дочь, которую они называли Надей. Брат пишет, что она здорова, его жена тоже поправилась. Это моя первая крест-

ница. Про новорожденную можно сказать: одна дочка, одна внучка и одна племянница. Оба они страшно заняты своей первой дочкой... Через несколько месяцев о них же: «Все носятся со своей дочкой, которой теперь уже пять месяцев. Им осталось жить (назван глухой далекий город из «мест не столь отдаленных») меньше года; ужасно мне хочется посмотреть эту первую свою племянницу». Пишу крошечные подробности оттого, что у нас слишком заподозривается, есть ли у «нынешних» (= у молодых) семейное чувство, «в конец разрушенное курсами». Если под семейным чувством разуметь не какой-то кисель ненужных рассуждений, а здоровое чувство родства и рода, и в его хлебе и в его фруктах, то мне кажется, что именно в самой вселенной нашей молодежи семейное чувство не только не ослабело, но выросло изумительно сравнительно с той давней молодостью, о которой писал Пушкин:

Летит обжорливая младость.

Я много раз наблюдал, что юность русская именно несколько радикального сложения, для коей наука и поэзия сомкнулись в Бокле и Некрасове, отличается удивительно нежностью и тонкостью (деликатностью) семейного сложения, что в половом отношении это есть единственная безукоризненно себя ведущая дробь населения, никого не марающая и сама не марающаяся, и все это вытекает из не растерянной здесь способности любви (влюбления) и из браков ранних и бескорыстных. Но и затем, он мог бы течь грубовато и холодно, под влиянием «матерьялистических воззрений» и «социально-исторических фантазий», этого тоже «яда семьи», как утверждают в литературе много лет. Оказывается, вовсе нет, а здесь-то и вырастает полное исполнение заповеди, что жена есть «помощница мужа», и прочих хороших о семье слов, которые в иных местах только гремят, а не действуют, а вот здесь, где слова «от Писания» и на ум не приходят, они фактически выполнены, да как выполнены! Но вернемся к нашей девушке. Она пишет об одном из двух своих питомцев, единственном в семье учебном неудачнике, который в каждом классе сидел по два года, и готов был погибнуть от невообразимой лени, когда одна добрая женщина дала совет: «Да отдайте его в рисовальную школу – может быть, что-нибудь выйдет». Способности мальчика точно только этого и ждали. Но пусть говорит о нем сестра-воспитательница: «С. собирается переходить, против своего обыкновения, тоже без экзаменов (кроме этого все ее братья учились отлично в гимназии и в университете, кончая первыми), и потому теперь занят чертежом. Рисованием он очень увлекается, недавно рисовал мне углем; одному из товарищей нарисовал портрет Глинки тушью. Но сам он больше любит рисовать красками картинки из деревенской жизни. Вот уже повесил три картины в своей комнате. Я хожу на телеграф через день, на целый день на дежурство с 9 утра и до 10 вечера. Хоть бы уже скорее зачисляли и назначили жалованье, но все это пока неизвестно. По правде сказать, ужасно надоел мне этот телеграф, страшно я ус-

таю, кинула бы его с большим удовольствием, но впереди ничего нет, да и жалко потерянного времени. На лето я, верно, не поеду со своими в деревню, а останусь в городе. Буду на эти месяцы устраиваться у кого-нибудь из знакомых». И вот настала весна, а за ней лето: «Было множество хлопот с отъездом братьев и мамы. Все перешли (братья в следующие классы), N с наградой первой степени, M. на второй курс (университета), получив по всем предметам 5. Теперь разные заботы лежат на мне и я все последние дни либо бегала по разным делам, либо обшивала своих братьев. Ведь им первое лето приходится жить в деревне без меня, а там шить на них некому. Измучилась я за последнее время страшно, так как день дежурю на телеграфе, а другой – какие-либо дела. Поместилась я на лето у знакомых, так как нанять комнату и дорого и я ужасно боюсь одиночества, тут же я чувствую себя уже не такой одинокой. Только далеко очень от телеграфа. Но со мной всегда бывают неожиданные случаи, когда я без мамы. Только я успела проводить своих в деревню, как захворала. Со мною сделался обморок, минут 5 мне было очень плохо, так что я думала, что умираю, но потом стало проходить. Теперь я поправилась, хотя чувствую страшную слабость и болит голова. Завтра иду на дежурство, а то начальство будет недоволено. Послали мы сию же минуту за доктором, он очень внимательно меня выслушал и осмотрел. Сказал, что у меня ничего нет, но 1) малокровие, 2) какая-то нервная болезнь, 3) истощение. Он просто возмутился моей худобой, так я сильно похудела. Прописал мне мышьяк, пилюли из япса и железа, обтирание теплой водкой с водкой. Велел мне как можно больше есть и спать, в свободные же дни только отдыхать и ничего не делать. Мяса велел есть как можно меньше, но больше есть всевозможных плодов и овощей, пить молоко через два часа и есть как можно больше сладкого и конфет. Вот теперь я и занимаюсь своим лечением. Доктор этот мне очень понравился, он меня все утешал; говорил: «Вот мы поправимся, да еще как начнем работать». Очень он милый, но и сам больной, – говорят, у него чахотка. О своей болезни я ни маме, ни братьям старшим (иногородные) не писала и писать не буду, я знаю, что мама и так уже довольно беспокоится у нас. Но я ужасно боюсь, как бы мама, не узнала об этом через кого-нибудь. Чувствую я теперь себя лучше, все эти пилюли очень хорошо на меня действуют, но нервы в ужасном состоянии. Уехать в деревню мне невозможно, так как, вероятно, меня в июле окончательно зачислят, иначе же я лишусь (т.е. с отъездом в деревню) места и тогда опять беда. Бог даст, какнибудь проживу. Так вот и буду проводить время, день на телеграфе, а день в постели».

Так живут и трудятся и страдают маленькие русские люди. Таков склад их мысли, и идеалы, и неудачи. Как-то лет 20 назад, французское министерство народного просвещения, желая проверить «идеалы молодежи», распорядилось в один прекрасный день во всех школах задать для письменной классной задачи тему: «Чего я желаю». Может быть, изложенные

«желания» были несколько искусственны ввиду официальной их проверки. Во всяком случае, как бы прикладывать ухо к стенам домов и выслушивать, чего в русских «домах» желают, я думаю, бесполезно, и в этом состоит одна из значительных задач литературы. Я передал две таким образом услышанные беседы, которые во всяком случае не исключительны, а скорее очень общи, и только выразительно сказались. Может быть, мои наблюдения вызовут другие, более сложные, менее дробные. Я думаю, в смысле идеалов мы живем в хорошее время: во время идеалов труда, не преувеличенной народности, любви к окружающим. Но это в «домах». Выйдешь на улицу – сыро, серо. Вспоминается длинная скамейка на Границе и чин, на ней угрюмо сидевший час без движения. Бэкон когда-то учил, об *inductio per enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria*, т. е. о серии наблюдаемых фактов все одного склона и смысла, где не встречается ни одного противоположного. Так, если мы разделим Русь на домашнюю и уличную (общественную, социальную), то, мне кажется, мы найдем, что «дома» все приблизительно так, как в этих двух письмах: «Как бы помочь народу», «Как мне тяжело», а на улице все почти как на Границе: угрюмо и подозрительно. Последние чувства едва ли не суть несчастье нашей родины, и они не проистекают из простого неведения большими людьми тех милых и кротких идиллий, какие ткут день за днем маленькие домашние обитатели. К последним мало доверия: земство, видите ли, «беспорядок и своеволия, угрожающие поползновения», а женский труд и ученье – «веяние гнилого Запада и разрушение семьи». Между тем все лучше и проще. Золотистый паучок не только тклет паутину дома, но хотел бы и вынести ее на улицу, проложить также ткать под крышей дома, в саду, в лесу. Ни в земство и никуда вообще русские не вносят иных тенденций и иного духа, чем как имеют «дома»: а «дома» они имеют дух самый нравственный и чистый, кроткий и тихий. Нет, я бы все внутренние дела России (провинциальные, уездные, губернские), всю совокупность школ, кроме университета и специальных, всю совокупность медицины, благотворения, церковно-приходской жизни и пр., и пр., и пр., с правами самоорганизации, самоустаривания, самоулучшения, передал бы земству, вырастив последнее из земства-клюквы в земство-рощу. «Нате вам, паучки, тките вокруг всего вашу золотую паутину».

ВРЕДНЫЙ АНТАГОНИЗМ

Посещение в Житомире церкви-школы и начального министерского училища дало повод управляющему министерством народного просвещения высказаться, в присутствии попечителя Киевского учебного округа и местного губернатора, о печальном антагонизме, который местами разделяет педагогическую деятельность двух ведомств. «Высказывается иногда мнение, что плодотворная деятельность школ обоего типа в одном и том же месте не

представляется возможной. Потребности народного образования оправдывают, однако, одновременную работу как министерства, так и ведомства православного исповедания». Упомянув затем о необходимости согласовать в каждом единичном пункте педагогические усилия школ одного и другого типа и избежать «неуместных взаимных пререканий», управляющий министерством сказал, что полная благожелательность чинов министерства «к соответственным начинаниям духовного ведомства нисколько не умалит ни наших (т. е. министерских) прав, ни наших задач». Мысль о таком умалении могла порождаться в равной мере как преждевременным опасением дирекции и инспекции народных училищ, так и действительным активным напором епархиального училищного совета не только к распространению школ своего типа, но и к повсеместной замене ими школ всех других типов и ведомств. «Согласно воле Его Императорского Величества, – заключил свою речь управляющий министерством, – я напоминаю господам служащим министерства народного просвещения, что, в видах предотвращения могущего возникнуть среди населения соблазна, надлежит избегать даже всякого подобия розни в таком деле, которое должно объединить усилия всех истинных ревнителей народного просвещения». Было бы в высшей степени желательно, чтобы параллельно с наставлением, выслушанным чинами министерства от своего высшего руководителя, низшие слои церковно-приходской педагогики также время от времени получали здесь и там наставление мирно исполнять свою просветительную задачу, не вступая отнюдь в антагонизм со школою министерскою и земскою. Ибо всякая гармония и миролюбие осуществимы лишь при обоюдности, а не тогда, когда идут с одной стороны и выражаются в ее готовности потесниться и чуть ли даже не уничтожиться ради соседа. Случаев, когда бы церковно-приходской школе было тесно или неудобно от соседней министерской или земской школы, вовсе неизвестно, и о таких случаях никогда не писалось и не сообщалось. Напротив, в печать проникали во множестве рассказы и иногда прямые жалобы на случаи обратного давления; да и в журналах известного направления весьма энергично проводилась мысль о необходимости «объединить» все народные школы в руках одного ведомства, т. е., в сущности, устранить вовсе от народной школы как земство, так и министерство народного просвещения. Еще недавно защитниками такого плана выступали покойный педагог С. А. Рачинский и высоко образованный, но изшланные фанатичный священник и вместе светский писатель Иосиф Фудель, – из принявших православие протестантов. «Школа будет иметь дух того, кто в ней хозяин», – писал И. Фудель и настаивал, что «здоровый дух» может пойти в народ только от духовенства, которое и призвано поэтому к полному господству над сельским и деревенским учением. Это было бы очень правильно, если бы кроме «духа» народу ничего не требовалось. Но, к прискорбию или нет, ему требуется еще и хлеб, знание хоть каких-нибудь ремесел и знание грамоты и арифмети-

ки, этой двери во всякое научение и к усовершенствованию всякого ремесла. Вот этим-то и бедна да даже и не заботлива церковно-приходская школа. Острый момент «объединительных» усилий в настоящее время уже миновал, но, вероятно, следы или неудобные его последствия дают себя чувствовать в очень и очень многих местах России, по ее губерниям и уездам. И речь управляющего министерством едва ли была бы произнесена, если бы там или здесь еще не сказывались последствия этих «объединительных надежд» и усилий. Он как бы говорит: «Сидите скромнее, не замутите воды», и слова эти имеют для выслушавших значение совета избегать всякого повода, малейшего предлога вызвать против себя обвинение в «соблазне». Печальному антагонизму этому, нам кажется, время окончиться, и окончиться с обеих сторон.

ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Телеграмма Государя Императора на имя министра внутренних дел о возвращении сосланных за студенческие беспорядки лишь пролет глубочайшую благодарность в сердца как этих сосланных, так и особенно семейств их, а во всем русском обществе эта чрезвычайная милость отзовется самым светлым чувством. Можно сказать, что если великие слова «Престол» и «Отечество» ставятся всегда рядом, то они соединяются, сливаются в одно слово, переставая быть двумя, хотя и близкими, но разделенными словами, в минуты таких особенных манифестаций царского милосердия. Здесь пульс биений народного сердца только повторяет движения царского сердца. И русские не любили бы так своей истории, если бы она не была богата минутами таких объединительных между престолом и народом радостей.

Указание Государя Императора на исцеляющее значение «попечения семьи» для молодых людей, подвергшихся увлечениям, уже во второй раз уясняет, где надо искать, так сказать, ключ студенческого вопроса. Все мы помним долгий период отрицательного, грубого и небрежного отношения учебной администрации к семьям воспитанников разных учебных заведений. Это было практикой педагогики, без всяких смягчающих около нее оговорок. Разлад между школою и семьею, с постоянным унижением второй, породил самые жестокие черты всегда возможных педагогических конфликтов. Питомцы мало хотели уважать школу и ее порядки, когда эта школа так высокомерно без всякого замаскировыванья, смотрела на их семьи, не всегда, может быть, образованные, однако всегда для них милые. Отношения к школе учеников стали холодны и формальны ровно в меру того, насколько были формальны и казенны отношения школы к родителям их. С потерей здесь интимности стали возможны всякие грубости, проявления неуважения, непослушание. Раз была испорчена соединительная среда между школою и семьей, в этой испорченной среде могли уже разыгрываться

всякие истории, самого неожиданного свойства. Во вторичном указании Государя, один раз министру народного просвещения и ныне министру внутренних дел, на семью, как лучший естественный охранитель здоровья молодых сил, авторитет ее чрезвычайно поднимается.

В большинстве случаев студенты, замешанные в беспорядки, принадлежат к тем, семьи которых не живут в университетских городах, чем главнейше и объясняется их вовлечение в беспорядки. Об этом говорит и телеграмма Государя Императора, соединяющая распоряжение о временном недопущении виновных в университетские города с указанием, чтобы «возвращенные молодые люди оказались по возможности на попечении своих семей, в обстановке, причающей к порядку». Если наказание, кроме карательного смысла, имеет и исправительный, то, конечно, невозможно придумать лучшей исправительной среды для увлеченных и виновных, как эта родительская среда, где и без объяснений они увидят, какую зияющую рану нанесли своею необдуманностью прежде всего самым дорогим себе людям. Сын есть всегда опора и надежда семьи, о чем он может забыть на минуту, в увлечении, в азарте; но решительно нельзя представить молодого человека в спокойном положении, который не почувствовал бы этого глубоко и не сознал бы великой своей ответственности и обязанностей перед стареющими родителями.

Участие в студенческих беспорядках столько носит в себе коллективности, здесь личность до такой степени подчиняется среде, что невозможно от вины личности восходить к определению ее испорченности, и непоправимой испорченности. Здесь есть чрезвычайный вред общему порядку вещей, нормальному течению учебной университетской жизни, но нет непременно неспособности виновных молодых людей к доблестному и прилежному занятию науками. Это есть эпизод, а не хроника в жизни университета, и, может быть, самое мудрое заключается в том, чтобы сделать это эпизодом же, а не постоянным фактом в биографии каждого виновного и всех виновных. Таким образом, с точки зрения самих университетов и, так сказать, отвлеченных требований, юриспруденции, милостивое решение Государя Императора, оставаясь великим актом сердца, вместе с тем не вносит сколько-нибудь тревожного колебания, в соотношение вины и наказания. Мера эта более всего педагогическая, как выражено в самой телеграмме: и она вводит эпизод более педагогический, чем политический, в его надлежащие рамки.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Особенное оживление, с которым жители и власти Екатеринбурга встретили открытие у себя художественно-промышленного училища ведомства министерства финансов, напоминает нам одну крайне ясную и весьма мало выполненную мысль. Это – децентрализация учебных заведений, особенно всякого рода специальных заведений. Едва ли не для каждого из них найдется в Рос-

сии и более соответствующий уголок, чем Петербург, стоящий на конце 600-верстной Николаевской дороги и приблизительно на таком же удалении, а часто неизмеримо большем от всякого вида натуральных богатств России, хлебных, ископаемых, лесных, да и вообще всяческих. Ни в чем так наглядно не выражается отвлеченный и вместе односторонне бюрократический, не земский характер новейшей фазы русской истории, как в зрелище августовского стягивания учащегося юношества в Петербург, куда оно едет учиться не одному мореплаванию, как можно бы ожидать по географическому положению его и пустынности окружающих стран, но и лесному хозяйству, и добычанию металлов и камней из недр земли, и всякого рода техник. Всем известно, что малолюдность наших провинциальных университетов достигает угрожающей степени, так что на филологическом и естественном факультетах там и учить некого. Между тем с этим явлением запустения и вообще захудалости провинциальных университетов можно бороться на почве не специально университетской, а общеучебной: университет падает, потому что его умственная жизнь слишком одинока и не поддерживается умственным оживлением в других, соседних сферах. Даже факультет восточных языков для чего-то перенесен из Казани в Петербург, очень мало прибавив последнему, но много отняв в учебной значительности у первой. Все теснится в Петербурге, где и без того достаточно тесно; все жмется на его улицы и площади, едва ли своим шумом, суетой и соблазнами сопутствующие сосредоточению учащихся. До чего это противостоит, и как неудобно для бедных учащихся людей, видно, например, из того, что изредка воспитанники высших учебных заведений живут или в Гатчине или в Петербурге, и по соображениям денежным и по соображениям гигиеническим. Петербург, как столица, конечно, универсальнее всякой порознь местности России, более зовет к заработку, более открывает поприще для труда. Но он более выражает собою всероссийскую биржу труда, напоминает контору при огромной фабрике. Но фабрика никак не должна совмещаться с конторой, и рабочий русский человек, — мы разумеем высокоинтеллигентную работу, — должен изготовляться в самой России, внутри ее, и уже готовым приходить в Петербург. Какая же собственно роль Горного института в Петербурге — трудно понять. Между тем, поставленный в центре Урала, он сработал бы в полтора раза более для России, чем теперь, когда ни для профессора его, ни для студента нет решительно ни единого возбудителя вокруг, и нужно им обоим переехать поперек всю Россию, чтобы найти под рукой материал для исследования в большом масштабе. Нельзя же и неудобно ограничиваться все коллекциями, а разрезы пластов земли изучать по схемам из папье-маше и картона. Коллекции заперты из 24-х часов в сутки чуть ли не 15, да и нельзя, взяв молоток в руки, начать дробить образцы. Никто не позволит. Горный институт должен находиться в центральной горной области государства. Сетования и полунасмешки, что в Пулковской обсерватории смотрят больше на облака, чем на звезды, все слышали; в применении к Академии художеств та же насмешка выразится в словах, что русские художники суть единственные, которые учатся рисовать без

света или при испорченном свете. И художники, и астрономы могут, конечно, и должны работать в Петербурге, но Петербургу они должны подать готовый фрукт своего таланта и приготовления, а готовиться в Петербурге, или (как в Пулковской обсерватории) производить непременно около Петербурга наблюдения и вычисления нет решительно никакой необходимости. Возьмем ли мы почву, природные богатства, воздух и свет, без живущих данною формою труда людей – мы найдем во всякой местности специального характера все это своеобразным, отличительным. И вот необходимо, чтобы учащийся и специализирующийся русский юноша впускал глубже корни в эту сумму своеобразных обстоятельств, чтобы он хронически, а не эпизодически обвевался и материальным, и духовным воздухом данной местности. Ведь у нас такие местности, как Урал, как бассейн Волги, как заволжские леса или черноземная полоса суть целый край, превосходящий многие государства протяженном. И для всего такого края давать одни гимназии, переносить все высшеучебное и специальноучебное в Петербург – значит излишне обременять Петербург и духовно обезлюдивать Россию.

«Лес по лесу растет» – есть хорошая поговорка лесоводов. Она выражает ту не совсем известную истину, что дерево хорошо подымается и не засыхает, если оно дробь леса, а не одиночка в поле. Тоже можно повторить об учении, о школе, особенно высшей, что она тогда цветет, когда стоит не одна, а составляет лишь цветок в цветнике. Вот почему хотелось бы, чтобы открываемые высшие специальные заведения, – а мы, конечно, накануне основания многих таковых в ближайшие десятилетия, – открывались отнюдь не в Петербурге, даже не в Москве, а по возможности в провинциальных городах, университетских и не университетских. А то умственная жизнь в провинции до того гложет, что оттуда бегут в столицы и люди без всякой нужды, без призвания, без необходимости: просто, как в центр духовного оживления. Между тем таким или подобным приблизительно ожиданием должна жить вся страна, а не пункт столь удаленный от ее коренных пространств.

К ВЫРАБОТКЕ УЧЕБНИКОВ

Недостаток наших учебных руководств, особенно принятых в гимназиях, факт до такой степени выясненный и удостоверенный, что о нем никто не спорит. Между тем качество учебника не менее значительно и влиятельно, чем качество учителя, ибо отношение ученика к учебнику еще теснее, еще постояннее и еще зависимее, нежели к учителю. Учитель может в беседе поправиться; что он не договорил или переговорил – ученик может мысленно поправить, многого из сказанного учителем и неудачно сказанного ученик не расслушал, класс не выслушал внимательно. Но в учебнике каждая строчка точно выгравирована на меди читается со вниманием, как цифра на кредитном билете. Ибо каждая строчка там должна запомниться, быть понятна и усвоена. Можно без преувеличения сказать, что ни Пушкин, ни Гоголь не известны, не изучаются и не

читаются у нас с таким «вниманием и прилежанием», с такою вдумчивостью в каждые 5 – 10 строк, как...маленькие книжки Иловойского и Смирнова! Между тем какова цена этих книжек? При значительной цене на обложке внутренняя их ценность заставила бы быть скромным в предложении такого товара всякого букиниста. Выучиваемые с таким «вниманием и прилежанием», они составлены без всякого «внимания и прилежания», языком аляповатым и с крайней небрежностью в распределении и освещении научного материала. И воспринимаются они из страницу в страницу и из строчки в строчку не год, не два, а восемь лет, самых впечатлительных и нежных лет, когда все и навсегда отпечатывается на душе, как на мягком воске. Глубокая литературная безвкусица нашего учащегося юношества, упадок вообще литературной чуткости в обществе не могут не быть объяснимы в значительной степени губительным влиянием учебников в отроческом и юношеском возрастах. Кто восемь лет жевал такую макулатуру, – надолго, если не на всю жизнь, утратил восприимчивость к поэзии и искусству слова.

«Объявление во всеобщее сведение» некоторых распоряжений ученого комитета министерства народного просвещения касательно составления учебников, напечатанное у нас в № 9619, – указывает, что министерство признает за обществом некоторое право недоумевать, и иногда горестно недоумевать, о характере этих учебников, которые нельзя не назвать «пресловутыми». Это те же «чехи», только домашнего изделия, и не в мундире, а в грошовом переплете. В самом деле, если законна претензия родителей к учителю, который не может объяснить ученикам урока на правильном русском языке, – то еще законнее их претензия на учебник, ибо это последний «просмотрен и рекомендован» начальством, да и просмотрен он тоже из страницы в страницу и из строчки в строчку. Можно сказать, «одобренность» некоторых учебников есть вещь прямо непостижимая. Ее можно объяснить только тем, что при перемене программ, когда новые учебники требовались торопливо, в сроки приблизительно одного года, одобрялись первые представленные в ученой комитет, так как ученики в августе уже сидели на партах и ждали учебников, которых им решительно неоткуда было брать. Бывали случаи, что важные перемены в программе какого-нибудь одного или двух предметов опубликовывались в апреле или мае, в августе приходилось применять новую программу, и, таким образом, новый учебник должен был быть изготовлен и отпечатан, а затем еще «рассмотрен и одобрен» между апрелем и августом. Понятно, что в изготовлении его больше старался типографский метранпаж, чем «ученый составитель», и что такая спешная работа бралась на руки уже таким «мастером в составлении руководств», который сомнений и колебаний не знает, который текст не столько пишет, сколько стрижет ножницами, только покрикивая метранпажу по телефону: «То-то выбросить», «это-то вставить», и преспокойно выстригает «Альпийские горы» из одного старого руководства, Наполеона или Александра Македонского, – из другого, а все вообще из какого-нибудь третьесортного немецкого руководства. Спешность, конечно, многое оправдывает; но таким первым фруктам при перемене

программ следовало бы от ученого комитета выдавать «одобрение» не постоянно действующее, но в особенной условной форме: напр., по формуле «временно одобрен», «одобрен на три года», «одобрен впредь до появления лучших». Ведь, напр., учебники географии Смирнова давно превзойдены по качествам учебниками Семенова, Янчина и очень многих других; но они вышли при первом введении новых программ, захватили в свою монопольную власть гимназию, приучили к своему поистине учебному «жargonу» вместо учебного «языка», и сделали почти невозможным соперничество с собою других учебников, почти парализовали желание составлять еще учебники, составляя их почти без всякого шанса на успех.

Итак, нам думается, «временное одобрение» вместо постоянно действующего было бы первою гарантией солидной заботливости составителей учебника насчет качеств этих последних. Далее, следует напомнить о предложенной несколько лет назад в нашей печати мере, чтобы имя члена ученого комитета, которому было вверено рассмотрение данного учебника, и он его «одобрил», было непременно обозначено на учебнике. В настоящее время такое одобрение делается безлично; и учебник, иногда очень странных достоинств, вызывает ропот против своего составителя, обыкновенно учителя какой-нибудь гимназии, и вообще против ученого комитета министерства народного просвещения, допускающего такие учебники. И ускользает от основательного нареkania единственный виновник распространения неудачной книжки, именно рассматривавший и «одобрявший» ее член ученого комитета. Две эти меры, нами указываемые, ввели бы осторожность и осмотрительность как в «составлении», так и в «одобрении» учебных руководств. Наконец, есть еще две для этого меры. Одна из них заключается в составлении руководств, хоть некоторых, силами самого министерства народного просвещения, через труд коллективный, через труд особо назначаемых для этого комиссий. Таковыми особенно могут быть руководства по предметам курса, каковы особенно науки математические, механические, география и проч. Мера эта не применима к таким предметам, как история или литература. Здесь труд должен быть индивидуальный, а составитель должен быть литераторен. К таким предметам применима вторая мера, на которую мы хотим указать: фиксирование глаза министерства на каком-нибудь руководстве, уже признанном прекрасным и давно признанном, но которое в гимназиях не употребительно, потому что не отвечает потребностям и частностям программы, позднее этого руководства появившимся. Программа министерства, именно в ее частностях и подробностях, не представляет чего-либо безусловно неизменяемого, и есть обыкновенно результат только взгляда на данную науку того члена ученого комитета, который или единолично ее выработывал, или принимал большое участие в ее выработке. Вообще министерству, к тому же нередко меняющему и «дополняющему» свои собственные программы, нужно смотреть на них, как на общие рамки проходимого в гимназиях курса, без придачи им особенного и непоколебимого значения. Сами эти программы суть до известной степени «временно одобренные» продукты мысли и труда педагогического. Раз такая точка

зрения, правильная и скромная, будет допущена в министерстве, то ему совершенно невозможно будет фиксировать свой взгляд на определенном превосходном руководстве по данной науке, составить самую программу по этому руководству и указать его к постоянному прохождению.

ЧЕМУ Я СМЕЯЛСЯ

На дворе каплет. Присматриваю дачу. И, в предвкушении новых, вспоминаю о старых удовольствиях. Одно было очень забавное.

Я шел по Знаменской улице, с тем легким и радостным сердцем, какое чувствуешь в себе, когда кончены все обязательства, «должности», все суровое и тяжеловесное, и, отпустив прощальный «реверанс» делу, повертываешься и делаешь приветный «реверанс» отдыху. Была суббота. Еще два часа – и я у своих на даче. На переходе какой-то улицы я увидел на окне кондитерской крошечные корзиночки с мохом и красными, должно быть, сахарными яичками; подражания расколотому большому яйцу, из которого лезет ребенок; и проч. Не столько потому, что хотелось, сколько потому, что было весело, я зашел туда. Все было непрезентабельно.

– Хорошо. Заверните мне то-то и то-то. Ничего особенного, но все-таки. Откуда же у вас игрушки, ведь это кондитерская?

– От Пасхи осталось.

– От Пасхи? Так давно!

Шла середина лета. Стояла ужасная пыль и духота на улице и в кондитерской.

– А может быть, у вас что-нибудь еще осталось?

На вопрос этот толстая хозяйка кондитерской пошарила что-то внизу и, вытащив серые маленькие коробочки, раскрыла их и стала выставлять на прилавок вещи. Какие – пока не скажу. Они сперва просто заняли меня, и я, отложив старую покупку, велел положить себе новых вещей, сперва без разбору, но потом... Чем больше я в вещи вглядывался, тем более они меня поражали пластически возможностью какого-то ужасно странного сходства, неожиданного, невозможного и, однако, действительного. Я замедлил покупку, отодвинул случайно взятые вещи. Теперь я выбирал, присматривался, сравнивал и очень смеялся. Наконец, окончательно решив, приказал хозяйке завернуть и, смеясь, вышел на улицу.

– Ну вот, покупка. Угадают ли? Если нет – весь смысл ее пропал. Однако же угадал я. Но я мыслитель, взрослый, а то – дети, и еще такие маленькие. Однако – может быть; тогда будем ужасно смеяться. Какое сходство!

И в сомнении я торопился на Финляндский вокзал. По всему вероятно, ни у кого не было ни в Териоках, ни за Териоками такой дачи, как у нас. От большой улицы, как всегда, пыльной и скверной, шел вправо, к горе переулочек сажень в тридцать – пятьдесят. И в его тупичке были расположены три совершенно уединенные небольшие дачки, за забором которых была

крошечная лужайка и сейчас же начинался лесистый подъем на высокое плато, откуда чудный вид на море. Три дачи были заняты нашими тремя дружными семьями. Как известно, «не купи дом, а купи соседа». Но у нас к прекрасному дому были и прекрасные соседи, и все – с маленькими детьми, однако старшие моих, совершенные крошки.

Доехав до платформы с пол минутой остановки, я сел на знакомого мальчика-чухну, и он помчал меня с небольшого подъема на подъем по восхитительнейшей дороге, лесной, без пыли. Отчего так скоро бегут финляндские лошади? Я спрашивал петербургских извозчиков, и они говорили мне, что – от малой работы. Но лет пять назад я ездил в Халилу, в санаторию. От станции Новой Кирки путь до санатории был верст двадцать и положительно шел с горы на гору. Всякая русская лошадь положительно бы устала, пошла где-нибудь шагом, «поташилась». Но чухна, не шевелясь, не прибегая к кнуту, сидел мячиком на козлах. Нас было двое ездовых, один – тяжеловесный. И милая лошадка мчала нас «духом» все двадцать верст, так что, хотя поездка была очень грустная (к больному), и до сих пор не могу вспомнить без удовольствия самой езды.

Все ожидаемое почему-то неинтересно, а неожиданное – весело. Это нечасто случалось, до странности нечасто, что, возвращаясь домой, проезжая, гуляя – я издали, т. е. как турист или наблюдатель, вообще как посторонний не свой человек замечал толпу своих детишек, и они в этих случаях нечаянной встречи всегда производили на меня впечатление новизны, незнакомаго, чужога – и в силу-то этого ужасно родного. Так было и этот раз. По сторонам дороги шли канавы, а за канавою до забора – узкая полоса земли с протоптанною тропкою. И вот в быстрой езде видишь, как какая-то мелюзга ковыляет вдали. Ничего не думаешь, почему-то ничего не ожидаешь. Но приближаясь, что-то узнаешь скучающим взглядом, заинтересовываешься. И, замечательно, гораздо раньше, чем по платью, узнаешь «своих» по походке. Платье – только окончательное подтвержденье. Да, эти старые с грязными пятнами пальто – только у наших. Шляпок я никогда не помню, потому что не участвую в их покупке. Но сморщенные, некрасивые, белесоватые пальтеца – наши. И вот они идут все, сюда спинками, лицом к дому, скучая и переваливаясь, точно муравьи по дорожке. Ножки все заплетаются, получается какой-то узор ходьбы, и, главное – такие же маленькие, глядя сверху дорожек, кажутся уже совсем маленькими. Впрочем, они и в самом деле маленькие. «Стой!». Но уже окрик мой привлек их внимание, и через канаву, не разбирая экипажей, не боясь лошади, – они уже все около колес и заносат ножку на ступеньку. Бонна едва поспевает. Крики восторга тоже от неожиданной встречи и приезда домой «вместе с папой», к удивлению мамы, – завершаются каким-то киселем у меня на руках, который кричит, бьется и понукает ямщика ехать скорее. Но он едет осторожнее. Я замечал, что никогда-то ямщики не утомляются остановиться, переждать, «прокатить» при езде детей. Может быть, они скучают «должностью» ямщика, – и минутный эпизод и для них тоже эпизод; антракт и зрелище. Во всяком случае, кучера и ямщики – друзья детей.

Наконец мы дома, и на обширной, почти богатой веранде огромный стол послан белоснежной скатертью. Самовар фыркает самым восхитительным образом. Молоко, яйца, творог, бифштекс – все зовет к вниманию. Но я ничего не хочу, кроме чая, и серая коробка с неизвестным содержанием стоит загадкой на столе. До нее никто не дотрагивался. Никто не смеет дотронуться. Мама заинтересована почти как и дети. Все веселы. Когда удовольствие впереди, а не позади, будет весело.

Папа ни малейше не торопится, ибо он знает содержание коробки, и ему не к чему спешить. Он господин положения дела. Ему докладывают, все ли дома в исправности, не было ли каких случаев и какой, наконец, заказан суп. Если он любит привозить подарки, то и его не забывают встречать подарками. Все в мировой гармонии. Но стакан отодвинут, коробка спрятана под стол, и из нее выходит – замшевый слоник.

Растопырив толстые ноги, склонив плоский затылок, с выпученными глазами, коротким хвостом, он стоит квадратною фигурою на столе и неуклюже кланяется точно себе самому в ноги. Голова одна подвижна, приделанная на каком-то шпильке. Эта голова ушла в туловище. И вся фигура его неуклюжая, толстая, однако основательная.

– Ну дети, на кого же из вас это похоже?

Ни малейше не удивлены все этим вопросом. Все приглядываются. Задумчивы и улыбаются.

– На Веру.

Значит, покупка не сделана напрасно. Действительно, в лавке меня поразило изумительное и, в сущности, невероятное сходство фигурок зверьков не только с пластикой тельца, но и с духом, колоритом моих детей. Сперва мне показалось там, что я обманываюсь: что это фантазия или случай. Да и что общего, «похожего» между слонем и человеком, слоником и девочкой. Но вот подите же – похоже. И не знай мы характера Веры, всего ее поведения, пожалуй, сходство и не пришло бы на ум. Сказать, что этот слоник был похож решительно на всякую толстую девочку, – нельзя. Он похож именно только на одну мою Веру и именно на дух ее, на дух более, чем на фигуру, хотя именно похож только своею фигурою, кроме которой ничего и нет в игрушке. Веру свою теперь я называю «мудрою девой», ибо она держит нравственный камертон в детской, не допускает детей до неприятных и вредных шалостей, и вообще не допускает ничего неблагоприятного, явно нелепого или худого. А когда дети одеваются гулять, она им застегивает пуговицы на галوشах, как равно помогает маме или бонне раздевать детей. Помощь и дело – ее сфера. Прокказа – враждебное ей существо. Как же не похож на нее слон, который есть сама мудрость?!

– Ты находишь, Вера, что он на тебя похож?

Она смеялась и ничего не отвечала.

– Но ведь и в самом деле похож! – с совершенным изумлением и весело сказала и мама.

Мы могли бы ошибиться, но угадали дети – и значит, глаз папы не сделал ошибки. Я поставил на стол вторую фигуру.

Сжатое, легкое, с пятнышками, желтоватое тельце жирафы высоко вытянуло шею и помавало, едва заметно, изящной, с начатками рогов головой. Ушки так прелестно торчат. Вот сейчас побежит, – но еще не бежит. Все на нее любуются и она знает, что любуются, и затаивается, в каких-то начатках кокетства. Все сжато, изящно, все поднято вверх, к духу.

– На кого похоже?

Оригинал уже затаился, сконфузился и толстая Вера разрешила:

– На Таню.

И засияла довольством, что угадала.

– На Таню, – подтвердила и Варя.

Мама была совершенно поражена, ибо сходство было очевидное.

Опять повторяю, что этому никто не поверит, читателю покажется это смешно, и, если бы мне кто сказал раньше: «Пойди и выбери в игрушках зверей, похожих или возможно похожих на твоих детей», – я бы не сделал и шагу. Это случайная покупка открыла такую почти психологию. Напр., сделай у жирафы спину горбом – и сходства не было бы. Будь она удлиненной, а не ввысь фигурой – опять сходства не было бы; наконец, будь совершенно недвижна или с торопливыми, изящными движениями шеи – опять не было бы сходства. Здесь же дух Тани как бы почил на жирафе. Пожалуй, – не верьте, я рассказываю, что было.

На стол поставлена третья фигура.

Это была зебра – прежде всего меньше и слона, и жирафы. Две ножки, выставленные вперед, сообщали ей упорство, упрямство. Она уперлась и стоит. А как шея ее пропорционально телу длинна и горизонтальна, а не вертикальна, как у жирафы, то от постановки (удара) на стол она быстро-быстро замотала головой. Но это бы еще так себе, полной картины нет. Но дело в том, что сделанная из белой щетины грива была обстрижена коротко, торчала кверху, как гребень, и, загнутая по шее «дугой», образовывала совершенно фигуру стриженной, белой, жесткой, упрямой шевелюры Вари. Все покатались со смеху и, указывая именно на гриву – быстрое качанье головы, – воскликнули:

– Варя! Варя! Коечно, – Варя!

Но она уже сгребла в руки зебру и присвоила. И опять – дух, и несколько не тело. Осел – упрям, зебра – вероятно, тоже, а моя Варвара, верно, упряме всех их. Несмотря на то, что она третья и совсем крошка, ее не побеждал никогда никто. Темная комната, шлепки, – а главное, никакая энергия в наказании никогда не пересиливали ее энергию, напр., кричать, если ее лишили пирожного, или кричать же, если вообще она чувствует себя обиженной. Поди разбирай детей, почему и как они обижены, но с определенной минуты начинается крик Варвары, огромный, широкий, на всю квартиру и неумолкающий, точно ей машина вставлена в горло. Мама уже приучена. «Отец, поди ты справишься с Варварой». И уже почти плачет. Но что же я могу сделать, кроме как победить в качестве более взрослого?!?! Т.е. усилить наказание. Но ее наказываешь, а свисток парохода в ее горле так же свистит, т. е. крик все

так же силен, резок, могуч. Я называю криком, хотя это кричащий, несносный плач. И какое дьявольское упорство.

Через три часа, т. е. уже помирившись, спросишь:

– Варя, больно я тебя наказал?

– Нет, не больно.

И никогда не скажет: «Больно». Это – сущий ослик, или – зебра дикая. Никто не видал ее покоряющеюся, умиленною, очень нежною. Играет всегда в сторонке от детей. А если присоединится к игре их, то грациозно, с готовностью всегда отстать, без тоски, – если не пустят, и без мольбы, – чтобы пустили. По упорству в наказаниях и вообще по непобедимости мы называли ее каменной. Сердитыми глазами она смотрит на вас в углу, полу-повертывая белою голову, и цедит сквозь зубы:

– Папа – кака.

– Что-о-о?!!

– Папа – кака.

Но как уже утомлен я сам наказанием, то бросишь на этот раз. Примирение, т. е. новая, свежая психология вырастает через два часа. Тогда скажешь идущей мимо:

– Варя, иди поцелуй папу.

И она сильно и ласково вскочит в руки. Без неги и тоски, вообще без психологии, как другие, но очень ласково, свежо и сильно играет в руках.

– Ты кого больше всего любишь?

– Папу и маму.

– Потом?

– Потом Таню, Веру, Шуру, Васю.

Никогда не сделает ошибки и не назовет сестер впереди родителей. У ней какой-то фронт и выправленность по фронту духа. И так она вся, точно крошечный генерал. Я уже сейчас боюсь, пожалуй, предвижу, что она будет обижать сестер, отодвигать их в сторону, вообще эксплуатировать. Ибо гордость и эгоизм ее непреборимы, и – совершенная ко всем холодность. Плотная, здоровая, красивая – она точно «сумма способностей» без веяний сверху; без души и поэзии. Разнообразными привязанностями мы к каждому ребенку привязаны, интимно, внутренне; индивидуально; как мы все любим самую маленькую, «пупочка». И она нас ответно – именно лично, особенно, вовсе не как «вообще ребенка». А Варвара в доме стоит как статуя. И особенно мне не нравится, что она самая красивая, с ямками на щеках, прекрасного, хотя невыразительного склада лица. Если при холодности души – да еще красоты, то будет беда. Она забудет сестер, бедных и нервных, впечатлительных и благородных. Эта – камень, а из тех – Вера всем служит, а Таня – во все впивается. Варвара въедет на них, как пароход, – на мель.

Ранние тревоги, вы скажете? Ах, как все не рано относительно детей.

1903 год

МИМОХОДОМ

(Из случайных впечатлений)

Созерцания очень обширные, наблюдения многолетние иногда, как в фокусе своем, собираются в одной точке, в одной минуте, в какой-нибудь мелькнувшей и даже молчаливой сцене или картине. Тогда она всякий раз припоминается, когда вы обращаетесь душою к давно излюбленному предмету.

Это было лет шесть или семь тому назад. В один из будней самого будничного петербургского времени, я сел на Введенскую конку, что на Петербургской стороне, чтобы перебраться на Адмиралтейскую площадь, откуда было уже недалеко до места моей службы, на Мойке. Дождь, едва моросивший при выходе моем из дому, все более усиливался, и когда конка остановилась, и я вышел из вагона, дождь шел положительно сильно и неприятно. Развернув зонт, я зашляндал в резиновых галошах по мокрому граниту декадентской Пальмиры, машинально, тупо, гнусливо. И вот уж неподалеку Мойка — и враждебное толстое здание с металлической на фронтоне вывеской, где я служил. И всегда оно было мне противно, но в этот день — дождливый и когда душа была какая-то особенно усталая — я смотрел на него издали, приближаясь, с особенным отвращением. Чтобы посуше дойти до него, я наметил подняться на высокий гранитный тротуар Мойки (и стоило такую лужу обдeldывать в гранит!), но впереди меня очутилась еврейская фигура, кажется, еще меньше меня ростом, еще бессильнее, и в чуйке (длиннополом сюртуке, какие рисуются на стрельцах времен Петра Великого, или в каких ходят по самым захолустным базарам приказчики). Дождь, который падал у меня на зонтик, обливал бедную фигуру еврея и тек ручьями у него по спине, плечам и с жалкого картуза. Тротуар Мойки, заметил я, в этом месте (на углу Марининской площади) очень высок, и поставив ногу на него, еврей сделал скорее кошачье-ловкое движение, нежели львино-сильное, и поднялся на огромную гранитную плиту раньше, чем я подошел сюда. Поднялся и остановился, обернувшись к воде, в каком-то созерцательном настроении. Меня он не видел, да и вообще стоя спиной к домам, предполагал себя совершенно одиноким. Это был «прасол» по физиономии и костюму, что-нибудь скупавший, вероятно, не имевший (для столицы) исправ-

ного паспорта, – и вообще утлость существования, «борьба за существование» ярко говорили из его фигуры, из позы, из лица. Он положил старую руку на бруствер набережной, и полуоперся на нее. Спина его была очень сутуловата. Лицо не только похоже, но до изумительности похоже на лицо Биконсфильда: и прическа волос, и козлиная бородка, и выдававшиеся скулы. Но главное – усталость! усталость! Я сам замер от изумления и остановился, и долго-долго смотрел, как зачарованный, на единственный раз в жизни увиденное пластическое изображение идеи *человеческой усталости!* Как будто все века исторического бытия повисли на горбе (очень сутуловатая спина) этого еврея, стараясь опрокинуть его назад, но он все же перегнул этот горб вперед, но, перегнув, – замер, остановился. В одну секунду у меня пронеслось в воображении, что ведь по прямой линии его праотцы брали проценты в Риме Клавдия и Нерона, а другие, еще более дальние предки изображены униженными, просящими, склоненными на египетских обелисках! Вся история жила в стоявшей передо мной фигуре. Я уже не чувствовал дождя, ни Петербурга. Как все это ново и мимоидущее! Как стар, исторически стар этот прасол! Даже наши Рюрики и Труворы – молодежавшие юноши перед ним. Все – юно, он – старее всего. И «борьба за существование», так ярко говорившая из его фигуры, опять же мне представлялась не в зоологическом своем виде, не как гипотеза о происхождении жирафы и белых зайцев, но в каком-то глубоком одухотворении, как Немезида, как Рок, как Бог. Мне почувствовалось, что и надо мною и над ним стоит Бог: но меня Он ведет за руку, как мальчика, с которым нечего разговаривать, напротив, с этим старым человеком Бог разговаривает уже в силу его исключительной древности. «Что мы все знаем о человеке, что мы понимаем об истории, мы – мальчишки, – пронеслось у меня в уме, – если кто и понимает что-нибудь – то вот такие чуйки *из этого племени*». В самом деле, Салманассар и фараоны, и ассирияне – для него то же, что для нас древляне и кривичи, т.е. понятны внутренним пониманием, а не внешним, долетевшим до слуха, звуком. Для нас, *новеньких* (говорю о русских), вся история – только алфавит звуковых знаков; через наши жилы не течет кровь, вышедшая из сердца римлян, у нас не болит *дальнейшей балью* печень, уже заболевшая в Греции, ни одна извилина мозга не продолжается под нашим черепом, идя без перерыва из черепа Валтасара. А в этом «ожиде»... чего, чего в нем нет! Он переспорил Валтасара, ушел с иронией от фараонов; это *его* законодатель, *родной ему человек* (поразительно! поразительно!) плавал в осмоленной корзинке в Ниле, и его вынула оттуда пришедшая купаться царская дочь! Изображения в наших церквах *суть внутренние события* из жизни этого народа, – и еще поразительнее станет смысл этого, когда обратишь внимание, что они даже не хотят войти в наши церкви, чтобы посмотреть, казалось бы, с понятным национальным тщеславием: «А ну, как молятся христиане, русские, французы на нашего Моисея, плавающего в корзинке по Нилу». Можно ли представить себе, чтобы русский, француз, англичанин, римлянин, грек, кто угодно, не вошел в чужеродный храм посмотреть на *родные свои сюжеты, ставшие там предметом изумления, восхищения, поклонения?* Но евреи ни малейшего не имеют любопытства войти и посмот-

реть, как мы, в сущности, «молимся» (ибо ведь *кланяемся*) образам Елисея, Илии, Исаии, Моисея, «Ионы во чреве китове» – все сюжеты их исторических книг, события семьи их, быта, хроники.

Ученые монографию за монографией пишут о тмутараканском камне или об элевзинских таинствах, «о которых ничего не известно» (resumé множества трудов), но насколько же интереснее это истинное «элевзинское таинство истории», которое значит под вывеской всего в четыре буквы: «ожидь». Мы любим исторические камни: но, Боже, их полустершиеся и иногда совершенно глупого (ничтожного) содержания надписи, что вот такой-то Тиглат-Палассар «совершил четвертый поход в предгорья Армении», – что они значат в смысле занимательности и поучительности сравнительно с бездной, со множеством пересекающихся «надписей», чертящих фигуру, характер и быт еврея, которые только надо уметь прочесть; надо их уметь разобрать, и отнести каждый завиток такой надписи – то к подножию пирамид Египта, то к стенам Вавилона, то к памяти финикийян. В русском мужике сейчас неужели мы не найдем черт Ильи и Добрыни? Да слова об Алеше-Поповиче: «У Алеши глаза завидушие, у Алеши руки загребушие» – повторяются и сейчас, как живой портрет. Очевидно, что если обелиск Руси являет те же надписи в 1902 году, что в 902-му году – по крайней мере, многие, по крайней мере коренные – то и обелиск еврейства хранит в 1902 году много-много такого, что уже было на нем написано за 1900 лет до Р. Х., особенно при исключительной внутренней неподвижности и тождестве самому себе всегда этого племени.

ЗАКОН И БРАК

(По поводу проекта нового Гражданского Уложения)

Позволяем себе коснуться двух сторон брака, *биологической* и *бытовой*, едва ли вызвавших к себе достаточно внимания со стороны специалистов юриспруденции, вырабатывающих в настоящее время для России новое Семейное Уложение.

I

Возраст брачующихся. Он оставлен проектом в прежней гражданской форме 18 лет для жениха и 16 лет для невесты. Но в предварительных совещаниях комиссии, вырабатывающей новое Гражданское Уложение, произошли большие колебания, большею частью в сторону повышения существующей нормы. «В среде комиссии, – говорит сенатор А. Л. Боровиковский в своей брошюре: «Брак и развод по проекту Гражданского Уложения», – возбуждался вопрос о повышении брачного совершеннолетия, по крайней мере для мужчин, до 21 года. Помимо соображений физиологических, в пользу такого повышения говорит и аргумент юридический – юридическая несообразность положения несовершеннолетнего мужа: глава семьи, остающийся под опекой» (стр. 9). Это как бы не-

ловкость юридическая едва ли есть серьезный аргумент, ввиду того, что брак есть более всего институт *биологический* и *бытовой*, около которого юриспруденция играет побочную вспомогательную роль; ни в каком случае не главную, ни в каком случае не господствующую. Возраст же брачующихся есть почти главная часть биологической стороны брака; и здесь должны быть приняты в самое тщательное внимание тайные пороки, постигающие огромный процент отрочества и юношества обоего пола, калечащие здоровье его и умственные способности, и навсегда расшатывающие способность к будущему здоровому прохождению семейной жизни. Вообще комиссия тогда будет стоять на высоте своих задач, когда станет рассматривать брак не изолированно, но в связи с болезненными и социально-ядовитыми суррогатами, каковые при всякой порче или затруднении брака немедленно появляются на опустошенном от него месте. В возрасте поздней юности и раннего мужества таким суррогатом является проституция и «падения» обоего пола («соблазнения», «обманы»), а в более раннем возрасте – так называемые «отроческие пороки», растлевающие душу и тело. Этот биологический момент до того важен, что перед его серьезностью отступают все другие. И ввиду возможности, по крайней мере для частей населения, избежать печальных брачных суррогатов, именно, во-первых, для сельского населения, живущего до известной степени на подножном корму, и во-вторых, для людей большого достатка (купечество, дворянство, богатое духовенство и мещанство, люди свободных профессий) мы предложили бы возвращение к норме брачного возраста, отмененной всего 70 лет назад: именно 13–14-ти годам для невесты и 16–15-ти годам для жениха (церковная каноническая норма). Ею не воспользуются все, для кого это неудобно по экономическим и социальным причинам; но было бы печально помешать ее осуществлению хотя бы для очень немногих индивидуальных семей. Аргументы в пользу ее следующие:

1) избежание уже названных патологических суррогатов;

2) внутрь брака попадет первая и самая чистая, невинная любовь молодых людей, чаще всего наступающая в этом именно возрасте. Не удовлетворяемая, она обыкновенно теперь рассеивается и возобновляется 2–3–4 раза до брака, образуя так называемые «романы», «увлечения», иногда «несчастия»: все то, что не составляет никакой необходимости и что, при нормально текущей семейной жизни, рано наставшей, растворилось бы просто в ее горячность, теплоту и живость;

3) в столь нежном возрасте невозможны корыстные браки (плутовские браки – позволю себе жесткий термин о глубоко антипатичном явлении);

4) в возрасте этом брачующиеся еще столь гибки, податливы в характерах своих, настолько еще не закоренили в привычках, что, начав совместную жизнь, конечно, в лоне еще родительской семьи, могут взаимно поддаться и приноровиться друг к другу, как две мягкие восковые свечи;

5) только при допущении этого возраста возможно было бы допустить восстановление права на брак для молодых крестьян, подлежащих отбыванию воинской повинности. Вопрос этот страшно серьезен. Стародавние, хоть и грубые, заботы помещиков о приплоде крепостных рук установили в крестьянстве нашем привычку, обычай почти всеобщий, жениться в 18 лет.

Теперь, когда берутся в воинскую повинность крестьяне 21 года, закон находит, что три года брака перед долгою разлукою слишком большое искушение для его твердости, для верности, как мужа, так и жены, — и закрыл для таких молодых людей брак, конечно, обрекая их на солдатское пользование проституциею, каковое и внесло в деревню ужасные болезни, да и вообще привычку к разгулу и непотребству. Это стало одним из громадных факторов расшатывания деревни и коренных русских устоев. С недопущением брака для 16-летнего деревенского парня, в каком возрасте он, конечно, совершенно к нему способен, и женился до самого 1830 г., — семейная жизнь до воинской повинности протекала бы пять лет, в какой срок благотельно бы укреплялась любовью и детьми. Если к этому прибавить право побывки домой каждого солдата хоть на $\frac{1}{2}$ года во время самой середины службы, пусть с отодвиганием на $\frac{1}{2}$ года срока окончания ее, причем общая ее продолжительность сохранилась бы прежняя, то этим совершенно разрешился бы вопрос об устранении громадной раскачки народного быта и здоровья.

Проект комиссии останавливается на вопросе, не следует ли отменить право архиереев разрешать «довозрастные браки», именно 15 $\frac{1}{2}$ лет для невесты и 17 $\frac{1}{2}$ лет для жениха. А. Л. Боровиковский основательно оспаривает предполагаемые мотивы такой отмены: «Заранее с уверенностью можно сказать, что если бы комиссиею были собраны статистические по этому предмету данные, то оказалось бы, что таковые разрешения даются почти исключительно не крестьянам, как предположила комиссия, а высшим сословиям и что наиболее обычное основание ходатайств о таких разрешениях — беременность невесты» (стр. 6). Слова эти лучше всего парализуют все возражения о незрелости к брачному сожитию ранее 16 лет невесты и 18 — жениха. Возраст наступления половой зрелости чрезвычайно колеблется для индивидуальных случаев, и здоровый сын здоровой семьи, равно и дочь, получает таковую зрелость, например в том же Петербурге, года на 2, а иногда на 3, ранее юных рахитиков, слабогрудых, нервозных или малокровных субъектов. Закон должен тут несколько ограничить себя и дозволить усматривать самим родителям по признакам, только им известным, наступление или ненаступление брачного возраста. Он поэтому должен ограничиться самой низшей (молодой) нормою бываемого. Ибо этим позволением младшей нормы закон нимало не уторопит браков. На вопрос: что для народного здоровья вреднее, для социального организма опаснее, брак ли 16-летнего с 14-летней (возраст Ромео и Юлии) или брак 59-летнего с 16-летней (норма, совершенно дозволенная), всякий вместо ответа рассмеется: конечно, первый брак нравственнее и живее! А если он таков, он и дозволительнее второго; а как второй не воспрещен, должен быть разрешен и первый.

Проект основательно распространил норму возраста для туземных жителей Кавказа (15 и 13 лет) на тамошних уроженцев православного, римско-католического, евангелического и армяно-григорианского исповедания; а равным образом на жителей других местностей империи одинаковой географической широты и климата. А. Л. Боровиковский несколько оспаривает необ-

жидимость этого исключения, проектируя скорее подведение южных жителей под норму северных, чем наоборот. Но по соображениям, уже изложенным, мы вполне присоединяемся к этим маленьким изменениям проекта против существующего, снова указывая, что родителям должна быть дана широта полномочий в определении брачного возраста своих детей. Государство, не запрещающее работать на спичечных фабриках (около фосфора) 11 – 12-летним детям, у каковых от этого образуются на теле раны, – тщетно уверяло бы, что забота о здоровье населения мешает ему позволить жениться 17-летнему рабочему в Петербурге, знающемуся с проститутками, на 15-летней девушке, собирающейся в родильный дом разрешиться от бремени. Все позволительно для закона, кроме наивности. «Закон незнание жизни да не отговаривается» – перефразируем мы известное изречение Зерцала: «Никто да не отговаривается незнанием закона».

II

Проект нового Гражданского Уложения статьями 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й «ставить общими для всех исповеданий условиями брака разрешение родителей (ст. 3), усыновителей (ст. 4), и опекунов учреждений (ст. 5-6, 8)». А.Л. Боровиковский не высказывается против этих положений, между тем в неограниченности и юридичности этого принципа, основательного лишь морально, лежит такой имморальный факт, как принуждение родителями детей к браку, для них неприятному, но «расчетливому» или «необходимому». Разве в 100-миллионном населении нет родителей, истязающих своих детей, даже в малолетстве? К взрослым детям чувство еще менее деликатно. Простые слова: «Ты за другого никого не выйдешь замуж, кроме как за этого глупого и богатого господина, на брак с которым мы единственно дадим *требуемое от нас законам согласие*», – такие слова решают участь девушки, которой если не выйти за любимого человека, то все равно, за кого бы ни выйти. Зная этот общечеловеческий закон, родители и принуждают дочерей выходить замуж за определенного нелюбимого человека через простой запрет выхода за определенного любимого человека. Совершенно справедливо, что авторитет родительской власти чрезвычайно важен, и важен мир семейный, в силу принципа которого дети должны советоваться с родителями перед замужеством, женитьбой. Но это есть именно принцип (*направление жизни, направление течения мыслей*), который опасно переводить в закон, т.е. в абсолютное требование, дабы не опротивел сам принцип. *Прикажете мне всех любить – и скорее всех возненавижу; посоветуйте мне это – и я исполню.*

Брак имеет сердцевиною биологию, а закон последней таков, что предыдущее (родители) отступает перед требованиями последующего (дети): таков до известной степени рок истории, рок отдельных семей. Дети смотрят вперед, вдаль от родителей; брак есть именно отхождение от родителей, отрыв от родного гнезда, вылет из старого гнезда. Да будет благословенно всякое чадо, оглядывающееся и всегда помнящее родившее и выно-

свишее его гнездо: но был бы нарушен весь смысл биологии, если бы этот совет мы перевели в правило, в определенный юридический закон: «До самой старости не вылетит из гнезда всякий, если это не отвечает воле родителей». Проектируемый закон даже не определяет, до какого же возраста сына или дочери простирается воля родителей препятствовать их браку? Ведь так отец Скобелева, дивизионный генерал, мог не разрешить жениться сыну, корпусному командиру? Тут могут выйти случаи, не только очень опасные, но, наконец, и смешные по несообразности.

III

«Объявленные неправопособными по расточительности, либо привычному пьянству могут вступать в брак лишь с разрешения высшего опекунского установления». Так говорит 8 ст. 2-й части проекта. Мы присоединяемся к этой мысли, насколько в ней содержится серьезная угроза мотовству и пьянству. Но не содержится ли здесь и устранение лучшего целебного средства? Мот, в пьяном виде женившийся, есть пагуба общества, жены и детей: но если для доброго и великодушного пьяницы мелькнула возможность настоящей любви, встретила ли девушка исключительных качеств? Мы, запрещая такой брак, не допустили бы к несчастному прикосновение ангела-хранителя. Правило это основательно, но пользоваться им следует крайне осторожно. И вот выход: при определении судьбы таковых «расточительных и пьяных», подлежащим опекунским учреждениям, основываться не на их собственной воле, вовсе не принимаемой во внимание, а на полном и чистосердечном (на бумаге) изложении воли и намерений их невест. Таким образом, эти несчастные или порочные субъекты из опеки закона пусть переходят как бы в опеку жен; для этих исключительных случаев было бы благоразумно юридические права жены совершенно уравнивать с правами мужа или даже несколько и расширить, приподнять их над мужнинами.

IV

Обширно и с большим жаром А. Л. Боровиковский высказывается за постепенное, «хотя с осторожностью», устранение вовсе с лица Империи полигамии. «Из объяснений к *проекту* не видно, чтобы в среде комиссии возникло какое-либо сомнение по вопросу ее. Редакторы только как бы поцеремонились в выражении: многоженство *терпимо* у магометан и язычников. Но приличествует ли цивилизованному государству давать свою санкцию полигамии? Ибо когда закон говорит: она *терпима*, то тем самым он ее *дозволяет, узаконяет?*» (стр. 12). Г. Боровиковский предлагает допускать ее в магометанстве лишь в местностях сплошного населения и воспретить для магометан-одиночек, магометан, живущих попережку с русским населением, дабы «с осторожностью перейти» к постному воспрещению и у них полигамии. Обращаясь к корану и шариату (каноническое право мусульман),

он замечает: «Веротерпимость должна быть безгранична, пока речь идет о форме молитв и вообще обращении к Богу. Но совсем иное дело практические заповеди религии; закон обязан воспретить все, что противно интересам публичного права. Если бы какая-нибудь секта безусловно запретила брак, закон не допустил бы такого правила на свои скрижали... Почему же терпится многоженство, коль скоро оно противно публичным интересам?» (стр. 14).

Нам кажется это – без повода патетичным. В гости к себе русских татары не зовут, и, таким образом, сердце наше не отравляется зрелищем полигамии. Мы ее вовсе в проявлении не видим, а следовательно, и не соблазняемся о ней. Перед нами выходят только с узлами и халатами очень здоровые, всегда трезвые, очень в работе добросовестные татары, – и какое дело закону вмешиваться в их внутреннюю жизнь, едва ли оскорбляющую «интересы публичного права», которому эта жизнь и на глаза не показывается? Нельзя же, стоя около стены татарского дома, рвать на себе в отчаянии волосы и говорить: «Ах, Боже мой, там полигамия!». Я считаю невозможным и ненужным по слабости его аргументации оспаривать мнения А. Л. Боровиковского в этом вопросе. «Интересам публичного права» ведь не считаются безусловно противоречащими ни дома терпимости, ни огромное распространение самых позорных рисунков и фотографий, ни вообще правоспособность каждого русского из «цивилизованных» соблазнять хотя ежемесячно по девиче из крестьянок в городском услужении. Так что пафос европейской «гражданственности» нам приходится оставить, так как она «ветерком подбита».

А. Л. Боровиковский едва ли принял во внимание, что до окончания всемирной истории и до последних пределов моногамия останется всеобщим и непоколебимым фактом, а полигамия редким и исключительным явлением, и что она такова именно и у мусульман. Неужели же закон рождаемости у них иной, чем во всем роде человеческом? А во всем роде человеческом он таков, что мальчиков рождается – в стране, у народа, в человечестве – ровно столько, сколько девочек; собственно рождается несколько больше мальчиков, но зато они в значительно большем, нежели девочки, числе умирают в первые же месяцы жизни. Все это к 10-летнему возрасту самую природою уравнивается так, что девочек едва лишь больше, нежели мальчиков, что-то вроде 1003 девочек на 1000 мальчиков. В силу этого, если бы даже везде была дозволена полигамия, она фактически нигде бы не установилась, а только привела бы к строжайшей, но уже фактически обеспеченной моногамии: ибо лишь в первые минуты некоторые богачи взяли бы несколько жен, но затем недостаток девушек привел бы к строжайше моногамическому распределению их между остальным мужским населением, среди которого не осталось бы ни одного холостого по тому основательному соображению, что свободных женщин нет, а стало быть, и иметь физическое отношение невозможно ни к какой женщине, кроме своей жены, единственной, приобретенной с трудом и бережно хранимой. Мы потому теперь женами не дорожим, что свободных женщин сколько угодно на улице, в обществе, везде. А тогда их нигде и ни одной не останется, и, таким образом,

фактическая-то моногамия (кроме редчайших богачей) и существует и осуществляется единственно при *платонической* допущенности полигамии. Вот секрет, который не мешало бы включить в «Курсы публичного права», воображающего серьезно, что у турок на каждого мальчика родится по 4 девочки.

V

Наибольшее число страниц А. Л. Боровиковский посвящает «систематичной сводке брачного права всех существующих в России исповеданий», каковую сводку комиссия считает «одною из главных задач проекта Гражданского Уложения в области семейственного права». Он основательно замечает, что вхождение членов комиссии в брачное право, напр. евреев и караимов, или в тонкости определений шиитского и суннитского разветвленного магометанства относительно того же предмета, более содержит в себе претензии на компетентность, нежели компетентности в точном значении. «Сомнительна точность и обстоятельность кодификации канонического права других (не православного) христианских исповеданий...». «Еще более нуждается в доказательствах правильность констатирования канонического права евреев и магометан» (стр. 20), – такими определениями охарактеризована попытка комиссии. Вполне к ним присоединяемся. Вмешательство государственной власти в брачное право иных религий *eo ipso** есть вмешательство в религиозные понятия, которое может вызвать смущение и даже беспокойство инославных и иноверцев простыми неточностями и невольными маленькими ошибками. Напр., комиссия пришлось определять «степень канонического значения съезда раввинов в Вормсе под председательством рабби Герсона 960 года» (стр. 21) и т. п. А. Л. Боровиковский замечает, что ей придется еще вникать не только в папские буллы, но и в судебную практику католических консисторий по вопросам развода и расторжения брака. Подобный материал по необозримости своей просто недоступен для комиссии. Она может использовать его крайне несовершенно, – и потому мы вполне присоединяемся к мысли Боровиковского о неуместности, бесцельности и некотором практическом (возможном) вреде самой попытки «сделать сводку брачного права всех существующих в России исповеданий». Это – задача этнографическая, а не юридическая; предмет ведения членов Академии наук, но вовсе не предмет заботы представителей министерства юстиции.

Как и можно было предвидеть, принятие комиссией несоответствующих на себя задач повело к глубокой смутности, от отсутствия специального внимания, ее решений относительно главной темы: устройства русской православной семьи, выработки «Семейного Уложения» для коренного русского населения. В одном месте (стр. 25) А. Л. Боровиковский обращается прямо к читателям (после изложения статьи 160 «Проекта Уложения»): «Господа, ясно ли, что тут сказано?». Такой вопрос есть уже не критика, а

* тем самым (*лат.*).

насмешка. Или: «Статья такая-то написана по соображениям оппортунизма: выкидывается старый флаг – в расчете, что под ним легче провести, контрабандой, новшества. Но такой прием, несмотря на всю его благонамеренность, представляется полным опасностей, а в законодательстве и прямо неуместным» (стр. 26). Таковы последствия отсутствия у законодателей единства плана, твердости оснований и специальности внимания (забот). Составленный проект носит все черты эклектической компиляции, в основу которой положено одно только трудолюбие и кропотливость этнографических и археологических изысканий, но не положено ни:

1) биологического принципа (совсем забыть);

2) стальной юридической мысли;

3) благоговейного уважения к предмету забот – семье, в ее составных членах: ребенок, муж, жена.

Нам казалось бы, взамен длинных столбцов о караимских, еврейских, магометанских, католических, армяно-григорианских, протестантских и т. п. браках, – все «Семейное уложение» должно бы выразиться в трех столбцах законов:

а) О родительском авторитете (принципы, на которых он покоится; исчисление прерогатив его; установление оберегающих его *фактических* условий).

б) О защите детей (биологический принцип, что ребенок важнее родителя в правах на обеспеченность здоровья, воспитания; и определение последующей зрелой его судьбы). Сюда должны входить, напр., *медицинские* условия брака, его *биологическая* постановка, как в индивидуальных случаях, так и в стране. Сюда же входит *фактическая* обеспеченность *подлинного* «взаимного любящего желания жениха и невесты (детей) вступить в брак». Сюда же входят частью и правила о разводе: именно, детальная разработка прав, имущественных, юридических и фамильных, детей при разводе или при раздельном жительстве супругов (без развода).

с) О прерогативах мужа: *фактическая* обеспеченность его в авторитете охранять 1) порядок в доме; 2) бережливость в доме; 3) целомудрие в семейном союзе.

д) О прерогативах жены: 1) в прокормлении и местожительстве; 2) вежливом обхождении; 3) обеспечении детей (правила об опеке).

е) О формах заключения брака и расторжения его (*условия* и *заключения*, и расторжения входят уже в «прерогативы мужа» и «прерогативы жены»).

Всматриваясь в проект «Уложения», мы видим, что: 1) муж, 2) жена и 3) ребенок просто забыты законодателями: речь идет о какой-то алгебраической величине: «брак» – без костей и крови, счастья и муки, – и исследуется: а как о нем думал Вормский съезд раввинов X века? а что о нем думают шииты и сунниты у магометан? а как о том же толкуют баптисты и католики? Таким образом, статьи «Проекта» составлены в удовлетворении благополучия каких-то раввинов, мулл, ксендзов и раскольничьих начетчи-

ков, а вовсе не для утверждения нормального счастья мужей, жен, родителей, детей и биологического благоденствия страны, именуемой «Россиею», «русским народом». Народ-то – Россия, и здоровье ее, и самая даже семья – и забыты вовсе в проекте «Семейственного Уложения» России, и это до такой степени, что трудно поверить, не прочитав самых статей «Проекта». Отсюда частые волнения на отдельных страницах А. Л. Боровиковского, который, цитируя и разбирая их, спрашивает: «Что же тут сделано для семьи?» – и находит, что ничего не сделано.

Это и есть главное сетование, которое приходит на ум семьянину и гражданину русскому при чтении «Проекта». Не может такой читатель не припомнить, что семья есть не только «клеточка социального организма», но до известной степени и родина его. Что государство в некоторой степени родилось из семьи; и вот отчего государство-сын должно самым тщательным, деликатным и заботливым образом создать в законах своих как бы гнездо для этого семьи-отчества своего, а не обдумывать для нее что-то вроде пенитенциарной системы, вроде изобретения новых и усовершенствованных форм «предварительного» и «последующего» заключения. Между тем работа юристов о семье так же произвольна и груба и так же мало согласуется с внутренними и субъективными принципами семьи, как их работа о наказании преступников, тоже не принимающая во внимание, «блондины» они или «брюнеты», слабохарактерны или буйны. Отца, мать, детей, жену, мужа – сводят и разводят, делят и соединяют немного нежнее, чем говядину при распределении на котлеты или как 1) крупный и 2) мелкий скот на скотопригонном дворе. Возьму пример: правила муллы, раввина, пастора и ксездза строжайше соблюдены в статьях о расторжении брака. Сказано, что у магометан брак молочных сестры и брата незаконен, а потому расторгается; а у армяно-григориан расторгается брак, если был заключен в шестой степени родства (у православных – в четвертой). Хорошо, понятно. Затем следовало бы начать в комиссии рассуждение: 1) а куда же девать от расторгнутого брака детей? и 2) как поступить с самим мужем и женою при расторжении брака, если они сочтут его, не вслух, а про себя, юридическим насилием, и будут, напр., после 10 лет совместной и счастливой жизни и, имея кучу детей, преспокойно жить по-прежнему супружеской жизнью и рожать вторую кучу детей? Не могу не сообщить несколько случаев, когда ко мне обращались (почему-то считая меня компетентным) люди именно после расторгнутого брака с вопросом: «Что делать?». Я всегда любопытноспросил: «А что же, расстались вы или продолжаете совместно жить, супружествовать?» Ответ всегда получался: «Живем как прежде», с тоскою сказанный. Так было в одном, особенно трогательном случае. Русский человек пошел и поступил на Афон в монахи; потом ему там не понравилось и он ушел. Как он мне передавал, уход из монашества по греческим правилам или по обычаям Афонской горы совершается самым фактом выхода, без церемонии расстригания. Вернувшись в Россию, он поступил в диаконы, для чего должен был жениться. Он был любим и

даже собственно в диаконы-то поступил по совету его приласкавшего высшего русского иерарха. По кончине последнего, снял с себя диаконство и вернулся к сельской жизни. Но здесь он проговорился, что на Афоне принял постриг. Началось дело, и, как он расстрижен не был, то и брак его был расторгнут, а трое прижитых уже детей признаны «незаконнорожденными». Так как расстричься из монашества ему не составляло бы никакого затруднения и препятствия, то он не сделал этого действительно только по простоте души и потому, что в Греции и на Афоне, где монашество есть более исторически бытовое явление, чем ритуально-уставное (у нас), этого в самом деле не делается. На вопрос мой: «Ну, а как же теперь?» – он ответил, что с тоской в душе, но живет с женой: «Привык, а она у меня тихая». Человек этот был без энергии, а представить себе познергичнее и поумнее человека, то можно представить, как он ответит на «расторжение его брака». «Можете изорвать хоть целую стопу бумаги, а я днесь и завтра лягу с женой на вчерашнюю постель и сяду за стол с детьми своими». Все «расторжения брака» суть просто рвань бумаги, на которое решительно никто не обращает внимания, и даже по любви родительской и по любви к жене («помощнице мужу») – и права нравственного не имеет придать ему значение, ибо это значило бы стать сию же минуту подлецом пред людьми и проклятым от Бога, ибо чего же стоит для земли и неба человек, который сказал бы детям: «Ну деточки, нас расторгли: не поминайте лихом, а лучше забудьте своего папку». Такого бесчеловечия, конечно, никакая живая личная совесть не делает. И вот комиссии, чем заниматься магометанским и еврейским «молочным» родством, и следовало бы в заботе о русских людях выработать детальные статьи о положении мужа, жены и детей рожденных и вновь имеющих родиться от такого бумажно-«расторгаемого» брака.

ИМЕНИНЫ

Идет именинный месяц печати и понятно, что именинник осматривается на себя, обдумывает себя и, может быть, гадает о том, что же определенного принесет ему этот праздничный месяц. Двести лет служения родине – не маленький итог. Через пятьдесят лет русская периодическая печать в праве будет отпраздновать четверть тысячелетия своей службы. Четверть тысячелетия!.. За тысячу лет переваливала история только немногих, больших народов, – и она в самой длинной начальной своей стадии обходилась без всякой литературы. Мы хотим этим сказать, что двести лет существования периодической печати срок достаточный, чтобы она развилась до зрелости, чтобы она явилась в полном цвете сил.

Вот этого-то «цвета сил» и нет у нас к 200-летнему юбилею. Имениннику надо бы иметь бодрый и веселый вид. А этого вида не выходит. История движется не так медленно, как кажется. В двести лет создались Пруссия и Соединенные Штаты, и оба выросли в чудовищную величину и зна-

чительность. Менее чем в 200 лет Франция, да и вся Европа, пережила такие метаморфозы, какие далеко превышают разницу между петровскими «курантами» и сегодняшним листком «Нового Времени». Печать русская, очевидно, шла чрезвычайно медленной ползучей жизнью. От северного ли климата это или отчего другого, но она вечно замерзала и очень редко оттаивала.

Оглянитесь назад и сосчитайте оживленные праздничные минуты: их почти нет или очень мало.

Нам кажется, не оценивается одна особенная сторона печати, а она чрезвычайно важна. Печать собственно несет три службы: 1) рождает мысли, 2) освещает и собирает факты, 3) рождает настроение.

Вот на эту последнюю рубрику обращают очень мало внимания, ибо ее нельзя положить на счета и, так сказать, взвесить. Это – невесомая, невидимая и даже ни в чем определенном не выражающаяся, а, однако, самая важная сторона печати. Газетный листок может оживить петербургский день, да и деловой день целой России. На первой странице всех подаваемых утром газет напечатайте жирным шрифтом хорошее известие, крупной значительности телеграмму: все, весь Петербург встанет из-за чайного стола с надбавкой энергии, – и эта энергия, как по телеграфу, передастся на все бесчисленные работы, скажется их оживлением, скажется их плодотворностью. Совершенно эту же роль может сыграть хороший рассказ. Наконец, нельзя отнимать возможность такой роли у талантливо выраженного рассуждения. В итоге мы получим, что тон газетного листка входит, ну хоть десятою долею в энергию дневной работы каждого человека и вообще всех читающих людей, но долею или положительною, или отрицательною. Печать в удачный собственный момент может наполнить страну энтузиазмом, напечь силы ее до чрезвычайного подъема или может просто молчанием или унынием заставить опуститься крылья в стране. Вот почему ее можно сравнить с соловьем, который дает хорошие песни только весною, и когда не один «соловей», а «соловей и роза». Печать – родник энтузиазма. Но для этого нужен энтузиазм ей самой; нужно, так сказать, «стечение благоприятных обстоятельств» в ее собственной области, каковые обстоятельства подняли бы ее собственное сердце, и тогда уже она поднимет сердца людей. Соловью надо ставить воду чистенькую и корм свежий. Бросьте ему жесткую корку хлеба и поставьте мутную воду – и вы не услышите трелей, на какие могли бы рассчитывать.

Во всяком случае настроение печати есть могущественный фактор для установления настроения страны в ее самых деятельных и влиятельных частях: об этом, кажется, не может быть и спора. Между тем настроение это всегда естественное, всегда проистекает просто из хороших обстоятельств и решительно не может быть устроено искусственно. Искусственно может быть проведена через печать такая-то мысль... Но *тон*, но *настроение* – вот чего решительно нельзя внушить и между тем это-то главным образом и работает в стране.

Еще не так давно печаталось, что всего за сто верст от Петербурга, войдя в деревню, можно встретить совершенно первобытный быт, просящийся на страницу Тейлора, а то и Ливингстона. Живет у нас культурною жизнью самый тонкий слой населения, почти – пыль, распыленная по поверхности страны. Западные страны движутся, как пассажирский поезд. Россия – как товарный. Те же медленность, громоздкость, безлюдность. Русскому образованному человеку надо иметь удвоенную против западного образованного человека энергию, чтобы достигать того же результата, по крайней, так сказать, необработанности и величине камней, которые он ворочает. Вот почему все, что действует на его энергию, должно быть культивировано, собрано, сбережено. В малой подвижности страны нашей, которая и за сто верст от Петербурга не внесла того, что Соединенные Штаты внесли в пустыни Техаса, а Пруссия вносит теперь в Малую Азию, невольно сказывается и вялый тон нашей печати, ее расположенность, и, словом, то обстоятельство, что, не имея в себе самой энтузиазма, она не родит его и в стране. Вял писатель; вял читатель, а читатель есть уже деятель.

Вот, что думается накануне наших именин.

О ПОЛОЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Доклад о служебном положении сельского учителя, составленный особою комиссиею и прочитанный на московском учительском съезде, должен привлечь к себе внимание и сочувствие всех размышляющих людей. В докладе этом обрисовывается подавленное и местами запуганное положение низшего чина нашей просветительной армии, который, начиная от директора училищ в губернии и кончая местным сельским кулаком, ни в ком не находит своего человека, близкого и понимающего, готового войти в его положение, защитить и поддержать. Он обставлен не столько руководителями своего учебного труда, сколько разными видами инспекции, по преимуществу следящей за его поведением вне училища, вне класса. Доклад указывает на училищные советы, в члены которых назначаются люди, не имеющие ничего общего с педагогическим трудом: представители сословий и администрации; на попечителя школы, который, дав деньги на ее благоустройство, считает себя компетентным вмешиваться и в учебное дело, в котором иногда он ничего не понимает; на местного батюшку, интересующегося более соблюдением со стороны учителя всех постов, нежели его преподавательскими талантами, и на инспектора училищ, который ведает только переписку с начальством и разрешает учителям отпуска на каникулы, каковыми, по-видимому, учитель вправе и без разрешения пользоваться, потому что на то и даны каникулы, чтобы ими пользоваться. Таким образом, за учителем все досматривают, а никто его не может и не должен научить его трудному мастерству. Труд учителя похож на труд пахаря, к которому вместо ученого агронома приставили бы еще второй «дополнительный» штат надсмотрщи-

ков; и они все в удвоенном комплекте следили бы за деревенскими Митрями и Минями, «по старине» ли они живут и не затевают ли какого-нибудь новшества, вроде травосеяния и четырехпольной системы. Наблюдение, конечно, везде необходимо, но над педагогическим трудом уместно наблюдение с преобладающим педагогическим характером и таковыми же целями, т. е. наблюдение над классным трудом преподавателя и лишь в очень небольшой мере над его частной жизнью и домашним поведением. Между тем в докладе по этому предмету на московском съезде, насколько резюме его было передано в «Русск. Вед.», указывалось, что именно частная жизнь учителя подвергается в селе самому назойливому и утомляющему надзору, подозрительности и, наконец, доносу, вредящему положению учителя (лишение должности) даже в случае оказавшейся после расследования неосновательности доноса. Последнее слово понять «страшно»; но нужно знать всю деревенскую темь, чтобы понять возможность здесь таких жалоб на учителя, которые были бы принесены сельчанами на всякого вообще порядочного и образованного человека. Нет сомнения, что в духе и в образовании своем, в религиозных и государственных убеждениях учитель должен быть солидарен с народом, среди которого живет и детей которого учит. Но вопрос – до какой черты и до каких подробностей? Если огромные части нашего народа заподозрили церковь во главе со всеми иерархами в отпадении от православия только потому, что их начали учить писать: «Иисус» вместо «Исус», если она же курение табаку считает признаком иноверия, а Великого Преобразователя России называют антихристом; и если, в сущности, таковы же приблизительно и до сих пор огромные крестьянские массы, то можно представить себе, чем может показаться во множестве сел скромный питомец учительской семинарии, пьющий по средам молоко. Здесь не оберешься разговоров об этом, сплетен, начинающегося раздражения, полного непонимания, косвенного притеснения и, наконец, жалоб по начальству. Всяческая темь и косность народа нашего самому правительству причинила столько забот, хлопот, притом бессильных; в лице обширного и могущественного старообрядства, т. е. плоти от плоти народа нашего, само правительство столько раз было обвинено в «либерализме» и «религиозном вольнодумстве», что было бы странным со стороны училищной администрации не поставить учителя в селе как можно тверже и парировать те девяносто процентов жалоб на него, которые бывают совершенно вычурны и повторились бы деревню о всяком учителе гимназии, о всяком чиновнике министерства народного просвещения, раз ему привелось бы жить и действовать не в губернском городе, а в занесенном восемь месяцев в году снегом далеком селе. Вопрос этот очень важен. Учитель сельский есть солдат училищного ведомства, и как солдат строжайшим образом знает свои обязанности, но и их границы, и никто не позволит его обидеть городскому или сельскому обывателю, – так сельский учитель положительно должен быть избавлен от слишком часто причиняемых ему обид просто непониманием, грубостью и иногда жестокостью крестьянской около него среды. Административные власти скорее

должны научить село и сельчан бережному и благодарному отношению к учителю, подавая со своей стороны пример такого деликатного отношения, а не показывать холодным, безучастным и высокомерным своим отношением, что это какая-то мокрая курица, которой всякий может перешибить ногу брошенным камнем. Нам кажется, что едва администрация стала бы на эту педагогическую почву, как она в лице сельских учителей снискала бы себе самых ревностных исполнителей своего долга, погасив в них ту горечь и, может быть, иногда раздражение, какие слишком возможны и понятны теперь, при одиноком и беспомощном положении учителя в селе. С одной стороны, он много ли, мало ли, но есть пионер среди населения, тождественного себе от Рюрика, всего исторического и культурного движения России. Хороший учитель в хорошей школе должен дать детям, а затем и привить крестьянам благоговейную память к Петру Великому и его обновлению России, да и показать им, как лучше пахать, сеять и жать, если не практически, то хотя теоретически. Вспомним закопавшихся заживо в землю сектантов из-за попытки составить статистику их, и мы поймем, каких явлений можем ожидать в деревне; не забудем, что школа теперь проникла всюду, проникла вот и в такие дебри, где жили эти сектанты. Правительство защищает своих статистиков, своих землемеров, своих миссионеров, чиновников, судей, врачей от явного и дикого местного невежества: оно должно защищать и учителей. Комиссия московского педагогического съезда весьма правильно поставила вопрос о «правовом положении учителя в селе», т. е. о выработке тех строго названных обязанностей его, которые он здесь не может не выполнить, и тех опять же строго названных прав, какими он может пользоваться, как личность, как гражданин. Без такого определения своих прав и обязанностей, выслушав лишь общее наставление со всеми и со всем жить в мире, тогда как этим «всем» отнюдь ни с какой стороны не сказано, что они «должны жить в мире с учителем», – он, в сущности, является каким-то утлым суденышком в океане, которое, оттолкнув от берега ногой, хозяин сказал ему: «Доплыви до того берега, пока я постою на этом». Как оно будет плыть, разобьется ли или в точности куда-нибудь доплывет – от этого сам хозяин не перестанет быть цел. Но ведь на суденышко это положен драгоценный груз; учителю вверено точно просветительные, культурные задачи целой страны, длинной истории: и плавание его должно бы быть лучше обеспечено.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О Д. С. Мережковском>

В № 11 от 12 января «С.-Петербург. Ведомостей» некто г. К. Румынский подвешивает г. Мережковского упреку в том, что он, будто бы желая «сильных ощущений, криков пытаемых, вида крови, запаха эжигаемого человеческого мяса» и т. п., «принял позу блюстителя чистоты веры», стал разыскивать

в литературе «еретиков» и прежде других указал на меня. Так как подобная инсинуация, накидывая очень густую тень на г. Мережковского, при моем молчании могла бы вызвать подозрения, что и я согласно с инсинуацией считаю себя, так сказать, духовно теснимым со стороны Д. С. Мережковского, то для предупреждения подобного мнения и снятия с моего друга всякого заподозрения его в «великом инквизиторстве» (слова г. К. Румынского), я должен сказать, что обвиняемое место его книги «Гр. Л. Толстой и Достоевский» (т. 2, стр. XXXIV) предварительно напечатания было мне показано редактором «Мира Искусства», с предложением, не буду ли я иметь что-либо против этих слов, каковые при моем желании и он (редактор) и Д. С. Мережковский готовы выпустить. Но я по разным соображениям просил его оставить, находя вполне основательным и ни мало для меня не опасным утверждение, что строй моих мыслей для их опровержения потребует со временем еще большего напряжения мысли со стороны гг. богословов, чем строй мысли гр. Л. Н. Толстого. Нужно заметить, «строй мысли» гр. Толстого, начиная с «Крейцеровой сонаты», представляет собою лишь решительную и всеобще приложенную (к миру) форму монашества, – и с этой стороны едва ли представляет что-либо, нуждающееся в опровержении для богословов. Совершенно противоположна моя точка зрения, и она может представлять трудности для богословия. Затем лично с Д. С. Мережковским я об этом месте его книги никогда не говорил и удивляюсь, что он «хочет моего жареного мяса» (кровавое утверждение г. К. Румынского), когда каждое воскресенье он мирно пьет чай за моим столом. Фантазия г. К. Румынского смешна, но худо, что к смеху присоединил злой умысел замарать совершенно чисто в литературном отношении человека.

ИЗДАНИЕ СОЧ. ВЛАД. С. СОЛОВЬЁВА

Со смертью Мих. Сер. Соловьёва связана не только потеря человека, прекрасного для всех, кто его знал, но и редактора «Полного собрания сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва». Издание доведено до половины, и покойным велось оно отлично. Трагическая кончина одновременно с М. С. Соловьёвым его жены, причем у них остался только несовершеннолетний сын, исключает всякое предположение о продолжении печатания трудов покойного философа кем-либо из членов семьи Михаила С. Соловьёва, связанной с издаваемым автором не только узами родства, но и самой тесной дружбою. Если не ошибаемся, права издания были завещаны Владимиром С. именно только брату Михаилу. Таким образом, продолжение издания, столь интересного для читающих кругов России, впадает в значительную неясность. Ввиду этого позволительно пожелать, чтобы в дело вступили ближайшие друзья покойного философа, объединенные в редакции журнала «Вопросы философии и психологии» и в кружке важнейших членов Московского психологического общества. Было весьма неизлишним,

если бы кто-нибудь из них сообщил в печати, будет ли продолжаться издание, и особенно продолжаться так же энергично и корректно, как до сих пор, и кому, приблизительно, будет вверена их дальнейшая редакция? В следующие томы, между прочим, могли войти и могли не войти, в зависимости от стараний и некоторых хлопот редактирующего издания за границею богословские труды покойного, особенно его знаменитый труд: «Россия и всемирная (= католическая) церковь». Время, когда этот труд Соловьёва мог казаться острым и волнующим, прошло, к концу жизни самого философа его католические симпатии окончательно остыли, и трактат его об отношениях России и западной церкви, сохраняя только отвлеченный интерес, нам думается, может войти совершенно безобидным томом в «Собрание сочинений» покойного. Как об этой, так и о других подробностях издания было бы интересно что-нибудь услышать в печати от лиц, имеющих право на издание или имеющих намерение принять в нем прямое или косвенное участие.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЛИКАТНОСТЬ

Если не одним из самых достоверных, то во всяком случае одним из самых привлекательных мерил культуры служит деликатность. Деликатность всякая и во всем; деликатность на улице и дома; с другом, с родственником и с совершенно посторонним человеком; деликатность в печати, и, наконец, деликатность в учреждениях или с учреждениями, как и обратно – деликатность этих последних с частными лицами. Кто читает газеты (а кто же их не читает?) и кто оглядывается вокруг себя в жизни, тот знает, до чего во всех указанных рубриках у нас еще процветает грубость, которая местами и временами переходит в дикость, а деликатности – везде как с огнем ищешь. Деликатного человека долго помнят и после смерти; деликатный человек может быть от его чрезвычайной редкости издали виден.

Эти мысли на нас навеяны прекрасною и благородною речью вновь назначенного вологодского губернатора, бывшего в течение 23-х лет гласным тверских уездного и губернского земств. Он отнесся с уважением к учреждению, которому сам долго служил. Памятование весьма естественное, хотя отнюдь не во всяком человеке непременно. Есть народная пословица, что «старая хлеб-соль забывается», и ее можно переложить на служебные нравы в том смысле, что служба в линиях ведомства зависимого не долго помнится человеком, когда он переходит в ряды такой службы, от которой предыдущая зависит. Но г. Ладыженский, вновь назначенный губернатором Вологодской губернии, очевидно, хорошо служил земству и ценит и других его служителей по себе же. В особенности заслуживает быть отмеченною та сторона его речи, где сказались скромное признание, что недавнее назначение на службу в новую для него губернию исключает возможность близкого знакомства с ее нуждами, и что отсутствие такового предохраняет начальника губернии от указаний, на что земству следует

направить свои заботы. Невозможно сомневаться, что это деликатное самоограничение, конечно, только на первых порах управления почувствуется земством названной губернии и вызовет взаимно в нем самое обдуманное самоограничение в обширной рубрике случаев соприкосновения административной и земской компетенций.

Невозможно по этому случаю не припомнить, как вообще много было в этой области совершенно неделикатностей, и, между прочим, с той стороны, которая могла бы быть выразительницею и проводительницею «смягчения нравов». Мы говорим о печати. Не желая вступать ни в какую полемику, мы ограничимся констатированием того простого и общеизвестного факта, что две газеты, одна московская и другая петербургская, которых и не нужно называть, за все время существования земства не обмолвились о нем ни одним добрым словом, точно это татарское учреждение, а не русское, и не упустили самонаименования, даже предлога, чтобы наговорить по адресу его грубостей, словно они, эти учреждения, пришли с Батыем, а не с благословенной памяти Александром Вторым. На общественных и даже на политических русских весах, на весах, наконец, культурных, эти бесчисленные грубости, обдергивание, заподозривание, словом, обхождение с живыми людьми без малого как с животными – принесли неисчислимый вред. Если есть доля нежелательного и вредного духа в каких-либо разрозненных земствах, то более всего этот неприятный и, конечно, легко рассеивающийся призыв вызван заведомым, систематичным и неумолимым духом вражды к ним, который находит свое выражение в помянутых органах. Поставьте в постоянное неловкое и неудобное положение самого добродетельного человека, и правдоподобно, что вы привьете и разовьете в нем какой-нибудь порок. Никакой другой характер в такой степени, как русский мягкий характер, не способен к правильному политическому и общественному руководству. Прибавьте к этому гибкий русский ум, значительную историческую приученность к терпению, и вы получите человека и общество, которое может быть поведено очень далеко мягкой формою обращения.

Мы много раз указывали и развивали ту мысль, что земство, Государем сотворенное, представляет такое же точно государственное учреждение, как и всякое другое, только иначе организованное. Цикл дел, в других местах отдаваемых в заведывание чиновников, здесь отдается в заведывание выборных. Но те и другие служат Царю и Отечеству; те и другие не имеют в предмете стремлений ничего другого, кроме благосостояния населения. Только одни, именно чиновники, ведут более отвлеченные дела и более отвлеченным способом, а земские люди имеют в кругу забот своих дела, ближе к земле лежащие, более практические, и выполняют их или обязаны выполнять более непосредственным образом, не так отвлеченно и бумажно. Ни малейшей нет здесь почвы для антагонизма. Последний есть плод неумелости руководить, обходиться и, как нам хотелось бы формулировать, плод нашей слабой цивилизации, выражающейся в малом такте сердца.

Редакция «Нового Пути» предложила мне в журнале особый и личный отдел, где я мог бы высказываться без того, чтобы редакция чувствовала себя связанною моими тезисами или частными взглядами, и где, с другой стороны, я мог бы провести такие свои мысли, которых редакция не разделяет. Это – как возможность. В общем же, конечно, мой «Угол» будет отвечать всему духу журнала.

Такой отдел удобен еще в том отношении, что, являясь журналом в журнале, он допускает помещение в одной книжке многих заметок одного автора и введение частной переписки; допускает краткую афористическую постановку какого-либо практического вопроса; допускает краткий, в несколько строк, ответ на печатную статью или несколько ответов на несколько частных статей. Словом, этот отдел расширяет рамки обыкновенного журнального сотрудничества и в некоторых отношениях приближает литературу к тому безыскусственному, свободному и разностороннему обмену мнений, какой составляет преимущество разговора между друзьями в кабинете перед объяснением с публикою на эстраде. Читатель извинит меня, если в некоторых случаях я значительно отойду от общепринятых в литературе способов изложения своих мыслей. Мне кажется, печатная бумага вообще несколько утомила современные вкусы. Ведь мы с большим интересом читаем частное письмо, чем газетный лист. Отчего журналу и журналистике не последовать этим изменившимся вкусам?

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ И «УТИЛИТАРНАЯ КРИТИКА»

Маленькое возражение Н. А. Энгельгардту
на его проект «переоценки ценностей»
литературных

Да не будут тебе бози инии разве Мене...

Есть эпохи монотеистические, суровые, как древний Израиль; есть эпохи политеистические, светлые, как Эллада и разнообразные, как она. Судить одну из них в свете принципов другой – едва ли основательно. Нужно и возможно брать каждую в ее собственном принципе, и – конечно, не упуская из виду односторонности принципа, – стараться, однако, выяснить ее особенную, иногда угрюмую и одинокую, но исключительную красоту.

Шестидесятые годы были такою монотеистическою эпохою, «об одном боге». Пишем с маленькой буквы, потому что мы говорим, конечно, об идеале, но чрезвычайно страстно веруемом – об идеале «обожествленном». Таким идеалом в шестидесятые годы была «польза». Но какая «польза»?

Не меркантильная, не американская, не польза своего «я», не «польза» как сумма удобств жизни. Предносился взору людей того времени «золотой сон» будущего; но «сон», который должен настать для всего человечества, и при том разом, и именно материально, вещественно, здесь на земле. Люди немощные, люди зависимые сторали в идее имеющего наступить братства людей, имеющей осуществиться свободы людей, имеющего наступить довольства людей. Под давлением этой мечты предпринимались самые сумасбродные поступки. Ехали в Америку, бежали в Швейцарию, чтобы начать сейчас то «новое», которое у себя дома казалось отодвинутым на века или на десятилетия. В «Бесах» Достоевского рассказывается о двух таких нищих русских эмигрантах, пролежавших два года в какой-то американской больнице, и размышлявших «о Боге». До чего это живуче, мне пришлось увидеть осенью этого года: именно, я здесь в Петербурге встретил точь-в-точь такого эмигранта, эпохи 70-х годов, уже вернувшегося из Америки «с найденным Богом»: человека кроткого, боголюбивого, человеколюбивого, примирившегося с действительностью, «потому что он и Бога нашел, и через Бога примирился и с человечеством», вплоть до петербургских порядков. Можно его судить и так и этак: но великого и бескорыстного подвига всей его биографии отвергать нельзя.

Итак, идеал 60-х годов был «утилитарный», но в каком-то пророчесственном, священном смысле. Сообщил ли он колорит всей эпохе, и именно поэтический? Да. Живя теперь в серенькое и нерешительное время, время, не сотворяющее никаких идей, время не питаемых ни в какую сторону надежд, нельзя с особенною силою не почувствовать красоты 60-х годов, *en masse**. Хорошо, что хоть догадались юбилейно помянуть Некрасова, как-то радикально забытого в течение долгих лет. Его «унылый стих» носился тогда над толпою и будил хорошие порывы. Потом пришли люди действительно меркантильные, но с миною благородных идеалов; они закидали камнями, заплевали, затоптали как его, так и многих других около него; до известной степени всю эпоху. То, видите ли, была эпоха «щичическая, а не идеальная: отечества не любила, Бога не признавала, добродетели не сохраняла». Все это говорили люди, у которых пальцы ломило от обстригания купонов от «отечественных» процентных бумаг.

Итак, шестидесятые годы были обняты и подняты одною общею идеею, «утилитарною» в объясненном смысле; и всякое равнодушие или отступничество от этой идеи казалось изменою «братству» людей, так сказать, расстройством первого же шага на пути этого «братства». О, пусть это была иллюзия, но прекрасная иллюзия. В самом деле, нельзя же маленькие практические идейки, весьма и весьма осуществимые через 10–20 лет, предпочитать мировым, пусть даже «золотым снам». Пушкин сказал об «обмане», который иногда стоит «тьмы низких истин». 60-е годы и были такою пушкинскою эпохою, во вкусе и в смысле Пушкина, предпочитавшего всему

*целиком (фр.).

«великий обман»; и что в том, что эти годы спорили против подробностей Пушкина, к тому же *непонятого*, просто даже *не читавшегося* в те годы. Кто же не знает, что перед самым открытием памятника Пушкину в Москве нельзя было за самую дорогую цену купить его глазуновского издания. Пушкин «не расхотился»... Но это вовсе не то, как если бы его *читали и понимали и отвергали*. А между тем *чтили*-то в 60-е годы – по героическим идеалам мудрого и неведомого Пушкина...

Критика была в 60-е годы «утилитарная»... и не помешала подняться Л. Толстому, Тургеневу, Гончарову, Достоевскому и целой толпе меньших, но настоящих поэтов. А вот в наши дни, когда мы приготовили «эстетические оценки», они никого не вызывают к жизни. Дело в том, что самая наша эпоха не поэтическая и никого не воодушевляет. Groшовая эпоха, только с претензиями на эстетизм: «и близок виноград, да зуб неймет». Зуб у нас эстетический, а винограда-то на него не попадает. А 60-е годы, хотя и имели «утилитарные» для всего мерки, но это только так казалось: великая эпоха была истинно поэтическая, и она вздымала крылья индивидууму. Тургенев только кажущимся образом расхотился со своею эпохою. С нашей он не завязался бы вовсе душою. А разойдясь, несколько разойдясь со своею, – как он болел от этого! Т. е. как, значит, он чувствовал ее *родною* себе, себя – *родным* ей. Он был похож на изгнанников древней Греции, которые *умирали* вне отечества, хотя и казались его изменниками. «Нашему времени» и изменить нельзя; просто – нечему изменить: ни «эпоха» никого не любит, ни эпоху никто не любит.

Таким образом, кажущиеся «утилитарные» оценки литературных произведений в 60-е годы были только с виду такими, а на самом деле это были оценки, вытекавшие из общей братской одушевленности одним идеалом, «монотеистическим», и полные ревности к «иным богам». Этих «иных богов» казнили в ту пору, как Израиль казнил «ваалов». Были ли они худы, эти «иные боги»? Увы, мы теперь знаем, с ученой археологической точки зрения, что «боги» Финикии или Египта, Эллады или Рима, имели свою красоту и свой смысл, вовсе не видный евреям. Но это оттого, что мы только археологи, гробокопатели, что мы сами лишены и пророков, и пророчественного духа. Также в отношении 60-х годов: конечно, их оценки были неправильны, но лишь с точки зрения спокойного и равнодушного эстетизма, на каковую прежде всего не становились и едва ли захотели бы стать сами творцы-художники 60-х годов – Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Островский. Все ведь они были и великими материалистами, но тоже в священном и одушевленном смысле. Выбросьте у них у всех *материальную* заботу о народе своем, о стране своей, о будущем народа – и много ли в их трудах останется «звук чистых и молитв»? Почти – ничего. Дело в том, что «молитвою» в то время и стал хлеб, земля, тело народное, свобода народная, благополучие народное, просвещение народное. Вспомните-ка некрасовское: «Сейте разумное, доброе, вечное». Это – программа русского учения, русской школы, поднимавшая крылья тысячам народных учителей и учительниц. Это уж не министерские

позднейшие «чехи»... Да, так вот как: «унылому» Некрасову, сему «куплетисту около Александринского театра», как его «определяли» эстеты 60-х годов, принадлежит стих вечного, бессмертного смысла.

Вся эпоха 60-х годов, имея действительно *одно* мерило для всех литературных произведений, и мерило *утилитарное*, в то же время оттенками этого мерила и способами его применения подымала крылья художественному творчеству целой эпохи и объединяла в одно прекраснейшее, почти религиозное братство людей тех счастливых лет. Да, «счастливых», приходится это сказать. Ибо что за печаль жить в эпоху, когда нет ни одной соединительной между людьми идеи! На «безвременьи» – мы вспоминаем о «золотом времени». Оно только казалось грубо. На самом деле это была деликатнейшая эпоха, с деликатнейшим отношением к ближнему, к человеку, к женщине, к народу, к ребенку. Я, не придумывая, а наудачу назвал целую рубрику предметов: а когда вдумываешься в каждое поименно, увидишь, что в 60-е годы родилось и выросло истинно доброе и впервые доброе отношение ко всему названному. Вспомним, как радикально была обрублена в те годы «порка детей», принципиальная, законная. «Люди 40-х годов» судили обо всем по Шеллингу, «знали наизусть Гёте и Гегеля» (формула похвалы того времени), а параллельно детей преспокойно пороли, дома, в школе, в гимназиях. Вот что такое эстетизм и что такое «утилитаризм 60-х годов» на частном примере. В 60-е годы положено было veto, и роковое, навсегда, бездне жесточких, бесчеловечных явлений.

Да будет же благословенна та «утилитарная, грубая эпоха», и ее вожди, от Некрасова и Щедрина до Добролюбова и даже Писарева – позволю себе включить и последнего, пусть он был очень юн, очень неопытен, – но как он был одушевлен: в каждом своем шаге, во всякой своей строчке. Храните, люди, святое одушевление: к чему бы оно ни относилось, из него родится непременно золото. Временное забвение Пушкина в ту эпоху никакого радикального ущерба Пушкину не принесло. Эпоха была беднее «на Пушкина», но Пушкин во всей своей красе явился потом. Вообще критика и отвержение губит мишуру, а золото она только «проводит через огонь» и очищает. Но ту эпоху должны поблагодарить: русский школьник, русская женщина, простолюдин русский и труд русский. Будем ли мы еще спорить, что ее должна поблагодарить и литература?

А «эстетические оценки»... ну, мы готовы слушать, говорите – какие оне и в чем заключаются? Мне кажется, русские не без причины не имели ни Винкельмана, ни Лессинга. Вообще, есть национальные преимущества и национальные же дефекты. Посмотрите на *универсальное* почти явление философии: германского идеализма не выросло в английской опытной философии, ни английской опытной философии среди германских философствующих гениев. Точно так же смакование эстетических достоинств не без глубокой причины не прививалось у нас, и когда начиналось – всегда казалось забавным. Мы непосредственно чувствуем, и целым обществом, разом, силу литературного произведения и правду его; мы чувствуем его

грацию; и Веневитинова никогда не смешивали с Бенедиктовым или Некрасова — с Розенгеймом. Это мы и считаем достаточным, крича «браво» одним и шикая другим. И обыкновенно, такое народное приветствие или равнодушие у нас оказывалось истинным. Ну, и довольно, что в каждом из нас есть миллионная частица Лессинга: зачем нам растить или дожидаться целого Лессинга? А впрочем, придет он, мы тоже разом угадаем, в самом ли деле это Лессинг или только потуги на Лессинга. И плохо же придется тому, кто принесет только потуги и претензии.

ИЗ ПИСЕМ ДРУГОВ И НЕДРУГОВ*

1

...Вы писали в «Новом Времени», по поводу проекта нового семейного уложения. Вы проводили там мысль, что *право* развода принадлежит самим *супругам* и от процедуры его должны быть вовсе или в значительной степени устранены суды как духовные, так и светские. Мне приходилось слышать, что в *православной* Румынии развод совершается чрезвычайно легко и просто, без малейших задержек и препятствий со стороны церкви или государства, и без всякого участия консисторий или судов. Именно, процедура развода такова: если муж и жена не желают далее сожительствовать между собою, то оне приходят к своему *приходскому священнику*, заявляют ему о сем и тотчас же получают от него развод. Вот и все**.

Что может быть проще и легче этого? Что может быть удобоприменнее и целесообразнее этого? «Какой поп повенчал, тот и развенчал». Ведь брак совершается священником по заявлению со стороны жениха и невесты о их добровольном согласии вести супружескую жизнь. Для *заключения* брака не требуется ни консистории, ни суда. Достаточно тут бывает *санкции одного только священника*. Соответственно этому и *расторжение брака* должно производиться одним только приходским священником, без всякого участия консисторий или светского суда. И как верна, как неподражаемо правильна в этом отношении практика

* Рубрику «В своем углу» я и не назвал бы этим именем, если бы предполагал ее наполнять *своими* только статьями. Напротив, в последние годы я испытал всю огромность интереса узнавать взгляды русского человека, не писателя по профессии. Из частных писем я узнал, сколько *ума, любви к родине* хранится в нашем обществе. И сколько возможно, я позволю себе отводить часть своего «угла» этим умным, думающим людям в России.

В. Р.

** Так было и в России до самой эпохи Петра Великого; и нет никакой причины не вернуться к этому церковно-правильному и граждански удобному способу развода. Пожелания общества, и самые энергичные, должны быть направлены сюда.

В. Р-в

румынской православной церкви! Эту практику, по глубочайшему и искреннейшему своему убеждению, я признаю единственно верною, единственно удобоосуществимою и единственно целесообразною. И как хотелось бы, чтобы эта практика поскорее введена была и в нашем отечестве! Как хотелось бы, чтобы кто-либо один, рукою властною, одним почерком пера зараз зачеркнул все пункты, статьи и параграфы «Проекта Нового Уложения» по вопросу о разводе, заменив их одним только простым параграфом румынской практики! Думаю, что ничего лучшего для России пожелать нельзя. И если жениться дозволяется до трех раз, то и разводиться должно быть дозволено до трех раз, и притом с неперменным и непререкаемым правом для той и другой разведенной стороны вступать в новые законные браки. Нынешняя гнилая, бессмысленная, фарисейски лицемерная практика, не позволяющая виновной стороне вступать в новое законное супружество, должна быть раз навсегда брошена в Лету забвения.

Теперь еще несколько слов относительно Ницше, по поводу статьи Шестова «Философия трагедии» в «Мире Искусства». Мне пришлось однажды от одного восьмидесятилетнего почтенного протоиерея выслушать такой каламбур о законе: «Закон что паутина: слабый в нем завязает (вязнет, запутывается), а сильный его разрывает». В этом каламбуре заключается полное и безостаточное и объяснение, и оправдание для Ницше. Понятным становится инстинктивное стремление этого философа взобраться на ту крутизну нравственного сознания, с высоты которой «Отец Небесный солнце Свое сияет на злые и благие и дождит на праведные и неправедные» (Мф. 5, 45), где словно теряется различие между добром и злом, где словно исчезают и испаряются самые понятия о добре и зле, где снимается с человека всякая ответственность в том, что мы называем злом, где остается одно только «благоволение к человеку». Ведь когда человек переступает границы закона, то он не вступает в область чистого отрицания, а вступает в царство Духа святого, где «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Римл. 8, 26). Такой человек, как нарушитель закона, данного Сыном Божиим, как бы лишается права на ходатайство за него со стороны Сына Божия. Но он еще не пропал, ибо есть еще за него Ходатай. Это Дух Святой. Такой человек поступает под покровительство Духа Святого, Который есть именно Дух любви Отчей, Дух благоволения Отца Небеснаго к человеку. Мы привыкли все явления жизни рассматривать с точки зрения закона и совсем забываем о существовании Духа Святого, и только потому нам кажутся странными такие люди, как Ницше.

Ваш протоиерей А. У-ский

Дорогой В. В.!

Что сказать по поводу ругательных писем, пересланных вами мне для прочтения? Скажу кратко: «Блажени есте, егда поносят вас, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще. Радуйтеся и веселитесь».

Какое важное изречение приводите вы в своей статье из блаженно-го Иеронима! * Да, вот как рассуждали умные и человеколюбивые отцы и учителя церкви! Что в нашей современной практике осталось от этой древней мудрости и человеколюбия?

Прекрасно вы говорите в статье о Достоевском и Вл. Соловьёве, что Достоевский *чувствовал искупление*. Это действительно можно чувствовать, или живо ощущать. Мне привел Бог в своей священнической практике встретить два случая, когда я судил о человеке уже не по понятиям греха и добродетели, а только по сознанию милости (от прилагательного *милый*), дороговизны, бесконечной ценности известного индивидуума для своего сердца; когда всякое сознание о грехе или добродетели куда-то совершенно и бесследно исчезло, испарилось, улетучилось, померкло, как меркнет свет звезд при появлении утреннего солнца. Что это за чудное состояние – не видеть, не чувствовать, а даже не иметь силы или способности, или душевного органа к тому, чтобы видеть или чувствовать в своем ближнем грех! Это истинное ощущение искупления. И конечно, не иначе и Христос Искупитель отнесется к искупленному Им человечеству, как и обещал Он устами древнего пророка: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не вспомню более» (Иерем. 31, 34, посл. к Евр. 8, 12)**.

Ваш протонерей А. У-ский

Дорогой В. В.

О, как горячо я благодарю вас за статьи о Бухареве («Нов. Врем.» от 12 декабря). И книжка Знаменского, и личность Бухарева вполне стоят того, чтобы о них заговорить. Пора перед всей Россией помянуть добрым словом первого пионера у нас прививки христианских начал жизни к обычной нашей мирской среде. Бухарев поистине послужил корнем этого направления религиозного сознания, которое на наших глазах разрешилось в «Новый Путь». И если много есть и будет людей, сочувствующих «Новому Пути», то все они тем самым будут уже друзьями и поклонниками и Бухарева. А как рада и благодарна вам будет Анна Серге-

* Были, в одной статье, цитированы мною слова бл. Иеронима: «Церковь не осуждает ни вторых ни третьих браков и точно так же позволяет выходить замуж за пятого, за шестого и т. д. мужа, как и за второго», и в другом месте говорит тот же древний учитель церкви и один из величайших ее писателей и ученых: «Не осуждаю вторых ни третьих, даже, если можно сказать, осьмых браков: пусть иная примет и осьмого мужа, только бы перестала любодействовать». Из почтения к этому слову учителя церкви, для вдовцов и вдовиц, после которого бы мужа или жены они ни остались, позволительно вступать в новое супружество (реальное), которое если не будет благословлено, то вина неблагословленности и остается на отказавшемся совершить обряд, а сами сожигательствующие должны смотреть на себя как на живущих в полном законном, по бл. Иерониму, браке. В. Р-в.

** Все эти мысли и наблюдения, сюда относящиеся, чрезвычайно важны, и А. П. У-ский, если бы даже в кратком письме набросал о случаях, ему известных, «состояния искупительности», – оказал бы большую услугу. Кто знает, может быть, мы все в неведении касательно *главной* тайны Христовой. В. Р-в.

евна, слишком тридцать лет вдовствующая его супруга! Вы доставили ей несказанное утешение.

Прочитал я в «Русском Вестнике» вашу статью: «Демон Лермонтова и его древние родичи». Все прекрасно. Ясно видно похвальное, обычное вам, стремление уследить и открыть в древних языческих религиях зерна и следы света истины, и потому тем более грустное впечатление производит невежественная и высокомерная рецензия на эту вашу статью, помещенная в № 15 «Православно-Русского Слова». Впрочем, появление таких рецензий вполне понятно. Ведь «Православно-Русское Слово» является прямым и верным наследником традиций приснопамятного Виктора Ипатьевича Аскоченского. Чего же лучшего можно ждать от него?

Преданный вам протоиерей А. У-ский

Дорогой В. В.

Последнее ваше пространное письмо ко мне – целая философская система. Это истинная и подлинная метафизика. Я думаю, Владимиру Соловьёву Бог потому и послал смерть, чтобы лишить его возможности дать России метафизику, ибо метафизика его была бы слишком погрешительна в истине и произвела бы большую путаницу в русском религиозном сознании. Но Бог не восхотел допустить такой путаницы.

Припомните в «Критике отвлеченных начал» выдержку из преподобного Исаака Сириянина о том, что такое сердце милующее. Итак, до какой степени любви и жалости к миру преподобный Исаак дошел путем аскетизма, до той вы дошли путем брака и семейства. И в этом величайшая правда и величайшая святыня полового соития. Крайне желательно, чтобы мысли, изложенные в письме ко мне, вы развили в большую статью или целую книгу*.

Чтобы понятнее вам было печатное описание, посылаю вам маленькую иконку Софии Премудрости Божией. Икона мною освящена. Не правда ли, как замысловата, как красива и художественна икона! Но, увы! не пришлось она по духу русскому народу. Петербург, Петербург! Город поклонения Пресвятой Троице! Скоро ли наступят времена, когда народ русский будет восходить к тебе славить имя Господне (Пс. 121, 4) в том виде, в каком оно открыто нам в Новом Завете, т. е. славить имя Пресвятыя Троицы? «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих! Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе» (Пс. 121, 7, 9).

Возмогайте в Господе и в державе крепости Его (Ефес. 6, 10).

Ваш прот. А. У-ский

* Не до книг и даже не до больших статей теперь. Время дышит нетерпеливо.

В. Р-в.

Дорогой Василий Васильевич!

Хочется сказать два слова о споре Вашем касательно христианства и язычества с М. О. Меньшиковым. М. О. Меньшиков имеет вообще о христианстве искаженное и грубое представление. Говорил я так на основании критики его на сочинения и дело Н. Н. Неплюева, помещенной в «Неделе» уже много лет назад. Последний его фельетон, вам в ответ, вновь подтверждает мой отзыв о нем. Не понимать и искажать Неплюева и Розанова значит не понимать и искажать христианство, значит быть чуждым Духа Христова. Г. Меньшиков продолжает *осуждать и отрицать* древний греко-римский языческий мир, упуская из внимания то маленькое обстоятельство, что Христос пришел *«не судить мир, но спасти мир»* (Иоан. 12, 47); что Бог во Христе *не отринул* мир, но «примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» (2 Кор. 5, 19); что Христос, сошедши во ад, всем тамошним насельникам проповедывал спасение и избавление (1 Пет. 3, 19), и что, весьма вероятно, это в то самое время, как г. Меньшиков порицает и осуждает древних греков и римлян, все они, поверив проповеди Христа во аде, вместе с благоразумным разбойником находятся вместе со Христом во Царствии Его. Кого же, значит, мы осуждаем? Оправданных Христом. Чьим же духом мы дышим, если осуждаем тех, кого Христос оправдал? Христовым ли?

С другой стороны, кого дурачить думает г. Меньшиков, когда утверждает, что Мережковский и Розанов пытаются возродить язычество на христианской почве. Понимая так литературную деятельность Мережковского и Розанова, М. О. Меньшиков тем самым свидетельствует, что он держится тех старых заскорулых византийских понятий о христианстве, за которые Византия вот уже четыре с половиной века находится в опале у Бога. Что же? Или г. Меньшиков желает, чтобы и на русских христиан распространилась эта Божья опала, под бременем которой стонет Византия? Сохрани нас Господи от такой беды. К счастью нашему, совсем не туда пошло русское религиозное сознание. Или г. Меньшиков думает зачеркнуть всю вторую половину XIX столетия и выбросить из бытия Жуковского, Бухарева, Влад. Соловьёва, Янышева, Гусева, Чичерина, Розанова, Неплюева, Мережковского? Нет, теперь уж ни Меньшикову и никому другому не остановить того могучего и многоплодного поворота русского религиозного сознания, который дан названными первоклассными русскими умами. Или г. Меньшиков мыслит себе христианство, как нечто неподвижное, в виде неорганической глыбы, вроде скандинавской гранитной скалы? Но мы, следуя за Христом, представляем и будем представлять себе христианство, как живое растущее и развивающееся дерево (Матф. 13, 31, 32), которое дает и новые ветви, и новые листья. Для нас христианство не исчерпывается национальными вкусами и понятиями одного народа, хотя бы то и греческого, но должно удовлетворять национальным вкусам и запросам всех народов, на все времена до окончания мира, причем всякий народ, вновь вступающий в состав христианства, непременно заметит в христианстве такие черты и стороны, которые не бросались в глаза предше-

ствовавшим христианским народам. И нам, русским, стараться быть лишь подражателями грекам, стараться лишь повторять собою Византию, к чему приглашает нас М. О. Меньшиков, значило бы отречься от своей исторической личности, как особого самобытного народа в семье других народов мира.

Обаятельно было девство для сознания христианского грека, но у нас на современной Руси что-то очень немногих оно собою пленяет. От старой византийской подлинной девственности у нас на Руси остался один только наружный покров ее, одна только жалкая фальсификация. Ясно, что мы способны воспринимать и усвоить себе христианство с иной стороны, чем с какой воспринимали и усвоили его византийцы. В чем же наша особенность? Многочисленные лучшие и благороднейшие русские умы второй половины XIX века дружно, настойчиво и упорно приглашают христианство в семью, в среду мирского общества. Очевидно, это не случайность, а наша национальная особенность в деле веры, наша историческая задача в моменте развития и возрастание христианства. Верные данному историческому моменту, Розанов и Мережковский вот и призывают христианство с его лучезарной небесной святыей в самую центральную точку христианской семьи, в ту точку, без освещения и без освящения которой самое понятие о *христианской* семье разлетается вдребезги.

А М. О. Меньшиков, как и некоторые другие, во весь народ кричит: «язычество». Странное понимание в устах человека умного! Но, должно быть, «не у всех знание» (1 Кор. 8, 7), не всем дано «вкусать сокровенную манну» (Откр. 2, 17), не для всех приподнимается та завеса, из-за которой для слуха Пифагорова лились чудные звуки гармонии мира.

Нет, не язычество вызывают из могил на русскую православную землю Розанов и Мережковский, а святые христианства из греческих *монастырей* выманивают в *русскую* семью, ту святыею, которою русская семья доселе не обладала и которой русскую семью не научили ни греки, ни русские подражатели их. Это такой вопрос, основательно и правильно решить который, роаясь и копясь только в греческих хартиях, нет никакой возможности. Нам, русским, приходится решать его заново и самостоятельно.

Ваш прот. А. У-ский

2*

Дорогой В. В.!

Пишу вам из прекрасного Киева, и как ни странно – из «интернациональной» гостиницы. Живу я сейчас в Киеве в ожидании диспута на магистра богословия. Диспут сегодня в 6 часов в Духовной Академии.

* Мне пришлось быть в сложной, внимательной переписке с двумя священниками, А. П. У-ским и И. Филевским. Первый – ум строгий и критический, сердце – любящее; второй – ум пламенный, *вообразительный* (если можно так выразиться).

Тоскливо одному. Прекрасное утро. На душе мелькнуло воспоминание, не знаю почему – грустное воспоминание о вас. Может быть, то пролетела огненная искра душевной скорби далекого друга, что вы теперь все чаще и чаще стали оправдываться перед читающей публикой в ваших убеждениях и взглядах.

Конечно, «блаженные времена» Пушкина минули. Нельзя теперь сказать в смысле пушкинского высокомерного аристократизма: «Я царь; я сам себе закон; презренная чернь» и проч. нелепые глаголы. Образование, просвещение, культура сделали свое дело. Масса читающей публики – это своего рода ареопаг. Тут теперь совершается суд, обсуждение и осуждение. Обращаться к этому «суду чести» не только не возбраняется писателям, но это их первый долг. И я не о том хочу сказать, зачем это вы так часто стали говорить публике: «Не заподозривайте меня...». А я хочу сказать вам: «Дорогой В. В., пишите так, чтобы не было нужды в самооправдании». Это излишне для вас. Скажу откровенно, эта *apologia pro vita mea** на многих действует не в пользу вашу. Из вашего литературного венца начинают сыпаться увядшие цветы. К чему это? Преждевременно. Нет, не преждевременно, а просто не нужно, никому не нужно. Нужен ваш гений, нужна ваша душа, сердце, ваш литературно-философский глас, к которому привыкли люди искренние, лучшие русские люди. Нужно огненное, правдивое устремление ваше в глубину современных религиозных тем, но не нужна ваша прицепка к таким понятиям и фактам языческой и иудейской культуры, которые не говорят нам лично ничего. Вас Россия любит и читает, по-моему, за вашу прекрасную *личность*, и *личное* симпатичное настроение. Об этом поведайте еще и еще, без усталости, без конца. Это ваше призвание и долг, и честь, и слава.

А то вот ужасно больно читать ваше ответное письмо М. О. Меньшикову (№ 9570; «Споры по недоразумению»). Выходит не то какой-то трагизм, не то комизм. Вы не язычник, да и Меньшиков этого не говорит о вас, да кто может это сказать, кроме Бога; *религия* языческая *лич-*

вместе робкий и несколько уклончивый. Применяясь к установленным авторитетам нашей духовной литературы, я одного назвал бы Филаретом нашего нового движения, а другого Иннокентием консервативного стояния. Внимательный читатель заметит, как в этих двух богословских умах различно опрашиваются и вызывают различные до противоположности чувства одни и те же вопросы, напр. отношение к *юдаизму* и *язычеству*. А. П. У-ский весь полон чаяниями «универсализма христианства», и у него это – не мечта, а воля и мысль. Отец И. Филевский пуглив, и вместе как-то уклончив ласкающим своим языком, каждый куплет которого кончается при сказкою: «Посиди на месте». Певчий талант Филевского ведет к застою; а в сердцеvine его – самовосхищение (т. е. не собою, а *эпохой* своею, *status'om quo* обсуждаемых вещей) и какое-то равнодушие к миру, который на все его сладкие звуки может ответить кратко: «Ты мне не пой прекрасных надгробных песен, а дай *намогающего лекарства*».

В. Р-в.

*защита своей жизни (лат.).

но не касается вас; это просто *алгебраический знак* у вас. Но вы восхищаетесь *культурой* язычества и иудейства, вы невольно берете отсюда только «жемчужные перлы» для вашего узора. Но ведь это литературно-философская идеализация. Зачем она нам, русским, православным христианам, людям, *личностям*, живым, *живущим* существам. Культура языческая и иудейская – уже умерли, разрушились. Осталась одна археология и медленное, печальное, унылое переживание ее. Это уж *вне личной*, а *следовательно*, и семейной и общественной жизни нашей. Нельзя вставить картину в разбитую раму. Жизнь требует своего, *нашего*, да – именно нашего. Об этом нашем, личном нужно говорить, его объяснять, его улучшать; но *не вставками*, но не «примерами благочестия» из языческой культуры и иудейских «преданий старцев». У нас свое сердце, своя душа, своя семья, свой Бог – сюда устремлять все в жизни русской должны все общественные деятели, начиная с писателей, только тем и интересных, что они проявляют, объявляют наше, родное, близкое, дорогое, вечное. И если нельзя *культуру* отрывать *от религии*, дело *жизни* от *личного* бытия, то и *созерцание* устоев нашей религиозной и этической жизни должно идти только чрез наше родное христианство. *История нашей культуры* должна отразиться в *истории и жизни нашей религии*, и ни в чем больше. И наши религиозные недостатки скроются, если мы будем думать «умом Христовым», слышать Его нежное сердце, уловлять Его чувствования. «Этика христианства» (по вашей формуле), а по моей, Евангелие Христово – учение о царстве Божием на земле – не только для дикарей, но и для ученых европейцев. Здесь одна цель – личное бытие, культура и религия. Нет раздела даже в умозрении, даже в философии, в литературе. Если бы у нас в жизни общественной было больше Евангельской (религиозной) простоты и истины, и добра, и теплоты, как бы засиял «свет тихий святой славы Отца небесного, блаженного, вечного!»

Истинно уважающий вас свящ. *И. Филевский*

УНИВЕРСИТЕТ И НАУКА

Всякая вещь *in statu nascente** особенно восприимчива к влияниям. Пропустите этот счастливый момент, когда она уверена в себе – и на завтра вы уже ничего не сделаете с ее застывшими и до некоторой степени самодовольными формами. В таком положении сейчас находится наш университет. Невозможно пропустить счастливой исторической минуты, чтобы не сказать ему несколько напутственных слов, когда он собирается в путь, и, подобно пассажиру, обдумывает, что ему полезно приобрести нового и что из старого полезно оставить на месте и не брать с собою.

Есть вопросы принципиальные, связанные с университетом. И есть вопросы техники и подробностей университетского управления и органи-

* в момент возникновения (*лат.*).

зации. Длинная рубрика вопросов, поставленных управляющим министерством народного просвещения комиссии по преобразованию высших учебных заведений, обнимает исключительно технику управления и организации. Так это дело и должно представляться сверху, управителям, законодателям, регламентаторам. Для них университет есть система рычагов и взаимно связанных больших и малых колес, которые, так сказать, перемалывают науку и выкидывают стране «интеллигенцию». Управляющий и думает об управлении. Но есть точка зрения снизу, и она, пожалуй, главнее. Она именно касается принципов университетской жизни. Не вникая в подробности управления, она оценивает самый хлеб, производимый на мельнице, его добротность или низкий сорт и единственно по показаниям своего вкуса определяет исправность мельницы. Невозможно усомниться, что самый мотив возбуждения вопроса о реформе высших учебных заведений содержится не в недовольстве управителей, профессоров и ректоров своею службою, но в некотором неудовольствии самой страны их службою, т. е. в точке зрения, внизу лежащей, а не сверху. Вот почему вполне возможно опасаться, что члены комиссии, погруженные все в детали управления и организации, так сказать, не ухватят мыслью своею самую душу вопроса.

Например, этот вопрос: группа профессоров, какой угодно численности и разнообразия знаний, суть ли в то же время уже и университет? Мы проходим легкою критикою по очень распространенной идее стадности, которая как-то прикрепилась к университету, руководить нашими мыслями в отношении его. Столько-то кафедр и профессоров – это такой-то факультет. Несколько больше одних и других – это факультеты юридический и медицинский. Мы хотим спросить, исчерпывается ли идея и суть университета его личным составом без дальнейших определений этого состава, кроме критериума научной подготовленности? «Столько-то голов, такие-то сведения – вот это и есть университет». Такое определение слишком бедное, слишком грустно. Слишком не исторично и не философично.

Историческое освещение вопросов всегда есть наиболее вразумительное и наиболее иллюстрирующее. Парижский университет иногда подавал свое мнение в спорах папства и королевской французской власти. Иногда, опять же в спорах римской курии с каким-нибудь начавшимся теологическим течением, университет Парижский, внимательно разобрав дело, становился не на сторону папы, и папа чувствовал на себе давление этого мнения и большею частью или соглашался с ним, или применялся к нему. Каждый, увидев этот факт университетской жизни, тотчас поймет, что он вовсе не вытекал из определения университета: «столько-то голов и такое-то количество знаний», а из другой и *органической* идеи о нем, как о чем-то цельном и едином, великом и неограниченном, чему «наличный состав профессоров» более повиновался, нежели определял этот дух своим капризным и временным мнением. Можно сказать, университет «держал у себя в руках» профессоров, а вовсе не «профессора держали в своих руках университет», что можно сказать о нашем времени и наших университетах.

Теперь, нам кажется, читатель понял нашу мысль. Университет незаметно очень понизился в своей оценке, в своих задачах, в своем достоинстве. Чем он отличается от Технологического института? Только большим числом кафедр, большим числом голов на них и, словом, «личным составом». Зато Технологический институт – специализованнее. И ведь невозможно не заметить, что в то время, как страна обзаводилась, обстраивалась разными специальными и в то же время привилегированными учебными заведениями, главное высшее учебное заведение в ней, университет, мало-помалу и совершенно незаметно для себя, для общества и для страны терял главную свою специальность и в то же время необыкновенно высокую свою привилегию, духовную, неопределимую, но ясно всеми чувствуемую. Более и более университет становится только учебным заведением очень общего и неопределенного характера, а потому даже и малоценного. В последнюю четверть XIX века были сделаны огромные уничижительные в отношении его усилия; его авторитет систематически ронялся в то время, как выдвигался авторитет и всяческая привилегированность классическо-немецко-чешской гимназии. Оставим последние и займемся только университетом. Что такое «чистая наука»? Наука бескорыстная, мнение без сделок. Вспоминаем иллюстрационно посредничество Парижского университета между папою и королем. Тут не в университете дело и его «претензиях» решать. «Претензий» этих вовсе и не было, и университет не был выскочкою, который высказывался, когда его не спрашивали. Университет *спросили* – и вот в этом-то вопросе и скрыт секрет положения вещей. Королю и папе, в те глубоко наивные и непосредственные времена, времена без хитростей и задних мыслей (конечно, – относительно), надо было узнать, как им устроиться между собою («по Божьи, по закону, по писанию, по преданию»; переводя на наш язык: как им было размежеваться по совести, по истине, далеко не сразу видной во всех житейских случаях. И они спросили учреждение, стоящее совершенно в стороне от всяких временных и житейских увлечений, учреждение, «блюдущее чистую истину».

Нет ли у нас таких вопросов?

Не оберешься. Вот вопрос старообрядчества. Вот другой – о крестьянской общине. Еще третий – о золотой валюте. Был, и очень долго, вопрос о присяжном суде, оставшийся не без влияний на его существенные преобразования. Да, наконец, вот вопрос в самом министерстве народного просвещения: когда был составлен устав и программы гимназий в 1870 году, то мнения были разосланы на заключение выдающимся представителям западноевропейской (преимущественно германской) науки и педагогики, из которых некоторые запросили министерство обратно: разве нет в самой России ученых людей, которые могли бы высказаться о строе учебных заведений своей родины.

Вопрос конфузаций, на который министерству, решившемуся отодвинуть университеты куда-то на задний двор, нечего было ответить. И по всем вопросам, рубрику которых мы привели выше, высказывались всевозмож-

ные люди, без знаний и иногда с знаниями. Но университеты, университеты – молчали. Вот вопрос старообрядчества, сводящийся почти весь к вопросу о мельчайших деталях Московского собора 1666 г. Что о нем думает Московский университет? «Московский университет ??? – спросит каждый с удивлением силою в три вопросительных знака, – но, Боже, конечно, он ничего о нем не думает!!!». Может быть, думает – хотя едва ли – профессор богословия или профессор русской истории, вообще кто-нибудь из личного состава профессоров. Но сам университет – он обдумывает в правлении, как бы не исполнить претенциозное предписание канцелярии попечителя учебного округа и кружным путем пожаловаться на самого попечителя министру.

«Личный состав» профессоров – есть, университета – нет.

«Университет» есть только в смысле университетского «управления», но не в смысле его отношения к «чистой науке», «чистой истине», «бескорыстному мнению».

Университет не спрашивают, и он не отвечает. Но почему, но что совершилось, какие перемены в отношении к истине? Мы живем *силами*, а не истинами. Университет не кипит духовной жизнью. Позвольте: спроси государство университеты официально касательно соотношений Стоглавого собора и собора 1666 года? Именно не мнения специалистов спроси, которые могут быть сведущи, но узки и партийны, а самого университета, как духовной личности, как великого исторического образа. Мне кажется, пыль в воздухе бы стала от перебираемых древних хартий. Поехали бы профессора на Керженец, в Олонецкие дебри, беседовали бы с мужиками. Сколько нового, сколько свежего, просто как материала, внесено было бы в умственный наш круговорот, в литературу, в науку, в самый быт, в жизнь общественную. Залы университета огласились бы диспутами, но не теперешними жалкими шаблонными диспутами на «магистра», на «доктора».

НЕВОЗМОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Недавно было писано в газетах, что комиссия, составляющая новое «Семейное уложение», оставила в силе прежнее правило, по которому мужу, разведенному со своею женой, навсегда запрещается вступление в новый брак.

Что́ этот закон, нужен ли он юристам, как таковым, будем ли мы их винить? Но они все люди светские, люди жизни и знают очень хорошо, что ни к какому «безбрачию» такие разведенные мужья не приговариваются, а приговариваются они к одному из двух: 1) или к пользованию проституцией, и 2) или к соблазнению и связи с девицами, вдовами или замужними.

Юристам их «безбрачие» не нужно; народу и государству оно вредно; девушкам и вообще женщинам – опасно. Ведь может случиться серьезная любовь к такому «приговоренному к безбрачию». Любовь на почве сострадания бывает самая глубокая, самая идеальная; но как бы она ни была иде-

альна, закон не подается в ее сторону. Сколько бы люди ни плакали, закон не расплчется; а если любящие переступят закон и сблизятся, он беспощадно, арифметично отнимет у родителей детей, выбросив их в рубрику «неизвестно от кого рожденных, внебрачных детей».

Кому же нужен этот закон? Да он держится или, точнее, перешел еще из средневекового законодательства о семье, древнее Ярослава Мудрого.

Вот здесь и лежит тот источник света, не поднеся к которому мы ничего не можем разобрать в формуле о соотношении брака, как состояния прекрасного, к девству – как состоянию еще лучшему. Формулу эту, почти истинную, повторяют, подтверждают, разукрашивают на все лады.

Кем приговорены к вечному безбрачию разведенные мужья? Греческими монахами IX–XI века.

Но ведь, казалось бы, что монахам и говорить не следует о браке, ибо они знают его лишь понаслышке, по имени, и не ведают всей той, так сказать, радуги цветов, из которой он составлен. Да, но если так о них другие думают, то они сами о себе так не думают. Действительно они невинны и наивны в знании брака; но стоящий наверху всегда смотрит высокомерно на стоящее внизу его, и рассуждает о нем, даже не зная его природы с уверенностью. Для страны, для России семья сравнительно с монашеством есть такая неизмеримо важная, неизмеримо ценнейшая вещь, что об этом и говорить не нужно. Но дело в том, что не Россия решает о семье России, а вот именно монахи.

Ну, кому нужно «безбрачие», т. е. пользование проституцией или чужими женами «приговоренных по духовному суду к вечному безбрачию» мужей? Это есть наивное правило. При всеобщей и для всех открытой проституции такое безбрачие есть просто каламбур, который и в законы-то стыдно помещать.

Да, но высказанное в XI веке обязательно для XX, сказанное греком – обязательно для русского. Покачнуть этот авторитет никакой нет возможности.

Скажи так: «Брак есть норма, а девство – нисколько не порицаемое от него отступление» – и все войдет в норму. Монахи не станут предписывать правила брачникам; просто – перестанут судить и рассуждать о семье, как вещи, им неизвестной, ими неиспытанной. Монахом был Кант, в древности – Платон; монахи есть у буддистов. Девственное состояние всегда было фактом, не возбуждавшим о себе вопросов. Так его и следовало бы оставить в стороне, без обсуждения, как явление биографическое и случайное, никому не мешающее. Но нужно же было произойти, чтобы это случайное явление сделалось общеизвестным и ни для кого (теоретически) неоспоримым идеалом. Как только это случилось, застонала жизнь. Произошла неразрывная цепь причин и следствий. Идеал позвал к себе «идеальных» людей; идеальные люди получили себе авторитет, им добровольно дана была власть. А когда власть и авторитет соединились с состоянием безбрачия, то и осудить невозможно, что начали искать его и люди, вовсе от природы не

имеющие призвания к безбрачию. И вот эти уже приневоливающие себя к безбрачию (которых как же и отличить от природных девственников?) естественно чувствовали себя неприязненно в отношении к людям, не лишенным того счастья, от которого они отказались ради славы и авторитета. В резком масштабе это яснее видно. Кто не знает глубокого прозелитизма скопцов, неутомимой их пропаганды. Хомяков в одном месте основательно объясняет это завидованием. В ослабленном виде подобное завидование к семейной жизни, семейному быту, и неприязненное, если не враждебное, чувство к семейным людям несомненно и в XI, и в XIX веке, всегда и везде, жило в монашестве. И в то же время они были призваны стать исключительными и специальными законодателями семейной жизни, единственными «уставщиками» брака для целой Европы. Можно представить, что от этого получилось. Пример недавний: прошел закон, – заметьте, от светской власти начатый, – об уничтожении самого названия «незаконнорожденный». Это – возможные, между прочим, дети тех «приговоренных к вечному безбрачию» мужей, о которых мы говорили. Даже за границей этот государственный русский закон был приветствован. Но одни люди ему не обрадовались: это девственники. Оказывается, по получаемым до сих пор в письмах указаниям, жалобам, термин «незаконнорожденный» продолжает по-прежнему писаться в метриках, не только по провинциям, но и в Петербурге. Дело в том, что он не был передан записывающим священникам через их специальные начальнические инстанции; и для всех он был законом, а для духовенства просто остался литературным мнением. И заметьте, радость русской и заграничной печати, труд, наконец, Государственного Совета ни на одну каплю не смягчит, не сгладит всех чувств, связанных с кличкою, о которой так много писалось, которая до такой степени была разобрана со всех сторон: все совершенно бессильно по отношению к каждому единичному конкретному случаю подобного рождения; а значущ для него единственно росчерк священника в метриках, каковой росчерк как был, так и остался.

Мнение Хомякова слишком основательно. Девственный идеал даже, так сказать, соломинки не обронил в пользу реальных факторов семьи: мужчины, женщины, ребенка. В одной сказке рассказывается, как убегающая от беды девочка «подлила маслица» в ворота, которые перед нею захлопнулись. Вот такого «маслица», т. е. облегчения, девственный идеал за все время своего исторического существования не дал ни разу семье, оставаясь в то же время (заметьте) полномочным ее господином. «Любовь» его к семье, в сущности, к жертве своей, всего ярче сказалась в установлении пресловутой формы консисторского развода. И, заметьте, у католиков, у которых девственный идеал еще последовательнее, чем у нас, развод поставлен еще жестче, еще жесточее. Жалобы г. Реджэна здесь же, в «Новом Времени», слишком выразительно об этом говорили: там развод тянется десятки лет и выходит уже мертвым иногда супругам! Да и это общеизвестно. Чем всеобщее, признаннее, тверже аскетический идеал, – а кто его не воспевают, –

тем положение семьи в стране хуже, печальнее, иногда пугающее. От этого происходит, что семья, переставшая быть идеальной, семья – неудобно поставленная, опасная, перестает наконец привлекать к себе выбирающую сторону, мужчин. Мужчины перестают жениться. Позвольте, если мужчина идет на Невский проспект и берет существо, которое сам же называет «тварью», то неужели кто-нибудь усомнится, что есть до чрезмерности большие причины, совершенно реальные причины, нимало не в развращенности его лежащие, того, что он боится взять себе вместо этой «твари» чистую и хорошую женщину. Значит, взятие хорошей женщины вы окружили мукой, неудобством – вот единственный родник проституции. Положите кучку денег, а над нею камень на блоке, который упадет и. может быть, счастливо, а, может быть, убьет вас, если вы возьмете деньги. Деньги соблазнительны, а камень страшен. Некоторые возьмут, а все не возьмут (брак перестает быть всеобщим явлением, семья станет бытом только некоторых). Для меня удивительно, как не заметят, что этот страх перед состоянием брачным был высказан сейчас же, как появилось новое учение о разводе, именно – сужение поводов к нему, ограничение их одним прелюбодеянием: «Если, – ответили апостолы, – таковы обязанности мужа к жене, тогда лучше (удобнее, счастливее) не жениться». Перелагая в форму изыскательного наклонения то, что сказано в форме сослагательного наклонения, мы и получим формулу теперешнего состояния вещей: «Если обязанности мужа к жене сделать таковыми, тогда ведь люди перестанут жениться». На что и был получен знаменитый ответ: «Кто может – пусть и не женятся: ибо суть скопцы» от природы, через людей «и царства ради небесного». Последняя категория людей, живущих «царства ради небесного», более и более суживала выход из семьи, т. е. увеличивала испугавшую уже апостолов тяжесть, а что страшным показалось апостолам, как же не покажется страшным обыкновенному человеку! Семья перестала быть садом, куда каждый захотел бы войти погулять, подышать его чистым воздухом, и превратилась в железный ящик, в который прежде чем влезть... каждый прежде попытается, нельзя ли ограничиться хотя и отвратительною проституцией. Ведь мы только не замечаем, что она «премирована» (имеет «премию»): ну, просто через то, что около нее не поставлено никакого специального «груза», чтобы «давить», чтобы «убить».

Вот в одном очерке положение вещей, связь вещей. Рейн начинается маленьким ручейком, также – Волга. Следите истоки вод, а не их огромное течение внизу... Невинный и прекрасный идеал: «Брак свят, но выше безбрачие» сделал то, что весь лик нашей цивилизации стал порнографичным, ибо он стал бессемейным; ведь холостой быт есть светская форма монашества, есть оно же, только не официально признанное, а официально существующее, однако покровительствуемое как и всякий официоз, всякая «добровольная служба идеалу». Заметьте: все, законы, правила, обычаи покровительствует холостячеству, браку же нет ни одного покровительствующе-

го закона. Целому составу городских учительниц запретили брак, никого не спросясь; а попробуйте-ка вы вступить в брак, когда есть хоть одно «препятствие», изнаетесь и все же ничего не получите. Вот пример разницы, и таких бездна. Но вся эта бездна прикрывается певучим, сладким, убаюкивающим указанием, что ведь и брак «благословляется», даже есть для этого обряд, но все же девство выше его.

О ПИСЬМЕ ГР. С. А. ТОЛСТОЙ

Есть некоторое патрицианство духа, как было патрицианство общественно-го и гражданского положения. И если разделение людей на патрициев и плебеев по гражданскому положению антипатично и пало потому, что было антипатично, то духовное патрицианство иногда не отрицалось человечеством, а потому оно и сохранилось везде, у народов самых демократических, в эпохи дикие, как и самые просвещенные. Лица, как Пастёр, Ньютон, Сократ, как жены наших декабристов или римская Корнелия, никогда не оспаривались; да как-то и невозможно себе представить время или группу людей, которые о подобных людях сказали бы: «Нам их не надо».

Письмо гр. С. А. Толстой по поводу новейших повестей г. Андреева и критики В. П. Буренина есть прежде всего поступок русской женщины, – поступок матери семейства, который сохранил бы всю свою силу, будь под ним подписано какое угодно женское имя. Но вполне привлекательно и до известной степени не неожиданно, что голосом русской женщины, без сомнения имея за собою сочувствие тысяч и тысяч матерей, заговорила жена и друг великого писателя, которую все как-то бессознательно и не сговариваясь давно чтили, как образцовую патрицианку нашего семейного быта. Тотчас по появлении рассказа г. Андреева «Бездна», около месяца назад, мне приходилось именно из женских уст слышать выражение такого отвращения, негодования и презрения к этому «творчеству», – перед которым письмо С. А. Толстой еще является сдержанным. Но письмо это действительно не одиночный голос: действительно отвращение к этому растиранию пальцами липкой и зловонной грязи и затем поднесение к носу читателя своей демократической «пятарни» – возмущает вкусы и нравственное чувство наименее испорченной части общества, женской.

Поражает в «творчестве» – грубость и тупость. Тупость, наша северная русская тупость, «злая татарщина» души нашей, выражается в том, что у «творца» г. Андреева ничего не пробуждается в душе ни тогда, когда он изображает гимназиста, рисующего сальные картинки, зараженного скверною болезнью и толкающего столовым ножиком в живот проститутки, ни тогда, когда он рассказывает о студенте, насилующем девушку после трех оборванцев.

*С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?*

Но это – тупость нравственного суждения. Грубость же художественного чувства выразилась в непонимании, что каждый предмет требует отношения к себе, отвечающего своей природе, а не какого-нибудь другого. Ну что, если бы кто-нибудь изобразил нам идиота, колющего на дрова иконы или употребляющего полотно драгоценных картин на заплаты кальсон! Просто – это неинтересно. Просто – это дичь. А художник, избирающий такие дикие сюжеты, – «злой татарин» литературы без всяких дальнейших прибавлений к этому определению. «Шантажисты прессы», прославившиеся в Париже, вызвали оттого к себе негодование целой Европы, что извратили прекрасную сферу труда и деятельности. Но чем, скажите пожалуйста, лучше поступает беллетрист, не менее извращающий и, наконец, доводящий до полного идиотства сцену художественного отношения к жизни?

Дурное в рассказах г. Андреева не то, что он рисует в них пол, а что он говорит о нем такое, что ни малейшим образом не вытекает из природы пола, а составляет фантазию исключительно г. Андреева, которую, прищипывая к явлению, он клеветает на явление. Именно получается что-то вроде «шантажа в прессе». В музее училища барона Штиглица, среди деревянных средневековых статуеток самого архаического стиля я был поражен одною группою. Автор-художник, едва ли не монах, захотел представить зрителю, что такое в существе своем «соблазн»: для этого он соединил в группе две женские фигуры, или точнее одну – в двух возрастах: молодом, когда начинается «соблазн», и в старом – когда все его стадии пройдены. Старая фигура «соблазнительницы» нарисована с такою отвратительностью и вместе гнусностью, что невозможно на нее смотреть дольше нескольких секунд. «Мораль» статуеток заключается в том, что женщина вообще есть гнусное творение, около которого мы «пачкаемся». Гимназист и студент г. Андреева являют собою именно таких пачкунов, а самые рассказы изображают процесс этого пачкания. Я делаю это сближение между средневековыми фигурками и произведениями новейшего беллетристического «шика» для того, чтобы, отрицая их, – мы отрицали корень, из которого оба явления растут. Это – как рубка дров из икон. В основе у обоих, у беллетриста и монаха, лежит неправильное и, наконец, преступное отношение к полу, чуждое понимания и уважения.

– Пол есть зло, и я нарисую его как зло, и чем отвратительнее будет изображение мое, тем оно будет истиннее и поучительнее.

Таково рассуждение обоих. Ничего, если г. Андреев не знает о средневековых изображениях и даже если он рисует похождения в самом деле или виданные, или слыханные им, т. е. если он ни в каком случае не аскет. Он во всяком случае не уважает пола, и в этом главном пункте он вполне и до последней точки совпадает с аскетом.

Нет, собственно, грязных предметов, а есть способ грязного воззрения на них, и грязь, таким образом, лежит не в природе, а копошится в психологии человеческой, в человеческом воспитании. Природа невинна, и в совершенно нагом своем виде она не приобщается греху. Здесь, на этой по-

че, лежит союз искусства и нравственности. Что бы ни изобразил художник, произведение его остается нравственным, если он не осложнит его безнравственной психологиею. Ни роды Китти, ни «падение» Анны Карениной, ни подробности детских пеленок, рассматриваемых Наташей Ростовою, в «Анне Карениной» и «Войне и мире», никого не оскорбили. Итак, нет такой физиологии, которая была бы оскорбительна. Оскорбительное начинается, когда грязный мальчишка, усмотрев через щель в заборе «соблазняющей» его картины, начинает другому мальчишке сообщать, что он увидел. Вот на такие рассказы очень начинают походить рассказы некоторых беллетристов. Тут есть именно неуважение к предмету изображения; цинизм психологии, который падает клеветою на неповинную природу. Начало этого движения лежит далеко. Тут особенно постарались французские писатели. Писатели, частью колоссальной силы, стали роковым образом повторять все ту же и ту же отвратительную порнографическую статуетку средневекового католического монаха, и в результате появилось не только загромождение литературы до последней степени грязными картинами, но и полное извращение воззрений общества на такой важнейший предмет, как родник бытия и жизни человека, на дивный изготовленный природою станок, на котором ткется семья человеческая и самые важные ткани структуры общественной. Вполне этот родник священен. И что рубить дрова из икон, — то же есть и расправляться с этим родником на манер г. Андреева.

Не надо для охраны его никаких «мер», о которых у нас любят хлопотать при первом случае старательные люди. Но потому именно и «не надо никаких мер», что общество должно само стоять на страже того, что для него свято. Голос гр. С. А. Толстой поэтому раздался своевременно. Во-первых, он выразил только то, что тысячи раньше думали. А затем он показал, что русское общество здорово и без всякой о нем опеки сумеет собственным своим движением напомнить забывшимся их границы; что писатель имеет читателя и этот читатель умеет судить.

В конце концов, однако, что создало эту полосу в литературе? Увы, мы возвращаемся все к одной теме? Рассказы Андреева имеют своим потребителем огромный, необозримый теперь контингент бессемейного люда, который фактически не испытал чистого отношения к чистому роднику жизни; который несчастью своею жизнью уже подготовлен к ожиданию всяческой здесь грязи, и немножко возбужден в сторону этих ожиданий. Где есть потребитель — явится непременно и товар. Все эти зрелища мальчишек, возящихся с проститутками, и невозможных походов оборванцев, и присоединившегося к ним студента появились в литературе на той почве, что слишком разросся контингент людей без родства, без племени, без матери и сестер. Ибо возможно ли, имея сестру, уважая мать, любя жену или невесту, читать такое невыносимое трактование «женщины вообще», которая разлагается на серию этих дорогих нам всем любимых существ? Когда женщина перестала представляться сестрою, женою, дочерью, матерью...

ну, тогда стало возможно всяческое на нее воззрение. Фактическое падение семьи, ее сужение или ее ненормальность есть вместе почва, на которой вырос факт падения литературы. Не всей ее, даже, в сущности, ее мелочных явлений, но очень ярких или очень кричащих о себе.

ЧТЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ

В течение многих лет исследователи нашей деревни и, в частности, деревенской грамотности констатировали один из печальнейших фактов: что во многих случаях все, приобретенное крестьянским мальчиком в училище в годы от 9 до 13, забывается целиком между 13 и 21 годами. Являясь отбывать воинскую повинность, молодой крестьянин хотя и держит в руках свидетельство об окончании курса в начальном сельском училище, как удостоверение в праве на льготу, но при проверке этого «удостоверения» обнаруживает самые слабые признаки грамотности и полное забвение пройденного крохотного курса. Конечно, такие рецидивисты безграмотности не составляют правила; но и мальчики, расширившие по выходе из школы приобретенные там сведения, попадают не чаще, чем такие рецидивисты. В общем, школьное ученье является недвижимым в деревне приобретением. Убрано окончательное безобразие. Но дальше, в глубине явления, лежит нетронутая древняя темнота, самые странные суеверия и отсутствие самых элементарных сведений.

Школа всегда имела могучую подмогу в чтении, которое движется уже собственным возбуждением, и движется притом безгранично. Можно сказать, что действие школы на душу ученика тогда только несомненно, если школою ученик возбужден к чтению. Тогда не только материал школьного обучения укрепляется, но он непрерывно и бесконечно начинает увеличиваться, и это увеличение строго пропорционально природной даровитости бывшего ученика. Если школа получает себе преемство и продолжение в чтении взрослого, то одноклассная она сравнивается с двухклассною, год учения играет роль двух лет и вообще весь результат работы училища над учеником удваивается, если не возводится (в лучших случаях) в квадрат.

Вот почему сельская читальня, сельская библиотека есть огромной силы рычаг для внесения света в деревню, о чем теперь хлопчут единодушно и ряд казенных ведомств, и земства и частные лица. Ввиду этого полезно, чтобы нашло себе широкое оглашение и по мере возможности подражание доброе начинание Нижегородской уездной управы. Именно (по сообщению «Волгаря») она обратилась к начальству губернии за разрешением дозволить открыть народные библиотеки при 77 земских училищах в уезде. В самом деле, отдельная библиотека или читальня, требуя себе помещения и библиотекаря, не по силам земскому бюджету, который, естественно, сперва должен обставить школами все села и уже потом думать о библиотеках. Это «потом» относительно библиотек может и никогда не настать или оття-

нутья на чрезмерно долгий срок. Между тем дать библиотеку при школе, но не для учеников, а для бывших учеников и вообще для всего крестьянского люда, с приспособлением к интересу взрослых, уже не представит большого отягощения бюджета, да и прилив частных пожертвований здесь возможен «вещами», т. е. книгами, и даже он может быть значителен по легкости пожертвований. Каждая книжка, обильная сведениями, а особенно практическими, может, переходя из избы в избы, оставить золотой след своего действия. Элементарные сведения об уходе за скотом, о помощи в несчастных случаях, о болезнях, о сохранении молока или яиц, об удобрении земли, о предупреждении пожаров, будучи в городе бросаемым за ненадобностью листком, могут в деревне просветить и научить. Не сомневаемся, что могучее развитие деревенских читален и библиотек могло бы вызвать приспособленные к деревне журнал, газету, книжную популяризацию. Возвращаясь к начинанию Нижегородской земской управы, добавим, что, ввиду жалкого до нищенства вознаграждения сельских учителей и учительниц, возложение на них новых обязанностей по ведению народных библиотек не должно быть предложением «без особого вознаграждения еще потрудиться для народного просвещения», а должно вознаградиться хотя маленькою дополнительною платою. Земский бюджет на пользу образования должен напрягаться. Это парус, которому опуститься и ослабнуть нельзя. Нижегородская управа начала реформу, где наибольшая прибавка в расходовании средств дает наибольший результат. Но увеличение расхода тем не менее должно последовать, ибо от великодушия и трудоспособности многих учителей и учительниц уже взято странною все, что можно, и пора, слишком пора подумать о лучшем их вознаграждении. Возложение на них библиотекарства дает отличный повод озаботиться этим предметом таким образом, чтобы повышение вознаграждения не вышло голою и беспричинною подачкою.

ЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Всего только на днях и педагогические сферы, и общество, и печать отпраздновали дружно первый выпуск слушательниц женского Медицинского института в С.-Петербурге. «В путь дорогу, друзья», – хочется сказать новым труженицам около болящего русского народа. Минуту эту мы считаем совершенно удобною, чтобы указать обществу и, сколько вправе это сделать публицист, попросить у общества помощи и содействия другому крупному начинанию в области женского образования и применения женского труда – основанию в Петербурге же женского Сельскохозяйственного института. Подготовительные работы к этому почти окончены. И план института, с подробною мотивировкою его учреждения, и круг преподаваемых предметов, и время учения – все разработано до подробностей под благосклонным покровительством министра земледелия и государственных имуществ, и при

живом участии такого знатока теоретической и практической стороны сельского хозяйства, как И. А. Стебут, бывший профессор бывшей же Петровской земледельческой академии в Москве. Около идеи этой работает обширное Общество содействия женскому сельскохозяйственному образованию, основанное 24 марта 1899 года, а в настоящее время имеющее отделы свои в Киеве, Саратове и Харькове. Сельскохозяйственный институт в Петербурге – затея не Петербурга, а дело России. Вятская земская управа немедленно по основании означенного Общества выразила *in pléno** желание сделаться его пожизненным членом. Почти немедленно же по основании число членов его возросло до нескольких сотен, и они разбросаны по всей России. В ряде лежащих передо мною брошюр и докладных записок приводятся сведения о постоянном притоке просьб, идущих с разных концов России, идущих из Сибири, указать: где и как можно приобрести сведения по сельскому хозяйству и домоводству. Просьбы эти идут от самостоятельных землевладельцев, от дочерей землевладельцев-купцов, от дочерей чиновников и духовенства. Просят родители, чтобы их дочерям дали практические навыки и теоретические сведения для наиболее рационального и выгодного устройства «дома», ведения «хозяйства», как в его общем виде, так и в специальностях. «Курсы домоводства», «курсы сельского хозяйства» – вот что спрашивается. Читатель с излишне «общим» образованием может сказать: «Да все это женщина, в размерах ей нужных, может наглядно усвоить в родительском доме». Ну, об этом разговор довольно сложен. Приведу вместо рассуждения список предметов преподавания на «Курсах сельского хозяйства и домоводства», учрежденных г-жею Гунст в ее имении «Ивановка», в четырех верстах от Гатчины:

1) Земледелие с изложением естественно-исторических основ его и землемерие – по три недельные лекции в течение двух лет.

2) Животноводство и главнейшие естественно-исторические основы его, с преимущественным изложением молочного дела, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства, свиноводства – по четыре недельные лекции, в течение двух лет.

3) Садоводство – по две лекции, один год.

4) Огородничество – по две лекции, один год.

5) Лесоводство – одна недельная лекция, в течение года.

6) Устройство хозяйства – три лекции, один год.

7) Счетоводство, сельскохозяйственные постройки, сельскохозяйственные орудия и машины (три отдельных предмета) – по одной лекции в неделю, один год.

8) Сельскохозяйственное законоведение – одна лекция в неделю, один год.

9) Подание помощи и уход за больными – по одной недельной лекции, два года.

* в полном составе (*лат.*).

10) Домоводство: кройка и шитье; заготовление консервов и кулинарное искусство – по одному часу в неделю, в течение двух лет.

Читатель, пробежав эту рубрику, увидит, что тут слишком много содержания, чтобы не занять на два года всех сил девушки 17–18 лет, женщины от 20 до 30 лет; и что содержание это – таково, что после усвоения его женщина войдет в свой дом, в свое сельское хозяйство, как бы слепая – после снятия у нее катаракта: войдет зрячею, прозревшею. До чего это давно нужно и именно женщине нужно, читатель-горожанин может судить из тех крошечных разговоров, какие ведет с Левиным-домохозяином Долли, жена Стивы Облонского («Анна Карен.»). Стиве, занятому службою и маленькими клубными удовольствиями, и не интересны, а главное – вовсе не нужны те сведения о молочном скоте, о даче корма коровам, об учете молока, какие очень и очень нужны богатой и беднеющей барыне. А Л. Толстой не бросает своих наблюдений на ветер, не говорит их без побуждения. Что нужно Дарье Аркадьевне Облонской, нужно, и горячо нужно, тысячам русских семьянинок.

Первая женская сельскохозяйственная школа возникла у нас в 1883 году, в Бердичевском уезде Киевской губернии, в селе Зозулинцы-Червонные. Она была основана женою генерал-майора М. Н. Мариуца-Гринёвой, в имении ее матери, вдовы генерал-майора А. И. Червонной. Шесть лет спустя в Ковенской губернии, в Поневежском уезде, была учреждена школа домоводства и сельского хозяйства баронессою А. И. Будберг, в имении ее «Мурованный-Понемунь». В 1891 году в Глуховском уезде Черниговской губернии, была основана Преображенская женская сельскохозяйственная школа г. Неплюевым. С 1898 г. это движение распространяется и на север. Учреждается Анненская школа в Островском уезде Псковской губернии (дочерью тайного советника О. И. Ковалевскою), Сходненская (садоводства и огородничества) в Московском уезде (имение Н. М. Савицкого), Ждановичская (молочного хозяйства) в Чаусском уезде Могилевской губ. (имение Ю. Ю. Бехли), Песковская (сельскохозяйственная колония) в Шадринском уезде Пермской губ., Талашкинская в Смоленском уезде, в селе Чудове Новгородского уезда (учрежд. женою ген.-майора М. В. Горожанской), Князищевская (молочного хозяйства) в Лихвинском уезде Калужской губ., Мучихинские (сельскохозяйственные курсы) в Шлиссельбургском уезде (учр. г-жею Корвин-Пиотровскою), Свигиненская (сельское хозяйство и домоводство с кружевным и ткацким отделением) в Елецком уезде Орловской губ. (учрежд. М. И. Колненскою), Озеричские классы плодоводства в Зарайском уезде Рязанской губ. (учреждены церковно-приходским попечительском Ильинской церкви села Озерич). В 1901 году основалась на юге еще одна практическая школа сельского хозяйства и домоводства в Волынской губ., в Острожском уезде, в селе Вильгор, вдовою полковника Е. В. Ребезовой.

Сословное и общественное положение учредительных имеющихся до сих пор сельскохозяйственных школ обнаруживает глубоко практическую подкладку дела, чуждую «интеллигентной мечтательности». В настоящее

время возбуждено в министерстве земледелия двенадцать ходатайств о разрешении открыть то курсы, то школу с сельскохозяйственным и домоводным курсом для девиц и женщин, из которых одно ходатайство идет от женского монастыря. Но все эти школы и курсы вызывают вопрос о педагогическом для них персонале: оне все имеют курс или элементарный, или средний. И сельскохозяйственный институт является естественным завершением всего движения и вместе ответом на горячую нужду: ибо большинство поименованных школ устроено в деревнях и селах, воспитанницы в них – приезжие и живут в общежитиях, оне ведут практические занятия на фермах, и по причинам, которых не нужно объяснять, ими могут руководить и управлять только женщины или женщины смешанно с мужчинами. Ведь не существует хотя бы в женской гимназии или прогимназии, где все заняты только книжны, теоретичны, персонала служащих исключительно мужского.

По составленному в министерстве земледелия проекту, Женский сельскохозяйственный институт явился бы специальным учебным заведением, находящимся в ведении этого министерства, где получили бы научно обоснованные сельскохозяйственные сведения женщины, закончившие среднее общее образование. При нем предполагается хорошо организованная ферма, опытное поле, опытный скотный двор, сады, питомники, кабинеты, лаборатории и библиотека. Средства на его содержание составляются из частных пожертвований, собираемых и принимаемых «Обществом содействия женскому сельскохозяйственному образованию», из ассигнования государственного казначейства, платы за обучение и доходов от хозяйства. Курс обучения продолжается три года, причем летние месяцы, как посвящаемые главным практическим занятиям, не составляют каникул. Каникулы обнимают собою только 1) август месяц и 2) срок с 15 декабря по 15 января. Окончившие институт получали бы звание женщины-агронома и право преподавания специальных предметов во всех женских и в низших мужских сельскохозяйственных заведениях, а также занимать должности по сельскому хозяйству в разных учреждениях. Практические занятия будут вестись по плану, každогодно представляемому министерству земледелия, с непременно активным участием в этих практических занятиях слушательниц, которые будут за них получать оценку, особую от оценки теоретических знаний, как условие перехода с курса на курс и окончания вообще курса учения. Ежегодный расход по выдаче содержания директору, инспектрисе, надзирательницам, управляющему фермою, преподавателям, лаборантам и еще шести более второстепенным служащим исчислен в 30 тысяч.

Мотивов для учреждения этого Института так много, что трудно остановиться на главнейших. Прежде всего он нужен: 1) женщине, 2) жизни. В документах приведена мотивировка из частных писем девушек, просившихся на временные курсы, открытые летом 1900 г. при Московском сельскохозяйственном съезде. Напр., отец-земледелец совершенно престарел, мать слаба и болезненна, дочь, окончившая общеобразовательный курс, и хоте-

ла бы всеми силами помогать матери в хозяйстве, но никакого умения дать ей не может, кроме механической работы двух свободных рук; или «живем по условиям семейного положения в деревне, видим все бессилие и неумелость крестьянского хозяйства и земледелия, хотели бы научить, помочь; читаем книги, но при отсутствии практического показа и сами из них не научаемся, и советами, взятыми наголо из книги, только вредим»; еще «сельской школе крестьяне нарезали землю; можно было бы завести на ней для учеников образцовый огород, но нет умения, знаний». До сих пор мы исчисляли мотивы, идущие от требований жизни, требований России. Мотивы, лежащие в женской нужде, можно сказать, не жгучи, а страшны: на поприще педагогического, конторского и канцелярского труда происходит такая толчея женщин, которая, если позволительно так выразиться, близка к экономической Ходынке. В «материалах» приводится случай, что когда одна канцелярия открыла у себя двадцать грошевых должностей переписчицы, то на них одновременно поступило несколько сот прошений девушек, окончивших среднее образование. Здесь мы опять не можем не вспомнить всю глубокую архаичность и по нашим временам жестокость наследственного семейного права, по которому женщина расценивается не то в треть человека, не то в седьмую долю. Есть законы, которых и помнить не хочется. Братья, с полным комплектом служебных вакансий, им открытых, с полным университетским образованием, с возможностью завтра жениться и взять за невесту столько, сколько спросит (ибо и выбор невесты от них зависит), получают еще из папашиного наследства утроено против сестер. Сестре не только закрыты все места, кроме жалкой телеграфистки, несчастной канцелярской переписчицы, вечной «бонны», но на случай замужества она, кроме смазливой физиономии, должна показать юному Адонису и тугой бумажник, а без него и без кокетства – она вечная труженица, одиночка по гроб. И этой-то одиночке, беззащитной, бесприютной, закон еще отказывает в равенстве наследственных с братьями прав. Чуть ли тут не есть (в законе) мотив: не класть около невест богатого приданого. Но что за наивность закона: для чего же жениху выбирать невесту из сирот-наследниц, когда он может взять дочь от живых родителей и с живых родителей содрать, сколько надо. Ну, а сколько братья, хорошо пожившиеся, заботятся о дурнушке-сестре, работающей на телеграфе, – это можно наблюдать в повседневной жизни. Полное уравнение наследственных и вообще имущественных прав женщины с мужчиною есть то, чего мы должны ожидать и отчасти требовать не «в ближайшем будущем», а завтра, сейчас. А то у нас получается какое-то «христианство наыворот». Сильному – добавка в силе, слабому – перешиб ноги.

Должность экономки, хозяйки, компаньонки по хозяйству при богатой помещице разредит толпу девушек, стучащихся в двери канцелярий, где количество мест ограничено штатом. Институт откроет для женского труда новую дверь и не только вместительный, но бесконечный коридор за нею. Раз хорошо создалось бы и устроилось, и повсеместно распространилось

женское сельскохозяйственное и домоводственное образование, и женщина пошла бы густыми рядами в бесконечную даль Руси, в южные степи, на Кавказ, в Сибирь, в Среднюю Азию, не говоря уже о центральных губерниях, и русская земля получила бы около себя самого зоркого радетеля и радетеля самого лучшего по кропотливости внимания, по всегдашней трезвости, по выносливой терпеливости. Хозяйство – в инстинктах женщины. Женщина не знает клуба, карт, «рюмочки»: не нужно искать других сравнений, чтобы выставить все ее преимущество около земли. Земля и женщина – это две сестры, безгласная и с голосом. Мы уверены, что именно женщиною русская земля воскреснет, и русская почва вновь начнет родить так, как уже разучилась, измаянная небрежным, то пьяным, то гулящим своим хозяином.

Сельскохозяйственная деятельность женщины есть гениальный выход из множества неразрешимых сейчас вопросов. Ум женщины несколько мелочнее мужского и несравненно практичнее; он более конкретен, осязателен. Вспомним, что и наблюдательный и сатиричный Гоголь, нарисовав фантазеров около земли: Плюшкина, Тентетникова, Манилова, грубого Собакевича, и то больше занимавшегося губернскими обедами, показал нам образ домовитой хозяйки в лице Коробочки. Фигура не без забавных черт, но уж Гоголь и задался в поэме забавностью: но у Коробочки все шло отлично, аккуратно и, судя по отказу купить «мертвые души», – вовсе не невыгодно. Всякого рода мелочный счет присущее женщине, чем мужчине. Вообще мелочность – душа в хозяйстве, капитал около земли; и самый этот недостаток женщины при сельскохозяйственном ее устремлении сыграет роль таланта. В мелочности этой нет антипатичности. Это только проявление конкретности. Мы, наконец, закончим мысль свою, сказав, что сельское хозяйство есть самая здоровая форма перехода человека от излишеств городской, сутолочной, нервной жизни к природной, естественной, деревенской. Бедный Руссо все гулял по деревне и мог только гулять: он не умел работать, не знал, как работать. К несчастью, у него был слишком роскошный литературный талант, чтобы он вынужден был мозолить руки около плуга. Итак, в его великом лозунге возвращения к природе, она являлась как место прогулки. Тут – все недостаточно, это – духовная чахотка! Природа не только возвращается, но, так сказать, уневествивается человеку (становится невестою) только через работу, которая сегодня тяжела, завтра – легче, а послезавтра преобразается в праздник, – приятный и бесконечный.

Но извечно было так, что куда двигается медлительная насадка человечества, женщина, двинется за нею и человечество *in pleno*. Даже христианство было усвоено впервые женщинами: св. Ольгою, Клотильдой, св. Бертой в Европе, хотя оно несло исключительно мужчинами (все апостолы). Вот почему если суждено европейской цивилизации (как это желают многие, как многие на это надеются) перестроиться с городских *leit-*мотивов на деревенские, с каменистых на растительные, то здесь может женщина сыграть великую спасательную роль. Кстати, она искупит много своей вины.

Женщина танцовка, нарядница, любительница блеска и балов внесла много погубления в европейскую цивилизацию, перетащив за собою из скучного имения в город мужа, отца. Бегство из деревни, составлявшее черную полосу нашей жизни за последние полвека, может быть, очень сократилось бы, если б не исчезло вовсе, будь женщина вовремя обучена сельскому хозяйству. Ибо только наука делает и самую природу интересною. Открываются зрячие, осмысленные на нее глаза. А с знанием пробуждается и любовь. Старые клавиорды, умение вязать бисером кошельки или монотонное заказывание обеда на завтра создало неудержимое течение женщин к городу: к суете и сплетням, если уж не к труду. Для труда надобны – знания. Если ей будут даны знания природы, и именно знания практические – она искупит свою ошибку историческую, скажем жестче – порочность историческую, образован обратный отток из города в деревню.

Чтобы покончить с враждебным почти предрасположением женщины к сельскому хозяйству, укажем на следующее, что нам попалось в прочитанных «материалах». Экспорт из России за границу яиц достигает теперь почти 40 миллионов рублей. Между тем не видно и не слышано, чтобы мужчина занимался птицеводством. Таким образом, эта громадная часть нашей внешней торговли и международного хозяйственного положения держится на незаметных хлопотах женщины около кур. Немножко бы сюда знания как по части корма, выбора куриных пород, сохранения яиц – и экспорт этот мог бы увеличиваться, самый предмет его – улучшиться и возрасти в цене, денежные силы деревни – подняться. Также молочное хозяйство, исключив только заводское маслоделание, лежит на крестьянке и помещице. Наконец, в самом земледелии женщина не безучастна: все жнитво и значительная часть огородничества лежат на ней. Таким образом, семьянинка, нянька около детей, она уже и теперь много работает около земли, около хозяйства, работает, движимая еще более инстинктом и призванием, нежели нуждою. Нельзя сказать, чтобы муж посылал бабу на огород. Нет, она сама идет на огород, полет траву, поливает капусту, копает картофель. Везде, где силы хватает, – она хлопочет около хозяйства. Разве редкость, что целое хозяйство в деревне мужик оставляет бабе, сам отправляясь в город на промыслы, в извоз. И баба справляется. Это – не нужда, а талант, призвание. Образование, следовательно, ляжет здесь удобрением на соответственную почву, придаст крылья доселе медленному и затрудненному движению.

Таким образом, основание женского сельскохозяйственного института в Петербурге есть дело общерусское, государственное, национальное. Общество русское создало лучшую страницу своей истории, почти без казенной помощи воздвигнув зародыш, в сущности, нескольких женских университетов (женские Высшие курсы в Петербурге, Москве, Киеве, Казани) и женский Медицинский институт. Будем надеяться, что оно не забудет вечерние золотые дни и вновь повторит этот подвиг, когда нужно настлать потолок над недостроенною храниною сельскохозяйственного образования женщины.

ЧУВСТВО СОЛНЦА И РАСТЕНИЙ У ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ

Первый раз я обратил внимание на чувство *света* (физического, солнечного, природного) у евреев из определения времени, когда должна читаться утренняя молитва, так называемое «шема». Время это определено не песочными часами, не восходом солнца, не естественным окончанием сна, а другим способом – более тонким и требующим большого к природе внимания. Именно: к краям одежды еврея приделываются кисти, в которые вплетаются *голубые нити* (цвет *неба*), и не ранее и не позже, чем когда глаз начнет в утренних сумерках различать эти голубые нити – должно читаться «шема». Это заповедание идет от Моисея. «И сказал Господь Моисею: объяви сынам израилевым, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти эти вставляли нити из голубой шерсти. И будут в кистях эти нити, чтобы, смотря на них (= смотря на *небо*, припоминая *голубое небо*), – они вспоминали все заповеди Господни (*Книга числ*, гл. 15, ст. 37–39)». Очевидно, желтая или белая нить, или серая среди черных – столь же была бы удобна для данной цели; но взят голубой цвет, трудно уловимый в рассвете. Как бы сказано: «Постарайся уловить первый луч», «первую голубую полосу на небе», «ниточку в щипцах» (= теперешнее наименование кистей). Обращаясь к «шема», составленному, конечно, позднее и выражающему не Моисею, а более общие еврейские чувства, мы читаем: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, *словом своим устанавливающий сумерки*, премудростью *открывающий небесные врата*, разумно меняющий времена, распределяющий *звезды по постам* (определенный пункт, место) на тверди по своему благоусмотрению, создающий день и ночь, прогоняющий свет перед тьмою и тьму перед светом, сменяющий день и приводящий ночь и ставящий различие между днем и ночью: Его имя – Бог Саваоф. Господь живой и вечно сущий – да царит над нами во веки веков. Благословен Ты, Господи, *устанавливающий сумерки*». Не правда ли, как здесь много природы? И взята она в *Werden**, а не в *Sein***; не в панораме, а в движении; текущая «вслед Господу», как Его «воскрылия» (частное выражение Библии). Свет дня и ночи, рассвет и сумерки – как бы переливаются цветами, голубенькими, в оперении крыл летящего Господа, а еврей в «шема» только восклицает: «Вижу, вижу Тебя, не упустил посмотреть; не Тебя, а перышки Твои».

Но, может быть, все это только косо и тупо повторяется, а комментарии – мы приделываем? У меня есть рукопись перешедшего в христианство еврея, относящаяся к 50-м годам XIX века, в которой он рассказывает разные диковинки, ему самому странные, в еврействе. Между ними есть следующая (я цитирую): «Каждый месяц, раз, в *полнолунный вечер*, еврей

* становление (нем.).

** бытие (нем.).

собираются группами не менее десяти человек в группе*, во дворе под открытым небом и вслух читают что-то такое вроде *приветствия возобновившейся луне*. При этом достойно замечания, что евреи, желая охранить себя от врагов, конечно – «гоев» (автор несколько иронизирует над соотечичами), прибегают к *защите луны*: перед окончанием чтения, вся группа разом подпрыгивает вверх от земли и произносит: *кешайм шеаны ройкад кснегдеху войаны, ухол лингоя бох, т. е. как я прыгаю перед тобою (луною), но, однако, не могу достать тебя, – так враги мои да не достанут меня злыми своими намерениями*. Удивительно? Танцовать перед луной! и почти – с нею перешептываться! Тут есть что-то милое, милующееся; таинственное с природой «кохованье». Еще удивительнее, что до сих пор хранящийся обычай (ведь все немилое, скучное – выводится из обычая) имеет зачатки себе... в книге Иова! Читаем, как оправдывался страдалец, сидя на печальном своем гноище: «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует (слушайте! слушайте!) – *прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою*» (Книга Иова, гл. 31, ст. 26–27). Что означают здесь слова о руке и устах? в связи с «прельщением»? До сих пор этот жест сохраняется. И Иов, сын Аравийских пустынь, говорит в приведенных строках, что он задерживал юный (в истории) восторг свой перед небесными светилами и украдкой не посылал им (наш термин) *воздушных поцелуев!* Поцелуй... звезде через миллиарды верст! Вот начало молитвы, любовной, влюбленной; молитва родилась как «моление», как любование; перейдя лишь позже в нечто более серьезное и, может быть, сухое. Ибо Иов – это такая древность, которая превосходит все воображаемое, и об этом старце сказал Бог: «Нет еще такого на земле: муж – богобоязненный». «Я знаю раба моего Иова». Но не все и особенно не всегда евреи были сдержаны, как Иов. Иезекииль упрекает их: «И ввел Дух меня во внутренний двор Дома Господня (храма Соломонова), и вот я увидел между притвором и жертвенником около 25-ти мужей, как они *обратились лицами своими к солнцу, и ветви подносят к носам своим*» (Иезекииль, гл. 8, ст. 16–17). Все это надо повторить мысленно над собою, и тогда мы поймем психологию древности. Выходя на прогулку весною, с каким чувством мы обрываем первые распутившиеся почки и ненасытно их обоняем, а маленький, выглянувший из почки листок жадно берем в губы, кладем на язык. Вкус и обоняние – гораздо более глубокие чувства, чем зрение и слух. Последние два – эстетические чувства; два первых – роднящие. Но где для нас стоит физиология, для древних на этом месте стояла религия. Иезекииль описывает, в сущности, удивительную сцену. Евреи *входят для физиологических ощущений в храм*; и именно, как теперь в полнолуние они пры-

* По еврейским понятиям, службы и молитвы, если они не суть про себя и за себя молитвы, а носят характер общественного служения, не могут совершаться без присутствия молящихся в известном числе, кажется – именно 10 человек. Посему и обряд перед луною я считаю чем-то похожим на общественное служение, по крайней мере – на общественную религиозную радость.

гают в направлении к луне, так тогда они тоже «обращаются лицом к солнцу»; может быть – протягивают к нему руки, но, бессильные достать или приблизить его – берут зеленую ветвь и обоняют ее. Поразительно, что *солнце и ветвь* здесь соединены в одно, в один обряд – первыми в истории молитвенниками и страстными любовниками природы. Как уже понятно отсюда, что сок масличных ветвей они сделали постоянной частью своего богослужения (древнейшее употребление «ея», «деревянного масла»). «И в ветви – солнце! немножко – солнца!». Наконец, это перешло в одежды, в украшения одежд: мы медальон носим на груди, и в медальоне – прелестнейшие, любимые черты самого близкого существа. Исайя (гл. 4) раз пригрозил евреям: вот я вас! за ваши звездочки и луночки, и опахала, и цепочки (браслеты?) на ногах!.. Эти брызги чувств, рассеянные на таких огромных расстояниях, в Вильне, у Иова, у Иезекииля, у Исайи, эти подавляемые вздохи – неужели ничего не говорят нашему уху? Но «не было изображений в храме, ни одного, никакого» – трубят в одну трубу богословы и историки. «Le deserte est monothéiste», – формулировал и Ренан, т. е. что будто единообразие пустыни навеивает единообразие религиозных чувств, в конце концов складывающихся в поклонение Единому Богу, без подробностей, без аксессуаров, как некоей *отвлеченной Монаде*. Но... как же у евреев не было изображений? Песней пустыне я у них не читаю, но песнь цветку – нахожу. Это – седьмисвечник (семь дней недели) в Скинии Моисеевой. Читаем в «Исходе», гл. 25, ст. 31–36: «Сказал Бог: и сделай светильник из чистого золота; чеканной работы должен быть он; стембель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него». Какой язык! как поставлено слово к слову! Нет, это – не вялая наша речь. Право, есть речи, которые хочется обонять, как израильтяне свои ветви перед восходящим солнцем. И опять, в описании семисвечника все «выходит», «растет»: бытие взято в *Werden*, а не в *Sein*. Но будем следить далее: уже, казалось бы, заказ кончен, чертеж и формула светильника дана. Но любовь слова не останавливается, Божие слово вьется около миндальной ветки: «Шесть ветвей (= шесть дней творения мира) должны выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его; три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами, должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами; так – на шести ветвях, выходящих из светильника, а на стебле светильника (седьмой день – суббота) должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами... И сделай к нему семь лампад и поставь на него лампы его»... Поразительно, что берется не «вообще цветок», не эмблема цветка, как украшение, как красота, как один из способов сделать светильник: это полная статуя миндальной ветви, и золото только обливает и увековечивает формы ее. Заметим, что лампы ставились, очевидно, каждая между тремя чашечками цветка, имея в них три необходимые точки опоры: но лампада не вставлялась в цветок и не закрывала всей красоты его подробных форм. Боязни

образов нисколько не было и в Соломоновом храме: «И на всех стенах храма кругом были сделаны резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне». Что же историки путают об «отсутствии изображений»? Там были лики святых деревьев в светильнике, на стенах! Мир – лицо Божие! И как было не заметить ученым из одного места у Исайи истинный мотив «не изображений», относившийся не к отрицанию того, что изображалось, но к *невыразимости* его красоты и достоинства обычными средствами художественного изображения: если я «потихоньку» люблю солнце, «прижимаю к устам руку», взглядывая на него, – как же его я ухвачу в скульптуре? Получится таз, сковорода, при виде которой я ничего не почувствую. «Не делай изображений и не прилепляйся к ним, дабы не разлепиться с изображенным, с тварью, с живым оперением Господа». Исайя и отмечает: «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделявает его резцом и округляет его и выделывает из него образ человека красивого вида (замечательно!), чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, садит ясень, а дождь выращивает его. *И это служит человеку топливом и часть из этого употребляет он на то, чтоб ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога и поклоняется ему, делает идола («образ», «изображение») и повергает перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает бога, идола своего, и говорит ему: «Спаси меня, ибо ты бог мой». И не возьмет он этого к своему сердцу и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне и на углях его испек хлеб: а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева» (Исайя, гл. 44).* Вот единственный в Библии документ для разъяснения причины «неизображений» в религии и храме. Язык здесь – утомительно длинен, сбивчив, путается, отрицает и утверждает. Что же он отрицает? *Материал*, а не образ. А образ? Он его не только *утверждает*, но берет *свято*, как *святыню*, и потому-то материал и разбивает, что он – *неровня изображаемому*. «Этими красками его не нарисуеть». Возьми чеканного золота, чтобы выразить цветок (светильник). Но человека, «прекрасного человека» (см. выше)? Для него – материала не сотворено! Он – выше всякого материала! Об нем можно... подумайте! представить! полюбить в представлении! Но неприлично взять краски, мрамор, тем паче полено, дрова, и вдруг, на одной половине их, сварив пищу, из другой – сделать снимок человека. Отсюда, из этого до излишества святого отношения к тварям, у евреев позднее развилась музыка. Это уже достойный материал для изображения! Через нежные звуки можно выразить свое волнение при взгляде на прекрасного человека, возлюбленную луну, лучистое солнце, но из меди их выливать наряду с кастрюлями и горшками – унижительно, грешно, оскорбляюще. Что чувство объема было у них в теизме, видно из способа покровления над крышкою

Ковчега Завета кровью. Первосвященник входит в абсолютно темное (без окон и с таким устройством занавесов, что ни один луч света не проникал туда) Святое Святых. Он несет кровь на пальцах, обмокнутых в закланную жертву, и должен ее покапать между изображениями херувимов над ковчегом. «Там буду Я, оттуда буду Я говорить народу», – сказал о Себе Бог Моисею. Что же делает первосвященник? Четыре раза он кропит книзу: *а четыре – сверху*, в воздух, в направлении обратном положению крышки ковота; т. е. он кропит *объемно*, а не линейно и не плоско. «Там Я буду»; и Ему «в благоухание» кровь предусмотрено и предположенно бросается *туда и сюда*, вниз и вверх невидимо, но, однако, пространственно и именно объемно – «Сядящему на херувимах». И сделал это, первосвященник с ужасным страхом выбежал из Святого Святых, а народ спрашивал: «Жив ли ты?». Так велик был их трепет перед вступлением в черту Божию.

Чтобы, наконец, подтвердить слияние ими с собою природы, обратим внимание, что хотя обрезание было дано Аврааму и человекам, но они приняли с собою в обрезание... и деревья! «Когда придете в землю (Ханаанскую или вообще новую) и посадите какое-либо плодовитое дерево, то *плоды его почитайте за необрезанные*: три года они у вас будут необрезанными, не должно есть их; на четвертый год все плоды его (т. е. полный сбор) должны быть посвящены для восхвалений Господа» (Левит, гл. 19, ст. 23–24). Это, у Израиля, – не только подлинный, но приобщенный к вере «язык цветов и плодов».

В праздновании «субботы» принимали участие и домашние животные – абсолютным запрещением и для них работы. В десятословии мелькают слова о «воле» и «осле»: забота молитвы и закона простерта и на них. Еще поразительнее, что в тех же знойных странах, правда, не в самой Иудее, но в одной соседней с нею стране, животные сообщают с человеком *постились и подлежали национальному трауру*: «И встал царь с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретиче и сел на пепле (все – обыкновения и евреев), и повелел провозгласить и сказать от имени царя: *чтобы ни люди, ни скот, ни волю, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили; и чтобы были покрыты вретичем люди и скот и крепко вопияли к Богу... И увидел Бог дела их и пожалел Бог о бедствии их*... (Пророка Ионы, гл 3). Это говорится о Ниневии. Но вот на что обратим внимание: царь Ниневии говорит своим языком и по своему ритуалу и уж, конечно, к своему Богу: *но слушает его и отвечает ему милосердием – Бог Ионы, Бог Израилев!* Так – в изложении пророка Ионы. Что же это значит? Это значит, что злогимская часть еврейской религии не расчленялась с религиями других народов, а иеговитская часть их же религии была их племенная, 12-коленная. Можно это объяснить такую параллелью: мое имя «Василий Васильевич Розанов» последним своим словом обнимает обширную группу людей; предпоследним – указывает и именует моего отца; и только первым называет собственно лицо мое, хотя когда ко мне обращаются – употребляют все три слова. Мы не имеем для Бога другого имени,

кроме этого одного. Но евреи имели их несколько. Из них «Иегова» было лишь 12-тиколенным способом обращения к Богу. Но когда назывался Бог другим именем – Он назывался как Бог Израиля и Халдеи, родины Авраама; и, наконец, еще при третьем воззвании – назывался Он же, но уже как имеющим «небо престолом Своим и землю подножием», т. е. как Отец миров и человечества. Вот отчего и происходило, что при воззваниях других народов к их Богу – их слушал, однако, Бог евреев (Иона, см. выше): этим же объясняется и другая черта, что, напр., эллины допускались к иерусалимскому богослужению (без обрезания, без принятия еврейской веры), и от них в Соломоновом храме принимались некоторые жертвы, но только жертвы, так сказать, не иеговитские, а элогимские. «Язычники допускались к служению в Соломоновом храме, и от них там принимались все жертвы по обетам и dobroхотные, так называемые недавог и недарим, т. е. всеожожения, хлебные приношения и возлияния. Только в специально израильских, племенных и кровных жертвах не могли участвовать чужеплеменники, как-то в жертве (личной, израильской) за грех, за гноеточивых и за родильниц», – читаем мы в «Истории Талмуда» (у г. Переферковича). Но ведь, конечно, участие, напр., Фемистокла в «очищении от греха», положим, еврейки Руфи – было бы и бессмысленно! Вот эта-то общность некоторых молитв и показывает, что между иудеем и эллином, иудаизмом и эллинизмом была разница в некоторых характеристях, в «акценте» религиозном; но разницы, так сказать, в самом языке религии, в ее душе – не было. По крайней мере между ними разница была не более, чем между католичеством и протестантством или православием. Мне никогда не приходило на ум, да, верно, – и всякому православному, войти в костел или кирку и подать там «о здравии» болящего своего родственника, или вообще о чем-нибудь усердно и серьезно помолиться. Но иудеи приобщали к себе некоторые молитвы эллинов, а эллины шли туда с некоторыми своими молитвами. «Мы – будем услышаны!» И конечно – они были услышаны, как ниневийский царь, по свидетельству пророка Ионы.

ЕЩЕ О «60-х годах» НАШЕЙ ИСТОРИИ

Слышал и порицания и похвалы своим мыслям о 60-х годах. Получил (с юга, в письмах) и яростное отрицание моего на них взгляда. «Это – испорченное место нашей истории», – пишет один седой человек, сам живший в то время.

Споры о тех годах вообще были долги, сложны; были и политичны, были и психологичны. Я думаю, после гигантского усилия *сбросить* их с плеч нашей истории – все-таки надо окончить их *признанием*. Они внесли новое и сильное в нашу жизнь, внесли благотворное. Лично нам более всего симпатично в них как бы выпрямление русского характера, получившего в самых шероховатостях тех лет закаливание, ясного взгляда на вещи,

простоты в отношении к людям. Человек 60-х годов есть человек не фальшивый – это до сих пор. Прямое, грубоватое отношение к делу, не дипломатическое и не риторическое – вот, так сказать, одежда, в которую переодели русского человека, русское общество, всю Россию – люди тех лет. Граница их начинается в метафизике и религии. Здесь чувство «человека 60-х годов» как бы приглушено; он не понимает – и без претензий. «Не вижу», «не вижу», мог бы сказать он с железным Вием Гоголя. Но вполне прекрасно, что «невидение» 60-х годов никогда не переходило в фальшивое видение, напр., в риторическую религиозность, в дипломатическую религиозность («для пользы дела»). Голое отрицание куда менее опасно, чем это прикрытое, лишь около сердца живущее, сомнение риторов и дипломатов. Нигилизм Базарова – это катаракт на глазу; нигилизм В. А. Грингмута, да, пожалуй, и М. Н. Каткова – это «темная вода» в глазном яблоке, атрофия самого нерва. «Не вижу» Вия не было вечным; «не вижу» 60-х годов относительно религии – не представляет ничего фатального для России. «Тут мое дело конечно, я дальше не иду, не умею идти», – могут сказать последние могикане тех лет, указывая на груды дел и начинаний в области материальной, земной, гражданской – дел во множестве еще и сейчас не оконченных. «Их я продолжу, других – не начну», – вот честное *resumé* их около недалекой своей могилы, около могил друзей. Мы уверены, что чуткие среди них добавят вслух или подумают про себя: «Но я не стану мешать ничему новому, если только к собственному моему труду, совершенно определенному и навсегда нужному, оно не станет в положение враждебное и разрушительное».

ШАЛУН НАШЕЙ ПРЕССЫ

...После этого Ноздрёв повел Павла Ивановича на двор и показал ему прекрасные конюшни, в которых, по его словам, стояли еще третьего дня дорогие лошади...

Гоголь

Хотел и защищать, и пожурить своего полуприятеля, С. Ф. Шарапова, хотел для оправдания его в неприятных подозрениях, какие еще минувшим летом стали высказываться, дать целую «характеристику» его пера, темперамента, заслуг, достоинств и, конечно, маленьких недостатков. Но только вспомнил приведенный эпиграф из Гоголя и махнул рукой. «Ну, его»... К «борьбе» его с г. Витте имею сделать только маленькую ремарку. И представить себе нельзя, чтобы С. Ф. Шарапов выступил с критикою финансовой системы Н. Х. Бунге. Нельзя представить себе, чтобы Бунге стал «защищаться», хотя бы косвенно и отдаленно, от ученой «критики» издателя «Сугробов». Изящный теоретик просто сказал бы: «Мальчик, сядьте на вашу парту». Этим я хочу указать, что наша финансовая политика сейчас отличается значитель-

ным эмпиризм. Вот эта-то почва эмпиризма и дозволила С. Ф. Шарапову развернуть во всем блеске свои «теоретические познания», блеснуть таким академизмом, который во всяком случае заставил думать о себе, считаться с собою эмпириков нашей денежной системы. Но весь спор этот, для меня не понятный и даже не интересный, я оставляю в стороне, имея к С. Ф. Шарапову некоторую докучу, частью личного, частью даже общественного характера. Дело в том, что я имею пожаловаться обществу и всему *orbis scriptorium** на факт или на насилие, которому подвергся со стороны этого, безусловно, честного человека, не могущего уже потому запачкать руки в чужих деньгах (подозрения о нем), что это во всяком случае пошатнуло бы бронзовый ему монумент в Москве, имеющий некогда воздвигнуться между Кремлем и Обжорным рядом, — на который посматривая или который прозирая в будущем, он пишет каждую строку своих «Сугробов». Мог ли бы Агамемнон украсть курицу? Психологически невозможно. Поэтому С. Ф. Шарапов, продолжающий линию Хомякова, Самарина, Аксакова, Скобелева, а отдаленно — Минина и летописца Нестора, и бывший уже даровитым мальчиком, когда еще бегал с корректурами «Руси» и «Современных Известий», и тогда же из них набирался «духу» и сведений, — должен быть каждым рассудительным человеком мыслим не иначе как «рыцарь без страха и упрека». С этой стороны дело должно быть кончено и отрезано. Я могу представить его в виде юнейшего из братьев Иосифа, Вениамина, которому, как вы помните, в мешок хлеба подложили золотую Фараонову чашу. Но сказать, чтобы этот Вениамин нашей литературы «украл чашу» — представляет уместный позор говорящего. Вот отчего я не говорю о деле, которое сейчас изложу, что он «похитил у меня чужой и для меня ценный литературный материал», — а просто, как рыцарь-наильник, «*veni, vidi, vici*»**. В пору еще издания «Русского Труда» я передал ему пачку рассуждений на религиозные темы, изложенные в частных ко мне письмах г. Г. П. Енишерловым, с предложением их напечатать. Письма эти местами переходили в целые трактаты, включая в себя, некоторые, листочков по 20 малого почтового формата. Они представляют не только высокий литературно-философский интерес, будучи, для меня по крайней мере, во многом новыми, но и для самого г. Енишерлова, очень мало и неудачно печатавшегося в нашей журналистике, имеют всю ценность, может быть, лучшего литературного труда. С. Ф. Шарапов не напечатал их ни в «Русском Труде», ни в последующих «Оттепелях», «Слякоти» и «Дожде», которые он издавал. И письменно, и при редких встречах устно, я просил его вернуть их мне. Он говорил, что куда-то их запрятал, не может найти, и наконец, объявил, что обязанность его вернуть мне эти письма ни на чем не основана и ни из чего не вытекает, так как он в «Сугробах» и «Оттепелях» хвалил Г. П. Енишерлова и тот его, по всему вероятно, любит и не

* пишуший мир (*лат.*).

** «пришел, увидел, победил» (*лат.*).

менее желает, чтобы их напечатал он, Шарапов, а не я, Розанов. Меня это смутило и несколько возмутило, ибо письма были слишком частного и личного характера, и мне казалось, что даже Г. П. Енишерлов не может их изъять у меня и передать Шарапову. Зная г. Енишерлова как человека совершенно другого типа и склада ума, нежели С. Ф. Ш-в, я был вполне уверен, что и он понимает невозможность изъятия корреспонденции из рук адресата. Поэтому я написал ему, чтобы он высказал одновременно в письмах ко мне и Шарапову свою юридическую волю касательно принадлежности писем. Немедленно ответил он мне следующим письмом:

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

На запрос Ваш о разрешении напечатать некоторые выдержки из частной моей с Вами переписки, прошу Вас позволить мне еще раз Вам напомнить, что переписку эту, вдохновленную Вашими статьями, я *считаю Вашею полною собственностью* (курсив Г. П. Е-ва. – В. Р.), которую Вы можете неограниченно распоряжаться после моей смерти; при жизни же моей я не желал бы видеть что-либо в печати из писанного мною в моих частных письмах, так как не вполне еще утратил надежду обработать эти темы для печати более обстоятельно и научно, почему и нахожу появление в печати отрывочных набросков этих тем несвоевременным и вредным.

С истинным и глубоким уважением Георгий Енишерлов.

В. В. Розанову.

Из подписи под письмом: «*В. В. Розанову*» можно видеть, что это – дублет другого такого же письма, с подписью «*С. Ф. Шарапову*», – как это я и просил своего корреспондента сделать. Но и никакого результата не последовало: С. Ф. Шарапов не возвращал мне писем. Вместо этого, он прислал мне пачку каких-то литографированных листов со своими рассуждениями о финансах, которые, предположительно, я должен был прочесть. Так как я никогда не читал и печатных трудов моего приятеля, зная его за друга Скобелева и Агамемнона, то и написал ему, наконец, резкое письмо, где с досады передал, кстати, о том, как целый вагон дачной публики, держа его «Оттепель» в руках, кричал, что он «снюхался» и «взял взятку» и «больше не патриот». «И сколько я вас, С. Ф., ни защищал, ничего не мог сделать». Событие я преувеличил, ибо разговор хотя действительно был в вагоне, но маленький, и все забыли о Шарапове, как только подъехали к буфету с пирожками. Просто С. Ф. меня замучил, ибо страстное мое желание вернуть драгоценнейшую переписку, встречало со стороны его очевидное нежелание возвратить и еще со ссылкой на такой казус, что он ее «затерял», «засунул». В ответном своем письме (мною тщательно хранимом) С. Ф. Шарапов, наконец, прямо сознался, что искомая и оспариваемая корреспонденция у него находится налицо, не потеряна. Письмо было исполнено, кроме того, разных живописных подробностей, которые, с очевидностью, освобождают нашего Вениамина от подозрения: «Мог ли он взять Фараонову чашу», если даже она и очутилась в его мешке.

Но, при всем удовольствии от зрелища невинности и необыкновенных «успехов» С. Ф., мне-то было так же грустно, как Чичикову, когда ему показывали лошадей Ноздрёва, т. е. конюшни, в которых когда-то стояли прекрасные лошади, но не подъезжала ни бричка, не входил никакой знакомый, между тем как друг и хозяин уже раскуривал знаменитый черешневый чубук. Покупателя мертвых душ от дружеского чубука Гоголь спас исправником; я, соответственно более либеральным временам, предпочитаю обратиться к обществу и «братьям-писателям». Жалоба моя к ним начинается с конца рассказа, состоящего, как, конечно, догадывается читатель, с того, что я так и не получил корреспонденции Г. П. Енишерлова, во-1-х, найденной С. Ф. Ш-вым, и во-2-х, отданной именно в мое распоряжение самим корреспондентом. Слова г. Енишерлова, что он «надеется обработать в печатных сочинениях темы этих писем», указывают на их действительную ценность, многозначительность; а на мою оценку, совершенно расходящуюся со взглядом автора, они превосходно изложены, как это редко удается сделать для печати. В других его письмах, не приведенных, он разрешил мне и печатание их, тем более, что они не имеют в себе абсолютно ничего *личного* (автора их я никогда не видел, хотя по корреспонденции, особенно последовавшей за письмами, лежащими у Шарапова, я хочу назвать, и вправе назвать его своим другом). Вот ряд фактов, литературных и общественных, о которых мне хочется, чтобы печать имела свое мнение.

1903, февраль.

СТОЛЕТИЕ КОЛЫБЕЛИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Почти одновременно с вековым юбилеем наших министерств празднуют такой же юбилей и некоторые очень важные, очень крупные составные части этих министерств. Так, 24 января московский учебный округ торжественно справил столетие своего существования и деятельности. Округ этот считается самым важным в Империи, так как он обнимает собою центральные великорусские губернии, с тем вместе самое древнее ядро русской государственности и народности, и заключает в себе первый русский университет, к основанию которого приложил усилия великий Ломоносов. Таким образом, район этот должен быть рассматриваем, как колыбель русского нового послепетровского просвещения. Петербургская Академия Наук, как известно, почти на все время своего исторического существования попала в руки немцев, и, таким образом, национальная русская наука выражалась более через Московский университет, нежели через это русское по бюджету, но иностранное по языку и темам изысканий учреждение.

Нынешний попечитель московского учебного округа, ранее бывший профессором математики местного университета, в день юбилея произнес перед служащим персоналом округа речь, в которой так характеризовал

нынешнее состояние и прошлые судьбы этой колыбели русского учения: «Сравнение того, что было сто лет назад, с настоящим нами унаследованным положением и ростом всех родов учебных заведений, подведомственных окружному управлению, способно наилучшим образом поддержать нашу веру в творческие, благотворные силы просветительного учреждения, призванного законодателем к жизни. Много деятелей сменилось в этот век, а с ними менялись и многие системы, направления и планы действия».

Однако если спросить себя более отчетливо, как о теперешнем состоянии округа, так и о заслугах его перед Россией, которые должны быть исторически выпуклы и всякому видны, то едва ли ответ будет очень решителен. Конечно, в течение века ресурсы из государственного казначейства все отпускались, и гимназии, прогимназии, городские и сельские училища все открывались и открывались. Но это – такая хроника, прекращение которой невозможно было ранее и невероятно впоследствии, ибо оно знаменовало бы разрушение или потрясение казначейства. Действительно, арифметическая цифра учебных заведений округа достаточна, хотя не без оговорок и поправок. К числу последних принадлежит тот факт, что и в Москве, как в Петербурге, не всегда найдется вакансия в первом классе гимназии для каждого, хотя бы и хорошо подготовленного мальчика.

Но затем, оставляя в стороне эту арифметическую, денежную и каменно-строительную «историю» округа, мы подходим к духовной и внутренней ее части, где наши счета «заслуг» и «подвигов» значительно умеряются. За исключением поры министерства гр. Уварова и попечительства Строганова, когда мы видим усилия учебного управления, имевшие намерение привести и действительно приведшие к расцвету университетскую и затем городскую научную и умственную жизнь, – все остальное время существования округа было эпохой пассивною, тусклою, без всего выдающегося, без ярких в себе точек.

Невозможно не согласиться с тем, для всех очевидным и ярким фактом, что состояние школ на наших окраинах как в отношении числа, так и особенно качества, ни в каком случае не ниже, а скорее даже выше, нежели в центральном московском районе. Школы Привислинья, немецкие школы Прибалтийского края до попечительства статс-секретаря Сабурова, наконец, расцвет польско-католической школы в виленском учебном округе в попечительстве Адама Чарторыцкого невольно наводят на вопрос: отчего московский учебный округ не создал для ядра России такого же расцвета русской национальной школы? Едва ли какой-нибудь варшавянин или рижанин имел когда-нибудь основание пожаловаться, что его сыну, хорошо подготовленному, было отказано в приеме в соответственное учебное заведение «по недостатку вакансий». Таким образом, даже в кирпично-строительном отношении деятельность центрального русского округа не была достаточно энергична. Затем, бывший Дерптский университет, имея все у себя на немецком языке, цвел очень высокою научною жизнью; из него вышли многие светила европейской науки, а наш знаменитый Н. И. Пирогов рассказывает в воспоминаниях о неизмери-

мой разнице между преподаванием медицины в этом университете и одновременно в Московском. Гердер и Карл Бэр представляют такие научные имена, равных которым Московский университет не может указать у себя. Даже Строгановская эпоха была более блестяще лекционной эпохой, нежели великою научною. Особенно в настоящий момент, когда попечитель округа оглядывается на столетний итог трудов попечительства, состояние университета совершенно тускло. Это и печально, и до некоторой степени удивительно.

Попечительство не могло удержать за университетом даже прав собственности на «университетскую газету», которая, давно попав в иное владение, вот уже лет десять служит во всей печати «притчею во языцех». Ни твердого шага, ни ясного намерения, ни даже крепкого чувства собственности из Москвы не видно, не слышно. Школ в губернских и уездных городах достаточно, а в селах их так же позорно мало, как и везде в России, и оне там в таком же нищенском виде. Крестьянство невежественно в пределах московского попечительства так же, как в каком-нибудь харьковском или киевском; и уже во всяком случае невежественнее, нежели крестьяне-латыши и крестьяне-финны. Далее, что касается обильного чередования «систем, направлений и планов» преподавания и педагогики, о каковом говорит нынешний попечитель округа, неизвестно с чувством удовольствия или сожаления, то к этой смене московский учебный округ относился глубоко пассивно. Московский учебный округ ни разу не выдвинулся инициативою в педагогике, и даже вообще в образовании России он не имел никогда своего слова, даже хотя бы в качестве «непризнанного мнения». Существование его, за исключением поры Строганова, было робко и исключительно чиновничьи. В монументальном труде г. Барсукова «Жизнь и труды Погодина» рассказано много эпизодов из жизни округа до Строганова и после Строганова, которые нередко переходят в серию анекдотов, сходя с высоких пьедесталов «историографии» в стиле Карамзина. Первый век московского округа был тускл, и было бы печально, если бы его повторил второй век.

ОБ ОТМЕНЕ ОДНОГО КАТОЛИЧЕСКОГО У НАС ОБЫЧАЯ

Есть вещи, от которых дыбом волосы на голове становятся. Оне у всех на виду. Но о них все молчат – например, потому, что оне вовсе не касаются – ну хоть пишушего и чиновного люда. «Там что-то в подполье делается, но заглянуть туда – надо спускаться вниз, зажечь фонарь, трудиться. Мне-то что. С края моя хата, и я ничего не знаю».

На празднике Рождества я был приглашен на елку в здание «Общества распространения духовно-нравственного просвещения в духе православия», что на Обводном канале. После очень милого праздника начались детские танцы, во время которых подошел ко мне и познакомился один священник. Он мне сказал:

– Отчего вы не подымете вопроса о приходе? Это не теоретический вопрос. По закону мы не имеем права венчать без оглашения жениха и невесты в их приходе. А где «приход» пришлого в Петербург на заработки крестьянина? Мы отвечаем такому: «Доставь свидетельство с места родины об оглашении». Он пишет на родину, местному священнику, который или ничего ему не отвечает, или на второй-третий запрос отвечает, что ведь он ушел на заработки с родины лет уже десять, – иногда с детства, – и потому там оклик не имеет смысла, ибо с тех пор он мог и жениться. Приходит вторично рабочий к нам, говорит об ответе этом, просит сделать оглашение здесь. Но мы такого гоним (помню это жесткое слово, хотя, очевидно, священник был заботливый, а лишь выражался просто). Таким образом, все огромное пришлое на заработки население Петербурга нет никакой возможности повенчать, и просто по отсутствию определенного прихода, где можно было бы сделать оклик. Какие из этого последствия вытекают, можете судить сами.

Да, последствия... Это – «громимые» незаконные сожительства, и лишаемые с самого рождения всех прав состояния дети. Отказывающим в венчании – легко; невенчаемым – трудно.

Между тем, еще в 1899 г. в «С.-Петерб. Дух. Вестнике» я нашел об этом следующее разъяснение. Нужно заметить, что сообщавший мне о своем пастырском горе священник сказал, что духовенство петербургское неоднократно обращалось с своим затруднением об окликах в Петербургскую консисторию, но никогда никакого ответа не получало. Оказывается, и отвечать было нечего. Но я цитирую из издания «Пастырского собрания по поводу мер к борьбе с незаконными сожительствами»:

«При строгом соблюдении формальностей редкий брак можно повенчать на точном их основании. Много недоразумений при венчании возбуждают оглашения или оклички. В духовенстве существует убеждение, что, по закону, оглашение должно производиться на месте происхождения жениха и невесты. Но в Петербург многие приезжают еще мальчиками и девочками, здесь вырастают, на родине их забывают, местный причт сведений о них не имеет и получить от него окличку бывает почти невозможно. Требовать от подобных лиц свидетельства об оглашении их на родине почти равносильно отказу их повенчать. Нередко местные причты при запросах к ним (значит, они делают; значит – священник сказал мне только горькую правду) или отказывают в сведениях, за неимением их, или совсем не отвечают. Сведения о состоянии крестьян должны быть в волостных правлениях; сведения в приходе более или менее случайны, собираются в деревнях иногда путем опроса. Оклички по месту нахождения (т. е. в Петербурге) едва ли достигают, таким образом, цели. Невозможно бывает путем оглашений обнаружить между брачующимися и родство. Родство жениха обыкновенно не знает родства невесты, если брачующиеся разных губерний, и тут возможны нарушения степеней родства. Наконец, оклички доставляют брачующимся множество затруднений и хлопот; из-за них проходят сроки

для венчаний, мясоеды, жених и невеста начинают сожительствовать незаконно, бывают материальные потери и убытки, страдают родители* и т. д. При всем том несколько несправедливо, что вся эта тягота ложится исключительно на крестьянское население, так как дворяне, купцы и мещане легко получают оклички по месту жительства».

Хорошо это «несколько несправедливо». И почему же «дворянам, купцам и мещанам» оклички делаются «по месту жительства», в Петербурге, а для крестьян этого не делается? Но читатель, верно, заметил неясное и двусмысленное в начале цитаты выражение: «в духовенстве существует убеждение». Что же это такое за «убеждение», влекущее к таким ужасным последствиям?

По поводу этого заявления председателем пастырского собрания, профессором канонического права Горчаковым приведена справка об оглашении из гражданских законов, т. X, ч. I, ст. 25 и 26. Закон гласит: *ст. 25:* «Желающий вступить в брак должен уведомить священника своего прихода, письменно или словесно, об имени своем, прозвании и чине или состоянии, равно и об имени, прозвании и состоянии невесты». *Ст. 26:* «По сему уведомлению производится в церкви оглашение в три ближайшие воскресные и другие, встречающиеся между оными, праздничные дни, после литургии, и затем составляется обыск по правилам... Если невеста принадлежит к другому приходу, то оглашение должно быть произведено и в ее приходской церкви». Эта 26-я статья – единственная в законе о производстве оглашения.

Не правда ли, тут ни слова не говорится об оглашении на месте родины? Откуда же у петербургского духовенства «сложилось убеждение» о необходимости именно с крестьян требовать окличков на родине? И не можем ли мы предположить просто фискальных в образовании «убеждения» мотивов, почему они и применены «несколько несправедливо» только к темному и безответному «податному сословию», а гг. дворян, купцов и мещан, которые по грамотности могут и заглянуть в закон, обошли? Но вспомните, читатель, что на этой почве является незаконное «сожительство жениха и невесты», а затем бесправные, даже безыменные дети! Цитируем дальше, и удивлению нашему не будет предела.

«Затем была пастырскому собранию сообщена краткая история оглашения на Руси. До половины XVII века в Великодержавии не знали оглашений, и до учреждения Св. Синода они совсем не производились. Впервые оглашения появились у католиков, у которых введены Тридентским собором, в XVI в., а от католиков через польское правительство проникли в южную Русь, затем правила об оглашениях внесены в требник Петра Могилы, в статью о тайне супружества; взяты прямо с католического ритуала; при печатании Кормчей, внесены и в нее, но на практике не применялись.

* Автор даже не упоминает о детях. Такая малая вещь! А ведь они на всю жизнь лишаются прав честного имени и даже права отца и мать назвать родителями.

Когда, вскоре после учреждения Св. Синода, возникло знаменитое дело о браках смоленских шляхтичей, тогда воспользовались этими правилами и постепенно сделали их обязательными; в Свод законов приведенная выше статья внесена впервые в 1832 г., но взыскание за несоблюдение ее прямым образом в уставе духовных консисторий не полагается. Что касается нынешнего положения дела, то оглашения, где бы ни производились, в действительности не имеют желательного от них значения. *Что они должны производиться по месту нахождения – этого нигде в законе нет.*

Принадлежность к приходу лучше всего обусловить местом жительства, но наша слабость в том, что мы не знаем своих приходов, и прихожане наши неопределенны, а потому и оглашения по месту жительства иногда, напр. в Петербурге, не достигают своей цели. Урона не было бы, если бы их и совсем оставить. Нужно вообще опасаться затруднений при заключении брака. Замечено, что ничто так не охлаждает отношений между пастырями и паствой, как брачная волокита. Кроме того, из компетентных источников сообщалось, что многие случаи уклонения в штунду, в Малороссии, и в сектантство объясняются легкостью вне православия вступить в брак. Однако у сектантов чистота родственных отношений и святость брака соблюдаются не хуже, чем у нас. Наконец, незачем нам проделывать горького опыта католиков: крайняя строгость их предбрачных формальностей, подозрительность и опасение верить чему-либо и кому-либо, кроме собственного личного убеждения, были одною из главных причин введения на Западе гражданского брака».

Итак:

1) Оклик на месте родины ни для какого сословия и никаким законом не требуется. Что же такое делает петербургское духовенство с крестьянами? И когда оно явно и печатно созналось в этом, – каким образом руководящая духовная власть не разъяснила и не разъясняет ему неправильности его поступков?

2) Обычай оклика – католический. Петр Могила, – киевский иерарх, а не святой подвижник, – занес его в «Требник» свой, в котором среди старинных обыкновений содержатся совершенно темные, вроде заклинаний различных болезней, беснования и т. п. Вообще это «занесение», без спроса Церкви сделанное, никакого значения не имеет, и Церковь сама, до какого-то «дела о смоленских шляхтичах», им не пользовалась; а затем «постепенно ввелся» этот обычай не по каноническим основаниям, а по утилитарным соображениям.

3) Пользы от оглашения никакой нет, по признанию самого духовенства.

4) Устав духовных консисторий, за нарушение этого правила, не возлагая на священников ответственности, этим самым молча дозволяет вовсе не производить их.

5) Священникам просто, без всякого перед высшим начальством ходатайства, следует начать оставлять эту польскую привычку. Ибо –

6) От сохранения ее люди живут незаконною брачною жизнью, дети рождаются бесправными, – и все это в глубочайшей-то своей основе имеет, кажется, единственно старательное прискивание самими священниками каких-нибудь особенных «препятствий к браку». Ибо с житием «брачным» связаны те «выгоды мирян», против которых выдвинуты, как говорится в фортификации, «контр-апроши» выгод тех, кто венчает. Чем затруднительнее и теснее положение петербургских Ромео и Джульетты (а ведь есть и в Петербурге они), тем более... радуется Дух Пустыни, дух «пустынножительства», вечного «лучше не жениться», и, поиздевавшись над «грешным» чувством, или гонит юных героев вон, или делает, наконец, «снисхождение», «принятие на себя риска повенчать», конечно – не без «благодарности».

О НОРМИРОВКЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА

Сколько лет уже пишется и говорится о недостаточном обеспечении нашего учащего персонала. И обещалось, и можно было думать, что за обещаниями, которые проносились счастливым эхом по равнинам России, последуют более тихие административные распоряжения, изменятся цифры в «требовательных ведомостях», по которым получается жалованье из министерства народного просвещения, из губернских земств и училищного совета при Святейшем Синоде. Эхо проносилось, обещания успокаивали. Публицисты и городская публика, имеющая суждения «с весом», не раздражались более. А между тем проходит время, и какое-нибудь сведение вдруг обнаруживает, говоря словами дедушки Крылова, что

Воз и ныне там

и что «лебедь, щука и рак», наполнив атмосферу шумом своих препирательств о «компетенции учить», о «прерогативе просвещать народ», трогательно согласны только в одном, что учитель сельский «и так сыт», и если сравнять его в средствах содержания с петербургской кухаркой или горничной, то он «с жиру взбесится». В самом деле кухарка при полном готовом содержании получает 10–12 р. в месяц собственно на чай, обувь и белье и выходную одежду, потому что носильное платье обычно дарится им к праздникам Рождества и Пасхи. От этого каждая решительно кухарка, проведя всю жизнь в полном довольстве, под старость лет сколачивает еще незначительный капиталец. Что говорить, еда дело важное, и русский человек рад хорошо поесть и за удовольствие добропорядочной еды не прочь хорошо заплатить. Но все же не мешало бы русскому человеку и вспомнить, что воспитание детей тоже не из последних по важности вещей и что платить наставнику их менее чем кухарке или горничной, зазорно для совести и совестно перед Богом. В «Волховском Листке» приведена

таблица годового жалования сельским учителям и учительницам в 1884–85 гг. и в 1899–1900 годах. Вот она с показанием разницы за 15 лет:

Новгородский	198 р.	204 р.	+ 6
Старорусский	190 »	223 »	+ 33
Крестецкий	298 »	285 »	– 13
Деминский	254 »	248 »	– 6
Валдайский	217 »	267 »	+ 50
Боровичский	198 »	211 »	+ 13
Тихвинский	267 »	256 »	– 1
Устюженский	242 »	223 »	– 19
Череповецкий	265 »	226 »	– 40
Кирилловский	211 »	221 »	+ 10
Белозерский	210 »	244 »	+ 34

Таким образом, из двенадцати уездов в пяти вознаграждение учителей за 15 лет даже упало ниже прежнего, и нигде оно не достигает 300 р. в год, т. е. 25 руб. в месяц, местами равнясь 17 руб. 50 коп. Остающаяся за вычетом 10 или 12 р. сумма в 7 р. 50 к. или в 5 р. 50 к. представляет стоимость того содержания, которое кухарка и горничная получают натурою, т. е. стола и носильного платья. Само собою разумеется, что и в одном и в другом, а особенно в столе, городская прислуга имеет перед учителем и учительницею неизмеримое превосходство.

Автор статьи в «Волховском Листке» указывает, что уменьшение жалования земским учителям и учительницам последовало как раз в тех уездах, которые пользуются в губернии репутациею «прогрессивных».

Это вполне возможно, и около этого не нужно ставить каких-нибудь комментариев в том роде, что прогрессивность земцев не мешает им оставаться равнодушными к положению тружеников школы. Желание сколько возможно увеличить число школ, провести через грамотность, если не все сельское население, то значительнейшую его часть, понудило, без сомнения, указываемые уезды открывать новые и новые школы, что не только не позволило увеличить содержание учителя, но даже его уменьшить. Земство, имея определенный, очень небольшой бюджет на школы, бьется между двумя равно мучительными вопросами: увеличивать ли грамотность народа, обеспечивать ли учителя. Жалование последнего падает до такого минимума, ниже которого уже не может взять никакой учитель. Из борьбы этих двух течений, равно законных и противоположных, вытекает положение сельского учителя, действительно чрезвычайно грустное. Но было бы неосторожностью взваливать ответственность за него на деятелей земства. Последнему ничего бы не стоило, имея очень немного школ, не только удовлетворительно, но и отлично обеспечить учителя. Никто бы из педагогов на земцев не жаловался, но это отсутствие жалоб не свидетельствовало бы о сколько-нибудь удовлетворительном положении образования в уезде. Оно

было бы скверно и даже чрезвычайно скверно. Нам кажется в этом безысходном положении, в котором находится земство, к нему должно прийти на помощь министерство народного просвещения. Именно подобно тому, как оно субсидирует гимназии и прогимназии, получающие основную часть своего бюджета из ассигнования городской думы, так министерство может вносить доплату к содержанию сельского учителя, когда это содержание спускается ниже определенной нормы. Вообще нормировка учительского жалованья, конечно, не может быть одинакова для земств всех губерний, но она может быть одинакова для всех училищ одного типа в каждой порознь губернии. Так, в приведенном примере Новгородской губернии наибольшая сумма, именно 285 р., получается только в одном Крестецком уезде. Для министерства не составило бы чрезвычайного обременения принять эту сумму за норму в данной губернии, ассигновать из своих сумм добавочную до 285 р. приплату для всех остальных десяти уездов. Нужно заметить, что лишь сколько-нибудь удовлетворительное вознаграждение учителя может гарантировать и успешность его преподавания. Ибо на нет и суда нет, и можно желать, но невозможно требовать и искусства, и старательности со стороны человека, который сам едва прокармливается от труда своих рук.

ПАМЯТИ ЕВГ. ЛЬВ. МАРКОВА

Выход из рядов братьев-писателей такой личности, как Евг. Льв. Марков, заслуживает быть отмеченным более, чем только некрологом. Позвоительно задуматься, чем был покойный писатель и что Россия потеряла в нем. Отодвинем в сторону общеизвестные рубрики его ценности: обширное и разностороннее образование и многочисленность написанных трудов, и спросим: нет ли еще чего-нибудь, что составляло бы его личную и особенную ценность?

Покойный, будучи романистом, публицистом и путешественником, не выдвинулся в первый ряд литературы, оставаясь всегда только писателем видным, голос которого выслушивался с уважением, а иногда и долго помнился. Это зависело оттого, что у Маркова не было специального призвания, специальных тем; и от этого он не провел в литературе никакой специальной, ему одному принадлежащей, тропы. Отсутствие очень большой новизны и оригинальности поставило его во второй ряд. Но что дало ему в этом втором ряду место твердое, никогда не менявшееся, положение видное и очень уважаемое?

Марков был писателем редкого здравомыслия и уравновешенности и редкой точности и верности нравственного чувства. Он не подымал новых тем. Но когда около какой-нибудь темы происходила литературная свалка, слышались голоса резкие и противоположные, начинали замешиваться нечистые чувства, — раздавался вдруг чистый великорусский его голос, с отливом южной мягкости (покойный был уроженец и житель Курской губер-

нии), и тогда на него невольно все оглядывались и часто поправлялись в крайностях своих воззрений. Я упомянул о точности и верности его нравственного чувства. Но его не все имеют мужество высказать. Иногда в общественной жизни накапливается, как по ранней весне грязи, около доброй цели, доброго намерения, доброго закона целая гора сорных человеческих дел и делишек. Из уважения к доброй сердцевине дела, все молчат о покрывающей его грязи. Так было с судом присяжных, около которого очень скоро образовался целый затор плохого судебного красноречия, всяческих софизмов, безразличия к преступлению — в сфере, долженствующей быть всего более к нему чуткой. Всем был мил и дорог новый суд, всем были несносны «присяжные» говоруны. Но запутавшееся между сочувствием и антипатией общественное чувство или опасалось поторопиться с резким словом, или не умело его выразить так, чтобы с порицанием злу не было сказано и порицания добру, столь тесно с ним связанному. В «Софистах XIX века» Марков сказал нужное слово. Требовалось именно его здравомыслие и, так сказать, самоощущение этого здравомыслия, дабы произнести в 1875 году то осуждение, которое повторили, может быть, и талантливее, но позднее Достоевский в «Братьях Карамазовых» (изображение суда над Дмитрием Карамазовым, с речами прокурора и адвоката Фетюковича) и Л. Н. Толстой (в «Воскресении»), общее изображение суда над Екатериною Масловой).

Уравновешенность его ума сказалась в стойкости его педагогических идей. Скромный учитель естественной истории в Туле, он был зрителем-соседем творческих порывов в педагогике, которым отдался с энтузиазмом наш великий романист. Марков сумел отделить то, что принадлежит в этих порывах не методу Толстого, а гению Толстого, и объяснялось этим гением: а у всякого простого человека, каковым мы должны мыслить обыкновенного школьного учителя, при соблюдении того же метода занятий, но без воспособления вдохновенности Толстого, дало бы самые скудные и, наконец, уродливые результаты. «Не боги горшки обжигают»: есть тысячи простых дел, к которым всегда будут приставлены простые люди; и самые нормы этого дела должны выработаться в вековом труде и опыте именно этих людей, без особенного гения и творчества. Резко восстав в 1862 г. против обобщения и приложимости яснополянских опытов, Марков остался неуступчив и в отношении к наступившей через восемь лет после этого системе Д. А. Толстого. Тут сказалась его благородная гордость, не позволявшая небольшому чиновнику слиться с обширной системой. Директор симферопольской гимназии и народных училищ в Крыму, он произнес в присутствии самого министра, посетившего в 1870 г. Крым, речь о среднем образовании, где отрицались несбыточные (и несбывшиеся) надежды классицизма, и принужден был подать в отставку. Это могло бы бросить его, говоря западным языком, в «оппозицию», по крайней мере, журнальную. Но Марков как спокойно не согласился с наступавшим непохвальным режимом, так сохранил это спокойствие и в стороне от учебных дел. В критике Л. Н. Толстого он стоял на почве западноевропейского опыта, не допус-

кавшего таких личных порывов в учителе; оставшись в стороне от насаждавшегося у нас классицизма, он противодействовал слепому, не критическому пересаживанию к нам образцов прусской школы. Не забудем, как мало обнаружили самостоятельности в отношении к министру и министерству того времени даже профессора университетов, и мы оценим всю чистоту и твердость шага провинциального гимназического директора. Его книга детских и школьных воспоминаний: «Барчуки. Картины прошлого» – полна самого ценного педагогического материала, данного не в рассуждениях, а в картинах. Здесь то же обилие свежей наблюдательности и здравомыслия, как в прекрасных и мало у нас оцененных школьных воспоминаниях г. Дедлова.

Марков никогда не был консерватором, а между тем на него усиленно наводились тени этого направления. Он был хорошим выразителем времени 81–94 годов, но без всяких подчеркиваний, без единой крайности, без всякого чувства мести (сильно в те годы разыгравшегося в литературе) по отношению к пережитому двадцатилетию 1861–1881 гг. Точнее сказать, во все время царствования Александра II он был как бы уже зародышем духа царствования Александра III: спокойного и положительного отношения к родине, отношения уважительного, но без ослепления. Отсутствие нервности не сделало его первостепенным бойцом в которой-нибудь эпохе. Но от обоих их он понес на себе спокойный и лучший свет.

О МЕДИКАХ И МЕДИЦИНЕ

I

Немного приотворив дверь палаты № 11, я увидел на койке какую-то брошенную белую тряпку. «Где же человек? Тут никого нет!». Сестра милосердия вторично твердо указала мне войти. С бьющимся, отяжелевшим сердцем я продвинулся дальше. За мной в таком же страхе подвигалась родственница. Сделав два шага, мы увидели то, что привычно называется «человеком» и что мне не представлялось таковым в раскинутой на тюфяке тряпке.

Это был мой бедный друг, только что вынесший тяжелую, двухчасовую операцию. Он лежал так, как его положили, перенес из операционной комнаты, по-видимому, брошенный небрежно, а на самом деле уложенный в глубоко обдуманном положении. Оперированный бок и таз лежали на подушке, горкой; связанные ноги круто спускались книзу; и так же, как ноги, висела книзу голова, обессиленная, бескровная, кажется, без подушки, во всяком случае гораздо ниже не только приподнятого круто бока, но и плеч. Теперь, зайдя с головы, я увидел все, увидел целость и смысл фигуры моего друга, которая от двери представлялась мне просто скомканною тряпкой, не только по отсутствию вида человеческого, но и по страшной, особенной неподвижности.

Тихо я приложил губы к холодноватому, чуть-чуть влажному, страшно бледному лбу. Я знал, что не надо разговаривать; и хоть увидел вполне осмысленный взгляд больного, но не ожидал от него никакого слова. К удивлению, волнению, испугу, я услышал до чрезвычайности громкие, раздельные, отчетливые его слова, одушевленные:

– Как меня Бог любит (он перекрестился широким крестом). Какое Он сотворил со мною чудо. Где я был? Душа летала где-то, в высоких других мирах. Как это хорошо, и только страшно, страшно, когда душа начинает отделяться, и вот стоит настолько от тела (маленькое движение пальцами), отходит дальше (больше движение рукой), еще дальше – и вот оторвалась и полетела где-то далеко, далеко, а теперь вернулась опять в тело.

Но я этому не верил. Я видел, что душа и теперь стоит именно на поларшина от тела, еще недвижимого, искалеченного, страшно ослабленного, между тем, как у нее (души) выросли огромные крылья, раскрылись как никогда широко очи, самый голос сделался тверже, и все до края переполнилось смыслом:

– И Бог, и наука – все в гармонии. Бог дал мне силы подготовиться к операции и ожидать ее твердо. Это – не от науки. Сонные капли (с вечера перед операцией данные) не подействовали, и я проснулся в четыре часа ночи. Встал. Зажег перед образом (из дому принесенным) лампадку и стал читать Евангелие и молитвы. И спокойно стало на душе. И все читал его, читал. И никакой не было во мне тревоги, ни смущения, ни страха. В семь часов вошла сестра милосердия и сказала: «Лягте в постель». Я лег. Она что-то мне сделала с рукой, уколола, и я начал дремать. Бог дал мне на это время душу, силы, сердце, – но отсюда началась наука. Сколько я в прежние операции (две, нетрудная и совсем легкая, обе почти без анестезии) перенес, какие страдания, какой ужас идти по коридору, в Москве даже из одного этажа в другой, в белом балахоне, до операционной комнаты, и взглянуть на эти инструменты и изготовившихся докторов, и сестер милосердия, ожидающих не тебя, а твоего тела, и ложиться на операционный стол. И какие мучения во время операции, эти бессильные крики, которые переходят в отчаянное молчание. Я думал, тоже будет и теперь, и молился Богу, чтобы он не довел меня до отчаяния. Но я уснул в постели и проснулся в постели, ничего не слышав, не страдав, и никакой боли сейчас, никакой болезни. Это уже наука, которая сотворила со мною также чудо. И не нужно их смешивать, но как я никогда не устану благодарить Бога за Его чудо надо мною, чудо терпения и надежды моей, без которой я упал бы духом перед страхом, так я не перестану благодарить и удивляться науке, которая нашла средства сделать с человеком другое чудо – отъять самый страх и погасить душу... не погасить, но вывести ее из тела и, заставив где-то странствовать, вернуть в тело тогда, когда с ним все сделано и кончено, сделано страшное и что было бы нестерпимо больно, невыносимо, даже до смерти и более смерти. Как они нашли к этому средство? Велики литература и философия, но подвиг доктора, знающего и любящего свое дело, не мень-

ше чем философа и писателя. Это – человеческое, это – прилежание, это – мудрость. И нет выше для человека призвания, как стать доктором, и как хотел бы я, чтобы мой сын и моя дочь отдали все свои силы изучению медицины и помощи человечеству. Потому что ничего нет священнее, как подойти к большему человеку и облегчить его страдания.

Слова больного, которые я передал без прибавления и убавления где-нибудь смысла и, может быть, только с потерей подробностей синтаксиса, поразили меня именно в такую минуту и из таких уст. Слова были, – от одушевления ли нарकोзом (не хлороформом), от страшного ли физиологического потрясения организма в операции, – какие-то длинные и слишком раздельные, до ослепительности прозрачные. Точно в самом деле душа стояла еще на пол-аршина от тела, и рассказала и указала все, что она решила и слишком вправе была решить, наблюдая трепетно все, что делали с ее несчастным и почти бездыханным, больным телом. Наука в самом деле сумела, без умерщвления, отделить душу от тела, на время отстранить из тела душу чувствующую и разумную, скорбящую и боящуюся: и, таким образом, победить в смертном смертный страх, в промежуток странствований души исцелить тело, рассмотрев его строение, определив в нем изъяны. И с помощью тысячи приемов, инструментов, манипуляций, из которых каждая содержит мысль и человеколюбие – выправить, загладить или же сгладить изъяны, и пододвинуть брэнное наше существо на шаг к недостижимой грани – бессмертию. Ибо если болезнь есть дробь и начаток смерти, то, конечно, исцеление, выздоровление, поправление есть дробь и начаток вечной и притом вечно здоровой и юной жизни. Больной выговорил: «Это – самая святая наука». И я, до избытка здоровый, не могу же остаться к такому глаголу равнодушным и не повторить более сознательно эту мысль: «Медицина есть синтез мудрости и человеколюбия, наука столь же угодна Богу, как и приятна человеку; философия небесная и земная».

Бедный доктор, который делал операцию. Говоря о медицине, вспомним раньше и пожмем руку медику. Вошедшая со мной в палату № 11 родственница, жена оперированного, сказала, что часы операции, которые ей были сказаны, она провела на коленях, в молитве, со своими пятью детьми, – и, несмотря на все желание стоять на коленях, последние до того заболели, что она вынуждена была сесть. Но если жена не могла выстоять на коленях часы операции своего мужа, то что скажем о докторе, производившем операцию, который в эти самые часы манипулировал руками безостановочно и без возможности, без внутреннего душевного себе дозволения остановиться, отдохнуть, сделать минутную гимнастику руками, которые отекли и изнемогали в усталости, а он шил, кроил, иголками, нитками, шелком, золотом, машинками, инструментами тряпки человеческого тела, одеяло смертное души бессмертной. Прежде всего поблагодарим доктора за усталость. Если жена не выстояла и села, а он не остановился, сделал и доделал, то поблагодарим его раньше чем за мудрость и науку – просто за усталость и напор труда, терпения, в котором он сравнился с любящею женою. И, сле-

довательно, вовсе ему постороннего, и казалось бы ненужного человека, любил (ибо *сделал* по любви) страшные и таинственные часы, ему одному психологически известные, столько же, как и родная жена.

Все кричат: «Оператор не любит оперируемого». – Но позвольте, вот этот доктор, всего единственный раз видевший оперированного, и зная, что ему предстоит тяжелая, смущающая и пугающая операция, сделал следующую несколько не обязательную подробность, неожиданную больным, но вытекающую из глубокой своей личной о больном заботливости. Когда, накануне операции, в 10 часов утра больной занял свою небольшую, одинокую и страшную комнатку и, расставив вещи свои, стоял в недоумении, доктор вошел и, поздоровавшись (а он еще немец), ласково назвал больного по имени и отчеству. Этим он показал, что чувствует перед собою не номер человека, не «гражданина № 10 837», а определенное, единственное, исключительное лицо, которому жмет руку, и трепещущий больной с большою верою глядит на оператора, ибо между ними стало связующее и домашнее, дружелюбное и родственное имя и отчество. Кто это предвидел? Кто от него потребовал? Добрый петербургский немец с страшными и человеколюбивыми (да! да!) хирургическими инструментами, придумал эту маленькую, интимнейшую, ему одному пришедшую в голову подробность, чтобы успокоить больного в столь страшный и осмысленный час. Мой друг действительно растерялся в догадках, откуда тот знает его имя и отчество, улыбался, искал и, наконец, вспомнил, что неделю назад, при единственном визите к доктору, он ведь не только спросил его и осмотрел, но все рассмотренное и выслушанное записал в огромную свою настольную книгу под инициалом фамилии, и при прописанных там фамилии, имени и отчестве. Но доктор через неделю, при множестве у него пациентов на каждом приеме, вспомнил, что вот завтра этому больному операция, сегодня он его увидит, и раньше чем встретиться – раскрыл огромную свою книгу, прочел имя и отчество и удержал в немецком уме эти русские имена, чтобы поднести больному такую маленькую и дорогую в нужный час «незабудку» (цветок). Это деликатно и человеколюбиво. Тогда в связи с этим и страшное напряжение воли и мускулов оператора в длинные, слишком длинные часы операции, до неперенесения за это время боли в коленях молящейся жены, мы постигнем тоже как напряжение любви; а наконец и медицину, искавшую в веках, как бы утолить боль болящего, то усыпить совсем его душу (хлороформ), то заставить ее где-то странствовать (наркоз), то произведя местное бесчувствие (кокаин), изобретшую за манипуляциею манипуляцию, за медикаментом медикамент, открывшую целые системы лечения, собравшую все целящее в природе, в ее свете, воде, травах, электричестве, – все это мы постигнем как великую сокровищницу любви, любви и заботы о человеке, любви и сострадания к нему. Слова больного еще звучат у меня в душе, и я позволяю себе написать к ним этот распространенный комментарий.

Мне кажется, человечество должно бы уставить города свои статуями таким людям, как Листер, как изобретателю хлороформа, как Пастер. Известно, что Пастер был свидетелем, как один мальчик умер на его глазах и

руках от укуса бешеной собаки. Мальчик был всего только мальчик, а Пастер – знаменитый ученый, уважаемый всею Франциею. Но смерть этого чужого мальчика, страданий которого медицина при всех вековых поисках средств против бешенства не могла утишить и прекратить, произвела такое глубокое впечатление на благородного ученого, что он, со слабою надеждой что-нибудь найти (ибо никто раньше ничего не нашел) отдал ряд лет своей драгоценной и, главное, уже знаменитой жизни, поискам средств против ужасной болезни, поискам методичным и упорным, поискам почти бесконечным по невероятной сложности догадок, ошибок, наблюдений, испытаний, размышлений. Что им руководило? Слабость надежд найти никем не отысканное устраняет мысль о славе. Напротив, он явно терял славу, деньги, честь, углубившись в поиски столь же ускользавшей от всех вещи, как «философский камень» или «жизненный эликсир», и отнимая время и средство от поисков возможных и важных, вознаграждаемых и правдоподобных. Но один мальчик, исстрадавшийся, умерший – запал в его душу. Возможно ли же представить более благородную жизнь и более благородную душу, чем у этого Пастера?

В «Войне и мире» мы все помним смерть князя Болконского. Раненый, он хорошо вынес операцию, чувствует себя свежо, отлично, пока на седьмой или который-то день не начинается странное и необъяснимое повышение температуры. Его лихорадит, он горит и медленно сгорает и гаснет в слишком памятной для России агонии. Толстой в «Войне и мире» описывает зрелище палат с оперированными, где они лежат синие, лихорадящие, рядами, медленно коченеющие и умирающие столь же фатально, как мухи по осени на холодеющем окне. Никто не знал тайны этой ужасной смерти до знаменитого изобретения Листером его повязки. Порез хирургический тотчас за ножом заливается тонким слоем гипса, рана разобщается с воздухом, с какой-то его «чертовщиной», невидимой и неухватываемой, – и больной выздоравливает, без лихорадки, без мук и смерти! Потом уже Пастер нашел миллион «чертей»-микробов и всем им стали надавливать на хвост, ломать рога и зубы, изгонять их из благородного человеческого общества, где место Богу и жизни, а не смерти и дьяволу. Началась отчаянная, упорная, гениальная борьба докторов с «микробом», великие фазисы которой все суть спасение жизни не единиц, а тысяч людей, в веках же – миллионов людей, младенцев, стариков, женщин, героев и мудрецов, благородных тружеников.

Это мудрость и человеколюбие. До Листера редкие операции протекали благоприятно, после Листера редкие стали протекать неблагоприятно. Найден был метод, путь. С Пастером открыта была и сущность дела. Операции все более и более страшные, невыносимые стали производиться с успехом. Нож хирурга стал целящей палочкой волшебницы. Прежде «кесарево сечение» не давало ни одного случая жизни, и мать, хотевшая дать жизнь потомству, при «заносе зародыша» обрекала себя смерти; теперь «кесарево сечение» производится почти без случаев печального исхода и, словом, медицина от 10 проц. победы над смертью перешла к 90 проц.

В сущности, затрачиваемые нами (частными людьми, обществом) средства на излечение и самое излечение до того неравномерны, ценность получаемого (здоровье, силы) до того превышает величину потраченных на него средств (ценность месячного труда, двухнедельного, никогда почти годового), что вовсе в цивилизованном обществе не должно бы оставаться больных без тщательного и достигающего своей цели лечения, без лечения с выздоровлением. Зрелище человека, «которому не на что лечиться», представляет абсурд в обществе осмысленном и человеческом. Помилуйте, «его» (мужика, лакея, кого угодно) излечение стоит 50–200 руб.; он теперь лежит и ничего не делает, даже требует ухода от единственного оставшегося в семье работника (жены, сына, дочери); между тем его годовой труд стоит 400 рублей. Умереть от болезни, поддающейся лечению и смертельной без лечения, просто бессмысленно. Да дайте этому больному 50–200 рублей и, подняв его на ноги, взыщите с него 50–200 рублей с такою-то рассрочкой – это может и общество, и государство, и даже единичные богатые и добрые люди. Выдача «ссуд на лечение» мне кажется самым экономически выгодным (для страны, населения, отечества) делом; и «нет лечения по неимению средств» – это должно с лица земли исчезнуть, как позор человечества. Я сказал, что покупаемое лечением (кроме случаев неизлечимости) всегда выше истраченного на него. Это – оттого, что медицина есть действительно тысячелетняя сокровищница, уже накопленное и установившееся казначейство человечества, где нам даром выдается все сложное туда за 2000 лет (от Гиппократов), и мы оплачиваем только небольшую современную к нему прибавку. Визит доктора в XVIII и XIX веке стоил одинаково. Но в 1701 году за него давалось пять золотников здоровья, а в 1901 – дается фунт здоровья. Мы оплачиваем, рублем или талером, только один последний золотник, физический труд и обучение данного доктора, приобретаем даром в 1701 году четыре золотника здоровья (от Гиппократа до 1700 г.), а в 1901 году 95 золотников его. При таком положении не брать, не покупать до того не расчетливо, – как все равно евреям в пустыне не поднимать небесной манны или налетевших даром перепелов.

Между тем случаев «нелечения по бедности» множество и сейчас. Расскажу один, который я видел, и другой, о котором я слышал. Живя на Петербургской стороне, я вошел в мелочную лавочку что-то купить: вместо приказчика, копавшегося в углу лавки, мне подала купленную вещь девочка лет не более 9-ти, взглянув на которую я чуть не вскрикнул от ужаса. Правый глаз ее, весь выйдя из углубления, висел мешочком, а девочка (так чудно это было) улыбалась и сама была очень хороша собой. На мой вопрос, что же это такое, приказчик, вышедший из угла, сказал, что это содержателя лавочки (т. е. его хозяина) дочь, а с глазом что-то «причинилось», и он долго болел и вот теперь вытек, но зато теперь не больно. Девочка оттого и смеялась, что больно ей не было, и вместе была настолько мала, что не

понимала ни того, какое это несчастье, ни даже той понятной для девушек истины, что мешочек-глаз делает безобразным ее милое лицо. Что с ней случилось – не знаю, осуждаю себя и вменяю в грех, что ничего тогда не сделал, т. е. касательно приглашения доктора или указания, посылки в больницу. Я только спросил, что ведь это ужасно и нужно лечить, но на слова эти девочка засмеялась, а приказчик ответил, что «дохтура звали, он прописал лекарство, а вот от лекарства глаз вытек». Кто же их знает, может они вместо трех капель под яблоко глаза вкатили целый пузырек туда. Известны в России случаи, когда прописанную испанскую мушку «от нутра», болящий человек, соображая, что у него болит «нутро», а кожа, к которой будто надо приставить мушку, вовсе не болит, решал поправить доктора и съедал мушку. Так и в этом случае нельзя решительно сказать об ошибке доктора касательно глаза. Вероятнее всего, что нужно сложное лечение, ходить бы и ходить к доктору, в лечебницу (девочка, очевидно, бегала и играла на дворе и в улице, – вообще была цветущего здоровья); между тем как родители ее имели, вероятно, представление о лечении: «Заболел – позвал доктора – дал рубль – рецепт отнес в аптеку – выпил лекарство – выздоровел». А если чуть запинка: «Доктор – шарлатан! Медицина – не действует».

Другой случай был еще несчастнее. О нем мне рассказывала учительница Вятской губернии, уже оставившая несколько лет назад свою профессию и местожительство. «В глухой одинокой деревне (так она приблизительно рассказывала, я передаю сюжет), полурусского, полувотяцкого населения, стояла избушка, не то баня, не то сарай, заколоченная, с запертою дверью, куда никто никогда не входил и где лежал и много лет гнил пастушок-мальчик, лет 16–18. Все боялись к нему войти, потому что считали, что в него вселился дьявол. Считали же так потому, что по временам из избы доносились страшные богохульства, прямые и невыносимые для слуха ругательства на Бога, Христа и всех святых. Тогда его сочли окончательно бесноватым. На желание учительницы проникнуть в сарай, ей жестко ответили, что нечего туда ходить, что он одержим бесом и надо ждать чтобы скорее подох, и что самая болезнь происходит оттого, что он спознался с бесом и отдал ему свою душу, и что без этого он не стал бы так хульно ругаться. Между тем (объясняла учительница) самые его богохульства вытекали из отчаяния; едва он заболел дурною прилипчивою болезнью, как его первое время избегали, затем с открытием ран в теле – вовсе удалили из избы и, наконец, заперли в бане ли, сарае ли, и к нему даже родные братья и сестры и даже самая мать боялись подойти близко, а издали подавали еду и питье, и тогда он стал ругать родных, а когда ему сказали, что это безбожно и покинули его совсем, он стал и богохульствовать. На мое недоумение, что же такое с ним было? Проказа? Учительница назвала дурную французскую болезнь. На мое дальнейшее изумление, где же он мог ее захватить в такие годы лет в 14–15, она сказала, что дурной болезнью этой, заносимую солдатами и людьми с отхожих промыслов, население страдает ужасно, и кто бывает в городах или опытен – еще лечится, а другие просто гниют, и в

числе таковых был и мальчик, схвативший болезнь не через свой порок, но просто заразившись от прикосновения, от посуды, от воды из общего ведра, от возможного поцелуя, или родственного или товарищеского. Остается то, что я рассказываю: гниение многолетнее от болезни, которая вылечивается через 6–7 вспрыскиваний под кожу ртути.

Жизнь 15-летнего мальчика, в сущности, стоила (чтобы быть спасенной и восстановленной) всего 10 рублей, с доктором и лекарствами. Потеряно было в мальчике народом, обществом, если оставить его на всю жизнь пастухом и оценить его годовой заработок в 50 р., $50 \times 50 \text{ лет} = 2500$ рублей. Чистая потеря общества в неизлеченном этом случае, похожая на бросание денег в воду, в «реку смерти», равняется 2490 рублям. Мы говорим рублями, хотя не у одного читателя, а и у пишущего поднимается вопрос об Иовом страдании, буквально большем, без исхода, без вознаграждения; о полном и неслыханном и совершенно безвинном отчаянии.

Когда услышишь хоть один такой пример, то и подумаешь: среди той невинно-наивной, сахарно-притворной макулатуры, каковою начиняются разные «Детские чтения» и «Первые годы после азбуки» для крестьянских ребят, следовало бы помещать случая два-три «болезни и излечения», хоть примерно, хоть каких-нибудь, горячки, дифтерита, скарлатины, чего-нибудь. Чтобы по крайней мере грамотный крестьянин, один на сотню неграмотных, в конце концов все-таки знал и смел в нужном случае закричать: «Поезжай в город за доктором», и остановить другой вопль народный: «В нем (больном) дьявол, на замок его». Право, десятую долю «Первой книжки после азбуки» следует отдавать медицине, рецептам, советам, случаям болезней, изложенным с простотою толстовского языка в народных его рассказах. Тут важно в первую книжку, в юный (и страшно впечатлительный) деревенский ум влить метод, взгляд, доверие, знание пути. У Геродота (в какие времена!) я прочел о вавилонянах (какой народ! Из азиатов азиат), что у них был добрый обычай: когда кто-нибудь заболел, то больного выносили на одре на улицу города, и из проходящих и видевших больного и его болезнь, чаще всего находилась кто-нибудь, кто знал подобный случай, видел подобные же признаки болезни, и тогда он останавливался около одра и рассказывал этот случай родным больного и давал совет, который мог в то малосильное время и во всяком случае не бесполезный, иногда целебный. Таковы были первые в человечестве амбулатории. Мне кажется, они вытекали просто из доброго чувства. Как, очевидно, не было доброго чувства даже к своей дочери у того лавочника, который влил ей пузырек лекарства в глаз и когда он вытек, решил, что медицина не помогает, и успокоился. Мне кажется, что в основе невежества (темноты) лежит равнодушие. Любовь заставила бы продолжать искать и в конце концов научиться, узнать. Напр., узнать то коротенькое сведение, что прямо от этой лавочки, бывшей наискось от церкви Введения, идет без пересадок конка до клиники, и отцу стоит взять дочь, сесть с ней в конку и, доехав до амбулатории, получить даром всю медицину и иметь, наверное, вылеченную дочь. И не

может быть, чтобы хозяин лавочки был так страшно занят. Ведь, верно, хаживал же в гости, на «чай» и пр. Нет, тут не невежество, а просто «все равно» даже в отношении детей. И уж согрешу – повторю: вавилоняне любили друг друга, а мы – нет. Ведь, в сущности, и в народных лечебных книжках отсутствуют страничек 10–15 медицины оттого же: «все равно», но уже не в отношении отца к дочери, а высокостоящего опекуна к низкостоящему опекаемому. «Все равно»... Этого не говорили вавилоняне, и стали народом не только мудрым, но и могущественным, пропорционально времени, истории и числу своему, и величине страны, поднявшимся в несколько крат выше, чем мы с добродетельными «авось», «небось» и «как-нибудь». Вот уж мы не нанесем зодиака под куполы своих храмов. Куда нам до звезд, нас вши заели.

Заеденные этими насекомыми, мы посрамляем звездочетство. Я возвращаюсь к медицине.

Удивительно, что у нас медицина (именно она из наук!) и религия отчего-то противопоставляются; но я вспоминаю благородный диалог моего больного, который привел выше; и также дам к нему маленькие комментарии.

Медицина есть в точности *divina et humana scientia**, и ни с какою наукою у религии не должно бы быть такого дружелюбия, рукопожатия, как с нею. Грех сказался болезнью, а, значит, здоровье, выздоровливание – шаг к святости. И медицина просто и ясно есть религиозная наука, ибо насколько религия дружит с человеком, может ли она не ласкать и не приветствовать лучшего друга человека в его тягчайшие минуты. Если религия есть филантропия – медицина есть часть ее. Мне кажется, исповедник и доктор сходятся даже в одну точку, до полного совмещения территории. Один облегчает душу, другой облегчает тело, один очищает совесть, другой очищает организм. Далекая цель медицины (ибо всякая непрерывная дробь вечно приближается к единице, хотя и никогда ее не достигает), даже прямо сливается с столь же далекою и, может быть, тоже вовсе недостижимую целью религии: это – вечная и вечно юная и здоровая жизнь, в то же время безгрешная (религиозная сторона той же темы) жизнь. В медицине есть свои чудеса, похожие на религиозные, как в религии есть свои материальные способы воздействия, похожие на медицинские. Пастер, ищущий средств против бешества под конкретным описанным выше впечатлением, право же заслужил свою страницу в «житиях святых», «праведников», «угодников Божиих»; а магическое, могущественное действие на душу человека образа старинного письма и перед ним горящей лампады, в ночи горящей, перед надеющимся и ненадеющимся взором больного – право, подобно действию лучшего медицинского средства. У Пастера его подвиг был «к благочестию», а молитва перед иконой бывает «к здоровью». Где здесь разделение? К чему оно? Сила души подымает тело, а чистое тело есть условие благородной души, и, можно добавить – души доброй, благочестивой,

* божественная и человеческая наука (*лат.*).

по крайней мере в смысле всеобщего привета и ласки. Кто не замечал, что вечно хворающие люди, хныкающие, желчны, недоброжелательны, злы, порицатели. Грех и болезнь суть правая и левая стороны одного существа, вовсе противоположного, напр., ребенку, и цветущему, и невинному. Ну, могло ли бы, напр., человеческое воображение символизировать нам известное существо «ангела» через выражение его в образе больном или старом? «Больной ангел», «старый ангел» – фу, какая чудовищность? Но отчего, если уже мы привыкли к изображению человекообразного ангела? Явно нет другой причины, как какой-то метафизический инстинкт в нас, подсказывающий, как незыблемую аксиому, тезис, что небесное и больное не совмещаются, напротив здоровое и небесное, цветущее и небесное совмещаются, не противоречат друг другу, возможны к слиянию, которое не оскорбляет, пластически выраженные, нашу мысль и наш вкус.

ОТВЕТ г. МЕНЬШИКОВУ

В воскресном фельетоне, под рубрикою «Тоже стиль модерн», г. Меньшиков подвергает не только тяжелым, но и ответственным обвинениям протоиерея А. У-скаго за целый ряд его богословских и нравственных мнений. Не все читатели знают, что *сам* прот. У-ский *ничего не печатал*, никогда и ни с какими редакциями в сношения не входил, а изложил приведенные г. Меньшиковым мнения в частных, интимных ко мне письмах; и моими же частными к нему письмами и печатными статьями он был приведен как к *темам* своих суждений, так и к *ходу* своей мысли. Самое *опубликование* этих мыслей принадлежит мне, и сделано в книге «В мире неясного и нерешенного» 1901 года и в № 2 журнала «Новый Путь». Читатель видит, до какой степени здесь мало *лично принадлежащего* прот. А. У-скому. Мне всегда было дорого, чтобы мысли мои, касаясь религиозных вопросов и в значительной степени будучи *новыми*, тем не менее не порывали *возможной традиции* в церкви, примыкали бы к церковным же мнениям, хотя их и преобразуя иногда, но *допустимо* преобразуя. Отсюда – постоянное мое желание заручиться авторитетом богословов, отсюда – опубликование мнений их, хотя бы выраженных в частных письмах, иногда выраженных торопливо и пламенно. Я ловил эмбрионы мысли, предавая их жизни печатного станка. Вот обстановка дела, во всяком случае снимающая с А. У-ского всякую ответственность, *каковы бы ни были его мнения*. Но и мнения эти, только выдернутые в ризницу, могут представить что-нибудь необычайное. Они становятся почти обыкновенными и *вполне возможными* с церковной точки зрения, как только около них сделать некоторые напоминания читателю.

1) У-ский, который признает, что 1) «язычники пошли в ад», 2) что оне «поверив *проповеди* Христовой, вместе с благоразумным разбойником ныне находятся вместе со Христом во царство его» (8-й столбец фельетона г. Меньшикова, вызывает обвинение г. Меньшикова: «Из слов батюшки ясно

как день, что Христос *для того только* (!?) и приходил на землю, чтобы *оправдать язычество* (!? не их язычество, а самих язычников, после того как они уверовали и покались «подобно благоразумному разбойнику»; ведь об этом же сказано!!). До сих пор никому не приходило в голову, чтобы Христос мог оправдать, – не простить, а оправдать, т.е. признать правым, – *неистовый разврат и неистовую жестокость* всех этих разбойников язычества – Тивериев, Неронов, Калигул, Комодов и пр. и пр.». – Фельетон читается быстро, читается скользя, – и совершенно правильное, человеколюбивое, глубоко христианское мнение У–ского, приравнивающее язычество *после Христа и вследствие Его проповеди* к судьбе блудного исправившегося сына, к судьбе доброго покаявшегося разбойника, уживается рядом с чудовищным обвинением, будто, *по мнению священника*, Христос суждением своим сливается с распутством, зверством, безумием и язычеством.

«Иди к язычникам», – сказал Савлу-Павлу Христос; «истинно, истинно говорю вам, что и в Израиле я не нашел никакой веры, как в этой женщине», – сказал Христос о язычнице хананеянке. Замечательная мысль (которую поэтому я напечатал) священника А. У–ского и ударяет как в центр в эти слова, в эти события, дабы из них объяснить христиано-языческую-иудейскую драму. Оно дает величие Христу, но не топчется ногами, грязными, презирающими, жестокими, и на язычестве. Там были Сократ, Аристид, Коллатин. Корнелия – мать Гракхов. Ведь У–ский не говорит о Нероне: для чего же г. Меньшиков упоминает о нем!? Так в Средние века в дома бедных евреев подбрасывали иногда труп убитого ребенка: и влекли несчастных в инквизицию.

2) У–ский находит смысл и позволительность с христианской точки зрения одобрить порицание закона философом Ницше. Ницше, вероятно, не более симпатичен *в полноте своих взглядов* У–скому, как и мне: уже по его аристократизму, по его теории: слабого надо еще толкнуть. Но *полнота* взглядов – одно, и *частное утверждение* – другое. Неужели г. Меньшиков не читал пламенного послания ап. Павла «К Галатам», которое, как таран стену, пробило и разбило почву *законности и закона*, бросило под ноги ссылку евреев, что они имеют закон от Моисея, от Бога, и, поступая по закону, – будут оправданы и Христом. (Центральные слова послания: «А если *законом* оправдание, то Христос *напрасно* умер»). Отчего, написавши эту часть фельетона, г. Меньшиков не припомнил знаменитых учений о «благодати», об «оправдании верою», этом коренном фундаменте христианства? Св. У–ский, проникнутый, конечно, не Ницше, а апостолом Павлом, на созвучие почти одно – и ответил не мертвенным рассуждением философа, а пламенным исповеданием русского священника (цитирую):

«Мне привел Бог в своей священнической практике встретить два случая, когда я судил о человеке уже не по понятиям греха и добродетели, а только по сознанию милости, – от прилагательного *милый*, – дороговизны, бесконечной ценности известного индивидуума для своего сердца (NB для примера возьму, когда муж прощает виновную перед

собою жену, отец – страшно преступного своего сына, прощает как все же *милым* своему сердцу, по *милости* своей. – В. Р.); когда всякое сознание о грехе и добродетели куда-то совершенно и бесследно исчезло, испарилось, улетучилось, померкло, как меркнет свет звезд при появлении утреннего солнца. Что это за чудное состояние – не видеть, не чувствовать и даже не иметь силы или способности, или душевного органа к тому, чтобы чувствовать в своем ближнем грех! Это истинное ощущение искупления. И, конечно, не иначе и Христос Искупитель (какая *вера* в Него! Есть ли она у г. М–ва? Его слова о Христе нигде не восторжены, везде холодны, точно это *мудрец*, а не *Бог*. – В. Р.) отнесется к искупленному Им человечеству, как и обещал Он устами (вот она, вера в «глаголавшего в пророках». – В. Р.): «Я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не вспомню более» («Нов. Путь», февраль, стр. 145).

Неужели это язык Ницше? Неужели пишет это циник, безразличный к добру и злу? И как резюме его взглядам можно ли подвести итог г. Меньшикова: «Можете вместо помощи несчастным – душить их. *Падающего толкни* – учил Ницше, и знай – прибавляет батюшка, что не несешь за это никакой ответственности». Русский священник – проповедник разбойничества?! Есть ли человеколюбие в таких обвинениях?!

3) У–ский сказал, что нарушитель закона, данного Сыном Божиим (да кто же из нас не нарушает его? Кто исполняет *всё* слово Христово? – В. Р.) – еще не пропал, а имеет ходатаем за себя Духа Святого. Во всяком случае это сказано с верою (живою, личною, глубокою! Неужели не слышится это в тоне слов?! – В. Р.) и в Сына, и в Духа! Это вызывает опять обвинение священника в проповеди разбоя: «Какое утешение для преступников! Какое *поощрение!*». Да, ответим смело обвинителю: в *утешении* и преступник нуждается, без возможности утешения *никогда* бы он и не покаялся! Писателей не зовут исповедать людей на эшафот, перед казнью, а священников – зовут! И они знают из опыта, что значит утешать тягчайшего грешника. Их посылает государство, отечество! Их утешает – народ милостынею, и никто этого не принимает за *поощрение* преступления». Г. Меньшиков на этом возводит тяжелое догматическое обвинение на священника: «Существует, видите ли, *антагонизм* между вторым и третьим Лицами Пресвятой Троицы». Да не антагонизм, а *неслиянность* Лиц (не раздельны и не *слиянны*», читаем в Исповедании веры), конечно, есть, утверждена, в отношении к Духу Святому, в Евангелии. Кто же не помнит *знаменитых* слов Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: *хула* (какое слово!) на Сына Божия простится вам, но хула на Духа Святого (= разница, другое, «не слиянно») не простится ни в жизни сей, ни в будущей». Слова эти считались всегда таинственными, но по самой этой таинственности их все помнят.

Опускаю другие обвинения: все они покоятся на незнании учения церкви. Напр., даже признание У–ским невозможности теперь *Вселенского* собора, так как нет теперь *единого* вселенского христианства, а три испове-

дания: католическое, православное и лютеранское, г. Меньшиков ставить ему в вину. Но ведь это не У-ского мнение, а решительно всех богословов. Не Хомяков ли упрекал католиков, что они посмели собирать *новые соборы*, не будучи в *единстве* с православными? Дело в том, что православие признает именно *церковью* католичество, да даже и протестантство; и не чувствует *само* себя вправе собраться на *вселенский собор* за отсутствием *единой* церкви. На этом *единственно* и основано, что Восток после *семи соборов* не решался (именно после *разделения* церквей) собраться на восьмой, с наименованием и авторитетом «вселенский».

4) Перехожу к самому тяжкому обвинению – касательно брака и интимной его стороны. «Ну-с, позвольте на этом остановиться», – заканчивает г. Меньшиков характеристику свящ. А. У-ского, думая, что таких слов никто не мог сказать, кроме декадента и нищезанца. Вот эти слова: «Признаю и исповедую, – говорит отец протоиерей, – что и в этот интимный момент с женою своею я так же должен мысленно, умом и сердцем, предстать перед Богом, как предстою пред Ним, когда во время священнослужения нахожусь в храме, перед престолом алтаря Господня». Но достаточно было бы г. Меньшикову открыть 22-й стих главы 66-й пророка Исаи и прочесть слова: «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут перед Лицем Моим, – говорит Господь, – так будет и семья ваша и имя ваше», – чтобы увидеть, что священник только переложил своими словами слова Бога, через пророка сказанные. Удар обвинения скользит мимо головы священника и падает... на пророка, Бога.

Дело в том, что в течение вот уже приблизительно 4–5 лет споров диалектика около инкриминируемого вопроса, идя извилистыми путями, вызывая недоумение за недоумением и посильное искание на них ответа (*родник* этих исканий – *приостановка* детоубийства и *искоренение* домов терпимости в европейской цивилизации, в христианском мире), давно заставляла звучать в устах и печати формулы, мысли, дотоле непривычные, глубоко новые. Чтобы показать *пример* этого, напомним г. Меньшикову один вопрос, с которым в присутствии многочисленного собрания я обратился к епископу Иннокентию в одном из религиозно-философских собраний, конечно, извинившись за вопрос и указав, что я делаю его в целях *анализа неясного* положения вещей: «Если в венчании *чистосердечно* (об этом-то и был *вопрос*) благословляется чадородие и весь круг его моментов, то отчего *исполнение* благословленного не допускается или не может быть допущено в этом же храме, где оно *благословлено*? И преосвященный Иннокентий без испуга и ужимок на разумно вытекший из хода спора вопрос отвечал разумно же и спокойно, при полном внимании спокойно слушавшей публики. Есть акушерство, наука. Неужели же мы станем за его манипуляции винить акушера в сладострастных касаниях!!! Est modus in rebus, in verbis, in sentiis*.

*Есть мера в вещах, в словах, в мнениях (лат.).

Но, наконец, вовсе не один А. У-ский принял мою точку зрения. Профессор канонического права в здешней Духовной академии, пылкий и жадно ищущий истины, иеромонах Михаил, читающий в Соляном городке лекции по волнующим общество религиозным вопросам, так выразился о браке.

«Свят ли брак? Да, свят и чист. Именно поэтому и больно видеть, что защитники будто бы церковной истины, точно отчаявшись будто бы показать *внутреннюю святость* брака, ссылаются на внешний факт освящения, *как на первый и последний аргумент* (курс. о. М-ла). Да, брак чист, но *не потому только, что он освящен благословением церковным*, а потому, что церковь и благословляет только то и *помогает быть святым только тому, что может быть святым в самом существе своем*; что без помощи церкви и благодати ее не свято «в факте», но в своей сущности, в возможности *велико и свято*» (его курсивы). Это – на стр. 553 статьи «Психология таинств», в «Миссион. Обозрении». И далее: «И поэтому-то брак – святыня, он – истина, в этом – оправдание его. Но кто-нибудь возразит нам: это подмена предмета доказательства, ибо вопрос идет о физической стороне брака, а вы говорите о чем-то другом. Нет, мы говорим именно о чем нужно. Я утверждаю прежде всего, что брак может быть *свят и в физическом моменте и здесь он требует подвига благолепности*» (стр. 568). Слова – почти буквально повторяющие А. У-ского. И о. Михаил так кончает: «Признать святость брака в физической его стороне, это, по-видимому, камень, лежащий «на падение многим»».

В Москве читал публичные лекции о браке г. Струженцов (напечатана в «Богословск. Вестн.»). О. Михаил в Петербурге читал позднее его, и г. Струженцов, в последующей статье «Богословск. Вестн.», упрекнул его, зачем, во-первых, он, монах, взялся судить о подробностях брака, и зачем он их назвал «святынями», каковой термин *необычен и непривычен* в духовной литературе и *не встречается* у отцов церкви. Но он не добавил осторожно: «Невозможен, невероятен, неистин». Люди духовного образования в словах *точны*. А *точное*-то слово и не допускает сказать, что весь и во всех подробностях круг моих мыслей и терминов о браке *невозможен* с религиозной и с церковной точек зрения.

5) Сверх всего сказанного г. Меньшиков, не обвиняя прямо, сближает косвенно, через проводимые аналогии, параллели вообще всех сотрудников «Нов. Пути», в том числе и меня и свящ. А. У-ского, с каким-то существующим на Западе «культом Сатаны», «черной мессой», «омерзительнейшим развратом», «философией Нитцше, который назвал себя сам антихристом». За себя скажу, что до сих пор, несмотря на множество переводов Нитцше, не прочел (по антипатии к слогу, к стилю) ни одного его сочинения; и знаю их лишь по изложениям, да и теми особенно не интересуюсь. Думаю, что не ближе меня к Нитцше стоит и от. А. У-ский. Но затем сле-

лаю и общий ответ: да какое нам дело, что на Западе существует? И почему мы виновны в гадостях Парижа? Что за игра «в свои соседи», но только не шуточно и произвольно выбираемые, как в известной детской игре, а настолько навязываемые и совершенно серьезно.

Обвинение, что мы придерживаемся «культу Сатаны», основывается, между прочим, на двух картинах г. Врубеля: «Демон». Во-первых, Врубель в «Нов. Пути» не участвует, кажется, даже ни с кем и не знаком. А во-вторых, Господь с ним – пускай пишет, что хочет. Он будто бы «иконописец Сатаны»! Да почему?! На той же выставке «Мира Искусств» выставлено, на одну картину «Демон», несколько прелестных эскизов Божией Матери и ангелом, в традиционном церковном освещении, в церковной концепции. Притом, как не обратил внимания г. Меньшиков, что и в церквях рисуют иногда страшный суд, и там – множество бесов. Неужели же наши церкви суть «храмы в галереи Сатаны»?! Да и почему г. Меньшиков не досказывает, что пели «акафисты Сатаны» и Пушкин, и Лермонтов, которые посвятили несколько стихотворений теме «демона». Просто, это есть художественная тема, живописная, а не религиозная.

Сотрудников «Нов. Пути» он обвиняет в поклонении «Духу зла», «Первому Падшему». Да ведь там именно г. Мережковский, в «Судьбе Гоголя», говорит, что *демонического* начала, как положительного и *красивого*, не существует вовсе, что все это – чичиковщина и хлестаковщина. Ну какой же «культ Хлестакову» или «черная месса, с омерзительным развратом, Чичикову»? После всех обвинений г. Меньшикова чувствуешь, право, себя невинно-чистым, как бы вымывшись в бане. У нас есть грехи, недостатки, слабости, но вовсе не те. «Назови мне своих друзей, и я скажу, кто ты». Я вынужден защищать группу писателей, ибо обвинен соединенно с ними.

Эти обвинения, к сожалению, распространились и в других органах печати. Сегодня кн. Мещерский написал ряд чудовищнейших обвинений против протоиерея *А. У-ского*, называя (хорошая пощада священнику!) его «сатаню в образе протоиерея» за мерзостнейшие слова о связуемости молитвы и полового общения. Между тем все это было напечатано в самом «Гражданине» за 1900 г., № 19, в виде «Письма в редакцию», с очевидным сочувствием редактора, т. е. кн. В. П. Мещерского*.

Позднее все эти письма были мною собраны в книге «В мире неясного и нерешенного!» Таким образом, если позволительно сказать, что «Сатана говорит в образе протоиерея», то отчего же не добавить, что «сатана издает и редактирует в лице князя Мещерского»?

* Мы не находим удобным перепечатывать эту статью для наших читателей. Заметим только, что указание г. Розанова совершенно справедливо, и кн. Мещерский сам может в этом увериться, справившись в указанном номере своей газеты. *Ред.*

ЗАМЕТКА

<Еще о Д. С. Мережковском>

В «письме в редакцию», по поводу «пигмеев» и «гигантов», Д. С. Мережковский как будто несколько сетует за передачу мною слов его из частного разговора. Конечно, я приношу ему в этом извинение. Далее, ни в каком случае я не думаю и ни в какие годы не думал, чтобы он был «пигмеем» перед «Полифемом» – Михайловским и, хоть средней величины, мною. Вообще печатные измерения друг друга не красивы. Все мы малы перед Богом, а в отношении друг друга – «равны», «равны, как люди», по прекраснейшему выражению Мережковского. Безвкусная идея мерить аршином или своим «демократическим вершком» сотоварища-писателя пришла г. Михайловскому («карлик Мережковский»), к которой я не только не присоединился, но именно негодование на которую и вызвало мою статью. Далее, не могу у Мережковского не отметить с крайним сочувствием его слова об отношении нашей публики к Л. Н. Толстому, отношении, в котором не было сохранено ни ума, ни гордости, а уж любви к великому человеку было всего меньше.

СЕРЬЕЗНЫЙ КРИТИК

Г-н А. Басаргин (псевдоним, под которым если не ошибаемся, скрывается один из самых ученых представителей нашей русской богословской науки) в ряде фельетонов в «Моск. Вед.» (№ 52, 59, 66 и 72) разбирает некоторые идеи, высказанные в «Нов. Пути», и которые ему представляются смелыми или неверными, но у которых он не отрицает искренности. Мы не можем здесь вступать в полемику с почтенным автором, тем паче, что обязанность этого лежит на Д. С. Мережковском, которым исключительно он занимается. Но справедливость обязывает нас сказать, что это есть единственное, что заслуживало бы ответа из бездны шумных отзывов печати, какими был встречен «Нов. Путь». – «Нов. Путь», сколько бы он ни имел в себе неосторожностей и ошибок, – родился все-таки как вдохновение, и входит вдохновенно в ряды старой журналистики. У него могут отрицать что угодно, даже здравый смысл, но этого отрицать не могут и едва ли смеют. Мы любим то, что говорим, и верим в то, что говорим. – Статьи г. Басаргина мы отмечаем, как единственные почти – серьезные, *думающие*, среди тех «хи-хи-хи» и «го-го-го», которыми нас встретили разные «Quidam», «Залетные», гг. И., С., Г. – и прочие инициалы и маски.

Повторяем, мы разбирать г. Басаргина не станем, но выпишем формулу, которая нам кажется удачною и достойною запоминания. Дело идет о *начале индивидуальной органической (а вместе и духовной, конечно) жизни на земле*: «А между тем зародышевое биологическое начало пола, если рассматривать его, как это делает г. Мережковский, в направлении не цент-

простремительном, и центробежном, не атомистически, а космически, неизбежно разрастается до великого целого, до *Пана*, которое охватывает *всё* и становится *двуполым древним (языческим) божеством*, теснящим в сознании Бога христианского».

Конечно, подробности этой формулы – на ответственности г. Басаргина. Но основное положение дел выражено им верно. Несправедливы только слова его о христианстве: *Пан* вовсе не был бы таковым, если бы исключал («теснил») собою факт такого огромного протяжения, как христианство. Что это был бы за *Пан*: самый маленький *паненок*. *Пан всё* охватывает, и отсюда и двусмысленное его имя одновременно и собственное, и нарицательное: но только в его обволакивании само христианство становится, как выражается г. Басаргин, из бледного – «розовым», а также и появляются в нем (без пугающих уклонений) «астартические признаки» (тоже – термин г. Басаргина). Тут дело не в словах, не в фетишах, а в существе. Возьмите ладонь и в яркий летний день поставьте ее перед солнцем: глаз ваш не оторвется от просвечивающего через кожу алого цвета. Это – внутренняя горячая кровь, бегущая, живая... «Розовый цвет», на место бледного, и есть как бы появление этого вечного алого цвета крови, на месте кожи, сухой и холодной, которую мы раньше знали в области тех же религиозных представлений. Мы хотим христианства горячего, бегущего, отзывчивого, чуткого, до которого вздох человеческий, а не только стон человеческий, доходил бы. А ведь не доходили часто до сердца представителей христианства, ни стоны человека, ни рев народов. *Бывало* – вспомните; и, может быть – *есть*. Да В. М. Скворцов может рассказать об этом хорошие сказки, стоит ему покопаться в архиве своей памяти и в портфеле редакции «Миссионерского Обозрения». *Amicus Plato, magis amica veritas**. Также «астартизм» не включает ничего в себе, кроме подчеркивания, утверждения, повсеместного распространения и, может быть, только небольшого еще продолжения следующих слов епископа Порфирия Успенского, записанного им при посещении афонских монастырей: «Достоин внимания, что афонские отшельники любили и любят изображать в своих церквях семейные добродетели и занятия. Представлю примеры: Иоаким и Анна угощают левитов и священников, пестуют Марию и любят ее. Пресвятая Дева слушает благовестие Архангела с веретеном в руках, прядущая червленицу для храма. Спаситель и Матерь его присутствуют на браке в Кане Галлилейской. Апостолы Петр и Павел обнимаются и лобызаются после примирения. Весьма семейна икона Богоматери, питающей Младенца своего сосцом: *обнаженным* (курс. епископа Порфирия). Умилителен образ Ее, называемый *Сладкое Целование* (курс. еп. П-ия): Матерь и Сын лобызают друг друга. Эти картины и иконы *внушили мне мысль дать новое направление церковной живописи*, так, чтобы она была семейная и общественная, а не монашеская только. Домашние добродетели и общественные доблести

* Платон – друг, но истина – большой друг (*лат.*).

послужат прекрасными и назидательными предметами для храмовой живописи». – Цитату я вот во второй раз, во втором журнале повторяю: ну, что бы мою мысль подхватить, подчеркнуть, развить в каком-нибудь духовном журнальце, в «Христианском Чтении», в «Православно-Русском Слове», в «Вере и Разуме». Что бы написать на эту тему статейку г. К. Сильченкову, проф. А. П. Рождественскому, С. А. Соллертинскому, А. И. Бриллиантову; что бы избрать ее темой для актовой речи в Духовной академии, для беседы с народом в Соляном городке? Все промолчали. Все точно воды набрали в рот гг. богословы. Только раз, когда я упомянул в Религиозно-философском собрании, что, напр., нашим венчающимся в церкви жениху и невесте и обернуться не на что вокруг, ибо даже «Брак в Кане Галилейской», первая и самая умилительная картина выхода в народ, в общество, в город Спасителя, никогда, решительно никогда не изображается в наших церквях, то встал иеромонах Михаил и обличил меня в неправде упрека ссылкой на то, что ведь сам же я указал на Афон и на наблюдение еп. Порфирия. Братья мои, возлюбленные читатели: одна-то одинешенькая гора с такою живописью между морями Ледовитым и Черным, между океанами Атлантическим и Великим. Вот вам и искренность, вот вам и рассуждайте, вот вам и плачьте перед «Камнем Петровым», вокруг которого и под которым я вижу только спящих, а на попытку их разбудить слышу сквозь сон произносимое: «Врата Адовы, не одолевайте нас, все равно не проснемся». И плачьешь, и плачешь около этого «камня»...

Будемте, христиане, слушать по-христиански; с сердцем незлобным, с сердцем отзывчивым. Возвращаюсь к г. Басаргину и г. Мережковскому. «Астартизм» последнего и есть только технический термин (мне тоже его приходилось употреблять и, по крайней мере, я говорю за себя), а вовсе не древний религиозный образ, для целой категории понятий, которая может быть и сужена, и расширена, и выражает просто ту «алую кровь» под кожей, о какой выше упомянуто; выражает как бы теплое и нежное молоко, которое размягчило бы наши христианские груди и побудило бы нас – ну хоть не хихикать в ответ на серьезную мысль, не торопиться кричать «ересь», когда спрашивают, и то вслед еп. Порфирию, начать изображать Богоматерь, ну хоть в здешних петербургских церквях, в связи именно *питания*, т. е. *явного материнства*, с Предвечным Младенцем, а не в связи *няни* с ребенком на руках, только *держащим* его на коленях. Ибо ведь так держать можно и *не своего* младенца, а *чужого*. Для чего же живописно обкрадывать Евангелие? Уж лучше ничего не изображать, как делали евреи, чем изображать не то, что требуется религиозным поклонением.

Это – только один пример; подобных – бесчисленное множество. Возвращаюсь к прекрасной формуле г. Басаргина. Что же он делает, как возразить *по пунктам и отчетливо* на мысль г. Мережковского, пока *биологическое начало пола действительно есть*, и в нем есть уже душа с «врожденными идеями» ее, к которым Декарт и Кант причисляли, 1) бытие Божие, 2) бессмертие души, 3) воздаяние за гробом. «Биологическое начало

пола» – и пророк и законодатель: вот ведь чего нельзя *уничтожить* и нельзя *забыть*. «Каков в колыбельку, таков и в могилку», – говорит наш народ. Т. е. вся *биография* человека и все его великие *подвиги*, без случайных приключений, в невольной и необходимой, т. е. именно в великой их части, уже выходят из лона матери и лежат готовыми, но только не раскрытыми, «в колыбельке». Неужели это не многозначительно? И колыбель маленького ребенка не есть ли в то же время колыбель великого спящего Пана? Вы просите нас не «не теснить» себя; но не тесните же и сами нас. Уничтожьте только это «биологическое начало пола», уничтожьте его космически, не индивидуально: и вы умертвите весь мир. Не будет Пана – и не будет *ничего*. И как приходит в голову Басаргину и о. Михаилу протестовать против этого Пана, когда и они покоились в лоне матери, и там, именно там, заронены были им «врожденные идеи»: загробное житие, наказание и награда, Бог: около каких «идей» ими полученные в академиях кафедры уже есть только «прикладная вещь». Не совершают ли они греха против пятой заповеди: «чти отца твоего и мать твою», и греха не частичного, а как бы мирового, космического? Ибо поистине простительнее и легче отвергнуть свою личную мать, или наговорить ей грубостей, – нежели отвергнуть теоретически и наговорить грубостей всемирному отчеству и материнству? Помешались на «прелюбодеянии», помешались на седьмой заповеди: смотрите, ни у кого нет испуга, и во всей богословской литературе никогда не упоминается пятая заповедь, более грозная, высшая чем «не убий». В слова «чти отца и мать» входит и родина, дорогое наше отчество: и отчество всех инородцев наших, которые «да чтут мать-отчество» свое, на Висле, за Кавказом, около о. Саймы, – и мы не смеем у них, не отрицаясь Бога, погасить ни ниточки их «родной любви»; и входит сюда все органическое, растительное и животное, материнство и отчество, с человеческим во главе. Мы возвращаемся к Пану: «чти отца и мать» требует полного благоговения всякого пишущего, каждого говорящего, ко всему кругу и фактов и явлений лона человеческого. Пошлое и преступное слово «похоть» (поричание в самом термине, тенденциозный перевод греческого слова: «επιθυμία», – которое выражает факт без унижения его), – как бы затемнило наши рассудки. Мы только одно и видим (постоянные обмолвки об этом делает и г. Басаргин) здесь: «страсть», «сладострастие», «сладость», – не замечая ни «врожденных идей» внутри «страсти», ни семейно-зиджительной их силы. Мы пробуем *на вкус* то, что необходимо для *жизни*. Ну, кто же пишет главу физиологии: «О питании» с точки зрения повара, а не с точки зрения ученого. Весь страх перед «астартизмом» (система понятий) зиждется на совершенно ошибочном принятии субъективного вкусового ощущения за зерно космического факта. Повара появились оттого, что есть у человека «вкус», и вкус ему *дан* для того, чтобы не забыл он, не оставил, не пренебрег питаться. «Сладкое» есть обратное боли, и как боль нас останавливает от вредного (ресницы и веки, глаза, его общая чувствительность, тысяча вообще болевых ощущений организма, предостерегающих от опасно-

го), так сладкое и вкус сладости даны нам как притяжение к полезному. Полезнее для *рода человеческого*, кажется, нет ничего, как размножиться: и вот отчего, вовсе не самим человеком, соединена с этим сладость. «Сладко – значит грех!». Тогда питайтесь гвоздями вместо хлеба: это достаточно больно и, по вашей теории, приведет вас к раю... «Сладко» не значит ни «грех», ни «святость», а только – «нужно»; а вот *нужное* – это уже *правда, праведное, должное*; и по этой цели, по этому объекту, к которому гонит нас «сладкое» – и оно само есть *тьма* или *пособие, орудие* праведности. Если «вообще сладкое» вредно, именно по качеству сладости – ну, сдерите с себя одежды, питайтесь преднамеренно заплесневшим хлебом, вытаскивайте вату из ватного пальто и подпарывайте мех на шубе! Право, вся борьба против пола идет из развращенного воображения, которое забыло всю биологическую, всю космическую сторону дела, и помнит только гастрономическую. Вот уж поистине повар, который не только поставляет кухонную плиту на место желудка, но воображает, что и целый дом, с его этажами, с его жителями, с разнообразными занятиями этих жителей, «вертятся около его плиты и даже ради плиты созданы Предвечным творцом». Послушать, так на «седьмой заповеди» переломилась зра языческая и христианская, послушать еще – так разница «до грехопадения» и «после грехопадения» основывается только на соблюдении и нарушении «VII заповеди». «Сотворив Адама и Еву, Бог дал им запрещение: не нарушайте VII заповеди: они нарушили – и пали. Право, ведь таково всеобщее понимание грехопадения; почти всеобщее. Но тогда почему же в *десятиисловии* Синайском она не первая? даже почему – не единственная? Но знаете ли, она есть точно заповедь первая и заповедь единственная во всех наших богословствующих журнальцах, которые не знают иного греха кроме «плодиться и множиться», и иного «Соблазнителья», «Лукавого», кроме внушившего человекам: «плодитесь, множитесь, *наполните* землю». Вот главный секрет почти всех наших богословов, что они грызут только одну эту мочалку, – и из «VII заповеди», закрывшей от них землю и небо, соделали себе Бога Единопоклоняемого.

Перечтите все их труды; прислушайтесь ко всем их речам: нет помина о гордости, о скупости, о сребролюбии, о любви к комфорту, о «послушествовании на друга своего свидетельства ложна», о «родительстве» мы уже упоминали; но как у маньяка, одержимого «*idee fixe*», вечно выскакивает идея вроде того, что вот он (маньяк) «стеклянный и, пожалуй, разобьется», так у этих «рабов старых заученных тетрадок» вечно выскакивает на языке и в уме страх, что они «разобьются» от «женщины» или об «женщину». И они, как умалишенный в палате, ходят на цыпочках, оглядываются, «умерщвляют» себя, дабы не только не приблизиться, но и угасить в себе желание приблизиться к женщине. «Адам, отвратись от ребра своего, Евы», «Адам, отринь и оклеветщи план сотворения твоего» – вот заповедь новая и странная.

Желательно было бы, чтобы г. Басаргин или о. Михаил, так тщательно разбирающие нас, не штрихом, не кавалерийски, а «медленным пехотным движением» победили это наше главное о них самих недоумение.

Пересмотрев ряд писем священника *Иоанна Филевского*, я нашел в них богатый материал для мысли, для оспаривания, для сочувствия. Сказавшись в частном и личном обращении, этот материал гораздо живее и, так сказать, взрывчатее, нежели в рассуждениях «от начала к концу через середину», где читателю хочется выпустить и «начало», и «конец», и разве-разве что-нибудь взять из середины. Переписка началась через письмо его в редакцию «Нового Времени», где печатались мои «Римские впечатления». В письме своем он опротестовывал эти мои «впечатления». По причинам обычной и понятной газетной тесноты, протест его, который потребовал бы моего ответа, а затем его ответа на мой, и т. д. в бесконечность — не был напечатан. Но он послужил поводом к нашей переписке на темы религиозные, философские и культурные, каковыми живет, надеюсь, и читатель. Сразу же, по первому его письму еще в ред. «Нов. Вр.», я увидел в о. Иоанне Филевском человека глубочайше преданного церкви, христианству, религии: *рыцаря* своей службы, с которым беседа не могла не быть привлекательна. Но столь же быстро я увидел (как выразился ранее) *вообразительность* его ума, т. е. вечное питание его души мечтами, воображением, и тем искренним пафосом, который субъективно не будучи риторикой, объективно является ею, т. е. не имеет ничего отвечающего себе в действительном мире. Но не буду распространяться здесь, в кратком предисловии; читатель все сам увидит из писем, к которым я сделаю лишь краткие замечания в соответственных местах. — *В. Р.*

В редакцию «Нового Времени»

(Открытое письмо)

По поводу одного письма г. В. Розанова из Рима я написал вам *«письмо в редакцию»*, в котором разбирал и обличал Розанова в ошибках, небывлицах, предвзятых мнениях и суевериях. Письмо это почему-то не было напечатано. Редакция забыла свой долг опровергать печатные небывлицы своих сотрудников. Очень жаль.

В «Римских письмах или впечатлениях» Розанова идет какая-то странная полемика с православием. Иногда это видно между строк, а иногда и прямо высказывается. Больно это. Обидно для родного православия, ни в чем не повинного из того, в чем обвиняет и обличает его Розанов. Эти письма нуждаются в проверке, а впечатления в культурной оценке.

В настоящий раз мы обращаем внимание газеты «Нов. Вр.» и Розанова на следующие два факта.

1) У Розанова есть укор, безнравственный, злой, и несправедливый, православию в том, что оно, при своем аскетизме и монашестве, не любит семьи и детей, этих милых, жизнерадостных созданий семьи христианской, церковной, православной. Пред его глазами, ослепленными от *неведения истины*, стоит, вероятно, первый раз, увиденный им на католи-

ческой иконе, св. Франциск с младенцем в руках, и он обмер. «Вот где универсальное понимание православия, а не у нас, – истинного христианства! В православии и не может быть такой иконы, такого воззрения, мысли, чувства. Бедное православие!»... Розанов сказал, и дело свято. «*Новое Время*» напрасно *догматически верит Розанову*. В православной церкви вечно живет Христос и Его Евангелие. Это вселенско-церковное предание. Вот одно из его проявлений и действий. *Иконы св. Иулиана, молящегося о младенце*. Житие и подвиги его. Это *книга церковная*. Ее следует прочитать Розанову* в поучение и обличение, наставление и вразумление. Посылаю вам и *эту икону*, и это житие для *передачи** Розанову*. Пусть он прочтает и вдумается, прав ли он, прозносса свой сектантский суд над церковью и ее верованиями.

2) Второй факт. Розанов говорит, что христианство есть «культура похорон», что в нем разработан мотив смерти и разрушения. Не знаем, где это такая культура вырабатывается, в каком это христианстве? Но вот что говорит *книга церковная*, иконы церкви: *Рождество Христово***, Сретение и Успение*. Сколько тут жизни Христовой! Сколько радости бытия и жизни! Посылаю эти иконы Розанову, с целью озарить его ум иным светом, воистину церковно-православным. О православии нужно говорить не сплеча, не по Толстому, а по Евангелию, по церкви, вечно живой****. Православие, Евангелие и церковь – это одно. Они стоят и падают вместе, если возможно так сказать. А у Розанова искусственное разделение и раскол. Зачем это? Какая польза, особенно в борьбе, грядущей борьбе со всяческим антиправославным «интернационализмом»? Но довольно. Мы хотели не столько отвечать, сколько *констатировать факт странных и страшных заблуждений Розанова* по религиозным и, в частности, *церковным вопросам*.

Примите уверение в совершенном почтении и проч.

Священник Иоанн Филевский

* Да где ее прочитать? 47 лет живу на свете, а ни такой книги не видал, ни изображения св. Иулиана, молящегося о младенце, ни разу в храмах наших не видал, постоянно в них бывая. Дело все и заключается в *распространенности явления*. В. Р-в.

** Не получил. Потом, уже познакомившись, – и вторично мне послал это о. Фил-ский, и опять я не получил. И, верно, в этом – небесное знамение: «Прав Розанов, и нечего его переучивать археологическими находками, вынутыми из чуланов старых музеев». В. Р-в.

*** По близости моей квартиры – три церкви, одна домовая, при громадном приюте, другая – Скорбящей Божией Матери, третья – собор гвардейских частей. И ни в которой из них за поздней обедней в первый день Рождества я не видел зажженной люстры. Этим я был поражен. Рождество Христово проходит как обыкновенное воскресенье. Об этом я разговаривал с известным петербургским священником о. Лисициным: «Забыли зажечь (люстру), – ответил он мне, – ничего не значит». И все-то для них «ничего не значит», но в нашем сердце «много значит», – и души наши – расходятся. В. Р-в.

**** Уж лучше бы просто – «по моему, по о. Филевскому». В. Р-в.

Кто не согрешает в слове,
тот человек совершенный (Иоан. 3, 2).

Начну от Писания. Это делаю, как христианин и православный священник. В Писании – пути нашей жизни, наставление в вере и все нравственные побуждения. Притом же хорошо знаю, что и вы хвалитесь своим знанием Писания, хотя и не знаю, почитаете ли его за слово Божие, за слово Христа-Царя и Бога Христианского. Ваш произвол и бесцеремонное обращение с библией невольно вселяет сомнение и недоумения. Странно, что вы любите говорить о своей любви к Писанию, но ее не видно на деле у вас, в ваших статьях и темах ваших рассуждений. Хочу на это обратить ваше внимание, – тем более, что вы в письме бросили мне упрек и обличение: «Врачу, исцелися сам». Побольше самоанализа, побольше самоосуждения и самоограничения нравственного, или христианского смирения. Тогда вы можете сказать, что любите слово Божие. А иначе вы льстец и раб.

М. г., вы служите слову, печати. Вы состоите сотрудником одной из самых распространенных газет. Взобрались на «высокую гору». Подумайте об этом. Какая высота! Бросьте свой дальтонизм. Станьте на расстояние, посмотрите со стороны на себя, если это возможно еще для вас. Ваш болезненный крик, ваша беспощадная критика раздается на всю Россию. Зачем это? Конечно, вы думаете, что «службу приносите Богу». О, как это было бы хорошо, если бы это было на самом деле, а не в самообольщении! Давно я стал читать вас. Мне вы понравились за свои литературно-критические статьи. Я стал искать ваших статей. Как только брал какую-нибудь газету или журнал, сейчас искал вас. Любил читать вас. И очень жалею, что разлюбил. А почему разлюбил, а почему оставил вас? За вашу нелюбовь к церкви нашей, родной, спасительной, и спасающей русский народ от всяческого культурного рабства, за вашу беспощадную критику всего и во всем. Вы смешиваете, не различаете идеи, идеала и фактов, событий, быта. Из-за аномалий отрицаете закон и правило. Что смысла в этом? Нужно разьяснить культурно-исторические идеалы православия, родившего и воспитавшего нас в великий народ и царство, а не затемнять, расчищать, а не загромождать. Это нужно в нашей международной борьбе, чтобы нам остаться личностью. Это могут сделать с большою пользою и светские публицисты наряду с духовными писателями. Это делать и вам желаю, от души желаю, от сердца. Тогда я стану опять вашим почитателем. А до тех пор нет. И не один я, а и многие лучшие духовные писатели. Станьте на путь церковный, иаш путь. Поддержите церковь борющуюся. Мне весьма приятно знать, что вы презираете религиозное учение и религиозные писания Толстого. Но не враждуйте с церковью, с ее идеалами. Дополните свои знания чтением св. отцов, напр., о браке и девстве св. Григорием Богословом. Это теперь ваша тема. Еще 2 слова на ваше письмо. Духовенство наше никогда не знало за собою тех грехов, в которых вы его обвиняете. Все

зависит тут от точки зрения. Измените поле зрения – и иной ландшафт, и иная перспектива. Мистика идет от человека, и *человеческое обожествляется*. Поймите. Вы философ. Подумайте. А христианство, а церковь вся от Бога, от божественного, и к Богу грядет. Вот различие, вот сущность. Напрасно говорить о «самопарализовании» духовн. писателей. Затем далее обвиняете меня и Филарета в ереси. Христос с вами. Хотелось бы ближе стать к вам, духовно, литературно, культурно, во всем истинно добром и церковно-христианском. Вы не *враг*. Будьте *друзем*, не моим, *что я и кто я?* а нашей церкви борющейся... Простите.

Священник Иоанн Филевский

Скорбь моего сердца

Милостивый Государь, г. В. Розанов!

Я хотя так обращаюсь к вам, а вы никак, в последнем письме, или же так: «М. Г.». Что это значит? Не думаю, чтобы это была *нелюбезность*. Вероятно, это философская *рассеянность*. Но как бы то ни было, а следует обращаться, называя или имя и фамилию *лица*, или одну фамилию (если не знаешь *имени*). Я бы просил вас, в случае письма ко мне, обозначить ваше *святое имя и отчество* (отчество, любимое вами, по вашей философии религиозной), чтобы и я был более мягок в обращении с вами. Ведь обращение – все. Какое обращение, таково и беседа. Вспомните обращение, призывание молитвы Господней («Отче наш, иже еси на небесех»). Это идеал для нас. И как мало входят в него. Сравните обращения наши – высших и низших, служащих и начальствующих, управителей и подчиненных, народа и правителей... Сколько жестокости, сухости; нет милости, любви и милования. А эти титулы в обращении... Все это я говорю, разумеется, не для «нотации или морали», но для рассуждения и обсуждения вопроса. Вы пишете, чтобы я был откровенен с вами. А нет у вас охоты обратиться ко мне *откровенно*. Добавлю еще, что я *священник* православной церкви, а вы как никак, а *мирянин*. Это не деление, не распад, а органическая связь и необходимое различение членов *единого* тела Христова – церкви. И это опять не для осуждения, а *pro domo sua**. Простите, что с этого должен начать письмо. Начало, исход нужно определить, а потом дело, самая беседа.

И все-таки, несмотря на сухость, «грубость» вашего обращения ко мне, местами ваши письма дышат любовью, ласкою... Со своей стороны я хочу быть несколько более сердечным, и хотел бы так, по крайней мере, обратиться к вам: «*Дорогой незнакомец*».

Господи, что вы это написали мне в письме от 7 окт. 1901 г. Какая у вас скорбь! Какая тяжелая грусть-тоска! Сколько «сомнительной веры». Сколько терзаний душевных и умственных, или, как вы говорите, «метафизических». «Плачу и рыдаю»... Слышится далекое отступление от

* для себя (*лат.*).

христианства, от Христа, от церкви Его. Господь с вами! *«Христос с вами»*, – скажу так, как говорит наш народ близким своим, когда желает *религиозно* всякого счастья. *Я не хочу* верить вашим словам. Моя жена (помните, что православные священники все *женаты*, должны быть женаты, по ап. Павлу; вы видите особую любовь к детям у celibатов, а у нас, у *русских* священников не видите; горе вам за это) сказала мне, когда я прочитал ваше письмо, что здесь больше *философии*, чем *религии*, тут все одна софистика и нет *веры*. «Розанов *честный* человек, он не может так отдаляться *от христианства*»; я этому *поверил*. Не знаю, вмените ли вы это мне в правду мою о вас. Дал бы Бог, чтобы это было так. Да удержит вас сила Божия от «отдаления от Веры Христовой».

Все это, и еще более, внушает мне сказать вам мое *сердце*. Умом иначе рассуждаю, а сердце скорбит по поводу вашего письма. И скорбь глубока. Досадно. Вы такой прекрасный писатель и говорите такие «небывальщины». Закипело во мне чувство скорби и горести. И я хотя неохотно, однако, должен изринуть из сердца своего слово вам, «как струю, которая, будучи гонима вон сильным ветром, и пробегая по подземным расселинам, производит *глухой шум*, и где только может прорваться из земли, расторгнув узы, выливается из жерла» (св. Григорий Богослов). То же теперь и со мною. *Не могу* удержать в себе желчи. Но, прошу похристиански, снесите великодушно, если скажу какое и колкое слово – плод моей горести. «И то врачует от скорби, если и воздуху передашь слово» (св. Григорий).

Вы несетесь подобно быстрому коню, не терпящему узды (библейский образ), *неистово* (неистовый Виссарион, второе его издание, ваш словооборот) несетесь «по стремнинам и утесам». Вопросы веры вы преследуете ненавистью против *веры* церковной. Что пользы? Кто чего желает, тот на то слепо надеется. И когда дух кипит в этой самонадеянности, тогда все кажется удобным, все возможным. В таких случаях ум человека бывает высокомерным, презирает всякую *культурную* сдерживающую, регулирующую силу. Вы *любослов*. Вы исполнены *ревности* (вы ревнивый человек, сужу по литературе). Для вас несносно, если не польется у вас слово. И оно обильной рекой лилось и льется. В этом случае желаю вам не больше, как свойственного человеку. Говорите, но говорите со страхом. Со страхом Божиим. Не тем страхом, что «делает *своих богов*», а с тем страхом, который является при мысли: а что, если мое слово *соблазнит* «единого от малых сих». Это особенно нужно в религиозных, особенно в церковных, церковно-родных вопросах. Говорите, но не всегда *вопреки*, и не обо всем, не всякому и не везде. Знайте, кому, сколько, где и как говорить и что сказать. «Всякой вещи есть свое время, *всего лучше – всему мера*», по слову одного из мудрых... Мера слова и убеждений – страх Божий. Поэтому нельзя без страха, так или нет, *вымолвить слово*. Путь с обеих сторон окружен стремнинами; едва соступишь с него, тотчас упадешь, а упадешь прямо во «врата ада», т. е. тоски, тьмы, *неведения* (у вас есть в письме речь о «неведении»; вы говорите: «Бредя в *неведении*, будем *добры*, благожелательны и просты;

а там – как *Бог хочет*...). Поэтому нужна особенная осторожность в словах, чтобы умно говорить и убеждать. Ваша речь о христианстве не пользуется, к сожалению, правдивым мерилом – страхом, а ведь в нем правда Божия. Внемлите правде Божией, говорите правду о христианстве и о Христе, не свою правду, а действительную правду о вере нашей... Много путей ко спасению, много путей, ведущих к общению со Христом, Царем и Богом. Ими надобно идти, а не одним путем слова. Достаточно учения и простой веры, какую «без мудрований» по большей части спасает Бог. А если бы христианская вера доступна была одним мудрым, философам, критикам и проч.; то крайне беден был бы наш Бог... Это говорю без вражды к философии и философам (сам люблю философию), не столько с укором, сколько с сердолобием. Сетую, но не поражаю, и не превозношусь, как другие. Скорблю о причинах вашего «далекого, очень далекого отступления», сечения путем веры, этого злого родоначальника всех нелепых учений... Так невольно начертано на моих скрижалях о вас, по поводу вас. Это вообще.

Теперь хочу перейти на частности вашего письма. И буду идти «по пятнам». Так легче, хотя мог бы и иначе говорить с вами. Но теперь занят страшно. Приготавливаю к печати диссертацию на магистра, еще Христу угодно, «О свящ. Предании», по учению нашей церкви. Нужно времени много, а оно бежит, подлинно бежит и убегает. Страшно. Близ есть. При дверях. И мои духовные чревоболени оставляю на более свободное время.

Удивительное совпадение! Таинственная связь. Ваше злобное письмо от 7 окт., нападающее на церковь за брак, получил после совершения *таинства* брака над милой парочкой. Юный студент, серьезный и толковый, искренний, и молодая прекрасная видом девица (на 4 года старше его), труженица, работает с 18 лет, помогает отцу в магазине. Молился за них, радовался, осмысливал, переживал величественно-прекрасные *древние* молитвы церкви, положенные по чину. Евангелие от Иоанна о браке в Кане* восхитительно и умирительно. Как оно хорошо, как оно велико. Сам Христос тут, на браке, на *нашем* браке, в церкви. Мы не одни, и Христос с нами, благословляет Он, а мы только *передаем* его слова, его силу. Мы посредники. В церкви нет передачи чрез среду, без проводников.

Нет «торичелиевой пустоты», а жизнь – и она льется в церкви от Христа, и тут служители необходимы. Они несут «водоносы каменные», и наполняют их доверху, по слову Христа и Его силою... Сказал приветствие о «вере, любви и верности до гроба»: это украшение и сила брака церковно-христианского. Говорил то, что чувствовал. Не ораторски, но душевно. Думаю, что довольно. Люблю говорить хотя «пять слов» (как у ап. Павла), и скажу. Я редко венчаю; послал меня Христос «искрестити, но благовестити» (я законоучительствую и только). И я умилен от чина совершения брака. И все «сшедшиеся на радость сию» были рады и искренни. Неужели вы думаете, что я лицемерил, совершая служ-

* У нас я ни разу в храме не видал живописи: «Брак в Кане Галилейской». Обойдено молчанием. В католической церкви – в редкой нет этого изображения. В. Р.-в.

бу? Неужели вы думаете, что церковь не разделяет чистой радости брака? К чему такое обвинение?.. «Благословения нечистосердечного» (о коем Вы пишете) *нет* вообще, а особенно в церкви. Лицемерие, скрытая горечь может быть только у людей, кипящих гневом на врагов, у велисаров, некогда ангелов, а не у церкви, не в церкви... Вот бытовое явление. Вот факт жизни. Он ясный, как Божий день. Все его знают. К чему брак и что брак – это всем известно. В церкви – одно освящение естественно-животной стороны его и укрепление духовной, отогнание греха и всякого зла, и дарование сил Божиих. Я верю словам вашим, что «вы не против венчания» в этом смысле, «а за углубление и расширение его». Но это углубление и расширение *есть в церкви*, если *знать* всю сущность церковного взгляда на брак и его религиозно-нравственное значение и назначение. И это углубление и расширение, этическое, религиозное и есть *jus et imperium ecclesiae** (повторяю латинские термины вашего письма), хотя это *jus et imperium* не политическая, не юридическая, а *строго религиозна*, священна. Родник венчания – этика христианского брака. Этика и психология брака (обыск церковный) в церкви – одно; нет разделения, по крайней мере, в идее, идеале, в желаниях церкви, а не корыстолюбии и мздоимстве. Наша церковь брачная и духовенство, орудие церкви, брачное, но брачное право узурпировано у церкви и кодифицировано ложными и односторонними взглядами (преимущественно гражданскими и полицейскими), но это касается уже отношений церкви к государству. Это другой вопрос. Псевдобрачная церковь – католическая. У ней celibat и кастрация. Здесь мистики-евнухи и в то же время они исповедники и совершители браков. Аномалия. Диффузия (иные и так говорят). Это – «жено-мужные зоны» (употребляю древнемистический термин). А наша церковь искони за брак. *Мать* брака. Припоминается 1-й Вселенский Собор. Поднялись противобрачные, псевдобрачные идеи. Хотели духовенство сделать небрачным (но это не значит сделать «девственниками»), и вот великий Пафнутий, девственник и аскет, сказал: «Нет, не нужно *безбрачное* духовенство. Брак – таинство, добро. Церковь свята и непорочна, и брак свят и чист. Вся нечисть от греха». И с тех пор нет celibata в церкви. Бракосочетание есть законный, плотский союз. Девство есть исшествие из тела ради духа (это всюду, и в науке, и в искусстве). Монах живет для Бога, для Него одного. Монастырь – цель спасения. Чистота – общение с Богом. Скверна в супружестве – грех. Очищение – омовение нечистоты...

Заколдованный круг у вас. Трудно сразу разорвать запутавшиеся и запутанные нити. Но ни к чему и меч, разрубающий «Гордиев узел», и «обойдней папский меч», с ссылкой на Луки (гл. 22, ст. 38). Нужно христианское терпение, любовь и кротость; это залог и источники христ. мудрости духовной.

Вы говорите о «метафизической неполноте христианства». Это страшная мысль. Я от нее убегаю и вас оставляю, в единственной уве-

* закон и власть церкви (*лат.*).

ренности, что и вам станет страшно своего одиночества. Вы говорите, что презираете толстовство и толстовцев, а ведь Толстой тоже говорит о неполюте христианства, ограничивая его своеобразною этикой. Не философская ли это спесь и самоуслаждение у вас? Разберитесь. Утекает источник; рушится под ногами земля. Сердце холодеет. Страх небытия, если христианство не полю.

В доказательство неполюты вы и приводите взгляд церкви на брак, на какие-то «стыдливые части его» (вы «помешались» на них, простите за вульгаризм). Стыд есть какое-то сжатие сердца от страха подвергнуться позору. Презрение стыда есть бесстыдство. Чего же стыдно в браке? Что позорно? От чего сердце может сжиматься? Нет в браке, чистом и святом, стыда. Эта тайна любви целомудренной. Поэтому цветущая юность и вступает в брак. Старческий брак – уклонение. Половой акт – естество брака телесное. В нем нет бесстыдства. Нет и греха. Грех в блуде и прелюбодеянии, в похищении чужого тела. В браке – одно тело, один уд. Все в Господе, т. е. в святости жизни, в сопряжении души и тела. Я человек – Божие создание и Божий образ; здесь и сущность брака, и степень его величия и необходимости. Здесь место и крови и семени, и телу, – этому веществу и протяженной дебелости человеческого существа. Следовательно, «альфа брака, с чего мы начинаемся, зачинаемся» (ваши слова) – не грех, уклонение от доброго, не допускаемое ни законом, ни природою. Грех – страстное движение, беспорядочное, (похотливое). Грех – незаконная жизнь, плотская и духовная, неподчиненная воле и жизни всеблагого Бога. Отсюда и церковь мать брака, мать законного, плотского союза, *бракосочетания*. Не мачиха как вы обвиняете, а мать; хотя и мачиха может быть лучше матери; «не та мать, что родила, а что воспитала» (говорит народная мудрость). Церковь искони – мать, и всегда. Никогда не враждовала, никогда не отвращалась от брака, это делали сектанты, скопцы, мятежные, скверные и скверनावые... Если говорить о любви церкви *к себе* в браке, *к своей санкции*, *к своей власти*, то и это справедливо; ибо любовь церкви – любовь Божия, к законам Божиим, к повелениям Владычным. Ничего тут нет угрожающего и прельщающего. Ложно и дико сказано вами: «Церковь венчанием претворяет вещь недобрую в добрую». Брак – добро. Добро добром и остается. Уклонение от добра – дело дьявольское, изобретение безобразной воли.

Брак свят, и все в браке свято и чисто. Один грех очищается и омывается, как скверна. Нет святых по природе. Святость в добродетели и свободе, в движении, куда я хочу, в границах природы, в границах того, что каждого человека делает созданием Божиим и образом Божиим. И рождение свято. Ваше «поклонение зерну», в статье «Торгово-Промышленной газеты», ни к чему. Поклонение надлежит Богу, Отцу и Творцу. А зерно должно очистить, оно должно очиститься. Чтобы дало плод, должно умереть и воскреснуть. Это и есть в крещении: умирает для жизни плотской – греховной и возрождается для новой духовной (дух сильнее плоти, плоть подчинена духу). *Рождество Христово* – вели-

кий праздник церкви нашей. Вочеловеченне Христово – новое создание меня – человека. Бог во плоти пострадал моим страданием. «Рождается от жены» (Гал. 4, 4), но от Девы. И первое рождение *от единого Отца* (подумайте, уверуйте). И Бессупружный произошел от бессупружных. Вот тайна рожества. О чем вы спорите, я не понимаю. Мне жалко. Я сострадаю к *несчастию* вашей мысли. Спросите жену – она вам скажет, что женщина спасается *чадородия ради* (у ап. Павла). Есть поэтому законные дети; есть блуд и прелюбодеяния. Все это в границах брака, одни в границах *благословенного рождения*, другие – в *убийстве* (двоём убийстве и тела и образа Божия). В том и другом случае разрушается *вожделенная гармония*, божественная гармония, церковная. Как же вы говорите: «Нет прелюбодеяния» («не прелюбы сотвори», еще у Моисея, кроткого и милостивого). Вот почему незаконные дети всегда и убивались полигамистами. Мормоны (проф. Ковалевский пишет) хвалятся многоженством и детьми многочисленными. Но то мормоны, на то они и мормоны. А я вам скажу вот что. Умер в одном знакомом мне городе очень популярный в железнодорожном мире делец, оставивший без всяких средств 4 семьи своих (3 незаконных на *моем языке*). Разве это не убийство? Да, убийство. Любовь целомудренна, т. е. *не поддается удовольствиям* (заметьте), поддающаяся любовь – *распутство*. В распутстве нет законных и незаконных. Спросите жену, мать, родную жену, она вам скажет про закон и *не-закон* в супружестве, а не философию, не кичливое воспламенение сердца, производимое легкомыслием (см. романы на темы о равенстве законных и незаконных детей. Упаси Бог). Идет тревога, пока бессознательная. Люди стали тревожиться, не зная еще чего. Вопросы пока! Но это не по вине оставляемой *распутниками* (литераторами наипаче) церкви святой. Может быть, ваши знакомые «богословы и холодные моралисты», хотя, как вы пишете, они «люди» почтеннейшие – не любят детей. Тогда они Ироды. Есть между ними много Иродов, добрейший незнакомец. Есть детоубийцы. Но и это *избиение младенцев* – есть отмена младенческих прообразований. Не их вам слушать. Не за них досадовать на церковь. Я и сам знаю таких, о которых вы говорите, и *лично, лично* испытал от них. А все не отступлюсь от церкви. Отступление – это злейшее, господствующее ныне учение, распекающее Бога. Но после него Христос опять придет во славе Отца Своего и с телом, чтобы видели его богоубийцы и детоубийцы... Ваш «*нравственный мотив*» вашего отпадения разлетается в воздухе; наполняет пустоту...

О «жестокости христианства» (слова в письме) – жестоко слово сие. На знамени христианства – милосердие, любовь и дело милости. Оно несет всяческие благодаяния страждущему человечеству. Противопологать христианство Ветхому Завету не следует. Первый закон – иудейство, а второй – таинство и блаженство страдания (ведь в мире все – страдание, горе, «плач и стон» у Иезекииля). Один – откровенен, живет *надеждой* на Спасителя везде Христос в Ветхом Завете, но *грядущий* еще. Велика была сила веры и упований. А другой – ясен, и разрушает

гадания и ожидания. Христианство – обшение Божия воплощения и Божиих страданий. Одна вера и любовь там и здесь, различные степени. Одна и благодать. Церковь видит, да, церковь (см. церковн. книги) Христа везде в В. Завете. И судьба церкви, цепь Божиих предначертаний одна. И Промысел Божий, кормило, которым все приводит в движение Бог, – одно, нераздельное. И суд Божий, собственная и внутренняя тягота или легкость религиозной совести, и приравнивание жизни духовной, нравственной и бытовой к Закону Божию – один. И воинствование церкви одно в Ветхом и Новом Завете. Масса параллелей, бесконечное число. Церковь «воинствующая», и орудия брани, мечи, броня, щит, разрушение и падение врагов – все одинаково. И любовь одна. Ваша ссылка на Апостолов и проч. праведников ни к чему. Они все веровали *во Христа*. Вера во Христа – грань. За ней – разрушение и мшение. «Перед пастью дракона (Денницы падшего) крест и меч одно» (В. Соловьёв Вильгельму). Борьба огненная. «Ревность по дому Божию съедает Меня» (и в Ветхом Завете у Давида Кроткого, Пс. 68, 10 и у Христа, у Иоанна, апостола любви, Иоан. 2, 17). Иерусалим, Сион погиб (ваша ссылка) исторически, культурно, а не как град святой, не как «град великого Царя» (Матф. 5, 35), которым нельзя было клясться, погиб он как *град тьмы*, уготованной самым злым, за отпадение от Бога. Это необходимость. Червь и огонь – потребление вещественной страсти и греха. Это закон универсальный, бытия, мысли и знания. Ни к чему укор христианству в жестокости. Все можно заподозреть. И Толстой говорит, что церковь – колдовство...

Об искуплении, о Евангелии, о проповеди, о новом спасении, о блаженстве (о бодрости жизни), о благодатных дарованиях – обо всем этом, составляющем концепцию (в вашей терминологии) христианства, оставляю вопрос без ответа. Отвечать тяжело. Вы говорите грубо об этом, цинично («мы убили Бога», кто *мы?*). Оправдание христианства, «оправдание добра» – не в том, что мы убили Бога. Вы указываете, что странно человечеству, согрешившему уже в Адаме, ощущать себя искупленным от греха потому только, что оно распяло и убило Бога, Христа своего, и тем приложило к греху Адамову новый чудовишный грех. Но ведь это не документ, а – следствие греха, преступления, худого поступка при существующем законе. Оправдание – вера во Христа *Спасителя*. К ней путь *покаяние* – обращение к *лучшему*, и *оглашение* – ведение слова Божия. Богоослушание – это тоже антихристианство. Богоотступник – хуже Каина. Смотрите современных Каинов, всюду они ходят, стонут и трясутся. У вас в Петербурге, сколько их, т. е. *вне церкви*. Нужно *сначала* покаяние, всеобщее, культурное. Здесь церковь – таинница неизглаголанного богочестия; «богоприимная трапеза», – чистое хранилище даров Божиих. Нужны *очистительные жертвы* в народе, и особенно в интеллигенции. Нужны покаянные каноны, эти стоны грешной души, скорбной, «озлобленной, милости Божией и помощи требующей». Нет проклятия; проклятие – *греху*. Желание *света*, воспаленного озарения, разумной жизни – вот «концепция» христианского

искупления со стороны субъективной. Дорогой незнакомец, лучше всего вспомните тихие, величественные напевы ирмосов «Помощник и покровитель»: они за вечерней текут и обтекают весь христианский мир. Какое тихое веяние благодати, всепрощающей здесь, все примиряющей...

Христианство, вы пишете мне, есть поклонение гробу, смерти. Это и в «Римских впечатлениях» у вас. Не ново это у вас. Тем большее. Еще Гиббон говорит, что христианство принесло смерть цивилизации. Полное сходство. Но язык без костей, все можно говорить «Со смертью святость, идея мощей». А до смерти? Разве нет *святой жизни*? Господь с вами! Святость после смерти – это и у язычников. Культ реликвий. Ее признает и археология. Все, чем древнее, тем ценнее. У лютеран даже обоготворили Лютера и его домашние вещи. А у них нет мощей. Святость – *не от времени*, не от меры солнечного движения, а от красоты жизни духовной. *Святость – вечна*. Святость и до смерти, и после ее. Везде и всегда, вовеки, в протяжении, непрестанно протекающем *не во времени*. Сначала святая жизнь, а потом и *святая смерть* и бессмертие... История идет *от святости* и к святости...

Христианство – вера *отеческая*, святоотеческая (см. у отцов и на соборах). Это – историческая, бытовая вера. Я верую, как мой отец и моя мать. Мать меня научила молиться Богу, она первая привела меня в церковь, «воцерковила», *посвятила* на служение Богу. То сектанты – разыгрывают историческую связь веры. Но это болезненное явление. Отступление. Измена самому себе. В быту и жизни христианство. Оно не может быть поэтому пессимизмом. Пессимизм идет на убыль. Отцы и дети в пессимизме обезличиваются: а в христианстве – нет. Нигилизм ничего не творит, а христианство – в силе Божией. Зло отрицается, мир злой. Нигилизм, буддизм и пессимизм. Нигилизм и у Толстого – нетовщина. Но что общего между «Христом и Велиаром»?

Вы запутались в сети, как птица.

Частности упускаю. О Боге-Отце. У нас Троица. Мы не магометане и не жида. Не духоборы какие. А христиане. Бог в Троице. Нельзя, немислимо отделять. Вы злословите, когда пишете: «Иисусо – теизм»?!. Но «злословие злословящих Христа падает на Отца» (Пс. 68, 10; Ср. Рим. 15, 3); ибо Христос не себе угождал. Этого довольно. «Всемирное родительство» (ваши слова) – хорошо, необходимо. Это исток. Но *и движение* дальше – не менее необходимо. Необходимо и Сыновство, и Сыноположение. Не творение одно нужно, но и промышление: – это Христос. И мы во свете лица Христова ходим, зная, что это свет *вечный*, т. е. Отца. «Да вси чтут Сына, якоже и Отца, а иже не чтит Сына, не чтит и Отца, пославшего Его» (у Иоан.).

Р.С. Ап. Павел «не себе искал» (его слова), а у вас наоборот. Вы тексты меняете и переделывали. Опять стыдно. Исаия претрен пилою деревянную. У моего отца в амбаре была какая-то старинная гравюра. Помню из раннего детства – Исаия и 2 вонна распиливают его. Сильно действовала эта картина на детское воображение.

О «золотых словах», т. е. что я только говорю «золотые слова» не сильно, слабо, и чудно!

Вам часто, вы пишете, бывает грустно. *Это меня больше всего тронуло. И я почувствовал влечение писать вам.* Думаю, что беседа целительна. Св. отцы советуют общение с людьми и природой – в грусти. Пастырский совет от меня: в грусти прибегайте к вашему другу – жене, а не к философии; философия – она эгоистична.

На письмо от 9 окт.: Матф. 19, 12 «скопцы» – это безбрачные. Мужеский и женский пол искони (Быт. 1, 27), от Бога. «Девство лучше супружества», но не сказано о последнем: *хуже, не добро.* Это – добро, но по степени различия, это – не отрицание или противоположение. Лестница до небес (у Иакова и Иоанна Лествичника) – на ней ступени; тут и девство, и супружество, и брак, и любовь к детям.

Брак и безбрачие (1 Кор. 7 гл.) (собственно *девство*). Не касаться женщины – *ria desideria**. Один способен вести девственную жизнь, а другой – нет. Нет отрицания брака, а положение есть, и оно квалифицировано.

«Дунь и плюнь», в крещении – на *сатану*, а не на дитя. (Сегодня крестил, сейчас, сына у нашего инспектора; говорю под свежим впечатлением). Господь с вами! Вы пишете еще: «Родители стоят *вне*». Но это *usus tiranus***, и больше ничего.

О гордости и святости богословия – дело совести и опыта каждого из нас. Есть и у нас возвеличенные богословы, «светочи». И как они терроризируют духовенство, епархию.

Пишу откровенно, надеясь на откровенность с вашей стороны. Пишу не для печати. На печатное отвечаю печатью, и вас об этом прошу. Прошу не отказать мне в удовольствии читать ваши письма, но иного рода, не против христианства и церкви, а за, а иначе – Христос с вами. Простите. Мечтаю о журнале: «Правосл. Слово» или «Путь Церкви» (популярный, слово огненное, на борьбу со злом неверия, пессимизма и нигилизма, экономич. материализма). Но об этом пока никому. С истинным уважением к вам

Священник *Иоанн Филевский.*

СОВЕСТЬ – ОТНОШЕНИЕ К БОГУ – ОТНОШЕНИЕ К ЦЕРКВИ

Нужно различать, в споре о совести, две стороны:

- 1) отношение ее к Богу;
- 2) отношение ее к церкви.

Бог, по учению христианскому, есть Личный бесконечный дух. Каждый с первого же взгляда поймет, что отношение к Лицу несколько иное, чем к

* благое пожелание (*лат.*).

** обычай – деспот (*лат.*).

порядку вещей, к системе вещей. Никто решительно не скажет, что и церковь лична: напротив, лицо в ней, напр., всякого иерарха, глубоко покоряется некоторому завещанному и общему порядку. Попытка понять и лично выразить церковь создала папизм, перед которым испуганно отступили германские и славянские народы. Не нужно объяснять, что если отношение к Лицу невольное и неизбежно субъективно, внутренне, сердечно, восторженно или горестно, то отношение к порядку спокойнее, уравновешеннее, более исполнено сообразительности, чем движений чувства. Например, припоминая самые религиозные свои годы (вполне сознательные, за 30 лет), не могу не поделиться с читателем удивлением: я всегда любил более священника, чем церковь, храм более, чем российское церковное управление. Слово доброго священника было для меня авторитетнее, чем церковный закон. Я считал себя спасенным настолько, насколько любил священника и чувствовал, что он любит меня. Читатель быстро перенесет это, в сущности верное, явление на панораму больших фактов. Отношение к Богу вовсе иное, чем к церкви безличной, или имеющей мириады лиц (праведники, учителя, книги, законы).

Рассмотрим это отношение в смысле предполагаемой свободы или несвободы. Факты дают для этого безусловное решение. Свобода есть право выбрать одно или другое в то время, как высшим авторитетом предлагается только одно. В Св. Писании отношение Бога к человеку везде выражено словами: «заповедал», «заповедь». Законы не заповедуют, а приказывают. Цари подданным ничего не «заповедуют», начальники подчиненным не «заповедуют» же. Заповедание есть единственная мягкая и кроткая форма, не мучающая душу человека, через которую Бог относится к человеку.

Таким «заповеданием» было первое слово Божие к невинному человеку. И что последний был сотворен свободным, видно из того, что он выбрал другое, не заповеданное. Но еще более: достаточно было не открывать человеку древа познания добра и зла, чтобы он и не пал никогда. Но Бог открыл, показал ему это дерево. Т. е. он не только дал свободу человеку, но и указал возможность неповиновения Себе: дабы повиновение-то было любовно, восторженно, детски-человечное, а не рабски-подчиненное. Блудный сын ведь есть сын любимый, а грешный человек – предмет любви Божией даже до послания на смерть за него Своего Сына. Конечно, это не значит, что Бог хочет греха в человеке; но Он бесспорно хочет человека свободного и для правды, и для греха, а не фаталистически праведного. Фатализм есть мусульманство; но в христианстве нет фатализма.

Но вот Сын на земле для грешного человека. Он воскрес и явился апостолам. Фома сказал: «Не верю!». Позвольте, какой догмат церкви более очевиден, чем Христос перед Фоמוю? Что же сделал Христос? Наказал его? Приказал ему? Поричал его? «Вложи персты в язвы и ошупай», т. е. убедись не через Меня, но через себя, *само-убедись*. Само-убеждение есть сущность христианства. Второй случай – разбойники на кресте. И здесь в на-

ших провиденциальных целях – один уверовал, другой *не* уверовал. Зачем это? Да иначе и объяснить нельзя (ведь не «случай же такой вышел!»), как еще усилием показать человеку, до чего он свободен не следовать величайшей очевидности и в самые свои критические минуты.

Да это так и есть непременно: если бы мы избирали добро не по свободе, а по принуждению, то заслуга и принадлежала бы не нам, а принуждающему. Где же заслуга человека? и как же могло бы совершиться тогда искупление? Идея искупления неотделима от свободы.

Но блаженный Августин в борьбе против донатистов (карфагенская секта) первый высказал принцип о принужденном приведении к правой вере; Лютер, человек чуткой и тревожной совести, проповедывал укрощение некоторых еретиков; Кальвин сжег Сервета. Наш Стефан Яворский написал громадную книгу «Камень веры», чтобы доказать право церкви наказывать еретиков, в частности, заведшихся в то время в Москве кальвинистов. Все сейчас поднявшиеся споры о свободе совести в этом «Камне веры» разобраны подробнейшим образом. Что же это значит, что в тысячелетнем строе своем еще на словах церковь высказывалась иногда за свободу совести, но в поступках своих она или с крайнею болью признавала эту свободу, или вовсе не признавала ее, не признавала всегда, когда могла? Что значит это явление?

Да то и значит, что сама церковь не сливает отношение человека к Богу с отношением к себе, и мысля первое, как свободное, второго не мыслит свободным. Я от совершенно неверующих людей слышал часто: «Помилуйте! нет общества, ассоциации, клуба, где члены его делали бы, что хотят. Все признают и подчиняются некоторой сумме общих правил; меньшего не может требовать и церковь». Возражение это очень часто; его можно услышать (и уже давно слышим) на каждом шагу; но редко кто углубляется в его многозначительный смысл. Действительно, и в катехизисе церковь определяется как «собрание верующих», и вот термину-то «собрание» и принадлежит нетерпимость. «Общество верующих» требует от членов своих не отступать от известной униформности, ради принципа общности, солидарности, единства. «Иди с нами в ногу, иначе мы тебя раздавим». Но имеет ли это какое-нибудь отношение к Богу? К совести? Никакого.

Сектанты же, обычно пламенные, озабочены отношением своим к Богу, и со своей точки зрения просто не могут понять принципов стеснения. Церковь и сектанты говорят на разных языках, с разных точек зрения, даже, если хотите, о разных совершенно предметах. «Как быть России» – предмет тревоги миссии; «как быть моей душе» – предмет тревоги сектанта. «Бог хочет моей свободы», «порядок церковный не терпит отступлений» – это совсем разные темы, разные линии суждений.

Величайшие факты нетерпимости, как Кальвина или Торквемады, происходили в пунктах и в минуты, когда церковь, вдруг забывая, что она «порядок», «общество верующих», начинала сливать себя с Богом, отож-

дествляться с Богом. Она начинала требовать себе чистосердечия, любви. Нечистосердечные исповедники все равно сжигались как еретики; на этом основывался сыск, подглядывание: горячо ли человек верует, «добрый ли он католик». Но это чистосердечие есть собственность Бога, а не порядка. Если церковь хочет себя слить с Богом, добиться любви к себе, как к Богу, прежде всего она должна позволить верующим «вложить персты и осязать», или – вкусить и от запрещенного древа познания добра и зла. Самой тенденции к подобному самообнажению не появляется у «собрания верующих». И в меру этого оно мирится (и всегда примирялось) и с некоторым равнодушием, и с некоторым нечистосердечием, при сохранении согласия.

Мы имеем почти аксиомы:

1) Бог и церковь сближаются теснее и теснее и, наконец, слиты: в этом пункте – абсолютная свобода человеку, абсолютная любовь человека к Богу-Церкви. Такова вера и положение апостолов, Давида, Авраама, Адама (Бог и человек лицом к лицу).

Но в истории этого почти не встречается и для будней ее, для религиозных будней, наступает действие второй аксиомы:

2) Богу – опять любовь и в Боге – свобода; но это – внутри и субъективно; это – отношение маленького нашего лица к бесконечному Лицу Божию. А снаружи – повиновение порядку «общества верующих», видимое с ними согласие, с возможностью сердечного отклонения от него, которого они и не преследуют. Церковь, в общем, нимало не тревожится, что многие лениво и равнодушно исполняют ее обряды, уставы, даже вовсе не исполняют ничего. Церковь не перестает «числить своими» множество сектантов, о которых открыто известно, что они сектанты; и всеми мерами противодействуют «документальному» (через запись в паспорте) отделению от себя; на этом, напр., основан закон о смешанных с иноверцами браках. Как «общество верующих» церковь менее пытается веру и ревнивее исчисляет сонмы верующих.

Иногда, утомясь счетом, она хочет сверх повиновения и любви. Тогда наступает движение к слиянию с Богом; но параллельно этому непременно узы повиновения должны быть ослаблены, сами должны ослабеть и, слабея более и более, – перейти в совершенную свободу.

Каждый верующий может сказать: «Я даю то, что ты хочешь. Но твое хотение должно быть сообразовано с законами твоего собственного существования».

Церковь же обратно может сказать верующему: «Я не требую больше, чем сколько ты можешь дать, и всегда можешь дать. Что ты ропщешь? Мое требование не велико».

Вот почва, на которой, мне кажется, обе стороны могут помириться. И если кой в чем будет больно одной стороне, то именно в этой же точке и совершенно равномерно будет больно и другой стороне. Так что уж они обе как-нибудь согласуются...

О ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ТОРОПЛИВОСТИ

Есть истины старые и даже твердо усвоенные, но усвоенные не всеми и которые приходится повторять для отдельных групп читателей, где эти истины или сомнительны, или неизвестны. Единство жизни двух поколений, стареющего и молодого, может создаться на взаимном их уважении: не на уважении к слабостям каждого из них, а на уважении к серьезному в обоих. Выше и старого, и молодого поколения стоит Россия, и серьезное в обоих поколениях есть то, что служит России, а несерьезное есть то, что эгоистично и ничему не служит, кроме как прихотям и капризам возраста, все равно, старого или молодого. Никому не симпатичен старик-брюзга, ворчащий на все новое и осуждающий всякое движение вперед, потому что оно мешает его покою. Но совершенно в эту же меру и по этим же основаниям не симпатичен юноша без зрелого и вдумчивого отношения к окружающему, без серьезного вопроса о труде своих родителей и вообще о труде и заботах более зрелого слоя общества. Единение двух поколений должно быть единением лучших их частей, здоровых, а не патологических, деятельных, а не косных, оригинальных и самостоятельных в мысли. Право, России нет дела ни до тех, кто был молод в 1861–66 годах, ни до тех, кто молод в 1900–1903 году. Не взирая на лица, она, давая бесконечно много каждому из нас, обратно в каждом из нас хочет видеть и вправе видеть только давальца. Она взвешивает полученное, не спрашивая об имени давшего, ни о годе его рождения.

Мы упомянули о 61-м и 66-м годах минувшего века, которые навсегда останутся поучительными в русской истории. Молодые выходы и 61-го и 66-го годов, можно сказать, состарили Россию, перед тем цветущую, сильную, надеющуюся, — состарили и заставили вырасти у нее горб. Что Россия потеряла в материальном и просветительном отношениях через приостановку начатых было преобразований, как это отразилось на устройстве крестьянского быта, на благосостоянии его, насколько вообще благосостояние нормируется гражданским строем, на положении суда, печати, — об этом знали и плакали старые части общества, а не молодые, не имевшие живого и полного представления о том, что было сделано в отечестве вчера или предполагалось сделать завтра и что действительно было сделано. Напрасны были бы ссылки на то, что и «молодые силы» общества при этом пострадали, что «виновные уже наказаны». Неосторожность машиниста, из-за которой гибнет поезд, стоит самому ему жизни, но бедствия остальных пассажиров бывают при этом столь велики и чрезмерны, что очень мало думается о судьбе машиниста и вызывает скорбь и ропот только огромный тяжеловесный факт крушения поезда.

Вот отчего даже небольшие волнения среди учащейся молодежи порождают не только тревогу за личную их судьбу, не только сожаление, что у России становится меньше сознательных и даровитых работников, уже совершенно приготовленных, вырастает еще тревога за большую зрелую работу в России, которая непрерывно совершается зрелыми частями обще-

ства, и получает как бы «палку в колесо» в каждом недостаточно взвешенном действии учащейся молодежи. А это старшее поколение (отнюдь не старое) работает не в свою пользу, а для России, на Россию. Здесь есть начинания, здесь есть надежды; здесь есть возможности, которые перейдут или не перейдут в действительность. Все это меркнет, все поливается мертвою, а не живою водою при малейшем, излишне «оживленном» и необдуманном действии учащейся молодежи. Четыре года учения, столь краткие годы, быстро протекающие, пусть она сосредоточит всецело на науке: это всегда и для всего пригодится, возместить это невозможно нигде, кроме университета, воспользоваться этим для серьезного действия, каково бы оно ни было, настанут годы во всяком случае более благоприятные, чем годы студенчества.

В тех же людях, которые сейчас сидят на школьной скамье, их старшие братья и их отцы, словом, все старшее поколение, хотели бы иметь сотрудников, друзей, но не сейчас, а немного позднее. Нет подвига без терпения; на нетерпеливости ничего никогда не создается. Легкая воспламеняемость – не залог энергии. Да и все эти качества не русские, не русско-народные. Русский народ медлителен, упорен, терпелив, настойчив. Не все эти качества, но все-таки хоть тень их, было бы отрадно видеть и в молодом цвете русского общества, который всегда гордился народным духом, связью с народом. Для этого не требуется никакой перемены в убеждениях, ничего податливого даже в характере, а только большее самообладание, устойчивость, рассчитанность шага. «Семь раз отмерь, а раз отрежь» – это вполне применимо к искусству и опытности жить и действовать.

ПРОСТАЯ РЫБАЧКА

Я прочитал статью г-жи Лухмановой под истерическим заглавием и совершенно истерического содержания: «Кто дал им право?». Статья кричит как кликуша: «Кто дал им право искать сердце (чье? где?), нащупать, где оно бьется, раскрыть его и плюнуть туда?..». «Кто звал быть нашими пророками Меньшиковых, Розановых, протоиерея У-ского, Мережковского и других? Зачем свои узкие взгляды, свои ничтожные личные мнения, свои плотско-пристрастные взгляды о чистой, святой вере вынесли они на базар печати?..». «Мы не хотим, чтобы разбивали нашу веру, пугали нас?..». «Скажите, что если человек изучил наизусть все священные книги, он остался язычником, если нет в его сердце просветленной веры. Скажите, что рыбаки, а не ученые фарисеи покорили сердца людей. О, ради Бога, скажите им, чтобы они замолчали».

Позвольте. Протираю глаза. Да почему же вы, г-жа Лухманова, воображаете, что я должен замолчать по вашему требованию, а не вы должны замолчать по моему требованию? Что за привилегия издавать запретительные крики? Точно г-жа Лухманова – директриса печатного пансиона, а пи-

сатели – пансионерки на полном ее иждивении и под ее присмотром? Крик никакого бы внимания не заслуживал, если бы он не был написан, так сказать, коллективным и безличным языком, если бы г-жа Лухманова не притворилась «простой рыбачкой», якобы говорящей от лица не то Петербурга, не то России даже: «Да, у нас, у средних людей, не сильная, но пламенная вера! Да, слаба в нас искра Божия, но она в нас есть и приходит минута – она приводит нас к алтарю, и мы, умиленные, молимся просто, без больших молитв, но молимся и устами, и сердцем, горячо и искренно, грешим и каемся, верим в прощение и любим Христа».

Ох, уж эти, «грешащие и кающиеся», Магдалины ли, «рыбачки» ли. «Я – рыбачка, я погрешила вчера и сегодня каюсь: не мешайте мне, Мережковский и Розанов». Для покаяния есть свой угол, и зовется он исповедальной, а для философствования есть свои совершенно другие углы и называются они печатью, литературой. Нельзя же ради г-жи Лухмановой, «которой хочется покаяться», закрыть академии и университеты; да и очень громко она кается, на всю улицу, прямо останавливая движение народа и экипажей.

«Мы – темные дети Божии, мы – простые люди», – продолжает она далее. И мы бы не обратили на ее истерику (деланную, конечно) ни малейшего внимания, не будь в ее статье этого гонора и претензии говорить от имени великих в скромности и простоте своей русских людей.

Какое же вы «темное дитя Божие», г-жа Лухманова?! Да вы автор пресоблазнительной, как рассказывают, пьесы, переведенной с французского и с шумом дававшейся в этот зимний сезон: «Ночь г-жи де-Монтесон». Говорят, в партере девицам платочками приходилось закрываться.

А вы кричите: «Не надо нам ваших умных споров! Не надо нам вашего грызущего остроумия! Не надо нам ваших статей!» И проч. Ничего не надо. Хорошо. Но почему же надо «Ночь г-жи де-Монтесон»?

Не понимаю. Во всяком случае, кроме этой «Ночи» и покаянных о ней слов, нужно же России что-нибудь более содержательное и более разнообразное. Она вопит против самых споров в печати и в обществе на религиозные темы. Они не в этот пост начались. Г-жа Лухманова совершенно забыла, что богословская и философская русская литература, имеющая свои традиции, идущие от Хомякова и Соловьёва, от Гоголя, Достоевского и Толстого, никак не может ступешаться перед переводными французскими пьесами. И если она в самом деле «изречений отцов церкви не помнит», как и «подробностей вселенских соборов», то что же, неужели же и всем другим по ее образцу надо все это забыть? Кроме «будьте простые, как голуби», есть еще и другое изречение Христа: «Будьте мудры, как змии». Мы ему и следуем. И в праве следовать.

Церковь одинаково возрастала как в красоте и силе молитвы, так и в мудрости мысли, последовательной и всеобъемлющей. Истеричные вопли г-жи Лухмановой совершенно слепы относительно всей истории церкви. Истерику умеют успокаивать и шаманы, а Церковь обнимает небо и землю, судьбу души и народов. Церковь не для г-жи Лухмановой и ее личных вкусов, а

для народа русского и его духовных нужд, в которые входят и нужды умственные. «Сердце» могут успокаивать и пашковцы. Для «сердца» вообще есть много лекарств, даже не непременно религиозных. Послушать бы г-жу Лухманову, надо бы задернуть занавеской акты вселенских соборов и многотомные труды тех самых учителей Церкви, на лики которых, не умея их назвать по имени, она сама молится. Мне кажется, она не только не помнит «учителей Церкви и вселенских соборов», но она отчетливо и не знает, пашковка ли она, хлыстовка, православная, лютеранка, католичка. Ибо ее «грешим, каемся и верим в прощение Христа» могут повторить люди всех вероисповеданий христианских и всех христианских сект. В этом скомканном виде я не узнаю православия, которое есть не только молитва и храм, но и научение мудрым. Между тем эта петербургская шаманка кричит от его имени.

В «Деяниях апостольских» рассказывается, как некая женщина, подняв среди верующих крик, воздвигла гонение на апостола Павла. Г-жа Лухманова, сама того не понимая, кричит против Церкви, ее величия и всеосмысленности.

ПРОРЕХА УЧЕНИЯ

Известно, что лучшие медики, прослушав пятилетний курс медицинских наук на своем факультете и приступив к практической деятельности в провинции, чувствуют такие зияющие недочеты в своих знаниях, что просят об основании для них особых дополнительных чтений, которые они могли бы выслушать, временно приезжая с практики в университетский город. Окончившие курс на юридических факультетах становятся сперва «кандидатами на судебные должности» и «помощниками присяжных поверенных», где им показывают ведение дел и вообще продолжают их учить. Наши учителя гимназии сознаются, что весь первый год их педагогического труда проходит в бессильных попытках; и в течение долгих лет учительства они, совершенно параллельно ученикам, должны «готовиться к уроку», т. е. много и много прочитывать, обдумывать, чтобы назавтра дать урок удовлетворительно. Это положение вещей, тоже далеко неизвестное молодым людям на студенческой скамье, показывает, что четырехлетнего и пятилетнего курса учения, при больших университетских вакациях летом и зимою, положительно не хватает для основательного прохождения курса университетских наук. Этот курс скорее впечатлевается в умах слушателей, нежели основательно и органически входит в них. Дается студентам скорее «компендиум», т. е. сжатое сокращенное изложение самонужнейших научных данных, нежели развертывается наука во всем ее богатстве и цвете, во всех ее тонкостях. Известно, что германские профессора читают особые специальные курсы, дополнительные к университетским лекциям, у себя на дому. Они называются «privatissima»* и содержат в себе такие подробности и тонкости науки, коих

* занятия частным образом (*лат.*).

изложение совершенно невозможно перед обширную аудиторию менее подготовленных студентов. Наши русские студенты и могут быть подведены под рубрику этих «менее подготовленных». Все указанные стороны университетского учения показывают, что наука в них усваивается далеко не так полно, как было бы желательно и возможно. Недостаточна подготовка слушателей. Недостаточно самое время учения. Недостаточна и общая, и специальная начитанность студентов.

Что взял студент в университете, он разнесет по России. Конечно, он собственник своего знания и прежде всего сам понесет последствия и недоученности, и переученности своей. Но если мы возьмем больных, лечащихся в городской больнице, лечащихся по селам у земского врача; если мы возьмем маленьких гимназистов перед лицом ведущего урок учителя, то мы не можем не заметить, до чего ученое богатство вчерашнего студента есть в то же время богатство всей России, а ученая его бедность есть бедность русского народа. Студент есть собственник своего научного багажа, но только наполовину. На другую половину он напоминает собой праздничный пакет, посылаемый в глухую провинцию из столицы работающим там человеком. Пакет этот может нести в себе дорогую весточку, ценный подарок, а может быть совершенно пуст. Университет есть умственное сокровище всей России, основание которого да и содержание поглотило бездну национального труда и средств.

Вот сумма данных, над которою всякий юноша-студент может задуматься среди той серии «проклятых вопросов», которая терзает его ум. Все обычные «проклятые вопросы» как-то отвлечены. И хоть решение их или «нерешимость», конечно, интересны, но лишь с точки зрения личного душевного комфорта. Но кроме личного душевного благополучия есть уже фактическое благополучие миллионов русских людей, которые живут и не доживут до тех вершин света, в которых эти вопросы ставятся и решаются. Они – в вечной тьме. Об этих-то «темных людях» и следует вдвинуть «проклятый вопрос» в вершины сознания, но не под углом того отвлеченного его решения, что в темноте этой «кто-то виноват», а в форме вопроса: не виноваты ли мы сами и не складывается ли темнота этого народа, между прочим, из недочетов нашего собственного учения?

Умный, деятельный, отлично выученный доктор «на месте», учитель в гимназии, член или председатель суда, судебный следователь – как, приходя в провинцию, они оживляют все собою! Каждый студент, в годы учения своего, должен рассматривать себя как подарок народу, подарок полноценный или легковесный. Мы верим в глубокое благородство русского учащегося юношества. Нам достаточно указать на этот вопрос, а как оно его решит, мы предоставляем это его уму и его совести. Времени и так мало; наука бесконечная практическая для народа работа вся обусловлена усвоением науки. Вот сумма данных, из которых предстоит сделать выводы.

Мы упоминаем о чрезмерной продолжительности университетских вакансий, гораздо большей, чем продолжительность гимназических вакансий.

В гимназии рождественские каникулы тянутся две недели, в университете не менее трех. Лекции открываются 1 сентября, уроки в гимназии – 15 августа. Простора времени, т. е. незанятости, в университете всегда больше. Нормально бывает в день четыре лекции, а уроков в гимназии пять, хотя способности сидеть и внимательно слушать, конечно, у 18-летнего молодого человека более, чем у 13-летнего мальчика. В германских университетах есть и летние семестры лекций, у нас на лето университет совершенно бывает закрыт. Прибавьте к этим огромным промежуткам незанятого учением времени еще случайное замешательство в университетской жизни, перерыв лекций – и вы получите впечатление огромного простора, который в смысле науки есть чистый убыток. Подарок народу все тает, обесценивается. А народ жаден и духовно голоден...

КОНЕЦ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

Преподаваемые Государем Императором указания министру народного просвещения касательно преобразования средней школы кладут конец неопределенному ее положению и неопределенным ожиданиям общества. Важнейшие перемены, которые отныне можно считать «состоявшимися», заключаются в следующем:

1) Греческий язык отменяется (перестает быть обязательным) для всех воспитанников гимназий, кроме поступающих на филологический факультет и на факультет восточных языков.

2) Реальные училища дают право поступления в высшие технические заведения.

3) Возникает новый тип шестиклассного училища – для приготовления губернских служащих.

4) Энергично указывается развитие среднего технического и профессионального образования.

5) Подготовка учителей, заведение пансионов и ряд мер касательно нравственного и патриотического направления учеников обнимает нравственную сторону образования.

Все эти рубрики в более или менее ясном виде уже предносились в ожиданиях общества. Уничтожение греческого языка вызывало ожидание сокращения гимназического курса до семи лет. В самом деле, греческий язык составлял более чем восьмую долю трудности общего гимназического курса. А если принять во внимание, что учителя будут лучше подготавливаться, нежели было до сих пор и, следовательно, ученики пропорционально будут облегчаться в домашнем приготовлении уроков, главной трудности учения, то можно будущий курс учения и вообще признать не затруднительным и вполне бы усвояемым в семь лет. Но раз уже сохранен восьмилетний курс, то можно ожидать, что устранение из программы греческого языка дает простор шире и основательнее поставить преподавание

других предметов. Между ними русская история и русская словесность выдвигаются на первое место. Избегание многопредметности в гимназии должно, нам кажется, остаться принципом школы: лучше немногого проходить, но основательно, твердо, подробно. Нужно не только усваивать предмет, но привязываться к предмету, находить в нем «вкус». Вот отчего вполне желательно, чтобы заключительные слова Высочайших указаний касательно «материала, который должен быть усвоен учащимися взамен греческого языка», — не были Ученым комитетом министерства истолкованы в смысле неперменного введения нового предмета или даже нескольких предметов. Так называемое «отечествоведение» вполне может быть только расширенной и практически (с экскурсиями) проходимой частью родной истории, родной географии и народного творчества (часть курса словесности). Далее, изучение новых языков должно быть доводимо до способности читать без словаря средней трудности немецких и французских авторов.

Но главным последствием сохранения восьмилетнего курса, при облегчении его трудности приблизительно на одну пятую долю, должно быть окончание, и радикальное окончание, с контингентом «исключенных учеников», а равно с контингентом учеников «засиживающихся». Мы совершенно почти не знаем ни семинаристов, «выбывших до окончания курса», ни кадет военных корпусов — в таком же положении, ни студентов университета. Только гимназия растеривала больше половины поступивших в ее первый класс. Это есть безобразие, и общество вправе ожидать, и энергично ожидать, что министерство, наконец, даст ей гимназию, куда отдавать девятилетнего мальчика, родители, наверно, знали бы, что через восемь лет неограниченного им распоряжения со стороны учащего и воспитывающего персонала они получат оттуда приготовленного кандидата на университетский курс. Все жалобы на то, что семья сама виновата в неокончании курса ее сыном, ничтожно ввиду того, что таких жалоб не приносят ни кадетские корпуса, ни семинарии, ни университет. Исключения, конечно, бывают, но они должны быть редчайшими, непредвидимыми, и на которые бы удивлялись все: на сто учеников пусть один будет «исключенный по неспособности», но не более. Внимательно разобрав механизм учения, как оно совершалось прежде, нельзя не видеть причины «исключений» именно в нем, а нисколько не в семье и даже нисколько не в ученике. Припомним прословутые экзамены в четвертом классе разом за все четыре года, при полном отсутствии устных экзаменов в первом, во втором и третьем классах гимназии, чтобы понять, что этот четвертый класс был какою-то неопостижимой педагогической ловушкой, куда попадали мальчики 15-ти лет, и в этом бессильном возрасте по крайней мере на одну четверть общего своего числа расшвыривались на все четыре стороны («исключен по § 34 за непереход в следующий класс»). Столь же редко, исключительно и ненормально должно быть и «оставление на повторительный курс в том же классе», т. е. сиденье два года в одном классе. Лишь продолжительная болезнь ученика может оправдать это. Все восемь классов и порознь каждый от-

дельный из них должен быть таков, чтобы его свободно усваивал без изнурения ученик со средними, даже только с посредственными способностями. С другой стороны, талант преподавателей и качества учебников и методы давания уроков должны быть так выбраны, рассмотрены и подготовлены министерством, чтобы ученик, если только он не урод и не больной, заинтересовывался предметом и находил в нем «вкус». Решительно нельзя винить ученика в «лености» и «неспособности», если, учив «от сих до сих» учебники шесть лет, он бросает их на седьмой с угрюмым молчанием и внутренним воплем: «Не могу более». Вся неспособность учителей перекладывалась на учеников и некоторая нерадивость учебного ведомства (за годы 1870–1900) в направлении к выработке учебников и учителей записывалась как «нерадивость учеников и распушенность родителей». Кто же не знает, что и родители, и ученики тех несчастных лет из кожи лезли вон, чтобы заполучить золотую бумажку «аттестата зрелости», открывающую юноше все двери и без которой все двери перед ними были закрыты.

Итак, восьмилетний курс должен отныне сделаться в точности восьмилетним, никак не более, пребыванием ученика в гимназии, и оканчиваемым по крайней мере 95 процентами всех поступивших в первый класс гимназии.

О ВЫСШИХ ИНТЕРЕСАХ ЗНАНИЯ И РЕЧИ

И веселитесь перед Богом вашим вы,
и сыны ваши, и дочери ваши,
и рабы, и рабыни ваши.

Ветх. Заб. «Второзаконие», XII.

Всегда радуйтесь.

Нов. Заб. Ап. Павел

I

Грустно видеть, что радостные дни, переживаемые теперь Москвою, выбраны были с глубокою бестактною, с прямою грубостью днями желчного обвинения одною местною газетою то тех, то других групп людей. Оставили бы до завтра, когда минет праздник древней столицы: и тогда бы предъявили свои обвинения. Дни эти надо было провести беспечально, без уныния. Поистине надо было простить и ту вину, какая есть; а не то, чтобы придумывать и выдумывать новые вины. Дни праздника не надо было обращать в дни судьбища.

«Моск. Вед.» пишут:

«Царские дни в Москве приносят нам другую отраду: они доказывают всю тщету *врагов церкви*, силившихся отделить Царя и народ глубокою пропастью от Церкви, которая будто бы уже отжила свой век и

находится-де в противоречии с каким-то истинным бесцерковным христианством»... «Явились лукавые ревнители, которые желали бы совершенно устранить Церковную власть. Правда, об этой цели они пока благоразумно молчат (*откуда же автор о ней узнал? из своего вымысла?*)»... «Эти враги называют себя истинными христианами, они прикрываются именем Христа» (т. е. *исповедуют Христа? Что же тут худого?!!*)... «Они повторяют известные и избитые софизмы западного протестантизма» (это особенно прошу заметить читателя)... «Все они отвергают величавое здание христианской церкви на том основании, что при земной жизни Спасителя этого здания еще не существовало»... «Лютер (опять заметьте) имел еще некоторое оправдание в своей антицерковной пропаганде, так как он иной церкви, кроме римской, искаженной папизмом, не знал. Но этого оправдания *наши* (курс. автора) протестанты не имеют... Идти против Православной Церкви значит идти против Самого Христа, против Бога и Духа Святого»... «Протестантская пропаганда ведется у нас под видом удовлетворения духовных нужд нашей беспечной и легкомысленной интеллигенции. Она, видите ли, не прочь допустить существование Церкви (выше говорилось, что вовсе не допускает), но только не такой возвышенной и строгой, требующей стремления к таким недостижимым для интеллигентного человека идеалам, – а церкви, потакающей низменным инстинктам умственной лености, невежественной ограниченности и праздно болтливости наших интеллигентов. Наши интеллигенты в своем убогом самодовольстве не желают возвыситься ни на одну ступень, чтобы ближе стать к церкви; напротив того, они требуют, чтобы церковь отреклась от всех своих правил и преданий и опустилась до того низкого уровня, на котором и впредь намерена пребывать наша интеллигенция»... «Само собою разумеется, что сама церковь на такое самоуничтожение никогда не согласится. Но, к сожалению, нашлись отдельные представители ее, которые сами поспешили, ради дешевой популярности (почему не по *благости?* не по *любви к ближнему?* не во исполнение притчи о Благом Отце, принимающем с радостью возвращающегося блудного сына?), примкнуть к нашим интеллигентам, чтоб утвердить их в убеждении, будто можно быть христианами, не соблюдая правил и обрядов Православной Церкви и даже совершенно ее игнорируя. И вот у нас началась открывая проповедь бесцерковного и даже антицерковного христианства в публичных чтениях, газетных статьях и фельетонах и даже в специальном, для себя созданном, противцерковном журнале. Беспрепятственность этой пропаганды вводила многих верующих в соблазн, а многих и в смущение. Делались самые крайние тревожные выводы из того прискорбного факта, что Православная Церковь за последние три года сделалась мишенью всевозможных нападок со стороны людей, ищущих будто бы *новых путей*». «Но, слава Богу, эти тревожные выводы никакого основания не имеют. Царь и народ остаются и останутся на старом пути. Вот почему такое глубокое значение получает в *настоящее именно время* (курс. автора) то строгое соблюдение церковных правил и обрядов, ко-

торое так дорого сердцу Благочестивейшего Царя и всего православного народа. Мы говорим в *настоящее время* (курс. авт.), так как три года назад у нас и речи не было о том бесцерковном (???) христианстве, о котором теперь так много говорится с легкой руки и легкого ума модных петербургских писателей и проповедников».

II

Есть обвинения, которые переписав, – становится жутко, боязно. Но «Господь – мое прибежище и сила: кого убоюся». Примем с открытым лицом обвинения. Ответим на них полным, ясным голосом.

В написавшем строки эти точно умерло сердце религиозное, «Божие» (= в руке Божией), историческое. Нет здесь сердца русского. Можно ли сказать, что в приведенных (бездарных) словах о Петербурге сказался голос Москвы? В этих словах, позволим себе думать, оказался ренегат Белокаменной, не чувствующий ее «сорока сороков» (церквей), не чувствующий религиозного значения пребывания Царя около святынь своих предков. Это пребывание поставлять в зависимость, производить как следствие и противоборство журналу «Новый Путь» и Религиозно-философским собраниям: можно ли придумать такую литературную безвкусицу. *Ex ungue – leonem**: В. А. Грингмут – узнаю вас в таком остроумии, бестактности.

Насколько странный ренегат Москвы ничего не понял и ничего не почувствовал в трогательном пребывании Государя в Москве, – не понял всей нежности и глубины этого события, настолько же, – читатель вправе умо-заключить по аналогии, – он ничего решительно не понял в усилиях тех людей, которых обвиняет так жестоко, грозно.

Если непозволительно предполагать, ибо невозможно в действительности, чтобы великое последовало за малым, то малое можно поставить около нормы большого. «Новый Путь» – заглавие, так обманувшее «Моск. Вед.», – *нов* вовсе не по отношению к *древней* церкви, с которою в порядке возникновения своего он в связи и не состоял, а по отношению к нашей литературе, нашей печати, интеллигентности и интеллигентам, в среде которых он возник. «Я буду *нов* в отношении к вам», – говорит он вчерашним своим братьям (к кому же еще ему обращаться!). В чем же эта *новизна*? Да в том именно, как это ясно и объяснено в его предисловии, что в задачи нашей светской журналистики от начала ее и до сего дня не входили вовсе темы религиозные. «Я буду журналом не просто философским, а философско-религиозным: в этом – *новизна* моя». Я упомянул о большом корабле и малой лодочке. Когда в минувшем 1902 году члены Религиозно-философских собраний и в составе всех главные сотрудники «Нового Пути» попросили позволения у своего председателя, ректора здешней Духовной академии, епископа Сергия, прийти к заутрене Светлого Воскресения в академи-

* По когтям льва (узнают) (*лат.*).

ческую церковь, дабы здесь вместе с духовными лицами и радоваться: то и это было бы «возвращение» к древним святыням, то приближение к церковной и исторической святости, какое в великих чертах мы наблюдаем сейчас в Москве. Вероятно, с начала русской литературы писатели большою толпою и вместе с своими гостями (посетители «Религиозно-философских собраний») не просились в лаврскую церковь. Вот *новизна* «пути», вот что значит «Новый Путь».

И все это написано в его предисловии. «Умер позитивизм, будущее принадлежит идеализму». Неужели это преступно?!

Но, говорит обвинитель, эти «философские идеалисты» говорят о церкви. Да не значит ли это, что философию, которая за весь XIX век действительно игнорировала церковь (когда же *германские* философы занимались *лютеранством*, *английские* – *епископальной церковью*, *французские* – постановлениями Тридентского собора?), что эту философию группа смелых русских мыслителей, бросив гордыню и абстрактность, захотели связать в узел, кровный, родной, с живейшим народным делом – церковью. Тут именно было философское смирение; а также и жажда не быть далеко от своего народа. В чем нас обвиняет г. Грингмут?

Он еще обвиняет в «протестантизме», «нелюбви к обрядам». Да для чего тогда было проситься к заутрене в академическую церковь? Ведь это не философская истина, даже не догмат, а просто *вид* церкви, *торжество* и *слава* ее, которую увидеть, в которой участвовать захотели философы. Обвинитель явно сливает журнал с так называемыми «Религиозно-философскими собраниями»: и вот члены этих собраний, они же и сотрудники журнала, захотели быть *вместе*, в *единении*, в *любви* с ученой братией монастырской академии. Всякий, кто посещал Религиозно-философские собрания, знает, что отличительная их черта, на которой, собственно, они и держатся, заключается в устранении всякой официальности, торжественности, важности и гордости. Это – *братство* философов, обнявших *около стены церковной*. Что тут худого?

Г-н Грингмут в этом Великом посту просился (подал заявление с просьбою), чтобы его допустили присутствовать в Религиозно-философских собраниях. Но помня, как он в свое время, проникнув в одно закрытое заседание Московского психологического общества, где Вл. Соловьёв читал речь, поднял затем против него злостную обвинительную кампанию в «Моск. Ведомостях», – Религиозно-философские в Петербурге собрания отказали ему в допущении. Теперь он сплетничает втемную вместо того, чтобы перевернуть (переиначивать, исказить) «в открытую». Но зато как он раздражен, как убийственны его обвинения. Читатель, однако, может догадаться, что выражение Религиозно-философскими собраниями нравственного к нему недоверия есть настоящий корень его слов. Но среди сотрудников его газеты есть почтенный г. Поселянин, автор книг «Как чудом Божиим строилась русская земля» и «Русские церковные подвижники за XIX век». Книги эти сами говорят за себя. Это *религиозный* и *благочестивый*

человек. Он был *допущен* в Религиозно-философские собрания, как человек именно с *верою* в груди, а не только с *кознями* около веры. Пусть же в «Моск. Вед.» за полную свою подписью изложит он свое впечатление от виденного и слышанного им на Религиозно-философских собраниях.

В них так или этак все горит религиею в древнем смысле этого слова, чувством светлым, а не холодным и хитрым ханжеством, какое занимает место религия, когда она исчезла, а *сохранить ее вид* нужно. В обвинениях «Моск. Вед.», приведенных выше, и слышится одно это ханжество, сплетающее ковы на людей веры, сейчас живущей, трепетной. С каким равнодушием он написал обвинение в «рenegатстве церкви» тех бескорыстных и великодушных ее представителей, совершенно определенных по имени, хотя у него и не названных, которые, именно рискуя земною похвалою, поступили по прямому слову Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, об одной потерянной и найденной овце бывает больше радости, нежели о ста непотерянных». Они искали «популярности»! Но уже обвинение в этом исключает мысль о всякой популярности, предполагает скорей риск позора. Приятно попасть «на зубок» «Моск. Вед.» и выслушать обвинения, какие он делает.

Нет, «популярность» во всякой среде бывает своя, именно в отношении к этой среде. И для представителей нашей церкви, века отделившейся от «интеллигенции», «популярность» заключается именно в строжайшем от нее отделении, в совершенной замкнутости, «своесословности».

III

«Религиозно-философские собрания следуют по стопам Лютера и несут нам протестантство». Такова общая характеристика дела. Прения Религиозно-философских собраний напечатаны в трех книжках «Нового Пути». Неужели там вычитали «Моск. Вед.» протестантство?! Самой тенденции к нему, направления, *духа* его вовсе нет! Совершенно другие темы, другие области суждения, иные совершенно приемы. Статья «Моск. Вед.» не только редакционная, но *редакторская*, ибо слог и мысли г. Spectator'a – Грингмута совершенно известны по другим подписанным статьям. Он до такой степени неопытен и младенчески наивен в религии, что если что (положим) «не православно», то он уже заключает, что это «или протестантство или католицизм», а если не находит «преклонения перед авторитетом этой главной католической черты», то уже отсюда без колебания заключает, что «это – протестантизм». Между тем вопросы, поднятые в Религиозно-философских собраниях, суть в точности православные и русские вопросы, ибо ни малейшей они связи и подобия с протестантством и католичеством не имеют, а в самом православии просто представляют некоторую новизну тем. «Моск. Вед.» все понимают грубо, и им побрежжилась тенденция «унизить веру» и «пошлить церковь», сведя ее к земным интересам. Между тем в Религиоз-

но-философских собраниях указывалось, и именно тем самым г. Тернавцевым, на доклад которого он намекает, что святители московские Сергей Радонежский, митрополиты Алексей, Иона и Петр, «как бы выносили и сохранили Московскую Русь в епитрахили своей». Да, они были *государственными* творцами, а не только *келейными молитвенниками*. Это и есть то сведение неба на землю, то замешивание религии и ее представителей в земные дела, в земные нужды, в земные горести и скорби, к чему тенденция проходит красною нитью через Религиозно-философские собрания: но как это истолковал Грингмут: «Они требуют, чтобы церковь *попала* их изменным инстинктам, умственной лености, невежественной ограниченности». Г. Грингмут просто *неразвит*; и его не только по склонности к сплетням не следовало допускать на собрания, но еще и по той причине, что в вопросах религии – как гимназист второго класса, не подготовленный к слушанию наук из курса пятого или шестого класса, – он хлопал бы ушами на собраниях; ни слова бы не сумел там вставить; и позднее все бы переврал. Собрания действительно были неосторожны в допущении «неподготовленных»: темы их рассуждений не понимались и перетолковывались.

Мы отрицали там «обряд». Скорее там заходила иногда речь об увеличении обрядовой стороны религии, о большей его пышности. Сравните гнуслявое староверческое пение с теперешним православным пением: вот пример «новизны» и «нового пути», на который уж если куда-нибудь зовут «новопутейцы», то именно сюда. Я помню село, где дьякон завел у себя фисгармонию, и обычно после обеда играл на ней церковные мотивы. Никогда ничего, кроме «гармоники», не слышавший народ был *обольщен* новыми звуками и, собираясь около окон дьяконского домика, проставал часы, слушая известные мотивы в столь новом и прекрасном выражении. Считаю для себя непозволительным и здесь, и на философских собраниях (если б они продолжились) спросить: да отчего же *слова* церковного пения и не убрать в музыку, когда в ветхозаветном богослужении она была (арфа Давида, тимпаны в храме), а новозаветом его ничто не запрещает? Вот наши «новизны». На страницах этой самой газеты не отстаивал ли я, против штундистов, против идей нашего великого писателя, красоту и сложность богослужебного культа? А «Моск. Вед.» говорят, что Религиозно-философские собрания «против обрядов». Просто, он недостаточно развит, чтобы судить о тех высоких темах, которые там обсуждались.

В течение двух зим в этих собраниях была «Христова свобода», братская, человеческая, без светской и условной примеси. В то время как на «собрания» несутся обвинения из «Гражданина» и «Моск. Вед.», их участники знают, что это было вымороченное, непосещаемое место для всей «либеральной» петербургской интеллигенции. Здесь есть много «либеральных изданий», по-своему честных и хороших, но нельзя не улыбнуться их наивности, совершенно подобной наивности «Моск. Вед.», в силу которой и они заподозривали и «игнорировали» Религиозно-философские собрания, как явление «клерикальное», «консервативное», во всяком случае «не по-

зитивное». Мы, их участники, были для остальной литературы тем же, что «Выбранные места из переписки с друзьями» в отношении к другим произведениям Гоголя. Мы представлялись «декадансом» литературы не в смысле «поклонения Падшему» по остроумной филологии, а в смысле того, что мы самым существом своих религиозных тенденций представляем «упадок» исключительно литературных вкусов и традиций; мы были «выродившимися», как считаются «выродками» литературными «переписка» Гоголя и многие страницы из Достоевского и Толстого.

Но стану ли я отрицать, что у нас и было кое-что новое в отношении к status quo церкви? Не для «Моск. Вед.», которые по грубости сердца (религиозного) не поймут меня, а для более просвещенных читателей, отвечу, что – *было*, но совершенно *допустимое*. Напр., мы не касались и не отрицали ни одного из существующих церковных *догматов*, но был вопрос, не составляет ли в истории и строе церкви некоторого ее *отяжеления* вообще это богатство умозрительного, логического построения («догматизм»). Увы, рассказанная в Евангелии, в «Деяниях» жизнь Спасителя и апостолов, самую *картинную* своею, нимало не напоминает теперешнюю церковную жизнь. Мы говорим именно о картине жизни, а не о догматах. Итак, мы не повторяем Лютера, а говорим о совершенно другом и новом.

«Начали писать о религии в фельетонах». Да почему же в фельетонах, которые читают десятки тысяч, и не писать о религии, а писать только о театре или о скандалах? Лишь бы писать хорошо, а где писать – все равно. И «Моск. Вед.» пишут о религии «в фельетонах» (напр., не менее шести фельетонов г. Басаргина были посвящены, и *вовсе не порицательному* разбору идей «Нового Пути»), но только большею частью плохо пишут, соответственно общему плохому состоянию газеты (говорю не о статьях г. Басаргина). Повторяю, апостолы шли к грешникам, шли к язычникам. Вообще жизнь церкви в ее великой истории была разнообразна, подвижна, часто бывала нова. Это только при полной его религиозной необразованности, г. Грингмут представляет себе, что если «колокола звонят, певчие – заливаются, дьякон – гудит», то и «все хорошо, все кончено», не о чем более думать в области религии. Нет, есть о чем, о многом. Девять веков стоит у нас церковь. Но как не воспитано, загубело народное сердце, несмотря на прекрасные в нем религиозные залогов, предчувствия. Отчего же оно так не воспитано, не тронуто, дико, первоначально? Припомню вторично сказанное о «догматизме», в котором церковь приобрела броню и потеряла крылья. Вот именно «крыл» и «музыки» не в прямом смысле, а в переносном, и не получил еще народ наш уже девять веков христианин. Он, напр., знает, что в среду нельзя есть молока (черта «догмата»), а что жену свою нельзя бить, *вовсе* и никогда нельзя бить, что это грешнее «молока в среду» и даже «молока в великий пост» – этого он *вовсе* не знает и даже этого не подозревает. А это-то и есть «сведение неба на землю, религии – в земные дела». «Молоко в среду» – это ритуал церкви, почти убранство храма; а «жена битая или небитая» – это быт, *вовсе* почти и не задеваемый религиею, ина-

че как в форме вялых и ленивых поучений. Между тем семейные отношения, во всей их строгости и полноте, могли бы стать также почти церковным ритуалом, но домашне-церковным. Во всяком случае эти отношения не меньшей важности, чем смена молочной пищи немолочною. Пересмотрите «Требник», и вы там найдете мельчайшие наказания за мельчайшие проступки. «Аще кто лечится у жидовина врача – да будет отлучен от церкви, а священник – да будет извержен из сана». Значит, это запрещено, народ понимает и у евреев-докторов простой народ не лечится. Но нигде в «Требнике» не написано: «Аще который муж избьет жену до полусмерти, или искровенит детей – да будет отлучен от св. причастия на три года» (частая форма церковного наказания). Откуда для народа совершенно ясно, что жену можно бить, что церковными законами это не запрещено и даже не осуждено. Нравственным суждением нравственного священника – да, осуждается; но законом, т. е. «всегда, повсюду, для всех», конечно – нет, не осуждено! Да и суждения, т. е. размышления об этом, в древние века церковь не имела; но *может* иметь в нынешнем веке. Неужели стремиться к этим «новизнам», значит «идти против Христа, против Бога» (см. выше мнение «Моск. Вед.»). Скорее значит идти «против Бога», настаивая упорно и настойчиво на такой «старине». Но «новизна» наша простирается и дальше. Пролить в сердце «музыку» религии значит довести сердце до умиления, при котором не то, чтобы оно «знало, что бить жен запрещено», но никогда бы само не захотело этого, содрогнулось бы от представления этого. А дать «крыло» религиозное человеку, значит так возбудить его религиозные силы, чтобы хотение его было уже исполнением. В «собораниях» изредка произносилось слово «оргиазм», что многими было перетолковано чуть не в смысле «склонности к водке». О «пиве новом» упоминается в пасхальной службе. «Оргиазм» и есть это «пиво новое», наполняющее душу, от которого всему телу становится легче, самое тело становится воздушнее; шаги не затрудняют, действия не утомляют; после всякого дела хочется приняться еще за другое.

Г. Грингмут не видал нас на Религиозно-философских собраниях. Но те духовные лица, которых он дерзко обвинил в «популярничаньи» и в «рenegатстве церкви», видели лица наши, слушали речи наши: и они им поверили. Кончим эту защиту обширной группы людей следующим свидетельством человека постороннего, человека верующего, воспитанника Катковского лицея и сотрудника еще «Современных Известий» Н. П. Гилярова-Платонова. «Много раз на страницах этого издания я позволил себе подчеркнуть мою крайнюю отсталость, мой неподвижный консерватизм в области вопросов высшего религиозного порядка. Как Шлейермахер, я бы хотел умереть с *dieser Glaube**: подразумеваю мою веру, покоящуюся на камени древнего вселенского исповедания. Но если бы я продолжал упорствовать в собраниях Религиозно-философского общества, то я, заняв мес-

* этой верой (нем.).

то в *крайней правой* (курс. авт.), стал бы, вероятно, отстаивать мнения *крайней левой** (курс. авт.)). Вот зрительное и слуховое впечатление от собраний: что даже наиболее критические из высказываемых там мнений высказываются в такой форме и с таким чувством, что не пробуждают ничего, кроме сочувствия в людях абсолютно недвижимого, консервативного религиозного сознания.

Но чтобы сказать это, надо благородно чувствовать. К этому-то и не оказалось сил у «Моск. Вед.». Духом Темным навеяны их слова. И храм доброй московской постройки им хотелось бы обратить в мрачный затвор инквизиции. «Собрания» имели ту печальную участь, что они очутились между религиозным индифферентизмом светского нашего общества и между старомодничающим ханжеством, в котором есть *манеры* веры, но нет духа и души веры.

НОВЫЙ ТИП ГУБЕРНСКИХ УЧИЛИЩ

Тип училищ для приготовления местных, в губернии, служащих представляет наибольшую новизну и оригинальность в предположенном плане преобразования средней школы. Училища эти имеют законченный в себе курс. Стоят в стороне от гимназий и реальных училищ. Объем учения замыкается в шести классах. Их цель определена выражена в следующих словах Высочайше преподаваемых министру народного просвещения указаний: «Окончание курса в этих учебных заведениях дает право на службу в губернии».

Можно здесь слово «право» прочесть как «преимущественное право». До сих пор названные службы у нас исполнялись людьми самого неопределенного образования, большею частью «выбывшими до окончания курса» в гимназиях, или людьми специального образования, не нашедшими своей «доли» в специальной профессии. Всякого рода «изгои» и неудачники находили себе приют в низших ярусах уездной и губернской службы. Между их подготовлением в школе и практическою службою не было никакой связи, ничего общего. Нисколько они к этой службе не готовились, а куда готовились, туда не попали и рикошетом пали на нивы мелкого письмоводительского труда, мелкого чиновничества, вечных «титularных советников». В подобном положении вещей нельзя было не усматривать некоторого пренебрежения к местной губернской и уездной службе, «которую может выполнить всякий человек с красивым или удовлетворительным почерком пера».

В Высочайше преподаваемых указаниях, однако, не оговорено, что окончившие курс в этого типа учебных заведениях будут занимать одни «низшие ярусы уездной и губернской службы». «Право на службу в губернии» скорее обнимает собою всякую службу, и притом как строго чиновническую, так и службу в административных частях земства и городского управ-

* «Мир Искусства», 1903 г., № 3, стр. 17, статья г. Рцы.

ления (письмоводители, «делопроизводители», секретари в земской управе и в городской управе). Сюда, вероятно, относятся также некоторые письмоводительские и даже юридические должности в селе, напр., волостного писаря и даже, может быть, земского начальника. Ряды уездной полиции и администрации, вплоть до исправника, тоже, может быть, будут заполняться питомцами этого типа школ. Словом, как сказано в третьем пункте Высочайших указаний, «местная губернская служба» будет обставляться этими учениками, число которых, вероятно, в самом непродолжительном времени станет очень значительно, в то же время разредив число питомцев гимназий, а с ними и университетов. Скромность, трудолюбие, послушание, хорошее знание своего отечества («отечествоведение») и отличное знание своей губернии, при некоторой тусклости «мироведения», станут вероятным идеалом и вероятною нормою этого важного типа училищ.

Нельзя в них не видеть расширенной и улучшенной формы старинных «уездных училищ», которые в стародавнюю николаевскую пору, при небольшом и твердо усваиваемом курсе Закона Божия, русского языка и арифметики, создавали контингент мелкослужащих в уездных и губернских учреждениях. Нельзя в них не видеть и расширенной формы старинного гимназического предмета «законоведения», ознакомление с которым давалось гимназистам ввиду возможности для них вместо университета пойти по окончании курса гимназии в местную чиновную службу. В теперешних шестиклассных училищах также, без сомнения, будет даваться курс законоведения, в чем, собственно, и выразится подготовка к «местной губернской службе». Особенно детально здесь должна будет изучаться система губернского и уездного управления, как бюрократического, так и земского и городского. Подобно тому, как математика есть основной предмет военных школ, Закон Божий – семинарии, латынь – классической гимназии, так применительно разработанная юриспруденция должна составить, очевидно, основной предмет нового типа училищ. Но в наше время чиновник есть уже не только «письмоводитель», а большею частью он в точности «дело»-производитель, или по крайней мере на этот путь внутреннего преобразования его силятся перевести наиболее энергичные министерства. Служить, хотя бы в губернии или в уезде, в министерстве финансов и в министерстве земледелия – значит прежде всего уметь ответить на некоторые вопросы экономического и хозяйственного характера. Итак, сверх юриспруденции в новом типе училищ, вероятнее всего, будет даваться обстоятельный обзор экономического, хозяйственного и естественно-исторического состояния своей губернии; ученики будут знакомиться с почвою, местными промыслами, способами земледелия своей губернии. Вообще всякого рода фактический материал, вводимый в обширно понимаемую науку «статистики», но применительно к данной губернии и порознь к отдельным ее уездам, без сомнения, заполнит шесть лет учения, вовсе не первоначального, а именно среднего. Если министерству народного просвещения удастся хорошо организовать этот

тип школы, дать ей зорко обдуманную программу и хорошо составляемые учебники, то можно надеяться, она сыграет в России хорошую служебную роль.

Воспитание в ней, будучи религиозным и патриотическим, однако, должно воздержаться от подавления активных сторон души и выработки одних только пассивных, «послушливых». Даже в солдате, который представляет собою идеал дисциплины и дисциплинированности, ныне признано всеми государствами, по образцу Пруссии, необходимым развивать не одну способность повиновения, но и способность действовать на свой страх и под свою ответственностью. Тем более это необходимо решительно во всяком чиновнике. С типом Акакия Акакиевича, как он ни удобен для приказывающего, решительно невозможно управлять обширную Империю. Такой тип выгоден для ближайшего начальника, но убыточен для всей России и вовсе не нужен для высшего начальства. Как бодро, весело и осмысленно смотрит солдат, так бодро, осмысленно и знающе должен смотреть последний «коллежский регистратор» в губернском управлении, в управлении уделов, в казначействе, на почте, в телеграфе, в земской управе или в думе. Он должен уметь каждому гражданину, всякому обывателю дать небольшой юридический совет, сделать надлежащее административное указание. Чиновнику давно пора стать другом населения, а не чужаком в нем растением, не каким-то канцеляристом, которому есть дело только до начальства, а не до уезда, не до обывателя. В таком преобразовании чиновника и духа чиновничества и должна состоять главнейше задача этих новых училищ. И дай им Бог так же сослужить, в своей специальной сфере, службу России, как сослужили учительские институты и учительские семинарии, которые поминаются добром и дали светлый ореол своим питомцам.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практические нужды населения в связи с общим экономическим состоянием страны сильно толкнулись в двери школы. Даже в женских институтах, дотоле полагавших изолированность от жизни почти задачею своею существования, с девяностых годов начало вводиться преподавание полезных прикладных искусств. Так, в здешнем Ксенинском институте обучение воспитанниц всякого рода полезным мастерствам поставлено на самую высокую ногу. Но нужно и объяснить, что если практическое ремесло толкнулось даже в женский институт, то, значит, и личная и общественная потребность в ремесле чрезвычайно значительна. Образование наше решительно перестраивается с теоретических, отвлеченных начал на практические, утилитарные.

«Широкое развитие должно быть дано среднему техническому и профессиональному образованию, рассчитанному на удовлетворение практи-

ческих потребностей жизни», – так определена эта задача в Высочайше преподанных министру народного просвещения указаниях. Под «потребностями жизни» здесь нельзя не разуметь в особенности местные потребности. И таким образом, техническое и особенно профессиональное образование теснее, чем всякое другое, должно быть слито с жизнью и с особенностями каждой местности. Технику еще можно разбить на 5, 7, 10 отраслей и, создав для них типы училищ, насаждать последние, где придется, сообщая их лишь более или менее с характерными особенностями, с историею и промыслом города, уезда и губернии. Но профессиональные школы почти вовсе ускользают от возможности «предначертать» их из Петербурга для всей России, а между тем эти-то школы особенно и нужны и важны. Здесь, для плодотворного и успешного Высочайше сделанного указания, министерству народного просвещения придется стать в положение более покровителя, нежели регулятора, более способствовать начинаниям и усилиям городов, уездов, местечек, нежели предлагать им уже готовые схемы училищ. Во всяком случае «схема» учебного заведения, идущая из Петербурга, должна в деле профессионального образования непременно перерабатываться и приспособляться на месте, дабы ученики учились тому, что им нужно, что нужно местечку, городку или уезду. Вне этого «профессиональное образование» будет таковым только по вывеске и никакой существенной пользы России не принесет.

Земство, как и городское устройство, находятся в настоящее время в периоде обновления, надежд, – и надежд в сторону призыва к участию в них более образованных классов. Задачи профессионального образования, так сказать, подсказывают необходимость призыва более просвещенных частей населения к городскому «самоуправлению». Тип училища, даже профессионального, как и его организация, во всяком случае предполагает полное знакомство с техникою постановки училищ, так сказать, с «азбукою и грамматикою» педагогического искусства и науки. Все это доступно человеку, только прошедшему все фазы учения от низших до высших. Таковые люди, живущие в данном городе или уезде, живущие в них постоянно или долго, и должны быть непременно введены в кадры личного состава «избирателей и избираемых», хотя бы они и не владели недвижимою собственностью. Городской врач, учитель гимназии, уездный член суда суть крайне полезные местные силы, хотя бы они жили на квартире, а не в собственном доме, и не воспользоваться их советом для города значило бы ничего не выиграть и кое-что проиграть. В высшей степени желательно, чтобы образованные люди каждого города жили сплоченною, дружною умственною жизнью, приходя в общение между собой не в одной теоретической почве, не только на воспоминаниях об университете и профессорах, но вот именно на «помощи нуждающемуся населению», на помощи ему не деньгами, а светом знания. Раз «самоуправление» наше перейдет от единственного до сих пор критериума «гласности» – толстой суммы и другому параллельному критериуму – образованию, вполне воз-

можно будет то, что мы сказали о постановке профессионального образования, а отчасти и технического. Программы, размеры и отчасти организация профессиональных училищ должны вырабатываться на месте, в провинции, или вырабатываться Петербургом совместно с провинцией, и ни в каком случае не должны навязываться провинции в готовом виде. Но, конечно, органом такой связи уезда или города с министерством может быть только городская дума или уездное и губернское земство. Отныне это последнее в сфере образования должно перейти от пассивного асигнования «пособий училищу» к участию в организации его и в последующих приспособительных переменах.

Заметим, что было бы крайне опасно «профессиональному образованию» сосредоточиться и ограничиться мастерствами более или менее «экзотическими», «привозными». «Профессиональная» школа должна именно «удовлетворять практическим потребностям» жизни, т. е. потребностям большим, громоздким, неизбежным, постоянным, даже грубым. Кто жила в провинции, тот знает, что, напр., в них вовсе не умеют делать печей: и самые печи, и особенно трубы устраиваются так, что они требуют много топлива, а тепла дают мало. Это – один пример, и подобных найдется множество. Элементарные стороны жилища, питания, одежды, элементарная техника всюду требующихся форм труда – вот что должно составить заботу насаждения «городского профессионального образования». Профессиональная школа должна быть школой городских ремесел, нужных для народа изданий. При помощи одной или нескольких профессиональных школ город должен, так сказать, «обслуживать себя», т. е. сам для себя все необходимое, кроме «экзотического», устроить, сделать. При помощи этих школ жизнь губернских городов должна эмансипироваться от зависимости от мастерства столиц, а жизнь уездных городов эмансипироваться от мастерства губернских городов. Пусть будут на местах воспитываться техники, мастера; делаться на местах хорошая и даже отличная обувь, белье, мебель, платье. Вот что желательно, а не какое-нибудь виртуозное плетение кружев или рисовка по фарфору: это нужно, но это – потом, когда удовлетворены потребности грубые и насыщенные.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАНСИОНОВ

«В видах возможно полного разрешения воспитательных задач должны быть учреждены пансионы, в которых могли бы пользоваться соответственным руководством питомцы известной группы учебных заведений данного города», – сказано в Высочайше преподанных министру народного просвещения указаниях.

Упоминание о «группе учебных заведений», которая обслуживается данным пансионом, приводит к мысли, что пансионы эти не предполагаются быть только общежитиями при учебных заведениях, как это практикова-

лось до сих пор в бурсе относительно семинарии и в пансионе относительно гимназии. Пансион становится в более самостоятельное положение, с специально воспитательными целями, питомцы которого поутру расходились бы в одно, в два, а то и в несколько учебных заведений, но только одного типа или приблизительно одной программы. Могут быть пансионы гимназий, но могут быть и пансионы реальных училищ, технических училищ и профессиональных школ, чего до сих пор вовсе не было. Или в одном и том же пансионе могут быть соединены ученики средних учебных заведений общеобразовательного типа, напр. гимназий и реальных училищ, а в другом пансионе того же города будут соединены питомцы всех практических специальных школ.

Труд, порядок и добрые привычки педагогов, вот, нам думается, лучшие основы правильного воспитания. «Праздность есть мать всех пороков», между прочим, и тех специальных, которых избежать предполагается с помощью пансионов. Праздность рождает недобрую изобретательность и совершенно непредвидимое и неуследимое направление мысли. Нужно заметить, в пансионе, неискусно организованном, может быть так же много праздности, как и во всяком другом месте. Если времяпрепровождение там разделить на две части: приготовление уроков и отдых от этого, то «отдых» в пансионе будет представлять собою гораздо большую пустынность от всякого дела, нежели отдых в семье или на частной квартире. Здесь ученик будет находиться среди взрослых, разговор с которыми может быть для него занимателен или поучителен, и в то же время это не будет тем разговором «на равной ноге», который дозволил бы разговаривающему увлечься куда угодно и увлечь куда угодно. Таким образом, «отдых» или «праздность» в пансионе, или, что то же, «время, не занятое приготовлением уроков», должно быть предметом гораздо большей озабоченности, чем это время во всяком непансионном устройении ученической жизни.

Время это не должно остаться без организации, без утилизации, непременно живой, энергичной, поднимающей силы ученика и немало для него необременительной, потому что это все-таки есть отдых от «приготовления уроков». В двух господствующих типах учебных заведений, теоретическом и практическом, утилизация эта должна сделаться взаимно-обратною. В теоретических учебных заведениях, где «приготовление уроков», как и классные занятия, сводятся к слушанию и к чтению с запоминанием, отдых должен быть отдан физическому труду, физическим упражнениям, физическим удовольствиям. Напротив, в школах профессиональных и технических отдых может быть предоставлен слушанию, чтению, объяснению, вообще чему-нибудь, занимающему теоретические способности мальчиков. Для избежания монотонности и механичности, для избежания единообразия, что составляет один из утомляющих моментов всяких вообще занятий, ученикам в значительной степени должен быть предоставлен выбор как удовольствий, так и упражнений в это все-

таки праздное, «отдыхающее» время, должна быть предоставлена им группировка около отданных в их распоряжение удовольствий или занятий. Целительный дух пансиона, в смысле воспитательности, начинается с того, чтобы ученика тянуло сюда, а не отвращало отсюда. Чтобы своекоштные товарищи по классу завидовали пансионерам, а не чтобы пансионеры завидовали своекоштным.

Если дети становятся веселыми, когда они собираются в группы, когда они приходят к товарищам в гости или к ним приходят товарищи, то совершенно очевидно, что пансионная жизнь учеников при сколько-нибудь сносном таланте организаторов и воспитателей может быть развернута в картину гораздо большей веселости, открытости и оживленности, нежели нормальная и тихая, однообразная и унылая жизнь ученика гимназии. Секрет здесь лежит именно в таланте организации, и в том, чтобы целью пансиона постановлять не наблюдение за учеником, что он приблизительно думает, планирует взад и вперед по длинному коридору, а в умеи бросить ученику в свободный час такое удовольствие, труд, занятие, которые привлекли бы все его внимание, заняли силы и их собою полезно воспитали.

До сих пор пансионы у нас были каким-то запертым сиденьем без всякого решительно воспитательного идеала. Они вообще не имели положительного содержания, а только отрицательное. Они только отделяли, изолировали ученика от посторонних людей, от внешней жизни, но ничем решительно это «карантинное сиденье» не наполняли. Министерству народного просвещения предстоит не удвоить число пансионеров в России и число пансионеров в них, а заняться разработкой типа, и идеала вообще пансионного воспитания, как бы впервые получая эту задачу для себя. Напомним здесь, как богато и широко поставлена жизнь питомцев английских закрытых учебных заведений; как мало они здесь парализуются в своей воле, изобретательности, способности к инициативе: обычные плоды пансионного воспитания у нас. Но, конечно, нам не надо подражать ни Англии, ни кому-нибудь. Россия может и должна выработать свой тип и свой дух воспитательного учреждения, так же не парализующего, но направляющего энергию отрочества в сторону, нам русским нужную и нам милую, дорогую.

Англия, может быть, нужна только для примера тех физических упражнений и удовольствий, которые совершенно допустимы и у нас. Далекая прогулка, знакомство с полем, лесом, рекою, – вот что желательно ввести в состав воспитательной жизни. Внутри самого пансиона могут быть организованы всевозможные формы привлекательного труда, направленного на искусство, на художество, на ремесло. Музыка и живопись могли бы стать из классных занятий в чисто пансионные, внутренние. Пансион мог бы иметь у себя маленький внутренний театр, как равно и оркестр, мог бы устраивать, без гостей или с гостями, вечера, чтения, игры, танцы. Но ко всему этому ученики должны не только вестись, но идти сами при руководстве любящих их и уважаемых ими воспитателей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

Известное изречение, идущее от древности о поэтах и ораторах, что первые «рождаются», а вторые «приготавливаются, делаются», очень применимо и к педагогам. Когда заходит речь о поднятии учительского уровня, то всегда мысленно при этом подразумевается заведение педагогических курсов, введение педагогики в состав университетских наук, предварительное упражнение будущих учителей в педагогическом труде. Мы всего менее склонны отрицать которую-либо из этих мер. Но нет над всеми ими одной доминирующей мысли: что все эти меры хороши не в смысле создания будущего учителя, а в смысле определения с помощью их, кто подлинно и природно способен к педагогическому труду и кто к нему окончательно неспособен, и никакие курсы, никакое примерное преподавание не переделают его из неспособного в способного.

Педагогический врожденный дар складывается не из одних умственных качеств, но еще из качеств волевых и сердечных, не преувеличенных, но и не ослабленных и гармонично подогнанных или, точнее, счастливым образом подогнавшихся друг к другу. Казалось бы огромное развитие воли в педагоге, как и во всяком человеке, очень хорошо. Между тем это на всяком месте хорошо, а в классе неудобно: воля учителя будет подавлять волю учеников; такой учитель будет деспотичен и повелителен гораздо более, чем это нужно для направления учеников и управления ими. Для последнего требуется воля твердая, но мягкая в выражениях: большая настойчивость, последовательная, упорная, а вовсе не энергия, сламливающая сопротивление в тот же миг. Педагог с тяжелой волей, всего вероятнее, воспитывает бесхарактерных, вялых, пассивных, бесцветных учеников.

Перейдем от воли к уму. Опять казалось бы, что блестящие умственные способности учителя есть верный залог его успехов. Между тем не трудно предвидеть, что все объяснения на уроке такого учителя будут чрезвычайно быстры; что он редко и крайне скучая будет возвращаться к старому, пройденному; что он не будет «засиживаться» и на трудных частях курса; что он будет работать на уроках с способными, быстрейшими учениками, скользя вопросами, быстро прекращая их, когда по необходимости вопрос обращен к ученикам тихим, медлительным, средних способностей. В истории есть несколько примеров, когда знаменитым ученикам даны были в наставники гениальные люди своего времени. Таков был английский философ Локк, написавший обширный трактат «О воспитании». Но ничего особенного из воспитательных трудов их не вышло. Таким образом, если взять только две способности, умственную и волевою, то мы увидим, что педагог именно «*nascuntur*», «рождается» с необходимою комбинацією их, наиболее полезною для учеников, для класса, училища. Преподавание педагогики, дидактики, методики не только не может сотворить их, но и приспособить, удлинить или укоротить. Буквально, эти важные дисциплины дают только орудие в руки мастера, но несколько его собою не формируют. Но,

разумеется, мастеру необходимо и плодотворно будет ознакомиться с методикой данного предмета, с техникой ведения урока. Множество вопросов, представляющихся во время преподавания, будут разрешены ему книгой, лекцией, наглядным примером. Он здесь воспользуется коллективным умом, всемирным педагогическим опытом, который прежде всего могущественнее всякой личной изобретательности.

Сумма неспособностей к педагогическому труду непременно отразится неохотой к нему, а сумма способностей – охотой, преданностью, даже веселостью педагогического труда. Ленивые, скусающие учителя – вот язва наших гимназий, чрезвычайно распространенная. Она происходит именно оттого, что никогда не считалось необходимым присматриваться к приращенным педагогическим дарам и допускать к делу только их. Считалось, что университетское знание курса данного предмета, напр., математики, истории или древнего языка, есть уже удостоверенная способность к преподаванию этого предмета в гимназии. Между тем тут есть только возможность преподавания, а не способность преподавания. Все проходившие необходимые науки в университете считались способными к занятию учительских должностей. Молодые люди совершенно неопытно занимали должности. А затем и оставались на них казенные 25 лет, хотя из них едва четверть имели «врожденный дар» к своей профессии, а три четверти их всю жизнь приспособились и, конечно, не могли приспособиться к занятию, нимало не гармонирующему с их душою. Получался несчастный учитель, обездоленная гимназия, измученные или испорченные ученики. Нужно заметить, со всякой другой должности легче перейти на практический труд, на свободную профессию, чем с учительской; занятие с детьми и подростками, вечное объяснение урока и спрашивание урока года в 3–4 так деформируют учителя, что он очень мало способен пойти во всякое другое дело не педагогическое. Он мирится со всем, мирится со своею собственною измученностью, но не решается пускаться в «море житейское», которое из тихого гимназического уединения ему кажется страшным, обманчивым, пугающим. И, может быть, не напрасно.

Так образовался в гимназиях наших контингент крайне неприспособленных учителей, которых никогда и никто не выбирал, которые зачислялись на должность «в темную», на основании одного аттестата об окончании университетского курса и которые ни за что этой должности оставить не могут и не хотят, так как единственно на ней могут существовать, если даже мучительно, то все же безопасно, не погибая.

Вот почему примерное преподавание в течение года будущих учителей, – преподавание не столько с целью приготовления к учительству, сколько с тем, чтобы на преподавании этом можно было высмотреть и определить бесспорную наличность природного педагогического дара, – есть необходимейшая мера того «поднятия учительского уровня», которое составляет предмет всеобщего обсуждения за последние годы и было преподано министру народного просвещения в Высочайших указах.

СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ

Застарелость и косность нашего семейного законодательства поразительна. Сколько нужно было писать, доказывать, разъяснять такую, в сущности, самоочевидную истину, что, напр., 1) дети, а следовательно, и распоряжение их судьбою, принадлежат их родителям, насколько это не противоречит интересам публичным и государственным, или 2) что брак, заключаемый всегда в интересах брачующихся, должен как заключаться, так и расторгаться по усмотрению их самих. Но, несмотря на все писания, как практика развода, так и положение незаконнорожденных или внебрачных детей остаются по-прежнему недвижны или почти недвижны. Логика не действует. Примеры приводимые бессильны. О судьбе ребенка, прижитого матерью и, конечно, единственно ей принадлежащего, да, в сущности, ей одной и интересно: 1) читают рефераты в ученых обществах, 2) пишутся фельетоны, 3) ученые статьи в журналах, 4) совещаются юристы, 5) духовные лица, когда всем пяти категориям этих господ надо было только догадаться и сказать себе: ни интереса нам в этом ребенке нет, ни прав на него мы не имеем, и вообще мы – сторона, сторонние, лишние люди в вопросе; и вопрос целиком должен в каждом индивидуальном случае принадлежать: касательно ребенка – его родителям, касательно супружества – супругам.

Вопрос о наследовании после родителей представляет одну из самых ярких иллюстраций прямо *непонятности, необъяснимости* правил.

Что может быть яснее этой дедушки:

1) Дети мужского и женского пола равно дороги родителям.

2) Дети мужского и женского пола требуют одинаковой о себе попечительности их родителей.

3) Имущество родителей, которое при жизни своей они вправе продать, подарить или размотать (закон ничему из этого препятствий не полагает), и при переходе по наследству сохраняет абсолютную зависимость только от воли и от интересов наследователей и наследополучателей.

4) И следовательно, это наследство должно делиться поровну между всеми детьми, без внимания к их полу, совершенно согласно общему, неразделяющемуся родительскому чувству и детскому интересу: если только нет специальной оговорки в завещании наследодателей.

Таково натуральное и вместе святое наследование. Право же, для того чтобы войти в мой дом и начать распоряжаться моим имуществом после моей смерти не по моему, а по своему произволу, государству по меньшей мере надо потерять скромность. Пусть оно распоряжается в казначействе. Просто я не понимаю, как моей собственностью может распорядиться кто-нибудь, кроме меня. Государство после смерти может только охранять имущество; охранять от расхищения; оно вправе разыскать, и зорко, деятельно разыскать всех наследников; затем, соответственно близости или дальности их от умершего, тщательно распределить между ними доли наследуемого. Но сказать: «Дочери наследуют в четырнадцать раз меньше, чем сы-

новья», «жена наследует в семь раз меньше, чем дети»; словом, войти хозяином и распорядителем в явно чужую волю оно не может. Пусть докажет кто-нибудь в свете, что оно это может! Если оно распоряжается моим кошельком, моими детьми и женою, пусть уж распорядится и моим талантом, принуждая писать не прозою, а стихами, или моей любовью, принуждая хоть брать за себя (в возмещение эмеритуры) замуж старых овдовевших чиновниц. Говорят, Бунин-художник излишне раздел Толстого в известной картине «На рыбной ловле». Но, право же, мы все граждане в отношении детей, жен, любви, имущества раздеты куда больше Толстого господами юристами. Все, видите ли, принадлежит их фантазии, и ничего нашему натуральному, врожденному праву. «Оставьте нам наш костюм, господа юристы», — хочется кричать. Есть у человека врожденные права; они не должны быть нарушены в законодательстве.

После смерти главы дома осталась его жена и дети: даже непонятно, зачем здесь описывать имущество и распределять его? К чему государству начинать делить семью, если она сама вовсе не делится? Оставьте семью жить кучкою, как она жила, под естественным главенством матери, которая *есть преемница над семьею всех прав своего мужа*. Пусть имущество принадлежит семье, принадлежит роду, как допускается же имущество, принадлежащее общине. Пусть отдельные члены имеют от него *пользование* и выдел частей именно в *пользование* (римское «*usus fructus*»), а не в собственности с правом продажи, дарения и проматывания. Наконец, когда умерли отец и мать, пусть оно делится между братьями и сестрами поровну, или с самым небольшим преимуществом братьев. Почему дочь в четырнадцать раз считается меньше брата? По древнегерманскому праву, оскорбляющему наши вкусы, жизнь женщины оценивалась вдвое дешевле, чем мужчины. Почему по русскому современному праву судьба дочери в четырнадцать раз понижается сравнительно с судьбою братьев?

Женщины встречаются мотовки, но исключительно не на свой счет, а на счет мужа, в таком случае нелюбимого, или на счет навязчивого любовника. С своею собственностью женщина обращается крайне осторожно, едва ли не осторожнее мужчины. «Он промотал свое имение» — эту фразу нередко услышишь, как и другую: «Он проиграл в карты казенные деньги». Напротив, фраза: «Дворянка-помещица промотала свое имение» — решительно неслыхана. Женщины гораздо более скопидомки, нежели мужчины. Поэтому стойкость и подвижность национальной собственности, как земельной, так и городской (дома), лишь увеличилась бы, если бы дочери получили равное право наследования с сыновьями. Аукционы земельных банков были бы менее роскошны; евреи меньше бы гешефтмастерствовали: множество стародворянских имений, купленных с молотка купцами-кулаками, остались бы в руках старинных своих владельцев. Достаточно упомянуть только три вещи: вино, карты и «трату на женщин», чтобы понять, что ни одного из этих трех мотивов разорения не

существует у наследницы. Самая любовь, конечно, возможная у нее, протекает неизмеримо упорядоченнее, нежели у господ «наследников».

Вот ряд соображений, едва ли нуждающихся в статистической разработке, в эмпирическом подтверждающем материале, в сравнении с чужими законодательствами, чтобы побудить если не совершенно уравнивать, то хоть уравнивать несколько права дочерей и братьев при наследовании. Ну пусть дочь наследует вдвое меньше сына. Но чтобы она наследовала в четырнадцать раз меньше – право, это не стоит обсуждения, а только зачеркивания. Мать, наследующая седьмую долю около собственных детей, просто оскорбляется законом, – и только. Кому это нужно? Во всяком случае не дети «и их интерес» требует этого оскорбления матери.

<О В. А. ГРИНГМУТЕ>

О том, что В. А. Грингмут сам не просил В. М. Скворцова провести его в «религиозно-философские» собрания, а произошло все это по инициативе одного В. М. Скворцова, я узнал впервые от последнего уже после напечатания моего фельетона. И способ его проведения нового кандидата объясняет и, кажется, извиняет мою неточность. Что касается «выноса сора из избы», то с моей стороны это было вынуждено тем, что в опровергаемой мною (в фельетоне) статье «Моск. Ведомостей» их редактором было нанесено слишком много «сора» в «избу» этих собраний. И предстояло этот «сор» или устранить или обезвредить. Лучшим средством дезинфекции мне показалось рассказать, как все было. И если тут произошла ошибка, то на меня падает только ее невольная часть.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В №№ 3 и 4 «Мира Искусства» за этот год появилась статья: «Нагота рая – эстетическая теорема» г. Рцы. Она входит важным и необходимым звеном, входит как орган в организм, в ту систему мыслей, озарений, фактов, над которою теперь трудится некоторая часть нашей литературы и с которою знакомы читатели «Нового Пути». Написанная изящным языком, с тихим и упорным вдохновением, изобилующая замечательными отдельными мыслями и замечательная по общей концепции, она, несмотря на краткость, представляет выдающееся явление русской литературы за весь истекший год. В странах более культурных, она вызвала бы множество статей о себе, по поводу себя, вследствие себя. При более деятельных и особенно более осмысленных связях печати русской и иностранной, она была бы переведена на другие языки. Словами этими я не хочу сказать особенной похвалы ей, – ибо все это еще мерки внешние. Я кончу настоящею похвалою, сказав, что написавший ее автор становится через нее дорог всякому мыслящему читателю.

Зная, что некоторая доля богословов русских прислушивается к взглядам и исканиям «Нового Пути», позволю себе указать им на эту статью, как чрезвычайно образовательную, возбуждающую и примиряющую.

Остановлюсь на некоторых мыслях автора, чтобы прибавить к ним скромное *nota-bene* читателя.

1. Автор не находит *антагонизма* между нашею верою и язычеством; а антагонизм собственно христиан к язычникам, как лиц к лицам, считает плодом взаимной их темноты друг к другу, *затмуренности*. Открытые очи прозрели бы, что язычество есть наивное отношение к некоторым истинам, которые мы имеем сознательно, но к истинам *тем же*. В частности, их искусство, нагое и *идеальное* (по стремлениям; этого никто не отрицает), есть только тысячеобразная вариация стиха Библии о рае невинных человек: «и были оба *наги*, Адам и Ева, и не стыдились». Эллинское искусство как бы бродит около темы ли, воспоминания ли этого состояния. Оно дает наготу не как постыдное или соблазняющее, а как невинное, должное, как естественное и первоначальное. В самом деле, дурных страстей мы не видим в мраморах Греции и Италии; чада жизни – нет в них как отражения. Это не суть существа пресыщенные, пьяные, павшие: чего всего довольно в оголенном искусстве нашего времени. Оффенбах бросил бы свою тему, будь он восприимчив к античному; не будь он испорченный мальчик испорченной цивилизации, до которого дошла только какая-то глухая о древности сплетня*. Он похож на мота – «дальнего родственника», который прокучивает состояние богатого дяди и в то же время рассказывает о нем гнусные анекдоты.

2. Г. Рцы отмечает, что коренной перелом от «Эдема» к «нам» заключается в каком-то переломе психики и образа двух кардинальных биологических таинств: *вкушения* и *размножения*. Его рассуждения об этом суть глубочайшие места в статье. Их следовало бы привести здесь. *Благословенность* обоих таинств до грехопадения показывает абсолютную их безгрешность; нет, более: высочайшую святость! Но тогда, в Эдеме, т. е. *по первоначальному плану творения*, они были безболезненны и несомненно эстетичны; тогда как теперь – «в *болезнях* будешь ты рождать детей» (слова Бога Еве). Это – первое. Второе: обе функции потеряли свою эстетику. Все эллинское искусство *имеет мысль рождения*, но – *девственного*. Представьте стакан, опрокидывающийся, но из которого еще не пролилась вода. Это всего секунда времени. Вот такую секунду *между* девичеством и материнством, *еще* не материнство и *уже* не девичество, изображают античные мраморы. Здесь мы доверяем несколько излишне показаниям наших галерей, весьма не полных. У отцов церкви, напр., у Юстина Философа, я читал упреки *знаменитым* ваятелям древности за то, что

* «Елену Прекрасную» я видел один раз на сцене: и ничего более тошнотворного не видал в театре. Это какая-то диссентерия искусства, – и поразительна *преступность* Европы, допустившей в театры такую гадость. Пишу не по *пуризму* моральному, но по *вкусу, эстетике*, и совершенно непосредственно.

они своими *chef-d'oeuvres* ами украсили память некоторых много рожавших женщин. Вообще в данном пункте интереснейших размышлений г. Рцы я нахожу в себе силы только наполовину с ним согласиться. «И так, и не так», «что-то верно, но и с ошибкой». В самом конце статьи в № 4 он говорит о глубокой эстетике *размножения цветов*, как *modus*'е вообще эстетически возможного размножения, и я с испугом подумал и продолжаю думать, нет ли у автора гипотезы, что *вне орбиты грехопадения* человек размножался бы аналогично цветам, не именно *так*, но *приблизительно* так, без беременности и теперешних форм зачатия. Но ведь физиология размножения неотделима от анатомии, и мы не имеем ни малейшего данного в Слове Божиим для заключения, что с грехопадением *прибавилась* или *убавилась* анатомия человека. Напротив, что она *не* переменялась, указание на это есть и, значит, *преднамеренно дано* в Слове Божиим: «Они (согрешив) взяли листья и *закрылись*», т. е. покрыли *то, что было*. Явно, что *modus* размножения не переменялся, как и питания («*взяла яблоко и ела*»). Таким образом, опаснейшая (и ни на чем не основанная) гипотеза цветочного размножения падает. Скажу здесь сведение, может быть, нелюбопытное для автора, что, по Талмуду, Адам был сотворен *естественно-обрезанным*, каковое в редчайших случаях повторяется и по сей час, и у таких новорожденных, «особенно счастливых», евреи обрезания уже не производят. Впрочем, я не умею ничего вывести из этого, кроме того, что евреи, несомненно уже *чувющие* смысл всего им вверенного Слова, смертельно восстали бы против цветочного размножения и гипотезы другого строения, чем теперь, у человека. Но мысль эта и у г. Рцы проходит в конце статьи только легким туманом, намеком, без настойчивости, как скорее плод растерянности мыслителя перед трудным вопросом. Едва ли она и пришла ему на ум не только при окончании статьи. По крайней мере, кончая ее первый отдел, в № 3 журнала, он пишет без всяких анатомических гипотез следующее неясное, но твердое, порывистое верование:

«...Заповедь: *плодитесь и размножайтесь*, дана была человеку до грехопадения. Она является благословением Божиим, а никак не проклятием. Как таковой половой акт свят*. Он является величайшею милостью Творца-Художника, Его самым драгоценным даром человеку. Как таковой, он и сейчас является радостью жизни, ее самым прекрасным цветком. Но верно

* Формулу эту, именно по поводу гнусных обвинений священника А. У-ского в печати (князь Мещерский, едва ли умеющий лоб перекрестить, имел бесстыдство и кощунство выразиться о нем: «Сатана в образе протоиерея»), – мне привелось (поистине, сподобил Бог) при беседах о нем услышать повторенною из самых высоких и авторитетных духовно-иерархических уст: «Чистый имеет и чистые воззрения, и священник А. У-ский сказал непонятную светским лицам, связывающимся с кокетками, вещь, потому, что он всегда был в этом акте чист, тогда как светские люди бывают обычно в этом акте грязны». Прекрасную эту формулу я считаю достойной запоминания и памяти литературной.

и то, что немедленно по грехопадении, человеческая пара почувствовала именно в этом стыд. В чем же, однако? Это –

Ущерб, *изнеможенье*, и на всем
Та кроткая улыбка *увяданья*,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья. –

Вот ответ (?)! Полный, до конца, все исчерпывающий (!!!)! Возвышенная стыдливость *страданья... ущерб... изнеможенье... увяданье...*

Как и что – понять, разумеется, мы не можем, иначе нам пришлось бы выйти из себя, переступить пределы своей природы, вернуться к невинности рая... Вместе с плодом древа познания добра и зла в человеческий организм введен страшный алкалоид, которым разрушены какие-то центры в нашем мозгу. Отседа мир представляется нам в какой-то расколотой двойственности бытия: добро и зло, чет и нечет, мрак и свет, тезис и антитезис. Мы видим вещи сквозь тусклое стекло гадания, увидеть их лицом к лицу, познать предметы в их гармонической цельности, или, говоря языком Платона, в их ноуменальной (поошмена) сущности, это значило бы – найти *средство исцеления* разрушенных страшным алкалоидом центров в нашем мозгу. К этому и ведет *Богочеловеческий* процесс. Для того-то и умер и воскрес Христос... Но пока, следуя *железной логике*, несокрушимо содержа лишь то в своем сознании, что $2 \times 2 = 4$, мы можем, мы необходимо *должны* допустить, что в безгрешном состоянии человека, что в условиях *цельности* бытия, еще не расколотога грехопадением, что в том чудном Эдеме, который был насажден Господом для блаженства *ноуменов*, а не их жалких отображений – что там известен был метод какого-то бесконечно нежного прилепления человека к жене. В этом методе не было ничего грубого, жестокого, оскорбительного. Напротив, в нем заключалось какое-то неизъяснимое благородство, какая-то непередаваемая утонченность; что-то такое, что должно было, по смыслу Верховного Художника, и действительно *могло* удовлетворить требованию *абсолютной красоты*. Как логическое следствие такого порядка вещей – *страдания* любви ни в каком моменте, ни в какой, даже самой слабой степени, не были возможны. Ущерб, *изнеможенье*, *увяданье* – все эти атрибуты *страданья* не были известны первозданному человеку. Упругость форм и красота линий тела оставались *неизменными*. Только при таких условиях и возможно было, что: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».

В этом труднейшем месте и труднейшей теме у автора проходит двойственность, колебание. В начале явно говорится об «алколоиде, вступившем в мозг» и, очевидно, переменившем *психику нашу, воззрение* наше на любовь и круг моментов рождения. Но в конце говорится о *неизменности девственных форм* и в рождении. Мы готовы уступить автору половину его тенденции, и согласиться, что размножение вне грехопадения происходило бы не совсем так, как сейчас; с отсутствием *боли* – это во всяком случае (об

этом есть твердое слово Божие), но, и далее, чуть-чуть даже *in modo alio, novo et vetere**, о каком ни воспоминания, ни идеи у нас не сохранилось и нет. Но именно – *чуть-чуть*. Автор взамен этого должен уступить нам другую половину своей тенденции, и допустить, что у нас «закрылись очи» на круг моментов размножения и что мы *смотрим неверно и чувствуем неверно* этот круг, как он есть сейчас: что стеклышко зла («первородный грех») попало в *глаз* и испортило *видение*. Он говорит о «неизменности» форм, и в других местах упоминает, что беременная женщина есть невозможный для искусства сюжет. Соловей, однако, поет лучшие свои песни, сидя около подруги, недвижимой и молчаливой, пока она выполняет обязанности материнства. Не проходит ли тут *внутренней красоты*, незримой, и видимой (открытой) только тому, к кому она относится: к супругу. Соловью во всяком случае *не противна* его подруга. Автор скажет, что тут нет изменения форм ее, вида. Перейдем, однако, к человеку: неужели для мужа его жена становится *несимпатичнее, неприятнее* в 36 недель, когда она становится матерью. Я думаю, луна в ее переменах не была для них привлекательнее, когда они смотрели на нее еще женихом и невестою. Таким образом, мы категорию *красивого* должны осложнить категорию *милого*, и даже припомнить ветхую поговорку народа нашего: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Вот, я думаю, начало *эстетической перемены*, происшедшей с грехопадением, заключается в том, что целая категория явлений перестала с грехопадением быть *милою* человеку, – и *даже в этом именно и заключалось грехопадение* (хоть отчасти! допустите, допустите!), и тогда эта категория явления перестала быть и «хорошею». Невозможно представить лоно матери, с заключенным в нем младенцем, которое сохраняло бы прежние девичьи черты, близкие к прямызне и плоскости. Этого нет и не было, до грехопадения. Законы геометрии, объема и веса, ведь сохранялись и там! В конце статьи автор, очевидно, сильно в этом пункте колеблющийся, говорит: «Слезы показывают нам возможность вполне *эстетического выделения из организма жидкостей*». Ценное замечание. Есть *modus прекрасного*, даже прекраснейшего, в простом биологическом акте. Да, лицо скорбное, с *слезой на ресницах*, есть тема и живописца, и скульптора. Как счастливы эти находки, наблюдения; *подчеркивания* того, что мы, в сущности, всегда знали, но чем не пользовались. Вот я вполне допускаю, что весь круг моментов размножения *in modo praesente*** – имел до грехопадения и может возыметь «после страшного суда» (открытие «Древа жизни», в Апокалипсисе) такую игру лучей на себе, такой колорит подробностей, ныне не угадываемых, не прозреваемых («надо возвратиться в Эдем, чтобы понять это»), что его каждая секунда, без исключения которой-либо, была и будет подобна слезе, дрожащей на реснице *Mater dolorosa****. Как? что? почему?

* в другом, новом и старом стиле (лат.).

** в современном виде (лат.).

*** скорбящая Богородица (лат.).

каким образом? – на все эти вопросы мы остаемся безгласны. «Тогда все откроется», ибо и в грехопадении ведь только смежились глаза, явился стыд, муж и жена закрылись. «Дрожащую на ресницах слезу» – никто не закрывает; да нет, более: она действительно и воочию прекрасна, закрывать и нечего!! И сейчас ведь есть девичьи тела, нисколько не тронутые «ущербом и изнеможением», от которых мы отвернемся. Не знаю, наблюдал ли кто, что есть, бывает тело «*lâche*»*. До такой степени, что взглянув на него при купанье, в бане, *решишь бесповоротно* о человеке в этом теле, что он существо – лживое, обманывающее, скарредное, хитрое; или – грубое. Вот слишком понятный термин: «грубое тело», «нежное (духовно) тело». А когда так, значит теперь самый *вид тел* есть уже павший и в разных деградациях падения. Демона рисуют «обольстительным», я же уверен – что это «калибан» Шекспира (в «Буре»), что-то среднее между мышью и землеройкой. Итак, если совершенно здоровое девичье тело может производить впечатление гнусности (и это тоже «проблема эстетики»), то явно, что и обратно: беременное тело будущей матери, проходя все фазы *перемен*, находится также в деградациях возможного подъема, красоты, эстетики. Не доходя нигде до «слезы на реснице», но приближаясь к этому. Здесь невообразимая жатва для романиста, – который должен начать это прекрасно изображать в слове, делать *милым*, еще не показывая *вида*; а когда «по милу» станет «хорош» этот образ, пусть к нему приблизится, попытается приблизиться и живописец, а наконец, и скульптор. Все – постепенно, все – малопомалу! «Царствие Божие усилием берется». В *начале* беременности, жена, сообщающая об этом с волнением своему мужу, нежная, стыдящаяся и восторженная, *хотя и чуть-чуть физически перемененная*, есть *зрелище* не менее прекрасное, чем Джульета или Татьяна в минуты объяснения. Право, искусство наше только не интересуется материнством, и не «почало» этот угол не открытых сокровищ. Посмотрите на нагие теперешние фигуры: что бы под ними ни подписано было: «Магдалина», «Фрина» и что угодно – неизменно это певичка из загородного сада, а не своя *милая* жена, «единая избранная», грациозная, сокровище душевных богатств. «Падшее искусство» – в полном смысле слова. Я думаю, со временем живописцы, *именно в эстетических целях*, начнут писать родных своих, друзей, сестер, детей, братьев, родителей: дабы начать эру *святого искусства* и начать ее, конечно, с *сюжетов святых*. Библия есть священная книга, ибо в ней почти отсутствуют всякие отношения, кроме родственных. Родство, сцепленность крови – есть «кедеш» (семитическое понятие «святого»: «кедеш Израэль»; «кедеш Тир», «кеддумиш» – *освящение* себе девушки женихом, «кедеш кеддумиш» – святое святых, в скинии и храме), понятие равно религиозное и эстетическое. Никогда я не поверю, чтобы Фрина была лучше Руфи, или Ахиллес прекраснее Товии. В *святости* содержится такой момент *эстетики*, до которого не касались еще Винкельманы и Лессинги; и святость мо-

* «подлый» (фр.).

жет быть телесная, нагая, вспомните снова о «lâche» в теле, алчном и неблагородном, и вы сейчас перекинетесь умом, что, значит, и *святость* как категория эстетики есть в шее, возможна в персях, в плечах, линии ног, колен, до пальцев на ноге. Не одно – «милая старушка» и нищая, «бабушка» и ведьма: при одном контуре, линиях; слезящихся от старости глазах и темном цвете кожи. Даже язык это различает: «старуха», «старушка», «старушечка». Значит, заметил глаз народа разницу *этики* и *отсюда проистекающей* «эстетики». Значит, и в круге размножения, изменись их этика, при сохранении того же *modus'a*, изменится и их всех эстетика. Вдруг станет *мило* то, что сейчас *отвратительно*. Да, мне кажется, на этом отчасти и держится принцип семьи: она и есть та область *милого*, тот *уезд* миловидного, где все домки, палисаднички, куртинки, рощицы, овощи, нужное и шалость, имеют какой-то милый наклон, так поставлены и стоят, что в них не нагулялся бы, не надышался бы, не насытился бы. А *это самое* в другом месте, вне семьи, имеет скверный вид и запах. Мне кажется, когда семьи «расходятся», иногда почти сейчас после венчания, без дурной еще мысли в женихе и невесте, то они и расходятся, когда «семья как эдема» не вышло, *не оказалось*: когда получилась голая физиология, мясо, без преобразования в «миловидность». Верьте, *расходящиеся* семьи (в таком случае) есть нравственно и эстетически и религиозно чуткие. «Нельзя жить в семье, если она не как эдем». Купцу, ему «что же». Лопает. Отсюда, принципиальная «ни в каком случае» нерасторжимость брака есть просто зачеркивание семьи; вырытие и выброс с корнем идеи и предположения и доверия «семьи-эдема». Вот почему на этой стороне, казалось бы только практической и не важной для принципа, я так упорно и много лет настаиваю: ибо она есть закрытие истины воззрения на семью и установление лживого на семью взгляда. Тогда семья-*ноумен* превращается в семью-*феноменов*. Стеснение развода, самое малое, более колеблет религию и подрывает ее основы, суть, надежды, все идеалы, чем французская революция и весь «дух энциклопедизма». Это ставит «крышку» над Апокалипсисом; отрезывает «пуговину» рая, еще не окончательно порванную человеком («вспоминание»). Отрезывает все концы и начала – и бросает человека в лужу эмпиризма, нигде не оканчивающегося, без выходов из него. Вот отчего *одна строка о нем*, как бы *мимоходом* сказанная, и как бы с видом сострадания о женщинах – повалила весь Ветхий Завет, фактически, неодолимо, капнув «алкоголодом» гущенного и неоправданного греха в каждую клеточку организма человечества. «Какой тут эдем! у нас купцы и консистория». Мусульманство и еврейство, *из-за этой одной строки*, и остановилось пред дверью наших «упований» с печальным и суровым: «Не можем войти! не хотим! *боимся*». Ведь они спрашивают о нас, ведь они приглядываются. И замечают, чего мы *по привычке* не замечаем (как смысла *слезы на ресницах*).

Я остановился на пункте, с моей точки зрения, особенно важном. И прощаясь с дорогим автором, замечу в сторону читателя, что статья изобилует другими широкими горизонтами, открываемыми в разные стороны,

особенно исторические и культурные. Мне кажется, мы живем накануне совершенной перемены воззрений на историю, и совершенной *перестройки* этой науки. Народ Фидиев и Сократов, действительно резко отличавшийся от длинноносых «персияшек», которые *народно*, вероятно, были такими же, как и теперь, объявил их «фарфоро», существами без души, без Провидения, вне Божьего водительства. Христиане еще больше, еще абсолютнее отвергли весь внехристианский и дохристианский мир. Все цивилизации и культуры для нас, как куколки на этажерке: вот собачки, вот кошечки, вот как будто и люди, но фарфоровые. Ими можно поиграть, а если и разобьешь, то не жаль. Как много написал Достоевский об убитой процентщице. «Душа человеческая погибла, хоть опозоренная, но душа!». Погибла – *христианка*, «наша сестра», вот в чем дело. Сам Федор Михайлович, когда дело зашло о турках, написал только скверный анекдот о «сладо-страстнике, разможжающем из револьвера голову младенца». Нашему времени, по-видимому, предлежит открыть очи на мир и везде в нем увидеть душу, свою, родную; не соседскую, а сестринскую и братнину. Великое дело – родство: возмутительный по гордыне закон о *несмешивании* брачном с жидами и агарянами и всякими «нечистями» есть корень этого как бы железного занавеса, опустившегося между территориями, где христиане, и территориями, где нехристиане; правило это преобразовало, отъединив и уединив, весь дух нашей цивилизации, эстетику, искусство, и, наконец, науку истории. Мы потеряли *внутреннее воззрение*, всегда из крови открывающееся, из «семьи как эдема», и на евреев, и на мусульман, не говоря о тихих и кротких вотяках, черемисах. Везде мы увидели «свиное ухо» (так дразнят татар) и «чеснок». В науке, в философии, в нравах, но начиная с юриспруденции, мы ведем себя как уличные мальчишки, завертывающие угол пиджака в «свиное ухо». Но это кончается и, кажется, скоро кончится. Если метафизически пробуждается «Великий Пан», то морально пробудится и уже встает Великий Эрос, не в той переделке его в «свиное ухо», в какой его знает Европа, но как младенческий лепет о нем сложился в младенческие времена. Встает родная любовь к родному миру. Не в великую фабрику преобразуется мир, хотя мы не отрицаем и фабрику. Вообще мы не отрицаем формы, а дух. Он же будет у народов и человеків буквально как у одной распространенной, разросшейся, но одним током соединенной семьи; где самые крайние будут чувствовать все, что и средние и «отрет Бог всякую слезу человеческую» (Апокал.), и мусульманскую, и жидовскую, и эллиновотяцкую, и даже до растений и зверей. Невозможно не заметить следующего. Самое упорство внимания к проблеме пола, и только первые догадки, что здесь возможен *свет* вместо *тьмы*, уже действует как-то отраженным образом на философию и философствующий дух. Идет «Великая доброта», – так я формулировал бы дело. У всех, работающих над этой темой, возвращается детскость настроения, и этому как-то не противоречат философские углубления. Г-н Басаргин, имея даже внешнее зрение на эту философию и философствующих, не мог не заметить: «У них царствует веселье,

оптимизм и надежды». Внутреннее око более замечает: истаивание чувства *греха* в поле и положение сюда идеи *правды* и *чистоты* имеет странную силу рождать *новое сердце*. Иногда к этому рождению применяется слово «оргиазм»: это не обозначает ни кутежа, ни склонности к кутежам, но вещь, очень мало понятную для внешних. Несчастье рождает зло, тяжесть рождает озлобление. Поэтому начинающееся облегчение души, истаивание идеи греховности (а в *поле-то* больше всего и полагалась она) действует обратно и сообщает как бы психологию перед получением великого наследства. Облегченнее дышешь. И силы так возрасли, что хочешь помочь другому. Вот это возрастание сил и повышение энергизма, в зависимости от причин внутренних, а не внешних, в разных степенях напряжения и образует весь круг «оргиазма». Он может иметь внешние проявления, но и может быть совершенно лишен их. Созерцательность столь же укладывается в него, как и другая деятельность. Иногда думается, что великие отшельники, – по крайней мере некоторые, были бессознательно, без формул, великими оргиастами. Были тихо растущую виноградную лозую, но несшею новое вино для длинных веков. Здесь лежит вся мощность встречи аскетизма и «новых путей», отнюдь не расположенных к оперетке. Нам кажется, мир разделяется теперь на три части: 1) удрученный грехом; 2) вне греха и святости (*lâche*, позитивизм, светское общество, почти вся теперешняя цивилизация, культура; 3) окрыляемый святостью, по крайней мере – невинностью, безгрешностью. Третья часть вся тянется к заклячительным главам «Апокалипсиса» и первым главам «Бытия». Во всяком случае, в Слове Божием она имеет для себя бесспорные опоры, и это сообщает ей совершенное спокойствие души. Далеко ли она дойдет – это покажет будущее; но что она идет – это уже теперь факт.

О ЛИБЕРАЛИЗМЕ КАК НЕКОТОРОМ ОБЩЕМ ДУХЕ

Некоторые идеи, преимущественно практического характера, не даются чистому мышлению, – оне созидаются *испытанием*. Несколько лет назад мне пришлось вести полемику с покойным Вл. Соловьёвым по вопросу о свободе, под которою разумелась обеими сторонами известная, не допускающая уменьшения, доля «либерализма», «либерального духа» в обществе, в печати, в законодательстве, в сферах духовных и вещественных. «Что такое свобода *без веры* (совершенно определенного, как бы кристаллизованного, идеала): она – *не нужна*», – писал я. Вл. Соловьёв жестоко меня осмеивал, но едва ли сумел опровергнуть. Вера, *fides*, не непременно религиозная, но, например, научная, философская, общественная, хотя в том числе и религиозная, мне представлялась некоторым субстратом, содержанием свободы, как бы легкими по отношению к воздуху. Воздух нужен, когда есть дышащее, легкие. А когда не родилось существо с легкими, воздух, пожалуй, и не

нужен. Вера есть prior*, свобода – posterior**. Так я рассуждал, и Вл. Соловьёв ни в чем меня не переубедил своими сарказмами. «Либерализм», «пустой либерализм» мне представлялся звенящею погремушкой, которую стоит только бросить под ноги. Читатель, знакомый с обществом и печатью, знает, что слова «либерал», «либеральный», «либерализм» действительно вызывают у многих двусмысленную улыбку или снисходительное пожимание плечами. «Что же тут спорить? Тут нет идей, а только какой-то неопределенный дух».

Некоторое неуважение к «либерализму вообще» распространило долю неуважения и на некоторые наши старопочтенные журналы вроде «Вестника Европы», о которых приходилось говорить и думать, что они не столько имеют определенный *программный* (кристаллизованный) идеал, сколько существуют тем, что по поводу всякого события, мероприятия, предположения развивают некоторый «либеральный дух». Все это казалось старо, недостаточно, неинтересно. И, может быть, очень многие круги людей думали, когда же настанут «честные похороны» этих старых и ненужных более «либеральных ворчунов».

Некоторые идеи опровергаются не идеями же, а испытаниями. «Вестн. Европы» в последней книжке делает именно «либеральную защиту» явления, с идейным содержанием которого он не имеет ничего общего. Он развивает «общий либеральный дух», без всякой мысли самому им воспользоваться, но чтобы им воспользовались другие. И хотя это на *теоретическую* оценку кажется бессодержательно, но *на самом деле* как это *нужно!* И не только как это *практически* – *нужно*, но *нравственно нужно!* Без меры свободы, именно не уменьшаемой, не сжимаемой далее, просто невозможно дышать и поистине не хочется жить, становится постыдно жить. Статья эта «Из общественной хронки» вся посвящена разным полемическим инцидентам, разыгравшимся в последний месяц на страницах «Нового Времени», с одной стороны, и почти всей нашей охранительной печати, московской и петербургской – с другой.

Почтенный журнал именно ссылается на мнения Вл. Соловьёва о национализме, защищая взгляды на этот же предмет г. Сигмы, и выступает с указанием на статьи «Моск. Вedom.» и «Гражданина», по поводу участия духовных лиц в Религиозно-философских собраниях, как на пример печатного призыва к насилию над совестью. «Новое Время», – говорит хроникер журнала, – защищает свободу как естественное право человека, тогда как мы понимаем ее в смысле права, признанного и гарантированного государством». Обращаясь к нашим общественным и литературным правам, он находит, что элементарнейшее условие искреннего и глубокого обсуждения насущных вопросов философии, веры и практики, именно безопасность обсуждения самым диким образом отрицается некоторыми представителя-

* важнее, первичнее (лат.).

** вторичнее (лат.).

ми печати же и самого общества. «И пока все это есть, пока стоит налицо этот факт угнетения, до тех пор не может исчезнуть в среде общества настроение, именуемое либерализмом, не может прекратиться борьба между ним и враждебными ему течениями».

Вот очень принципиальный взгляд, который убедил меня более всего остроумия Соловьёва в наличной необходимости и, наконец, в *нравственной необходимости* «либерализма» просто «в самом себе», «либерального духа», который стал бы привычен, повсеместен, а наконец, и *обеспечен* для всех, наравне с незараженным воздухом городов, известной долей вежливости на улицах и с безопасною ездой на железных дорогах.

Пока есть, как говорит журнал, *дух притеснения* «в самом себе», живущий в обществе, в печати, в учреждениях, «мероприятиях», и дух именно бессодержательный, не кристаллизованный в идею, живущий «придирами» к обстоятельствам, к предположениям, к законопроектам, до тех пор имеет полное реальное основание жить либерализм, – вовсе и не стараясь даже кристаллизоваться в систему, программу: совершенно достаточна и определена и нужна его роль – стоять при дверях и не допускать их захлопнуться перед другими. Да, приходится признать, что не *fides* есть *prior* в отношении к свободе, а именно свобода есть *prior* самой веры. Что не для веры нужна свобода, но что вера как убеждение родиться не может без некоторого предварения ее свободою. Сперва воздух, а потом легкие, в порядке космического образования. Мы не будем приводить всей аргументации журнала и в защиту подчиненных крайних национальностей, и длинную его защиту духовных лиц, принявших участие в религиозно-философских собраниях. Лиц этих, почтенных и саном, и образованием, «Моск. Вед.» и «Гражд.», обвинили за простое собеседование со светскими образованными людьми о предметах веры, в том, что будто бы они «поносят и продают свою церковь». Обвинение в высшей степени презренное само по себе; но всякий поймет, насколько для людей, непосредственно находящихся на службе церкви, – оно опасно, не говоря о том, как оно мучительно. Журнал продолжает:

Мы очень далеки от согласия с писателями, взявшими на себя почин Религиозно-философских собраний; мы готовы допустить, что не все, сказанное ими в этих собраниях, заслуживает сочувствия, как не заслуживает его многое в их статьях и книгах; но мы решительно отказываемся понять, каким образом сколько-нибудь уважающий себя орган печати может предпочесть честному спору мало похвальный призыв к воздействию власти. Доступные для всех, благодаря воспроизведению их в «Новом Пути», дебаты Религиозно-философских собраний могли сделаться предметом всесторонней свободной полемики. Только она могла отделить ценное от незначительного, зерно от мякины и подвести итоги работе, во всяком случае не излишней. Вопросы, обсуждавшиеся в Религиозно-философских собраниях, выдвинуты самою жизнью; они не перестанут занимать умы и волновать сердца, какие бы препятствия ни встречало их обсуждение.

Так пишет почтенный журнал. Тут же уместно обратить внимание читателей на прекрасную статью в последнем номере «Церковного Вестника», органе С.-Петербургской Духовной академии, под заглавием: «К вопросу о современных настроениях». Помещенная на первом месте и без подписи, она говорит как бы от имени самой академии. И голос, свежий и чистый в защиту свободы мысли в области религиозной, показывает, что время, когда светские Аскаченские запугивали даже митрополитов (Филарета) и епископов, минуло.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ И ПЕТЕРБУРГ

Ты дорог нам. Ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда.

Некрасов

I

До Петра Великого мы знаем русских государей только в «одеянии»; начиная с Петра Великого мы знаем и видим их в платье. Они были до этого государя таковыми, какими мы знаем царей своих в торжественной процессии коронавания, когда венчанная чета, в порфирах и коронах, шествует под балдахином от Красного крыльца до Успенского собора. Недвижная и богомольная толпа, восторженно напряженная, не сводит глаз с одной точки: это — царь и царица. И царь, и царица под напором десятков тысяч глаз, под гипнозом этих глаз, движутся, как бы недвижно, повторяя в лице своем и в этой минуте аналогическую минуту и лицо всех предшествующих царствований. Святая минута в историческом смысле, с оттенком небесного. Здесь умер временный и смертный человек, отменился. На месте его стоит вечный знак, торжественный символ. И самая толпа народная также «отменилась» в своих частных и личных интересах, являясь здесь громадой любящего, восторженного подданства. Без оттенка рабского — этого у нас нет и не было никогда, — но именно в переполнении любовью и восторгом. Царь — велик, потому что он царь великого народа, а народ самим Небом благословлен и тоже велик и счастлив, неся и вознося на раменах своих седалище «Великого Государя Московского».

Петр Великий перепутал необыкновенно красивый и бессильный, тонкий до паутинности, узор московского царения. Забелин написал «Домашний быт русских царей» и «Домашний быт русских цариц», и это есть лучшая история вообще «Русского царства за московский период». В дополнение ее не требуется «Домашнего быта русского народа», который был только бедным и скудным, малым и неинтересным повторением быта царей. Соловьёв 13 томов написал о России до Петра Великого, а от 13-го до 29-го идут события только двух последних веков, «петербургского периода». Барсуков в 17 томах рассказывает только общественное и литературное

движение, связанное или связуемое с биографией М. П. Погодина. Сравнения эти показывают, что до Петра Великого было именно недвижимое движение: шествовала процессия как бы венчанной четы и богомольного народа, около которых всякое движение, каждое событие было помехою, суетою, «нечистью». Не предпринимать чего-нибудь нового – в этом состояла поэзия и, так сказать, «вдохновение» эпохи, если именем этим возможно назвать принципиальное отрицание вдохновения, как страсти, если им можно назвать тихо дремливый экстаз. Казалось бы, Россия могла раздавить крымцев; но она отгородилась от них засеками, как мирные китайцы от монголов Великою стеною. Трудно и вообразить, что это такое было. По лесам рубили деревья и как они валились, так их и оставляли; и валили, перепутывали, как лианы под тропиками, эти срубленные деревья на целой южной окраине протяженного государства. Получалась такая чепуха, через которую ни проехать, ни пролезть, ни перескочить, ни перебежать нельзя было. За такую-то чепухой непролазины и «спасалась» бессильная – явно бессильная! – Русь, в своей богомольной и идиллической процессии четы «царя и народа»; царя недвижно движущегося и совершенно недвижимого народа.

Литва, поляки, шведы, неугомонная Сечь, и, наконец, упорный и хитрый немец пекли и поджигали, иногда до боли, но не до опасного страдания эту красивую процессию. Пока, к концу XVII века, не дошло до смертной боли, до явного риска – все потерять, исчезнуть вовсе. Не приходи Петр Великий, Русь также подверглась бы «мирному» или ломкому завоеванию, как созерцательная (буддийская) Индия от англичан, как Афганистан или Бухара, как Китай, который существует, конечно, «милостью» и соперничеством Европы, а не тем, чтобы мог «отказать» ей в удовольствии съесть его. Только оттого, что Пруссия еще не сложилась в основательное государство, а Турция, Австрия и Швеция были в упадке и разложении, Русь уцелела. Но запоздай она на век, и самые реформы, и никакой прогресс уже не спасли бы ее.

Русь бессилела, чем более она отстаивалась: царствование Алексея Михайловича было слабее, чем Михаила Феодоровича, когда все же нечто предпринималось, начиналось: когда были хотя некоторые энергичные внутренние движения, напр., по ловле внутренних «воров» (остатки польских банд). Царствование Михаила Феодоровича слабее, чем Годунова или Грозного, не предприимчивее. А Грозный, при его гениальном уме и беспокойном характере, все же, однако, явил царствование более хрупкое, «колеблемое ветрами», более, в сущности, бессильное, чем правления Василиев и Иоаннов, только «князей» Московских. Русь началась собственно Суздальско-Московским «кулачеством» (как есть «кулаки» на деревьях), – моментом здравомысленным, темным (в грамоте), распорядительным и беспощадным. Но она чем далее – все сахарела и делалась рассыпчатее. Убранство богатело, мускулы становились слабее. Грамоты не прибавлялось, умение работать решительно понижалось. «Гишайший» царь Алексей Михайлович был таковым не по личному только характеру, но по моменту

истории, почти программе царствования, по задачам положения своего; по всему склону событий. Уже и Михаил Феодорович был тих; и Годунов – бесшумен, не говоря о Феодоре Иоанновиче. Царю Московскому невозможно было зашуметь: вышел бы Петр Великий, т. е. перерыв, уничтожение 5-вековой паутины, всего Московского смысла. И ничто на Москве не должно было шуметь. Пошевелился Разин – его казнили. Зашевелились раскольники – их стали жечь. Шум, инициатива, говор, кашель были «смертные грехи» в Москве, к чему бы они ни относились, была в них истина или нет. Они были «безобразием» в тишине: и их уничтожали.

Хотя по исторической фазе, степени образования, по психологическому опыту (биографические «испытания») Москва решительно была в детском возрасте, была ребенок по годам, но она выглядела стариком, и решительно каждая биография и личность в ней носит старческий, утучненный, обрюзглый характер. Костомаров в биографии Феодора Никитича (Романова) отмечает, что в молодости (боярином) он статно ездил на коне, чуть ли не с оттенком кокетства, любования. Он это заметил; верно взял в летописях. Итак, летописец отметил это, тогда как что же отмечать красивую посадку на лошади молодого, богатого и знатного человека. Такими статными фигурами запестрел весь Петербург сейчас и после Петра. Но мы к нему еще не перешли. Докончим, ради оттенения, о старой Руси. Все жили старообразно, тихо, накупившись, сгорбившись. Все жили трудно, ужасно устали жить, при всей недвижности своей: ибо «старяя» молодца – а ведь по годам-то Русь была «молодцом» – не подвиги, не приключения, не забавы и даже не излишества в забавах, а вот запор и такое сидение, и отсутствие всякой игры, ревности, «румянца» в жизни. Русь и засыпала, и вместе склонялась. Она молилась, как старичок в теле своем, худеющем и «врастающем в землю». Русь решительно не подымалась к небу, а именно в землю росла или стлалась по земле. Всему даровитому в то время (а ведь случалось же оно!) было удвоенно трудно. Да оно прямо гибло, задавливалось с детства: можно ли поверить, что не было других, кроме Грозного, гениальных на Руси личностей за несколько веков. Неужели Меньшиков, уличный гениальный мальчик, так-таки и родился «только ко времени Петра?». Они бегали толпами всегда. Но Петр взял одного из них, поднял, бросил вдаль. А до него из таковых выходил разве-разве «Ваня», который стучится в ворота Ипатьевского монастыря с мелодичным криком: «Отворите». Приехал, предупредил царя – и затем годы пахоты, женитьба, «тихое житие» и смерть. Напротив, все бездарное и не вызывало упрека, и не служило другому упреком. Все тихо было, бесшумно, красиво. И красиво, с разинутым ртом, стоял «дурачок» в картине, – почти необходимый для нее: во всяком случае, не в контрасте с нею. «А которые грамоте не обучатся – тех не женить», – распорядился энергично Петр. До того ему мешали «дураки» (не в буквальном смысле). До того стало неловко их существование после Петра. А до Петра ни от них, ни им самим не было «неловко».

В Архангельском соборе, в Кремле, я с удивлением увидел на стенах церкви, внутри ее, изображения в рост и Алексея Михайловича, и Михаила Феодоровича с венчиками вокруг глав, как у святых, в полном царском облачении. Между тем к лику святых они не причислены, в святцы не внесены. Но сам «царский путь» был понят Москвою как «святой»; как есть «Святая Русь», не по святам, а по факту или идеалу или представлению, так ее глава eo ipso достоин снять на стене церковной со всеми символами, с почетом святости. И не поражает это никого, не поразило. В самом деле, убор царя и лик его не в дисгармонии с подлинными святыми, из святцев, тут же окрест изображенными. Фигура с царского пути была eo ipso свята; да и вся Русь была подробностями одной святой картины. Трудно было жить всем, все старелись почти от детства, ибо все как бы врамливались в икону: и уж в ней, в киоте, за золотою ризкою, нельзя было пошевелиться.

II

Между тем люди были живы: были люди настоящие, земляные. Не так благообразные, как «в иконе», но из более ценного матерьяла, чем гипс или глина или «дщица», из которых она вырезана. В сказке говорится, как младенец «царский сын», забитый в бочку и пущенный по морю-океану, вырастает в ней и головкой своей «продавливает днище». Так Петр Великий «с звездой во лбу», как и царевич сказочный, – потянулся еще отроком: и обручи бочки, и дно, и верх ее посыпались мусором.

Петр не столько преобразовал Россию, сколько Русь-картина, Русь-икона именно рассыпались от его какого-то наивного движения, вовсе не преднамеренного, не рефлексивного, полного уверенности, что он продолжает царствование своего «батюшки». Петр был покорным сыном и любящим оберегателем памяти Алексея Михайловича. Его нелюбовь к раскольникам и патриархам доводит традицию родства до преувеличения. «Они моему батюшке мешали, и я их добыю». То, что называют гением Петра, было все более неспособностью стать «в икону», уместиться в киоте: и по существу это было так ново, провиденциально, до того отвечало нуждам истории, что сыграло роль гения. Ведь ни дипломатом гениальным, ни полководцем гениальным Петр не был; он не был и великим администратором: многого ли стоят его коллеги. На вопрос о гении у него многие бы смутились: «Как? в чем гений? Он – *все начал!*». Да. Но это есть именно выход из киота; и простое, с палкою и шпагою, с шумом, с грозой, но и со смехом, с забавами шествование по полям, по весям русским. «Отныне не *святой* будет вами править, а *богатырь*»; и коренное преображение России при Петре и вместе отличие петербургского периода от московского и лежит в преобразовании ее из «святости» в «богатырство».

Глубокая непосредственность, непреднамеренность, нереклексивность отличает решительно все действия Петра от юности и до смерти. Он вовсе и не думал преобразовывать войска, когда заводил «потешных»; не думал о кругос-

ветных плаваниях, когда возился со своим «ботиком», перетаскивая его из Яузы в Переяславльское озеро. Просто это ему «нравилось», «было по душе» и в одном, и в другом случае. Не было государя, столь бесхитростного, как он. Зато он был или в лице его явился истинный поэт на троне, но поэт труда, подвига, предприятия, а не стиха и прозы. Такого поэта дела, пафоса деловитости, вдохновения и почти стихотворчества работы, ежедневной, упорной, без замедления, без отдыха – не появлялось на троне. Ни Цезарь, ни Александр Великий в этом ему не соперники; Карл Великий был слишком медлителен и важен для уравнительности с Петром; и только буря-Наполеон, но эгоист, но циник и бессовестный человек, уравнивается, так сказать, силою мускулов и быстротой хода с нашим Петров: но наш Петр весь сияет еще бескорыстием. «А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога: жила бы и цвела Россия» (слова перед Полтавской битвой). Нужно заметить, Петр лично и физически не был весьма храбр, хладнокровен в опасностях; он был, по сильному воображению, пуглив; а битвы того времени, тесные и рукопашные, или стреляющие как Бог на душу положит, были опасны и для полководцев, и для царей. Поэтому приведенные слова Петра столь же глубоки, идут из таких же глубин души, как и завещательное письмо идущего завтра на дуэль.

Вернемся к его роли в истории. Ему не принадлежит ни одного дальновидного, хитроумного, обычно именуемого гениальным, предначертания, прозрения, проекта. «Довлеет дневи злоба его» (довольно на каждый день заботы о нем), поистине выражает характер Петра. Так называемого «завещания Петра Великого» (чуть ли не о покорении всего света) не только ведь не найдено, но оно и противоречит всему его характеру. Он до того уставал за каждый день, что засыпал как убитый, и верно каждый раз с молитвою: «Пораньше завтра встать и выйти на работу». Но гений, но смысл и план из ежедневных трудов его вышел. Так и поэт не садится за стол со словами: «Напишу «Полтаву» – и буду велик», «напишу «Скупого Рыцаря» – и уж, наверно, стану велик». Так писал только Херасков «Россиаду», а с надеждою попасть в святые царствовал только Грозный. Петр не задавался, не царствовал по программе: он всегда действовал от факта к факту, от сегодня к завтра, без промежутков, без скачков. И как у Пушкина от ежедневно роняемых, как лист от дерева, стихов получилась слава, величие, смысл, мирообъемлемость, так и из Петровых дел, ежедневных, практических, сложилось царствование, единственное в истории по смыслу, наконец, по идеализму даже. Да и «идеал» вытек не книжный, не в теориях предначертанный, но как именно порыв в жизни, пафос в жизни. Жизнь русская стала патетической, взамен тихого шелестения почти недвижимой картины. «Мирное окончание живота христианского» хоть и испрашивалось по-прежнему в молитвах, но на самом деле перестало быть заботою, мечтою, программою Руси и русского человека.

Старят не годы, а затвор. И Русь помолодела, выйдя из затвора. Образование, психическое углубление, опыт, неудачи и страдания, все ингредиенты старости не помешали Руси вдруг помолодеть, как бы века сошли с ее

плеч. Решительно, Русь XVIII века не только моложе, *отроковичнее* Руси XVII – XVI – XV веков, но почти юнее и Киевской Руси. Посмотрите характеры Василиев и Иоаннов Москвы: они сливаются все в один характер, одно лицо, печальное, угрюмое, боязливое и пугающее; усталое в неделании. Все устали, и бояре и царь, только переменяя «большой наряд» на «средний» и «малый», высочайшую шапку на шапку просто высокую. Устали все, ибо годы-то молодые, а вид старый. С какою ненавистью застрелили Самозванца: «Не ходишь в баню, смеешься за столом». Хождение в баню составляло часть «наряда», процессии. А смех был безбожным нарушением лика старости, обязательного и «святого». Нельзя было такого, после смерти, нарисовать на стене Архангельского собора и обвести «лик» венчиком: а в этом было всё, задача. С Петра Великого появляются «смехи». Шутки Петра – провиденциальны, велики, как новый коран для Аравии. «Всешутейший собор», «князь-папа» Ромодановский, «капитан бомбардирской роты», как и изначальные «потешные войска» и знаменитый «ботик» суть страницы русского корана, «нового завета» русской истории. Россия родилась в шутках, и это было ее гениальнейшею чертою, ибо шутка была ее вдохновением. Точно Амур в цветах – юная Русь в этих шутках. О шутливости при Петре надо бы написать целое исследование. Поразительно, что строжайшая деловитость, грознейшая ответственность не отменялась, не разрушалась, не ослаблялась прямо чудовищным шутовством. Все пьяны, лежат на полу, а прищуренным глазом следят друг за другом, верно ли правят дело царское и русское. Нет, воистину это были какие-то апостолы русской государственности – и сподвижники Петра, и он. Еще такой вдохновенности к работе мы не знаем в истории. Шутливость была, во-первых, энергичнейшим отдыхом в промежутках энергичнейшей работы, и она тем выше подымалась, чем сжатее был отдых; а во-вторых, лицо молодости вырастало, формировалось в ней, т. е. главная миссия Петра, суть перелома к новому завету. Везде шутка, игра есть кейфование; ничегонеделание, затянувшееся заполнение скуки. Нигде игра и шутка, кроме разве Олимпа Греции, не входила органически нужным, программным, целесообразным, почти, я готов сказать, – небесным, как еще в эту фазу русской истории. «Схимник, где твои четки? Старец, где твой гроб?». Вот ведь что, самонужнейшее вытекло из этих шуток и основалось среди них. Не в административных Петра преобразованиях, не в выигранных сражениях, не в путешествиях за границу (и до Петра путешествовали), – но именно тут-то и восхитила Русь главное, чего ей недоставало: молодость. Точно толпа влюбленных, вышедшая из старого чулана завалиющихся вещей – эта Русь Петра, выключившаяся из Руси-Москвы. Вот Петербург в его отношении к Москве, город еще не очертившийся во всей своей физиономии, но неизмеримо более осмысленный, вековечный, я готов сказать – провиденциальный и небесный, нежели Москва. Слова мои руководит сознание, что в шагах человеческих, даже простых, везде воля Божия. Москва красива только в словах и процессиях; в больших словах и больших размахиваниях руками. Боль-

шой глагол она скажет и моментально заснет. Глагол сказан – и совесть спокойна. Трепета души, вдохновения, прямо живого, движущего – в Петербурге больше. Москва есть неискоренимый эстет, и так с самого рождения своего, вечно думавшая о том, чтобы все было красиво, процессуально, «знаменательно»; она вечно жила как строила монумент себе и исписывала его похвальными себе же надписями. Эстетическое начало в этих непреходящих чертах всегда мне представлялось антиморальным, антисовестливым. Совесть – дурнушка, не кокетлива, не нарядлива, хотя исполнена бесмертной красоты в своей неубранности. И вот этого гораздо больше, мне думается, в Петербурге. Его легкомыслие легко сбегает; а ответственность в нем чутка. Петербург еще только начал, начинает жить. Великие душевные грозы его впереди. О Петербурге можно сказать то, что Лермонтов раз написал в черновой тетради и слова обвел в рамку: «Россия вся в будущем». И Петербург «весь в будущем». Чиновный его фазис – не все, и даже не большая частность. Москва ворчит на чиновничество, но больше потому, что сама не чиновник, а покажи-ка ей мундир с основательным золотым шитьем – она с ног сшибет, бросившись в него. Как будто все время до Петра она не была национальной формой чиновничества же, только ничего не делавшего, а лишь прохаживающегося из угла в угол в мундире. Суть чиновничества не в кафтане и воротнике, не в пуговицах и орденах, а в психологии. И вот эта-то психология не только была в Москве, но она и дана была России Московю, воскреснув и в Петербурге частью вскоре после Петра, а особенно со времен семинариста Сперанского. И вся Россия, за спиной парадной Москвы, обслуживала эту блистательную «табель о рангах» боярства. Петр ли Великий был чиновник? Вот – полное отрицание чиновничества! Ибо ведь в «чиновничество» входит машинность, и Москва была машина (машинальна, процессуальна), а Петр сломил самый принцип этого, и оболочку, парад; и от негодования на это именно и на необходимость этого «машинного» начала в Москве – переехал в Петербург для шуток и работы. Мелочи в Петре Великом почти значительнее и вечнее видного в нем, крупного в делах его. В Петре было неиссякаемое море личного начала, вдохновений минуты, чистосердечия еще невиданного на престоле, прямоты – неиспытанной в политике. Его можно сравнить с «обращающимся колесом» в небесной колеснице видения Езекииля; в пламени его духа, как он был, как он известен из истории, сгорают самые смертные, скучные и ядовитые частицы государственности, как она выразилась неизбежно и везде, кроме этих удивительных и святых ее страниц. Ни притворства, ни фальши, ни двоедушия за все годы его царствования мы не знаем ни одного среди таких трудных обстоятельств, иногда смертельно-критических. И это не было опять же правдолюбие по программе, а по натуре... Чиновничество, суть которого (как и Москва) и есть именно отрицание натуральности, – даже удивительно, как оно возникло в городе Петра. Во всяком случае, это Россия стала чиновна, а не Петербург: в Петербурге Россия только сосредоточила свое чиновничество, как уже в наличном центре.

Во всяком случае за два эти века именно Петербург делался всегда центром совестливой тревоги для целой России; моменты покаяния, муки, настоящего зова к возрождению – шли более из него. Само славянофильство, главная умственная красота Москвы за эти века, по типу всего московского сложилось в красивые формы и заснуло. Хотя причины для сна ни малейшей не было. Но вечный эстет, как только достигает красивого – он засыпает. Празднуя 200-летие Петербурга, невозможно не напомнить, что войдет или не войдет литература в состав исторических воспоминаний, но решительно ей принадлежит самый благородный уголок этих воспоминаний. Никто не помогал столько оживлению, незасыпанию, вечному памятованию об основателе Петербурга и главной мысли этого основания, вдохновенной, совестливой, и, на моем языке, пророчественной. Никто мысли Петра, живой личной, творческой, прямой, доверчивой – не воспринял так, как эти люди, умеющие иногда читать на звездах лучше, чем официальные астрологи.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С N. N.

«Любовь духа» (Рим. 15, 30) и
«слово и дело» христианства.

Многоуважаемый публицист, г. В. Розанов (к сожалению, и до сих пор не имею удовольствия знать Ваше *отчество*, а ведь оно корень, «традиция личности»). Отсюда *«родословные книги»*).

У меня такой обычай – никогда не быть в долгу относительно *писем*. На каждое письмо отвечаю, если это письмо касается и «вопросов духа». А Ваши письма в этом отношении требуют не одного письма, а многих, весьма многих, даже «целого тома».

Так уже сложилась во мне «любовь духа», что не прохожу без внимания никого обращающегося ко мне или говорящего со мною. Если бы другие также говорили со мной! Это служит часто причиной моих нравственных страданий и физических злоключений. Многие злые люди, «злохудожные души» сделали из этого выгоду для себя и вред для меня, обвиняя меня в том, что касалось *интимной* жизни моей души. Но, Бог с ними! А я по-прежнему *стараюсь* быть внимательным, т.е. искренним, чистосердечным. В своих суждениях о людях стараюсь различать предметы речи и не сливать все в одну безразличную массу, в «хаос нравственный». И это прежде всего для «рассуждения», как принято говорить, т.е. *не в суд*, а в смысле противоположения суждений о том, *что делать*. А как это необходимо в наше время. Как спутались понятия о добре и зле. Явился даже вопрос о какой-то жизни и мудрости *«по ту (?) сторону добра и зла»*. И он подтверждается уже жизнью и отпадением от Христа и церкви; ибо философия – отражение текущей действительности (см. современное *непризнание целомудрия* и признание *распутства*, когда люди во всем стали поддаваться

удовольствиям*»; даже религию хотят свести на степень особого источника эгоистических удовольствий)**». И это делаю в простоте духа, в навыке (иду-

* Не «удовольствиям», но какой-то *мелочности* и *сальности* в удовольствиях. Пройдите ночью по улицам Петербурга: она запружена проститутками. Проезжайте мимо загородных «содомов»: они горят огнями. Вот усталая-усталая певичка на эстраде тянет *холодную* шансонетку перед *засыпающею* публикою. Везде – *холод*, осень, 2° любви, чувственности. Как-то я увидел «Въезд Карла V в Антверпен» (картина, но передававшая *действительное* событие, как мне потом объяснили): женщины города, аристократки, буржуазки решили встретить любимого императора, как нимфы Греции и... и, как Эразм и Рейхлин восстанавливали фонетику и этимологию умерших языков, они вздумали восстановить умершую жизнь: *по улицам* города, перед раскрытыми окнами и наполненными народом балконами, они вышли – Дианами и нимфами, нагими или почти нагими, на глаза мужей, братьев, родителей, детей. Это – пра-пра-пра-прабабушки Бисмарков и Мольтке. Казалось бы, «Вавилон»: но это было всего лет за 15–20 до Реформации; казалось бы, «нравственное разложение и смерть нации»: но она прожила сейчас же за этим несколько веков здоровейшей жизни. Смотря на картину, я не верил глазам и просто не верил, чтобы это *когда-нибудь* могло быть. А – было! Повторяю, наши пороки – омерзительны, ибо все это какие-то *кухонные* пороки, шашни фельдфебеля с кухаркой, при полиом почти отсутствии *любви, восхищения, чувства упоенного восторга*. Я знавал чрезвычайно много «возлюбленных» в наши дни, которые подсмеивались над женщинами, с которыми... не столько жила, сколько щекотались: «Она – *старая!*». «Она – *некрасивая!*». Температура: – 1° или 0°, и то по Цельсию. Так бабочки в сентябре едва передвигают крыльшками: подымется на аршин – и падает на землю. Чувственность – необыкновенно похолодела. И вот *это-то* и составляет мерзость зрелища: слабые потуги бледного воображения чем-нибудь позабавиться. Спартанские девушки принимали участие в играх, упражнениях и гимнастике – нагими, вместе с юношами, перед очами государства: и не было там «Сусанн» и соблазняющихся ими старцев. Как *последний* отзвук этого, помню я слова моей покойной матери, не раз слышанные в детстве: «Теперь – *развратный век!* В нашей молодости – деревенские мальчуганы до 15 лет бегали по улицам без (*нижнего белья*)». Вот – оценка, вот критерium: нагота есть *всегда* *последствие невинности*; и чем запутаннее, щепетильнее век – тем он, щичиннее, старообразнее, растленнее. В. Р-в.

** Тут – глубокое непонимание, столь вообще присущее духовным, когда они говорят об умственных движениях светских людей. Вспомните, у Гоголя («Рождественская ночь») приклонения семинариста с «прекрасною Солохою». «Бьель»-де молодцу «не укор» – и, пощекотавшись, человек входит в зрелость и в должность, – и уж больше не «шалит». Идеал свелся к количественному уменьшению: пуды, фунты, лоты, золотники «удовольствий». Чем меньше – тем добродетельнее. Но вот у «светских людей» родилось совершенно новое движение: не *количество* удовольствия есть «грех», потому что *в самом себе* «удовольствие» вовсе не грех, а единственно – *качество*. Отсюда – другой вопрос: просветить, *просветлить* удовольствия. Но высший идеал всегда останется – *религия*. Явилась, таким образом, 3-я идея: каким образом неуничтожимую часть существа человеческого и жизни, прежде только давнюю, теснимую религиею, сжимаемую до нуля, соединить с религиею и когда это произошло бы, удалось – уже не опасаться какого угодно расширения *просветленных радостей?* Вопрос этот несколько схож с тем, какой шел в католичестве при Гильдебрандте: соединимы ли существо, обязанности и функции *священника* и *мужа!* Гильдебрандт, по внутреннему самоощущению, решил: «Не соединимы!». И – разъединил их (отринул *персональное* слитие религии и брака). Восток, для низших степеней духовенства,

шем еще из семьи) быть недействительным к злу, особенно в отношении коварных нравом или двоедушных. Но довольно *pro domo sua**.

Древние веровали в «ауспиции», а мы верим в Промысл Божий, все приводящий в движение и жизнь, в судьбу, т. е. в цепь Божиих предначертаний. Конечно, «дерзкое упование на Благодать Божию» есть *«грех смертный»* (1 Иоан. 5, 16). Им грешат сектанты всякого рода и вида; им страдают «люди душевные» (в смысле терминологии ап. Павла), т. е. далеко несовершенные. Он у лицемеров, у людей горьких (см. «горе вам, книжники и фарисеи, *лицемеры»*, Мат. 23). Он у завистников, прелюбодеев и пьяниц. Трудно сказать еще у кого... Но вера простая в Бога Промыслителя и Спасителя – глубоко жизненное явление и необходимое.

Только при ней возможны истинно добрые отношения людей между собою. Здесь религия оправдывается в жизни. Этика и вера пребывают в союзе любви и благоразумия. Нет человека негодного. Все братья по духу, по сердцу, по любви, по добру, по красоте нравственной. Все прекрасны и боголюбезны. В этих глубинах христианской веры вся наша нравственная драгоценность и дорогое стяжание на «ниве Христовой», в церкви Его святой и возлюбленной.

Не случайно и это, хотелось бы сказать и об этом. Письмо Ваше получил 17 октября 1901 г. (день чуда в Борках с Царем), когда в церкви читалось дневное евангелие о том, как Иисус Христос обошелся с самарянами, не принявшими Его. Ученики сказали Иисусу: «Наставник! Мы видели человека, *именем твоим* изгоняющего *бесов*, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Он же сказал: «Не запрещайте, ибо *кто не против вас, тот за вас*». Затем пошли в Самарянское селение, идучи в Иерусалим, когда приближались страшные дни взятия Его от мира. Там не приняли. Иаков и Иоанн, «воанергесы» = «сыны Громовы», пламенные, горящие ревностью и страшной обидой и грозным мщением, готовы были, подобно Илии Фесвитянину, спустить огонь небесный, истребляющий все и подымающий все вверх. Но Христос сказал: «Не знаете, какого Вы духа. Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И это в виду Голгофы. Любовь, кротость и милосердие Христовы. Как в нем сомневаться, а

оставил это – и никакого, очевидно, вреда от этого не произошло. Кроме персонального, может быть слияние по *месту*, по *времени*, по *колориту*, по *пластике* и *музыке*: это как бы соединение материка и океана, которые сливаются через *заливы* и *полуострова*; *aliiis verbis* <иными словами (*лат.*)> – или *вдается* радость в веру, или вера – в радость; или *тон молитвы* – радостен, или радость *предшествуется* и *оканчивается* молитвою. Но вообще здесь – дело культуры, забот и размышления. *Венчание*, как предшествование семейных радостей – вот прототип одного вида творчества; изображение на стенах церковных браков в Кане Галилейской, или, как я видел, проездом посетив соборы в Калуге и в Туле, в котором-то одном из них – даже «Песни песней» (на задней стене храма, громадное изображение, поразившее меня странным сюжетом, который я разобрал благодаря только полустершимся славянским надписям; живопись, очевидно, XVIII века). *В. Р-в.*

* о себе (*лат.*).

Вы сомневаетесь? Дело Христово и слово Его – дело Царя Бога и вожделенного Жениха. Вокруг Него чистые девы (души христианские*, человеческие), духовно бодрствующие, с возженными светильниками, с недремлющими очами, светлые, радостные; торжественное сретение Приходящему с весельем, «*пир веры*»**; вспомните из слова Златоуста на пасхальной заутрени «зело рано» и духоносное религиозное сопряжение великими узами любви с чистыми душами Слова Божие, затем дерзновение веры и любви, слова, вечное созерцание Божие, Его славословие и песнопение совокупно с ангелами. Вот наша «теодицея» во Христе. Очень желательно установить, в чем Вы находите недостатки милосердия и любви в христианстве?*** Зачем эти сомнения и неуверенность?.. Нужно установить, о имени

* Замечательна эта тенденция все перетолковать «духовно». Не возлюбили земли, земного – и это даже те, кто, как от. И. Филевский, *по-видимому*, любят и защищают землю. Но уже всё стало «по-видимому». Земля, земное теперь – именно как осенняя бабочка: подымет крылья – и упадет. В. Р-в.

** Еще в эпоху Златоуста возможно было сотворение речения: «Пир веры». Возможно было соединить эти понятия. В XIX веке об этом и подумать было нельзя, страшно: из древности мы повторяем такое слово, ибо оно – «мертвый язык», как и «латынь». А из себя извлечь такого глагола не можем, не смеем. Скопчество в XIX веке, сравнительно с V или XV, необыкновенно, невероятно возросло; и это, – несмотря на «Елену Прекрасную» или, пожалуй, параллельно с «Еленой Прекрасной». В. Р-в.

*** Ох, «где? где?». Читать письма И. Филевского, то, конечно, – «нигде». Малинный сироп. Но вот я открываю статью проф. Н. Заозерского: «На чем основывается церковная юрисдикция в брачных делах», в «Богословском Вестнике» за апрель 1902 года, и в ней читаю выдержку о следующем «деле»: «По делу о предании церковному покаянию. 1902 г. февраля 4 дня. Самарская духовная консистория слушали: резолюцию Его Преосвященства от 25 января, последовавшую на журнал консистории, состоявшийся 21-го того же января по делу о предании церковному покаянию покушавшейся на убийство крестьянки пригорода Ерыклинска М. Ч-ной, следующего содержания: «Ч-на, *повинная перед Богом и Церковью в покушении на самоубийство из-за жестокого обращения с нею мужа, заслуживает*, как и другие подобные ей, в семейном положении, женщины *не наказания, а именно вразумления и искреннего сострадания*: наказывать нужно не их, а их мужей-варваров, которые по воображаемому ими какому-то праву (Н. В.: «Жена *да боится* своего мужа») – как это отразилось и отражается в душах слушающих, из которых многие грубы, неразвиты, тупы, злы? Ведь 100 мил. народа русского, и нельзя же ожидать в них *всех* мягкости и разумности! В. Р.), – бьют и терзают своих жен, часто ни за что ни про что, а просто по сумасбродству, особенно в нетрезвом состоянии. И чего-чего не терпят от таких негодяев мужей их жены, в большинстве случаев, по общему отзыву, добрые женщины, нравственные, богобоязненные... Так, напр., священник Филимонов в своем отчете о состоянии прихода с. Пролетки Самарского уезда пишет: «Один молодой муж побил свою жену жестоко, причем зверски искусал грудь ее, которая кормила грудного ребенка». На страстной седмице в понедельник, пишет тот же священник, молодой парень верхом на лошади гонял свою жену по улицам села и бил ее нагайкой, на ночь же бросил ее на дворе, а сам лег спать в избе на печи. В августе, пишет тот же священник Филимонов, во время работы муж избил свою жену так сильно, что она вся в крови явилась к нему просить защиты. При таких и подобных ужасных биениях и терзаниях жен мужьями, повторяющихся нередко изо дня в день, без малейших послаблений, естественно, one

доводятся всем этим до отчаяния, до потери всякой надежды на лучшее будущее в жизни, и им, при слабой их вере в загробную жизнь и при неясном сознании суда Божия, на котором они должны предстать по смерти, и особенно по злодемонскому на тот раз влиянию, не представляется иного исхода из настоящего адского их состояния, как насильственная смерть, причем нельзя отвергать и психической ненормальности, которой они подвергаются от причиняемых их мужьями нервных страданий... Нам, пастырям церкви, особенно нужно внимательно следить за семейными отношениями мужей и жен, чтоб они были истинно добрыми, христианскими, а не варварскими, бесчеловечными... Бесчеловечные отношения мужей к женам развращают нравы детей с раннего их возраста: глядя на отца своего зверя, как он тиранит свою жену, у них возбуждается такой же дух жестокости, пожалуй, с теми же способами действий, какне усмотрены им, когда отец бил, тиранил мать». Принимая все это во внимание, Преосвященный Гурий сделал следующее распоряжение: «*Ч—на пусть молится Богу утром и вечером, полагая поклоны до земли, по силе возможности, с молитвою мытаря доколе, пока она не почувствует успокоения совести... Тогда удостоить ее Св. Причащения по исповеданию грехов в таинстве покаяния, причем пусть даст обещание Богу, ради вечного спасения, великодушно переносить оскорбления и дерзкие нападки мужа, если таковые будут повторяться в будущем. А мужа ее, после должного пастырского внушения, подвергнуть отлучению от Св. Причащения, если он не испросит у своей жены прощения в причинении ей побоев, которые довели ее до отчаяния*». И т. д.

Тут – десятки вопросов. Фактически делаем одну поправку: дети таких избиваемых матерей не бывают жестоки. Но как бы возросши в слезах («Русь долготерпением строилась») – являют в себе чудные примеры нежности души и хороших семьянинов. Теперь предложим серию вопросов:

а) Н. Заозерский извлек это из № 5 «Самарских Епархиальных Ведомостей». Что же: страница эта, достойная войти в летописи Империи русской и «Истории русской церкви», и как картина, и как поучение, где была еще перепечатана в духовных органах? Перепечатали ли ее, для всероссийского ознакомления, расходящиеся по всем епархиям «Церковные Ведомости»? Были ли сделаны необходимые хлопоты, административного свойства, чтобы перепечатать ее, в поучение всем крестьянам, в «Сельском Вестнике»?

б) Ссылается пастырь на отчет одного священника Филимонова из села Пролейки. Что же, исключительное это село «мужебойцев»? Конечно – нет! *Везде* – так, или приблизительно так. Теперь: *беззаботны* ли другие священники касательно семейного состояния прихожан? По *молчанию* судя – должно быть так. Простим небрежность, но спросим начальство, уже на этот раз петербургскую администрацию: а *указано* ли было священникам не столько «ротиться» в стараньи давать отчеты об исповедных листах и их *заполнении*, о предполагаемых *раскольниках*, о строжайшем соблюдении подробностей предбрачного *обыска* и проч. и проч., сколько *первое* писать о том, о чем написал один добрый священник Филимонов? Что вообще из *Петербурга* было сделано по данному пункту?

с) Преосвященный Гурий, очевидно, высокое лицо. Но *стеснен* в высоте сердечного движения, и старым средневековым правилом клонится долу. Ведь ему *хочется* сделать то, что надо: повелеть привести к себе несчастную удушленную, прижать ее к груди своей, христианской, пастырской, священнической, дать выплакаться, все выведать, о всем расспросить, во всем утешить: а мужа «в сорочке кающегося грешника» выдержать дня три у себя на дворе. Да мало ли, как можно гнать против такого лютого злодеяния. Ведь есть же «громы» против еретиков; а в «доброе» средневековое время их, как Кульмана, даже и в срубках сожигали. Да, но *в те времена*, когда и установились все «правила», Кульман был «еретик», а случаи, как рассказанные г. Филимоновым и повторенные преосв. Гурием, не только «ере-

сью» не почитались, но и *тяжким грехом* явно не считались, а «так себе», «грешком» в вершок росту, «слушаем» быта, который о себе не вызвал ни размышления, ни рассуждения, ни «правила». Что же добрая душа преосв. Гурия вынуждена была сделать? – Подвести случай *самоубийства от несчастья и забитости* под рубрику случаев *самоубийства от своеволия и растущенности и парочности* (прости Господи, если таковых нет, и я сужу без вины). «Правило» для судин явно ниже души судин. И, нежный и глубокий человек, он поступает грубо и жестоко, беспощадно: несчастную же, доведенную до отчаяния, ставят в положение «какюшегося в сорочки грешника» и подвергают епитимьям. Скажут: «Согрешила!» Да позвольте, мы *все* грешим: ну, «грешим» вот тем, что не отменим, не пересмотрим, не возбудим даже вопроса о пересмотре правила, столь явно не отвечающего положению вещей. Отчего же мы все, «грешные», не облачимся в власяницу грешника и сами себя не подвергнем, за лютость и беззаботность, епитимья? Явно, что Ч-на *только несчастная*: но мы ее пожалеть не смеем.

д) Ну, а если муж Ч-ной, отбыв епитимью, начнет вновь бить ее (конечно, начнет! Ведь тут – не «аффект», а из *натуры* течет, из всей *биографии*, и из очевидной *нелюбви к жене*). Снова – епитимья, а он – снова бьет. Позвольте, да чем же это ей легче, что он «с епитимьей» бьет ее? Позвольте, она христианка, «подданная» в христианстве, не распорядительница, а подчиненная в нем. Готова слушаться? Готова! Да, впрочем, что же я забыл, ведь ей и вынесено *решение*: «Пусть даст обещание Богу, ради вечного спасения, великодушно терпеть оскорбления и дерзкие нападки мужа». «Ради вечного спасения»... На ее *избитую* и впечатлительную душу *громовая* эта формула пронзедет потрясающее впечатление, и она, боясь нарушить «вечное спасение», теперь, под страхом его, вторично и не пойдет жаловаться на мужа. Да, впрочем, и не жаловалась, а полезла в петлю. Но теперь, ради «вечного спасения», и петля отобрана. Нет защиты, – кончено. Теперь явно она *вся* кончена и о ней *все* кончено, ибо, в сущности, она передана на руки готовящегося мужа-женоубийцы. Это, помню с детства, меня поражал припев в сказке о мальчике, превращенном в козленка, которого хочет зарезать мачиха:

Аленушка, сестричка,
Точат ножи булатные...

Мальчик – жалуется сестре. На бумаге – все коротко. А ведь нужно удавленице-то *вновь войти* в дом мужа; переступила порог, надо поднять на него глаза: а он уже облотел, потому что на него, *явно себя ни в чем виновным не чувствующего* (уж явно такой человек!), тоже положена «епитимья», перед всем приходом его марающая. Да и если он жены не пожалел, почему он послушается «епитимьи священника»? «Слушались» бы священников, то и разбоев и грабежа в стране бы не было, и, так сказать, «эдем» был бы под рукой. Явно, что ничего и никого он не послушается, что он – или дегенерат, или злодей, или люто ненавидит жену: и вот, как волку курицу – ее бросают ему во власть, в неограниченное и бесконечное обладание. Но все «древнее правило» – нельзя нарушить предания.

Явно, что жертву надо спасти – вырвать из пасти волка (расторжение неудачного брака). Смотрите, Сибирь: ведь там целый народ на поселениях, в наказаниях, и он наполовну, на четверть – женат. Из *фактических мужей сейчас в России несколько тысяч суть готовящиеся преступники, злодеи*: при полной невинности и непорочности их «половин», несчастно и ошибочно выданных замуж. Ягнята в берлогах.

Тем Н. Н. и раздражал меня в письмах, что никакого-то, никакого у него внимания к фактам не было; просто – отречение даже *взглянуть* на них. И – услаждение музыкой своих слов. За эту музыку он считал себя добрым, благим, христианином, а мое равнодушие к ней считал признаком ожесточения сердца. В. Р-в.

ли Христа «изгоняете бесов», т. е. пишете, учите, говорите об истине, «свободе совести» (ваша статья в «Н. Вр.») и пр... Это первый вопрос. С него должно начать. Все остальное на втором плане. Покойный Н. Н. Страхов, защищая Толстого, уже в то время *еретика* исполненного литературно-культурного яда, человека *многомощного*, поставил слова Христовы: «*Кто не против вас, тот за вас*» в качестве критерия, и отсюда вывел заключение, что «поричать Толстого – дело почти вовсе бесполезное» («Вопр. философии», 1892 г.). Не знаю, что Вам сказать в этом отношении. Вы презираете толстовство и толстовцев. Но, *во что* Вы веруете, если, по Вашим словам, «*христианство – красноречие*, а не дело жизни, если оно – *слова*, а не *факт* и не вечная *жизнь*»...

Нет, церковь наша, универсальный «кивот Завета Божия» в мире и в жизни человечества, есть прежде всего – дело *жизни и любви*, или это вера, любовью поспешествуемая, действующая в любви и в истине Божией. Ап. Павел, особенно вкусивший эллинское «красноречие», изучивший иудейскую схоластику, говорит, что проповедь христианства не в человеческие премудрости словах, но в явлении духа и силы. «*Царствие Божие не в слове, а в силе*». Здесь, конечно, не отрицание слова, а оправдание слова самою силою жизни, правдою истины Божией. Поэтому, проникая в слова проповеди, человек приближается к жизни. Вот и Вы служите слову литературному, отражающему быт (бытие) и жизнь общества и всего мира, разве Вы чрез это удаляетесь от людей, отходите от жизни, иравственно холодеете?*

Думается, что нет. Наша русская литература преимущественно этична, жизненна. Только «литературные ханжи», *книжники* – кимвалы бряцающие. Вот и Толстой отрекся от своей литературы (грань – «смерть Ив. Ильича» и «теория искусства») и впал в *ханжество*, отрекся от Христа и Церкви, оставил «союз любви» всецерковный, оставил народ наш с его верою, наше родное собрание богопочитателей; вышел из нашего храма, из места исторически и культурно, и религиозно, и *художественно* освящавшего и очищавшего народ наш; обругал наше *священство* – это освящение наших мыслей и чувств, приближающее человека к Богу и Бога к человеку; отверг *благодатные дарования*, разумею *божественное даяние Духа*, от церкви нашей. В «*новам Евангелии*» погубил себя – *древне-культурного человека и писателя*... Но в церкви нашей и ныне** горят *огненные*

* Да слова мои *от жизни* идут, от *впечатлений* из жизни: а ваши – из *воспоминания* о выученном в школе. Тут – разница. В. Р-в.

** Всегда мне представлялось неясным: в *литургии* или в *духовной консистории* выражено «лицо церкви»? Церковь – там и здесь, никто этого не отвергнет. На литургии, однако, все слова и подробности, до йоты, – 1700-летней давности (вся литургия уже вписана в «Апостольских постановлениях», все возгласы священника, ответы «ликво», т. е. хора, весь порядок службы); в консистории – сейчас все происходит, совершается, творится. Творится – живым сознанием живых людей, однако отнюдь *не от себя*, а на точнейшем основании хорошо уразумеваемого священного Писания и священного предания. Поэтому на вопрос, вероятно, многим представляющийся: «*Где я увижу и мог бы увидеть подлинное и не мечтательное лицо церкви, матери своей, и поклониться ему*», – трудно не ответить: «В епархиальном управлении, в епархиальных делах, в епархиальном делопроизводстве: это – церковь *действующая*, в отличие от *говорящей*, просящей, молящейся на литургии». В. Р-в.

языки – присутствие Духа Божия. Есть Евангелие, всецерковная проповедь о *новой* спасении. Есть таинства, источающие и оберегающие «неизглаганное благочестие» (св. Григорий Богослов). Есть *очистительные жертвы* любви и милосердия, правды и добра Христова. Пусть они почаще приносились бы Богу и от литературы, и от науки, и от политики и проч. Беда, что все «*дифференцировалось атомистически*», и, в своей профессии и в своем круге, люди выдумывают своих жрецов, свои алтари ставят, свои кумиры, свои дары, свои трапезы, свой народ собирают. «*Мнят службу приносить Богу*». Самообман, религиозная нетовщина, под образом каким-то. Страшно. Но есть *один Архиерей*, прошедший небеса и седящий одесную Бога и Отца и Силы Божией, один Учитель – Христос, *Сладчайший Иисус* (в акафистах) и одна *Богоприимная трапеза* – святая церковь наша, «люди Божии» – это чистое хранилище даров Божиих, очистительных жертв. Это церковное богослужение более всего нужно нашему страшно неверующему и эгоистическому времени... * Смотрите сами: вот *граф* русский Толстой отрекся от Христа и Евхаристии Его (его печатный и особенно непечатный ответ Св. Синоду), вот *король* сербский Милан пред смертью, окончившею его многомятежную жизнь, отказывается от причастия Тела и Крови Господней, говоря, что «масоны не причащаются»; вот граф (?) итальянский Криспи, своего рода знаменитость, умирает без напутствия св. Тайнами, сам уклоняется и другие его отклоняют, *не желали допустить духовника* (вот беда, горе нового культурного человечества)... Но об этой стороне когда-либо после.

Нет не лично люди добры, а в церкви. Дикари живут вразброд. А культура сближает. Нет, кажется, теперь необитаемых островов, а всюду развита жизнь человечества. Все народы ей причастны. Народы живут группами, как и девственные леса. Толстые деревья и жалкие, *колючие* кустарники, на безлесье. Вот выкорчевали лес, остались одни кустарники, толстые, безжизненные. Народы, племена, государства – все одно начало религиозное, всецерковное. Личность из народа рождается. Есть церковь всенародная, есть и нравственная личность. Слабость культурная – скудость нравственного бытия и жизни. Свобода, движение религиозное, куда хочу – только в религиозном союзе верующих и святых душ. Прогресс в том, чтобы личности, отдельному индивидууму дать *вечную жизнь*, а это возможно только в церкви, где нет скверны или порока или нечто от таковых, но одна святость,

* Ультрамонтанство. «Ultra montes», заальпийская страна: вот мир идеалов, когда мы *по сю сторону* Альпов, и нельзя нам отсюда выйти: тут – детишки, имущество, земля, весь скарб, воспоминания, традиции, предки. Ведь вы *нас* и *нашего* – не помните; ведь мы и *наше* – не отечество вам. У вас «свои» предания, из Цареграда, Антиохии, Александрии, а вовсе не из села Пролейки. *Родины* у нас разные; и вы усиливаетесь *погасить* нашу родину: вот сюжет и тенденция всех писем. Весь нитерес их и лежит в наблюдении этого бессознательного «ультрамонтанства», – некоего тонкого духовного эгоизма, совершенно невырываемого, неискоренимого в каждом, в сущности, духовном лице, лучшего сердца, ума и образования. В. Р.–в.

красота, любовь, и ум, и сердце Христово. Лично добры и язычники (см. Корнилий сотник и ап. Петр в кн. Деяний, но и он должен был стать христианином; мало – бояться Бога, творить милостыню народу, всегда молиться Богу, нужно еще и жить по Христу). Но добро это не все. Еще нужны силы, чтобы всегда творить добро, чтобы быть *истинно-добрым*. А это *от благодати Христовой*, от всецерковной силы и крепости. В ней и чрез нее укрепляется личное самосознание, и проясняется и освящается. Августин: «Бог сотворил человека без его согласия, а спасает не без его». Но свобода есть и у дьявола. Нужна *христианская свобода* и она в общении Божия воплощения и Божиих страданий, в которых мы должны участвовать посредством церкви и в церкви, чрез веру, таинства и распинание воли со страстями и прихотями. Если «один в поле не воин», то тем более *в брани* со злом греха. «Вся оружия Божия – в церкви, она создает, набирает добрых воинов Христовых и препоясует их чресла истиною и облекает в броню праведности, обувает ноги в готовность благовествовать мир Божий, дает щит веры», «шлем спасения» и «меч духовный – слово Божие» (Еф. 6, 14–16).

Об *обрезании*, о котором Вы спрашиваете в письме, не могу вести речи, так как не знаю, зачем оно в христианстве. Правда, у нас есть праздник: «*Обрезание Господне*», но он затенен*. Одно знаю, что *апостольский со-*

* Поразительно: «затенен». Везде «тени» явились – покровы, занавески. Для чего? Когда? Как? Полным снопом и прямо в лицо дан нам был свет. Зачем же «затенение»? Да иначе и ответить нельзя, как: «Для *искусственного* света», «*нового* и уже *человеческого* освещения». Конечно, и я совершенно не постигаю, для чего мне обрезание; но что оно стало не только чуждо, но и непостижимо даже – из этого только явствует, до чего мы отошли от «завета первого». Для нас оно так же чуждо, странно, невероятно, как для еврея – символ креста. Но войдем же, попытаемся же войти в этот мир, чуждый и незнакомый, – и из *подробностей* наших дней. Указывая на *крест* – символ страдания и смерти нашего Господа, преосвященный Гурий и *повторил* Ч-ной: «Ради спасения и вечной жизни дай обещание перед Богом *безропотно* сносить впредь оскорбления и побои мужа». – Но при «обрезании»? Да посмотрим, не вдаваясь в рассуждение, как поступил бы раввин: «Если кто не дает пропитания жене, и это длится более 30 дней, то он должен развестись с нею и выдать ей денежную сумму»; «Если кто-нибудь запрещает жене употребление каких-нибудь плодов – оно на один день можно, а если более дня, то должен развестись с нею, выдав денежную сумму»; «Если кто-нибудь запрещает жене своей наряжаться каким-либо убором: то должен развестись с нею, выдав сумму»; «Если муж запрещает жене ходить в отчий дом более месяца – то должен развестись с нею»; «Если муж запрещает жене ходить в дом плача (по умершем) или в дом пиршества, то он должен развестись с нею» (Мишна, трактат «Кемубот», гл. VII). Мерами этими тонко, *чутко* обеспечены не только права, но и некоторые капризы, поэзия женской жизни. А на точном этом законе выросли и легенды. Приведем одну – это параллель нашим «житиям святых». «Случай с одним, который запретил себе путем обета пользование от своей племянницы (по Мишне: «брак дяди и племянницы наиболее угоден Богу»). Ее привели в дом равви Измаила и принарядили. К нему обратился раввин Измаил: «Сын мой, от такой ты запретил себе пользование?» Он ответил: «Нет», и равви Измаил разрешил ему обет. Тогда равви Измаил заплакал и сказал: «Дочери Израила краснвы, да бедность безобразит их!» Когда равви Измаил умер, дочери

бор (а апостолы все были евреи) высказался *против** него. У нас есть *нерукотворенное обрезание*, как и *нерукотворенный образ Христов*.

Израиля составили плачевную песнь: «Дочери израильские, плачьте о равви Измаиле», как в Писании значится о плаче над Саулом» (трактат «Недорим», гл. 9). Весь тон, весь дух – другой. И о случаях, приведенных мною из Заозерского, не только не было слышно, но и не доведено было, не могло довестись напряжение семейной ненависти до такого опасного положения. Между тем явно все это вытекает из обрезания, «завета, на половом знаке положенного», – как суровые наши законы и нравы все вытекли и основались на тысячетлетнем мотиве: «Нам нужно научиться *переносить* страдания». В. Р-в.

* «С воцарением Константина Великого (306 г.), или, вернее, с издания его Миланского эдикта (312 г.), которым дарована была христианам свобода богослужения в Римской империи, – язычество прекращает свое юридическое существование, а иудейство становится в новые отношения к христианству, отличные от тех отношений, в каких доселе стояло оно к язычеству. Между тем как христианские проповедники, отцы и учителя церкви, доказывали евреям устно и письменно бесполезность и ненужность плотского обрезания с пришествием Христа на землю и после учреждения Им таинства крещения, которое есть обрезание духовное, нерукотворенное, – христианские императоры издавали специальные эдикты, целью которых было ограничить плотское обрезание. Так, при Константине евреям еще было разрешено иметь рабов, но уже было запрещено подвергать их обрезанию (Codex Theodosianus, tit. IX). Ближайшие преемники Константина В., хотя отличались такою же, как он, веротерпимостью, предпринимали, однако, более или менее строгие меры против прозелитства как у язычников, так и у евреев. Так, законы императора Констанция (ум. 361 г.) отпускали на свободу раба-христианина, подвергнутого евреем обрезанию, а самого хозяина его, еврея, осуждали на смерть (Cod. Theod., tit. VIII). Такие решительные меры против еврейского обрезания в смысле прозелитства были необходимы по соображениям того времени. Именно, стали обнаруживаться расколы и ереси в самом христианстве, и едва одна религиозная партия приобретала силу и господство, как все другие и временно, и навечно были осуждаемы. Наступило время, когда граждан спрашивали не о политических убеждениях, а о религиозном их образе мыслей – вероисповедной формуле. Наказания, которые древний римлянин едва назначал за самые тяжкие преступления, как-то: конфискация имущества, ссылка, кастрация, бесчеловечные истязания и самая смерть, грозили всем, кто был не согласен с образом мыслей константинопольского двора (вот уже когда встал Аскоченский! В. Р.). – «По городам, рассказывает хроникер того времени, Сократ, для подкрепления царских постановлений, исповедующие *единосущие* были изгоняемы не только из церквей, но и из городов. Употребляли при этом и побои всякого рода, и различные пытки, и отнятие имений. Многие сосланы были в ссылку, те умерли среди мучений, иные погибли на пути в ссылку. Так было во всех городах восточных, преимущественно же в Константинополе» (Сократ: «Церковная история»). – Законы Феодосия Великого, Гонория и Аркадия в отношении к евреям отличались беспристрастием. Им позволялось беспрепятственно обрезать *своих* детей, но запрещалось привлекать к тому других. Кто из них совершал обрезание над иноверцем, был приговариваем к бесчестному и вместе жесточайшему, особенно с иудейской точки зрения, наказанию – кастрации. Если бывал обрезаем раб – то он становился свободным; а если раб по своему желанию обрезаем, то он конфисковался государством, т. е. не выходя из состояния рабства, переходил от еврея собственника в собственность казны. В законах Юстиниана (527–565) относительно евреев встречаются более строгие постановления: евреям было строго запр-

Благодарю за ответное письмо. Принимаю его в тех частях, где нет *критики веры*. К сожалению, мало таких частей. Отметаю эпитет: «*Вы* (т. е. я) лично – звено преобразующейся церкви»... Не признаю набросанной вами классификации фазисов: «православие (Матфей), католичество (Марк), Лука (лютеранство) и Иоанн – преобразующаяся церковь». Все это остроумно, свободно, безразлично... Для ума, пожалуй, но для сердца, для веры и упований любви... Буду ждать обещанного из статей Ваших. У Вас мысли прекрасны, благие намерения. Но способ передачи – «недоброго друга», неужели «недоброго»? – нет: *доброго, но неверившегося*, еще неверующего... от радости (?)... Вы говорите о «братстве со мною по любви, если не по духу». А я хотел бы быть братом по духу, а любовь сама приложится... А то тяжело страдать, да еще от друга, от «брата по любви»... Да тяжело. Мое сердце все еще не уймется.

В статье «Первые шаги отечествоведения» вы заводите речь о *календаре*. Я взял в руки календарь после статьи и стал *размышлять*, думать. Я и давно думал над вопросом о *календаре* нашем. Христианство и *календарь*: что общего? Месяцы: *январь, февраль* и проч. – языческие, по крайней мере *не наши*. Символические знаки (близнецы, рыбы, рак и проч.) – все далеко от веры. Лунные фазы: законы природы. *Святцы* и исторически воспоминания: церковная «вечная память». И все это вместе – трудно разобраться. Целые эпохи, целые культурные наслоения. У Вас ошибка в том, что Вы все это смешиваете: и исторические отметки, и праздники, и природу. И желая сохранить одно, укрепить, расширить, в данном случае (любовь физиологическую (?) к природе), Вы все религиозное устраняете, христианское, имеющее свою *социальную задачу и цель*. Вы говорите о возрождении любви к природе. Она необходима. Но церковь и не бегала от природы. Царство природы – царство Христово, равно как царство Благодати – церковь. Церковь урегулировала любовь к природе – к тому, что каждую вещь делают такую или иную. Отсюда миссионерская забота о круге праздников. Известно, что иной был праздничный год вначале, а церковь после приурочила Рождество к 25 декабря (вместо 6 января), и Пасху – воскресенье Христово – к лунному году. За это нужно только благодарить церковь. Исторические воспоминания – другое (напр., день Воздвижения Креста Господня). Тут нравственная и культурная цель, не идущая *вразрез* с природой. То одно, то другое. «Понурить голову»

щено приобретать прозелитов и между язычниками. Язычники, которые добровольно обрезывались, наказывались лишением имущества и пожизненной ссылкой, а врачи-обрезыватели – даже лишением жизни. Самаряне также лишались жизни, если они позволяли совершать над собою обрезание. Наконец, был издан закон, совершенно запрещавший и самим евреям обрезание – но евреи восстали против такого посягновения на их религиозную свободу... Иудейство среди всего этого не уничтожилось. Грубой силе гонителей оно противопоставляло те твердость и преданность воле Божией, которые в эпоху продолжительных и тяжелых страданий возникают обыкновенно при воспоминании о великих предках: а звеньями, связывавшими их воедино, им служили: общая вера, общая жизнь и общее упование на пришествие Мессии («Обрезание у евреев», историко-богословское исследование В. Соколова, Казань, 1892, стр. 53 и след.). Так новозаветное *распрострилось* с ветхозаветным. В. Р.-в.

можно не от праздника, а от *праздности*. Молитва в празднике – радость. Культурная бедность (у Вас «босячество») – умаляет силу праздничной радости. Но почему? Потому, что умаляется *сам человек* и его *богосознание*. Вы говорите о народе, что он «хилый и голый старик, религиозный пролетарий и культурный босяк». Краски ступены. Наш народ не таков*. И мало-важное не маловажно, когда производить великое. Русский простой народ – великий** народ. При чем «босячество»? Это «великий мудрец», преимущественно пред прочими народами приносящий душу свою *в жертву Богу*... О воскресении «курилки» смешно, страшно смешно. И Суворов чужак бывал. Св. Тихон Воронежский в борьбе*** с «Ярилой» был против Вашей «физи-

* В воскресенье, когда случится часов около 11 выйти из дому, всегда вижу я, перед «казенной винной лавкой» (поблизости к моему дому) стоят гуськом люди: головы понуры, молчание, спины сутуловаты. *Никогда – разговора! Слыха или песни, шутки – никогда же!* И до того это грустно видеть, что я ни с чем не умею сравнить. В. Р-в.

** Мне кажется, утешая себя словом «великий» и *не делая ничего для поддержания величия* – мы совершаем страшный исторический, и *роковой*, грех. Все великие люди, великие эпохи, великие народы так и *падали* («падение народов», см. у Иловайского) в гипнозе своего «величия», убаюкиваемые этим сладким сознанием, которому уже ничего в действительности не отвечало, или *еще* ничего не отвечает. У нас: «еще ничего пока»...

А годы – проходят, все – лучшие годы...

вспоминаешь невольно лермонтовский стих. В. Р-в.

*** Поразительно: неужели до начала XVIII века продержались даже *лица, олицетворения древнеславянского язычества*? Фактов здесь я не знаю, но не могу не задуматься: почему же народ 700 лет не разжал кулака и не выпустил из него маленьких «божков» своих, нелепых или злых, ложных (мнение богословов)? Что за привязанность среди моря восторжествовавшего христианства. И нахожу ответ для этого: в *осмысленности* празднований языческих, среди природы, свежих и чистых, как горный воздух. У нас стал воздух *запхлый, комнатный* (см. выше, об ожидающих открытия «казенной лавки»). Прежде была «бражка», теперь – водка. Прежде было весело, теперь – пьяно, смутно, гадливо. Сидят в трактире (я видал, в 70-х годах, в селах и по окраинам губернского города); глаза – мутные; скабрзные песни; грубое ругательство; *непреренно* – порнцание отсутствующего, злословие. Прежде – «завивали венки» и (для чего-то) пускали по реке; что-то вообще делали около дерев и с деревьями. Хороводы, т. е. медленный движущийся танец молодежи, девиц и юношей. Все, конечно, мало, в уровень с северной, приземистой березкой, – но в *родстве* и с южными пальмами.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.

И снится ей все, что в пустыне далекой
В том крае, где солнца восход
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет.

Эти *телепатически* грезящие друг о друге сосна и пальма хорошо символизируют наши сельские *хороводы* в отношении к древним греческим *хорам*, наши «завивания венков» в отношении к садам и рощам Адониса. Малое и большое, роскошное и красивенькое – одной крови, одного рода. Одна сестра «дурнушка» выросла на кухне, около прислуги; другая – в парадных залах, среди нянек, мамок, около любящих Отца и Матери. Но от одной Матери – оне, от одного Отца. В. Р-в.

ологии природы и физиологии любви»... Но довольно. Пора кончить. До свидания. Посылаю *и икону св. Юлиана**. Жаль, что она не дошла к Вам в свое время. В редакцию адресована была вместе с другими иконками. У нас был *о. Иоанн Кронштадтский*. Дивный человек и пастырь Христов. Я рад, что его видел и литургисал с ним. Было общение любви и братства о Христе. Это светоч веры нашей. Благодарю за добрые пожелания. Пишите, хотя бы то и случайно...

С истинным уважением

24 окт. 1901.

N. N.

Р. С. Ожидаю с нетерпением ваших статей на «Картины Лондонской национальной галереи» и «Дрезденской». Отчего оставили статьи о Лермонтове (о демонизме его)?

К ВОПРОСУ О СЕМЕЙНЫХ УЧИТЕЛЬНИЦАХ

Г. С. Говоров издал брошюру: «Брачный вопрос в быту учащих начальной школы». Москва. 1903 года. «Вестн. Евр.» в библиографическом отделе майской книжки в статье под прозрачными инициалами «М. М.» дает довольно подробный отчет об этой брошюру и разбор вопроса, в ней трактуемого. Вопрос этот затрагивался и на страницах нашей газеты, и мы позволим себе остановиться на нем еще раз внимание читателя.

Г. Говоров, желая разрешить фактически вопрос, как следует с чисто педагогической стороны смотреть на семейное состояние учительниц и учителей, разослал с вопросными пунктами до 700 писем к лицам учительского звания. Ответ был получен от 70 человек: 13 учителей (из них 2 холостые и 10 женатых, 1 вдовец), и от 57 учительниц, из которых было: 44 девицы, 11 замужних и 2 вдовы. Из них высказались за предпочтительность брачного состояния учащих:

11 учителей (1 холостой + 9 женатых + 1 вдовец);

35 учительниц (10 замужних + 1 вдова + 24 девицы).

* Не дошла до меня и на этот раз: и я так и не знаю этого прекрасного иконописного изображения. Но если оно *уставал не противоречит*, то вот глубокий вопрос: отчего же, когда мы, миряне, столь любим своих детей, эта наша любовь к ним не культивируется, не вдохновляется, не удлинняется и не обволакивается религиею через повсеместное воспроизведение замечательной иконы в церквах наших? Нельзя не заметить, что ведь художественная и архитектурная концепция всякого создаваемого храма идет уже не от *прихожан*, а от *причта*, от *епархиальной власти*: и вот в них-то, очевидно, и нет любви к детям в меру любви к ним прихожан, светских простых людей. Иными словами: если любовь к детям в *мире* = 10° (положим), то она = 3°, не более, у клира. И, следовательно, последний тянет долу это чувство, понижает его, расхолаживает. Кроме этого, я ничего другого и не говорю. В. Р-в.

Высказались *не против брачного состояния учащихся*:

8 учительниц-девиц (возраст между 30–45 годами).

1 учительница замужняя.

2 учительница-вдова.

Против брачного состояния учащихся высказались:

3 учителя, из них один женатый, высказавшийся лишь против брака учительниц, и другой – высказавшийся против брака условно.

12 учительниц-девиц (из них 7 в возрасте за 30 лет).

В общем: 80% высказалось за брак или не против брака, а 20% против брака. Так как опрос этот шел со стороны совершенно частного лица, и, следовательно, тот или другой ответ опрашиваемых ничем не угрожал им, то в этих ответах можно видеть не голос эгоизма, а рассуждение педагога. В особенности ценны показания замужних и женатых, которые вступили в брак едва ли перед учительством, а, вероятнее всего, уже пробыв некоторое время на должности учителя и учительницы в холостом и девичьем состоянии. Они имели внутренний опыт, которого не заменишь никаким рассуждением, которого не задавишь никаким внешним наблюдением: они знали мотивы своих занятий с детьми, напряжение энергии в этих занятиях, состояние своего духа во время классных занятий как в состоянии до брака, так и в браке. Среди вопросов, которыми задавался г. Говоров и которые он старался разрешить своими опросами, были следующие чисто педагогические: «Не влияет ли (безбрачное состояние) угнетающим образом на обычное состояние учащего? Не страдает ли от этого здоровье учащих? Не отражается ли при этих условиях безбрачие учащего вредно и на учебно-воспитательном деле его по школе?».

Как письменные разъяснения лиц педагогического персонала, так и собственный анализ вопроса приводит г. Говорова к заключению, что развитие семейного состояния скорее желательно в учительском составе и могло бы сделаться предметом покровительства. Спокойствие настроения духа, твердость воли, исключение нервозности и всяких причуд и капризов характера, так нередких на почве холостого или девичьего состояния, – вот, нам думается, ценные педагогические дары, ради которых можно поступиться небольшими преимуществами, какие есть на стороне холостого быта. Учитель и учительница одиночки хуже для ученика, но они значительно выгоднее для содержателя школы, для школьной администрации.

С одиночкой менее служебной возни. Одиночка податливее, послушнее, подвижнее. Это как перышко, поддающееся малейшему дуновению; вещь, которую легко переложить с места на место. Вот, в сущности, главные мотивы, заставляющие искать безбрачного учительского персонала. Посмотрите на городскую прислугу: и здесь «хозяева» всегда ищут безбрачных: меньше возни с ними и есть возможность ожидать от них исключительной преданности.

При практическом разрешении вопроса следует иметь в виду, что *дозволение* учителям и учительницам брака еще отнюдь не содержит в себе

всеобщего исполнения дозволенного. В брак будут вступать все-таки лишь некоторые. Далее, по вступлении в брак некоторые и сами оставят учительство: таковы будут все, кому учительское жалование не составит абсолютно требующегося подспорья. Во всяком случае вопрос идет, в сущности, об очень небольшом проценте семейных учительниц, которые ни в каком случае не могут составить обузы для города таких могущественных средств, как Петербург. Если даже предположить (чего особенно боится рецензент «Вестн. Евр.»), что иная семейная учительница попросит пособия на детей, то нужно же иметь в виду, что город имеет приюты, филантропические заведения. И не одинаково ли для него, не одинаково ли в мировой экономике, что дать хлеба и помощи ребенку с улицы, ребенку прачки, кухарки, работницы, или дать это самое ребенку интеллигентной труженицы? «Пожалуй, – иронизирует рецензент, – городу придется в иных случаях позаботиться и о содержании мужа, не говоря уже о детях, о найме для них кормилиц, нянь и т. п.». Не будем так сухи и не будем считать всего по счетам. Город несомненно должен желать от учительниц не просто формального труда в классах, «отсиживания» положенных уроков, а труда чистосердечного, доброго, одушевленного. Но это надо вызвать и заслужить. И можно это заслужить, только не отталкивая от себя сухо и черство некоторых интимных сторон подчиненных людей. «Как аукнется, так и откликнется». «Аукает» здесь город, а «откликается» учительница. А всю музыку слушаю городские дети.

Нам представляется дело брака, вопрос семьи настолько личным, интимным, и когда он в каждом индивидуальном случае уже завязался (привязанность, любовь) столь непререкаемым, что самое вмешательство в него, не говоря уже о запрещении, не может идти ни с какой стороны. Вопрос этот вообще трактуется грубо, механично, и нельзя этих эпитетов не отнести как к постановлению петербургской думы, так и к защите ее рецензентом «Вестн. Евр.». Он сводит все к примеру Европы, забывая, что мы, русские, имеем право своей инициативы, в каждом вопросе – собственной мысли.

Следовало бы обратить внимание, – пишет он, – что в Германии оспариваемый порядок замещения учительских должностей исключительно лицами безбрачными существует целыми десятками лет, а немцам трудно отказать в понимании условий благоустройства школьного дела, особенно в области народной школы. На вопрос одному из заведующих инспекцией берлинских народных школ: на основании какого закона в Германии делают такое установление, он объяснил нам, что на это и не нужно никакого закона, так как поступление на службу учащего есть результат его договора с городом, какой может заключать и частное лицо, не нарушая никакого закона: а именно – взять воспитательницу для своих детей и заявить ей, что в случае вступления ее в брак, она должна будет уступить место другой; то же самое делает и город: учительница, вступая в должность, подписывает Revers, дает подписку, что она в случае выхода замуж известит о том инс-

пекцию, а затем городской магистрат выдаст ей вперед за три месяца жалование с пожеланием всего лучшего в браке. Такой порядок установлен в Пруссии и Германии. Правила определения на должность учительниц, утвержденные петербургскою городскою думою, только повторяют то, что давно установлено в Германии, за исключением награды учительницам, выходящим замуж, – в виде свадебного подарка, и что, по моему мнению, также следовало бы усвоить и у нас.

Спасибо на пожелании, все-таки добром. Мы бы обратили, однако, внимание на то, что в древности был обычай тоже свободного и частного договора – «закладничества», по коему экономически и юридически необеспеченный человек «закладывал» свою «волюшку» богатому и властному человеку. Договор был совершенно частный и личный, непринужденный, свободный. Всякий мог подписать его и не подписать. Однако дозволило бы государство теперь такие договоры? Нет. Почему, однако? Потому, что свобода есть сознанная драгоценность, «святое право». А вот о браке и семье этого нельзя сказать. И от этого-то его все и обижают. «Луна на ущербе» – вот с чем его хочется сравнить. Но как станет темно всем, когда она исчезнет вовсе.

ЗАДАЧИ РУССКОЙ ШКОЛЫ

Опубликованный сегодня циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов, мы уверены, будет встречен с полным вниманием всеми теми, кому дорого воспитание русского юношества. Отмечая печальное состояние школьной дисциплины, министр не ограничивается одним формальным подтверждением о необходимости принятия более строгих карательных мер, которыми и так в достаточной степени снабжена наша школа. Министр усматривает в упадке дисциплины явный признак слабости учебной администрации и напоминая ей, что в ее руках есть очень серьезное орудие исправления – право не допускать воспитанника выпускного класса к окончательным экзаменам вследствие его нравственной незрелости, преподает к руководству учебному персоналу правила, полные доброжелательности к юношеству, учебного опыта и ясного понимания государственных обязанностей школы.

Прежде всего министр требует от преподавателей признания человеческого достоинства учеников, высказывая категорическое требование, чтобы преподаватели и начальствующие лица безусловно не позволяли себе в обращении с учениками грубых и язвительных замечаний, потому что оскорбление созревающего в юноше чувства человеческого достоинства может заронить в его душу семя недоверия к тому строю, которому служит школа. Министр требует затем, чтобы преподавание давало юношеству ответы на запросы молодой любознательности, которые оно ищет теперь вне школы.

Он указывает на русскую историю и на русскую словесность, как на предметы, сообщающие ученикам здравые воззрения на окружающую жизнь. Он рекомендует предлагать учащимся писать рассуждения на заданные темы и разбирать их в присутствии товарищей, ибо ничто так не образует нравственную личность юноши, как возможность высказывать свои мнения в кругу доброжелательных критиков. Циркуляр рекомендует преподавателям самое тесное сближение с воспитанниками и с их семьями, чтобы они не оставались чиновниками, от которых молодежь «кроме официальных слов никогда ничего не ожидает и о которых никогда не вспомнит, когда переживает сомнение и душевную борьбу». Считая христианские идеалы самым высоким воспитательным средством, министр напоминает, однако, что достойный воспитатель должен быть далек от лицемерия и призывания всуе Божьего Имени. Министр выражает уверенность, что педагогические советы встретят с действительным сочувствием требование его внести разум и сердечное попечение о юношестве в дело преподавания и сделают предметом обсуждения поставленные им в циркуляре вопросы.

Надо надеяться, что серьезные слова этого циркуляра возымеют свое действие. Наша школа должна быть государственной не только по средствам и по управлению ею, но и по духу: она должна вселять в ученика гражданские чувства. А достичь этого можно только теми мерами, которые рекомендует циркуляр: уважением к личности ученика, удовлетворением всех запросов его любознательности, правдивостью преподавателей, близостью их к тем душевным состояниям, которые переживаются юношами.

Невежество и ложь суть самые опасные враги государства и каждый русский гражданин обязан трудиться над исправлением темных сторон окружающей жизни, внося в нее искренность, правду и доброжелательность. Русская история показывает нам, что наша земля строилась на тех именно добродетелях, которые всего более увлекают юные души: на правде, верности, чести, храбрости, – вот почему русская история и есть наилучшая охрана молодежи от вредных политических увлечений.

Примирить горячую потребность в идеализме русского юношества с требованиями окружающей жизни есть обязанность русской школы. И циркуляр министра народного просвещения объявил об этом преподавателям и обществу.

О ЗВУКАХ БЕЗ ОТНОШЕНИЯ К СМЫСЛУ

Это было в Москве, в пору моего студенчества. Как теперь помню, я читал и конспектировал подаренный мне первый том «Римской истории» Моммзена. Содержание его, вращавшееся в величайших подробностях архаической поры Рима, было крайне утомительно; но мне, только эту зиму вступившему в университет, казалось, что все это «нужно знать», независимо от того, «скучно» или «не скучно». И я старался. В восемь часов подавался в мою комнату самовар. Я аккуратно заваривал ложечку, верхом, чаю, и пил его.

т. е. выпивал весь самовар; к 3-м часам утра самовар был уже ледяной; в стакане была чуть-чуть поддвеченная вода: «Кронштадт виден». Но пахло чайником, «Русью», и прилежный изучатель римских древностей пропускал в себя стакан за стаканом с последними сухими обломками и крошками белого хлеба.

Пустили меня за очень дешевую плату в одну немецкую семью, — собственно для того, чтобы я охранял хозяйку и ее маленькую дочь. Муж часто уезжал в долгие командировки, на месяц, на две недели, а раз даже на полгода. Не зная русско-го языка его «Fгаи» могла бояться в большой и пустыннй квартире. И вот, чтобы она не боялась или боялась меньше, — пустили студента. Мне отведены были три комнаты наверху, из которых я занимал две, а третья стояла совсем пустая, с яблоками и вареньем «на зиму». Хозяйка не говорила по-русски, кроме «здравствуйте» и «прощайте», я не говорил по-немецки, кроме «guten Morgen» и «gute Nacht»; иногда, раз в две недели, раз в неделю, я спускался к ней вниз. Сяду около ее швейной машинки, на которой она вечно починала белье. Так просидим с полчаса, даже с час. Затем рассеемся, пожем друг другу руку и разойдемся.

Она была очень милая, еще молодая и добрая. Звали ее «Frau Constanzia».

Разумеется, мне и в голову не приходило ухаживать. И ни тогда, ни потом. Просто не могу представить себе: «ухаживать за чужой женой»; это то же, что воровать из кармана носовые платки, осложняя это дело чем-то вроде подделки векселя. Подделываешь «дружбу к дому, к мужу», и похищаешь величайшее его сокровище, устой жизни и счастья. «Кража со взломом», «растрата казенных денег»... нет, это все меньше и слабее сравнительно с нарушением «покоя чужого дома». Поразительно, что это у нас не судится, не судят. Конечно, я здесь не говорю о случаях несчастной семьи, где иногда любовь и «похищение» есть только вывод из тюрьмы узника: дело героизма, свободы и рыцарства.

Но возвращусь к своим вечерам. Дом был деревянный и довольно большой, но не торговой, а собственной для себя постройки, старый, барский. Кроме немецкой семьи, в нем жила только хозяйка дома, очень-очень пожилая девушка, слушавшая в молодости еще лекции Грановского, знакомая с Кудрявцевым (преемник Грановского по кафедре), и вообще изящно и литературно образованная. С нею я познакомился в большом домовом саду, уже незадолго до выезда из этой квартиры. Раньше же никогда ее не видал. Она занимала главную парадную квартиру дома, отдавая немцам его заднюю половину. У нее была, кажется, совершенно древняя и недвижимая мать и большая челядь. Она была дворянка, бывшая помещица. «Дурна, как обезьянка», — пояснили мне немцы на ломаном русском языке; но живая, смуглая, маленькая, энергичная и очень привлекательная грацией и вежливостью широко развитого и воспитанного ума.

Повторяю — я ее никогда не видал, а только слышал о ней. Оттого ли, что она была дурна собой, или по чему другому, но она никогда, никогда не показывалась.

Играла ли она на рояле – я не знаю. А вот это-то и надо было бы узнать. Дело в том, что, когда я отрывался от Моммзена и откидывался, усталый, на спинку стула, – в глубокой ночи (о, какой глубокой!), я через несколько секунд прислушивания всегда слышал музыку. Она была без ясных контуров. Скорее тень музыки, чем музыка. Но после внимательного прислушивания, она всегда слышалась, как далекое-далекое и заглушенное. Стена в моей комнате была глухая, и вообще «наша» квартира отделялась от хозяйской половины совершенно. К тому же, в соответствии с моим мезонином мог быть только мезонин же, а рояль мог стоять только в нижних парадных комнатах. Значит, если это играла «обезьянка», то звуки проникали ко мне лишь через систему зал, лестниц, коридоров и совершенно глухих стен, и я не знаю, возможно ли это. Таким образом, были ли эти звуки объективны или совершенно субъективны, я и до сих пор не знаю. Но они, во всяком случае, казались мне *не моими*; и в такой ночи, таком безмолвии – они казались «откуда-то», без сколько-нибудь уловимого средоточия, «фокуса».

И вот всегда мне в ночи казалось, что есть «кто-то» и где-то, от кого идут эти звуки; одинокий, точнее – одинокая; запертый, вообще не свободный; очень грустящий. И кто украдкой, когда его никто не может слушать, выражает в игре свою душу. Впрочем, это была одна линия мыслей. Другая линия мыслей состояла в том, что вот было что-то, чего не вернешь, а настанет ли, чего ожидаешь, – неизвестно, и вернее – что не настанет. Все в жизни лукаво, изменчиво и в высшей степени проходяще. Звуки ведь были чуть-чуть слышны, при крайнем прислушивании, и мысли также не приобретали контуров, а неслись не сформированные, тоже без центра и «фокуса». Но они были чрезвычайно серьезные, страшно. Я думаю, вот в такие минуты и образуются наши «убеждения», формируется духовная личность, с коею встречаясь в жизни – мы так часто не можем в ней объяснить, что и откуда идет. Может быть, и идет все вот от таких «ночных звуков», о которых что же знаешь, встретившись с личностью и расспрашивая: 1) где она служит; 2) в каком учебном заведении воспитывалась; 3) кто ее родители и 4) каковы ее средства. Все выпросишь, всю «материю жизни», а души-то в ней и нет. «Душа» же родилась, может быть, вот в таких звуках.

Звучащий воздух, атмосфера, наполненная звуками; нет – вибрирующая звучно: что это такое? Кто из нас не любит тихого, едва доносящегося звона далекой церкви. Замечательно, что утром звон не производит того впечатления, как вечером и что в *дождь* звон опять же не производит никакого впечатления. Странные соответствия. В ветреную погоду звон тоже не нужен. Нравится звон в совершенной тишине, очень далекий, вечером, когда у вас самих тихо на душе или когда нет вокруг никаких людей, и когда вы идете по аллее, в саду, в поле; вообще среди деревьев или в поле. В городе, на улице, на площади – церковный звон не нравится. Но при соблюдении условий, которые я перечислил, кажется, что вибрирующая атмосфера... одушевилась что ли? Во всяком случае, самый воздух, в котором

звучит колокол, уже не тот, что прежде, без звуков. Я бы назвал его *освященным* воздухом, как есть *святая вода*, освященная своим способом.

Кстати. Все, мною сказанное, относится к русскому звону. Сколько раз, проходя мимо католических церквей и в России, и в Италии, и слушая их неловкое звяканье в колокол, я удивлялся: отчего церковь, столь могущественная, притязательная, столь страстная выразилась звуковым образом столь бедно и слабо; столь художественная церковь выразилась так некрасиво. Отчего, в параллель пророкам и сивиллам Микель Анджело в Сикстинской капелле, не взять было им тысячепудовых колоколов и не загудеть ими, как Иван-Великий в Москве. Но – не идет! Ведь не идет? Наши гудящие колокола – мягки, нежны. Это семинарист, только что выпущенный из училища, запустивший бородку, присмотревший невесту, сытенный, добренький, назавтра посвящаемый в «отца диакона», – пробует голос, завязывая галстук перед зеркалом. «И хорош же я, и молод, и невеста меня любит, и начальство не обидит», – вот милая и бытовая картина, о которой звучит всякий соборный колокол. У католиков – ни быта этого нет, и не пошли бы к ним эти звуки.

«Да это – мяуканье кошки», – подумал я эту весну, проходя по Невскому и в тысячный раз выслушивая с удивлением и загадкой лязг колокола на католической церкви св. Екатерины. И когда, с найденною мыслью, я прислушался еще – я уверился. Тут и Варфоломеевская ночь, и всего есть. Звук, правда, как будто маленький. Но резкий, резко определенный, глубоко металлический. «Мяу», «мяу»... Оттого католики и привязались, и оставили у себя навечно эти звуки, что они «пришлись» к ним, как к нам: «бум, бум» протодьякона-колокола. В их звоне – что-то недостигнутое и вечно достигаемое. «Сегодня еще нет, но завтра будет», «послезавтра», «когда-нибудь», но – *будет!* Это – главное! Настойчивость, хищность, упорство, беспощадность – все есть в этом странном и в конце концов (при прислушивании и размышлении) страшном «лям», «лям», зовущем к мессе.

А у мусульман – муэдзин на минарете, приглашающий «верных» к «намазу». Тоже своя психология, и другой, совсем другой мир.

Когда я в первый раз, еще гимназистом, забрел в католическую церковь («дай – посмотрю»), я был только рассмешен приседающими мальчиками, которые быстро и нервно звонят в тоненький колокольчик, проходя перед алтарем-престолом. Вот уж «звуки без мысли». Детская игра, недостойная места и «сана». Да, немного есть тут детской игры, «в кошку и мышки», что ли. Игра в церкви... ни протодьякону, ни семинаристу, основательно остановившемуся на невесте и взвесившему приданое, она не придет в голову. Просто – не нужно и не интересно. Ноги не так устроены. Но «Давид скакаша перед ковчегом»: вот в какую даль веков надо отнести этих припадающих на одно колено мальчиков, таких хорошеньких, в белых, кружевном шитых рубашечках, которые все время зрительно мелькают на фоне католической службы. Представляю себе, до чего привыкли к ним и полюбили их, за тысячу лет истории, католические богомольцы, богомолки; уж если мы так привыкли и полюбили, действительно полюбили, своих старинных

дьячков с заплетенною косичкою. Католики любят «нарядного Бога», скажу уж я так, просто, по-русски. И сами любят рядиться перед Ним: кардиналы – в красное, епископы – в лиловое; и еще множество разных орденов – в разные цвета. В Риме я был поражен многоцветностью католицизма: просто улица пестреет, когда проходят воспитанники разных ихних школ.

И еще третьи звуки: колокольчики по подолу первосвященника в ветхозаветном богослужении. «И сделай по краю одежды первосвященника: яблоко и позвонок (= звенящий колокольчик), яблоко и позвонок», чередуясь – и по всему подолу. Это заповедание, шедшее от Бога (Моисею), ясно показывает нам, что металлические звуки во время служения Богу как-то и почему-то угодны Ему. Я думаю – освящение атмосферы. «Все освящая вокруг себя – и воздух; все преобразяй из естественного сотворения в священное». Так я объясняю себе, за неимением других объяснений. Но почему именно *колокольчик*? Я уверен – в воспоминание о пустыне:

Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые выюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюды за верблюдом, взрывая песок...

Колокольчики в Скинии Завета звенели как бы этим старым звоном привычным израилю, который он слышал постоянно и в Египте, рядом с знойными пустынями, через которые переходили караваны, и в Синайской и Аравийской пустыне, по которым проходил он сам. Это как бы воспоминание о Рюрике при Грозном, воспоминание о Киве в Москве. Странствующие моменты израиля были главными моментами его истории; как и сам «Отец верующих» (Авраам) был тоже странствователь. Во Флоренции, рядом с Дуомо (городской главный собор), стоит Баптистерия (крестильня). Двери ее, работы XV века, из зеленой бронзы, представляют в своих 8–10 квадратах сцены из жизни Иакова, Лавана, Ревекки и Исаака, Авраама; вообще – пустынный и странствительный период жизни евреев. Работа чудно хороша. Но сюжет помогает работе. Что за тайна лежит вообще в пастушеском, полевом, подвижном способе существования, нам, таким тысячелетним домоседам, трудно представить. Но и через тысячу лет привычки поднимается в душе точно родное-родное что-то, седое и забытое, дедовское и атавистическое: и новый странник «заграницы» почти вытирает слезы умиления и восторга перед металлическим, т. е. уже холодным, воспронзведением духа и форм тех эпох. Не от этого ли Бог и отверг жертву Каина-земледельца и принял жертву Авеля-скотовода, что второй способ жизни лучше для человека и угоднее Творцу его. Не в связи ли с этим и знаменитый «праздник кущей» (= рощ, кустов) у евреев, установленный еще Моисеем, едва они осели, стали домовиты: «Сидите дома 51 неделю; но 52-ю неделю в году проведите под открытым небом, за городом, в поле». Это – для напоминания и воспитания. Да ведь и сам «Отец верующих» в Библии определяется в следующих словах, обращенных к евреям пророком: «Отец ваш был *странствующий арамеянин*».

Австрия – Галиция, 28 мая 1900 г.
Засов (Zassów Dwór)

Мною получены некоторые возражения на статью: «Об основаниях церковной юрисдикции», которые, быть может, не покажутся излишними для внимательного читателя. Автор их – католик, и прислал их в письме, помеченном: «Австрия – Галиция, Zassów Dwór, 28 мая».

* * *

«В статье вашей, помещенной в апрельской книжке «Нового Пути», я имел бы заметить следующее:

Стр. 134¹⁴ (это значит: четырнадцатая строчка от верху). Истинная вселенская Церковь Христова всегда давала и дает свободу, но свободу «сынов Божиих», а не «сынов Белиала».

Стр. 134⁹. Церковь вселенская, какую создал Христос, непоработанная гражданскою властью, имеет право наказывать преступников своих законов, но этого нельзя называть преследованием, или гонением. Всякое общество совершенное, т. е. имеющее в себе верховную независимую власть, имеет и право наказывать, или карать. И Христос создал такое общество*... «созижду Церковь мою»... «дана мне вся власть, итак, идите и научайте все народы»... «паси агнцов моих, паси овец моих»...

Стр. 135¹. Христос, однако же, прогнал бичом купцов из храма; это что-то вроде преследования, но так как это было *легально*, т. е. Богу *угодно*, то оно не было *преследованием*. Превышение власти, или злоупотребление ею – это действительно преследование, или гонение. Но применение правильной власти – не гонение**.

Стр. 135¹². Эта предпосылка была не только в Евангелии, но и в Ветхом Завете, сейчас после греха первородного. Ведь никто не спаслся иначе***, как веруя в грядущего Спасителя мира. Ведь и у

* Следовало бы ожидать, что «церковь» не только «общество», а *больше и выше* его; и порядок, и законы ее существования и ее воздействия – *выше и возвышеннее* обыкновенных «общественных».

В. Р-ов

** Совершенно *государственный, юридический* строй понятий. Ну, и французы «делают правильное применение власти», изгоняя конгрегации: как же тут быть? Где же царство благодати, *исключающее закон*? Мир, история – уж скорее *организм*, нежели государство; церковное общество уж скорее бы *семья*, нежели юридический строй: а то ведь выйдет, что семья и человеческое тело живут по принципам более мягким, глубоким, сложным и мистическим, чем Ecclesia Romana.

В. Р-ов

*** Все это слишком приурочено «к нам» и напоминает теорию первых славянофилов о том, что «франки» – «гранки» (живущие на границе), откуда: «франки были *славяне*». Искусственно и наивно.

В. Р-ов

язычников были пророки: был Валаам, были Сибиллы, было перво-бытное предание.

Стр. 135¹⁷. Св. Франциск Ассизский и любой человек и может, и должен, как прежде, так и теперь, взирая на природу, узнавать Бога; но это познание естественно; между тем как Бог сотворил людей для сверхъестественного.

Стр. 135⁷.⁸ Иерархия, действительно, должна усиливаться вырвать нас из этой «мели», но прежде всего должна сама себя вырвать из порабощения гражданской властью. Без этого она не вырывает чад своих, а тоже порабощает. Вселенская же Церковь, т. е. западная и не соединенные с нею восточные, хотя иногда порабощенная материально, но зато духовно она еще свободнее. И на деле она вырывает чад своих из мели скептицизма*, но чад, желающих этого, обращающихся к ней за помощью.

Стр. 136¹³.¹⁹ Скорбь после отсутствия Жениха и меч, принесенный Христом, это действия врагов Христа, действия «мира сего», коего «князь – сатана», но Церковь, истинная Невеста Христова, должна же иметь Его же Духа, т. е. карать, но не преследовать**. Но русская Церковь*** потеряла право карать, ибо отрелась от власти, данной ей Христом, отрелась в пользу государства. Права отречься от власти не дал ей Христос. Эту верховную власть Христос дал Церкви в виде «камня» и «ключей» и пастырского посоха, врученного Петру до конца мира, т. е. в лице его преемников. Иное дело, если Церковь иногда обращается за помощью против строптивых своих детей к старшему своему сыну, т. е. светской власти (и царей же эта мать-Церковь родила Христу). Этот старший Сын имеет даже полномочие на такое спешествование своей Матери****: «Ты не имел бы никакой власти надо мной, если б тебе

* Скептицизм (религиозный) разлился по лицу Европы. Тут нужно иметь в виду следующее. Когда скептик ищет «спасения» от сомнений у иерархии церковной, он – уже не скептик; и роль иерархии: «спасения от скептицизма» легка, ибо уже без нее сделана. Так и я спасу каждого сомневающегося в таланте Розанова, если он обратится ко мне со словами: «Вам только верю». Легкое «спасение». Сила иерархии против скептицизма выразилась бы в том, если бы она избавляла от него и сомневающих в самой иерархии. Здесь есть преимущества православия над католичеством: своею мягкостью, неприневолимем, оно внушало «упование на Бога», веру в Промысл людям, крайне скептически относившимся ко всей иерархии, к сумме церковного строя (Хомяков, Гнляров-Платонов).

В. Р-ов

** Тонкие различия. Спине моей больно, когда по ней вытягивает и ремень со штемпелем: «Это – карание», и ремень со штемпелем: «Это – преследование». Все этн рассуждения интересны для наказующего, но не интересны для наказуемого.

В. Р-ов

*** Напоминаем, что пишет католик и что его суждения нуждаются в соответственной поправке.

В. Р-ов

**** Полная теория инквизиции и auto-da-fe: «Передаю вам (светским властям) это непокорное мое чадо для наказания легчайшим способом, без пролития крови» (= сожжение), прозвонило Святейшее Судилище формулу, передавая искаленное пыткой, полуживое существо в руки государства.

В. Р-ов

не было дано сверху». А что Пилат злоупотребил этою властью, это другое дело. Но на переделание своей Матери в свою служанку – рабу, сын, т. е. государство, не принял полномочия от Отца.

137¹⁹. Этим наказанием Бог наказал врагов и убийц Христа, но не чад Его; и наказание произошло не от Церкви, а от Бога. Такие наказания бывают во всемирной истории, напр., город Сен-Пьер на Мартинике, Геркуланум и Помпея, разгром Польши и т. п.

Стр. 137¹. Нет нового и старого «благостения»; оно одно. Но оно знает двойного рода боль: исцелительную и карательную, как в сем, так и в том свете. Боль ведь не от Бога, а от греха, грех же от создания или от самой твари. Бог делает из боли лекарство против греха: а ведь делать из яда лекарство – не боль и не зло, а любовь и милосердие. Боль, как возмездие, тоже не зло, а справедливость; насколько она зло грешнику, то грешник сам себе*, но не Бог это зло делает. Делает он себе это зло, пренебрегая любовью. Бог ведь есть Любовь. Адские муки – это пренебреженная любовь**; но кто ж в этом виноват? Разве Бог, потому что Он Любовь и не может не быть Любовью?

Стр. 138¹⁸. Присоединилась Божия сила для перенесения скорби. Да хотя бы и не присоединилась новая сила, то ведь и бывшая у Марии – от Бога и не вне Бога. Не жалеет*** Мария этой муки, так как без нее не могла бы обладать столь великою наградой, какой теперь обладает. То же самое и Христос, как человек, и его праведники. Сверх того, всякое страдание, во имя Христово перенесенное – искупительно****.

Стр. 138¹. И сектанты (те же еретики), и святые «входят в неисследимые тайны Евангелия», с той только разницей, что первые выносят

* Все это рассуждения опекуна, а не отца. Я – человек: а как сын мой занозит палец, я не говорю ему: «Сам виноват», а охаю с ним и ташу его занозу; а не могу – то удвоенно охаю. И никакой присказки: «Сам виноват». Вот то-то и больно (и страшно!), что в обыкновенных человеческих отношениях как будто больше доброты и милосердия, чем в... «трансцендентальных». Об этом вся моя статья и написана. «Больно мне! Больно нам (людям)», – кричу я; а мне дают в ответ какую-то алгебру в изложении Малинина и Бурейна.

В. Р-ов

** Все это рассуждения не от «Сына и Отца», а от «опекунства и опекуна». Великая заключена идея, и надежда, и обещание в «любви отчей», особенной, милующей, не считающейся. Какне «расчеты» при богосыновстве?! Таким образом, все рассуждения автора, алгебраические, проходят мимо главных обещаний Евангелия, в силу которых оно и названо не просто «вестью», т. е. «извещением», «сведением», а «*благою* вестью».

В. Р-ов

*** Об этом надо бы у Нее Самой спросить: а то богословы любят влагать свои мысли вот даже, напр., Деве Марии. Слишком неосторожно.

В. Р-ов

**** Опять – мучительная теория, ведущая и к мученичеству (себя), и к мучительству (другого) или, во всяком случае, к холоду душевному при виде страданий другого.

В. Р-ов

оттуда яд своего собственного авторитета, а другие мед авторитета Церкви вселенской.

Стр. 139^{2,3}. Но кто ж сможет до такой степени «унезжить слово», кроме «Слова, которое плотью стало».

Стр. 139⁵. Серного запаха нет, но есть хуже его: запах «вечного пламени» (сравни притчу о богаче и Лазаре, и слова Христа на страшном суде к стоящим по левую сторону).

Стр. 139⁷. Есть и физические ощущения, напр., читая описание мук Спасителя, разве не прослезился иногда? А это ведь физическое ощущение.

Стр. 139¹⁰. Не удивительно, что Евангелие и вообще Св. Писание «единственная книга», ибо настоящий автор ее – Святой Дух.

Стр. 139^{13,24}. Эту особенность, хотя Вы на нее и указываете, трудно заметить. Ведь угроза Капернауму и Хоразанину вовсе не нежно выражена, равно как и это: «Вы от отца диавола... и в грехе вашем умрете» и т. п. или муки богача в аду. Эти строгие слова для грешников, не пожелавших каяться; но вместе с тем они самый дельный толчок для приведения тех же грешников к покаянию.

Стр. 139⁸. В Ветхом Завете можно усмотреть тот же самый дух, что в Новом; там же ведь Давид прощает Саула и Семю и Авессалома. Ветхий Завет, правда, не так совершенен, как Новый, но не противоречит ему*.

* Все это слишком обще и слишком удобно для апологетики. А где жертвы? Обрезание? Спасаются за ответом: «Пал обрядовый закон Моисея». Но ведь Моисей был его не изобретатель, а *передатчик*; и, если сомневаемся в словах его: «Так говорит Господь Бог наш: слушай, Израиль», – то почему уж не усомниться и в словах пророков: «Так говорит Господь: скажи сынам израилевым». Тогда весь Ветхий Завет станет человеческим, а не Божиим словом. Но это недопустимо. Итак, пал не *Моисеев* «обрядовый закон», а *Божий* – пусть даже и «обрядовый». Но *обрядовый* ли? Неужели отвергнуть крещение и причащение – значило бы отвергнуть «обряды христианства», оставшись верным духу – существу его? Так думают только штундисты и рационалисты. Вот и мы, в отношении к Ветхому Завету, являемся такими штундистами и рационалистами, думая, например, что содержим какое-то «духовное обрезание», отменив физическое. Обряд есть *способ, манера, руководящее* в данном исполнении закона; например, что жертвенное животное можно резать и *так, и иначе*, обрезание произвести или *каменным ножом* (у евреев в древности), или *стальным, или черенком*. Но *вовсе* не производить обрезания – это значит уже коснуться не обряда, а *завета*. Еще говорят, что тот завет был только *предварительный*, в целях педагогических, воспитательных: но сам Бог сказал и Аврааму, и Моисею: «Даю тебе это в завет вечный», «да истребится душа того, кто не исполнит этого». Последнее возражение состоит в том, что то был закон *национальный, племенной, израильский*, а к *человечеству* он не имеет отношения. Однако сказано было Аврааму: «Обрежись ты и *все домопадцы в даму твою*», т. е. уже люди не от семени Авраама, *не израильтяне*. Все это говорю я в критических целях, призывая апологику к новым усилиям, показывая негодность ее старого арсенала. *Сам же я*, новый человек, как и все, и не могу уже связать души своей с «обрядовым законом Моисея», как стали бы называть *весь* Ветхий Завет со своих точек зрения.

В. Р-в

141³. Так что ж из этого, что добровольно? Разве этот поступок нравился любящему и запрещающему самоубийство Богу? Нет, он понравился только заблудшему духовнику, имевшему духа государственной, но не вселенской церкви.

Стр. 141⁷. Ведь не менее же красоты и в словах: «Если ты любишь Меня более других – паси агнцы мои, паси овцы мои...», «утверждай братию твою, ибо Я молил о тебе, дабы не оскудела вера твоя». А слова, изреченные к Иерусалиму, разве не стократ красивее звучат, если их применить к любой государственной, национальной или аутокефальной церкви? Тем красивее и жалче, что судьба Иерусалима уже свершилась, а эти церкви могут всегда прибегнуть и скрыться под плащ Невесты Христовой и родной сестры своей* – а не хотят! Как же они ответили на привет главы этой Церкви?!

Стр. 142 сплошь. Но ведь Господь же своих друзей вырвал из погибающего Иерусалима: «Уходите в горы, когда придут эти дни», точно так же и Лота с сыновьями из Содома и Гоморы? И кроме того, многие, как из содомлян и нерусалимлян, так и в потопах, хотя погибли временной смертью, но не вечной. Итак, нет нужды заподозреть Господа, что Он фаталистически предназначает одних на радость, других на печаль.

Стр. 142². Есть боль в Евангелии, но причиненная врагами, но не друзьями, не матерью Церковью! к чему вы, кажется, ведете.

Стр. 143⁷. Главы города, как духовные, так и гражданские – это не *шайка*, но именно *город, как таковой*. И Давида или Соломона распяты, распиная того, кто «больше Соломона».

Стр. 143¹⁶. Пророчество – не приказ; оно угроза условная. Ведь пророк Иона положительно говорил ниневитянам: «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена»; а все-таки, когда Ниневия обратилась и покаялась**, – не была разрушена. А Иерусалим имел не 40 дней, но 70 лет расщочки, и не Иону проповедником, а Петра с апостолами, и тень Петра, исцеляющую всякие болезни, и пример 5000 людей, обращенных одной речью Петра, и множества даже из «священников, приставших к верующим» (смотри деяние Ап.); имел этот город и Никодима фарисея, и Гамалиила, и Савла, и Стефана; и все-таки не захотел покаяться, только убивал Петра и Иоанна, и закрыл уши руками на речь Стефана. Как же этаким город жалеть, если он отбрасывает всякое сожаление? Ведь Св. Петр им же говорил: «Знаю, что по незнанию вы убили Иисуса, но теперь Он воскрес, как предсказал; мы свидетели – ели и пили с Ним; обратитесь, кайтесь». Но они не хотели. Итак, кто же виноват в

* Говорится о католицизме.

В. Р-в

** Перед кем? Перед израильтяем Богом – это очевидно, ибо ведь Он ее «за покаяние», конечно – не перед иным Богом, – и пощадил. Итак: в Ниневии исповедывался Бог израильский, хотя под другим именем, под именем своего ниневийского «Иеговы». Вот полное разъяснение отношений язычества и еврейства... Обращаем эти слова к г. Алексею Введенскому, автору обширного начатого исследования: «Религиозное сознание язычества».

В. Р-в

разрушении Иерусалима? Бог или он сам*? Нужно ведь быть справедливым по отношению к Богу!

Стр. 143¹⁰. Антропоморфический взгляд не может относиться к Богу воплощенному, ибо Он не только человекообразен, но и действительный человек. Этот взгляд может быть применен только к Богу не воплощенному, как его применяют евреи в своем Талмуде.

Стр. 144¹¹. Мука-то была там и виновных, и невинных; но первых (если они не каялись, погибая) связана с мукою вечной по смерти, а других сопряжена с вечным счастьем**.

(30 мая, на несколько часов в Кракове).

Стр. 144¹⁹. Ясно ведь предсказал Господь, что не те, которые говорят ему: «Господи! Господи!», войдут в царство Божие, но «делающие волю Отца моего», т. е. кормящие голодных, одевающие голых*** и т. д.

* Все это слишком несповедно. Через 2000 лет, и для нас, не имеющих перед глазами *живого Иерусалима*, как картины, как красоты, как *самоуверенности* – легко решать к его ущербу; для нас итог подведен и мы судим банкрота, как *всегдашнего нищего*. Такова психология нашего суда. Две тысячи лет она была совсем обратная. Петру и Иоанну еще не было воздвигнуто соборов Ватиканского и Латеранского: они все были «как Гамалиил», *люди*. С *людьми* шел спор. Еще не было идеи, учения, традиции о «святом», «святых» в нашем смысле. Христианство зачалось, а не стояло Новым Царством, станом победивших. Поэтому авторитеты, поразительные для моего оппонента, не были поразительны для израильтян. «Храм, *наш* храм! Сион *святой!*». Бутон на ветке *не смел усамнитися* в крепости корня и ствола дерева, от которого он вышел. И слова ап. Петра: «Знаю, что *по незнанию* вы поступили так с Иисусом» – еще более можно повторить о нем: «*По незнанию* они так поступили с Петром, Павлом». . . Но *неведение* зовет к пощаде. Неведение было, а пощады не было. Ведь и друзья Иова его *упрекали*. Как бы нам, судящим Иерусалим «на гноище», не очутиться в положении друзей Иова. Да, и *кто* мы, *судящие*, какие праведники? Странно видеть Александра Борджиа и Фотия, или, положим, законоучителей Рудакова, Соколова, оо. Титова и Дёрнова (все ведь они рассуждают об Иерусалиме «как виновном») судьями Гамалиила, Савла, Никодима (*не пришедшего* вторично к Иисусу). Иаира и его дочерн, и всех сонмов, восклицавших: «Осанна сыну Давидову, благословен градый во имя Господне».

Плохие мы судьи, вот в чем дело. И не нам судить эти страшные и несповедимые судьбы Сиона. Самодовольного фарнсейства в нас много.

** Опять католическое суждение: «Бейте *всех* (при взятии альбигойского городка): Бог различит на том свете *праведных от неправедных*». Слишком трансцендентно – для земли – больно.

В. Р-в

*** Да, «милосердие». Но *была* ли католическая церковь *милосердна* к народам, мирянам? Вспомним посылку Вильгельма Нормандского на завоевание Англии. «Голодные» и «не одетые» – так это и понято буквально, без всякого многоочия, без всякого расширения. Вспоминаю такой случай: один родственник Наполеона I вступил в брак: о его правильности возникло сомнение. Папа, желая быть любезным к императору, выразил желание («лично рассмотреть это дело»). Уже из того, что папа не мог сразу сказать: «Брак невозможен по каноническим основаниям», видно, что «препятствие к браку» было крайне неясно, запутанно и не содержало ничего в себе непозволительного ни с физической, ни с нравственной стороны. Однако по достаточном «рассмотрении» брак оказался неправильным, и супруги, уже повенчанные,

И потому, нет места и не будет места никакому недоумению. Иисус не изменник, не оставит одними ведомых Им. Он же сказал: «Никто не отнимет из руки Моей моих овец». – «Не знаю вас» – ударит только не хотевших знать Его!

Стр. 144⁴. Это плебс признавал Иисуса Илиею и пророком, даже хотел схватить Его и провозгласить королем, т. е. Мессиею. Но Иерусалим, т. е. вожди плебса, сказали слепорожденному: «Мы знаем, что этот человек грешник». Ведь чудеса Иисусовы Синедрион признавал, почему же не хотел признать Его сыном Божиим в высшем смысле этого слова; ведь облегчил им это Христос, не сказав ни разу: «Я – Бог»; но только: «Верьте делам моим, если не хотите верить словам». Ведь ни один пророк не воскрес, как Иисус. Для такого признания не нужно было вековой ученой разработки. Столько частных евреев признало Иисуса Мессиею, даже из фарисеев (Никодим, Иосиф Аримафейский, Симон прокаженный); значит, не принявшие Его не имеют никакого оправдания; пусть пеняют на себя. Ведь и до воскресения Иисус указывал им сбывшиеся на Нем пророчества. Нельзя же становиться адвокатом Синедриона (теперешнего кагала) против Христа, неизмеримо более любившего и любящего их, чем мы. Нельзя же заставить любить силою, но только любовью, и, если любимый не принимает, отбрасывает любовь любящего, тогда эта любовь не может не перемениться ему в самый злейший яд.

Фома верил в Христа, как Мессию еще до Его воскресения. В чем, собственно, заключалось неверие Фомы? Разве он не верил, что Христос – Бог? Эта вера, правда, потускнела у него чрез смерть Иисуса; но положительное неверие его касалось только свидетельства других апостолов о факте воскресения: говорили ему: «Мы видели Иисуса»; он ответил: «Я вам не поверю, пока сам не увижу и не коснусь». И когда он коснулся, тогда не нуждался уж в вере со апостолами, ибо видение и прикосновение вытесняет веру (вера ведь только в слышанное, по авторитету повествующего). А то, что Христос ему сказал: «Ты увидел и уверовал», относится к Его Божеству, всегда невидимому для плотских очей: ты увидел Меня, человека воскресшего, и ты уверовал, что я Бог (Фома ведь пал ниц и сказал: «Господь мой и Бог мой»).

Стр. 145². Какая же тут ошибка? Разве не спрашивали Христа (правда лицемерно): «Скажи нам откровенно, ты ли Мессия?». Ответил им: «Го-

были разлучены. Любовь умерла: возможные дети умерли (ибо не родиться – все равно, что умереть). Ну, что бы тут припомнить о голодных, «которых надо накормить», и озябших, «которых надо одеть». Но папа, да и вообще иерархия, предлагает «кормить» и «одевать» мирянам мирян; а свое имущество (каноническое право) крепко держит в кулаке. Ведь в данном случае, современном Наполеону, папе *ничего не стоило* дозволить брак, очевидно, даже для него неясный в своей дозволенности или недозволенности. Но представился случай шегольнуть ученостью, отыскать мнение какого-нибудь схоластика XI–XIII века; и как Самсон побывал филистимлян ослиною челюстью, убить эту ослиною челюстью XIII века живую человеческую чету. Что же удивляться, что миряне ни малейше не слушаются, когда иерархия их учит: «Раздавайте милостыню».

ворю вам, и не верите». Каиафа сказал: «Кляню Тебя Богом, скажи: Ты ли Христос (Мессия), Сын Бога благословенного». Значит, две первые заповеди не мешали ему соединить идею Мессии с идеей Сына Бога благословенного; и все-таки, когда Христос ответил утвердительно, он считал этот ответ богохульством! Значит, не ошибся Каиафа и его единомышленники, но упрямо отверг истину, потому только, что она не хотела согласоваться с его убеждением, с идеей, которую он себе составил о Мессии, и с заведомым упрямством не принимал очевидных противоположных доказательств.

Стр. 146³. Сектанты не безвинны, но ни православная Церковь, ни правительство не имеют права их наказывать, так как Церковь русская не вселенская, а петровская, государственна, национальна, зависима.

Стр. 146¹⁴. Да, пожалуй, церковь русская, может быть, разрывала бы собственную грудь, да, и собственно говоря, она давно уже разорвала свою грудь, со времен Исидора и Флорентийского собора, когда передала царю непогрешимость в делах веры и позволила ему разрушить только что начавшуюся свою вселенскость.

Стр. 146⁶. Что такое косвенное в Евангелии? Это заключения нашего ума из евангельских данных, но разум наш может ошибаться, а потому ему дан авторитет единой вселенской Христовой церкви.

Стр. 146¹. Ветхий Завет в мысли Божией имеет подобное отношение к Новому, как червь к своей бабочке*; Евангелие – это усовершенствование, выполнение** Ветхого Завета, но никак не противопоставление ему. Искрениый искатель истины не должен натягивать ее к своему мнению, но – свое мнение переменять соответственно истине***. Он

* Все эти и подобные аналогии весьма удобны словесно, но не покрывают глубины действительности; закрывают, а не раскрывают истину. «Даю вам это в завет вечный», «завет со Мною». Вот это-то «вечный» и надо не оговорить, не обойти «бочком», с помощью «бабочка-куколка», а ответить об этом прямо и честно. На таковой ответ у богословов силы и не хватает.

В. Р-в

** Все это слишком обще: «усовершенствование», «выполнение». Причем же тут *все* храмовое устройство Ветхого Завета? Неужели собор св. Петра или «Никола в столпниках», «Никола на Курьих ножках» (название двух московских церквей) представляют собою «дополнение и усовершенствование» Иерусалимского храма? Но тогда для чего *сами* православные и католики так *излучают* последний, с таким восторгом, как нечто *единственное, разрушенное и невозстановимое*. Нет, что-то чувствуем мы, самые ортодоксальные христиане, погибшим там, в «ветхом завете», и к нам не перешедшим. Вспоминается древнее, еще у Геродота записанное, оплакивание египтян и сирийцев: «Он умер! Он умер, возлюбленный!», но без ответного через три дня восклицания: «Он вновь найден, утраченный!». Вот такой-то «утраченный» и мною оплакивается в Сионе. И не отцам 3-чу, Дёрнову, Титову утешить меня: «Мы тебе вместо Сиона, а вот и история о нем Рудакова». Слабы вознаграждения.

В. Р-в

*** Ну, что же: не в силах я этого сделать. Давлюсь, но не в силах.

В. Р-в

должен стараться узнать взгляд Божий на данное дело; взгляд же Божий на отношение Нового Завета к Ветхому – явен.

Стр. 147¹⁴. Действительно, злой Израиль и до сих пор так думает и соответственно делает. Но добрый Израиль – это апостолы и верующие из обрезания.

Стр. 147¹⁶. Павел другими словами это сказал. Ведь Иисус и верующие евреи тоже его братья по плоти. Не от Иисуса желал он быть отлучен ради братьев неверующих, а от счастья своего собственного, даже вечного, если бы это было возможно без отделения от Иисуса. Золото этой любви осталось на любящем, ибо любимые не хотели его взять.

Стр. 148⁴. Но ведь и это аналогичное слово подсказано, так сказать, Моисею, равно как и Павлу, Святым Духом. А слова, заподозривающие Бога в несправедливости, подсказывает злой дух, сатана.

Блудные, но кающиеся сыны принимаются Отцом, как в Новом, так и Ветхом Завете. Но не кающиеся не жадают прощения. Возможно ли быть прощенным, отгаликвив прощение*? Вот и есть грех против Св. Духа, не прощаемый ни на сем, ни на том свете!

Стр. 149⁶. Ведь в русской церкви не каноническое право, а гражданское вмешивается в брак; и это поистине неосновательно**, так как брак между христианами – таинство, и рассуждение о таинствах принадлежит церкви.

* Не входя в богословие, сужу как отец: да, сколько раз я даже *любовался* детьми в минуты их гнева на родителей (т. е. меня). Так приятно видеть крошечное 3-х, 5-летнее существо, «расхлывшееся», всякую ласку отвергающее в сознании какой-то своей 3-х летней «правоты». Чудная картина; кусочек-человек, а уже сколько ума, характера, воображения, пламени. Никогда не хотел бы я видеть в детях своих подобие комнатной собачки, понуро следующей на ленточке за госпожею. Так, думаю, и вообще в природе; и, между прочим, в отношениях человека к Богу. Бог сотворил человека как красоту. И нужно было векам схоластической выучки пройти, чтобы человек, красивая тварь Божия, посмотрел на свои отношения к Сотворившему, как запуганный бурсак на строгого и желчного о. ректора.

В. Р-в

** Позвольте, позвольте, не торопитесь. 1) Семья есть *мое* счастье; 2) она и сумма их (семей) есть *условие* упорядоченного строя *государства*. *Начинается* семья с «брака» (венчания), который совершает церковь. Не должна ли была последняя принять *во все внимание*, во-первых, *мое* счастье и, во-вторых, идеалы государственной упорядоченности. Но 1400 лет назад, церковь «благословила брак», сложив для него чин венчания. Благая минута и благое действие. Затем начинается история *наивности личной* и *наивности государственной*. И лица, и государства, чрезвычайно любя и ценя семью, как свое *счастье* и свое *благоустройство*, пожелали для нее всякой украшенности, торжества, и ввели этот наряд церковный, как *conditio sine qua non* «обязательное условие (*лат.*)» «вступления в брак». Таким образом, «верховье» семьи (как есть «верховья») у рек, *откуда* оне берут начало) попало во владение духовенства. Известны длинные тяжбы, вековые, монастырей с селами и городами из-за таких-то «угодий»; известна биография игуменьи Митрофании; известно искусство католических монастырей прибирать к своим рукам богатые наследства. Получив, через сложение чина венчания, «верховье семьи» в свое обладание, духовенство целой Европы напрягло все силы, чтобы сообщить этому обладанию *taxim* альную

Стр. 149¹⁰. Не сказал Иисус: «Не как я хочу, а как вы сами»; но: «Как Ты, Отец». Бог ведь лучше знает, что для нас хорошо, чем мы сами.
Стр. 150¹. Не до страшного Суда, только до смерти каждого из нас.

ценность и выгодность для себя. Завязалась вековая, и на протяжении целой Европы, борьба за брак. «Мне он нужен», – говорит личное счастье, говорит государство. «С нашей точки зрения – невозможно его дать в таких-то и таких-то случаях» (случай папы при Наполеоне). Нужно заметить, церковь с своей стороны дает только «благословение». Наивность государств и частных лиц заключается в том, что, хотя для них всех совершенно очевидно было, что часто семьи неблагословенные живут лучше, счастливее и нравственнее благословенных, в которых встречаются и грубости, и измены, и жестокости, и убийства, однако они слили в *собственной* представлении: 1) нравственную семью с 2) семьей церковно благословенною. Через это ценность «верховьев семьи» необыкновенно возросла. Все, каждая семья, целое государство, в семейном отношении стали зависимы от «благословения церкви», которое в веках стало даваться труднее и труднее. Например, всякий католический брак, повенчанный священником *не своего прихода*, – расторгается, как незаконный; а от него родившиеся дети считаются «незаконнорожденными», хотя бы он, во всех других отношениях, был правилен. Эта общая психология действовала в отношении к браку. Он стал похож на орден, с трудом выдаваемый. Ни детоубийство «незаконнорожденных», ни появление домов терпимости, ни заваленность больниц сифилитиками не смутила протестантских, католических и русских клириков, которые все больше и больше заграждали «верховья семьи», тем повышая ценность отпускаемых оттуда вод. Завыли частые лица; занегодовало – сперва «под сурдинку» – государство. Но занимает и нажимает: нельзя венчаться «в такой-то степени свойства», «в такой-то степени родства», «если крестили вместе», «если есть духовное свойство или родство», «если не совершен оклик» или «нельзя, мы не можем его совершить» (петербургское рабочее пришлое население); и, словом: «Живите, пожалуйста, живите, – но в блуде, без закона, тайно или явно, проводя время в кафе-шантанах или яхшаяся с проститутками». Где-то я прочитал в Талмуде: «В человеческом теле 122 косточки». Вот этого «счета костей», а следовательно, и сбережения тела, никогда нельзя было найти или добиться у европейской «Митрофанин». Муллы и раввины – они также обладают браком; но, будучи сами брачны, и неограниченно брачны, не имеют даже и в *догадке* сократить, сузить «верховье брака». И результат тот, что: 1) обойдите вы сифилитические отделения больниц – ни одного там татарина или жида; 2) в кафе-шантанах – ни одного «гостя» из этих «нехристей»; 3) ни одного убитого дитяти «татарченка» или «жиденка»; 4) ни одного процесса в суде об «убитой или истязуемой жене». Ведь это значит же что-нибудь! Разница, стоит ли у «верховьев брака» Соломон или Сулейман, сам человек многодетный, знающий все оттенки в семье счастья, – или иссохшая смоквиница, не дающая ни тени, ни плода. Спорили в Религиозно-философских собраниях о 1) благословении науки, 2) благословении искусства, 3) благословении веселий. Ну и благословили бы: а через 100–200 лет вытекла бы отсюда такая цензура науки, искусства и всей «благословенной жизни», под которой философия, художества и общественная жизнь закорчались бы, как караси на сковородке, или, как теперь незаконнорожденные и незаконносожительствующие. Не говоря о Ницше и Канте, не прошли бы в печать и Бэкон, и Декарт; а вместо итальянского Возрождения Европа получила бы в назидание «суздальских богомазов из владимирского села Холуй».

В. Р-в

Стр. 150². Разумеется, что когда мы будем в царстве небесном, то нам поветшают не только синоптики, но и Апокалипсис. Но вряд ли войдут в это царство толкователи в таком роде Св. Писания.

Стр. 150³. Эта боль, может быть, не была бы худшая, но исцелительная и для самих ортодоксов; ибо, не преследуй светская власть сектантов, не преследовала бы и желающих примкнуть к церкви вселенской православных, и, таким образом, может быть, в непродолжительное время и сама православная церковь очутилась бы соединенною с вселенской, не в обряде, разумеется, но в догмате и правлении.

Есть у меня еще заметки к страницам, от 209 до конца; но я думаю, что и теми Вас утомят.

Т. М. 3-ич

Эта густая сеть замечаний показывает, что религиозная мысль, развиваемая на страницах «Нов. Пути», вовсе не есть праздная мысль, так-таки и недостойная разбора русских мыслителей. Любопытно, что столь подробные заметки на полях представляет католик и зарубежный человек. На замечания – я сделал замечания же. Но прибавлю и общее резюме собрату-христианину: где же в суждениях его след того, что мы, судящие, беседующие, уже «куплены кровию Агнца», где признаки, что наша философия – «мессианская», в круге «мессианского царства»? Увы, все те же римские суждения; тот же языческий закон суда и наказания, вины и возмездия. Ничего нового!! Где же «Царь Славы»; и обещания, что «лев ляжет около овцы» и «прядь курящегося льна не будет загашена». Мне статью мою и внушило это чрезвычайное удивление, при озирании кругом испытываемое: что ничего-то ничегохонько *нового* за «1901» год не произошло, не выявлено, а все старо – старо как истершиеся скрижали Моисея! Ничего не чувствую в груди своей; и никто не чувствует. Я «не преображен», и все мы «не преображены». Куда нам до Закхея и мытаря, людей Ветхого Завета! Предоставляю совершенно Рудакову, Соколову, Дёрнову, Титову, 3-чу верить, что «малейший из них больше значит в царстве небесном», нежели пророки, и Моисей: но о себе этого не могу думать, ибо этого не чувствую. Плох я. И плохи мы. И плоха наша эра. Нет в нашей жизни, в быте, в правах, да и ни в чем, ни в чем признаков «новой эры», какого-то радушного, глубже обыкновенного дышащего, счастливее улыбающегося. И вот это-то «ничего нового» – и внушило, повторяю, мне те подозрения, на которые сетует мой оппонент; и не рассеял их своими заметками.

ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Преобразование женских педагогических курсов, которые стояли в тени около высших женских курсов (бывших Бестужевских) и женского медицинского института, в законченное высшее специальное заведение представляет собою многообразный интерес и важность. С исторической точки зрения это

есть возобновление или повторение Педагогического института, но только на этот раз с питомицами-слушательницами, а не с питомцами-слушателями. Закрытие в 60-х годах Педагогического института, давшего России несколько знаменитых имен (напр. Н. Данилевского, Н. Страхова, Н. Добролюбова) и множество честных тружеников на важнейшем педагогическом поприще, едва ли не было крупною ошибкою министерства народного просвещения. Единственное в России специальное заведение, готовившее учителей гимназии, и вообще специально культивировавшее педагогическую область, было закрыто как раз перед учебною реформою, которая и осталась без наставников-исполнителей, за недостатком которых пришлось обратиться к пресловутым «чехам». Тип учителя несомненно понизился у нас в последнюю четверть минувшего века, сравнительно с тем, каков он был раньше. Здесь дело заключается не в одной выработке известного контингента учителей, но в том, что подобное специальное заведение вообще развивает в стране известный уровень педагогических требований и готовностей, развивает педагогические вкусы, взгляды, не дает угаснуть педагогическим интересам и проч. Стране нужны не только медики, но и медицина, не одни агрономы, но и цикл сельскохозяйственных наук и сельскохозяйственного образования. Учебное заведение вообще не только готовит человека к чему-нибудь, не только дает стране профессионалов-работников: оно развивает в себе и вокруг себя необыкновенно живительную и воспитательную атмосферу интересов избранного направления. Факультеты университета готовят специалистов науки, филологов или математиков, но они не занимаются и не могут заниматься, иначе как в ущерб своим задачам, педагогическою стороною преподаваемых наук и педагогическими способностями студентов. Нельзя, разясняя возникновение народного эпоса, его филологическую и мифическую сторону, в то же время делать побочные экскурсии в гимназическую программу VI класса; нельзя, читая дифференциалы, отвлекаться критикою арифметических задачникков. Словом, нужно признать и навсегда помириться с тою элементарною истиною, что университет ни малейше не готовит и не может готовить учителей средних учебных заведений; и ожидать этого так же странно, как требовать от шкуры определенного зверя качеств шкур всех других звериных пород. Министерство народного просвещения, осуждая (в 1870–1899 гг.) университеты за недостаточную или неумелую подготовку учителей гимназии, судило лишь себя за попытки жать там, где не сеяло. Оно хотело поправить дело основанием знаменитой Лейпцигской филологической семинарии, но из этого вышел только смех и никакого толка: получились какие-то «чехи в квадрате», «чехи туземного русского приготовления», и ни одного настоящего педагога, настоящего филолога.

Преобразовываемый с осени нынешнего года, из частных курсов зыбкого характера и судьбы, женский педагогический институт поправит, хотя и не полно, эту нашу историческую ошибку. Инстинкт русского общества оказался дальновиднее и правильнее взглядов министерства народного просвещения, как они сложились в последнюю треть прошлого века. В то са-

мое время, как министерство закрыло единственное у себя высшее педагогическое заведение, стали открываться частные курсы педагогического характера, – и между ними – преобразуемые ныне в институт. Таким образом, общество поддержало своими одинокими усилиями ту традицию культивирования педагогических интересов, перерыв которой был бы опасен и во всяком случае чрезвычайно неприятен для государства. В настоящее время, когда учебно-воспитательные вопросы выдвинуты на первый план и признаны в своей чрезвычайной важности государством, оно, естественно, возвращается к давно помянутому плану высшего специального педагогического заведения. И будем надеяться, что женский педагогический институт получит существование более стойкое и счастливое, чем бывший мужской главный педагогический институт в Петербурге, готовивший также историков, словесников и математиков для гимназий.

Это – сторона общегосударственная. В то же самое время женский педагогический институт, становясь около женского медицинского института, выводит как бы второе крыло мало-помалу формирующегося женского университета в России. «Курс института – четырехлетний; в нем остаются два отделения: словесно-историческое и физико-математическое. В каждом из них первые два курса посвящаются исключительно теоретическим занятиям, состоящим в слушании лекций и главным образом в самостоятельных работах, направленных к расширению образования слушательниц; с третьего учебного года преобладающее значение получают практические педагогические занятия». Это – части двух факультетов университета, только с педагогическим приспособлением или дополнением. Произнеся слово «женский университет», мы, конечно, ни мало не настаиваем на термине, ценя более сущность дела. Очень важно, что весь круг высших научных знаний, связанных с именем университета и до XIX века бывший исключительно предметом мужских занятий, мало-помалу становится доступен и женщине. Несомненно, женский педагогический институт, как и медицинский женский институт, ставит русскую женщину, русский женский талант перед очень высокими задачами и призывает к очень высокому долгу.

До сих пор женщина русская трудилась исключительно на низшем педагогическом поприще: как учительница сельских и городских начальных училищ и как преподавательница в низших классах женской гимназии. Недостаток высшего научного образования, именно недостаток для женщины соответственных частей университетского преподавания, не пускал ее далее. Учительский персонал женских гимназий был поэтому крайне пестрый: начинали гимназисток учить учительницы, – сами со средним гимназическим образованием, – а кончали их учить учителя, большею частью имеющие уроки в женских гимназиях, как побочное пополнение главного своего заработка в мужских гимназиях. Не было строго определенного и устойчивого контингента преподающих в женской гимназии. Между тем женская гимназия в численности своей сравнивалась давно с мужскою, а когда открылся женский медицинский институт уже с задачами государствен-

ными, обширными, – к женской гимназии, естественно, предъявились и требования преподавания приблизительно столь же строгого, точного и обширного, как и к питомцу мужской гимназии, готовящемуся в высшее заведение. Таким образом, подготовка учительского персонала специально для женских гимназий стала задачей времени. И раз женщине открыто вообще высшее образование, не было причины не подумать об университетском и вместе педагогическом образовании учительниц для всех классов этих учебных заведений. Можно думать, однако, что как женские гимназии не будут вовсе «очищены» от мужского учащего персонала с университетской подготовкою, так равно женщины с университетским же, в сущности, подготовлением к преподаванию предметов математических, исторических и словесных, будут иногда или вообще допускаться к исполнению учительских обязанностей во всех классах мужских гимназий. Не разделяются же и не предполагаются к разделению мужчины-врачи и женщины-врачи у кроватей пациентов. Мужскому труду открыт необозримый почти простор чиновной службы всех рангов и наименований; позволительно не часть только педагогического труда, но большую его часть в стране передать или возложить на женщин. Государство начинает много делать для женщины, женщина должна ответить за это благодарною службою.

Почетный попечитель женского педагогического института, назначаемый Высочайшею властью из членов Императорской Фамилии, будет избирать по усмотрению своему директора института, его начальницу и двух ее помощниц, т. е. весь воспитательный персонал, а также пользуется правом определения и увольнения лиц педагогического персонала, каковыми могут быть только профессора высших учебных заведений или женщины, имеющие равный ученый ценз. Нужно заметить, что таковых было и есть у нас несколько: вспомним Софью Ковалевскую, которая понесла свой математический талант и знания в Швецию, хотя могла бы и оставить все это для России, или г-жу Балабанову, которая по знанию кельтических языков и наречий представляет редкое явление учености, если даже взять последнюю в европейском масштабе. Это высокое положение почетного попечителя института, равно как учреждение в нем конференции для дел учебной части и воспитательного комитета для обсуждения и решения дел воспитательного характера указывают на самую высокую постановку вновь организуемого женского заведения. В нем завершается пирамида женского педагогического труда, как и вообще возводится вершина женских учебных заведений. Он будет, несомненно, господствовать и над женскими гимназиями, и над женскими институтами, как рассадник их учителей и воспитателей. Особо высокое назначение почетного попечителя бесспорно связывается с традиционным строем женского институтского у нас воспитания, всегда находившегося под особым покровительством Императорской Фамилии.

И строй, и история этого нового высшего учебного заведения обещают быть очень интересными.

ЗАМЕТКА

<О несчастных случаях в поездах>

«Случаи гибели людей на дачных поездах близ Петербурга... повторяются всегда при одновременном прибытии двух встречных поездов на одну и ту же станцию», – пишет хроникер, описывающий ужасный случай гибели г-жи Кавезиной, 17 лет, под колесами локомотива Балтийской железной дороги 7 июля.

Однажды мне случилось чуть не попасть под колеса подобного же поезда и при таких же условиях. Выйдя на станцию, где поезд стоит минут пять, и захватив в буфете два пирожка, я вышел и торопливо, и рассеянно на платформу, чтобы, перейдя рельсы, сесть в свой вагон поезда, стоявшего на второй паре рельсов. «Отойдите, отойдите», – сказал, растопыривая руки, сторож: и в ту же секунду выдвинулся прямо перед носом локомотив и поезд на первые рельсы. Если бы я чуть-чуть быстрее шел, или особенно – бежал, я не удержал бы инерции и очутился под паровозом, даже увидев его вовремя. То же случилось бы, если бы чуть-чуть я был рассеяннее, или разговаривал бы с кем-нибудь, или просто шел бы в свой вагон немножко поодаль от этой сажени пространства, где сторож растопырил свои руки. Полное свинство выразалось в том, что подошедший поезд, и в такую критическую для пассажиров минуту, даже не звонил, как это бывает на больших станциях при маневрировании поездом, не свистел, – и, словом, нимало не предупреждал публики, не звал к себе ее внимания, а шел на толпу людей, испуганно разбежавшуюся перед его колесами, и шел очень быстро, энергично. Что это за способ предупреждения: «Пожалуйста, посторонитесь». Около машин должны быть и машинные способы предупреждения: свисток, звон, повелительный и пугающий, издали слышный. На рельсах или поблизости к ним могут быть глухие, слепые, больные, слабые ногами, очень старые и слабые люди, или малолетние, или очень впечатлительные, которые, имея движение перейти через рельсы и увидя перед носом поезд, конвульсивно бросятся вперед, а не назад – и погибнут. Ведь если «лучший капитан» общества «Надежда» направил, с перепуга, горевший пароход тоже вперед, а не назад, к явной гибели людей, то чего же ожидать от публики, специально не готовившейся маневрировать так и этак среди движущихся поездов, и когда для размышления нет все-таки минуты, бывшей в распоряжении капитана «Петра Первого», а есть только секунда, в каковую проходит поезд 5–10–12 сажен рельсов?! «Полное свинство», – сказал я и об отсутствии звонка, и, наконец, особенно о том: да для чего же одновременно и вплотную подходить к крошечной станции, на минутную остановку, двум поездам, когда так легко второму подходящему поезду или чуть-чуть задержавшись – дать уйти первому поезду, или остановиться, не доходя нескольких сажен до станции, или во всяком уже случае – стать на вторую пару рельсов при занятой первой, а не на первую, когда по ней непременно должны сейчас пойти и уже идут са-

диться в свой поезд пассажиры. Лошадь-дура – и та не лезет на человека. Смешно, когда мудрое железнодорожное начальство сует разумные поезда прямо вам на голову. Смешно и – кроваво. Тут – небрежность и никакого оправдания. За такие вещи следовало бы штрафовать, и жестоко штрафовать, уже не стрелочников, а чинов повыше, начиная с господ «начальников движения» дорог.

Бесконечно жаль несчастную Кавезину, и кровь стынет при картине ее гибели, которая ведь могла и завтра может сделаться картиною гибели кого-нибудь из наших родных и нас самих.

ТРАГЕДИЯ С КАМЕННЫМ ДОМОМ

Это было давно. Я еще учился в университете. И вот, проезжая по одной из улиц Москвы, прилегающих к Басманной площади, выслушал рассказ:

– Вы видите два этих каменных дома. Они принадлежат вдове, матери двух дочерей, – одной замужней и другой девушки. Вторая дочь уже тоже в возрасте, но мать и слышать не хочет, чтобы отдавать ее замуж. При первом слове о замужестве, у нее на лице появляется ужас. И в самом деле, бедная очень обманулась с браком старшей дочери. Жили втроем припеваючи. Ни хлопот, ни забот. Большое состояние, и так как девушки были недурны собою, то не могло быть и сомнения, что все не торопливо устроится само собою. Приезжает из Петербурга в Москву молодой человек, только что окончивший курс в одном из специальных технических училищ, и, знакомясь с семьей где-то в третьем доме, делает визит, бывает, нравится и ухаживает, и, наконец, делает предложение старшей дочери. Опытная вдова, прежде чем дать согласие, отправляет верного человека в Петербург разузнать, расспросить о прошлом будущего зятя. Посланный собирает сведения и привозит ответ, что он все время учился хорошо, был отличный товарищ и совершенно удовлетворительный ученик, и что если за ним бывали шалости, то совершенно в пределах молодых обыкновений. Препятствий не было, никакая очевидность не говорила «против» и брак состоялся. На второй год он бросил жену, и чрезвычайно грубо.

– Как?

– Кажется, не до брака, но вскоре после него он упросил жену переписать на его имя вот один из этих двух домов, которые вы видите, и который старушка мать передала старшей дочери. Вы можете судить здесь, сидя на извозчике, что это неблагоразумно. Чужое горе легко разбирать, а к своему уму не приложить. Тут гипноз ласк, доверие, борющееся против недоверия, правдоподобность, принимаемая за действительность. Обманываются ученые, мудрецы, политики, можно ли очень судить, что обманулась пятидесятилетняя помещица и молоденькая женщина, которые решительно не имели причин не доверять человеку *comme il faut**, умному, деятельному и

* приличный (фр.).

предприимчивому, начинавшему в это время свою службу. Он привел самые убедительные доводы, почему ему нужны в руки сейчас деньги, и большие. При отказе он не грубил, но становился печален, уныл, а иногда, в раздражении, и резок. Ведь она ему жена, жена и муж – одно, очевидно, он не захочет ее погубить, потому что это значит губить и себя, свою живую вторую половину.

«Ты, Манечка, его жена, и если он разорит твое имущество, то ведь этим разорит свое имущество, своих детей, – и, конечно, он ничего не разорит, а деньги ему подлинно нужны для какого-то, как он говорит, залога по должности, которую сейчас же и получит. Мы тут не понимаем, а он человек порядочный»...

– Ну?

– Перевод дома состоялся, и как только он получил в руки купчую, сейчас же его и продал за сколько-то тысяч. Она уже готовилась стать матерью и все плакала. Но он с этим мало церемонился. Бывало на глазах ее соберет в дом гуляющих девиц, позовет товарищей и устроит танцы, а потом оргию. Что же сделает 22-летняя беременная женщина прежде всего против физической силы?

– Как что? Закон, полиция, суд?

– Да какой же для них предмет суждения? Что молодой человек веселится? Так это в законах не запрещено. Напротив, капризы жене очень запрещены. «Жена да боится своего мужа». Всякую ее жалобу к суду, к полиции он мог обзвать капризом, да ни с полицией, ни с судом он и разговаривать бы не стал, зная, что никакого у них права нет вмешиваться в его частную семейную жизнь, ну, а ее домашними способами наказал бы. Да ведь для любящей женщины – а она его любила – что одно значит уже, что муж на нее сердится, не разговаривает, ругает ее? Ругает... А могло бы и хуже, а было и хуже, когда она протестовала против ввода в дом свой девиц самого сомнительного поведения и устройства ночных оргий.

– Ну?

– Когда деньги были получены за дом, а место все-таки почему-то не вышло, или он сам не нашел нужным взять его, он бросил все и уехал. Счастье еще, что не взял с собой жену. Сперва писал из Петербурга, впрочем, недлинные, письма, что вернется или что выпишет к себе жену, но чтобы она пока разрешилась от бремени в Москве, но уж какое тут разрешение! Родила мертвого и сама хворала. Но потом написал, что и не вернется, кажется, и что ей некуда ехать, потому что он, между прочим, выезжает в какую-то ученую командировку в Сибирь. По всем видимостям, он и точно в Сибири, так говорят и, кажется, об экспедиции было в газетах. Вообще он *есть* и *нет* его; для молодой женщины и для ее матери – во всяком случае *нет*.

– По крайней мере развели?

– Никаких причин для этого. Старушка благодарит свою судьбу, что он по крайней мере не взял дочери с собою, которую мог бы мучить и даже мог бы хоть торговать ее телом. Суд не может вступаться по обстоятель-

ствам, которых закон не предвидел, а закон этого не предвидел. Но она питает истинный ужас перед браком, никого не принимает в дом, кроме старинных своих знакомых, и в особенности никого из молодых людей не допускает до второй младшей дочери. Таковы грустные обстоятельства этих двух каменных домов, мимо которых мы проехали. «И через золото льются слезы», – как решила народная мудрость.

– Но я понимаю, когда «слезы льются через золото» в случае неисцелимой болезни или в случае благоприобретенной в молодости худой и опасной привычки, например к пьянству, мотовству и разврату. По-видимому, все эти три добродетели были у молодого жениха и мужа, о котором вы рассказали, но в данном случае «порок торжествует, а добродетель наказана», и притом как по человеческим, так и по Божеским законам. Я станюлюсь нетерпелив, хоть это и чужое дело.

– Знаете, вечная справедливость и наши маленькие делишки не уживаются в согласии. Молодой женщине все-таки кое-что осталось. Ну хоть сознание, что она невинна. А, вы это ни во что не цените, но не такова религия. Позвольте, кто же был счастливее: Сократ, или поднесший ему яд цикуты раб и, наконец, его несправедливые судьи? «Дело не в счастье, а в достойном счастье», – как говаривал покойный Вл. Соловьёв. Конечно, эта женщина гораздо счастливее своего мужа, но счастливее небесным, для нас мало заметным способом, тогда как ее муж счастлив земным светским счастьем, которое для христианина хуже всякого несчастья. Вы не согласны?

– Согласен-то согласен, да уж очень больно. Слушать даже больно, а каково терпеть...

Мой собеседник вынул папиросу.

– Напрасны иллюзии, что все можно предвидеть на земле, предвидеть и устроить и урегулировать. Нужно терпеть. Христианство показало человеку универсальный щит против всех горестей, это – терпение. В этом его великая заслуга. Эта женщина предавалась бы отчаянию...

– Да почему вы думаете, что она не предастся отчаянию?

– Я говорю о достойной женщине, что она и в таком положении найдет утешение в молитве и милосердии. Пострадав, она будет сострадательна к другим. И капля крови, у нее взятая, обратится в целительный бальзам на раны множества нищих, бедных, находящихся в темницах, больных. Великие храмы христианского милосердия все и воздвигнуты на частичном христианском страдании, а прототип этого – в Христе. Вы говорите, что женщине этой больно страдать. Но разве Христос не страдал, и еще более невинно? Вот философия всякого страдания, философия и объяснение, а наконец, и провиденциальная цель...

Он был взволнован и от старой папироски закурил новую, а старую бросил.

– Послушайте, вот вы не захотели остаться без папироски и, воодушевившись, закурили даже новую, а... не лишили себя «блаженства» поку-

рить. И женщина эта... могла бы иметь детей, ее старушка – внуков, пошли бы в садик погулять, заказали бы в садике самовар, чашки саксонского сервиза, старинное серебро с вензелями, ей Богу отлично! Почему не отлично?! Только плюнуть на этого негодяя, ну его к черту, ей дать разводную: ведь не сплошь же все негодяи, ведь это исключение: и после несчастья могло бы выдти удвоенное, утроенное счастье...

– А сырые, больные, увечные?

– Что?!!

– Кто же бы им помог, если бы эта женщина вышла в счастье? Все должны быть несколько несчастливы, потому что есть некоторые безусловно и непоправимо несчастные. «Носите тяготы друг друга и тем исполните закон Христов»... Все должны быть несколько грустны, дабы никому не было чрезмерно, невыносимо грустно.

– Вот вы и отучились бы курить, а выходящие на табак деньги относили бы в богадельню. Нет, вы красноречивы, а не убедительны. Да за детей и честного мужа эта женщина отдала бы в вашу богадельню половину второго дома. И неужели от счастья и при счастье нельзя делать добра, быть сострадательным?! Что вы! Что за убийственная мораль! Вы впали в опаснейший круг суждения, *circulus vitiosus**, что несчастье нужно для облегчения несчастья... Да я видал именно молодых и счастливых женщин, которые на второй год безоблачного супружества устраивали крестьянам больницы, обходили избы, начинали учить, и все весело, бодро, без утомления... Нет, я вам расскажу восточную легенду, в противоположность нашей хныкающей благотворительности.

– Рассказывайте.

– Благочестивый и богатый старец, обремененный стадами, детьми, внуками, невестками, зятьями, имел дом на перепутье больших дорог, где находил себе отдых, пищу и питье всякий путник. И вот, в добрый час доброй жизни, он решил, что нехорошо с его стороны, что, имея дверь в дом с запада, он заставляет утомленного дорогою путника, бредущего с восточной стороны, обходить целую сторону дома, прежде чем дойти до крыльца. И он прорубил новую дверь и с востока, и так сделал на все четыре страны горизонта. И стал на молитву, и поблагодарил Бога за доброе свое намерение.

– Не так, не так, сказал ему Бог. Ты думаешь, что уж больше и нечего сделать. Но мой раб Иов садился сам на крыльцо и, увидев издали путника, спешил ему навстречу, и облегчив его ношу, приглашал к себе в дом, и приводил, и угощал. А ты только открыл нуждающемуся ближайший доступ к обилию, которое имеешь от Бога.

Вот не торопливая, не нервная, не болезненная доброта, столь противоположная нашей.

* порочный круг (*лат.*).

ОТКУДА «ЗЛЫЕ МАЧИХИ»?

Воображение народное как похвалю, так и порицанием прилепляется не к чему-нибудь воображаемому, а всегда к действительному. И если чего-нибудь оно невзлюбило, возненавидело, заклеимило именем, которое из обыкновенного нарицательного имени превратилось в кличку дурного человека, значит, в долгих веках глаз народный подсмотрел тут недоброго человека и недоброе явление. Таково слово «мачиха». Сколько легенд и сказок приурочено к этому имени? Между стареющею мачихою и юною падчерицею образуется ненависть, которую кончает нередко темная могила последней. Между мачихою и пасынком нередко возникает страсть, которая приводит к сыноубийству. Насколько есть религии и поэзии, тепла и света в матери – воплощении любви и самоотвержения, настолько тьмы и злобы живет в мачихе, этом воплощенном эгоизме. Да и винить особенно, чрезмерно нельзя: жизнь так близка, а между тем связи по крови нет, и есть соперничество материальных интересов. Дети от первой жены едят хлеб детей второй, участвуют в их наследстве. Я должен сказать ради справедливости, что встречаются и прелестные мачихи, а есть и положительно несчастные, забываемые пасынками и падчерицами, которые думают, что она отняла у них любовь отца. Но антагонизм вообще возникает. Если дети первой жены уже взрослые, победа бывает на их стороне; если они крошки – побеждает мачиха.

«Где любовь – там и Бог». Ясно, что эта сторона семейного быта устроена так, что в ней скорее поселяется, призывается дьявол.

Мне приходилось знать одну полурусскую, полунемецкую семью. Семья, обильная и сыновьями и дочерьми, не имела отца. Сыновья были еще холостые, и вот одна из дочерей выходит замуж за молодого ученого. Брак был вполне счастлив, но продлился только четыре года. В полном расцвете сил молодая женщина умерла, оставив мальчика и дочь, и совершенно молодого мужа. Зять был замечательно хороший человек, открытый, смелый, несколько новых понятий, но отличный семьянин, и его горячо любила вся семья покойной его жены. Он очень тосковал о жене, но не было и сомнения, что он вступит во второй брак, потому что ему не было еще тридцати лет. Тогда ему предложила теща взять в замужество другую ее дочь: влюблен он в нее не был, но вся семья жены покойной ему была дорога, и, кажется, без особенных затруднений они обвенчались. Теперь у них есть свои дети. Замечательно, что и у сестры в отношении к покойной сестре, и у мужа в отношении к покойной жене образовалось нечто вроде религиозного культа. Они сберегают все ее карточки, ездят на могилу, – она как бы невидимо живет между ними. И дети первой, совершенно не разделяясь, растут с детьми второй. Мачиха-тетка любит их так, как имеют талант любить только деды внуков и тетки или дяди – племянников и племянниц.

Мне приходилось говорить о так называемом «свойстве» с людьми высокого духовного образования, и они мне сказали, что это есть застарелое понятие, возникшее в ту пору, когда люди почти не умели считать по пальцам, сообразить, что ведь родственность есть общность в происхождении крови, так сказать, единство кровяных шариков в моих и чьих-нибудь жилах. И например, сестра жены или брат мужа только фиктивно, а не кровно суть родственники сестриного мужа или мужниного брата, ибо общей крови в их жилах не течет. Тут образуется прекрасная атмосфера духовной близости, духовной связанности, духовного доверия, та почва, на которую если падет зерно брака, то вырастет обильно и здорово. Рассмеявшись, мой собеседник сказал мне:

— Не только запрещать нет основания браков в свойстве, но следовало бы запретить, в случае молодого вдовства мужа или жены, брак иной, нежели с сестрою жены или братом мужа. Ибо это есть лучшее обеспечение счастья детей от первого брака, да и вообще согласия и мира в доме.

Мысль, которую сам я давно имел, и мне было приятно ее услышать от богослова, очень авторитетного в науке. Подведу к мыслям моего собеседника только общий фундамент. Так называемые степени родства и свойства, препятствующие браку, тем обильнее исчисляются в каждом законодательстве, чем это законодательство подозрительнее и отчужденнее смотрит вообще на брак. Дело в том, что отношения к сестре жены или к брату мужа устанавливаются всегда в высоко идеальном тоне. Тут и есть близость, и нет ее; единства крови нет, а единство духа — чистое и оживленное. Образуется большею частью родственное дружелюбие, в то же время как-то даже предупреждающее развитие страсти. Заметив эту особенную чистоту атмосферы духовной, считая ее почти святой и вместе с тем не любя супружество и считая его чем-то порнографическим, аскеты старого времени изрекли вообще формулу, что «брак марает свойство, пачкает родство». Между тем, каким же образом он «пачкает», если по их же определению «брак чист и ложе не скверно»?! Само собою разумеется, что чистое и ищет чистого. И, как в приведенном мною случае, вырастает брак с каким-то религиозным культом в себе.

Вспомним Викторину, королеву Англии, этот классический пример материнства и супружества: как благословил чадородием Бог ее брак. И отчего бы эту степень родства, допущенную у англичан, не допустить и у нас. Английская семья ведь примерная в Европе. А качества семьи всегда отраженно несут в себе последствия законов о семье.

Вспомним также, что во «Второзаконии» допущены браки с сестрою жены, с братом мужа, и в степени того родства, в каком находились Виктория и Альберт.

Вот что навевают мысли о «злых мачихах». Сколько бы зла избыл русский народ, если бы вместо их мы дали русским сиротам-детям природно-добрых вторых матерей, неволью добрых.

ОДНА ПОДРОБНОСТЬ ВЕТХОЗАВЕТНОГО КУЛЬТА

«Сними обувь с ног твоих: потому что место, на котором ты стоишь – оно свято» (Исход, III, 5), – сказал Бог Моисею из огня Купины, когда Моисей подходил к нему, чтобы ближе рассмотреть поразительное для него явление.

Местом этим недостаточно пользовались: и 1) как заповеданием, и 2) как признаком близости богоприсутствия, и 3) как важной чертой для определения особенностей еврейско-библейского богоощущения.

Купина горящая и место вокруг нее, вблизи к ней, не есть ли первый на земле храм, где молившийся (Моисей) был *один*, и *Единому* он молился? Молитвы в нашем смысле здесь не было, но ведь и скиния Моисеева называется скинией *свидения*, а не скинией *молитвы*, и главное требование ветхозаветного богослужения заключалось в ежегодном явлении всего народа в скинию «перед Лицо Господне». И подходя к Купине, Моисей подходил также к «Лицу Господню», как еврейский народ в скинии: следовательно, вполне мы можем думать, что на горе Хориве, вблизи горящего куста, был первый на земле и в истории храм истинному Богу. И вот закон его, высказанный Богом: не ступай на месте этом *в обутом ногах*.

Обувь в отношении к носящему ее человеку – что идол мертвый и сделанный в отношении к живому Богу. «Аз есмь Живый», «живущий»: так неоднократно определяет Себя в Библии Бог, и определение это до того существенно и последовательно проведено в священных книгах, что даже служитель только Божий, священник, не мог касаться мертвого тела, даже родственника; а первосвященник никогда не должен был даже и видеть покойника. Идол, «сделанное», не дышащее, не одушевленное – противно было Богу, как труп и гроб. «Сними обувь» – и значило: не касайся святого места, оживленнейшего и животворящего (по близости к Богу, по началу здесь богоприсутствия) этими «идолами» (= изделиями) на твоих ногах, мертвою ношею с мертвого животного. Этого живого места (= святого) могут касаться лишь живые же, оживленные, не умершие части мира: напр., ступни необутом ног человека; но не обувь их. В «скинию собрания» (Моисея), как и в Давидо*-Соломонов храм, нельзя было вносить, и никогда не вносился, – гроб. А люди входили – и это было непременно.

Что это все так – видно из того, что когда была построена скиния, святое место богоприсутствия, – и в нее священники не могли входить в обуви, и, кроме того, не омыв ступней ног. «И поставил (Моисей) умывальник между скинией собрания и жертвенником и налил в него воды для омовения. И омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои. Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда

* Ибо Давиду уже сказано было об его построении, и он же начал заготавливать материалы для него.

омывались, как повелел Господь Моисею» (Исход, XL, 30–32). Следовательно, закон горящей Купины: «Сними обувь», – повторен и для скинии. Т. е.: 1) и на Хориве был храм, 2) нельзя в храм войти «идолами» на ногах, обувью: грешно.

Ступня ноги аналогична кисти руки. Как и кисть руки, – она имеет половину как бы *затылочную*, заднюю, и другую сторону как бы *лицевую*: это *ладонь* руки и *подошва* ноги. Вся значущая часть кисти руки, *осязающая*, берущая, работающая, «искусная», – сосредоточена именно в ладони. Верхняя половина кисти ровно ничего не делает, придаточна и незначуща, как и покрытый волосами череп головы. Кисть в отношении к цельной (до плеча) руке есть то же, что голова в отношении цельного туловища: в кисти рука как бы получает *голову* себе – пропорционально столь же меньшую и неразвитую, как рука меньше и проще огромного и сложного туловища. Но отношение их то же: в кисти руки, разветвленной (пальцы), «талантливой», рука, как целое и самостоятельное (связь руки с корпусом тела незначительна и механична), получила осмысленность, одухотворение, также своеобразное и самостоятельное. Независимо от «большой души» (всего человека), эта «малая душа» имеет свои желания, способности, стремления, «таланты». Обратим внимание на способность очень многих людей думать только «на бумаге», «пером»; на то, что и мысли, и связь мыслей, наконец, вдохновение, у них не появляется устно (ораторы), а лишь письменно. Обратим внимание, до чего плох бывает стиль у многих великих мыслителей; плох же он бывает у выдающихся ораторов; и дается, иногда в поразительной красоте, людям средней мысли и совсем плохого красноречия. «Дивно пишет» просто кисть руки; ее особенное и самостоятельное вдохновение, осложняя глубину мышления, создает удивительного «писателя» (не оратора, не мыслителя). Талант кисти руки к поделкам, и именно к изящным поделкам, общеизвестен. Своеобразие почерка, который кажется тем оригинальнее и неповторимее, чем оригинальнее и неповторимее «писатель-стилист», – общеизвестна же: все обыкновенные люди имеют приблизительно один или очень сходный «писарский» почерк, красивый и удобный для чтения, «утилитарно»-полезный. Перенеся все это на ступню ноги, мы увидим, что и в ней дана как бы третья «душа» человеку, третья «головка» его телесного очерка: танцы, «походка», своеобразная у каждого, как и почерк, есть область ее творчества. Не только у человека, у каждого своя «походка», – но нет двух пород животных, которые бы одинаково «шли»; а резко разделенные породы животных, как копытные и хищные, разделяются странным различием способов хождения, передвижения вообще. Отчего бы корове не прыгнуть? Между тем тигр постоянно прыгает. Таким образом, ступня ноги есть малое подобие, отдаленный образ головы же, как и кисть руки; а ее подошва, с намеками линий на ней, повторяющих столь ясные и выразительные линии на ладони, – есть начатая, бледная и тусклая, форма лица. Все это неразвито, эмбрионально, в намеке; но все это есть. «Шес-

тикрылость» херувимов, закрывающих (переднюю парюю крыл) «лицо свое» (см. видение Иезекииля), и не может быть иначе объяснена, как этою множественностью лиц в человековидном существе: ибо *каждая* пара крыл, очевидно, относится к самостоятельному и отдельному сосредоточению фигуры, «лицу» ее; и уже по шестеричному их числу мы можем заключить, что, так сказать, и в «божественном плане» живого существа содержится не одно, а несколько лиц.

«Сними обувь», к человеку, и значило: обрати ко Мне и месту Моему это сотворение Мною, хотя тебе и незаметное, лицо свое, подошву ног. Отсюда, омовение ног священниками (см. выше, из гл. 40 «Исхода»): ноги «умываются», как и лицо, и параллельно лицу, одновременно с ним; оне – и еще *кисти* рук. Через это Израиль должен был чувствовать, и непременно чувствовать, кисть руки и ступню ног немного иначе, чем мы: больше и как бы *сгущеннее*. Что касается ступни ног – мы ее вовсе не чувствуем, пользуясь ею как «данном», слепо и немо; кисть руки чувствуем «кое-как». Не только о самом их одушевлении мы ничего не знаем, но нам не приходит на ум, что это – «маленькие человечки» в большом человеке: не приходит на ум их «человекоподобность», антропоморфизм. Напротив, как только сказано: «Умой ступни ног (*вся* нога не омывалась священниками в скинии), входя ко Мне», – так внимание выслушавшего эту заповедь, и исполняющего ее, обращается на часть свою, имеющую особенное о себе слово Божие. Человек не только «пользуется» этою частью тела, но и несколько уважает ее. Может быть, мелькнет мысль: «Как бы не *нагрешить* ногою»; «Исправьте *стези* ваши к Господу». Вообще тут запутывается «праведное» и «грешное», «так» и «не так», «богоугодное» и «противное Господу»: запутывается в такую часть бытия человеческого, какую, например, нам никогда не придет на ум ввести в культ, религию.

Продолжим мысль свою: «Сними обувь, входя в святое место», «в храм». В Соломоновом храме служили сотни священников, в скинии – десятки. Мы можем представить себе, что все зрелище богослужения было несколько иное, чем привычное нам, когда столько лиц, деятельно участвовавших в нем, все были босы, разуты. Они бесшумно двигались по деревянному полу (это было оговорено при построении Соломонова храма), сверкая белизною свежесмытых ног. Совсем другое зрелище! Войдем (мысленно) в собор св. Петра в Риме, на торжественное богослужение: и кардинал, и епископы, и сотни патеров – все перед лицом народа, и Бога! – без обуви. Что-то более интимное, сгущенно-телесное и более домашнее. Так можно приблизительно вообразить впечатление, не испытав его. Во всяком случае ясно, что колорит богослужения и храма получается совершенно иной, чем у нас. Кстати, приведу здесь отрывок, передающий живое впечатление от зрелища ветхозаветного богослужения. Это – стихотворение одного из древнейших еврейских поэтов, Бен-Сиры, современника первосвященника Симона праведного (эпохи Селевкидов):

Как прекрасен был он, когда выглядывал из шатра
И выступал из-за занавеса!
Он подобен утренней звезде, что блестит из-за туч,
И полной луне в дни праздника Пасхи!
Он как солнце, кидающее лучи в царский чертог,
И как радуга, показывающаяся в облаках;
Как цвет на ветвях в дни весеннего праздника,
И как лилия, склоненная над потоком воды...
Вот он облекается в свои почетные одежды
И надевает роскошные ткани;
Поднимается на величественный алтарь,
Берет куски (жертвенного) мяса из рук своих братьев
И стоит над разложенным костром,
Окруженный, как венком, сыновьями – юными кедрами Ливана.
Обступают его сыны Аарона, в своем великолепии
Подобные ивам на берегу реки.
В их руках дымящиеся жертвы Иеговы
Перед всем собранием Израиля.
Вот он кончил служение на алтаре...
И сыны Аарона, священники, в рога трубят
И возглашают громко, чтобы напомнить Всевышнему.
Все смертные тотчас падают лицом к земле,
Преклоняясь пред Всевышним, пред Святым Израиля.
Раздались голоса певцов и зажгли сердца народа.
Ликовали все люди землн...
Окончив служение на алтаре по законам,
Он (первосвященник) сходит, поднимая обе руки
Над всем собранием Израиля:
На устах его благословенье,
И именем Божиим прославляет,
И коленопреклоненный народ примет его благословенье.

Как в этом описании чувствуется, так сказать, белый колорит религии: и ликованье – звуки рогов (напоминание о *пастушеском* быте), и роскошь одежд-занавесов, и благословение. Вспомнишь основной мотив отношений человека к Богу и Бога к человеку: «Служите Господу Богу вашему: и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою. И отвращу Я от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным» (Исход, XXIII, 25–26). И везде – эта полнота, обилие. Бог «полнот и обилий» отвращает лицо Свое от болезней и дает полноту дней жизни каждому. И полною же грудью отвечает человек «Богу полнот», щедрот: и звуком рога, и песнею, и жарким коленопреклонением.

Я сделал обмолвку об «одежде-занавесе». В самом деле, вчитываясь в описания священнических и первосвященнических одежд, нельзя не обра-

тить внимания на ту особенность, что оне 1) не шьются, а скрепляются шнурами и кольцами, т. е. не представляют целых закругленностей сшитого платья; 2) что оне сделаны из тканей, тонких. Это суть в точности «занавесы», – и священник в них драпирован, как мы убираем занавесами окно. Далее можно заметить ту аналогию, что священник в этих «одеждах-занавесах» был «образом и подобием», правда, малым и недостойным, точь-в-точь также завешенного «Святого святых». И там – шнуры, кольца и полотнища тканей, и даже тех самых цветов – голубого, червленого, синего, как и одежды на служащем Богу человеке. Таким образом, и «антропоморфизм» древнего богослужения и храмового устройства для молящихся был нагляден из этого устройства священнических одежд: и все напоминало человеку вечную истину, первое Откровение: «По образу Божию сотворен человек».

Возвращаемся к «разутым ногам». Лицо и руки, и ноги священников, как и первосвященника, были совершенно обнажены, а в некоторые, особенно торжественные праздники (напр., в День Очищения) первосвященник до семи раз погружался весь в так называемое «Каменное море», огромный бассейн с водою, стоявший во дворе храма – перед лицом молящихся. Омовений, в самом храме происходивших, было так много, что «из загородных источников, специально для омовений в храме, вода была проведена через особый канал» (цитирую историка). Все это – бледно в чтении, но в картине и зрелище давало колорит, совершенно нам не привычный. Святая атмосфера храма, наполненная благовонными курениями и дымом золотой курильницы, стоявшей перед завесою Святого Святых, смешивалась с живым и тонким запахом множества человеческих тел. Получалось зрелище св. Петра в Риме, но где бы мраморы ожили и задышали.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЗОЛЯ

Насколько много шума произвела смерть Золя в прошедшем году, фатальностью поразив всех своей неожиданностью, настолько же тихо протекает годовщина этой смерти. Заметно, что Золя более шевелит впечатлительность человеческую, нежели занимал ум кого-нибудь. О нем не появилось больших и сложных исследований. Смерть его была сенсацией, но не вызвала длинной задумчивости в европейских обществах, не повлекла за собою грустной тени. Редко у кого на столе или в альбоме любимых лиц встретишь его карточку. Длинных разговоров о его произведениях в посмертный год не слышно было. Его не начали вторично перечитывать и опять обдумывать, когда телеграф принес и разнес по миру роковое известие. Можно сказать, насколько заставлял о себе говорить всякий вновь печатавшийся роман Золя, настолько мало заставил говорить, и особенно – думать о себе весь Золя. Как будто его романы, каждый порознь, представляли больше интереса, нежели общая рубрика под заглавием: «Золя и его литературная деятельность». Замечательно, что он умер немножко похоже на то, как писал: «Приехал,

затопил сырой камин, угорел и умер; жена едва спаслась», – это решительно, документально и бесповоротно, как многие мазни его упрямой кисти, как наблюдения его глаза, как эпилоги некоторых его романов.

Труды его и жизнь его и велики и малы, и грустны и веселы. И это я говорю не риторично. Мало у кого литературная деятельность так правильно отразила лицо автора. Золя во всяком случае прожил замечательно удачную и, следовательно, веселую жизнь, ставши тем и сделав то именно, чем хотел быть, что задумал сделать. Всеми нами несколько играет судьба, жестокая, беспощадная. Золя скорее сам беспощадно расправился с своей судьбой; он держал над ней арапник, и в фигуре камина она как будто хитро укусила его, измученная ударами решительного человека. Биография его в этом отношении поучительна и даже воспитательна, в век несколько хныкающий и безвольный. Из бедности, из ничтожности рождения и положения, он поднялся в фигуру, видимую всею Европою. Никогда и ничего он не сказал с чужого голоса; если что и усвоив, то усвоив буквально как собственность, которою он владел, как собственную сработанную вещь. Такова была его программа экспериментального романа. Он взял и термин, и идею едва ли не из физиологии, вообще из мира опытных наук; но вся его пропаганда этой формы романа шла с таким упрямством и горячностью, как если бы она вся от начала и вершины изошла из его ума. И в других случаях этот крепкомысл никому не подражал, никого не копировал, никого даже не боялся: осуждения, на него сыпавшиеся, иногда в крайне язвительной и, наконец, удручающей форме, никогда не могли пошатнуть его крепких ног.

В этом отношении он столько же (если не более) был сильною историческою фигурою, нежели в собственном смысле литератором. «Литератор» – человек пера, уединенный созерцатель или мечтатель. Может быть, он не таков в своей идее или возможности, но он таков в своем положении и наличном характере. Кто серьезно считается с «литератором» как с политическою силою? Тургенев, Пушкин и Лермонтов, Теннисон и Диккенс были люди общества, салонов или самоуединявшихся кружков. Жизнь вся взята в руки чиновником, который если и сторонится, то перед грубым толчком какого-нибудь уличного крикуна. Золя вот именно и взял в себя (точнее имел от рождения) много от этого уличного крикуна, от его резкости, грубости, но и силы. Все время, как он писал, Золя, в сущности, кричал. Что Золя пишет, об этом зналось заранее. Когда появлялась его книга – она появлялась возами, как реклама – приглашение на митинг. Но у другого это вышло бы искусственно и несимпатично. Между тем Золя уже так сделан был, с таким граммофоном во рту, что все, что бы он ни подумал, – он думал вслух, а что у него было «вслух» – гремело как американский оркестр в тысячу инструментов. В этом отношении невозможно не оттенить его Амьелем, который ухитрился всю жизнь прожить шопотом; быть десятки лет мудрейшим человеком в Европе и внятно выговорить об этом только по смерти. Насколько грустен и привлекателен Амьель (однако не

для всех же?), настолько Золя для очень многих людей положительно был непереносим этим шумным характером голоса, деятельности всей фигуры. Ведь век наш далеко не с здоровыми нервами; и вот на них-то он производил часто режущее, неприятное впечатление. «Осторожней, скрипач: ты ведешь по струнам не смычком, а пилой».

Золя был глубоко культурный человек, — не в том смысле, что на нем самая культура нарисовала особенно сложный и тонкий свой узор, а в том, что он все время работал страшно напряженно и успешно в самом «пекле» двигающейся вперед культуры. Так иногда издали видишь свалку людей, в которой ничего не можешь разобрать, кроме движения и криков: и подойдя ближе, замечаешь, что в этой толпе, совершенно закрытая другими фигурами, движется исполинская фигура силача, потрясающая десятки людей, ее облепивших. Вот таким работником, силачом культуры, все время был Золя, с ограниченностью обыкновенного работника, наделенного только страшными мускулами, но и с его ролью, с принадлежащею ему особой честью. Книги его не будут поставлены на полку уединенного любителя мудрости и поэзии; но невозможно написать «Историю Европы за вторую половину XIX века», не посвятив Золя длинных страниц и даже не поговорив обстоятельно об его отдельных романах.

Что же такое представляют они собою? Новое, могущественное и нужное. Поэт или художник до Золя, всякий рисовал собственно человека. Золя начал первый рисовать человечество. Здесь его и малость и величие. Умом, характером, пронизательностью, всю суммою качества души, которую мы обозначаем именем: «развитие», Золя неизмеримо уступал великим светилам европейских литератур, из которых для оттенения назовем хоть Шиллера, Гёте, Гейне, Пушкина, Лермонтова, Толстого, Диккенса. Золя около них просто топорен: точно животное, а не человек. Мы позволяем полными буквами написать это свое о нем понятие, в котором, как ниже увидит читатель, нет ничего унижительного. Мне кажется, он не только не мог бы создать, но не мог с полным разумением даже и прочитать такие вещи, как «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», или «Тамань» и «Ашиб-Керим». Многие всемирно знаменитые произведения литературы его никогда, вероятно, не заинтересовали, не могли бы тронуть. Совершенно невозможно представить себе Золя, зачитывающегося Дантом. В этом отношении он положительно не только не возвышался, но даже стоял ниже множества европейских читателей, обыкновенных, средних, но с любовью к литературе и вкусам к слову, к поэтическому образу. От этого происходило то, что имя Золя, наравне с похвалами ему, трепалось и ругалось множеством обыденных читателей; что публика несколько не благоговела перед ним, как имеет тенденцию припадать на колени перед всяким европейским именем. Некоторыми штрихами умственного и сердечного развития Золя стоял ниже всякого почти своего читателя, конечно, удивляя его, увлекая и восхищая другими, о которых пока мы не говорим.

Вся литература до Золя уходила вглубь человека. Не всегда в героическое (хотя очень часто), иногда в порок, в слабость (часто у Диккенса, напр., в «Давиде Копперфильде»), наконец, в преступление: но непременно *вглубь*. Все движение литературы было вертикальное, сверлящее и разрыхляющее. Наряду с великим познанием человека литература эта нарисовала и величайшие идеальные образы. Иногда она их подкрашивала, но в большинстве открывала это идеальное в подлинном человеке. Гамлет, Вертер, Фауст, многие тургеневские лица, некоторые персонажи Диккенса показали читающему человечеству столько душевного сияния, такие великие образы или умственного утончения, или доброты и деликатности, что старая присказка «богоподобный человек», право же, могла иногда показаться правдой. И все это было достигнуто, что «человек пера» не имел собственно другой темы, как изучение человека и размышление над человеком. Не над человечеством, а именно над единичным, случайным, встречным человеком. Вся литература состояла в тончайшей рисовке душевного лица человека, и тех колебаний, которые она испытывает в мириаде житейских комбинаций. Все эти комбинации, сама жизнь, никогда (исключения были, напр., у Теккерея, но не принципиальные) не служили главной темой, так сказать, подлежащим и сказуемым литературного предложения. Вся литература была *портретна*: и жизнь была лишь рамою, то бедною, то роскошною, но непременно подчиненною существованию вставленного в нее портрета. «Эгмонт», «Гец фон-Берлихинген», «Вертер», «Фауст», «Манфред», «Чайльд-Гарольд», «Евгений Онегин», «Рудин»: это ряд *лиц* названных, которые в то же время суть названия литературных произведений. «Отцы и дети» могли бы быть названы: «Базаров», а «Преступление и наказание» часто называют «Раскольников». Даже романы, рисующие больше эпоху, назывались именем: «Обломов». Таким образом, если даже романисту приходилось говорить о типичной складке жизни, он делал это через *олицетворение*. Все же он рисовал портрет, и не как *пример* эпохи, а скорее в портрете он давал олицетворенную эпоху. Т. е. самую жизнь, самую историю поэты и художники рассматривали не как коллективное и смешанное явление, а как некий единоличный дух, раздробленный на типы и характеры, из которых один брался для воплощения целого. Как будто жизнь рыцарская имела у себя лицо (Гец фон-Берлихинген), лень русская была лицо же: а не было это просто совокупностью материальных, экономических, географических и этнографических условий, которые равно формируют всякого Ваньку и Машку. Все были Иоанны и Марии, Ванек и Машек вовсе не было. Все выходило крупно, красиво, многозначительно; и была бездна истинного в этом, ибо человечество есть подлинно Иоанн и Мария, сколько бы подлые условия ни дробили и ни мазали великолепное его лицо.

Золя просто не был способен ни продолжать и выполнить эту тему, ни даже хорошенько понять ее. Рождаются иногда люди с такой односторонностью: и она бывает нередко providенциально нужна для начатия совершенно новой в истории темы. «Экспериментальный роман» только в руках

и в устах Золя и имел и имеет какой-нибудь смысл. Золя был животен, не в нарицательном, а в одностороннем смысле, — даже в смысле некоторого преимущества. Рефлексия Фауста или Гамлета, даже как дробь, никогда не посещала его. Все у него пошло в зоркий глаз, твердую выю, огромное туловище, неодолимые ноги, неустанные руки. Он взял своею темою согрис* человечества, когда все до него брали для изображения и размышления только сарит**. Он не только начал изображать, но и почувствовал с необыкновенною даже, пожалуй, мистической глубиной человечество как громадное коллективное чудовище, около страданий, нужд, грязи и могущества, которого все выпренности Фаустов и Гамлетов — то же, что рвущаяся паутина в углу громадного, сырого и недостроенного здания. Невозможно в этой мысли, скорей — чувстве, Золя отрицать даже некоторой «божественности», тоже в своем роде «фаустовщины», но какого-то второго, последующего этажа, не того, в котором трудились Гёте и Шиллер. В толпе и массе есть великая мистика, есть своя «святыня»: но заведует ею Бог, ведущий человечество, тогда как единичным ведомым в этой массе лицам она остается вовсе неведома, не интересна, не нужна. Здесь Золя со своей генерацией Ругонов, «Брюхом Парижа», «Лурдом» и «Римом», «Нана» и «Fecnodité»*** положительно велик. Кто брал такие темы? Всякий Париж делал местом приключения своих героев, но никто даже не пытался, так сказать, изобразить приключения самого Парижа. И Золя брал это не как Вальтер-Скотт свои исторические перспективы, а как живое и чудовищное лицо, или, точнее, как именно мистическое безличное или слабо-личное чудовище. Машины, рынки, разврат — все выступало в качестве «подлежащего и сказуемого» литературного произведения, а «Нана» или «Ругоны» были незначущим именем адресата на полном содержательности письме. И это не имело у него, или не главным образом имело смысл обличения: а именно изображения, воплощения, с слабыми и во всяком случае второстепенными тенями отвращения или негодования. Сама Нана как и ее судьба — неинтересны; но Золя разрисовал в видную для всей Европы фигуры одну из цифр статистики разврата, и вместе с тем вывел одну на образующих, несомненных линий современной цивилизации. Показал, так сказать, «устой» ее, говоря языком Златовратского: и уж ее «устой» вышел гнил и зловонен, но не Золя. В романах Золя, конечно, мало было и олеографии, но местами — и настоящее мастерство. Художник вырастал в нем, он писал истинно мистические страницы биографии «чудовища». Везде человек у него притупился, принизился, стал «примером» движущейся цивилизации, так в грамматике есть «примеры» склонений и спряжений. Для этого, для всех этих особых задач литературной живописи, конечно, надо было экспериментировать и экспериментировать. Ну, как писать «экспериментально» Фауста, Рудина, «Пре-

* тело (лат.).

** голова (лат.).

*** «Плодородие» (фр.).

ступление и наказание»? Ничего не видеть – просто это было бы смешно. Вот отчего все его рассуждения об «экспериментальном романе» казались людям прежней, портретной литературы, какими-то неумными приложениями к поэзии вне физического кабинета или физиологической лаборатории. Но для Золя, который и нес в человеке и человечестве, в цивилизации, в городе, в государстве именно физическую и физиологическую сторону, *которая есть*, – это было понятно, разумно и необходимо. Он был Клодом Бернаром социальной статики: ему и нужны были дух и приемы его науки.

В темах и всей своей работе, во всей биографии Золя был глубоко добросовестный человек, и это составляет положительную в нем черту, вовсе не contemporanea в писателе. В этом отношении он стоит неизмеримо выше Гюго, для которого его «я» вечно парадировало впереди всех дел человеческих («Париж будет назван некогда городом Гюго»). В Золя была самоуверенность честного *ouvrier**, который знает, что он заработал сам плату: но не было вовсе столь трудно неустрашимого во французе тщеславия, и которое при его литературном положении было бы вполне объяснимо и почти извинительно. Но он был занят своими темами больше, чем собою, и любил себя именно как *ouvrier*'а около многоценной работы.

ЭСТОНСКОЕ ЗАТИШЬЕ

Лечение безмолвием и уединением, я думаю, не из худших. Душа человеческая вечно растет, но не чрезмерно, не ускоренно и не порывами. Нужно очень много внимания к себе, чтобы утилизировать этот медленный рост и раскладывать его на те маленькие ежедневные дела, без которых невозможна наша жизнь. Когда же к ним присоединяется так называемое «творчество», то расходование исчерпывает не только рост души, но задевает и ее «неприкосновенный фонд», который непременно и властительно требует восстановления себя. Для такого-то восстановления и нужны не лекарства, не лечение, не вода, солнце или воздух, а уединение или безмолвие. Ведь потратилась именно душа: и ее не восстановишь прибавками веса тела.

– Чего лучше, – поезжайте в Аренсбург. Тишина, климат, люди – все удовлетворит вас, – говорили мне знатоки, которым я излагал свою теорию нервной реализации.

Пришла она мне на ум лет шесть назад. Утомленный службой, не столько трудной, как глупой, и излишествами литературного увлечения, я поехал отдохнуть в Лесной. Лето было знойное, в лесах – сушь. И вот, забредя подальше от дачных местностей, я ложился на спину. Вид чуть-чуть качающихся сосен и пятна небесной синевы между ними, а главное абсолютное безмолвие вокруг, какого я уже долгие годы не испытывал, сделало то, что я с каждым часом, получасом чувствовал, как здоровье какими-то огромными объе-

* рабочий (*фр.*).

мами входит в меня, залечивает все болячки, ширит грудь, насыщает кровь, а главное освежает голову. И с тех пор я решил, что летний отдых в так называемых «дачных местностях», где мы живем среди людей, слушаем вечернюю музыку, а днем наблюдаем летние костюмы петербургских барышень, нужны, собственно, для этих «модниц» и отнюдь не нужны для усталого человека. Шум и обилие впечатлений – это уничтожает самое существо «дачи», хотя бы, пожалуй, в зелени и цветах и пересыщенной кислородом.

Мы не оцениваем, что такое пассивные впечатления, а между тем половина жизни уходит на них. Пассивное впечатление это такое, в котором сам не принимаешь никакого участия, а между тем оно падает на твою душу, входит раздражителем в твою жизнь, потребляет и истрачивает частицу душевного роста, о котором я сказал выше, и в то же время ничем не вознаграждает эту потерю. Утомляющее действие города на человека и лежит во множестве и неизбежности этих пассивных впечатлений! Всякий проехавший экипаж занял слух ваш на $1\frac{1}{2}$ –2–3 минуты; и между тем не дал слуху никакой гармонии. Каждая вывеска, которая торчит у вас перед глазами и вы ее все-таки машинально прочитываете или во всяком случае видите цветное пятно овощей, сюртука, брадобрития, сахарной головы или кренделей и булок – утомило ваш глаз без всякой нужды. Нет впечатления без мысли после него, пусть самой коротенькой и вовсе незаметной. Душа ваша мало-помалу становится похожей на пол, по которому чрезвычайно много ходили: грязь, затасканность и некрасивость становятся уделом ее вне всякого вашего желания. Я думаю, психология современного человека обновится только тогда, когда будет изобретено бесшумное движение экипажей, когда люди, руководимые инстинктом самосохранения, вообще бросят привычку разговаривать на улице, когда вывески, отнюдь не необходимые, будут заменены краткими и маленькими надписями, будут уничтожены выставки предметов в окнах магазинов, словом, когда будут приняты все меры к возможному сокращению этих пассивных, ненужных, теперь для всякого невольных впечатлений. Тогда силы души всякого человека пойдут на работу, исключительно ему нужную. Работоспособность удвоится; или, при той же как теперь работе, удвоится его отдых. Я уверен, что великая, особенная мудрость древних учителей человечества происходит главным образом оттого, что она рождалась и росла среди глубокого безмолвия.

Я послушался добрых советчиков, и вот в первый раз в жизни провозу лето на острове. Все отсюда далеко, потому что все за морем. Остров и островная жизнь имеют свою психологию, неповторимую, недостижимую на континенте. Самостоятельность, своеобычность и какое-то особенное чувство независимости – ее главные черты. «На заработки» отправляются с острова Эзеля, летом, огромные толпы; но отправляются морем, и остающиеся жители совершенно иначе, чем у нас на Волге или Оке, чувствуют эту отправку. Как бы далеко русский в России ни заехал, он на той же земле, где и его деревня, не разобщен с нею: река или линия железной дороги, а во всяком случае «родина-зем-

ля» непрерывною полосой лежит между ним и его семьей и односельчанами. Островная жизнь – закруглена, сомкнута в себе. Для множества людей все здесь на острове начато и все на нем кончится. Для всякого выход с острова, как и всякий приезд на остров, есть уже «приключение», случай, отнюдь не норма и не повседневность. Отсюда – повседневность и норма необыкновенно устойчивы.

И это – хорошее условие той тишины, о которой я сказал. Если бы Петербург был немного подвижнее и предприимчивее, он разработал бы в великолепное дачное поместье все многочисленные острова Финского залива и Ладожского озера, а особенно – финляндские шхеры и острова Гогланд, Даго и Эзель. Чем остров меньше протяжением, тем «затишье» его глубже, то особенное «затишье», недостижимое на континенте, которое проистекает из отрезанности от всего света морем. Когда в ясный, тихий вечер я в первый раз вышел и сел на стул на берегу моря, то мне показалось так хорошо, что я решил и не искать других мест для лучшего времяпрепровождения. Необозримое море, на далеком горизонте которого совсем крошечный островок Абро; тут же перед глазами крошечная бухточка моря; миниатюрный берег мыса и группа детей на нем, из которых половина пускает отлично устроенные игрушечные лодочки с полным парусным оснащением, а другая половина что-то бросает в воду реющим во всех направлениях белым чайкам: все дает картину, какой я никогда не видел на пустынном «пляже» около Риги или по Финскому заливу. Везде есть заезжий, зашедший человек с другого соседнего «курорта»; и наконец, вид фона слишком уже однообразен и уныл. Здесь сама природа отдыхает и наслаждается, и увлекает в свой отдых и наслаждение и человека. Множество больных детей на берегу: но между ними полное отсутствие грустных или страдающих лиц. На костылях или с особенными футлярами на ноге, они должны бы являть грустное зрелище. Но тот факт, что их всех видишь выздоравливающими и они сами себя чувствуют выздоравливающими же, отнимает в грустном зрелище скорбь и почти заменяет ее веселостью. Чрезвычайно сильные здешние ванны (грязевые) успешно действуют против всякого рода местных заболеваний костей и мускулов, кокситов, туберкулезов, воспалений надкостницы, всяких затвердений и опухолей. Они не лечат самой болезни, но, чрезвычайно поднимая энергию организма, усиливая в нем обмен веществ, дают ему силу побороть и уничтожить местное страдание. И вот крошечный мальчик или девочка из недвижимого положения на кресле переходит на костыли; а тот, кто был на костылях, бегают только с футляром из стальных обручей на ноге. Точно не замечая своей болезни, они резвятся бок о бок с чайками, то опускающимися на воду и красиво плывущими, то ныряющими за убегающей рыбкой, то быстро рассекающими воздух. Чаек здесь только кормят (дети же, кусками бросаемого в воду хлеба) и не трогают. От этого они не пугливы и только что не садятся на плечо. Как красива эта близость и доверчивость животных к человеку.

Приезжает сюда на грязелечение человек 300—400—500 в год; и они оставляют здесь в среднем ежегодно около 300 тыс. рублей. Вся эта сумма попадает в руки жителей города, числом всего четыре тысячи, т. е. приблизительно каждый житель в среднем зарабатывает около 75 руб., или рублей 150—200 на семейство. Разумеется, четвертая доля получения приходится на грязелечебные заведения, но и отсюда она расходуется жителям же, как плата за квартиру, за овощи и мясо и вообще на весь вещественный обиход культурного человека. Наконец, так как мясо и хлеб идут в город от жителей сел и деревень, то из значительной суммы 300 000 руб. часть распределяется вообще на остров как уезд Лифляндской губернии. Таким образом, грязелечение составляет центр оживления и вообще имперского смысла существования Арнсбурга и Эзеля. И отблагодарили же они за это. Городок в четыре тысячи жителей — это совсем захолустье. Я помню в Белом, Смоленской губ., где тоже жителей около 4000, один раз разорвали волки свинью между городским клубом и собором, а другой раз они же окружили и остановили священника, шедшего ранним утром на требоисполнение. К счастью, пришла вовремя помощь! Когда на Пасхе приходилось в том же Белом делать визиты, то грязь местами стояла до того высокая, что, имея даже высокие калоши на ногах, минут десять, бывало, стоишь, раздумывая, в какую сторону двинуться, чтобы пройти роковое пространство. Только хорошего и была одна гимназия, где ученики отлично учились и учителя хорошо учили. В Арнсбурге все улицы замощены крупным бульжником, а тротуары из тесаного камня, кажется, известковой породы. Этот каменный тротуар проложен даже по сухим переулкам, и сейчас же после дождя идешь по сырой, но несколько не грязной улице. Видность домов, чистота улиц и качество извозчиков образуют вид города: Петербург и Москва от одних своих извозчиков получают вид грязный и нищенский, неблагоустроенный, несмотря на дома-дворцы. Извозчик всегда мечется в глаза; обиход жизни до того связан с ним, что город с дурными извозчиками так же почти неприятен, как и с дурными квартирами. Лучших извозчиков мне приходилось видеть в Смоленске, Риге и Севастополе; не дурны они в Орле. В Петербурге и Москве извозчик едет не быстрее конки и ничем нельзя ускорить его езду (я говорю о норме, а не редких и редко недоступных «лихачах»). Он движется как часовая стрелка, сонно, вяло, со сквернейшей пролеткой, где едва умещаются двое, а зимой, в санках, иногда и двоим сидеть негде. Бывают сочетания ездовых, особенно при возвращении из театра ночью, когда решительно бывает невозможно разделить троим (отец и две дочери-подростка), и тогда приходится третьего брать на колена. Полное отсутствие в Петербурге пролеток для троих составляет самое очевидное и легко устранимое неудобство. В Арнсбурге, где нет ни холмов, ни гор, где нет невылазной грязи, а до Ромассоара (новая морская пристань) не более четырех верст, все извозчики парные, с пролеткой в четыре сиденья (скамейка *vis a vis* главного сиденья). Каким образом в Арнсбурге и Смоленске экипажная езда выше по-

ставлена, чем в Петербурге и в Москве, я не могу себе объяснить. Можно было бы простить «вид ваньки» тульскому мужику, работающему извозом в Петербурге на своей единственной кляче; но все знают, что таких очень мало, если только они еще остались. Извозный промысел весь захвачен кулачеством, и рядовые мужики-извозчики являются только на службе у «хозяина», содержателя лошадей, какового можно было бы обязать и хорошою лошадию, а главное — удобным и приличным экипажем. Не надо гнаться за роскошью, можно опустить изящество, но необходимо достигнуть удобства (быстрая езда и поместительный экипаж).

Я решительно не мог поверить, что в Аренсбурге только четыре тысячи жителей: в Белом была единственная улица, кажется «Кривая»: пересечения ее другими улицами образовали домов 5—6 по одну и по другую сторону, которые уже выходили в поле. Идущий по главной улице, вправо и влево через эти просветы улицы видел уже благословенные поля. Во всяком случае сети улиц, «города» в буквальном смысле, не выходило. Аренсбург производит впечатление города благодаря тому, что он весь лежит по окраинам парка, и улицы, дома, крошечные его площади образуют только жилое ожерелье около великолепной зелени. Если прибавить, что здесь нет вовсе дома без сада, что сады эти огромны и хорошо содержатся, то читателю станет ясно, до какой степени жилое помещение поглощено и затушевано в нем растительностью. Узел всего города составляет старая рыцарская цитадель; вокруг нее, ниже, расположен парк; от него во все стороны идут улицы. Все в общем довольно обширно и образует городок.

Очень широкий крепостной ров теперь засыпан и образует ленту с естественно высокою травой (ибо там нет воды, но постоянная влага). Не было также маленьких дамбочек, отодвинувших теперь море на несколько сажен, и в старое воинственное время корабли, конечно, не глубоко сидевшие, могли подходить прямо к земляному валу. Теперь этот вал обращен в бульвары. Местами он осыпался, везде порос травой, и так как он был в несколько сажен толщиной и по нем, очевидно, могли свободно скакать всадники и двигаться пехота, то в полуразрушенном виде он дал великолепный фундамент для аллей, тропинок, то повышающихся, то понижающихся. Отсюда владетель острова, мифический Аренс и его потомки-рыцари, озирали свои владения и моря. Прежде это было в хищнических целях; а теперь сохранилась от всего одна эстетика. Но как эта эстетика хороша! В июльскую ночь, когда луна поднимается над горизонтом, смотришь ненасытно на фантастическую гладь моря, такую красивую, и темную и сверкающую. А днем, в жару, нет ничего лучше, как бродить, то подымаясь, то опускаясь по заросшим развалинам старой цитадели. Замок постоянно перед глазами. Он вполне сохранился и представляет собою стального серого цвета громадный куб с разбросанными редкими окошечками, не на одной линии. Он был соединением дворца, церкви и тюрьмы, больше всего тюрьмы. Я осмотрел его внутри. Это прекраснейшая готика, сельская, провинциальная, но выразительная. Именно оттого, что она не гналась за эстети-

ческими целями, она и была и осталась эстетична. В готической архитектуре, столь красивой, на рисунках, больше всего сухости, строгости, пустынности.

Крошечная домовая церковь, теперь лютеранская, была, однако, некогда католическою. В ней служится, однако, и католическая месса, когда сюда приезжает патер, раза два-три в год, для исповеди и причастия нескольких живущих здесь католиков-чиновников. Таковая одна служба была и при мне. Как поразительно, когда из-под слоев последовательного завоевания, поздней всего православия, а ранее – лютеранства, опять слышится древнейшая, смятая и выброшенная вон католическая месса с ее «Domine», «Spiritus Sanctus» и «Matka Wojka». Но, в общем, замок, нетронутый в монументальных стенах, разрушен внутри, или скорее безобразно ободран и местами разломан в стенах, в поле. Грозно тянутся одиночные затворы, где феодал хищник гноил своих недругов. Вот высокая башня, представляющая каменный колодезь, на дно которого с страшной высоты бросались «преступники», т. е. «преступившие» волю господина, и умирали голодной смертью, если не доверять преданию, что они растерзывались тут хищными зверями. Вот вмозанная в стену саженная каменная плита: она скрывает комнату, где заживо был замурован в полном вооружении рыцарь и вместе с его скелетом будто бы был найден каравай превратившегося в камень хлеба и с следами (знаками) пива кружка. Возможно, что в предании есть преувеличение или разрисовка подробностей; хотя в ту эпоху сильного воображения и эксцентричности мук отчего бы и не произошло такому случаю. Раз «погребенное заживо» занимает воображение теперь, пугает и заинтересовывает, оно представлялось уму и в древности. А при тогдашнем безграничном самовластию «подумать» значило «исполнить».

* * *

Здесь все не модно, поэтому дешево и удобно. Нет ужасных ялтинских и кисловодских пауков, которые начинают сосать приезжего с первого же дня и отравляют и море, и горы. За 20 коп. вы имеете гребную лодку, за 30 коп. парусную лодку, и если умеете справиться сами, можете за эти два или три гривенника кататься сколько угодно по морю, неглубокому и неопасному. Верстах в четырех вы подплываете к миниатюрной, аршина в 1½ шириною, хотя и очень длинной дамбочке, сложенной из огромных камней. Нужно было много предусмотрительности и трудолюбия, чтобы ее выстроить. Дамбочка эта – пристань «Порт-Артура», как нарекло местное или приезжее остроумие крошечный ресторанчик, где можно получить самовар и молоко. Нужно заметить, нигде за последние годы я не встречал в России такого горячего интереса к нашему Дальнему Востоку, к Манчжурской железной дороге и беспокойствам в Китае, как в Аренсбурге. Смерть Льва XIII, речи Вильгельма, земские успехи или разочарования – ничто здесь так не интересно, не важно, не требуется, как чтобы Россия непременно удержала Манчжурию. Русские люди здесь очень образованные, университетские, моло-

дые, ни во что не ставят Горького, почему-то спрашивают: «Не издается ли он Раммом», но зато знают по именам наших адмиралов в Тихом океане и военачальников близ Амура. Местечко Лоде, в 4–5 верстах от города по морю, они и называли поэтому именем самого дальнего нашего порта. В «Порт-Артур» при ясной погоде направляются целые флотилии 20-копеечных лодочек: сюда спешат пить вечерний чай и затем поиграть в горелки на лугу, поаукать в рощах, все, у кого есть свободный час и хорошее здоровье.

Эстонцы – ленивый народ, медлительный и вялый. Они гораздо менее работоспособны, чем русские. В то время как у нас прислуга никогда не отказывается от места по мотиву: «много работы» и не переходит на другое место с единственной ссылкой: «Там надо готовить стол на меньшее число людей», – здесь это случается сплошь и рядом. Неустойчивость прислуги составляет одно из неудобств города. Добавлю, что она дорога, как в Петербурге, – хотя только летние, дачные месяцы. Ее дороговизна искупается дешевизною квартир. За 150 р. можно иметь отдельный домик в 6 комнат, зимней прочной постройки, с огромным садом и его плодами в вашем распоряжении. Для дачника это большое удовольствие набирать своею рукою клубники или малины к чаю, к обеду. Еще дешевле здесь дома для постоянных жителей. Я говорю «дома» вместо «квартиры», ибо редко кто здесь не имеет квартирою целый дом. Мне пришлось осмотреть старый баронский дом, некрасивой, старинной постройки, но отлично расположенный внутри. В бельэтаже десять больших комнат, отлично меблированных, по стенам – большие, дорогие гравюры с лучших художественных произведений Рима и Флоренции. Все это – хозяйское, баронское. Столько же комнат в нижнем этаже заняты жильцами под разные «службы» утилитарного характера. И весь этот стародворянский дворец сдается... за 350 р. в год!! Объясняется это тем, что местные бароны пообедали, служат в России, в Петербурге, а дворцы-дома вынуждены или оставить пустыми, или сдать за бесценок жильцам. Благодаря этому русские здесь устроились отлично. Их довольно много, они занимают все видные служебные места и, как они мне говорили, здесь не существует антагонизма между ними и немцами: немцы преохотно помогают всем специально русским затеям, как то «благотворительным базарам», «братской читальне» и т. п. Университет все уравнил. Вот во второй раз я наблюдаю на окраине, что значит для страны университет, действие которого внутри государства не так заметно. Человек университетского образования, куда бы его судьба ни закинула, в какое бы другое племя, в чужезычную страну, так сказать, ставит везде флаг своего университета, не никнет ни перед чем челою, а всюду разбивает свою палатку, развивает окрест «университетскую цивилизацию»; работает, думает, предпринимает по-своему, по-русскому, с твердой уверенностью, что оно не уступает ничему заморскому. Здесь нет фраз о патриотизме, даже мысли о нем нет, а совершается великое патриотическое дело. Университет – это широкий горизонт. И вот этот-то широкий горизонт, выйдя из университета, и носит каждый с собою. Ни чиновник этого не сделает, ни офицер

или генерал; всякий сожмется перед «высшею расою» (немецкой напр.), перед «высшей цивилизацией». Но человек университетского развития, при русской чуткости, после первых же часов общения, после первых недель пребывания, видит себя обладателем или таких же, или высших точек зрения, сведений, умений: и ведет себя спокойно и устойчиво.

Одно здесь плохо, как я слышал, – русская классическая гимназия. И везде она плохи. Куда ни поедешь по матушке Руси – на гимназию везде есть жалоба. Что это такое, почему? – трудно сказать. Но, очевидно, министерству народного просвещения придется десятилетия трудиться, трудиться упорно, с самосознанием своих ошибок, чтобы привести это дело в порядок. Гимназия должна бы быть радостью города, гордостью его, как везде составляет местную гордость народное училище, техническая школа и университет. Вот и здесь городское училище хвалят, женскую гимназию хвалят (все русские заведения), а классическую гимназию порицают.

Среди туземных особенностей замечательна следующая. Не часто, но и не редко эстонка-девушка имеет ребенка. Мне даже говорил один здешний юрист, через руки которого постоянно идут дела «об алиментах» (издержки на содержание ребенка), что редкая девушка из крестьянок не имеет ребенка уже до замужества, и это нисколько не препятствует ей вступить потом в брак, так как женихам не из чего выбирать: все невесты в этом отношении приблизительно одинаковы. Обыкновенно мужем и становится отец ребенка. В случае, если этого не происходит, он уплачивает, по «обычному праву» или решению суда, три рубля в месц на ребенка. Так как последний не составляет обузы, то родители лишь слабо порицают свою дочь, но оставляют ее в своем доме и вообще не отталкивают от себя. Матери-девушки от этого никогда не расстаются с своими детьми. Ни подкидывания детей, ни отправления их в воспитательные дома вовсе не практикуется на острове. Как нет же и детоубийств. Об этом нам рассказали, едва мы устроились на даче, с полуулыбками снисходительности к населению. Ранним утром я вышел однажды на базар, куда сельчане свозят свои сельские продукты. Все замужние женщины здесь носят на голове, прямо над пробором волос, цветок – обычно искусственный, как у нас на женских шляпах. У вдов он черного цвета, у женщин – зеленого, розового, какого-нибудь; иногда это два-три цветка, иногда сюда входит окрашенное в яркий цвет и несколько завитое перышко птицы. Конечно, все это – пыльно, заношено, и скорее некрасиво, чем красиво; хотя мне кажется, в день народного праздника, на гуляньи в поле – это и красиво. Зовут их здесь «пучками», и таких каждая женщина имеет несколько перемен, так сказать, будничный «пучок» и «праздничный пучок». Нужно заметить, они никогда не снимаются, что было бы равносильно отречению от замужества или утаиванию замужества. Я вышел на базар, с целью посмотреть сельское население; и с таковой же целью много бродил по бывшей здесь, в середине июля, ярмарке – чисто сельского характера. Народ – как везде на-

род, груб, прям, работающ. Никакого оттенка «легкости в обращении» я не заметил и следа. Вообще народ очень похож на наш, только бесшумен. Ни одного выкрика я не слышал, ни резкой перебранки около воза, ни даже очень оживленной «тараторящей» речи. Около одной телеги, очевидно, семейной, стояла девочка-подросток таких лет, что, очевидно, она не могла быть замужем. Да и «пучка» у нее не было. Тут же стояли отец, мать и еще кто-то из взрослых. Девушка была с таким «прибавлением корпуса», что не было сомнения, что я имею перед собою экземпляр туземной особенности. Никто ее не бил, лицо ее нимало не было грустное; словом, она ничем не была выведена из равновесия быта и поведения, и она была хороша и привлекательна (она была хороша лицом), как если бы я видел невесту под тюлем. Русские чиновники и местные домовладельцы, рассказывавшие мне об этой особенности населения, на внимательнейший мой расспрос ответили, что на всем острове (около 300 000 жителей), как и в городе Аренсбурге, нет ни одного дома терпимости, ни одной промышляющей проститутки, как и нет же известной дурной болезни. И когда с парохода, на Ромассааре (новая пристань), сходит девица по виду «такого поведения», ей покупают даровой билет и отправляют обратно на том же пароходе. Несколько лет назад среди лечашейся публики появилась «особа такого поведения», с шикарными нарядами и поведшая большую картежную игру в клубе: но и ее немедленно выпроводили вон (рассказ мне местного доктора-старожила). Эта суровость мер относительно приезжих опирается на требовании безусловной чистоты для лечашихся ванн и ваннных зданий и зал, и в местном населении «этот промысел» не развился потому, что ранняя любовь и страстность получила себе уступку в изложенном народном обычае и вошла в определенное русло. Местный юрист (русский) мне объяснял, что все опирается на стародавний местный закон о взыскании алиментов, по коему имение ребенка не представляет собою экономического риска, ибо он всегда содержится отцом; и что такие девушки никогда не переходят к легкомыслию и грязи промысла, ограничиваясь отношением к любимому человеку, и от этого не теряют репутации. Тип старых здешних женщин – не красив; и вообще эстонцы – некрасивы. Только язык их – прекрасный, звучный, с преобладанием «а», несколько напоминает итальянский. И на раннем базаре, в безобразном местном костюме (короткая красноватая юбка, раздвигающаяся колоколом сейчас же из-под мышек) мне пришлось увидеть девушку лет 16–15–17 такой изумительной чистоты взора, невинности выражения, какого я не помню в своей жизни. Точно бабочка, вышедшая из куколки и еще ни разу не вспорхнувшая крылышками. Я не преувеличиваю ничего и считаю важным это отметить, дабы показать, что тип невинности, столь важный в населении, в нем не пошатнут нисколько названным обычаем. Переместились условные понятия. А чистота тела сохранилась, едва ли не удвоенно (отсутствие ухаживаний, волокитства, приключений; отсутствие «захватанных» девиц).

ВОПРОС О СИЛЕ СРЕДИ БЕССИЛИЯ

Письма В. Х. и С. И., в июльской книжке «Нов. Пути» («Царство Божие как сила»), замечательны и новы не только по тону, живительному, свежему и чистому, – но и по множеству уже оставленных г. В. Х. *позади* точек зрения на религию, равно как и по коренному вопросу, им ставимому. Когда в Религиозно-философских собраниях я предложил вниманию слушателей доклад «Об адогматизме в христианстве», то, кончая его, высказал уверенность, что мессианство ожидалось бы и должно бы прийти, как чудо *моментальное, неперемное и невольное*, как *преображение вещей*, а не как прогресс нашей добродетели, и преодоление этою прогрессирующею добродетелью косного порядка вещей. Это есть метод действия Сократа, а не Христа. Между тем все наши надежды покоятся на идее прогресса. Теперь г. В. Х. формулирует дело, пожалуй, еще яснее; а главное: то, что для меня было штрихом мысли, он поставил темой своего существования. Но, значит, вопрос висит в воздухе и тревожит уже в разных местах разные души. Инициалы В. Х., вовсе неизвестные в литературе, очевидно, скрывают в себе большой задаток: ибо невозможно, чтобы жизнь, посвящаемая одной теме, не принесла плода.

На одушевленное письмо г. С. И., которое, можно сказать, содержит *resumé* всего, что было сказано пылкого и умильного касательно средств загробного спасения, – на слова: «Я ишу жизни, я хочу, чтобы мое мертвое, холодное, бесчувственное сердце горело любовью, верою, чистотою, смирением... Я хочу ощущать любовь Божию, чувствовать, что Он мой Отец и Творец, что меня ожидает суд Его... Я буду молиться, буду читать отцов, буду должным образом принимать таинства, читать Евангелие, говорить с добрыми, любящими людьми, вот как вы, только не споря, и мое сердце будет оживать для веры, любви и надежды», и пр. и пр., – на все эти слова о всех этих *исхоженных* тропинках г. В. Х. с суровостью опытного медика отвечает:

«Должен сказать вам, что, по-моему, вы находитесь на краю громадной опасности – вы ухватились за ту же *«самодетельность»* Смайльса, которая, если бы к ней прибавить книгу нравственности высшего давления Марка Аврелия, составляет *ваше* Евангелие. Но имеете ли вы Духа, совершающего между вами чудеса? (Гал. 4; 3). Только стремление овладеть этим Духом может отвести вас от неминуемой гибели. Мало того, если даже и Духа будете иметь, а не отречетесь от своей, *навязанной себе самими* самодетельности, то с вами может (думаю, непременно) случиться, что было с Петром (Иоан. 2; 11, 12, 13).

Мне кажется, что вы принимаете эту, описанную вами, тишину, чистоту, уютность и весь этот комфорт за *цель*, за сущность учения Христа, за самую благодать. Неужели это так? Вы хотите ощутить любовь Божию. Да кто же этого не хочет? Только средства ваши не евангельские, а самодельщина (извините за выражение). Ничего вы без *силы* Божией сделать не можете (ни себе, ни другим), а все эти ваши ощущения – одна приятная прелесть. Радость же христианина – от *силы* Духа Святого, а это только и есть единственная благодать. Путь ваш не имеет определенной, истинной, точной, ясно намеченной цели: *овладеть царством Божиим*. Вашим путем

вы думаете быть чистым и непорочным, и превзойти даже Петра – не впасть в лицемерие. Подумайте, возможен ли такой путь для вас, не имеющего и даже не желающего искать *силы Божией, тайной*, сокровенной, которой ни вы, ни я не познали и не знаем, как ее иметь...

Самые ваши *ощущения... сор, хотя прекрасный*. Только одна есть великая тайна, через которую мы имеем благочестие, – это тайна царствия Божия.

А ведь прав был старец нашего чудного сна, называя вас пьяницей: *всякий опьяняет свои чувства (себя) по-своему* – кто гашишем, опиумом, зрелищами, – а кто *умилительными беседами*.

Все это не только прекрасно (точно и сильно) сказано, но и истинно замечательно. Таких речей, таких исканий еще вчера не было. И верно, в самом деле приходит конец академической схоластике, и на место ее хочет родиться в области веры нечто лучшее. Дай Бог: ибо почва суха и жадна к влаге. Ныне ни одна капля подлинной религиозной мысли не упадет даром.

Позволю себе, однако, кой в чем присоединиться к г-ну С. И. Да что за «прятки» такие и за шарады в истории? Две тысячи лет назад мы имели положение вещей:

1) Человечество надо спасти.

2) Пришел Христос и спас его.

На вопрос: чем? и как? любопытный автор отвечает:

3) Тайною Царствия Божия.

4) Которая вот в течение двух тысяч лет ищется: я, В. Х., ищу и найду ее.

Слишком самоуверенно. Да и не слишком ли поздно? Мало человекообразно и мало сердобольно. Овца во рву, блеет: а ей кидают некое «метафизическое вервие», вроде кантовской *Ding an sich**, и овца эта, с овечьим умишком, должна познать «*Ding an sich*» и только в таком случае будет вытащена на свет Божий. Но дело в том, что человечество есть коллективная овца: и если даже мы, при помощи г. В. Х., и будем вытащены из ямы «греха, проклятия и смерти», то ведь что же мы скажем мириадам-то людей между распятием Христа и нами? Да и не скажут ли они, не слишком ли вправе будут сказать, указывая на г. В. Х.: «Вот кто спас! ибо *после него* – вступившие в Царствие Божие, до него – *не вошедшие* в него». Не ясно ли, что г. В. Х. и будет настоящим «спасителем», «мессией», но только с маленькой буквы, как и подобает, в отличие от Единого Христа и уже пришедшего.

Методическое значение мысли г. В. Х. – огромно; но как положительная истина, как *тезис* – она едва ли многого стоит.

Он прав, говоря, что где нет *силы* – нет и божественного, нет еще Бога там, сколько бы о Нем ни рассуждали люди.

Но отсюда, оглядываясь с печалью на крайнее бессилие, нас окружающее, мы можем только сказать: «Гм... гм...» и печально покачать головою.

Мысль г. В. Х., непобедимая в критической своей стороне, может стать не кануном ослепительного света (слишком поздно!), как он ожидает, но началом такого сгущения мрака, что поистине станет страшно жить...

* вещь в себе (нем.).

Попробую г-ну В. Х. указать другой путь мысли, хотя бы тоже в *методических* целях.

Снесла курочка яичко: и ведь в нем – подлинное куриное царство содержится! Не большое, не гениальное, не «жар-птицы» царство, но зато совершенно реальное. Исполнение = обещанию: вот что важно, ценно, и... *честно!* Пусть оно некрасиво, копейка ему цена, но оно... *без обмана*, и дает именно то, что им обещано, и более чего от него никто не ожидает. Садится на десяток таких яиц клушка, и через три недели в выводке цыплят мы зрим исполнение «всех заветов» соответственной категории и уровня. Откуда и заключаем: *in ovo – vis**. Г-н В. Х. может заметить, что мы подошли к узлу его мучительных исканий.

Дело в том, что в занимающей его области мы имеем великие обещания, но они *никогда не были исполнены*. Г-н В. Х. тотчас же может связать свою мысль, свое тяжелое раздумье, свою тоску и с мыслями г. Мережковского о старом «Дионисе», и моими мыслями о браке. И Мережковский, и я – мы, ищем *субстрата* для силы; ищем «желтка и белка», из которого и получилось бы то, что отыскивает г. В. Х.; причем г. Мережковский думает, что «найдем» его, я – сомневаюсь в нахождении, и тут содержится единственный и вместе бесконечный пункт нашего с ним расхождения**. «Он –

* в яйце – сила (*лат.*).

** *Примеч. ред.* «Г. Мережковский думает» не только то, что «найдет» субстрат для силы, но что он *уже найден, что он уже есть*. И найден именно в том, чего хотел бы для христианской религии Розанов.

Нельзя не видеть, что томления Розанова имеют глубокий религиозно-метафизический корень: их породило сознание мистической необходимости чуда. Жажда чуда имеет абсолютный, вечный смысл; она связана неразрывно с живой совестью человека, неотделима от человеческой природы. Пространство и время, законы тяготения, их кажущееся роковым и неизбежным действие в природе давит человеческую мысль и чувство. Человечество в глубинах своего сознания взлелеяло мысль, что человек должен господствовать над пространством и временем и над законами тяготения, что, напротив, человеческая свобода должна иметь космическое значение. Эта мысль запечатлена в гениальнейших произведениях народной поэзии и художественного творчества. Достаточно вспомнить, как всю жизнь мучила Достоевского эта религиозная жажда чуда при сознании кажущейся его невозможности в условиях пространства и времени.

В христианской религии уже совершилось величайшее чудо – чудо воскресения Христа. Как громадные реки, наполняющие моря и океаны, начинаются едва заметными ручейками, так в этом чуде – залог и неисчерпаемый источник бесконечного ряда чудес. Воскресение плоти, начала земного потому и возможно, что ранее уже *совершилось* торжество Воскресшей Плоти.

Можно отвергнуть чудо воскресения Христа: ведь нетление невозможно для тленного по природе! Но отрицание чуда во имя реальной его невозможности в условиях ограниченного существования допустимо только *вне христианской религии*, при совершенно ином – позитивно-научном, не религиозном – способе познания сущего. Между тем, «другой путь мысли» Розанова во всяком случае религиозный путь, а не научно-позитивный.

Дионис! и в Нем – воскресение всего Дионисового» – говорит Мережковский. Напротив, я не имею воззрения на Христа иного, чем о. Михаил, когда он, сославшись на известное стихотворение гр. А. Толстого: «Грешница», повторил его словами определение Христа, как Лика и Духа совершенно небесного спокойствия и «бесстрастия». Конечно, А. Толстой не авторитет, но он (как о. Матвей перед Гоголем) повторил то, что думала все века своей истории вся церковь. В самом деле, разные были в церкви «ереси»: но никогда еще не появлялось в ней даже попытки, даже предположения... слить Дионисово и Христово. Здесь бездна смелости и новизны у Мережковского, если б притом ему удалось не высказать, а *показать* свои мысли*. «Дай вложить персты и осязать», – скажем мы все ему, вслед за Фомою, перед этим Новым или столь Обновленным Христом. Правда, он связывает это со «вторым пришествием Христовым», каковое и по учению Церкви будет не походить до противоположности на первое («придет во славе»): но ни один из церковных учителей не предполагал, чтобы самый лик Христа, вторично пришедшего, не походил на тот, какой мы знаем из четырех евангелий.

* *Примеч. ред.* Розанов сомневается, чтобы было возможно слияние в грядущем Христе начала земного (Диониса) и начала небесного (Христа). Слишком долго в историческом христианстве плоть, земное были в забвении, слишком долго не вмещает оно ни солнца, ни снеговых гор, ни «клеяких листочков», ни всего живого (Достоевский)!

Но смелость и новизна у Мережковского – смелость и новизна Достоевского. Достоевский пытается дать то, что нужно Розанову.

«А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты его?

– Боюсь... не смею глядеть... – прошептал Алеша.

– Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет, и уже навеки веков. Вон и вино несут новое, видишь сосуды несут» (Достоевский, «Братья Карамазовы»).

Видение Алеша Карамазова брака в Кане Галилейской – видение только «яко зеркалом в гадании» того, что св. Иоанн Богослов созерцал «лицом к лицу».

«Победившие зверя» и образ его, и начертание его, и число имени его... поют песнь Монсея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых!» (Откровение св. Иоанна, гл. XV, ст. 2–3).

Г. Розанов должен считаться с альтернативой.

Или он не верит в Откровение, как слово Бога Живого: тогда как он требует от христианской религии чуда «моментального, неременного и невольного», «преображения вещей»?

Или он верит в Откровение, и тогда должен принять Христа, грядущего во всей Его апокалиптической глубине; должен принять Христа, как конец мира, т. е. конец не в смысле голого отрицания, но как утверждение вечного и прекрасного в мире, как полноту, как исполнение всего.

Вообще в оригинальной и необычной формулировке Мережковский дал то, что, как зерно, несомненно есть в христианской религии. Ведь в ней – не только тайна страдания, Голгофы, но и тайна Вифлеема!

Тот же представляется ими «Пастырь Добрый», «Благий Учитель», но с переменной *одежд* лишь, в порфире царствия и с мечем суда. Мысль моя, повторяю, не отделяется в первом пункте от о. Михаила: но ведь для меня ясно, что где «желток и белок» (говорю иносказательно, говорю космически), там и *libido*, и *vis**: и уж раз мы согласились с о. Михаилом, что в Христе не было никакой *libidinis*, то *eo ipso* мы мыслим Его, так сказать, *a*-овулярным, да и вообще вне всей метафизики «желтка и белка». Таким образом, мы и получаем вечное питание и вечный голод, и вечные надежды.

Мы имеем собственно такое положение вещей, ясное как алгебра:

1) Принятие всей мысли Д. С. Мережковского = пробуждение реальных деятелей, бродил в вере = *libidinis* + *vis* в религии. Тогда завтра – религия живая, восторженная – «Царство Божие на земле, как и на небесах».

2) Принятие мысли о. Михаила и моей: религия «без желтка и белка», без «оплодотворения». Ее история, как *regretuum mobile* бессильное.

3) О. Михаил на этом останавливается; или утешает себя платонически и риторически, без всякой «веры, надежды и любви». Я на этом не останавливаюсь, и получается четвертое.

4) Так сказать, начал «желтка и белка» (метафизических, космических) надо искать вне орбиты, в круге коей совершилась вся новая европейская история. Выходя из этой орбиты, опознаешь старые и вечные небеса: во-первых, иудейское, а во-вторых, и эллинское. (С добавлениями, вариациями, вообще без всякой специализации). «Дионисово» начало признаешь, но как особое и другое: и к нему, как роднику (как к яйцу – цыпленку) начинаешь относить: напр., брак, напр., семью, «образ и подобие» нашей телесности; да и вообще весь почти огромный шар земной, разве за немноги-

* *Примеч. ред.* Розанов переместил центр основной мысли Мережковского о святой плоти. Да, «каждый листик устремляется к Слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие» (Достоевский). Но почему именно с *libido* связывать Дионисово начало, в *libido* искать «реальных деятелей», «бродил в вере», *vis* христианской (как и всякой) религии? Разве обязательно ставить в счет *libido* стихийное, первозданное устремление плоти к Слову, к Преображению? – Нет, для «ищущих инстинктов» г. В. Х. возможны другие просветы.

Уже на верхних точках «старых и вечных небес» эллиства брезжит иной свет; еще в глубинах язычества родились другие томления. В религиозных откровениях Пифагора и Орфея, в диалогах Платона, у Эврипида поставлен вопрос о неземной любви. Читатели помнят «Ипполита» на Александрийской сцене. Этот девственник брезгливо отвергает богов,

Которых чтут во мраке ночи, тайно;

как «герой», как «муж великий» и «святой», он умирает у ног безгрешной Артемиды, просветленный ее неземным светом.

Эврипид, откровения Пифагора и Орфея, диалоги Платона – вершины язычества, острие, где почти теряется противоположность его с христианством, где преобразенное язычество сливается с ним... Значит, возможно «оплодотворение», возможна «метафизика желтка и белка» вне *libido*, и для г. В. Х. вовсе не нужно «перепрыгивать через магический круг».

ми исключениями. Является как бы территориальное стеснение нашего религиозного мировоззрения, занимающего уже только треть неба, треть молитв, храмов, культа, всей суммы религиозных волнений.

Эти другие $\frac{2}{3}$ и содержат в себе тот *rost*, ту *vis*, которых вообще не было никогда в старом *regretium mobile*. Таким образом, поиски г. В. Х. в том отношении и плодотворны, и бесплодны, что он ищет, во-первых, *вещь реально существующую, но лежащую не там, где он ее ищет*. Он или пробродит всю жизнь в том же круге, ничего не найдя, но с неумирающей тоской об искомом; или предчувствия его превратятся в «верхний нюх», и он приведен будет им сперва на линию магического круга, а затем – и перескочит через него: тогда он и сам многое найдет и верно другим многое откроет. Ибо сила его ищущих инстинктов изумительна. Добавлю об язычестве и юданзме: не только, само собою разумеется, не надо их воскрешать, но и с ними сколько-нибудь сближаться, сливаться. Разве только попутно кое-что объяснить в них, напр., как они возникли и чем держались, какой скрыт под ними метафизический корень. Но у нас своя «св. Чаша Грааля», свои поиски, свои темы. Мы ищем именно того же, чего и В. Х., и только этого одного: «Царства Божия на земле, как и на небеси, *с силою*».

ШКОЛЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

Своевременно мы высказались в пользу передачи в министерство народного просвещения обширной учебной организации, возникшей в министерстве финансов за время управления им С. Ю. Витте. Последнему не может не быть воздана благодарность за основание этих школ, за инициативу, проявленную здесь. Но раз уже школы возникли, нет никакой необходимости, чтобы и дальнейшее руководство ими находилось в ведении финансового ведомства, которое через это только отвлекалось бы от прямых своих задач в сторону несколько для него побочную – забот о народном просвещении. Некоторые из петербургских газет пытаются отстоять оставление многочисленных коммерческих училищ и трех политехникумов в ведении министерства финансов, которое их открыло; но аргументация их в пользу этого так слаба, что, пожалуй, составляет лучшую защиту высказанного нами взгляда. Ведомство Императрицы Марии и Св. Синод, говорят эти газеты, а также министерство государственных имуществ имеют же свои специальные школы, которых никто не предлагает передать в министерство народного просвещения; разделение забот о просвещении между разными ведомствами составляет не новое, а старое явление в русской жизни, которому только последовало министерство финансов. Прежде всего по крайней мере два из названных ведомств, Св. Синода и Императрицы Марии, просветительны по самому предмету своего ведения, чего ни в каком случае нельзя повторить о министерстве финансов. Церковь всегда учила народ, в нравственно-религиозном просвещении населения лежит не какая-нибудь побочная, а

прямая и непосредственная задача, долг церкви: как же можно сравнивать ее право и обязанность учить с правом и обязанностью к этому министерства финансов, о котором до 1896 года вообще никто не подозревал, чтобы школьное дело входило в круг его опытности и компетентности? Равно женские институты, возникшие и остающиеся в попечении ведомства императрицы Марии, возникли тогда, когда в России не было вовсе никакого школьного женского образования: таким образом, это не только есть ведомство, которому образование и воспитание не побочно и не второстепенно, но оно для этих целей именно и возникло.

Мы заговорили о передаче школ финансового ведомства в министерство народного просвещения не в интересах вовсе «централизации учебного дела», а потому именно, что школьное дело есть побочное и второстепенное для министерства финансов, и, находясь в нем, школы столь продолжительного курса и законченного образования будут непременно подавлены в собственно педагогической стороне своей, чуждой для финансового ведомства, – подавлены ради преобладания таких сторон, которые особенно нужны министерству финансов. Нельзя ожидать ничего, кроме односторонности, если мальчик от 10 до 18 лет и более (если принять во внимание политехникумы) будет во всех способностях души своей находиться исключительно под давлением точек зрения и интересов, представителем которых служит министерство финансов. Никак нельзя предположить, чтобы чины министерства финансов когда-нибудь особенно одушевились педагогическими идеалами или даже особенно внимательно вникли в их особое существо, а школа без педагогики была бы странным типом школ. Задача воспитания, именно как таковая, несомненно входит в круг идеалов и понятий как старопочтенного ведомства императрицы Марии, так и Святейшего Синода: но нисколько она не входит в круг понятий и идеалов ведомства денежного обращения в стране. Основать учебные заведения министерство финансов могло: основание их, собственно строительная работа, воздвижение дела – отчего же всему этому и не быть подручным для денежного хозяйства и для хозяина денег страны; но совершенно ничему бы не соответствовало остаться и долее, на десятилетия или века, основанным школам в руководстве, управлении и направлении министерства финансов.

Что касается сравнения с министерством государственных имуществ, то самая сфера его деятельности все же значительно спокойнее и в этом отношении педагогичнее, чем зыбкий и тревожный мир финансов, да и школ в этом ведомстве неизмеримо меньше, и они имеют действительно специальный характер (горный институт, лесные школы), тогда как школы министерства финансов очень быстро выросли во вторую параллель со школами министерства народного просвещения, имея, как и оне, характер почти общеобразовательный, закругленный и заверченный, а не характер дополнительного практического обучения.

Нельзя не обратить еще внимания на следующее. В то время как политехникумы министерства финансов возводились с поразительною быстро-

тою и роскошно обставлялись, университеты и вообще учебные заведения министерства народного просвещения оставались в исторической своей скудости относительно материальных средств. Теснота аудиторий, бедность физических и других кабинетов, отсутствие места для вновь поступающих книг в библиотеках – все это вечные раны университетов, о которых много было пролито слез, и слезы эти остались без удовлетворения, без ответа. Министерство финансов слишком увлеклось своими школами, едва ли имея соответствующее педагогическое призвание, и, по естественному чувству специализации, роскошно обставляя свои новые школы, может быть, было глухо, или недостаточно прислушивалось к требованиям старых школ главного нашего учебного ведомства. Россия от этого была, без сомнения, в проигрыше. Интерес России заключается не в централизации, не в децентрализации учебного дела, а в том, чтобы везде на ее пространстве школ было много до обилия, чтобы они были разнообразны до всесторонности, а главное, чтобы во всех их были люди с призванием и талантом не вообще к чему-нибудь, а с призванием и талантом специально к воспитанию детей. Вот эта-то важная универсальная задача и парализуется, когда ведомство, держащее в своих руках ассигнование, пытается принять на себя новую в истории роль просвещения страны и, так сказать, поехать на паре дышло, когда у соседа нет и одной клячи.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВОПРОС В ОСВЕЩЕНИИ Н. П. ГИЛЯРОВА-ПЛАТОНОВА

Н.П. Гиляров-Платонов. Университетский вопрос
(«Современные Известия» 1868–1884 гг.).
Издание К. П. Победоносцева, С.-Петербург. 1903.

Невозможно было сделать лучшего подарка нашему обществу и учебному нашему ведомству, чем какой делает К. П. Победоносцев, выпустив как раз к открытию учебного сезона этого года сборник статей покойного Гилярова, написанных в те приблизительно 16 лет, когда и сложился теперешний университетский порядок, и возникли все трудности и «осложнения», с ним связанные. Перед читателем как бы положена пачка номеров «Современных Известий», в которых под животрепещущими впечатлениями минуты были написаны с понятным одушевлением статьи человеком, который уже не занимал кафедры, но был одним из блестящих ее представителей, если и не в университете, то в совершенно однородном с ним в учебно-ученом заведении. Гиляров, судя по посмертным о нем воспоминаниям, оставлял неизгладимое впечатление в своих слушателях. Он занимал кафедру истории раскола в Московской духовной академии, и принужден был оставить ее по неудовольствию митрополита Филарета, который желал, чтобы он читал свою науку сатирически, то есть открывал бы и порицал «заблуждения» русских

сектантов, когда он хотел читать ее научно, то есть определять корень и логику возникновения, развития и стойкости русских сект. Во всяком случае претерпенное им служебное неудовольствие из-за преданности науке и научному методу раз и навсегда доставило его в ряды упорнейших и принципиальных защитников самостоятельности и свободы университетского преподавания, а обширный ум и положение публициста, которому необходимо было отзываться на разнообразнейшие вопросы текущей жизни, сгладило в нем всякие суеверия своей профессии и дало силу видеть положение учебных дел как оно есть, а не как могло бы представиться заинтересованной стороне или узкому специалисту.

Во второй раз путем издания*, К. П. Победоносцев выдвигает вперед имя Гилярова, как бы призывая внимание общества к его замогильному голосу. Редко русскому писателю, и особенно с такою неудачной прижизненной судьбой, какая выпала московскому ех-профессору, приходится получить хотя бы по смерти такую усердную, настойчивую и авторитетную рекомендацию. Не будь этих рекомендаций, о Гилярове едва ли бы кто-либо вспомнил в наши дни, за исключением разрозненных любителей и почитателей. Но, какими бы неровностями ни отличались отношения самого общества и литературы к нынешнему издателю трудов московского публициста, едва ли кто-нибудь ему откажет в образовании чрезвычайно обширном и уме в высшей степени компетентном. Гиляров невольно обращает на себя внимание, если почти давая его мыслям предпочтение перед собственными (ибо почему бы самому «издателю» газетных статей Гилярова самому не написать, за зиму, по тому же университетскому вопросу собственную журнальную статью), за ним становится один из самых замечательных наших государственных людей XIX века.

Анализ и анализ – вот сила Гилярова; ум вечно копающийся, ум страшно критический – вот его привлекательность для читателя и мыслителя. С этим неразрывно соединена его завидная и никогда не покидавшая его уравновешенность. И Аксаков и Катков, два знаменитых современника Гилярова, коих нередко он бывал сотрудником, оба знали страсти ума и подчинялись им, иногда поработались; оба знали фанатизм воображения и иллюзий. Гиляров был постоянно трезв, и из трех суждений – его, Аксакова или Каткова – по какому-нибудь текущему вопросу можно было на тот день и час увлечься последними, но невозможно было, завтра или послезавтра, не отдать предпочтения суждению Гилярова, проистекавшему не из таланта только судьи, но из внимания и всегда любви к предмету суждения. Вот отчего через двадцать лет по смерти всех трех (они умерли приблизительно в одно время), едва ли кому (не из родственников наследников) пришло бы на ум переиздавать вообще или в отношении к данному вопросу газетные статьи Аксакова или Каткова. «Красноречие и красноречие, а дела нет».

* Н. П. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. 2 тома. Издание К. П. Победоносцева. Москва. 1899–1900.

Напротив, при простом и прекрасном языке, у Гилярова нет никакой особенной стилистики: зато много мысли, много дела, много помощи и человеку наших дней, если он трудится над теми же темами.

Анализ и критика Гилярова не сухи, не рационалистичны, не педантичны. Школа, эта старая бурса, выковавшая и ум Филарета, дала сильными своими сторонами (которые в ней были, вопреки критике, более художественной, чем основательной, Помяловского) отличную формальную обработку его способностям. Но, сын сельского священника, с многотрудною житейскою судьбою, с разнообразными занятиями (профессор, цензор, публицист и газетчик), он, так сказать, оброс опытом, бытом, страданиями, неудачами, разочарованиями, все-таки и кое-какими надеждами. Получилось превосходное соединение сильной логики, первоклассной эрудиции и житейского человека, доброго, отзывчивого, не фанатичного, не исключительного. Получился вообще самый высокий калибр даровитой русской природы, да еще неудачной на жизненном поприще, и отсюда сострадательной, внимательной к тому, что падает или готово упасть, а не что мощно и самонадеянно высится. По симпатиям своим Гиляров всегда на стороне скорее слабого, непризнанного, отвергаемого. Сам далеко не признаваемый при жизни, он понял, как часто на Руси затеривается невидный кусок золота и пухнет на виду у всех куча соломы. Вот это-то положение его и вытекшие отсюда его симпатии положительно делают его привлекательнее, нежели обоих его знаменитых современников.

* * *

Нигде так не требуется учиться, как в России. И нигде не учатся так плохо и мало, как в России. Я знаю, что мне сейчас вскричат: «Мы имеем Менделеева, Чебышева, Бредихина; наши женщины...» и проч. Действительно, отдельные точки у нас поднялись очень высоко, но это честь русской даровитости, а не честь русской школы. Силы школы собственно отражаются на образовательном уровне всей страны. Покажите мне не Бредихина или Пирогова, а списки посетителей Публичной библиотеки: дайте мне отчет о книгах, какие спрашивались, и в каком количестве каждая спрашивалась, по всем читальням и библиотекам России. Дайте мне не впечатление слушателя публичной лекции, а рассказ, да подробный, под вечерок усталого букиниста или приказчика книжного магазина. Словом, дайте мне не эффект, а статистику: и статистика эта покажет, что мы (замечание Пушкина) ... «ленивы и нелюбопытны». Хвастовства насчет нашего образования и «стремления к свету» было много, особенно за последние сорок лет; но сквозь этот дым самовосхвалений да прорежется простое и грубое, горькое слово: нет более ленивого, умственно косного, неподвижного и в то же время самолюбующегося общества, как наше русское. Насколько смиренен русский мужик и думает, что он «темнота» и в то же время чтит образование, называя его «светом», настолько же чуждо смирения и скромности наше «образованное общество», не весьма и ценящее образование, предпочитающее ему

«индивидуальный талант» и особенно в случаях, когда настоящего таланта и тени нет, смотрящее и на книгу, и на школу «назад через плечо». «Я и так умен, чему же мне учиться»: ей-же-ей это психология и credo $\frac{9}{10}$ русской «интеллигенции». Святые она имеет заслуги; но и черны ее пороки, если назвать сгущенным именем ее чрезмерные и трудно одолимые слабости.

Отражается в этом школа. Если дар, гений пробивается к открытиям, к всесветному значению, то это никогда не благодаря школе, а очень часто вопреки школе. Декарт и Лейбниц выросли среди плачевных училищных порядков; Эразм и Рейхлин, да и почти все гуманисты поднялись с какими-то домашними учителями или по ланкастерскому способу, почти без школы, вне класса, без учителя или учебника. Слабосильное и ленивое наше общество, точнее – «толпа» общества, решительно есть продукт бессильной, апатичной русской школы. Все думают об основании новых университетов; дай Бог, и особенно дай Бог их на Волге, в Ярославле или Саратове. Но невозможно же забыть, что все-таки и сейчас мы имеем восемь университетов и четыре духовных академии; а где настоящие и вполне уже *сейчас возможные* плоды их работы; общество, если не обширное, то умное в незначительной своей численности, стойкое, оживленное, содружное; а главное, и что легче всего – по крайней мере читающее и читающее, размышляющее с незатейливой целью «поумнеть»:

От ликующих, праздно болтающих
Уведи меня...

Вспомнишь стих, небеспричинно ставший знаменитым, старика Некрасова. Когда мне случается бывать в толпе зрелых гимназистов с пробивающимися усиками, или такого же вида студентов, и слышать неумолкаемый их гул, всегда я думаю почти одну и ту же мысль: «Всем вы наделены и все у вас есть, и, может быть, не шутя есть в смысле дара: но все, что и есть в вас, не удержится, а рассыплется песком вследствие отсутствия одного и главного таланта: умения и склонности молчать, умения и предрасположенности слушать и наблюдать».

Ленивая и бесталанная наша школа: вот что лежит в основе почти всех недостатков и нашего общества, почти невинных вследствие их невольности. 12–16 лет только и знать, что встать (с парты) и изложить кое-как вчера заученное: ну, это до того просто и несложно, что, очевидно, все остальные способности мальчика-юноши, т. е., в сущности, бесчисленный мир способностей, даже не задеты школою. А воля? А сердце? А хоть зачатки, вполне возможные и в юноше, «мудрости», т. е. осторожности и самокритики? Для школы просто всех этих вопросов не существует, т. е. для нее не существует, как объекта воздействия и культуры, «человека», а просто есть мешок или мешочек или кошелек (смотря по рангу школы) для запихивания в него программы. И ничего больше. Даже не приходит ничего больше в голову. И вот эти мешочки с разными сортами программы, именуемые «питомцами разных школ», вследствие совершенно дикого и запущенного, вполне слу-

чайного развития у них ⁹/₁₀ способностей души, и являются какими-то главными крестьянами (в смысле умственной культуры) с крайне нездоровыми, городскими инстинктами и вкусами.

Наша школа плохо работает, за исключением самой начальной: это должно быть лет на 20 постоянною мыслью, *idée fixe*, даже до болезни, до слез стыда и покаяния, наших ведомств всех цветов мундира и «духа» и «призвания». Семинария, гимназия, университет, духовная академия – это стыд и стыд, слабость и слабость России. И уж тут «кто может – помогай». Без подобного сознания, чистосердечного, на протяжении всей России, и сознания проникающего как учащихся, так и, главное, самих учащихся – нам шагу ступить нельзя. Золотой день наступил бы для России, если б и молоденькие ее усики, как и седые бороды, вдруг сказали бы себе: «А ведь мы плохо учимся; ведь мы Бог знает куда деваем свое время, когда жизнь так кратка, а область ученья бесконечна, и бесконечно интересна».

* * *

Решительно каждая страница сборника Гилярова дает тему для размышления; и, будучи только эскизом мысли, могла бы быть развита в книгу. Поражительно, что уже в 1873 году Гиляров предсказал буквально то, что свершилось с организмом гимназии на наших глазах, на переломе XX века.

«Реформа, – писал он, – будет ли хороша или дурна в себе, не приведет к благу. Она падает на почву, враждебно предрасположенную. Но чего ждать, когда с отвращением и озлоблением примут реформу те самые, которые должны будут исполнять ее? Говорим это с огорчением, ибо в необходимости реформы мы убеждены, и притом реформы коренной. Несмотря на наши бесполезные предупреждения, реформа будет, разумеется, произведена, и по рецепту, всего вероятнее, довольно родственному с тем, который предлагается г. Любимовым. Но тем менее сомневаемся, что за этим, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, произойдет реакция – новая реформа, а с нею и новое изменение всей системы образования или падение классицизма. Струны и теперь натянуты сильно. В интересе именно классического образования поднимаем – увы, знаем, что бесплодный – голос не натягивать положения еще сильнее. Надобно прислушиваться к окружающему. Надобно иметь терпение постепенности. Вся реформа, производимая теперь в просвещении, именно страдает более всего этим недостатком крутости, нетерпеливости и исключительности. Выписанные из-за моря учителя классических языков оказываются, по экзамену, не знающими предметов, на которые приглашены. А они, между тем, учили невозбранно, и под особым покровительством начальства, целые два года».

Право, приходится слить эту классическую реформу с проделками «Когана, Горвица и К^о» в турецкую войну 1877 года: только тут кормились протухлой педагогикой, бессовестного изготовления, дети в 10–13–15 лет!

«Какие анекдоты, – продолжает Гиляров, – по части знания классических языков рассказываются о новоиспеченных педагогах – об этом лучше умолчим. А публика все эти рассказы собирает и объясняет по-своему... Обратим еще внимание на факт, о котором забывают как защитники, так и оппоненты реформы: забыта публика, забыты отцы, матери, братья, сестры учащихся» (стр. 87 и 89).

Это – плачевно и пророчественно, как голос Кассандры среди уверенных троянцев. «Илион» нашего классицизма, впрочем, пережил на 10 лет Троя: та пала через 10 лет, он – через 20. Гиляров, читавший на пяти языках, кроме своего родного, и знавший древние языки, как мы французский, оспаривал, однако, их всеспасительность. «Смеем причислить себя никак не к реалистам: но только бессмыслие может утверждать, что в древних языках, и, в частности, латинском, в них самих, помимо всяких условий, кроется таинственная сила, развивающая умы. По нашему скромному мнению, такую таинственную силу позволительно приписывать лишь снадобьям, о которых публикуется в газетных объявлениях, под восклицательным заглавием: «Нет более седых волос» (стр. 106 и 107). Он объясняет свою мысль тем, что логическая выправка, действительно даваемая изучением этих законченных языков, с их внутренней логикой, собственно нужна только детскому уму, не имеющему пока никакого фактического материала для подобной же логической над ним работы. Но раз ум обогащен сведениями, работа над языком вполне может быть возмещена работою над сведениями истории или какой угодно другой науки. Классицизм, у нас введенный, и по мнению Гилярова так же мало напоминал Грецию и Рим, как чахоточные легкие напоминают здоровое легкое. Все тут – обратно!

«У прародительницы образования, Греции, наука была действительным цветом жизни, если можно так выразиться; была утончением ума и способностей, не переходившим ни в отвлеченность, ни в односторонность и иарушение гармонии и равновесия в развитии вообще. Грек ученый от неученого отличался количественно, только степенью, а не качественно, как в наши дни. Отсюда и соотношение между разными отраслями знания и между всем знанием и искусствами, и между разными отраслями искусства, начиная с художеств и кончая ремеслами, было теснее, чем в наше время. В этом и выражалась та красота, та стройность греческого мира, которая признана за его отличительную историческую черту. Образование не было только знанием внешним, но просветлением самой жизни, и не ограничивалось одним знанием, но было и искусством, и практическою деятельностью; грек образованный – это значило и таицор, и музыкант, и борец, и хороший воин, что не мешало, однако, и специальности».

Все это писалось в 70-е годы прошлого века, когда сама классическая реформа до известной степени была проведена Толстым, Катковым и Леонтьевым в противоборство грубостям эмпиризма и практицизма. Тонкий и главное спокойный ум Гилярова умел рассмотреть в этом кажущемся заг-

рубении общества глубокую историческую истину, глубокую и главное прекрасную необходимость: именно – возвращение к здоровой цельности Греции, как он определил ее выше:

«И в настоящее время, – пишет он сейчас же после сделанной характеристики древнего классицизма, – наука приходит, наконец, если не к сознанию, то к ощущению необходимости поставить себя в более тесную связь с жизнью. Наклонность науки к так называемому реальному направлению несомненна, и несомненно желание так называемой популяризации – склонность и желание ограничить себя житейскими предметами знания и пустить самые знания в общежитийский оборот. Сюда же должно причислить материалистическое направление: оно, в сущности, есть неизбежный протест против сантиментальности и идеализма. Но конец этих стремлений все еще далек. Ученый у нас все еще жрец; специальности еще слишком разъединены и независимы и мало знают одна другую. Знание еще не дополняется развитием; голое умственное развитие еще далеко не дополняется развитием нравственным и физическим. Наука находит возможным в воспитании довольствоваться собою без искусства; искусство считается украшением, а физическое развитие приятно роскошью. Самое направление к реальности довольствуется смещением реального с материальным и утилитарным, упраздняя нравственные вопросы и обращая науку в орудие практических целей; успев усмотреть смешное в науке для науки и в искусстве для искусства, но не догадавшись, что наука и искусство есть потребность жизни, сама жизнь и развитие в своем высшем и полнейшем проявлении есть облегченное духовное дыхание и в этом смысле самостоятельно. Как физическое дыхание не есть орудие кровотоворения и питания, хотя и ведет к нему, но есть необходимое проявление органической жизни, и в этом смысле самостоятельное, несмотря на свое утилитарное положение, так и наука с искусством. Забавно наслаждаться формальным процессом дыхания, усиливаться дышать для того, чтобы дышать, но смешно и ограничивать свое дыхание. Для практической мол цели правильного кровотоворения и этого довольно. То же и в науке с искусством. Безумно было бы обоготворять их, создавать кумир, которому якобы сама жизнь есть только орудие, вместо того, чтобы видеть, напротив, в них проявление жизни: но забавно же и искать в них исключительно утилитарных приложений к добыванию хорошо испеченного хлеба или просторных сапогов» (стр. 53–54).

Если бы советы этого спокойного ума были выслушаны в свое время! Наш школьный классицизм ломился вперед, как партия, как победа, а не как высшее государственное или философское созерцание. Побеждая Бюхнеров, он сам был русским Бюхнером; думая искоренить Базаровых, шел прямолинейно и без оглядок, как Базаров, без пощады к другим людям, к чужим мнениям, наконец, к потребностям и нуждам законным, но каких не имели люди, его вводившие. Статьи Гилярова за 1881 и 1883 гг. все возвращаются около бывших тогда усиленных беспорядков, примыкающих к моменту

министерства А. А. Сабурова. «Целый год прошел без занятий», – скорбит публицист в одном месте. Тут, кроме его мыслей, напечатаны письма в редакцию за подписью «Отец», за подписью «Студент». Все это ценно, как материал. Уже и тогда, 20 лет назад, и профессора, и студенты, и общество, и администрация проникнуты одним скорбным и раздраженным чувством: «Университет упал и все падает». Люди винили друг друга, указывали в разных местах причины, но все сходилось в одном – «университет падает». Перечитывая длинный ряд этих жалоб, ищешь итога, ищешь формул и тезисов; и у меня возникло их несколько. Позволю их предложить вниманию читателя:

1) Что, если бы образование стало искомым? А не то, чтобы оно само искало себе слушателей?

2) Что, если лекции не слушаются, с них бегут, на них не являются, то не полезнее ли миллионы, сюда затрачиваемые, перебросить до более благоприятного времени в деревню, в сельскую школу, деревенскому учителю и ребятишкам мужицким? Одни не хотят супа, отворачиваются от него: придвинем хоть снятое молоко тем, которые остаются пока вовсе без корма. Кстати, эта вторая проблема привела бы к решению и первую.

В самом деле, каждый-то Божий день прислуга, забирая из дома самонужнейших три рубля, идет утром за булками, в 11 часов за говядиной. И как осматриваешь, что она принесла: и хороша ли говядина, и свеж ли хлеб, и не дорого ли дано за все. Но представьте, что булочник и мясник сами приходили бы чуть свет к дверям нашей квартиры, и без всякого вопроса о нашем аппетите наваливали бы горы булок и говядины в кухне. Право, это произвело бы такое противное ощущение во мне, что я перестал бы дома обедать. В деле ученья происходит что-то похожее на это. У нас книжка бегаёт за человеком, школа за учеником, профессор за студентом; какое-то всеобщее ухаживанье высшего за низшим, зрелого за незрелым, выученного за невыученным. И ученик – студент или гимназист – бегут от учителя, как курица от повара, который ее хочет зарезать. Явление до последней степени дикое и ненатуральное и, между тем, оно на глазах у всех.

Наука точно склонила свою гордую голову. Ученый точно присел на корточки, ползет и шепчет, ко всем приставая, – как до известной степени уличная дешевая краса. Все стало ужасно дешево! Все страшно подешевело, и верховный закон «спроса и предложения» сбросил с пьедестала самые недоступные когда-то таинственности! Здесь университет без вины виноват: он несет последствия, так сказать, понижения умственных ценностей на всем мировом рынке. Ужасно странно было лет десять назад слушать протесты московских студентов-медиков против знаменитого Захарьина. Им бы учиться у него, а они требовали, чтобы он перестал их учить, вышел из состава профессоров. Знания Захарьина лишь за большую цену открывались пациентам: так посмотрите, с какой робостью этот пациент, внеся сто рублей, входил в кабинет доктора, чтобы дать осмотреть себя, и уж можно представить себе, как, затаив дыхание, он слушал его советы!

Так ли входил студент в аудиторию Захарьина? А ведь, в сущности, он приходил еще за драгоценнейшим: за умением лечить, за осмыслением всей своей деятельности, да, наконец, — за карьерой! Да, но он сумму этих данных везде найдет, да и здесь получает их даром, а пациент за все заплатил, и своего здоровья он нигде не найдет, кроме этого кабинета. Вот разница, о которой нужно подумать всему педагогическому миру при зрелище, как ученики бегут от них.

Теперь образование, можно сказать, лезет из всех щелей цивилизации: из газеты, книги, лекции, товарищеской беседы, «просветительного кружка»; и аудитории опустели. Тот же Гиляров вот в ряде газетных статей на-сказал мудрости, которую через 20 лет по листкам собрал и издал К.П. Победоносцев, сам бывший профессором, и который едва ли предпринял бы издавать, под старость лет, какой угодно университетский курс «публичного права и общественных наук». Таким образом, по оценке консервативнейшего государственного человека, ученейшего и старца, в газетах больше образовательного содержания, чем в университетском курсе, — конечно, не во всех газетах и сравнительно не со всяким курсом, но это уже частности, не изменяющие общего положения вещей. Университет и начал падать: как русский хлеб, когда его повезли из Америки и из Австралии. Он перестал быть исключительным, дорогим, искомым. И положение дел в университете весьма напоминает положение наших землевладельцев; у них и руки есть, и трудолюбие, и земля; но «нет цен» — и роскошные хозяйства бросаются, а возможный «Микула Селянинович» идет в чиновники, поступает в банк; ищет бумажного дела и хорошего жалованья.

Вот если бы университет снова начал давать единственное, исключительное, чего нигде не найти; если бы он поднял философию ли, науку ли в какой-то следующий этаж, над тем, где движется теперь общее образование, — я думаю, в него бросились бы как в диковинку, редкость, как в склад сокровищ, нигде в ином месте не находимых. Но об этом трудно гадать: это что-то экзотическое, вроде философии Платона, «тайной мудрости» пифагорейцев, куда допускались избранные, после «искуса», куда толпа не входила. Но наука давно стала без «тайн» и похожа на оголенную женщину, которую со всех сторон и все задаром осматривают. Во всяком случае судьба университета внутренним образом могла бы перемениться только после каких-то глубоких перемен, почти потрясений, в самой науке.

Или вот еще возможность: сделать, чтобы профессор учил не как нанятый ремесленник тех, кого ему привели, кого дали в выучку, но кого он сам себе, как артист знания, выбрал, положим, хоть со второго курса после первого «опытного», «испытательного» года. Университет мог бы распаться на личности преподающие, которые так же сосредоточивали бы около себя талантливых, и только талантливых учеников, как покойный Лист музыкантов, как вообще виртуозы музыки сосредоточивают около себя не вообще музыканящую толпу, а обещающих нечто слушателей. Консерватория, как порядок и система, как учреждение и заведение, не господствует над

профессором; но как университет господствует, до подавления, над профессором, хотя бы он был европейским светилом, был Буслаевым или Пироговым! «Класс такого-то композитора», «я прошел классы такого-то пианиста», это аттестация, которая на все оценки чего-нибудь стоит. Но что значит: «Я кончил курс в Московском университете»? – Ничего не значит. Это толпа, без искр, без таланта, без определения себя. Все ценят отзыв: «Он был ассистентом Захарьина», и вот к этому уже все рвутся, когда в аудиторию того же Захарьина никто не рвется, ибо в ней Захарьин «нанят», а мы в нее «согнаны». Итак, переделка университетского преподавания из безличного, лекционного, аудиторного, на что-то вроде: «Я прошел выучку проф. Платонова», «был пять лет в руководстве Боткина», «меня руководил Герье»: что-то вроде разбивки университета на «пансионы» или «школы» отдельных и уже непременно высоких светил науки – может быть, что-нибудь обещало бы в будущем. Руководитель-профессор набирал бы себе в «подручных» специалистов других кафедр, уже следя за их деятельностью. Таких 20–30–40 пансионов образовали бы «университет», при общей для них библиотеке и кабинетах. Но главное, в «пансион» попадет только тот, кто «понравился г. профессору» совокупностью духовных даров своих, обнаруженным отношением к науке, непременно талантом, призванием. Без «призвания» может гранить улицы, охотиться по ночам за девицами или читать книжки в библиотеке; может перебираться в другой университет, с надеждой там кому-нибудь «понравиться», заинтересовать кого-нибудь своей «духовной личностью» и попасть в «приют науки», вместо теперешней всем открытой площади наук, которую топчут все приходящие и между ними проходимцы. Нужно вообще университету что-то духовно-аристократическое; пусть нищий-голяк идет сюда, но с золотой головой. «Я студент» – пусть это значит: «Меня увидел и взял за руку и ведет Буслаев, Бредихин», а не значит: «Получил аттестат зрелости и зачислен в заведение номер такой-то: днем пью пиво, ночью ловлю девиц». Пусть «студент» значит отличительное, личное, избранное, над чем уже звезда горит, а не та «мгла» неизвестного, над которой не носился Дух Божий.

БЮДЖЕТ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Цифровые данные о бюджете министерства народного просвещения с 1872 г. по 1903 г., приведенные в напечатанном у нас вчера письме бывшего товарища министра финансов и товарища государственного контролера А. П. Ивашенкова, едва ли могут вполне рассеять давнишнюю и привычную грусть русского человека, соединяемую с мыслью о нашем бюджете на образование. «Повышение за последние 11 лет почти вдвое» этого бюджета, на что он указывает, теряет свою яркость при соображении, что почти вдвое увеличился за это время и бюджет Империи; а цифра «40 миллионов», до каковой

он «наконец дошел» в 1903 г., представляется весьма мизерною, если принять во внимание, что она взята из полутора миллиарда рублей, в том же году поступающих в государственное казначейство в общем итоге с населения Империи. А. П. Иващенко не откажется признать, согласно и с каждым беспристрастным судьей, что все же материальные интересы государства, весь мир его вещественных, экономических, хозяйственных нужд, забот и предприятий получает «роскошное удовлетворение» сравнительно с тем, какое получают его духовные, образовательные интересы. Невозможно представить себе, чтобы не был проведен «за недостатком бюджета» второй путь по какой-нибудь железнодорожной линии, где пассажиров и груза имеется вдвое, чем сколько может возить дорога. Что каждую осень по всей России слышится боль от недостаточности учебных заведений; что половине экзаменуемых в высшие технические училища (не министерства финансов) отказывается за неимением вакансий, а число вакансий увеличить нельзя за непоместительностью аудиторий и физических кабинетов; что, наконец, отказывают и в приеме в I, II и III классы гимназий как столичных, так и губернских, совершенно подготовленным ученикам, и отказывают опять же по той причине, что в классах сидеть душно, а учителю нет возможности вести урок с сорока учениками: все это факты, совершенно всем известные и страшно болезненные, а для России и несколько постыдные, в основе которых лежит несомненно мизерный бюджет министерства народного просвещения. Ибо невозможно же предположить, чтобы само министерство народного просвещения отказывалось открывать новые гимназии и прогимназии или параллельные классы в прежних, хотя бы на это у него и оказались свободные деньги. Прибавка бюджета министерства с 1882 по 1892 год только на $2\frac{1}{4}$ миллиона, когда с 1892 по 1902 год он возрос на $14\frac{3}{4}$ миллионов, показывает только, что целых десять лет министерство не росло вовсе, не развивалось, и притом искусственно: иначе чем объяснить скачок в $14\frac{3}{4}$ миллиона, сделанный в следующее десятилетие? Но этот скачок показывает только, до какой степени вообще застоялась, остановилась жизнь нашего учебного ведомства, и совершенно правдоподобно предположить, что скачок следовало сделать не в 14, а 24 и 34 миллиона.

Очевидно, все это ведомство страшно запущено. О запущенности его в чисто педагогической области писали и пишут много; но, очевидно, сверх ее и, может быть, в основе ее лежит запущенность чисто денежной стороны, недостаточность средств. Кто не знает, что молодой человек, предназначенный готовиться в университет к профессорской кафедре, всего получает 600 р. в год: между тем это избранный, отличившийся питомец университета, будущая его надежда, в возрасте 28 лет, и, может быть, семейный. «Как мы сравнительно счастливы», — могут сказать помощники столоначальника и в министерстве финансов, и в государственном контроле, узнав об этой плачевной и почти смешной цифре. Между тем можно ли предположить, чтобы министру народного просвещения доставляло удовольствие почти морить голодом начинающих филологов и математиков.

«Нет денег, что делать», – вероятно, отвечает министерство народного просвещения на указания подобных ненормальностей.

Директор гимназии получает на тысячу рублей менее жалования, чем председатель окружного суда; а учитель гимназии рублей на 500 менее, чем член суда или судебный следователь. Между тем эти параллельные должности, параллельная служебная опытность, совершенно равное образование; только педагогический труд считается тяжелее, что видно и из признания государства, которое определило срок выслуги пенсии в министерстве народного просвещения в 25 лет, а в министерстве юстиции в 35 лет. Итак: 1) образование равно, 2) опытность в службе равна, 3) линия деятельности одинакова, 4) труд тяжелее, а 5) жалования меньше. И меньше не на какие-нибудь десятки рублей, а на сотни, на тысячи. Первые светила науки, которые составляют славу России перед всем светом, состоя преподавателями университета, не получают столько, сколько «начальники отделений», как в ведомстве финансов, так и в ведомстве государственного контроля: между тем никакой «славы России» эти начальники отделений не образуют. Совершенно простые смертные. Почему же они кушают с золота, когда первоклассные ученые кушают с олова. И можно бы с этим помириться, если бы и во всем свете делалось так. Но посмотрите, что в Англии получают профессора Кембриджа и Оксфорда, и сравните с тем, что получали наши Буслаевы, Тихонравовы, – и увидите, что у нас наука нищая.

Невозможно все это не отнести, как к некоторой вине, к излишней в вопросах образования «прижимистости» министерства финансов не за время непременно управления С. Ю. Витте, а за все время его существования, впрочем, не обходя все-таки последние 11 лет. И таланты, и широкую предприимчивость недавнего министра финансов никто не будет, конечно, отрицать. Но остается налицо тот факт, что на недостаточность вознаграждения учительского труда было обращено в последние годы внимание даже с высоты Престола: и все же оно остается, каково было прежде. Печать не может вникать в сокрытые отношения министерств: «было ли испрашиваемо» и «получился ли отказ», или «отказа не было, потому что и испрашивания не было». От печати и общества это сокрыто, да и не весьма интересно. Печать и общество, родители детей, которых им некуда отдать, могут только формулировать очевидную для них действительность: «учиться негде, потому что учить не на что», «денег нет – верно, оттого, что денег не дано». А что ассигнования все-таки несколько растут, как указывает А. П. Ивашенков, так ведь и вся Россия растет, и вопрос только в пропорциональности. Растет у нас все-таки и хлебопашество, выросло со времен Николая Павловича и все же страшно отстало, почти разрушено, потому что росло крайне непропорционально сравнительно с фабриками и железными дорогами. Нужно во всем наблюдать соотносительность роста: вот этого-то и не было в отношении министерства народного просвещения. И в то же время начали быстро расти, никто этого не оспорит, учебные заведения самого министерства финансов, развившись почти в отдельное учебное ведомство.

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ РАЗНЫХ РОДОВ СЛУЖБЫ

Затронув вопрос о бюджете министерства народного просвещения, мы, конечно, руководились печальным положением как русского учителя (всех рангов), так и русского ученика, каковое положение довольно известно всякому. Из объяснений, вторично делаемых А. П. Иващенко, бывшим в 1892–1901 гг. преемственно товарищем министра финансов и товарищем государственного контролера, мы не усматриваем существенной поправки к этому констатированному положению вещей, а частью видим даже яркое подтверждение его. Слова его: «Нельзя поднять сразу на ноги остановившееся в своем развитии дело: для этого нужен известный более или менее продолжительный срок», – сказанные в применении к ведомству народного просвещения, определяют историческое положение этого последнего, как «дело упавшее» и «скоро непоправимое». Трудно придумать более резкую характеристику целого нашего министерства, притом наиболее интимно дорогого для России, чем приведенная в этих решительных и, конечно, справедливых словах. «Дело – в ликвидации», говоря коммерческим языком, и только что только над ним не назначено «опекунства» или «администрации» сверх прежней и оказавшейся несостоятельно. Заведение своих школ министерством финансов, чуть не целого своего учебного ведомства, может быть, и следует рассматривать, как некоторую предварительную и осторожную форму «опеки над малоспособным» или «замещения малоспособного». Положение нашего учебного ведомства еще в недавние годы было действительно таково, что мы не станем тратить усилий на оспаривание оценки А. П. Иващенко. Скажем только, что нужно было скорее открыть свободу критике словесной, критике печатной наших учебных дел, учебного нашего ведомства, нежели прибегать к этой, так сказать, бюджетно-финансовой критике, выразившейся в прекращении отпусков на явно гнилое дело. Жалко было отпускать деньги на пресловутую русскую филологическую семинарию в Лейпциге: но нужно было прямо это сказать и закрыть семинарию, чем, имея в виду семинарию, отказывать в денежных пособиях полугодным русским учителям, людям добрым и трудолюбивым, людям несчастным и забытым административно муштровкою и нищенскими окладами.

Критика окладов содержания наставников в министерстве народного просвещения занимает значительнейшую часть последнего письма А. П. Иващенко. «Начальники отделений» в министерстве финансов и в государственном контроле, говорит он, получают с наградными к Рождеству и Пасхе 3700–3900 рублей, т. е. всего на 700–900 руб. более ординарного профессора. Но в чем разница ординарного и экстраординарного профессора и даже приват-доцента? Перед аудиторией, слушателями, да и перед лицом науки это решительно все одно, и деления эти: «приват-доцент», «экстраординарный», «ординарный» суть чисто словесные или словесно-служебные, вроде «коллежский советник» и «действ. стат. советник». Уже при-

ват-доцентом может быть только ученый, сдавший экзамен на магистра определенной науки и представивший и защитивший диссертацию на эту ученую степень. За магистерским следует докторский экзамен и докторская диссертация, а между тем автор ее все еще остается экстраординарным профессором, а иногда даже и приват-доцентом с жалованием в 2000 р. и в 1200 р., что определяется просто тем, что по штату при университете полагается определенное, ограниченное число ординарных профессоров и лишь смерть или выход в отставку «ординарного» передвигает на его место и к его окладу в 3000 руб. экстраординарного профессора, причем для этого не требуется ни нового экзамена, ни новой диссертации. Словом, это чисто служебное передвижение, аналогичное новому чину, а не передвижение ученое или учебное. Экстраординарный профессор и даже приват-доцент исполняют буквально все то же и совершенно так же, с теми же качествами, как и профессор ординарный, будучи, в зависимости от таланта, иногда даже лучше, учение и полезнее его, и явно, что оклад 3000 рублей, если мы признаем его достаточным, должен быть окладом вообще преподавателю университета, т. е. 1) магистра наук, 2) читающего курс определенной науки слушателям высшего учебного заведения. Между тем этого-то элементарнейшего и справедливейшего вознаграждения за преподавание в университете и нет: до половины своей преподавательской деятельности, своей 25-летней службы, профессор почему-то получает то ничего (некоторые приват-доценты), то 900 р., то 1200 р., то 2000 р., и лишь последние годы службы получает 3000 рублей. Вот таких-то «начальников отделений» в министерстве финансов и в государственном контроле и не существует: а между тем это должности, для которых даже не требуется окончания курса в университете, а просто несколько служебно-технических умений. «Начальник отделения» с 3700–3900 р. в год не только получает более всякого ординарного профессора, т. е. «умелый» Иванов-Сидоров вознагражден «отечеством» более, нежели Буслаев, нежели Менделеев; но едва до половины этого «отделенческого» жалованья (3900 р.) достигает жалование целой половины преподавателей университета, магистров науки, которые даже по уставу университета предполагаются «движущими науку вперед», т. е. государство само имеет об этих своих слушателях представление как о людях, не только овладевших всем необозримым материалом этой науки, на всех образованных языках, но и представление о них как о столь высоко-го и острого ума людях, что они могут нечто прибавить к всечеловеческой мудрости в данном отделе знаний! Вот отчего в Англии содержание профессора университета доходит до десяти и более тысяч рублей, что совершенно отвечает высокому представлению об их исключительных, для целой страны, знаниях и таланте. Да это так и есть: совокупность профессоров в стране выражает максимум умственного уровня, научного уровня самой страны. В них страна смотрится, как в свое духовное зеркало, и узнает по их работам, по их всемирному блеску (или тусклости), чего она стоит на весах всемирной цивилизации. Это уже не то, что «начальники отделений»,

и даже не то, что вице-директора департаментов, где всякого Сидорова можно заменить каждым Ивановым. Всякий хорошо понимает, что ни Буслева, ни Бредихина или Менделеева невозможно заменить, нечем заменить; что это есть единственные и исключительные в стране лица. Вот отчего ссылка А. П. Иващенко: «Ведь он получает всего на 700–900 руб. меньше, чем мой начальник отделения; на 3000 р. меньше, чем мой вице-директор; на 6000 р. меньше, чем директор» – весьма и весьма мало может успокоить Россию.

Далее г. Иващенко ссылается, что в добавление к казенному жалованью профессора получают гонорар со студентов за слушание лекций. Во-первых, эта прибавка едва ли насчитывает себе десять лет; во-вторых, она не задевает вовсе или задевает ничтожно преподавателей всех тех наук, слушание которых не представляется центральным на данном факультете. Конечно, профессор русского права или профессор физиологии получает несколько тысяч такого гонорара. Но как мало получает его уже профессор русской истории (малолюдный факультет) или профессор небесной механики!! А по трудности и тонкости эти науки не уступят никакой! Здесь мы имеем чистую несправедливость и несколько развращающий для науки принцип: побуждение выбирать хлебную кафедру, а не кафедру, интересную для ума и любезную сердцу. Далее он ссылается на частный заработок на стороне: трудно представить, какой же это заработок в Казани или в Харькове! Но если бы он и был, то, применительно опять же к чинам министерства финансов и государственного контроля, разве он дал бы столько, сколько «частная деятельность» означаемых чинов, в качестве члена комиссии, «члена от правительства» в каком-нибудь торгово-промышленном предприятии или в банке. Кстати, исчисляя вознаграждение «начальников отделений», А. П. Иващенко опустил или умолчал об одном: это именно постоянное их участие в смешанных комиссиях от министерства финансов, путей сообщения и государственного контроля, за какое участие получается вознаграждение независимо от месячного жалованья и праздничных наград. За каждое заседание получается приблизительно 15 руб., и если взять два таковых в неделю, то это даст 120 руб. в месяц, т. е. месячное жалованье начинающего учителя гимназии, да и приват-доцента. Эти заседания комиссий происходят иногда даже в служебные часы, т. е. не требуют особого для себя времени. Если он примет во внимание, что преподаватели гимназий и университета ничего не получают за вечернее участие в «советах», что учителя гимназий стесняются брать себе и всегда жертвуют «в пользу бедных учеников» гонорар за экзамены чиновников на получение классного чина и что 120 р. в год (в год!!) учителя гимназий получают за исправление ученических тетрадей, труд буквально адский и ежедневный, отнимающий у них все вечернее время, лишаящий их всякого физического и умственного отдыха, то картина выйдет печальною до мучительства и глубоко несправедливою, – несправедливою до оскорбительности, если ее сопоставить с картиною труда и вознаграждения в наших благополучных

ведомствах, которые звенят металлом и пересыпают бумажками, все получая со страны и все распределяя по своему усмотрению, — «по благоусмотрению», не всегда внимательному к труду своих соседей, людей одаренных и много учившихся.

Наконец, отметим возражение А. П. Иващенко, что министерство народного просвещения невозможно было двинуть энергично вперед хотя бы по недостатку учителей, каковой недостаток, так сказать, запретительно мешал открытию новых учебных заведений. Нам ли говорить и слушать это, когда параллельно во многих органах печати раздавались крики о «перепроизводстве интеллигенции», которая выучилась в университете и слоняется без дела, т. е. попросту не получила себе штатного определения хотя бы в том же министерстве народного просвещения?! Наконец, запустение историко-филологических факультетов, где слушатели на некоторых курсах исчислялись не только не сотнями, но даже и не десятками, а единицами, имеет опять краткое для себя объяснение в том, что сверх «хочется учиться» есть еще и «надо кормиться», а окончив курс на этом факультете, решительно нельзя было прокормиться, ибо гимназий новых не открывалось, или оне открывались чуть-чуть; и окончившим курс историкам, словесникам и филологам этого факультета оставалось или слоняться без места, или репетировать учеников гимназий, или определяться в те же богатые департаменты финансового и контрольного ведомств, где чиновников было больше, чем на иных факультетах студентов.

О ремеслах в школе и о бюджете школ

Скорее поздно, чем своевременно, комиссия по народному образованию обратилась к здешней думе с ходатайством о назначении средств на введение в число предметов обучения в женских городских училищах преподавания рукоделий. Такое преподавание давно введено в московских женских начальных училищах, и запоздалость Петербурга является непонятною аномалиею. Нет сомнения, дума поспешит исполнить предложение-просьбу комиссии. Невозможно представить себе глубокое недоумение родителей мещан, родителей-бедняков, которые, отдав в городское училище дочку 9–10 лет, которая могла бы что-нибудь делать дома, подмести полы или присмотреть за ребенком, года через три или четыре получают ее обратно на руки со всеми признаками возросшего тунеядства, с неумением взять иголку в руки, неохотно взяться за веник, и лишь каждое утро делающею из волос своих модной или бывший модным «кок». Ребенку простительны эти замашки праздности, потому что она не понимает смысла труда: но родителям, знающим и добродетели труда, и необходимость его, не может не показаться, что дочь вернулась к ним несколько худшею, чем какою пошла от них; во всяком случае — что она не вернулась более полезным членом семьи,

помощницею в доме и в зарабатывании хлеба. Кое-какие книжные знания представляют более теоретическую ценность, заметную для образованного взгляда, но весьма мало заметную для простых лиц, откуда вышла и куда вернулась девочка. Так называемое «взаимодействие школы и семьи» должно быть понимаемо не только в смысле разных разговоров родителей с педагогами и обратно, но прежде всего в том смысле, что школа должна принимать во внимание строй семьи и дома, нужды семьи и дома, и сама приспособляться к удовлетворению их. Взяв маленькую девочку к себе, взяв хоть и неумелую и бессильную, а все же помощницу по дому своей матери, школа должна вырастить, развить и культивировать именно эти работоспособные задатки девочки, должна вернуть ее домой лучшею труженицею, чем какую взяла ее из дома. Шитье, вязанье, хоть самая элементарная кройка и какое-нибудь элементарное счетоводство и домоводство, разумеется, показываемые и объясняемые практически, а не теоретически, – вот лучшие и важнейшие части программы начального женского училища, усвоив которые, девочка внесет в родительский дом радость, а не уныние.

Но обе столицы – это слишком мало, это островок на необъятном пространстве России. Своевременно предложить вопрос: а чему же учатся девочки-подростки в начальных училищах губернских и уездных городов? Городским думам на протяжении всей России полезно озаботиться тем, чем так поздно озабочивается Петербург. Инспекции начальных училищ министерства народного просвещения полезно также примкнуть к этой озабоченности, равно как и земским собраниям: дружными и согласными усилиями разных ведомств, разных степеней и родов власти, необходимо первоначальную женскую школу налить соками практичности, трудолюбия, полезности.

Мы только что писали о недостаточности нашего бюджета школ. В сущности, это корень всего русского педагогического вопроса. Не учат вовсе или учат плохо, потому что не на что учить или не на что дать хорошее образование учителям. Известие, перепечатанное у нас из «Южн. Края» о том, что из экзаменовавшихся в Харьковское реальное училище и выдержавших вполне удовлетворительно экзамен 226 мальчиков не были приняты за теснотою училища, и что в том же городе по той же причине было отказано 103 мальчикам в приеме в третью мужскую гимназию и 70 в четвертую, – обнаруживает положение вещей, близкое к ужасному. Ведь это, по практическому действию, вполне равняется тому, как если бы издан был закон о воспрещении добрым русским гражданам отдавать своих сыновей в гимназию, только запрещение это падает не сплошь, т. е. все же сколько-нибудь справедливо, а как-то на одного из трех, на одного из пятерых, точно по жребию, который можно поименовать «жребием несчастья». Неподготовлены были к поступлению эти 226, 103 и 70. В статистической цифре нет слез и отчаяния: но нужно иметь самую малую долю воображения, чтобы представить «беду», упавшую на дом и семью, сына, которого готовили-готовили к поступлению, он сам старался, на учителя

тратились последние средства; и вот, кажется, все готово и даже мальчика для чего-то проэкзаменовали, вдруг говорят, что его не могут принять в гимназию, ибо нет места в классе. Право, это что-то невообразимое и до того неуклюжее, почти невероятное, что не веришь и своему XX веку и цивилизации своей страны. Ведь это все равно, как если бы за недостатком вагонов на Николаевской дороге публика вдруг пошла по шпалам, «пешечком», из Петербурга в Москву: «Куда дожидаться места в поезде, и вчера было нетути, и сегодня нетути, и завтра, верно, будет нетути», – махала бы она в ответ на приглашение начальника дороги не томить его до такой степени и подождать, не будет ли в поезде свободнее завтра. Можно представить себе конфуз всего министерства путей сообщения от такого зрелища «пешеходов по шпалам». Но будто не точно такое же зрелище представляют собою фланирующие мимо стен учебных заведений вполне подготовленные к ним ученики! И точно так, нужно бы назначить какой-нибудь абонемент на место в гимназии, с правом записываться заранее, с наблюдением очереди и права. А то могут происходить случаи, так сказать, горечи особенно усиления среди всеобщего несладкого положения.

Во всяком случае «беда» этих 226 + 103 + 70 семьях города Харькова не такая малость, чтобы по поводу ее общество не было вправе ожидать от канцелярии попечителя харьковского учебного округа какого-нибудь разъяснения или успокоения. Может быть, сведения, попавшие в печать, преувеличены.

С. А. АНДРЕЕВСКИЙ КАК КРИТИК

Трудно придумать больший контраст, чем какой существует между юриспруденцией и поэзией, – в обширном смысле литературы, т. е. царства вымысла, воображения или тонкой игры ума. Душа первой – логика; душа второй – если не отрицание, то преодоление логики, некая высшая метафизика мысли, где ни Аристотель, ни Бэкон не сумели бы разобраться. Метод первой – последовательность и точное согласование с действительностью: пути, над которыми пролетает, но по которым не проходит поэзия. Вот отчего нередки случаи, когда поэт становится богословом, и богослов – поэтом; почему история одевается в убор поэзии, а поэт иногда изумительно воскрешает историческую эпоху. Но юрист и поэт, и даже только юрист и писатель «с призванием», «настоящий» – явление до последней степени редкое, трудное, так сказать, для творческих сил самой природы. «И как ты, матушка, уродила такого?!», – хочется сказать Природе-Родительнице, *Naturae Genitrici* древности, видя юриста, с пылающими щеками, склоненного над «заветной тетрадью».

Тут который-нибудь дар должен быть подчинен другому; который-нибудь из даров должен быть не настоящим, а только кажущимся даром. В литературе нашей заняли видное место три юриста: гг. Спасович, Кони и Андреевский. Из них первый и самый старый всегда благоразумно держался канвы учености, истории и государствоведения: предметы, достаточно

близкие или во всяком случае не противоречащие юриспруденции в ее существовании. Г. Спасович может быть неприятен направлением своего ума, «убеждениями»; он может показаться софистичным в своей аргументации. Но невозможно отрицать, что его всегда интересно читать и слушать; что он всегда говорит о предмете, хорошо зная его вещественную, материальную сторону; что он не скажет ничего наивного, и что если иногда вызовет в нас гнев, то зато часто и научит нас, хотя бы обширностью своих сведений. «Неприятный, но нужный человек», – могла бы резюмировать литература впечатление от этого своего гостя «из юриспруденции». Г-н Кони похож на тех патрициев золотой римской эпохи, которые долгом чести фамильной и служения родине считали толкование древних и мало кому понятных правил «XII таблиц» всякому смертному люду, своим клиентам и чужим. Для него юриспруденция есть как бы часть филантропии: и самый видный его литературный труд, самое сердечное его слово сказалось о филантропии николаевских времен, медике тюремного ведомства, д-ре Гаазе. Его самого до некоторой степени можно назвать Гаазом юриспруденции, который являет перед обществом и литературой добрую и светлую половину лица своей науки, предоставляя другим возиться с тайною его половиною, которая есть и даже главным образом есть. «*Ars boni et aequi*» («мастерство добра и справедливости»), научающее *honeste vivere, alterum non laudere, suum cuique tribuere* (честно жить, другому не вредить, каждому воздавать должное) – это красовалось только на фронтоне знаменитых римских Пандект: за фронтоном следовали узкие коридоры, низкие душевные своды, где томилось часто именно справедливое, «*bonum et justum*»*.

Невозможно не заметить, что как г. Кони, так и третий юрист-писатель С. А. Андреевский, о котором мы собственно будем говорить здесь, представляют науку свою затушеванною. В них дар юридический подчинен общественному и литературному. Мы сказали, что чистая юриспруденция, безусловно, несовместима с поэзией. Но в наши дни юриспруденция как бы допустила анархию в себя, – принцип революционный по отношению к давящей юридической норме: это на почве закона же допущенная «защита» частного интереса против закона. Все писатели-юристы суть писатели-защитники, а не обвинители. С адвокатурой, лукавой и гениальной (мы говорим о ней, как об явлении, а не как о частной способности), но по временам, нельзя в этом отказать, и глубоко нравственной, ворвалось в юриспруденцию начало лирическое, субъективное и личное: ворвалось, чтобы запутать, а по временам, быть может, и убить самую «душу» юриспруденции. Совесть и закон, «обстоятельства проступка», ставшие главнее самого проступка: все это сбивает с позиции самую суть «вины и обвинения», «преступления и наказания».

Г-н Андреевский более интимно и более глубоко вошел в литературу, нежели оба названные юриста: хотя он из них и не наиболее литературно

* «доброе и справедливое» (лат.).

талантливый. Но литература ему ближе, роднее, чем им. Нельзя представить себе ни г. Спасовича, ни г. Кони за стихом: между тем г. Андреевский и поэт. Его нельзя назвать «гостем в литературе»; скорее он в юриспруденции «гость», вышедший из литературы. Книга его критических очерков, посвященная Баратынскому, Достоевскому, Гаршину, Некрасову, Лермонтову, Толстому, Тургеневу, Гюи де-Мопасану, Марии Башкирцевой, Грибоедову и затем «новому театру» г-на Станиславского и упадку стихотворчества в наше время – дает читателю высокое умственное удовольствие. В ней есть один только недостаток, как и вообще в духовной личности автора: это – отсутствие чего-нибудь специального, упорного и вечного. Г-н Андреевский навсегда останется «другом» других, а не самим собою; не писателем, а «другом»-критиком, который говорит чрезвычайно занимательно, наконец – поучительно о других писателях: но не возбуждает вас собою, не приковывает к самому себе. «Какой умный собеседник, как я рад, что его слушаю, читаю его книгу», – эта благодарность читателя срывается не раз с ваших губ, по мере того как вы откидываете одну маленькую (малого формата) его страничку за другою; но это чувство никогда не перейдет в более сильное: «Какой поразительный человек! Где мне увидеть, сказать с ним несколько слов; какие у него глаза, голос?» Умный автор собеседник именно играет перед нами умом, изысканно образованным; наконец, вы слышите прекрасные струны, звучащие в лирическом сердце; вы чувствуете теплоту его, любовь и знание литературы, находите в нем новые для себя мысли; но он не наваливается на вас тяжелым многозначительным существом, давление которого сколько-нибудь изменяло бы вас, заражало; обediaло или обогащало. Он не убивает частиц вашей души и, сообщая вам много интересного, не внедряется в вас, как отныне новая частица нашего собственного существа.

Лирик и умный лирик, который много часов, может быть, лучшие часы своей жизни провел над книгою, – кажется изящно переплетенною, и сидя в изящной обстановке уютного кабинета, – таково впечатление от «Очерков» г. Андреевского, которые предварительно были «Чтениями», т. е. сказаны были перед избранною, вероятно, литературною, аудиторией. К нему подходит, но только обратно, то определение, которое он высказал в одном из прекраснейших своих этюдов – о Мопасане. Говоря о молодости знаменитого романиста, он отметил, что, посещая флюберовские «воскресенья», Мопасан всегда молчал, слушал, но не принимал живого участия в профессионально-литературной болтовне, там слышавшейся, – так что никто и не прозрел в нем будущего или возможного писателя: и в то же время, однако, он с бесконечной жизнерадостностью отдавался прогулкам, странствованию по разным закоулочкам Парижа, любил поле и лес, любил приключения среди людей; и под конец все это с несравненной свежестью и неиспорченностью, неискаженностью впечатления начал передавать в новеллах-рассказах.

«Мне кажется, я ем этот лес!», – воскликнул раз Мопасан, неотвязно жадно смотря на спускающиеся сосны с покатоги горы. Вот такого-то вос-

кличания: «Я ем лес» и нельзя вложить в уста С. А. Андреевского, «я съел все эти книги», — это, напротив, он мог бы сказать о своей библиотеке, вероятно, небольшой, но чрезвычайно изящно подобранной. Представьте кучку писателей, накрепко запертых на ключ и среди них чуткого их «друга», вслушивающегося в их разговоры, наблюдательного, умного, умеющего сочувствовать и понимать: и вы получите весь материал «Литературных очерков» г. Андреевского.

Ни одна из статей сборника не читается без интереса. Характеристику Лермонтова можно считать одною из лучших во всей нашей литературе: «Остановимся теперь на другой стороне этого великого дарования, более глубокой и менее исследованной, — на стороне сверхчувственной. Пересмотрите в этом отношении всемирную поэзию, начиная от Средних веков. Здесь мы несколько не сравниваем писателей по их величине, а лишь останавливаемся на отношении каждого из них к вопросам вечности. Дант — католик, его вера ритуальная. Шекспир, в «Гамлете», задумывается над вопросом: есть ли там сновидения? а позже, в «Буре», склоняется к пантеизму. Гёте поклоняется природе. Шиллер — прежде всего гуманист и, по-видимому, христианин. Байрон, под влиянием «Фауста», совершенно запутывается в «Манфреде»; эта драматическая поэма проникнута горчайшим пессимизмом, за который Гёте, отличавшийся душевным здоровьем, назвал Байрона ипохондриком. Мюссе — сомневается и пишет философское стихотворение «Sur l'existence de Dieu»*, где приводит читателя к стене, потому что заставляет все человечество петь гимн Богу, чтобы Он отозвался на бесконечный призыв любви, — и Бог, как всегда, безмолвствует. Гюго красиво и часто воспевал христианского Бога, и в детских стихотворениях, и в библейских поэмах, и в романах. Но всякому чувствовалось, что Гюго любит этот образ как патетический эффект; в конце жизни и Гюго сознался, что пантеизм, исчезновение в природе кажется ему самым вероятным исходом. Пушкин относился трезво к этому вопросу и осторожно ставил вопросительные знаки. Тургенев всю жизнь был страдающим атеистом. Достоевский держался очень исключительной и мудреной веры в духе православия. Толстой пришел к вере общественной, к практическому учению деятельной любви. Один Лермонтов нигде положительно не высказал (как и следует поэту), во что он верил, но зато во всей своей поэзии оставил глубокий след своей непреодолимой и для него совершенно ясной связи с вечностью. Лермонтов стоит в этом случае совершенно одиноко. Если Дант, Шиллер и Достоевский были верующими, то их вера, покоящаяся на общеизвестном христианстве, не дает читателю ровно ничего более этой веры. Вера, чем менее она категорична, тем более заразительна. Все, резко обозначенное, подрывает ее. Один из привлекательнейших мистиков, Эрнест Ренан, в своих религиозно-философских этюдах, всегда сбивался на поэзию. Но Лермонтов даже и не мистик: он именно — чистокровнейший поэт, «человек не от

* «О существовании Бога» (фр.).

мира сего», забросивший к нам откуда-то, с недостижимой высоты, свои чарующие песни... Смелое, вполне усвоенное Лермонтовым, родство с небом дает ключ к пониманию и его жизни, и его произведений... Неизбежность высшего мира проходит полным аккордом через всю лирику Лермонтова. Он сам весь пропитан кровною связью с надзвездным пространством. Здешняя жизнь – ниже его. Он всегда презирает ее, тяготится ею. Его душевные силы, его страсти – громадны, не по плечу толпе; все ему кажется жалким, на все он взирает глубокими очами вечности, которой он принадлежит: он с ней расстался на время, но непрестанно и безутешно по ней тоскует. Его поэзия, как бы по безмолвному соглашению всех издателей, всегда начинается «Ангелом», составляющим превосходнейший эпиграф ко всей книге, чудную надпись у входа в царство фантазии Лермонтова» (стр. 201–202).

Конечно, все это приблизительно и каждый думал о Лермонтове; но, во-первых, ни у кого из критиков не сказалось это определение Лермонтова так полно, закругленно и без колебаний; никто не сказал, что «связь с сверхчувственным» у Лермонтова есть самая главная черта и что ясностью этой связи он превосходит всех поэтов всемирной литературы. Да, наконец, давно ли еще определяли даже корифеи критики Лермонтова, как «героя безвременья» николаевской эпохи, который «тосковал» не столько о небе, сколько об освобождении крестьян, которое долго не наступало («Герой безвременья», этюд Н. Михайловского, обстоятельно разбирающий всю литературу о Лермонтове). В статье «Поэзия Баратынского» г. Андреевский столь же центрально и точно отмечает, что этот ранний поэт еще пушкинской эпохи был предшественником европейского пессимизма, как он выразился в поэзии Луизы Аккерман и в философии Шопенгауэра, а вовсе не был только писателем элегий, как известной формы *минутного* настроения и поэтической забавы. Проведя параллель между личным характером и биографией их и Баратынского, г. Андреевский замечает: «Точно будто для их глубокого и печального взгляда на мир именно требовалась та тишина и ясность, среди которых созерцание легче открывает горестные тайны вселенной...» (стр. 5). В статьях о Достоевском и Толстом им рассеяны наблюдения, которые вовсе не приходили на ум другим. Известно, что в «Дневн. писателя» Д–кий чрезвычайно жестко, даже беспощадно отнесся к «религиозным исканиям» Левина, которые были только замаскированной формой новых религиозно-творческих попыток самого Толстого. «Бр. Карамазовы» появились после «Анны Карениной», почти вслед за нею. И вот г. Андреевский точно отмечает, что в уста старца Зосимы, да и во всю фигуру Алеши Карамазова Д–кий влагает, в сущности, чистейший «толстоизм», *pur sang**. Противопоставлять Д–кого Толстому, как «правоверного» «заблуждающемуся» – принято до сих пор. Это – графарет критической мысли. Поэтому в высшей степени ценно следующее наблюдение нашего критика: «Очень ин-

* истинный (*фр.*).

тересно, хотя бы в самых общих чертах, провести в морально-религиозной сфере параллель между обоими писателями... Выразителями идеалов Д-го являются Алеша Карамазов и старец Зосима. За что же держатся оба эти лица в своей вере? За ту же любовь, на которую указал и Толстой, как на сущность своего отношения к Богу. Алеша в особенности близок к Толстому. Этого своего героя Д-кий определяет так: «Был он вовсе не фанатик и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто *ранний человеколюбец* (курсив Д-го), и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представляла ему, так сказать, идеал исхода для души его, равнейшей из мрака мирской злобы к свету любви». Таково определение самим Достоевским любимого его героя. Старец Зосима также представляется иноком, в сущности, очень либеральным, отличающимся величайшей терпимостью ко всяким возражениям против внешней стороны религии и вообще терпимостью к «мирской злобе». В самом монашестве Зосима видит не что иное, как тот же образ жизни, который Толстой указывал в пору «Анны Карениной», «Чем люди живы» и «Исповеди». В беседах и поучениях старца Зосимы «об иноке русском и о возможном значении его» говорится: «В мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же повывдумал? И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше... Итак, отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью Божией, свободы духа, а с нею и веселья духовного!». Конечно, это только имеет конкретность русского монастыря в тоне поучения, в слого, в стиле речи «старопечатном». Наберите эту самую мысль «гражданским шрифтом», уберите причуды «слога Феодора Михайловича», скажите обыкновенным человеческим языком, простой журнальной речью – и вы получите скелет или части скелета «учения Толстого». – Критик продолжает: «И в других поучениях Зосимы также постоянно встречаются тезисы толстовской религии: «Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быть». Или: «Если спросят тебя: взять ли силой, или смиренной любовью? Всегда решай: возьми смиренною любовью. Смирение любовное есть страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» (стр. 56 и след.). Все эти наблюдения чрезвычайно ценны, – особенно теперь, когда, повторяем, Д-го так любят зачислять в «правоверные» и несколько укорять этим правоверием тоже гениального писателя, «отщепенца от народа своего и своей веры», Толстого. Замечу, чтобы еще более подтвердить наблюдение г. Андреевского об этом параллелизме, что единственный раз, когда мне привелось беседовать с гр. Л. Н. Толстым, он передавал мне о глубоком своем впечатлении от образцов чистой и высокой жизни, какие приходилось наблюдать ему в монастырях

наших, которые он посещал чаще, чем Достоевский (одна поездка в Опти-ну) и едва ли знал их не лучше его. Между прочими его рассказами достоин записи один, так как связан с сюжетом одного из его достопримечательных рассказов. Монах, любимец народа (*не* от Амвросий Оптинский, а другой) поднялся, чтобы идти в келью; народ бежал за ним, останавливал, просил благословения и наставлений. Монах был очень стар и слаб, и вот к нему, задыхающемуся, подходят еще трое ли мужиков или мужик из семьи, где было три члена – этого момента рассказа точно я не помню. Подходит и повторяет вечный вопрос: «Как жить? Как спастись?». Между тем старец почти падает, – и, вытягивая из рук просителя подол хламиды, спрашивает: «Да сколько вас?» – «Да трое, батюшка!» – «Ну и молитесь: три вас, три нас – спаси нас». Таким образом, монах это ответил от чрезвычайной усталости, – и, конечно, от великой простоты душевной, как собственной, так и вопрошавших, от простоты и величия веры. Зрелище это, картина усталого монаха, и хоть краткая, – все же поучения, без которого он не оставил мужика, – вся эта сцена связанности народной и веры народной поразила Л. Н. и дала сюжет для его известного рассказа «Три старца». Но вот наблюдение, которое при этом сделал зоркий взор Л. Н. «И всегда-то оно так: возьмут праведного старца, усадят его где-нибудь около ворот, в келейке, чистенько, уютно – для корысти своей» (тут Л. Н. насмешливо улыбнулся): «Ну, а он тоже себе корысть делает – из их корысти: они его посадили для дохода, и он это знает, и сидит: но уже делает свое святое дело, подлинное, нужное». Он хотел сказать, что мудрый перемудряет хитрого: все началось с денег, имеет металл подкладку: но дух Божий побеждает и бросает металл в подножие святого дела. Может быть, «старца» народ и не нашел бы в лесу, а в монастыре – увидит; монастырь «пользуется» старцем, а старец «пользуется» и уже в обратном смысле – монастырем.

Наиболее души г. Андреевский вложил в этюды о г-же Башкирцевой и в статью «Вырождение рифмы». – «Чем далее от конца XIX века поэт, тем более вероятности встретить у него поэзию; и чем он ближе к нам, тем вероятнее, что мы натолкнемся на пустозвонство, версификаторство, а не поэзию». Однако отсюда вывести, что «в мире» умирает поэзия, – как делает г. Андреевский, – едва ли основательно. В Германии вовсе не было поэтов от времени реформации до половины XVIII века, и вдруг расцвели Гёте, Шиллер и целая плеяда меньших, но все же замечательных поэтов. Вообще появление великих поэтических талантов есть тайна истории, которой не постигая мы не можем ничего и предсказать. В этом очерке, как и во всем томике своих нигде не поразительных, но всюду привлекательных и местами поучительных этюдов, г. Андреевский является преобладающе меланхоличным. Он сам может быть назван «немножко Баратынским» нашей критикой: «Жизнь излишне спокойная, обеспеченная и созерцательная» вызвала и у него соответствующую «печаль», как, впрочем, ранее всего подобная жизнь вызвала и Эклезиаста. А между тем, заметим мы Баратынскому и Андреевскому, и даже, подняв очи на Эклезиаста, – не усомним-

ся сказать: «Как весело там, где есть не только труд, но и нужда ежедневно трудиться, где есть определенные цели достижения, не только «вообще существование». «Вообще существование» есть вещь действительно меланхолическая, и, между прочим, замедляя пищеварение, действует отрицательно на печень, где греки помещали «черную душу», т. е. дух недовольства, хандры и, вероятно, «философского пессимизма».

О «ДВУХ ПУТЯХ» МИНСКОГО

Острая и тонкая речь г. Минского о «Двух путях добра» показала мне, когда я ее слушал, чем-то действительно победным над старым антагонизмом между браком и девством. Иллюстрация его о *черном* цвете, так же прекрасном и нужном, как *белый*, а также и о том, что можно объехать землю вокруг, поехав *направо* и *налево*, – горели в уме, покоряли мысль. Лишь несколько времени спустя я увидел несовершенную *точность* взятых им аналогий и отсюда – ошибочность всей аргументации. Слушатели да будут внимательны.

Ведь, кроме белого и черного, есть *желтый*, *зеленый*, *красный* и еще *множество цветов*; ведь можно объехать землю, поехав не только на восток или на запад, но на юг, север и еще по направлению ровно всех 360° круга. Что это значит? Это значит, что в приведенных Минским примерах мы не имеем *антагонизма двух устремлений*, а просто *серию разнообразных фактов*, которые входят не в «два пути добра», как он нам пытался открыть, а в 25 сортов, а то и в 2500 сортов просто «хороших вещей». Совершенно иное в отношении брака и девства. Мы здесь имеем *только два* устремления, не три и не шесть, а только два. И иллюстрации Минского, если на них распространить закон полярно противоположного устремления, прочтутся не так, как он сказал нам, а следующим образом: «Репин нарисовал «Запорожцев», и это хорошо; но лучше, если бы он их не нарисовал»; «Колумб поехал на запад и открыл Америку, что есть благо; но лучше, если бы он никуда не выезжал из Испании».

Вот формула отношений брака и девства, и всякий видит, что она невозможна.

Беря черный и белый цвет, Минский берет разницу, а нужно взять антагонизм, состоящий в требовании *небытия* противоположного. Вопрос касается не качества, а существования. *Нужно перестать быть девственным, чтобы стать брачным*; нужно *воздержаться* от брака, чтобы сохранить девство. Или, в переводе на его пример: Колумбу надо вовсе никуда не плыть, чтобы оставить, так сказать, Америку в девственной неизвестности, и надо было непременно поплыть, чтобы эту девственную неизвестность нарушить. При этом – поплывет ли он на восток или запад – было все равно. Таким образом, у Минского вовсе не «два и противоположные пути добра», а просто разносортность хороших вещей в пределах одного и того же доброго пути. Он вовсе не философское открытие нам показал, а высказал

вещь, хорошо известную приказчикам Гостиного двора, которые спрашивают покупательниц: «Чего изволите? есть и желтое, и голубое, есть шелк и шерсть»; на что покупательницы, не ознакомленные с открытием Минского, отвечают: «Дайте мне и голубое, и желтое, и шерсти, и шелка». – Минский сказал нам пустяки, но таким тоном, как бы делает метафизическое открытие.

Вот если бы он показал нам, что в отношении одной и той же цели и в сфере одного и того же предмета или лица равно хороши и такое-то бытие, и ему противоположное небытие, – он, действительно, совершил бы метафизическое открытие, уничтожил бы понятие зла, показав, что есть не оно, а только «два пути добра». Если бы он показал нам, что и Терсит, и Ахиллес равно доблестны на поле битвы, – его философия бы торжествовала. Если бы убедил нас, что равно доволен прислугой, которая его обсчитывает в хозяйстве и которая не обсчитывает, – мы бы ему поверили. Но он прекрасным языком и с великой увлеченностью провел перед нами несколько обманчивых аналогий, которые завладели умом нашим на несколько часов, но рассеялись при первом внимательном рассмотрении.

Вдумаемся еще в следующую черту: ведь брак, по всяческому учению и даже по собственному взгляду Минского, не равно высок с девством, а или ниже его – в Новом Завете, или выше – в Ветхом Завете. Тут есть антагонизм, борьба: тут слышатся порицания – этого невозможно отрицать. Между тем восточное направление кругосветных путешествий нисколько не порицает: белый цвет не говорит собою, что «худ» черный цвет. Здесь не завята душа, она не «раздирается» в алканиях противоположного; словом, тут, по моему мнению, нет идеала, а только факт. Между тем и Минский не отрицает, что брак и девство суть идеалы, некоторые идеальные факты, и не было бы его речи и моих, если бы мы с ним не боролись. Между тем путешественники на восток не ведут полемики с путешественниками на запад.

Это об общей теории Минского. Перейдем к подробностям его взглядов.

Говоря об идеале Мадонны и подсмеиваясь над «Песнью песней», говорит ли Минский о монашестве, об аскетизме и об отношениях аскетов к полу? Нет, он говорит о тонком духовном сладострастии, которое больше всего запрещено и пугает монахов. Он для иллюстрации упоминает о Пушкине в отношении к его невесте – и это разъясняет все. Он говорит о влюбленности в деву: категория чувств, вовсе не вписанная в обыты монашества; говорит о деве, которую влюбленный Пушкин *in facto*, а рыцарь – в мечтах своих превращает в жену. Увы, и Свидригайлов или Ставрогин, знаменитые сладострастием герои Достоевского, восхищались больше всего именно и специально перед невинными девственницами, но я не знаю, выше ли это и особенно чище ли неутомимо текущего брака Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Соломона и др. Богородица родилась от Израиля, вечно плодородного; фактическая Богородица для меня, и, вероятно, для всех, выше мечтательной Беатриче Данте, чего-то высокого, но абиологическо-

го, антижизненного. Тут я вспоминаю сады Адониса, деревья которых не давали плодов. Романтизм западноевропейский, – ибо Восток не знает культа Мадонны, – весьма подобен им. Это – что северное сияние над полюсом, странами ледяными, странами смерти. Идеал девства в виде ли западного поклонения «Мистической Розе», или в более строгой форме восточного запрещения взирать на *всякую* «Розу» – есть в своем роде «Песнь песней» смерти. И если мы не в силах отрицать, что вождь и сотворитель смерти есть «древний Змий», Дракон Апокалипсиса, то я предлагаю слушателям задуматься над вопросом, не есть ли сладкий зов аскетизма таинственная сирена этого Дракона, завлекающая неосторожных путников?.. Еще раз напоминаю, что это есть принцип абиологический, авиталистический. Физиологически, анатомически, а в храмовом убранстве и живописно – аскетизм атрофирует осязаемое и видимое выражение пола*. Даже невинные Адам и Ева, представленные в раю, всегда на стенах церковных изображаются прикрытые то веткой дерева, то каким-нибудь другим предметом. А еще В. М. Скворцов борется с последователями Селиванова в «Миссионерском Обозрении» – но ему надо было бы сперва переделать вид наших церквей, и тогда он получил бы истинное и неложное основание для своей борьбы. Всякий гонимый, войдя сюда, может воскликнуть: «За что меня гонят? Не окружили ли они себя предметами поклонения, объединенными в одном и объединенными безусловно, именно: я вижу, что здесь лишены того, чего и мы не имеем».

Как это противоположно обрезанию! И без объяснений понятно, что едва взошла звезда Завета Нового, закатилась звезда Завета прежнего. Он стал «ветх», т. е. изношен, стал *не нужен*. Шопотом это все говорят, все говорит: живопись в храмах, уставы монастырей, странная организация брака, в котором ни муж, ни жена, ни ребенок не играют роли, а только один обряд объявлен нужным, непрременным и святым. Но пришел Селиванов, добросовестный тульский мужик, и произнес вслух прежний шопот. Все испуганы, заметались. Но поразительно: никак не умеют победить, искоренить скопчества. Нужно начать религиозный переворот, надо начать «преображение христианства», как я ранее выразился, и скопчество растет, как летом снег.

В речи Минского есть и прямые ошибки, притом опасные. Это о прелюбовом избииении камнями девушек в Ветхом Завете. Ошибка эта повторяется и всеми христианскими богословами, с понятию ссылаю, что «мы более милосердны, ибо только укоряем, а не побиваем». Законы о побииении камнями девушек согрешивших не приводились в исполнение по имению самого объекта для него. Девушке израильтянке некогда было «гре-

* В. В. Розанов понимает находящиеся в церквях иконы византийской живописи, преимущественно аскетического характера. Но ведь есть же в храмах иконы и более светлого, жизнерадостного вида: напр., Рождество Божией Матери, Рождество Христово, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородице и др.

Примечание цензора.

шить»: она выходила замуж между 8-ю и 13-ю годами; 13½ лет девушка становилась «богереть», перезрелую, «старую» девою, и выходила с этого времени совершенно из-под власти отца, становясь собственностью каждого, кто, бросив ей яблоко или финик, произнесет: «Освящаю тебя в жены себе этим фиником». Назавтра такой «освятивший» мог дать ей разводное письмо. И, таким образом, «падения» девушки буквально никогда и ни в каком случае произойти не могло. Но не торопитесь обвинять евреев за эти «освящения» на день. Не торопитесь, вспомнив нашу страшную проституцию, и что таковые – «освящения» были исключительные, как у нас изнасилования, а общим и настоящим там явлением был брак долгий и верный, чистый и святой. Особая похвала и награда в будущей жизни обещалась всякому, кто брал в жену себе слабую, некрасивую, слепую, глухонемую: при полигамии это не было страшно для мужей, и спасая душу, евреи не оставляли сиротами на улице несчастнорожденных девочек-уродцев, но и им всем давали детей, хлеб и теплый угол. Это было великое учреждение. Вот что значит истинное человеколюбие, выраженное в законах, в противоположность прописному человеколюбию, о котором нам говорят в проповедях и от которого, право, никому ни тепло, ни холодно. Докончим же об евреях. У них считался самым угодным Богу брак дяди и племянницы; при раннем замужестве дяди и племянницы сравнивались в годах. И вот трудно себе представить племянницу, которая не была бы взята в замужество которым-нибудь из дядей с отцовской или с материнской стороны. Кого же побивал бы Минский в Ветхом Завете? Израильтянки весело бы ответили ему: «На что нам любовники, когда у нас преизбычествуют мужья!». Или, как описала дело Анна, мать Самуила, в молитве к Богу: «Рождают даже бесплодные, а плодородные изнемогают в рождениях».

Говорят богословы, высказал мне проф. Налимов в беседе: «Это оттого так множился Израиль, что он ждал Мессию». Но ведь мессия должен был прийти из колена Иуды, а так множилось и остальные одиннадцать колен Израилевых*.

Вернемся к «Мистической Розе» Минского. Посмотрите, как она заставила всех забыть о судьбе Повало-Швейковского, и на вопрос мой: «Нужно ли ему было оставить жену и детей или лучше послушаться церкви?» – никто не ответил. Только о. Михаил сказал, «что он сердится на меня за этот вопрос». Он сердится... ну, а Повало-Швейковскому, конечно, не было причины «сердиться», когда у него отняли жену и детей, и пятерых детей

* Ответ профессора верен. Но при этом надобно заметить следующее: у евреев к концу ветхозаветного периода, особенно после плена вавилонского, постепенно забывалась родовая принадлежность к определенному из двенадцати колен Израилевых. Вследствие этого евреи, в массе, причисляли себя или к колену Иудину, или Левину; из первого колена, по обетованию Божию, должен был произойти Мессия, – из второго же происходило еврейское священство. Отсюда понятно, что по причине сгруппирования евреев в двух названных коленах, в особенности же в Иудинном, «так множился Израиль».

Примечание цензора

лишили без вины прав, имени и наследства; «лишили всех прав состояния» только без ссылки в каторгу или Сибирь. «Я сердит на вас, зачем вы это рассматриваете и неудобно спрашиваете нас», – говорит о. Михаил. Единственно, когда начинают чувствовать богословы, – это когда им больно. В причинении им боли заключается весь возможный грех мира, главный грех. Я уже формулировал в прошлом году, что они безотчетно чувствуют себя, как *боги*. «Будете, яко *бози*». Это сбылось. И здесь мы вторично приглашаем подумать слушателей, не совершилось ли в самом деле великое *qui pro quo**, и знают ли хорошо богословы *a*-виталисты, кому они служат. «Размышляйте, ищите», – закончил я и предыдущий доклад мой.

Проф. Заозерский рассказывает в статье «На чем основывается церковная юрисдикция в браке» об одной своей летней прогулке:

«Года два-три назад мне случилось быть на московском Калитниковском кладбище. В сопровождении одного из священников кладбищенской церкви я долго ходил по этому кладбищу, рассматривал его разнообразные могильные памятники. Это было в середине мая, погода стояла чудная, и приятного настроения, ею навеваемого, не в силах было преодолеть и это поле костей человеческих, покоившихся под зеленеющими холмиками могил с водруженными на них крестами, изящными памятниками, тогда утопавшими в венках и цветах. Мирным сном покоятся эти кости не только в уютных, но иногда и комфортабельных уголках. Эти уголки навешаются признательными родичами, здесь льются их слезы печали, признательности, благодарности, здесь возносятся с кадильным дымом священника пламенные молитвы к небу о даровании новой блаженной жизни мирно покоящимся в этих уютных и комфортабельных уголках. Прочь уныние, прочь безнадежность! Эти умершие здесь временные поселенцы и дачники, отправившиеся сюда в свои дачи, в сопровождении милых сердцу родных и друзей, ими благословляемые. Но вот я и спутник мой подошли к краю огромного кладбища: по ту сторону кладбищенской межи открылась чудная панорама окраин Москвы, но внутри по эту сторону межи пред нами ряд холмов, из которых 2–3 недавно насыпанные. – «Что это за холмы», – спросил я священника. – «Это могилы младенцев из воспитательного дома», – отвечал он. – «Сколько же их тут, под каждым холмом?» – «Много, но не знаю сколько», – отвечал он, – обыкновенно нам присылают время от времени по несколько плотно закупоренных ящиков с трупиками, и мы, не раскупоривая, отпеваем и хороним их в этой могиле». – «Но как же вы отпеваете, не зная, что в этих закупоренных ящиках?» – «Нам каждый раз присылают именной препроводительный список этих младенцев, по этому списку мы и отпеваем». Эта грустная повесть священника наваяла на нас обоих тяжелое настроение, и мы поспешили оставить кладбище... С тех пор к виденным мною холмикам, вероятно, присоединились новые. Конечно, эти, как и прежние, скрывают под собою трупы младенцев – плоды незаконных связей лиц, в числе которых, без

* путаница; одно вместо другого (*лат.*).

сомнения, были и есть осужденные § 253 Устава Духовн. консистории на всегашнее безбрачие, или же только уstraшенные этим законом и, не имея дара воздержания, сохраняя фиктивное законное супружество, вступали в кратковременные преступные связи и препоручали воспитательному дому над плодами этих связей созидать холмики Калитниковского кладбища. Пусть же эти холмы послужат вещественным доказательством непригодности кары, состоящей в осуждении на всегашнее безбрачие лиц, виновных в оскорблении святости брака прелюбодеем, не имеющих, по выражению епископа Феофана, дара воздержания. Проектируемая нами замена этой кары эпитимьею имеет в виду не ослабление силы евангельского закона, а только смягчение наказания за нарушение его, с целью сделать иго Христово удобоносимым и приосановить увеличение могил безвинных мучеников-младенцев».

Так полагает г. Заозерский. Страница, которой устыдился бы Тацит. Этот в своем роде игрок на лютне при пожаре брака, им описываемом, проговаривается: он говорит, что строгость евангельского закона смягчится лишь ввиду могил, и, следовательно, он проговорился, что могилы – употребим его слова – «безвинных мучеников-младенцев» – воздвиглись в силу *неослабного* церковью исполнения евангельского закона.

На этом и захлопываем клетку с сидящим в ней богословом, переспросив отца Михаила, – не сердится ли он опять на нас. Я говорю, что «боги» боли мира не чувствуют, а чувствуют только упрек себе. «Года 2–3 назад», – небрежно замечает Заозерский, и, не поднимись маленький штурм против брачных норм в печати, он сказал бы, как в прошлый раз священник Альбов: «В Евангелии ясно написано: нельзя разводиться иначе как по вине прелюбодеев, и кто женится на разведенной – прелюбодеевствует. Слово Христа непререкаемо, и мы должны или отречься от Христа, или исполнить Его слово. Если это и трудно, что делать: Церковь не может не повиноваться Христу». Так, этими словами о. Альбова, говорил и г. Заозерский три года до нынешнего, а церковь – 1½ тысячи лет. Значит холмы, что на кладбище, опять же не эмпирический факт и даже не консисторский, а подлинный – религиозный, по принципу и идее. Но... «по плоду узнается дерево». Где мне, слабому существу, делить и разграничивать края консистории, церкви, христианства, Евангелия, Христа. Я слабый человек. Я ничего не умею: прогулявшись с Заозерским, я только его словами скажу: «Строгие они все, такие строгие, что и перед детской кровью они не остановились, из невинных холмы насыпали. Там эти холмы, где-то в середине их. Они препираются и сваливают один на другого: Заозерский – прямо на Евангелие, о. Альбов и проф. Налимов, верно, свалят на консисторию, консистория – укажет на Евангелие. Но я глупец, а они мудры и пусть уж разберутся между собою сами: мое же дело прочитывать «Да воскреснет Бог, и расточатся *врази* Его» – и отойти в сторону, отойти со страхом. Неужели и это нужно объяснять? Я сказал, что аскетизм есть «Песнь песней» смерти, сказал, что это – сирена. А вот и остров с мертвыми костями, как это было и вокруг древних сирен.

«Кланяюсь св. Софье, праху отцов моих и вас не забуду, но не могу оставаться здесь и еду добывать другого престола». Так сказал, кажется, Мстислав Храбрый новгородцам, отъезжая на юг. Идеалу девственному и идеалу семейному надо разделиться, проститься и разъехаться. Ссора прекратится сейчас, как только девство перестанет уверять, что оно есть вместе *«и брак»*, и перестанет держать его, то ссылаясь на изображения Богоматери, то на изображения благословения детей, то на нераспространившиеся попытки афонских монахов дать образцы семейной живописи, – перестанет, я говорю, держать брак в своих леденящих объятиях. Да, попытки были, но везде – *не удалась*. Ссылаясь на афонскую живопись, о. Михаил, однако, и не произнес, что они изображают иногда Богоматерь, по словам Порфирия Успенского, «питающую Христа сосцом обнаженным». Ведь это у женщин обрезают груди последователи Селиванова, а о. Михаил обрезал молчанием. «Несносный вид» для них все материнское, все супружеское, все отеческое – кроме венчания, т. е. кроме собственных их действий. Мы же, семейные люди, едва перестанут нас обнимать девственники, благословим их, и даже не вспомним прежнего себе худа. Взвесим свое право. Если немногие тысячи девственников, без обращения за помощью к семейным людям, выработали и уставы себе собственные, и законы о себе, и живопись себе, и молитвы, и напевы, – то миллионы и биллионы брачных имеют ровно такое же, в сущности, – еще большее право, тоже вполне самостоятельно и, нисколько не советуясь с девственниками, или, точнее, оставив в стороне все данные прежде советы, выработать и уставы для себя, и новую себе музыку, – не бойтесь: благочестивую – и дать начало новым художественным вдохновениям. Религия, до сих пор составлявшаяся девственниками, на десять возможных и нужных шагов сделала только первый; но еще остаются девять шагов, и их сделает семья. Тут новые примирения: во многом с евреями, в небольших дробях даже и с язычеством, тут – прозрение в пятую новозаветную книгу, в Апокалипсис, которая ведь стоит перед церковью, как храмина, в которую она не имеет пути войти, как книга запечатанная, как замок, от которого потерян ключ. Сделаем маленькое историческое объяснение. «О, царь! Здесь мы приносим бескровную жертву, а за стенами храма этого льется кровь христианская». Так сказал митрополит Филипп Иоанну. Слова эти не вправе ли повторить и семья, прощаясь с девственным идеалом: «Ты начал в истории бескровные жертвы, содрогнувшись перед жертвами животными, как грубыми и Богу неугодными, хотя и читал ясные слова Божии в Писании о неукоснительном принесении Богу именно животных жертв. В них лежала тайна, и именно тайна искупительного спасения самого человека, и именно крови его, плоти его как священных, так и неприкосновенных. И пока эти, Богом назначенные, жертвы хранились, не было принципиального и предвиденного, не было хронического пролития крови человеческой. Кому при старых жертвах пришло бы в голову, что пресвитер, такой с виду добренький и, по его словам, сам грешный и всегда в слезах покаяния проводящий жизнь – мо-

жет судить и рассуждать о грешности младенцев, и, напр., в Петербурге ни много, ни мало целую $\frac{1}{3}$ всех рождающихся отрывать от семьи, от отца и от матери, объявлять их плодами блуда, их родителей развратными, и якобы охраняя седьмую заповедь, всей этой $\frac{1}{3}$ рождающихся детей указывая и прямо приказывая нарушать пятую. Ибо если церковь не уважает их родителей, вправе ли уважать их дети, обязанные повиноваться церкви? Мы заметили, как эстетически описал Заозерский судьбу множества из таких детей, но его описание никого из приносящих бескровную жертву не обеспокоило. Овцы и телята, и голуби Ветхого Завета возопили бы на улицах: «Если мы угодны Богу, то кольми паче угоден ему всякий младенец человеческий?!». Но в Новом Завете некому этого закричать, и главное – не на что опереть этот крик. Уже нет Богу жертв крови, т. е. кровь не угодна Богу, не священна, не свята. Около бескровных жертв вервие плетется словесное, длинное, запутанное, в котором и не разберешься и которое имеет все один смысл, все один уклон: «Успокойтесь! потерпите! ну, что же, деточки умирают, ну кто же не умирает, потерпите, ибо и Господь наш потерпел еще больше на Голгофе, в пример и образец всей твари».

Читал я, что при построении Соломонова храма все сотни, тысячи работавших сохраняли гробовое молчание. Ни звука голоса не было слышно, ни слова человеческого. Какой символ! Слово – предатель! словом – чего не оговоришь. И разве мы не слышим здесь на все наши речи, на все указания – только одне оговорки и отговорки, без всякой ответной боли. «Будете, яко божи». Что земным богам заботиться о человеках.

Все останется по-старому, пока мы не разделились честно, с взаимным уважением, с взаимным признанием. Я беру назад все слова, какие неосторожно сказал о венчании: что же, церковь, аскетизм выразили через него столько любви к браку, сколько в них ее было. Заставьте меня сложить чин пострижения в монашество, я создал бы чин коротенький и холодный, да еще и подсказал бы аскетам: «Не очень исполняйте ваши обеты». Как и аскеты, сложив чин венчания, говорят же: «Только повенчайтесь, а там хоть и никогда не начинайте супружиться: это даже лучше; храните девство, воздерживайтесь в браке, насколько возможно». Монашество, конечно, не приняло бы моих советов в напутствие; оно само себе построило невыразимой красоты обряды и создало уставы, обеспечивающие исполнение обетов. Так и при разделении, о коем я говорю, что оно должно настать, семья в полном праве отказаться от всего, что дали ей, и начать сама для себя вдохновенно творить.

Ну, вот из еврейских образцов хотя бы один: когда еврейка разрешится от бремени, в самый вечер того дня учитель, начальник школы, отправляет маленьких своих учеников в ее дом, и они говорят заученное приветствие новорожденному, как будущему товарищу в жизни. К роженице же самой сходятся юноши, изучающие уже серьезные части Торы, т. е. закона, и пока она лежит в постели – читают ей из закона и из повествователь-

ных книг места, относящиеся до женщины, до ее трудов в рождении. Не правда ли, как это осмысленно и благородно. Когда я однажды предложил в печати ввести в ектению только *общее и безразличное* прошение о женах рождающих, то «Православно-Русское Слово», редакторами коего состоят здесь присутствующие священники Лахостский и Дёрнов, дали ответ, которому трудно поверить: именно, что «тогда пришлось бы вставить в ектению моление и о страдающих ломотой, ревматизмом и лихорадкой». Таким образом, рождение и ломота в костях в очах русского образованного священника, по-видимому, не различаются в значительности. Что же они *благословляют* тогда в венчании?! Да, конечно, нечего и благословить: кто же будет благословлять на заболевание лихорадкой?! И вот я наблюдаю множество разрушающихся так скоро после венца семейств, иногда до венца живших пресчастливо. И французы говорят: «Le mariage est la fin de l'amour»*. Обвенчаться – точно «сглазить» любовь и согласие бывшего жениха и невесты. Поразительно, что и духовенство, ведь весьма внимательное и благоговейное во время венчания, супружескою жизнью живет не всегда счастливо. И я знаю очень многих диаконов и священников, кинутых женами, несмотря на весь зазор для духовных такого события.

Возвращаясь к евреям: итак, раввин-учитель посылает мальчиков, а потом юношей, приветствовать *поименно* каждого и новорожденного, и роженицу. Но вот входит в синагогу 14-летний мальчик, объявленный жених: все, даже старцы, даже потерявшие родных мужчины уступают ему почетное право первому раскрыть и читать Тору. После него уже подходит вдовец, оплакивающий жену, сыновья, оплакивающие родителей. Вот что значит выдвинуть древо жизни вперед перед деревом познания и поставить ногу семени жены на главу змея. Жениху подносит невеста *талес* – покрывало, в котором он будет каждодневно молиться и в которое будет завернут по смерти и ляжет в могилу. Неужели мы не будем так благородны, что не воскликнем: «Это и трогательнее, и благороднее наших предбрачных обысков и оглашений». Я не хочу этими ссылками указать примеры заимствования, а указываю необходимость и возможность нового творчества. У нас до того мысль застыла на одном венчании, что всегда слышится вопрос: «Да разве что еще возможно сделать?». А когда и начинают думать, то о введении новых слов в венчание. Между тем есть новые пути, новые категории работы около брака. Ну, например, хоть мена имени новозаветного на ветхозаветное. Брак, в общем смысле, есть таинство и Ветхого Завета, ибо там его незыблемый камень: и если при принятии монашества меняется имя, это еще удобнее и необходимее в браке, ибо это действительно есть рождение в новую жизнь. И много подобного возможно будет сотворить, но я останавливаюсь, извинившись за отнятие у вас так надолго внимания.

* «Брак – конец любви» (фр.).

СЛОЖНОСТЬ ВОПРОСОВ «ЧЕСТИ» И ПРАВСТВЕННЫХ

Многим русским людям, и не худшим из них, я думаю, не спится теперь при мысли и воспоминании о молодом офицере, который – без причины и повода, фатально, стихийно – 1) был оскорблен, 2) прожил безмерно тяжелые сутки и 3) умер, чтобы не тяготить собою корпорацию незапятнанной чести, к которой принадлежал.

Сколько вопросов о нем, по поводу его, вокруг его теснится в сознании. Кто он был, этот умерший офицер внутренне, душевно? Что он, в точности, чувствовал в эти тяжелые сутки, когда удар горел на его щеке? Что он услышал от окружающих, от старых, от опытных, – он, молодой и неопытный человек, едва ли имевший силы собрать растерявшиеся мысли? Почему он не ответил на удар двумя ударами, и не убил своего обидчика? Что такое, вообще, его поступок?

Умер офицер. Но умер, кроме того, русский человек, – наш брат, товарищ. И суждение о нем принадлежит не только корпорации офицеров, но и принадлежит русскому обществу, русскому сознанию. Мы не хотим расколоться в суждении с русским офицерством, но по праву свободы, каждому предоставленному, можем попытаться вовлечь военное суждение в некоторые соображения, может быть, не приходившие ему на ум, и которые так ярки для нас, так неотступны в нас.

Трус – да, он должен умереть. Но был ли этот офицер трус?

Мне кажется, поднять на себя руку, не в азарте, не в опьянении, не в «пожаре мыслей», а при твердо ставшей в сознании мысли: «Я мараю честь полка» – это требует железной решимости, каменной воли. Ведь перед этим – сутки размышлений, «собрания в путь» смерти. Ну, он мог выйти из полка, незаметно уехать, скрыться: и спас бы жизнь, как нерешительный, безвольный, пожалуй, «трусливый» человек. Хотя, право, чтобы спасти жизнь, – может поступить чрезвычайно «странно» очень отважный человек. Спасти жизнь? мне? мою? единственную, которую я никогда не буду еще жить, которая дана мне моею родною матушкою... брр, для этого я не знаю, что бы сделал, для этого я все бы сделал! Мне кажется, только молодость, еще не додумавшаяся до безмерного смысла: «жизнь» – может ею рискнуть. Спасая жизнь – бежали герои, короли. Петр Великий, в одном белье, ускакал в Троице-Сергиевскую Лавру при вести о близости заговорщиков.

Но это только кстати, и как возможный ответ на самые злостные обвинения. Умерев, офицер Кублицкий-Пиотух показал, что он безмерно мужествен; бесстрашен перед лицом смерти; что он ни в малейшей степени не «трус», т. е. не имеет того качества души, которое «марает честь военного мундира».

Воин должен быть храбр, должен не бояться умереть: это – цель воинства, воинственности, и из этой цели получается основное определение чести

воина, гордости воина: воин есть тот, кто не боится умереть; а кто боится умереть – уже не есть воин, есть случайно попавший в разряд воинства. «Ты не наш, не нашего круга, не нашего духа человек: ты обманом, украдкой пробрался в нашу корпорацию. Теперь обнаружилось, что ты трус: уходи же от нас, как чуждый нам, другой, нежели мы, человек».

Позвольте, «честь» есть и у граждан; и нам всем носить «пятно» на себе больно, мучительно. Здесь мы совершенно равны офицерству. Украсть, утаить деньги, обмануть доверие, предать товарища – это ровно столько же марают меня, всякого, как и офицера. «Специальная» часть офицерства начинается с специального призвания его – храбрости. Долг офицера – быть храбрым; у меня этого особенного долга нет: и вот недостаток мужества, будучи во мне только слабостью, в офицере является пороком, преступлением, не допускающим продолжать службу, смысл и цель которой и заключается именно в храбрости.

Поэтому офицер – «не рыцарь», который, например, не заступился бы, даже рискуя жизнью, на улице, на дороге, в поле или лесу за слабого, на которого напал сильный или сильнейшее, «марают честь своего мундира» и должен выйти в отставку, пожалуй, поспешнее, чем получивший «оскорбление действием» офицер. Вот маленькое добавление, какое, мне думается (нам, гражданам, думается), следует ввести в «кодекс офицерской чести».

Но покойный Кублицкий-Пиотух, говорю я, был, очевидно, храбр. Да и что за усилие мужества требовалось бы от него, чтобы вынуть саблю и ударить безоружного человека? Он был при командовании, перед фронтом солдат, своих солдат, ему подчиненных: да он мог изрубить целую толпу, не рискуя для себя даже царапиной, даже вторичным ударом. Перед голодным босняком, безоружным, он был сила: и не раздавил его, бессильного, как человек иногда удерживается раздавить ползущего под ногами его таракана.

Быть может, Кублицкий-Пиотух был мало впечатлителен к чести, и за это, собственно, был нравственно, молча осужден или осуждаем товариществом. Но именно факт-то, что он покончил сам с собою, показывает, что это был человек глубоко впечатлительный, чуткий к чести, достоинству. Именно теперь, когда все счета его с землею кончены, не время ли нам, живым и оставшимся, в полной величине обсудить этот и возможные подобные же факты, чтобы предупредить их повторение? Теперь, когда молодой человек погиб так трагически, нам до призрачности видна вся сумма внутренних обстоятельств факта, и мы можем вынести о нем неколеблущееся решение.

Умер превосходнейший воин, не говоря уже о том, что умер прекраснейший член общества, довольно фатально и едва ли не к некоторому стыду этого общества, допустившего совершиться в своей среде подобному факту, не предупредившего его. Он не поднял меча на ударившего его босняка, потому что сабля для него – не палка, не дубина, не «тросточка», которую можно ударить бросившуюся под ноги большую собаку. Молодой иде-

алист, я думаю, имел идею (бессознательную) священства врученного ему оружия, которым просто не смел (есть такая психология, особенно у новичков, «со страхом» несущих свою должность) распорядиться вне тех целей, для которых оно вручено ему государством, отечеством: сабля – против врага, но не его личного, а против врага отечества. Нельзя саблю защищать карточный выигрыш; а если этого нельзя, если это переходит в буйство и кассирует армию как дисциплинарный строй; то едва ли не кассирует армию и весь ее героический, священный смысл, если бы меч стал обнажаться и вообще по каким бы то ни было «личным», «своим» делам. Меч есть миллионная доля как бы «знамени» государственного: ну, позвольте, нельзя же этим знаменем как-нибудь размахивать, сделать из него себе рубашку, когда холодно, или вытереть нос, когда из него пошла кровь. Знамя – святыня, но и для офицера, настоящего, идеалиста – сабля есть тоже немножечко святыня.

Вообще, можно очень спорить и, наконец, можно доказать, что именно как герой своего дела, как рыцарь своей корпорации, офицер Кублицкий-Пиотух повиновался правильному инстинкту, не обнажив при нападении на него меча. «Но, – скажут, – отчего же он не расквасил морду этому босьяку? Не ударил кулаком, не растоптал ногами» и пр., и пр.? Но, позвольте, для действия кулаком именно нужно быть не офицером, нужно быть немножечко, хоть в тысячной доле, таким же ровно босьяком, как и ударивший его дикарь, и в моральном, и в умственном, и в воспитательном отношении. Мне думается, самый инстинкт: «пойду я в офицеры», «поступлю в военную службу», вообще выбор этой службы, очень высокой, отдаленным образом коренится в глубокой упорядоченности физических сил человека, не распушенных, не нервных, не слабых, не склонных к «дебошу», а склонных действовать сосредоточенно, ярко, могуче, но «во благо времени». Война есть противоположность уличной свалке; война есть величайшая степень порядка, не во внешнем смысле «приказанного», а во внутреннем: «не могу иначе». Заметьте, ведь офицеры вообще меньше дерутся, даже у себя, интимно, чем прочие люди; солдаты, не по одному приказанию, но и инстинктивно, никогда не переводят личных отношений, ссор, неудовольствий – в «потасовку». Воин, герой – или убил, или ничего не сделал. Клубный завсегдатай в ответ на удар – схватит стул, подсвечник и «разобьет морду негодяю». Ноздрев («Мертвые души»), тот всю мебель бы сломал, «получив оскорбление». Да, но не таков воин и таковым он не должен быть. Так думается, так чувствуется: так, мне кажется, бессознательно ощущал в себе и Кублицкий-Пиотух. Он создан для войны и на войне он станет биться храбро. Но он совершенно не сотворен, духовно не сотворен для дебоша, «удара кулаком» по лицу – действия ужасающего по беспорядочности, ужасающе безнравственного, скотского какого-то. Право, приняв удар по лицу, я просто промолчал бы. Совершенно не постигаю, что я мог бы ответить на это?! Если бы было очень после этого стыдно, я бы умер. Но во всяком случае «дать сдачи» я абсолютно не могу. Надо иметь привычку,

чтобы «дать сдачи»: нужно быть просто невоспитанным, «горьким человеком» в смысле произведений Максима Горького, для этого привычного по воздуху горизонтального движения рук.

Никто не может навязывать своей мысли, но всякий вправе развить свои предположения: молодой и, очевидно, прекрасный человек просто подвергся несчастию, как если бы на него упала вывеска и убила его. «Шальная пуля» какой-то неморальной морали задела и унесла в гроб, позволю сказать, нашего друга, друга всех чувствующих и умеющих понимать людей. «И мы так же бы поступили, буквально не изменив ни одной йоты»: так грудью должны мы заступиться за него, пусть посмертно и поздно и бессильно. И вот рисуется еще несчастье такого же рода, абсолютно невызванное, невинное, с человеком такой же деликатной и утонченной души: как поступить? что сделать? Об этом позволительно подумать вовремя. Пусть судят меня, как заблуждающегося, но я разовью свое предположение-мечту: если бы я состоял главою корпорации, один из членов которой, нам следовательно товарищ, подвергся бы подобному несчастию, я созвал бы «фронт» ее и перед лицом всех обнял бы обиженного друга и брата, и тут же бы всем разъяснил: 1) несчастье этого брата-друга, 2) высоту души, им обнаруженную, в смысле сдержанности священного чувства к своему оружию, которое не есть его лично, но оружие отечества его и для высоких задач защиты отечества данное. И был бы спасен человек; спасена была бы, думаю, и честь корпорации.

ДОРОГО ЛИ ОТЕЧЕСТВО ОЦЕНИВАЕТ «ЧЕСТЬ» СВОИХ ГРАЖДАН?

Я люблю свое отечество, но не до самозабвения, и бывают случаи, когда я стесняюсь как-то любить его.

В городе Е., где я был пять лет преподавателем гимназии, вышло происшествие, глубоко потрясшее гимназию, всю корпорацию учителей и, кажется, учеников. Помощник классных наставников, Иван Павлович Л., был «оскорблен действием» негодным мальчишкой, года 3—4 назад исключенным из 4-го класса гимназии. Все было поразительно в этом случае. 35 лет, одинокий холостяк, огромного роста, почти толстый, Иван Павлович был, мне кажется, самым почтенным лицом в гимназии, не исключая директора и учителей. Не забуду впечатления его первого посещения («с визитом»): шел август, и, не доходя нескольких сажен до флигелька, где он жил, я был поражен всевозможным птичьим щебетаньем. А войдя увидел и разгадку: вся квартира одиночки-чудака (он, однако, был образован и природно умен) была увешана клетками певчих птиц, всевозможного оперенья и всяческих голосов, и оне производили, конечно, невыносимую какофонию, но тешили старого педагога. И гимназия для него была продолжением птичника: множество учеников младших классов он знал по именам, и помню я, как

наставник, как он бывало острил: «Тиша (Тихон), сиди тише». Для маленьких он был отцом-заступником, для старших – очень и очень интересным собеседником: «Иван Павлыч, войдите к нам» (в класс, на перемене), бывало просят, при его проходе мимо, семиклассники или восьмиклассники в дверях своего класса. У него не было врагов, жизнь провел в высокой чести: прошла и уже кончилась. И вот нужно же было разразиться такому: шла зима, гимназисты на катке (катанье на коньках) вели себя не всегда хорошо и директор назначил очередное дежурство двух помощников классного педагога, между прочим, и в воскресный день. В воскресенье днем несчастье и случилось: завидев Ивана Павлыча (народа почти не было на катке), негодьям закричал: «Я, собственно, не тебя пришел бить, а другого (назвал фамилию другого помощника классных наставников, человека поверхностного и скорей дурного, чем сносного), но все равно». Видя опасность, старик поспешил с пустынного катка; негодьям его преследовал, и все норовил ударить по лицу, но высокая и полная фигура жертвы мешала достать именно до лица, чего так хотелось ех-гимназисту. Встретилась на перепутьи молочная лавочка и, думая спастись в нее, Ив. Павлыч взялся за ручку дверцы: вертлявый негодьям заскочил вперед... «и вот, – с многоточиями и слезами передавал мне несчастный, – тут и случилось»: он не имел сил ни договаривать, ни назвать точным словом поступок с собою. И плакал, когда рассказывал. Вне связи с этим, конечно, но нужно же было совпасть: через 1/2 года у него открылось сужение пищевода, и он умер что-то в июле месяце. Не страдал. И также был поэтичен, умирая. Сел я возле него на тоненьком матрасе постельки. Птицы его как-то захриели, – недокармливал он их что ли, может быть, и начал раздавать, предвидя смерть: «Ничем не страдаю. Ничего не больно»; он взглянул в окно, на сбегающий снег под ярким мартовским солнцем: «Вот, как вешний снег – таю, больше ничего. Мои ли это руки? Вот живот!». Был мешок кожи на месте полного, почти толстого живота, и уже тонкие руки, желтоватого цвета. И умер. И вечная ему память. Но что же живые?

Едва случилось несчастье, как вступила во все свои права уездная публицистика, отражающая всероссийскую. «Это – гимназия; Ив. Павлыч отличный человек, но ударили не его, а в его лице – надзирателя, а каковы эти надзиратели? Что это за гимназия? Какой это классицизм!». И смешали все в кашу, где Ивана Павлыча, плачущего, униженного, больного, уже не видно было. Тут сыграли свою роль судейские, между которыми, людьми бойкого слова и смелых манер, и тихим запуганным педагогическим персоналом был всегда скрытый антагонизм. В то время как учителя и директор жалели несчастного, но как-то неуклюже и беспомощно, почти безмолвно, судейские, как представители общества, находящегося в неладах с гимназией «in cogro»*, шумели вопросом о том, как свести на «нет» преступление и оправдать «бедного молодого человека, еще совсем неопытного», и

* «в целом» (лат.).

избавить от предстоящей ему что-то на два месяца тюрьмы. Нашли какой-то предлог, вроде того, что у «молодого человека» матери уже нет, а отец старик и может умереть от удара, да ему по старости и необходимы «заботы сына»: а потому наказание и было преобразовано в «домашний арест». Все мы понимали, что «несчастливым» оказался негодяй, а истинно несчастный и истинно достойный человек не возбуждал вовсе никакого представления о себе, ничего конкретного, определенного, живого. Его точно не было, а как-то очутился «в несчастье» молодой человек, которого добрый суд и доброе общество решили выхватить из ямы и – самое большое – сказать «не гуляй» на две недели (арест был наложен не на два месяца, но именно на две недели, это я хорошо помню).

И «бьют по роже» по всей России. Бьют «смертным боем» мастерские мастерских, – эти для боли, для вредительства; и для «оскорбления» бьют «господ благородных». Стоит какая-то всеобщая расплюевщина («Ох, и били же меня», – говорит Расплюев в «Свадьбе Кречинского») – да отчего?! Мне этим летом пришлось разговариваться с одним судебным следователем, рассказавшим, как одна «такая девица» пырнула ножом другую из ревности – «Разве оне ревнуют?», – спросил я с изумлением. – «Как же, самым ужасным образом, к избранным любимцам. Виновную простили (или «дело пришлось прекратить» – не помню), так как рана оказалась царапиной». – «Как простили? ведь царапина – это вне предвидения, счастливый случай: на самом деле в намерении было «лишить злодейку жизни», пронзить ее, и самым пронзительным образом? Попалась не артерия, а кость: но это уже анатомия, а где же юриспруденция?!». – Тут судебный следователь вздохнул и рассказал мне вещь, которая, вероятно, специалистам хорошо известна, а для меня и для множества обывателей, вероятно, крайне нова: именно он объяснил мне, что так называемые «бои», избивания и всяческие оскорбления действиями у нас в законодательстве не поставлены ни в какую цену, или в цену самую ничтожную, и судебная власть действующая ничего не может сделать с преступлениями против личности, так как судебная власть теоретическая, законодательная не установила почти никаких наказаний за преступления против личности. Тут мне представилось знаменитое: «Суд идет! встаньте!!», возглашаемое в зале суда при появлении в ней «господ судей», и дико вырезалась, рядом с этим требованием почтительности к себе, странная непочтительность самих судей к обывателям:

«Ударил по щеке? Ну, что же, пусть не гуляет две недели».

Очевидно, гг. юристы полагают щеку гражданина не выше подошвы своего сапога. Иначе как объяснить, что вообще «оскорбления действием» таксированы; что цена на мою щеку точно определена в такой-то «штраф», кажется, меньший, нежели штраф за грязное содержание заднего двора или трехдневную непрописку паспорта. Да и не трудный ли это вопрос, не мучительный ли: что 1) меня ударили по щеке и 2) мировой судья, или присяжные, или, наконец, даже сам законодатель говорит обо мне ударившему: «Ничего, он потерпит, а ты вперед не бей, а пока гуляй». Мне кажется

«оскорбления действиями» абсолютно не таксиремы, не оцениваемы, и уже самая их таксация заключает, так сказать, «всеобщее оскорбление личности», где оскорбителем является не какой-нибудь «непомнящий родства» господин, а сама почтенная госпожа «юстиция», на этот раз не только слепая (с завязанными глазами), а точно помешавшаяся; оскорбленным же является все население страны. «Личность» не уравниваемая вещь, как уравнивается рубль и всяческий материальный ущерб; личность представляет бесконечные вариации: ее оскорбление одного низводит в гроб, а другой почти скучает без таковых. Как это выравнять, оценить, таксировать? Личность для Пушкина и для Расплюева, для Грановского и Ноздрева? Явно, что законодатель, написавший: «Капитан-исправник, ударивший за либерализм по щеке Грановского, платит те же три рубля, как и картежный игрок, ударивший Ноздрева за игру краплеными картами», – не понимает ровно ничего в человеческой личности, и тогда зачем же он судит о том, чего не понимает?

В стародавние времена, еще Алексея Михайловича, не было законов (таксы) касательно оскорбления чести, а была установлена одна только процессуальная сторона суда над оскорбителями, именно оскорбителю оскорбленному выдавался «головую», и обиженному предоставлялось самому наложить на него наказание. По каким-то психологическим причинам такое наказание, совершенно бескровное (обиженный всегда протер обидчика), было вместе с тем чрезвычайно устрашающим; и «личные обиды» бывали весьма редки в старобоярской Москве. По-видимому, публичный факт, что «я находился в руках такого-то и он меня великодушно простил», – навсегда сламливали гордость и самомнение обидчика, сламливало в нем психологию дерзости. При подобной форме наказания, которую мы не предлагаем воскресить, но о которой предлагаем подумать, решительно не могла бы образоваться «психология улицы», по которой негодяй, выйдя, чтобы оскорбить такого-то, и видя, что его нет, решает, что «ведь не беспокоиться же мне выходить еще завтра – так ударю все равно другого».

О ЧУВСТВЕ «ЧЕСТИ» И ГОРДОСТИ

Г. Сослуживец покойного Кублицкого-Пиотуха порицает меня за торопливое объяснение его самоубийства, сделанное «без знакомства со средой, в которой произошло печальное событие». Между тем заметка моя уже тем не бесполезна, что вызвала сообщение г. Сослуживца о заботливом и предусмотрительном отношении к нему командира части и «его друга мичмана Э.». Сообщение это, без сомнения, все прочли с крайним удовлетворением. Приводимые в разъяснении г. Сослуживца слова из письма покойного: «...Другие, всегда склонные думать о людях хуже, чем они есть, поняли мой поступок иначе, т. е. объяснили его трусостью или чем-то другим; резко, т. е. на словах или в поступках, это выражено не было, но я чувствовал, что

на меня смотрят несколько странно. И мне кажется, я не ошибся...». – Слова эти для всякого читателя достаточно разъясняют внутреннюю, психологическую сторону самоубийства, прямо – причину поступка его. Затем, мы вполне доверяем и словам как г. Сослуживца, так и мичмана Э., что таковое подозрение покойного об отношении к себе товарищей было «безусловно ошибочно». Ум его горел, чувства были в смятении, – и он умер, собственно, жертвою мнительности, мнения своего, а не жертвой чего-либо фактического. Вот для предупреждения-то развития этого опасного «мнения», «мнительности», мне и казались целесообразными действия, которые мой критик назвал «сантиментальными». Не настаиваю на них, но позволю высказать несколько дополнительных слов по существу.

Очевидно, молодой и прекрасный офицер погиб жертвой сословного понятия «чести», которое не вчера сложилось и давило на него столь же могущественно, как и на окружающую его среду. Понятие это, конечно, высокое и не подлежит ни малейшему оспариванию; но обсуждение вопросов, в каких именно случаях «честь» офицера пострадала и в каких не пострадала, нам кажется, может составить предмет суждения не одного специального сословия, но каждого русского. «Честь» – родная сестра «честности»: и где нет, абсолютно нет и тени бесчестного в поведении, напр., офицера, очевидно, им не утрачена даже пылинка из «чести». Я боюсь, не стала ли у нас в последнее время «честь» определяться как «гонор», «амбиция»: и «обесчещенным» не начинается ли у нас считаться человек, которого поведение абсолютно честно, даже, пожалуй, до героизма честно, до идилличности, но в то же время не имеет в себе тех горделивых и великодушных выпуклостей, которые для насмешливого ума кажутся «бурбонством», для восторженного – «аристократически-воинственным», а для всякого спокойного человека есть, во всяком случае, что-то не русское, а не то польское, не то французское. Кублицкий-Пиотух не без причины и г. Сослуживцем определяется в самых высоких словах с нравственной и душевной стороны. «Нечестное» абсолютно исключено из образа покойного. И в то же время едва ли был относительно несчастлива с ним такой же у всех в его среде определенный и решительный взгляд, как у командира части: иначе и поблагодарил бы он в предсмертном письме не одного командира, а выразил бы благодарность свою более общим образом, коллективно. Да и едва ли бы тогда ему «показалось» что-нибудь. Ведь ничего же ему не «показалось» относительно командира, которого он и благодарит в письме восторженно, как отца сын. Кончим мысль свою: нам кажется полезным начать твердо разграничивать понятие «марящего честь» в смысле «бесчестного», «позорного», показывающего слабость или черноту души, – и отнюдь не сливать это доблестное и великое представление с совершенно другими качествами души и поведения, «гордого», «самодовольного» или «самоуверенного», которые не суть русские, не суть нравственные, и даже едва ли особенно могут пригодиться перед пулями врагов, одинаково пронизывающими и грудь обыкновенную, и грудь, гордо выпяченную вперед.

Лучшее освещение всякого поднимаемого вопроса, особенно вновь поднимаемого, – всегда историческое. Плавание увереннее, когда виден материк; а мысль шире распускает крылья, когда видит, что сегодняшние движения ее, если и отрицались вчера, то признавались третьего дня, если и оспариваются в одном месте, то зато вошли в плоть и кровь в другом. «Я – с людьми!». «Я не отделяюсь от братьев моих!» – право, это хорошее чувство даже для Канта, для Гегеля или кого-нибудь вроде их, кто собирается реформировать если не вселенную, то учебники философии.

И острые жизненные страдания, и раздвинувшаяся в данном направлении теоретическая мысль – все это подняло вопрос о положении семьи в России довольно обширно и значительно глубоко. Мы переживаем в данной области благоприятный исторический момент, потому что сферы и государственно-законодательные, и духовно-административные не расходятся между собою в признании положения семьи очень печальным. «Улучшить нужно, и непременно – но как? – на этом *resumé* сходятся, кажется, все. Всем бьют в глаза наличные факты такой ужасной несправедливости, такого явного зла, как следующие:

1) Жена бросила мужа грубо и нагло и переселилась к возлюбленному. Закон становится на сторону ее и парализует все протесты мужа, все усилия его выйти из положения, столь печального и позорного. Мало этого: закон заставляет мужа до самой смерти уплачивать пенсию жене, живущей в квартире любовника, а если у нее рождаются от него дети, то принимает их на пенсионное свое содержание («вдовья» пенсия бежавшей жене).

2) Если брошенный муж вызовет сострадание к себе в чистойшей женщине, и она соединит с ним свою судьбу, сделается второю матерью его детей взамен бросившей их первой, воспитает их, устроит дом разоренного человека и сохранит его имущество: то закон не находит никакой пощады для такой чистой женщины, уравнивает ее с уличными «непотребными созданиями», и если у нее родятся дети от него, то не только не даст им пенсии, как дает детям бежавшей жены от ее возлюбленного, но вычеркивает вовсе их из состава гражданства, сословия, а до недавнего времени и какого бы то ни было родства, уравнивая их с щенятами, выброшенными на улицу и никому не принадлежащими.

Когда закон столь явно расходится с нравственностью, злого обеляет, а доброго чернит, то общество здесь и там мало-помалу начинает отделяться своим нравственным суждением от законодательства. «Не все то хорошо, что можно по закону, и не все то дурно, чего по закону нельзя». Закон (мы все говорим о сфере семьи) сохраняет еще повиновение себе, но пассивное, вялое, местами – угрюмое, а изредка – насмешливое. Общество – великая мощь, хотя, по-видимому, и ничего не может. Оно – как ветер, а закон – что

паруса. Только общественное мнение может наполнить «парус» закона и повлечь вперед корабль; без него паруса повиснут, хотя и будут «значиться на месте». И вот это-то сознание бессилия отвлеченного закона, за которым перестает стоять, и притом по определенным мотивам, сочувствие общества, и побуждает само государство, как и замешанную в семейный вопрос духовную власть, озаботиться пересмотром самого законодательства.

Еще иллюстрация, которую мы берем из «ответов редакции» одного духовного журнала на «вопрос подписчика»:

«Вопрос. Мать жениха вышла замуж за второго мужа, у которого есть родная племянница-невеста. В какой степени родства или свойства состоят эти жених и невеста и допустим ли между ними брак, и если не может быть допущен местным преосвященным, то нельзя ли просить о сем у высшего духовного управления?»

Ответ редакции. Между указанными лицами 4-я степень двухродного свойства, в которой, согласно разъяснению духовного управления в указе 19 января 1810 г., браки *безусловно* (курс. редакции) воспрещаются, почему с просьбой о разрешении сего брака в духовное управление обращаться бесполезно.

И любовь погибла: любовь определенная, уже завязавшаяся, созревшая и едва ли угасимая, ибо отношения между женихом и невестой здесь таковы, что они не могут перестать видеться. Нельзя же ведь жениться «на ком попало», без любви, без чувства, без связи духовной. Нельзя же рассуждать, и особенно закон не вправе заставить рассуждать человека: «Не удалась Марья – женюсь на Прасковьи», или «Зачем тебе непременно Марья, когда можешь выбрать из ста других женских имен». Закон, погашающий любовь определенную и созревшую, тем самым принципиально исключает вообще любовь из брака и низводит этот человеческий институт на степень какого-то коровьего явления, на принципы конского завода или денежной «лотереи с выигрышами». – «Нет тебе Марьи, женись все равно на Авдотье». И снова поразительно, что это рассуждение идет от закона и понижает вполне нравственное личное человеческое решение: «Я привязан к Марье и могу быть мужем только ее одной». Истекшим летом было напечатано краткое телеграфное известие о «приискорбном событии» в одном из губернских городов. Молодые люди, жених и невеста или вообще юноша и девушка, покончили одновременно с жизнью по безнадежности своей любви: они были дядею и племянницею (таковые могут быть однолетками, как и мне встречалось видеть), и брак был невозможен. Они даже уж и не спрашивали у высшей инстанции: «Так страшно было». А не страшно было умереть. И никто не задумался об этой смерти. Никто не сказал вслух, что за Эйдкуненом, сейчас же в Германии, да и у нас среди немцев этот брак не возбудил бы о себе никакого вопроса и закон не заставил бы умереть этих молодых людей. А у нас он их привел к смерти.

Вернемся к случаю «4-й степени трехродного свойства» (кто понимает эту абдекарабду?!). Здесь жених, не допущенный к браку, положим, не умер, но и не взял за себя «какую-нибудь Машку», а остался холостым человеком и, состарившись, стал пошалить в веселых домах. Представьте, к этому «никакого препятствия нет», никакой «указ 19-го января 1810 года» этому не мешает. Сравнивая, мы опять имеем следующую картину законодательства:

1) Оно запрещает чистый и нравственный, из любви протекающий семейный союз.

2) Семейному союзу, основанному на денежном расчете или исключительной физиологической потребности, не ставит никакого препятствия.

3) Влюбленных доводит до смерти.

Опять эта картина действия законодательства не может оставлять в спокойствии общества. Каждый, кто способен думать, думает невольно: «Да выкиньте вы из законов разные «двухродные свойства», заимствованные к тому же из языческого римского законодательства, и лучше введите в законы некоторые ограничительные меры против браков, явно корыстных или явно же развратных (браки стариков с молоденькими); а самое главное: перенесите стеснения, против брака действующие, на проституцию.

Критика обществом закона так основательна, она исходит из таких нравственных мотивов, что закону решительно невозможно сохранять «недвижность и величие».

И законодательство зашевелилось.

II

Далеко ли оно может пойти? В какие стороны может пойти? На эти вопросы может дать ответ компетентный ученый, особенно если он изложит перед обществом историческое положение дела.

Вот отчего нельзя не поблагодарить проф. Харьковского университета Л. Н. Загурского, который темой своей речи за нынешний год избрал историческое освещение вопроса об европейской, точнее, о христианской семье. Актовая речь всегда содержит в себе изложение науки в ее установившихся, уже не колеблющихся рамках; и произносимая перед лицом слушателей, прежде всего высоко официальных (все высшее «начальство» города и профессорская коллегия ip согрего, высшее местное духовенство) содержит в себе, так сказать, части науки, высоко одобрительные. Речь хотя озаглавлена: «О разводе»*, – но эта частная сторона семьи потому лишь избрана в название темы, что постановка развода в стране или в законодательстве, так сказать, суммирует всю совокупность взглядов законодателя на семью: на самом же деле актовую речь проф. Загурского, по ее точному

* Л. Н. Загурский. О разводе. Речь, произнесенная в день торжественного собрания Императорского Харьковского университета. Харьков. 1908. Брошюра в 36 страниц.

содержанию, которое мы сейчас изложим, можно было бы озаглавить не «О разводе», а «О браке как частном и личном институте».

Тот факт, что в европейские законодательства ни одною строкою и никакою подробностью не перешел библейский брак, объясняется очень просто: брак есть всегда институт привычки, институт «издревле»; а когда Евангелие и Библия были принесены на почву Европы, то здесь уже действовало семейное римское право, которое и осталось в странах и у народов, принявших христианство. Каковы корни, таково и дерево. И мы, исследуя европейскую семью, собственно исследуем римский, еще из языческих времен идущий, семейный институт, оставшийся у христиан, как латинский шрифт остался для их письменности, между прочим, и церковной. Факт этот чрезвычайно важен, исходно важен, так как допускает возможность обсуждать и, наконец, реформировать институт европейской семьи по показаниям практической необходимости: ибо он только привычно христианский (у христиан существует), а не принципиально христианский. В Риме издревле существовали, рассказывает проф. Загурский, две формы заключения браков: религиозная и свободная. При первой наблюдались знамения, по которым выбирался благоприятный для заключения брака день. Приносилась овца в жертву богам, и когда знамения благоприятствовали, тогда приглашались гости, верховный жрец Юпитера и 10 свидетелей; вступающие в брак садились на два сиденья, покрытые руном принесенной в жертву овцы; руки брачующихся соединялись жрецом; приносился в жертву хлеб из полбы; жрецами читались молитвы и невестою произносилась формула: «Где ты, мой муж, там я, жена твоя». Формула довольно трогательная, между прочим, в том отношении, что брачующиеся не были так безгласны и пассивны, как у нас при заключении брака: жена высказывалась, чем она хочет быть для мужа. Это нравственнее, чем наше маленькое желание «первой вступить на коврик»: примета, что «буду иметь верх над мужем». Но заключения такого религиозного брака римлянки вообще избегали, так как с ним связано было поглощение прав жены властью мужа. Он был настолько редок, что в 23-м году до Р. Х. по случаю выбора верховного жреца, который должен был быть непременно рожден от религиозного брака, оказалось, что в Риме даже среди стариков не было ни одного человека, удовлетворяющего этому требованию.

«Истари же в Риме существовал свободный брак, который основывался единственно на согласии брачующихся и лиц, во власти которых они находились; этот брак не требовал ни формальностей, ни обрядов. При таком браке женщина удерживала свою самостоятельность или же она оставалась под властью отца. Право развода было признано при обеих формах брака; как тот, так и другой брак мог быть прекращен разводом по тому или иному поводу, например, вследствие бесплодия жены или физической неспособности мужа, равно по взаимному соглашению супругов прекратить совместную жизнь. Брак считался делом личным, которое лицо само начинало и устраивало по соглашению с

своим будущим супругом, и для заключения его не требовалось совершения какого-либо акта, который послужил бы удостоверением того, что брачный союз между ними действительно заключен. По римским воззрениям, подобный акт облек бы вступление в супружество формальностями, применение которых противоречит свободе лица; вот почему у них признавалась возможность жениться на отсутствующей; например, римлянин, находящийся в Испании, делает женщине, живущей в Риме, предложение выйти за него замуж: предложение совершается письменно или через посланца: брак считается заключенным, если женщина известила предложившего, что она согласна быть его женой. Словом сказать, брак основывается на соглашении мужчины и женщины жить вместе в качестве супругов; не существовало ни церковной, ни светской формы брака».

Этот принцип ненарушимо существовал с древнейших времен, и он целостно перешел от римлян к древним христианам и существовал все первые века церкви. Уже был построен собор св. Софии Юстинианом, прошли все вселенские соборы, сложилось все вероучение христианское, а брак оставался, как и был, личным и частным явлением, в который не вмешивалось ни государство, ни церковь. Принцип этот был изменен в противоположную сторону только в 895 году византийским императором Львом Мудрым, заключившим известный договор с русским князем Олегом. Об этом византийском уже, христианском браке, проф. Загурский говорит так. «Если брак заключался по личному почину вступающих в него, без участия церковной или государственной власти, то и прекращение брачного союза зависело от усмотрения самих супругов или их отцов, если они состояли в отцовской власти, но не зависело ни от церковного суда, ни от светского суда. Брак мог быть прекращен односторонне, т. е. волею одного из супругов, мужа или жены, или по взаимному их соглашению прекратить совместно брачную жизнь; могли существовать какие-либо поводы к разводу, но не требовалось, чтобы эти поводы непременно существовали. Не требовалось и того, чтобы супруг непременно выразил свое желание прекратить брак: достаточно, чтобы он совершил такой акт, на основании которого можно бы составить заключение, что супруг не желает продолжать совместную брачную жизнь; напр., жена ушла из дому и не возвращается: это касировало брак; равно если муж вступал в новый брак, то этим уничтожалась действительность прежнего без всякого формального о том акта».

Таким образом, в древние времена, как языческие, так и христианские, брак рассматривался как дело *дома*, куда государственная власть ни войти не может, ни распорядиться не решается. Идея автономности семьи, рассмотрение супружества, как связи безусловно свободной (и следовательно, любящей), где права ни одного лица, ни другого, не поглощаются во взаимном рабстве (положение брака теперь), эта идея была до того выдержанна, что тот брак не признавался действительным («законным» и «совершившимся»), которому предшествовало обязательство вступающих в него лиц

не разводиться ни в каком случае. Подобный союз считался безнравственным и не получал силы и имени брака. «Одновременно брак не был единственным дозволенным союзом мужчины и женщины; из иных союзов мужчины и женщины закон считал дозволенным также сожителство в виде конкубината, который вызывает юридические последствия для сожительниц («vice – ихог = как бы жена») и для прижитых в оном детей» (стр. 6). Можно предполагать, что конкубинат был установлен для всех случаев, когда добрый характер жены не допускал нравственного мужа до мысли о разводе с нею, а вместе с тем по болезни она не могла без вреда для здоровья продолжать быть фактическою супругою мужа.

III

Так говорит ученый профессор в бесстрастном изложении. О чем же шумела критика, когда, обсуждая обязательное, по новоизмысленному правилу здешней городской думы, безбрачие городских учительниц in conjugio, – я высказался в печати о необходимости положить конец всем этим «запрещениям», и как на единственное средство этого указал на необходимость установить идею и факт и закон о браке как частном и личном институте. Соизволение самих брачующихся на вступление в брак и засвидетельствование этого соизволения, устное при свидетелях или письменное, напр., по типу теперешних духовных завещаний (частный акт) – на это я указывал, как на совершенно достаточную форму заключения брака, при какой форме потеряли бы свою силу все теперешние запретительные против брака меры, идущие, например, от военной администрации и, наконец, даже от городских дум. Это, оказывается, вовсе не есть мое личное пожелание, не есть что-либо новое в истории: это есть факт истории самых благоустроенных и могущественных народов, наконец, народов самых религиозных и нравственных. Рим покорил мир при подобной форме брака, а Византия при этой же форме брака, существовавшей до времени нашего Олега, прожила эпоху всех вселенских соборов, установила все догматы церкви и основы христианской нравственности. Страшная, тяжеловесная римская нравственность, солиднейшая дисциплина существовала рядом с этим типом семьи; лучшие «отцы отечества», каких только видал мир, были рождены в этой форме отношения полов, которая и не могла не быть нравственною, так как непременно она везде была счастливою, обоюдно желаемою мужем и женою. О чем же шумел, не спросив истории, г. Ал. Дёрнов в брошюре: «Брак или разврат? По поводу статей о незаконнорожденных детях г. Розанова»? Неужели можно сказать, что римляне и христиане первых веков жили «в разврате», а вот мы, русские, с хулиганством семейных нравов, живем в целомудрии?!

В конце своей речи проф. Загурский говорит, что до самого 1819 г. даже в России развод совершался по взаимному согласию супругов, интимно и

внутренно, без обращения к светскому или духовному суду: «Вследствие постепенного (в России) сокращения поводов к разводу, в практике XVIII века существовал все-таки развод по взаимному согласию супругов, который совершался выдачею *распустным книги*. Но в 1819 году (эпоха Аракчеева, Фотия и известного ханжи кн. Голицына) состоялось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета о запрещении актов между супругами, клонящихся к разрыву супружеского союза». Замечательна лицемерно-ханжеская форма выражения: будто бы правило это клонилось к вселению мира и согласия между супругами, и запрещалось кому-то третьему мешать их идиллическому счастью; а на деле собственное их счастье и судьба были вырваны из их рук и брошены на истязание светским и духовным судьям. С тех пор и начались знаменитые консисторские бракоразводные процессы, которым старости и ста лет нет!

Сто лет среди двух тысяч лет обратной практики: не есть ли это новшество, такое молоденькое, что у него еще и молочные зубки не выросли, а не то чтобы показался «зуб мудрости». Можно ли, предстоит ли надобность с этим фотиево-аракчеевским новшеством считаться серьезно? Слава Богу, оно всем ненавистно, и уж если без потрясений общество рассталось с правом своим на свою судьбу и на свое счастье, то оно только вздохнет счастливо, но не всколыхнется хотя бы малейшею тревогой от возвращения ему исконного его права, в точности каждой семье, каждому мужу и жене принадлежащего. Теперешняя процедура развода, как и волокита с «препятствиями к браку» (известно, что теперь в столицах совершенно не венчаются браки пришедшего на заработки населения по незнанию духовенства, в каком приходе о них следует совершать оклики: они не принадлежат ни какому приходу) должна быть рассматриваема, как такая же жестокая руина бесчеловечных нравов, как «телесные наказания» и крепостное право. Она требует вовсе не реформы, а отмены. Два наши великие писателя всемирно показали («Дворянское гнездо» и «Анна Каренина»), что стоит и что такое развод: он стоит крови и отчаяния лучшим людям, а худших он обеспечивает в безнаказанности злоупотреблений. Но об этом так много говорилось, что устала душа. Нужно только отменить не столько даже закон, сколько административное распоряжение 1819 г., и все теперешние громоздкие, неуклюжие и медлительные приготовления к реформе развода отпадут, как ненужные. Нужен не новый закон о разводе, а не нужны прежние и вновь предполагаемые (гражданский суд) разводители.

Речь проф. Загурского полна и многих других интересных подробностей. В самом же ее начале он мотивирует выбор темы тем, что «наши законы о бракоразводном праве устарели, не соответствуют потребностям жизни, и нужда в реформе этого права назрела». Но затем он касается и других сторон брака, указывая потребность перемен в трех направлениях: 1) «нужно пересмотреть постановления о степенях родства и свойства, которые являются препятствиями ко вступлению в брак; неофициальные отступления от этих правил являются и теперь в практике; 2) отменить запрещенные ви-

новному супругу ко вступлению во второй брак, – правило, теперь приводящее к роковым последствиям и на практике также нарушаемое; 3) создать гражданскую форму брака для заключения смешанных браков с иноверцами, дабы не насиловать совести брачующихся и не ставить им препятствий для вступления в брак» (стр. 36). Замечательны и здесь приводимые им исторические справки. Оказывается, что в X–XIV веках возможны были браки христиан с нехристианами, так, в 838 г. княжна Елена, сестра греческого императора Феофила, была выдана замуж за перса Феофоба; в 1346 г. Феодора, дочь императора Иоанна VI Константина, была выдана замуж за султана; Анна Комнен, дочь трапезундского императора, Давида II, вышла замуж за правителя Македонии, Магомета и проч. (стр. 13). Из слов «и прочее» можно видеть, что такие случаи происходили нередко.

Сам проф. Загурский решительно становится на сторону восстановления брака как института частного и личного без вмешательства духовных и светских властей, находя для этого прецеденты даже в Юстиниановом законодательстве, которое есть источник всего нашего церковного права: «Юстиниан придал в 542 г. гражданскую силу постановлениям первых четырех вселенских соборов. Этого обстоятельства не следует забывать ни на одну минуту. Тем назидательнее смысл его постановления, по которому брак заключается только по соглашению лиц, вступающих в него; т. е. согласие на брак и убеждение лиц, что они суть муж и жена, составляют формальный признак брака; для заключения брака не требовалось соучастия ни священника, ни гражданского чиновника» (стр. 10). В конце VIII века, после разных колебаний в одну и в другую сторону, «был издан вновь закон, по которому восстанавливалось право супругов на добровольный развод по взаимному согласию супругов, и интересны мотивы законодателя: такой развод есть надлежащее средство для обеспечения мира в семье; существование права на такой развод в интересах и супругов, и государства» (стр. 14).

Нам кажется, что простое распространение этих исторических сведений чрезвычайно важно, ибо общество получает в них опору для своих мнений и законодательных пожеланий. У нас есть множество книжек о разных «социальных эволюциях», не говоря о дарвинизме, где изложены всяческие отношения комаров к блохам и обратно. Какие мелочи, и как подробно разобраны – у растений, у животных! И в то же время нет толкового и общедоступного изложения о том, что мы имеем и на что можем надеяться, чего вполне пожелать в такой важнейшей для человека области, как семья, как отношения мужей и жен, как право родителей на детей! Среди этих сведений важнейшее состоит в том, что семья всегда до самого последнего времени была институтом саморождающимся и самоумирающим; делом *juris privati et intimi**. И тогда-то только эта «ячейка» общества и государства, ячейка обширной национальной жизни, существовала свежо и жизнедеятельно, обуславливая интимным своим ростом расцвет могуще-

* закон частный и личный (*лат.*).

ственнейших социальных организаций. Необходимо для здоровья мозга, чтобы кровяные шарики в крови были здоровы; но трагичен был бы момент, когда мозг, сознав важность для себя этих шариков, – вдруг вздумал бы вмешаться в их изначальную и таинственную жизнь своим сознанием, своей рефлексией, на первый взгляд мудрою. Государство, нация, общество пользуются от семьи, живут семьей: но семья только тогда цела и здорова, когда ее нежного и микроскопического существа, ни для кого как следует невидимого (кроме самих членов семьи), не касаются вовсе громоздкие макроскопические члены государства и нации. «Тайна сия велика есть», – сказано о браке, и здесь указана главная его черта – интимность, внутренность, сокрытость. Важнейшее и таинственное в бытии вообще ищет покров, сумерек, не терпит обнажения себя. Есть целые разряды живых существ, которые умирают, будучи вынесены на свет. Обратим внимание, как неохотно всякая семья рассказывает о своей интимной жизни, о ее не только больных или трагических сторонах, но нежных и трогательных. Верный инстинкт целостности и здоровья. Всякое выявление есть в то же время охлаждение. Семья, которую государство неосторожными манипуляциями вовлекло в грубые колеса своего механизма, повлекло на суд ее внутренние драмы, неудержимо выхолаживается, становится какою-то механической сделкою людей; теряет прелесть и поэзию, ей от века присущие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ о. МИХАИЛА

Глубокоуважаемый г. редактор!

Надеюсь, что вы не откажете мне в одной страничке «Нового Пути». Я считаю необходимым сказать несколько слов pro domo sua*. «Новый Путь» весьма внимателен к моему ничтожеству. И Антон Крайний, и Романский, и Бартенев, и В. В. Розанов – (особенно В. В.) – в каждой книжке – иногда зараз в двух, трех статьях... (даже по поводу живодерни в Конотопе). Я, конечно, очень польщен таким *вниманием* (не иронизирую), – но хотелось бы только, чтобы мои оппоненты – были чуть-чуть *внимательнее*.

Не хочу полемизировать: укажу только на одну досадную невнимательность.

«Вся Европа плакала, – пишет В. В. Розанов, – когда рожденный приблизительно по предписаниям о. Михаила Домби-сын хирел», и т. д.

«О. Михаил не может и представить себе ужаса и отвращения родителей при открытии, что с выходом замуж их дитя получило только производителя Домби»...

Читатели сами просмотрят эти строки («Нов. Путь», окт. 242).

В. В. Розанов внушает нам, что брак Домби-отца для поддержания фирмы – «брак корысти», «брак-гадость» и т. д.

* о себе (лат.).

Зачем все это? Ведь если эти строки искренни, то это огромное непонимание.

Пусть в докладе я – неясен (это я сам заявлял после), но даже его достаточно, чтобы понять, как я смотрю на браки вроде брака Домби-отца. Для меня такой брак не менее «гадость», чем для В. В. Розанова.

Сколько раз заявлял я, что бесстрашие – какого я желаю – во всяком случае не отсутствие желания, не бессилие Домби-отца. Я говорил об «экстазе» единения, о радости этого экстаза. Говорил, что единение только тогда и может быть свято, когда оно бессознательно, т. е., как сказал бы Фет, «безумно».

Неужели – это брак Домби-отца?

Я только искал святых основ экстаза.

Пусть я неправ в понимании этих основ – это уже другое дело.

«Преодоление первородного греха именно здесь – в самом темном и скользком срыве, в центре пола». «Чистота в зачатии и рождении» – чистота не гигиеническая, как в Израиле, а психологическая – вот чего желали мы. Но ведь этого желает и Розанов». Словами в кавычках «преодоление и т. д.» г. Антон Крайний формулирует взгляд именно Розанова, но это наши мысли. Пусть оне отжили, «ветхозаветны» – как думает Крайний – об этом спорить здесь не будем.

И. Михаил

Примечание. Мы были очень довольны, получив это письмо о Михаиле. Но тогда для чего, в целом ряде статей (между прочим: «В поисках Лица Христова», читанных в Соляном городке), он подчеркивал, утверждал (хотя не разъяснял и не доказывал) ту мысль, что «святкой брак есть брак бесстрастный, заключаемый в целях лишь арифметического умножения сынов церкви»? Это его точная мысль, проведенная в ряде статей. Иногда, при чтении их, приходила мысль об аптекарском, механико-биологическом браке, взамен наличного, «греховно»-страстного: именно, вместо обычного способа, не могущего не быть страстным, можно бы употреблять шприц Праваца, и для умножения «сынов веры» впрыскивать, что следует, супруге и супругам в сонном состоянии. Дабы рождаемое не было соединяемо («с похотью мужскою или женскою») (*bête noire** о Михаила, по крайней мере прежнего). Между тем примечательно, что в мировой план рождения, без коего абсолютно оно не может совершаться, введены, как, очевидно, *угодные Богу*, элементы: 1) любования друг другом; 2) ласкания одним другого; 3) нежности; 4) восхищения; 5) доверия и, чем ближе к самому акту – 6) чувственного пожелания. Решительно невозможно, по крайней мере, в свободном состоянии, а не на заводе искусственного размножения, слияние полов без этих составных чувств. Они присущи даже ласкающимся животным, и еще шире развиты у человека (поэзия, песня, музыка). Всякий немалоletний знает, что соединение это даже механически невозможно (если

* отвратительное (фр.).

не прибегать к шприцу Прусака) без сильнейшего прилива крови к половой сфере, что уже образует наличность чувственности, то, что обзывается у богословов порицательным словом «похоть» (не есть ли это уклонившийся от точности перевод греческого слова «επιθυσια» – сильное пожелание, без укора и порицания в *греческом* термине?). Вот о. Михаилу, не кратко и уклончиво, но полными устами и вслух всего мира (как и надлежит *мужественному* христианину) и нужно прочитать вторичный ряд лекций в Соляном городке, *lectiones corrigendas**, – где для слушателей, а потом читателей, не оставалось бы ни малейшего сомнения, никакой темноты или двусмыслия о том: как он смотрит – как на *грех, безразличие* или *святость*, на всю сумму этих и биологических, психологических, нервных и духовных, поэтических и эстетических, но непременно чувственно-окрашенных, волнений, вводящих человека (как дверь, притом как единственная и не подлежащая обходу дверь) уже в самый акт слиянности? А то ведь можно выговорить слово, «буркнуть» признание, в котором опасно отказать: а затем все оставить по-прежнему, все вековое, тысячелетнее отвращение к «тычинкам и пестикам» сынов человеческих, их плодотворной «пыльце», и в зависимости от этого – к «красивому стану» (слова Библии о Рахили) дев, ласковой их улыбке, чудесно приспособленным к материнству персям, и всему милому, грациозному их виду и грациозному же с ними обращению. Разумею соответственное и о юношах, влекущих мужеством, красотой, открытостью дев. Подробностью исчисления я хочу показать, что требуется не сухая, алгебраическая формула согласия, *которая нас обманет*, – а как бы пробуждение нового человека, новых ощущений в соглашающихся; дабы они, взяв арфу Давида, начали петь новые псалмы, «новую песнь раба Божия Моисея» (Апокалипсис) взамен суховатых и витиеватых лекций в Соляном городке. Нужен приток других волн крови к их мозгу – резюмируем все дело. Итак, о. Михаил сказал лишь первое слово, которое останется втуне без длинного ряда последующих.

В. Розанов

ДОБРЫЙ ПОЧИН СВЯЩЕННИКА

С истинной радостью мы прочли брошюру в 18 страниц под знаменательным заглавием: «Слово в день Зачатия св. Иоанна Предтечи, 23 сентября. Зачатие и беременность в отношении к наследственности. Протоиерея А. Ковальницкого. Варшава. 1903 г.». – Это есть первое проповедное, с амвона церковного раздавшееся слово, вращающееся в темах, о которых до сих пор духовные лица молчали в торжественные моменты служения, а светские писатели над ними хихикали или по поводу их улыбались. *Только* медицина, *бесстрастная* наука – ими и занималась: но ведь это тема не одной науки, но прежде, чем науки, – тема именно религиозных концепций. Вспом-

* исправленные лекции (*лат.*).

ним здесь, однако, с благодарным чувством, кто первый указал на важное значение дня 23 сентября для данной темы. Это – один из благочестивейших священников наших дней, А. П. У-ский: «Пусть никто не называет неприличную поднятую тему (о супружеском общении). И это вот почему. В церковном богослужебном Евангелии, непрестанно возлежащем на Святом Престоле в алтаре, в каждом православном храме, в конце обыкновенно прилагается месяцеслов, и в этом месяцеслове каждый священник под 9 числом декабря прочитывает следующую пометку: *зачатие св. Анны, егда зачат св. Богородицу*, а под 23 числом сентября: *зачатие Иоанна Предтечи*. Теперь, если слово *зачатие*, по разуму и голосу Церкви, удостоено того, чтобы быть помещенным в церковном Евангелии и постоянно пребывать на св. Престоле, пред Всезрящими Очами вездесущего Бога, то не тем ли более не может быть постыдным или неприличным употребление этого, или подобно значущего ему слова в обыденной нашей речи, или на страницах какой-либо книги? Но этого еще мало. Для божественного сознания между словом и делом нет промежутка, или паузы, нет расстояния. Если слово *зачатие* постоянно возлежит на св. Престоле, пред очами Всезрящего, то точно так же предлежит сознанию Вездесущего и Всезрящего и соответствующее этому слову действие» («В мире неясного и нерешенного», стр. 171–172). Всякий поймет как основательность хода этой мысли, так и многозначительность выводов отсюда. Приведу случай из моей жизни, показавший мне, до какой степени духовным лицам ближе и роднее эта мысль, чем светским. Будучи еще студентом, в Москве, шел я однажды мимо какой-то стены, как будто церковной, но скорее – монастыря, высокой и глухой, но в тесном окружении городских зданий.

– Это что за церковь? – спрашиваю прохожего.

– Это не церковь, а монастырь. Женский.

– Какой же монастырь?

– Зачатиевский.

Я немножко оторопел: до того не связывались у меня слова «зачатие» и «монастырь».

– Т. е. благовещенский, вероятно? В честь благовещения Богородице и зачатия Ею Спасителя?

– То и был бы Благовещенский. А этот в память зачатия Богородицы святыми Иоакимом и Анною.

Я был поражен. И, может быть, не вел бы так мужественно споров о супружестве, не будь у меня постоянно в памяти этот московский монастырь: ибо из *построения* его, которое не было же предметом *секундного* решения, «как бы во сне», а очевидно, обдумывалось, обсуждалось, а наименование и значение монастыря предполагалось как бы вечно мерцающим в сознании спасающихся в нем монахинь (или монахов) – совершенно очевидно, что старинное церковное сознание нимало не *гнушалось* образа и не *обходило* слова *зачатие*, притом обыкновенное человеческое, как у Адама, у Евы – у всех нас, а не единое сверхъестественное, какое было у

Пресвятой Богородицы. Но это древнее церковное сознание, очевидно, померкло: и в XIX–XX веке невозможно представить себе, чтобы начал строиться христианский храм во имя и в честь, и в память и прославление человеческого зачатия людьми и человека. Вот как восстановление-то этой порванной ныне традиции церкви – и важно «Слово» – проповедь доброго священника А. Ковальницкого. В основе всего он ставит вопрос о происхождении души человеческой, насколько она связана именно с моментом зачатия: «Нельзя о душе сказать, что она всецело происходит от своих родителей. Нет, душа каждого человека создана Богом по особому Закону Божию. Праматерь Ева, когда родила своего первого сына, то воззвала: *приобрела я человека от Бога*. Все матери повторяют эти слова; оне, подобно матери Маккавеевой, говорят своим детям: *я не знаю, как вы явились в чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, но Творец мира* (II. Макк. VII, 23, 24). Так, мы утверждаем, что Бог созидает душу каждого человека по особому закону. К этому побуждает нас индивидуальность человеческой души. В мире только один человек отличается этим свойством; одаренные свободю, человеческие души разнообразятся каждая своими особенностями; поэтому нет и не было на свете человека, который бы по своим душевным качествам не отличался чем-нибудь от всех других людей. Это высочайшее качество человека на земле указывает на особое действие Божие по отношению к душе человека. Человеческие души по справедливости можно назвать бесконечно разнообразными искрами, исходящими из вечного огня Божия – существа Божия» (стр. 4). Это – и научно, и поэтично; правильно, и исполняет нас надеждами. Вот отчего Раскольников, убив процентщицу, затосковал: он не разбил феномен, а затронул ноумен (искра от Вечного Огня – Бога). Высказав этот основной взгляд, автор ограничивает его тем, что родители определяют зачатием и своим поведением во время беременности «крепость или слабость тела, темперамент, привычки и особые достоинства и недостатки души. Об этом-то, – говорит проповедник-священник, – должны помнить родители, имея в виду зачатие и беременность. Св. церковь, установлением праздника зачатия Иоанна Предтечи, обращает наше особое внимание на важное значение зачатия каждого человека в утробе матери, требует особой заботливости самой родильницы о себе; требует также заботливости о ней и от лиц, окружающих беременную женщину. Понятно, что более всех о жене во время беременности должен заботиться муж». Обильным потоком идут у него примеры «радования о Господе» святых ветхозаветных жен (напр., св. Анна, мать Самуила) и новозаветных жен. «Что значит выражение Писания, что оне от самого зачатия посвящали детей своих Богу (назорейство)? Это значит не только то, что оне произнесли своими устами обет посвящения, но и то, что во все время своей беременности эти благочестивые матери наполняли свою душу святыми чувствами, влиявшими на то дитя, которое оне носили в себе под своим сердцем» (стр. 8–9). Дивная мысль (о *таком* назорействе), уже *implicite* содержащая в себе скорбь, что у нас нет специально приспособленных обрядов, молитв,

утешений и радований, – которые бы все время готовящуюся будущую мать несли на крыльях нежности человеческой и небесной серьезности. Неужели отвергнем мы и важность в это время настроений материнских, и возможность (какова ведь *впечатлительность* их в это время) *создать* в них эти построения. Все может церковь, только бы захотела. Автор вполне основательными рассуждениями и убедительными примерами развивает и доказывает истину, давно замеченную народом и выраженную в поговорке: «Каков в колыбельку – таков и в могилку». – «Новорожденного ребенка можно сравнить с окончательно составленным планом здания, постройка которого уже началась. Архитектор тогда уже мало что может изменить. После этого как неоснователен ропот родителей на школу, которая будто бы всецело виновна, если из нее выходят дети нервными, тупоумными, преступными. Родители в этом случае забывают, что эти недостатки были присущи их детям, когда они только что явились на свет Божий». Замечу, как бывший преподаватель гимназии, что уже осматривая и знакомясь с детьми, только что вступившими в первый класс, я всегда бывал поражаем глубочайшим их несходством, – от типа и образа точно святого, до типа совершенно преступного (да! да! в *первом* классе!!). И наружность редко обманывает. В Симбирской гимназии, где я был учеником II и III классов, были 2 ученика-брата, В–ские, которых (*за одно их лицо!*) ненавидели – не товарищи, не свой класс, а вся гимназия. Лица были темные, и не столько злые, как необыкновенно гнусные; казалось, мальчики способны к совершению чего-то не столько опасного, как гнусного, лживого, обманывающего, а вместе и наглого, недоброго. В Костромской гимназии, где я учился в I–II классах, мальчик II-го кл. Т–цев вызывал во мне страх и негодование. Лет 20 спустя, встретившись в Липецке со старожилом-костромичем, я спросил: «А не знавали ли вы там Т–ва? что за человек, и какова его судьба?». С удивлением услышал я, что он (принадлежал к богатой семье) сослан в каторгу за женоубийство, а ранее этого сделал бесчеловечный по жестокости поступок с дворянином-товарищем, публично, в собрании (гораздо хуже, чем пощечина). Не потому, что «пришлось – к слову», а твердо и принципиально свящ. А. Ковальницкий проводит мысль и дает наставление мирянам, слушателям проповеди, как они должны вести себя во время плодоношения. «По св. книге Товита муж, приближаясь к жене, должен молиться Богу (V. 18). Замечательно, что такое же наставление дает и Коран, X, 70, §§ 22, 3» (стр. 14). Мы уже замечали ранее, что поднятие брачного вопроса как-то и почему-то погашает религиозный антагонизм, вызывает мало ненависти и отвращения к «чужеверцам», и ссылка священника в проповеди на Коран есть благой этому пример, будем надеяться – не единственный. Да и понятно: семья – *всемирна*, всемирно-едина! Продолжаем выписку: «Беременные женщины, как известно, весьма часто подвергаются случайным опасностям, и потому особенно нуждаются в помощи и приветливости. В истории греко-римского мира был период, когда благоразумные люди считали своею обязанностью воздавать при встрече почтительный привет каждой беременной женщине – знакомой и незнакомой».

Будь-ка у нас такой обычай *на улицах*, в привычках *общества*, почти в идеях закона – то и *дама мужья*, из которых много глупых и злых, которые только и умеют жить, что *подражательно*, удержались бы грубо или жестоко обходиться с беременными женами. Вообще трудно начать порядок и святость в *даму*, параллельно не начиная порядка и святости на улице, в толпе. «Муж, который наносит побои своей беременной жене, пусть знает, что он в то же время ударяет по сердцу свое же имеющее родиться дитя. Но столь грубое обращение мужа с беременною женой, как нанесение ей побоев, явление редкое среди нас. Зато можно укорить многих мужей нашего времени, виновных в оскорблении своих жен словами и неласковым обращением. Нанесенное жене оскорбление сопровождается расстройством ее нервов. А это в свою очередь отражается и на находящимся под ее сердцем дитятей. Вот почему дети рождаются вялыми, больными или, как теперь принято выражаться, нервными. Оскорбляющий свою жену в то время, когда она находится в состоянии беременности, пусть знает, что впоследствии его милое дитя своим нервным, болезненным видом будет возбуждать в своем отце жалость, горе. За оскорбление своей жены ты, муж, будешь наказан тем, что смерть вырвет из твоих объятий твое милое дитя именно потому, что ты его сам ослабил, когда оно еще не явилось на свет Божий. И если твой сын или твоя дочь являются перед тобою упрямыми, неприступными, то знай, что одною из причин этой для тебя печали служит обстоятельство, что ты взирал на свою жену неприступно, исподлобья, особенно во время ее беременности» (стр. 15). Святые, начальные истины – о, как давно их следовало рассеять и среди мешанства нашего, ремесленников, купцов, да и «г-жи интеллигенции»! Как необходимы эти речи, именно с амвона церковного, в селах, в деревне! Просыпайтесь, русские батюшки, просыпайтесь, сельские батюшки, сдирайте кору дикости и грубости с мужика русского, который доблестен, но, однако же, суров, беспощаден, и чаще всего в семейном укладе. Среди других брошюрок того же доброго священника есть одна замечательная: «Мелочи в обыденной жизни священника. О правилах вежливости». Вот слово, которого давно хотелось: именно не о «любви» надо говорить, а о «вежливости», а то мы ловим лебедя в небе, упуская из рук курицу. Стоит стоном по земле бесчеловечье, кулак – в действии, «матерщина» – в слове: а если такому господину положить руку на плечо и просить: «Какой закон ты исповедуешь?» – он ответит: «Закон любви к ближнему». И не смутится. Не покраснеет. Только крепче сожмет кулак и начнет накладывать «ближнему». Так что нам именно *не о любви* надо говорить, а о вежливости, *minimum*'е деликатности. Но уже ее потребовать в законах, в обычаях, как обязательного и безусловного, а не как «идеала». Пример такого *вежливого* закона, опять же в отношении супружества, свящ. А. Ковальницкий приводит на стр. 5: «По закону Моисея: *если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял* (Второзак., XXIV, 5).

У нас, во время крепостного права, было распоряжение не подвергать телесному наказанию женщин, находящихся в беременности. Но это распоряжение плохо выполнялось бывшими помещиками. Тяжелые работы женщин на полях часто сопровождалось тяжелым разрешением женщин от бремени дитятею. Стоны русской женщины-страдалицы на помещичьих полях вызвали в знаменитом докторе Пирогове громкий голос в сочинении «Охрана народного здравия». Да, в Пирогове, в *хирурге* вызвали; а вот в духовной сфере лишь недавно епископ Гурий первый заговорил, в «Самарских епархиальных ведомостях», о страданиях семейной русской женщины: раньше об этом не было ни звука. Из остальных мест брошюры обращает на себя внимание стр. 7, где исчисляются примеры особенной угодности Богу *многоплодия* женщин: указывается на брак, уже в глубокой старости, после смерти Сарры, Авраама с Хеттурою, давшей ему 6 сынов; на известную жалобу Рахили Иакову на свое бесплодие; на то, что Гедеон имел 70 сыновей; на обращение к Ревекке брата ее Лавана, при замужестве: «Сестра наша! Да родятся от тебя тысячи тысяч!». Подводя итог этим фактам, автор-священник говорит: «Древние смотрели на человека в этом отношении как на *носителя чаши с драгоценным веществом – семенем*, и идеал состоял в том, чтобы *ни одна капля этого семени не пропала даром для будущего человечества. Высок человек среди всех других живых существ даже в половом отношении! Во всем у него свободно-разумная цель*». Действительно, мало кто обращает внимание на то, что человек несравненно плодovitее сравнительно со всеми животными аналогичного ему устройства и приблизительно того же веса и объема, как и несравненно из всех жизненное. Будучи втрое, вчетверо меньше коровы и лошади, он в три или четыре раза дольше их живет; а время его способности к плодородию исчисляется тремя, четырьмя, пятью и даже более десятилетиями! Уже греки спрашивали себя с удивлением о причине, отчего в то время, как животные всех пород спариваются лишь в определенное время года, человек в этом отношении деятелен весь круглый год. Философы, вроде Шарапова, пытались это объяснить распушенностью: но на самом деле источник этого в неиссякаемой жизненности человека, в чрезмерном обилии в нем сил, в богатстве его «чаши даров». Вся вообще брошюра-слово свящ. Ковальниченко полна (как и следует!) совершенного забвения о разделении Ветхого и Нового завета, и вот у него (но только у него из духовных!) мы нашли на деле примирение двух заветов, *их не противоположность*. Какая в этом у него разница с проф. Заозерским, с о. Дёрновым, с г. Струженцовым, – которые все *разрушили в своем чувстве* Ветхий Завет, признавая его лишь формально, лишь для политики, для удобств полемики, а на деле и в чувстве поклоняясь Сухой Смоковнице, «палому дереву». Обратим внимание, что самое пробуждение *нежности и деликатности* в семье глубоко связано с возбуждением мыслей человека в сторону не просто плодородия, а именно *многоплодия*. Отсюда и завет Божий человеку не просто «размножиться», но еще и «наполнить землю»; отсюда, в связи с этим, отсутствие

даже зачатка, зарождения ревности в библейских женщинах, которым и на ум не могло придти завидовать сестрам своим в браке (Рахиль, советующая Иакову «войти» к Валле, Лия, дающая ему в лоно служанку свою Зелфу). Тип семьи от этого чрезвычайно унеживался, как бы увлажнялся; сухие и колючие ссоры, это бедствие нашей семьи, как и тоска или скука семейная, — исчезали; а удары семьи, в виде смерти ребенка или жены, в виде болезни жены — притуплялись в остроте своей, не бывали убийственны, переносились *светлее*, отнюдь не переносясь *холоднее*. Семья образовывала кучку, поселок — а не была переезжающею с квартиры на квартиру парочку «товарищей». Обилие стад и вообще всяческого домашнего богатства уже посылалось наградою за это Богом: и весь дом был тучен, как нива в июле месяце. Обратим внимание, что и теперь, у нас, та семья *счастливее, веселее, легче* живет, которая обильна членами, и, напр., включает, кроме жены и мужа, еще родителей которого-нибудь из них, или сестер, или братьев. Это одна из глубоких сторон семейного сложения, не подвергнутая анализу. Одинокое сохнет дерево *среди поля*; а оно же *в лесу* свежо и зеленеет. Человеку «на людях» красно жить; а когда ему «красно» жить — он не жолчен, не раздражителен, не угрюм. И вот главная причина нежности и глубины библейской семьи, в этом ее кистеобразном сложении (кисть винограда), а не двусемянодольнем (ботанический термин); что для нее не существовало вопроса об *арифметическом* измерении, а только об *этическом*. Не спрашивал никто и никого, и *не смел* спросить, в *какой раз* он женат, *многих ли* любил, любит? Но весь гнев и неуважение падали на того, кто в любви был груб, в обхождении — жесток, нелюдим, исключителен. Впрочем, таких мы и не видим вовсе в Библии. Кончим эту краткую заметку о доброй проповеди благого священника (как она заслуживает подражаний, повторений!) мысленным причтением имени его к тому, что я назвал бы «*семейными святцами*»: списком добрых имен добрых людей, ныне трудящихся для семьи.

К БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ДЕРЗОСТИ

И в истории, и в патологии известны явления прилипчивости мнения, заразительности идей, или, точнее, обрывков идей, сразу понятных и наглядных. В героическую минуту такая полудея может поднять толпу на подвиг; но горе, если полудея низкопробна: она также в минуту может залить улицу невыразимой нравственной грязью. Какой-то уличный альфонс, евший, куривший и выпивавший на счет прохожих, очевидно, движимый примером с погибшим Кублицким-Пиотухом, нанес в совершенно таких же условиях удар по лицу офицеру в Радоме. Полное тожество обоих поступков как в отношении лица (офицер), так и всей обстановки (парад, и вообще фронт войск) не оставляет никакого сомнения, что мы имеем дело с какой-то нравственною *скарлатиной*, которая собирается овладеть нашей улицей. Благо-

получно прошедший и для этого босяка удар шашкою, кончившийся царапиною, и предстоящий ему в перспективе суд, с казенным хлебом и квартирою, едва ли способен подействовать устрашающе на подобных же субъектов, которые ныне почитывают газеты или слышат вести из газет и, без сомнения, узнают по всей России о подвиге «собрата». Мы опасаемся, что случай этот не только не устршит, а едва ли не поощрит уличных прощальг. Невозможно предвидеть, до каких размеров дойдет и в каких формах пойдет уличная дерзость, если ее не остановить быстро и вовремя. Если негодяй будет подвергнут военному суду и потерпит строгое наказание, то это сделает только предметом нападения не военных, а штатских. Военные хоть все же имеют шашку при себе и могут отразить нападение, если оно замечено вовремя. Но что сделает безоружный, старый или слабый человек? Мы приготовляемся к «воцарению» кулака на улице; и, наконец, приходят на ум даже «большие кулаки» Китая. Русский человек, всплывший наверх «со дна», не имеет никаких культурных преимуществ перед узкоглазым монголом. Тот еще все-таки имел для себя внутреннюю границу, внутреннее русло в том, что он был «патриот» и «националист», пусть темный и дикий. Все же были некоторые вещи, которых он ни за что не сделает. Он не продаст родины, не зажжет своего храма, не задушит женщину или ребенка. Но кто может сказать, чего не сделает русский босяк, когда он есть не несчастный человек, а испорченный человек, и когда испорченность в нем коснулась не класса, не сословия, не веры или национальности, а именно «человека» в нем. «Пропашие люди», — так они зовут себя не в том смысле, чтобы это были очень несчастенькие люди, а в нравственной «пропаже» у них совести, как главного отличия человека от животного. Ожидать, что есть хоть какая-нибудь, кроме содержащейся в страхе, граница для такого человека, все равно что ожидать стыдливости от проститутки.

Случай с Кублицким-Пиотухом, конечно, хорошо известный негодяю, вызвал сожаление во всей России к погибшему офицеру, который умер «здорово живешь», невинный, беспричинно. Повторяем, его жалела вся Россия, и случай глубоко жалостен. Но что же почувствовал радомский негодяй? Да то, что для него его поступок будет безопасен. Можно войти в психологию этого шулера совести! Явно, что для него нет разницы убить человека или закурить папиросу; дать пощечину или попросить милостыню. Явно, что мы имеем дело с линией полного нравственного безразличия, совершенного ко всему равнодушия.

Нам, кажется, необходимо быстрое, в недельные и никак не более чем в месячные сроки изменение статей закона, наказывающих за оскорбление личности, и особенно за оскорбление без всякого «дела», без ссоры, без истории в предшествующий момент. Некогда для этого дожидаться «будущей сессии Государственного Совета», ибо с начинающейся эпидемией надо вести борьбу немедленно, чтобы не дать ей разрастись. Ну, а если все те же 10 р. будут назначены за битье по физиономии нз всю «сессию нынешней зимы», то к весне мы ожидаем получить такую бомбардировку лиц, что в

«будущую сессию» придется уже думать не о простом изменении закона, а о чем-нибудь более сложном и обширном. Напомним еще раз о заразительности, о заражаемости именно улицы и о том, что психопатические эпидемии, пожалуй, опаснее физических. «Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь убивающих дух».

Мы, очевидно, нуждаемся в санитарных нравственных мерах. Санитары не церемонятся с совершенно добропорядочными и мирными жителями, чтобы остановить триумфы дифтерита или холеры. Общая безопасность заставляет согласиться с некоторым беспокойством и неудобствами для всех. Было бы чрезвычайно странно видеть, что одних босяков не решаются обезпокоить в их ночлежном *fag-niente** ради безопасности решительно всех остальных жителей. Право, чем лежать на боку на нарах, лучше потрудиться для «ближних», ну, хоть за многолетнюю милостыню из их рук. Принудительный труд, но непременно сейчас, для «молодых любовников» с поддельными ключами, вроде Васьки Пепла в «Дне» Горького, – вот мера, которая может многое предупредить. Дремота здесь неуместна.

«АРМИЯ СПАСЕНИЯ» НА РУССКИЙ ЛАД

– Что же я могу? Практически – я ничего не могу! Я могу только отметить доброе и пожелать ему успеха, увидеть злое и – разгневаться. Больше я ничего не могу, не в состоянии, даже не умею... Я, если хотите, самый бессильный человек в ведомстве, коего главою состою, и гораздо менее могу сделать реального добра, чем всякий у меня стolonачальник или секретарь.

Это меланхолическое, нервное рассуждение мне пришлось выслушать несколько лет назад от человека очень большой, до известной степени чрезмерной власти, о котором думалось: «Вот кто *мог* бы, а он – не *хочет!*». Шли годы, и, обертываясь на литературу, на писательство и писателей, сколько раз приходилось спрашивать себя: «А что же, в конце концов, они *могут*? Вылечить больного, оправдать невинно осужденного, даже хотя бы потребовать санитарной чистки своего двора... ничего не могут, решительно ничего! Посочувствовать... но это так платонично... А поистине душа человеческая питается только насущным хлебом. Сам сделал – вот это удовлетворение. А пожелал лучшего... право, таковые пожелания можно уподобить воздушному насосу для нагнетания в душу всяческой меланхолии».

Звонки у дверей вывели меня на днях из подобной хмурости. Через минуту я видел перед собою священника, гораздо старше меня летами, но плотного, крепкого. Казалось бы, мне его просить поднять «на рамена свои»; между тем он меня просил и уверял, что, если захочу, – я во власти помочь... «Во власти помочь?!». Но неужели же не иллюзия были все мои мечты о воздушном характере писательской деятельности. Передо мною

* безделье, праздность (*ит.*).

был человек прямо с земли. Из села, уезда, хотя и неподалеку от Петербурга. «Новая Ладога, села Покровское, Весь, Златынь» – мелькали в рассказе места его скромной деятельности. «Весь», «Златынь», – какие старые славянские имена. Да их можно встретить в Несторовой летописи, думал я, слушая привычным филологическим ухом. – Чего же вы хотите, батюшка?

– Все попытки как поднятия сельского быта, так и организации крестьянского обучения страдают отвлеченностью. Похожи на рычаг, приложенный не к той точке. Деморализация крестьянства, особенно в молоденьком его слое, положительно ужасна. Пьяный разгул и неразлучные с ним воровство, грабежи, разврат, драки с кольями и ножами – обычное явление улицы. В дом ли войдете вы, не отраднее зрелище. Грязь в избе и около избы, невозможное устройство и содержание отхожих мест, совершенное невежество в кулинарном деле, ведущее к тому, что крестьяне и с достатком питаются какою-то бурдою, – вот источники всевозможных зараз, простуд, желудочных катаров. Был у нас, десять лет назад, сыпной тиф. Что, вы думаете, делали мужики с больными? Затискивали их в натопленную печь.

– Известная картина «власти тьмы». Нет недостатка в ее изображениях, местами потрясающих. И добрые люди, где и кто может, борются с нею.

– Неудачно. Или без плана. И еще чаще – опять же как-то отвлеченно. Назначат доктора в уезд: а он в год по разу бывает на некоторых пунктах, в иные деревни и никогда не заглянет, а сидит у председателя управы и играет в карты. И получает то же жалованье, благодарность и честь, как и его товарищ, другой доктор, который на пункте принимает ежедневно до сотни больных, и уже нажил неврастению. Не стану порицать случаи, а обращусь к общему. Вот теперь прилагаются горячие заботы к иасажению школ огородничества и садоводства. Очевидно, значение этих отраслей хозяйства для крестьянина вполне сознано. Но в школы пригласили учиться мальчиков, а девочек-то, для которых это еще нужнее, и забыли. Между тем мужчина в деревне имеет свои специальные занятия. Как член крестьянской общины, он несет известные служебные обязанности. Он – либо с сохой в поле, либо с топором в лесу, либо с косой на сенокосе. По обязанности старшины, старосты, сотского, десятского – он или в волостном правлении, или на сходке, собирает подати, исполняет поручения начальства, или на дежурстве у пристава, или ведет от деревни до деревни арестантов. Спрашивается, каким же образом он при всем этом еще может рыться в огороде, караулить отлетающие рои, поливать, окапывать деревья в своем саду? В доме и около дома трудится хозяйка. Хозяин всегда вдалеке. Я беру счастливый случай, когда он дома, а не на отхожем промысле. Именно крестьянка-то и нуждается в знании всего того, что дает возможность благоустроить хозяйство при доме и около дома. Знание садоводства, пчеловодства, огородничества и ремесла дали бы или могут дать ей возможность быть действительной помощницей мужа. И те пустыри, которыми теперь окружены крестьянские избышки, пустыри, свидетельствующие об отсутствии умелых женских рук, обратятся в цветущие садики и пчельники, составляю-

щие не подспорье лишь, а прямо основу крестьянского достатка. Ибо получаемые от них ценные произведения, будучи обращены в деньги, устранят необходимость сбывать за бесценок местному кулаку или прасолу то, что нужно крестьянину на пропитание и его скоту на корм, т. е. хлеб, картофель, овес, сено, яйца. Сведущая хозяйка в состоянии у окон своей избы добыть столько, сколько хозяину не приобрести ни на каком отхожем промысле. Пока этого нет, общий распорядок крестьянской жизни в большинстве таков: один работает, а семеро едят. И едят впроголодь, ибо одному работать на семерых – дело непосильное.

– Но ведь женщина же работает в дому? На ее руках дети? Она нянька и стряпуха, как всемирно.

– Бессильная по темноте, да по той же темноте сварливая или распушенная. Вы возражением подошли именно к тому делу, о котором я пришел поговорить с вами. В тех хлопотах, которые поднялись сейчас около деревни, в бездне проектируемых мероприятий забыта истина, лежащая в основе благосостояния как отдельных семей, так даже и цельных народов. Истина эта выражена в поговорках: «Какова мать – такова семья, какова женщина – таков народ». Мать – зиждущая сила семьи, будет ли это семья крестьянская, духовная, писательская. Дайте крестьянской семье мать, просвещенную светом Христовым, благовоспитанную, свободную от предрассудков суеверия и невежества, сведущую в правилах санитарии и гигиены, опытную в отраслях сельского хозяйства, доступных женской руке, – а ей доступны садоводство, пчеловодство, огородничество, – знающую, наконец, ремесло, которым она могла бы заниматься с пользой для своей семьи в долгие осенние и зимние вечера, идущие теперь на свары, злословие, сплетни, а то и ничегонеделанье, – и улучшение быта крестьянской семьи обеспечено.

– Не идеализируете ли вы дела? Не рассуждаете ли по Платону, когда Аристотель указал держаться земли? И, рассмеявшись, я показал ему на большую картину на стене: «Афинская школа» Рафаэля, с центральными фигурами двух греческих мудрецов. Палец Платона был поднят к небу, палец Аристотеля опущен к земле. «Вот где путь», – указал я на Аристотеля.

– Но я бы и не сидел здесь, если бы не вел и уже не ввел в своем селе и двух смежных деревнях этого воспитания крестьянской девушки, а через нее крестьянской матери и хозяйки. Но я dokonчу о теории. Центр приключения движущего рычага к деревне не крестьянин, а крестьянка, не мальчик, а девочка и особенно взрослая девушка. Сколько бы мы ни говорили, что «муж глава дома», этим главою, не по закону, а на деле, поэтически, духовно, нравственно, хозяйственно, всячески была и останется семьянинка. Если мать дома в порядке – весь дом в порядке. Бережлива она – и все бережливы. Нравственна, – и будьте уверены, что из этого дома преступника не выйдет. Но раз плоха мать дома, весь дом рассыпается, неудержимо, каков бы ни был хозяин. Даже при пьянице мужике или озорнике, если хозяйка настоящая, дом еще стоит, но если хозяйка упала, и прежде всего

нравственно, — муж запивает, семья и дом идут в погибель. В женщине есть какая-то ценная мелочность, понимание и талант к подробностям, наконец, есть в ней притягательная и объединительная сила, и вот всеми этими качествами дом скрепляется как цементом.

— Вы говорите как феминист.

— Я говорю как христианин. И говорю на основании двадцатилетнего опыта безвыездной жизни в селе. Матушка моя (жена) вхожа во все сельские дома, а я знаю крестьян по исповеди. И вот мой опыт говорит мне, что везде в основе крестьянского благосостояния лежит нравственная упорядоченность дома, а идет она всегда от матери-крестьянки. Еще раз напомню, что она постоянно дома, а крестьянин большую часть времени проводит вне дома. Но теперь даже и самая добропорядочная крестьянка может дать только духовный строй семье, — что ей даже и непосильно, ибо она сама через три—пять лет замужества становится издерганным, крикливым, злым существом от убогой нищеты своей жизни и оттого, что она ничему помочь не может, не умеет. Введите вы в крестьянский дом благовоспитанную, осведомленную мать: и пороки деревни, с которыми бессильно борется юстиция, болезни, с которыми бессильна бороться медицина, — все это получит на месте могучего и самого заинтересованного борца с собою. Народ нуждается в воспитании, а пока он не имеет благовоспитанных матерей, нельзя ждать исправления его темных нравов. Ознакомление будущей хозяйки с правилами санитарии и гигиены несомненно отразится благоприятнейшим образом на домашней обстановке крестьянина. Пересоздать свою домашнюю обстановку, конечно, не по плечу темной женщине, ибо для этого нужны знания, которых у нее нет.

— Вы говорите о школах? Наряду со школами для крестьянских мальчиков есть школы и для крестьянских девочек. Их мало, они бедны, но начало положено.

— Достигнуть тех целей, о которых я говорю, невозможно путем нижней народной школы. Она теоретична, элементарна и, поверьте, больше дает материала для хвастливой педагогической статистики, нежели для крестьянского дома. Примите во внимание следующие обстоятельства. Ребенок приходит учиться в эту школу девяти лет и оканчивает ее двенадцати. Это такой возраст, когда можно дать ему только предварительные, и именно теоретические сведения, вроде грамоты, первых правил арифметики и кое-каких рассказов по Закону Божию, истории и географии. Последние, т. е. рассказы, похожи на занимательную книжку, которая прочитана и забыта. Самая грамота — это только техника образования, в которой ничего ни образовательного, ни воспитательного не содержится. В этом возрасте ребенок недостаточно серьезен, чтобы выслушать внимательно, запомнить и оценить то, что вы стали бы говорить ему о домоводстве, о гигиене, вообще из реальных знаний, нужных около дома, огорода, сада. И во-вторых, по той же причине он не авторитетен в семье. Пока он вырастет и станет авторитетом, капли знаний, приобретенных в школе, улетучатся, а сам он уне-

сетса общим, и нездоровым, и злым, а в основе всего темным течением окружающей среды. Сознательно усвоить и сознательно проводить усвоенное в жизнь может только взрослый человек. Идти на борьбу с грубостью, невежеством, предрассудками, суевериями и вести эту борьбу твердо, разумно, убежденно, не падая под напором темной силы, — может только взрослая крестьянская девушка. Вот она-то, в возрасте накануне того, как сама станет хозяйкой, домоправительницей, главою собственной семьи, и должна быть точкой приложения воспитательных влияний и практического обучения. Рядом с низшими народными школами для детей, безусловно, необходимо иметь более высшую школу для взрослой крестьянской девушки, где она могла бы получить все, в чем нуждается и как хозяйка, и как будущая мать семейства.

— Но это совершенно платонично. Где взять средства? Кто будет их обучать? Не знают азбуки, а вы говорите о домоводстве, о первых медицинских сведениях.

— Я вот, как видите, только священник. Жалуются, что священнику за его требоисполнением вовсе некогда заниматься обучением: не верьте этим отговоркам, это отговорки неразвитых, индифферентных. В городе церковная служба совершается ежедневно, а в селе только один раз в неделю, в воскресенье. Шесть дней у сельского священника совершенно ничем не заняты. Ссылаются на требы: но мы имели бы картину вымирания села или чудовищного плодородия, если бы предположили, что каждый-то день священнику приходится или причащать умирающего, или крестить новорожденного. Да и такие крестины или исповедь умирающего берут час времени. Остаются еще четырнадцать часов в сутки незанятыми: куда же их девать? Ссылаются и на хозяйство, — на то, что священнику отрезана земля. Но ведь земля эта, за редчайшими исключениями, сдается крестьянам в аренду, а если священник и ведет свое земельное хозяйство, то всегда имеет работника, и ему остается только досмотр. Священников сельских, в глубокой праздности проводящих время и только ожидающих случая перебраться на доходное место в город, чрезвычайно много или во всяком случае они есть. Им чуждо село, в темноту которого они не имеют никакого усердия войти, и сами остаются чужды селу. Но если войти в эту темноту села и захотеть ей помочь, то дела не оберешься, и самого интересного дела, которое захватит и поглотит вашу жизнь, так что и не оглянешься, как уже наступит старость. Опыты с обучением взрослых девушек я делал. Она занимались вместе с парнями, тоже 16—17 лет, и, конечно, без малейшего последствия в смысле нравственном. Кроме благотворного действия в сторону деликатности, вежливости, отсутствия грубых разговоров, грубой возни, ничего не получалось. Занятие их обучением в этом возрасте убрало праздную девушку и гуляющего парня с улицы, и улица очистилась и успокоилась. Кончились вечерние зимние «посиделки» и всякие вечеринки молодежи, и она нравственно отрезвилась. Труд занятия с ними я вел днем, а матушка вечером, когда свои дети уложены. Показывалось и ремесло, а глав-

ное, вводились оне во весь круг домоводства, вводились интересом своим во всякие хозяйственные воспособляющие занятия. Попутно шло чтение и беседы по поводу прочитанного. Возьмите нашего Крылова: да в его баснях столько житейской мудрости, народной, неопровержимой, одобренной гениальным умом самого баснописца, что, право, зависело бы от меня, я в гимназиях, в курсе словесности, целый год отводил бы истолкованию и изучению одного Крылова. Это энциклопедия нравственного научения и житейского опыта.

Я удивился, но вместе подумал: до какой степени годовое изучение такого художника слова и мудреца было бы в самом деле действительнее и влиятельнее, чем заучивание 1) трех образцовых басен и 2) «кратких биографических сведений» об авторе. Верхушки... И во всем-то и везде у нас в учении верхушки.

Я с большим доверием глядел на священника. Он развивал передо мною мысль, что никакой нет причины изолировать, уединять воспитательное подготовление молодых девушек непременно и исключительно в деревне, что многие сведения, какие может дать только город, пусть оне и приобретают в городе. Едут же оне толпами, отовсюду, в горничные, кухарки, прачки; отчего же их не взять в больницу для показывания первоначального ухода за больными? Врач на пункте также может иметь в лице их помощниц. Между тем деревня так первобытна и темна, что уже неделя работы около доктора дает девушке ну хоть понятие чистоты как условия здоровья; приучает ее к градуснику, к измерению температуры, к понятию свежего воздуха, кипяченой воды; приучает видеть первого врача здоровья в грязи жилища, постели, одежды, еды, питья. Тут важно даже и не одно положительное сведение, а самый метод отношения образованного человека к окружающему: метод этот передается наивной и невинной натуре крестьянки почти гипнотически, передается и усваивается.

— Четыре года назад, — говорил он, — в Новоладожском уезде возникла мысль призвать взрослую грамотную крестьянскую девушку на дело ухода за больными в качестве сельской сестры милосердия. Мысль эта встретила горячее сочувствие со стороны местных деятелей, и несколько девушек приняты были в земскую больницу нашего уездного города для необходимой подготовки. И начато, и осуществлено это дело было при моем ближайшем содействии, ибо нужда уезда при наступившей эпидемии открыла поле для приложения давнишней моей мечты. Уездный земский врач г. Петровский решился сделать первый опыт приготовления таких сестер. При заведующей им земской новоладожской больнице он открыл, хотя и в самых скромных размерах, курсы для обучения уходу за больными, и первые его ученицы были три, мною указанные и мною избранные, крестьянские девушки, окончившие курс в заведующей мною церковно-приходской школе села Покрова, две сестры Каричевы и одна Ильина. Обучение главным образом состояло в сообщении им сведений по уходу за больными; и сведения эти применялись ими тут же, под личным руководством врача. Скоро

уже врач мог давать девушкам-крестьянкам некоторые самостоятельные поручения: дежурить при больных в палатах, наблюдать за приемом лекарств, измерять температуру у лихорадящих. Приходящим больным, под тем же присмотром, они начали делать перевязку ран и язв. Параллельно он знакомил их с общими характернейшими признаками эпидемических болезней и главнейшими предупредительными мерами против их распространения; учил поданию первоначальной помощи в простейших и неотложных случаях, но больше всего старался передать им существеннейшие познания по гигиене и санитарному делу, так нужные в деревенской жизни и при лечении всякого рода болезней. Так прошла целая зима. Раннею весной эти девушки оставили больницу и возвратились в свои семьи к началу полевых работ. Таким образом, зимняя отлучка не внесла расстройств в домашнее деревенское хозяйство тех семей, откуда эти девушки уходили для обучения в больнице; между тем они вернулись домой совершенно обновленными: у них были другие взгляды, новые познания и, наконец, возможность заработать впоследствии тот же кусок хлеба новым, ранее недоступным, более разумным и полезным трудом, чем, напр., труд поденщицы, горничной и т. п. Когда наступила следующая зима, две из обученных девушек изъявили согласие отправиться в Петербург, для дальнейшего и окончательного усовершенствования в избранном деле. В эту же зиму продолжалось обучение других девушек, окончивших курс той же церковно-приходской школы. К весне и эти новые ученицы оказались настолько подготовленными, что две из них, по запросу земства, выразили желание посвятить себя уходу за больными в селениях уезда, зараженных эпидемией сыпного тифа. Насколько сестры милосердия-крестьянки оказались способными нести возложенную на них обязанность, может засвидетельствовать новолодожское земство, которое поощряет их труд и жалованьем, и денежными наградами. Но вот результат, который виден и не доктору-специалисту: эти крестьянки – сестры милосердия проникнуты полным доверием и к врачебной науке, и к авторитету врача, от которого крестьянин бежит; вера в заговоры и наговоры исчезла в них бесследно; грязь в избе, нечистоплотность одежды, пищи вызывает с их стороны энергичный и не безуспешный протест, – и это ярко сказалось именно в эпидемию. Одна из обучавшихся в больнице девушек недавно вышла замуж за крестьянина: не говоря уже о том, что избушка молодой хозяйки представляет приятное отличие от жилищ соседей, – бывшая сестра милосердия сумела внушить своим односельчанам доверие к ее разумным советам относительно больных. Вот становясь на почву этого-то опыта, я и пришел к мысли, что вообще рычаг подъема сельского быта, деревенской хаты, мужицкого обихода заключается в том, чтобы ввести в него таких трезво направленных, трудолюбиво воспитанных, обогащенных насущными для матери семейства девушек. Практическую школу для их приготовления и мог бы быть второй ярус школ, стоящих над элементарными: именно эти общины сельских сестер милосердия, но не в узко специальном, не в техническом, а в более широком и духовном и культурном смысле. Я разумею

ее как 1) школу воспитания, 2) обучения уходу за больными, и параллельно и непременно – 3) школу практического сельского хозяйства, в размерах, нужных для крестьянства, и 4) школу ремесла. Известный, строго рассчитанный на развитие и укрепление религиозно-нравственных чувств строй жизни, общество тружениц великого Божьего дела – сестер, близость страждущего, твердый и неизменный порядок – все это воспитает, а не обучит только крестьянскую девушку. Воспитает делом, а не поучением. Благочестивая, благовоспитанная девушка, по вступлении в супружество, сумеет облагораживающим образом влиять на своего мужа и уж несомненно будет иметь высокое нравственное значение для своих детей.

– В чем же, конкретнее, заключается ваш план и о чем вы хотите меня просить?

– Просьба моя личная коротка... Три школы есть, четвертая начата, но нет ни сил, ни средств мне ее достроить. И я хотел вас просить, не прочтете ли вы лекцию для сбора нескольких сотен рублей, дабы довести до конца и эту четвертую, уже начатую школу, в деревне Пелчино. – Я замотал головой, ссылаясь на мое неумение читать лекции. – Другое, более важное и общее дело заключается в выяснении, в проведении путем печати моей основной мысли о том типе школы, в каком нуждается крестьянская семья для улучшения своего быта. Ни министерская, ни земская, ни церковно-приходская школы не могут быть названы в строгом смысле крестьянскими. Министерская школа есть просто элементарная школа общего обучения. Земская школа носит свое имя потому, что находится в заведывании земства. Ничего «земского», для земли нужного, для деревни насущного, в ней нет. Добрая школа, как, впрочем, и министерская, но к крестьянству не приноровленная. Церковно-приходская школа есть тоже школа прекрасная, с великими надеждами основанная, но с надеждами на пользу от нее церкви, а не народу. Это конфессиональная, т. е. специальная, школа; отчасти школа сословная, но сословно-духовная, а не сословно-крестьянская. Тип школы, о котором говорю, азбучно отвечал бы тому, в чем нуждается крестьянин, о чем просит наш народ Лазарь, хотя и не умеет, по темноте, назвать и описать того, о чем выговаривает смутные слова, главным образом в раздраженной критике налично существующих школ. Исходя из представления благовоспитанной и сведущей крестьянки в сельском быту, я для образования ее предложил бы в каждом уезде, средствами и силами земства, организовать общину сельских сестер милосердия в выше объясненном, не специальном, не только медицинском смысле. Имея постоянный состав, эта община принимала бы последовательно из каждой волости уезда по несколько учениц из обучающихся в сельской школе. В общине девушки проходили бы примерно трехгодичный курс обучения и затем возвращались бы в свои семейства. При этом непременно должно быть соблюдено, чтобы в уезде имелось не более одной общины, ввиду предоставления ей возможности значительных средств для возможно широкой деятельности. Обладая средствами, раскидывая по своему уезду сеть под-

ведомственных ей благотворительных учреждений в виде домов милосердия, приемных покоев, школ-приютов для слепых, глухонемых, она естественно являлась бы одним центром, от которого исходят надзор, дисциплина, порядок, забота для всех, согреваемых ее теплотой и любовью.

– Вы проектируете что-то среднее между Красным Крестом и армиею спасения.

– Армию самоспасения, а не спасения других. Мысль моя заключается не в том, чтобы медицина или Красный Крест извлекали из народа нужный, здоровый материал, перенося его на другие места для своих целей. Кстати, Красный Крест и пришел ко мне на помощь, даже с щедрыми вспомоществованиями; но он не может выйти из пределов своего устава, и около его широкой деятельности для страждущего человечества померкла моя маленькая забота именно о крестьянской хате, о домовитой в нем хозяйке, о гигиеничной матери семейства, которая не пичкает дитя жвачкою из собственного рта (этого кто же не видал), а следит за его желудком, моет его и чистит все около него. Я думаю о подъеме деревни, которая решительно заваливается от невыносимой темноты и наполовину ею обусловленной нищеты. Государство чаще и чаще начинает кормить целые уезды: разве же это не ужас, не деморализация, не разложение? Суды судят и тюрьмы кормят целый народец, пожалуй, не уступающий населению Датского королевства или Греции. Целый народец преступников; а с алкоголиками, дегенератами, душевнобольными это положительно целый народ, какой-то «новый Израиль» расслабленных и вымирающих. Чего это стоит государству! А государство на содержание и разбирательство этих преступников опять же берет средства с истощенного народа, который оттого и выделяет такой процент порочных и немощных, что именно истощен. Тюрьмы у нас – как дворцы, а школы – как курятники. Тюрьмы – последнее слово науки, а школы – захудалая старина, первобытная наивность. Но не доводите лучше до тюрьмы человека, до преступности деревню: и для этого самый богатый куш забот и средств положите на воспитание народа. Я указываю план, который можно критиковать только с точки зрения: откуда взять средств. Но на это я отвечаю: возьмите из рук тех десяти ведомств, которые подлечивают, исправляют, управляют, а впрочем, и подпавают казенкой хромых, больных и зараженных, и передайте все эти средства на свет духовный, предупреждающий всяческие заболевания.

Он кончил и замолчал.

– Ну вот, вы и дали мне дело, о котором я вздыхал. В самом деле есть, к счастью, люди, переполненные энергией, предприимчивостью: писательство может переплестись с ними в одну сеть, давая объединение и обобщение частным удачным предприятиям, давая воздух слова крови легких. Только слово, с его крыльями может частное явление деревни такой-то, развести от края до края земли родной; удачу частную возвести до удачи национальной. Может, наконец, радость труженика, смотревшего на свое дело в деревне, перевести в одушевление патриота, который видит, что мысль его заработала для отечества.

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗОВАННЫЙ ТРУД В РОССИИ

Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских Высших курсах 1882–1889 гт. и 1893–1901 гт. Изд. 3-е. Спб. 1902. – Высшие женские курсы в С.-Петербурге. Краткая историческая записка 1878–1903 г. Изд. 3-е. Спб. 1903.

Как некрасиво все бывает, пока строится. Возьмите здание: щебень, пыль, известь, кирпич, грохот сбрасываемого с тачки материала – все заставляет нас отвернуться, или зажать уши. Но прошли месяцы, год–два: и на месте пустыря, покрытого лопухом, высятся, где-нибудь на Петербургской стороне, в глухой и маленькой улице, трехэтажное здание, дающее тепло и кров сотням жителей, дающее место мастерской, фабрике или казенному учреждению. Некогда пустое место стало точкою притяжения: сюда идут толпы людей, вечером или утром, и отсюда вновь расходятся в определенный час дня. Пустое место вчера, – сегодня работает как сердце среди кровеносных сосудов: к нему течет кровь и оно гонит от себя кровь. «Слава Богу! – говорит прохожий, – еще место заселилось, еще люди не в праздности!». «И насадил Бог сад», – сказано в Вечной Библии о пустынной, только что сотворенной земле. Почему не понять нам эту строку распространенно и указательно: «Сейте, люди, везде, где увидите хоть вершок незанятой земли», и «превращайте все в цветущий и шумящий голосами сад!».

Присматриваясь к суете и шуму, из которых в конце концов, как из глины Адам, сотворилось у русских высшее женское образование, Тургенев грустно и скептически предсказывал когда-то: «Все русское – дым». «Дым, дым – и ничего больше». Ни русская любовь, ни русские дела, ни русская предприимчивость не имеют, казалось ему, прочности в себе, главного условия красоты. Оговоримся сейчас же в оправдание великого романиста: русские всякое дело начинают больше характером, чем умом, и какую-то темной надеждой, чем твердым предвидением. Все начинается ужасно наивно, неопытно, и кажется, вот-вот назавтра провалится. Но у русских есть какая-то почти детская прилипчивость к раз начатому, так сказать, историческая надоедливость. Неопытные эти дети до того толкуются около одного излюбленного места, что фортуна (поверим на минуту древнему мифу), наконец, распахивает перед ними дверь и досадливо кричит шумно ворвавшейся толпе: «Ступайте, канальи, хоть я вас и не хотела пускать: но вы испортили мне барабанную перепонку в ухе». Повторяем, не утрумая, суровая настойчивость получает у нас успех, не «самодетельность» в пуританском смысле Смайльса и англосаксонской расы. Есть что-то шумное, веселое, неугомонное в русских добрых начинаниях; менее историческое или политическое, более природное. Мы, как рой пчел, а не как англосаксы. Солнышко взошло, осветило, и со словами: «Кажется, день выдался», русские поднимаются в путь, не столько предусматривая цель его и окончание, сколько чувствуя, что надо лететь, что пришел день лететь. Го-

ворят «русские – косны». Нет, но они привыкли хоть к маленькому зову; слишком приучены историей к смирению, отчасти напуганному. Лет 40 назад их поманили, позвали, и не слишком сильно, «с оглядкой»: а посмотрите, сколько памятных дел натворили эти ленивые люди, эта «косная» азиатская глыба восточной Европы.

Еще года три-четыре назад по поводу печатавшихся г. Стасовым мемуаров своей сестры, Н. В. Стасовой, я подсмеивался несколько в печати над шумным и суетливым моментом основания Высших женских курсов в Петербурге. Но это было довольно отвлеченное подсмеиванье. В течение трех-четырех последующих лет мне пришлось видеться и говорить или с женщинами, давно выучившимися на этих курсах, или учащимися сейчас, или над ними наблюдающими. Какая серьезность в сознании своего долга перед Россией, перед народом! Какая чистота, целомудрие нравов и какие иногда трогательные картины или рассказы. Вот мне передают о медицинских курсах, что среди многих сотен слушательниц есть три-четыре сарьянки из Самарканда, мусульманки, замужние женщины, даровитые, внимательные, отлично успевающие. Они были неохотно отпущены мужьями своими, людьми тоже высшего образования, хотя по вере и крови мусульманами. Было опасение, что, сняв «чадру» (покрывало с лица), женщина испортится: но на лето, на вакацию, учащаяся женщина возвращалась к мужу без перемены духовного лика. И муж, раньше не посылавший денег на окончание курса, теперь высылает. Как хотите, меня, русского и христианина, это, так сказать, испивание из колодца образования, здесь, в Петербурге, у нас, у русских, еще вчерашних степных кочевников, трогает до последней степени. Вот где братство и вер и племен, около учебного стола, около книги, около анатомируемого трупа. Столь же трогателен был рассказ, не ко мне обращенный, но который мне удалось уловить: уже оканчивающая медичка рассказывала о муже своем, тоже молодом докторе, который где-то на Волге, в глухом земском пункте, работает до изнеможения. «Он болен от усталости, а я больна от его болезни! Скорей бы текли эти месяцы! Скорей бы ему на помощь – на пункт». Здесь любовь личная сливается с любовью к народу, и как помогают одна другой! И сколько было серьезности и грусти в речи. И тут же влетались смешливые воспоминания о гимназических годах, о первых встречах еще гимназисток со студентами, и вразумления последних: «Учитесь, барышни!». Началось шуткой. А как хорошо и серьезно кончается.

Покойный наш знаменитый историк Бестужев-Рюмин* и очень много других лиц, бывших среди начинателей курсов 25 лет назад, имеют ту ис-

* Даем проверенные даты существования курсов, переданные мне лицом, ведущим уже много лет фундаментальную библиотекою их; открыты они были 20 сентября 1878 г., первый выпуск слушательниц был в 1882 г. Руководителем их до этого 1882 г. был Бестужев-Рюмин, затем с 1882 до 1889 г. проф. Бекетов. В 1889 г. курсы были реформированы, и директор был назначен от министерства народного просвещения. Курсы вовсе не закрывались, только с 1886 по 1889 г. был прекращен на них прием слушательниц. В осень того же 1889 года, когда держал выпускной экзамен последний курс старых слушательниц, был первый прием слушательниц на реформированные курсы, и затем курсы восстановились в прежнем своем объеме.

торическую заслугу у себя, что сумели рассмотреть огромный идеализм, скрытый в движении женщин к образованию; не поверили бездне клевет на это движение; полюбили первых учениц, питомиц своих, самую светлую из видов любви – учительскою. Этот идеализм и это доверие первых наставников и ввело все движение, которое могло бы пойти так и иначе, могло и заглохнуть, и извращаться, – в доброе русло. Теперь всякая юная слушательница вступает в ряд прежних. Между ними (первого выпуска 1882 года) есть пожилые, почти старые, помнящие дни основания курсов; здесь дух уже сформировался, традиции сложились. Всякая юная и неопытная душа крепко борется совершенно установившимся строем, идущим в живой и личной преемственности еще от Бестужевских времен, и он не дает ей пошатываться на сторону. Заветы труда, образования и чистоты, вот, судя по всему, главное содержание живущего в этом учреждении духа и первых, пока продолжающихся, его традиций.

Нет ничего более интересного, как читать списки бывших слушательниц, наполняющие «Памятную книжку». Здесь исчислены, поименно каждая, все окончившие курс Высших женских курсов, начиная с первого выпуска 1882 г. и кончая семнадцатым выпуском 1901 г. Против каждой фамилии обозначено: 1) место жительства бывшей курсистки, 2) чем занимается, 3) фамилия по мужу. Из последней рубрики, между прочим, можно видеть, как смешны были угрозы и зловещие предсказания лиц, говоривших, что ученость женщин несовместима с коренным призванием вообще женщины – к семье. И что курсы отразятся неблагоприятно на семейном строе образованных классов русского общества. Правая рубрика (с переменной по мужу фамилией) почти так же густо замещена, как левая (слушательницы по фамилии в девичестве); я пересчитал процентное отношение на некоторых страницах и нашел, что приблизительно три четверти всего состава слушательниц стали теперь семьянинками. Процент этот скорее выше, чем ниже нормального процента девушек с образованием средним или первоначальным, которые выходят замуж. Да это, ввиду тесного экономического положения вообще страны, и понятно: семья с образованною матерью получает или может получить в ее труде некоторое подспорье к основному заработку мужа. Вообще главное, всегдашнее и самое злое обвинение против курсов, что они якобы антисемейны, разбито наличием факта, поименным перечислением слушательниц: скорее курсы имеют тенденцию усиливать в стране развитие семейного начала, чем сколько-нибудь его ослаблять. Мы не говорим уже о том, насколько женщина, в сущности, с университетским образованием, может во всех тяжелых обстоятельствах стать на защиту своей семьи, опорой для семьи, крепкою ее руководительницей. Я сказал, что чтение этих списков для «задумывающегося» человека интересно: около каждой фамилии, взглянув на местожительство и на профессиональную деятельность, останавливаешься: воображаешь себе этот маленький белорусский или малороссийский городок, иногда – сибирскую даль; представляешь занесенные снегом улицы или душистую плодами

осень; дорисовываешь в уме школу или горный завод, или врачебный пункт: и изо дня в день хлопотливо работающую около населения бывшую слушательницу Бестужевских курсов. Кстати, имя Бестужевских как-то прочно установилось за Высшими курсами; к имени этому привыкло население, провинция. Теперь ведь и медицинские курсы, и Высшие педагогические – все суть «курсы» и притом «высшие». Имя замечательного человека дорого и его следует хранить. Отчего бы не утвердить окончательно и законодательно за первым высшим женским заведением в России навсегда симпатичное имя: «Бестужевские курсы», напоминающее первые, веселые и самые энергичные дни заведения. Во всяком случае мы решительно против переименования их в «университет», этого казенного обезличения, этой заурядной установки оригинального и самобытного русского создания в классификацию довольно безличных и официальных учебных заведений. Драгоценнейшая сторона истории и строя курсов заключается в том, что тут: 1) деньги, 2) энергия, 3) план, 4) инициатива, 5) вдохновение и талант – все вышло из общества, все дано соком души русской, без всякой казенной «подгонялочки». Где вы найдете еще страну, в Западной Европе, которая создала бы, в сущности, университет, с лабораториями, обсерваторией, с двумя огромными интернатами, с собственными для всего этого каменными зданиями, с обширным штатом профессоров, имея помощью... трехтысячную субсидию от министерства народного просвещения и таковую же от городской думы. Дороже стоит казне городское училище, с двумя сотнями учеников-мальчиков, и с тремя наставниками из неокончивших курса гимназистов или семинаристов.

Весною этого 1903 года был XIX выпуск слушательниц, давший по историко-филологическому, по математическому и физико-химическому отделениям 181 окончившую полный курс наук ученицу. Из величины выпуска можно судить, какой, в сущности, большой прилив образованных женщин дают стране курсы, особенно если сложить петербургские с московскими, киевскими, казанскими и харьковскими. Еще немного времени пройдет, и каждый русский городок, всякое захолустное местечко будет судить по наличной действительности, по работающему перед глазами примеру, что такое «курсистка» и чего стоит или ничего не стоит ее труд. Тогда окончательно и рассеются «мифы» и «сказания», обильно всю четверть века о них распускаемые. При просмотре труда бывших слушательниц, особенно останавливался я на работающих при заводах, в химических или физических лабораториях. Казалось бы, какое несоответствие женской натуре. Но список научно-литературных трудов бывших слушательниц Высших женских курсов, приложенный к «Памятной книжке», рассеивает всякие сомнения. Беру без выбора, почти наудачу:

«Шифф, Вера Иосифовна, рожденная Ранич. I выпуска 1882 г., физико-математического отделения. Труды ее: 1) «Об одной геометрической теореме Коши»; 2) «Сборник упражнений и задач по дифференци-

альному и интегральному исчислению». 2 тома. Спб. 1899 и 1900 гг. 1 тома печатается 3-е издание; 3) «Об осях симметрии кривых 4-го порядка». Сообщение в харьковском математическом обществе 1890 г.; 4) «Доказательства одной геометрической теоремы Коши». «Научное Обозрение». 1894 г.; 5) «Методы решений вопросов элементарной геометрии». Спб. 1894 г.

Чуть не ежегодное переиздание учебника задач по дифференциальному исчислению много говорит. Значит, он практически нужен, спрашивается, покупается. Но кому он может быть нужен? Да только студентам математического факультета университетов, Технологического института и проч., где единственно эта наука преподается. Таким образом, слушательница Высших курсов, через свой учебник, стала наставницей-руководительницей студентов-математиков. Это чрезвычайно красноречивый документ. Как часто в обществе, даже в печати, слышатся разговоры о курсах в таком тоне, что это что-то малорослое сравнительно «с нами», что эта девичья затея чуть не плод «непослушания родителям». Все вообще толки в тоне сверху вниз. Это непременно, это всегда. Между тем прочтите этот список трудов: их не только написать, но и прочитать с пониманием не сумеют девять десятых разговаривающих о «курсах» мужчин, литераторов, публицистов и проч. Таким образом, давно пора признать, что через курсы, путем курсов женщина вошла с совершенно равной степенью образования, развития и, наконец, специализации, даже самой трудной, в мужское общество. Как-то один консервативный публицист, уже очень старый, заговорил года два назад о курсистках в тоне, в каком третируют распушенную женскую прислугу. Ему и в голову, бедному, не приходило, что он говорит о множестве уже замужних женщин, наконец говорит о людях, гораздо более его образованных, начитанных и серьезных.

Всех женщин, отмеченных учено-литературным трудом пятьдесят три. Это очень большой процент на 2217 всех (с основания курсов) выпущенных слушательниц. Чтение списка их трудов тоже чрезвычайно интересно: это темы последующей самостоятельной жизни, это содержание мысли и души. Каково оно? Так как к 25-летию юбилею приблизительно делается «смотреть» слушательниц, то невозможно не признать полезным широчайшее распространение сведений об их трудах. Читатель простит меня, если я укажу ему еще несколько имен:

Милова, Мария В., X выпуска, 1894. «Planete (147) Protagenoln». *Astronomische Nachrichten*. 1901. № 1.

Холодник, Мария А. (рожд. Веселовская), V выпуска, 1885 г.: «Руна из Калеваль»; 2) «Квинтилиан, как педагог»; 3) «К христианским надгробиям» (*Жур. мин. нар. проsv.*, 1901 г.); 4) «Aurea Gemima quae dicitur ad fidem codices Vitrelensis nune primum «edita Petropoli». 1898 г.

Усова, Августа Н., X выпуска, 1894 г. Перевод с французского «Сказки Перро». Спб. 1895.

Ольденбург Александра Н., рожд. Тимофеева, VI выпуска, 1887. «Мученики. Историческая повесть из первых веков христианства». 1887

(выдержала несколько изданий). «О составе дешевой школьной библиотеки»; «Две индейские сказки».

Парадизова, Елена С., XVII выпуска, 1901. «Принц Лелио, опера для юношества в двух действиях, с эпилогом, музыка Виллуана, текст Парадизовой». Изд. Музыкальной торговли Юргенсона.

Кудели, Прасковья Ф., I вып. 1882. «Впечатления из поездки в голодающую местность». 1892 г.

Платонова, Надежда Н., рожд. Шамонова, IV вып. 1884 г. «Реторика Аристотеля. Перев. с греческого». 1894. Виндельбанд. «Философия Канта», перев. с немецк. 1896. Автобиография Н. С. Саханской (Кохановской), в «Жур. мин. нар. просв.». «Переписка Я. К. Грота с Плетневым» (там же). «Из истории средневековых университетов» (там же).

Полонцова, Екатерина Н. (рожд. Кравченко): «Очерк истории ручного кружева», «Новые исследования о наших кустарях», «Пасхальная старина», «Музыка и песни уральских мусульман», «К истории кружева», «Праздники и скорбные дни весны», «Очерки голландской литературы» (в № 6, 8, 13 и 14 «Журнала Журналов» за 1899 г.), «Екатерининский институт полвека назад», «Сафо сквозь дань веков».

Триполитова, Зинаида М. (рожд. Пенкина). «Русская библиография морского дела 1701–1882 гг. включительно». «Специальный каталог русских книг по всем отраслям знаний, относящихся до морского дела, с двумя подробными алфавитными указателями. Спб. 1886 г.». И такие же библиографические каталоги по: 1) Полесью; 2) железнодорожному делу за 1876–1883 гг.; 3) Закаспийскому краю.

Тураева, Елена Ф. (рожд. Церетели): «Елена Иоанновна, великая княгиня Литовская, русская королева польская. Биографический очерк». 1898.

Нет, послушайте: тут – трудолюбие (библиографические труды), языки: греческий, латинский и немецкий, науки от истории до астрономии, помощь голодающим, музыка, педагогика: это прямо удивительное для 25-ти лет знание труда и образования. Труды некоторых женщин, как Е. В. Балабановой (специальность: литература и история остатков кельтических племен), Юл. Безродной, Т. А. Богданович, Бодуэн-де-Куртенз, О. М. Петерсон (средневековая история), М. В. Чепинской (рожденная Корш), Б. Д. Яновской, – занимают по целому столбцу каталога, иногда по полтора, по два столбца. Все, о чем можно еще спросить учащихся женщины: «Где же между вами гений или яркий всероссийский талант?». Но вопрос этот также мучителен и смущающ для пишущих и ученых мужчин. Во всяком случае здесь полное братство по науке, литературе и по практическому труду с мужской половиной есть факт приобретенный, а не мечтательный.

Всех выпусков, как я уже сказал, было девятнадцать. Всех окончивших курс – 2217. Интересна очень группировка их по месту труда и по качеству труда. Работает в провинции 757 человек, осталось в Петербурге 920 человек, в Москве 41 человек и за границей 56 человек. В числе последних есть посланные за границу на казенный счет для усовершенствования в науках

и приготовления к профессорской кафедре. Мне кажется, самый важный контингент из них – это вернувшийся в провинцию. Едва ли не правильно будет сказать, что их вернулось туда столько же, сколько приехало на курсы из провинции. Потому что из поступающих на курсы всего больше, конечно, принадлежит коренным петербургским семьянкам (по родителям). Выезд из провинции дорог, труден, хлопотлив. Во всяком случае и этот «миф», что курсы «смущают» провинцию, будоражат тихий провинциальный быт, должен рассеяться. Все, что дается провинцией, и возвращается ей, но только в образованном, просветленном виде; с большими сведениями, уменьем, силами. Пусть все читают опять же список трудов, которого только крупницу мы выписали, как пример, как доказательство, и убеждаются не словами нашими, но этою наличностью зарегистрированного труда. Переходим теперь к группировке по качеству и характеру труда. Педагогическим трудом занята почти половина всех окончивших, именно 960; из них 35 состоят преподавательницами, ассистентками и руководительницами практических занятий в высших учебных заведениях, 20 – начальницами гимназий и прогимназий, 303 учительницами гимназий, институтов, учительских семинарий и других средних учебных заведений, 43 открыли свои собственные учебные заведения, 45 инспектрисы и классные дамы в институтах и гимназиях. Переходим к другим родам деятельности: 36 слушательниц работают в ученых учреждениях, лабораториях, обсерваториях и т. п.; 11 занято сельским хозяйством; 86 занято врачебною деятельностью; 71 – сельские учительницы (цифра особенно любопытная, потому что не нужна же в заработке, очевидно, погнала их в деревню, а чистая любовь и жалость к деревне и крестьянству), 160 продолжают образование (вероятно, в медицинском институте или за границей). «Нет никаких сведений о роде занятий» о 176 незамужних и о 367 замужних: последние, вероятно, просто ушли в семью, т. е. не имеют, кроме хозяйства и детской, никакой профессии; из первых, вероятно, много умерло: ведь прошел уж срок 25-ти лет, а обозначенное число умерших за все эти 25 лет всего 67, т. е. чрезвычайно мало. Но все-таки обо многих из этих – под рубрикой «нет никаких сведений» – как-то невольно задумываешься: отчего они не откликнулись? не сказали о себе? Грустна ли их жизнь? может быть, даже некрасива? Темное это молчание жутко отзывается на сердце, и хочется пожалеть, кого нужно пожалеть; а если кого нужно осудить, то все же не хочется осудить. *Sit venia verbo**.

Может быть, это все предчувствия именно темного незнания, и «не откликнувшиеся» о труде своем и положении, просто за 25 лет растолстели, обленились, все на свете позабыли за ребятишками, или уйдя по уши в разделяемую сердечно службу мужа. «Ну, их: до курсов ли теперь!», – думают по провинции добрые матушки семейств. Когда так, все весело в целой панораме курсов. Но и того, что мы определенного о них знаем, достаточно

* Да будет позволено сказать так (*лат.*).

для радости стороннего человека и любителя земли русской. Теперь везде говорят об «упадке центра»: право, женское солидное образование один из сильных рычагов подъема этого центра. Как хочется пожелать, как торопливо и настойчиво хочется пожелать еще основания, конечно, не в Петербурге, а где-нибудь около Воронежа, около Пензы или Самары, Женского сельскохозяйственного института. Ибо всякое дело закружается, ищет закружения: большой дугой, почти в полных 360 градусов, вытянулось (по программам своим) женское образование в России, и немножко-немножко недостает ему сомкнуться в полный круг.

Мы почти забыли сказать, что капитальная (в домах), движимая (учебные кабинеты) и денежная собственность утвержденного правительством, но совершенно частного «Общества вспоможения высшим женским курсам в Петербурге» перешла за два миллиона рублей. Вообще, в истории курсов, с самого их основания, когда слушательницы и профессора перекочевывали с квартиры на квартиру, «не имея, где приклонить голову», и помещались то в Военно-Медицинской академии, то в Филологическом институте, то в женской гимназии, то на Владимирской улице, то на Васильевском острове, – эта история и формирование их полны энергии, настойчивости, самостоятельности. «Самость» в этих курсах – самая золотая в них черта; и не дай Боже, если бы она отпала, стала воспоминанием только; не дай Бог, чтобы курсы «застоялись» и стали, без поэзии и вдохновения, одним только «казенным учебным заведением». Тем более пользы, чем больше поэзии: ибо она-то (поэзия) и есть душа живущего, или, скажем по ученому, по Аристотелю: «Есть энтелехия всякого живущего тела», двигатель его и конечная его цель.

ДОБРОЕ СЛОВО В ЗАЩИТУ КРЕСТЬЯНКИ

Недавно исполнившееся 50-летие службы церкви и государству высокопреосвященного Гурия, архиепископа новгородского, дает повод вспомнить и во всеуслышание сказать о том, чем он заслужил благодарность не в одной той сфере, которой непосредственно служит, но и благодарность от русского простого народа, притом в наиболее его угнетенной части. Первый из иерархов, голосом столь же нравственным, как и авторитетным, он указал случаи беспримерного по жестокости обращения мужей в крестьянстве со своими женами и обратил внимание сельского духовенства на то, что в сфере его забот и обязанностей должна входить защита, церковными мерами, истязуемых женщин. В бытность его архиепископом самарским, ему был представлен 21 января 1902 г. на заключение «журнал» местной консистории о предании церковному покаянию покусившейся на самоубийство крестьянки пригорода М. Ч-ной. Такие дела всегда текли нормально. Вина была; закон определен издревле, еще до основания Руси (каноническое право), и консистория только подводила вину под закон, а определение наказания пре-

освященный «подписывал»: и никто не вникал в вопрос с внутренней, нравственной его стороны. И архиепископу Гурию предлагало «подписать бумагу», как десяткам иерархам в той же епархии до него и как сотням иерархов в других епархиях одновременно с ним. Но он не сделал этого, и со скорбью, как истинно христианской, так и истинно человеческой, подписал: «Ч–на, невинная перед Богом и Церковью в покушении на самоубийство из-за жестокого обращения с нею мужа, заслуживает, как и другие подобные ей, сострадания: наказывать нужно не их, а их мужей-варваров, которые по вообразаемому ими какому-то праву бьют и терзают своих жен, часто ни за что, ни про что, а просто по сумасбродству, особенно в нетрезвом состоянии. И чего-чего не терпят от таких негодяев мужей их жены, в большинстве случаев, по общему отзыву, добрые женщины, нравственные, богобоязненные. Так, например, священник Филимонов в своем отчете о состоянии прихода села Пролейки Самарского уезда пишет: «Один молодой муж побил свою жену жестоко, причем зверски искоусал грудь ее, которая кормила грудного ребенка». «На страстной седмице, в понедельник, – пишет тот же священник, – молодой парень верхом на лошади гонял свою жену по улицам села и бил ее нагайкой, на ночь же бросил ее на дворе, а сам лег спать в избе на печи. В августе, – пишет тот же священник Филимонов, – во время работы другой муж избил свою жену так сильно, что она вся в крови явилась к этому священнику просить защиты». При таких и подобных ужасных биениях и терзаниях жен мужьями, повторяющихся нередко изо дня в день, без малейших послаблений, естественно, оне доводятся всем этим до отчаяния, до потери всякой надежды на лучшее будущее в жизни, и им, при слабой их вере в загробную жизнь и при неясном сознании суда Божия, на который оне должны предстать по смерти, и особенно по злодемонскому на тот раз влиянию, не представляется иного исхода из настоящего *адского* их *состояния*, как насильственная смерть, причем нельзя отвергать и психической ненормальности, которой оне подвергаются от причиняемых их мужьями нервных страданий. Нам, пастырям церкви, особенно нужно внимательно следить за семейными отношениями мужей и жен, чтоб оне были истинно добрыми, христианскими, а не варварскими, бесчеловечными. Бесчеловечные отношения мужей к женам развращают нравы детей с раннего их возраста: глядя на отца своего зверя, как он тиранит свою жену, у них возбуждается такой же дух жестокости, пожалуй, с теми же способами действий, какие усмотрены им, когда отец бил, тиранил мать... Ч–на пусть молится Богу утром и вечером, полагая поклоны до земли, по силе возможности, с молитвою мытаря, дотоле, пока она не почувствует успокоения совести... Тогда удостоить ее Св. Причастии по исповедании грехов в таинстве покаяния, причем пусть даст обещание Богу, ради вечного спасения, великодушно переносить оскорбления и дерзкие нападки мужа, если таковые будут повторяться в будущем. А мужа ее, после должного пастырского внушения, подвергнуть отлучению от Св. Причастия, если он не испросит у своей жены прощения в причинении ей побоев, которые довели ее до отча-

яния» (перепечатано из «Самарских епархиальных ведомостей» в «Богословском Вестнике», апрель 1902 г.).

Такова резолюция. Думать по поводу ее можно бесконечно долго, и можно же вывести из нее длинный ряд заключений. Ее не бесполезно перечитать светским законодателям, особенно имеющим вскоре окончательно отредактировать статьи нового уложения по семейному праву.

Г-ЖА ЛУХМАНОВА О ПРОСТИТУЦИИ

Чтение в Соляном Городке г-жи Лухмановой о проституции 11-го октября собрало такое множество слушателей, что было трудно сидеть, нечем дышать. Публика, главным образом из слушателей и слушательниц высших учебных заведений, едва ли, в мужской своей половине, не знала предмета практически гораздо лучше, нежели лекторша, по словам ее, «не знавшая ни одной проститутки, продолжающей свое ремесло». Почти невозможно усомниться, что чтение женщиной света о делах полусвета и даже крошечной тьмы и вызвало острою своего сочетания такое собрание слушающей публики: ну что всем этим усатым молодым людям, хороших мускулов и румяных щек, до «сокращения проституции» – патетической темы патетической чтицы? Что им Гекуба?.. Для г-жи Лухмановой проституция есть литературная тема, одна из многих, и ее в отношении этой темы нельзя поставить наряду с глубокой филантропкой наших дней, петербургской женщиной-врачом г-жею Покровской, которая уже много лет с умом и самоотвержением, и, явно глубоко страдающая, работает над ужасным этим вопросом. Та уже не скажет о себе щепетильно: «Я не была знакома ни с одной работающей проституткой». Та знала их тысячи и слышала их рассказы.

Чтение г-жи Лухмановой, кончившееся «призывом» к обществу, в содержании своем представляло компиляцию из разных книжек о данном вопросе и из «своих размышлений» по поводу разных газетных сообщений. Она повторила ходячие ошибки о проституции: например, что так называемая «священная проституция» древности была предшественницей нашей. Это только по безграмотности можно утверждать слияние подобных явлений: нет сомнения, что беспорядочные, никак не урегулированные, вовсе не имевшие ни закона о себе, ни правила для себя половые отношения составляли изначальную в истории форму отношения мужчины и женщины, всех, мужчин ко всем женщинам. Теперь, когда из этой формы, если угодно «проституционной», стала выделяться «священная проституция», какая, напр., была в Вавилоне около храма Милитты, – то это было то же явление, как если бы в наши дни совершился у кого-нибудь переход от светской связи «внебрачного» сожителства – к форме повенчанного, религиозного, церковного брака. Таким образом, «священная проституция» не была предшественницей нашей, а явлением совершенно ей обратным. Она была первою в истории зарею теперешнего религиозного брака, в отличие

его от гражданского. Напротив, гражданский брак, если с ним не соединять религиозного чувства, отношения полов, представляет собою возврат к до-религиозной, доисторической физиологической форме... отношения ли полов, проституции ли. Проституция как теперешний наличный факт, т. е. как страдание, боль, как соединение нужды и полового заработка, где пол для женщины играет роль «швейной машины» для работницы, а женщина и толпы женщин, их честь и достоинство являются в очах общества, государства и нации чем-то вроде «разрешенной продажи питей», чуть не с выдачей на это казенного патента, – такое явление в древности и на Востоке никогда не существовало. Продолжаем о лекции г-жи Лухмановой. Повторив ходячие исторические ошибки, она обратилась к картине современности. Чтение ее и в этой части было вполне литературным, но и вполне недоловым: она не привела в связь явление проституции: 1) с положением и строем европейской семьи, 2) с безработицей, и особенно женскою безработицей. Через это совершенно неизвестно откуда явилось: 1) такое множество мужчин, нуждающихся в проституции или ищущих в ней удовольствия, и 2) такое количество женщин, предлагающих себя проституционно, т. е. без любви, невольно, первоначально по чувственному влечению («падения»), а позднее – по необходимости. Самая идея и кличка «падение», «падшая» – и образует первую фазу «проститутки». Не будь этой клички, уничтожись эта идея, – из 100 «потерявших себя» девушек 99 вновь «нашли» бы себя. Далее, самые «падения» обусловлены тем очень простым фактом, что решительно никакой мужчина, между прочим, и из слушателей г-жи Лухмановой, не имеет ни малейшего побуждения, никакого физического или нравственно смущающего мотива задерживать половую свою жизнь хотя бы на один месяц; таким образом, вся мужская половина рода человеческого, так сказать, «дышит», пульсирует половою жизнью – и это факт, не подлежащий ни переменам, ни ограничению (говорим о факте, устраняя реторику). Между тем, число старых дев растет в стране, в нации, с грозною быстротою. Каждая старая девушка и образует собою, просто выходом из стана брачных, приблизительно $\frac{1}{10}$ (я думаю – $\frac{1}{3}$, но не решаюсь это сказать) полной проститутки. А десять старых дев образуют рядом с собою, как свою заместительницу, цельную проститутку: последнюю и следует определять, как коллективную жену нескольких, приблизительно хоть десяти мужчин, если предположить, что ее супружеское функционирование удешевлено напряженнее, чем нормальное нормальной женщины. Несчастная делается уродцем, большою: как изнуренный рабочий около десяти тунейдцев. Таким образом, и здесь мы приходим к выводу, что нормировка брака в стране, способствовавшая образованию огромного контингента старых девушек, есть коренной родитель проституции в стране. Ни у евреев, ни у мусульман, заметим, домов терпимости не образуется, а «проститутка» если и выходит из них, то лишь по исключительному несчастию и для пользования христиан. Вероятно, никогда никто не видал «правоверного» татарина или еврея входящим в дом терпимости. Это – наше богатство.

Г-жа Лухманова даже не упомянула об этих, так сказать, метафизических, т. е. вечных и необозримых составных элементах проституции. Вопросы труда и семьи – они даже не были упомянуты в ее чтении. Все сводилось к тому, что «нравы развращены и они могут быть лучше»; все свелось к устройению «домов трудолюбия» и разных видов приютов. Занятие довольно бесплодное и разговоры довольно праздные. Уничтожьте спрос – и уничтожится предложение; а как существует вечный голод пола, то устройте, чтобы он был насыщен не проституционно, и тогда проституция исчезнет. Все опять сводится к нормировке брака, которая у нас принадлежит специальному сословию, со вкусом к «безбрачию»... Здесь и корень всего. Говорят: «безнравственность»... Но позвольте, отчего же, наконец, редкий порядочный человек позволит себе украсть, никакой крестьянин не «сворует» у соседа, а писатель, мужик, старец, юноша пойдет в дом терпимости? Да оттого, что это *честь* его не марает, *достоинства* его не унижает, по самочувствию его и всего окружающего общества. Но отчего? Отчего?! Ведь это – безнравственно!! А мне кажется, что есть *слово* «безнравственность» в отношении к этому, а *чувства* безнравственности к этому – нет! Оно бессильно! Не зарождено ни у кого!! Да отчего? Что за тайна? Да ведь все сознают хорошо, что воздержание от «этого» так же неестественно в человеке, как удержание в себе дыхания или сердцебиения; а удовлетворения «этому» нет никакого (в данных, личных условиях), кроме того мутного. Кто же на походе упрекает себя в том, что он пьет воду не из стакана, а в выемке из-под копыта лошади; пьет из болота, откуда попало пьет. Никто этого не стыдится, никто этого безнравственным не считает. Так и в вопросе о проституции. Но, скажут: «Это такая святая область! Особенная!! Разве тут можно как-нибудь и что-нибудь?!». Отвечу на это: «Святая, так и позаботились бы; а вы все считали ее грешной, дурной, зажимали от нее нос, и так же мало приложили старания к ее благоустройству, как не прилагали старания к благоустройству игры фальшивыми картами или к регулированию трактирного дебоша. Только отмахивались и плевались: и в результате повис на вашей шее этот камень, которого теперь не снять. Всякий решительно мужчина, пользующийся проституткою, пользуется ею по строжайшему вашему же рецепту: 1) он берет у нее то, что в ней не ценно, что у нее есть грязь, минус в ее бытии; чего же вам жалко?! и 2) берет ее для того у себя, что считает в себе грязным, нечистым, ничтожным, неценным, минусом. Чего же удивиться, что сложение минуса и минуса дало огромную отрицательную величину; что и получилось «распивочно и на вынос» пола, и даже с казенной монополией, если принять во внимание принудительное навязывание казенного «желтого билета». Непонятно, о чем хлопочет г-жа Лухманова, о чем хлопочут гг. филантропы. Только проваливается то, чему провалиться все желают: раны «французской болезни» отнимают то же у человека, что и нож последователей Кондратия Селиванова. А если бытовые картинки при этом нехороши выходят: так в картинах ли дело? По волосам нечего плакать, когда сняли голову.

В планах-то о нравственности и лежит корень проституции. Каждая слезинка о «VII заповеди», как капелька серной кислоты, падает и растревляет, расслабляет, понижает во всеобщем воззрении кусочек в нас пола. «Да это – как швейная машина, не больше ему цена», – думает безграмотная девушка, мещанка, прислуга, – и перестает пугаться работы и прожития за этот счет. «Это – нечистота и грязь, свиное во мне: понесу его в место нечистое, грязное, свиное», – решает студент, беря фуражку и накидывая пальто. И все «гонят свинью в хлев», – личность, общество. И не догадываются, что в основе «хлева» лежит идея «свиньи», которую усердно все в себе, в других поддерживают.

МОММЗЕН И РЕНАН*

I

Когда в 1871 году в Пруссии собирались подписи лиц, высказавшихся за бомбардировку Парижа, то Моммзен, сам член парижской Академии надписей, не раз пользовавшийся гостеприимством всемирного города, расчеркнулся тоже в этом списке наряду с сотнями и тысячами штатских вахмистров. Уроженец датского городка, он ранее одобрил разгром своего отечества Пруссиию.

Трудно сказать, внес ли он в свою гражданскую деятельность впечатления из «Römische Forschungen»**, идеи римского цезаризма и полновластия; или наоборот, он вносил в изучение Рима прусский дух, как он сложился во времена Бисмарка, Мольтке и Вильгельма «Великого», но несомненно, который-то из этих процессов имел в нем место и сложил главные черты того учено-политического портрета, который обозначается двумя именами: «Теодор Моммзен».

Судя по тому, что Антигона, Димитрия Полиоркета, Птолемея, Эвмена и других преемников Александра Великого он неизменно называет маршалами, как бы это были Мюрат и Даву; что слово «генерал» пестрит страницы о карфагенянах и самнитах; что Цицерона и Помпея он характеризует так уничижительно-страстно, как если бы это были бедственные Жюль Фавр и Мак-Магон, – мы почти без ошибки можем предположить, что не Рим впечатлениями своими залил для него зрелище современности, а современность, могуче бившаяся в груди историка, из нее разлилась на равнины и предгорья архаической Италии, северного побережья Африки, переднюю Азию, и осветила прусским светом весь античный мир. Известно, что в

* В «Мире Искусства» были помещены портреты Моммзена, раб. Ленбаха («М. И.», т. II, стр. 143 и т. VIII, стр. 336) и Ренана, офорт Цорна («М. И.», т. VII, стр. 138).

Ред.

** «Римские исследования» (нем.).

XVIII веке французы и немцы невольно, неодолимо и безотчетно переде- лывали себя и все свое то в римлян и римское, то в греков и в греческое; куафюровались à la grec и à la romain*.

Время этого давно прошло, и ныне сановники государства никак не назовут себя «консулами», каковое имя приняли Бонапарт и его два товарища. Но произошло, и столь же невольно и безотчетно, «вторжение пруссаков в Рим». Цезарь показался Вильгельмом Великим, только еще характернее, идеальнее; показался прототипом и идеалом того, что надлежало бы совершить, но не всегда удавалось Вильгельму; Цезарь был, конечно, даровитее Вильгельма, но взамен Вильгельм «покорил Цезаря» в том отношении, что наполнил все его огромное существо прусским содержанием, так сказать, трепетанием вот сейчас живущего мозга, мускулов, забот, тревог и торжества. В очерке Цезаря под пером Моммзена получилось столько жизни, реальной жизни, что этому не мог не удивиться мир; и в науке истории, в искусстве исторического изображения это был в своем роде единственный «портрет». Но художественной объективизации и постижения «духа истории» тут едва ли было бы не напрасно искать: Цезарь – как живой перед нами, мы делаемся зрителями его триумфов. Почти слышим лязг оружия и крики воинов. В этом необыкновенно живом трепетании самая суть знаменитых страниц о Цезаре.

Но «дух истории»?..

Возьмите «De bello Gallico»**: тупая, неодолимая, нигде, ни в одной строчке не патетическая речь самого полководца о себе, речь, почти арифметически правильная и алгебраически спокойная, говорит за то, что в знаменитой моммзеновской характеристике больше прусской действительности и меньше римской действительности; что это в своем роде историческая «шиллеровщина», т. е. пафос мещанина девятнадцатого века, бюргера и члена парламентской партии, окруживший лицо, существенно не патетическое, бронзовое, великое и... совсем, совсем с другим устройением души, чем какое нарисовано историком; с устройением, может быть, никогда не разгадываемым, но которое, в таком случае, пусть лучше и останется неразгаданным, нежели неправильно угаданным: точнее – нежели рассказанным слишком «по-братски», «по-свойски», «по-христиански». – «Ты мне не брат», – сказал бы Цезарь, удивленно отстраняясь, Моммзену.

В Моммзене нужно различать две стороны: несравненного лингвиста, юриста и археолога и затем изобразителя синтетической истории, т. е. целостных судеб и характера Рима. Только третьей стороны истории, так называемой «философии истории», – пожалуй, самой проблематичной, но и самой ее влекущей стороны, он никогда не касался и не имел самого инстинкта ее коснуться. Он, проживший без малого век (род. в 1817 году), начал с величайшей подробности: с собирания эпиграфического (надписи)

* по-гречески, по-римски (*фр.*).

** «Записки о галльской войне» (*лат.*).

материала в римских провинциях, притом не ближайших, в пределах бывшего Неаполитанского королевства (изданы в 1852 г.) и затем Швейцарии (древней Гельвеции, изданы в 1854 г.). Дело это было новое, и на фундаменте, заложенном Моммзенем, по его плану или под его руководством, оно было завершено в 14-томном издании «Corpus inscriptionum latinaum» Берлинской академии наук (в 63 году). Его находки были иногда чрезвычайно счастливы и значительны. Так, он нашел, издал и объяснил знаменитую Анкирскую надпись, в которой Август сам изложил свои *res gestas* («деяния») и слог которой, заметим украдкой, тот же тупой и величавый, как в «De bello Gallico». Заметим вообще, что отсутствие патетичности, буквально «непробужденная душа» (Будда избрал себе в собственное имя: «Пробужденный»), и вообще эта черта «пробужденности» знаменует дух всевозможного рода религиозных «открывателей»), и вместе какие-то бронзовые, бесповоротные «деяния» – едва ли не «гений» Рима. Вспомним, как Сулла назначил избиение нескольких тысяч пленных в храме Беллоны, и в то время, как оттуда неслись вопли умирающих, держал речь перед сенатом. Это не «шик» жестокости (как описывает Моммзен); в римлянах, по крайней мере до империи, не было вовсе актерской черточки. Это было именно «не чувствую» тупого человека, «непробужденного», хотя и колоссального в силах. Кто чувствует суть Рима и немножко заражен «философией истории», в конце концов не может не повеселиться человеческим удовольствием, когда разные «культы Цибелы», разные Мессалины и Пoppей пришли и смахнули своими юбками всю эту бронзовую величавость, всю эту несравненную монументальность, но не дышащую, без слез, восторгов и поэзии, без всякого конечного в себе смысла, без чуточки (подлинной) религии. Моммзен, да и вообще историки негодуют на эти «восточные культы», вдруг все замутившие в ясном, «юридическом» Риме.

И поразительно, с какою скоростью, до чего бессильно повалились все эти «*diuvivigi*» и «*triumvigi*», сенат, комиции, перед первыми же, нервно-экзальтированными волнами, повеявшими из Фригии, из Лидии, из стран Сирии и Малой Азии. Как гигантские глыбы северных снегов тают и исчезают под лаской тончайших и неуловимейших солнечных лучей, вовсе и не горячих даже, а только нарушающих «термическое равновесие» в стране, так и Рим, эта чудовищная амфибия с тремя градусами теплоты в жилах, померк в очах, повис в мускулах, едва начала вливаться в его жилы первая же более горячая кровь от покоренных, от разоренных, от разграбленных и почти убитых восточных народов. Одолела его не сила: в этом он был неодолим; одолела его мечта, иллюзия, сердечный зов: против этого он не имел заклинаний и против этого не действовали ни его легионы, ни преторские эдикты. Замечательно, что Моммзен не написал, вовсе выпустив, эту самую интересную часть внутреннего разрушения Рима. После трех томов «*Römische Geschichte*»* (1853–1855 гг.), доведши историю Рима до смерти

* «Римская история» (нем.).

Августа, он выпустил, по достаточно долгому промежутку (1885 г.), сразу пятый том, историю и особенно описание римских провинций перед Диоклетиановой эпохи, т. е. он пропустил, не имея вкуса, а, вероятно, и постижения, всю историю духовного перелома Рима: тягостную, единственную во всемирной истории и, пожалуй, самую интересную в судьбах собственно самого «Вечного города». Тут уже кончалась «Пруссия» и начиналась «Германия»; а известно, что «Германия» во многом непостижима для Пруссии, и Бисмарк с Гёте только по недоразумению соотечественники. Вот этого-то «гётевского элемента», величаво-«германского», высоко-человечного, универсально-значительного в Риме, — его Моммзен не постигал, почти не знал, или, и видя, отрицал: с этим едва ли кто будет спорить.

II

Кончим о специальных трудах Моммзена. Первый авторитет века в эпиграфической области италийских племен, он едва ли кому уступал первенство и в талантах, и в знании римской юриспруденции («Римское государственное право», 1871–89). Он более, чем кто-либо, способствовал тому, что даже на историко-филологических факультетах для специалистов-филологов, римская история стала излагаться, как генезис римских правящих учреждений, как древности римского права, и уже из гениального их механизма объяснялись и всемирные успехи римлян, и римские нравы как первой республиканской, так и второй императорской половины. Юриспруденция стала «душою Рима», — что, может быть, и отвечает делу, но во всяком случае эта уже слишком прозаична. Бесспорным остается то, что Моммзен есть гениальный изобразитель «Судеб римского правительства», изъяснитель «Римской правительственной системы», но в которой совершенно меркнут, отодвинутые на третий план, а то и вовсе зачеркнутые «Народная римская история», «Религиозная (или хоть сказочная) римская история», которая — пусть и в небольшом объеме — однако все-таки есть. Достаточно сказать, что в лице Цезаря, одолевшего Помпея, одолела все же партия Демоса, партия Мария, и пока мы обращаем внимание исключительно на правительственный римский механизм, мы вовсе не понимаем, где же сокрыт и в чем именно заключался тот исторический «пафос», тот горячий пар, который двигал от перемены к перемене, от переработки к переработке колеса и винты этого правительственного механизма. Голод, как только голод, и голодная толпа, как только таковая, это еще не объяснение. Нужно было, очевидно, войти в италийскую толпу, в эту смесь исчезнувших этрусков, перерожденных греков, да и латинян, но тоже переродившихся, начать слушать их сказки, суеверия, странствующих «оракулов»; все это область скорее братьев Гриммов, чем Моммзена. Моммзен, как представитель (и патетический) только римской правительственной системы, можно сказать, смотрел на «Römisches Volk»*, на толпу римских улиц, как член

* «Римский народ» (нем.).

прусской палаты господ смотрит на отрицающих немецкую «культуру» чехов: «По башкам этих дураков палками!». Но это едва ли истина, ибо не только толпа эта стояла за спиною Цезаря и толкала его вперед, но в ближайшее к нему время она шла за спиною и того великого переворота, который при Константине Великом получил штемпель, ярлык, «заголовок» страницы исторического учебника и венец. Но это уже неуловимое и поэтическое истории; а Моммзен никогда к этому не имел сочувствия.

Сверх обработки права и эпиграфики Моммзен специальными исследованиями коснулся решительно всех уголков римской истории, например, системы весов, мер, монетной системы. Моммзен знал уголки и закоулки Италии и Рима, современные Цицерону, а особенно древнейшие, лучше, чем Цицерон*; знал и всю конечную, исполнившуюся судьбу Рима; к тому же он имел в себе «политическую жилку», большею частью у историков отсутствующую; знал, что такое «дух партии», тревоги партии. Можно же представить себе, как вошел он, каким горячим конем в эпоху, когда Клодий бродил по улицам Рима, наводя трепет на все честное и спокойное; когда тонкий и изящный Цицерон видел, что наступает время, когда хулиганы перервут всю паутину его красноречия, да и ему самому перервут глотку; когда с противоположных сторон выступали характеры, почти равной силы и мучительного соперничества, как Марий** и Сулла; когда главами политических партий и политической программы являлись Сципион, с одной стороны, Тиберий и Кай Гракхи – с другой. Но не следовало забывать, что весь Рим, вся страна, вся эта колоссальная история есть явление столь же *sui generis****, как знаменитые римские *intertex*'ы, «междуцари» в республиканскую эпоху, эти, как бы Ромул и Рем, восстававшие из гробниц на несколько дней между выборами одних и других консулов. Что это такое?! Какая чудовищная, неповторимая, невообразимая логика лежала под этим?? «Не вемы».

Вот такое «не вемы», «темно», «не постигаем» необходимо удерживать в себе, молчаливо и скромно, собственно при всем созерцании (и изображении) римской истории. Тут никакая эпиграфика и юриспруденция не помогут; и даже их великолепное знание при самоуверенности может почти повредить, сообщая опаснейшую самоуверенность. Каким образом люди до Рождества Христова, до открытия Америки, до университетов и даже не имея ну хоть уровня нашего гимназического образования, сотворили юрис-

* Труды последнего, часто касающиеся римской истории, без труда и во множестве поправляются современными историками.

** В Ватиканском музее есть портрет-бюст Мария, очевидно, почти маска по множеству подробностей, невозможных для изобретения: голова небольшая, волосы короткие, все лицо «мечком», вовсе без углов, без плоскостей в себе. «Свирепый Марий», так и хочется сказать, но свирепый во вспышке и без всякой свирепости в системе. Общее индивидуальное впечатление невозможно передать лучше, как сказав, что нет ни лица, ни портрета еще до такой степени сходного с лицом покойного Андрея Бурлака: точно два брата – один пошел в комедию, другой в трагедию, но только в трагедию действительную, совершившуюся.

*** своеобразный (*lat.*).

пруденцию, выработали учреждения, каких не только что повторить или которым подражать, но даже их и постигнуть основательно не умеют первокласснейшие умы самых просвещенных народов: каким образом городок, поселок на берегу ничтожной реки мало-помалу одолел все монархии мира и сотворил из себя цивилизацию, – это навсегда останется чудом, на которое историк (пусть атеист) может только помолиться, но которого ни рассказать, ни объяснить он никогда не сумеет. Здесь то же бессилие рассказчика и философа-историка, даже самых гениальных, как, например, бессилие Васнецова или Нестерова нарисовать еще, сотворить вторичную «Иверскую Божию Матерь», как она есть, существует одна, «матушка». Мы этой аналогией хотим сказать, что «*ges gestae*» некоторых особенных народов суть подлинные «чудотворные иконы» прошлого, не разбираемые, не анализируемые, не подражаемые, «не рукотворенные» буквально, как и какая-нибудь икона, «найденная крестьянами поутру на дереве» или «плывшая такого-то числа по реке, а с тех пор стоящая вот в этой церкви». Иногда, подумаешь, ищут чудес: одни в спиритизме, другие в гипнотизме. Маленькие чудеса, мелкие какие-то. Историки в том отношении счастливы, что имеют постоянно обращение с полным и великолепным чудом, гораздо удивительнейшим, чем всякое «верчение столов» или «переписка духов», но уже чудом божественным, неизъяснимой прелести и красоты, небесным, хотя оно и происходит на земле и, как и подобает божественному, чудом разумным (рациональным), хотя в некоторых частицах страшным.

В истории Рима, между прочим, замечательна одна особенность: точно он вечно «пяtilся вперед», шел с глазами, назад обращенными (знаменитый римский «консерватизм»), и тупою, не видящею спиною вперед. Момзен сам отмечает, что после войны с Антиохом III римляне все еще не догадывались, что они выброшены на всемирную сцену; все еще они действовали, мыслили, как латинцы; более всего пугались выхода из Италии, почти старались отвязаться от падавших одно за другим царств к их подножию. Не было в истории народа, с таким полным отсутствием всемирной мечты, таким полным равнодушием к всемирному владычеству, как римляне. В Сицилию, в Африку они перетащились точно рак, зацепившийся клешнею за чужой палец, – и вот его перебросило Бог весть куда. Римляне точно не понимали, что с ними делается, и вечно пяtilся и пяtilся спиною... вперед. Властолюбие... да у всякого польского короля было его более, чем у Сципионов и Эмилиев. «Всемирное чувство» появляется только при императорах и то не первых, едва ли ближе Антонинов; Август называл себя «*pater patriae*», честнейшим образом исполнял магистратские свои обязанности (чиновнические, не царские). Все их Сципионы и Эмилии только и думали, как бы вернуться на родину, не показываться вон из Италии. Не было еще народа так мало странствующего, бродячего, мечтательного, «ищущего приключений».

Поразительно, что Италию они не завоевывали, а только скрепляли городок за городком и область за областью с собою договорами; и вообще

договор всегда шел у них впереди меча, т. е. завоевание в известном нам смысле, что вот «подняли флаг над чужой землей», им было почти психологически незнакомо, вовсе чуждо. Римская история есть, кажется, единственная, в которой совершенно отсутствует момент «нашествия», «набега». Они вечно ползли. История римских завоеваний это почти история инженерного, саперного искусства; и только труд саперов охранялся войсками. Даже когда мир был уже покорен, его местечки, страны, народы потеряли почти только право самостоятельной инициативы войны, но сохраняли полную автономию, «самость» местной жизни. Между прочим, это видно из нумизматики: какие-нибудь полуобразованные страны, вроде Босфора Киммерийского, все еще чеканят свою монету у двух портретах: на одной стороне варвар Рископорид, от I до VI, на другой римский кесарь, I–II–III века по Р. Х. Кипр чеканит свою монету с изображением храма Афродиты Пафосской на обороте и портретом Веспасиана на лицевой стороне. Антиохия и Берит чеканят монету с сирийско-финикийскими бетилами (конусообразный камень в алтаре или под балдахином – предмет поклонения) и с портретом Траяна; Александрия сохраняет свою монетную систему до Константина Великого. Таким образом, и тени идеи нивелировки не было. Рим менее нивелировал собою Сирию, Египет, Грецию, Малую Азию, Понт, как, впрочем, и италийские области, нежели Рим Виктора Эммануила, например, Кампанию или Сицилию. Язык, вера, нравы, управление, распределение налогов и полное местное «я» были сохранены за каждым местечком, и не по страху встретить сопротивление при нивелировке, а по отсутствию самой идеи – «подавить и выровнять». Таким образом, обычное представление, что вот «железный Рим простер длань над миром» до чудовищности, до противоположности не верно. Нерон оттого и сердился, когда ему шикали (в театре), что ему все-таки шикали, чего не позволяют у нас даже в казенных театрах, и расправлялся он с «недругами» все же не как самодержец, а как частный человек, сужающаяся, обвиняя, оклеветывая, т. е. как частный человек обвиняет частного человека, но только с перевесом злости и влияния, с толпой и толпами льстецов, рабов, прислужников. Но это уже нравы, а не государственный строй; анекдотическая история двора, а не серьезная история правительства. Все еще стояла республиканская волчица на Капитолии; выбивалось «s. c.» (*senatus consultu* – «по повелению сената») на монете. А если сенаторы бездействовали, были вялы, ничтожны, то ведь мир был покорен, не было цели, полета в истории; история почти стала полицейской хроникой без политического в себе движения. Задача Рима умерла. И умерли римляне. Зачем Геркулес, когда нет «подвига Геркулеса»? «Я думаю, как увеличить мускулы блохи, чтобы она могла вернее избегать врагов», – говорит природа у Тургенева; но когда врагов нет, природа делает ноги самые коротенькие. Меч римский притупился, храбрость исчезла, когда в них исчез всякий смысл, когда история пошла к совершенно другим новым целям.

Почти одновременно со смертью Моммзена Франция поставила памятник Ренану. Он также посвятил свою жизнь истории, но ее другой, восточной части, именно той, которая расштатала и в конце концов опрокинула Рим. Он так же имел отношение к Германии, как Моммзен к Франции, но как оно противоположно к требованию «бомбардировать Париж»! Ренан всегда восхищался умственной культурой немцев, их идеалистической философией, их успехами во всех областях науки и не переставал указывать соотечественникам на эту культуру, как достойную изучения и усвоения. Если считать исходным пунктом и центром его ученой деятельности научную экспедицию в Финикию, то Ренана можно назвать таким же историком семитических племен, как Моммзена италийских. Филология для обоих была основой, но у Моммзена она осложнилась глубоким изучением права, а у Ренана столь же глубоким вниканием в сущность религии. Характер обоих ученых, первых светил науки за весь XIX век, выразился столько же в выборе любимых наук, сколько и питался потом постоянно сферой созерцания и изучения. Насколько Моммзен сух, груб, а во вкусах и топорен, при всей несравненной своей учености, настолько же Ренан нежен, глубок, разнообразен: волнует читателя самым разнообразным и всегда тонким волнением. Моммзен есть только специалист римской истории; Ренан был выразителем просвещения Франции, и вообще европейского просвещения XIX века*. Как знаток семитических языков и археологии Ханаана, вообще, как ученый специалист, он не уступает нисколько Моммзену; он также в этой области не знал поправляющих себя, а только поправлял других. Но постоянное вращение в памятниках религиозной культуры как истончило и ублаговонило его душу! Говоря языком древних, природу души его можно назвать «влажной», а Моммзена – «сухой». Ум Ренана, позволим сказать, гений Ренана, точно вечно испаряется: он насыщает окружающую атмосферу гораздо далее границ точного своего местоположения. Эта-то душистость и соделала его «представителем просвещения», чем не был и не мог стать Моммзен, только просвещенный сам, ограниченно и деловито, без игры лучей, значительной для всей эпохи. И Ренан так же любил Францию, как Моммзен свою Пруссию, но насколько более одухотворена была его любовь, лишенная вовсе горделивых или хвастливых выходов, любовь скорее грустная и провидевшая (до 70-го года и после него) большие беды для отечества, действительно потом наступившие. Его политические статьи, разные философские и публицистические очерки никогда не имеют вида программы, не суть писания члена партии, а голос просвещенного человека к просвещенному обществу. Темы, которых касался Ренан, иногда кратко, но никогда не скользя по поверхности, превосходят чрезмерно и обилием, и глубиной, и всечеловечностью темы,

* Говоря о Ренане, мы почти выпускаем из соображений его «Жизнь Иисуса», книгу, на всяческие взгляды, стоящую гораздо ниже своей темы и заголовка.

занимавшие Моммзена. Невольно приходят на ум киммерийские монеты и хочется назвать Моммзена «Рископоридом», а Ренана хочется сравнить с Траяном или Адрианом на той же монете. Фаза ли исторического роста нации здесь сказалась, или разница кельтического и германского духа, или, наконец, зрелище успехов в одной стране и неуспехов в другой, но Моммзен, именно как Рископорид, поражает варварством и неотесанностью около Ренана – человека, которому ничего не недостает, чтобы Франция сказала о нем: «Вот для чего я потела, трудилась и страдала ряд веков: чтобы выработать душу, так созерцающую, волнующуюся и творящую». В самом деле, за исключением Пастера, едва ли можно назвать другое имя, в котором силы, здоровье и высота галльской крови сказались бы так полно и удачно, как в Ренане, так закруглено и универсально.

Старая страна! старая страна! – тут сказались ее преимущества. Если не объединять (как и нельзя) «пруссский дух» с «германским духом», то эти македоняне христианского мира имеют чуть ли всего не три века «истории своего духа». Это так коротко, что можно остаться Рископоридом. Напротив, Франция, несмотря почти на непрерывные вековые неудачи, временами переходившие в унижение, все же есть страна, отечество и государство еще Меровингов, с непрерывной и единой линией духовного развития, законов и правления от Хлодвига до Гамбеты. Это такое протяжение, такой ряд потрясений, переворотов, комедии и трагедии, что зритель уже невольно воспитывается на нем.

Есть преимущества в старости, между прочим, образовательные. Все молодежливое может быть прелестным, но оно непременно остается грубоватым, уже по неопытности сердца; а опыты сердца кого не умудрят, не смягчат и не разовьют. Замечательно, что великие германские идеалисты, как Шиллер, в самом идеализме своем имели жестковатость, точно весенний поток, который хочет что-то сломать. Идеализм Ренана имеет старые краски. Он уже бессилен, не предпринимает нового; он только постигает или предупреждает, но в этом покое и благоразумии старости есть какая-то скрытая своеобразная красавица.

Так иногда оранжевые листья, густо усеявшие аллею в конце сентября, нравятся более, чем коротенькая и колючая мурава в апреле...

О БЕЗБРАЧИИ ГОРОДСКИХ УЧИТЕЛЬНИЦ

Обновление состава гласных петербургской думы без сомнения будет иметь своим последствием поднятие многих новых вопросов и перерешение старых. Попытки к тому и к другому уже сейчас обозначились. Ввиду ожидаемого притока новых сил в думу и прежние гласные, которые ранее не пытались добиться пересмотра тех или иных уже сделанных постановлений, теперь зовут городское управление к такому пересмотру. Перед нами лежит текст заявления, недавно внесенного в думу, которое предлагает отменить

тягостное для находящихся на службе у города учительниц постановление об обязательном их безбрачии. Постановление это было сделано всего в 1896 г., до какого-то года ни дума, ни родители учеников не видели никакого вреда для детей и педагогических их успехов от семейного состояния их учительниц. Замечательны подробности постановления: все учительницы, поступившие до 1886 г., не только не подверглись за брак увольнению со службы, но если они девицы до сих пор, то они и теперь сохраняют право выйти замуж, не теряя должности учительницы. Напротив, поступившие после 1896 г. увольняются, выходя замуж, немедленно. Подробности эти мы узнаем из внесенного ныне в думу предложения гласного Архангельского. Эти подробности заставляют нас только развести руками. Ведь обязанность покинуть службу совершенно так же тяжела учительнице, поступившей после 1896 г., как и поступившей до 1896 года. Если дума не жалеет первую и отказывает ей от службы, зачем она жалеет и не отказывает второй? А если жалко второй, почему не жалко первой? Если годны к педагогике 35-летние замужние учительницы, почему не годны 25-летние. Если они не годны, то в равной мере не годны и первые. С этими любопытными подробностями, постановление думы так абсурдно, что вызывает только смех, и в скорой отмене его не может быть сомнения. Насколько семейный человек, в частности, семейная женщина, вообще солиднее холостого, имеет высшее понятие о серьезности, о долге, об исполнительности, о повиновении родителям, о надлежащем отношении к братьям и сестрам, о любви к родине, — настолько вопрос о семейных учительницах есть собственно вопрос о солидных учительницах. Нам думается, город пошел по пути прямо противоположному тому, по какому следовало идти. В семейной учительнице не только будет лучшее чувство к детям ученикам, больше к ним жалости и понимания их внутренней природы, но в них будет и высшее понимание задач учения и воспитания. Серьезнейшие человеческие понятия: «родина», «религия», «связь поколений», «традиция», «старшие и младшие в семье и в обществе» — все это главным образом есть продукт семейного, родового, родственного сложения общества, — и одинокий человек, за редкими исключениями, остается всегда или чаще всего к ним глух.

Солидность человека начинается со вступления его в семейное положение: это так всемирно, что ни у кого об этом нет сомнения. Каким же абсурдом в отношении этого всемирного опыта является мнение одной только петербургской думы, предположившей, что именно семья-то, не клуб, не танцы, не театр, не чтение или пение, но именно только семья, замужество, свои дети несовместимы с педагогикой. Но ведь педагогика — это не только техника звукового метода. Это прежде всего дух, порядок, система.

Едва ли странное постановление петербургской думы не сделано под впечатлением католических монахинь, ревностно занимающихся обучением детей. Но там это — отдел «De propaganda fide» (конгрегация), там монахини-учительницы *ревностны на почве страстной борьбы со светской культурой*. У нас учительницы — сами представительницы светской куль-

туры. Оне ни с кем не борются, и главный мотив страстной преданности обучению у них отсутствует. У нас, наоборот, именно семейная учительница, которая через детей своих как бы живет в будущих поколениях, и обещает в занятиях с детьми сделаться ревностною проводницею культурных начал, притом самых солидных и нравственных. Что по особенным свойствам местной истории сделало монахиню лучшую учительницею во Франции или Италии (допустим), которая вводит мальчика в дух старины, истории, патриотизма, рыцарства, то самое делает в России подобную «монашествовавшую» учительницу совершенно негодною, без культуры, без интереса к родному прошлому.

Что касается свободы каждой, оставив учительство, выйти замуж, то ведь надо принять во внимание ступень социальной лестницы, на которой стоят учительницы, и постоянное общество, где оне вращаются. Это общество мужчин тружеников же, учителей и небольших чиновников. Два жалованья, сложенные вместе, например 50 + 50 руб., дадут возможность безбедно существовать семье; напротив, жалованье только одной стороны не дает сил к существованию вдвоем и потом еще с детьми: брак становится невозможным по бедности, тогда как, осуществившись, он никаким бременем не упадет на городской бюджет. Таким образом, в этом постановлении мы имеем что-то грубое, не педагогичное, не народно-русское и прямо бестолковое. Нужно пожелать, чтобы, если предложение гласного г. Архангельского, и не пройдет теперь большинством голосов в думе, то чтобы он или кто-нибудь другой позднее поднял этот же вопрос и добился, наконец, справедливого решения.

ЗЕМСТВО И НАРОДНЫЕ УЧИТЕЛЯ

Кому верят, тот должен оправдывать доверие. Земство выходит из того частью подозрительного, частью презрительного к нему отношения, которое держалось предпоследнее время. Но эта реабилитация должна заключаться не в том, что его хвалят, а в том, чтобы самому стать похвальным. Только тогда его положение станет независимо от всяческих «течений», ибо невозможно себе представить, чтобы кто-нибудь покусился на значение и целость вещи, явно очевидно и непрерываемо полезной.

Вот отчего производит такое удручающее вторичное известие, на небольшом промежутке времени, «о бегстве народных учителей», – на этот раз из земских школ Суздальского уезда. На двух заслугах, в отношении народного здоровья и в отношении народного просвещения, держится признание авторитета земства. Оно заботливо лечило и заботливо обучало грамоте деревню. С двумя фигурами: земского врача и земского учителя или учительницы, неотделимо связана и, так сказать, этическая фигура земства. Больно поэтому отозвался всякий разлад между докторами и земством. Но доктора *in corpore* могут говорить с земством как равный с равным: образование и возможность приложить труд свой

не ставит доктора в молчаливо-покорное положение к представителям земства. «Хочу – служу, не хочу – не служу; хочу у тебя служу, но могу и у всякого другого».

Совершенно иное отношение к земству народного учителя и учительницы. Здесь разговоры даже и не кратки: их вовсе нет. Учителя и учительницы, по небольшому их образованию, мизерному общественному положению, по их общей многочисленности и по личной каждого малости, суть мелкий служилый люд, подчиняющийся всяким условиям существования, в какое их поставят. И между тем в полной своей совокупности учителя и учительницы уезда образуют духовную его физиономию, как территории, как страны. Косвенное их значение, отражающееся на последующем труде крестьян, на последующей жизни каждого бывшего ученика, огромно. Оно незаменимо, если хорошо; и неисцелимо, если плохо. Духовная и нравственная сторона в учителе и учительнице значительнее, чем во всяком другом виде службы, чиновнической, конторской, или чем в службе земца-распорядителя. Учитель, учительница не должны быть раздражены, измучены, унижены; и это не только по человеколюбию, но и для выгоды самих крестьян и детей крестьянских.

Жалование в 20 р. в месяц, с прибавкою чрез десять лет службы пяти рублей и еще чрез пять лет пяти рублей, на чем и кладется предел улучшения их положения, – эти условия службы в Суздальском уезде, вызвавшие «бегство учителей», дают возможность квартировать только «с холодком» и есть «с голодом». Это приходится 66 коп. в сутки, т. е. не меньше чем выстирает поденщица-прачка в городе и гораздо, несравненно меньше, чем выработает на сталелитейном заводе всякий рабочий, бьющий молотом по металлу. Мысль о горечи своего положения не может, при этих сравнениях, не растревлять сознания учителя. Из Суздальского уезда учителя и перекочевали в другие уезды, не покидая учительской деятельности, очевидно, успев привязаться к ней, но не в силах будучи выносить долее еду впроголодь и житье впроголодь, но это такая печальная картина, которая окутывает местное земство в самый печальный флер. И здесь о дружной, единой работе земца, врача и учителя около темной деревни не может быть и речи.

Конечно, уездное земство может сказать: «У нас нет на лучшую оплату труда средств». Однако соседние земства, куда в лучшие условия ушли 60 учителей, имеют же эти средства? За отказом: «нет более средств» часто скрывается более равнодушное: «обойдутся и на эти средства; ведь больше некуда деваться». Но главное возражение лежит не в этом, а в том, что кто не имеет средств на училище, и не открывает училища; а все те же училища, какие есть, должны быть поставлены надлежащим образом. Ведь суздальское земство не распорядится же, ссылаясь на малые свои средства, отпускать из земских аптек вместо хины хину с мелом. Почему только несчастное учебное дело таково, что, в противоположность медицинскому, судебному, полицейскому, железнодорожному, его одно можно стричь и обстригать со всех сторон сколько и как угодно. И обстригать именно все-

гда на счет труженика-учителя. «Ен стерпит», – как говорят кулаки на деревне, нанимая крестьянина; но дух и приемы кулачества весьма неприглядны в земстве, которое изначала получило известную идеальную окраску как в себе самом, так и во взглядах на него страны и общества.

МОСКОВСКИЕ ИДЕАЛИСТЫ

Проблемы идеализма. Сборник статей С. Н. Булгакова, кн. Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Аскольдова, кн. С. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, Д. Е. Жуковского. – Под редакцией П. И. Новгородцева. – Издание Московского психологического общества. – Москва, 1903 г.

В противоположность так называемой «точной науке», в которой опыты и наблюдения, сделанные, положим, в Калифорнии или Японии, без всякого «сопротивления среды и пространства» передаются в Петербург и Москву и здесь вызывают ряд последующих опытов и наблюдений, проверяющих или развивающих далее японские или американские опыты, – так называемая «философия» всегда теснее связывалась с каким-нибудь пунктом страны, городом. Была «афинская философия» (Сократ, Платон, Аристотель); была, в Греции, колониальная «элейская», названная по имени итальянского городка Элеи (вершина ее – Парменид); в новой Европе приобрела знаменитость «шотландская философия». Но не только нелепо говорить, но и совершенно невозможно себе представить «афинскую физику», «элейскую геометрию» или «шотландскую астрономию». «Точная наука», таким образом, или вовсе не связана или связана чрезвычайно слабо с «пространством и временем», нося черты международности или универсализма. Напротив, философия, по-видимому, имеющая гораздо более универсальные притязания, если и не вполне зависима, то очень тесно связана с данной народностью, страной, часто даже просто с городом. Это должно вызывать в нас недоумение: самое «небесное» – так коренится в «земле!» и самое, казалось бы, «земное, грубое» (точная, материальная наука) является почти не связанною земными условиями. Между тем дело объясняется проще и не так унижительно для философии: последняя имеет «душу» в себе; почти хочется сказать интимно, простонародно: «душку». Напротив, универсальность «точных наук» проистекает из гораздо меньшего их одушевления, из их сравнительной стихийности, почти минеральности. Минерал «родины» не знает, тогда как географическая часть ботаники и зоологии учит нас, что, за немногими исключениями всемирно распространенных растений и животных, всякий почти цветочек, каждое животное имеет «родину», «отечество».

Есть «альпийские растения». И несмотря на молодость своего распространения, им нет причины склонить цветущую головку перед полевым шпатом или горным хрусталем, который ровно таков же в Исландии, Австралии, как и у нас на Урале.

Философия всегда была чрезвычайно местна: и это оттого, что важнейший для нее импульс всегда давался беседою, частным разговором. «Беседа двух физиков»... конечно, может представлять большой интерес, но трудно представить такую беседу, открывающую собеседнику совсем новую сторону знакомой обоим им науки; или которая стала бы источником поворота мысли! Напротив, «беседа двух философов» есть не только высоко интересное явление: но частые беседы двух-трех-четырех философов в Афинах, Элее или Эдинбурге именно и полагали начало целой «школе мысли», получавшей иногда всемирно-историческое значение. Мы сказали, что в философии чрезвычайно много «души». Иногда это последнее слово («душа»), так измучившее своею неразгаданностью философов, хочется перевести как можно грубее, совершенно материально. «Душа» есть «дух» в смысле «запаха» или «ароматичности». Не торопитесь смеяться над этим кухонным определением. Цветок наполняет своим запахом, специальным и ни с чем не смешиваемым, целую комнату: совершенно как и «душа», это запах «не имеет измерения, длины и толщины, не имеет осязаемости, невидим». Слишком много сближений, чтобы не задуматься, не есть ли в самом деле «дух» человека что-то близкое и смежное, хоть отдаленно подобное этому «духу», «воздуху», идущему от цветов. И как от маленького цветка запах наполняет комнату, так и «дух» человека, в конце концов удивительнейшего создания природы, необъятно высшего, чем фиалка, доходит до звезд, объемлет собою вселенную: это – его мысль, любопытство, поэзия, молитва.

Во всяком случае, как нельзя смешать запах фиалки и розы, и «дух» или «душа» у каждого человека глубоко своя. Я сейчас и подойду к «местным зарождениям философии». Где-нибудь в Элее, в Афинах, в Эдинбурге, наконец в Москве появляются один-два человека глубоко родственного, взаимно «симпатичного» сложения души; рождается, говоря языком ботаников, маленькое «семейство растений», весьма отличающихся от окружающих, а друг к другу близких. Такие люди-растения, люди-цветы («с полуслова» понимают друг друга, тогда как вчуже, вдалеке их мысль и душевное настроение кажутся нередко странными и трудно усвояемыми. Замечено, что философия очень трудно передается из страны в страну: да еще и вопрос, передается ли она когда-нибудь настоящим образом, не теряет ли она при такой передаче и усвоении лучших, хотя и неуловимых (для «чужестранца»), так сказать, лепестков своих, своих специфичностей. Подлинные, индусские буддисты, верно, многого бы не одобрили и многого даже не поняли в передаче из настроений Шопенгауэром. Перехожу к «зарождениям» философии. «Точная наука», которая почти не имеет «души» в себе, стихийна и минеральна, она не находит никакой для себя пищи в индиви-

дуальных особенностях физика или астронома. Кто открыл новый спутник планеты, или кто вычислил орбиту такой-то кометы? Право – это неинтересно. Вычислила орбиту математика, а спутника открыл глаз. Здесь есть логика и внимание, есть универсальные, стихийные качества человека, которые действуют как машина и растут как пирамида складываемых кубиков. Но возьмите «портрет» (в литературном смысле) Вл. С. Соловьёва: здесь «душа» творца до того неразделима с «сотворяемым», что чем больше воспоминаний и мемуаров нам оставлено о философе, тем становится понятнее и его философия. Теперь, введите «знаменитого физика» и «знаменитого философа» в какой-нибудь город, положим в Москву. Физик ни сам не «заразится» ничем от города, ни собою города не «заразит». Что, например, Столетову (знаменитый, недавно умерший, физик тамошнего университета) скажет Кремль, Обжорный ряд, памятник Минину и Пожарскому? Ничего. Тут взаимная глухота. Физик оттого и универсален, что он абсолютно неместен, апатичен местности. Но философ, но Вл. Соловьёв? Неуловимыми волнениями души, чертами образа своего, нервной, сомневающейся речью он пойдет на Моросейку, Остоженку, Зубовский бульвар. Он будет жить не только положительными своими взглядами, напр., тем, что «дал философии», «приобрел для философии». Он, пожалуй, чуть не сильнее будет жить именно тем, о чем скорбно вынужден сказать: «Не знаю», «Недоумеваю», «Говорю, но плохо верю». Может быть, именно эта-то колеблющаяся часть его «философских приобретений», которая в точной науке была бы просто «нуль», «напрасно потраченное время», «начатая и испорченная работа», – именно это-то, может быть, и заразит самым могущественным заражением окружающие головы и станет могучим «бродилком», могучею закваской «школы Соловьёва». Но, очевидно, это до того не отделимо от личности Соловьёва, от веденных им и нигде не записанных «бесед с глазу на глаз», что возникновение, напр., «школы Соловьёва», как местной «московской школы», было бы возможно и вероятно. Впрочем, я беру его личность, как пример, как разъяснение всемирно-знаменитых явлений («элейская школа», «шотландская школа»), не предполагая вовсе на этот раз говорить о нем.

Обширная книга, лежащая перед нами, во всяком случае свидетельствует о наличии целой школы московских идеалистов, как группы людей, связанных значительным родством мысли, единством или близостью тем, и, так сказать, психологией одного или приблизительно одного возраста и условий философского воспитания. Группируется она около Московского психологического общества, основанного покойным профессором тамошнего университета, М. М. Троицким (лет 20 назад), но особенно оживленного во время долгого «председательства» тоже теперь покойного Н. Я. Грота (оба – профессора философии Московск. университета). М. М. Троицкий был изумительно блестящий лектор, чтения которого собирали всегда множество слушателей; но как у Майн-Рида был «всадник без головы», так и М. М. Троицкий, между прочим, и мой дорогой наставник, всю

жизнь, весь упорный свой характер и значительную эрудицию положил на то, чтобы показать своим довольно несчастным (в философском отношении) слушателям философию тоже «без головы», состоящую лишь из одного туловища, рук и ног, которую неизвестно зачем таскает по полям всемирной истории глупая лошадь, т. е. люди, занимающиеся философией. Человек духовного образования, шестидесятых годов, он признавал в философии только опытную английскую психологию, и не только отрицал, но нравственно порицал (как «шарлатанство») и жестоко высмеивал как философию немецкого идеализма, так и школу французских мыслителей после Декарта. Но не в этом важность, а в том, что за какое дело ни возьмется М. М. Троицкий, дело это ляжет таким камнем, что его и своротить нельзя. Объяснялось это высокомерным, гордым его характером; тем, что он не умел спорить, взаимодействовать, а умел только презирать и подавлять; и при его изящной речи и огромном самообладании последнее удавалось. Основатель и первый (очень недолгое время) «председатель» общества, он мог его переносить почти только, как покорных слушателей его, в сущности, нелепой «системы»; ибо «безголова» была, конечно, не философия, в таком виде разрисовываемая им, а уже гораздо вероятнее его собственные «философские воззрения». Между прочим, он был чрезвычайно преисполнен «академизма», и философия для него заключалась в писании томов и томов какой-то «опытной психологии», с полным устранением всего житейского, жизненного. Когда вскоре после него сделался председателем общества Н. Я. Грот, молодой, только что переведенный в Москву, профессор, то он сделал ему сцену (и, кажется, вышел из состава членов общества) за то, что тот предложил избрать в почетные члены «Психологического общества» гр. Л. Н. Толстого. Я лично помню, как с удивленными глазами молодой, приезжий ученый жаловался, что Троицкий упрекал его громко и открыто в «искании популярности» (себе и «обществу») выбором Толстого, который «какие же сочинения по психологии написал». До чего все это неуклюже и нелепо, не надо объяснять читателю: ибо ведь именно по «опытной»-то «психологии» (конек Троицкого) творец «Войны и мира» и «Карениной» есть (и был в 1881 г.) первый всемирный авторитет. Но Троицкий требовал благоговения перед собою, согласия с собою, а сам был «без головы». В Н. Я. Гроте явился человек, точно нарочно созданный для настоящей постановки «Психологического общества». Позволю себе быть откровенным. Хотя сам он написал очень много книг, и вообще непрерывно писал, но совершенно невозможно было понять, чего он держится и какую исповедует философию; первый его труд: «К вопросу о *реформе* логики», изданный в Лейпциге (сам он в ту пору был профессором в Нежине), самым заглавием своим, как и странным местом издания, вызывает неудержимую улыбку. А если принять во внимание предисловие его к этой большой книге, где он откровенно сознается, что спешит ее напечатанием, ибо во время ее писания несколько раз менялись его взгляды на материал книги, и если еще он замедлит, то они и еще раз изменятся, и т. д. до бесконеч-

ности, так что и напечатать ее не придется: если, говорю я, принять это во внимание, то улыбка перейдет в самый искренний и чистосердечный смех. Я помню время его вступления в Москву, и шум неодобрения, так сказать, несшийся до его приезда. Но он приехал и все рассеялось. Достаточно было видеть и немного поговорить с ним, чтобы заметить, сколько было, так сказать, «философического» в этой-то именно его не философичности. Царила (в университете) «опытная психология» Троицкого, неуклюжая, лежачая, гордая, самодовольная. Между тем в Москве, в поколении старших людей (профессоров и их друзей) было во множестве идеалистов, еще старого гегельянского закала, которые решительно негодовали на положение философии, созданное долгою и властительною профессурою Троицкого. Когда передвигался в Москву Грот, то всем это казалось... облаком без электричества. Все знали почтенного его отца, академика, знаменитого филолога и думали, что идет только «сын своего отца». Едва ли назначение его на кафедру не было административным распоряжением гр. И. Д. Делянова, к философии имевшего мало отношения, а с профессорскою коллегией не церемонившегося*. Но, повторяю, лично появившись, Н. Я. Грот быстро рассеял все о себе недоумения. За долгую свою жизнь я не помню лица (или немного помню таких же лиц) столь правдивого, мужественного в речи и взглядах, совершенно открытого, доверчивого и как-то предрасположенного уважать каждого, кто бы к нему за каким делом ни относился. Как будто он вырос в патриархальной чистой немецкой семье «без греха, проклятия и смерти» (символы грехопадения). Едва он появился, как было очевидно для каждого, до чего иметь с ним дело приятнее и полезнее (в смысле достижения результата), чем с кем-либо. Группа московских (старых) идеалистов сейчас соединилась вокруг него и поставила его председателем «Психологического общества». Отсюда началась, мне кажется, имеющая историческое значение, деятельность Н. Я. Грота. Он стал в буквальном смысле «душою», «душевностью» не только московских идеалистов, но без всякой вражды и соперничества потянулись сюда и петербуржцы, а наконец и все, преданные философии по всей России. Так как он сам необыкновенно любил писать, то малейшее движение «сочленов общества» в сторону литературного выражения повело к основанию журнала «Вопросы философии и психологии». Тут-то, при основании журнала, и выразилась, можно сказать, providенциальная философичность нефилософичности «председателя общества» и вместе редактора журнала. Шел или намечался перелом от позитивизма к идеализму. Сам Грот был и позитивист, и «идеалист в душе». Будь он одно или другое, будь им определенно и фанатично — он все бы задавил прежде всего как редактор. Настало бы нечто губительное,

* Пишу я по личным воспоминаниям, как кончавший студент-филолог Моск. университета; но позднее я много беседовал о Гроте как с Н. Н. Страховым, служившим в Ученом комитете м. н. пр., так и с профессорами и друзьями Грота. Во всяком случае, в тоне моих объяснений нет ошибки, хотя в деталях объяснения они могут встретиться.

как при Троицком. Но он назвал основанный журнал «Вопросы философии» (как насмешливо в рассказах подчеркивал Страхов). «Что я знаю (– убежден в чем)? Я ничего не знаю!», – мог он сказать с Сократом. В критическую, в ломающуюся, в сомневающуюся эпоху это и было (в редакторе и председателе единственного в России философского общества) золотым исповеданием. Но я не помню человека, в котором бы таковая формула исповедания сказывалась так непосредственно, с «небесной ясностью». Там, где исповедания нет, или мало, – есть его претензии, его скверный суррогат; есть фанатизм мнений (таковой и был, в сущности, у Троицкого, ибо его афилозофичность нельзя же назвать философиєю). Но Грот вечно самым трудолюбивым образом занимался «философическими вопросами», был очень учен; все в новые и новые фазы воззрений входил, как и при «реформе логики». И никому это не мешало, и ничего это не стесняло: ибо автор, редактор и председатель знал, что за одним воззрением может быть другое, а затем родится третье и т. д.; и что нельзя же из-за этого задерживать (как и он издание «Реформы логики») выход книжек журнала, а надо брать материал как он есть, лишь бы он был литературен, и если позитивен – то без грубостей и особенно без личных обид (что у «позитивистов» при полемике встречалось), а если идеалистичен – то это еще лучше, но лишь бы без язвительностей в сторону школы опыта и наблюдения, которая имеет свои заслуги, даже, пожалуй, основания, и, особенно, ряд добросовестных в своих рядах тружеников. За спиной Грота сейчас же встали, я думаю, глубочайше ему преданные люди (ибо невозможно было не сознавать огромной исторической значительности его фигуры) – г. Лопатин, кн. С. Трубецкой и Е. Трубецкой, люди уже крепкого взгляда, настоящей литературно-философской работы. Но из них всех покойный Вл. Соловьёв (в беседах со мною) особенно выделял покойного Преображенского, говоря, что хотя он почти не пишет, а занимает (ради средств к жизни) какое-то служебное место при московской думе, – но несравнен по огромной философской эрудиции и по настоящему призванию к философии. В «Вопросах» я помню только блестящую статью Преображенского о философии Нитше, – самую раннюю, кажется, в длинном ряду последующих, из которых русское общество ознакомилось с этим долго непризнаваемым на родине и у нас долго же неизвестным мыслителем. У Преображенского была музыка в душе, а не одна компиляция. Кстати, уж увлекся воспоминаниями: тот же Соловьёв особенно выделял кн. Е. Трубецкого, и на мои вопросы о кн. С. Трубецком, авторе прекрасных трудов по истории греческой метафизики все указывал на последнего и говорил о его большой работе о бл. Августине.

Сам Грот, давая ход позитивистам (как редактор, как председатель), лично больше имел влечения к идеалистам. Вл. Соловьёв едва ли не был, хотя и издал (он только часто наезжал в Москву), могучим светилом, лучи коего поднимали из московской почвы много идеалистических «испарений». Во всяком случае Соловьёв вечно отвлекал к жизни и житейскому (к связанности с жизнью) представителей московской философской кафедры,

каковая по вечной тенденции всякой профессуры могла бы просто засохнуть в никем не читаемых диссертациях. Он сообщал поэзию в философию; он увлекал философию на темы религиозные, политико-общественные. Сам острый философский ум, он и в «диссертационные» беседы московских ученых вносил превосходный чекан, полемику, помощь, указания, ответы. И живостью, и силою он превосходил московских друзей, сам, впрочем, будучи москвичом по рождению и воспитателем. Нельзя найти следов «школы Соловьёва» в Петербурге, в смысле верных хранителей и развивателей его философии. Здесь о нем появлялись или только мемуары, или «благочестивые посмертные» изложения частей его мысли. Но в Москве заступ его копнул глуже. И не смешно говорить (если и не имеем для этого полного права) о школе «московских идеалистов», как «школе Соловьёва». Традиция здесь ясна: не только реакция вообще против русского позитивизма, но и против местного, чрезвычайно фанатичного и жесткого, и вместе очень влиятельного действия Троицкого (не забудем, что он был чтец лекций, исключительно талантливых по изложению). Реакция эта выразилась в дружном интересе к всегдашним темам германского идеализма, в друзьях-сверстниках Соловьёва; затем группа преданных «идеализму» молодых профессоров, товарищей Грота, дала во втором поколении ряд молодых ученых и писателей, теперь почти только выступающих, или недавно выступивших с пером. Позволю себе привести маленькую как бы рекомендацию, предпосланную «Проблемам идеализма». Она лучше всякого объяснения введет в историческое положение «московского идеализма», некоторые подробности о котором я сообщил выше. «От Московского психологического общества. Выпуская в свет настоящий сборник, московское психологическое общество с особенным удовольствием дает место в ряду своих изданий этому серьезному коллективному труду. Являясь выражением взглядов лишь одной группы его членов, принадлежащих к идеалистическому направлению, этот труд должен был, однако, встретить поддержку и со стороны всего Психологического общества, ввиду того выдающегося интереса, который он представляет. Следуя в своих изданиях принципу беспрепятственного отношения к различным философским течениям, общество выражает этим свою веру в неподлежащее сомнению торжество истины, которая в самой себе носит силу как своего утверждения, так и непреходящего значения и господства. Председатель Московского Психологического общества Л. Лопатин».

Тут, можно сказать, как живая перед нами вся гротовская эпоха московского идеализма. О чем говорится в предисловии – и разобрать «философически» нельзя. Просто: «Читайте, хорошая книга». Между тем «разобрать нельзя» у автора очень известных и определенно идеалистических книг. Но «традиция Грота», мягко руководительная и во все стороны эклектическая, так сказать, исторически-принудительно отразилась на тоне предисловия. О какой «истине» говорит центральное слово предисловия? Позитивисты ее могут зачислять в свое имущество, идеалисты – в свое. Ну, а как Л. Ло-

патин? А он говорит, что «истина в себе самой носит силу как своего утверждения, так и непреходящего значения и господства». Сказать такой «гост» еще можно во время «философического» обеда, с шампанским или фалернским в руке; а в предисловии к книге как будто этого маловато. Но уже Грот говорил: «Работайте, а не философствуйте»; и мы видим в полноте своей прекраснейший факт, настоящую книгу, «сработанную» Психологическим московским обществом, вся ответственность за содержание которой полно и свободно (это-то и главное!) возложена на авторов статей. «Книга хорошая, читайте и критикуйте сами», – как бы говорит тень Грота из могилы; тогда как покойный М. М. Троицкий, увидь он эту книгу, изданную им основанным «Обществом», – перевернулся бы в могиле. Но ведь по «английской опытной психологии» после смерти от нас «бысть один прах». Так что «идеалисты» настоящего сборника, порадовав Соловьёва и Грота, не огорчили и «горсть земли», коею стал красноречивый московский профессор.

Но какое я имел право сказать так определенно о туземной «московской группе» идеалистов? Объясняю опять все воспоминанием, так как уже стал на эту почву. Года два назад из Петербурга ехал в Москву тоже один «идеалист», с кучею статей, рукописей, тем и проектов, – и вошел в личное общение с тамошними учеными. «Пишите, страницы нашего журнала вам открыты», – предложили они ему, очень известному писателю. «Значит, заинтересовались вашими темами? признали их основательность?», – спрашиваю я. Ответ его поразил меня странностью: «Нет. По доверию к моему перу предложили мне писать. Но настроение души моей, но вопросы, меня мучающие, – их невозможно им объяснить. Они встречают полное недоумение или легкую улыбку. То, что вам понятно с полуслова, о чем мы никогда здесь и не сговариваемся, так все понятно само собою, т. е. в смысле темы и вопроса, – для них не представляет ни интереса, ни значения, ни любопытства. Студенты меня понимали, профессора – ни-ни!».

Значит, неуловимые излияния, оттенки душ, индивидуальный аромат, длинные ночные беседы, споры с глазу на глаз подготовили в Петербурге почву для одного идеализма, и в Москве – совершенно для другого. В книге «Проблемы идеализма», которая представляет реакцию от позитивизма к идеализму, нет не только многих, но ни одной ссылки на писателей, из которых каждый лет 30–40 литературной деятельности положил на защиту идеализма: на Страхова и Данилевского. Это – петербургские идеалисты, и их традиции как будто не существуют для Москвы. Через голову Петербурга, они берут подтверждения из Германии, Англии, умалчивая о соседнем почти городе. Самая книга имеет такой вид, как будто «идеализм» вот-вот только рождается на Руси. И между тем статьи принадлежат ни в каком случае не профанам по философии: из ссылок видно, что и древняя философия, и самые новые явления в философии им равно хорошо известны.

Этот «возрождающийся идеализм» представляет чрезвычайный умственный и общественный интерес, уже по энергии своего литературного выражения и по многочисленности голов, дружно двинувшихся в одном направле-

нии. Мы оставляем за собою право указать со временем авторам сборника некоторые пункты возражения: 1) а что же, так называемый «идеал», есть ли что-нибудь *анти*-«натуральное», так как авторы свой «идеализм» противопоставляют натурализму (в истории, в жизни, в природе); и 2) а так называемые «низшие нужды» человека в истории, например экономические, должны ли быть принесены в жертву или даже заменены «высшими интересами»? Авторы сразу увидят из двух этих указаний, что если путь их прекрасен, то и встречающиеся на нем тернии чрезвычайно колючи; и что «материализм» не торжествовал бы так долго, если бы в нем самом не содержалось некоторое идеальнейшее начало, совершенно не упразднимое.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

<О кн. Мещерском>

Розга не дает спать нашему гамену консерватизма, и он не только сам ее пропагандирует, но и «читает в сердцах» других журналистов о ней же. Если г. Меньшиков, по его уверению, и не говорит вслух о розге, то про себя думает о ней. Но почему кн. Мещерский воображает, что розга в положительном или отрицательном отношении так занимательна? О розге можно ничего не думать, ни одобрять, ни порицать ее – просто ничего. Если бы еще Мещерский учился в старой бурсе, можно бы объяснить упорство его темы не зажившими воспоминаниями; но он учился в одном из привилегированных дворянских заведений. А все его тянет, как выражался Тарас Бульба, «к тому месту, из которого у казака ноги растут». Как сомнамбула идет по карнизам домов к неизвестной, ей одной видимой цели, так 80-летний старец из Гродненского переуллка сколько ни путает языком, на кончике его всегда оказывается... розга.

Вчера он раздраженно брюзжал и на Русское собрание, и на Общество ревнителей исторического просвещения в память императора Александра III. «Собрались, *что-то* пропели, *что-то* прочитали, *что-то* прослушали, *что-то* снова пропели и разошлись». Конечно, им не ночевать было в зале. И как характерно это не то нигилистическое, не то чванливо-барское «что-то», сказанное в кучу о молебне, о воспоминаниях о покойном Императоре, об объяснениях его характера и его царствования. Помнится, именно в этом Обществе, на первом собрании его в новое царствование, К. П. Победоносцев сказал одну из самых замечательных своих речей, но для автора знаменитых «Дневников» и «Речей консерватора» это всего «что-то», из чего внук Карамзина не почел нужным запомнить слова. Это именно или величие идола, или шутовство гамена. Общество имеет свои большие заслуги по изданию и крупных и мелких дешевых книжек. Но ведь кн. Мещерский, кроме сплетен «намеднись в среду» и газетных столбцов, ничего не читает и уже 60 лет перестал учиться. Он «не без пра-

ва» консерватор. «Помолились, поговорили и разошлись», – уныло жалуется и почти клеветает он. Ну, а он чего же ждал? Может быть, ему хотелось, чтобы воспоминание об эпохе члены Исторического общества завершили поднесением торжественного ему, Мещерскому, адреса. Но ведь он только в собственных глазах представляется исторической фигурой. В глазах всей России и, вероятно, общества он только крикливый уличный гамен, который блузу газетного работника с необыкновенным искусством меняет на дворянский мундир. К сожалению, его служба в двух формах не одинаково приемлется; к сожалению для него, и не без пользы для общества.

СМЕРТЬ АНАТОЛИЯ БОРОЗДИНА

Леденящее душу несчастье произошло около пересечения Невской и Литейной конок: соскочил (на ходу?) с одного вагона, мальчик приготовительного класса Училища правоведения, Анатолий Бороздин, попал под следующий вагон, и погиб таким ужасным образом, перед которым пытки Грозного, Калигулы и Тиверия кажутся чем-то сравнительно мягким и человеколюбивым. Проклятый вагон, проклятый случай, – позволим сказать себе невольню, неудержимо. Проклятая чудовищная рама под вагоном (в каких целях она?), идущая почти на 1½ четверти над землею, забирающая поэтому жертву под себя, и в то же время, так как она не выше поставлена, то раздавливающая ему голову и груд неминуемо. Тут, конечно, и сонный усталый кондуктор, и бессилие ничтожных тормозов и более всего виновна неосторожность несчастного мальчика, верно думавшего перебежать рельсы перед следующим вагоном и попавшего под лошадей.

Очевидец, мне рассказывавший о несчастье (он сидел в этом самом вагоне, под который попал несчастный), говорит, что раздался такой нечеловеческий вопль, которого нельзя никогда забыть. Вся публика выбежала из вагона, образовалась моментально громадная толпа около вагона. Несчастный все вопил, пока публика выходила. Все лежал под вагоном. Вагон стали стаскивать с мальчика (каково!!!) и, наконец, только перепрокинув, освободили из-под рамы чудовищно изломанного. Он имел только силы прошептать адрес. Какой-то генерал взял его в пролетку и отвез несчастным родителям.

Несчастливым, трижды несчастнейшим самого мальчика! Для него все кончилось, но как им жить с таким воспоминанием!! В публикациях сегодня названы: «родители, сестра и бабушка скоропостижно скончавшегося». Товарищи по учению также приглашают всех разделить их скорбь.

Еще раз повторяю: хоть бы какой-нибудь инженер объяснил в печати, для чего эта чудовищная под вагоном железная рама? И неужели нет тормоза, останавливающего моментально такую, в сущности, легонькую вещь, как вагон конки?

Но, главное, во всем обществе должны быть распространены и стать привычными некоторые правила осторожности около рельсов. Например,

сходить вправо, если дальше лежит путь вправо, влево – если нужно идти влево. А то поминутно приходится наблюдать, как соскочивший, положим, с правой ступеньки старик или мальчик моментально перебегает перед мордой следующих лошадей рельсы и идут влево, и обратно. Да нужно позаботиться, чтобы не дозволялось публике праздно толочься на площадках; иногда вагон почти пустой, а площадка битком набита народом, продрасться нельзя. И вот от тесноты-то этой, от затруднительности продрасться в нужную левую сторону – скачут в правую и уже потом перебегают рельсы.

Ужасное несчастье! И укрепи Бог родителей, дай им сколько-нибудь сна в эти ужасные дни.

СОЮЗ ТРЕХ ДВОРЯН ПРОТИВ РОССИИ

Из 5–6 «Речей» и «Дневников» каждого номера своего журнала кн. Мещерский хоть одну непременно посвятит теме: «Почему меня не любят». И недоумевает, недоумевает по этому поводу. Вот уж сколько лет недоумевает. Между тем достаточно ему было бы дать кому-нибудь не из «друзей» прочесть последнюю «Речь консерватора», чтобы этот неличный его друг, а вообще третий человек, разъяснил основательно, «почему его не любят».

...«Разумеется, разные ультралибералы, земцы, Шиповы, Петрункевичи и комп., возбуждающие противоправительственную смуту и прикрывающие свою протекцию разных социалистов на земской службе, терпимы на земской службе не должны быть». И т. д.

Это – в «Речи консерватора», а в «Дневнике» к этим именам он прибавляет г. Стаховича и... г. Нарышкина, ныне сенатора, а недавно товарища министра земледелия и государственных имуществ.

Подумаешь, Петрункевич, Шипов и Стахович не скромные деятели, каждый в своем земстве, а какие-то три кита, на которых стояла Россия, а теперь дрожит, потому что киты эти начали поворачиваться. Кн. Мещерский решительно призывает Россию бороться с этими тремя господами и, судя по числу отводимых столбцов газеты и по частым возвращениям редактора все к «вопросу о Петрункевиче и Шипове» (а в прошлом году «к вопросу о Стаховиче»), это для него гораздо важнее залежей хлебов на железнодорожных станциях, упадка центра, неясности отношений к Японии и всяких других вопросов.

Маленькая Россия, великие Петрункевич и Шипов. И так много могут сделать два человека в России. А еще говорят, у нас нет великих людей, недостает инициативы и мало простора личности.

Г. Стахович чуть не погубил Россию в прошлом году. Ни гессенская муха, ни австралийский хлеб, ни падение на пшеницу цен не причинило столько вреда, как его доклад на миссионерском съезде в Орле, состоявший в предложении перестать преследовать сектантов.

А между тем Россия – это такая громада *действительности*, а «мнение» есть «мнение». Кн. Мещерский именно не видит и не знает внутрен-

ности России, а между тем считает себя призванным вершить или предрешать политику «внутренних дел». Вся его «политика» и сводится к забвению дела, к небрежению всего делового в России и к вечной погоне за «мнениями». И гоняется, гоняется, ловит воздух; и как только ноги и горло не устали у 80-летнего старца.

И не думайте, что это – обмолвка, что это случайно. Около темы, «почему я не нравлюсь», есть в каждом номере непременно один, а то и два дневника на тему: «Как они живы», «Почему они целы», «Почему же их не засадят», и с прописью *en toutes lettres** имен Стаховича, Петрункевича и Шипова. И это тянется месяцы, год.

А можете ли вы представить себе остальное содержание газеты? «Гражданин» читается немногими, а потому мы позволим себе дать минуту смеха губернским и уездным обывателям. В последнем номере, напр., помещены:

«Разбойничий набег». (Стр. 16).

«105-летний воин».

«Ретивый адвокат, или из молодых да ранний».

«Мать, загрызшая свою дочь».

«В древнегреческих нарядах».

«Дружба животных».

«Исследование фауны реки Оки».

«Меры против алкоголизма».

«Интересная находка». (Стр. 20 и след.).

В «голове» этого – «Речи консерватора», «в хвосте» – «Дневники» от среды до субботы.

Это слишком странно даже для 80-летнего; это мог бы издавать только «105-летний воин».

И вот отчего «вас – не любят», а «Петрункевич, Стахович, Шипов и Нарышкин» гуляют на воле, чему вы все удивляетесь и удивляетесь.

А знаете, как набирается, печатается и корректируется газета. Вот образец: «Так, вероятно, был скрыт и найденный боншстр раочими коелек» (стр. 21, перед самым «Дневником»).

ТЕНОР ЖУРНАЛИСТИКИ

Ох, искушение...

Печерский. «В лесах»

Кто не помнит чудесной панорамы старовойсковой жизни, набросанной талантливым Печерским в его 4-томном романе-хронике «В лесах»? Старицы, купцы, нарядные девушки – все сливается в живую, колоритную, оригинальную картину. Но Печерский имел тонкий глаз наблюдателя. Среди «черни-

* всех букв (*фр.*).

чек», вздохов, акафистов, непрерывного «умерщвления плоти», он вставил фигуру странствующего регента, отличавшегося удивительным тенором, и которого за его дар наперерыв звали к себе разбросанные «по лесам» обители «древнего благочестия». Известно, как Кречинский очаровал отца своей невесты разговором «о породистых телушках». – «Вот будет хозяин», – мечтал возможный тещ. Регент Печерского также очаровывал старые окладистые бороды («лопатай») своим «сладкопечеством». Но дар у него был двойной. Он не только имел сладкий голос, но и сладкие вкусы. Серенький, небольшой, мешочком, едва спускалась ночь, не севильская, а нижегородская, как «сладкопевец» спускался с палатей, осторожно одевал мягкую обувь и незаметно прокрадывался на свиданье «без последствий» к какой-нибудь черничке или созрелой деве, с которою неувлимым образом он завязывал отношения во время дневных, вечерних и ранних утренних служб. И вот, когда случалось, что идущая «дозором» настоятельница женской «обители» находила его «не за делом», пристыженный регент проговаривал характерную фразу:

– Ох, искушение!..

т. е., что это не он «волею своею» впал в грех и соблазн, но что нашло на него «искушение», перед которым бессильны человеческие добродетели. «И уж вы, отцы, простите»...

«Отцы», которые всякого другого не пощадили бы, только сетовали на регента, ругали его, но никак не могли его прибить, ибо от талантов его решительно зависела красота всего их, страстно любимого, богослужения.

Такое соединение сладкого песнотворчества с женолюбивыми вкусами, набросанные рукой Печерского, напоминает мне г. Меньшикова в его «Письмах к глуповатым людям», какие он еженовскресно помещает в главном органе петербургской ежедневной прессы.

– «Кофе и Меньшиков», – говорит каждое воскресенье утром горничная своей барыне и барину. Я думаю, «барин» не особенно бросается на срочное «Письмо», но барыни, эти всероссийские барыни, много чувствовавшие, разнообразно жившие, глубоко страдавшие, отодвигая кофе, берутся за тенора!

– «Сладко... Еще перечту»...

Я не вспомнил бы о нем, если бы сразу в двух журналах не пришлось этот месяц прочесть двух статей о нем, таких волнующих, что у меня попадали из рук вилка и нож, ибо полученные книжки я разрезал и проглядывал за завтраком. Особенно же г. Михайловский, почтенный «Николай Константинович Михайловский», делает истинную вивисекцию над петербургским «тенором». Я боюсь, что он повредил у него голосовые связки, и на некоторое время Меньшиков будет говорить тихо, как Вильгельм германский после операции. Я думаю также, что многим барыням в Петербурге и даже в окрестностях Петербурга после «проклятой статьи» не будет спать целый месяц.

ЖИВОЙ ГОЛОС

С волнением и мысленной благодарностью прочел я письмо К. Толстого: «Кто должен бороться с деревенскими невзгодами?». Давно пора это сказать! Мы все строим воздушные замки сложной конструкции, когда очень хорошо известно «строителям» их, что нет в населении средств на возведение даже и простой избы. В силу отвлеченности нашего школьного образования, да и отвлеченного характера послешкольного чтения книг, каждый интеллигент у нас являет собою теоретизирующего чиновника, пишущего проекты «спасения» России. Не могу забыть, как одному такому «спасателю», подавшему «записку» министру, последний ответил следующим образом: он молча подвел его к шкафу с кипами бумаг, шкафу – сверху донизу уложенному тетрабочками:

– Вот сколько, видите – это все такие же записки о «спасении» России, какую вы подаете.

«Спасатель» мой жаловался очень язвительно на министра; но, признаюсь, я был согласен с министром. Не спорю, что и «министерские проекты» спасания России (а ведь их тоже есть довольно) едва ли выше частных, и, может быть, их тоже следовало бы запереть на ключ, а ключ, пожалуй, бросить в Финский залив.

«От добра добра не ищут». Мы только обессилим себя, ища еще новых организаций самопомощи, кроме установленной, привычной, действующей – земской. Новое созданное будет слабо, бедно средствами, немело, неопытно, а в то же время мы кое-чего не додадим земству. Нет, не делиться теперь надо, а соединяться; не дробить силы, а концентрировать их.

Самый святой теперь человек на Руси – который живет в уезде. Да их и множество таких. Столица ныне мало притягивает: театр плох, журналистика вяла, балы так себе. И я еще не видал человека, который с тоской уезжал бы из Петербурга в провинцию. Едут весьма охотно. Теперь в провинции почти интереснее, чем в столице. Везде есть работа, сейчас необходимая, воочию полезная. А человеку наших дней работать хочется: это несомненно.

Провинция очень поумнела лет за 40, даже за 30–20 последних лет. Наконец она стала образованною, совершенно в уровень с Петербургом. Ни Островский, ни Щедрин теперь не нашли бы для себя сюжетов, т.е. не нашли бы массового, материкового сюжета: единицы для их кисти, разумеется, нашлись бы и никогда они не исчезнут, как и «Соловей-Разбойник» не исчез с земли Русской, хотя Брынских лесов давно нет. Я говорю, провинцию поднялась духовно, и почти вся доля благодарности за это должна быть воздана земству. Не прямым учением, но косвенно, своею работою, своим оттягиванием умных сил от столицы к провинции, и привлечением на «службу» этих умных сил – оно создало весь теперешний дух провинции, дух не низкий, не пошлый, не необразован-

ный. Не нужно «земство» ограничивать только «составом гласных» земских; земство есть форма, а внутри его – дух, и вот этим «земским духом» объемлется неизмеримо большее число людей, чем маленькие местные составы гласных.

И нет ныне местечка на Руси, как справедливо пишет г. К. Толстой, где не трудился бы в этом «земском духе» помещик, священник, врач, помещица. Крестьяне нигде не оставлены без призора... в смысле «*pra desideria*»*. Но *средств* нет! *Помочь* нечем! И экономический, денежный, хлебный, хозяйственный вопрос есть, конечно, теперь самый главный.

Чиновник и инженер все деньги съели. Еще с 70-х годов прошлого века говорили, что железнодорожное хозяйство должно расти лишь пропорционально земскому, сельскохозяйственному, почвенному. Но у нас, как на грех, во главе железных и золотых дел все становились мастера, а около хлебных и почвенных дел все стояли какие-то... робкие ученики, правда, «идеальные натуры», но больше говорившие, чем делавшие.

Железная и золотая Русь поднялась, ошетибилась, стала даже кичлива, не скромна; земледельческая, хлебная – завалилась. Поднялись дымовые трубы фабрик, а по земле стелется шопот: «Есть нечего! Ни хлеба, ни лошади, ни коровы!»

Ищут причин «упадка центра», «сельскохозяйственного кризиса» и др. Да есть причина одна и главная; она здесь, в Петербурге. Это непропорциональность правительственной деятельности. Правительство у нас, берущее из населения полтора миллиарда рублей, до такой степени мощественно в смысле воздействия, что против «непропорциональностей» в этом воздействии решительно не в силах бороться единственный ум, единичные силы, единичные хозяйства. Мне приходилось слышать с удивлением от самых упорядоченных помещиков: «Все разорены, все бежим в чиновники; наемные руки дороги, цены на хлеб низки, и работать на земле невозможно».

Кончу эту сторону темы и вернусь собственно к съедобной. Давно писалось по поводу русского экспорта масла и яиц: «Ах, если бы это съедал русский народ»; по поводу яиц даже частнее писали: «Ах, если бы яйчком, а не мякиным хлебом кормилось крестьянское дитя». Эти жалобы, год назад слышавшиеся, точка в точку совпадают с сейчас несущейся мольбою «Много мрет крестьянских детей».

Позволю себе связать с этим ту тему, которую я занимаюсь с некоторым пристрастием много лет. Когда лет тридцать назад моя покойная мать умирала, то болезнь тянулась года два. Только в конце ее, вся исхудавшая, она попросила у доброго священника, ее обычно на дому исповедывавшего и причащавшего, разрешения употреблять скоромное в пост, ну, т.е. употреблять именно молоко и яйца. Конечно, священник, не сказав ни слова, разрешил. Да всякий бы разрешил. А священник и вся совокупность священников разрешила бы, разрешил бы, я думаю, и Св. Синод.

* Благое пожелание (*лат.*).

Нельзя ли, ввиду жалостливой смерти детей, разрешить им до 8 лет быть «молоканами», т.е. попросту разрешить им, и только им одним, яйца и молоко, неупотребительность которых особенно в летний Петровский пост, когда и хлеб дома весь подобран, а нового еще не молотили, сказывается чрезвычайной трудностью для желудка. Помню слова одного врача, лет 15 назад услышанные: «Дивится Европа на необыкновенную выносливость русского солдата, и вообще, значит, народа русского, на его железные физические силы. Между тем объяснение этого – в пище деревенских детей: годовалые ребята сосут мякинный хлеб. Вымирает все, что просто здорово, и выносят это адское питание только дети исключительного феноменального здоровья. Тут – дарвиновский закон. Смерть недостаточно приспособленных к горьким условиям существования увеличивает жизнеспособность целого состава народа».

Это, конечно, так, и русский народ в целом цветет силами. Но очень уж жаль «недостаточно приспособленных». Заметим, что у человека, и только у него, с несильным здоровьем до странности часто совпадает даровитый, даже великий дух. Вообще законы животного мира несколько иначе действуют и даже вовсе перестают действовать на самой *границе* этого мира, где по одну сторону – животный мир, а по другую, свободную – еще неизвестно что стоит!

Молочишка детишкам и в пост я позволяю себе и потому еще попросить, что именно до 8 лет они перед причастием не исповедуются, т.е. за ними не признается личных грехов; значит, и в молоке для них греха не будет. Пост собственно выработан, как часть устава монастырской жизни, и распространился на город и семью потому, что в VI–XIII веках вся жизнь, вся цивилизация получила дух, а затем и устав для себя, монашеский. Это в последнее время было достаточно разъяснено в печати: часть целого вытеснила собою целое и стала сама целым, самодовлеющим. Мысль мою можно связать и с обществами трезвости, в которых нередко руководящую роль играют добрые священники; на тот же пост можно было бы вообще предложить перемену: отказавшись от водки – употреблять молоко; а не отказываясь от водки – огнюдь молока не употреблять. Самое развитие у нас алкоголизма нельзя не связывать со скверною народною пищею: известно, что горькие пьяницы очень мало едят, и к водке их тянет тем больше, чем они меньше и хуже едят. Значит, и обратно: дать им побольше и получше есть – может быть, поменьше будет тянуть к водке.

Русскому народу все должны нести свои дары, и дары своей специальности; медик несет лечение, учитель – азбуку; духовенство, мне думается, может тоже принести яичко и молоко. Христос за такую милость не разгневается. Христос был милостив и русским детям дал бы яичко, подпустил бы к коровке. Кстати, Рождество идет, и пусть бы стояло круглый год Рождество!

КТО БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
НАШЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Всякая вещь познается через рассматривание ее подробностей. До сих пор говорится и пишется: «Наш классицизм и гр. Д. А. Толстой и Катков», или еще: «Катков и Леонтьев и гр. Д. А. Толстой и русская классическая гимназия». Таким образом, существовавшее до последнего времени построение нашей классической системы с ее экстемпоралиями становится как бы под защиту не только даровитых, но признанно даровитых людей. И весьма многим кажется совершенно невероятным, чтобы люди такого полета ума, такой энергии характера, отчасти – таких русских чувств могли придумать и насадить только экстемпоралии. «Что-то не так», «чего-то мы не понимаем»; «может быть здесь клевета, а не полная действительность». Далее, когда читаешь подлинные статьи Каткова, посвященные классицизму и собранные и изданные покойным московским педагогом и ученым Л. Поливановым, действительно читаешь не аргументацию в пользу экстемпоралий; но ссылки на вековой опыт Европы, на примеры английских Оксфорда, Кембриджа и Итона слышишь имена Эразма и Рейхлина и указание на плеяду великих ораторов Англии и ученых Германии. Потом переводишь взгляд на русскую действительность и видишь: экстемпоралии. Закрывается подозрение, что тут есть действительно какое-то недомыслие, что-то непонятное, какая-то фальшь. Но очень трудно догадаться, что первым обманутым человеком здесь был Катков, пожалуй – Катков и Толстой; что они действительно искренно верили и были искренно доброжелательны, но один так увлечен был своим гордо-властительным характером, а другой – своим красноречием и ролью «Минина и Пожарского», что решительно не опустили взора долу, и не смотрели, что такое делается в русских губерниях, в русских губернских и уездных гимназиях и прогимназиях.

В самом деле, посчитаем на пальцах факты. Катков был редактор газеты, и из посмертных воспоминаний теперь определенно известна его одинаково нервная, бессонная жизнь, жизнь угрюмого человека в угрюмом далеком кабинете. Он не имел права войти на урок в гимназию и не входил. Да, Катков главный вдохновитель классической системы, даже не вошел ни разу во вдохновенную им классическую гимназию. Ибо лицей его в Москве есть заведение *suū generis*, с привилегиями, особенностями устава и всей организации дела, и, конечно, выговорив сам эти особенности, Катков знал, что лицей не то же, что гимназии, и следовательно, что гимназии вовсе не то, что его лицей. Вот гимназию-то он и не захотел никогда посмотреть, и нет в биографических о нем воспоминаниях указаний, чтобы он хотя расспрашивал о состоянии гимназий, не говоря о том, чтобы хоть раз надеть пальто, велеть подать себе коляску и сказать кучеру: «В шестую московскую гимназию». Это – а *posteriori*, когда выросли плоды его насаждений. Но и ранее, он, готовясь на кафедру философии, имел специальную для этого

заграничную командировку, о которой опять же нет никаких биографических записей, чтобы во время ее он сколько-нибудь интересовался состоянием, положим, германских гимназий, или вообще средних учебных заведений. Таким образом, и а priori он также в педагогическом деле ничего не знал. Сам он, судя по воспоминаниям Любимова, был профессором хотя очень даровитым, но ленивым, небрежным, целыми месяцами не являвшимся на лекции – и в это любопытное время перед редакторством он уныло и угрюмо сидел дома и ничего не делал. Все это черты чрезвычайно специального и узкого таланта, и, действительно, он сейчас же взлетел орлом, как только почувствовал в своих руках газету. Не оспариваем его талантов, но говорим, что это были таланты не педагогические. Катков был урожденный публицист и только публицист; в этой сфере, пожалуй, гениальный, но в связи с этим во всех остальных сферах совершенно немощный. Теперь обратимся к Толстому. Он провел реформу с железной твердостью; он не размышлял, не собирал комиссий: уставы, программы, объяснительные к ним записки, т. е. вся реформа, как-то в темноте, глухо и быстро были сделаны и затем были «приказаны» России. Но каково собственное «классицистство» Толстого? Это выяснилось с очевидностью из недавней полемики в «Нов. Вр.» по данному вопросу. Увы! уже министром он стал брать уроки греческого языка у известного профессора Казтана Коссовича и, может быть, прошел этимологию, но едва ли пошел дальше «Анабазиса» Ксенофонта, подвигаясь, правда, без подстрочников, но туго. В классицизме он сам был ученик, ничего не знавший, и уже поэтому, очевидно, не могший организовать и ввести у нас классическую систему. Классицизм был введен при нем, но не им. Он не был для классицизма тем же, чем, положим, Татаринов для контроля, Вышнеградский – для конверсий, Витте – для золотой валюты, т. е. не был творцом, создателем, организатором. «Толстой ввел классическую систему» – можно сказать лишь в том полуаллегорическом, полумечтательном смысле, как мы говорим: «Александр Благословенный победил Наполеона». Все было «при» Александре Благословенном и «по его мановению», так и Толстой – занимал министерское кресло и совершал мановения; но кто-то был истинным Кутузовым нашей классической гимназии, тому и должны быть приписаны лавры и шипы ее. Кто же это?

Напечатанные материалы позволяют назвать это имя. Это – Ал. Ив. Георгиевский, председатель ученого комитета министерства народного просвещения при министрах гр. Толстом, гр. Делянове и до недавнего времени. Окончивши курс в Московском университете, он был профессором всеобщей истории и статистики в одесском Ришельевском лицее и затем в 1871 году был командирован за границу для изучения систем классического и реального образования. Из печатных трудов его известны: «Галлы в эпоху К. Ю. Цезаря», «О реальном образовании в Пруссии, Саксонии, Австрии и Баварии», «О государственных экзаменах в Германии и Австрии». Да не подумает читатель, что в статье «О реальном образовании в Пруссии, Саксонии, Австрии и Баварии», напечатанной в «Журнале министерства народно-

го просвещения» за 1871 год, так сказать, начертывается план или проведено восхищение перед реальным образованием: эта статья проводит ту мысль и доказывает ее фактами, что «и в основу (мы цитируем) высшего технического образования должно быть положено полное образование классическое». Читатель, помнящий споры старых лет, знает, сколько усилий делали «Моск. Вед.», чтобы доказать, что и в реальных наших училищах должны бы быть введены древние языки, и только по неодолимой косности русского общества этого пока нельзя сделать. Кем и как писались эти статьи, нам не любопытно, но во всяком случае, как видно по хронологии статей, не Катков был вдохновителем г. Георгиевского, а г. Георгиевский был, так сказать, дельным указчиком около вдохновенного, всегда готового к словам, Каткова. Далее, в некрологе гр. Д. А. Толстого, написанном самим А. И. Георгиевским, сказано прямо и, может быть, не без мысли о потомстве, что хотя гр. Толстой имел среди попечителей учебных округов репутацию недоступности и они по целым неделям дожидались в Петербурге приемного дня, но со своей стороны он этого мнения о почившем министре не разделяет, так как видел его не только простым и доступным, но эта доступность доходила до того, что объяснительные записки, программы, части устава и т. п. законопроектные работы он позволял подавать себе не в виде рукописи, доклада – а прямо уже в корректурных гранках. Это осторожное слово прямо обнаруживает весь механизм работы, по которому граф не размышлял, не придумывал и вообще не сочинял: сочинителем был кто-то, вероятно, подававший программы «в гранках», – а граф – а la Александр Благословенный – только соизволял «печатать». Таким образом, он был король реформы, реформатор по титулу и креслу; а кто ее провез «через границу», и провез не мудрствуя лукаво, из «Пруссии, Саксонии, Австрии и Баварии» к нам, был составитель гранок – Ал. Ив. Георгиевский. И без печатных этих материалов всем пожившим людям хорошо и определенно известно, что в министерство гр. Д. А. Толстого в нашем среднем и даже высшем образовании нельзя было соломинки переложить с места на место без содействия, или – лучше сказать – иначе, как при содействии знаменитого бывшего председателя ученого комитета.

Он и есть до некоторой степени родитель классической гимназии и ее тридцатилетнего существования. Если всегда и все говорили о властительности Толстого, то о Георгиевском всегда говорили со стороны непоколебимости каких бы то ни было его мнений: его бесконечной и совершенно неодолимой «стойкости». Конечно, к этому позволительно мысленно прибавить ум, трудолюбие; но о чем никогда и никто не говорил – это о гениальности Ал. Ив. Георгиевского, о том таланте, полете мысли, которые были у Каткова и Толстого: и под защиту-то этих талантов и была поставлена классическая система. «Такие талантливые люди и такая, талантливая система». Нет, система была глубоко не талантлива в подробностях организации, и вот сказать: «Не очень талантливый Георгиевский и не совсем талантливая постановка классического образования в России» – это выразить истину исторического факта.

В настоящий двадцать шестой том Собрания сочинений В.В. Розанова вошли его книга «Религия и культура», а также статьи и очерки 1902–1903 гг.

В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинений. Сохраняется старое написание некоторых слов, что не всегда выдерживалось в прежних томах Собрания сочинений. Розанов как носитель русского языка XIX века писал: «сантиментальный», «танцовать», «лодарничать», «шопот», «чорт», «мачиха», «прощальга», «халуй» и проч. (ср. в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» старое написание «пасичник Рудый Панько»). Вместе с тем принятое в то время написание слов «програма», «комисия», «професор», «коментарии», «идилия» и т.п. дается в современном виде с удвоенными согласными. Принятое тогда написание «галлерей», «карриатура» и др. также приводится к современному написанию, т.е. без удвоенного согласного. С существительными женского рода употреблялось местоимение «оне». Так, например, Розанов пишет в «Возрождающемся Египте» о египтянах и египтянках, что *они* занимались охотой, а *оне* вели домашнее хозяйство.

Старое написание слов, как в произведениях русских писателей XIX века, передается прежнее произношение многих слов. Одна из важнейших задач настоящего Собрания сочинений заключается в том, чтобы передать строй и звучание языка писателя прошлого, современника Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, в сочинениях которых до сих пор удерживается ряд старорусских слов в их тогдашнем написании.

Принятые сокращения: НВ – «Новое время», НВип – «Новое Время. Иллюстрированное приложение», Б.п. – без подписи.

Чужие тексты, как правило, цитируются Розановым неточно (в комментариях оговорены лишь наиболее существенные расхождения с источником). В настоящем издании учтены комментарии к следующим публикациям сочинений В. В. Розанова: Мысли о литературе /Вступ. статья, комментарий А. Н. Николоюкина. М.: Современник, 1989; Несовместимые контрасты жития /Вступ. статья В. В. Ерофеева, комментарии О. Дарка. М.: Искусства, 1990; Сочинения /Вступ. статья А. Л. Налепина, комментарии А. Л. Налепина и Т. В. Померанской. М., 1990; Религия и культура / Вступ. статья, комментарии Е. В. Барабанова. М.: Правда, 1990; Уединенное /Вступ. статья, комментарии А. Н. Николоюкина. М.: Политиздат, 1990; Религия. Философия. Культура. /Сост. и вступ. статья А. Н. Николоюкина, комментарии Н. Д. Александрова и М. П. Одесского. М.: Республика, 1992.

В том не включены статьи Розанова 1902–1903 гг., опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 1. Среди художников (1994) – Пестум (Мир Искусств. 1902. № 2); Практические указания (НВ. 1902. 16 марта; в книге под названием: «Post-scriptum» (в «Итальянских впечатлениях»); в книге «Около церковных стен» под названием. «Кто задерживает обновление Церкви?»); «Ипполит» Эврипида на Александрийской сцене (Мир Искусства. 1902. Хроника. № 4); Помпеи (Мир Искусства. 1902. № 5/6); Капри (НВ. 1902. 4 мая); Флоренция (Мир Искусства. 1902. № 7); Золотая Венеция (НВ. 1902. 11 июля); К падению башни св. Марка (НВ. 1902. 22 июля; в книге «Около церковных стен» под названием: «К падению башни св. Марка в Венеции»); «Бабы» Малевича (Мир Искусства. 1903. Хроника. № 4); Солнце и виноград (НВип. 1903. 28 мая); На выставке «Мира Искусства» (Мир Искусства. 1903. Хроника. № 6).

Т. 3. В темных религиозных лучах (1994) – Тревожная ночь (Северные Цветы на 1902 г. М., 1902. С. 3–15); Об основаниях церковной юрисдикции, или о Христе – Судии мира (Новый Путь. 1903. № 4; в книге под названием: «Христос – Судия мира»); Политика Комба (Новый Путь. 1903. № 6; в книге под названием: «Вьнос кумиров»; то же в «Около церковных стен»); Святость и смерть (Новый Путь. 1903. № 7); О некоторых подробностях церковного воззрения на брак (Новый Путь. 1903. № 8); По поводу доклада о. Михаила о браке (Новый Путь. 1903. № 9 с подзаголовком: «Извлечения из записки В. В. Розанова»); Об адогматизме христианства (Новый Путь. 1903. № 11; то же в «Около церковных стен»).

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны. (По поводу главного сюжета Лермонтова) (Мир Искусства. 1902. № 8); «Демон» Лермонтова и его древние родичи (Русский Вестник. 1902. № 9); Счастливый обладатель своих способностей (Мир Искусства. 1902. № 9/10); Гоголь (Мир Искусства. 1902. № 12); 25-летие кончины Некрасова (НВ. 1902. 24 дек.); О благодущии Некрасова (Мир Искусства. 1903. № 2); Среди иноязычных (Мир Искусства. 1903. № 7/8; № 10 с подзаголовком: «(Д. С. Мережковский)»); Ив. С. Тургенев (НВ. 1903. 22 авг.).

Т. 5. Около церковных стен (1995) – Где было хорошо на Новый год? (НВ. 1902. 5 янв.); Папская «непогрешимость» как орудие реформации без революции (НВ. 1902. 19 февр.); Письмо в редакцию (НВ. 1902. 4 марта; в книге под названием: «Где же границы апокрифичности?»); Ответы не на тему (НВ. 1902. 9 марта); Кому же верить, Петербургу или Москве? (НВ. 1902. 11 марта с подзаголовком: «Последний ответ А. А. Bronzovu»); О сострадании к животным (НВ. 1902. 24 марта); Народные чтения в Петербурге (НВ. 1902. 27 марта); Огни священные (НВ. 1902. 14 апр.); О пенсиях духовенству (НВ. 1902. 26 июня); Священнический совет при Епископе (НВ. 1902. 6 июля); Интересный эпизод нашей умственной жизни (НВ. 1902. 12 дек.; в книге под названием: «Аскаченский и архим. Феод. Бухарев»); Записки В. В. Розанова (Новый Путь. 1903. № 1; в книге под названием: «Духовенство, храм, миряне»); Из житейских и литературных мелочей (НВ. 1903. 21 и 23 янв.; в книге под названием: «Оптина Пустынь»); Церковь «прежде почивших» и церковь живых (Новый Путь. 1903. № 2); Об отлучении гр. Л. Толстого от Церкви (Новый Путь. 1903. № 2. Записки РФС); О книге проф. Н. Суворова «Учебник церковного права» (НВип. 1903.

12 марта); Совесть – отношение к Богу – отношение к Церкви (Новый Путь. 1903. № 4. Записки РФС); Мирские слезы (Новый Путь. 1903. № 5; в книге под названием: «Среди человеческих слез», начало статьи); О милости к животным. I. Вопиющее варварство. II. Отдых для животных (Новый Путь. 1903. № 6); Политика Комба (Новый Путь. 1903. № 6; в книге под названием: «Вынос кумиров»; то же в книге «В темных религиозных лучах»); Из истории журнальной полемики (Новый Путь. 1903. № 10; в книге под названием: «Желчные мечты в желтом журнале»); О «соборном» начале в церкви и примирении церквей (Новый Путь. 1903. № 10); О поместных соборах в России (НВ. 1903. 27 нояб.); О нарядности и нарядных днях календаря (Мир Искусства. 1903. Хроника. № 11); Об адогматизме христианства (Новый Путь. 1903. № 11. Записки РФС; то же в книге «В темных религиозных лучах»); Ответ председателю Совета «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» о. Ф. Орнатскому (Новый Путь. 1903. № 12).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) – Размолвка между Достоевским и Соловьёвым (НВ. 1902. 11 окт.); Заметка о Мержковском (Мир Искусства. 1903. Хроника. № 2).

Т. 10. Во дворе язычников (1999) – Пол и душа (НВ. 1902. 4 апр.); О классическом и нашем мире (НВ. 1902. 29 апр.); Об отрицании эллинизма (НВ. 1902. 26 авг.); Критики г. Михайловского (НВ. 1902. 1 сент.); В чем разница древнего и нового миров (НВ. 1902. 12 сент.); История Халдеи (НВип. 1902. 2 окт.); Случай любви (НВ. 1903. 9 февр.); Факты в безмолвии (Слово. 1903. 26 февр.); Замечательная статья (Новый Путь. 1903. № 5); Дары Цереры (Шехины) (Новый Путь. 1903. № 6); Тайна стихий (Новый Путь. 1903. № 6); Наблюдения, извлеченные из чтения «Шахразады» (НВ. 1903. 18 сент.); Из истории и поэзии елки (НВ. 1903. 24 дек.); Звериное число (Северные Цветы. М., 1903).

Т. 13. Литературные изгнанники (2001) – Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову (Русский Вестник. 1903. № 4–6).

Т. 18. Семейный вопрос в России (2004) – Болезни без лечения (НВ. 1902. 10 янв.); Опыт самозащиты (НВ. 1902. 19 янв.); Гнусный промысел (НВ. 1902. 28 марта); Без надежд на замужество (НВ. 1902. 1 апр.); Сельскохозяйственная колония для женщин–матерей (НВ. 1902. 9 апр.; в книге под названием: «Сельскохозяйственная колония для девушек–матерей»); Женское медицинское образование в России (НВ. 1902. 19 апр.); В поисках за трудом и просвещением (НВ. 1902. 20 апр.); Введение детей в семью (НВ. 1902. 7 июля); Дети офицеров и солдат (НВ. 1902. 15 июля); Рукоделье в женских гимназиях (НВ. 1902. 25 июля); О ручных изделиях в гимназиях (НВ. 1902. 6 авг.); Метрические записи внебрачных детей (Письмо в редакцию) (НВ. 1902. 9 авг.; в книге под названием: ««Внеканонические», а не «внебрачные»»); Женские пенсии (НВ. 1902. 17 авг.; в книге под названием: «Женские пансионы»); О неурочных занятиях учащихся (НВ. 1902. 21 авг.); О городских и думских учительницах (НВ. 1902. 9 сент.); Педагогические весталки (НВ. 1902. 28 сент.); О ненужных и вредных обременениях (НВ. 1902. 8 окт.; в книге под названием: «Сколько раз можно было вступить в брак в древней истории»); О разводе у католиков (НВ. 1902. 20 нояб.);

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

В конце 1890-х гг. публицистом П. П. Перцовым были подготовлены к печати четыре сборника статей В. В. Розанова, ранее печатавшихся в периодике: «Сумерки просвещения» (1899), «Религия и культура» (1899), «Литературные очерки» (1899) и «Природа и история» (1900). В сборнике «Религия и культура», как и в трех остальных, П. П. Перцов выступил не только в роли издателя, но и редактора (им, в частности, в ряде случаев были предложены новые заглавия). Розанов даже намеревался выразить свою признательность в специальном посвящении: «...после написанных мною вчера для предисловия строк (исчисления периодических изданий, где б<ыли> напечатаны статьи) прибавьте, – как бы *слепотствуя* и не вместилая своего *предрассуждения*: Считаю долгом выразить глубокую признательность Петру Петровичу Перцову, моему молодому другу, который с величайшим самоотвержением посвятил несколько месяцев труда, зоркое внимание, литературный вкус, дабы из вороха бумаг составить сборники «Сумерки просвещения» и настоящий» (Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 505). В 1901 г. сборник вышел вторым изданием с небольшими исправлениями, дополненный «Новыми эмбрионами».

Текст печатается по второму изданию: *Розанов В. В. Религия и культура*. СПб.: Тип. Меркушева, 1901.

<Предисловие> (с. 7)

Написано Розановым при подготовке первого издания «Религии и культуры» (1899).

Аменты – в египетской мифологии богиня Запада (царства мертвых).

...последние мгновенья... – Здесь и на протяжении всего предисловия цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Умирающий гладиатор» (1836).

...45 томов Codex'a – Свод законов Российской империи был впервые издан в царствование императора Николая I по инициативе М. М. Сперанского. Последний свод, охватывающий законы с 1857 по 1917 г., насчитывал 49 томов.

Место христианства в истории (с. 9)

Впервые будущая статья была прочитана автором в качестве «Речи по поводу 900-летия крещения Руси» в Елецкой гимназии 1 октября 1888 г. В 1890 г. Розанов издал свою речь отдельной брошюрой в московской типографии Э. Лисснера и Ю. Романа. «Заглавие, отличающееся гимназической ясностью, было дано по рекомендации П. Д. Первова; мое же заглавие, *которое следует восстановить и которое сказала душа как тему речи* <...> было – «Об историческом положении христианства»» (Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 202). Текст предварялся предисловием, в конце которого было проставлено: «Елец, 1889 г. 22 октября».

В январской книжке «Русского Вестника» за 1890 г. появился журнальный вариант «Речи» (С. 94–119). В отличие от брошюры здесь отсутствуют предисловие и начало статьи, сохранявшее жанровые признаки торжественной («актовой») речи. Розанов позаботился также о сокращении и «облегчении» текста. Им были сняты три пространные примечания; материал более компактно разбит на три раздела (вместо семи); удален большой фрагмент из заключительного раздела.

В сборник «Религия и культура» статья «Место христианство в истории» вошла по варианту «Русского Вестника» с незначительной стилистической правкой. Об истории создания «Места христианства...» рассказывает П. Д. Первов, товарищ Розанова по учительству в Елецкой гимназии, в своих неизданных воспоминаниях: «Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана <...> Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю В. Н. Маракуеву, который и напечатал его («Место семитских народов в истории цивилизации» М., 1888). Розанов, чтобы дать отповедь и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». При написании речи Розанов учитывал не только речь Ренана, но и книгу немца Рудольфа Фридриха Грау «Семиты и индогерманы в их отношении к религии и науке: Апология христианства с точки зрения этнической психологии» (Штутгарт, 1864)».

Аристотель... назвал искусство – подражанием – Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 646.

Аверроэс, помещенного Данте среди мудрецов–нехристиан в круге первом, поэт называет «великий комментатор» («Ад». Песнь 4. Стих 144).

...чужими художниками – 3 Цар. 5, 7.

«дыхание» – Быт. 2, 7.

...основания – эти основания изложены нами в книге: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Москва, 1886. В главах XIII, стр. 417–443, в XIV, стр. 474–483 (по отношению к возникновению и развитию религиозных идей) и в XV, стр. 541–547 (по отношению к содержанию религии)» (примечание Розанова к отдельному изданию 1890 г.).

«...успокоится в Тебе» – цитата из Августина заимствована из монографии Грау, где она приводится по латыни (с. 9) и по-немецки (с. 63).

...глаголу твоему – «приведенная цитата взята нами из сочинения г. Беляева «Современное состояние вопроса о значении расовых особенностей семитов, хамитов и иафетов для религиозного развития этих групп народов». Москва, 1881 г.» (примечание Розанова к изданию 1890 г.).

...в городе Сихеме – Быт. 34, 1–26.

...собраться к Сиону – Ис. 66, 18–21.

«исполнились времена и сроки» – Мк. 1, 15.

Бедной самарянке ... мудрости – Ин. 4, 7–42.

- ...простил грешницу... от земли – Ин. 8, 3–11.
- ...проник в... сердце мытаря – Лк. 18, 10–13.
- ...притчу о милостивом самарянине – Лк. 10, 10–37.
- ...закон сцепления причин и следствий – «Трипитака», буддистский канон, сформировался к 241 г. до н. э., когда при царе Асоке состоялся III собор буддистского духовенства; среди канонических истин буддизма – «закон сцепления причин и следствий».
- ...брак в Кане Галилейской – Ин. 2, 11–32.
- ...притчу о блудном сыне – Лк. 15, 11–32.
- «Куда ни посмотрю...» – Отрывки из Ксенофана Колофонского (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Часть 1. С. 156–176).
- ...говорил он о себе – диалог Платона «Тезет» 149a (Платон. Соч.: В 3 т. М., 1970. Т. 2. С. 234).
- ...личности – «Собственно, изречение это, между несколькими другими правилами народной мудрости было написано на фронтоне Дельфийского храма, – но, конечно, есть разница между ним как общим местом, как просто мудрым выражением, и между тем глубоким и строгим содержанием, которое раскрыл в нем Сократ. В этом смысле можно сказать, что он создал это изречение, т.е. не его форму, не звук слов, но мысль, в них содержащуюся, которая на два тысячелетия определила судьбу философии» (Примечания Розанова в отд. изд. 1890 г.).
- «неуместность» – диалог Платонова «Пир» 221d; Розанов намеревался написать развернутый комментарий к этому диалогу.
- Платон рассказывает в «Федре» – Федр230d; Платон. Соч.: Т. 2. С. 163. Розанов рассчитывал проанализировать диалог «Федр» в отдельной работе.
- Как желает лань... – Пс. 41, 2.
- «И Слово плоть бысть» (церк.-слав.) – Ин. 1, 14.
- Ищите прежде Царства Божия... – Мф. 6, 33.
- ...римский престол осудил его буллою, а Вольтер писал о нем восторженные страницы. – Трактат Н. Коперника внесен в индекс запрещенных книг в 1616 г.; Вольтер писал о Копернике в «Философских письмах» (1733).
- ...он взглянул на него и умер. – Парализованному Н. Копернику принесли печатный экземпляр трактата «Об обращении небесных сфер» в день его кончины – 24 мая 1543 г.

Психология русского раскола (с. 27)

Две части – «Старообрядчество» и «Духоборчество» – первоначально печатались как две разные статьи. Первая – в «Новом Времени» (1896. 3 июня) под заглавием «Психология нашего отношения к расколу»; при переработке подверглась значительным сокращениям. Были сняты все упоминания других материалов «Нового Времени», присутствовавшие в газетном варианте, и пространные рассуждения по их поводу. Таков абзац, исключенный Розановым,

вероятно, по соображениям идейным (по «Религии и культуре» предпоследний в IV разделе «Старообрядчества»). «Наконец, есть древнее, вернее, святое средство погасить распрю: это – *собор*. Невозможно исчислить всех благих последствий того моря изобилия, которое пролилось бы на наш дух, на нашу жизнь, если бы церковный собор наконец был созван: как отлетели бы вдруг в сторону все парламентарные идеалы, все новейшие романы, фикции, вся «великая ложь нашего века», как справедливо названы все эти фикции выдающимся государственным умом нашего времени, если бы вдруг мы увидели перед собою подлинный и святой прототип жизни под благодатно свободной; если бы собрались не обманщики для обмана, но благочестивые люди для уразумения Слова Божия, для покаяния в грехе своем, для обновления жизни своей, для «Иерусалима нового, сходящего на землю с небес»...».

Вторая часть – «Духоборчество» – впервые опубликована под заглавием «Несколько замечаний о духовных течениях русского раскола» (Русское Обозрение. 1896. № 11. С. 387–415); перепечатана без изменений. Поскольку статья из «Русского Обозрения» подавалась как продолжение первой: «В статье «Психология нашего отношения к расколу» (№ 7279 Нового Времени) мы попытались представить логику «спасения» первой школы; нам хотелось бы сделать это и относительно второй школы» и их тематическое единство (школы в расколе) оговаривалось во вступлении к ней, то это вступление стало общим вступлением ко всей новой статье, включенной в таком виде в «Религию и культуру».

В 1914 г. Розанов издал брошюру «Апокалипсическая секта: Хлысты и скопцы», куда вошли его статьи «Поездка к хлыстам», «Материалы о хлыстах», «Роковая филологическая ошибка», «О «Сибирском страннике»», «Мечта «духовных христиан»» (новое заглавие комментируемой статьи), а также писания основателя скопчества.

...*решение Аугсбургского сейма 1555 года*. – Мир в Аугсбурге завершил длительные гражданские войны в Германии, закрепив за немецкими князьями право свободно избирать католицизм или протестантизм как государственные религии в их владениях.

...*для множества из нас*. – В газетном варианте здесь была сноска: «См. в том же 7244-м номере «Нового Времени» фельетон г-жи Смирновой «Погодинская Москва»».

...*это последние*. – В газетном варианте здесь была сноска: «В том же «Маленьком письме» г. Суворин ссылается на действия против католицизма во Франции («выносят из школ распятия. Запрещают преподавание в школах Закона Божия»), причем *общество* остается спокойным, или, по крайней мере, более спокойным, чем если бы последовал крах «*Banque Française*». И ввиду публикуемых исторических материалов, очень трудно сказать, что *наше* общество более страстно восстало бы против подобных отношений к религии, что оно *поднялось бы, бежало или вооружилось*, как это (кроме последнего), несомненно, делали и делают люди «старого обряда». Вот почему мы и принимаем

на себя смелость назвать их «последними верующими», т.е. глубоко, полно и «до предания живота» за веру».

Исус или Иисус – при справе богослужбных книг, проводимой в течение XVII в., был насильственно введен второй вариант написания имени Христа, что вызвало ожесточенное сопротивление сторонников «старого обряда».

...вправо или влево. – В старообрядческой церкви при богослужении следуют по ходу солнца (посолонь), в официальной церкви – против.

Троицу или две ипостаси. – Трехперстное крестное знамение символизировало троичность Божества, а старообрядческое двуперстное – две ипостаси в Христе: божественную и человеческую.

...говорил Тургеневу Белинский – Тургенев И. С. Воспоминания о Белинском // Полн. собр. соч. М.; Л. 1967. Т. 14. С. 29.

...рассказывает С. М. Соловьёв в своих «Записках» – Соловьёв С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 283–299.

...а слова Мои не прейдут! – Мф. 5, 18.

...единоверия – вид воссоединения старообрядцев с официальной церковью, сохраняющий за ними ряд существенных прав (1783).

...вопрос о законнорожденности, о венчании без свидетелей – в Петербурге, по сведениям Розанова, «близко к половине рожают первого ребенка «вне брака»» (Семейный вопрос в России. 1903. Т. 1. С. 3); «без свидетелей» был вынужден венчаться со своей второй женой сам Розанов.

«Поморские ответы» – катехизис деятелей старообрядчества Андрея (1674–1730) и Семена (1682–1740) Денисовых; составлен в 1722–1723 гг.

Типикон – церковно-богослужбная книга, содержащая систематическое указание порядка и образа совершения служб.

...спора в Грановитой палате. – Во время стрелецких волнений представители официальной церкви и старообрядцы устроили открытый диспут в Грановитой палате в присутствии царской семьи (1682 г.).

Господи, если их проклянешь... – Исх. 32, 32.

Кельсиев, I, 75. – Сведения о течениях в расколе почерпнуты Розановым преимущественно из четырехтомного сочинения В. И. Кельсиева «Сборник правительственных сведений о раскольниках» (Лондон, 1860–1862). Далее ссылки на эту работу даются сокращенно. «А простое и научное исследование вероучения религиозных сект в России я читал в лондонском издании Кельсиева, похитившего труды этих исследователей в петербургских тайных архивах» (Розанов В. В. Около церковных стен. СПб., 1906. Т. 1. С. 185).

«Лазарево воскресение...» – «Розыск о Брынской вере» (1745); цит. по кн.: Кельсиев, I, XIV.

Стечемся, братие ... – Кельсиев, II, XII

...и будет в последние дни... – Ионл. 2, 28.

«есть какая-то связь между хлыстовщиной и молоканством» – Кельсиев, III, 196.

Боготец убо Давид... – песнь 4 из канона на Пасху.

Царство, ты Царство... – Кельсиев, III, 165–166.

«другую ланиту» – Мф. 5, 39; Лк. 6, 29.

О, и куда же... – Кельсиев, III, Прилож. 12.

Дай нам, Господи... – Кельсиев, III, 143.

...по Апокалипсису – Откр. 14, 1–5.

«блаженни чисты сердцем...» – Мф. 5, 8.

«Берите все... слезами и воздержанием» – Кельсиев, III, Прилож. 17–21.

...от жен и от детей – «Постоянный призыв, вечный идеал духоборчества, «духовных христиан», хлыстов и скопцов, во исполнение зова Спасителя: «Оставьте отца и мать, и следуйте за Мною»» (Примечание Розанова в «Апокалипсической секте»).

эпоха конгрессов – имеются в виду Ахенский (1818), Троппауский (1820), Лайбахский (1821), Веронский (1822) конгрессы Священного союза, посленаполеоновского объединения европейских монархов.

«Не истинна наша вера...» – Кельсиев, III, Прилож. 13–14.

...после пеня... нашего тропаря – Кельсиев, III, 138.

Чистые, непорочные... – Кельсиев, III, 156.

...без титла I. Н. Ц. I. – Иисус Назарей, Царь Иудейский (Ин. 19, 19).

ИС ХС СНЪ БЖИЙ (церк.-слав.) – Иисус Христос Сын Божий.

Человек человеку волк – формула отношений людей в современном мире, по Т. Гоббсу; впервые в комедии Плавта «Ослы» (II, 4, 88).

...со времени утверждения владычества австрийского – Буковина отошла к Австрии в 1774 г.

Щепоть – так старообрядцы называют трехперстное знамение.

Крыж – католический крест; также старообрядцы имеют четырехконечный крест, введенный вместо старообрядческого восьмиконечного.

...пересмотр клятв собора 1667 г. – Собор 1666–1667 гг., утвердив сведение Никона с патриаршего престола, одновременно наложил клятву на противников его реформ (пожелание Розанова о снятии клятв окончательно осуществилось лишь на Поместном соборе русской православной церкви в 1971 г.).

Великой северной войны – война продолжалась с 1700 по 1721 г.

немка – жена М. Сперанского, Елизавета Стивенс, была англичанкой.

...робкое сердце Акакия Акакиевича. – М. М. Сперанского с героем гоголевской «Шинели» Розанов сравнивал также в этюде «Как произошел тип Акакия Акакиевича» (1894).

Хрия – собственно, краткий анекдот; как тема для пересказа, комментария входила в число традиционных риторических упражнений, которые, расширительно, также могли именоваться хрией.

...сердце чисто... – Пс. 23, 4.

«единая Святая Соборная и Апостольская Церковь» – символ веры; читается на Божественной литургии.

«не в смерть, но в исцеление» – из молитв, входящих в «Последование ко Святому Причащению».

Черта характера Древней Руси (с. 55)

Русский Вестник .1892. № 7. С. 213–227 под заглавием: В. О. Ключевский о Древней Руси: В пользу пострадавших от неурожая // «Добрые люди Древней Руси» В. О. Ключевского. Сергиев Посад. 1892. При переработке журнального варианта была сделана небольшая правка.

...помощи голодающим – имеется в виду голод в России 1891–1892 гг.

...двух основных заповедей – Мф. 22, 37–40; Мк. 12, 29–31.

...его структура – то целое, в чем они составляли часть – В «Русском Вестнике» вместо этого было: «её окружающие условия».

...лет десять назад – речь идет о годах обучения Розанова в Московском университете (1878–1882). О лекциях Ключевского Розанов отзывался с восторгом (Около науки и университета //Русское Слово. 1909. 12 декабря); о Н. И. Стороженко – с уважением («Опавшие листья. Короб первый». 1913).

...трудов и истощения – *Стороженко Н. И.* История европейских литератур XV и XVI вв.: (Эпоха Возрождения). М., 1889. С. 15.

...безбрачие всего клира... – Безбрачие не только черного, но и белого духовенства; причащение мирян Телу Христову и лишь клира хлебом и вином; использование в качестве богослужебного, сакрального языка латыни, непонятной прихожанам – обычные для православных полемистов упреки в адрес католиков; правомерность свержения государя–тирана или вероотступника освящалась авторитетом Фомы Аквинского и особенно подробно излагалась в трудах незуитов XVI в. (Хуан Мирана и др.).

Я не мир принес... – ср: Мф. 10, 34–35; Лк. 12, 51.

Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век (с. 66)

Русский Вестник. 1895. № 10. С. 161–189.

Часть статьи под названием «Еще доброе дело на Руси» напечатано в «Русском Обозрении» (1896. № 4. С. 867–971).

В сборник «Религия и культура» статья вошла в сокращенном и несколько переработанном виде: Розановым была внесена незначительная композиционная правка. В журнальном варианте статья содержала острые выпады против А. И. Герцена, отношение к которому у Розанова было резко отрицательным. В сборнике «Религия и культура» эти фрагменты исключены, критике подвергается радикально-демократическое направление в русской общественной мысли в целом. Показательно, что имя Герцена Розанов заменяет на Добролюбова, характеризуя «писателей и этого течения литературы» и противопоставляя их Каткову. Труд Н. П. Барсукова не был завершен; в 1910 г. вышла последняя, 22-я книга «Жизни и трудов М. П. Погодина», изданная посмертно.

Древлехранилище – собрание древних книг и рукописей М. П. Погодина, впоследствии купленное у него государством.

«История русской словесности (1848–1890)» – Розанов имеет в виду «Историю русской новейшей литературы» А. М. Скабичевского.

«История России с древнейших времен» (1851–1879) – труд С. М. Соловьёва в 29 т.

«История России до монгольского ига» – сочинение М. П. Погодина (М., 1871. Т. 1).

...видящий границы, проводимые между людьми социальным строем, и размышляющий о них. – «У него есть очень много размышлений о крестьянах, помещиках, об отнятии первых монастырей Екатериною. И хоть в посвящении своей «Древней Русской Истории» императору Александру II он заявляет, что ведет свой род из крепостного крестьянства, однако ни из чего не видно, чтобы он когда-нибудь заботился об этом, скрывал это или, напротив, этим тщеславился» (примечание Розанова в журнальном варианте).

Руце Твои... научуся заповедем Твоим – Пс. 118, 73.

...профессор Мудров – «Он был вызван, много лет спустя, в царствование императора Николая, в Петербург для борьбы с холерою, от которой и умер. Происходил он из очень бедной семьи и пришел в Москву пешком учиться. Мы упоминаем эти подробности, чтобы указать, что приведенный факт был делом светила своих дней и столпа университета, который, конечно, ни в Лодере и ни в каком благоволении начальства не нуждался, а выражал чистосердечно свою радость, ученикам же приказывал относиться почтительно к предмету радости» (примечание Розанова в журнальном варианте).

«...беда в том, что он москвич» – «Прочтя все это, писавший еще в 1847 г., можно не удивляться тому факту, что (как сообщил мне беллетрист–народник, еще и теперь пишущий, Филипп Дномидович Нефедов) во время празднования открытия памятника Пушкину в Москве несколько профессоров Московского университета и местных писателей, собравшихся однажды провести вечер вместе и несколько одушевившись, между прочим, – «пили за смерть Москвы», т.е. за смерть ее в смысле того духа и тех принципов, выразительницей которых она была в своей истории» (примечание Розанова к журнальному варианту).

...исторические труды Шелгунова или Шашкова – «Исторические этюды» (СПб., 1872), «Исторические очерки» (СПб., 1875) С. С. Шашкова; «Россия до Петра I» (1863) Н. В. Шелгунова.

Вне школы... бескультурной – «См. ряд статей моих: «Смерки просвещения» в «Русском Вестнике» 1893 г. и «Афоризмы и наблюдения» в «Русском Обозрении» за 1894 г.» (примечание Розанова в журнальном варианте).

«Шаг за шагом, или Светлов» (1870–1871) – роман И. В. Оммулевского (Федорова).

О студенческих беспорядках (с. 85)

Русское Обозрение. 1898. № 1.

С. 411–420 под заглавием «Несколько замечаний по поводу студенческих беспорядков». При включении статьи в сборник были сняты три последние абзаца.

...студенческие беспорядки. – С начала 1890-х гг. возобновляется политическая активность российского студенчества: например, в 1897 г. молодежь Петербурга, Москвы, Киева откликнулась демонстрациями на самоубийство М. Ф. Ветровой, выразившей тем самым протест против жестокости тюремного режима в Петропавловской крепости.

«Русская Старина» – ежемесячный исторический журнал (1870–1918), основанный М. И. Семевским; из воспоминаний о студенческих беспорядках можно назвать «Студенческие волнения в Казани» (1892. № 2).

«Русский Архив» – ежемесячный исторический журнал (1863–1917), основанный П. И. Бартевым.

Хортица – скалистый остров на Днепре, где в 1630 г. запорожскими казаками была сделана первая «сечь», просуществовавшая до 1738 г.

...со взором Мафусаила – «Его взгляд был замечательно пристальный и при случайной встрече, если он упал на вас, вам казалось, что он что-то в вас высматривает, думает о вас, что-то ему нужно именно вам сказать, и притом ценное и многозначительное: но позднее, припоминая этот взгляд и соображая его подробности, вы догадывались, что он вовсе вас не видел иначе как фигуру и воображал, можно ли отнести к ней ценные и многозначительные слова о предмете, который внутренне занимал его в ту минуту и на который он пристально, духовно и даже физически смотрел» (примечание Розанова к журнальному варианту).

Женское образовательное движение 60-х годов (с. 91)

НВ. 1896. 9 авг. № 7345 под заглавием:
«Над. В. Стасова и основание «Высших
Женских курсов» в Петербурге».

При включении статьи в сборник добавлены V и VI разделы, а в разделе I введено развернутое сравнение В. В. Стасова с былинными богатырями.

Русь еще былин... – Труд В. В. Стасова «Происхождение русских былин» (1868) принес автору широкую известность.

Обширный храм без божества – М. Ю. Лермонтов. Исповедь (1830).

...биографию родной сестры – В. В. Стасов всегда стоял на страже доброго имени сестры. В 1871 г. в статье «Что-то очень некрасивое» он обвинил Марко Вовчок в том, что ее перевод сказок Х. К. Андерсена (1871) является плагиатом с перевода 1868 г. Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой, «только слегка (для приличия), замаскированным маленькими переделками и переименованиями»

«Книжки «Недели» – ежемесячное приложение (1884–1901) к либеральной еженедельной газете «Неделя» (1866–1901).

Декабрь 1868 г. – 21 декабря 1868 г. министр народного просвещения Д. А. Толстой отказал Н. В. Стасовой и ее соратницам в и.: просьбе открыть женский университет.

А. П. Философова – вместе с Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой составляла «триумvirат», возглавивший российское женское движение. Аристократка, она оказывала важнейшие услуги движению благодаря своим связям (граф Литке приходился ей двоюродным дедом); тетка антрепренера С. П. Дягилева, мать Д. В. Философова.

Князь Голицын – речь идет о его музыкальной зале на Владимирской улице, где давался концерт в пользу курсов.

Твой народ... – Руфь. 1, 16.

...в здании 5-й гимназии, у Аларчина моста – в 1868 г. здесь были открыты женские курсы по гимназической программе, получившие название Аларчинских.

Старая история – крылатая фраза, восходящая к стихотворению Г. Гейне «Юноша девушку любит...» из цикла «Лирические интермеццо» (1823).

Добролюбова, Писарева, Шелгунова... – В письме И. И. Бордюгову от 24 февраля 1860 г. Н. А. Добролюбов повествует, как понравившаяся ему девушка предпочла «офицера, который пренаивно спрашивал меня: жив ли Кольцов, а впрочем, находил, что Бенедиктов плох и пр.» (Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1967. Т. 9. С. 404); это письмо Розанов мог узнать из очерка жизни и творчества Добролюбова А. М. Скабичевского (СПб., 1894. С. 57). Д. И. Писарев был несчастливо влюблен в свою двоюродную сестру Р. А. Кореневу (в очерке биографии критика, помещенном в «Новом Слове». 1894. № 3). О непростых сплетениях отношений Н. В. Шелгунова, М. Л. Михайлова и Л. П. Шелгуновой было известно достаточно широко.

«бестия Кавур» – Граф Кавур подвергался критическим нападкам Н. Г. Чернышевского («Граф Кавур») и Н. А. Добролюбова («Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура»). Выражение «бестия Кавур» в сочинениях этих критиков не обнаружено. Возможно, впрочем, Розанову вспомнилась названная статья Добролюбова, в которой передается уничижительный отзыв Кавура о парламентариях: «О, это такие животные (sono cosi bestie)...» (Собр. соч.: В 9 т. М.; Л. 1963. Т. 7. С. 68–60).

...они всего дальше были от того, чтобы почувствовать себя... мужем – ср. в «Людах лунного света»: «Значение Чернышевского в нашей культуре, конечно, огромно. Он был $\frac{1}{2}$ урнинг, $\frac{1}{4}$ урнинг, $\frac{1}{10}$ урнинг» (СПб., 1913. С. 160).

Евангельская Марфа – Лк. 10, 38–42.

Франко-русские впечатления (с. 100)

Народ. 1897. 26 авг. Под заглавием: «Недавние впечатления».

В августе 1897 г. в Россию прибыл с визитом французский президент Ф. Фор и вошла французская эскадра во главе с броненосцем «Патон». С этими событиями и связаны впечатления Розанова.

Я здесь и здесь остаюсь – приписывается маршалу П. Мак-Магону в ответ на предупреждение русских взорвать занятый французами Малахов курган (8 сентября 1855 г.).

Спит, покой цена – М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).
«после меня хоть потоп» – фраза, приписываемая фаворитке французского короля Людовик XV маркизе де Помпадур (1721–1764).

День гнева, этот день – слова из заупокойной службы итальянского монаха и писателя Фомы Челанского, в которой рисуется картина Страшного суда.

Демократизация живописи (с. 104)

Мировые Отголоски. 1897. 13 мая под заглавием: «О художественных и народных выставках». Перепечатана с незначительными сокращениями в сборнике Розанова «Среди художников» (СПб., 1914).

«Товарищество московских художников» (1893–1924) – объединение художников, в состав которого входили А. С. Голубкина, И. И. Левитан, К. А. Коровин, С. В. Малютин, В. Д. Поленов и др.

Где истинный источник «Борьбы века»? (с. 108)

Русский Вестник. 1895. № 8. С. 271–280.

С автором «Борьбы века» Л. А. Тихомировым, вначале народовольцем-террористом, затем ярым консерваторм, Розанова связывали сложные отношения. В 1890-е гг. они оба входили в петербургский кружок славянофилов, но некоторые разногласия между ними существовали: о Розанове Тихомиров упоминает в своем дневнике за 1893 г. достаточно неприязненно: «Сегодня заходил сделать визит Вас. Вас. Розанову... теперь усиливаются изгнать Александра <редактора «Русского Обозрения»> и посадить на его место Розанова. Роль Розанова довольно некрасива...» (Воспоминания Л. А. Тихомирова. М.; Л. 1927. С. 416). Впоследствии, в статье о памятнике Александру III (1909), Розанов вспомнит о себе и Тихомирове как характерных явлениях общественной жизни 1890-х гг. (Среди художников. М., 1994).

...обдумывая устройство Сиракуз... беседы с Дионисием. – В 366–365 гг. и 361 г. до н. э. Платон совершил два путешествия на Сицилию по приглашению тирана Сиракуз Дионисия Младшего, намеревавшегося воплотить в жизнь идеи великого философа.

...русский солдат Елисаветы Петровны смотрел на картофельные поля Померании – имеются в виду события Семилетней войны (1756–1763), в ходе которой русские войска заняли Пруссию; картофеля в России в ту пору не знали.

«Не хорошо человеку оставаться одному» – Быт. 2, 18.

...в труде г. Тихомирова (напр., стр. 10–12, 17–18 и многие другие). – На с. 10–12 дается обзор революционных идей 1789–1793 гг., а на с. 17–19 – анализ марксизма. Об отношении к марксизму самого Розанова см. статью «Литературно-промышленный кризис» (1897) в его сборнике «Литературные очерки».

«Римской блудницы» – Новозаветный образ «великой блудницы», «Вавилона Великого, матери блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17, 1–5) протестантами прилагался к папскому Риму.

О символистах и декадентах (с. 116)

Русский Вестник. 1896. № 4. С. 271–282. Как рецензия на три выпуска «Русских символистов» В. Я. Брюсова, стихотворные сборники: Д. С. Мережковский. Новые стихотворения. 1892–1895. СПб., 1896 и А. Добролюбов. *Natura naturata*. СПб., 1895.

Статья была напечатана с купюрами, и в журнале «Русское Обозрение» (1896. № 9. С. 322–334) Розанов помещает более полный вариант, восстанавливая пропуски, и дает название «О символистах». Статья вышла отдельным изданием: *Розанов В. В. Декаденты. Критические этюды*. СПб., 1904. 24 с.

В. Даров – псевдоним В. Я. Брюсова. «Русские символисты». М., 1895. Вып. 5. С. 14.

Тень несозданных созданий – в стихотворении Брюсова «Творчество» (1895) Розанов пропускает две строки: «И прозрачные киоски / В звонко-звучной тишине».

Моя душа больна весь день – стихотворение из сборника «Теплица» (1896) в переводе В. Брюсова. Цитируется с пропуском пятой строки: «И под кнутом воспоминаний».

О, чудно нежная и страстная болезнь – стихотворение А. Н. Емельянова–Коханского «Монолог маньяка (Бред первый)»: *Емельянов-Коханский А. Н. Обнаженные нервы. Сб. стихотворений (посвящается мне и Египетской царице Клеопатре)*. М., 1895. С. 71.

...*О чем молишь, Светлый* – *Добролюбов А. М. Natura naturans. Natura naturata*. СПб., 1895. С. 23.

О, закрой свои бледные ноги – моностих В. Я. Брюсова (1895).

...*Французская выставка в Москве* – выставка 1891 г.

...*я помню картину* – Розанов описывает картину Гюстава Жаке «Любовная тоска».

...*в «Русском Вестнике» (1894, ноябрь)* – рецензия на рассказ Ги де Мопасана «Бракоразводное дело» (1886) была напечатана в октябрьском номере «Русского Вестника».

«*Заратустра*» – имеется в виду книга Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1885).

Теперь и прежде (с. 127)

Русское Слово. 1896. 26, 29 февр. Под заглавием: «Иллюстрация к историческому осуществлению принципов веры и свободы». В сборнике «Религия и культура» печатается с сокращениями.

«*Русское Обозрение*», 1898 – опечатка, нужно – 1896.

Суд ассизов – во Франции периодически образуемые в каждом департаменте суды, разрешающие дела о наиболее тяжких преступлениях.

Спящий в гробе – мирно спи... – В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

Христианство пассивно или активно? (с. 134)

НВ. 1897. 28 окт. № 7784.

Вопрос о «единосущии» или только «одинаковости»... – После I Никейского Вселенского собора, сформулировавшего в «символе веры» положение о «единосущии» Бога Отца и Бога сына, богословы в ожесточенной полемике уточняли, не означает ли «единосущность» ипостасей Троицы совершенной одинаковости.

Жизнь его не враг... – В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

«довлея днесь», «не печась на утре» – Мф. 6, 34.

Лимонарий – так на Руси называли «Луг духовный» – патерик, сочиненный Иоанном Мосхом (ум. 619).

«На краю света» (1875–1876) – рождественский рассказ Н. С. Лескова.

«поглощено Божеством» – мнение монофизитов, отвергнутое на Вселенском соборе.

...изгнание торгующих из храма – Мф. 21, 12.

Горе вам... – Мф. 23, 29.

«Бога никто же нигде не видел» – 1 Ин. 4, 12.

И ничего во всей природе... – А. С. Пушкин. Демон (1823).

Истинно говорю вам... – Мф. 19, 24.

Богатый и Лазарь – Лк. 16, 19–31.

Царство не от мира сего – Ин. 18, 36.

Взгляните на лилии полевые... – Мф. 6, 28–29.

...птицы не сеют... – Мф. 6, 26.

Подождите, у меня достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел – из воспоминаний К. К. Данзаса (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985 т. 2. С. 373).

«наша вавилонская блудница» – А. С. Пушкин. Письмо к А. Н. Вульфу. 7 мая 1826 г.

Кроткий демонизм (с. 144)

НВ. 1897. 19 нояб. № 7806.

...опера Рубинштейна – имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна «Демон» (1871).

Отцы пустынники и жены непорочны – первая строка стихотворения А. С. Пушкина (1836) на слова великопостной молитвы Ефрема Сирина.

Нежные стопы у нее, не касается ими... – Гомер. Илиада. XIX, 92–93.

«...земля твоя будет моею землею» – Руфь. 1, 16.

«И в конце времен охладает любовь» – Мф. 24, 12.

...проклял потомство Иоава – проклятие потомству Иоава произносит Соломон (3 Цар. 2, 33).

И она сказала с ним: «Аминь» – Тов. 8, 4–8.

Эпиграф – из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен» (1840).

... в статье «О началах этики» – статья опубликована в качестве отклика на работы В. С. Соловьёва «Оправдание добра» и «Право и нравственность» (Вопросы Философии и Психологии. 1897. Кн. 39. С. 586–701); здесь же (С. 645–694) напечатан ответ В. Соловьёва «Мнимая критика (Ответ Б. Н. Чичерину)».

«кто дерзнет... тех распинали и сжигали» – И. В. Гёте. Фауст. Ч. 1. Ночь.
«...не войдете в Царство Небесное» – Мф. 5, 20.

Душу Божьего творенья – Ф. И. Тютчев. Песнь радости (Из Шиллера) (1823).

«чадородием женщина спасется» – 1 Тим. 2, 15.

Шопот, робкое дыханье – одноименное стихотворение А. А. Фета (1850).

Сквозь туман кремнистый путь блестит – М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Друг Горацио – есть многое на свете... – У. Шекспир. Гамлет. 1, 5.

Он душу младую в объятиях нес – М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

«оставьте мертвым погребать мертвых» – Мф. 8, 22.

Смысл аскетизма (с. 157)
НВ. 1897. 31 дек. № 7846.

В книге «В мире неясного и нерешенного» (СПб., 1904) Розанов поясняет содержание своей статьи: «Моя основная мысль заключается в том, что аскетизм религиозный не имеет ничего общего в тенденциях и в существе с скопческою надеждою «внити в Царствие Божие бесполом, и при услови бесполости, существом». Аскетизм есть род плотского молчания, налагаемого на себя человеком не иначе, т.е. не в иных надеждах и не с иным умыслом, как и обет молчания, столь обыкновенный в монастырях: углубляется внутреннее слово, когда умолкает внешнее; просветляется, озаряется сердечное глаголанье, когда нет пустой базарной болтовни. Великие молчальники суть не только монастырские аскеты: ими были великие мудрецы, великие в подвиге именно слова, когда оно нужно и благовременно. Вообще все обеты молчания, плоти ли, уст ли, имеют значение великого сосредоточения, собирания человека внутрь себя. В частности, аскетизм плоти имеет то значение, что никому острота плоти и высота ее смысла не бывает так открыта, как именно аскетам: не белый священник, но аскет Никанор первый ополчился в защиту брака против идей, высказанных в «Крейцеровой сонате» Толстым <...> Как «умное молчание» не есть «бесловесность», презрение или отрицание существа слова, так «молчание плоти» не есть ее «искоренение», ни даже простая к ней «вражда» (С. 99–100).

...пишет Тацит – Корнелий Тацит. *Анналы*, XI, 31.

...поклонился *Астарте* – имя главной богини древних семитов-язычников: гимьяритян, сирийцев, ассириян, арабов, финикийн и иудеев. У иудеев ее культ вновь был введен Соломоном.

...о котором *Достоевский*... заметил – «Братья Карамазовы» (кн. 3, гл. 6).

Свет ночной, ночные тени... – А. А. Фет. «Шопот, робкое дыханье...».

...биографию которого, *вслед за г. Кони* – очерк-исследование А. Ф. Кони «Федор Петрович Гааз» (1897).

Скиния – место общественного богослужения евреев, походный храм евреев, построенный по образу, показанному Богом на горе Синай.

Женщина перед великою задачею (с. 166)
Биржевые Ведомости. 1898. 1 и 3 мая. № 117, 119.

...страницы 41–42 – «Женщина любящая до того, к сожалению, поглощена своею страстию, что делает массу ошибок... Женщина же нелюбящая, но, в силу симпатии или расчета, дорожающая виушенным ею чувством, ясно видит, как ей держать себя... Вот почему мне и кажется, что мужчина больше всего любит ту женщину, которая не любит его...» (*Лухманова Н. А.* Черты общественной жизни. СПб., 1898).

...канонические книги – В Кормчей книге, многократно издаваемой в XVII–XIX вв., содержались нормы церковного и отчасти гражданского права, прежде всего церковные законы о браке.

...да прилепится муж к жене... Быт. 2, 24.

«логоса»... глагол *Евангелия* – противопоставление стихов «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1) и «В начале было Слово» (Ин. 1, 10).

«дыхание» – Быт. 2, 7.

За рекой, на горе – А. В. Кольцов. Хуторок (1839).

«чуйка» – человек в чуйке – суконой одежде в виде кафтана, распространенной в среде мешанства в XIX – начале XX в.

...глагол «яслей» – Лк. 2, 7.

...у *Геродота о Халдее и Египте* – «История» Геродота, I, 181–182, 196, 199; II, 126. К вавилонским и египетским обычаям, описанным в этих фрагментах, Розанов обращался неоднократно («Нечто из седой древности»).

«ветхой деньми» – Дан. 7, 13.

...изгры *Вакха и Киприды* – А. С. Пушкин. Воспоминание (1828); цитируется текст, оставленный автором в рукописи, но печатавшийся в составе стихотворения в изданиях П. В. Аниенкова (1858), П. О. Морозова (1903).

шестидневное – I глава книги Бытия: «И был вечер, и было утро: день шестый» (Быт. 1, 31).

По вечным... Круг жизни свершаем – И. В. Гёте. Божественное (1783) в переводе А. А. Григорьева.

...петличкам, *выпускам* – А. С. Грибоедов. Горе от ума (III действие); реплика Скалозуба.

«отнять... Эльзас–Лотарингию» – французские провинции, в 1871 аннексированные Германией.

«Ева», «жизнь» – Ева значит «дающая жизнь» (Быт. 3, 20).

«Сар–ра», в противоположность «Саре» – «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою; но да будет имя ей: Сарра. Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына» (Быт. 17, 15–16).

ноуменальный план – умопостигаемый, в противоположность феноменальному, данному в опыте ощущению, опытному.

«...мирам иным» – Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы (Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 290).

Он душу младую... без слов – но живой – М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

...съезд сифилидологов – В 1897 г. были опубликованы Труды Высочайше разрешенного съезда по обсуждению мер против сифилиса в России; комментарий Розанова к письму «одной дамы» в «Новое Время», вызванному как раз этим съездом, – одно из первых произведений мыслителя на тему пола.

Нечто из седой древности (с. 180)

Впервые – в первом издании сборника «Религия и культура» (1899). Впоследствии значительно дополнена и в переработанном виде вошла в книгу Розанова «Из восточных мотивов» (Пг., 1915. Вып. 1–3).

Эпиграф – Быт. 2, 27.

«дуброва» Мамврийская – местность близ Хеврона (Быт. 13, 18; 18, 1).

...но собственно главным в вас лице. – «Фигура человеческая вообще распадается на несколько «сосредоточений-лиц». Она как бы выпускает из себя несколько рек, и каждая река имеет свой «выход в море», т.е. выход в Космос. И вот эти-то «устья в мир» и суть в человеке – лица. Именно человек имеет: 1) голову и ее лицо – источник умственного духовного света; 2) половую сферу – откуда он повторяет себя, откуда он уходит в будущее, в вечность; 3) ступни ног – движение, странствование, перемещение; 4) кисти рук – работа, труд, созидание. «Талант» лица – «нравится», «выражать душу», говорить, убеждать, проповедовать; «талант» половой сферы – обильное и, главное, прочное, живучее, жизнедеятельное потомство; «талант» ног – путешествия, странствование, танец; «талант» кисти руки – техника, искусства, мастерства. Обращаясь к половому лицу, мы должны заметить, что главная часть нашей фигуры («корпус») имеет явно «переднее» – «заднее», «правое» – «левое», «верхнее» – «нижнее». Причем, эти «двойшки», «удвоенные части» явно сходны, близки, аналогичны друг другу. И так как «половая сфера» есть «низ относительно головы», то мы должны, всматриваясь, угадывать в ней аналогию головы. В разительном рисунке «Французской экспедиции Бонапарта в Египет» (фолиант V, табл. 69) я нашел прилож. на стр. 31 изображение и не могу не сказать, что мысль моя о «лицах в человеке» не могла бы получить никакого лучшего графического изображения, чем как сделано на этом рисунке: женщина держит повторение своего

лица, головы своей – вместе с тем преображенное чуть-чуть в лицо и голову Изиды (коровьи уши на человеческой голове – всегда принадлежность Изиды), опустив ее до уровня полой своей сферы, как бы заслонив ею половую сфер, как бы представляя вместо своей полой сферы – эту голову Изиды и лицо ее. Вместе с тем несомненно, что в то время как опущенное книзу лицо есть именно Изидино, по атрибутам и особенностям – опустила его простая египтянка, и голова ее не имеет никаких даже самых обычных украшений и убора. Следующий рисунок говорит это еще отчетливее: изображенное на нем можно принять, по округленному чертежу, по овальной форме, как бы за рождение лица из себя, за роды из себя головы» (примечание Розанова. «Из восточных мотивов»).

Дам тебе я на дорогу – М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня. (1840).

«...или отпущенной» – «Г-н Переферкович здесь неточен в языке: он упоминает о «чистой крови», т.е. о «породе», о «предках», о «пронсхождении». Между тем сам же дальше говорить о «невесте» и «жене»; но это не «чистота кровн» вовсе, а – «чистота совокупления», т.е. строгая и особенная выверенность, в куда и в кого будет поступать семя священника или первосвященника. Блюдется «чистота сосуда» – и лишь потом и зависимо это переходит и в чистоту кровн» (примечание Розанова. «Из восточных мотивов». С. 40).

Когда волнуется желтеющая нива... – одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1837). Цитируется неточно.

Милитта – вавилонская богиня плодородия и деторождения.

Как бы мала ни была монета – «Еврен не рассказывают, а историки и богословы не догадались обдумать, что «самая древняя и священная форма заключения у них брака» до сих пор есть следующая: жених подает девушку монету и произносит: «Беру тебя этою монетою в жены себе по закону отца нашего Моисея». Если девушка приняла монету – брак заключен, они – муж и жена. Никаких других формальностей и обрядов при этом не требуется. Не только по форме («монета»), но и по существу столь большой легкости и только «согласие двух» – неоспоримо, что и религиознейшее зерно (эта формула – самая сакраментальная, священная, – как бы мы сказали: «от Ярослава Мудрого и по Русской Правде»), что самая священная форма заключения брака у евреев идет прямо от вавилонской священной проституции. Впрочем, гадкое слово «проституция» принадлежит ученым и никогда не вавилонянами, ни евреями не применялось к «своим делам». Другой свет, учеными не разобранный. «Нужно согласие да любовь, и чистое тело и обильные роды». Но это – не проституции» (примечание Розанова. «Из восточных мотивов». С.52).

...оно прошло, оно пройдет – неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841).

Что в имени тебе моем... – одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1830).

...пройдя веков завистливую даль... – А. С. Пушкин. К портрету Жуковского (1818).

«всякая... истреблена из народа своего» – Втор. 27, 21.
«...и потом умрем» – 3 Цар. 17, 21.
...вот диалог из Бытия – Быт. 22, 7–8.
...свечу Воску ярого – А. В. Кольцов. Кольцо (1830).
Сжигали злых еретиков – Из поэмы А. И. Полежаева «Кориолан» (1834).
«он – брат мой» – 3 Цар. 20, 30–32.
Илья «порубил пророков» на кедроне – 3 Цар. 18, 40.
«...за это заплатишь жизнью» – 3 Цар. 20, 42.
Ганнибал у ворот! – Тит Ливий. Книга от основания города. 33, 16.

Эмбрионы (с. 211)

Впервые – в первом издании сборника «Религия и культура» (СПб., 1899. С. 239–246).

...сравнил его с книгой Марка Аврелия – из дневников Амиеля (Пер. с фр. М. Л. Толстой, под ред. и с предисл. Л. Н. Толстого. СПб., 1894. С. 2).

«Песнь торжествующей любви» – повесть И. С. Тургенева (1881).

Парижский трактат – В 1856 г. в Париже был подписан мир, завершивший неудачную для России Крымскую войну.

Дух же уныния... – из великопостной молитвы Ефрема Сирина.

...они – цезарепаписты или папоцезаристы – в первом – в подчинении церкви государству – католики обвиняют православных, во втором – в абсолютизации папой его церковной власти – православные католиков.

«Гений христианства» (1802) – сочинение Ф. Р. Шатобриана.

«Орлеанская девственница» (1735) – произведение Вольтера.

...проникновенные слова Гейне – Зангвилля И. Жизнь в смерти. Памяти Гейне // Восход. 1897. № 12. С. 142.

Новые эмбрионы (с. 218)

Впервые – «Религия и культура» (1901).

«Живый в помощи Вышняго» – Пс. 90, 1.

Библиография (с. 227–240)

Учение двенадцати апостолов

НВип. 1898. 17 июня. № 8010. С. 7.

Архиепископ Никанор. Из истории ученого монашества

Русское Слово. 1896. 1 июля № 174. С.1–2. Б. п.

А. Киреев. По поводу старокатолического вопроса
НВип. 1898. 13 мая. № 7976. С. 7–8.

И. Ф. Данилов. В тихой пристани
НВип. 1898. 10 март. № 8273. С. 6–7. Подпись: Р.
Иллюстрированная история религий
НВип. 1898. 25 нояб. № 8171. С. 7–8.
С. Литвин. Замужество Ревекки
НВип. 1898. 25 нояб. № 8171. С. 7.
Фридрих Кирхнер. Путь к счастью
НВип. 1898. 4 март. № 7908. С. 8.
Шарль Рише. Любовь
НВип. 1898. 25 февр. № 7901. С. 7.

1902 год

Поправка (с. 243)

НВ. 1902. 8 янв. № 9284.

«Где было хорошо на Новый год?» – статья (НВ. 1902. 5 янв.) вошла позднее в его книгу «Около церковных стен».

Славяне-медики и их просьба (с. 244)

НВ. 1902. 11 янв. № 9287. Б.п.

Пироговские съезды – съезды членов Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова созывались с 1885 по 1919 гг. 15 раз.

Болезни и чаяния славянского мира (с. 246)

НВ. 1902. 12 янв. № 9288. Б.п.

Автор упомянутой статьи... – в этом же номере газеты была опубликована статья «С кем сближение» В. Скловича.

К спору о памятнике Суворову (с. 248)

НВ. 1902. 16 янв. № 9292. Б.п.

Боровичи – город Новгородской губернии, основан в 1770 г. Вблизи находится бывшее поместье Суворова Кончанское.

Письмо... Шульгина – в этом же номере было опубликовано письмо Матвея Шульгина «Памятник Суворову в Боровичах».

Малороссы и великороссы (с. 249)

НВ. 1902. 21 янв. № 9297.

...географические разыскания Старицкого – речь идет о работах географа и инженера А. К. Старицкого, исследовавшего реки Забайкалья.

«Московский сборник» (1896) – книга обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева, на 5-е издание которой Розанов написал рецензию под названием «Скептический ум» (НВ. 1901. 21 нояб.; перепечатано в его книге «Около церковных стен»).

...в изданиях *Сахарова и Снегирева* – «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (1836–1837) и «Песни русского народа» (1838–1839) И. П. Сахарова, «Русские народные пословицы и притчи» (1848) И. М. Снегирева.

«галушки в рот валитесь» – ср.: А. С. Пушкин. Гусар (1833).

...поцарапать *Анатолийские берега* – пересказ мысли из главы 3 ранней редакции «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя.

...всякие *Янкели и Соломоны* – персонажи повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (глава XI).

...возвращаемся к *Лациуму* – долина, расположенная на берегах реки Тибр, где были заложены основы Древнего Рима. Покорение Италии Рим начал с завоевания Лация.

С. А. Рачинский о средней школе (с. 254)

НВ. 1902. 22 янв. № 9298.

Старый нерешенный спор (с. 258)

НВ. 1902. 23 янв. № 9299. Б.п.

Культурные сближения (с. 260)

НВ. 1902. 30 янв. № 9306. Б.п.

«Крови и железа» – неоднократно повторявшиеся слова немецкого государственного деятеля О. фон Бисмарка о том, что Германия будет объединена «железом и кровью» (речь в прусской палате депутатов 28 января 1886 г.).

Национальные таланты (с. 262)

НВ. 1902. 2 февр. № 9309. По поводу статьи Инфолио «Спор о самобытности» (НВ. 1902. 30 янв.).

Инфолио (псевдоним не раскрыт) отозвался статьей «Самобытны ли идеи?» (НВ. 1902. 4 февр.).

Сто лет поэзии и прозы (с. 264)

НВ. 1902. 6 февр. № 9313.

О множестве самобытных идей (с. 267)

НВ. 1902. 8 февр. № 9315. Отклик на статью Инфолио «Самобытны ли идеи?» (НВ. 1902. 4 февр.).

«все Русью пахнет» – ср.: А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Посвящение (1825).

**Собрание сочинений Владимира Сергеевича
Соловьёва (с. 269)**

НВип. 1902. 13 февр. № 9320. С. 10–11. Подпись: Р–в.

<О латинском языке> (с. 271)

НВ. 1902. 15 февр. № 9322. Без заглавия и подписи.

Лятынь в реальных науках (с. 271)

НВ. 1902. 16 февр. № 9323. Б.п.

50-летие кончины Гоголя (с. 273)

НВ. 1902. 21 февр. № 9328. Б.п.

...два раза видели относительно Пушкина – имеются в виду торжества в июне 1880 и 1899 гг.

«Братья-разбойники», «Шильонский узник», «Касандра», «Торжество победителей» – поэма А. С. Пушкина, повесть и баллады В. А. Жуковского.

Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти (с. 277)

Исторический Вестник. 1902. № 3. С. 1138–1140.

...автором классического перевода «Дафниса и Хлои» – имеется в виду Д. С. Мережковский (СПб., 1896).

Излюбленные дела и принцип одушевления (с. 280)

НВ. 1902. 2 марта № 9336.

Окончание педагогической лихорадки (с. 283)

НВ. 1902. 8 марта № 9342. Б.п.

Интересное чтение (с. 286)

НВ. 1902. 8 марта № 9342.

«праздно ликующих» – ср.: Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

**В. И. Модестов. Введение в римскую историю
(с. 288)**

НВип. 1902. 13 марта № 9347. С. 11–12.

Невидимый мирок (с. 290)

НВ. 1902. 16 марта № 9350. Подпись: Ibis.

О физическом воспитании в гимназиях (с. 293)

НВ. 1902. 21 марта № 9355. Б.п.

Критика устава о службе гражданской (с. 294)

НВ. 1902. 23 марта № 9357. Б.п.

Пробел в законодательстве о семье (с. 296)
НВ. 1902. 24 марта № 9358. Б.п.

<Похороны Д. С. Сипягина> (с. 298)
НВ. 1902. 5 апр. № 9370. Без заглавия и подписи.

Министр внутренних дел Д. С. Сипягин 2 апреля 1902 г. был застрелен в Марининском дворце эсером С. В. Балмашевым (повешен в Шлиссельбургской крепости 3 мая 1902 г.)

О визитах (с. 298)
НВ. 1902. 11 апр. № 9376.

Обе гоголевские барыни – Н. В. Гоголь. Мертвые души. Гл. 9.

<10-е Религиозно-философское собрание> (с. 301)
НВ. 1902. 20 апр. № 9382. Без заглавия и подписи.

<Речь Г. Э. Зейгера> (с. 301)
НВ. 1902. 25 апр. № 9388. Без заглавия и подписи.

Религиозно-философские собрания (с. 303)
НВ. 1902. 5 мая. № 9398.

Русские и французы (с. 306)
НВ. 1902. 12 мая. № 9405.

По поводу пребывания в Петербурге 8–10 мая 1902 г. французской эскадры во главе с президентом Францином Эмилем Лубе (1899–1906 гг.), установившим русско-французское сотрудничество.

«политиков крови и железа» – имеется в виду О. фон Бисмарк и его речь 28 января 1886 г. в прусской палате депутатов.

Необходимое самооправдание (с. 308)
НВ. 1902. 16 мая. № 9409.

«О классическом и нашем мире» – статья Розанова (НВ. 1902. 29 апр.; вошла в его книгу «Во дворе язычников» в наст. Собр. сочинений).

«Эллинизм» – статья Розанова (НВ. 1901. 11 июля; вошла в ту же книгу).

...критик брошюры Рачинского – речь идет о статье Розанова «С. А. Рачинский о средней школе» (НВ. 1902. 22 янв.) в настоящем томе.

С. А. Рачинский и его Татево (с. 312)
НВ. 1902. 22 мая. № 9415.

...добился от него *вашего портрета* – самый ранний портрет Розанова был сделан художником Н. П. Богдановым-Бельским (1868–1945) 21 марта 1893 г. в Татево (см. фото IX в книге: *Фатеев В. А. С русской бездной в душе.* СПб.; Кострома, 2003).

**Летние курсы языка и литературы
для иностранцев в Гренобле (с. 319)**
НВип. 1902. 25 мая. № 9418. С. 11–12.

Больницы и общество в уходе за больными (с. 321)
НВ. 1902. 28 мая. № 9421.

Арифметика великой эпопеи (с. 323)
НВ. 1902. 30 мая. № 9423.

Три года назад я посетил Севастополь... – летом 1898 г. Розанов ездил на Кавказ и в Крым.

**Письмо в редакцию <о книге В. А. Добролюбова>
(с. 330)**
НВ. 1902. 2 июня. № 9425.

«Сословно ли только безвкусице?» – статья Розанова в «Новом Времени» 23 декабря 1901 г.

«Собеседник любителей российской словесности» – первая статья Н. А. Добролюбова в журнале «Современник» (1856. № 8 и 9) под псевдонимом Лайбов. Вошла в издание сочинений Добролюбова 1862 г.

...*шутливыми стихами Конрада Лилиеншвагера* – стихи «Раскаяние Конрада Лилиеншвагера» напечатаны Добролюбовым в сатирическом отделе журнала «Современник» (1859. № 10) – «Свисток».

...*в своем исследовании русской критики – Волынский А. Л.* Русские критики. СПб., 1896.

О препятствиях к браку (с. 331)
НВ. 1902. 10 июня. № 9433.

...*«медь звенящую»* – 1 Кор. 13, 1.

**О некоторых подробностях в распределении
уроков (с. 335)**
НВ. 1902. 15 июня. № 9438. Б.п.

Главное лицо в школе (с. 336)
НВ. 1902. 16 июня. № 9439. Б.п.

Полезное издание для народа (с. 338)
НВ. 1902. 16 июня. № 9439.

Ранняя инвалидность учителей (с. 339)
НВ. 1902. 17 июня. № 9440. Б.п.

«Гармония семьи и школы» (с. 342)
НВ. 1902. 18 июня. № 9441. Б.п.

Архимандрит Антонин. Книга пророка Варуха
(с. 344)
НВ. 1902. 19 июня. № 9442. С. 11–12. Подпись: Розанов
(без инициалов).

Но как некогда Петрарка... – см. примеч. к статье «Декаденты» (том «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». М., 1996).

Недоговоренные слова (с. 345)
НВ. 1902. 19 июня. № 9442.

Гордиев узел – согласно Плутарху («Александр», 18), Александр Македонский, взяв город Гордий, увидел знаменитую колесницу, связанную узлом. По преданию, кто развяжет этот узел, станет царем всего мира. Александр разрубил его мечом.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий» – Данте. Божественная комедия. Ад, 3,9.

Помощь учителю (с. 354)
НВ. 1902. 20 июня. № 9443. Б.п.

Вознаграждение ученой и учительской службы
(с. 356)
НВ. 1902. 21 июня. № 9444. Б.п.

Леность служащих (с. 358)
НВ. 1902. 24 июня. № 9447. Б.п.

Севастопольцы и П. С. Нахимов (с. 360)
НВ. 1902. 24 и 25 июня. № 9447 и 9448.

...я был в Севастополе – Розанов был в Севастополь в августе 1898 г.
...заметки о взаимном средстве характеров русского и французского – статья Розанова «Русские и французы» (НВ. 1902. 12 мая).

Особая группа писателей (с. 366)
НВ. 1902. 28 июня. № 9451.

«Тридцать <тиранов>» – олигархи у власти в Афинах в 404 г. до н. э.

...*Любимов в известной книге* – Любимов Н. А. М. Н. Катков и его исторические заслуги. По документам и личным воспоминаниям. СПб., 1889.

«Искатели жемчуга» (1863) – опера французского композитора Ж. Бизе.

«О древнейшем периоде греческой философии» – имеется в виду «Очерки древнейшего периода греческой философии» М. Н. Каткова, задуманные как докторская диссертация (отд. изд. М., 1853).

«Роковой вопрос» (1863) – статья Н. Н. Страхова, ставшая поводом к запрещению журнала «Время».

На третье в ночь, проснувшись рано... – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. V, 1.

...*статью Леонтьева по поводу юбилея Фета* – Леонтьев К. Не кстати и кстати (Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея) //Гражданин. 1889. 21, 22 и 24 марта.

...*нормировка сахара* – для поддержания цен на сахар в 1886 г. началось законодательное нормирование производства сахара в России, утвержденное позднее законом от 20 ноября 1895 г.

Два метода службы (с. 375)

НВ. 1902. 29 июня. № 9452. Б.п.

Как принимать слушателей в специальные заведения (с. 377)

НВ. 1902. 2 июля. № 9456. Б.п.

Средство сократить служебную переписку (с. 379)

НВ. 1902. 4 июля. № 9457. Б.п.

Мотивы и характер чиновной службы (с. 381)

НВ. 1902. 12 июля. № 9465. Б.п.

«мертвые срама не имут» – согласно Нестеровой летописи, слова князя Святослава в 970 г. перед битвой с греками.

Об опасностях на воде (с. 383)

НВ. 1902. 20 июля. № 9473. Б.п.

Эпидемии прежде и теперь (с. 385)

НВ. 1902. 21 июля. № 9474. Б.п.

Маленькая хроника <Раздавленные люди> (с. 386)

НВ. 1902. 21 июля. № 9474. Подпись: В. Р–нов.

Маленькая хроника <Удобства пассажиров> (с. 387)
НВ. 1902. 22 июля. № 9475. Подпись: Р. В. В.

«летящие, как пух от уст Эала...» – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 20.

Военные и штатские врачи (с. 389)
НВ. 1902. 24 июля. № 9477. Б.п.

Частная и государственная служба (с. 390)
НВ. 1902. 6 авг. № 9490.

К пересмотру гимназического устава (с. 393)
НВ. 1902. 7 авг. № 9491. Б.п.

Обновление учебного ведомства (с. 394)
НВ. 1902. 8 авг. № 9492. Б.п.

Выучка и воспитание (с. 395)
НВ. 1902. 9 авг. № 9493.

По поводу статьи кн. Мешерского «Речи консерватора» (Гражданин. 1902. 8 авг.) о статье Розанова «К пересмотру гимназического устава» (НВ. 1902. 7 авг.).

Дм. Кайгородов. Из родной природы (с. 398)
НВип. 1902. 14 авг. № 9498.

Страховка пассажирского багажа (с. 400)
НВ. 1902. 15 авг. № 9499. Б.п.

<Об учениках гимназий> (с. 402)
НВ. 1902. 16 авг. № 9500. Без заглавия и подписи.

Университет св. Владимира – в Киеве.

Разные роды службы (с. 403)
НВ. 1902. 16 авг. № 9500.

**Альбом выставки в память Н. В. Гоголя
и В. А. Жуковского (с. 406)**
НВип. 1902. 21 авг. № 9505. Подпись: В. В.

М. Волкова, женщина-врач. Беседы о здоровье женщины (с. 406)
НВип. 1902. 21 авг. № 9505. Подпись: Р. В.

К литературной деятельности Н. Н. Страхова (с. 407)
НВ. 1902. 22 авг. № 9506.

Спящий в гробе мирно спи... – В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

Кошачья педагогика (с. 414)
НВ. 1902. 24 авг. № 9508. Б.п.

Профессорский суд (с. 416)
НВ. 1902. 29 авг. № 9513. Б.п.

Новая организация университетов (с. 418)
НВ. 1902. 30 авг. № 9514. Б.п.

О курсовых старостах (с. 420)
НВ. 1902. 1 сент. № 9516. Б.п.

Личный состав курсовых кураторов (с. 421)
НВ. 1902. 4 сент. № 9519. Б.п.

Культура и «Гражданин» (с. 422)
НВ. 1902. 6 сент. № 9521. Б.п.

Большая и малая техника (с. 423)
НВ. 1902. 10 сент. № 9525. Б.п.

Теснота в средних учебных заведениях (с. 425)
НВ. 1902. 14 сент. № 9529. Б.п.

Гений и шаблон (с. 426)
НВ. 1902. 16 сент. № 9531. Б.п.

Вл. Соловьёв и Достоевский (с. 428)
НВ. 1902. 20 сент. № 9535.

В первом абзаце цензура сняла текст после слов «...русский ум не сотворил»: «Если около маленького этого рассказа, прочитываемого за ¼ часа, поставить 10 томов проповедей Филарета, которые нужно читать год, и сравнить в обоих *силу* действия на душу, понуждения обратиться к Богу, то это будет как ложка розового масла и как воз засушенных веников» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ел. хр. 193. Л. 39).

Продолжение статьи появилось под названием «Размолвка между Достоевским и Соловьёвым» (НВ. 1902. 11 окт.; см. том «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» в наст. Собр. соч.).

Трейхмюллер – правильно: Тейхмюллер Густав (1832–1888), немецкий философ.

Вместе они ездили в 1880 году в Оптину пустынь – Достоевский и Соловьёв ездили в Оптину пустынь 23–28 июня 1878 г.

И дальней лозы прозябанье... – А. С. Пушкин. Пророк (1826).

Из темного леса навстречу ему... – А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге (1822).

Вольнослушатели в высших технических училищах (с. 435)

НВ. 1902. 24 сент. № 9539. Б.п.

Надзор за больницами (с. 437)

НВ. 1902. 24 сент. № 9539.

Н. И. Пирогов в своих посмертных записках – Пирогов Н. И. Вопросы жизни. СПб., 1885.

Инспектора рисовальных школ (с. 440)

НВ. 1902. 25 сент. № 9540. Б.п.

Т. Карлейль. Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского университета (с. 441)

НВип. 1902. 25 сент. № 9540. С. 9.

Начало важнейшего преобразования (с. 442)

НВ. 1902. 2 окт. № 9547. Б.п.

По вопросам преобразования высших учебных заведений (с. 444)

НВ. 1902. 4 сент. № 9549. Б.п.

Индивидуализация университетов (с. 445)

НВ. 1902. 9 окт. № 9554. Б.п.

А. Л. Боровиковский о браке и разводе (с. 447)

НВ. 1902. 24 окт., 1, 4, 10 и 28 нояб. № 9569, 9577, 9580, 9586 и 9604.

Споры по недоразумению (с. 463)
НВ. 1902. 25 окт. № 9570.

По поводу статьи М. О. Меньшикова «О гробе и колыбели. Совершенно новая точка зрения. Поэзия и философия нигилизма. О древнем страхе» (НВ. 1902. 20 окт.).

...Вл. Соловьёв... приветствовал германского императора, посылавшего войска на желтых – стихотворение В. С. Соловьёва «Демон» (1900).

Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко (с. 465)
НВип. 1902. 6 нояб. № 9582. С. 10. Подпись: В. Р-ов.

И Л. Щеглов (Леонтьев) (с. 466)
НВ. 1902. 12 нояб. № 9588. Б.п.

Ума холодных наблюдений – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Посвящение.

Идеалы скромных людей (с. 469)
НВ. 1902. 14 нояб. № 9590.

«Что нам» *эта Гекуба*» – У. Шекспир. Гамлет. II, 2.

Жидам Бог манну посылал с небес – чудесную пищу манну Господь посылал израильскому народу ежедневно (кроме субботы) во все время 40-летнего странствования в пустыне на пути из Египта в землю обетованную (Исх. 16, 14).

«англичанка гадит» – расхожее выражение, возникшее после Крымской войны, очевидно, на основе слов почтмейстера в «Ревизоре» Н. В. Гоголя: «Это всё француз гадит» (I, 2).

Летит обжорливая младость – А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина, 17.

Вредный антагонизм (с. 477)
НВ. 1902. 28 нояб. № 9604.

Царская милость учащейся молодежи (с. 479)
НВ. 1902. 7 дек. № 9613. Б.п.

Децентрализация учебных заведений (с. 480)
НВ. 1902. 12 дек. № 9618. Б.п.

К выработке учебников (с. 482)
НВ. 1902. 17 дек. № 9623. Б.п.

Чему я смеялся (с. 485)

Впервые: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 664–669.

В очерке рассказывается о жизни Розанова с семьей летом 1901 г. в Тюрсево вблизи Териоки. Написано в 1902 г.

...*прекрасные соседи* – в статье «Из разговоров и литературы на религиозные темы» (НВ. 1901. 30 нояб.; вошла в книгу Розанова «Около церковных стен» под названием «Миссионерство и миссионеры») говорится, что летом 1901 г. «в верстах девяти за Териоками мы переехали на дачное жилье целою группою семей, связанные зимним знакомством». Называются М. А. Новосёлов, В. М. Скворцов (редактор «Миссионерского Обозрения») и В. А. Тернавцев.

...*лет пять назад я ездил в Халилу* – летом 1897 г. Розанов ездил в санаторий Халила (Финляндия) к умирающему другу философу Ф. З. Шперку.

«*плучка*» – имеется в виду младшая дочь Розанова Надя, родившаяся 9 октября 1900 г.

1903 год

Мимходом (Из случайных впечатлений) (с. 490)

Новый Путь. 1903. № 1. С. 133–137.

Во втором коробе «Опавший листьев» Розанов называет эту статью «Жнд на Мойке».

...*декадентской Пальмиры* – С середины XVIII в. Петербург стали называть «северной Пальмирой». Пальмира – город в Сирии, славившийся в древности великолепием своих сооружений.

...*здание... где я служил* – с 1893 по март 1899 г. Розанов служил в Государственном контроле на Мойке в Петербурге.

прасол – оптовый скупщик сельских продуктов, скота для перепродаж.

Салманассар – имя царей в Ассирии II и I тысячелетий до н. э.

...*плавал в осмоленной корзинке в Ниле* – имеется в виду библейский пророк Моисей (Исх. 2, 3–6).

«*Иона в чреве китовом*» – Иона. 2, 1–11.

Тмутараканский камень – мраморная плита с русской надписью 1068 г., найденная в 1792 г. на Таманском полуострове.

Тиглат-Палассар – имя царей в древней Ассирии.

Закон и брак (с. 492)

Новый Путь. 1903. № 1. С. 176–189.

«*Брак и развод по проекту Гражданского Уложения*» – об этой книге А. Л. Боровиковского Розанов написал серию статей в газете «Новое Время» (1902. 24 окт., 1, 4, 10 и 28 нояб.).

Именины (с. 501)

Мир Искусства. 1903. Хроника. № 1. С. 1–2.

Статья написана в связи с 200-летием начала издания в Москве первой русской газеты «Ведомости», которой предшествовали в XVII в. рукописные «Курранты», составлявшиеся для царя и его приближенных. «Ведомости» учреждены указом Петра Великого от 16 декабря 1702 г., первый сохранившийся номер вышел 2 января 1703 г. С 1728 по 1917 г. газета выходила в Петербурге как «Санкт-Петербургские Ведомости» (с 1914 г. – «Петроградские Ведомости»).

О положении сельских учителей (с. 503)

НВ. 1903. 11 янв. № 9646. Б.п.

...за деревенскими Митями и Минями – персонажи в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (гл. 5).

Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском> (с. 505)

НВ. 1903. 18 янв. № 9653.

...некто К. Румынский – псевдоним педагога Василия Афанасьевича Келтуяла (род. 1867 г. в Кишиневе).

Издание соч. Влад. С. Соловьёва (с. 506)

НВ. 1903. 24 янв. № 9659.

Издание доведено до половины... – в 1901–1903 гг. вышло первое издание «Собрания сочинений» В. С. Соловьёва в 9 томах.

Административная деликатность (с. 507)

НВ. 1903. 27 янв. № 9662. Б.п.

...две газеты – «Русские Ведомости» (М., 1863–1918) и «Биржевые Ведомости» (СПб., 1861–1917).

В своем углу. От автора (с. 509)

Новый Путь. 1903. № 2. С. 135–136.

Шестидесятые годы и «утилитарная критика» (с. 509)

Новый Путь. 1903. № 2. С. 136–142. Под шапкой: «В своем углу».

«Да не будет тебе бози инии...» – Мк. 12, 32.

В «Бесах» Достоевского рассказывается... – Ф. М. Достоевский. Бесы. I, 4, 4.

«унылый стих» – очевидно, имеется в виду строка Н. А. Некрасова «Мой суровый, неуклюжий стих» («Праздник жизни – молодые годы...», 1855).

«тьмы низких истин» – А. С. Пушкин. Герой (1830).

Глазуновское издание – имеется в виду издание «Сочинений» Пушкина в 11 томах (1838–1841), последние три тома которого изданы Ильей Ивановичем Глазуновым (1786–1849).

«и близок виноград, да зуб неймет» – ср. И. А. Крылов. Лисица и Виноград (1808).

«ваалы» – боги отдельных местностей язычников Палестины, Финикии и Сирии. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу» (1 Цар. 7, 4).

«звуков чистых и молитв» – А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

«сейте разумное, доброе, вечное» – Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876).

Розенгейм Михаил Павлович – русский поэт; приобрел известность как обличитель частных злоупотреблений.

Из писем друзей и недругов (с. 513)

Новый Путь. 1903. № 2. С. 142–152. Под шапкой:

«В своем углу».

Священник и близкий друг Розанова Александр Петрович Устьинский, будучи в 1902 г. в Петербурге, разрешил публикацию в журнале «Новый Путь» своих писем к Розанову по вопросам семьи и брака, что вызвало скандал. М. О. Меньшиков в ряде статей против «Нового Пути» обрушился на Устьинского и в фельетоне «Тоже стиль модерн» (НВ. 1903. 23 марта) раскрыл его псевдоним. Архиепископ Новгородский и Старорусский Гурий, в епархии которого служил Устьинский, сделал ему внушение. Великий князь Сергей Александрович дал фельетон Меньшикова Николаю II, который распорядился «наказать этого священника и расправиться с этим журналом» (письмо Розанова к Устьинскому от 4 апреля 1903 г.). Над Устьинским был назначен духовный суд, и он был сослан на два месяца в Хутынский монастырь вблизи Новгорода (основан в 1192 г.), место погребения Г. Р. Державина).

«Философия трагедии» – статья Л. Шестова «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» в журнале «Мир Искусства» (1902. № 2–7; отд. изд. СПб., 1903).

«блажене есте, егда поносят вас...» – Мф. 5, 11.

...в одной статье, цитированы мною слова бл. Иеронима – «О ненужных и вредных обременениях» (НВ. 1902. 8 окт.; см. «Семейный вопрос в России» М., 2004. С. 574).

...за статьи о Бухареве – статья Розанова «Интересный эпизод нашей умственной жизни» (НВ. 1902. 12 и 17 дек.), перепечатана под названием «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев» в книге Розанова «Около церковных стен» (СПб., 1906).

...книжка Знаменского – брошюра «Богословская полемика 1860–х годов об отношении Православия к современной жизни» (Казань, 1902) профессора Казанской духовной академии П. В. Знаменского (1836–1917).

«Демон Лермонтова и его древние родичи» – статье Розанова в «Русском Вестнике» (1902. № 9. С. 45–56) сопутствовало примечание редакции о том, что она не разделяет симпатии автора к язычеству.

«Православно–Русское Слово» – журнал выходил в Петербурге под редакцией А. А. Дёрнова, П. Н. Лахостского и А. Н. Надеждина.

«Критика отвлеченных начал» – докторская диссертация В. С. Соловьёва, защищенная 6 августа 1880 г. в Петербургском университете. Издана в Москве в 1880 г.

...сочинения и дело Н. Н. Неплюева – общественный деятель и писатель Николай Николаевич Неплюев (1851–1908) основал детский приют, сельскохозяйственную школу и Крестовоздвиженское трудовое братство (1889). Его «Полное собрание сочинений» вышло в 5 томах (СПб., 1901–1908).

...о споре Вашем касательно христианства и язычества с М. О. Меньшиковым – Розанов написал язвительный фельетон «Кроткий демонизм» (НВ. 1897. 19 нояб.; вошел в его книгу «Религия и культура») по поводу серии статей Меньшикова в «Книжках «Недели» (1897. Сент.–нояб.), подчеркнув ханжескую суть меньшиковского аскетизма. Розанов продолжил полемизировать с Меньшиковым в статье «Смысл аскетизма» (НВ. 1897. 31 дек.), в «Письме в редакцию» (Мир Искусства. 1900. № 9/10), в статьях «Об отрицании эллинизма» (НВ. 1902. 26 авг.), «В чем разница древнего и нового миров» (НВ. 1902. 12 сент.).

...последний его фельетон... – Меньшиков заключил полемику статьей «О гробе и колыбели» (НВ. 1902. 20 окт.), в которой отверг защиту язычества Розановым и Мережковским как «религии света и радости».

«Я царь... презренная чернь» – ср.: А. С. Пушкин. Поэту (1830), Поэт и толпа (1828).

«Споры по недоразумению» – статья Розанова против Меньшикова (НВ. 1902. 25 окт.).

Университет и наука (с. 520)

Новый Путь. 1903. № 2. С. 210–214.

Московский собор 1666 г. – 12 декабря 1666 г. церковный собор с участием вселенских патриархов (Антиохийского и Александрийского) отлучил от церкви и проклял старообрядцев, патриарх Никон был лишен сана и сослан в Ферапонтов монастырь.

Поехали бы профессора на Керженец – по реке Керженец (левый приток Волги) в Нижегородской губернии существовали поселения старообрядцев. В июне 1902 г. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус ездили в те места к озеру Светлояр, к «невидимому граду Китежу».

Невозможное положение (с. 523)

НВ. 1903. 8 февр. № 9674.

Окрамный – крайний (древнерус.)

О письме гр. С. А. Толстой (с. 527)

НВ. 1903. 11 февр. № 9677. 7 февраля 1903 г.

«Новое Время» напечатало «Письмо в редакцию» жены Л. Н. Толстого С. А. Толстой с одобрительным отзывом о статье В. Буренина (НВ. 1903. 31 янв.) против сочинений Л. Андреева. По поводу письма С. А. Толстой Розанов написал статью «Случай любви» (НВ. 1903. 9 февр.; см. в настоящем Собр. сочинении том «Во дворе язычников»). Рассказ Л. Андреева «Бездна» появился в газете «Курьер» 10 января 1902 г.

...изображает гимназиста... толкающего столовым ножом в живот проститутки – имеется ввиду рассказ Л. Андреева «В тумане» (Журнал для Всех. 1902. № 12).

С кого они портреты пишут... – М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

Училище барона Штиглица – Александр Людвигович Штиглиц основал в 1876 г. художественное училище в Петербурге (позднее называлось Высшим художественным училищем им. В. И. Мухомовой).

Чтение в деревне (с. 530)

НВ. 1903. 21 февр. № 9686. Б.п.

«Валгарь» – ежедневная газета в Нижнем Новгороде (1892–1918).

Женский сельскохозяйственный институт (с. 531)

НВ. 1903. 26 февр. № 9691.

Адонис – бог плодородия и красоты в греческой мифологии.

Клотильда – дочь бургундского короля Хильперика и жена короля франкского Хлодовеха, причисленная католической церковью к лику святых.

св. Берта – жена короля кентского Этельберта, содействовала распространению христианства среди англо-саксов (VI).

Чувство солища и растений у древних евреев

(с. 538)

Новый Путь. 1903. № 3. С. 162–171. Под шапкой:

«В своем углу». То же: Мир Искусства. 1903. № 5/6.

С. 253–258.

Еще о «60-х годах» нашей истории (с. 543)

Новый Путь. 1903. С. 171–172. Под шапкой:

«В своем углу. II».

Шалун нашей прессы (с. 544)

Новый Путь. 1903. № 3. С. 173–177. Под шапкой: «В

своём углу. III».

«Сугробы» – Шаранов С. Ф. Сочинения. М., 1901. Вып. 4. Сугробы.

Обжорный ряд – бывшая улица на месте Манежной площади около Кремля.

«Русь» – ежедневная газета В. П. Гайдебурова (СПб., 1897–1901), в которой в 1897 г. печатался Розанов.

«Современные Известия» – ежедневная газета в Москве в 1867–1887 гг., издававшаяся Н. П. Гиляровым–Платоновым.

«фрыцарь без страха и упрека» – прозвище французского военачальника Пьера дю Террай де Баярда.

... в мешок хлеба подложили золоту... чашу – ср.: Быт. 44, 2.

«пришел, увидел, победил» – сообщение Юлия Цезаря о победе над понтийским царем Фарнаком в битве при Зеле (47 до н. э.)

Столетие колыбели русского просвещения (с. 547)

Новый Путь. 1903. № 3. С. 234–238.

Н. И. Пирогов рассказывает в воспоминаниях... – имеется в виду посмертно опубликованное сочинение ученого, врача и педагога Н. И. Пирогова «Вопросы жизни. Дневник старого врача» (1882).

«притча во языцех» – Втор. 28, 37 (предмет общих разговоров).

«Жизнь и труды Погодина» – незаконченное исследование Н. П. Барсукова, изданное в 22 томах (СПб., 1888–1910).

Об отмене одного католического у нас обычая

(с. 549)

Новый Путь. 1903. № 3. С. 239–244.

«С.–Петербург. Дух. Вестник» – еженедельный журнал, выходил в 1895–1901 гг.

О нормировании вознаграждения учительского труда (с. 553)

НВ. 1903. 4 марта. № 9697. Б.п.

Воз и ныне там – И. А. Крылов. Лебедь, Щука и Рак (1816).

«Волховский Листок» – издавался в Новгороде в 1903–1917 гг.

Памяти Евг. Льв. Маркова (с. 555)

НВ. 1903. 21 марта. № 9714.

Писатель Е. Л. Марков умер 17 марта 1903 г. в Воронеже.

«Софисты XIX века» – статья Маркова (Голос. 1875. 5 и 6 февр.), где он пустил в оборот название адвокатов «прелюбоден мысли».

«Барчуки. Картины прошлого» – сборник новелл Маркова (1835–1903) о его детстве и юности, печатавшийся в «Отечественных Записках» (1866–1867. Отд. изд. 1875).

...школьных воспоминаниях Дедлова – Дедлов В. Школьные воспоминания. СПб., 1902.

О медиках и медицине (с. 557)

НВ. 1903. 25 марта. № 9718.

Живя на Петербургской стороне – Розанов жил на Петербургской стороне (Павловская ул. д. 2) в 1893–1899 гг.

Ответ г. Меньшикову (с. 566)

НВ. 1903. 28 марта. № 9721. См. коммент. к статье

«Из писем друзей и недругов».

...слабого надо еще толкнуть – Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Ч. 3. О старых и новых скрижалях. § 20.

...лекции о браке г. Струженцова – Струженцов М. И. Православно-христианское учение о браке по поводу воззрения на брак гр. Л. Н. Толстого и некоторых современных публицистов //Богословский Вестник. 1902. Т. 2. Июль-август.

...в последней статье – Струженцов М. И. К вопросу о православно-христианском понимании существа брака. Ответ о. иеромонаху Михаилу (Миссионерское Обозрение. 1902. Ноябрь) //Богословский Вестник. 1902. Т. 3. Декабрь.

«Судьба Гоголя» – статья Д. С. Мережковского в журнале «Новый Путь» (1903. № 1–3).

Заметка <Еще о Д. С. Мережковском> (с. 572)

Мир Искусства. 1903. Хроника. № 4. С. 43.

В «письме в редакцию»... – см. «Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском>» (НВ. 1903. 18 янв.), на которое Мережковский ответил статьей «О гигантах и пигмеях» (Мир Искусства. 1903. № 3).

Серьезный критик (с. 572)

Новый Путь. 1903. № 4. С. 109–116. Под шапкой:
«В своем углу».

По поводу статьи «Астартизм» (Московские Ведомости) 1903. № 59, 66, 72) А. Басаргина (псевдоним А. И. Введенского).

Платон – друг... – из «Жизни Аристотеля» александрийского философа Аммония Саккаса (178–242)

Из переписки свящ. И. Филевского (с. 577)

Новый Путь. 1903. № 4. С. 116–134. Под шапкой:
«В своем углу».

«Римские впечатления» – печатались Розановым в «Новом Времени» в апреле–июне 1901 г.

Ваше «поклонение зерну» – статья Розанова «Поклонение зерну» в «Торгово-Промышленной Газете» 26 сентября 1900 г.

«Перед пастью дракона...» – В. С. Соловьёв. Дракон (1900).

Обычай – деспот – Гораций. Наука поэзии, 71–72.

Совесьть – отношение к Богу – отношение к Церкви (с. 588)

Новый Путь. 1903. № 4. С. 209–213. Раздел «Записки Религиозно-философских собраний».

О преждевременной торопливости (с. 592)

НВ. 1903. 4 апр. № 9728. Б.п.

Простая рыбачка (с. 593)

НВ. 1903. 5 апр. № 9729.

...статью 2-жи Лухмановой – статья писательницы Надежды Александровны Лухмановой «Кто дал им право» появилась в газете «Заря» 2 апреля 1903 г. Лухманова опубликована «Ответ г. Розанову» (Заря. 1903. 11 апр.). См. также статью Розанова «Г-жа Лухманова о проституции» (Новый Путь. 1903. № 12).

«Ночь 2-жи де Монтесон» – фарс в 3-х действиях Михаила Викторовича Шевлякова (1865–1913).

«будьте просты как голуби» – Мф. 10, 16.

«будьте мудры как змии» – там же.

Пашковцы – близкая баптизму протестантская секта в России конца XIX в.

Прореха учения (с. 595)

НВ. 1903. 10 апр. № 9732. Б.п.

Конец неопределенных ожиданий (с. 597)
НВ. 1903. 14 апр. № 9736. Б.п.

О высших интересах знания и речи (с. 599)
НВ. 1903. 16 апр. № 9738.

...радостные дни – до 16 апреля 1903 г. император Николай II находился в Москве.

...противоцерковном журнале – т. е. в «Новом Пути» (1903–1904).

«Господь – мое пристанище и сила...» – Пс. 45, 2.

...обвинительную кампанию в «Моск. Ведомостях» – Грингмут В. А. Как спорит г. Соловьёв //Московские Ведомости. 1891. 30 октября. Ряд статей против В. С. Соловьёва напечатал Ю. Н. Говоруха-Отрок в «Московских Ведомостях» 1891 г. (9 марта, 8 июня, 12, 26, 30 октября и 3 ноября).

«Русские церковные подвижники за XIX век» (1901) – книга духовного писателя Поселянина (псевдоним Евгения Николаевича Погожева.

«Истинно, истинно говорю... найденной овце» – ср.: Лк. 15, 4–6.

Новый тип губернских училищ (с. 607)
НВ. 1903. 16 апр. № 9738. Б.п.

Городское профессиональное образование (с. 609)
НВ. 1903. 21 апр. № 9743 Б.п.

Организация пансионеров (с. 611)
НВ. 1903. 23 апр. № 9745. Б.п.

Педагогические таланты (с. 614)
НВ. 1903. 27 апр. № 9749. Б.п.

Сыновья и дочери при наследовании (с. 616)
НВ. 1903. 30 апр. № 9752.

Эмеритура – пенсии служащим, вдовам, сиротам.

<О В. А. Грингмуте> (с. 618)
НВ. 1903. 30 апр. № 9752. Без заглавия и подписи.
По поводу «Письма в редакцию» В. М. Скворцова
(НВ. 1903. 30 апр.).

...моего фельетона – см. статью Розанова «О высших интересах знания и речи» (НВ. 1903. 16 апр.).

Замечательная статья (с. 618)

Новый Путь. 1903. № 5. С. 149–162. Под шапкой:
«В своем углу».

Ущерб изнеможенью, и на всем... – Ф. И. Тютчев. Осенний вечер (1830).
...*скверный анекдот* – Ф. М. Достоевский писал о зверствах турок в «Дневнике писателя» («1877. Май–июнь. Гл. 4.).

О либерализме как некотором общем духе (с. 626)
НВ. 1903. 8 мая. № 9760.

Вл. Соловьёв жестоко меня осмел – Соловьёв В. С. Порфирий Головлев о свободе и вере //Вестник Европы. 1894. № 2 (о статье Розанова «Свобода и вера //Русский Вестник. 1894. № 1).

«Из общественной хроники» – статья в «Вестнике Европы» (1903. № 5) с подзаголовком: «Национализм «первобытный» и «просвещенный»».

Петр Великий и Петербург (с. 629)

НВ. 1903. 16 мая. № 9768. Эпиграф о Петербурге
из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856).

Забелин написал... – историк И. Е. Забелин опубликовал труды из серии «Домашний быт русского народа»: «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях (М., 1862), «Домашний быт русских цариц XVI и XVII столетиях (М., 1869).

Костомаров в биографии Феодора Никитича – имеется в виду «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (СПб., 1873–1888. Т. 1–3) историка Н. И. Костомарова.

Ваня – один из героев оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1836, «Иван Сусанин»).

«*Довлеет днєви злѡба єго*» (церк.-слав.) – Мф. 6, 34.

«*Россия вся в будущем*» – в Записной книжке М. Ю. Лермонтова, подаренной 13 апреля 1841 г. В. Ф. Одоевским, имеется карандашная запись, обведенная чернилами: «У России нет прошлого: она вся в настоящем и будущем» (Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 384).

Из переписки с N. N. (с. 636)

Новый Путь. 1903. № 6. С. 172–191. Под шапкой:
«В своем углу».

Кимвал бряцающий – 1 Кор. 13, 1.

Кульман – немецкий мистик, как еретик сожжен в срубе в Москве в октябре 1689 г.

«*Первые шаги отечествоведения*» – статья Розанова (НВ. 1901. 17 окт.; вошла в его книгу «Во дворе язычников» в наст. Собр. соч.).

А годы – проходят, всё – лучшие годы – М. Ю. Лермонтов. «И скучно, и грустно...» (1840).

На севере диком стоит одиноко... – одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1841).

К вопросу о семейных учительницах (с. 648)

НВ. 1903. 4 июня № 9786.

М. М. – под этим псевдонимом в «Вестнике Европы» печатался редактор журнала М. М. Стасюлевич.

Задачи русской школы (с. 651)

НВ. 1903. 30 июня. № 9812. Б.п.

О звуках без отношения к смыслу (с. 652)

Новый Путь. 1903. № 7. С. 165–172. Под шапкой:
«В своем углу».

В первый год учения в Московском университете (1878–1879) Розанов жил на 3-ей Мещанской улице в доме Сабуровой.

Звонков раздавались нестройные звуки... – М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839).

Двери ее... – восточные (т. наз. Райские) двери балтистерия (1425–1452) во Флоренции работы итальянского скульптора Л. Гиберти.

Из далека (с. 657)

Новый Путь. 1903. № 7. С. 172–187. Под шапкой:
«В своем углу».

«созижду Церковь Мою» – Мф. 16, 18

«дана Мне вся власть...» – Мф. 28, 18.

«паси агнцов Моих...» – Ин. 21, 15.

«Об основаниях церковной юрисдикции» – эта статья Розанова (Новый Путь. 1903. № 4) вошла в его книгу «В темных религиозных лучах» под названием «Христос как Судия мира».

Женский педагогический институт (с. 667)

НВ. 1903. 17 июля. № 9829. Б.п.

Педагогический институт – учрежден в Петербурге в 1816 г. Ср. «Горе от ума» (III, 21) А. С. Грибоедова.

Заметка (с. 671)

НВ. 1903. 17 июля. № 9829.

Трагедия с каменным домом (с. 672)

НВ. 1903. 26 июля. № 9838. Перепечатано: Церковная Газета. Харьков. 1906. 16 апр. № 11.

«Носите тяготы друг друга...» – Гал. 6, 2.

Откуда «злые мачихи»? (с. 676)
НВ. 1903. 28 июля. № 9840.

...в степени того родства – английская королева Виктория в 1840 г. вышла замуж за двоюродного брата принца Альберта.

Одна подробность ветхозаветного культа (с. 678)
Новый Путь. 1908. № 8. С. 146–153. Под шапкой:
«В своем углу».

Годовщина смерти Золя (с. 682)
НВ. 1903. 15 авг. № 9858.

Э. Золя умер 29 сентября 1902 г.

«Париж будет назван некогда городом Гюго» – Гюго был скромным человеком и в день празднования в Париже его 80-летия сказал депутации муниципального совета: «Приветствую громадный Париж не от себя, потому что я – ничто, но от имени всего, что живет, мыслит и любит на земле» (*Паевская А.* Виктор Гюго. СПб., 1890. С. 93).

Эстонское затишье (с. 687)
НВ. 1903. 20 авг. № 9863. С редакторскими
изменениями в журнале: Летописец. 1903. № 8.
С. 255–256.

Аренбург – курортный город на острове Эзель в Эстонии, где летом 1903 г. Розанов с семьей отдыхал на даче.

...поехал отдохнуть в Лесной – летом 1895 и 1896 г. Розанов с семьей жил на даче в Лесном под Петербургом.

Я помню в Белом... – в августе 1891 г. Розанов с женой переехал из Ельца в г. Белый, где преподавал в прогимназии до марта 1893 г.

Вопрос о силе среди бесснлия (с. 696)
Новый Путь. 1903. № 9. С. 189–197. Под шапкой:
«В своем углу».

В. Х. – Василий Хлудов, автор статьи «Чему учил Иисус Христос» (Новый Путь. 1904. № 6).

«самодеятельность» *Смайльса*. – Английский писатель Сэмюэл Смайльс стал известен своей книгой по вопросам этики «Самодеятельность» (1859, переведена на 17 языков).

«Грешница» (1858) – поэма А. К. Толстого о встрече блудницы и Христа.

«клейкие листочки» – образ из стихотворения А. С. Пушкина «Еще дуют холодные ветры...» (1828); слова Ивана Карамазова в беседе с Алешей (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 2, 5, 3).

Видение Алеши Карамазова брака в Кане Галилейской – глава «Кана Галилейская» (Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы». 3, 7, 4).

...«Ипполита» на Александрийской сцене – трагедия Еврипида «Ипполит» была поставлена на сцене Александрийского театра в Петербурге 14 октября 1902 г., о чем Розанов напечатал статью в «Мире Искусства» (1902. № 9/10; см. в наст. Собр. соч. том «Среди художников»).

Школы министерства финансов (с. 701)
НВ. 1903. 8 сент. № 9882. Б.п.

**Университетский вопрос в освещении
Н. П. Гилярова–Платонова (с. 703)**
НВ. 1903. 9 сент. № 9883.

От ликующих, праздно болтающих... – Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

**Бюджет министерства народного просвещения
(с. 712)**
НВ. 1903. 11 сент. № 9885. Б.п.

О вознаграждении разных родов службы (с. 715)
НВ. 1903. 17 сент. № 9891. Б.п.

О ремеслах в школе и о бюджете школ (с. 718)
НВ. 1903. 18 сент. № 9892. Б.п.

«Южный Край» – харьковская газета, выходила с 1880 по 1917 г.

С. А. Андреевский как критик (с. 720)
НВ. 1903. 27 сент. № 9901.

Писатель С. А. Андреевский во время заседаний Религиозно-философских собраний обычно зачитывал тексты выступлений Розанова. Как адвокат Андреевский отстаивал в Петербургской судебной палате права Розанова на выпуск книги «Русская церковь» (М., 1909).

«*XII таблиц*» – законодательный кодекс, составленный в Риме в 450 г. до н. э.

Пандекты – своды законов Древнего Рима.

Флоберовские «воскресенья» – с 1870 г. Мопассан сблизился с Г. Флобером, стал его литературным учеником и посещал его.

Гёте... назвал Байрона ипохондриком – И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. 1826. 8 ноября.

«*Герой безвременья*» – статья Н. К. Михайловского в «Русских Ведомостях» (1891. 15 июля, 8 и 27 авг., 1 окт.) о Лермонтове.

О «Двух путях» Минского (с. 727)
Новый Путь. 1903. № 10. С. 263–274. Под шапкой:
«16-е Религиозно-философское собрание».

...речь Минского – Двудеинство нравственного идеала //Новый Путь. 1903. № 4; О двух путях добра // Северные Цветы. Альманах 3. М., 1903.

Терсит – в греческой мифологии безобразный незнатный воин во время Троянской войны, дерзкий и злобный.

«*Мистическая Роза*» – выражение из статьи Н. Минского «О двух путях добра» (см. В. В. Розанов. Pro et contra. СПб., 1995. Т. 1. С. 393).

...*Мстислав Храбрый новгородцам* – Новгородом управлял в 1216–1218 гг. сын Мстислава Ростиславича Храброго – Мстислав Мстиславич Удалой, который участвовал в походах южнорусских князей на половцев, а в 1219–1227 гг. правил в Галиче.

Я уже формулировал в прошлом году... – см.: Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–1903 гг.). М., 2005. С. 305–314.

Так сказал митрополит Филипп Иоанну – митрополит Филипп (в миру Федор Степанович Кольчев) 22 марта 1568 г. в Успенском соборе Кремля обратился к царю Иоанну IV Грозному с речью об ответственности перед Богом за кровопролития и беззакония, после чего он был низложен, заточен и задушен по приказу царя. Причислен к лику святых в 1652 г.

Сложность вопросов «чести» и нравственных (с. 736)
НВ. 1903. 8 окт. № 9912.

Петр Великий, в одном белье... – В ночь на 8 августа 1689 г. Петр I был разбужен вестью о заговоре и бежал в Троице-Сергиеву лавру.

Дорого ли отечество оценивает «честь» своих граждан (с. 739)
НВ. 1903. 13 окт. № 9917.

В городе Е. – Розанов служил учителем в Ельце в 1887–1891 гг.

О чувстве «чести» и гордости (с. 742)
НВ. 1903. 20 окт. № 9924.

По поводу статьи: Сослуживец. «Ответ автору «Сложности вопросов «чести» и нравственных (Письмо в редакцию)» //НВ. 1903. 17 окт.

При свете истории (с. 744)
НВ. 1903. 21 окт. № 9925.

«*Брак или развод?*» – книга А. Дёриова (СПб., 1901) с подзаголовком: «По поводу статей Розанова о незаконных детях».

...*безбрачие городских учительниц* – см. статью Розанова «К вопросу о семейных учительницах» (НВ. 1903. 4 июня).

Письмо в редакцию о. Михаила (с. 752)
Новый Путь. 1903. № 11. С. 188–190.

Дамби-сын хирел – речь идет о романе Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848). Розанов цитирует свою статью «Среди иноязычных» (см. том «О писательстве и писателях» наст. Собр. соч. (М., 1995).

Добрый почин священника (с. 754)
Новый Путь. 1903. № 11. С. 194–203.

Зачатиевский (Зачатьевский) – древнейший женский монастырь в Москве (на Остоженке) основан в 1360 г.

«Самарские Епархиальные Ведомости» – церковно-ведомственное издание выходило в Самаре в 1867–1917 гг.

К борьбе с эпидемией дерзости (с. 760)
НВ. 1903. 2 нояб. № 9937. Б.п.

...с погибшим Кублицким-Пиотухом – см. статьи Розанова о вопросах чести и нравственности (НВ. 1903. 8, 13 и 20 октября).

Армия спасения на русский лад (с. 762)
НВ. 1903. 5 нояб. № 9940.

Женский образованный труд в России (с. 771)
НВ. 1903. 21 нояб. № 9956.

Еще года три-четыре назад... – речь идет о статье Розанова «Над. В. Стасова и основание «Высших женских курсов» в Петербурге» (НВ. 1896. 9 авг.), вошедшей в книгу Розанова «Религия и культура» (1899) под названием «Женское образовательное движение 60-х годов».

Доброе слово в защиту крестьянки (с. 778)
НВ. 1903. 26 нояб. № 9961.

Г-жа Лухманова о проституции (с. 780)
Новый Путь. 1903. № 12. С. 123–127. Под шапкой:
«В своем углу».

Что им Гекуба? – выражение из «Гамлета» (2, 2) Шекспира. Актер читал Гамлету о страданиях Гекубы (жены троянского царя Приама, муж и сыновья которой погибли при осаде Трои). Говорится о чем-то, что не касается данного лица.

Моммзен и Ренан (с. 783)
Мир Искусства. 1903. Хроника. № 13. С. 133–139.

«Римские исследования» (1864–1879) – труд немецкого историка Теодора Моммзена, известного своей «Римской историей» (рус. пер. 1858–1861).

«Жизнь Иисуса» (1863) – первая книга «Истории происхождения христианства» (рус. пер. 1908–1912) французского историка Ж. Э. Ренана.
Рископорид (Рискупорид) – имя боспорских царей I–IV вв. до н. э.

О безбрачии городских учительниц (с. 791)
НВ. 1903. 2 дек. № 9967.

Земство и народные учителя (с. 793)
НВ. 1903. 8 дек. № 9973. Б.п.

Московские идеалисты (с. 795)
НВ. 1903. 11 дек. № 9976.

Между прочим <О кн. Мещерском> (с. 803)
НВ. 1903. 13 дек. № 9978. Подпись: Игрех.

Гамен – мальчишка (фр.)
...из *Гродненского переулкa* – кн. Мещерский жил в Гродненском переулке, дом 6.

Смерть Анатолия Бороздина (с. 804)
НВ. 1903. 14 дек. № 9979. Подпись: В. Р.

Союз трех дворян против России (с. 805)
НВ. 1903. 17 дек. № 9982. Подпись: Игрех.

Тенор журналистики (с. 806)
Слово. 1903. 18 дек. № 284. Подпись: Баритон.

Письма к глуховатым людям – «Письма к ближним» М. О. Меньшикова в «Новом Времени».

Живой голос (с. 808)
НВ. 1903. 19 дек. № 9984.

Приложение

Кто был организатором нашей классической системы (с. 811)
Слово. 1903. 6 февр. № 31. Подпись: Василий Елецкий.

Из печатных трудов его известны... – Розанов сокращено перечисляет труды государственного деятеля А. И. Георгиевского, покровительствовавшего Розанову, с которым он познакомился у Н. Н. Страхова в январе 1889 г. О встречах с Георгиевским Розанов рассказал в своей книге «Литературные изгнанники».

О. В. Быстрова

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник и брат Моисея – 188, 199, 678
- Абрамович Дмитрий Иванович* (1873–1955), историк русского языка и литературы – 305
- Август* (63 до н.э.– 14 н. э.), С 27 до н. э., римский император Цезарь Август – 253, 786, 788
- Августин Блаженный Аврелий* (354 – 430), христианский теолог и церковный деятель – 14, 24, 63, 590, 644, 800, 818
- Авель*, в Ветхом Завете второй сын Адама и Евы, убитый своим братом Каином – 135, 586, 656
- Авенцир*, в Ветхом Завете сын Нира – 130
- Аверроэс* (Ибн Рушд Мухаммед; 1126–1198), средневековый арабский философ и ученый – 12, 818
- Авессалом*, в Ветхом Завете сын царя Давида, убивший своего брата Аммона – 660
- Авраам*, в Ветхом Завете родоначальник евреев, отец Исаака – 17, 180, 182, 184, 185, 191, 196, 198, 200, 205–207, 209, 219, 224, 232, 542, 543, 591, 656, 660, 728, 759
- Аврелий Марк* (121–180), римский император из династии Антонинов – 212, 699, 834
- Адам*, в Ветхом Завете первочеловек – 18, 33, 105, 149, 176, 221, 576, 586, 591, 619–621, 729, 755, 771
- Адонис*, бог плодородия в древнефиникийской мифологии, в Греции и Риме – 277, 278, 311, 535, 629, 647, 850
- Адриан* (76–138), римский император из династии Антонинов – 791
- Аккерман Луиза* (1813–1890), французская поэтесса – 724
- Аксаков Иван Сергеевич* (1823–1886), публицист, философ, общественный деятель – 78, 83, 845, 704
- Аксаков Константин Сергеевич* (1817–1860), философ, публицист, историк, лингвист, поэт – 78
- Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791–1859), писатель – 169, 391
- Аксаковы* – 67, 245
- Аларих I* (ок. 370–410), король вестготов – 63
- Александр I* (1777–1825), российский император с 1801 – 313, 812, 813
- Александр II* (1818–1881), российский император с 1855 – 71, 508, 587, 824
- Александр III* (1848–1894), российский император с 1881 – 119, 315, 557, 803, 827
- Александр Македонский* (356–323 до н. э.), полководец – 84, 210, 212, 224, 374, 484, 633, 783, 840
- Александров Анатолий Александрович* (1861–1930), журналист, поэт, редактор журнала. «Русское Обозрение» – 827
- Александров Н. Д.* – 814
- Алексей (Алексий) Божий человек* (5 в.) – 31, 32
- Алексей I Комнен* (Комнин; ок. 1048–1118), византийский император – 460, 462
- Алексей* (Алексий, Симон-Елевферий; 90-е гг. 13 в.– 1378), митрополит с 1354 – 31, 32, 69, 604
- Алексий* (Алексей) Михайлович (1629–1676), царь из дома Романовых с 1645 – 69, 309, 630, 642
- Алексис Поль* (1847–1901), французский писатель – 129, 130
- Альберт* (Альберт Франц Август Карл, принц Саксен-Кобург-Готский Эммануил; 1819–861), муж королевы Великобритании Викторин – 677, 857
- Альбицкий В.*, профессор – 377, 379
- Альбов Иван Федорович*, священник, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге – 301, 305, 732
- Альмансун* (Мансур, аль-Мансур, Аль-Мансор; ?–1002), правитель Кордовского халифата (с 978) – 11
- Альф-Араби*, аль-Фараби (Фараби Абу Наср ибн Мухаммед; 870–950), философ Востока – 12
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), иеросхимонах, старец Введенской Оптинской Пустыни – 160, 215, 223, 433, 434, 726

- Аменты*, в египетской мифологии боги Запада (царства мертвых) – 7, 817
- Аммоний Сакк* (175–242), философ – 853
- Амос*, в Ветхом Завете пророк – 205
- Амьель* (Амиель) Анри Фредерик (1821–1881), швейцарский франкоязычный писатель и философ – 212, 683, 834
- Анакреон* (Анакреонт; ок. 570–478 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик – 110
- Анамелех*, в Ветхом Завете одно из языческих изображений Сепарваима, имевшее вид солнца – 203
- Анания*, в Новом Завете, обратившийся в христианство благодаря апостольской проповеди – 135
- Андерсен* Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель – 825
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 527–529, 850
- Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847–1918), юрист, поэт, критик – 720–726, 858
- Анзельм* (Ансельм) Кентерберийский (1033–1099), теолог и философ – 123
- Анна*, в Ветхом Завете мать пророка Самуила – 756
- Анна*, в Новом Завете мать Пресвятой Девы Марии – 573, 730, 755
- Анна Комнен* (Комнин), дочь византийского императора Давида II – 751
- Анненков* Павел Васильевич (1813–1887), литературный критик, мемуарист – 79, 80, 831
- Анреп* Василий Константинович (1852–1927), профессор судебной медицины – 293
- Антигона*, в греческой мифологии дочь царя Фив Эдипа – 783
- Антиох III Великий* (242–187 до н. э.), царь государства Селевкидов – 788
- Антиохи*, знатный древнеримский род – 788
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912), митрополит Петербургский и Ладужский (с 1898) – 304
- Антоний* (в миру Капустин Андрей Иванович; 1817–1894), архимандрит, духовный писатель – 344, 345, 840
- Антонин* (Александр Андреевич Грановский; 1865–1927), богослов, епископ Нарвский – 301
- Антонский* (Антон Антонович Прокопович; 1762–1848), ректор Московского университета (1819–1826), председатель Общества любителей российской словесности (1811–1826) – 77
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1768–1834), граф, государственный деятель – 44, 258, 750
- Аренс* – мифологический владелец острова Эзель – 691
- Аристид* (ок. 540 – ок. 467 до н. э.), афинский полководец – 567
- Аристотель* (384–322 до н. э.) древнегреческий философ и ученый – 10, 12, 24, 25, 161, 174, 175, 178, 720, 764, 776, 778, 795, 818
- Аристофан* (ок. 445–ок. 385 до н. э.), древнегреческий поэт-комеднограф – 274, 275
- Аркадий* Флавий (377–408), восточноримский император – 645
- Артемиды*, в греческой мифологии боги охоты – 700
- Архангельский*, член городской думы – 792, 793
- Аршневский*, командир Модлинского полка – 328
- Аскольдов* (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871–1945), философ – 795
- Аскоченский* (наст. фам. Оскошный, затем Отскоченский) Виктор Ипатьевич (1813–1879), прозаик, журналист, историк – 629, 645, 815
- Асок* (III в. до н.э.), индийский царь – 819
- Ассур*, в Ветхом Завете второй сын Сима – 202
- Астарта*, в западно-семитской мифологии богиня любви и плодородия – 158, 199–202, 831
- Атис* (Аттис), во фригийской мифологии бог плодородия – 311
- Афродита*, в греческой мифологии богиня любви и красоты – 146, 149, 192, 224, 789
- Ахав*, в Ветхом Завете восьмой царь израильский (с 924–903 до н. э.) – 204, 205
- Байрон* Джордж Ноэль Гордон (1788–1824), английский поэт – 74, 104, 125, 212, 723, 859
- Бакст* (наст. фам. Розенберг) Лев Самуилович (1866–1924), живописец, график – 305
- Бакунин* Михаил Александрович (1814–1876), революционер, теоретик анархизма – 108
- Балабанова* (Болобанова) Екатерина Вячеславовна (1847–1927), историк литературы, переводчица, писательница – 670, 776

- Балла*, в Ветхом Завете служанка в доме Лавана – 188
- Балланш* Пьер Симон (1776–1847), французский писатель и поэт – 266
- Балнашев* (Балмашов) Степаи Валерьянович (1881–1902), эсер, убивший Д.С. Сипягина – 838
- Бальзак* Оноре де (1799–1850), французский писатель – 123
- Барбанов* Е. В. – 814
- Барсуков* Николай Платонович (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, библиограф и издатель – 66, 67, 73, 77, 372, 549, 629, 823, 851
- Бартенева* Петр Иванович (1829–1912), историк, археограф, библиограф – 752, 825
- Басаргин* (псевд. Александра Ивановича Введенского; 1861–1913), религиозный философ, историк религии – 572–576, 605, 625, 853
- Басманов* Алексей Данилович (?– 1576), боярин московский – 228
- Басмановы*, русские бояре и воеводы – 15–17 вв. из рода Плещеевых – 228
- Батый* (Бату; 1208–1255), монгольский хан, внук Чингизхана – 508
- Батюшков* Константин Николаевич (1787– 1855), поэт – 68, 266
- Башкирцева* Мария Константиновна (1860–1884), художница, мемуаристка – 22, 726
- Баярд* Пьер дю Террай де (1476–1524), французский военачальник – 319, 851
- Безбородко* Александр Андреевич (1747–1799), государственный деятель и дипломат – 252
- Безродная* (урожд. Яковлева) Юлия Ивановна (1858–1910), писательница – 766
- Бекетов* Андрей Николаевич (1825–1902), ботаник, профессор и ректор Петербургского университета – 772
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811– 1848), критик, публицист – 29, 69, 79–85, 88, 265, 266, 368, 409, 413, 581, 821
- Беллона*, в римской мифологии богиня войны – 785
- Беляев* Александр Дмитриевич (1842–1919), богослов, религиозный писатель – 818
- Беляевский* Фотий Николаевич (1873 – ?), член Религиозно-философских собраний – 301, 305
- Бенедиктов* Владимир Георгиевич (1807–1873), поэт, переводчик – 513, 826
- Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844), государственный деятель. С 1826 шеф жандармов и главный начальник III отделения – 266.
- Бен-Сира*, еврейский поэт – 680
- Бенуа* Александр Николаевич (1870–1960), художник и историк и искусства – 305
- Бердяев* Николай Александрович (1874–1948), религиозный философ – 798.
- Беркли* Джордж (1685–1753), английский философ – 193
- Берман* Яков Александрович (1868–1933), юрист и философ – 338
- Бернар* Клод (1813– 1878), французский физиолог и патолог – 687
- Бернард* (Бернар) Клервоский (1090–1153), французский теолог – 123
- Берта*, святая, жена кентского короля Этельберта – 536, 850
- Берто* Габриэль, французская девушка – 127–129, 134
- Бертран* Эдуард, профессор Гренобльского университета – 320
- Бессон*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Бестужев-Рюмин* Константин Николаевич (1829–1897), историк. В 1878–1882 возглавлял петербургские Высшие женские курсы (названные его именем) – 772
- Бетховен* Людвиг ван (1770–1887), немецкий композитор – 233
- Бехли* Ю. Ю., владелец имения – 533
- Бизе* Жорж (1838–1875), французский композитор – 841
- Бизо*, начальник французских инженеров – 325
- Биконсфильд* (Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфильд; 1804–1881), премьер-министр Великобритании, писатель – 492
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), немецкий князь, первый рейхсканцлер Германской империи – 104, 260, 637, 783, 786, 836, 838
- Блаватская* Елена Петровна (1831–1891), писательница и теософ – 374
- Благосветлов* Григорий Евлампиевич (1824–1880), публицист, журналист – 330

- Богданович** (урожд. Криль) Татьяна Александровна (1872–1942), детская писательница, публицист, переводчица, мемуаристка – 776
- Богданов-Бельский** Николай Петрович (1868–1945), живописец, передвижник – 161, 318, 373, 839
- Боголепов** Николай Павлович (1846–1901), министр народного просвещения – 298, 302, 394, 395
- Бодан**, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Бодуэн-де-Куртене**, выпускница Высших женских курсов – 776
- Бокль** Генри Томас (1821–1862), английский историк, социолог – 84, 368, 475
- Бонавентур** (Бонаветура), (собст. Джовани Фиданца; 1221–1274), кардинал, философ – 123
- Бональд** Луи Габриэль Амбруаз (1754–1840), французский политический деятель, публицист, философ – 266
- Боратынский** (Баратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт – 315, 411, 722, 724, 726
- Борджиа**, Борджо Родриго (Александр VI; 1431–1503), римский папа (с 1492) – 662
- Бордугов** Иван Иванович (1834–1888), друг Н.А. Добролюбова – 826
- Борис Годунов** (ок. 1552–1605), русский царь (с 1598) – 630, 631
- Боровиковский** А. Л., сенатор, юрист – 447, 449, 451, 455, 456, 460, 462, 494–498, 500, 844, 846
- Бороздин** Анатолий, мальчик, попавший под конку – 804, 861
- Боткин** Василий Петрович (1812–1869), писатель, критик – 80–82
- Боткин** Сергей Петрович (1833–1889), терапевт – 245, 354, 712
- Бредихин** Федор Александрович (1831–1904), астроном – 354, 705, 712, 717
- Бриллиантов** Александр Иванович (1867–1933), богослов, историк церкви – 305, 574
- Бронзов** Александр Александрович (1858– после 1917), богослов и религиозный писатель – 815
- Бругам** Генри Петер (1778–1868), английский историк, юрист, политический деятель – 442
- Брюллов** Карл Павлович (1799–1852), живописец – 253
- Брюсов** Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт – 116, 118, 828
- Буарак**, ректор Гренобльского университета – 320
- Будберг** А. И., баронесса – 533
- Будда**, имя данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.) – 785
- Буклей** Э., врач – 236
- Булгаков** Сергей Николаевич (1871–1944), экономист, философ, богослов – 795
- Булгарин** Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист, писатель – 78
- Бунге** Николай Христофорович (1823–1895), заместитель министра финансов, председатель Комитета министров – 544
- Бунин** Юлий Алексеевич (1857–1921), художник, публицист, брат И. А. Бунина – 617
- Буренин** Виктор Петрович (1841–1926), писатель, литературный критик – 136, 527, 850
- Буренин** Константин Петрович (ум. 1882) – автор учебников по математике – 659
- Бурлак** Андрей, актер – 787
- Буслаев** Федор Иванович (1818–1897), филолог, искусствовед – 28, 89, 90, 213, 264, 266, 354, 465, 712, 714, 716, 717
- Буссау**, французский генерал-лейтенант – 328
- Бутлер**, англичанка – 96
- Бутлеров** Александр Михайлович (1828–1886), химик-органик – 354
- Бухарев** Александр Матвеевич (1822–1871), в монашестве архимандрит Федор, богослов – 515, 517, 816, 848
- Бухарева** Анна Сергеевна – 516
- Бэкон** Роджер (ок. 1214–1292), английский философ, естествоиспытатель – 11, 124
- Бэкон** Френсис (1561–1626), английский философ – 477, 666, 720
- Бэр** Карл Максим (Карл Эрнст) (1792–1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии – 549
- Бюффон** Жорж Луи Леклерк (1707–1788), французский естествоиспытатель – 308
- Бихнер** Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ – 709
- Ваала**, в Ветхом Завете служанка Лавана – 760
- Валаам**, в Ветхом Завете пророк – 658
- Валентиан** II (371–392), Флавий, император Западной Римской империи – 461

- Валентин* (?–160), основатель секты ранних гностиков в Риме – 135
- Валетон* И. И., врач – 236
- Валтасар*, в Ветхом Завете последний царь Вавилона из Халдейской династии – 463, 492
- Ван Дейк* Антонис (1599–1641), фламандский живописец – 318
- Ванновский* Петр Семенович (1822–1904), государственный деятель, в 1901–1902 министр народного просвещения – 302, 394
- Варен*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Варух*, в Ветхом Завете пророк – 344, 345, 840
- Варфоломей* – см. Сергний Радонежский
- Варшер* Сергей Абрамович (1854–1889), историк литературы – 465
- Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926), живописец – 106, 107, 788
- Введенский* Алексей Иванович (1861–1913), богослов, публицист – 661
- Веласкес* (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1464–1524), испанский живописец – 124
- Велиар* (*Велиал*), князь зла, обмана (2 Кор. 6, 15). – 587
- Венадад III*, в Ветхом Завете сирийский царь, сын Азияла – 204
- Веневитинов* Дмитрий Васильевич (1805–1827), поэт – 513
- Венера*, в римской мифологии богиня любви – 156, 463, 464
- Вениамин*, в Ветхом Завете младший сын Иакова – 545, 546
- Верюжский* В. М., академик – 305
- Веселовский*, учитель Н.П. Барсукова – 68
- Веспасиан* (9–79), римский император, основатель династии Флавиев – 789
- Веста*, в римской мифологии богиня домашнего очага – 148, 175, 178
- Ветрова* М. Ф., (1870–1897), участница группы народолюбцев, покончившая самоубийством – 825
- Визель* Филипп Филиппович (1786–1856), литератор, мемуарист – 266
- Виельгорские*, графы – 406
- Виктор* Эммануил II (1820–1878), первый король объединенной Италии (с 1861) – 789
- Виктория* (1819–1901), королева Великобритании – 677, 857
- Виллуан* Александр Иванович (1804–1878), композитор – 776
- Вильгельм I Гогенцоллерн* (1797–1888), прусский король (с 1861) и германский император (с 1871) – 783, 784
- Вильгельм II Гогенцоллерн* (1859–1941) германский император и прусский король (1888–1918) – 291, 586, 692, 807
- Вильгельм I Завоеватель* (ок. 1027–1087), английский король из Нормандской династии – 662.
- Вимперен*, французский генерал – 329
- Виндельбанд* Вильгельм (1848–1915), немецкий философ – 776
- Винкельман* Иоганн Иохим (1717–1768), немецкий историк искусства – 88, 512, 623
- Винуа* Жозеф (1803–1880), французский генерал, участник Крымской войны. – 329
- Виргилий*(Вергилий Марон Публий; 70–19 до н. э.), римский поэт – 123
- Витте* Сергей Юльевич (1849–1915), граф, государственный деятель – 544, 701, 714, 812
- Владимир I* (?–1015), князь, в 988 ввел в Киевскую Русь христианство – 91, 402
- Вовчок* Марко (наст. имя и фам. Мария Александровна Вилинская; 1833–1907), украинская и русская писательница, переводчица – 825
- Воеводский* Н. В., капитан 1-го ранга – 361
- Войков*, флигель-адъютант – 328, 389
- Волкова* М., врач – 406, 842
- Волконский* Сергей Михайлович (1860–1937), князь, театральный деятель, прозаик – 305
- Вольтер* (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694–1774), французский писатель, философ – 27, 217, 819, 834
- Волюнский*(наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863–1920), критик, искусствовед – 331, 839
- Вольта* Алессандро (1745–1827), итальянский физик и физиолог – 336
- Воротыньские*, князья, бояре – 69
- Вриенний* Филофей (1833–?), богослов, ученый, никодимский митрополит в Константинопольском патриархате – 2027
- Врубель* Михаил Александрович (1856–1910), живописец – 571
- Вульф* Алексей Николаевич – 829
- В. Х.* (Василий Хлудов), автор статьи в «Новом Пути» – 696–698, 700, 701, 867

- Вышнеградский* Иван Алексеевич (1831/32–1895), ученый, в 1888–1892 министр финансов – 378, 812
- Вышнеградский* Николай Алексеевич (1821–1872), педагог – 354
- Вяземский* Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, литературный критик – 73, 144
- Гааз* Федор Петрович (1780–1853), главный врач московских тюрем (с 1828) – 163–166, 721, 831
- Гагарин* Иван Сергеевич (1814–1882), князь, дипломат, в 1843 уехал из России и вступил в орден иезуитов – 266
- Гайдебуров* Василий Павлович (1866–после 1940), поэт, эссеист, издатель – 308, 851
- Гален* (ок. 130–ок. 200), древнеримский врач – 12
- Галилей* Галилео (1564–1642), итальянский ученый – 124
- Галкин*, командир полка – 329
- Гамалиил*, в Ветхом Завете законодатель из фарисеев – 661, 662
- Гамбета* (Гамбетта) Леон (1833–1882), премьер-министр и министр иностранных дел Франции – 154, 791
- Ганнибал* (247/246–183 до н. э.), карфагенский полководец – 210, 834
- Гарвей* (Харви) Уильям (1578–1657), английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии – 76
- Гармодий*, сообщник убийцы Аристогона, выходца из знатного афинского рода – 224
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель – 722
- Гверчино* (Гуэрчино, наст. фам. Барбьери Франческо; 1591–1666), итальянский живописец – 138
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 104, 211, 266, 407, 429, 430, 512, 744
- Геден*, в Ветхом Завете седьмой судия израильский из колена Манассиина – 758
- Гейм*, профессор Московского университета – 75, 76
- Гейне* Генрих (1797–1856), немецкий поэт – 218, 367, 684, 826, 834
- Гезиод* (Геснод; 8–7 вв. до н. э.), древнегреческий поэт – 21
- Геккель* Эрнст (1834–1919), немецкий биолог – 153
- Геккери* Лун Борхард де Беверваард (1791–1884), барон, голландский дипломат – 142, 143
- Георгиевский* Алексей Иванович (1830–1811), председатель ученого комитета министерства народного просвещения – 812, 813, 861
- Гераклит* Эфесский (кон. 6–нач. 5 вв. до н. э.), древнегреческий философ – 429
- Гербст* Вильгельм (XIX в.), немецкий филолог, педагог – 345
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ, критик – 549
- Геркулес*, лат. форма имени Геракла, героя греческой мифологии – 278, 789
- Геродот* (между 490 и 480 – ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк – 174, 190–192, 194–198, 202, 203, 206, 209, 564, 664
- Герсон* (14 в.), раввин – 457, 498
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ – 69, 78, 80, 84, 106, 266, 823
- Гершель* Уильям (Фридрих Вильгельм) (1738–1822), английский астроном – 429
- Герье* Владимир Иванович (1837–1919), историк – 258, 712
- Геспериды*, в греческой мифологии дочери богини Никты и Атланта – 85
- Гёте* Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 125, 151, 156, 186, 310, 433, 434, 465, 466, 512, 684, 686, 723, 726, 786, 830, 831, 849
- Гетто*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Гейфре*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Гиббон* Эдуард (1737–1794), английский историк – 587
- Гиберти* Лоренцо (ок. 1381–1455), итальянский скульптор и ювелир – 856
- Гильдебранд* Григорий (Григорий VII; между 1015 и 1020–1085), римский папа (с 1073) – 226, 232, 637
- Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824–1887), философ, историк религии, публицист – 230, 606, 658, 703–705, 707–709, 711, 851, 858
- Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869–1945), писательница – 849
- Гиппократ* (ок. 460–ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач – 12, 80, 562
- Гитье*, преподаватель Гренобльского университета – 321

- Гишар*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Глаголев Сергей Сергеевич* (1865–?), богослов, историк церкви – 311, 312
- Гладстон Уильям Юарт* (1809–1898), премьер-министр Великобритании (1868–1874) – 104, 442
- Глазунов Илья Иванович* (1786–1849), издатель – 848
- Глинка Михаил Иванович* (1804–1857), композитор – 475, 855
- Гоббс Томас* (1588–1679), английский философ – 822
- Говетт*, преподаватель Гренобльского университета – 320
- Говоров С.*, автор брошюры «Брачный вопрос в быту учащихся начальной школы» – 648, 649
- Говоруха-Отрок* (Говорухо-Отрак) Юрий Николаевич (1850–1896), писатель, театральный и литературный критик – 319, 366, 854
- Гоголь Николай Васильевич* (1808–1852), писатель – 67, 69, 70, 74, 164, 165, 231, 252, 253, 266, 273–277, 339, 406, 410, 468–470, 473, 483, 536, 544, 547, 594, 605, 637, 699, 815, 836–838, 842, 843, 847
- Годрилье*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Голицын Александр Николаевич* (1773–1844), князь, государственный деятель, обер-прокурор Св. Синода – 44, 750
- Голицын Николай Борисович* (1794–1866), музыкант, поэт, переводчик – 95, 315, 826
- Голицына Аграфена Ивановна*, знакомая М.П. Погодина – 69, 71
- Голубкина Анна Семеновна* (1864–1927), скульптор – 827
- Гольдсмит* (Голдсмит) Оливер (1728–1774), английский писатель – 109
- Гомер*, древнегреческий поэт – 13, 20, 21, 84, 146, 210, 314, 345, 470, 829
- Гонорий Флавий* (384–423), император Западной Римской империи – 645
- Гончаров Иван Александрович* (1812–1891), писатель – 99, 313, 429, 511
- Горардо*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Гораций* (65–8 до н. э.), римский поэт – 273, 426, 853
- Горбов Н.*, переводчик – 441
- Горвиц*, предприниматель – 707
- Горожанская М. В.*, жена генерал-майора, учредительница сельской школы – 533
- Горький Максим* (Алексей Максимович Пешков; 1868–1836), писатель – 265, 693, 739, 762
- Горчаков Михаил Иванович* (1838–1911), богослов – 551
- Гоше*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Грахун*, братья: Тиберий (162–133 до н. э.), римский трибун; Гай (153–121 до н. э.), римский трибун – 567, 787
- Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855), историк, общественный деятель – 29, 78, 80, 89, 106, 395, 653, 742
- Грациан Флавий* (353–383), римский император – 319
- Грау Рудольф Фридрих*, немецкий ученый – 14, 818
- Гребёнка Евгений Павлович* (1812–1848), украинский и русский писатель – 266
- Гревс Жюль* (1807–1891), президент Франции (1879–1887) – 114
- Грибоедов Александр Сергеевич* (1795–1829), писатель, дипломат – 312, 722, 831, 856
- Григорий Богослов* (Григорий Назиантин; ок. 330–ок. 390), греческий поэт, прозаик, богослов – 579, 581, 643
- Григорьев Аполлон Александрович* (1822–1864), литературный и театральный критик, поэт – 407–410, 412, 831
- Гримм*, братья: Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859), немецкие филологи – 786
- Грингмут Владимир Андреевич* (1851–1907), публицист, редактор газеты «Московские Ведомости» – 544, 601–606, 618, 854
- Гринёва М.Н.* жена генерал-майора Мариуца – 533
- Грот Николай Яковлевич* (1852–1899), философ – 797–802
- Грот Яков Карлович* (1818–1893), филолог – 776
- Губер Эдуард Иванович* (1814–1847), поэт, переводчик – 266
- Губонин П. И.*, русский нефтепромышленник – 251
- Гульковский*, учитель Н.П. Барсукова – 68
- Гумбольдт Александр* (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник – 310, 315

- Гунст*, устроительница женских сельскохозяйственных курсов – 532
- Гурий* (Н. В. Охотин; 1838–1912), архиепископ Новгородский – 640, 641, 644, 759, 778, 848
- Гусев* Алексей Федорович, богослов – 231, 517
- Гутели* Т., врач – 236
- Гуттен* Ульрих фон (1488–1523), немецкий писатель, идеолог рыцарства – 115
- Гуттенберг* (Гуттенберг) Иоганн (между 1394–1399 (или 1406)–1468), немецкий изобретатель книгопечатания – 391
- Гоббнет*, профессор Киевского университета – 327
- Гюго* Виктор Мари (1802–1885), французский писатель – 687, 723, 857
- Гюм*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства в кон. 11 в. – ок. 950 до н. э. – 14, 15, 24, 46, 130, 148, 158, 201, 205, 586, 591, 604, 655, 660–662, 678, 728, 754
- Давид II*, трапезундский император из династии Комнинных – 751
- Дау* Луи Никола (1770–1823), маршал Франции – 783
- Давыдов* Денис Васильевич (1784–1839), поэт – 71, 74
- Даль* Владимир Иванович (1801–1871), писатель, лексикограф, этнограф – 253, 433
- Данзас* Константин Карлович (1801–1870), лицейский товарищ Пушкина, секундант в дуэли с Дантесом – 829
- Даниил*, в Ветхом Завете пророк – 132, 133
- Данила* Филиппович, костромской крестьянин, основатель секты хлыстов – 37
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), философ, естествоиспытатель – 85, 369, 408–410, 412, 668, 802
- Данилов* И. А. псевдоним О. А. Фрибес – 233
- Данте* Алигьери (1265–1321), итальянский поэт – 12, 226, 684, 723, 728, 818, 840
- Дантон* Жорж Жак (1759–1794), деятель Великой французской революции – 158, 159
- Дарвин* Чарлз Роберт (1801–1882), английский естествоиспытатель – 153, 162, 256, 310, 345
- Даргомыжский* Александр Сергеевич (1813–1869), композитор – 91
- Дарк* О. – 814
- Даров* В. Псевдоним В. Я. Брюсова.
- Дворянин*, врач – 321
- Дедлов* (наст. фам. Киги) Владимир Людвигович (1656–1908), прозаик, публицист, критик – 557, 852
- Декарт* Рене (1596–1650), французский философ, математик, физик – 160–162, 174, 190, 192, 308, 574, 666, 706, 798
- Декэн*, командир французской бригады в Крымской войне – 328
- Делянов* Иван Давидович (1818–1897), граф, государственный деятель, министр народного просвещения (с 1882) – 302, 799, 812
- Демидовы*: русские заводчики и земледельцы – 252
- Демосфен* (384– 322 до н. э.), афинский оратор и политический деятель – 426
- Денисовы*, братья: Андрей (1664–1730) и Семен (1682–1747), предводители поморского старообрядчества 1-я пол. 18 в. – 31, 821
- Демчинский* Николай Александрович (1851–1919), журналист, сотрудник «Нового Времени» (статьи о погоде) – 267
- Державин* Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт – 68, 848
- Дёрнов* Александр Александрович (1857– ?), протоиерей Петропавловского собора, сотрудник церковных изданий – 662, 664, 667, 735, 749, 759, 849, 860
- Диккенс* Чарлз (1812–1870), писатель – 683–685, 860
- Димитрий* Полнокрет (337–283 до н. э.), сын Антигона, царь – 783
- Диодор Сицилийский* (ок. 90–21 до н. э.), древнегреческий историк – 191
- Дионис*, в греческой мифологии бог виноградарства и виноделия – 698–700
- Дионисий II* (367–344 до н. э.), тиран Сиракуз – 110, 827
- Дионисий Геликарнасский* (2-я пол. 1 в. до н. э.), древнегреческий ритор, исторический писатель – 33
- Дмитриев* Иван Иванович (1760–1837), поэт – 68, 70, 73
- Дмитриев-Мамонов* М. А., граф – 73
- Дмитрий Донской* (1350–1389), вел. князь Московский (1359) и Владимирский (1362), полководец – 69

- Дмитрий Ростовский* (Даниил Саввич Туптало; 1651–1707), митрополит Ростовский, писатель – 34, 317
- Добровский* Йозеф (1783–1829), чешский филолог – 70
- Добролюбов* Александр Михайлович (1876–1945?), поэт – 118, 330, 823, 828
- Добролюбов* В. А. – 330, 331
- Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861), литературный критик – 81, 82, 84, 99, 330, 407, 409, 412–414, 512, 668, 826, 839
- Донской* А. (Свирский) Алексей Иванович, 1865–1942), писатель – 339
- Досифей* (?–1691), возможно, один из видных деятелей среди старообрядцев – 44
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881), писатель – 82, 143, 146, 155, 156, 160, 164, 179, 221, 250, 266, 269, 276, 277, 288, 309, 369, 407, 431, 433–435, 510, 511, 515, 556, 594, 605, 625, 698–700, 722–726, 728, 816, 831, 834, 835, 840, 843, 847, 858
- Дьяконов* А. П., участник Религиозно-философских собраний – 305
- Дьяконов* Петр Иванович (1855–1908/09), хирург – 245
- Дюрок*, французский коммерсант – 128, 129, 133, 134
- Дюма* Александр (1802–1870), французский писатель – 280
- Дюмениль*, преподаватель Гренобльского университета – 320
- Дягилев* Сергей Павлович (1872–1929), театральный и художественный деятель – 305, 826
- Ева*, в Ветхом Завете жена Адама, прапра-матерь рода человеческого – 33, 96, 100, 149, 154, 178, 221, 576, 619, 729, 755, 756
- Егоров* Иван Федорович, священник – 301, 303, 305
- Една*, в Ветхом Завете жена Рагуила – 149
- Ездра*, в Ветхом Завете потомок первосвященника Хелкни, автор трех книг – 15–17
- Езекииль* (Иезекииль), в Ветхом Завете пророк – 147, 201, 202, 205, 207, 220, 539, 540, 585, 635, 680
- Екатерина*, великомученица – 655
- Екатерина II* (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 53, 824
- Елагина* Авдотья Петровна (урожд. Юшкова; 1789–1877), мать сыновою И. В. и П. В. Киреевских – 315
- Елагины* Н. и В. – 406
- Елена*, сестра греческого императора Феофила – 751
- Елена Иоанновна*, вел. княгиня Литовская, королева Польская – 77
- Елена Павловна*, вел. княгиня (Фредерика-Шарлотта-Мария; 1806–1873), жена вел. князя Михаила Павловича – 94, 327
- Елисавета* (Елизавета) Петровна (1709–1761), российская императрица (с 1741) – 111, 827
- Елизавета* Тюрингенская, ландграфиня – 62, 66
- Елисей*, в Новом Завете пророк – 493
- Емельянов-Коханский* (наст. фам. Емельянов) Александр Николаевич (1871–1936), поэт, беллетрист, переводчик – 117, 828
- Енишерлов* Г. П., автор писем к Розанову – 545–547
- Енох*, в Ветхом Завете пророк, патриарх – 231
- Ермак* Тимофеевич (?–1585), казачий атаман, около 1581 начал освоение Сибири – 253, 338
- Ерофеев* В. В. – 814
- Ефимий*, основатель секты бегунов – 49
- Ефрем Сирин* (4 в.), богослов – 829, 834
- Ж-ва* Софья, автор письма к Розанову – 353
- Жабокритский*, генерал – 327
- Жак* Гюстав, французский художник – 828
- Жерве* Альфред Альбер (1837–?), командир французской батареи во время Крымской войны – 329
- Живокини* Василий Игнатьевич (1805–1874), актер – 466
- Жуковский* Василий Андреевич (1783–1852), поэт – 68, 74, 264, 266, 315, 406, 432, 517, 829, 833, 837, 842, 843
- Жуковский* Дмитрий Евгеньевич (1868–1943), издатель философской литературы – 795
- 3-ич. Т. М., корреспондент Розанова из Австрии – 664, 667
- Забелин* Иван Егорович (1820–1908/09), историк, археолог – 264, 278, 629, 855

- Зайцев*, врач – 245
- Загурский* Леонид Николаевич (1847–1912), юрист, историк права – 746–751
- Захей*, в Новом Завете начальник сборщиков податей – 667
- Зангвиля* И., автор статьи о Г. Гейке – 834
- Заозерский* Николай Александрович (1851–1919), богослов, публицист – 639, 640, 645, 731, 732, 734, 759
- Заратустра* (Заратуштра), Зороастр (между 10 и 1-й пол. 6 в. до н. э.) пророк и реформатор древнеиранской религии – 126, 827
- Захарын* Григорий Антонович (1829/30–1897), терапевт – 356, 710–712
- Зевс*, в греческой мифологии верховный бог – 350
- Зелфа*, в Ветхом Завете служанка в доме Лавана – 188, 760
- Зенгер* Г. Э. (1853–1919), министр народного просвещения (1902–1904) – 301, 302, 838
- Златовратский* Николай Николаевич (1845–1911), писатель – 686
- Златоуст* (Иовани Златоуст; между 344 и 354–407), византийский церковный деятель – 68, 639
- Знаменский* Петр Васильевич (1836–1917), церковный историк – 515, 849
- Золя* Эмиль (1840–1908), французский писатель – 120, 123, 129, 682–687, 857
- Зонтаг* Аня Петровна (урожд. Юшкова; 1785–1864), датская писательница, племянница В. А. Жуковского – 406
- Иаир*, в Новом Завете начальник синагоги – 662
- Иаков*, в Ветхом Завете патриарх – 16, 180, 181, 224, 588, 656, 728, 759, 760
- Иаков*, в Новом Завете апостол – 638
- Иващенко* А. П., государственный деятель – 712–715, 717, 718
- Иегова*, в Ветхом Завете одно из имен Божьих – 19, 201, 442, 543, 661
- Иеремиас* Ф., врач – 236
- Иеремия*, в Ветхом Завете пророк – 275, 344, 345
- Иероваам*, в Ветхом Завете (975–954 до н. э.), первый царь десяти колен Израилевых – 221
- Иероним Пражский* (ок. 1380–1416), ученый, сподвижник Яна Гуса – 515, 848
- Иефай*, в Ветхом Завете один из судей израильского народа – 181, 190, 194
- Изида* (Исида), в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра – 310
- Измаил*, раввин – 644, 645
- Иисус Навин*, в Ветхом Завете служитель Моисея – 183, 199
- Иисус*, в Ветхом Завете сын Сирахов, писатель – 19
- Иисус Христос* – 29, 39–41, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 63, 64, 136–141, 147, 152, 165, 174, 200, 217, 218, 229, 254, 276, 277, 282, 286, 311, 435, 504, 515, 517, 520, 566–568, 573, 578, 580–582, 584–589, 594–600, 604–606, 621, 636, 638, 639, 642–645, 648, 657–665, 674, 675, 696–700, 729, 732, 733, 753, 764, 787, 810, 821, 823
- Илий*, в Ветхом Завете первосвященник и последний судия из дома Аарона – 181, 205
- Илия*, в Ветхом Завете пророк – 205, 493, 834
- Илия* Фесвитянин, в Ветхом Завете пророк из галаадского селения Фесвы – 199, 203, 204, 638, 663
- Иловайский* Дмитрий Иванович (1832–1920), историк, публицист – 396–398, 483
- Ильина*, крестьянка – 767
- Ильинский*, капитан-лейтенант – 329
- Иннокентий*, старообрядческий епископ – 233, 255, 569
- Инфолио*, псевдоним неизвестного критика – 267, 268, 836
- Иоав*, в Ветхом Завете один из трех племянников Давида – 130, 148, 829
- Иоаким* (Иван Савелов; 1621–1690), десятый патриарх Московский и всея Руси – 286
- Иоаким*, в Ветхом Завете старший сын Осии – 131, 133, 573
- Иоаким*, в Новом Завете отец Пресвятой Девы Марии – 573, 755
- Иоанн III* (Иван) (1440–1505), вел. князь Московский (с 1462). При нем было свергнуто монголо-татарское иго – 69, 309
- Иоанн* (Иван) *IV Грозный* (1530–1584), первый русский царь (с 1547) – 69, 114, 264, 309, 630, 631, 633, 656, 733, 804, 859
- Иоанн Богослов*, в Новом Завете апостол и евангелист – 24, 582, 586, 638, 646, 662, 699
- Иоанн Мосх* (кон. 6 – нач. 7 вв.), византийский духовный писатель, составитель сб. «Луг Духовный» – 829

- Иоанн Предтеча*, в Новом Завете предшественник Иисуса Христа, провозвестник его прихода – 349, 754–756
- Иоанн Лествичник* (7 в.), византийский религиозный писатель – 588
- Иоанн VI Константин* (Иоанн VI Кантакузин; ок. 1293–1383), византийский император (1341–1354) – 751
- Иоанн* (Владимир Сергеевич Соколов; 1818–1869), богослов, епископ Смоленский – 229
- Иоанн Кронштадтский* (Иоанн Ильич Сергиев; 1829–1908/09), церковный писатель и публицист, настоятель собора Андрея Первозванного в Кронштадте – 215, 648
- Иоанна* (Жанна) *Д'арк* (ок. 1412–1431), в ходе Столетней войны 1337–1453 возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков – 160–162, 165
- Иов*, в Ветхом Завете благочестивый старец из страны Уц – 16, 165, 201, 539, 540, 564, 662, 675
- Иоиль*, в Ветхом Завете пророк – 36, 38
- Иона*, в Ветхом Завете пророк – 493, 542, 643, 661, 846
- Иона* (?–1461), митрополит Московский – 31, 32, 604
- Иосиф*, в Ветхом Завете старший сын патриарха Иакова – 545
- Иосиф Аримафейский*, в Новом Завете член синедриона и тайный ученик Иисуса Христа – 663
- Исаак*, в Ветхом Завете сын Авраама и Сары – 180, 181, 196, 202, 203, 220, 224, 656, 728
- Исаак Сириянин* (Сирин) (8 в.), писатель – 516
- Исайя*, в Ветхом Завете пророк – 17, 205, 540, 541, 569, 587
- Исидор* (15 в.), московский митрополит – 664
- Истокин* Владимир Иванович (1809–1855), контр-адмирал – 327, 363, 366
- Иуда*, в Ветхом Завете четвертый сын Иакова от Лии – 224, 228, 730
- Иуда*, в Новом Завете апостол, предавший Иисуса Христа – 135, 137
- Ишимова* Александра Осиповна (1806–1881), детская писательница, переводчица – 79
- Каброль*, французский лейб-медик – 127
- Кавезина*, девушка, погибшая под поездом – 671, 672
- Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, публицист – 79, 354, 395
- Кавур* Жамилло Бенсо (1810–1861), лидер итальянского освободительного движения – 99, 826
- Каин* – в Библии брат Авеля
- Кайгородов* Дмитрий Никифорович (1846–1924), фенолог, орнитолог, писатель, педагог – 398, 842
- Каиафа*, в Новом Завете первосвященник – 664
- Калейдович* Константин Федорович (1792–1832), историк, археолог – 67
- Калигула* (12–41), римский император (с 37) из династии Юлиев-Клавдиев – 567, 804
- Калита* (Иван I Калита; ?–1340) князь Московский (1325), великий князь Владимирский (1328) – 69
- Кальвин* Жан (1509–1564), деятель Реформации, основатель кальвинизма – 590
- Каллаш*, Мария Александровна (1886–1954), философ, литературовед – 466
- Камбиз II* (Камбис), царь персов (529–552 до н. э.) – 210
- Кампанелла* Томмазо (1568–1639), итальянский философ, поэт – 109–111
- Кант* Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 141, 155, 269, 432, 524, 574, 666, 744, 776
- Каракалла* (186–217), римский император (с 211) из династии Северов – 197, 350
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк – 27, 68–70, 73–75, 264–266, 276, 397, 549, 803
- Карл Великий* (742–614), франкский король с 766, с 800 – император из династии Каролингов – 118, 633
- Карлеиль* Томас (1795–1881), английский публицист, историк, философ – 266, 441, 442, 844
- Карпов*, капитан-лейтенант – 328
- Карташов* (Карташёв Антон Владимирович 1875–1960), богослов, историк церкви – 301, 305
- Кассандра*, в греческой мифологии пророчица – 278, 708
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, издатель журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости» – 82, 254, 366–370, 704, 708, 811, 813, 823, 841

- Кауер* Карл Людвиг (1828–1885), немецкий скульптор – 137
- Квантилиан* (ок. 36–ок. 66), римский оратор – 775
- Кельсиев* Василий Иванович (1836–1872), литератор – 33, 45–49, 54, 55, 331, 821, 822
- Керн* (урожд. Полторацкая) Анна Петровна (1800–1879), близкий друг А. С. Пушкина – 143
- Керн* Ф. С., начальник Малахова кургана – 365
- Килян*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Киреев* Александр Алексеевич (1833–1910), публицист, историк – 230, 231
- Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856), религиозный философ, литературный критик, публицист – 78, 315, 406
- Киреевский* Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, публицист – 78, 406
- Киричевы*, крестьянские сестры – 767
- Кирхнер* Фридрих, автор книги «Путь к счастью» – 239
- Кистяковский* Борис Александрович (1862–1920), правовед, социолог – 795
- Клавдий* (Тиберий Клавдий Нерон Германник; 10 до н. э. – 54 н. э.), римский император – 492
- Клейпер* (19 в.), филолог – 345
- Клеопатра* (69– 30 до н. э.), последняя царица Египта (с 51) из династии Птолемея – 828
- Климент* Тит Флавий (кон. 2-го и нач. 3 вв.), пресвитер александрийской церкви, писатель, богослов – 227
- Клодий* (Публий Клодий Пульхр) (ок. 92–52 до н. э.), народный трибун – 787
- Клодт фон-Юргенсбург* В. К., брат скульптора Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга (1805–1867) – 466
- Клопшток* Фридрих Готлиб (1724–1803), немецкий поэт – 70
- Клотильда* (475–545), дочь бургундского короля Хильперика, жена франкского короля Хлодвига I – 536, 850
- Ключевский* Василий Осипович (1841–1911), историк – 56, 59, 62, 823
- Кнейпер* (XIX в.), филолог – 345
- Ковалевская* О. И., учредительница сельскохозяйственной школы – 533
- Ковалевская* Софья Васильевна (1850–1891), математик – 670
- Ковалевский* Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог – 258
- Ковальницкий* Аполлон Серверович, публицист, историк церкви – 754–759
- Коган*, предприниматель компании «Коган, Горвиц и К^о» – 707
- Козлов* Алексей Александрович (1831–1901), философ, публицист – 430
- Коллатин*, римский консул – 567
- Колле*, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Колпенская* М. И., учредительница сельскохозяйственной школы – 533
- Колумб* Христофор (1451–1506), мореплаватель, открывший Америку (1492) – 97, 226, 291, 727
- Колчак* Василий Иванович (1837–1913), генерал-майор, отец А. В. Колчака – 361, 363, 364
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 339, 826, 831, 834
- Коменский* Ян Амос (1592–1670), чешский мыслитель, педагог, писатель – 336
- Комнены* (Комнины), династия византийских императоров – 332
- Комод* (Коммод; 161–192), римский император (с 180) из династии Антонинов – 567
- Кондаков* Никодим Павлович (1844–1925), историк византийского и древнерусского искусства – 305
- Кондорсэ* (Кондорсе) Жан-Антуан Никола (1743–1794), маркиз, французский философ, математик – 115
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, общественный деятель – 163, 720–722, 831
- Константин I Великий* (ок. 285–337), римский император (с 306) – 645, 787, 789
- Константин II* (317–340), римский император (с 337) – 645
- Константин V*, византийский император (741–775) – 461
- Константин Николаевич* (1827–1892), вел. князь – 54
- Коперник* Николай (1473–1543), астроном – 25–27, 124, 819
- Корвин-Пиотровская*, организатор сельскохозяйственных курсов – 52
- Коренева* Р. А., двоюродная сестра Д. И. Писарева – 826
- Корнелия*, мать Тиберия и Гая Гракхов – 525

- Корнилий*, в Новом Завете римский сотник – 644
- Корнилов* Владимир Алексеевич (1806–1854), вице-адмирал, руководил обороной Севастополя во время Крымской войны – 327, 363, 366
- Коробейников* Трифон, странник – 251
- Коровин* Константин Алексеевич (1858–1902), живописец, брат С. Коровина – 827
- Косовиц* Казтан, профессор – 812
- Костомаров* Николай Иванович (1817–1885), русский и украинский историк и писатель – 251, 631, 855
- Кох* Лоберт (1843–1910) – немецкий микробиолог, основатель бактериологии. – 104
- Кочубей* Виктор Павлович (1768–1834), князь, государственный деятель, дипломат – 44
- Коши* Огюстен Луи (1789–1857), французский математик – 774, 775
- Кошка* Петр Маркович (1828–1882), матрос – 324
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист – 79
- Красовский* (Красовский Антон Яковлевич, 1823–1898), акушер и гинеколог – 128
- Кристи* Франческо (1818–1901), участник итальянского Рисорджименто, премьер министр (1893–1896) – 643
- Критий* (ок 460–403 до н. э.), афинский философ, оратор, писатель – 366
- Крозаль*, директор курсов Гренобльского университета – 320
- Крамвель* Томас (1485–1540), лорд, главный правитель Англии (с 1539) – 442
- Крылов* Иван Андреевич (1769–1844), писатель, баснописец – 266, 339, 415, 416, 432, 553, 767, 848, 851
- Ксенофан* из Колофона (ок. 570–480 до н. э.), греческий философ, поэт, рапсо́д – 21, 23, 819
- Ксенофонт* (ок. 430–355 или 354 до н. э.), древнегреческий писатель, историк – 110, 812
- Кубарев* Алексей Михайлович (1796–1881), историк греческой и римской литературы – 67, 68
- Кублицкий-Пиотух*, офицер – 736–738, 742, 743, 760, 761, 860
- Кудели* Прасковья Франциевна (1859–1944), выпускница Высших женских курсов, публицист – 776
- Кудрявцев* Петр Николаевич (1816–1858), историк, беллетрист, общественный деятель – 80–82, 84, 653
- Кулиш* Пантелей Александрович (1819–1897), украинский писатель, историк, этнограф – 79, 80, 82, 406, 466
- Кульман* Квириы (1651–1689) – немецкий поэт и философ-мистик – 640, 855
- Курбский* Андрей Михайлович (1528–1583), князь, писатель, в 1564 бежал в Литву – 264
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745–1813), полководец – 812
- Л. Иван Павлович*, преподаватель елецкой гимназии – 739, 740
- Л-н Н.*, автор статьи о Ги де Мопассане – 120
- Лаван*, в Ветхом Завете брат Ревекки, отец Лии и Рахили, тесть Иакова – 196, 197, 656, 759
- Лавровская* Елизавета Андреевна (1845–1919), певица (контральто) – 97
- Ладыженский*, губернатор – 507
- Лазарев* Михаил Петрович (1788–1851), адмирал, флотоводец и мореплаватель – 327, 366
- Лазаревский* Николай Иванович (1878–1921), правовед – 294, 295
- Лазарь*, в Новом Завете имя нищего – 141, 660, 769
- Лазарь*, в Новом Завете брат Марии и Марфы, воскресенный Христом – 34, 39, 230
- Ламанский* Владимир Павлович (1833–1914), историк, филолог, этнограф – 305
- Ламартин* Альфонс (1790–1869), французский поэт – 266
- Ланге* Г. О., библиограф – 236
- Лаппо-Данилевский* Александр Сергеевич (1863–1919), историк – 795
- Лапрадель* Жоффри де, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Ласкеев* П. М., участник Религиозно-философских собраний – 305
- Лафатер* Иоганн Каспар (1741–1801), швейцарский писатель – 138
- Лафон*, художник – 137, 138
- Лахотский* (Лахостский) Павел Николаевич, протонерей, публицист – 735, 849
- Лебедев*, педагог – 373
- Лебедев* Алексей Иванович, профессор гинекологии и акушерства – 305
- Лебедев* П. П., философ, участник Религиозно-философских собраний – 305

- Лев III* (ок. 675–741), византийский император (с 717), основатель Исаврийской династии – 460, 461, 748
- Лев XIII* (1810–1903), римский папа – 692
- Левий*, в Ветхом Завете третий сын Иакова – 730
- Левитан* Исаак Ильич (1860–1900), живописец – 827
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 104, 706
- Леман* Э, врач – 236
- Ленбах* Франц фон (1836–1904), немецкий живописец – 783
- Лео* Андре, французенка – 96
- Леонардо да Винчи* (1452–1519), итальянский живописец скульптор, архитектор – 279
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), писатель, публицист, дипломат – 368–370, 398, 431, 434, 435, 816, 841
- Леонтьев* Павел Михайлович (1822–1874), филолог, журналист и соратник М. Н. Каткова – 708, 811
- Леопарди* Джакомо (1798–1837), итальянский поэт – 104
- Лепорский* Петр Иванович (1871–1923), религиозный публицист, богослов, профессор Петербургской духовной академии – 305
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт – 7, 108, 145, 150, 185, 197, 212, 266, 275, 279, 339, 400, 473, 571, 635, 648, 683, 684, 722–724, 815, 817, 825, 827, 830, 832, 833, 850, 855, 856, 859
- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), писатель – 136, 139, 140, 142, 829
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий драматург и литературный критик – 331, 512, 513, 623
- Либих* Юстус (1803–1873), немецкий химик – 266, 428
- Ливий* Тит (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк – 834
- Ливингстон* Давид (1813–1873), английский исследователь Африки – 503
- Лилиеншангер* Конрад (псевд. Н. А. Добролюбова) – 331, 839
- Линд* В. Н., переводчик – 236
- Липранди* Иван Петрович (1790–1880), чиновник особых поручений при министерстве внутренних дел – 28, 48
- Липсиус* Рихард Альберт (1830–1892), немецкий богослов – 109
- Лисицын* М. А., священник – 301, 578
- Лисснер* Э., типограф – 817
- Лист* Ференц (1811–1886), венгерский композитор – 711
- Листер* Джозеф (1827–1912), английский хирург – 560, 561
- Литвин* Савелий Константинович (наст. имя и фам. Шеель Хаимович Эфрон; 1849–1926), прозаик, драматург – 189, 237
- Литке* Федор Петрович (1797–1882), граф, мореплаватель и географ – 826
- Лия*, в Ветхом Завете старшая дочь Лавана и первая жена патриарха Иакова – 188, 220, 760
- Лобачевский* Николай Иванович (1792–1856), математик – 269
- Лодер* Христиан Иванович (1753–1832), анатом, профессор Московского университета – 68, 76, 824
- Локк* Джон (1632–1704), английский философ – 614
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711–1765), ученый-естествоиспытатель, поэт, историк, художник – 68, 75, 547
- Лопатин* Лев Михайлович (1855–1920), философ, психолог – 800, 801
- Лоран* Франсуа (1810–1887), бельгийский юрист и историк – 70
- Лот*, в Ветхом Завете племянник Авраама – 661
- Лубе* Эмиль (1838–1921), президент Франции (1899–1906) – 838
- Лука*, в Новом Завете евангелист – 583, 646
- Лухманова* (урожд. Байкова) Надежда Константиновна (1844–1907), прозаик, драматург – 166–169, 177, 180, 593–595, 780–782, 831 853
- Лысенко*, генерал-майор – 329
- Львов* Александр Федорович (1798–1870), композитор, скрипач – 315
- Любимов* Николай Алексеевич (1830–1897), сотрудник изданий М. Н. Каткова – 367, 398, 707, 812, 814
- Людovic XI* (1423–1483), французский король (с 1461) из династии Валуа – 320
- Людovic XIV* (1638–1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов – 103, 437
- Людovic XV* (1710–1774), французский король (с 1715) – 827

- Лютер* Мартин (1483–1540), деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства – 29, 115, 587, 590, 600, 603, 605
- Люцина* (Луцина), в Древнем Риме богиня-покровительница браков – 278
- Ляйль*, геолог – 220
- М. М.* (псевд. Михаила Матвеевича Стасюлевича; 1826–1911), редактор журнала «Вестник Европы» – 648, 856
- Магдалина*, в Новом Завете Мария Магдалина, – 594
- Магамет*, правитель Македонии – 751
- Мазини* Анджело (1844–1926), итальянский певец (тенор) – 367
- Майков* Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 408, 410, 411
- Майн Рид* (Рид Томас Майн; 1818–1883), английский писатель – 797
- Маккаеи*, в Ветхом Завете дети священника Маттафии – 756
- Мак-Магон* Патрис (1808–1893), маршал Франции – 328, 329
- Маколей* Томас Бабингтон (1800–1859), английский историк, политический деятель – 266
- Маленбранш* (Мальбранш) Никола (1638–1715), французский философ – 193
- Малинин* Александр Федорович (1834–1888), автор учебников по математике, публицист – 659
- Мальпиги* Марчелло (1628–1694), итальянский биолог, врач – 76
- Малютин* Сергей Васильевич (1869–1937), живописец, график – 827
- Малаяин* Филипп Андреевич (1869–1940), живописец – 815
- Манташев* Александр Иванович (1849–1911), купец, основатель в Баку нефтепромышленного общества «А. И. Манташев и К°» – 404
- Маракуев* В. Н. (?–1921), журналист, редактор-издатель – 818
- Марий* Гай (р. в 156 до н. э.), римский полководец, политический деятель – 786, 787
- Мариуц-Гринёва* М. М. – см. Гринева М. Н.
- Мария*, в Новом Завете мать Иисуса Христа – 17, 573, 659, 756
- Мария*, в Новом Завете сестра Марфы и Лазаря – 34
- Мария Александровна* (1824–1880), российская императрица (с 1855), жена Александра II – 701, 702
- Марк*, в Новом Завете евангелист – 815
- Марков* Евгений Львович (1835–1903), прозаик, публицист – 151, 555–557, 852
- Маркс* Карл (1818–1883), немецкий мыслитель, философ – 110
- Мартинсон* В. А., участник Религиозно-философских собраний – 305
- Марфа*, в Новом Завете сестра Марии и Лазаря – 34, 100
- Маслов* Алексей Николаевич (1852–1922), прозаик, публицист – 323–327, 329
- Матвей Ржевский* (Матвей Александрович Константиновский; 1791–1857), духовный отец Гоголя – 231, 330, 406, 699
- Матиас*, профессор Гренобльского университета – 321
- Матфей*, в Новом Завете апостол и евангелист – 18, 43, 139, 646
- Матченко* Иван Павлович (1850–1919), географ, издатель посмертных сочинений Н. Н. Страхова – 407
- Мафусаил*, в Ветхом Завете патриарх – 89, 825
- Меланхтон* Филипп (1497–1560), немецкий богослов и педагог – 115
- Мельников* Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1818–1883), писатель – 54, 806, 807
- Мельхиседек*, в Ветхом Завете царь Салимский – 200
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, педагог, общественный деятель – 256, 279, 354, 417, 705, 716, 717
- Мендельсон* Н. В., литературовед – 466
- Мендельсон* (Мендельсон-Бартольди) Феликс (1809–1847), немецкий композитор – 315
- Меньшиков* (Меншиков) Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I – 631
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918), публицист, литературный критик – 144–150, 153, 158, 159, 163–165, 463, 517–519, 566–571, 593, 803, 807, 845, 848, 849, 852, 861
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель – 135, 277–279, 301, 305, 505, 506, 517, 518, 571, 572,

- 574, 593, 594, 698–700, 815, 816, 828, 837, 847, 852
- Мерзляков** Алексей Федорович (1778–830), поэт, эстетик, переводчик – 67, 68, 77
- Меркурий**, в римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников – 463, 464
- Меркушев М.**, типограф – 817
- Меровинги**, первая королевская династия во Франкском государстве (кон. 5 в.–751) – 791
- Мессалина** (р. ок. 25 н.э.), третья жена римского императора Клавдия, символ разпутства – 158, 159, 785
- Местр де** (Местр Жозеф Мари де; 1753–1821), граф, французский публицист, религиозный философ – 266
- Метерлик Морис** (1862–1949), бельгийский драматург, поэт – 117
- Меттерних Клеменс** (1773–1859), князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства (1809–1821), канцлер – 254
- Метсу** (Метсю) Габриэль (1629–1667), голландский живописец – 137
- Мещерский Владимир Петрович** (1831–1914), князь, редактор-издатель журнала «Гражданин» – 395–398, 422, 523, 445, 523, 571, 620, 803–805, 861
- Микель-Анжело** (Микеланджело) Буонаротти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор – 164, 217, 218, 279, 655, 834
- Микула Селянинович**, богатырь-пахарь, герой русских былин – 711
- Милан Обренович** (1854–1901), король (Милан I) в 1882–1889 из династии Обреновичей – 643
- Милитта**, греческое имя богини Иштар, покровительница любви и плодородия – 196, 197, 203, 780, 833
- Милова Мария**, выпускница Высших женских курсов – 775
- Милль Джон Стюарт** (1806–1873), английский философ, экономист – 96, 96, 167
- Милорадович Михаил Андреевич** (1771–1825), граф, военный губернатор Петербурга (с 1818) – 44
- Милхам**, в Ветхом Завете божество моавитян – 201
- Милютин Николай Алексеевич** (1818–1872) – 94
- Милютин Юрий Николаевич** (1856–1912), один из основателей и лидеров партии «Союз 17 октября» (октябристы) – 304
- Минин Кузьма Минович** (?–1616), организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции – 545, 797, 811
- Миних Бурхард Кристоф** (1683–1767), граф, русский военный и государственный деятель – 428
- Минский** (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937), писатель – 727–730, 859
- Мирана Хуан**, иезуит – 823
- Миролюбов Виктор Сергеевич** (1860–1939), публицист, редактор-издатель – 305
- Митрофанья**, игуменья – 665, 666
- Михаил** (Матфей Десницкий; 1762–1820), митрополит Петербургский (1818), церковный писатель – 44
- Михаил** (Павел Васильевич Семенов; 1874–1916), активный участник Религиозно-философских собраний – 570, 574–576, 699, 700, 730–733, 752–754, 815, 852, 860
- Михаил Федорович** (1596–1645), первый царь из династии Романовых – 630–632
- Михайлов Михаил Ларионович** (1829–1865), поэт, прозаик, переводчик – 826
- Михайловский Виктор Михайлович** (1846–1904), публицист, педагог – 466
- Михайловский Николай Константинович** (1842–1904), идеолог либерального народничества – 81, 85, 464, 572, 724, 807, 816, 859
- Мицкевич Адам** (1798–1855), польский поэт – 247
- Могила Петр Симеонович** (1596/97–1647), деятель украинской культуры, церковный писатель – 551, 552
- Модестов Василий Иванович** (1839–1907), историк, филолог – 288, 289, 837
- Моисей**, в Ветхом Завете предводитель израильских племен, пророк – 22, 32, 34, 43, 133, 182, 183, 188, 189, 201, 206, 208, 217, 218, 220, 228, 291, 448, 492, 493, 538, 540, 542, 567, 585, 656, 660, 665, 667–679, 699, 754, 758, 833, 834, 846
- Мольте (Старший) Хельмут Карл** (1800–1891), граф, германский генерал-фельдмаршал и военный теоретик – 637, 783

- Маммзен** Теодор (1817–1903), немецкий историк – 109, 288, 652, 654, 783–786, 788, 790, 791, 860
- Мопассан** Гюи де (Мопассан Гн де; 1850–1893), французский писатель – 120, 123, 126, 148, 722, 828, 859
- Мор** Томас (1478–1535), английский государственный деятель, писатель – 109–111
- Мордовцев** Даниил Лукич (1830–1905), русский и украинский писатель, историк – 251
- Морилло**, профессор Гренобльского университета – 320
- Морозов** Петр Осипович (1854–1920), историк литературы и театра – 831
- Моцарт** Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 162, 414
- Мстислав Мстиславич Удалой**, князь Торопецкий, Новгородский и Талицкий – 859
- Мстислав Ростиславич Храбрый**, князь Смоленский – 733, 859
- Мудров** Матвей Яковлевич (1776–1831), один из основоположников терапии и военной гигиены в России – 76, 824
- Мурильо** Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец – 124, 225
- Мусин-Пушкин** Алексей Иванович (1744–1817), граф, историк – 79
- Мухина** Вера Игнатьевна (1889–1953), скульптор – 850
- Мюрат** Иоахим (1767–1815), сподвижник Наполеона I, маршал Франции – 783
- Мюрже** Аири (1822–1861), французский писатель – 266
- Мюссе** Альфред де (1810–1857), поэт – 723
- Мятлев** Иван Петрович (1796–1844), поэт – 315
- N. N.**, адресат статьи Розанова – 636, 641, 648
- Навскикия** (Навскикия), в греческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя и Ареты, которая оказала помощь попавшему в беду Одиссею – 98
- Навуходоносор II** (605–562 до н. э.), в Ветхом Завете царь Вавилонии – 463
- Надеждин** Александр Николаевич (1844–?), религиозный писатель, публицист, редактор журнала «Православно-Русское Слово» – 849
- Надеждин** Николай Иванович (1804–1856), исследователь по историческим и религиозно-бытовым вопросам, критик, эстетик, издатель журнала «Телескоп» – 44, 45, 48, 330, 331, 368
- Надсон** Семен Яковлевич (1862–1887), поэт – 408
- Надепин** А. Л. – 814
- Назимов** Тимофей Александрович (1871–?), религиозный писатель – 305, 730, 732
- Наполеон I** (Наполеон Бонапарт; 1769–1821), французский император (1804–1814) – 115, 212, 314, 336, 484, 633, 662, 663, 666, 784, 812, 832
- Наполеон III** (Наполеон Бонапарт; 1808–1873), французский император (1852–1870) – 307
- Нарышкин** Александр Алексеевич (1839–?) сенатор, товарищ председателя Совета объединенных дворянских обществ (1906) – 805, 806
- Наталья** (Наталья Кирилловна Нарышкина; 1551–1694), мать Петра I – 69
- Нахимов** Павел Степанович (1802–1855), адмирал, флотоводец – 324, 327, 360, 361, 363–366, 840
- Неандер** (1789–1850), немецкий церковный историк – 33
- Некрасов** Николай Алексеевич (1821–1878/77), поэт – 79, 81–83, 266, 276, 288, 408, 410, 475, 510, 512, 513, 629, 706, 722, 815, 837, 848, 855, 858
- Некрасова** Е. С., автор статей о Н. А. Некрасове – 466
- Немесиды** (Немесиды), в древнегреческой мифологии богиня судьбы – 492
- Неплюев** Николай Николаевич (1851–1908), помещик, религиозный публицист, основатель Преображенской женской сельскохозяйственной школы – 517, 533, 849
- Нерон** (37–68), римский император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев – 254, 350, 492, 567, 789
- Нестеров** Михаил Васильевич (1862–1947), живописец – 788
- Нестор** (11–нач. 12 вв.), летописец – 72, 76, 317, 545, 763
- Нефёдов** Филипп Диомидович (1838–1902), прозаик, журналист, этнограф, археолог – 824
- Нечаев-Мальцев** Юрий Степанович (1834–1913), владелец стекольного завода в Гусь-Хрустальный, меценат – 373

- Нибур* Бартольд Георг (1776–1831), немецкий историк – 33, 88, 289
- Никанор*, аскет – 830
- Никанор* (Александр Бровкович; 1827–1890), архиепископ Харьковский, религиозный писатель – 185, 228–230, 348
- Никодим*, в Новом Завете фарисей, член сиведриона – 661–663
- Никола* (Николай Мирликийский; 1-я пол. 4 в.), святой – 664
- Николай II* (1869–1918), российский император (1896–1917) – 848, 854
- Николай I* (1796–1955), российский император (с 1825) – 103, 295, 313, 372, 397, 817, 824
- Николай V*, римский папа (1447–1455) – 187
- Никольский* Николай Константинович (1863–1936), историк русской церкви, богослов – 305
- Никон* (Никита Минов; 1605–1681), патриарх (с 1652) – 822, 849
- Ницше* (Ницше) Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 104, 126, 278, 441, 514, 567, 568, 570, 666, 828, 852
- Нобель* Людвиг (1831–1888), шведский промышленник – 404
- Новгородцев* Павел Иванович (1866–1924), юрист, философ – 795
- Новосёлов* Михаил Александрович (1864–после 1937), духовный писатель, публицист, издатель – 846
- Ноеминь*, в Ветхом Завете свекровь моавитянки Руфи – 95
- Ной*, в Ветхом Завете праведник, спасшийся вместе с семьей на ковчеге во время всемирного потопа – 52
- Новиков* Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, журналист, издатель – 253
- Ньютон* Исаак (1643–1727), английский математик, механик, астроном – 104, 154, 160, 212, 219, 527
- Оболенский* Евгений Петрович (1796–1865), князь, декабрист – 68
- Огарев* Николай Платонович (1813–1877), поэт, мыслитель – 466
- Одесский* М. П. – 814
- Одоевский* Владимир Федорович (1803 или 1804–1869), князь, писатель, музыкальный критик – 315, 855
- Одоевские*, княжеская семья – 406
- Озирис* (Осирис), в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскрешающей природы – 311
- Олег* (?–912), древнерусский князь – 433, 460, 748, 749
- Ольга* (?–969), княгиня, жена Киевского князя Игоря. Ок. 957 приняла христианство – 536
- Ольденбург* (урожд. Тимофеева) Александра, выпускница Высших женских курсов – 775
- Ольденбург* Сергей Федорович (1863–1934), востоковед – 795
- Ольхины*, братья – 95
- Омальский*, герцог – 128
- Омулевский* (наст. фам. Федоров) Иннокентий Васильевич (1836 по др. свед. 1837–1883), прозаик, поэт, переводчик – 824
- Орлов* Алексей Григорьевич (1737–1807/08), граф, государственный деятель – 53
- Орнатский* Философ Николаевич, протоиерей – 816
- Орфей*, в греческой мифологии певец – 770
- Осия*, в Ветхом Завете пророк – 202
- Осорьина* Ульяна Устиновна (?–1604), жена зажиточного провинциального дворянина – 59–63, 65
- Островский* Александр Николаевич (1823–1886), драматург – 469, 511, 808
- Отт* Дмитрий Оскарович (1855–1929), акушер-гинеколог – 244, 246
- Офни*, в Ветхом Завете один из сыновей Илхи – 181
- Оффенбах* Жак (наст. имя и фам. Якоб Эбершт; 1819–1880), французский композитор – 226, 619
- Павел I* (1754–1801), российский император (с 1796) – 43
- Павел*, епископ – 345
- Павсаний* (Павсаний), древнегреческий историк 2 в. до н. э. из Малой Азии – 191
- Павлов* Михаил Григорьевич (1793–1840), философ – 68
- Павлов* Николай Филиппович (1803–1864), писатель – 315
- Павлов* С. А., профессор церковного права – 460, 461
- Павлова* (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893), поэтесса – 315, 406
- Павловский*, протоиерей – 406

- Паевская А.* – 857
- Паллада*, прозвище Афины – 464
- Пан*, в греческой мифологии бог защитник пастухов и мелкого рогатого скота – 573, 575, 625
- Пантелеев* Лонгин Федорович (1840–1919), общественный деятель – 251
- Панфилов*, командир батареи – 328
- Парадизова* Елена, выпускница Высших женских курсов – 776
- Парацельз* (Парацельс) (наст. имя Филипп Адреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493 – 1541), врач и естествоиспытатель – 104
- Параменион*, полководец Филиппа II и Александра Македонского – 224
- Парменид* из Элеи (ок. 540–480 до н. э.), древнегреческий философ – 21, 795
- Пастер* Луи (1822–1895), французский основоположник современной микробиологии и иммунологии – 308, 385, 527, 560, 561, 565, 791
- Патти*, итальянские певицы (колоратурное сопрано), сестры: Аделина (1843–1919) и Карлотта (1835–1889) – 367
- Пафнутий* Исповедник, епископ из г. Тарса, участник I Вселенского собора (325 в Никее, Малая Азия) – 583
- Первов* П. Д., товарищ Розанова по елецкой гимназии – 817, 818
- Переферкович* Наум Абрамович (1871–1940), филолог, переводчик и комментатор Талмуда – 189, 207, 209, 543, 833
- Перикл* (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег, вождь демократической группировки – 53, 224
- Перро* Шарль (1628–1703), французский писатель – 775
- Перцов* Петр Петрович (1868–1947), литературный критик, поэт, издатель – 817
- Песталоцци* Иоганн Генрих (1746–1827), швейцарский педагог – 336, 337
- Петерсон* Ваня, иконописец – 373
- Петерсон* Ольга Михайловна (1856–1919), переводчица, историк литературы – 776
- Петр*, в Новом Завете апостол, ученик Иисуса Христа – 38, 279, 573, 644, 658, 661, 662, 664, 680, 682, 696, 697
- Петр* (?–1326), митрополит (1305–1326) – 31, 32, 604
- Петр I Великий* (1672–1825), царь (с 1682), первый российский император (с 1721) – 29, 51, 55, 68, 69, 75, 212, 213, 229, 251, 253, 309, 424, 428, 462, 491, 505, 513, 629, 636, 731, 847, 859
- Петрарка* Франческо (1304–1374), итальянский поэт – 124, 345, 840
- Петровский*, уездный врач – 767
- Петрункевич* Иван Ильич (1844–1928), земский деятель, юрист, один лидеров кадетов – 805, 806
- Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), хирург, анатом, педагог – 76, 88, 91, 230, 345, 315, 327, 337, 354, 439, 548, 705, 712, 759, 835, 844, 851
- Пирр* (319–273 до н. э.), царь Эпира (с 306) – 230
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист, литературный критик – 81, 82, 84, 85, 99, 135, 409, 512, 826
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель – 99
- Пифагор* (6 в. до н. э.), древнегреческий философ, математик – 279, 518, 700
- Плават* Тит Макций (сер. 31 до н. э.), римский комедиограф – 822
- Платон* (428 или 427–348 н 347 до н. э.), древнегреческий философ – 12, 23, 24, 108–111, 123, 124, 137, 146, 149, 158, 161, 165, 166, 192, 195, 211, 224, 232, 410, 429, 431, 432, 524, 573, 621, 700, 701, 764, 795, 819, 827, 853
- Платон* (Левшин) (1737–1812), митрополит Московский, богослов – 54, 255
- Платонов* Сергей Федорович (1860–1933), историк – 712
- Платонова* (урожд. Шалюнина) Надежда, выпускница Высших женских курсов – 776
- Плеснер* (XIX в.), филолог – 345
- Плетнев* Петр Алексеевич (1792–1865/66), поэт, критик – 79, 776
- Плотин* (ок. 204/205–269/270), греческий философ – 172
- Плутарх* (ок. 45–ок. 127), древнегреческий писатель, историк – 840
- Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907), государственный деятель – 250, 304, 703, 704, 711, 803, 826
- Повало-Швейковский* – 730, 731
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель – 66, 68–70, 72–77, 395, 630, 823, 824, 851
- Поджо* (Браччолини) Джан Франческо Поджо; 1380–1459), итальянский писатель – 125, 465

- Пожарские*, князья – 250
- Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь, полководец, соратник К. Минина – 797, 811
- Покровская*, врач – 780
- Полежаев* Александр Иванович (1804–1838), поэт – 834
- Поленов* Василий Дмитриевич (1844–1927), живописец – 827
- Полифем*, в греческой мифологии один из циклопов, сын Посейдона – 572
- Полонский* Яков Петрович (1819–1898), поэт – 408, 410, 411
- Полонцова* (урожд. Кравченко) Екатерина, выпускница Высших женских курсов – 776
- Поливанов* Лев Иванович (1891–1899), педагог, литературовед, общественный деятель – 811
- Померанская* Т. В. – 814
- Помпадур* Жанна Антуанетта Пуассон (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV – 827
- Помпей Великий* Гней (106–48 до н. э.), римский полководец – 783, 786
- Помяловский* Николай Герасимович (1835–1863), писатель – 255, 414, 705
- Понтий Пилат*, римский всадник, наместник Иудеи (с 26 н. э.) – 659
- Попов* К. Д., переводчик – 227
- Поппея*, любовница римского императора Нерона – 785
- Поселянин* Е. (Евгений Николаевич Погожев; 1870–1831), церковный писатель, публицист – 602, 854
- Поссевин* Антоний, иезуит, папский посланник в Москву – 55
- Постников* Владимир Ефимович (1844–1908), экономист – 258
- Потемкин* Григорий Александрович (1739–1791), государственный и военный деятель – 53, 54
- Провац*, врач – 753, 754
- Преображенский* Петр Алексеевич (1828–1893), протоиерей, публицист, переводчик – 800
- Прометей*, в греческой мифологии титан – 218, 224
- Протейкинский* Виктор Петрович (ум. не ранее 1914), участник Религиозно-философских собраний, член Религиозно-философского общества – 301, 304
- Протопопов* Михаил Алексеевич (1848–1915), литературный критик – 85
- Птоломей I* (Птолемей), полководец Александра Македонского, основатель царской династии в эллинистическом Египте (305–30 до н. э.) – 783
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799–1837), поэт – 68, 70, 74, 134, 136, 142–144, 155, 163, 184, 185, 194, 265, 267, 269, 273–276, 309, 338, 367, 386, 411, 414, 434, 468, 473, 475, 483, 510–512, 519, 571, 633, 683, 684, 705, 723, 728, 742, 824, 829, 831, 832, 836, 837, 841, 844, 845, 848, 849, 858
- Равинский* (Ровинский) Дмитрий Александрович (1824–1895), государственный деятель, собиратель гравюры и лубка – 253
- Рагуилл*, в Ветхом Завете родственник Товита – 148
- Раден* Эдита Федоровна, баронесса, фрейлина Елены Павловны – 94
- Радищев* Александр Николаевич (1749–1802), мыслитель, писатель – 466
- Разин* Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), предводитель Крестьянской войны 1670–1671, донской казак – 253, 631
- Рамм*, издатель – 693
- Рафаэль Санти* (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 162, 187, 190, 194, 197, 212, 764
- Рахиль*, в Ветхом Завете младшая дочь Лавана и вторая жена патриарха Иакова – 188, 220, 754, 759, 760
- Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902), ботаник, деятель народного просвещения – 164, 254–257, 308, 313–319, 366–373, 478, 838
- Ребезова*, деятельница народного образования – 533
- Ревекка*, в Ветхом Завете сестра Лавана и жена Исаака – 98, 195, 198, 201, 221, 656, 759
- Реджан*, автор статьи в газете «Новое Время» – 525
- Реймонд* Марсель, преподаватель Гренобльского университета – 321
- Рейхлин* Иоганн (1455–1522), немецкий филолог – 637, 706, 811
- Рем*, брат-близнец Ромула, по преданию вместе с ним основавший Рим – 289, 787
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк – 138, 723, 783, 790, 791, 818, 861

- Репин* Илья Ефимович (1844–1930), живописец, передвижник – 91, 253
- Рикардо* Давид (1772–1823), английский экономист – 12
- Рископорид* (Рискупорид), боспорский царь – 789, 791, 861
- Рише* Шарль, французский психиатр и физиолог – 230, 240
- Робеспьер* Огюстен (1758–1894), деятель Великой французской революции – 158, 159
- Рождественский* Александр Петрович (1864–?), протоиерей, богослов – 305, 574
- Розанов* Василий Васильевич (1899–1918), сын В. В. Розанова – 8, 489
- Розанов* Василий Федорович (ок. 1822–1861), отец В. В. Розанова – 8
- Розанова* Варвара Васильевна (1898–1943), дочь В. В. Розанова – 8
- Розанова* (урожд. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864–1923), жена В. В. Розанова – 8, 488–490
- Розанова* Вера Васильевна (1896–1919), дочь В. В. Розанова – 8, 487–496
- Розанова* Надежда Васильевна (1900–1956), дочь В. В. Розанова – 846
- Розанова* Надя (1893–1893), первая дочь В. В. Розанова – 8
- Розанова* (урожд. Шишкина) Надежда Ивановна (ок. 1827–1870), мать В. В. Розанова – 8
- Розанова* Татьяна Васильевна (1895–1975), дочь В. В. Розанова – 8, 291, 292, 488–490
- Розенгейм* Михаил Павлович (1820–1887), поэт, публицист – 513, 848
- Роман* Ю., типограф – 817
- Романов* Феодор Никитич (Филарет; ок. 1554/55–1633), патриарх Московский, отец царя Михаила Федоровича – 631, 855
- Романский*, сотрудник журнала «Новый Путь» – 752
- Ромодановский* Федор (Фридрих) Юрьевич (ок. 1640–1717), князь, начальник Преображенского приказа – 634
- Ромул* – см. Рем
- Ростовцев* Михаил, граф – 95
- Ростовцев* Николай, граф – 95
- Ротшильд*, глава банкирского дома – 404
- Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829–1894), пианист, композитор – 145, 829
- Рудаков*, законоучитель – 662, 667
- Руже де Лиль* Клод Жозеф (1760–1836), французский поэт и композитор – 103
- Румьинский* (псевд. Василия Афанасьевича Келтуяна; 1867–1942), литературовед, педагог – 505, 506
- Руссо* Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 68, 115, 347, 351, 434–436
- Руфь*, в Ветхом Завете жена Вооза – 95, 148, 201, 202, 206, 543, 623
- Рцы* (псевд. Ивана Федоровича Романова; 1861–1913), писатель, друг В. В. Розанова – 607, 618–620
- Рюрик*, основатель династии Рюриковичей (IX в.) – 456, 491, 505, 656
- С. И.*, автор письма в журнале «Новый Путь» – 696, 697
- Сабуров* Андрей Александрович (1838–1916), министр народного просвещения (1880–1891) – 548, 710
- Сабурова*, владелица дома, в котором жил Розанов – 856
- Саваоф*, в Ветхом Завете одно из имен Божьих – 35, 46, 48, 158, 538
- Савицкий* Н. М., владелец имения – 533
- Савл* (Павел), в Новом Завете апостол – 567, 573, 581, 582, 585, 587, 595, 638, 642, 661, 662, 665
- Сад де* (Сад Донасвен Альфонс Франсуа; 1740–1814), французский писатель – 119
- Салиас* Е. В. (псевд., наст. имя и фам. Елизавета Васильевна Салнас-де-Туриемир; 1815–1892), писательница – 315
- Салманассар I* (Салманасар), царь Ассирии (ок. 1280–1260 до н. э.) – 492, 846
- Салтыков* (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович; 1826–1889), писатель – 81, 82, 266, 512, 808
- Сальвиан* (ок. 400–480), христианский писатель – 210
- Сальери* Антонио (1750–1825), итальянский композитор – 70
- Самарин* Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк – 77–79, 96, 103, 245, 315, 545
- Самсон*, в Ветхом Завете богатырь, наделенный необычной физической силой – 663
- Самуил*, в Ветхом Завете последний из судей израильских – 730
- Сандунов*, инспектор Московского университета – 77
- Сардананал*, имя последнего ассирийского царя – 212
- Сарра*, в Ветхом Завете жена Авраама – 149, 178, 183, 209, 759

- Саул*, в Ветхом Завете первый царь Израильский – 645,660
- Сафо* (Сапфо; 7–6 вв. до н. э.) древнегреческая поэтесса – 147, 776
- Саханская* (псевд. Н. Кохановская) Надежда Степановна (1823 или 1828–1884), писательница – 776
- Сахаров* Иван Петрович (1807–1863), собиратель фольклора, этнограф, палеограф – 251, 836
- Свирский* Александр Николаевич (1865–1942), писатель – 339
- Свифт* Джонатан (1667–1745), английский писатель – 274
- Селевкиды*, наследники Селевка I Никатора (ок. 356–281 до н. э.), основателя царства Селевкидов – 680
- Селиванов* Кондратий (18 в.), основатель секты скопцов – 37, 39, 43–46, 729, 733, 782
- Семевский* Михаил Иванович (1837–1892), историк, журналист, основатель и издатель журн. «Русская Старина» – 825
- Семей*, в Ветхом Завете сын Геры из рода Сауловых – 660
- Семенов* Дмитрий Дмитриевич (1834–?), автор учебника по географии – 484
- Семенов* Тимофей Семенович (псевд. Тайяр Тимкин; 1889–1916), чувашский поэт – 339
- Семирамида*, имя ассрийской царицы Шаммурат (кон. 9 до н. э.) – 158, 159
- Сеодзи* Сергей, японец, принявший христианство – 318
- Сепфора*, в Ветхом Завете жена Моисея – 182,207
- Серафим* (Стефан Васильевич Глаголевский; 1763–1843), митрополит, стоял во главе борьбы церкви с мистицизмом и библейскими обществами – 266
- Сервет* Мигель (1509 или 1511–1553), испанский врач, мыслитель – 590
- Сергей Александрович* (1864–1905), великий князь, московский генерал-губернатор – 848
- Сергий* (Иван Николаевич Страгородский; 1867–1944), патриарх Московский и всея Руси (с 1943) – 286, 287, 301, 303–305, 661
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович; ок. 1321–1391), основатель Троице-Сергиевой лавры – 31, 162, 165, 604
- Сет*, в древнеегипетской мифологии бог пустыни и чужеземных стран – 311
- Сибиллы* (Сивиллы), легендарные пророчицы – 658
- Сигма*, псевдоним неизвестного публициста – 627
- Силий*, муж Мессалны – 158
- Сильверст* (? – ок. 1566), священник Московского Благовещенского собора, автор особой редакции «Домостроя» – 451
- Сильченко* Константин Николаевич (1869 – ?), духовный писатель – 574
- Симон*, в Ветхом Завете первосвященник и преемник Онии II – 680
- Симон*, в Новом Завете прокаженный, живший в Вифании – 663
- Симон*, волхв, уроженец Самарии – 135
- Синицын* (19 в.), старший советник министерства внутренних дел – 48, 49, 51
- Сипягин* Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (1900–1902) – 298, 838
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик, историк литературы – 81, 85, 824, 826
- Скворцов* Василий Михайлович (1859–1932), редактор-издатель журнала «Миссионерское Обозрение» – 301, 304, 305, 573, 618, 729, 846, 854
- Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843–1882), полководец – 545,546
- Скотт* Вальтер (1771–1832), английский романист – 316,686
- Скублинская*, детоубийца – 200
- Скуратов* Малюта (Григорий Лукьянович; (Малюта) Скуратов-Бельский (?–1573), опричник – 229, 859
- Славянский* Кронид Федорович (1847–1898), акушер и генеколог – 128
- Случевский* Константин Константинович (1837–1904), поэт – 305
- Смайль* Самуил (Сэмюел) (1812–1904), английский писатель – 239, 696, 771, 857
- Смирнов* Капитон Иванович (1827–1902), автор учебника по географии – 483,484
- Смирнов* Петр Семенович (1861–?), историк церкви – 305
- Смирнова*, Смирнова-Сазонова Софья Ивановна (1852–1921), прозаик, публицист, драматург – 820
- Смирнова* (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина, меценатка – 406

- Снегирев Владимир Федорович* (1847–1916), врач – 245
- Снегирев Иван Михайлович* (1793–1968), этнограф, фольклорист и археолог – 251, 836
- Соболевский Алексей Иванович* (1856/57–1929), филолог – 305
- Собольщиков Василий Иванович* (1813–1872), библиоотековед и архитектор – 93
- Соколов Василий Павлович* (1854–?), писатель – 646, 662, 667
- Соколов И. П.*, участник Религиозно-философских собраний – 305
- Сократ* (470–399 до н. э.), философ – 21, 22, 110, 154, 161, 254, 275, 366, 525, 527, 567, 674, 696, 785, 800, 819
- Сократ*, автор книги «Церковная история» – 645
- Соллертинский Сергей Александрович* (1846–1920), богослов, педагог – 305, 574
- Соллогуб Владимир Александрович* (1813–1882), граф, писатель – 315
- Соловьёв Владимир Сергеевич* (1853–1900), религиозный философ, поэт, публицист – 135, 139, 140, 142, 143, 150, 151, 269, 270, 315, 316, 368, 412, 428–433, 435, 506, 507, 515–517, 586, 594, 602, 626–628, 674, 797, 800–802, 816, 830, 843, 845, 848, 854
- Соловьёв Всеволод Сергеевич* (1849–1903), писатель – 368, 855
- Соловьёв Михаил Сергеевич* (1862–1903), педагог, переводчик – 506
- Соловьёв Сергей Михайлович* (1820–1879), историк – 27, 29, 70, 354, 368, 395, 397, 417, 629, 821, 824
- Солодовников*, владелец дома, в котором собирались для радений скопцы – 44
- Солодовникова*, участница создания Высших женских курсов – 93, 96, 97
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (965–928 до н. э.) – 13, 15, 140, 158, 165, 190, 200–202, 205, 208, 226, 539, 541, 543, 661, 666, 728, 829, 831
- Софроний*, патриарх Иерусалимский (с 634) – 135, 136
- Софья*, София, святая мученица – 733, 748
- Софья Алексеевна* (1657–1704), царевна, правительница Русского государства (1682–1689) – 32
- Софья Николаевна*, двоюродная сестра С. А. Рачинского – 371
- Спасович Владимир Данилович* (1829–1906), польский историк права и литературы, публицист – 135, 720–722
- Спенсер Герберт* (1820–1903), английский философ и социолог – 310, 368
- Сперанский Михаил Михайлович* (1772–1839), граф, государственный деятель – 27, 44, 52, 53, 253, 255, 635, 817, 822
- Спиноза Барух* (Бенедикт) (1632–1677), нидерландский философ – 12, 199
- Спиридон Тримифунтский* (?–348), епископ, чудотворец – 232
- Станиславский* (наст. фам. Алексеев; 1863–1938), актер, режиссер – 722
- Станиславский Н. К.*, помощник начальника Малахова кургана – 362, 363
- Станкевич Николай Владимирович* (1813–1840), философ – 88, 266
- Старицкий А. К.*, географ – 250, 835
- Стасов Владимир Васильевич* (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства – 91, 93, 99, 772, 825
- Стасов Николай Васильевич*, брат В. В. Стасова – 93
- Стасова Надежда Васильевна* (1822–1895), участница и создательница Высших женских курсов – 93–97, 99, 100, 772, 825, 826
- Статкевич П. Г.*, врач – 465
- Стахович*, начальник общины сестер милосердия – 327
- Стахович*, земский деятель – 805, 806
- Стебут Иван Александрович* (1833–1923), агроном – 532
- Стенбок* (19 в.), граф, автор записки «Краткий взгляд на причины быстрого распространения раскола» – 49, 55
- Стефан*, в Новом Завете член христианской церкви в Коринфе – 661
- Стефан Яворский* (1658–1722), украинский и русский церковный деятель и писатель – 590
- Стивенс Елизавета*, жена М. М. Сперанского – 822
- Столетов Александр Григорьевич* (1839–1896), физик – 797
- Стороженко Н. В.*, автор воспоминаний о П. А. Кулише – 466
- Стороженко Николай Ильич* (1836–1906), историк западноевропейской литературы – 62, 465, 823, 845
- Страбон* (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.) древнегреческий географ и историк – 191

- Страхов** Николай Николаевич (1828–1896), философ, литературный критик – 366, 368, 370, 407–414, 642, 668, 799, 800, 802, 841, 843, 861
- Строганов** Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, попечитель Московского учебного округа – 548, 549
- Строгановы** (Строгоновы), русские купцы и промышленники 16–20 вв. – 252
- Струженцов** Михаил Иванович, богослов, публицист – 570, 759, 852
- Студитский** Федор Дмитриевич (1815–1893), педагог, фольклорист, писатель – 78
- Суворин** Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель – 398, 820
- Суворов** Александр Васильевич (1730–1800), граф, полководец, генералиссимус – 53, 54, 248, 253, 273, 364, 647, 835
- Суворов** Николай Семенович (1848–?), специалист по каноническому праву – 815
- Сулла** (138–78 до н. э.), римский полководец – 785, 787
- Сусанна**, в Ветхом Завете жена Иоакима – 131, 132
- Сципион Африканский** Младший (ок. 185–129 до н. э.) римский полководец, в 146 захватил и разрушил Карфаген – 787
- Сципионы**, в Древнем Риме одна из ветвей рода Корнелиев, к которой принадлежали крупные полководцы и государственные деятели – 788
- Т-цев**, гимназист – 757
- Талейран** (Талейран-Перигор) Шарль Морис (1754–1838), французский дипломат, министр иностранных дел – 254
- Таммус** (Таммуз), в древневосточных религиях умирающий и воскрешающий бог природы и скотоводства – 311
- Тассо** Торквато (1544–1595), итальянский поэт – 68, 70
- Татаринов** Валериан Алексеевич (1816–1871), государственный контролер – 812
- Тацит** Корнелий (ок. 58 – ок. 117), римский историк – 158, 732, 831
- Тейлор** Эдуард Бернет (1832–1917), английский историк – 503
- Теккерей** Уильям Мейкпис (1811–1863), английский писатель – 274, 685
- Теннисон** Алфред (1809–1892), английский поэт – 683
- Тернавцев** Валентин Александрович (1866–1940), богослов, писатель, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода – 301, 304, 604, 846
- Терсит**, Ферсит, в греческой мифологии воин, участник Троянской войны – 728, 859
- Тиверий** (Тиберий; 42 до н. э. – 37 н. э.), римский император из династии Клавдиев – 567, 787, 804
- Тигмат-Палассар** (Тигматпаласар), царь Ассирии (745–727 до н. э.) – 493, 846
- Тизенгаузен**, барон – 258
- Тимонов** В. Е., автор статьи в газете «Новое Время» – 426, 428, 435, 436
- Тит** Флавий Веспасиан (31–81), римский император (с 71) – 210
- Титов** Георгий Иванович (1841 – ?), духовный писатель – 664, 667
- Тихомиров** Лев Александрович (1852–1923), революционер-народник, публицист – 108, 114, 115, 827
- Тихон Задонский** (Тимофей Савельевич Соколов; 1724–1783), епископ, богослов, духовный писатель – 647
- Тихонравов** Николай Саввич (1832–1893), литературовед, археограф – 28, 89, 90, 264, 354, 465, 714
- Тициан** (Тицино Вечеллино; ок. 1476/77 или 1489/90–1576), итальянский живописец – 137
- Товия**, в Ветхом Завете сын Товита – 148–150, 191, 192, 197, 203, 210, 623
- Токвиль** Алексис (1805–1859), французский историк и политический деятель – 103
- Толстая** Мария Николаевна (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого – 834
- Толстая** (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 527, 529, 850
- Толстой** Алексей Константинович (1817–1875), граф, писатель – 400, 699, 858
- Толстой** Дмитрий Андреевич (1832–1889), граф, государственный деятель, в 1866–1880 – министр народного просвещения, с 1882 министр внутренних дел – 94, 254, 272, 283, 302, 337, 395, 556, 708, 811–813, 825
- Толстой** Константин Петрович (1780–1870), государственный деятель, отец А. К. Толстого – 808, 809

- Толстой Лев Николаевич* (1828–1910), граф, писатель – 97, 109, 142, 150, 152, 154, 156, 159, 164, 187, 212, 250, 274, 276, 277, 279, 339, 386, 407, 411, 429, 430, 434, 466, 473, 506, 511, 533, 556, 561, 572, 578, 579, 584, 586, 587, 594, 605, 617, 642, 643, 684, 722–726, 798, 815, 830, 850, 852
- Толстой Петр Андреевич* (1761–1844), граф, военный деятель, дипломат – 44
- Тотлебен Эдуард Иванович* (1818–1884), граф, инженер-генерал – 324, 328
- Торквемада Томас* (ок. 1420–1498), глава испанской инквизиции (с 1480-х гг.) – 590
- Траян* (53–117), римский император из династии Антониев – 789, 791
- Трейхмюллер* (Тейхмюллер) Густав (1832–1888), немецкий философ – 430, 843
- Триполитова* (урожд. Панкина) Зинаида, выпускница Высших женских курсов – 776
- Троицкий Матвей Михайлович* (1835–1899), психолог, философ – 268, 797–802
- Троицкий Дмитрий Прокофьевич* (1754–1829), екатерининский вельможа, меценат – 252
- Трубецкая Аграфена Ивановна* – 71
- Трубецкие, князя* – 67, 71, 73
- Трубецкой Евгений Николаевич* (1863–1920), религиозный философ, правовед – 795, 800
- Трубецкой Сергей Николаевич* (1862–1905), религиозный философ – 795, 800
- Трубникова М. В.*, одна из основательниц высших женских курсов – 93, 95, 96, 825, 826
- Трувор*, легендарный князь, правивший в Изборске (9 в.) – 456, 491
- Тулубьева, владелица дома* – 362
- Тураева* (урожд. Церетели) Елена, выпускница Высших женских курсов – 776
- Тургенев Александр Иванович* (1784–1845), историк, писатель – 266
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883), писатель – 29, 99, 214, 251, 266, 274, 276, 313, 399, 407, 409, 411, 511, 683, 722, 723, 771, 789, 815, 821, 834
- Тэн Ипполит* (1828–1893), литературовед, философ, историк – 103
- Тютчев Федор Иванович* (1803–1873), поэт – 309, 429, 830, 835
- Тютчевы* – 67
- У-ский А. П.* (Александр Петрович Устьинский) (1854/55–1922), протоиерей, друг В. В. Розанова – 514–516, 518, 519, 566–571, 593, 620, 755, 845
- Уваров Сергей Семенович* (1786–1855), граф, министр народного просвещения (1833–1849) – 315, 337, 548
- Уриил*, в Ветхом Завете ангел, посланный Богом к Ездre – 16
- Усова Августа*, выпускница Высших женских курсов – 775
- Успенский Владимир Васильевич* (1874–после 1936), богослов, педагог – 301, 305
- Успенский Порфирий*, епископ – 573, 574, 733
- Ушинский Константин Дмитриевич* (1824–1870/71), педагог – 337
- Фавр Жюль* (1809–1880), французский министр иностранных дел – 383
- Фарадэй* (Фарадей) Майкл (1791–1867), английский физик – 436
- Фарнак II*, сын Митридата VI Понтийского – 851
- Фатеев Валерий Александрович* (р. 1941), историк литературы – 839
- Феваль Поль* (Феваль Поль Аири) (1817–1887), французский писатель – 250
- Федоров Иван* (ок. 1510–1583), основатель книгопечатания в России и на Украине – 236
- Феодор Иоаннович* (Федор Иванович) (1557–1598), последний русский царь из династии Рюриковичей (с 1584), сын Ивана IV – 631
- Феофил*, греческий император (829–842) – 751
- Федр*, последователь греческого философа Гиппия, современника Платона – 224
- Фейербих Людвиг* (1804–1872), немецкий философ – 266
- Фемистокл* (524–459 до н. э.), государственный и политический деятель Афин – 543
- Фенелон Франсуа* (1651–1715), французский писатель – 84
- Феодора*, дочь императора Иоанна VI Кантакузина (1341–1355) – 751
- Феодосий* (Феодосий I Великий; ок. 346–395), римский император (с 379) – 461, 645
- Феодосий Печерский* (ок. 1036–1074), один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря (с 1062) – 68, 397
- Феофан*, епископ – 732

Феофоб, перс – 751
Ферамен (ок. 455–404 до н. э.), в Афинах (411) древнегреческий политический деятель – 366, 367
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт – 154, 163, 315, 370, 408, 410, 411, 753, 830, 831, 841
Фидельфо (Франческо; 1398–1451), итальянский поэт – 125, 465
Фидий (нач. 5 в. до н. э. – ок. 432/431 до н. э.), древнегреческий скульптор – 625
Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867), митрополит, церковный и общественный деятель – 69, 165, 182, 519, 580, 629, 703, 705, 843
Филареты – 255
Филевский Иоанн Иоаннович (1865– ?), богослов, религиозный писатель – 301, 305, 518–520, 577, 588, 639, 853
Филмонов, священник – 639, 640, 779
Филипп (Федор Степанович Колычев; 1507–1569), митрополит Московский и всея Руси – 733, 859
Филипп II Македонский (ок. 382–226 до н. э.), царь Македонии (с 259) и отец Александра Македонского – 254
Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.), иудейско-эллинистический религиозный философ – 182
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), публицист, литературный критик – 301, 305, 826
Философова Аниа Павловна (1837–1912), деятельница женского движения в России, участница создания высших женских курсов – 94–96, 826
Финеес, в Ветхом Завете сын первосвященника Елиазара и внук Аарона – 181
Фичино Мавселино (1433–1499), итальянский философ – 124
Фишер К. А., фотограф – 406
Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель – 123, 859
Фона, в Новом Завете апостол – 589, 663, 699
Фона Аквинский (1225 или 1226–1274), философ, теолог – 823
Фона Челанский, итальянский монах и писатель – 827
Фон-Визин (Фонвизин) Денис Иванович (1745–1792), писатель – 68
Фор Феликс (1841–1899), президент Франции (1895–1899) – 142, 826

Фотий (Петр Никитич Спасский; 1792–1839), архимандрит, церковный деятель – 662, 750
Фохт (Фогт) Карл (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 84
Франк Семен Людвигович (1877–1950), религиозный философ – 795
Франс Анатолий (наст. имя и фам. Анатолий Франсуа Тибо; 1844–1924) французский писатель – 277
Франциск Ассизский (1181 или 1182–1226), итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев – 163, 578, 658
Френкель – 345
Фрина, греческая гетера, натурщица Праксителя и Апеллеса – 221, 623
Фудель Иосиф (Осип) Иванович; (1864–1918), священник, публицист, издатель и редактор Собрания сочинений К. Н. Леонтьева – 478
Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк – 224
Фурье Шарль (1772–1837), французский утопический социалист – 110

Хам, в Ветхом Завете один из трех сыновей Ноя – 52
Хамос, в Ветхом Завете название моавитянского идола – 201
Хелкия, в Ветхом Завете отец Сусанны – 131, 132
Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), писатель – 266, 633
Хеттура, в Ветхом Завете вторая жена Авраама – 759
Хирам, в Ветхом Завете содействовал строительству многочисленных дворцов и храмов – 200, 201
Хлодвиг I (ок. 466–511), король салических франков из династии Меровингов – 791
Холмские, князья – 69
Холодняк (урожд. Веселовская) М. А., выпускница Высших женских курсов – 775
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), религиозный философ, писатель – 245, 315, 525, 545, 569, 594, 658
Хрулев Степан Александрович (1807–1870), генерал-лейтенант – 327–329

Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917), писательница – 167
Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.), римский диктатор, полководец – 53, 212, 254, 272, 633, 784–787, 851

- Цельнер* Иоганн Карл Фридрих (1834–1882), немецкий астрофизик – 205, 207
- Цельсий* Андерес (1701–1744), шведский астроном и физик – 637
- Цибела* (Кибела), фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Греции и в Римской империи, богиня материальной силы и плодородия – 785
- Цитович* Петр Павлович (1842–1912), ученый-правовед, государственный деятель, журналист – 258
- Цицерон* Марк Туллий (103–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, писатель – 273, 783, 787
- Цорн* Андерес (1860–1920), шведский живописец и график – 783
- Ч-на М.*, крестьянка – 639–641, 644, 778, 779
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 266
- Чайковский* Петр Ильич (1840–1893), композитор – 279
- Чарторыйский* Адам Ежи (1770–1861), князь, государственный деятель – 548
- Чебышев* Пафнутий Львович (1821–1894), математик – 705
- Чепинская* (урожд. Корш) М. В. – 776
- Червоная А. И.*, вдова – 533
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), ученый, писатель, литературный критик, философ – 81, 82, 84, 85, 106, 330, 331, 826
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель – 265
- Чичерин* Борис Николаевич (1818–1904), юрист, историк, философ – 151, 258, 408, 409, 517, 830
- Шаптели де ла-Сосей*, французский историк религии – 236
- Шарапов* Сергей Федорович (1855–1911), публицист, журналист – 544–547, 851
- Шаро*, преподаватель Гренобльского университета – 320
- Шатобриан* Франсуа Рене де (1768–1848), французский писатель – 74, 217, 230, 266, 834
- Шашков* Серафим Серафимович (1841–1882), историк, публицист – 82, 824
- Шевляков* (псевд. Славянский) Михаил Викторович (1866–1913), драматург, юморист – 853
- Шевченко* Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт, художник – 79, 80, 251, 253, 406, 465
- Шевырев* Степан Петрович (1806–1864), критик, историк литературы, поэт – 74
- Шекспир* Уильям (1564–1616), английский драматург, поэт – 103, 107, 162, 187, 264, 316, 397, 465, 623, 723, 830, 845, 861
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824–1891), публицист, литературный критик – 81, 82, 90, 824, 826
- Шелгунова* Людмила Петровна (урожд. Михаэлис 1832–1901), жена Н. В. Шелгунова – 826
- Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775–1854), немецкий философ – 68, 75, 163, 266, 429, 512
- Шенк* Леопольд Самуэль (1840–1902), австрийский эмбриолог – 104
- Шестов* Лев (Иегуда Лейба Шварцман; 1866–1938), философ – 514, 848
- Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург – 67, 153, 192, 266, 310, 684, 686, 723, 791, 830
- Шилов* Алексей Иванович, последователь Селиванова – 44
- Шлёцер* Август Людвиг (1735–1809), немецкий историк, филолог – 72, 75, 76
- Шипов* Дмитрий Николаевич (1851–1920), земский помещик, один из лидеров октябристов – 805, 806
- Шиповы* – 805
- Шифф* (Ранич) Вера Иосифовна, математик – 774
- Шишков* Александр Семенович (1754–1841), писатель, государственный деятель, адмирал – 266
- Шлейермахер* Фридрих (1768–1834), немецкий теолог и философ – 606
- Шлейдан* (Шлейден) Маттнас Якоб (1804–1881), немецкий ботаник – 256
- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 104, 269, 430, 432, 441, 724, 796
- Шперк* Федор Эдуардович (1870/72–1897), философ, поэт, критик, друг Розанова – 846
- Штакенинейдер* Е. А., участница женского движения – 97
- Штиглиц* Александр Людвигович (1817–1884), барон, меценат – 528, 850
- Шульгин*, боровичский голова – 248, 249, 835

- Шуман* Роберт (1810–1856), немецкий композитор и музыкальный критик – 233
- Щеглов* (псевд., наст. фам. Леонтьев (Иван Леонтьевич (1856–1911), писатель, драматург – 330, 466–469, 845
- Щербов* И. П., семинарист – 305
- Эмен* из Кардии (362–316 до н. э.), личный секретарь и дипломат Александра Македонского – 783
- Эврипид* (Еврипид; ок. 480–406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 275, 700, 815, 858
- Эдип*, в греческой мифологии сын царя Фив Лая – 301, 310
- Эдиссон* (Эдисон) Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель – 104
- Эйдуна* – 745
- Эккерман* Иоганн Петер (1792–1854), личный секретарь И. В. Гёте – 859
- Эмилиа*, древнегреческий патрицианский род – 788
- Эмпедокл* из Агригента (ок. 490 – ок. 430 до н. э.), древнегреческий философ, поэт, политический деятель – 429
- Энгельгардт* Александр Николаевич (1832–1893), агроном, публицист – 36
- Энгельгардт* Николай Александрович (1867–1942), прозаик, публицист, литературовед – 264, 65, 330, 809
- Эол*, в греческой мифологии повелитель ветров – 388
- Эразм Роттердамский* Дезидерий (1469–1536), филолог, писатель – 7, 706
- Ювенал* Децим Юний (ок. 60 – ок. 127), римский поэт-сатирик – 275
- Юлиан* (?–313), святой, настоятель мужской обители – 648
- Юпитер*, древнеримский бог, верховное божество римлян – 253, 255, 442, 747
- Юргенсон* Петр Иванович (1836–1903/04), основатель и владелец крупнейшей музыкально-издательской фирмы в России – 776
- Юстин* (нач. 2 в. – ок. 165) странствующий проповедник, писатель, представитель раннехристианской апологетики – 158, 619
- Юстиниан I* (482 или 483–565), византийский император – 461, 645, 748, 751
- Юферов*, генерал – 329
- Яичин*, автор учебника по географии – 484
- Яковлев*, возможно, Анатолий Сергеевич, журналист, прозаик – 127
- Яковлев* Леонид Георгиевич (1858–1919), певец (баритон), режиссер – 145
- Яковлев* Я., нижегородский полицмейстер – 282
- Якушкин* Вячеслав Евгеньевич (1856–1912), историк литературы, журналист, публицист – 466
- Яновская* Б. Д., выпускница Высших женских курсов – 776
- Яновский* Кирилл Петрович (1822–1902), педагог – 302
- Янышев* Иоаким Леонтьевич (1826–1910), богослов, проповедник – 305, 517
- Ярило*, в славяно-русской мифологии божество, связанное с плодородием – 647
- Ярослав Мудрый* (ок. 978–1054), вел. князь Киевский (1019) – 524

Составитель В. П. Гаршин

СОДЕРЖАНИЕ

Религия и культура

<Предисловие>	7
Место христианства в истории	9
Психология русского раскола	27
Черта характера древней Руси	55
Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век	66
О студенческих беспорядках	85
Женское образовательное движение 60-х годов	91
Франко-русские впечатления	100
Демократизация живописи	104
Где истинный источник «Борьбы века»?	108
О символистах и декадентах	116
Теперь и прежде	127
Христианство пассивно или активно?	134
Кроткий демонизм	144
Семя и жизнь	150
Смысл аскетизма	157
Женщина перед великою задачею	166
Нечто из седой древности	180
Эмбрионы	211
Новые эмбрионы	218
Библиография (Учение двенадцати апостолов. – Архиепископ Никанор. Из истории ученого монашества. – А. Киреев. По поводу старокатолического вопроса. – И. Ф. Данилов. В тихой пристани. – Иллюстрированная история религий. – С. Литвин. «Замужество Ревекки» и др. рассказы. – Фрндрих Кирхнер. «Путь к счастью. Как надо жить.» – Шарль Рише. «Любовь», психологический этюд)	227

Статьи и очерки 1902–1903 гг.

1902 год

Поправка	243
Славяне-медики и их просьба	244
Болезни и чаяния славянского мира	246
К спору о памятнике Суворову	248
Малороссы и великороссы	249
С. А. Рачинский о средней школе	254
Старый нерешенный спор	258
Культурные сближения	260

Национальные таланты	262
Сто лет поэзии и прозы	264
О множестве самобытных идей	267
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва	269
<О латинском языке>	271
Латынь в реальных науках	271
50-летие кончины Гоголя	273
Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла XV века	277
Излюбленные дела и принцип одушевления	280
Окончание педагогической лихорадки	283
Интересное чтение	286
В. И. Модестов. Введение в римскую историю	288
Невидимый мирок	290
О физическом воспитании в гимназиях	293
Критика устава о службе гражданской	294
Пробел в законодательстве о семье	296
<Похороны Д. С. Снягина>	298
О визитах	298
<10-е Религиозно-философское собрание>	301
<Речь Г. Э. Зенгера>	301
Религиозно-философские собрания	303
Русские и французы	306
Необходимое самооправдание	308
С. А. Рачинский и его Татеве	312
Летние курсы языков и литературы для иностранцев в Гренобле	319
Больницы и общество в уходе за больными	321
Арифметика великой эпопей	323
Письмо в редакцию <О книге В. А. Добролюбова>	330
О препятствиях к браку	331
О некоторых подробностях в распределении уроков	335
Главное лицо в школе	336
Полезное издание для народа	338
Ранняя инвалидность учителей	339
«Гармония семьи и школы»	342
Архимандрит Антонин. Книга пророка Варуха	344
Недоговоренные слова	345
Помощь учителю	354
Вознаграждение ученой и учительской службы	356
Леность служащих	358
Севастопольцы и П. С. Нахимов (По воспоминаниям очевидца его смерти)	360
Особая группа писателей (из переписки С. А. Рачинского)	366
Два метода службы	375
Как принимать слушателей в специальные заведения	377
Средство сократить служебную переписку	379
Мотивы и характер чиновной службы	381
Об опасностях на воде	383
Эпидемии прежде и теперь	385
Маленькая хроника < Раздавленные люди >	386

Маленькая хроника < Удобства пассажиров >	387
Военные и штатские врачи	389
Частная и государственная служба	390
К пересмотру гимназического устава	393
Обновление учебного ведомства	394
Выучка и воспитание	395
Дм. Кайгородов. Из родной природы	398
Страховка пассажирского багажа	400
<Об учениках гимназий>	402
Разные роды службы	403
Альбом выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского	406
М. Волкова, женщина-врач. Беседы о здоровье женщины	406
К литературной деятельности Н. Н. Страхова	407
Кошачья педагогика	414
Профессорский суд	416
Новая организация университетов	418
О курсовых старостах	420
Личный состав курсовых кураторов	421
Культура и «Гражданин»	422
Большая и малая техника	423
Теснота в средних учебных заведениях	425
Гений и шаблон	426
Вл. Соловьёв и Достоевский	428
Вольнослушатели в высших технических училищах	435
Надзор за больницами	437
Инспектора рисовальных школ	440
Т. Карлейль. Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского университета	441
Начало важнейшего преобразования	442
По вопросам преобразования высших учебных заведений	444
Индивидуализация университетов	445
А. Л. Боровиковский о браке и разводе	447
Споры по недоразумению	463
Под знаменем науки	465
И. Л. Щеглов (Леонтьев) (к 25-летию литературной деятельности)	446
Идеалы скромных людей	469
Вредный антагонизм	477
Царская милость учащейся молодежи	479
Децентрализация учебных заведений	480
К выработке учебников	482
Чему я смеялся	485

1903 год

Мимходом (Из случайных впечатлений)	490
Закон и брак (По поводу проекта нового Гражданского Уложения)	492
Именины	501
О положении сельских учителей	503

Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском>	505
Издание соч. Влад. С. Соловьёва	506
Административная деликатность	507
В своем углу. От автора	509
Шестидесятые годы и «утилитарная критика». Маленькое возражение Н. А. Энгельгарду на его проект «переоценки ценностей» литературных . . .	509
Из писем друзей и недругов	513
Университет и наука	520
Невозможное положение	523
О письме гр. С. А. Толстой	527
Чтение в деревне	530
Женский сельскохозяйственный институт	531
Чувство солища и растений у древних евреев	538
Еще о «60-х годах» нашей истории	543
Шалун нашей прессы	544
Столетие колыбели русского просвещения	547
Об отмене одного католического у нас обычая	549
О нормировки вознаграждения учительского труда	553
Памяти Евг. Льв. Маркова	555
О медиках и медицине	557
Ответ г. Меньшикову	566
Заметка <Еще о Д. С. Мережковском>	572
Серьезный критик	572
Из переписки свящ. И. Филевского	577
Совесьть – отношение к Богу – отношение к Церкви	588
О преждевременной торопливости	592
Простая рыбачка	593
Прореха учения	595
Конец неопределенных ожиданий	597
О высших интересах знания и речи	599
Новый тип губернских училищ	607
Городское профессиональное образование	609
Организация пансионов	611
Педагогические таланты	614
Сыновья и дочери при наследовании	616
<О В. А. Грингмуте>	618
Замечательная статья	618
О либерализме как некотором общем духе	626
Петр Великий и Петербург	629
Из переписки с N.N.	636
К вопросу о семейных учительницах	648
Задачи русской школы	651
О звуках без отношения к смыслу	652
Из далека	657
Женский педагогический институт	667
Заметка <О несчастных случаях в поездах>	671
Трагедия с каменным домом	672
Откуда «злые мачихи»?	676

Одна подробность ветхозаветного культа	678
Годовщина смерти Золя	682
Эстонское затишье	687
Вопрос о силе среди бессилия	696
Школы министерства финансов	701
Университетский вопрос в освещении Н. П. Гилярова-Платонова	703
Бюджет министерства народного просвещения	712
О вознаграждении разных родов службы	715
О ремеслах в школе и о бюджете школ	718
С. А. Андреевский как критик	720
О «Двух путях» Минского	727
Сложность вопросов «чести» и нравственных	736
Дорого ли отечество оценивает «честь» своих граждан?	739
О чувстве «чести» и гордости	742
При свете истории	744
Письмо в редакцию о. Михаила	752
Добрый почин священника	754
К борьбе с эпидемией дерзости	760
«Армия спасения» на русский лад	762
Женский образованный труд в России	771
Доброе слово в защиту крестьянки	778
Г-жа Лухманова о проституции	780
Моммзен и Реиан	783
О безбрачии городских учительниц	791
Земство и народные учителя	793
Московские идеалисты	795
Между прочим <О кн. Мещерском>	803
Смерть Анатолия Бороздина	804
Союз трех дворян против России	805
Тенор журналистики	806
Живой голос	808
<i>Приложение. Кто был организатором нашей классической системы</i>	<i>811</i>
Комментарии	814
Указатель имен	862

Научное издание

**Василий
Васильевич
Розанов**

Собрание сочинений

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Технический редактор *Т. А. Новикова*

ЛР № 010273 от 10.12.97.

Сдано в набор 05.02.08.

Подписано в печать 24.07.08.

Формат 60×84¹/₁₆.

Бумага офсетная № 1.

Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 52,08. Уч.-изд. л. 68,85.

Тираж 2000 экз. Заказ № 3517

Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве «Республика».

ООО «Издательство «Росток»

E-mail: rostok_publish@front.ru

По вопросам оптовых закупок

обращаться по тел.: (812) 323–54–70

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ГУП «Типография «Наука» РАН

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»

Выпускает

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В. В. РОЗАНОВА

В 1994—2008 гг. вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников (1994)
- Т. 2 — Мимолетное (1994)
- Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)
- Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)
- Т. 5 — Около церковных стен (1995)
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)
- Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)
- Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)
- Т. 10 — Во дворе язычников (1999)
- Т. 11 — Последние листья (2000)
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)
- Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)
- Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)
- Т. 15 — Русская государственность и общество (Статьи 1906–1907 гг.) (2003)
- Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906–1908 гг.) (2003)
- Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)
- Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)
- Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)
- Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)
- Т. 21 — Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.) (2005)
- Т. 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)
- Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.) (2007)
- Т. 24 — В чадку войны (Статьи и очерки 1916–1918 гг.) (2008)
- Т. 25 — Природа и история. – Статьи и очерки 1904–1905 гг. (2008)
- Т. 26 — Религия и культура. – Статьи и очерки 1902–1903 гг. (2008)

Подготовлены к выпуску следующие тома:

- Т. 27 — Юданзм. – Статьи и очерки 1898–1901 гг.
- Т. 28 — Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889–1897 гг.)
- Т. 29 — Литературные изгнанники. *Книга вторая*
- Т. 30 — Листва. – Указатели к Собранию сочинений





